



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

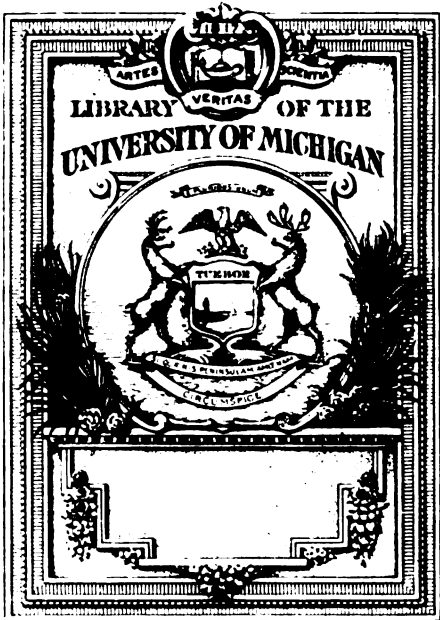
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



Сочинения...

Александр Херцен



891.7

H57

v.1-2

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА.

Томъ I.

19



А. И. Герценъ въ молодости.

(Съ портрета А. Витберга, 1836 г.).

Hertzen, A.

СОЧИНЕНІЯ

Sochineniia

А. И. ГЕРЦЕНА

A. I. Herzen

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

~~~~~  
**ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.**  
~~~~~

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

—
Томъ I.

—
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание Ф. Павленкова.
1905.

Типографія М. МЕРКУШЕВА, Невскій, 8.

Оглавление I-го тома.

	Стр.
Вѣсто предисловія	VII—XI
Содержаніе семи томовъ	XIII—XIV
Легенда о св. Теодорѣ	1
Встрѣчи	24
Первая встрѣча	25
Вторая встрѣча	37
Это было 22-го октября, 1817 г.	44
Записки одного молодого человѣка:	
Вступленіе	47
I. Ребечество.	49
II. Юность	62
III. Годы странствованія	69
Патріархальныя нравы города Малинова	72
Лициній и Вильямъ Пенъ:	
I. Лициній	98
II. Вильямъ Пенъ	101
Кто виноватъ. Романъ въ 2-хъ частяхъ.	
Къ второму изданію	107
Часть первая:	
I. Отставной генералъ и учитель, опредѣляющійся къ мѣсту.	109
II. Біографія ихъ превосходительствъ	114
III. Біографія Дмитрія Яковлевича	126
IV. Житіе-бытѣ	133
V, VI, VII. Владиміръ Бельтовъ.	160
Часть вторая	198
Послѣдній праздникъ дружбы	281
Сорока-Воровка. Повѣсть.	292
Докторъ Круповъ. Повѣсть.	311
Aphegismata. По поводу психіатрической теоріи д-ра Крупова	335
Мимотѣдомъ. (Отрывокъ).	343

Долгъ прежде всего. (Повѣсть).	
I. За воротами	346
II. Дядюшка Левъ Степановичъ	352
III. Нѣжный братецъ покойнаго дядюшки	362
IV. Троюродные братья	366
V. Наслѣдникъ	374
Поврежденный. Повѣсть.	388
Трагедія за стананомъ грога.	407
Снуки ради.	414
Докторъ, умирающій и мертвые:	
I. Докторъ	446
II. Умирающій	453
III. Мертвые	467
IV. Эпиллогъ	473
Приложенія:	
Изъ Римскихъ сценъ	476
Марія Р.	485
Между четвертой и пятой частью.	486
Примѣчанія	487

Погрѣбность: Въ примѣчаніяхъ (стр. 490) къ стр. 88 сказано относительно минеральнаго источника Шпруделя, что онъ выдѣляетъ обильный осадокъ углекислоты; слѣдуетъ сказать— углекислой извести.

Вмѣсто предисловія.

Настоящее изданіе — *первое* изданіе собранія сочиненій Александра Ивановича Герцена въ Россіи. Родился Герценъ 25 марта 1812 г., умеръ 9 января 1870 г. Слѣдовательно, онъ принадлежитъ не только всецѣло прошедшему вѣку, но и большею частью своей жизни, и наибольшимъ развитіемъ своихъ силъ — нашей, такъ называемой, дореформенной эпохѣ. Онъ — одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей знаменитаго круга людей сороковыхъ годовъ, изъ числа которыхъ русская литература чититъ высоко и неизмѣнно Вѣлинскаго, Грановскаго, Станкевича и др. По общественнымъ и политическимъ условіямъ то было темное, непроглядно темное время и сильные умы, горячія сердца истекали кровью не столько отъ чрезмѣрности усилій въ борьбѣ съ окружающей ихъ мглой, сколько отъ невозможности приложить и проявить свои силы въ этой несчастной дѣйствительности. Въ 1847 г. Герценъ, уже занимавшій тогда довольно замѣтное положеніе въ русской журналистикѣ, оставляетъ Россію, уѣзжаетъ за границу, становится близко къ революціоннымъ движеніямъ Италіи и Франціи; окопы спадаютъ съ мысли и она развертывается во всю ширь. *Такой* Герценъ былъ не по плечу официальной Россіи, онъ слишкомъ далеко ушелъ отъ того, что считала допустимымъ официальная Россія того времени. И вотъ онъ, равно какъ нѣсколько позже и ближайшій другъ его Н. Огаревъ, а также М. Бакунинъ, становится эмигрантомъ, а все то, что онъ писалъ, даже и совершенно невинное съ точки зрѣнія тогдашней цензуры, запрещается и воспроизведеніе не только писаннаго за границей, но и того, что было напечатано ранѣе въ русскихъ журналахъ, дѣлается невозможнымъ. Такъ широкіе круги чи-

тающей публики лишился великаго русскаго писателя и лишились надолго, такъ какъ отпечатанные въ одно время его романъ «Кто виноватъ» и сборникъ подъ заглавіемъ «Раздумье» носили совершенно случайный характеръ и появлялись въ видѣ какой-то контрабанды.

Первый рѣшительный шагъ къ возвращенію великаго изгнанника на родину сдѣлалъ покойный издатель Ф. Ф. Павленковъ. Онъ приобрѣлъ въ 1894 г. право собственности на изданіе сочиненій А. И. Герцена въ Россіи отъ наслѣдниковъ, его сына, лозанскаго профессора А. А. Герцена, и дочерей. Тогда же многіе удивлялись: какъ-это такой опытный издатель, какъ Ф. Павленковъ, и поступаетъ такъ непрактично, — покупаетъ то, что по условіямъ реализаціи, съ издательской точки зрѣнія, не стоитъ ничего. И, дѣйствительно, всѣ попытки Ф. Павленкова разбивались о цензурныя условія и онъ умеръ въ 1899 г., не доживъ до осуществленія своей завѣтной мечты. Душеприказчики его, въ лицѣ Н. Розенталя, В. Черкасова и В. Яковенко, сочли одной изъ своихъ главнѣйшихъ обязанностей довести это дѣло до конца. Къ тому времени, благодаря многочисленнымъ статьямъ и замѣткамъ, появлявшимся въ періодической печати и разъяснявшихъ значеніе Герцена, почва была уже болѣе подготовлена для снятія запрещенія, тяготѣвшаго надъ его сочиненіями, и въ концѣ 1900 г. послѣдовало Высочайшее разрѣшеніе на изданіе сочиненій Герцена въ Россіи подъ отвѣтственностью главнаго управленія по дѣламъ печати и съ указаніемъ въ главнѣйшихъ чертахъ того, что изъ написаннаго Герценомъ должно быть изъято изъ изданія, печатаемаго въ Россіи.

Теперь, казалось, дѣло было поставлено на рельсы и ему оставалось быстро катиться къ нетерпѣливо ожидавшему читателю. Казалось... Но тутъ Герценъ, его нетлѣнные останки, бережно переносимые нами, были подхвачены вихремъ событій, переживаемыхъ Россіею съ вступленіемъ въ XX вѣкъ. Всякое, сколько нибудь крупное событіе изъ нашей внутренней жизни за это время отражалось на ходѣ пересмотра цензурнымъ вѣдомствомъ сочиненій Герцена. А смѣна министровъ внутреннихъ дѣлъ, смѣна главныхъ начальниковъ по дѣламъ печати... У cadaго свой взглядъ, свои соображенія, и въ результатѣ безконечная затяжка дѣла. Наконецъ, издателями было получено въ концѣ 1904 г. разрѣшеніе отъ главнаго управленія по дѣламъ печати приступить къ печатанію сочиненій Герцена.

Въ основу настоящаго изданія положено десятитомное женевское изданіе «Oeuvres d'Alexandre Herzen. Сочиненія А. И. Герцена», 1875—1879 г.; затѣмъ «Сборникъ посмертныхъ статей», изданіе второе 1874 г. и «Колоколь» за 1857—1865 г., изъ ко-

того въ настоящее изданіе вошли лишь немногія статьи. Кромѣ того, собраны почти всѣ статьи (за самыми незначительными и сомнительными исключеніями), написанныя Герценомъ въ ранній періодъ его дѣятельности, но напечатанныя уже много спустя послѣ его смерти въ разныхъ русскихъ журналахъ. Наконецъ, напечатана полностью переписка Герцена съ Натальей Александровной Захарьиной, на которой онъ женился въ 1838 г.; переписка эта печаталась въ журналахъ «Русская Мысль» и «Новое Слово», но прервана была на половинѣ; въ настоящемъ же изданіи она доведена до конца.

Языкъ Герцена высоко художественный и отличается глубокой оригинальностью. Выступилъ онъ на литературное поприще еще въ 30-хъ годахъ. Естественно, что его языкъ изобилуетъ своеобразностями, какихъ мы теперь уже не встрѣчаемъ въ нашемъ современномъ обычномъ литературномъ языкѣ. Своеобразности эти обязательно должны быть соблюдены и тутъ недопустима никакая «редакція». Къ сожалѣнію, однако, далеко не всегда можно было выполнить это требованіе въ настоящемъ изданіи. Подлинныхъ рукописей (кромѣ переписки съ Н. А. Захарьиной и нѣкоторыхъ юношескихъ произведеній) въ распоряженіи издателей не было, а заграничное изданіе страдаетъ многочисленными опечатками, на ряду съ которыми, несомнѣнно, было допущено и искаженіе второстепенныхъ стилистическихъ особенностей въ слогѣ Герцена. Кое-что можно было исправить путемъ сопоставленія текста въ двухъ заграничныхъ изданіяхъ (напр., «Былое и Думы» въ нѣкоторыхъ частяхъ); но и такая свѣрка, вслѣдствіе отсутствія подъ рукой всѣхъ заграничныхъ изданій и быстроты, съ какою, получивъ, наконецъ, разрѣшеніе, слѣдовало печатать, не могла быть систематически осуществлена. Единственное отступленіе въ этомъ отношеніи, сознательно допущенное въ настоящемъ изданіи отъ заграничныхъ текстовъ, касается написанія иностранныхъ словъ и собственныхъ именъ, которая передавались согласно установившемуся теперь написанію ихъ (такъ, вмѣсто дипломатія печаталось дипломатія, цензура—цензура, широкко—сирокко, Шведенборгъ—Сведенборгъ и т. д.).

Весь матеріалъ размѣщенъ по такимъ главнѣйшимъ отдѣламъ: 1) повѣсти, рассказы и романы; 2) «Былое и Думы»; 3) публицистическія и критическія статьи; 4) «Дневникъ» и статьи изъ «Колокола» (не на мѣстѣ, такъ какъ разрѣшены къ печатанію уже въ то время, какъ составъ предыдущихъ томовъ опредѣлился) и 5) переписка съ Н. А. Захарьиной. Хронологическій порядокъ въ этихъ отдѣлахъ не всегда соблюденъ, такъ какъ надъ хронологіей произведеній Герцена библиографамъ нужно немало потрудиться для того, чтобы установить ее окончательно.

Къ каждому тому приложены примѣчанія, поясняющія давно забытыя или мало извѣстныя въ широкихъ кругахъ публики имена и событія, раскрывающія намеки, инициалы (въ нѣкоторыхъ случаяхъ). Непосредственно подъ текстомъ сохранены лишь примѣчанія самого Герцена, немногочисленные варианты (добавляющіе что-либо къ *содержанію* текста) и, наконецъ, касающіяся болѣе технической стороны изданія и необходимыя для читателя примѣчанія издателя. Въ перепискѣ съ Н. А. Захарьиной введенъ условный знакъ (прямые скобки []) во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда въ текстѣ приходилось отмѣчать что-нибудь недостающее.

Нижеслѣдующія произведенія Герцена подготовлены къ печати (т. е. свѣрены съ рукописями, если таковыя были въ нашемъ распоряженіи, или съ печатными текстами) и снабжены примѣчаніями М. Гершензономъ: 1) «Отрывки изъ Дневника»; 2) «Легенда о св. Ѳеодорѣ»; 3) «Встрѣчи»; 4) «Отдѣльныя мысли»; 5) «Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ»; 6) «Изъ римскихъ сценъ»; 7) «Послѣдній праздникъ дружбы»; 8) «Реклама»; 9) «Письмо первое о Москвитянинѣ»; 10) Публичныя чтенія г. Грановскаго, 11) «Публичныя чтенія г-на профессора Рулье»; 12) «Трагедія за стаканомъ грока»; 13) «Оба лучше». 14) «Старика Вѣдрина крѣпкое до польскихъ братьей слово»; 15) «Изъ воспоминаній объ Англіи»; 16) «Изъ писемъ путешественника во внутрь Англіи»; 17) «Русская колонія въ Парижѣ» и 18) «Скуки ради».

Переписка съ Н. А. Захарьиной вся провѣрена по подлиннымъ письмамъ В. Яковенко; причемъ исправлены погрѣшности и восстановлены пропуски, сдѣланные Е. Некрасовой при печатаніи этихъ писемъ въ журналѣ «Русская Мысль», вѣроятно изъ ложной деликатности, тогда какъ о такихъ людяхъ, какъ Герценъ, говоря его же словами, «нечего умалчивать, ихъ щадить нечего».

Примѣчанія и указатель составлены библиографомъ Д. Сильчевскимъ.

Обраніе сочиненій и въ особенности такого писателя, какъ Герценъ, который по истеченіи лишь 35 лѣтъ послѣ смерти является передъ широкими кругами русской читающей публики, должно бы сопровождаться критико-біографическимъ очеркомъ. Издатели признаютъ это всецѣло и если такого очерка нѣтъ при настоящемъ изданіи, то это произошло вслѣдствіе случайныхъ причинъ: неопредѣленности, тяготѣвшей все время надъ изданіемъ и затѣмъ поспѣшности, съ которой оно печаталось. Въ послѣдующихъ изданіяхъ этотъ недостатокъ будетъ исправленъ. Что касается собственно біографической стороны, то въ

произведеніяхъ Герцена (въ «Былое и Думахъ», въ «Дневникъ», «Перепискѣ») читатель найдетъ такую возвышенную, художественную автобіографію, съ которой едва ли можетъ сравняться «очеркъ», написанный любимъ изъ нашихъ современниковъ.

Большая часть портретовъ, снимки съ которыхъ приложены къ этому изданію, доставлены сыномъ А. И. Герцена, профессоромъ А. А. Герценомъ.

С.-Петербургъ, 28 мая 1905 г.

В. Яковенко.



Содержаніе семи томовъ.

ТОМЪ I. Въмѣсто предисловія. **Повѣсти, рассказы и романы.** Легенда о св. Ѳеодорѣ.—Встрѣчи.— Это было 22-го октября, 1817 г.—Записки одного молодого человѣка.—Лициній и Вильямъ Пенъ. — *Кто виноватъ.*—Послѣдній праздникъ дружбы.—Сорока-Воровка.—Докторъ Круповъ.—*Arhogismata.*—Мимовѣдомъ.—Долгъ прежде всего.—Поврежденный.—Трагедія за стаканомъ грока.—Скуки ради.—Докторъ, умирающій и мертвые.—**Приложенія:** Изъ римскихъ сценъ.—Маріи Р.—Между четвертой и пятой частью.—Примѣчанія.

ТОМЪ II. Вылое и думы. Ч. I. Дѣтская и университетъ.—Ч. II. Тюрма и ссылка.—Ч. III. Владиміръ на Клязьмѣ.—Ч. IV. Москва.—Петербургъ.—Новгородъ.—**Прибавленія:** Н. X. К.—Вазиль и Армансъ.—Примѣчанія.

ТОМЪ III. Вылое и думы. Ч. V.—Парижъ.—Италія.—Парижъ.—Русскія тѣни.—Англія.—*On Liberty.*—Ворцель.—*Patet V. Petscherine.*—Робертъ Оуэнь.—Дуэль.—Бартелеми.—*Samicia Rossa.*—Апогей и Перигей.—В. И. Кедръевъ.—Общій фондъ.—М. Б. и Польское дѣло.—Пароходъ *Ward-Jackson, R. Weterli et C^o.*—*Lapinski-colonel.*—*Palles-aide de camp.*—Безъ связи.—*Venezia la Bella.*—*La Belle France.*—**Приложенія:** Примѣчанія.

ТОМЪ IV. Публицистическія и критическія статьи: Знаменитые современники. Гофманъ.—Рѣчь, сказанная при открытіи Вятской публичной библиотеки 6-го декабря 1837 г.—Отдѣльныя мысли.—Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ.—Рассказы о временахъ Меровингскихъ.—По поводу одной драмы.—Москва и Петербургъ.—Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ.—*Дилетантизмъ въ наукѣ.*—Публичныя чтенія г. Грановскаго.—Письмо первое о „Москвитянинѣ“ 1845 г.—Москвитянинъ и вселенная.—Умъ хорошо, а два лучше.—Путевыя записки Вѣдрина.—*Письма объ изученіи природы.*—Публичныя чтенія г-ва профессора Рулье.—Истинная и послѣдняя эмансипація рода человѣческаго отъ злѣшихъ враговъ его.—Капризы и Раздумье.—Станція Едрово.—Нѣсколько замѣчавій объ историческомъ развитіи чести.—Москвитянинъ о Коперникѣ.—Оба лучше.—Изъ писемъ путешественника.—Изъ воспоминаній объ Англіи.—Русская колонія въ Парижѣ.—Опытъ бесѣды съ молодыми людьми.—Разговоръ съ дѣтьми.—**Приложенія:** Примѣчанія.

ТОМЪ V. Публицистическія и критическія статьи (Продолженіе): *Письма изъ Франціи и Италіи.*—*Съ того берега.*—Русской на-

родъ и социализмъ. — Крещеная собственность. — Старый мѣръ и Россія. — Юрьевъ день! Юрьевъ день! — Еще варіація на старую тему. — Тишніе люди и желчевики. — Старика Вѣдрина крѣпкое до польскихъ братій словцо. — Концы и Начала. — Императоръ Александръ I и В. Н. Каразинъ. — Еще разъ Базаровъ. — Къ старому товарищу. **Приложенія: Примѣчанія.**

ТОМЪ VI. Дневникъ. — Статьи изъ „Колокола“: Что сдѣлано для освобожденія крѣпостныхъ людей. — Революція въ Россіи. — Лобное мѣсто. — Западныя книги. — Что значитъ судъ безъ гласности. — „На дняхъ мы получили письмо...“ — Черезъ три года. — Розги и розги!.. — Матеріалы для некролога Авраамія Сергіевича Норова. — Тамбовское дворянство. — Дворянство Сумскаго уѣзда. — 1 іюля 1858 — Опять надежды. — А. Ивановъ. — Насъ упрекають. — Америка и Сибирь. — Обвинительный актъ. — Россія и Польша (отвѣтъ автору статьи о русской типографіи въ Лондонѣ). — О бородѣ А. А. Иванова. — Генералы отъ цензуры и В. Гюго на батарее Сальванди. — Отвѣтъ русской дамѣ. — Война. — *Very dangerous!!!* — На углу. — Выговоръ по службѣ. — Миръ — Русскіе вѣмцы и нѣмецкіе русскіе. — Россія и Польша. — (второе письмо). — Библіотека дочь Сенковского. — Записки И. В. Лоухина. — Розги долой! — Духу не стало! — Манифестъ. — *Repetitio est mater studiorum.* — *Mortuus plango.* — М. А. Вакунинъ. — Мясо освобожденія. — Сенаторамъ и тайнымъ совѣтникамъ журнализма. — Личное объясненіе. — Дуриныя оружія. — Письмо къ г. г. Каткову и Леонтьеву. — Съ континента. — Ввозъ нечистотъ въ Лондонъ. — Изъ заведенія А. А. Краевского. — Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ. — Письма къ будущему другу. — Письма къ противнику. — П. Ж. Прудонъ. — **Приложенія: Примѣчанія.**

ТОМЪ VII. Переписка А. И. Герцена съ Н. А. Захарьиной.
Приложенія: Примѣчанія. — Указатель.

ПОВѢСТИ, РАЗСКАЗЫ И РОМАНЫ.

Легенда о св. Теодорѣ.

Tu, e non è...
Non sarà tutto tempo senza reda...
Del Purgatorio.

(Посвящено сестрѣ Наташи).

Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus.
Ер. ad Hebr. Cap. 13, v. 14.

I.

Якоже отребилъ міру быхомъ, всѣмъ
попраніе доселѣ.

Къ Коринѣ. I посл., гл. IV.

Нѣсколько мѣсяцевъ тюрьмы, нѣсколько мѣсяцевъ безъ открытаго неба, безъ чистаго воздуха!.. Тюрьма не есть уединеніе; чувство, что человѣкъ выброшенъ изъ общества, отрѣшенъ отъ всѣхъ его условій, давить. Душа сосредоточивается, занимаетъ наименьшее пространство, уменьшается.

Томно шло время и однообразно до крайней степени, — сутки потеряли свое измѣреніе: всѣ 24 часа превратились въ одну тяжелую сѣрую массу, въ одинъ осенній вечеръ; изъ моего окна видны были казармы, длинныя, безконечныя казармы, и надъ ними голубая полоса неба, изрѣзанная трубами и обезцвѣченная дымомъ. Наконецъ, потребность воздуха, солнца, неба превратилась въ болѣзнь, въ тоску. Мнѣ позволили гулять. Съ какимъ искреннимъ удовольствіемъ вышелъ я на печальный дворъ, отовсюду обставленный солдатами, чистый, плоскій, выметенный, безъ травы, безъ зелени! Правда, по угламъ стояли деревья, но они были печальны: мертвые листья падали съ нихъ, и они казались мнѣ то потерянными бѣдными узниками, грустящими, оторванными отъ родныхъ лѣсовъ, то часовыми, которые безъ смѣны стерегутъ заключенныхъ. Удовольствіе мое тускло, темнѣло; къ этому прибавилась еще причина: кто не былъ въ тюрьмѣ, тотъ

врядъ ли пойметъ чувство, съ которымъ узникъ смотритъ на своихъ провожатыхъ, которые смотрятъ на него какъ на дикаго звѣря. Я хотѣлъ уже возвратиться въ свою маленькую горницу, хотѣлъ опять дышать ея сырымъ, каменнымъ воздухомъ, и съ какою-то ненавистью видѣлъ, что и это удовольствіе, къ которому я такъ долго приготавлился, отравлено, какъ вдругъ мнѣ попалась на глаза бесѣдка на краю огады.

— Можно идти туда?

— «Я думаю», отвѣчала офицеръ послѣ нѣкотораго молчанія.

Я взошелъ и чуть крикъ восторга не вырвался изъ моей груди: пространство болѣе, нежели на двадцать верстъ, раскрывалось внезапно, нечаянно. Кто не знаетъ чувствованій, съ которыми смотритъ человѣкъ вдаль съ горы? Я самъ часто испытывалъ ихъ; но тутъ явилось что-то новое въ моей груди, сжатой каменными стѣнами, въ груди колодника...

Вся Москва, весь этотъ огромный, пестрый гигантъ, распростертый на сорокъ верстъ, блестящій своею чешуею, вся эта необъятная узорчатая друза кристалловъ, неправильно освѣвшихся!.. Я всматривался въ каждую часть города и въ каждой грудѣ камней находилъ знакомаго, пріятеля, котораго давно не видалъ. Вотъ Кремль, вотъ Воспитательный домъ, вотъ крыша театра, вотъ такая-то церковь... Осеннее солнце, «какъ итальянская луна», не ослѣпляло. Полосами была Москва наводнена его свѣтомъ, полосами была темна; и эти полосы перебѣгали: Москва, казалось, то улыбается, то браздитъ морщинами чело свое. Вся московская жизнь представлялась мнѣ ясно, живо, со всей пустой шумливостью и дѣятельностью безъ цѣли; я почти зналъ, что дѣлается вотъ подъ этой зеленой крышею большого дома, на который Москва не позволяетъ дунуть вѣтру, и подъ досчатымъ навѣсомъ этой хижины, которую Москва толкаетъ въ рѣку. Вспомнилась прошедшая жизнь. И святые минуты чистыхъ восторговъ, и буйныя вакханаліи, и нѣмая боль скуки, и ядовитыя объятія разврата,—все, все видѣлось мнѣ изъ кирпичныхъ массъ.

Не знаю, долго ли бы простоялъ я тутъ, или долго ли бы мнѣ позволили простоять; но раздался густой, протяжный, одинокій звукъ колокола съ другой стороны. Звукъ колокола заставляетъ трепетать: онъ слишкомъ силенъ для человѣческаго уха, слишкомъ силенъ для сердца; въ немъ есть доля угрызенія совѣсти и печальный упрекъ; онъ зоветъ, но не проситъ; онъ напоминаетъ о небѣ, но пренебрегаетъ землею.

Доселѣ я не обращалъ вниманія на другую сторону: Москва поглотила меня. Страшный звукъ мѣди среди этой тишины заставлялъ обернуться. Все перемѣнилось. Печальный, уединенный Спмоновъ монастырь съ черными крышами, какъ на гробахъ, съ

мрачными стѣнами стоялъ на обширномъ полѣ; небольшая рѣка тихо обвивала его, не имѣя силъ подвинуть нѣсколько остановившихся барокъ; кое-гдѣ курились огоньки и около нихъ лежали мужики, голодные, усталые, измокшіе,—и голосъ мѣди вырывался изъ гортани монастыря. Какъ непохожъ Симоновъ монастырь, заключенный со всѣхъ сторонъ въ ограды, на Москву, раскрытую со всѣхъ сторонъ! Въ немъ было столько тишины и спокойствія, столько святаго и поэтическаго... Печаленъ видъ его и грустенъ его колоколь; но онъ зналъ лучшія времена, онъ былъ знаменитъ и славенъ, торжественно звалъ его колоколь тогда; теперь ежели бы онъ не напомнилъ о себѣ, можетъ быть, я не замѣтилъ бы его. Старинная архитектура указывала время его славы; и онъ не хочетъ переодѣться, такъ, какъ многія желаютъ умереть въ вѣнчальномъ платьѣ. Тогда ему еще нужны были стѣны для защиты *отъ врага*. Счастливое время! На что теперь эти стѣны, эти башни? Врагъ умѣетъ ихъ миновать, умѣетъ вездѣ найти свою жертву. И не въ твоихъ ли оградахъ лежитъ *юноша, который такъ много жилъ въ своей короткой жизни?* Тогда врагъ являлся въ видѣ вооруженнаго Савла,—можно было ждать обращенія; теперь въ видѣ руды,—одна надежда на самоубійство.

Возвратившись въ мою горницу, я вспомнилъ всю блестящую эпоху монастырей. Живо представились мнѣ эти люди съ пламенною фантазійей и огненнымъ сердцемъ, которые проводили всю жизнь гимнами Богу, которыхъ обнаженные ноги сжигались знойными песками Палестины и примерзали ко льдамъ Скандинавіи. Эта жизнь для идеи, жизнь для водруженія креста, для искупленія челоуѣка казалась мнѣ высшимъ выраженіемъ общественности: ея нѣтъ болѣе и она невозможна теперь. Тогда были вѣка, умѣвшіе вѣровать, умѣвшіе понимать власть идеи, умѣвшіе покоряться, умѣвшіе молиться въ храмѣ и умѣвшіе воздвигать храмы. Великая кисть художника увѣковѣчила на стѣнахъ Ватикана торжественную минуту силы идей: рабъ рабовъ Божіихъ отираетъ сандалии свои о вѣнчанное чело цезаря... И тутъ же, казалось, я слышалъ свистъ и смѣхъ, съ которыми встрѣтило XIX столѣтіе религиозное направленіе.

Забудемте, ради Бога, забудемте нашъ вѣкъ, переселимтесь въ эти времена тихаго созерцанія, въ эти времена неба на землѣ!

II 1).

Аминь, глаголю тебѣ: днесь со мною будещи въ раи.

Лук., гл. XXIII, ст. 43.

Юноша въ простой одеждѣ вышелъ изъ городскихъ воротъ Александріи и скорыми шагами пробѣгалъ некрополисъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія ни на дивныя пещеры, изсѣченныя въ камнѣ, ни на дивныя картины, покрывавшія ихъ стѣны.

Эта невнимательность отнюдь не происходила отъ одной привычки, приучающей человѣка безъ удивленія смотрѣть на все, но отъ того, что онъ былъ занятъ какою-то мыслію, которая ревниво отталкивала весь міръ. Сильныя страсти боролись на его лицѣ; мертвая блѣдность покрывала щеки; иногда слеза тихо скатывалась и онъ не замѣчалъ ея. Бѣлое лицо его было чрезвычайно нѣжно, и, когда онъ отбрасывалъ рукою кудри, падавшія ему на глаза, его можно было принять за дѣву. Большіе черныя глаза выражали особое чувство грусти и задумчивости, которое видимъ въ юныхъ лицахъ жителей юга и востока, столь непохожее на мечтательность въ очахъ сѣверныхъ дѣвъ: тутъ—небесное, тамъ—рай и адъ чувственности. Во взорахъ юноши проглядывалъ фанатизмъ, что то восторженно-религіозное, принадлежащее его родинѣ, колыбели христіанскаго аскетизма и кенобитіи отшельниковъ ѳиваидскихъ, гдѣ самое умерщвленіе страстей превратилось въ страсть. Удалившись нѣсколько отъ города, юноша остановился, долго слушалъ исчезающій раздробленный голосъ города и величественный единый голосъ моря 2). Потомъ, какъ

1) Легенда, предлагаемая здѣсь, находится въ житіи святыхъ за сентябрь мѣсяць. Для чего же я перешла ея? Гёте говоритъ: «Nun erzählt die Gesellschaft dem Wunsche gefällig jene Legende... Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen, wenn sie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche kommen nicht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen wochten, dass jedes Gemüth einen andern Antheil der Begebenheit genommen (Sanct. Pastor. Fest zu Bingen. 23 Ap. XLIII B.)».

«Теперь, согласно желанію, общество услужливо рассказываетъ легенду... Въ это-то время, когда она входитъ изъ устъ въ уста, и познается настоящій смыслъ саги. Противорѣчія не возникаютъ, но являются безконечныя варианты вслѣдствіе того, что каждый рассказывающій, смотря по своему настроенію, различно относится къ передаваемому имъ событію».

Метафраза писалъ мартирологъ при Константиинѣ Багрянородномъ, — теперь XIX вѣкъ!

2) Le Seigneur...

Mêle éternellement dans un fatal hymne
Le chant de la nature au cri du genre humain.

V. Hugo.

«Господь безконечно слышать въ роковомъ гимнѣ лѣніе природы съ крикомъ рода человѣческаго».

будто укрѣпленный этой симфонією, остановилъ свой влажный взоръ на едва видѣющейся Александріи.

Александрія—Греція, возвратившаяся въ Египеть, памятникъ славы сына Юпитера Аммона, надгробный памятникъ Клеопатры—засыпала въ золотой пыли, въ туманѣ свѣта и жара. Усталое солнце только погружало лицо свое въ Средиземныя волны, раскаяя длинную полосу на морѣ, которое готово было вспыхнуть. Нѣсколько забытыхъ, опоздалыхъ лучей солнца играли на крестахъ храмовъ христіанскихъ. Александрія была тогда поклонница Христова, придавая чистой религіи его свои неоплатоническіе отгѣнки и свою мистическую теургію Прокла и Аполлонія. Уже храмъ Сераписа, Кѣльнскій соборъ міра языческаго, съ своими сводами, галлереями, портиками, безчисленными колоннадами, мраморными стѣнами, покрытыми золотомъ, давно былъ разрушенъ, и колоссальная статуя Сераписа, на челѣ которой останавливался солнечный лучъ, не смѣя миновать его, была разбита и превращена въ пепель. Но Александрія, еще сильная и могущественная, не лишенная прелестей, коими ее надѣлилъ Динократь, прелестей, коими надѣлила ее Клеопатра, наряжая себя, пышно и сладострастно смотрѣла на юношу, не предвидя, что скоро превратится въ Искандери арабовъ.

Грустенъ былъ взоръ юноши. Онъ говорилъ: мы расстаемся, я болѣе не гражданинъ твой... Но ему было жаль Александріи: тутъ онъ узналъ жизнь, тутъ онъ любилъ, тутъ, можетъ быть, былъ любимъ, тутъ... Какое-то страшное воспоминаніе пролетѣло по лицу юноши, какое-то угрызеніе совѣсти, и онъ, обратясь къ востоку, бросился на колѣни, и горячія слезы раскаянія сопровождали молитву его. Она была безъ словъ, безъ мыслей, можетъ быть, но она была истинна и глубока; мысли и слова отняли бы всю духовность ея, такъ, какъ они ее отнимаютъ у музыки. Чиста и прелестна молитва невинности, какъ весеннее утро, какъ вода нагорнаго потока; но въ ней есть чувство собственнаго достоинства, требованіе награды. Дѣва чистая называетъ себя невѣстою Христа, невѣстою Того, котораго Соломонъ называлъ женихомъ церкви. Не такова молитва преступнаго: рыдающій, поверженный въ прахъ, онъ алчетъ одного прощенія; его молитва раздираетъ его душу; въ ней вся его надежда и вмѣстѣ отчаяніе; онъ чувствуетъ свою недостойность, но чувствуетъ и безмѣрную благодать Бога, онъ боится, трепещетъ, уничтожаетъ себя и возрождается, живетъ токмо въ немъ, въ Искупителѣ рода человѣческаго. Сильна и пламенна молитва преступника, какъ потокъ каленаго металла, бросаемаго изъ огнедыщащаго жерла къ небу. И не для грѣшника ли создана молитва?.. Праведному—гимнъ.

«Я пришелъ въ домъ твой, и ты воды мнѣ на ноги не дашь,

а она слезами облила мнѣ ноги и волосами головы своей отерла, а потому сказываю тебѣ: прощаются грѣхи ея многіе за то, что она возлюбила много».

Окончивъ свою молитву, юноша всталъ, прощальнымъ взоромъ поцѣловалъ Александрію и пошелъ далѣе. Темнѣло, и онъ, углубляясь въ плоскую даль пустыни, едва былъ виденъ и исчезъ наконецъ.

На другой день проходилъ онъ къ вечеру дикое и пустынное мѣсто и, казалось, еще не отдыхалъ: шаги сдѣлались тише, дыханіе тяжелѣе. Въ темнотѣ можно было разглядѣть массу еще темнѣйшую, которая грубо и тяжело вырѣзывалась на небосклонѣ. Увидѣвъ ее, юноша собралъ послѣднія силы, удвоилъ шаги и скоро подошелъ къ каменной оградѣ. Ворота были заперты. Нѣсколько разъ подымалъ онъ руку, чтобы постучаться въ окошко привратника; но рука не поднималась,—видно было, что поступокъ, имъ предпринимаемый, слишкомъ измѣняетъ всю жизнь его, слишкомъ глубокимъ оврагомъ отрѣзываетъ все прошедшее отъ всего будущаго. Раскаяніе, негодованіе на свою слабость показались на его чертахъ и онъ коснулся до окна. Трепетъ пробѣжалъ по его членамъ; казалось, что стучать у него въ сердцѣ, и сѣдая голова привратника два раза повторяла уже свое привѣтствіе сонными устами и спрашивала о причинѣ поздняго прихода, прежде нежели юноша вымолвилъ: «Отецъ мой, иди къ игумну, скажи, что у воротъ стоитъ презрѣнный грѣшникъ, что онъ умоляетъ принять его въ монастырь, что онъ пришелъ обмыть ваши святые ноги и работать и трудиться».

Сѣдая голова исчезла. Слова какой-то молитвы коснулись ушей юноши, потомъ слышались тихіе шаги, которые звучали по камню; потомъ все умерло и ничего не было слышно... Каждый шагъ чувствовалъ юноша въ своей груди, — онъ дѣлалъ его на поприщѣ имъ избранномъ,—и мысль, къ которой онъ давно приготовлялся, теперь, казалось, была слишкомъ сильна для его груди. Не такъ ли трепещетъ человѣкъ, ведя къ алтарю свою возлюбленную?

Юноша бросился на большой камень; волненіе его утишилось, высокое чувство вѣры восходило подобно солнцу изъ возмущенныхъ волнъ, освѣщая ихъ, согрѣвая, передавая имъ свой свѣтъ. Онъ отрѣшался отъ міра земного, — онъ слышалъ гласъ Иисуса, призывавшій его туда, въ обитель любви и надежды, туда, гдѣ поютъ Бога чистые ангелы, гдѣ души праведныхъ Его видятъ, гдѣ между ними и покаявшіеся грѣшники... Долго сидѣлъ онъ неподвиженъ, склонивъ голову на обѣ руки, по коимъ разсыпались его кудри. И въ это время онъ, казалось, гармонировалъ и съ мертвою тишиною пустыни, и съ мрачною недвижностью мо-

настыря, и съ сухими, печальными растеніями береговъ Африки, и всего болѣе съ своею родиной — Египтомъ, который однажды жилъ, остановился на своихъ обелискахъ и пирамидахъ и стоитъ съ замершею на устахъ нѣмою рѣчью іероглифовъ.

Проходятъ часы; нѣтъ привратника. По временамъ пронзительный вой шакала раздается протяжно и длинно, не встрѣчая препятствій, подобно голосу военной трубы: онъ ищетъ жертвы и вторить, не находя ея. Юноша ничего не замѣчалъ. Но вотъ вблизи его быстрыми скачками, едва дотрогиваясь до земли, провесся барсъ. Юноша содрогнулся и нѣмое гнетущее чувство одиночества овладѣло имъ.

Ужасно чувство, съ которымъ человѣкъ видитъ, что онъ оставленъ всѣмъ свѣтомъ, когда онъ невольно обращаетъ умоляющій взоръ вокругъ себя, зная, что никто не подастъ ему помощи, и когда взоръ его встрѣчаетъ, вмѣсто спасителя, ярящіяся волны океана, улыбающійся взглядъ инквизитора или взглядъ безъ выраженія палача.

Первое движеніе юноши было бѣжать, куда, — онъ самъ не зналъ; но вѣра въ Провидѣніе остановила его. Онъ осѣнилъ себя крестомъ и спокойно сѣлъ на свой камень. Христіанинъ побѣдилъ человѣка. Ночь прошла, зардѣлъ востокъ, но привратникъ не являлся. Ужели онъ не исполнилъ просьбы юноши? Ужели игуменъ не спѣшитъ утѣшить страждущаго сына?

III.

Двѣ любви создали двѣ вѣси: любовь къ себѣ до презрѣнія Бога — весь земную; любовь Бога до презрѣнія себя — весь небесную. С в. Августи н ѣ .

Въ бѣдной кельѣ, сложенной изъ огромныхъ камней, при скупомъ свѣтѣ треножной лампы, на большомъ четвероугольномъ кускѣ гранита сидѣлъ монахъ лѣтъ за пятьдесятъ. Передъ нимъ лежалъ развернутый свитокъ Августина. Одна рука поддерживала голову, покрытую черными волосами, перемѣшавшимися съ сѣдиною, другой онъ придерживалъ свитокъ. Лицо его было блѣдно и желто; глубокія морщины на лбу и пламенные глаза показывали, что въ душѣ его горѣли страсти сильныя и что доселѣ онѣ не потухли. Рѣзкое лицо и болѣе строгое, нежели кроткое, могло показаться холоднымъ съ перваго взгляда, но только съ перваго. Онъ родился въ Антиохіи и судьба готовила ему съ раннихъ лѣтъ путь особый отъ пути, по которому она гуртомъ толкаетъ людей. Онъ не зналъ любви матери, ни ея нѣжной ласки,

отъ которой смягчится сердце: родившись, былъ онъ убійцею ея. У него не было ни сестеръ, ни братьевъ. Отецъ, погруженный въ торговые обороты, богатый и надменный, рѣдко жившій въ Антиохіи, былъ для него посторонній. Словомъ, узы родства, тысячью цѣпями привязывающія человѣка къ домашней жизни, къ маленькому кругу дѣйствій, никогда ему не были извѣстны. Сильная, огненная душа юноши, отъ природы чувствительная и возвышенная, жаждала симпатіи, любви, и находила одинъ холодъ дѣйствительнаго міра. Мрачность черными струями разливалась по его характеру; онъ сталъ скрытенъ, задумчивъ, искалъ отрады въ чтеніи поэтовъ Греціи и не находилъ ея. Свѣтлое, яркое небо Эллады, высокое чувство красоты и ея красота ваятельная худо согласовались съ его больной душою. Страшно жжетъ душу огонь ея, когда нѣтъ отверстій, куда бы онъ вылился, когда нѣтъ вѣры, которая одна можетъ обратить его къ небу, когда нѣтъ любви, которая одна можетъ благотворнымъ сдѣлать пламень его.

Долго блуждалъ онъ, не приставаая никуда и терзая свою душу потребностями, которымъ не находилъ удовлетворенія. Перебѣгая отъ предмета къ предмету, онъ попалъ на христіанскихъ писателей. Здѣсь ему раскрылся новый міръ, исполненный обширности, глубины и силы. Одаренный восточною фантазіей, онъ увлекся африканскимъ краснорѣчіемъ Оригена и Тертуліана: наполнилась пустота въ душѣ, сильная вѣра очистила огонь, ее пожирившій. Но что болѣе поразило его,—это сами христіане, дѣятельность ихъ для развитія идеи, безпредѣльная вѣра въ нее и чистое, святое самоотверженіе. Надобно вспомнить, что тогда было время великой борьбы противъ аріанизма. Никогда рвеніе христіанскихъ учителей не было обширнѣе. Весь міръ участвовалъ въ спорахъ и гонцы слѣзили по всему міру передавать мысль Августина, слово Аѳанасія. Эта дѣятельность съ колоссальною цѣлью пересоздать общество человѣческое, пересоздать самаго человѣка, возратить его Богу и черезъ него всю природу, опираемая на божественное основаніе Евангелія, волновала юношескую душу. Онъ увидѣлъ, что нашелъ свое призваніе, заглушилъ всѣ страсти, питалъ одну, поклялся сдѣлать изъ души своей храмъ Христу, то-есть храмъ человѣчеству, участвовать въ апостольскомъ посланіи христіанъ, — и сдержалъ слово. Въ груди сильной можетъ быть одна страсть! Его ничто не привязывало ни къ родительскому дому, ни къ родинѣ. 19-ти лѣтъ бѣжалъ онъ въ Грецію. Много лѣтъ провелъ въ кельяхъ учителей, собирая манну ихъ словъ, учась ихъ примѣромъ и утѣшая ихъ строгостью своихъ правовъ. Наконецъ, учителя признали его силу, благословили его и велѣли идти, проповѣдуя слово Божіе. Мечтая о началѣ бже-

ственного Сіона, явился онъ къ людямъ, и человѣчество представилось ему худшею частью своею—Византіею. Византія, которой гнѣніе началось вмѣстѣ со славою, развратная, гнусная, должна была ужаснуть юношу. Съ негодованіемъ видѣлъ онъ, что христіанство тамъ ограничивается одними преніями безъ вѣры, что оно такъ же не идетъ къ Византіи, какъ статуя, которую Констансъ хотѣлъ туда перевезти изъ Рима и за которую боялся Горландтъ, что ей будетъ тѣсно.

Противоположность чистыхъ, высокихъ учителей, простиравшихъ руку всѣмъ слабымъ и труждающимся и часто отнимавшихъ ее отъ сильныхъ и богатыхъ, съ міромъ, погрузившимся въ пороки, съ которыхъ спала даже завѣса стыда, заживо разлагающимся, сдѣлала его несправедливымъ. Онъ видѣлъ одно цѣлое, хорошее, неповрежденное въ мірѣ духовенство; ему хотѣлъ бы онъ отдать и вѣнецъ, и порфиру; въ немъ полагалъ всѣ свои надежды; въ его апостольскомъ призваніи видѣлъ возможность спасти людей и обратить ихъ. Онъ оставилъ Византію. Римъ, разрушаемый Аларихомъ, страшилъ его; онъ не зналъ, что тамъ нашелъ бы зародышъ исполненія своей мысли, — и удалился въ пустыню Эивайдскую. Здѣсь, среди аскетизма и восторженности, среди людей, избранныхъ Богомъ, еще больше окрѣпилъ его характеръ и еще больше возгнулался онъ міромъ.

Первое желаніе, явившееся въ груди его, было удаленіе въ пустыню, въ которой бы можно было забыть все и помнить одного Христа; но это худо согласовалось съ мыслью распространенія слова Божія. Не отдѣльность нужна для развитія идеи, а совокупность. Онъ возвратился на родину, роздалъ бѣднымъ богатое наслѣдство свое и вступилъ въ Октодекадскій монастырь. Вскорѣ братія избрала его игумною, и онъ былъ пастырь строгій: поучалъ примѣромъ, наказывалъ всякую слабость и отрѣзывалъ болѣе и болѣе монаховъ отъ міра.

Монастырскій чинъ и устройство христіанскаго духовенства явило дивный примѣръ согласованія двухъ идей, повидимому враждующихъ,—іерархіи и равенства, въ то время, какъ политическая исторія человѣчества показываетъ одно непрерывное стремленіе къ этому согласованію, стремленіе несчастное, ибо способы, для этого употребляемые, бѣдны и мелки. Имѣя такой примѣръ передъ глазами, люди не умѣли понять его...

Вотъ къ этому монаху поздно ночью отворилъ дверь привратникъ. Сперва онъ постучалъ въ нее, но, не слыша отвѣта и думая, что игуменъ спитъ, онъ вошелъ въ келью. Игуменъ, не замѣчая его, продолжалъ чтеніе: онъ былъ въ восторгѣ, глаза его горѣли юношескимъ пламенемъ, въ лицѣ было столько торжественности, что, казалось, оно распространяетъ лучезарный свѣтъ

и что ему, какъ Моисею, нужно покрывало. Красота восторга лучше всѣхъ красотъ человѣческихъ, ибо тогда человѣкъ перестаетъ быть земнымъ и начинаетъ быть небеснымъ; для нея не нужно ни юности, ни украшеній. Наконецъ, онъ поднялъ голову и увидѣлъ пришедшаго.

— У воротъ, св. отецъ, сказалъ привратикъ, благословенный игумень, стоять юноша, просить, чтобъ ты принялъ его въ монастырь; онъ печаленъ, слезы льются изъ его очей, говорить о какомъ-то преступленіи. Прикажешь ли пустить его?

Игумень молчалъ. Черты его измѣнялись, теряли свою торжественность и превращались въ холодное, недовѣрчивое и строгое выраженіе, съ которымъ онъ смотрѣлъ на несовершенный міръ; но душа его отстала,—она еще не пришла въ обыкновенное положеніе. «Юноша... — говорилъ онъ самъ съ собою... Прелестное время... Тогда рождаются высокія мысли... Гдѣ-то теперь другъ моей юности?... И воспоминаніе чего-то, давно прошедшаго, навертывалось въ умъ его и манило къ себѣ; но онъ былъ царемъ души своей, остановилъ порывъ и продолжалъ: «...Минутная злоба на міръ, мечтаемое отчаяніе, которое такъ любятъ юноши,— вотъ что ихъ гонить, а пуще всего гордость. Гордость... Ею владѣетъ нашъ врагъ. Всякое преступленіе скорѣе гордости искупится. Не уничтожить себя во Христѣ хотятъ они, а возвыситься надъ другими».

Все это говорилъ онъ въ полслуха, потомъ, обращаясь къ привратнику:

— «Старикъ, поди и лягъ спать. Отвѣта не давай ему, не выходи до утра. Ежели останется, ежели смиренно перенесетъ это униженіе, тогда увидимъ».

— А дикіе звѣри? — замѣтилъ съ жалостливымъ видомъ старикъ.

— «Они не растерзали Даніила въ пещерѣ львиной».

— Но холодъ ночей?

— «Вседержитель умѣетъ хранить избранныхъ, сынъ мой. Да будетъ на тебѣ благословеніе Божіе».

Привратникъ вышелъ, а игумень, развлеченный его приходомъ, принялся за свитокъ. Но чтеніе не шло впередъ: то трещала свѣтяльня лампы, то горѣла очень тускло, — онъ долженъ былъ прерываться и поправлять. Но это происходило отъ другой причины: его занималъ юноша. Какъ искренно, горячо желалось ему, чтобъ онъ перенесъ униженіе, чтобъ остался вѣренъ избранному поприщу; тогда онъ перельетъ въ него всю душу: ему нуженъ чистый, юный человѣкъ. И Богъ знаетъ, какія надежды онъ строилъ на немъ... Но еще искусъ его не долженъ былъ кончиться одною ночью: нѣтъ, скорѣе онъ лишился бы осталь-

ныхъ братій, нежели въ одной іотѣ избавить пришельца отъ цѣлаго ряда трудовъ и униженій.

IV.

Шедше убо, научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Матѣ. гл. XXVIII, ст. 19.

О семь разумѣють вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою.

Іоан. гл. XIII, ст. 35.

Солнце уже склонилось къ западу, пышная природа юга была во всей красѣ своего вѣчнаго лѣта, когда въ длинной платановой аллеѣ, обвитой каменной оградой монастыря, показался игумень съ юнымъ другомъ своимъ Феодоромъ. Уже неоднократно изливалъ онъ долго страдавшую душу свою въ этотъ чистый сосудъ, сосудъ церковный, Божій. Старецъ радовался, найдя челоуѣка, который такъ вполне понимаетъ его. Въ сотый разъ повѣствовалъ онъ ему свою жизнь и свои надежды, и въ сотый разъ съ умиленіемъ и благодарностью слушалъ юноша.

Они сѣли на простой скамьѣ, отѣненной широкими листьями пальмы. Каленый воздухъ наносилъ дивный запахъ алоэ и лимонныхъ деревьевъ. Огромные цвѣты магнолій, прощаясь съ солнцемъ, хвастались своими красивыми вѣнчиками. Ручныя антилопы спокойно щипали траву. Пунцовые ориксы и зеленые голуби перелетали съ вѣтки на вѣтку. Старикъ, казалось, помолодѣлъ и такимъ образомъ продолжалъ свой разговоръ:

«Что можетъ быть выше призванія апостольскаго?.. Съ живымъ словомъ въ душѣ, съ пламенной вѣрой, съ пламенной любовью ко всему челоуѣчеству и къ каждому челоуѣку идетъ онъ въ общество людей. Для ихъ блага переноситъ гоненія и страданія; въ ихъ души, не отверстыя истинѣ, зароняетъ слово вѣры. И какое наслажденіе, когда слово не погибнетъ, разовѣется! Сильно живое слово, — ничто не остановитъ его. Тщетно земной челоуѣкъ противодѣйствуетъ своему спасенію, — оно увлечетъ его. Посмотри, какъ челоуѣкъ усиливается воздвигнуть башню Вавилонскую и какъ не можетъ ничего сдѣлать! Римъ, твердѣйшій столпъ храма земного, сильнѣйшее проявленіе челоуѣка Адамова, послѣдняя твердыня его, развѣ не нашелъ зародышъ своей гибели въ самомъ развитіи своемъ? Бореніе составляло его жизнь, ибо бореніе назначено въ удѣлъ Адаму, — потъ, и потъ кровавый. Но какъ въ Адамѣ всѣ умирають, такъ во Христѣ всѣ оживуть. Господь примиряетъ съ собою челоуѣка, и чѣмъ же? Онъ сниз-

шелъ до человѣка, чтобы человѣка возвысить до Бога. Море бла-
гости и милосердія, онъ не хочетъ прямо простить человѣка: это
уронило бы падшаго, грѣховнаго; онъ даетъ ему самому средство
искупленія во Христѣ ¹⁾. И Христось, единый правый, стра-
даетъ за всѣхъ виновныхъ. Весь земная падаетъ, весь небесная
создается. Что за торжественный день для міра, когда онъ огла-
сился въ первый разъ Евангеліемъ! Міръ, истерзанный войною,
услышалъ слово мира, міръ попранный—слово свободы, міръ не-
нависти—слово любви, міръ невѣрія—слово вѣры. Всѣмъ гово-
рило Евангеліе: исчезли племена и состоянія, фарисей и садукей
отвергнуты, эллинъ и іудей приняты. Всѣхъ манило оно въ лоно
Божіе, всѣхъ—въ объятія братства. Первый Адамъ сталъ душою
живущей, послѣдній Адамъ есть духъ животворящій. И чтобы
человѣкъ остался безотвѣтенъ гласу апостольскому,—никогда, ни-
когда! Нѣтъ, слишкомъ мрачно смотрѣлъ любимецъ его съ Пат-
моса, когда, увлеченный своимъ восторгомъ, онъ писалъ огнен-
ныя строки Откровенія. Сіонъ Божій, Весь Христова, еще здѣсь,
на семь мірѣ осуществится, она уже началась и вспять идти не
можетъ: «се дахъ передъ тобою двери отверсты и никтоже мо-
жетъ затворити ихъ»... Палъ Вавилонъ, палъ Вавилонъ, и не
воскреснетъ болѣе. Палъ великій городъ, облеченный въ виссонъ,
и порфиру, и багряницу, украшенный золотомъ и камнями, и пла-
чуть о немъ купцы, издали всматриваясь въ развалины города,
гдѣ они торговали и мвррой; и фуміамомъ, и конями, и тѣлами,
и душами человѣческими. Силенъ врагъ, живущій въ развали-
нахъ, но онъ побѣжденъ, и міръ, какъ Савль, сдѣлается изъ го-
нителя апостоломъ, изъ война крови—воиномъ Христовымъ. По-
няты мнѣ грустные звуки, вырывающіеся изъ души Іоанна,—
его пламенный нравъ не умѣлъ ждать; но не правъ онъ: развѣ
не при немъ началась битва, на которую ангель звалъ врановъ
пожирать трупы сильныхъ? И онъ, нѣкогда склонявшій главу на
грудь Его, уже видѣлъ потрясенный Римъ словомъ Евангелія. И
кто же потрясли его? Эти гонимые, униженные, отребіи міру, ски-
тающіеся, нагіе, въ то время, какъ о силу его раздробились на-
роды всей земли,—оттого, что голосъ ихъ былъ голосъ Бога,
голосъ человѣчества, оттого, что они душою предали себя Хри-
сту и своему призванію. Этого голоса не сковали темницы, не
казнили сѣкиры, не растерзали тигры. Что противъ этой любви
и вѣры могли легіоны, и патриція, и цезари? Эти люди вѣры
были сильнѣе сильныхъ міра сего, которые съ улыбкою презрѣ-
нія говорили о назарянахъ: «Ничего не имѣя, по словамъ Пав-
ла, и всѣмъ обладая».—Сынъ мой, несмотря на то, что я горько

¹⁾ Это мысль Данта.

обманулся въ людяхъ, я убѣжденъ въ скоромъ утвержденіи царства Христова. Священныя минуты, когда явилась мнѣ впервые мысль этого Сіона, когда я прозрѣлъ ее въ Евангеліи, когда такъ близко казалось мнѣ осуществленіе ея!.. Насталъ для человѣчества день исхожденія изъ Египта. Труденъ путь: и степи, и голодь, и жарь; но снова раздѣлитъ Іегова намъ Чермное море и введетъ въ землю обѣтованную. Мы, можетъ, погибнемъ въ пути, но они перейдутъ. Не достаточно ли одной этой мысли, чтобы съ сладкою надеждой явиться предъ Судією, исполнивъ долгъ свой? Долго намъ еще странствовать и ужасно теперешнее состояніе. Гоненія остановились, но слабые пали духомъ, хрістіане сдѣлались хуже язычниковъ. Гдѣ эта семья, у которой было одно сердце, одна душа, гдѣ собственности не было, а было все общее, какъ говоритъ Лука? Гдѣ братство, въ которомъ были и невѣжды, и ремесленники, и пахари, и старыя женщины, и изъ коихъ выбирались вожди церкви Христовой, и какіе вожди? Но не будемъ сѣтовать; пускай смердятъ и разлагаются остатки древняго міра: не изъ развалинъ его построится Сіонъ,—онѣ нечисты. Ежели бы ты зналъ, что такое Византія! Грѣхи ея дошли до неба, и Богъ вспомнулъ неправоты ея. На ней совершится громовое пророчество Исаи: она будетъ рабою иноплеменниковъ. И тамъ, въ этой-то Византіи, я видѣлъ великихъ свѣтильниковъ церкви: духовенство отдѣлилось отъ мірянъ и въ немъ сохраняется весь Христова. Оно-то собиралось въ Никеѣ въ этотъ великій день вѣры; оно не простило Константина, облигаго тройною кровью—сына, племянника и жены. Да, среди пустынь, за стѣнами монастырей, возростетъ слово Христово: «И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ, и тьма его не объяла». И оттуда пересадится на открытое поле, когда изъ него исторгнутся плевелы. Догнивайте же остатки Вавилона, снѣдаемые собственными пороками! Гибните въ сладострастіи и сребролюбіи, гибните въ гнусныхъ, позорныхъ рукахъ евнуховъ и женщинъ!»

— Неужели, отецъ мой, ты рядомъ ставишь женщинъ съ этими полулюдьми? спросилъ юноша.

— «Нѣтъ. Но,—сказалъ игумень, строго взглянувъ на Теодора,—бойся женщинъ: ихъ красота—красота Авадонны».

— Но красота отъ Бога и есть проявленіе его,—говоритъ Августинъ, который самъ любилъ.

— «Горе тебѣ, ежели ты только это нашель въ Августинѣ, возразишь старецъ. Далила, обрѣзывающая власы Самсона—вотъ образъ всѣхъ женщинъ. Вспомни, что Сирахъ боялся ихъ, какъ ядовитыхъ скорпіоновъ,—болѣе нежели тигра и дракона. Ихъ слабыя души, ихъ нѣжныя тѣла привязываютъ къ землѣ. Не имѣя силы, онѣ коварны; не имѣя возможности подняться,

онѣ держать насъ, какъ жена Пентефрія, за край одежды. Женщина требовала главу Іоанна; женщина была первая преступница въ обществѣ апостольскомъ... Но отчего же ты огорчился, Феодоръ? Но я знаю тебя... Нашъ разговоръ зашелъ далеко, пора готовиться къ девятому часу... Вѣрь мнѣ, юноша: скуделень сосудъ этотъ и гибельна красота его. Благословимъ память Марка, основавшаго въ твоей родинѣ жизнь монастырскую. Здѣсь мы можемъ работать для человѣчества и ничто не отвлечетъ насъ. Семья Іисуса были его ученики; семья наша—братія.

Игуменъ кончилъ, всталъ и пошелъ по аллеѣ. Юноша долго смотрѣлъ ему вслѣдъ и былъ взволнованъ. «Женщина требовала главу Іоанна,—думалъ онъ,—но дѣва родила Христа. Сирахъ... Сирахъ же говоритъ, что женщина добродѣтельная есть солнце, восходящее на небѣ Господнемъ, ясный свѣтильникъ на церковномъ подсвѣчникѣ. И кто распялъ Его? И кто стоялъ при крестѣ? О ты, ты одинъ справедливъ, Сынъ Божій, — ты простилъ даже преступную»... Но вдругъ лицо его вспыхнуло, слезы налились въ глаза и онъ воскликнулъ: «ты правъ, ты правъ, отецъ святой!»

V.

15. За тѣмъ я вышла раннимъ утромъ изъ дома, чтобъ найти тебя,—и нашла.
 16. Я ложе мое украсила цвѣтными коврами египетскими.
 17. Я облила его мѣрою, алоэ и кинамономъ.
 18. Приди насладиться любовью.
- Пр. Соломона, гл. VII.

За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, какъ игуменъ доказывалъ Сирахомъ, что женщины страшнѣе дракона, и Феодоръ оправдывалъ ихъ Сирахомъ, говоря, что онѣ похожи на солнце,—опустѣлъ домъ одного богатаго гражданина въ Александріи. Этотъ гражданинъ былъ женатъ на прелестной египтянкѣ, любилъ ее, какъ африканецъ, и она любила его до тѣхъ поръ, пока не пріѣхалъ въ Александрію греческій вельможа съ сыномъ. Византійскій юноша, прелестный собою, со всей изысканностью нравовъ падающаго царства, со всею привлекательностію ложнаго просвѣщенія, поправился египтянкѣ; она измѣнила мужу, потомъ сдѣлалась грустна, задумчива,—какая-то сокровенная мысль терзала ее; она не могла смотрѣть на обманутаго и оставила его. Тщетно искалъ онъ ее,—никогда не было ни малѣйшей вѣсти о преступной. Съ того времени пышный домъ его превратился въ гробъ, тоска снѣдала сердце, растерзанное сомнѣніями: онъ не зналъ

объ измѣнѣ и не понималъ причины бѣгства. Худой, убитый, онъ больше походилъ на вызваннаго духа, нежели на человѣка. Много лѣтъ прошло въ печали и слезахъ, и какъ наиболѣе питають надежду люди, не имѣющіе на нее никакого права, такъ и онъ ждалъ непрерывно то ея возвращенія, то какого нибудь извѣстія, и, не получая никакого, тѣмъ съ большею увѣренностью хватался за всякую тѣнь надежды.

И вотъ однажды снится ему сонъ, будто ангелъ Господень, съ вѣчно-юнымъ лицомъ, съ улыбкой на устахъ, летитъ съ неба, летитъ прямо къ нему, останавливаетъ свой полетъ надъ его головою, качается на дивныхъ крыльяхъ и, сказавъ: «Нынче у храма св. Петра»,—летитъ навѣрхъ гѣтъ Бога. Онъ проснулся. Сны иногда бываютъ такъ ярки, такъ выразительны, что нельзя имъ не вѣрить. Онъ добавилъ къ словамъ ангела смыслъ, который хотѣлъ, поспѣшно одѣлся и отправился къ храму св. Петра.

Съ ранней зарею сидѣлъ онъ уже на каменныхъ ступеняхъ, подъ колоннадою храма, осматривая каждого человѣка, какъ таможенный приставъ. Сначала прохожіе были рѣдки, потомъ цѣлыми толпами двигались они по площади. Житель странъ полуденныхъ не умѣетъ сидѣть дома. Многіе укрывались отъ солнечнаго зноя подъ тѣмъ же порталомъ. Но гдѣ же она? Никто не обращалъ на него вниманія, никто не говорилъ съ нимъ, и онъ пользовался этимъ уединеніемъ особаго рода, которое ощущаетъ человѣкъ въ толпѣ людей, когда не дѣлится съ ними ни ихъ желаній, ни ихъ мыслей. Твердо полагаясь на гласъ Божій, онъ ждалъ и ждалъ. Кто-то ѣхалъ на ослицѣ въ черномъ платьѣ; онъ не спускалъ глазъ съ него. Но это былъ монахъ.

Инокъ подѣхалъ къ храму, слѣзъ съ ослицы и, какъ бы пораженный неподвижностью сидящаго, дрожащимъ голосомъ сказалъ ему едва внятно: «Добрый день, господинъ!»—Онъ не обратилъ на него вниманія,—не его искалъ несчастный. Монахъ оставилъ ослицу и взшелъ въ храмъ. Потомъ народъ опять началъ рѣдѣть, уходитъ. Солнце садилось, ночь наступала, и отчаянный мужъ, второй разъ теряя свою жену, тихими шагами побрелъ домой. Черезъ нѣсколько времени вышелъ монахъ, тотчасъ обратилъ глаза на то мѣсто, гдѣ сидѣлъ несчастный, и, какъ бы обрадованный его уходомъ, поспѣшно сѣлъ на свою ослицу, вздохнулъ, перекрестился, еще разъ вздохнулъ и поѣхалъ къ городскимъ воротамъ.

Было поздно. Сильный вѣтеръ дулъ со взморья. Черныя тучи, обрванныя снизу лучами солнца, роняли огромныя капли теплой воды на растрескавшуюся землю. Феодоръ, взволнованный встрѣчей и боясь грозы, не хотѣлъ ѣхать далѣе и свернулъ въ монастырь Энать, лежащій возлѣ Александріи. Служитель Божій,

гражданинъ всего міра христіанскаго, въ тѣ времена вездѣ находилъ отворенную дверь, и всюду приходъ его считался счастьемъ, тѣмъ паче въ монастырѣ, куда приходили всѣ бѣдныя и труждающіяся дѣти церкви.

Вечерняя молитва началась. Феодоръ взошелъ въ церковь и удалился въ небольшое углубленіе, бывшее въ стѣнѣ; тамъ, никѣмъ незримый, хотѣлъ онъ принести свою молитву Искупителю. Тихое, стройное пѣніе монаховъ едва было слышно, и тѣмъ невещественнѣе, тѣмъ неопредѣленнѣе, тѣмъ святѣе становилась пѣснь. Полузвукки согласовались съ полумракомъ, въ которомъ былъ погруженъ храмъ; своды, казалось, исчезли, стѣны—какими-то массаами тумана; дымъ изъ кадилицъ, вѣясь около изображеній, придавалъ имъ таинственное движеніе. И шаги по каменному полу, и мельканіе черной рясы, и ея шорохъ увеличивали торжественность, возможную только въ храмѣ Божіемъ и которую испыталъ всякій, съ чистой душою входившій въ церковь. Тѣмъ сильнѣе дѣйствовала она на мечтательнаго Феодора. Его можно было принять за изваяніе: именно онъ, какъ статуя, выражалъ одно чувство—чувство молитвы. Иногда слабый вздохъ вырывался изъ груди его, какъ будто онъ упрекалъ себя въ чемъ-то, иногда и слеза наворачивалась; но восторгъ все поглощалъ, соединяя всѣ мысли въ гимнъ.

Близъ углубленія, гдѣ былъ Феодоръ, стояла молодая женщина, прелестная собой, какъ тѣ дѣвы Востока, о которыхъ пѣлъ Низами. Сначала молилась и она, но вкорѣ молитва исчезла съ устъ ея,—безпрерывно смотрѣла она на юношу. Освѣщенный послѣднимъ остаткомъ свѣта, окруженный мракомъ, Феодоръ казался ей чѣмъ-то принадлежащимъ не здѣшнему міру; она думала видѣть архангела, принесшаго благу вѣсть Дѣвѣ іудейской. Огненная кровь египтянки пылала.

Окончилось вечернее моленіе. Феодоръ пошелъ къ игумну, не обративъ на нее ни малѣйшаго вниманія, сказалъ ему о причинѣ пріѣзда и просилъ дозволенія переночевать. Игумень былъ радъ и повелъ Феодора къ себѣ. Первое лицо, встрѣтившее ихъ, была женщина, стоявшая близъ Феодора, дочь игумна, который удалился отъ свѣта, лишившись жены, и съ которымъ былъ еще связанъ своею дочерью. Она пріѣхала гостить къ отцу и собиралась вкорѣ возвратиться въ небольшой городокъ близъ Александріи, гдѣ жила у сестры своей матери.

Въ лѣтливой груди жителя юга бываютъ минуты торжественныя; въ такую минуту онъ переживетъ все, что по мелочи испытаетъ гиперборей. У него страсть родится, подобно дочери Зевса, въ полномъ вооруженіи: зажженная однажды, она можетъ горѣть и жечь его до гроба. Его страсть любить до уничтоженія пред-

мета любви, пылаеть местию до уничтоженія самого себя. Это—огненная масса, внезапно воспламеняющаяся и никогда не тухнущая. Египтянка любила Феодора пламенно, безвозвратно. Блѣдныя дѣвы сѣвера не повѣрятъ этому, онѣ не знаютъ этого ада страстей, привыкнувшія къ своимъ мечтамъ о духовномъ, о небѣ, то-есть не о настоящемъ небѣ, а о томъ, которое онѣ создали себѣ для бѣгства отъ скупой и туманной природы. Она съ жадностію вшивала каждый взоръ его, но этотъ взоръ былъ обращенъ къ небу; съ жадностію слушала каждое слово, но это слово было о Богѣ. «Любовь,—сказалъ онъ,—вотъ основаніе міра, а апостоль говоритъ, что недостаточно вѣры, ежели нѣтъ любви». Но не о земной любви говорилъ юноша, о земной понимала дѣва.

Вошедши въ келью, для него приготовленную, Феодоръ бросился на скудную постель изъ банановыхъ листьевъ и не тушилъ еще лампы, какъ вдругъ начала отворяться дверь и тихо вошла какая-то старуха съ темнымъ, загорѣлымъ лицомъ нашихъ цыганъ, со впалыми щеками и невѣрнымъ взглядомъ. Украдкой окинувъ горницу, она сказала: «Служитель Христовъ! есть человѣкъ, нуждающійся въ твоей помощи, — не откажись идти за мною».

Феодоръ молча всталъ и пошелъ за нею.

Вышли на дворъ,—все было темно; подошли къ какой-то маленькой двери. Старуха отворила ее, — за нею еще мрачнѣе; пустила его впередъ и исчезла. Но недолго стоялъ Феодоръ,—его взялъ кто-то за руку, и на этотъ разъ не высохшая, костлявая, угловатая рука старухи, а нѣжная, мягкая, трепещущая рука, горячая, какъ каленое желѣзо. Прикосновеніе во мракѣ всегда наводитъ ужасъ, и Феодоръ содрогнулся. «Сюда!»—прошепталъ едва внятный голосъ, и онъ смиренно шелъ. Небольшой переходъ оканчивался дверью. Ее отворилъ его путникъ, и въ немъ Феодоръ узналъ прелестную дочь игумна.

Полунагая, едва одѣтая легкою тканью, которая болѣе обнаруживала ея красоту, нежели скрывала своими фантастическими драпри, трепещущая и огненная, стояла она передъ нимъ, не смѣя ни поднять на него взора, ни оторвать его отъ нестрыхъ цвѣтовъ ковра, до котораго чуть касались ея маленькія ножки. Слезы катились изъ ея глазъ, засыхая на разгорѣвшихся, воспаленныхъ щекахъ.

— Странникъ,—сказала она, долго принуждая себя сказать то, о чемъ молчать ей казалось такъ трудно, — прости меня... Странникъ, я люблю тебя... Но Бога ради не смѣйся надо мною... Я видѣла, какъ ты молился: твой вдохновенный взоръ, твое лицо, твой страстный взглядъ нейдутъ молитвѣ; твоя душа пламенна,—она не можетъ удовлетвориться молитвою. Ты обманываешь себя...

Люби меня!.. Можетъ, тебѣ неизвѣстно это море блаженства? Я тебѣ раскрою его, мы потонемъ въ его волнахъ; я сожгу тебя моими поцѣлуями, я обовьюсь какъ эфеу около тебя, я умру, цѣлуя тебя!..

И, говоря это, дѣва въ самомъ дѣлѣ тонула въ океанѣ страстей и, полумертвая, дрожащая, готова была броситься въ объятія юноши; но они не раскрылись. Спокоенъ и тихъ былъ взоръ Θεодора. Такимъ взоромъ смотритъ луна на бѣшеную Этну, пламенемъ раздирающую свою грудь.

— «Дѣва, сказалъ онъ ей, благодари судьбу, что ты это говоришь мнѣ, отжившему для міра сего,—я не воспользуюсь слабостью овцы гибнущей. Вспомни, что ты христіанка. Я соединю свои молитвы съ твоими, чтобы Господь извелъ изъ тебя злого духа, губящаго душу твою. Дѣва, и я былъ порочень, и я зналъ, какъ слабы женщины,—тѣмъ сильнѣе будетъ молитва моя, тѣмъ спасительнѣе тебѣ».

— Какъ, ты любилъ, воскликнула она!—Ты любилъ!—и ревность къ прошедшему взволновала ея грудь, въ которой не было мѣста и одной страсти. — Гдѣ она?.. Но.. можетъ, ея ужъ нѣтъ? Можетъ, она измѣнила? Можетъ, въ ней не было этой бѣшеной страсти? О, я замѣню ее! Я свободна, какъ птица небесная. Вѣжимъ въ Грецію, тамъ...

— «Остановись!»—сказалъ Θεодоръ, и ланиты его показали, что онъ еще человѣкъ; но что ихъ оцвѣтило: любовь или воспоминаніе? «Я Богу далъ клятву и ничто не сокрушитъ ея».

— Лицемѣръ! дѣвъ далъ ты клятву. Обманщикъ! тебѣ ли носить монастырское платье! Да, это ясно; теперь все понимаю. Но я умѣю мстить. Ты видѣлъ, какъ необузданны страсти мои? Неужели твое сердце до того принадлежитъ другой, что нѣтъ мѣста для меня? Одинъ часъ, одну минуту дай насладиться тобою,—и я счастлива, и возьми послѣ жизнь мою... на что мнѣ она тогда? И въ этой минутѣ я солью все—и рай позавидуетъ мнѣ... Ты смущенъ?.. Нѣтъ, нѣтъ, эта грудь не изъ гранита! — И она бросила лампу на полъ, и душистое масло струями разлилось по ковру, и свѣтильня, вспыхивая и потухая, и курясь, прожгла его... Судорожная рука обвилась около юноши, дрожація уста съ своимъ огненнымъ, сладострастнымъ дыханіемъ коснулись устъ Θεодора. Тщетно хотѣлъ онъ вырваться.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты мой, я тебя не пущу!—шептала она, цѣлуя его...

Ясно и душно было утро, когда на ослицѣ тихо подѣвжалъ Θεодоръ къ Октодекадскому монастырю, везя слей для храма. Черты лица его, утомленные знаниемъ, выражали опять то же спокойное, святое чувство, съ которымъ онъ выѣхалъ за два дня

изъ этой ограды. По временамъ взоръ его дѣлался мечтателенъ, далеко устремлялся въ пространное поле и, казалось, выпрашивалъ какого-нибудь предмета или искалъ кого-нибудь, но тотчасъ приходилъ онъ въ свое всегдашнее положеніе. Молитва виднѣлась на устахъ, молитва во взорѣ, молитва въ немъ самомъ... И привратникъ, тотъ же старецъ, котораго онъ ждалъ цѣлую ночь, но еще старѣе, отворилъ ему ворота, и онъ опять вѣхалъ въ этотъ тихій, умершій дворъ, гдѣ люди не измѣяли зеленой травы, гдѣ однѣ черныя ризы мелькали межъ бѣлыхъ надгробныхъ камней, гдѣ душистые лимоны и пышныя смоковницы заслоняли однѣ черныя рясы и бѣлые надгробные камни.

VI.

19. И сказала ему: еврейскій рабъ, котораго Ты привелъ въ домъ свой, хотѣлъ меня обезчестить.

20. Тогда онъ бросилъ его въ темницу.

21. Но Господь былъ съ нимъ.

Моисей, Кн. Бытія, гл. 39.

— «Нѣтъ, это клевета, сказалъ игумень Октодекадскаго монастыря, гнусная, черная клевета!» И тѣнь сомнѣнія уже прокралась на его лицѣ, и онъ, казалось, разувѣрялъ себя болѣе, нежели стоящаго возлѣ монаха.

— Но поясъ...—возразилъ тотъ.

— «Хорошо. Неси лобзаніе мира нашему брату и скажи, что я спрошу у обвиняемаго, и да падеть вся строгость на голову преступную».

Монахъ склонился и вышелъ.

Лицо игумна было ужасно; жилы на вискахъ налились кровью и бились. Онъ былъ смущенъ, несмотря на свою обычную твердость, и не зналъ, вѣрить ли, или нѣтъ какому-то обвиненію, и то укорялъ себя въ сомнѣніи, приискивая наказаніе виновному, то вѣрить обвиненію, приискивая доказательства къ опроверженію его. Онъ то вставалъ и прохаживался, то садился. Наконецъ, обращаясь къ молодому монаху, сказалъ: «Позови брата Феодора и оставь его со мною наединѣ».

Тихая аскетическая жизнь подняла такъ фантазію Феодора, такъ приучила его къ созерцательности, что онъ цѣлые часы проводилъ, мечтая то о прелестной жизни, которая готовится праведнику въ обители рая, то о содѣланіи всей земли одною паствою Христа, то погружался въ созерцаніе Бога и, долго теряясь въ

безконечною, вдругъ спускался на землю. И какъ хороша она ему казалась тогда, какъ ясно выражала Его и какъ понятно говорило и это вѣтвистое дерево, и эта черная птица! Въ такой-то созерцательной минутѣ былъ онъ, когда его позвали къ игумну. Это было такъ обыкновенно, что онъ, нисколько не удивляясь, пошелъ къ нему съ свѣтлымъ вдохновеннымъ лицомъ, торопясь пересказать все, что чувствовалъ.

Съ холоднымъ и важнымъ видомъ встрѣтилъ его игумень, пристально посмотрѣлъ на прелестнаго юношу и уже почти оправдалъ его въ душѣ.

— «Теодоръ, сказалъ онъ, подавая письмо, прочти его и скажи, правда ли?»

Теодоръ сталъ читать письмо.

Игумень остановилъ на немъ испытующій взоръ; но юноша спокойно прочелъ и твердо сказалъ:

— Видитъ Богъ, что ложь.

— «Твой ли это поясъ?»

— Мой.

— «Гдѣ ты потерялъ его?»

— Не помню, св. отецъ. Я хватился его, возвратясь изъ Александрии, уже дома.

— «Это поясъ женскій», прибавилъ игумень, разсматривая.

— Я съ нимъ пришелъ семь лѣтъ тому назадъ, — отвѣтилъ Теодоръ, не совсѣмъ вѣрнымъ голосомъ и наклоняя голову, чтобы скрыть пурпуръ, покрывавшій щеки его.

Игумень не замѣтилъ. Туча пронеслась.

— «Я былъ увѣренъ въ твоей невинности, сынъ мой. Нѣтъ, ты не могъ такъ пасть: Богъ не дастъ порочному такой души: тебя избралъ онъ въ свое воинство». И игумень обнялъ его, и тронутый Теодоръ, рыдая, цѣловалъ въ плечо старика.

Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ опять явились монахи знатскіе; они принесли съ собою младенца, бросили его середь двора и съ злобной усмѣшкой сказали: «Братія, ваше дѣло вскормить чадо порочной жизни вашей!» Обиженная братія требовала, чтобы назвали виновнаго. Ей отвѣчали именемъ Теодора. Никто не вѣрилъ, всѣ просили игумна, чтобы онъ допросилъ виновнаго, и игумень, непоколебимый въ своей довѣренности, спокойно сказалъ: «Судите его сами», твердо убѣжденный, что одно слово, одинъ видъ Теодора будетъ полнымъ оправданіемъ. Онъ въ тайнѣ даже радовался торжеству своего друга.

Призвали Теодора. Игумень ждалъ съ нетерпѣніемъ оправданія, ободрялъ его взглядомъ, улыбкой. И каково же было удивленіе старика, когда Теодоръ, преклоняя колѣна, трепещущій, прерывающимся отъ слезъ голосомъ, едва произнесъ:

— Прости, отецъ святой, прости... я обманулъ тебя, ужасно обманулъ!

Старецъ былъ притоптанъ къ землѣ, не могъ поднять глазъ, ни вымолвить слова; пятна вышли на его лицѣ, рука перестала перебирать четки и судорожно дрожала. Наконецъ, гордо взглянувъ на братію, онъ сказалъ повелительнымъ голосомъ:

— «Изгнать презрѣннаго обманщика изъ монастыря,—онъ пятнаетъ насъ!»

И озлобленная братія, униженная поступкомъ Феодора, осыпала его насмѣшками и бранью; даже нѣсколько камней полетѣло въ юношу. Все волновалось и кричало; одинъ обвиненный стоялъ спокойно. Минута волненія прошла, — это былъ прежній Феодоръ, тоже вдохновенное лицо, и ясно обращался его взоръ на братію и къ небу. И когда игумень, боясь тронуться его видомъ, спросилъ: «Чего же медлите вы?» Тогда Феодоръ возвелъ очи къ небу, говоря: «Господи! теперь я вижу, что Ты обратился ко мнѣ, что грѣшная молитва дошла до подножія Твоего». Потомъ упалъ онъ ницъ передъ игуменомъ и сказалъ: «Не прощенья молю я, но молись о душѣ преступной, которая никогда не забудеть тебя». Слезы не позволили ему продолжать. «Молитесь и вы, братія», прибавилъ онъ, вставая и низко кланяясь имъ. Наконецъ, подошелъ къ ребенку, взялъ его на руки, поцѣловалъ и съ видомъ искренней любви сказалъ ему: «Не плачь, дитя, не плачь». Далѣе не могъ вытерпѣть игумень: онъ чувствовалъ, что слезы готовы брызнуть изъ глазъ, — онъ всталъ и пошелъ въ келью. Вошедши въ нее, раздраженный и недовольный собою, сѣлъ къ окну и смотрѣлъ, какъ монахи вели Феодора къ воротамъ, наперерывъ осыпая бранью, какъ вытолкнули его. Все было къ Феодору немилосердно, даже старый привратникъ ударилъ его тростью. Феодоръ терпѣлъ все, защищая ребенка и какъ будто взоромъ говоря: «Онъ-то чѣмъ виновать?»

«Такъ я никогда не былъ обманутъ, думалъ игумень. Это искушеніе дьявола... Но какъ добръ, какъ восторженъ онъ былъ сначала и всё семь лѣтъ! Я его любилъ, какъ сына,—болѣе, нежели сына... Но какъ же онъ читалъ письмо такъ спокойно? Надобно быть очень порочну, чтобы скрывать пороки. Его погубила, увлекла эта женщина, а онъ еще защищалъ ихъ, порожденіе ехидны, лишившее рая перваго человѣка... И въ самое то время, какъ онъ признавался, въ моемъ сердцѣ кричалъ голосъ «онъ невиненъ». Никогда не надобно довѣрять этому голосу. А какъ онъ перенесъ стыдъ и наказаніе! Какимъ взоромъ взглянулъ на меня!.. О, Феодоръ, зачѣмъ ты палъ? Ты мнѣ былъ такъ необходимъ! Кто замѣнитъ тебя?.. Но не стыдно ли жалѣть о немъ!.. Старикъ, вотъ плоды твоей опытности: мальчишка обма-

нулъ тебя».—И онъ смѣялся судорожнымъ смѣхомъ.—«Не правъ ли я былъ, сомнѣваясь принять его въ монастырь?» Тутъ онъ остановился: эта мысль мирила его съ собою, и онъ началъ думать не о Феодорѣ, но о новыхъ искусствахъ для приходящихъ.— Ужасно хоронить друга, но еще ужаснѣе видѣть свою ошибку въ человѣкѣ, съ которымъ дѣлилъ душу, помыслы: это—кусочекъ мяса, оторванный отъ сердца, горячій, кровавый. Игуменъ послѣ этого происшествія сдѣлался еще мрачнѣе, не велѣлъ при себѣ поминать бывшего друга, старался стереть его въ памяти и не могъ забыть.

Между тѣмъ несчастный Феодоръ, опозоренный, униженный, изгнанный, былъ встрѣченъ людьми, которые слышали о его винѣ и ругались надъ нимъ еще злѣе монаховъ. Посредственность до того ненавидитъ все высшее, что для нея торжество—всякое паденіе; сверхъ того, она воображаетъ, что, бросая камень въ виновнаго, закростъ свои пороки. Яростными голосами кричала толпа: «Гдѣ же сынъ живого мертвеца, отказавшагося отъ земли?» Феодоръ вынималъ младенца изъ мантии и говорилъ: «Вотъ онъ». Но въ этомъ не была видна дерзость злодѣя, который нагло показываетъ клеймо варнака, но какое-то самоотверженное чувство своего преступленія: казалось, онъ просилъ ихъ наказать себя и былъ готовъ все перенести.

У Феодора не было ничего. Бѣдность грозила ему своими худыми руками, посинѣвшими отъ стужи, изсохшими отъ голода. Никто не подавалъ ему милостыни. На послѣднія деньги купилъ онъ молока младенцу, самъ питался кореньями и морскими раковинами. *«И хождаше по пустынь скитаяся, очернѣ же плоть отъ зими и зноя, и очи потемнѣша отъ горькаго плача, и живяше со звѣрьми»* — этими словами описываетъ мартирологъ его жизнь.

VII.

Простри длани твоя и прими душу мою, юже въ жертву принесохъ любви ради твоея.

Житіе св. Екатерины.

У гроба Феодорова сидѣлъ грустный игуменъ и съ нимъ тотъ самый алексадріецъ, который такъ усердно ждалъ свою жену у храма Петра. Алексадріецъ плакалъ, игуменъ молился; никто не прерывалъ тишины, — она продолжалась нѣкоторое время. Но вдругъ отворилась дверь и вошелъ игуменъ знатскій съ монахомъ, котораго онъ присылалъ обвинять Феодора. Тѣло усопшаго было

покрыто. Игумень Октодекадскаго монастыря открылъ голову и спросилъ своего собрата:

— «Это ли Феодоръ».

— Онъ самый,—отвѣчалъ тотъ.

— Обезчестившій у насъ дѣвицу,—прибавилъ монахъ.

Съ горькой улыбкой отдернулъ игумень покрывало и указалъ женскія перси.

— «Это жена его, Феодора», сказалъ онъ, указывая на александрийца.

— «Воплощенный ангелъ! прости мнѣ, что я, слабый грѣшникъ, не постигъ твоего величія, и моли у Всевышняго, да отпустятся мнѣ грѣхи мои».

Старикъ залился слезами и склонилъ голову свою къ покойницѣ. Небесная улыбка видна была на холодныхъ устахъ, которыя, казалось, хотѣли открыться еще разъ для того, чтобы сказать игумну: «Я прощаю тебя».

... И пишущее тое неточіе на хартіяхъ, но и въ сердцахъ вашихъ, простираюся къ подвигамъ великимъ и благоугождаху Богу.

Крутицкія казармы, 1835 г., февраль.
(Переписано въ Вяткѣ 1836 г., марта 12).

Встрѣчи.

Точкою пересѣченія называется мѣсто встрѣчи двухъ линій.

Франкеръ, «Курсъ чистой математики». Т. I—«Геометрія».

Говорятъ, что храмовые рыцари вездѣ узнавали другъ друга, узнавали даже степень свою въ таинствахъ и силу въ ордентѣ при первой встрѣчѣ. Это кажется странно, удивительно. Но пусть разберетъ каждый человѣкъ (въ самомъ дѣлѣ!); не случилось ли ему въ продолженіе жизни встрѣтиться съ незнакомцемъ, котораго онъ никогда не видалъ, котораго никогда не увидитъ и въ которомъ съ перваго взгляда открывается близкій родственникъ души,—человѣкъ, котораго онъ хочетъ имѣть другомъ, съ которымъ ему жаль расстаться. Какая-то симпатія, какой-то магнетизмъ влечетъ къ нему, и эта встрѣча остается навсегда въ памяти, ибо существованія ихъ пересѣклись, опять раздвоились, но слились въ точкѣ пересѣченія. Чѣмъ бурнѣе была жизнь человѣка, чѣмъ болѣе страсти пережигали его душу, тѣмъ болѣе такихъ встрѣчъ.

Итакъ, мы все—храмовые рыцари. Посторонніе не знали знаковъ ордена; такъ и теперь толпа, это постороннее всего одушевленнаго, не понимаетъ людей глубоко чувствующихъ. Помните, Дидеротова кухарка очень удивилась, услышавъ, что ея господинъ—великій человѣкъ. Сколько Дидеротовыхъ кухарокъ!

Первая встрѣча.

(Посвящено другу Сазонову).

Was die französische Revolution Gutes oder Böses stiftet, kann ich nicht beurtheilen; so viel weiss ich, dass sie mir diesen Winter einige Paar Strümpfe mehr einbringt.

G ö t t e.

Вошедши въ гостиную, я увидѣлъ незнакомаго человѣка, котораго тотчасъ почелъ за иностранца, ибо нѣсколько молодыхъ людей безпрестанно выказывали ему себя, безпрестанно тормозили его. У насъ свой манеръ принимать иностранцевъ, нѣчто въ томъ родѣ, какъ слѣпни принимаютъ лошадь въ лѣтній день.

Онъ былъ пожилой человѣкъ, средняго роста, худой и плѣшивый. Молочный свѣтъ лампы, покрытой тусклымъ колпакомъ, придавалъ что-то восковое его блѣдному лицу, которое, несмотря на лѣта, было такъ нѣжно, такъ бѣло, какъ видимъ на хорошихъ бюстахъ изъ каррарскаго мрамора. Сѣрые глаза его блестяли, какъ у молодого человѣка; ротъ дѣлалъ нѣчто въ родѣ улыбки, которая съ перваго взгляда могла показаться за добродушіе, но въ которой второй взглядъ видѣлъ насмѣшку, а смотря далѣе—казалось, что ея совсѣмъ нѣтъ и что этотъ ротъ не можетъ улыбаться. Вообще лицо его было чрезвычайно холодное; но въ этомъ холодѣ видѣлся огонь, какъ въ холодномъ реверберѣ лампы... «Кто это?»—Мнѣ отвѣтили нѣмецкой фамиліей, которую я тутъ же забылъ.

Говорили о французской литературѣ, метали наружу все, что есть въ головѣ. Незнакомецъ молчалъ, играя эмалевой цѣпочкой отъ часовъ, и рѣшительно не показывалъ ни согласія, ни противорѣчія. Когда необходимость заставила и его сказать что-нибудь, онъ сказалъ, что чрезвычайно отсталъ, что мало читаетъ, что ему надоѣло вездѣ въ литературѣ видѣть эгоизмъ и мистификаціи, что тѣ, которые должны бы были писать, которыхъ голосъ звученъ и силенъ, молчатъ, подавленные толпою публицистовъ.

— «Неужели?» сказалъ кто-то, готовя что-то.

— Это не тезисъ, продолжалъ незнакомецъ, перебивая его, котораго я стану защищать. Я не осмѣлюсь бороться съ такими защитниками нашего вѣка, хотя бы чувствовалъ въ себѣ всю силу Ринальдо, и потому не трудитесь снимать ваши шелковые перчатки,—прибавилъ онъ съ улыбкой.

Защитники вѣка успокоились, разговоръ потухалъ, и Корина (хозяйка дома) требовала отъ германца, чтобъ онъ что-нибудь разскажалъ.

— Что же вамъ разсказать?.. Я былъ въ 91 году въ Парижѣ и въ 1815 въ Италіи, таскался весь этотъ промежутокъ по родинѣ, и теперь, простившись навсегда съ Европою, ѣду на Востокъ отдохнуть отъ нея. Много великихъ событій было у меня передъ глазами, со многими великими людьми сталкивался я...

Его перебили:

— «Ради Бога, встрѣчу съ великимъ человѣкомъ,—близость ихъ какъ-то поднимаетъ насъ».

— Извольте, я возьму на себя роль Карла Нодье, который такъ подробно разсказываетъ всѣ встрѣчи свои съ двухлѣтняго возраста.

Молча подвинулись мы ближе, и вотъ его разсказъ.

— Я родился во Франкфуртѣ, но, прибавилъ онъ съ злою улыбкой, *foi d'honnête homme*, ни родства, ни знакомства съ Шарлемъ Dupui не имѣлъ. Семейныя обстоятельства принудили мою мать оставить мужа и ѣхать со мною въ свою родину—Парижъ. Мнѣ было 16 лѣтъ, а христіанству 1788. Это переселеніе сдѣлало во мнѣ чрезвычайный переворотъ. Франкфуртъ доселѣ имѣлъ что-то ганзетическое: кривыя улицы, печальные дома и рынки, рынки и конторы. Его германскій характеръ, съ своими мрачными церквами и безобразной ратушей, съ своими факторіями и *Judengasse*, отдѣлялъ его тогда еще болѣе отъ Франціи. И вдругъ изъ этого тихаго, смирнаго города, который каждое воскресенье въ праздничномъ кафтанѣ ходитъ въ церковь, внимательно слушаетъ прѣдику и каждую субботу свѣряетъ свои приходо-расходныя книги,—изъ тихаго и смирнаго дома моего родителя я попалъ въ Парижъ. Что тогда было въ Парижѣ, вы знаете. Родственникъ, у котораго мы жили, былъ главою какого-то клуба, котораго члены безпрестанно толкались у него въ домѣ съ яростными взглядами, съ напудренными париками на головѣ и съ ужасными рѣчами въ устахъ. Я съ трепетомъ и недоумѣніемъ смотрѣлъ, какъ они попираютъ ногами все святое, все прошедшее, какъ низвергаютъ зданіе, подъ крышей котораго живутъ. Революція усиливалась; какъ-то 1792 годъ проглядывалъ сквозь туманъ *Assemblée nationale*, и отецъ мой желалъ, чтобъ я воротился. Онъ даже просилъ своего пріятеля, также германца, снабдить меня деньгами и какъ можно скорѣе выслать. Но этотъ пріятель былъ никто иной, какъ Анахарсисъ Клоотсъ, который дѣлалъ совѣтъ на-изнанку: требовалъ, чтобъ я остался, и общалъ меня вести знакомить съ великимъ человѣкомъ, который, по его мнѣ-

нію, опередить всѣхъ и не только отвергаетъ всякаго рода гражданское устройство, но даже право собственности. Впослѣдствіи я узналъ, что этотъ великій человѣкъ—Эбертъ. Брауншвейгскій между тѣмъ издалъ свой смѣшной манифестъ, на который ему отвѣчали еще болѣе смѣшнымъ. Выжившій изъ лѣтъ старикъ бранился съ дерзкимъ мальчишкой. Иностранцамъ было опасно оставаться и еще опаснѣе ѣхать. Напрасно просилъ я безумнаго Клоотса, онъ и слушать не хотѣлъ, говорилъ, что одинъ врагъ рода человѣческаго можетъ теперь думать объ отъѣздѣ, что кто ѣдетъ, тотъ агентъ Пятта и Кобурга, ставилъ себя въ примѣръ и, гордо показывая засаленное платье свое, прибавлялъ: «Ты знаешь, какъ я былъ богатъ? Все отдалъ человѣчеству и всѣмъ для него пожертвую. А ты хочешь бѣжать... Стыдись! Взгляни хоть на Сенъ-Жюста: онъ не старѣе тебя, а какъ пламенно принимается онъ работать pour la république une et indivisible, pour l'émancipation du genre humain. Онъ будетъ великій филантропъ... Впрочемъ, ежели хочешь ѣхать, я первый выдамъ тебя: надобно очистить родъ человѣчскій отъ слабыхъ». И все это говорилъ онъ не шутя и съ полнымъ убѣжденіемъ. Послѣднее замѣчаніе показало мнѣ, что надлежитъ дѣйствовать рѣшительно, и я всѣми неправдами, обманывая и подкупая, нашелъ средство бѣжать въ союзную армію. Жаль мнѣ было оставить Парижъ; я не въ состояніи былъ его покинуть явно, официально, и потому душевно былъ радъ, что разстался съ нимъ sans adieux, тайкомъ ночью. Разумѣется, не безъ приключеній достигъ я цѣли бѣгства, и ежели-бъ я былъ настоящій нѣмецъ, то поставилъ бы себѣ за святѣйшую обязанность издать на скверной бумагѣ съ еще сквернѣйшею печатью: *Reise-Abenteuer eines Flüchtlings aus der Hauptstadt der Franzosen zur Zeit der grossen Umwälzung, Anno 1792 nach Christigeburt*. Но я не настоящій нѣмецъ.

— *Voilà vos chiens de Brunswick!*—сказалъ мнѣ эльзасецъ, проводивши меня къ пикетамъ, и я очутился на родинѣ, потому что родина моя вздумала очутиться въ Эльзасѣ. Половину цѣпи занимали прусскіе солдаты и половину австрійскіе. Я до того отвыкъ отъ ихъ фізіономіи, до того привыкъ къ живымъ, одушевленнымъ французамъ, что смотрѣлъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ на длинныя, растянутыя, неуклюжія лица австрійцевъ съ ихъ свинцовыми глазами, съ ихъ усами свѣтлѣе щекъ и съ ихъ мундирами свѣтлѣе усовъ. Должно ли дивиться, что они поразили лэди Морганъ въ Италіи, гдѣ насмѣшливая судьба перемѣшала ихъ съ воронными головами итальянцевъ, въ которыхъ видна какая-то артистическая отдѣлка? Прибавьте, что они стояли по колѣна въ грязи, оттого что не хотѣли переступить за лужу, что ни одинъ мускулъ не двигался на ихъ лицѣ, что ихъ рты были

полуоткрыты, что это все дурно сдѣланныя и облитыя грязью статуи командора изъ Донъ-Жуана... Съ другой стороны, пруссаки съ карими глазами, съ римскимъ носомъ и коротенькой трубкой, которую нельзя отдѣлить отъ ихъ лица, не испортивъ его, такъ, какъ нельзя отдѣлить ушей, щекъ и проч. У нихъ что-то глубокомысленное снаружи и совершенное отсутствіе мыслей, кромѣ повиновенія фельдфебелю, внутри; по крайней мѣрѣ, эти двигались, говорили.

Послѣ нѣкоторыхъ вопросовъ и отвѣтовъ, меня отправили къ дежурному генералу, удостовѣрившись, кто я, откуда, зачѣмъ, куда... Но не было никакой надежды ѣхать далѣе, ибо всѣ лошади были взяты арміей. Это было то самое критическое время, когда новый Готфридъ увидѣлъ, что онъ за тѣмъ только пришелъ во Францію, чтобъ увеличить ея торжество. Надобно было провести нѣсколько дней въ несчастномъ войскѣ, которое страдало и отъ дождей, и отъ голода, и отъ стыда.

На другой день пригласилъ меня къ себѣ одинъ владѣтельный князь, вѣроятно желая знать, какіе новые ужасы сдѣлали парижскіе антропофаги. Онъ занималъ небольшой домъ въ близлежащемъ городѣ, и я ввечеру отправился къ нему. Въ залѣ было нѣсколько полковниковъ, какъ всѣ нѣмецкіе полковники,—съ сѣдыми усами и съ сигарами въ зубахъ,—и нѣсколько адъютантовъ, которые все еще не сомнѣвались, что имъ придется попить въ Palais Royal и тамъ оставить я свой здоровый цвѣтъ лица, и способность краснѣть, которая только и осталась у нашего юношества. Вездѣ мундиры, шпоры, сабли. Наконецъ, вошелъ не-военный.

— «Вѣрно, Шатобріанъ»,—сказалъ кто-то мнѣ на ухо.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ я,—Шатобріанъ только тогда ѣздитъ во Францію за непріятелемъ, когда *ses amis les ennemis* бьютъ его соотечественниковъ.

Мужчина хорошаго роста, довольно толстый, съ гордымъ видомъ, въ которомъ выражалось спокойствіе и глубокое чувство собственнаго достоинства. Величіе и сила въ правильныхъ чертахъ лица, въ возвышенномъ челѣ. Всякій человекъ, однажды взглянувъ на него, видѣлъ, что онъ ему не товарищъ,—такъ подавляла, угнетала его наружность; его взоръ не протягивалъ вамъ руки на дружбу, но заставлялъ васъ быть его вассаломъ, прощалъ вамъ вапу ничтожность. Большіе глаза блистали, но блистали такъ, какъ у Наполеона, намекая издали на обширность души. Эти глаза были осѣнены густыми бровями, въ которыхъ я замѣтилъ именно Омировское движеніе. Всѣ манеры показывали свѣтскаго человека и аристократа; но печать германизма ясно обнаруживалась въ особыхъ пріемахъ, которые мы называ-

емъ steif. Вездѣ, гдѣ онъ проходилъ, вставали, кланялись, признавали его власть. Онъ принималъ знаки уваженія, какъ законную дань, то есть съ той деликатностью, которая еще выше подымаетъ его и еще ниже роняетъ ихъ. Я не спускалъ съ него глазъ. Онъ сѣлъ возлѣ герцогова сына, долго говорилъ съ нимъ и, наконецъ, обращаясь къ намъ, сказалъ, придавая особую важность своимъ словамъ:

— Нынче поутру только вѣѣзжаю въ лагерь, вижу какого-то генерала верхомъ. Судите о моемъ удивленіи, когда, подѣѣзжая, узнаю короля прусскаго. Его величество ѣхалъ прямо ко мнѣ. «Чья это карета?» спросилъ его величество лаконическимъ образомъ. — «Герцога Веймарскаго»...

Онъ продолжалъ говорить, но я не продолжалъ слушать, удивляясь, какъ Зевсова голова попала на плечи къ веймарскому дипломату, и завелъ рѣчь съ сидѣвшимъ возлѣ меня эмигрантомъ. Эмигрантъ этотъ былъ военный и, не смотря на бивачную жизнь, нашелъ средства одѣться по бальному. Онъ со слезами меня спрашивалъ о судьбахъ Парижа, — не всего Парижа, а Faubourg Saint Germain, — и со слезами мнѣ рассказывалъ о чувствахъ, наполнившихъ его душу, когда онъ нынче утромъ видѣлъ, что, несмотря на проливной дождь, одинъ изъ принцевъ крови ѣхалъ верхомъ съ прусскимъ королемъ въ одномъ легкомъ плащѣ. Мнѣ онъ показался дотога смѣшонъ, что я забылъ на минуту дипломата и съ величайшимъ вниманіемъ слушалъ важный рассказъ о ничтожныхъ предметахъ. Но вдругъ подозвалъ меня герцоговъ сынъ и, подводя къ своему сосѣду, сказалъ, что я изъ Парижа и могу рассказать самыя новыя новости. Онъ взглянулъ своимъ страннымъ взглядомъ и мнѣ показалось, что онъ меня придавилъ ногой.

— Правда ли, что генералъ Лафайетъ разсорился съ якобинцами, отсталъ отъ нихъ и теперь соединяется съ королемъ?

— «Лафайетъ, — отвѣчалъ я, — никогда не принадлежалъ къ клубу якобинцевъ. Впрочемъ, не смотря на его ненависть къ бѣшеннымъ республиканцамъ, онъ, я думаю, не будетъ ренегатомъ...»

— То-есть не образумится и не воротится къ законной власти, хотите вы сказать?

Я закусилъ губы и извинился привычкою къ jargon revolutionnaire.

— Что несчастный король?

— «Все еще содержится. Скоро будетъ публичный процессъ его».

— Для меня удивительно, какъ шайка безумныхъ мечтателей, какой-нибудь клубъ якобинцевъ, забралъ такую волю, несмотря на омерзение, съ которымъ смотритъ на нихъ нація.

— Жаль, очень жаль, что эти беспорядки такъ долго продолжаются,—сказалъ онъ, обращаясь къ герцогову сыну. Я соби-
рался ѣхать во Францію, но я хотѣлъ видѣть Францію—блестя-
щую и пышную монархію, процвѣтающую столько столѣтій, хо-
тѣлъ видѣть тронъ, подъ лиліями котораго возникли великіе ге-
ніи и великая литература, а не развалины его, подъ которыми
уничтожалось все великое, не второе нашествіе варваровъ. Мос-
счастіе, что успѣлъ насладиться Италіей,—и она начинаетъ пе-
ренимать у французовъ. Можетъ, еще съѣзжу туда, чтобы взгля-
нуть на страну изящнаго прежде, нежели ее убьютъ и исковер-
каютъ. Впрочемъ, увидите, горячка эта не долго будетъ продол-
жаться, и ежели сами французы не образумятся, ихъ образумятъ.

Послѣднее слово онъ произнесъ отдѣльно, и маленькая улыб-
ка, и маленькій огонь въ глазахъ показали, какъ герцоговъ сынъ
доволенъ былъ этимъ комплиментомъ.

Кто не знаетъ ужасную откровенность военныхъ, особенно
германскихъ? Ихъ изрубленные лица, ихъ прострѣленные груди
даютъ имъ право говорить то, о чемъ мы имѣемъ право мол-
чать. По несчастію, за герцоговымъ сыномъ стоялъ, опершись на
саблю, одинъ изъ сѣдыхъ полковниковъ. Въ наружности его были
видны и пять-шесть кампаній, и жизнь, проведенная съ 12 лѣтъ
на бивакахъ и въ лагеряхъ, и независимость, которая такъ идетъ
къ воину,— словомъ, въ немъ было немного Циттена и немного
Блюхера.

— «Если и проучать ихъ, такъ, вѣрно, не теперь»,—сказалъ
онъ съ этой вольностью казармъ, которую породила, можетъ, са-
мая дисциплина ихъ.—«Дивлюсь я на эту кампанію: не пригото-
вивъ ничего, бросили насъ осенью въ непріятельскую землю;
увѣрили, что насъ примутъ съ распростертыми объятіями, а намъ
скоро придется умереть съ голода, потонуть въ грязи и быть
выгнанными безъ малѣйшей славы. Хоть бы ужъ идти назадъ,
пока есть время... (Скорѣ голову положу на полѣ битвы, нежели
перенести стыдъ такой кампаніи...)»—И онъ жаль рукою эфесъ
сабли и какъ будто радовался, что высказалъ эти слова, давно
тяготившія грудь его.

— Счастіе намъ худо благопріятствовало, отвѣчалъ дипло-
матъ; но не совсемъ такъ отвернулось, какъ думаетъ г. полков-
никъ. И наша теперешняя жизнь, исполненная недостатковъ и
лишений, послужитъ намъ пріятнымъ воспоминаніемъ, — въ ней
есть своя поэзія. Знаете, чѣмъ утѣшался любимецъ Людовика Свя-
таго въ плѣну, когда всѣ унывали? „Nous en parlerons devant
les dames“, говорилъ онъ.

Герцоговъ сынъ поблагодарилъ взглядомъ, но неумолимый
полковникъ не сдался.

— «Хорошо утѣшенье!»—сказалъ онъ глухимъ голосомъ, гордо улыбаясь и сжимая до того свою сигару, что дымъ пошелъ изъ двадцати мѣстъ.—«Боюсь одного, что не *мы*, а *они* будутъ разсказывать нашимъ дамамъ объ этой кампаніи».

Въ лицѣ его было тогда столько гордости, даже восторга (ибо не одни художники умѣютъ восторгаться), что я увидѣлъ въ немъ соперника дипломату.

— Охота намъ говорить о войнѣ, о политикѣ, подхватилъ дипломатъ, видя непреклонность воина. — Когда, бывало, среди моихъ занятій въ Италіи мнѣ попадались газеты, я видѣлъ себя столь чуждымъ этому міру, что не могъ найти никакой занимательности: это что-то такое временное, перемѣнное и потомъ совершенная принадлежность нѣсколькихъ особъ, коимъ providѣніе вручило судьбы міра, такъ что стыдно вмѣшиваться безъ призыва. И теперь я далекъ отъ всѣхъ политическихъ предметовъ и такъ спокойно занимаюсь, какъ въ своемъ веймарскомъ кабинетѣ.

— А чѣмъ вы теперь занимаетесь? спросилъ герцоговъ сынъ, сисясь скрыть радость, что разговоръ о войнѣ окончился.

— Въ особенности теорію цвѣтовъ. Я уже имѣлъ счастье излагать ее свѣтлѣйшему братцу вашему, и онъ былъ доволенъ. Теперь я дѣлаю чертежи.

Удивительный человекъ, думалъ я: въ 1792 году въ арміи, которую бьютъ, среди колоссальныхъ обстоятельствъ, которыхъ не понимаетъ,—занимается физикою! Я видѣлъ, что онъ не дипломатъ и не могъ догадаться.

— Кто это?—спросилъ я у герцогова адъютанта.

— «Про кого вы спрашиваете?»—сказалъ съ удивленіемъ адъютантъ.

— Вотъ про этого высокаго мужчину, который теперь всталъ, во фракѣ.

— «Неужели вы не знаете?—Это Гёте!»

— Гёте, сочинитель «Гёца»?

— «Да, да».

— Вольфгангъ Гёте, сочинитель «Гёца», «Вертера»...

Я обернулся, но онъ былъ уже въ дверяхъ, и я не могъ посмотрѣть на Гёте, какъ на Гёте. Вотъ вамъ моя встрѣча.

— Вы послѣ его не видали? спросила Корина.

— Одинъ разъ, отвѣчалъ онъ, нѣсколько недѣль спустя. Въ какомъ-то городкѣ давали его пьесу. Я забылъ ея названіе; помню только, что это — фарсъ надъ революціей, маленькая насмѣшка надъ огромнымъ явленіемъ, которое все имѣло въ себѣ, кромѣ смѣшного. Тогда уже вполнѣ обозначился грозный характеръ переворота и вся мощь его. Разбитое войско возвраща-

лось домой, въ Германію; палачъ ждалъ вѣнчанную главу. Испуганная, печальная публика не смѣялась. И, по-правдѣ, насмѣшка была натянута.

Гёте сидѣлъ въ ложѣ съ герцогомъ веймарскимъ, сердился. досадовалъ,—Гёте былъ весь авторъ. Я издали смотрѣлъ на него и ото всей души жалѣлъ, что этотъ великій человѣкъ, развивавшій цѣлый міръ высокихъ идей, этотъ поэтъ, удивившій весь міръ, испытываетъ участь журналиста, попавшаго не въ тонъ. Печальныя мысли заняли меня до того, что я содрогнулся, услышавъ, что меня взялъ кто-то за руку. Обернувшись, увидѣлъ я полковника, съ которымъ встрѣтился у герцогова сына. Онъ былъ совершенно тотъ же, какъ и тамъ,—съ тѣмъ же гордымъ видомъ. съ тѣмъ же независимымъ лицомъ. Я замѣтилъ одну перемену: лѣвая рука его была въ перевязкѣ.

— «Есть же люди, которые находятъ улыбку тамъ, гдѣ всѣ плачутъ», — сказалъ онъ, пожимая плечами и съ негодованіемъ крутя сѣдой усъ свой.—«Неужели это право великаго человѣка?»— прибавилъ онъ, помолчавъ.

Я взглянулъ на него, взглянулъ на Гёте, хотѣлъ сказать очень много и молча пожалъ его руку.

Тутъ онъ остановился, глаза его прищурились, онъ закусилъ нижнюю губу, и, казалось, сцена сія со всею точностью повторилась въ его головѣ и онъ чувствовалъ все то, что чувствовалъ за сорокъ лѣтъ.

— Vous êtes ennemi juré de Goethe,—сказала Корина.

— Вы принадлежите къ партіи Менцеля,—прибавилъ спекулятивный философъ, другъ Корины.

— Я готовъ преклонить колѣна передъ творцемъ «Фауста», возразилъ германецъ.

— Но разсказъ вашъ, — продолжалъ обиженный философъ, заявленный обожатель Гёте,—разсказъ вашъ набросилъ на этого мощнаго генія какую-то тѣнь. Я не понимаю, какое право можно имѣть, требуя отъ человѣка, сдѣлавшаго такъ много, чтобъ онъ былъ политикомъ. Онъ самъ сказалъ вамъ, что все это казалось ему слишкомъ временнымъ. И зачѣмъ ему было выступать дѣятелемъ въ мірѣ политическомъ, когда онъ былъ царемъ въ другомъ мірѣ,—мірѣ поэзіи и искусства? Неужели вы не можете себѣ представить художника, поэта, безъ того, чтобъ онъ не былъ политикомъ,—вы, германецъ?

Путешественникъ во время своего разсказа мало-по-малу одушевлялся. Теперь, слушая философа, онъ принялъ опять свою ледяную маску.

— Я вамъ разсказалъ фактъ. Случай показалъ мнѣ Гёте такъ. Не политики, симпатіи всему великому требую я отъ генія. Ве-

ликій человѣкъ живетъ общею жизнью человѣчества; онъ не можетъ быть холоденъ къ судьбамъ міра, къ колоссальнымъ обстоятельствамъ; онъ не можетъ не понимать событій современныхъ,—они должны на него дѣйствовать, въ какой-бы то формѣ ни было. Сверхъ того, всеобъемлемости человѣку не дано,—напрасно стремились къ ней Дидро и Вольтеръ. И что можетъ быть изящнѣе жизни нѣкоторыхъ людей, посвятившихъ всѣ дни свои одному предмету,—жизнь Винкельмана, на примѣръ? Посмотрите на это германское дерево, пересаженное на благодатную почву Италіи, на этого грека въ XVIII столѣтіи, на эту жизнь въ музеумѣ и въ свѣтлой, ясной области изящнаго! Надобно имѣть очень дурную душу, то-есть совѣтъ души не имѣть, чтобы не придти въ восторгъ отъ его жизни. Скажу болѣе: я люблю Гоффмана въ питейномъ домѣ, но ненавижу пуще всего мистификацію и эгоизмъ, все равно,—въ Гёте или въ Гюго. Ужели онъ вамъ нравится придворнымъ поэтомъ, по заказу составляющимъ оды на пріѣзды и отъѣзды, сочиняющимъ прологи и маскарадныя стихи?

— Вы забываете, что Гёте жилъ въ Германіи, гдѣ доселѣ сохранилось то патріархальное отношеніе между властителями и народомъ, которое служило основою феодализму,—отношеніе, которое, съ одной стороны, заставляло поэта воснѣвать добраго отца семейства, а короля—искать мѣста для *скромнаго ордена* своего на груди поэта; поэтъ—праздновать своей лирой торжество властителя, а властителя иллюминировать свой городъ въ день рожденія поэта.

— Извините, я, право, вижу какую-то либеральную *aggrège pensée* въ вашихъ словахъ.

— Напрасно вы принимаете меня за карбонара. Повѣрьте, мое сердце умѣетъ биться за Ларошъ-Жаклена, бѣшенаго ван-дейца,—умѣетъ сочувствовать старику Малербу, склоняющему главу свою на плаху... Они откровенно одушевлены были любовью къ монархіи; они—герои, въ нихъ нѣтъ мистификаціи. Отчего всѣ доселѣ съ восхищеніемъ читаютъ переписку Вольтера съ Екатериной II?—Оттого, что всякій видитъ, что они поняли другъ друга, отдали справедливость, любили другъ друга,—оттого, что душа Екатерины была обширна, какъ ея царство, и душа Вольтера сочувствовала своему вѣку. И отчего же никто не читаетъ стиховъ Гёте на пріѣзды, отъѣзды, разрѣшенія отъ бремени, выздоровленія и т. д.?

— Я не знаю по-русски, но я много слышать о вашемъ Державинѣ, и именно о томъ чувствѣ искренней преданности, которая доводитъ его до высочайшаго идеализированія Екатерины. Не зная Державина, я понимаю чувства, одушевлявшія его, понимаю истинность его восторга. Но этой-то истинности и нѣтъ въ Гёте, ея нѣтъ въ большей части его сочиненій, онъ *паради-*

руетъ, онъ на сценѣ театра при свѣтѣ лампъ, а не на сценѣ жизни при свѣтѣ солнца... Лафатеръ, увидѣвъ въ первый разъ Гёте, не могъ удержаться, чтобъ не сказать: «Я полагалъ, что у васъ совсѣмъ не такія черты лица». А Лафатеръ рѣдко ошибался. Читая Гёте, онъ вѣрилъ, что каждая строка его отъ души, и поэтому построилъ въ фантазіи его черты и не нашелъ ихъ въ лицѣ его, ибо ихъ не было и въ душѣ у Гёте, такъ, какъ въ немъ не было ничего восточнаго, несмотря на то, что онъ, насилуя свой мощный геній, написалъ „Der West-östliche Divan“, который такъ и дышетъ запахомъ Аллаха, стихами Саади и Низами. Тотъ, кто вѣренъ себѣ, и на челѣ, и на устахъ, и во взорѣ носитъ отпечатокъ того, чѣмъ полны его сочиненія. Какъ часто останавливался я въ Веймарѣ передъ бюстомъ Шиллера. Славный Данекеръ отвердилъ, такъ сказать, прелестную форму, въ которой обитала прелестная душа. И нѣтъ возможности Шиллера представить себѣ иначе.

— Читайте Гётеву автобіографію, — и вы увидите, что вся жизнь его протекала въ непрерывныхъ занятіяхъ; тамъ увидите, что онъ пренебрегалъ толпою, — для чего же ему было мистифицировать ее?

— Да, да надобно читать этотъ драгоценный комментарий къ его сочиненіямъ, эту огромную исповѣдь эгоизма. Тамъ Гёте весь; тамъ вы увидите, что его «я» поглощаетъ все бытіе; тамъ онъ самъ признается вамъ, какъ въ 1804 году онъ мистифицировалъ m-me Staële, а она его... О, уморительный документъ пустоты нашего вѣка!.. Въмѣсто симпатій генія, таланта, славы, этотъ первый мужчина своего вѣка съ этой первой женщиной встрѣчаются въ маскахъ, обманываютъ другъ друга. Одинъ представляетъ изъ себя мрачнаго поэта Тевтоніи, мечтающаго о высшемъ мірѣ, и въ душѣ смѣется: другая представляетъ чувствительное сердце, плачетъ о политическихъ событіяхъ, страхъ жалѣетъ объ убитыхъ, придаетъ себѣ видъ отчаянія, — и еще болѣе смѣется въ душѣ. И какъ безжалостно Гёте приводитъ за кулисы этой комедіи! Удивляюсь генію этого человѣка, но любить его не могу... Когда Гёте возвратился изъ Италіи, былъ онъ однажды въ большомъ обществѣ и, какъ разумѣется, въ аристократическомъ обществѣ; тамъ собиралъ онъ похвалы и расточалъ свои рассказы, придавая огромную важность всѣмъ словамъ своимъ и всѣмъ поступкамъ. Тутъ же въ углу сидѣлъ задумчиво кто-то. Долго и внимательно смотрѣлъ онъ на Гёте своими голубыми глазами, въ которыхъ такъ ярко было написано, что этотъ человѣкъ не принадлежитъ землѣ и что душа его груститъ по другому міру, который создала святая мечта и чистое вдохновеніе. Онъ любилъ его за «Вертера» и за «Берлихингена»: онъ нарочно пришелъ, чтобъ увидѣть его

и познакомиться съ нимъ. Этотъ кто-то всталъ, наконецъ, и сказалъ: «Съ нимъ мы никогда не сойдемся!»—И знаете ли, что этотъ кто-то былъ никто иной, какъ Шиллеръ?

— Но вспомните, что они послѣ сдѣлались неразрывными друзьями и любили другъ друга.

— Не вѣрю. Гёте подавилъ своимъ гениемъ и авторитетомъ крѣпкаго Шиллера, но они не могли искренно любить другъ друга. Я вамъ уже сказалъ, что я готовъ преклонить колѣна передъ творцомъ «Фауста», такъ же, какъ готовъ раззнакомиться съ тайнымъ совѣтникомъ Гёте, который пишетъ комедіи въ день Лейпцигской битвы и не занимается біографіей человѣчества, непрерывно занимаясь своею біографіею.

Въ заключеніе возвращусь къ страшному обвиненію, которое вамъ угодно было сдѣлать послѣ моего разказа: чтобы я требовалъ отъ Гёте политики, и особенно въ наше время, когда все дышетъ посредственностью, все идетъ къ ней, въ нашъ вѣкъ, который похожъ на Паскаля,—не на Паскаля всегда (слишкомъ много чести), а на Паскаля въ тѣ минуты, когда онъ принимаетъ Христову вѣру по тому, что не отвергалъ ее.

Англійскій корсаръ увезъ съ собою на Беллерофонъ дѣятельное начало нашего вѣка и хорошо сдѣлалъ, — бронзовый бюстъ, доставшійся въ позорныя руки Гудзонъ Ловъ, худо гармонировать съ нашими стѣнами подъ мраморъ, съ нашими бюстами изъ гипса; для того бюста океанъ и подземный огонь образовали пьедесталь.

Sagt, wo sind die Vortrefflichen hin, wo find ich die Sänger,
Die mit dem lebenden Wort horchende Völker entzückt?..
Doch, noch leben die Sänger, nur fehlen die Thaten die Lyra
Freudig zu wecken...

Schiller.

Гёте понялъ ничтожность вѣка, но не могъ стать выше его; онъ самъ осудилъ и вѣкъ, и себя, сказавъ: «Древніе искали фактъ, а мы эффектъ; древніе представляли ужасное, а мы ужасно представляемъ»,—тутъ все выражено. Мы восторгаемся для того, чтобы печатать восторги; мы чувствуемъ для того, чтобы изъ чувствъ строить журнальныя статейки; живемъ для того, чтобы писать отрывки нашей жизни, какъ будто дѣйствовать есть что-нибудь низшее, а писать—цѣль человѣка на землѣ; словомъ, мы слишкомъ авторы, чтобы быть людьми. Знаете ли, какъ генераль Ламаркъ называлъ нынѣшнее состояніе Франціи?—*Hutte dans la boue.*

— Вѣрите ли вы въ совершенствованіе человѣка?

— А вѣрите ли вы, что вся природа есть переходъ, исполненный страданія?—спросилъ германецъ, быстро взглянувъ на философа.

Философъ улыбнулся.

Разговоръ прекратился. Въ горницѣ было душно и я вышелъ на балконъ. Мѣсяцъ свѣтилъ всѣмъ лицомъ своимъ и небольшой вѣтеръ освѣжалъ прохладой и обливалъ запахомъ воздушныхъ жасминовъ. Это была одна изъ тѣхъ пяти или шести ночей, когда можно въ Москвѣ быть на воздухѣ, не проклиная ея сѣверной широты. Что за человекъ, думалъ я, этотъ нѣмецъ? Нисколько не похожъ онъ на blasés нынѣшняго вѣка, которые сыплютъ насмѣшки и рѣзкія сужденія, чтобы обратить на себя вниманіе, ругаютъ нынѣшній вѣкъ и всѣхъ великихъ людей, всѣмъ недовольны, давая чувствовать, что у нихъ построены въ головѣ какой-то пантеонъ для всего человѣчества, въ то время, какъ у нихъ ничего не построено въ головѣ. Отъ него не вѣяло морознымъ холодомъ этихъ людей... Онъ самъ перервалъ мои мысли, выйдя на балконъ. Мнѣ весьма хотѣлось поговорить съ нимъ: по онъ, кажется, вышелъ именно для того, чтобы быть одному, и не говорилъ ни слова. Отложивъ деликатность въ сторону, я сказалъ ему: «Строго осудили вы нашъ вѣкъ, и я откровенно скажу вамъ, что не могу во всемъ согласиться съ вами. Какой необъятный шагъ сдѣлало человѣчество послѣ Наполеона!»

Онъ молчалъ, и еще болѣе я замѣтилъ, что онъ все вниманіе обратилъ на луну. Наконецъ, онъ вздохнулъ и, оборотясь ко мнѣ, сказалъ: «Я теперь вспомнилъ прелестную ночь, одну изъ самыхъ святыхъ минутъ моей жизни. Года два тому назадъ я жилъ въ Венеціи. Въ мірѣ много земель и городовъ, но *одна* Италия и *одна* Венеція! Я былъ на балу у эрцгерцога; онъ давалъ его, помнится, по случаю взятія Варшавы. Придворный балъ вездѣ скученъ. Ложный свѣтъ воска и ложная радость людей нагнали на меня чрезвычайную тоску, — и я ушелъ. Что это за ночь была! Вы меня извините,—нынѣшний вечеръ одно блѣдное подражаніе, даже непохожее: я упивался и луною, и воздухомъ, и видомъ. Левъ Святаго Марка убить; но его вдова, красавица Венеція, *saga la boignosa* (?), все еще также прелестна, также сладострастно плещется въ волнахъ Адриатики. Я бросился въ гондолѣ къ лагунамъ. Вы, вѣрно, знаете, что тамъ доселѣ встрѣчаются *gondolieri*, которые поютъ стансы изъ Тассо и Аріосто, одинъ тутъ, другой тамъ—далеко... Прежде это бывало часто, теперь Италия начинаетъ забывать своихъ поэтовъ. Но въ эту ночь счастье улыбнулось мнѣ. Издали раздался простой кантъ, усиливался болѣе и болѣе, и я ясно слышалъ три послѣдніе стиха,—они остались у меня въ памяти:

Dormi Italia imbroicata, e non ti pesa,
Ch' ora di questa gente, ora di quella
Che già serva ti fu, sei fatta ancella...

Еще далѣе отвѣчали съ другой гондолы слѣдующимъ стансомъ и слабый голосъ, стелясь по волнамъ и смѣшиваясь, и перешлетаясь съ ихъ плескомъ, выражалъ и просьбу, и упрекъ. Эта ночь никогда не изгладится изъ моей памяти.

Теперь пришла моя очередь молчать, и я молчала.

— «Но что же будетъ далѣе?»—сказалъ я, наконецъ.

— Знаете ли вы, чѣмъ кончилъ лордъ Гамильтонъ, проведя цѣлую жизнь въ отыскиваніи идеала изящнаго между кусками мрамора и натянутыми холстами?

— «Тѣмъ, что нашелъ его въ живой ирландкѣ».

— Вы отвѣчали за меня,—сказалъ онъ, уходя съ балкона.

Крутицкія казармы.

1834, декабрь.

Переписано въ Вяткѣ

1836, іюня 20).

Вторая встрѣча.

Wer nie sein Brod mit Thränen ass,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend sass,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen
Mächte.

Göthe, Wilh. Meister's Lehrj.

Холодный ледяной вѣтеръ дулъ изъ-за Камы. Такъ дышетъ Уральскій хребетъ вѣчнымъ льдомъ своихъ вершинъ, такъ дышетъ холодная грудь Сибири на Европу. Кама, широкая и быстрая, мчала съ неимоверной скоростью множество тяжело нагруженныхъ судовъ; кое-гдѣ двигались запоздалыя льдины, поворачиваясь и какъ бы нехотя слѣдуя теченію рѣки. Порывами вѣтеръ наносилъ *tembra disjecta* ¹⁾ пѣсенъ бурлаковъ и ихъ громкіе возгласы. Было грустно. Я сидѣлъ, закутавшись въ плащъ, на высокомъ берегу. Съ противоположной стороны садилось солнце красное, но холодное. Раны моего сердца были свѣжи. Недавно оставилъ я родимый городъ, хотя давно уже былъ оторванъ отъ всѣхъ близкихъ душъ моей. Всѣ подробности 9-го апрѣля явились въ моемъ воображеніи: день свиданія послѣ мрачной разлуки, день разлуки послѣ мрачнаго свиданья. Въ этотъ день переломилось мое существованіе... Прощальный поцѣлуй, облитый слезами, запечатлѣлъ небесной печатью воспоминанія, за кото-

¹⁾ Отрывочные звуки.

рыми пустота и мракъ. Было грустно; мнѣ занудились люди, чтобы разсѣяться, люди,—которые мелкимъ пескомъ своихъ словъ могутъ засыпать раны сердца, доколѣ порывъ вѣтра не снесетъ его. На дворѣ становилось холоднѣе, Кама почернѣла, барки превратились въ какихъ-то ракообразныхъ животныхъ, съ огромными ребрами; огонь, разложенный на нихъ, казался огненной частью чудовищъ... Я пошелъ съ тѣмъ, чтобы зайти къ кому-нибудь изъ знакомыхъ на скорую руку, и зашелъ къ кому-то. Не обращая ни малѣйшаго вниманія на двухъ человѣкъ, бывшихъ въ горницѣ, я бросился на турецкій диванъ и курить сигару.

Разговоръ шелъ безцвѣтный и холодный, какъ всегда между людьми, которыхъ не связываютъ ни общія идеи, ни симпатіи души, ни даже привычка. Меня спрашивали о столицѣ, мнѣ рассказывали о провинціи,—незамѣтно я развлекся. Хозяинъ грузинъ тѣшилъ меня своею ненавистью къ морозу, которая у него à l'oriental доходила до личной вражды. Вдругъ ему вздумалось перемѣнить тему и на мѣсто своей термометрической антипатіи рассказывать о томъ, какъ онъ покидалъ отцовскій домъ. Душа моя встрепенулась. Холодная маска упала, и я въ пламенныхъ и горячихъ словахъ описывалъ имъ мое 9-е апрѣля. Чувства бушевали во мнѣ, и радостныя, что нашли отверстіе, лились потокомъ словъ. Я всталъ съ своего мѣста и вдругъ взоръ мой встрѣтился со взоромъ одного изъ тѣхъ лицъ, которыхъ я едва замѣтилъ, входя. Глаза наши столкнулись, и рѣчь моя, какъ бы скошенная, остановилась. Мужчина лѣтъ сорока, въ черной венгеркѣ, обшитой шнурками, склонивъ голову на руку, опершуюся на диванъ, и крутя другою длинныя русые усы, со всѣми знаками самаго усиленнаго вниманія смотрѣлъ этимъ взоромъ на меня. Грудь его подымалась, ноздри раздувались и крупная слеза тихо катилась по щекѣ. Но глаза—теперь вижу ихъ—издавали какой-то свѣтъ, въ нихъ было что-то отъ пламени молній. Я остановился, и онъ, какъ бы обиженный, грубо обращаясь ко мнѣ, сказалъ: «Продолжайте». Мы помѣнялись взоромъ, и я, чувствуя, что понять, продолжалъ еще съ большимъ одушевленіемъ. Когда кончилъ я, онъ всталъ, прошелъ раза два по горницѣ, приблизился ко мнѣ и, прямо смотря въ глаза, сказалъ: «Мы—друзья!»—«Друзья!»—отвѣчалъ невольный голосъ изъ моей груди, какъ эхо на его вызовъ, какъ инструментъ, невольно издающій звукъ, взятый на другомъ. Потому онъ сѣлъ на старое мѣсто и принялъ неподвижную фигуру статуи; лицо его сдѣлалось мрачно, длинныя волосы падали на глаза, и онъ не поправлялъ ихъ, молчалъ и, можетъ, въ мысляхъ перебиралъ свое 9-е апрѣля. Пора было идти домой. Онъ проводилъ меня съ хозяиномъ до дверей, сжалъ мнѣ руку и сказалъ: «Первый лучъ солнца

послѣ долгой зимы!»—«Да,—подхватилъ грузинъ, не понимая его словъ,—нынче первый ясный день съ августа мѣсяца. Ужасно! Морозы доходили до 45°». Я ушелъ. Незнакомецъ занималъ меня безпрерывно; я не зналъ, ни кто онъ, ни что онъ, но многое понималъ, догадался. История его сердца должна быть ужасна, но его сердце должно быть высоко. Приготовленія къ дорогѣ, мелочи, хлопоты заставили на время забыть незнакомца. На другой день къ ночи надобно было ѣхать.

Въ самый день отъѣзда меня пригласили на большой обѣдъ къ одному богачу, и я пошелъ, чтобы взглянуть на beau monde того края. Провинція запечатлѣла весь этотъ домъ, и хозяинъ въ яхонтоваго цвѣта фракѣ, съ непомѣрной величины Анною на шеѣ и съ волосами, вглядъ вычесанными, такъ же не годился въ модную гостиную, какъ его кресла изъ цѣльнаго краснаго дерева, тяжеле 10-фунтоваго орудія, и украшенныя позолоченою рѣзбою въ видѣ раковинъ и выгнутыхъ листьевъ... Парно и съ какимъ-то благоговѣніемъ шли въ столовую, гдѣ дожидался столъ длинный, узкій, изогнутый глаголемъ. Поскорѣ подаль я руку какой-то барышнѣ, которой никто не даетъ руки ни къ вѣнцу, ни къ обѣду, и замкнулъ процессію. Толпа лакеевъ въ сюртукахъ, съ часами на бисерныхъ шнуркахъ, въ пестрыхъ галстукахъ, суетились подъ предводительствомъ дворецкаго, который своею дебелостью доказывалъ, что ему идетъ на пользу дозволеніе ѣсть съ барскаго стола остатки. Толпа мальчишекъ, всѣ въ разныхъ костюмахъ, но не всѣ въ сапогахъ, мѣшали имъ и дрались изъ-за чести, кому за кѣмъ стоять, не имѣя понятія, что мѣстничество уничтожено. Но оно и не уничтожено въ провинціи. Провинція смѣло можетъ похвастать порядкомъ распредѣленія мѣстъ за обѣдомъ, это статья изъ адресъ-календаря. Тутъ-то вполнѣ узналъ я, что значитъ предѣдатель уголовной палаты, которому губернаторъ *предлагаетъ*, и совѣтникъ губернскаго правленія, которому губернаторъ *предсѣдательствуетъ*, и земскій исправникъ, которому губернаторъ *повелѣваетъ*, наконецъ, что такое прокуроръ, партизанъ никому не подчиненный, кромѣ Бога и министра юстиціи, о которомъ губернаторъ даже не *аттестуетъ* и который губернатору говоритъ «вы». Такъ все въ провинціи отнесено къ губернатору, понятно, онъ—центръ, остальное — периферія: онъ—солнце, остальное—созвѣздія; словомъ, онъ—необходимая координата, безъ которой нельзя составить уравненія этихъ безконечно малыхъ величинъ. Главное дѣйствующее лицо за обѣдомъ былъ докторъ, сорокъ лѣтъ тому назадъ забывшій медицину, которой учился пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ въ Геттингенѣ, но твердо помнящій всѣ филистерскія затѣи. Онъ поѣхалъ въ Россію съ твердымъ убѣжденіемъ, что въ Москвѣ по улицамъ ходятъ мед-

вѣди, и, занесенный сюда нѣмецкой страстью пытаться счастье по всему бѣлому свѣту, остался дожидаться, пока разстройство животной экономіи и засореніе *vasorum absorbentium* превратитъ его самого въ соръ. Этотъ старикъ, весьма веселый и очень маленькій ростомъ, плѣшивый и съ быстрыми глазами, острить надо всѣми, шутилъ, отпускалъ вольтеровскія замѣчанія, дивилъ своимъ матеріализмомъ, смѣшилъ своими двусмысленностями. Его всѣ любили, и онъ всѣхъ любилъ. Да и какъ было ему не любить всѣхъ? Это поколѣніе родилось, выросло, занемогло, выздоровѣло при немъ, отъ него; онъ не только зналъ ихъ наружности, но зналъ ихъ внутренности и *l'amour de la science* заставляло любить ихъ. Второе лицо было какой-то флотскій капитанъ, который, по несчастію, сидѣлъ возлѣ меня и, поймавъ новаго человѣка, тѣмъ голосомъ, которымъ кричатъ съ палубы на мачту, рассказывалъ мнѣ весь обѣдъ, продолжавшійся три добрыхъ часа, какъ онъ минутъ двадцать тонулъ у Алеутскихъ острововъ, со всѣми техническими выраженіями, которыя живутъ на кораблѣ и приплываютъ къ материку только въ романахъ (ю и въ повѣстяхъ Бестужева. Онъ душевно желалъ, чтобы путь мой былъ въ Березовъ, гдѣ живетъ отставной мичманъ Филиппъ Васильевичъ, который былъ свидѣтель этого происшествія и могъ мнѣ прибавить то, чего онъ не помнитъ, ибо былъ безъ памяти нѣсколько времени. Я съ иронической улыбкой поблагодарилъ его за желаніе. Еще кто былъ за столомъ? Наливки изъ всѣхъ растений, оканчивающихъ ягодою свой цвѣтъ, *старое французское* и—*place au grand homme*—шампанское, которое лилось не по столичному въ узенькіе бокалы, а въ стаканы, и пребольшіе. Наконецъ, *перезилъ* я обѣдъ. Всѣ торопливо бросились за карты, кромѣ доктора, который свято исполнялъ однажды возложенныя на себя гигиеническія правила: долженъ былъ послѣ обѣда 25 минутъ ходить по горницѣ для пищеваренія.

Я обнялъ хозяина, который съ искренней добротой пожелалъ мнѣ счастливаго пути, и вышелъ на улицу, улыбаясь и приводя на память всѣ пустые разговоры, которыхъ былъ свидѣтелемъ. Время было хорошо: хотѣлось походить, и я отправился на бульваръ, идущій отъ Московской заставы до Сибирской. Бульваръ этотъ превосходенъ. Обхватывая полгорода съ наружной стороны, онъ простирается версты на три: огромныя, толстыя березы, прямыя и вѣтвистыя, отдѣляютъ его съ одной стороны отъ города, съ другой—отъ обширнаго поля, и чугунныя заставы, какъ черныя колоссальныя латники, стерегутъ его съ обѣихъ сторонъ. Скупа природа того края: зелень едва виднѣлась и кое-гдѣ вѣпніе цвѣты—блѣдные, слабые недоноски, долженствующіе умереть отъ холодныхъ утренниковъ. Несмотря на это, какой-то человѣкъ

гербаризировать. Тотчасъ узналъ я вчерашняго незнакомца и пошелъ къ нему. Онъ такъ былъ занятъ своей работой, что долго не замѣчалъ меня. Я взялъ его за руку и онъ съ видомъ сильной радости сказалъ, оборачиваясь:

— «Итакъ, мнѣ еще суждено видѣть васъ! Благословляю нашу вчерашнюю встрѣчу. Вотъ уже два года не слыхалъ я человѣческаго голоса, а вчера ваши слова, какъ симфонія Бетховена, какъ пѣснь родины, пробудили мою душу. Вы помирили меня съ людьми, высказывая чувства, которыя бились и въ моей груди... Два года—много времени, и все чужое, кромѣ природы; мы съ нею вдвоемъ и понимаемъ другъ друга. Какъ звученъ языкъ ея и какъ утѣшителенъ! Я всякій день бываю на этомъ полѣ,— я люблю его. Мы—старые знакомые. Вотъ этотъ монтодонъ уже третьяго дня распустился и два раза видѣлись мы. Люблю природу! Говоря съ нею, я отвыкъ отъ человѣческаго языка, а вы мнѣ напомнили его. Прелестенъ и онъ, когда выходитъ изъ самага сердца, когда не запыленъ...» Онъ приостановился.

— «Вы, вѣрно, много страдали,—сказалъ я,—вѣрно, очень несчастны?»

— «Да, я много страдалъ, но не несчастенъ: несчастны они въ своемъ счастьи, а мы счастливы! Съ гордостью смотрю я на душу мою, всю въ рубцахъ отъ гоненій и бѣдствій, ибо совѣсть моя чиста, ибо я, какъ воинъ, ни разу не бѣжалъ съ поля несчастія. И вотъ я заброшенъ сюда и безъ куска хлѣба, а все тотъ же, какъ былъ. Они ничего не отняли у меня, — душа осталась. Да неужели вы не чувствовали особой сладости страданій высокихъ, страданій за истину? Правда, иныя минуты доводятъ до отчаянія. Я помню, когда меня оторвали отъ моей жены во время ея родовъ и какъ она — одна безъ помощи служанки, покинутая всѣми—мучилась смертельною болѣзною. Холодный потъ выступаетъ, когда подумаю... Но Богъ печется объ несчастныхъ,—она выздоровѣла. Теперь я безъ куска хлѣба, а былъ богатъ; бѣдность гнететъ иногда, но душа стала выше этихъ предразсудковъ. И можно ли за одно чистое, святое наслажденіе созерцательной минуты взять цѣлую жизнь, спокойную и безмятежную, этой толпы, которую ничто не грѣшетъ, ничто не влечетъ?.. Часто сажусь я вотъ на этой горѣ и перебираю жизнь мою. Какъ ярко напечатлѣны въ памяти минуты поэтическихъ восторговъ, когда душа, вырываясь изъ цѣпей, парила! Эти минуты свѣтятъ, подобно фороусу, по болотистому пути жизни. А мгновенія, когда я услышалъ первое слово любви,—это мощное слово, которое одно можетъ пересоздать человѣка,—не выкупили ли они впередъ всѣ несчастія!.. Въ шестнадцать лѣтъ схватили меня волны и умчали, крутя, въ какой-то *bufere infernal*. И я, подобно моряку, приставшему

на бесплодный утесъ, вспоминаю все буре, все волны, бывшія о мой корабль, и благодарю провидѣніе, что спасло меня, забывая потери. Счастіе—слово безъ смысла въ нечистыхъ устахъ толпы. Для чего счастье чловѣку, одаренному душою высокою, которая внутри себя найдетъ блаженство? И когда же были счастливы становившіеся выше узкихъ ракъ, которыми сковались ничтожные люди? Птицы небесныя имѣютъ гнѣзда и лисы—язвины, убѣжище, но Сыну чловѣческому негдѣ главы преклонить. И развѣ Онъ счастіемъ манилъ учениковъ? Развѣ счастье оставилъ имъ въ наслѣдство?—Нѣтъ, крестъ! И съ радостію взяли они это наслѣдство и понесли крестъ Его... Никогда чловѣкъ въ счастіи не узнаетъ всей глубины поэзіи, въ его душѣ лежащей; но страданія, вливая силы, разверзнуть цѣлый океанъ ощущеній и мыслей. Когда Данте былъ въ раку? Торжествуя ли въ своей Firenze, или будучи въ ссылке, «испытывая горечь чужого хлѣба и крутизну чужихъ лѣстницъ»? Иной всю жизнь провелъ бы, не зная сокровенныхъ областей души своей, и она не вышла бы изъ своей хризолиты, — такъ искусно толпа умѣетъ подавить, задунить чувство даже въ другомъ. Но его поражаетъ несчастіе, и душа вспорхнетъ, отрясетъ прахъ земной, взлетитъ къ небу. Одна мысль: *я перенесъ это* — исполняетъ гордостью и наслажденіемъ. Чловѣкъ, не согнувшій выю свою передъ обстоятельствами, выдержавшій твердую борьбу съ ними, можетъ сознать свое достоинство и посмотреть на людей тѣмъ взоромъ, которымъ смотрѣлъ Марій съ развалинъ Карфагена на Римъ и Наполеонъ изъ Лонгвуда на вселенную. Да, одна мысль эта достаточна, чтобы вознестись надъ толпою, которая такъ боится всякихъ ощущеній и лучше соглашается жить жизнью животнаго, нежели терпѣть несчастія, сопряженныя съ жизнью чловѣка...

Слова незнакомца нашли отзывный звукъ въ моемъ сердцѣ. Долго говорили мы. Наконецъ, пора мнѣ было собираться въ дорогу.

— «Вамъ не пужно совѣтовъ: душа ваша не померкнетъ»,—сказать онъ.

«И если она изнеможетъ, возразилъ я, подъ ударами судьбы, придетъ въ отчаяніе, я вспомню васъ и покрасѣю за свою слабость». Онъ плакалъ.

— «Зачѣмъ вы ѣдете? Я останусь опять въ моемъ одиночествѣ... Здѣсь сердца холодны, какъ руды изъ Уральскаго хребта, и также жестки. Но сладостно будетъ мнѣ воспоминаніе нашей встрѣчи».

Я бросился въ его объятія и не могъ вымолвить слово благодарности. Онъ снялъ чугунное кольцо съ руки и, подавая мнѣ, сказалъ:

— «Не бросай его. Ты молодъ, твоя судьба еще перемѣнится, страданія не подавятъ твоей души. Но ты, можетъ, будешь счастливъ... Тогда береги свою душу; тогда, взглянувъ нечаянно на это кольцо, вспомни нашъ разговоръ». Я былъ тронутъ до крайности, взялъ его кольцо, отстегнулъ запонку съ своей груди и молча подалъ ему.

— «Со мною до гроба»,—сказалъ онъ.

Мы разстались и болѣе я никогда не видать его.

Черезъ часъ кто-нибудь изъ гуляющихъ по тому же бульвару могъ видѣть быстро промчавшуюся коляску на почтовыхъ, съ лихимъ усачомъ въ военной шинели на козлахъ, который, безпрерывно поправляя пальцемъ въ своей трубкѣ, погонялъ ямщика.

Вѣроятно, прохожій остановился; но, когда затихъ колокольчикъ, унялась пыль,—спокойно продолжалъ свою прогулку ¹⁾.

Вятка.

1836, марта 10.

¹⁾ Въ концѣ статьи сдѣлана приписка: «Посвящено барону Унсальскому».
Примѣч. издат.

Это было 22-го октября, 1817 г.

I.

Въ большой залѣ, мертвой, какъ кладбище, сидѣлъ на окнѣ мальчикъ лѣтъ пяти. Блѣдной цвѣтъ лица, маленькой ростъ, нѣжность и хрупкость (*grêle*) членовъ показывали слабую, болѣзненную организацію; но черты его лица были рѣзки, и ребячьи глаза искрились огнемъ. Есть дѣтскія лица, которыя явственно пророчатъ всю будущую жизнь ихъ. Смотри на мальчика, сидѣвшаго на окнѣ, навѣрное можно было ему предсказать рядъ страданій, навѣрное можно было предсказать, что грубыми руками люди захватають, погнутъ, сломають нѣжной сосудъ этотъ, сосудъ сильной мысли и сильнаго чувства, и что онъ рано уйдетъ на родину сбиженной, оскорбленной, ежели Богъ не подастъ ему руку помощи. И также навѣрное можно было предсказать, что Богъ эту руку помощи подастъ, потому что онъ никому не отказываетъ, потому что и весь міръ матеріальной ничто иное, какъ рука помощи падшему ангелу.

Мальчикъ задумчиво смотрѣлъ на небо, можетъ, безъ всякихъ мыслей; можетъ, игривой, пестрой мечтой своего возраста, маленькой Сведенборгъ представлялъ себѣ хрустальные дома ангеловъ съ множествомъ цвѣтовъ, съ райскими птицами.

II.

А съ неба смотрѣлъ на мальчика Духъ жизни, благодатной путеводитель каждого смертнаго, всего рода человѣческаго и всей вселенной по стезѣ, начертанной провидѣніемъ. Рои свѣтоносныхъ ангеловъ летали около него. Горестно смотрѣлъ Духъ. — «Жаль мнѣ тебя, молодой гость земли, мало *тѣла* досталось на твой удѣлъ и много души. Толпу страданій обрушить на тебя огненной нравъ твой, а нѣтъ въ тебѣ мощной силы, которую вѣрнымъ щитомъ можетъ человѣкъ противопоставить врагу. Странникомъ

будешь ты скитаться между людей, они тебя не признаютъ за родного, а родины не найти тебѣ самому. Огонь въ твоихъ глазахъ — не лазеревой свѣтъ неба, а пурпуръ земного пламени. Мысль гордая унесетъ тебя, какъ дикій конь, а люди бросятъ камни на дорогу, о которые ты разобьешься».

Одинъ изъ ангеловъ, изливавшій кроткое, нѣжное сіяніе, задумался и свѣтилъ голубымъ взоромъ своимъ на мальчика, который между тѣмъ засыпалъ.

Духъ обратился къ ангелу и продолжалъ:

— «Среди ужасной бури родился онъ: одинъ изъ разрушающихъ, допотопныхъ переворотовъ, какъ отчаянное усиліе противъ гармоніи и просвѣтленья, мечомъ и огнемъ пробѣгалъ по землѣ. Онъ протянулъ руку изъ колыбели, и непріятельской воинъ, буйной и пьяной, схватилъ за нее; онъ ступилъ на землю и маленькая нога его обагрилась кровью человѣческой. Въ сырую осеннюю почъ лежалъ онъ на мостовой: море огня, пожиравшее огромной городъ, едва могло отогрѣть посинѣвшіе члены младенца, искры сыпались на него, конекія копыты дотрогивались, онъ былъ голоденъ и не могъ кричать, изнуренная грудь матери не имѣла для него капли молока. Жизнь начинала тухнуть, ночь распространялась передъ глазами малютки. Я спасъ его, но спасъ тѣлесно. Душа наслѣдовала что-то и отъ бури, и отъ пожара, и отъ крови».

Ангель не спускалъ глазъ съ спящаго ребенка, болѣзненное выраженіе стало еще замѣтнѣе, лихорадочныя движенія пробѣгали по немъ, казалось, что-то чудовищное стоитъ передъ нимъ и страшаетъ его.

«Жаль мнѣ малютку!» сказалъ ангель съ первою слезою на вѣчно радостномъ окѣ.

— «Спаси его

«О, я готовъ!»

— «Но помни. Законы неизмѣнны, путь спасенія всему надшему показанъ: онъ тотъ же для вселенной, для человѣчества и для одного человѣка. Двухъ огромныхъ жертвъ требуетъ онъ: *земной жизни и страданія*. А какъ утомительна эта жизнь въ оковахъ тѣла, эта зависимость отъ стихій! А какъ жгучи эти земныя несчастія съ ядомъ на губахъ, съ заразой въ дыханіи...»

«Все перенесу, мнѣ жаль падшаго брата, я вижу на челѣ его не совсѣмъ стертую печать красоты Люцифера, той красоты, которою онъ увлекъ толпы ангеловъ. Какъ хорошъ былъ Люциферъ до своего паденія съ пурпуровымъ свѣтомъ своимъ, съ высокою, необъятной мыслью. Ребенокъ этотъ какъ-то напоминаетъ его черты; о, я люблю его, лишь бы благословилъ меня отецъ, и я привелъ бы его въ родительской домъ, домъ радости и молитвы;

чѣмъ больше страданій, чѣмъ больше трудностей, тѣмъ чище будетъ онъ!»

— «И такъ да будетъ!»—воскликнулъ Духъ, осѣнивъ ангела таинственнымъ знакомъ. Вдругъ тѣсно стало ему, грудь взволновалась, прозрачная мысль отуманилась, сонъ, неизвѣстный жителямъ неба, оковалъ его, ему казалось, что онъ падаетъ, было душно... онъ пересталъ себя понимать... исчезъ.

III.

Шаги послышались въ ближней комнатѣ, блѣдной мальчикъ проснулся. Уже смерклося. Онъ взглянулъ на небо — лазоревая звѣзда низверглась съ быстротою молніи на землю. Ему жаль стало звѣздочки.

Растворилась дверь. Женщина прелестная собой взошла со свѣчею въ залу:

«Александръ! Александръ! гдѣ ты?»

— Я здѣсь, мама, — отвѣчалъ Александръ.

«Куда ты это спрятался? Я тебѣ скажу радость: у тебя родилась маленькая сестрица».

Глаза ребенка сверкнули, будто онъ понялъ всю высокую мистерію этого рожденія.

— Вѣдь дѣти съ неба?—спросилъ онъ.

«Да, ихъ Богъ даетъ».

— Такъ эта свѣтлая звѣздочка, которая сейчасъ упала, должно быть и есть моя сестра?

— «Дитя!» сказала мать, улыбаясь.

А писано 22 октября, 1837 года, Вятка.

Записки одного молодого человѣка.

Вступленіе.

Твое предложеніе, другъ мой, удивило меня. Нѣсколько дней я думалъ о немъ. Въ эту грустную, томную, безцвѣтную эпоху жизни, въ этотъ болѣзненный переломъ, который еще, Богъ-вѣсть чѣмъ, кончится, «писать мои воспоминанія». Мысль эта сначала испугала меня; но когда мало-по-малу образы давно-прошедшіе наполнили душу, окружили радостной вереницей, — мнѣ жаль стало разстаться съ ними, и я рѣшился писать, для того, чтобъ «становить, удержать воспоминанія, пожить съ ними подольше; мнѣ такъ хорошо было подъ ихъ вліяніемъ, такъ привольно... Сверхъ того, думалось мнѣ, пока я буду писать, подольется вешняя вода и смоетъ съ мели мою барку.

А странно! Съ начала юности искалъ я дѣятельности, жизни полной; шумъ житейскій манилъ меня; но едва я началъ жить, какая-то *bufera infernale* завертѣла меня, бросила далеко отъ людей, очертила кругъ дѣятельности карманнымъ циркулемъ, велѣла сложить руки. Мнѣ пришлось въ молодости испытать отраду стариковъ: перебирать бывшее и вмѣсто того, чтобъ жить въ самомъ дѣлѣ, записывать прожитое. Дѣлать нечего! Я, вздохнувши, принялся за перо; но едва написалъ страничку, какъ мнѣ стало легче; тягость настоящаго дѣлалась менѣе чувствительна; моя веселость возвращалась; я оживалъ самъ съ прошедшимъ: разстояніе между нами исчезало. Моя работа стала мнѣ нравиться, я увлекался ею и, какъ комаръ Крылова, «изъ Ахиллеса стать Омиромъ»; и почему же нѣтъ, когда я прожилъ свою *Илліаду*?.. Цѣлая часть жизни окончена; я вступилъ въ новую область; тутъ другіе нравы, другіе люди: почему же не остановиться, перейдя межу, пока пройденное еще ясно видно? Почему не проститься съ нимъ по-братски, когда оно того стоитъ? Каждый день

насъ отдаляетъ другъ отъ друга, а возвращенія нѣтъ. Моя тетрадка будетъ надгробнымъ памятникомъ доли жизни, канувшей въ вѣчность. Въ ней будетъ записано, сколько я схоронилъ себя. Но скучна будетъ Илліада человѣка обыкновеннаго, ничего не-совершившаго, и жизнь наша течетъ теперь по такому прозаическому, гладко-скошенному полю, такъ исполнена благоразумія и осторожности, etc., etc. — Я не вѣрю этому; нѣтъ, жизнь столько же разнообразна, ярка, исполнена поэзіи, страстей, коллизій, какъ житье-бытье рыцарей въ среднихъ вѣкахъ, какъ житье-бытье римлянъ и грековъ. Да и о какихъ совершеніяхъ идетъ рѣчь? Кто жилъ умомъ и сердцемъ, кто провелъ знойную юность, кто человѣчески страдалъ съ каждымъ страданьемъ и сочувствовалъ каждому восторгу, кто можетъ указать на нее и сказать: «вотъ моя подруга», на него и сказать: «вотъ мой другъ», — тотъ *совершилъ кое-что*. «Каждый человѣкъ», говоритъ Гейне, «есть вселенная, которая съ нимъ родилась и съ нимъ умираетъ; подъ каждымъ надгробнымъ камнемъ погребена цѣлая всемірная исторія», и исторія cadaго существованія имѣетъ свой интересъ. Это понимали Шекспиръ, Вальтеръ-Скоттъ, Тенберъ, вся фламандская школа. Интересъ этотъ состоитъ въ зрѣлищѣ развитія духа подъ вліяніемъ времени, обстоятельствъ, случайностей, растягивающихъ, укорачивающихъ его нормальное, общее направленіе.

Какая-то тайная сила заставила меня жить; тутъ моего мало. Для меня избрано время, въ немъ мое владѣніе; у меня нѣтъ на землѣ прошедшаго, ни будущаго не будетъ черезъ нѣсколько лѣтъ. Откуда это тѣло, крѣпости котораго удивлялся Гамлетъ, — я не знаю. Но жизнь — мое естественное право; я распоряжаюсь хозяиномъ въ ней, вдвигаю свое «я» во все окружающее, борюсь съ нимъ, раскрываю свою душу всему, всасываю ею весь міръ, переплавляю его какъ въ горнилѣ, сознаю связь съ человѣчествомъ, съ безкошечностью, — и будто *исторія* этого выработыванія отъ ребяческой непосредственности, отъ этого покойнаго сна на лонѣ матери, до сознанія, до требованія участія во всемъ человѣческомъ, до самобытной жизни — лишена интереса. Не можетъ быть!

Но довольно:

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt;
Versuch ich wohl euch diesmal festzuhalten?

Съ восхищеніемъ переживу я еще мои 25 лѣтъ, сдѣлаюсь опять ребенкомъ съ голой шеей, сяду за азбуку, потомъ встрѣчусь съ *нимъ* тамъ, на Воробьевыхъ горахъ, и уйюсь еще разъ

всѣмъ блаженствомъ первой дружбы; и тебя вспомню я, «старый домъ»: ¹⁾

Въ этой комнаткѣ—счастье было,
Дружба родилась и выросла тамъ,
А теперь запустѣнье глухое,
Паутины висятъ по угламъ.

Потомъ и вы, товарищи аудиторіи, окружите меня, и съ тобою, мой ангелъ, встрѣчусь я на кладбищѣ...

О, съ какимъ восторгомъ встрѣчу я каждое воспоминаніе...
Выходите-жъ изъ гроба. Я каждое прижму къ сердцу и съ любовью положу опять въ гробъ...

Владиміръ на Клязьмѣ.
Весной 1838.

I.

Ребячество.

Das Höchste was wir von Gott und der
Natur erhalten haben ist das Leben. . .
Goethe.

До пяти лѣтъ я ничего ясно не помню, ничего въ связи... Голубой полъ въ комнаткѣ, гдѣ я жилъ; большой садъ и въ немъ множество воронъ. Идучи въ садъ, надобно было проходить сарай; тутъ обыкновенно сидѣлъ кучеръ Мосей съ огромной бородой, который ласкалъ меня и на котораго я смотрѣлъ съ какимъ-то подобострастіемъ; съ нимъ, кажется, ни за какія блага въ мірѣ я не рѣшился бы остаться наединѣ. Тогда при мнѣ уже была М-ше Рговеау, которая водила меня за руку по лѣстницѣ, занималась моимъ воспитаніемъ и, сверхъ того, по дружбѣ, въ свободные часы, присматривала за хозяйствомъ. Еще года два-три наполнены смутными, неясными воспоминаніями; потомъ мало по малу образы яснѣютъ, какъ деревья и горы, изъ-за тумана вырѣзываются мелкія подробности дѣтства и крупныя событія, о которыхъ всѣ говорили и которыя дошли даже до меня. Помню смерть Наполеона. Радовались, что Богъ прибралъ это чудовище, о которомъ было предсказано въ апокалипсисѣ; пронизательные не вѣрили его смерти; болѣе-пронизательные увѣряли, что онъ въ Греціи. Всѣхъ больше радовалась одна богомольная старушка, скитавшаяся изъ дома въ домъ по бѣдности и не работавшая по

¹⁾ Огаревъ «Старый домъ» написалъ въ 1840 году. Стихи эти прибавить я, отдавая Бѣлинскому статью въ концѣ сорокового года.

благородству,—она не могла простить Наполеону пожаръ въ Звенигородѣ, при которомъ сгорѣли двѣ коровы ея, связанныя съ нею нѣжнѣйшей дружбой. Разказами о пожарѣ Москвы меня убаюкивали; сверхъ того, у меня были карты, гдѣ на каждую букву находилась каррикатура на Наполеона съ острыми дустишіями, напримѣръ:

Широкъ французъ въ плечахъ, ничто его нейметъ,
Авось-либо моя нагайка зашибетъ.

и съ еще-болѣе острыми изображеніями, напр. Наполеонъ ѣдетъ на свиньѣ, и проч. Мудрено ли, что и я радовался смерти его?— Помню умерщвленіе Коцебу. За что Зандъ убилъ его, я никакъ не могъ понять, но очень помню, что пламяникъ M-me Proveau, гезель въ аптекѣ на Моросейкѣ, отъ котораго всегда пахло ребарбаромъ съ розовымъ масломъ, человекъ отчаянный и ученый, приносилъ картинку, на которой былъ представленъ юноша съ длинными волосами, и рассказывалъ, что онъ убилъ почтеннаго старика, что юношѣ отрубили голову, *и я очень жалѣлъ, разумѣется, юношу.*

Я былъ совершенно одинъ; игрушки стали скоро мнѣ надоѣдать, а ихъ у меня было много: чего-чего не дарилъ мнѣ дядюшка! И кухню, въ которой готовился недѣли три обѣдъ, готовился бы и до сего дня и часа, ежели-бъ я не отклеилъ задней стѣны, чтобъ подсмотрѣть секретъ,—и избу, покрытую мохомъ, въ которой обиталъ купидонъ, весь въ фольгѣ, и *lanterne magique*, занимавшій меня всего болѣе.... Вотъ является на стѣнѣ яркое пятно и больше ничего; надумаешься тутъ,—что-то явится въ этихъ лучахъ славы и вогнутаго стекла... Вдругъ выступаетъ слонъ, увеличивается, уменьшается, точно живой; иной разъ пройдетъ вверхъ ногами; чего живому слону и не сдѣлать; потомъ Давидъ и Голиаѳъ дерутся и двигаются оба вмѣстѣ; потомъ арапъ, черный какъ моська Карла Ивановича, камердинера дядюшки (и она уже умерла, бѣдная Крапка!). Весело было смотрѣть на такое общество и вверхъ головою и вверхъ ногами. Но не доставало важнаго пополненія: некому было мнѣ показать его, и потому я часто покидалъ игрушки и просилъ Лизавету Ивановну что-нибудь рассказать, смиренно садился на скамеечку и часы цѣлые слушалъ ее съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ. Молчаливость не принадлежала къ числу добродѣтелей M-me Proveau: она не заставляла повторять просьбу и, продолжая визать свой чулокъ, начинала рассказъ. Вязала она безпрестанно. Я полагаю, если бы сшить вмѣстѣ все связанное ею въ 58 лѣтъ, то вышла бы фуфайка, ежели не шару земному, то лунѣ (ей же и нужнѣе для ночныхъ прогулокъ). Дай Богъ ей царство небесное! Недолго

пережила она Наполеона и умерла такъ же далеко отъ своей родины, какъ онъ—только въ другую сторону. Но что же она мнѣ рассказывала? Во-первыхъ—это была ея любимая тема—какъ покойный мужъ ея былъ какимъ-то метр-д'отелемъ въ масонской ложѣ; какъ она разъ зашла туда: все обтянуто чернымъ сукномъ, а на столѣ лежитъ черепъ на двухъ шпагахъ... Я дрожалъ, какъ осиновый листъ, слушая ее. На стѣнахъ висятъ портреты, и ежели кто измѣнить, стрѣляютъ въ портретъ, а оригиналъ падаетъ мертвый, хотя бы онъ былъ за тридевять земель, въ тридесятомъ государствѣ. Потомъ рассказывала она интересные отрывки изъ исторіи французской революціи: какъ опять-таки покойный сожитель ея чуть не попалъ на фонарь, какъ кровь текла по улицамъ, какіе ужасы дѣлалъ *Робеспьеръ*; и отрывки изъ собственной своей исторіи: какъ она жила при дѣтяхъ у одного помѣщика въ Тверской губерніи, который увѣрилъ ее, что у него по саду ходятъ медвѣди. «Ну, вотъ, я и пошла разъ уфъ садъ; клешу, клешу, идетъ медвѣдь пристрашучій... Я только ахъ! и въ обморокъ, а почтенный сожитель чуть не выстрѣлилъ въ медвѣдя; кажется, за тѣмъ дѣло стало, что съ нимъ не было ружья; а медвѣдь былъ камердинеръ барина, который велѣлъ ему надѣть шубу шерстью вверхъ». Господи, какъ нравились мнѣ рассказы эти... Я ихъ послѣ искалъ въ «Тысячѣ-Одной Ночи»—и не нашелъ.

Въ русской грамотѣ мы оба тогда были недалеки: съ тѣхъ поръ я выучился по толкамъ, а Лизавета Ивановна умерла и можетъ доучиваться изъ первыхъ рукъ у Кирилла и Меодія.

Однако горестное время ученія подступило. Разъ вечеромъ, батюшка говорилъ съ дядюшкой, не отдать ли меня въ пансіонъ. Фу!.. Услышавъ это ужасное слово, я чуть не умеръ отъ страха, выбѣжалъ въ дѣвичью и горько заплакалъ: ночью просыпался, осматривался, не въ пансіонѣ ли я, и старался увѣрить себя, что страшное слово только приснилось. Впрочемъ, батюшка рѣшилъ воспитывать меня дома. И воспитанье мое началось, какъ разумѣется, съ французской грамоты. М-г Bouchot—первое лицо, являющееся возлѣ Лизаветы Ивановны въ дѣлѣ моего воспитанія; вслѣдъ за нимъ выступаетъ Карлъ Карловичъ ¹⁾. М-г Bouchot былъ французъ изъ Меца, а Карлъ Карловичъ нѣмецъ изъ Сарепты и училъ музыкѣ. Параллель этихъ людей не безъ занимательности. Мужчина высокаго роста, совершенно плѣшивый, кромѣ двухъ, трехъ пасмъ волосъ безконечной длины на вискахъ, вѣчно въ синемъ фракѣ толстаго сукна, на стаметовой подкладкѣ,—таковъ былъ М-г Bouchot; важность впечатлѣвалась не только

¹⁾ Иванъ Ивановичъ Экъ. Онъ давалъ долго уроки мосму брату, но на меня имѣлъ очень мало вліянія. Портретъ его вѣрнѣ.

въ каждомъ поступкѣ его, но въ каждомъ движеніи (онъ кланялся ногами, улыбался одной нижней губой); голова у него ни разу не гнулась съ тѣхъ поръ, какъ перестали его пеленать, а это было очень давно, лѣтъ полтора ста тому назадъ. Ко всему этому надобно прибавить французскую физіономію конца прошлаго вѣка, съ огромнымъ носомъ, нависшими бровями,—одну изъ тѣхъ физіономій, которыя можно видѣть на хорошихъ гравюрахъ, представляющихъ народныя сцены временъ федераціи. Я боялся Бушо, особенно сначала. Карлъ Карловичъ былъ тоже высокъ, но такъ тонокъ и гибокъ, что походилъ на развернутый англійскій футъ, который на каждомъ дюймѣ гнется въ обѣ стороны; фракъ у него былъ сѣренкій, съ перламутровыми пуговицами; панталоны черные, какой-то непонятной допотопной матеріи: они смиренно прятались въ сапоги à la Souvaroff, съ кисточками, и ихъ онъ выписывалъ изъ Сарепты; онъ свободно бралъ своими сухими, едва обтянутыми сморщившейся кожицей пальцами около двухъ октавъ на фортепьяно. Имѣя такой рѣшительный талантъ, мудрено ли, что Карлъ Карловичъ посвятилъ себя мусикійскому игранію? Карлъ Карловичъ провелъ свою жизнь въ чистѣйшей нравственности; это было одно изъ тѣхъ тихихъ, кроткихъ нѣмецкихъ существъ, исполненныхъ простоты сердечной, кротости и смиренія, которыя, неузнанныя никѣмъ, но счастливыя въ своемъ маленькомъ кружочкѣ, живутъ, любятъ другъ друга, играютъ на фортепьяно и умираютъ тихо, кротко, какъ жили. Онъ былъ женатъ въ незапамятныя времена; я пилъ малагу на золотой свадьбѣ его, и право, старичекъ и старушка любили другъ друга, какъ въ медовый мѣсяцъ.

Изъ сказаннаго можно себѣ составить понятіе о Карлѣ Карловичѣ: это лицо изъ легендъ реформаціи, изъ времени пуританизма во всей чистотѣ его. И Бушо былъ человекъ добрый, такъ точно, какъ лошадь — звѣрь добрый, по инстинкту, и къ нему, однако, какъ къ лошади, не всякій рѣшился бы подойти ближе размѣра ноги и копытъ. Онъ уѣхалъ изъ Парижа въ самый разгаръ революціи, и, припоминая теперь его слова и лицо, я воображаю, что citoyen Voucheot не былъ лишнимъ или празднымъ ни при взятіи Бастиліи, ни 10 августа; онъ обо всемъ говорилъ съ пренебреженіемъ, кромѣ Меца и тамошней соборной церкви; о революціи онъ почти никогда не говорилъ, но, какъ-то грозно улыбаясь, молчалъ о ней. Холостой, серьезный, важный, онъ со мной не тратилъ словъ, спрягалъ глаголы, диктовалъ изъ les Incas de Margmontel, разстанивалъ accent grave и aigu, отмѣчалъ на полѣ сколько ошибокъ, бранился и уходилъ, опираясь на огромную сучковатую палку: *его никто никогда не билъ* ¹⁾.

¹⁾ Это окончаніе искажено цензурой. Я заключалъ очеркъ характеристическимъ анекдотомъ. П. П. Экъ молодымъ человекомъ былъ сидѣль-

Не смотря на занимательность педагоговъ, я скучалъ: мнѣ некуда было дѣть мою дѣятельность, охоту играть, потребность раздѣлить впечатлѣнія и игры съ другими дѣтьми. Одинъ товарищъ, одна подруга была у меня—Берта, полу-шарлотъ и полу-испанская собака батюшки. Много дѣлалъ я съ нею времени, запрягалъ ее, бывало, ѣздилъ на ней верхомъ, дразнилъ ее, а въ зимніе дни сидѣлъ съ нею у печки: я пою пѣсни, а она спить, — и время идетъ незамѣтно. Тогда она была ужъ очень стара, а все еще кокетничала и носила длинныя уши съ мохнатою коричневой шерстью. Не я одинъ любилъ Бертю: лакей нашъ Яковъ Игнатьевичъ не могъ пережить ее, просто умеръ съ горя и съ вина, черезъ недѣлю послѣ ея смерти. Кромѣ Берты, былъ у меня еще ресурсъ: дѣти повара, никогда не утиравшія носъ и вѣчно вальявшіяся гдѣ-нибудь въ дряни на дворѣ. Но съ ними играть было мнѣ строго запрещено, и я, побѣждая разныя опасности, могъ едва на нѣсколько минутъ ускользнуть на дворъ, чтобы порубить съ ними ледъ около кухни зимою, или замараться въ грязи лѣтомъ. Сверхъ того, я и играть почти не умѣлъ съ другими: малѣйшая оппозиція меня бѣсила, оттого что игрушки не перечили ни въ чемъ, а дѣти вообще большіе демократы и не терпятъ товарища, который беретъ верхъ надъ ними.

Между тѣмъ, важныя обстоятельства совершились. Лизавета Ивановна занемогла. Домовый лекарь сказалъ, что это легкая простуда, затопилъ ей внутренность ромашкой, залѣпилъ болѣзнь мушкой и очень удивился, заставъ однимъ добрымъ утромъ свою выздоравливающую на столѣ. Да, она умерла. Карлъ Карловичъ былъ ея душеприказчикомъ и тогда поссорился съ племянникомъ Лизаветы Ивановны, каретникомъ Шмальцгофомъ, у котораго носъ былъ красно-фіолетовый. Какъ теперь помню ея похороны: я провожалъ тѣло старухи на католическое кладбище и плакалъ.

Въ жизни моей много переимѣнилось: кончились рассказы Лизаветы Ивановны, кончилось патриархальное царствованіе ея надо мною; кончилась непомѣрная благость, съ которой она вступалась за обиды, нанесенныя мнѣ. Словомъ, весь прежній бытъ испровергнулся; во время Лизаветы Ивановны ходила за мною няня, столько же добрая какъ она, Вѣра Артамоновна, какъ двѣ капли воды похожая на индѣйку въ косынкѣ, — такая же шея въ складочкахъ и морщинахъ, тотъ же видъ *ingénu*. Теперь приста-

цемъ въ сарептской лавкѣ въ Москвѣ. Какой-то изъ дикихъ вельможъ того времени разгнѣвался на него и ударилъ его въ щеку. Экъ—кратко и спокойно—подставилъ другую. Дикой посмотрѣлъ на него—и вдругъ бросился ему на шею, прося прощенія. Съ тѣхъ поръ онъ былъ съ нимъ пріателемъ до конца жизни. Почему цензура выпустила это? (Здѣсь, какъ и дальше, говорится объ искаженіяхъ цензуры 40-хъ годовъ).

вили ко мнѣ камердинера Ванюшку, которому я обязанъ первыми основаніями искусства курить табакъ (завертывая его въ мокрую бумажку, свернутую трубочкой) ¹⁾ и богатой фразеологіей, въ которой хозяиномъ раскинулся русскій духъ. Время, въ которое ребенка передають съ женскихъ рукъ въ мужскія — эпоха, переломъ; съ мальчикомъ это бываетъ лѣтъ въ семь, восемь; съ дѣвочкой лѣтъ въ семнадцать, восемнадцать.

Ребячество оканчивалось преждевременно; я бросилъ игрушки и принялся читать. Такъ иногда въ теплые дни фѣвраля наливаются почки на деревьяхъ, подвергаясь ежедневно опасности погибнуть отъ мороза и лишитъ дерево лучшихъ соковъ. За книги принялся я скуки ради, само собою разумѣется, не за учебныя. Развившаяся охота къ чтенію выучила меня очень скоро по-французски и по-нѣмецки, и съ тѣмъ вмѣстѣ послужила вѣчнымъ препятствіемъ доучиться. Первая книга, которую я прочелъ соп атоге, была «Лолотта и Фанфанъ», вторая «Алексисъ или домикъ въ лѣсу». Съ легкой ручки мамзель Лолотты, я пустился читать безъ выбора, безъ устали, понимая, не понимая, старое и новое, трагедіи Сумарокова, «Россиаду», «Россійскій Театръ» etc. etc. И повторяю, это неумѣренное чтеніе было важнымъ препятствіемъ ученію. Покидая какой-нибудь томъ «Дѣтей Аббатства» и весь занятый лордомъ Мортимеромъ, могъ ли я съ охотой заниматься грамматикой и спрягать глаголь aimer съ его адъютантами être и avoir, послѣ того какъ я зналъ, какъ спрягается онъ жизнію и въ жизни. Къ тому же романы я понималъ, а грамматику нѣтъ; то, что теперь кажется такъ ясно текущимъ изъ здраваго смысла, тогда представлялось какими-то путями, нарочно выдуманными затрудненіями. Бушо не любилъ меня и съ сквернымъ мнѣніемъ обо мнѣ уѣхалъ въ Мець. Досадно! Когда поѣду во Францію, заверну къ старику. Чѣмъ же мнѣ убѣдить его? Онъ измѣряетъ человѣка знаніемъ французской грамматики и то не какой-нибудь, а именно восьмымъ изданіемъ Ломондовой,—а я только не дѣлаю ошибокъ на санскритскомъ языкѣ, и то потому, что не знаю его вовсе. Чѣмъ же? Есть у меня доказательство,—ну ужъ, это мой секретъ, а старикъ сдастся, какъ бы только онъ не поторопился на тотъ свѣтъ. Впрочемъ, я и туда поѣду: мнѣ очень хочется путешествовать.

Перечитавъ всѣ книги, найденныя мною въ сундукѣ, стоявшемъ въ кладовой, я сталъ промышлять другія, и провизоръ на Маросейкѣ, приносившій когда-то Зандовъ портретъ и всегда запахъ ребарбара съ розой, прислать мнѣ засаленные и опипанные томы Лафонтена; томы эти совершенно свели меня съ ума.

¹⁾ Тогда не знали сигаретокъ.

Я началъ съ романа Der Sonderling и пошелъ, и пошелъ!.. Романы поглотили все мое вниманіе: читая, я забывалъ себя въ камлотовой курточкѣ и переселялся послѣдовательно въ молодого Бургарда, Алквивіада, Ринальдо-Ринальдини и т. д. Но какъ мое умственное обжорство не знало мѣры, то вскорѣ не достало въ фармаціи на Маросейкѣ романовъ, а я началъ отыскивать вездѣ всякую дрянъ, между прочимъ, отрылъ и «Письмовникъ Курганова», этотъ блестящій предшественникъ нравственно-сатирической школы въ нашей литературѣ. Богатымъ запасомъ истинъ и анекдотовъ украсилъ Кургановъ мою память; даже до сихъ поръ не забыты нѣкоторые, напр.: «Нѣкій польскій шляхтичъ вѣтрогоннаго нрава, желая оконфузить одного ученаго, спросилъ его, что значить оболъ, параболъ, фариболъ? Сей отвѣчалъ ему» и т. д... Можете въ самомъ источникѣ почерпнуть острый отвѣтъ.

Полезныя занятія Кургановымъ и Лафонтемомъ были вскорѣ прерваны новымъ лицомъ. Къ человѣку французской грамоты присоединился человѣкъ русской грамматики, Василий Евдокимовичъ Пациферскій ¹⁾, студентъ медицины. Господи, Боже мой, какъ онъ, бывало, стучитъ дверью, когда прійдетъ, какъ снимаетъ калоши, какъ топаетъ! Волосы носилъ онъ ужасно длинныя и никогда не чесалъ ихъ по выходѣ изъ рязанской епархіальной семинаріи; на иностранныхъ словахъ ставилъ онъ дикія ударенія школы, а французскія щедро снабжалъ греческой λ и русскимъ ъ на концѣ. Но благодарность студенту медицины: у него была теплая человѣческая душа, и съ нимъ съ первымъ сталъ я заниматься, хотя и не съ самаго начала.

Пока дѣло шло о грамматикѣ, которая шла въ корню, и о географіи и ариметикѣ, которыя бѣжали на пристяжкѣ, Пациферскій находилъ во мнѣ упорную лѣнь и разсѣянность, приводившую въ удивленіе самаго Бушо, не удивлявшагося ничему (какъ было сказано), кромѣ соборной церкви въ Мецѣ. Онъ не зналъ, что дѣлать, не принадлежа къ числу записныхъ учителей, готовыхъ за билетъ часъ цѣлый толковать свою науку каменной стѣнѣ. Василий Евдокимовичъ, краснѣя, бралъ деньги и нѣсколько разъ хотѣлъ бросить уроки. Наконецъ, онъ перемѣнилъ одну пристяжную и, наскоро прочитавши въ Геймѣ, изданномъ Титомъ Каменецкимъ, о ненужной и только для баланса выдуманной части свѣта Австраліи, принялся за исторію, и вмѣсто того, чтобъ задавать въ Шреккѣ *до отмытки ногтемъ*, онъ мнѣ рассказывалъ, что помнилъ и какъ помнилъ; я долженъ былъ на дру-

¹⁾ Иванъ Евдокимовичъ Протопоповъ, онъ былъ вполнѣдствіи штабъ-лекаремъ въ какомъ-то карабинерномъ полку; носились слухи, что онъ былъ убитъ во время старорусскаго бунта.

гой день ему повторять *своими* словами и я исторіей начать заниматься съ величайшимъ прилежаніемъ. Пациферскій удивился и, утомленный моею лѣнью въ грамматикѣ, онъ поступилъ какъ настоящій студентъ, положилъ ее къ сторонѣ, и, вмѣсто того, чтобъ мучить меня мѣстничествомъ между *e* и *ъ*, онъ принялся за *словесность*. Повторяю, у него душа была человѣческая, сочувствовавшая изящному,—и лѣнивый ученикъ, занимавшійся во время класса вырѣзываніемъ іероглифовъ на столѣ, быстро усвоивалъ себѣ школьно-романтическія возрѣнія будущаго медико-хирурга. Уроки Пациферскаго много способствовали къ раннему развитію моихъ способностей. Въ двѣнадцать лѣтъ я помню себя совершеннымъ ребенкомъ, не смотря на чтеніе романовъ; черезъ годъ я уже любилъ заниматься, и мысль пробудилась въ душѣ, жившей дотолѣ однимъ дѣтскимъ воображеніемъ.

Но въ чемъ-же состояло преподаваніе словесности Василія Евдокимовича? Мудрено сказать: это было какое-то отрицательное преподаваніе. Принимаясь за риторику, Василій Евдокимовичъ объявилъ мнѣ, что она пустѣйшая вѣтвь изъ всѣхъ вѣтвей и сучковъ древа познанія добра и зла, вовсе ненужная, «кому Богъ не далъ способности красно говорить, того ни Квинтиліанъ, ни Цицеронъ не научать, а кому далъ, тотъ родился съ риторикой». Послѣ такого введенія, онъ началъ по порядку толковать о фигурахъ, метафорахъ, хрѣяхъ. Потомъ онъ мнѣ предписалъ *diurna manu nocturnaque* переворачивать листы *Образцовыхъ Сочиненій*, гигантской хрестоматіи, томовъ въ двѣнадцать, и прибавилъ, для поощренія, что десять строкъ «Кавказскаго Пѣлѣнника» лучше всѣхъ образцовыхъ сочиненій Муравьева, Капниста и компаніи. Не смотря на всю забавность отрицательнаго преподаванія,—въ совокушности всего, что говорилъ Василій Евдокимовичъ, проглядывалъ живой, широкій современный взглядъ на литературу, который я умѣлъ усвоить и, какъ обыкновенно дѣлаютъ послѣдователи, возвелъ въ квадратъ и въ кубъ все односторонности учителя. Прежде я читалъ съ одинакимъ удовольствіемъ все, что попадалось: трагедіи Сумарокова, сквернѣйшіе переводы восьмидесятыхъ годовъ разныхъ комедій и романовъ: теперь я сталъ выбирать, цѣнить. Пациферскій былъ въ восторгѣ отъ новой литературы нашей, и я, бравши книгу, справлялся тотчасъ, въ которомъ году печатана и бросалъ ее, ежели она была печатана больше пяти лѣтъ тому назадъ, хотя-бы имя Державина или Карамзина предохраняло ее отъ такой дерзости. За то поклоненіе юной литературѣ сдѣлалось безусловно,—да она и могла увлечь именно въ ту эпоху, о которой идетъ рѣчь. Великій Пушкинъ явился царемъ-владителемъ литературнаго движенія: каждая строка его летала изъ рукъ въ руки; печатные экземпляры «не

удовлетворяли», списки ходили по рукамъ. «Горе отъ Ума» надѣлало болѣе шума въ Москвѣ, нежели всѣ книги, писанныя по русски отъ «Путешествія Коробейникова къ Святымъ Мѣстамъ» до «Плодовъ чувствованій» князя Шаликова. «Телеграфъ» начиналъ энергически свое поприще и неполными, угловатыми знаками своими быстро передавалъ европеизмъ; альманахи съ прекрасными стихами, поэмы сыпались со всѣхъ сторонъ; Жуковский переводилъ Шиллера, Козловъ Байрона, и во всемъ, у всѣхъ была бездна надеждъ, упованій, вѣрваній горячихъ и сердечныхъ. Что за восторгъ, что за восхищеніе, когда я сталъ читать только что вышедшую первую главу «Онѣгина»! Я ее мѣсяца два носилъ въ карманѣ, вытвердилъ на память. Потомъ, года черезъ полтора я услышалъ, что Пушкинъ въ Москвѣ. О, Боже мой, какъ пламенно я желалъ увидѣть поэта! Казалось, что я вырасту, поумнѣю, поглядѣвши на него. И я увидѣлъ, наконецъ, и всѣ показывали, съ восхищеніемъ говоря: «вотъ онъ, вотъ онъ».... ¹⁾

Чацкій.

Вы помните?

Софья.

Робячество?

Чацкій.

Да-съ, а теперь.....

Нѣтъ лучше промолчимъ, потому что Софья Павловна Фамусова совсѣмъ не параллельно развивалась съ нашей литературой...

Бушо уѣхалъ въ Мецъ; его замѣнилъ Мг. Маршалъ. Маршалъ былъ человѣкъ большой учености (въ французскомъ смыслѣ), нравственный, тихій, кроткій; онъ оставилъ во мнѣ память яснаго лѣтняго вечера безъ малѣйшаго облака. Маршалъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей; которые отъ роду не имѣли знойныхъ страстей, которыхъ характеръ свѣтель, ровень, которымъ дано настолько любви, чтобъ они были счастливы, но не настолько, чтобъ она сожгла ихъ. Всѣ люди такого рода классики *par droit de naissance*; его прекрасныя познанія въ древнихъ литературахъ дѣлали его, сверхъ того, классикомъ *par droit de conquête*. Откровенный почитатель изящной, ваятельной формы греческой поэзіи и выважной изъ нея поэзіи вѣка Людовика XIV, онъ не зналъ и не чувствовалъ потребности знать глубоко-духовное искусство Германіи. Онъ вѣрилъ, что послѣ трагедій Расина нельзя читать варварскія драмы Шекспира, хотя въ нихъ и проблески-

¹⁾ Цензурный пропускъ.

ваеъ талантъ; вѣрилъ, что вдохновеніе поэта можетъ только выливаться въ глиняныя формы Батѣ и Лагарпа; вѣрилъ, что бездушная поэма Буало есть *Corpus juris poetici*; вѣрилъ, что лучше Цидерона никто не писалъ прозой; вѣрилъ, что драмѣ такъ же необходимы три единства, какъ жиду одно обрѣзанье. При всемъ этомъ, ни въ одномъ словѣ Маршала не было пошлости. Онъ сталъ со мною читать Расина въ то самое время, какъ я попался въ руки шиллеровымъ «Разбойникамъ»; ватага Карла Моора увела меня надолго въ богемскіе лѣса романтизма. Василій Евдокимовичъ немолимо помогаль разбойникамъ, и китайскіе башмаки лагарповскаго возрѣнія рвались по швамъ и по кожѣ.

Изъ сказаннаго уже видно, что все ученье было безсистемно; оттого я выучился очень немногому и, вмѣсто стройнаго цѣлага, въ головѣ моей образовалась безпорядочная масса разныхъ свѣдѣній, общихъ мѣстъ, переплетенныхъ фантазіями и мечтами. Наука за то для меня не была мертвой буквой, а живою частью моего бытія; но это увидимъ послѣ. Ковремени, о которомъ рѣчь, относится самая занимательная статья моего дѣтства. Міръ книжный не удовлетворялъ меня; распускавшаяся душа требовала живой симпатіи, ласки, товарища, любви, а не книгу,—и я вызвалъ, наконецъ, себѣ симпатію, и еще изъ чистой груди дѣвушки.

Jetzt mit des Zuckers
Linderndem Saft
Zachmet die herhe, brennende Kraft.
Schiller.

Еще въ тѣ времена, когда были живы М-те Прово и М-те Берта, Бушо не уѣзжалъ въ Мець, а Карлъ Карловичъ не улеталъ въ рай съ звуками органа, гостила у насъ иногда родственница, пріѣзжавшая изъ Владимірской губерніи; сначала она была маленькая дѣвушка, потомъ дѣвушка побольше. Пріѣзжала она изъ Меленокъ всегда въ сопровожденіи своей тетки, разительно похожей на принцессу, ангулемскую и на брабантскія кружева; эта тетка имѣла пріятное обыкновение ежегодно класть деньги въ ломбардъ. У меленовской родственницы была душа добрая, мечтательная; дѣвицы вообще несравненно экспансивнѣе нашего брата, въ нихъ есть теплота всегда грѣющая, есть симпатія всегда готовая любить; у нихъ рѣдко чувства подавлены эгоизмомъ и нѣтъ мужского, расчетливаго ума. Она въ одинъ изъ пріѣздовъ своихъ приголубила меня, приласкала; ей стало жаль, что я такъ одинокъ, такъ безъ привѣта; она со мною, тринадцати-лѣтнимъ мальчикомъ, стала обходиться, какъ съ большимъ; я полюбилъ ее отъ всей души за это; я подаль ей съ горяч-

ностью мою маленькую руку, поклялся въ дружбѣ, въ любви, и теперь, черезъ 13 другихъ лѣтъ, готовъ снова протянуть руку,— а сколько обстоятельствъ, людей, верстъ протѣснилось между нами!.. Свѣтлымъ призракомъ прилетала она съ береговъ Клязьмы и надолго исчезала потомъ; тогда я писалъ всякую недѣлю эпистола въ Меленки и въ этихъ эпистолахъ сохранились всѣ тогдашнія мечты и вѣрованія. Она въ долгу не оставалась, отвѣчала на каждое письмо и рачочала съ чрезвычайной щедростью чувствительныя и прилагательныя для описанія меленковскихъ обреченностей, своей комнаты съ зелеными шторочками и съ лиловыми левкойчиками на окнахъ. Но я мало довольствовался письмами и ждалъ съ нетерпѣніемъ ея самой; рѣшено было, что она прїѣдетъ къ намъ на цѣлые полгода; я рассчитывалъ по пальцамъ дни... И вотъ, однимъ зимнимъ вечеромъ сижу я съ Васильемъ Евдокимовичемъ; онъ толкуетъ о *четырехъ родахъ* поэзіи и запиваетъ квасомъ каждый родъ. Вдругъ шумъ, поцѣлуи, громкій разговоръ радости, ея голосъ... Я отворилъ дверь: по залѣ таскаютъ узелки и картончики; щеки вспыхнули у меня отъ радости, я не слушалъ больше, что Иванъ Евдокимовичъ говорилъ о дидактической поэзіи (можетъ, потому и поднесъ не понимаю ея, хотя съ тѣхъ поръ и имѣлъ случай прочесть петрозиліусову поэму «О фарфорѣ»); черезъ нѣсколько минутъ, она пришла ко мнѣ въ комнатку и послѣ оскорбительнаго: «Ахъ, какъ ты выросъ!»—она спросила, чѣмъ мы занимаемся. Я гордо отвѣчалъ: «Разборомъ поэтическихъ сочиненій». Даже красное мериносовое платье помню, въ которомъ она явилась тогда передо мною. Но, увы! времена перемѣнились: она волосы зачесала въ косу; это меня оскорбило,—меня съ воротничками à l'enfant: новая прическа такъ рѣзко переводила ее въ совершеннолѣтнюю. Она знала мою скорбь о локонахъ, и въ мое рожденіе, 25-го марта, причесалась опять по-дѣтски. Чудный день былъ день моего рожденія! Она подарила мнѣ кольцо чугунное на серебрянной подкладкѣ; на немъ было вырѣзано ея имя, какой-то девизъ, какой-то знакъ, змѣиная голова и проч.; вечеромъ мы читали на память отрывокъ изъ «Фингала»,—она была Моина, я Фингаль (вѣроятно, я сюрпризомъ для себя твердилъ ко дню рожденія стихи), съ тѣхъ поръ еще ни раза я не развертывалъ Озерова. Лѣтнѣе опять пошло ученье: живая симпатія мнѣ нравилась больше книги. Ни съ кѣмъ и никогда до нея я не говорилъ о чувствахъ, а между тѣмъ ихъ было ужъ много, благодаря быстрому развитію души и чтенію романовъ. Ей-то передалъ я первыя мечты, мечты пестрыя, какъ райскія птицы, и чистыя, какъ дѣтскій лепетъ; ей писалъ я разъ двадцать въ альбомъ по-русски, по-французски, по-нѣмецки, даже, помнится, по-латынѣ. Она пресерьезно выслу-

пивала меня и увѣряла еще больше, что я рожденъ быть Роландомъ Роландины или Алкивиадомъ; я еще больше полюбилъ ее за эти удостовѣренія. Отогрѣвался я тогда за весь холодъ моей короткой жизни милою дружбою меленковской пери. Передавъ другъ другу плоды чувствованій, мы принялись вмѣстѣ читать сначала разныя повѣсти: «Векфильдскаго Священника», «Нуму Помпилиа» Флоріана и т. п., обливая ихъ рѣками горячихъ слезъ; потомъ принялись за «Анахарсисово Путешествіе», и она имѣла самоотверженіе слушать эту, положимъ, чрезвычайно ученую, полезную и умную, но тѣмъ не менѣе скучную и безжизненную компиляцію въ семь томовъ.

Не знаю, было-ли ея вліяніе на меня хорошо во всѣхъ смыслахъ. При многихъ истинныхъ и прекрасныхъ достоинствахъ, маленковская кузина не была освобождена отъ натянутой «сентиментальности», которая прививается дѣвушкамъ въ дортуарахъ женскихъ пансіоновъ, гдѣ онѣ выкалываютъ булавками вензеля на рукѣ, гдѣ даютъ обѣты годъ не снимать такой-то ленточки; не была она также свободна отъ моральныхъ сентенцій, этой лебеды, наполнявшей романы и комедіи проплаго вѣка. Она любила, чтобъ ее звали Темирой, и всѣ родственники звали ее такъ; ужъ это одно доказываетъ сентиментальность; просто человекъ не согласится въ XIX вѣкѣ называться Пленирой, Темирой, Селеной, Усладомъ. Я вскорѣ взбунтовался противъ классическаго имени, совѣтовалъ ей, на зло Буало ¹⁾, назваться Тоїнон; а когда вышла вторая книжка «Онѣгина», совѣтовалъ рѣшительно остаться Татьяной, какъ священникъ крестилъ. Переимѣна имени мало помогла: Таня, по-прежнему, при каждой встрѣчѣ съ блѣдной подружкой земного шара, дѣлала къ ней лирическое воззваніе, по-прежнему сравнивала свою жизнь съ цвѣтками, брошенными въ «буйныя волны» Клязьмы; любила она въ досужные часы поплакать о своей горькой участи, о гоненіяхъ судьбы (которая гнала ее, впрочемъ, очень скромно, такъ, что со стороны ея удары были вовсе незамѣтны), о томъ, что «никто въ мірѣ ея не понимаетъ». Это—лафонтеновскій элементъ. Не лучше его былъ и жанлисовски-моральный: она меня, который читалъ чортъ-знаетъ что, умоляла не дотрогиваться до Вертера, рекомендовала нравственныя книги и проч. Теперь все это мнѣ кажется смѣшно, но тогда Таня была для меня валькирія: я покорно слушался ея прорицавій. Она очень хорошо знала свой авторитетъ, и потому угнетала меня: когда же я возмущался, и она видѣла опасность потерять власть, слезы текли у ней изъ глазъ, дружескіе, теплые упреки изъ устъ; мнѣ

¹⁾ Et changer, sans respect de l'oreille et du son
Lycidas en Pierrot, et Philis en Toïnon. -- Art Poétique.

становилось жаль ея; я казался себѣ виноватымъ, и тронъ ея стоялъ опять неизбежно. Надобно замѣтить, дѣвушки лѣтъ въ 18-ть вообще любятъ пошколить мальчика, который имъ попадется въ руки и надъ которымъ онѣ пробуютъ оружіе, приготовленное для завоеваній болѣе важныхъ; зато какъ же и ихъ школятъ мальчики потомъ, лѣтъ восемнадцать къ ряду, и чѣмъ далѣе, тѣмъ хуже! Итакъ, я слушался Тани, сентиментальничалъ, и подчасъ нравственныя сентенціи, блѣдныя и тощія, служили финаломъ моихъ рѣчей. Воображаю, что въ эти минуты я былъ очень смѣшонъ; живой характеръ мой мудрено было обязать конфетнымъ билетомъ ложной чувствительности, и вовсе мнѣ не было къ лицу ваять нравственныя сентенціи изъ патоки безъ инбиря, жанлисовской морали. Но что дѣлать! я прошелъ черезъ это, а, можетъ, оно и не дурно: сентиментальность развела, подластила «жгучую силу» и, слѣдственно, поступила по фармакопей Шиллера ¹⁾; самый возрастъ отчасти способствовалъ къ развитію вѣжности. Для меня наставало то время, когда ребячество оканчивается, а юность начинается: это обыкновенно бываетъ въ 16 лѣтъ. Ребячья наивная красота пропадаетъ, юношеская еще не является; въ чертахъ дисгармонія, онѣ дѣлаются грубѣе, нѣтъ граціи, голосъ переливается изъ тонкаго въ толстый, глаза томны, а подчасъ заискрятся, щеки блѣдны, а подчасъ вспыхнутъ,—физическое совершеннѣе наступаетъ. То же происходитъ въ душѣ: неопредѣленныя чувства, зародыши страстей, волненіе, томность, чувство чего-то тайнаго, невѣдомаго, и вслѣдъ за тѣмъ юность, восторженный лиризмъ, полный любви, раскрытыя объятія всему міру божьему... Ранній цвѣтокъ, я скорѣе достигъ этой эпохи, и распуколки въ моей душѣ развернулись въ 14 лѣтъ; я чувствовалъ, что ребячество кончилось, а юность началась, и обижался, что никто не замѣчаетъ перелома въ моемъ бытіи. По несчастію, замѣтилъ это Василій Евдокимовичъ и началъ въ силу того преподавать мнѣ эстетику, въ которой, не тѣмъ будь помянуть, онъ былъ крайне недалекъ, и тогда же заставилъ меня писать статьи. Жаль, очень жаль, что, когда мы переѣзжали изъ стараго дома въ новый, пропали эти статьи! Съ какимъ наслажденіемъ перечиталъ бы я ихъ теперь! Чего я не писалъ! Были статьи, писанныя взапуски съ Темирой, были литературные обзоры и въ нихъ я «уничтожалъ» классицизмъ. Василій Евдокимовичъ приходилъ въ восторгъ, поправляя (и немудрено, его же мысли повторялись мною). Я перевелъ свои обзоры на французскій языкъ и гордо подалъ Маршало: «Вотъ, молъ, какъ я уважаю вашего Буало». Были и историческія статьи: сравненіе Марфы Посадницы (то

¹⁾ См. эпиграфъ.

есть не настоящей, а той спартанской Марфы, о которой повѣсть написалъ Карамзинъ) съ Зиновіей Пальмирской; Бориса Годунова съ Кромвелемъ. Жаль, что я не писалъ моихъ сравненій по-французски, а то я увѣренъ, что они были настолько негодны, что пошали бы образцами въ Нозлевъ «Курсъ словесности», въ отдѣленіе *Parallèles et Caractères*.

Такъ оканчивался періодъ прозябанія моей жизни. Вотъ предыдущее, съ которымъ я вошелъ въ пропилен юности. Маршалъ завѣщалъ мнѣ любовь къ изящной формѣ, любовь къ Греціи и Риму, логическую ясность, исторію французской литературы и *art poétique* Буало, котораго первую пѣснь помню до сихъ поръ; Василій Евдокимовичъ завѣщалъ поклоненіе Пушкину и юной литературѣ, метафизическую неясность романтизма и тетрадь *писанныхъ* стиховъ, которые я еще лучше вытвердилъ на память, нежели Буало; Темира—искреннее, теплое чувство любви и дружбы, слезы о «Векфильдскомъ Священникѣ» и потомъ о ней самой, когда она осенью уѣхала въ Меленки. Ergo, съ одной стороны, классицизмъ въ видѣ Маршала, съ другой, романтизмъ въ видѣ Пациферскаго, и жизнь въ видѣ Темиры,—а въ средоточіе всего я самъ, мальчикъ пылкій, готовый ко всякимъ впечатлѣніямъ, не по лѣтамъ умудрившійся, развитый отчасти насильственно, или вѣрнѣе, искусственно, чтеніемъ романовъ и вѣчнымъ одиночествомъ.

Такъ продолжалась моя жизнь до пятнадцатаго года.

II.

Юность.

Respect vor den Traumen deiner Jugend!
Schiller

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus!..

Прелестное время въ развитіи человѣка, когда дитя сознаетъ себя юношею и требуетъ въ первый разъ доли во всемъ человѣческомъ: дѣятельность кипитъ, сердце бьется, кровь горяча, силъ много, а міръ такъ хорошъ, новъ, свѣтелъ, исполненъ торжества, ликованія, жизни... Удадь Ахиллеса и мечтательность Поэты наполняютъ душу. Время благородныхъ увлеченій, самопожертвованій, платонизма, пламенной любви къ человечеству, безпредѣльной дружбы; блестящій прологъ, за которымъ часто, часто слѣдуетъ пошлая, мѣщанская драма.

Разумъ восходитъ,—но, проходя черезъ облака фантазій, онъ окрашиваетъ, какъ восходящее солнце, пурпуромъ весь міръ. Освѣщеніе истинное, которое исчезаетъ, должно исчезнуть, но прелестное, какъ лѣтнее утро на берегу моря. О, юность, юность!..

И я въ Аркадіи родился!

Беззаботно стдался я стремительнымъ волнамъ; онѣ увлекли меня далеко за предѣлы тихаго русла частной жизни! Мнѣ нравились упругія волны, безконечность; будущее рисовалось какимъ-то иподромомъ, въ концѣ котораго ожидаетъ стоустая слава и дѣва любви, вѣнокъ лавровый и вѣнокъ миртовый; я предчувствовалъ, какъ моя жизнь вплетется блестящей пасмой въ жизнь человѣчества, воображалъ себя великимъ, доблестнымъ... Сердце раздавалось, голова кружилась... Право, хороша была юность! Она прошла; жизнь не кипитъ больше, какъ пѣнящееся вино; элементы души приходятъ въ равновѣсіе, тихнуть; наступаетъ совершеннолѣтній возрастъ, и да будетъ благословенно и тогдашнее бѣшеное кипѣніе, и нынѣшняя предвозвѣстница гармоніи! Каждый моментъ жизни хорошъ, лишь бы онъ былъ вѣренъ себѣ; дурно, если онъ является не въ своемъ видѣ. Не люблю я скромныхъ, чопорныхъ, образцовыхъ молодыхъ людей, они мнѣ напоминаютъ Алексѣя Степановича Молчалина; они не постигли жизни, они не питали теплой кровью своего сердца отрадныхъ вѣрованій, не рвались участвовать въ міровыхъ подвигахъ. Они не жили надеждами на великое призваніе, они не лили слезъ горести при видѣ несчастія и слезъ восторга, созерцая изящное, они не отдавались бурному восторгу оргіи, у нихъ не было потребности друга,—и не полюбить ихъ дѣва любовью истинной; ихъ удѣлъ угонуть съ головою въ толпѣ. Пусть юноши будутъ юношами. Совершеннолѣтіе покажетъ, что провидѣніе не отдало такъ много во власть каждаго человѣка; что человѣчество развивается по своей міровой логикѣ, въ которой нельзя перескочить черезъ терминъ въ угоду индивидуальной воли; совершеннолѣтіе покажетъ необходимость частной жизни; почка, принадлежавшая человѣчеству, разовьется въ отдѣльную вѣтвь, но, какъ говорить Жуковский о волнѣ:

Влившись въ море, она назадъ изъ него не польется.

Душа, однажды предавшаяся универсальной жизни, высокимъ интересамъ, и въ практическомъ мірѣ будетъ выше толпы, симпатичнѣе къ изящному; она не забудетъ моря и его пространства... Но я забываю себя; вотъ что значитъ заговорить о юности.

Темира уѣхала въ Меленки. Я долго смотрѣлъ на ворота, пропустившія коляско-бричку, въ которой повезли ее; день былъ

жертво-осенній. Печально воротился я въ свою комнатку и развернулъ книгу. Старый другъ... опять книга, одна книга осталась товарищемъ; я принялся тщательно перечитывать греческую и римскую исторію. Разумѣется, я за исторію принялся не такъ, какъ за книгу народовъ, зеркало того и сего, а опять какъ за романъ и читалъ ее по той же методѣ, то-есть самъ выступая на сцену въ акрополисѣ и на форумѣ. Еще больше разумѣется, что Греція и Римъ, возстановленные по Сегюру, были нелѣпы, но живы и соответствовали тогдашнимъ потребностямъ. Театральныхъ натяжекъ, всѣхъ этихъ Курціевъ, бросающихся въ пропасти, вовсе не существующія, Сцеволь, жгущихъ себѣ руки по локоть, и пр., я не замѣчалъ, а гражданскія добродѣтели ихъ понималъ. Напрасно нынче встають противъ прежней методы пространно преподавать дѣтямъ древнюю исторію, это эстетическая школа нравственности. Великіе люди Греціи и Рима имѣють въ себѣ ту поражающую, пластическую, художественную красоту, которая навѣкъ отпечатлѣвается въ юной душѣ. Оттого-то эти величественныя тѣни Фемистокла, Перикла, Александра провожаютъ насъ черезъ всю жизнь, такъ какъ ихъ самихъ провожали величественные образы Зевса, Аполлона. Въ Греціи все было такъ проникнуто изящнымъ, что самые великіе люди ея похожи на художественныя произведенія. Не напоминають ли они собою, на примѣръ, свѣтлый міръ греческаго зодчества? Та же ясность, гармонія, простота, юношество, благодатное небо, чистая дѣтская совѣсть; даже черты лица плутарховыхъ героевъ такъ же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, какъ фронтоны и портики Парфенона. Самое тріединое зодчество Греціи имѣетъ параллель съ героями ея трехъ эпохъ; такъ изящное тѣсно спаяно было у нихъ съ ихъ жизнію. Гомерическіе герои—не дорическія ли это колонны, твердыя, безыскусныя? Герои персидскихъ войнъ и пелопонезской не сродни ли іоническому стилю, такъ, какъ Алкивіадъ изнѣженный—тонкой, кудрявой коринеской колоннѣ? Пусть же встрѣчаютъ эти высоко изящныя статуи юношу при первомъ шагѣ его въ область сознанія, съ высоты величія своего вперять ему первые уроки гражданскихъ добродѣтелей...

Сильно дѣйствовало на меня чтеніе греческой и римской исторіи. Я скорбѣлъ о томъ, что этотъ міръ добродѣтелей и энергій давно схороненъ, плакалъ на его могилѣ, какъ вдругъ болѣе внимательное чтеніе одного автора, бывшаго въ моихъ рукахъ, доказало мнѣ, что и тотъ міръ, который окружаетъ меня, въ которомъ я живу, не изытъ доблестнаго и великаго. Открытіе это сдѣлало переворотъ въ моемъ бытіи.

Шиллеръ! благословлю тебя, тебѣ обязанъ я святыми минутами начальной юности! Сколько слезъ лилось изъ глазъ моихъ.

на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнулъ тебѣ въ душѣ моей! Ты по превосходству поэтъ юношества. Тотъ же мечтательный взоръ, обращенный на одно будущее: «туда, туда!», тѣ же чувства благородныя, энергическія, увлекательныя; та же любовь къ людямъ, и та же симпатія къ современности... Однажды взявъ Шиллера въ руки, я не покидалъ его, и теперь, въ грустныя минуты, его чистая пѣснь врачуетъ меня. Долго ставилъ я Гёте ниже его. Для того, чтобъ умѣть понимать Гёте и Шекспира, надобно, чтобъ всѣ способности развернулись, надобно познакомиться съ жизнью, надобны грозныя опыты, надобно пережить долю страданій Фауста, Гамлета, Отелло. Стремленіе къ добродѣтели, горячая симпатія къ высокому достаточны, чтобъ сочувствовать Шиллеру. Я боялся Гёте; онъ оскорблялъ меня своимъ пренебреженіемъ, своимъ несимпатизированіемъ со мною,—симпатіи со вселенной я понять тогда не могъ. Пусть, думалъ я, Гёте— море, на днѣ котораго нефть какія драгоценности, я люблю лучше германскую рѣку, этотъ Рейнъ, льющійся между феодальными замками и виноградниками, Рейнъ, свидѣтель тридцатиплѣтней войны, отражающій Альпы и облака, покрывающія ихъ вершины. Я забывалъ тогда, что рѣка вливается тоже въ море, въ землеобнимающій океанъ, равно нераздѣльный съ небомъ и съ землею. Гораздо послѣ, мощный Гёте увлекъ меня; я тогда еще не вполне понималъ его, но почувствовалъ его *морскую* волну, его глубину, его пространство и (болѣзнь юности никогда не знать вѣса и мѣры!) на Шиллера взглянулъ иначе, тѣмъ взглядомъ, которымъ юноша, пріѣхавшій въ отпускъ, смотритъ на добрыя черты старца-воспитателя, привыкнувъ къ строгому лицу своего начальника,—немножко внизъ, немножко съ благосклонностью. Но я скоро опомнился, покраснѣлъ отъ своей неблагодарности и съ горячими слезами раскаянія бросился въ объятія Шиллера. Имъ обоимъ не тѣсно было въ мірѣ,—не тѣсно будетъ и въ моей груди; они были друзьями,—такими да идутъ въ потомство.

Но въ ту эпоху, о которой идетъ рѣчь, я никакъ не могъ понимать Гёте: у него въ груди не билось такъ человѣчески-нѣжное сердце, какъ у Шиллера. Шиллеръ съ своимъ Максомъ, Донъ-Карлосомъ жилъ въ одной сферѣ со мною,—какъ же мнѣ было не понимать его. Суха душа того человѣка, который въ юности не любилъ Шиллера, завяла у того, кто любилъ да пересталъ!

У меня страсть перечитывать поэмы великихъ maestri: Гёте, Шекспира, Пушкина, Вальтеръ-Скотта. Казалось бы, зачѣмъ читать одно и то же, когда въ это время можно «украсить» свой умъ произведеніями гг. А. В. С.? Да въ томъ-то и дѣло, что это не одно и то же; въ промежутки какой-то духъ мѣняетъ очень много

въ вѣчно-живыхъ произведеніяхъ маэстровъ. Какъ Гамлетъ, Фаустъ прежде были шире меня, такъ и теперь шире, не смотря на то, что я убѣжденъ въ своемъ расширеніи. Нѣтъ, я не оставлю привычки перечитывать, по этому я наглазно измѣряю свое возрастаніе, улучшеніе, паденіе, направленіе. Прошли годы первой юности и надъ Мооромъ, Позой выставилась мрачная, задумчивая тѣнь Валленштейна, и выше ихъ парила Дѣва Орлеанская; прошли еще годы—и Изабелла, дивная мать, стала рядомъ съ гордой дѣвственницей. Гдѣ-же прежде была Изабелла? Мѣста, приводившія меня пятнадцатилѣтняго въ восторгъ, поблекли, напр. студентскія выходки, сентенціи въ «Разбойникахъ», а тѣ, которыя едва обращали вниманіе, захватываютъ душу. Да, надобно перечитывать великихъ поэтовъ, и особенно Шиллера, поэта благородныхъ порывовъ, чтобъ поймать свою душу, если она начнетъ сохнуть! Человѣчество своимъ образомъ перечитываетъ цѣлыя тысячелѣтія Гомера и это для него оселокъ, на которомъ оно пробуетъ силу возраста. Лишь только Греція развилась,—она Софокломъ, Праксителемъ, Зевксисомъ, Еврипидомъ, Эсхиломъ повторила образы, завѣщанные колыбельной пѣснью ея, Илиадою; потомъ Римъ попытался возсоздать ихъ по своему, стойчески, Сенекою; потомъ Франція напудрила ихъ и надѣла башмаки съ пряжками — Расиномъ; потомъ падшая Италия перечитала ихъ чернымъ Альфіери; потомъ Германія возсоздала своимъ Гете Ифигенію, и на ней увидѣла всю мощь его....

Тутъ недостаетъ нѣсколькихъ страницъ... А досадно, должно быть, онѣ занимательны. Кстати, я не догадался объяснить въ предисловіи (можетъ быть, потому что его вовсе нѣтъ), какъ мнѣ попалась эта тетрадь; потому, пользуясь свободнымъ мѣстомъ, оставленнымъ выдранными страницами, я объяснюсь въ *междусловіи*, и притомъ считаю это необходимымъ для предупрежденія догадокъ, заключеній и пр. Тетрадь, въ которой описываются похождения любезнаго молодого человѣка, попалась мнѣ въ руки совершенно нечаянно и—чему не всякій повѣритъ—въ Вяткѣ, окруженной лѣсами и черемисами, болотами и исправниками, вотками и станowymi приставами, — въ Вяткѣ, засыпанной сѣнгомъ и всякаго рода дѣлами, кромѣ литературныхъ. Но должно ли дивиться, что какая-нибудь тетрадь попалась въ Вятку?.. «Нашъ вѣкъ, вѣкъ чудесъ», говаривалъ Фонтенель, жившій въ прошломъ вѣкѣ... Тетрадь молодого человѣка была забыта, вѣроятно, самимъ молодымъ человѣкомъ на станціи; смотритель, возивши для ревизованія книги въ губернской городъ, подарилъ ее почтовому чиновнику. Почтовый чиновникъ далъ ее мнѣ,—я ему не отдавалъ ея. Но прежде меня онъ давалъ ее поиграть черной quasi-датской собакѣ; собака, болѣе скромная, нежели я,

не присвоивая себѣ всей тетради, выдрала только мѣста, особенно пришедшія на ея quasi-датскій вкусъ; и, говоря откровенно, я не думаю, чтобъ это были худшія мѣста. Я буду отмѣчать, гдѣ выдраны листья, гдѣ остались одни городки, и прошу помнить, что единственный виновникъ—черная собака; имя же ей *Пултусь*. — Послѣ выдранныхъ страницъ продолжается рукопись такъ ¹⁾).

Поза, Поза! гдѣ ты, юноша-другъ, съ которымъ мы обручимся душою, съ которымъ выйдемъ рука-объ-руку въ жизнь, крѣпкіе нашей любовью? Въ этомъ вопросѣ будущему было упованіе и молитва, грусть и восторгъ. Я вызывалъ симпатію, потому что не было мѣста въ одной груди вмѣстить все, волновавшее ее. Мнѣ надобна была другая душа, которой я могъ бы высказать свою тайну; мнѣ надобны были глаза полные любви и слезъ, которые были бы устремлены на меня; мнѣ надобенъ былъ другъ, къ которому я могъ бы броситься въ объятія, и въ объятіяхъ котораго мнѣ было бы просторно, вольно. Поза, гдѣ же ты?..

Онъ былъ близокъ.

Въ мірѣ все подтасовано: это старая истина; ее рассказалъ какой-то аббатъ на вечерѣ у Дидро. Одни *честные* игроки не догадываются и ссылаются на случай. Счастливый случай, думаютъ они, вызвалъ любовь Дездемоны къ мавру; несчастный случай затворилъ душу Эмеральды для Клода Фролло. Совсѣмъ нѣтъ, все подтасовано, и лишь только потребность истинная, сильная, потребность друга захватила мою душу, онъ явился, прекрасный и юный, какимъ мечтался мнѣ, какимъ представлялъ его Шиллеръ. Мы сблизились по какому-то тайному влеченію, такъ, какъ въ растворѣ сблизаются два атома однороднаго вещества непонятнымъ для нихъ средствомъ.

Въ маломъ числѣ моихъ знакомыхъ былъ полу-юноша, полу-ребенокъ, однихъ лѣтъ со мною, кроткій, тихій, задумчивый; печально сидѣлъ онъ обыкновенно на стулѣ и какъ-то невнимательно смотрѣлъ на окружающіе предметы своими большими сѣрыми глазами, особо разсѣченными и того сѣраго цвѣта, который лучше голубого. Непонятною силою тяготѣли мы другъ къ другу; я предчувствовалъ въ немъ брата, близкаго родственника душѣ,— и онъ во мнѣ то же. Но мы боялись показать начинающуюся дружбу; мы оба хотѣли говорить *ты*, и не смѣли даже въ запискахъ употреблять слово «другъ», придавая ему смыслъ обширный и святой... Милое время дѣтской непорочности и чистоты

¹⁾ Бѣлинскій показывалъ рукопись мою цензору до посылки въ цензуру. Онъ отмѣтилъ нѣсколько мѣстъ—какъ совершенно невозможныя. Вотъ что подадо мысль ихъ выпустить предварительно и отмѣтить въ текстѣ.

душевной!.. Мало-по-малу слова дружбы и симпатіи начали врываться стороною, какъ бы нехотя; посылая мнѣ «Идилліи» Геснера, онъ написалъ маленькое писемцо и въ раздумьи подписалъ: «вашъ другъ ли,—не знаю еще». Передъ отъѣздомъ моимъ въ деревню онъ приносилъ томъ Шиллера, гдѣ его «Philosophische Briefe», и предложилъ читать вмѣстѣ... Ахъ, какъ билось сердце, слезы навертывались на глазахъ. Мы тщательно скрывали слезы. «Ты уѣхалъ, Рафаиль,—и желтыя листья валяются съ деревьевъ, и мгла осенняго тумана, какъ гробовой покровъ, лежитъ на вымершей природѣ. Одиноко брожу я по печальнымъ окрестностямъ, зову моего Рафаила, и больно, что онъ не откликается мнѣ». Я схватилъ Карамзина и читалъ въ отвѣтъ: «Нѣтъ Агатона, нѣтъ моего друга». Мы явно понимали, что каждый изъ насъ адресуетъ эти слова отъ себя, но боялись прямо сказать. Такъ дѣлаютъ *неопытные* влюбленные, отмѣчая другъ другу мѣста въ романахъ; да мы и были à la lettre влюбленные, и влюблялись съ каждымъ днемъ больше и больше. Дружба, прозябнувшая подъ благословіемъ Шиллера, подъ его благословіемъ расцвѣтала: мы усваивали себѣ характеры всѣхъ его героевъ. Не могу выразить всей восторженности того времени. Жизнь раскрывалась предъ нами торжественно, величественно; мы откровенно клялись пожертвовать наше существованіе во благо человѣчеству; чертили себѣ будущность несбыточную, безъ малѣйшей прямыи самолюбія, личныхъ видовъ. Свѣтлые дни юношескихъ мечтаній и симпатіи, они проводили меня далеко въ жизнь...

(Здѣсь опять не достаетъ двухъ-трехъ страницъ).

...Въ деревнѣ я сдѣлалъ знакомство, достойное сдѣланнаго въ Москвѣ,—я въ первый разъ послѣ ребячества явился лицомъ къ лицу съ природой, и ея выразительныя черты сдѣлались понятны для меня. Это отдохновеніе отъ школьныхъ занятій было на мѣстѣ; я закрылъ учебную книгу, не смотря на то, что надобно было готовиться къ университету. Колоссальная идиллія лежала развернутая передо мной, и я не могъ наглядѣться на нее: такъ нова она была мнѣ, выросшему въ третьемъ этажѣ на Пречистенкѣ. Читалъ я мало, и то одного Шиллера; на высокой горѣ, съ которой открывались пять-шесть деревенокъ, пробѣгалъ я «Теля», и въ мрачномъ лѣсу перечитывалъ Карла Моора,—и, казалось, молодецкій посвистъ его ватаги и топотъ конницы, окружавшей его, раздавался между соснами и елями. Но чаще всего я бросалъ книгу и долго-долго смотрѣлъ на окружающія поля, на рѣку, перерѣзывающую ихъ, на храмъ божій, бѣлый какъ лилія и какъ лилія окруженный зеленью. Иногда мнѣ казалось, что вся эта даль—продолженіе меня, что гора со всѣмъ окружающимъ—мое тѣло, и

мнѣ слышался пульсъ ея, и мы вмѣстѣ вдыхали и выдыхали воздухъ. Иногда мнѣ казалось, что я совершенно потерявъ въ этой безконечности — листокъ на огромномъ деревѣ, но безконечность эта не давила меня, мнѣ было хорошо лежать на моей горѣ; я понималъ, что я дома, что все это родное...

Смѣшно, что я останавливаюсь на этихъ подробностяхъ медоваго мѣсяца моей жизни; я очень знаю, что всё видали природу днемъ и ночью, и чувствовали при этомъ и то, и сѣ; что тысяча лѣтъ тому назадъ люди восхищались ею, потому что въ ней также просвѣчивалъ на каждой строчкѣ ея творецъ,—но... но... но, пожалуй, воротимся въ Москву. Вотъ глубокая осень, грязь по колѣно; иное утро подмерзнетъ, иное льется мелкій дождь; работы оканчиваются, одинъ цѣпъ стучитъ въ тактъ; сборы, хлопоты; священникъ съ просвирою и напутственнымъ благословеніемъ;... староста провожаетъ верхомъ за десять верстъ на мирской лошади, чтобъ убѣдиться, что господа точно уѣхали... Карета вязнетъ въ грязи проселочной дороги, едва двигается, иногда склоняется на бокъ, и всякій разъ батюшкинъ камердинеръ, преданный, какъ въ «Айвенго» Гуртъ Седрику Саксону, выходитъ изъ кибитки и поддерживаетъ карету; а самъ такой щедушный, что десяти фунтовъ не подыметъ. Наконецъ, вотъ Драгомиловскій мостъ, освѣщенные лавочки, «калачи горячи»,—и мы въ Москвѣ.

Такъ доѣхалъ я чрезъ Драгомиловскій мостъ до окончанія первой части моей юности. Отсюда начинается новая жизнь, жизнь аудиторіи, жизнь студента; отселѣ не пустынные четыре стѣны родительскаго дома, а семья трехсотголовая, шумная и неутомная...

III.

Годы странствованія.

Отъ нашего тетради.

Помѣстивъ отрывокъ изъ первой тетради «Записокъ одного молодого человѣка» въ XIII томѣ «Отеч. Записокъ» (кн. 12, 1840), мы объяснили въ приличномъ «междусловіи», какъ намъ досталась тетрадь и какъ не достались нѣкоторые листы изъ нея. Теперь пришлю намъ на мысль помѣстить отрывокъ изъ другой тетради. Между первой и второй тетрадями потеряны годы, версты, дести. Мы разстались съ молодымъ человѣкомъ у Драгомиловскаго моста на Москвѣ-рѣкѣ, а встрѣчаемся на берегу Оки-рѣки, да притомъ вовсе безъ моста. Тогда молодой человѣкъ шелъ въ университетъ, а теперь ѣдетъ въ городъ Малиновъ, худшій городъ въ мірѣ, ибо ничего нельзя хуже представить для города,

какъ совершенное несуществованіе его. *Молодой человекъ* дѣлается *просто „человекъ“* (не сочтите этого двусмысленнаго слова за намекъ, что онъ пошелъ въ лакеи). Завиральныя идеи начинаютъ облетать, какъ желтые листья. Въ третьей тетради—*полное развитіе*: тамъ никакихъ уже нѣтъ идей, мыслей, чувствъ: отъ этого она дѣлнѣе, и видно, что молодой человекъ «въ умъ вошелъ»; вся третья тетрадь состоитъ изъ расходной книги, формулярнаго списка и двухъ довѣренностей, засвидѣтельствованныхъ въ гражданской палатѣ. Пока вотъ отрывокъ изъ начала второй тетради, будетъ и изъ третьей, если того захотятъ, во-первыхъ, читатели, во-вторыхъ, издатель «Отеч. Записокъ», въ-третьихъ, кто бишь въ-третьихъ, дай Богъ память... Вспомню, скажу послѣ.

So bleibe denn die Sonne mir im Rücken,
Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.
Fauts II Theil.

Per me si va nella città dolente!
Dante. Del' Inferno.

Я устроень чрезвычайно гуманно. Читая розенкранцеву «Психологию,» имѣлъ я случай убѣдиться, что устроень рѣшительно по хорошему современному руководству. Оттого меня нисколько не удивляетъ, что всякое первое впечатлѣніе бываетъ смутнѣе, слабѣе, нежели отчетъ въ немъ. Непосредственность только пьедесталь жизни человѣческой, и именно отчетомъ поднимается человекъ въ ту сферу, гдѣ вся мощь и доблесть его. Въ самомъ дѣлѣ, не знаю, какъ съ другими бываетъ, а я никогда не чувствовалъ всей полноты наслажденія въ самую минуту наслажденія (само собой разумѣется, что рѣчь идетъ не о чувственномъ наслажденіи: котлеты въ воспоминаніи, право, меньше привлекательны, нежели во рту). Наслаждаясь, я дѣлаюсь страдателемъ, воспринимающъ. Послѣ—блаженство какъ-то дѣятельно струится изъ меня и я постигаю, по этой силѣ исходящей, всю полноту его. То же въ горестяхъ: никогда не чувствовалъ я всей горечи разлуки такъ сильно, какъ отъѣхавъ нѣсколько станцій. Впрочемъ, такая организація не есть исключительно гуманная; покойникъ А. П. Ловецкой, Professor ord. Mineralogiae etc., etc., читалъ, когда еще былъ въ брэнной оболочкѣ, о камнѣ, называемомъ болонскимъ, который, полежавши на солнцѣ, затаяваетъ въ себѣ свѣтъ, а послѣ ночью свѣтится (не знаю, имѣють ли то же свойство болонскія собаки, но сомнѣваюсь). Такъ случилось и теперь. Съ какимъ-то тяжело-смутнымъ, дурно-неяснымъ чувствомъ проскакалъ я 250 верстъ. Было начало апрѣля. Ока разлилась ши-

роко и величественно, ледъ только-что прошелъ. На большой паромъ поставили мою коляску, бричку какого-то коннаго офицера, ѣхавшаго получать богатое наслѣдство, и коробочку на колесахъ ревелскаго купца въ ваточномъ халатѣ, сверхъ котораго рисовалась шинель water proof. Мы ѣхали вмѣстѣ третью станцію, и я радъ былъ встрѣчи съ людьми, хотя въ сущности радоваться было нечему. Офицеръ рассказывалъ съ необычайною плодовитостью свои похождения въ Москвѣ, на Мѣщанской, съ казарменнымъ цинизмомъ, кричалъ въ интервалахъ ужаснымъ голосомъ: «Юрка, трубку!» и бурнымъ потокомъ словъ обдавалъ каждого зрителя. Купецъ ревелскій, чрезвычайно похожій на Пріапа, былъ въ восторгѣ отъ геройскихъ подвиговъ господина-офицера, и только съ чувствомъ глубокой грусти иногда говорилъ, качая голову: «хорошо имѣть эполеты, а вотъ нашъ братъ...» Офицеръ самодовольно поглаживалъ усы послѣ такого замѣчанія и еще громче кричалъ: «Юрка, трубку!»... А я все-таки радовался встрѣчѣ.

Небо было безоблачно, солнце свѣтило; какой-то особой запахъ весны носился надъ водою. Плавно, тихо двинулся паромъ; разливъ простирался верстъ на десять. Прѣсенскіе Пруды въ Москвѣ были наибольшее количество воды, видѣнное мною прежде. Меня поразила рѣка. Ревелскій Пріапъ вытащилъ фляжку съ ромомъ и, наливая въ крышку, подаль мнѣ, говоря: «Я кушилъ этотъ ромъ у Кистера, въ Москвѣ; онъ очень хорошъ: пейте! вамъ долго не придется пить такого рома; тамъ продаютъ кизлярку съ мадерой за ромъ... На водѣ же не мѣшаетъ». Я выпилъ, повернулся лицомъ къ водѣ и оперся на загородку. «Долго не придется», повторилъ я, и неопредѣленные чувства, тяготившія грудь, вдругъ стали проясняться; грусть острая, жгучая развивалась и захватывала душу. Я пристально смотрѣлъ на гладкую, лоснящуюся поверхность Оки. Московскій берегъ отодвигался далѣе и далѣе; глубь, вода, пространство, препятствія меня отдѣляли болѣе и болѣе... А тотъ берегъ — чуждый, непріязненный, изъ темно синеи полосы превращался въ поля, деревни становились ближе и ближе... На московскомъ берегу у меня все: впалыя щеки старца, по которымъ недавно катилась слеза... и другія слезы... О, Боже!.. А на томъ берегу ничего для меня, ни желанія ступить на него, ни воли не ступить. Слезы полились изъ глазъ; это бываетъ рѣдко со мною, и я опять твердилъ: «долго, долго»... Ярче я никогда не чувствовалъ разлуки. Тихое, спокойное движеніе по водѣ само собою наводитъ грусть; рѣка была какимъ-то олицетвореніемъ препятствій и ихъ возрастанія, рубежей и ихъ непреодолимости, семи тяжелыхъ замковъ, которыми запирается все милое. Потомъ прошедшее осѣнило меня какъ бы въ утѣшеніе, и грустная,

но вспрыгнувшая душа придавала ему чудное изящество: образъ друга, окруженный свѣтомъ заходящаго солнца на горахъ, образъ дѣвы-утѣшительницы, окруженный полумракомъ, среди надгробныхъ памятниковъ кладбища, слетѣли съ неба. Когда они были близко, когда я могъ связать ихъ, они были еще люди; разлука придавала имъ идеальную невещественность; они мнѣ казались тогда свѣтлыми видѣніями... И я былъ даже счастливъ въ эти минуты тяжелой грусти...

Паромъ стукнулся и остановился. Офицеръ хотѣлъ перескочить на берегъ прежде, нежели положили доску, и по колѣни увязъ въ грязи.

— Можетъ ли что-нибудь быть ужаснѣе! кричалъ онъ, бѣсясь отъ досады.—Юрка, Юрка!

— «Можетъ», отвѣчалъ я; но ему было не до моихъ возраженій.

— А что? спросите вы.

— «Быть отложительнымъ глаголомъ латинской грамматики и спрягаться *страдательно*, не будучи *страдательнымъ*».

На Волгѣ я чуть не потонулъ, однакожъ не потонулъ, что очень хорошо.

Наконецъ, послѣ разнообразнѣйшихъ приключеній, я благополучно сталъ на якорѣ передъ городомъ Малиновымъ, и его-то именно я хочу описать. Жаль только, что у меня голова устроена какъ-то бессмысленно. Плано-Карпини, наприимѣръ, рассказываетъ свое путешествіе какъ по писанному, и, сказавъ въ началѣ: *dicende de cibus dicendum est de moribus*, знаетъ уже, что какъ опишешь десертъ, такъ и слѣдуетъ о нравахъ. Я сколько ни думать, не придумать, въ какой порядокъ привести *любопытныя* отрывки изъ моего журнала, и помѣщаю его въ томъ видѣ, какъ онъ былъ писанъ.

Патріархальные нравы города Малинова.

Посвящаю памяти Кука и его (взроятно) превосходительству Дюмон-д'Юрвиллю, Capitaine de Vaisseau.

Великія океаниды! вы не пренебрегали бѣдными островами, которыхъ все населеніе составляютъ гадкіе слизняки, двѣ-три птицы съ необыкновеннымъ клювомъ и столбъ, вами же поставленный. Отвергнете ли вы городъ Малиновъ?

Тщетно искалъ я въ вашихъ вселенскихъ путешествіяхъ, въ которыхъ описанъ весь кругъ свѣта, чего-нибудь о Малиновѣ. Ясно, что Малиновъ лежитъ не въ кругѣ свѣта, а въ сторону отъ него (оттого тамъ вѣчныя сумерки). Я не видалъ всего круга

свѣта и, будто въ пику вамъ и себѣ, видѣлъ одинъ Малиновъ ¹⁾,— посвящая его вамъ и себя съ нимъ повергаю на палубу вашихъ землеоблетающихъ фрегатовъ.

Summâ cum pietate.
etc., etc., etc.

Паромъ двигался тихо; крутой берегъ, гдѣ грѣлось на солнцѣ желтое, длинное зданіе присутственныхъ мѣстъ, едва приближался, и мнѣ было грустно—разлука или предчувствіе были причиною—не знаю: вѣроятно, то и другое. Для меня въѣздъ въ новый городъ всегда полонъ думъ, и думъ торжественныхъ; кучка людей, живущихъ тутъ, не имѣла понятія обо мнѣ, я «объ нихъ»; они родились, выросли, страдали и радовались безъ меня, я безъ нихъ,—и вдругъ наши жизни коснутся и, почему знать, можетъ, въ этой кучкѣ найду я себѣ друга, который проведетъ меня черезъ всю жизнь, врага, который пошлетъ пулю въ лобъ. Если же и ничего этого не будетъ, все же ихъ жизни для меня раскроются, и я, какъ дѣятельный элементъ, войду въ кругъ чуждый и, почему знать, какъ подѣйствую на него, какъ онъ подѣйствуетъ на меня...

Паромъ остановился, коляску заложили, и я въѣхалъ въ Богомъ-хранимый градъ Малиновъ, шагомъ тащась на гору по глинистой землѣ. Благочестивый городъ не завелъ еще гостиницы: я остановился на постояломъ дворѣ, довольно грязномъ и чрезвычайно душномъ. Первымъ дѣломъ было раскрыть окно: низенькіе домики стоятъ по обѣимъ сторонамъ улицы, травка растетъ возлѣ деревянныхъ тротуаровъ и изрѣдка проѣзжаютъ, особымъ образомъ дребежжа, какія-нибудь желтыя или свѣтлозеленыя дрожки, дѣланныя до француза. «Должно быть, эти люди въ простотѣ душевной живутъ-себѣ тихо и хорошо», думалъ я и (такъ какъ это было на другой годъ послѣ университета) прибавилъ: «*Beatus ille qui procul negotiis*—ѣздитъ по улицамъ, на которыхъ растутъ трава».

Такъ какъ идиллическое расположеніе не могло меня насытить, я спросилъ хозяина, что у него есть съѣстнаго. «Есть, пожалуйста, рыба славная».—«Дай рыбу!»—Онъ принесъ черезъ полчаса кусокъ рыбы съ запахомъ лимбургскаго сыра; я люблю, чтобъ каждая вещь пахла сама собою, и потому не могъ въ ротъ взять рыбы.—Еще что есть?—«Да ничего, *пожалуй*, нѣтъ». Хозяйка пожалѣла обо мнѣ и изъ другой комнаты, минутъ черезъ пять,

¹⁾ Правдивость заставляетъ сказать, что до меня одинъ путешественникъ былъ въ Малиновѣ и вывезъ оттуда экземпляръ безхвостой обезьяны, названной имъ по-латынѣ *Bedovik*. Она чуть не пропала между Петербургомъ и Москвою (См. «Отеч. Зап.» 1839. Т. III. Отд. III, стр. 136—245: «Бѣдовикъ»).

принесла яичницу, въ которой были куски сыромятной кожи, состоявшіе въ должности ветчины, какъ надобно думать. Дѣлать было нечего: я наѣлся яичницы. Такъ какъ дѣло шло къ вечеру, а я былъ разбитъ весенней дорогой, то и легъ спать.

Черезъ недѣлю.

Я переѣхалъ изъ нечистаго постоялаго двора на нечистую квартиру одного изъ самыхъ большихъ домовъ въ городѣ. Домъ этотъ состоитъ изъ разныхъ пристроекъ, дополненій, прибавленій, и отдается въ наймы разнымъ семьямъ, которыя всѣ пользуются садомъ, заросшимъ крапивою и лопушникомъ. Вчера вечеромъ мнѣ вздумалось посѣтить нашъ паркъ; я нашелъ тамъ, во-первыхъ, хозяина дома, во-вторыхъ, всѣхъ его жильцовъ. Хозяинъ дома — холостой человѣкъ, лѣтъ 45, отропившій большія бакенбарды для того, чтобъ жениться, болтунъ и дуракъ — дружески адресовался ко мнѣ и тотчасъ началъ меня рекомендовать, и мнѣ рекомендовать. Тутъ былъ какой-то старикъ подслѣпый, съ Анной въ петлицѣ нанковаго сюртука, отставленный членъ межевой конторы; какая-то блѣдная семинарская фигура съ тѣмъ видомъ рѣшительнаго идиотизма, который мы преимущественно находимъ у такъ называемыхъ «ученыхъ», — и въ самомъ дѣлѣ, это былъ учитель Малиновской гимназіи. Межевой членъ, поднося мнѣ табакерку, спросилъ:

— «Изволите служить?»

— Теперь нѣтъ; дѣла мои требовали, чтобъ я покинулъ службу на нѣкоторое время.

— «А, ежели смѣю спросить, имѣете чинъ?»

— Титулярный совѣтникъ.

— «Боже мой!» — сказалъ онъ съ видомъ глубокаго оскорбленія: — «я думаю, вы не родились, а я уже былъ помощникомъ землемѣра при генеральномъ межеваніи, и мы въ одномъ чинѣ! Хоть бы при отставкѣ дали ассесора! Единъ Богъ знаетъ мои труды! Да за что же васъ произвели въ такой рангъ?»

Мнѣ было немножко досадно; однако, уважая его лѣта, я ему объяснилъ университетскія права. Онъ долго качалъ головою, повторяя:

— «И служи послѣ этого до сѣдыхъ волосъ!»

Въ то время, когда участникъ генеральнаго межеванія страдалъ отъ университетскихъ правъ, учитель гимназіи принялъ важный видъ и самодовольно замѣтилъ, что и онъ, на основаніи права лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, состоитъ въ 9 разрядѣ, протянулъ мнѣ руку, какъ гражданинъ *reipublicae litterarum* своему согражданину. Человѣкъ этотъ чрезвычайно безобразенъ, нечистъ и, судя по видимымъ

образчикамъ его бѣлья, надобно думать, что онъ мѣняетъ его только въ день Кассіана-Римлянина.

— «Какого факультета-съ?»

— Математическаго.

— «И я-съ; да знаете, трудная наука, сушить грудь-съ; напряженіе вниманія очень нездорово; я оставилъ теперь математику и преподаю риторикѣ»...

Хозяинъ потащилъ меня, перерывая педагога, рекомендовать дамамъ; вообще онъ старался показать, что со мною старый знакомый и, какія границы я ни ставилъ его дружбѣ, она, какъ все сильныя чувства, ломала ихъ.

«Вотъ нашъ столичный гость», кричалъ онъ *прекрасному* полу, сидѣвшему подъ качелями, рѣшительно похожими на висѣлицу.

Старуха, съ померанцовыми лентами на чепцѣ, начала меня тотчасъ спрашивать о Москвѣ и о *Филаретѣ*. Потомъ звала приходилъ къ нимъ *поскучать* и, указывая на трехъ барышень, изъ которыхъ двѣ смотрѣли мнѣ прямо въ глаза, а третья, довольно хорошенькая, сидѣла поодаль съ книгой, объявила, что это ея дочери. Учитель гимназій приступилъ ко мнѣ съ неотступной просьбой идти къ нему чай пить. Дивясь такой необыкновенной учтивости, я пошелъ. Учитель привелъ меня въ комнату, въ которой сидѣла премолоденькая женщина и, сказавъ: «Сѣ ма фамъ», прибавилъ: «прошу безъ церемоніи трубочку Фаллеру; у насъ, ученыхъ, нѣтъ церемоній». Жена его премиленькая и проста до безконечности; она говорила, что ей скучно жить на свѣтѣ, что хочетъ умереть, и при этомъ дѣлала такіе предсмертные глазки, что мнѣ пришли въ голову фантазій совершенно противоположныя смерти; впоследствии я убѣдился, что я не такъ далеко былъ отъ ея мыслей въ этой противоположности.

Конечно, все это смѣшно; но гдѣ же найдешь въ большомъ городѣ такое радушіе, гостепріимство? Люди всегда судятъ по наружности; что за дѣло до формы ¹⁾!

Черезъ двѣ недѣли.

Жаль, право, что эти добрые люди такъ сплетничаютъ: это отнимаетъ всю охоту ходить къ нимъ. Я начинаю думать, что все гостепріимство ихъ основано на скупѣ; они другъ другу страш-

¹⁾ Напередъ предувѣдомляемъ читателей: мы увѣрены, что неизвѣстный намъ авторъ «Записокъ» все предыдущее и послѣдующее въ этой статьѣ о городѣ Малиновѣ просто выдумалъ, и что ничего изъ рассказываемаго имъ въ дѣйствительности не было и быть не могло, точно такъ-же, какъ нѣтъ и никогда не бывало въ мірѣ города Малинова, котораго не найдете ни на какихъ картахъ древняго и новаго свѣта. — Ред. От. Зап. Каковъ макиавелизмъ!

но надоѣли, и новый прїѣзжій, особенно изъ столицы, для нихъ акробать, фокусникъ, обязанный занимать ихъ, рассказывать имъ новости; за это они строятъ ему куры, кормятъ на убой, поятъ до-нельзя, заставляютъ для него дочерей пѣть, аккомпанируя на пяти-октавномъ фортепьяно съ сквородными звуками. Когда выспросятъ его обо всемъ, и тогда даже интересъ его далеко не исчерпанъ: они начинаютъ всѣми средствами узнавать о его дѣлахъ, о его родныхъ; иные дѣлаютъ это изъ видовъ; на прим., старуха совѣтница, живущая противъ меня (я каждое утро вижу, какъ она, повязанная платкомъ, изъ-подъ котораго торчатъ нѣсколько сѣдыхъ волосъ въ палецъ толщиною, осматриваетъ свое хозяйство), познакомилась у воротъ съ моимъ камердинеромъ Петромъ Федоровичемъ и спрашивала его, женатъ я или нѣтъ, и если нѣтъ, имѣю ли охоту и склонность къ браку. Въ это время выбѣгала за нею (разумѣется ненарочно) дочка, рыжая и курносая, у которой не только на лицѣ, но и на платьѣ были веснушки. Другіе находятъ просто поэтическое удовольствіе въ томъ, чтобъ знать всѣ домашнія дѣла новопрїбывшаго...

Черезъ мѣсяць.

Былъ на большомъ обѣдѣ у одного изъ здѣшнихъ аристократовъ. Ужасно смѣшно все безъ исключенія, начиная отъ хозяина въ свѣтло-яхонтовомъ фракѣ и съ волосами, вычесанными вгладь, до кресель изъ цѣльнаго краснаго дерева, тяжеле 10-фунтоваго орудія, украшенныхъ позолоченной рѣзбою, въ видѣ раковинъ и амуровъ. Торжественной процессіей отправился beau monde въ столовую: губернаторъ съ хозяйкой дома впередъ; за нимъ всѣ въ почтительномъ разстояніи и въ томъ порядкѣ, въ какомъ чиновники пишутся въ Адресъ-Календарѣ. Толпа лакеевъ въ какихъ-то чижоваго цвѣта сюртукахъ, пестрыхъ галстухахъ и съ бисерными шнурками по жилетамъ, суетились за стульями, подъ предводительствомъ дворецкаго, котораго брюхо доказывало, что онъ вполне пользуется правомъ ѣсть съ барскаго стола. Изъ-за полузатворенной двери выглядывала босая баба, одѣтая въ грязь, съ тарелкой въ рукѣ и съ полотенцемъ. Вице-губернаторъ хотѣлъ-было сѣсть за второй столъ, за которымъ помѣстились барышни и молодые люди; но старуха, мать хозяина, начала кричать: «помилуйте, Сергѣй Львовичъ, что вы дѣлаете; куда это вы сѣли?»—«Да развѣ вы меня считаете старикомъ?»—«Охъ, батюшка», отвѣчала старуха, «лѣтами-то ты молодъ, да чинъ-то твой старъ». Малиновъ смѣло можетъ похвастать порядкомъ распределенія мѣстъ за обѣдомъ.

Главное дѣйствующее лицо за обѣдомъ былъ докторъ, сорокъ лѣтъ тому назадъ забывшій медицину и учившійся, пятьдесятъ

лѣтъ тому назадъ, въ Геттингенѣ. Онъ поѣхалъ въ Россію съ твердымъ убѣжденіемъ, что въ Москвѣ по улицамъ ходятъ медвѣди и, занесенный въ Малиновъ нѣмецкой страстью пытаться счастья по всему бѣлому свѣту, обжился здѣсь, привыкъ и остался дожидаться, пока разстройство животной экономіи и засореніе *vasorum absorbentium* превратитъ его самого въ соръ. Этотъ старичокъ, весьма веселый и крошечнаго роста, лукаво посматривалъ сѣренькими глазками, острилъ въ глаза надъ всѣми, шутилъ, отпускалъ вольтеровскія замѣчанія, смѣшилъ двусмысленностями и приводилъ въ ужасъ матеріализмомъ. При этомъ онъ умѣлъ принимать такой видъ кліентизма и униженія, такой видъ бономіи и самоуничтоженія, что его вылазки даже на особу его превосходительства принимались милостиво. Я воображаю, что подобную роль играли жида въ замкахъ рыцарей, когда они имъ были нужны. Его всѣ любили и онъ всѣхъ любилъ. Это поколѣніе родилось, выросло, занемогло, выздоровѣло при немъ, отъ него; онъ же только зналъ ихъ наружность, но зналъ внутренности,—и еще больше нежели наружность и внутренности, я замѣтилъ это по нѣкоторымъ сардоническимъ взглядамъ, отъ которыхъ пылали нѣкоторыя щечки.

За обѣдомъ первый тостъ пили за *здравіе* его превосходительства, съ благоговѣйнымъ чиномъ, вставши. Докторъ сложилъ руки на груди и сказалъ: «Ваше превосходительство, ну, могу ли я откровенно пить такой ужасный тостъ для меня?»... Всѣ захохотали; чиновники качали головой, будто говоря «экій смѣльчакъ!» и я хохоталъ, потому что въ самомъ дѣлѣ выходка была смѣшна.

Когда кончился обѣдъ съ своими 26-ю блюдами и 15 тостами, всѣ бросились къ карточнымъ столамъ. Барышни столпились въ уголь залы. Докторъ, слѣдуя гигиеническимъ правиламъ, еще возложеннымъ въ Геттингенѣ и отъ которыхъ онъ никогда не отступалъ, сталъ ходить изъ угла въ уголь по комнатѣ, всякій разъ стрѣляя островами, когда подходилъ къ барышнямъ. Я ушелъ.

Черезъ полтора мѣсяца.

Жена почтмейстера, принимающая во мнѣ родственное участіе, сказала, что на меня дуетъ весь городъ, зачѣмъ я не дѣлалъ визитовъ. Безъ вины виновать! Мнѣ отъ роду не приходила въ голову возможность ѣхать въ незнакомый домъ. Завтра нанимаю я у хозяина дома дрожки (досадно только, что онѣ обиты кирпичнаго цвѣта сукномъ) и ѣду.

На другой день.

Вездѣ приняли какъ роднаго и подчивали водкой. Право, они предобрые люди! Глупы ужасно,—ну, да что-жъ дѣлать. Дамы намекали что-то на то, что я прежде познакомился съ почтмейстер-

шей. Какое вниманіе ко мнѣ! Немного досадно, что онѣ такъ дурно думаютъ о моемъ вкусѣ. Жена тощаго учителя въ тысячу разъ милѣе и ближе къ натурѣ. Вчера мы съ ней гуляли по саду въ лунный вечеръ. Луна и здѣсь такъ же сентиментальна, какъ вездѣ. Въ саду есть бесѣдка, изъ оконъ которой прекрасно смотрѣть на луну...

Черезъ полгода.

Бѣдная, жалкая жизнь! не могу съ нею свыкнуться... Пусть человѣкъ, гордый своимъ достоинствомъ, пріѣдетъ въ Малиновъ посмотрѣть на тамошнее общество—и смирится. Больные въ домѣ умалишенныхъ меньше бессмысленны. Толпа людей,двигающаяся и влекущаяся къ однимъ призракамъ, по горло въ грязи, забывшая всякое достоинство, всякую доблесть, тѣсныя узкія понятія, грубыя, животныя желанія... Ужасно и смѣшно! Въ природѣ есть какая-то сардоническая логика, по которой она безжалостно развиваетъ нелѣпости чрезвычайно послѣдовательно. И именно въ этихъ-то развитіяхъ тѣсно спаянъ, какъ въ шекспировскихъ драмахъ, глубоко-трагическій элементъ съ уморительно-смѣшнымъ. И жаль ихъ отъ души, и не удержишься отъ смѣха... Бѣдные люди! Они подъ тяжелымъ фатумомъ; виноваты ли они, что съ молокомъ всосали въ себя понятія нечеловѣческія, что воспитаніемъ они исказили всѣ порывы, заглушили всѣ высшія потребности? Такъ же не виноваты, какъ альбиносы, которые вдыхаютъ въ себя сѣверный болотный воздухъ, лишающій ихъ силъ и заражающій ихъ организмъ.

И этотъ міръ нелѣпости чрезвычайно послѣдовательно устроенъ такъ, какъ Японія, и въ немъ всякое измѣненіе на сію минуту невозможно, потому что онъ твердо растетъ на прошедшемъ и вѣренъ своей почвѣ. Вся жизнь сведена на матеріальныя потребности: деньги и удобства—вотъ граница желаній, и для достиженія денегъ тратится вся жизнь. Идеальная сторона жизни малиновцевъ—честолюбіе, честолюбіе дѣтское, микроскопическое, вполне удовлетворяющееся приглашеніемъ на обѣдъ къ губернатору и его пожатіемъ руки.

Утромъ Малиновъ на службѣ; въ два часа Малиновъ ѣстъ очень много и очень жирно, что и обуславливаетъ необходимость двухъ большихъ рюмокъ водки, чтобъ сдѣлать снисходительнымъ желудокъ. Послѣ обѣда Малиновъ почиваетъ, а вечеромъ играетъ въ карты и сплетничаетъ. Такимъ образомъ жизнь наполнена, законопачена, и нѣтъ ни одной щелки, куда бы прорѣзался лучъ восходящаго солнца, въ которую бы подулъ свѣжій, утренній вѣтеръ. И, что меня выводитъ цуце всего изъ себя, это удушливое однообразіе, это отвратительное *semper idem*. Ежели танцуютъ,— все тѣ же кавалеры и тѣ же фраки; иногда мѣняются перчатки.

Какъ теперь вижу красное платье, цвѣту давленной брусники, на женѣ директора гимназіи; это платье пятьдесятъ разъ мелькало передо мною въ разныхъ временахъ года, въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, въ разныхъ танцахъ; даже мнѣ памятенъ особый, померанцовый запахъ отъ него, въ родѣ кюрасо. И говорятъ все одно и то же. Всякій вечеръ играютъ четыре мученика другъ съ другомъ въ бостонъ, и всякій разъ однѣ и тѣ же остроты. Одинъ скажетъ: «пришестнемъ» вмѣсто шесть; «не вистъ, а вистище», и трое другихъ хохочутъ всякій разъ! Да вѣдь это ужасно! Человѣчество можетъ ходить взадъ и впередъ, Лиссабонъ проваливаться, государства возникать, поэмы Гёте и картины Брюлова являться и исчезать,—малиновцы этого не замѣтятъ. Наполеону надобно было предпринять походъ 1812 года и пройти нѣсколько тысячъ верстъ самъ-полмилліона для того, чтобъ обратить на себя ихъ вниманіе. И то какое вниманіе! О французѣ они услышали какъ о саранчѣ; вѣдь никто не спрашиваетъ, откуда саранча и зачѣмъ,—довольно знать, что хлѣбъ дороже будетъ...

Встрѣчались люди, у которыхъ сначала былъ какой-то зародышъ души человѣческой, какая-то возможность,—но они крѣпко заснули въ жалкой, узенькой жизни. Случалось говорить съ ними о смертномъ грѣхѣ противъ духа—обращать человѣческую жизнь въ животную: они просыпались, краснѣли; душа, вспоминая свою орлиную натуру, расправляла крылья; но крылья были тяжелы, и они какъ куры только хлопали ими, на воздухъ не поднялись и продолжали копаться на заднемъ дворѣ. Я глядѣлъ на нихъ и чуть не плакалъ.

Чтобъ познакомить еще болѣе съ жизнію малиновцевъ, я опишу типическій день отъ 8 ч. утра до 3 ч. ночи.

Праздникъ въ кружкѣ. На дворѣ трескучій морозъ, на улицахъ снѣгъ на аршинъ; плохо разсвѣло, а снѣгъ ужъ скрипитъ подъ санями непремѣннаго члена приказа, который отправляется къ губернатору рапортовать о состояніи богоугодныхъ заведеній и поздравить его съ праздникомъ. Онъ увѣренъ, что губернаторъ еще спитъ, что онъ его прождетъ часа полтора; но въ томъ-то и сила, чтобъ придти раньше всѣхъ,—почтительнѣе. Сальные лакеи для него не встанутъ; шубу онъ самъ снялъ, на первой ступенькѣ лѣстницы; калоши оставилъ въ саняхъ, а сани у воротъ. Черезъ полчаса начинаютъ подъѣзжать къ воротамъ чиновники низшаго разряда,—все это, чтобъ поздравить «генерала» съ праздникомъ. Наконецъ, являются аристократы; они гордо вѣхали на дворъ и смѣло вошли въ переднюю въ шубахъ. Зала наполняется. Смирненно въ углу стоитъ какой-нибудь исправникъ; онъ всѣмъ кланяется, всѣхъ уважаетъ; онъ дрожитъ до тѣхъ поръ, пока не доберется опять до своихъ лѣсовъ. Полиціймей-

стеръ, въ мундирѣ безъ эполетъ, держитъ рапортъ о благосостояніи города, правитель канцеляріи съ портфелемъ ждетъ у дверей кабинета; исправникъ бросаетъ тоскливые взоры на эту портфель... Погода немного, съ шумомъ влетаетъ изъ внутреннихъ дверей, *notez bien cela*—чиновникъ особыхъ порученій, безъ шляпы; «мы, дескать, свои люди». Онъ одинъ громко говорить,—остальные шепчутъ; исправникъ похудѣлъ, когда онъ вошелъ, и поклонился низко; чиновникъ особыхъ порученій потолстѣлъ, увидѣвъ исправника, и поклонился ему наизнанку, то-есть, закинувъ голову на спину. Между тѣмъ, компанія раздѣлилась на двѣ части,—аристократы сами по себѣ, плебеи сами по себѣ. Да кто же тутъ аристократы? Сейчасъ объясню вамъ это. Есть чиновники, сидящіе за перегородкой, передъ столомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ; эти чиновники пишутъ по одному слову на каждой бумагѣ, это—*совѣтчики*, аристократы; это—люди, которые приглашаются къ обѣденному столу его превосходительства. Есть другіе чиновники, сидящіе по сю сторону перегородки, передъ столами, которые покрыты чернильными пятнами: эти пишутъ по одному миллиону словъ на каждомъ листѣ, но они не аристократы, они—*канцелярскіе*. Эти два міра нигдѣ не смѣшиваются; одинъ переходный мостъ между ними—секретарь; секретарь, какъ Лафайетъ,—человѣкъ двухъ міровъ. Безъ него совѣтникамъ было бы нечего подписывать, а канцелярскимъ списывать. Онъ и въ обществѣ играетъ ту же роль. Если нѣтъ вблизи четвертаго, его сажаютъ съ собою за бостонъ аристократы, и онъ одѣваетъ бѣлый галстухъ. А завтра, на именинахъ у *канцелярскаго*, для него составятъ бостонъ изъ двухъ столоначальниковъ и частнаго пристава и онъ придетъ въ сюртукъ и растегнетъ двѣ пуговицы на жилетѣ. Есть еще разные двусмысленные чиновники, *Zwittergestalten*, лавирующие между двумя мірами, и, смотря по обстоятельствамъ, прикрѣпляющіеся то къ одному, то къ другому: губернской стряпчій, правитель дѣлъ губернатора, но истинно завидное общественное положеніе принадлежитъ чиновнику особыхъ порученій. Партизанъ юридическихъ набѣговъ, онъ съ презрѣніемъ смотритъ на все, кромѣ губернатора; его аристократы боятся, плебеи ему удивляются, всѣ завидуютъ; онъ въ синемъ фракѣ обѣдаетъ у губернатора, онъ отправляетъ на почту письма его превосходительства. Около міровъ губернскаго чиновничества, обращаются міры уѣздныхъ; о нихъ въ другой главѣ. Вишь всего этого, шага на два, отдѣльные владѣтельные князья: прокуроръ, директоръ гимназіи, уѣздный начальникъ; ихъ отношенія не такъ правильно истекаютъ изъ главной идеи, какъ въ мірѣ, подчиненномъ губернатору.

Но двери въ кабинетъ растворились, и «генераль» вышелъ,

съ нимъ его гость и другъ, малиновскій откущикъ, толстый мужчина съ свинными глазами. Губернаторъ Малинова говоритъ съ тремя-четырьмя изъ аристократовъ, на остальныхъ не обращаетъ вниманія, а ежели кому случится встрѣтиться съ его взглядомъ, тотъ тотчасъ кланяется, хотя-бъ въ пятый разъ; многіе выставляются, чтобъ заявить свое присутствіе. Директоръ гимназій, пріѣхавши позже всѣхъ, поднимаетъ голосъ:

— Ваше превосходительство, не соблаговолите-ли ѣхать въ кафедральный соборъ? Отецъ-ректоръ семинаріи, высокопреподобный Макаридій, будетъ говорить слово.

— «Какъ же! непременно. Онъ хорошо говорить?»

— Ораторское искусство Цицерона, ваше превосходительство! — и директоръ гордо смотритъ на окружающихъ.

Губернаторъ, обращаясь ко всѣмъ, произноситъ: «И вы, вѣроятно, въ соборъ? Надобно молиться!» и всѣ ѣдутъ въ соборъ.

Обѣдъ я описывалъ. Вечеромъ балъ у полицмейстера. Губернаторъ отдаетъ приказъ, чтобъ раньше собирались: онъ не любить, когда кто-нибудь позже его пріѣзжаетъ.

Выспавшись, городъ начинаетъ торопиться, надѣваетъ пестрый жилетъ, коричневый фракъ, надѣваетъ всего чаще виць-мундиръ, и ѣдетъ на балъ. Дамскій туалетъ я описать не возьмусь: отъ одного описанія можетъ зарябить въ глазахъ. Плюшки горятъ у воротъ полицмейстера, въ окнахъ свѣтъ. Въ восьмомъ часу начинается собираться beau monde, пьяный *квартильный* снимаетъ шубы и прячетъ ихъ, чтобъ никто не уѣхалъ; въ передней тѣсно: четыре семинариста въ затрапезныхъ халатахъ, два солдата и канцелярскій служитель въ фризовой шинели, подпоясанный бѣлымъ полотенцемъ, составляютъ оркестръ. Начинаютъ подъѣзжать экипажи и огромный возокъ почтмейстера, мыча и скрипя, остановился у крыльца. Возокъ этотъ дѣланъ около царствованія Анны Иоанновны и, отодвигаясь каждое двадцатилѣтіе на нѣсколько сотъ верстъ отъ Петербурга, оканчивалъ преклонныя лѣта свои въ сараѣ почтмейстера. Встарь онъ былъ внутри покрытъ мѣхомъ; теперь оплѣшивѣлъ и окна качаются у него, какъ зубы у старухи. Изъ возка вынимаютъ человекъ восемь обоого пола: какъ они помѣстились съ накрахмаленными юбками, съ Станиславомъ (во весь ростъ) на шеѣ у почтмейстера, съ цвѣтами на челѣ почтмейстерши, — трудно постигнуть; но кому же и умѣть укладываться, какъ не почтовымъ? Это гости почетные, и ихъ полицмейстеръ встрѣчаетъ въ передней. Въ залѣ становится людно и сильно пахнетъ духами, которые *троитъ á Paris* Мусатовъ. Но ни картъ не даютъ, ни чаю, ни музыка не играетъ. Подполковница гарнизоннаго баталіона — дама отважная, дама, хорошо воспитанная въ разныхъ казармахъ и кордегардіяхъ, начинается роутать и повторять

свою вѣчную фразу: «когда я стояла съ мужемъ въ Молдавіи, то самъ господарь...» Квартальный сбиваетъ гостей съ ногъ, ищетъ хозяина и кричитъ: «Ваше высокоблагородіе, его превосходительства карета *изволила* на мостъ въѣхать!» Полицмейстеръ, прихрамывая отъ тарутинской пули, бѣжитъ съ лѣстницы, чтобъ встрѣтить генерала. Генераль пріѣхалъ съ откупщикомъ. Входить. Музыка гремитъ польскій, генераль открываетъ балъ и отпращивается за карточный столъ. Машина спущена. Чай подается, карты сдаются, *vis-à-vis* выбираются, пары становятся...

Балъ провинціальный описывали тысячи разъ; разумеется, онъ имѣетъ нѣкоторые сходства съ столичнымъ баломъ, такъ какъ есть же общее въ портретахъ Кутузова цѣною въ десять рублей и цѣною въ десять копеекъ. Иногда танцующіе ссорятся за мѣста, и тутъ недалеко до членовредительства; есть дамы, въ томъ числѣ подполковница, которая непременно хочетъ быть въ первой парѣ въ мазуркѣ и готова щипать несчастную даму, стоящую передъ ней. Есть кавалеры, которые какъ то прищелкиваютъ каблуками, такъ что изъ другой комнаты можно думать, что дверью кто-нибудь давитъ грецкіе орѣхи. За то есть голыя плечи, ни чуть не хуже столичныхъ, пластически прелестныя, отъ которыхъ трудно отвести глаза, особенно стоя за стуломъ; есть свѣжія лица, очень хорошенькія, но глазъ съ выраженіемъ нѣтъ. Во всемъ Малиновѣ было три глаза выразительные: два изъ нихъ принадлежали одной пріѣзжей барышнѣ, третій—кривой болонкѣ губернаторской. Въ антрактахъ, между одной кадрилию и другою, наполняютъ «желудка бездонную пропасть», какъ говоритъ Гомеръ: дамамъ сладостями, мужчинамъ водкой, виномъ и солеными закусками. Отсюда немудрено понять, что балъ разгорается болѣе и болѣе. Матери семействъ, сидящія неподвижно около стѣнъ, громче сплетничаютъ; лица барышень пылаютъ, юность и веселье беретъ верхъ надъ этикетомъ,—словомъ, балъ во всей красѣ.

Въ двѣнадцать часовъ губернаторъ окончилъ бостонъ, выходитъ въ залу и танцуетъ кадрилъ съ хозяйкой дома. Въ Малиновѣ всѣ танцуютъ — отъ грудныхъ дѣтей до столѣтнихъ старцевъ, такъ какъ всѣ играютъ въ бостонъ. Можно думать, что всѣ жители заражены пляской Витта. Потомъ трескъ, шумъ, *sensation*... «Ваше превосходительство, еще минутой!» Генераль неумолимъ, генераль твердъ, генераль не ужинаетъ, генераль въ шубѣ, генераль уѣхалъ. Нѣсколько человѣкъ, не смѣвшіе танцовать съ нимъ подъ одной крышей, являются на паркетѣ, уѣздный казначей кричитъ въ котильонѣ: «окончимъ *попурями*, я смерть люблю попури». Отъ *попурей* за ужинъ, съ ужина матери семействъ укладываются, цѣлуются, уѣзжаютъ съ дочерьми; изъ дамъ остается одна подполковница,—ее не испугаешь ничѣмъ: бывалой человѣкъ.

Шампанское льется рѣкой. Пьяный подполковникъ умоляетъ жену пройти съ нимъ «русскую», — одни свои, чужіе разъѣхались. Канцелярскій въ фризовой повелъ смычкомъ «барыню», и салонъ незамѣтно переливается въ Перовъ трактиръ. Часа въ четыре гости разъѣзжаются. Хозяинъ доволенъ, потираетъ себѣ руки, говоря: «жаркій денекъ! удался»...

Но довольно вязнуть въ этомъ болотѣ; тяжело ступать, тяжело дышать. Перейдемъ въ сферу, гдѣ человѣкъ отъ животныхъ отдѣляется не одними зоогностическими признаками, которые упрочиваютъ за нимъ почетное мѣсто возлѣ обезьянъ и лемуровъ.

Вотъ одна человѣческая встрѣча въ Малиновѣ, и очень странная притомъ.

Недалеко отъ Малинова города живетъ какой-то помѣщикъ, рассказы о которомъ безконечны у малиновцевъ, — богатый челевѣкъ, выписывающій вещи изъ Парижа и изъ Лондона, устроившій свое имѣнье по ученому, по *аграноміи*, польско-прусскій дворянинъ и проч., и проч.

«Почему онъ не женится?» говорили одни. «Потому что онъ фармазонъ, а въ ихъ вѣрѣ даютъ обѣтъ монашества, масоны и иезуиты — вѣдь это одно», отвѣчали люди мудрые, вершавшіе окоечательно трудные вопросы, которые изрѣдка возникали въ малиновскихъ головахъ. «Онъ скупъ, какъ кашей», говорили чиновники: «ни одного *стола* не сдѣлалъ во всю жизнь, нашъ братъ живетъ лучше его, не смотря на бѣдные вклады». «Онъ развратилъ своихъ крестьянъ, говорили помѣщики, до того, что они въ будни ходятъ въ сапогахъ, да еще имѣютъ у себя батраковъ». «Сумасшедшій, просто сумасшедшій», увѣрялъ пятидесятилѣтній корнетъ, обладатель 20 душъ и камердинера въ плисовыхъ панталонахъ.

Наконецъ, я познакомился съ нимъ.

Трензинскій сдѣлалъ на меня самое странное впечатлѣніе. Чортъ знаетъ, какъ онъ съ такимъ апатическимъ равнодушіемъ умѣлъ соединить силу дѣйствовать на душу странными мнѣніями и парадоксами. Ему удалось нанести глухой ударъ нѣкоторымъ изъ теплыхъ вѣрованій моихъ. Да что это, — какъ я слабъ, или какъ слабы мои теоріи, когда первый встрѣчный можетъ потрясти ихъ! И прескверная манера у него: онъ почти не спорить, онъ на теоретическія разрѣшенія вопросовъ смотреть, какъ на что-то постороннее, школьное, безъ вліянія на жизнь и безъ корня въ ней. Оттого, вмѣсто спора и опроверженія, онъ прервнодушно соглашается, и иной разъ, кажется, откровенно.

Я ему былъ рекомендованъ единственнымъ человѣкомъ, имѣвшимъ съ нимъ постоянныя сношенія, докторомъ медицины, проживавшимъ въ одномъ изъ большихъ заводовъ малиновскихъ.

Самъ докторъ лицо примѣчательное. Имѣя практику въ городѣ, онъ въ недѣлю раза два являлся въ Малиновъ. Я часто встрѣчался съ нимъ, но никогда не слыхалъ отъ него ни одного слова, которое относилось бы къ чему нибудь постороннему для его занятій, ни даже о погодѣ, о дорогѣ, и проч. А между тѣмъ ироническая улыбка и яркіе глаза показывали, что онъ многое могъ бы сказать, и что ему дорого стоитъ прилѣпить языкъ къ гортани. Мнѣ нездоровилось, и я просилъ доктора заѣхать; онъ явился, и не знаю какъ, но у меня онъ не игралъ своей молчаливой роли. Говорятъ, что храмовые рыцари вездѣ узнавали другъ друга, узнавали даже степень свою въ таинствахъ и силу въ орденѣ при встрѣчѣ. Это только съ перваго взгляда кажется удивительнымъ: мы всѣ храмовые рыцари, и *свой своего* узнать по тремъ, четыремъ словамъ. Итакъ, нѣтъ ничего удивительнаго, что два выходца университета поняли тотчасъ другъ друга въ Малиновѣ. Докторъ посѣщалъ меня вдвое чаще, нежели требовала моя полуболѣзнь, и сидѣлъ вдвое долѣе, нежели у всѣхъ больныхъ малиновцевъ. Онъ говорилъ съ восхищеніемъ о Трензинскомъ. И однимъ добрымъ утромъ мы поѣхали къ нему.

Трензинскій принялъ европейски-учтиво, т. е. малиновски-грубо, безъ полуварварскаго гостепрѣимства, безъ трехъ четвертей варварскихъ церемоній и безъ вполне варварскаго принужденія пить и ѣсть, когда не хочется. Поговоривъ о томъ, о семъ, онъ сказалъ намъ, что въ это время ежедневно осматриваетъ заводъ, и просилъ или идти съ нимъ, или, пока онъ возвратится, погулять въ саду. Мы пошли на заводъ.—Трензинскій человекъ высокаго роста, чрезвычайно худой, лицо нѣжное, очень блѣлое; эта блѣлизна придастъ что то мертвое, отжившее всѣмъ чертамъ, и если-бъ не большіе, сѣро-голубоватые глаза и улыбка на губахъ, то онъ былъ бы похожъ на хорошо сдѣланную восковую фигуру. И улыбка его примѣчательна: сначала она кажется добродушіемъ, потомъ насмѣшкой, и, наконецъ, убѣждаешься, что этотъ ротъ вовсе не можетъ улыбаться, а что движеніе губъ его болѣзненно-судорожное сжиманіе. Ему за пятьдесятъ, но онъ прямъ и бодръ; «чело какъ черепъ голый». Исторія его жизни, должно быть, представляетъ длинную повѣсть мыслей, страстей, ощущеній, коллизій: но повѣсть кончена, а жизнь продолжается. Такъ казалось мнѣ, когда я пристально всматривался въ его лицо; оно мнѣ напомнило мраморные, холодные, гладкіе надгробные памятники, поставленные надъ прахомъ, въ которомъ клокоталъ когда-то огонь. Въ его кабинетѣ мало книгъ: «Mémorial de S-te Hélène», и какой-то трактатъ о черепословіи лежали на столѣ между Тзеромъ, Берцеліусомъ и книгами, прямо относящимися къ заводскому дѣлу. На окнахъ стояли реторты, стѣянки и банки, на стѣнахъ висѣло

нѣсколько видовъ Венеціи, копія съ Рембрандова Яна Собѣскаго, двѣ-три головы съ свѣтлыми усами и картина, тщательна завѣшанная тафтою.

Осмотрѣвъ заводъ, пришли мы въ садъ и сѣли на террасѣ; день былъ очень хорошъ, запахъ воздушныхъ жасминовъ и тополей доносился къ намъ, вмѣстѣ съ неопредѣленнымъ лѣтнимъ говоромъ природы—говоромъ, въ которомъ перепутаны и шелестъ листьевъ, и чириканье птицъ, и звуки кузнечика и жужжанье пчелъ, и еще сотня разныхъ звуковъ, свидѣтельствующихъ, что все вокругъ васъ живо, весело и радуется солнцу. Ничего нѣтъ удивительнаго, что разговоръ мало по малу оживился и сдѣлался откровеннымъ. Человѣку вовсе несвойственно непрерывно корчить дипломата и надобно ему пройти великую школу разврата духовнаго, чтобъ подозрительно затаивать всякую мысль отъ каждаго вновь встрѣтившагося человѣка.

— «Славно живете вы, сказалъ я; особенно въ хорошую погоду; но, признаюсь, удивляюсь, какъ вамъ не скучно въ такомъ одиночествѣ и въ такой глуши!»

— Конечно, подчасъ бываетъ скучно, но не думайте, чтобъ болѣе, нежели гдѣ нибудь. Скука внутри имѣетъ зародышъ. Повѣрьте, кто понялъ душею, что на свѣтѣ *можетъ быть* очень скучно, тому придется иной разъ поскучать, гдѣ бы онъ ни жилъ—отъ Нью-Йорка до Малинова. Вообще, здѣсь я меньше скучаю, нежели скучалъ прежде, кочуя изъ города въ городъ, здѣсь у меня положительныя занятія.

— «Я не понимаю, откровенно говоря, возможность жить и не имѣть подлѣ себя ни одного близкаго существа».

— Вамъ, кажется, лѣтъ двадцать, а мнѣ пятьдесятъ шесть. И не смотря на то, что есть много истиннаго въ вашемъ замѣчаніи, я увѣряю васъ, что человѣкъ можетъ всячески жить: таково устройство его, и я въ этомъ нахожу высочайшую премудрость; брошенный совершенно во власть случайности, не имѣя возможности измѣнить внѣшнее на волосъ, онъ былъ бы несчастнѣйшимъ существомъ, если-бъ не доставало ему эластичности, хорошо прилаживающейся къ обстоятельствамъ. Вы не имѣете повода думать, чтобъ я отталкивалъ отъ себя симпатію; одинъ человѣкъ образованный и съ душою, на 300 верстъ кругомъ,— это докторъ, и онъ бываетъ у меня; давно ли вы пріѣхали въ Малиновъ, и такъ ли, иначе ли, вы здѣсь,—и я чрезвычайно радъ. Но понимаю, что тотъ же случай могъ сдѣлать и съ тою-же безсознательностію, чтобъ вы не были въ Малиновѣ, чтобъ вмѣсто доктора, привезеннаго ко мнѣ моимъ управляющимъ безъ моего вѣдома, пріѣхалъ нѣмецъ буффъ, котораго, вѣроятно, вы видѣли. И я былъ бы одинъ. Власти надъ случаемъ у меня нѣтъ.

Что-жъ бы мнѣ дѣлать? Писать элегіи—лѣта ушли. Съ тѣхъ поръ, какъ я понялъ, что случай управляетъ индивидуальнымъ существованіемъ и цѣлыми семействами, я отдался ему во власть: онъ меня бросилъ въ Малиновъ, тогда какъ я и имени этого города не слыхалъ прежде, могъ бы бросить въ Канаду, и я сдѣлался бы тамъ куперовскимъ колонистомъ...

— «Случай, которому вы, кажется, придаете всю мощь греческаго фатума, имѣетъ вліяніе надъ внѣшнею стороною жизни, такъ сказать, надъ обстановкой. Въ томъ-то вся задача, чтобъ, подобно какому нибудь Гёте, стоять головою выше всѣхъ обстоятельствъ и ихъ покорять,—чтобъ внутренній міръ сдѣлать независимымъ отъ наружнаго».

— Гёте вы поставили не совсѣмъ хорошо въ примѣръ. Тотъ же случай, о которомъ я говорю, далъ ему, во-первыхъ, огромную дозу эгоизма и, во-вторыхъ, организацію холодную къ многуму, волнующему другихъ. Тутъ нѣтъ побѣды, что человѣкъ, не чувствующій потребности пить вино, не пьянствуетъ. Что касается до вашего внутренняго міра, все это хорошо въ стихахъ и въ трактатахъ, а не на самомъ дѣлѣ и не для всѣхъ. Я тоже сошлюсь на Гёте: онъ чрезвычайно глубокомысленно сказалъ въ одной эпиграммѣ, которая, вѣроятно, вамъ извѣстна, что жизнь не имѣетъ *ни ядра, ни скорлупы*. Съ другой стороны, я не спору, внутренняя полнота, особенно при экзальтаціи воображенія, можетъ сдѣлать человѣка совершенно независимымъ отъ всего внѣшняго; но еще разъ—это не для всѣхъ: для этого надобно имѣть, можетъ быть, слабонервныхъ родителей, вообще склонность къ сумасшествію... Вѣдь и сумасшествіе есть независимость отъ внѣшняго міра.

— «Помилуйте! вскричалъ я, выведенный изъ себя результатомъ. Идеаль высшаго гармоническаго существованія кажется вамъ болѣзнію близкой къ сумасшествію, и совершенную потерю божественной искры въ человѣкѣ вы сравнили съ безконечною высотой духа, пренебрегающаго всѣми суетами и гордо находящаго цѣлый міръ въ себѣ!»

— А вы сейчасъ сказали, что не понимаете жизни безъ близкаго существа. Тутъ противорѣчіе. Это близкое существо будетъ внѣ васъ, и случай—сквозной вѣтеръ, на примѣръ,—можетъ отнять его у васъ: ну, что-то тутъ скажетъ ваша теорія внутренней полноты?

— «Она самоотверженно склонитъ главу и воспоминаніемъ, самою грустью замѣнитъ былое».

— Хорошо, что у ней гибкая шея. А если-бъ у нея была непреклонная выя Байрона, если-бъ самоотверженіе для нея было столько же невозможно, какъ для рыбы дышать воздухомъ?.. Ко-

вечно, и спорить нечего: воздухъ славная среда для дыханія, жиденькая, прозрачная, — а рыба умираетъ въ ней. Я вижу, вы большой идеалистъ. Это дѣлаетъ вамъ честь, идеализмъ доступенъ только высшимъ натурамъ; идеализмъ одна изъ самыхъ поэтическихъ ступеней въ развитіи человѣка и совершенно по плечу юношескому возрасту, который все пытается словами, а не дѣломъ. Жизнь послѣ покажетъ, что всѣ громкія слова только прикрываютъ кисейнымъ покровомъ пропасти, и что ни глубина, ни ширина ихъ не уменьшается отъ того ни на волосъ. Увидите сами.

— «Увѣряю васъ, что я не позволю какому-нибудь отдѣльному, случайному факту, несчастію потрясти моихъ убѣжденій».

— Богъ знаетъ, судя по живости вашей, я не думаю, чтобъ вы могли пасть въ незавидное положеніе нѣмецкихъ ученыхъ, которые, выдумавъ теорію, всю жизнь ее отстаиваютъ, хотя бы каждый день опровергали ее. Конечно, это такъ невинно и безвредно, что жаль ихъ бранить, но тѣмъ не менѣе чрезвычайно смѣшно. Они мнѣ напоминаютъ старика англичанина, съ которымъ я познакомился въ началѣ нынѣшняго вѣка. Благородный лордъ доказывалъ ясно, какъ $2 \times 2 = 4$, что Наполеона не должно признавать императоромъ и называть его «генераломъ Бонапарте». Это навлекло на него разныя гоненія, и онъ долженъ былъ безпрерывно оставлять городъ за городомъ; наконецъ, поселился въ Вѣнѣ,—тутъ ему было раздолье опровергать права Наполеона. На бѣду, генералъ Бонапарте сталъ близокъ австрійскому императору, лордъ покинулъ Австрію, увѣряя, что ежели весь міръ признаетъ Бонапарте императоромъ, то онъ одинъ станетъ противъ всего міра и скорѣй положитъ свою сѣдую голову на плаху, нежели назоветъ его государемъ. Почтенный человѣкъ! Я всегда съ любовью протягивалъ ему руку; душа отдыхала, находя въ ту эпоху флюгерства человѣка съ такимъ мощнымъ убѣжденіемъ,— а бывало, слушая его, внутренне смѣешься, переносясь въ Парижъ, гдѣ короли ждуть большаго выхода и склоняются передъ Наполеономъ.

— «Всякая крайность имѣетъ свою смѣшную сторону. Но я никогда не думалъ, чтобъ толпа, погруженная въ ежедневность и направляемая ею, не знающая, что она завтра будетъ дѣлать, и которой вся жизнь опредѣляется внѣшнимъ стеченіемъ обстоятельствъ, была ближе къ назначенію человѣка, нежели гордый духъ, отвергающій всякое внѣшнее вліяніе и непокоряющійся ничему имъ непризанному».

— То и другое, кажется, дурно. Толпа виновата тѣмъ, что она не понимаетъ, почему она такъ живетъ; а гордый духъ, говоря вашими словами, виноватъ вдвое тѣмъ, что, умѣя понимать, не

признаеть очевидной власти обстоятельствъ и тратить силу свою на отстаиваніе мѣста, то-есть на чисто отрицательное дѣло. Не лучше ли, куда бы и какъ бы судьба ни забросила, стараться дѣлать maximum пользы, пользоваться всѣмъ настоящимъ, окружающимъ,—словомъ, дѣйствовать въ той сферѣ, въ которую попалъ, какъ бы ни попалъ.

— «Извините, я не могу удержаться отъ вопроса, какъ вы, напримѣръ, попали на мысль сдѣлаться малиновскимъ помѣщикомъ? Этотъ вопросъ идетъ прямо къ вашимъ словамъ».

— Моя жизнь нейдетъ въ примѣръ. Для того, чтобъ быть брошену такъ безцѣльно, такъ нелѣпо въ мірѣ, какъ я, надобенъ цѣлый рядъ исключительныхъ обстоятельствъ. Я никогда не зналъ ни семейной жизни, ни родины, ни обязанностей, которыя врастаютъ въ сердце съ колыбели. Но замѣтите, я нисколько не былъ виноватъ, я не навлекъ на себя этого отчужденія отъ всего человѣческаго: обстоятельства устроили такъ. Когда-нибудь я расскажу больше; теперь только скажу о прїѣздѣ сюда. Въ 1815 году жилъ я въ Карлсбадѣ, это время мнѣ очень памятно, я никогда не страдалъ такъ, какъ тогда. Побѣдители Франціи возвращались гордые и ликующіе. Политическія партіи кипѣли: одни хвалились своими ранами, другіе своими проектами; все было занято: побѣжденные слезами, униженные воспоминаніями, но все же заняты. Я одинъ былъ посторонній во всемъ, какимъ-то дальнимъ родственникомъ человѣчества... Это давило меня, я былъ еще помоложе. Всѣ больные разѣхались; я оставался въ Карлсбадѣ, потому что не могъ придумать куда ѣхать и зачѣмъ. Жилъ цѣлую зиму, пришла весна, явились новые больные, и я вмѣстѣ съ ними принялся пить Шпрудель. Я велъ большую игру и, вѣрѣте или нѣтъ, съ радостью видѣлъ, какъ мое богатство утекало широкою рѣкой, предвидя, что, наконецъ, нужда рѣшитъ вопросъ о томъ, что мнѣ дѣлать. Разъ, въ казино, мечу я банкъ; русскій князь, бросавшій деньги горстями и дѣлавшій удивительныя глупости, о которыхъ, я полагаю, до сихъ поръ говорятъ въ Карлсбадѣ, подошелъ къ столу.—«Сколько въ банкѣ?» спросилъ онъ.—Тысяча червонцевъ.—«Не стоитъ и руки марать», замѣтилъ князь съ презрительной улыбкой. Это взбѣсило меня.—Князь! закричалъ я ему вслѣдъ:—я отвѣчаю за банкъ, сколько бы вы ни выиграли; вотъ небольшая гарантія,—и бросилъ на столъ вексель въ огромную сумму.—«Теперь посмотримъ», сказалъ князь, вынулъ карту и поставилъ на нее тысячу червонцевъ. Нѣсколько игроковъ и больныхъ, стоявшихъ возлѣ, взглянули на него, какъ на великаго человѣка. Этого то онъ и хотѣлъ, и за это заплатилъ тысячу червонцевъ, потому что карта была убита. Игра завязалась, и довольно сказать, что въ пять часовъ

утра князь дрожащимъ мѣломъ сосчиталъ 630.000 франковъ, два раза провѣрилъ и съ пятнами на лицѣ признался, что у него такой суммы теперь нѣтъ. На другой день онъ мнѣ прислалъ билетъ въ 130.000 франковъ и предложеніе заложить свое имѣніе въ Малиновской губерніи. Новая мысль блеснула у меня въ головѣ, я просилъ за долгъ уступить имѣніе, онъ обрадовался,—и я сдѣлался властителемъ и обладателемъ 550 душъ въ Малиновской губерніи. Въ 1818 году, я пріѣхалъ съ княземъ въ Россію и, по окончаніи нужныхъ формъ, явился сюда. Десять лѣтъ я работалъ денно и ночью. Представьте, не зная ни слова по-русски, будучи незнакомъ съ нравами, видя, что мои нововведенія принимаются съ ропотомъ и неудовольствіемъ,—я, разомъ ученикъ и распорядитель, впадалъ въ грубѣйшія погрѣшности, судилъ о русскомъ мужикѣ à la Robert Owen, и въ то же самое время усердно занимался химіей и заводскими дѣлами. Это счастливейшіе годы моей жизни! Въ 1829 г. поѣхалъ я посмотреть Петербургъ, пробылъ тамъ зиму, соскучился и воротился сюда. Это была для меня минута, полная наслажденія. Тутъ только увидѣлъ я разомъ плоды десятилѣтнихъ трудовъ. Поля моихъ крестьянъ отличались отъ сосѣднихъ, какъ небо отъ земли; ихъ одежда... ну, словомъ, ихъ благосостояніе тронуло меня до слезъ. Съ тѣхъ поръ продолжаю я еще ревностнѣе устраивать мое имѣніе, хочу осушить болота, увеличить заводъ, и меня тѣшитъ явное улучшение того клочка земли, который судьба мнѣ дала. Я работаю, а между тѣмъ жизнь идетъ, да идетъ. Et, c'est autant de pris sur le diable!

— Прошу въ столовую, прибавилъ онъ, вставая и принимая опять свой холодный видъ, котораго онъ было лишился, рассказывая свою агрономическую поэму.

Я остался въ раздумьи отъ этой встрѣчи. Въ умномъ хозяинѣ моемъ не было ничего мѣфистофельскаго, ни балзаковскихъ усеих fascinateurs, ни лихорадочнаго взира героявъ Сю, ни... ни всѣхъ необходимыхъ діагностическихъ и прогностическихъ признаковъ разочарованныхъ, мизантроповъ, бѣснующихся девятнадцатаго вѣка. Совсѣмъ напротивъ, въ немъ было много добраго, а между тѣмъ, его слова производили какое-то тяжкое, грустное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что въ нихъ была доля истины и что онъ жизнію дошелъ до своихъ результатовъ.

Послѣ обѣда люди дѣлаются вообще гораздо добрѣе. Это одно изъ тѣхъ убійственныхъ замѣчаній, которыя глубоко оскорбляютъ душу мечтательную, а между тѣмъ оно до того справедливо, что Гомеръ въ «Иліадѣ» и «Одиссеѣ» и Шекспиръ, не помню гдѣ, говорятъ объ этомъ. Итакъ, мы сдѣлались добрѣе и сѣли на турецкій диванъ, въ маленькой угольной комнатѣ, потому что солнце свѣтило теперь прямо на террасу. На стѣнѣ висѣло нѣсколько

эстамповъ, я всталъ, чтобъ посмотрѣть ихъ, и остановился передъ гравюрой съ Раухова бюста Гёте. Господи, какъ въ преклонныя лѣта сохранилась такая мощная и величественная красота! Эта голова могла бы послужить типомъ для греческаго ваятеля. Это чело, возвышенное и мощное по самой формѣ, эти спокойныя очи, эти брови... Самое слабое старческое тѣло придавало глубокой смыслъ его лицу, смыслъ, понятый тѣмъ изъ его современниковъ, который по многому могъ стать возлѣ него. «Какъ одежда восточнаго жителя едва держится на его станѣ и готова упасть съ плечъ, такъ и тутъ вы видите, что тѣло готово отпасть, а духъ воспрянуть во всей славѣ и красотѣ своей безтѣлесности» ¹⁾. Я долго стоялъ передъ изображеніемъ поэта и спросилъ у Трензинскаго:

— «Видали-ли вы Гёте и похожъ ли этотъ бюстъ?»

— Два раза, отвѣчалъ онъ.—Да, онъ въ инныя минуты былъ похожъ на свой бюстъ. Раухъ точно гениально умѣлъ схватить высшее выраженіе его лица.

— «Расскажите, пожалуйста, гдѣ и какъ вы его видѣли. Я страстно люблю рассказы очевидцевъ о великихъ людяхъ».

— Я не думаю, чтобъ вамъ понравился мой рассказъ; вы мечтатель, вамъ вѣроятнo Гёте все представляется молніеноснымъ Зевсомъ, глаголющимъ міровыя истины и великія слова. Я, напротивъ, никогда не умѣлъ уничтожаться въ поклоненіи и адуляціи знаменитыхъ индивидуальностей, и смотрѣлъ на нихъ безъ заготовленныхъ теорій, и большею частію видѣлъ, что онѣ—*sont ce que nous sommes*, имѣютъ лицевую сторону и изнанку. Вы, поэты, именно изнанки-то и не хотите знать, а безъ нея индивидуальность не полна, не жива. Вотъ вамъ моя встрѣча послѣ предисловія, за которое прошу не сердиться.

— Я былъ мальчикомъ лѣтъ 16, когда видѣлъ его въ первый разъ. Въ началѣ революціи отецъ мой былъ въ Парижѣ и я съ нимъ. *Régime de terreur* какъ-то проглядывалъ сквозь сладко-глаголивую жиронду. Люди совершенно безумные, съ растрепанными волосами и въ сальныхъ кафтанахъ, показывались въ парижскихъ салонахъ и проповѣдывали громко уничтоженіе всѣхъ прежнихъ общественныхъ связей. Иностранцамъ было опасно ѣхать и еще опаснѣе оставаться. Отецъ мой рѣшился на первое, и мы тайкомъ выбрались изъ Парижа. Много было хлопотъ, пока мы добѣжали до Эльзаса. Если-бъ я былъ настоящій пруссакъ, я издалъ бы непременно толстую книгу на оберточной бумагѣ подъ заглавіемъ «*Ausserordentliche Reise-Abenteuer eines Flüchtling aus der Hauptstadt der Franzosen zur Zeit der grossen Umwälzung—Anno 1792 nach der Erlösung etc.*». Въ самомъ

¹⁾ Гегель въ «Эстетикѣ».

дѣлѣ, мы нѣсколько разъ подвергались опасности быть принятыми за переметчиковъ. Наконецъ, кривой мальчишка, провожавшій насъ черезъ лѣсъ, указалъ вдаль огни и, сказавъ: *Vla vos chiens de Brunswick*, взявъ обѣщанный червонецъ и скрылся въ лѣсу, крича во все горло «*çà ira!*» Насъ остановили на цѣпи, и, пока фельдфебель ходилъ съ паспортомъ, не знаю куда, я съ удивленіемъ смотрѣлъ на солдатъ. Караулъ былъ занятъ австрійцами; я такъ привыкъ къ живымъ одушевленнымъ фізіономіямъ французовъ, что меня поразила холодная нѣмота этихъ лицъ, съ свѣтлыми усами и въ бѣлыхъ мундирахъ. Неподвижно, угрюмо стояли они, точно загрязнившіяся статуи командора изъ «Донъ-Жуана». Насъ повели къ генералу, и послѣ разныхъ допросовъ и разспросовъ позволили ѣхать далѣе, но возможности никакой не было достать лошадей: всѣ были взяты подъ армію, для которой тогда наступило самое критическое время. Армія гибла отъ голода и грязи. На другой день пригласилъ насъ одинъ владѣтельный князь на вечеръ. Въ маленькой залѣ, принадлежавшей сельскому священнику, мы застали нѣсколько полковниковъ, какъ всѣ нѣмецкіе полковники, съ сѣдыми усами, съ видомъ честности и неслишкомъ большой дальновидности. Они грустно курили свои сигары. Два, три адъютанта весело говорили по-французски, коверкая германизмомъ каждое слово; казалось, они еще не сомнѣвались, что имъ придется попировать въ *Palais Royal* и тамъ оставить свой здоровый цвѣтъ лица, завѣтный локонь, подаренный при разлукѣ, и нѣмецкую способность краснѣть отъ двусмысленнаго слова. Вообще было скучно. Довольно поздно явился еще гость во фракѣ, мужчина хорошаго роста, довольно плотный, съ гордымъ, важнымъ видомъ. Всѣ привѣтствовали его съ величайшимъ почтеніемъ; но его взоръ не былъ привѣтливъ, не вызывалъ дружбы, а благосклонно принималъ привычную дань васальства. Каждый могъ чувствовать, что онъ не товарищъ ему. Князь предложилъ кресло возлѣ себя; онъ сѣлъ, сохраняя ту особенную *Steifheit*, которая въ крови у нѣмецкихъ аристократовъ. «Нынче утромъ», сказалъ онъ послѣ обыкновенныхъ привѣтствій: «я имѣлъ необыкновенную встрѣчу. Я ѣхалъ въ каретѣ герцога, какъ всегда, вдругъ подѣзжаетъ верхомъ какой-то военный, закутанный шинелью отъ дождя. Увидѣвъ веймарскій гербъ и герцогскую ливрею, онъ подѣхалъ къ каретѣ и—представьте взаимное наше удивленіе—когда я узналъ въ военномъ его величество короля, а его величество нашелъ вмѣсто герцога—меня. Этотъ случай останется у меня долго въ памяти».

Разговоръ обратился отъ разсказа чрезвычайной встрѣчи къ королю и естественно перешли къ тѣмъ вопросамъ, которые тогда занимали всѣхъ бывшихъ въ залѣ, т. е. къ войнѣ и политикѣ.

Князь подвелъ моего отца къ дипломату и сказалъ, что отъ моего отца онъ можетъ узнать самыя новыя новости.

«Что дѣлаетъ генераль Лафайетъ и всѣ эти антропофаги?» спросилъ дипломатъ.

— Лафайетъ, отвѣчалъ мой отецъ, неустрашимо защищаетъ короля и въ открытой борьбѣ съ якобинцами.—Дипломатъ покачалъ головою и выразительно замѣтилъ:

«Это одна маска. Лафайетъ, я почти увѣренъ, за одно съ якобинцами».

— Помилуйте! возразилъ мой отецъ:—да съ самаго начала у нихъ непримиримая вражда.—Дипломатъ иронически улыбнулся и, помолчавъ, сказалъ:

«Я собирался ѣхать въ Парижъ года два тому назадъ, но я хотѣлъ видѣть Парижъ Людовика Великаго и великаго Аруэта, а не орду гунновъ, неистовствующихъ на обломкахъ его славы. Можно ли было ожидать, чтобъ буйная шайка демагоговъ имѣла такой успѣхъ? О, если-бъ Неккеръ въ свое время принялъ иныя мѣры, если-бъ Людовикъ XVI послушался не ангельскаго сердца своего, а преданныхъ ему людей, которыхъ предки столѣтїя процвѣтали подъ лиліями, намъ не нужно бы было теперь подниматься въ крестовый походъ! Но нашъ Готфредъ скоро образумитъ ихъ, въ этомъ я не сомнѣваюсь, да и сами французы ему помогутъ; Франція не заключена въ Парижъ».

Князь былъ ужасно доволенъ его словами.

Но кто не знаетъ откровенности германскихъ воиновъ, да и воиновъ вообще? Ихъ разрубленные лица, ихъ прострѣленные груди даютъ имъ право говорить то, о чемъ мы имѣемъ право молчать. По несчастію, за княземъ стоялъ, опершись на саблю, одинъ изъ сѣдыхъ полковниковъ, въ наружности было видно, что онъ жизнь провелъ съ 10 лѣтъ на бивакахъ и въ лагеряхъ, что онъ хорошо помнитъ стараго Фрица; черты его выражали гордое мужество и безусловную честность. Онъ внимательно слушалъ слова дипломата и, наконецъ, сказалъ:

— Да неужели вы не шутя вѣрите до сихъ поръ, что французы насъ примутъ съ распростертыми объятїями, когда всякій день показываетъ намъ, какой свирѣпо-народный характеръ принимаетъ эта война, когда поселяне жгутъ свой хлѣбъ и свои дома для того, чтобъ затруднить насъ? Признаюсь, я не думаю, чтобъ намъ скоро пришлось обращать Парижъ на путь истинный, особенно, ежели будемъ стоять на одномъ мѣстѣ.

«Полковникъ не въ духѣ, возразилъ дипломатъ и взглянулъ на него такъ, что мнѣ показалось, что онъ придавилъ его ногой.—Но я полагаю, вы знаете лучше меня, что осенью, въ грязь, невозможно идти впередъ. Въ полководцѣ не благородная

запальчивость, а благоразуміе дорого; вспомните Фабія Кунктатора».

Полковникъ не струсилъ ни отъ взора, ни отъ словъ дипломата:

— Разумѣется, теперь нельзя идти впередъ, да и назадъ трудно. Впрочемъ, вѣдь осень въ нынѣшнемъ году не первый разъ во Франціи, грязь можно было предвидѣть. Я молю Бога, чтобъ дали генеральное сраженіе; лучше умереть передъ своимъ полкомъ съ оружіемъ въ рукѣ, отъ пули, чѣмъ сидѣть въ этой грязи...—И онъ жаль рукою эфесъ сабли. Началось шептанье и издали слышалось: «ja, ja, der Obrist hat recht... Wäre der grosse Fritz... oh! der grosse Fritz!» Дипломатъ, улыбаясь, обернулся къ князю и сказалъ:

«Въ какой бы формѣ ни выражалась эта жажда побѣды воиновъ тевтонскихъ, нельзя ее видѣть безъ умиленія. Конечно, наше настоящее положеніе не изъ самыхъ блестящихъ, но вспомнимъ, чѣмъ утѣшался Жуанвиль, когда былъ въ плѣну съ Святымъ-Лудовикомъ: Nous en parlerons devant les dames».

— Покорно благодарю за совѣты! возразилъ неумолимый полковникъ.—Я своей женѣ, матери, сестрѣ (если-бъ онѣ у меня были) не сказалъ бы ни слова объ этой кампаніи, изъ которой мы принесемъ грязь на ногахъ и раны на спинѣ. Да и объ этомъ, пожалуй, нашимъ дамамъ прежде насъ расскажутъ эти чернильные якобинцы, о которыхъ насъ увѣряли, что они исчезнутъ какъ дымъ при первомъ выстрѣлѣ.

Дипломатъ понялъ, что ему не совладать съ такимъ соперникомъ, и онъ, какъ Ксенофонтъ, почетно отступилъ съ слѣдующими 10,000 словами:

«Міръ политики мнѣ совершенно чуждъ, мнѣ скучно, когда я слушаю о маршахъ и эволюціяхъ, о преніяхъ и мѣрахъ государственныхъ. Я не могъ никогда безъ скуки читать газетъ; все это что-то такое преходящее, временное, да и вовсе чуждое по самой сущности намъ. Есть другія области, въ которыхъ я себя понимаю царемъ. Зачѣмъ же я пойду безъ призыва, дюжиннымъ резонёромъ, вмѣшиваться въ дѣла, возложенныя провидѣніемъ на избранныхъ имъ нести тяжкое бремя управленія? И что мнѣ за дѣло до того, что дѣлается въ этой сферѣ!»

Слово «дюжинный резонёръ» понало въ цѣль: полковникъ сжалъ сигару такъ, что дымъ у нея пошелъ изъ двадцати мѣстъ, и впрочемъ довольно спокойно, но съ огненными глазами сказалъ:

— Вотъ я, простой человекъ, нигдѣ себя не чувствую ни царемъ, ни гениемъ, а вездѣ остаюсь *человѣчкомъ*, и помню, какъ еще будучи мальчикомъ, затвердилъ пословицу: Homo sum et

nihil humani a me alienum puto. Двѣ пули, пролетѣвшія сквозь мое тѣло, подтвердили мое право вмѣшиваться въ тѣ дѣла, за которыя я плачу своею кровью.

Дипломатъ сдѣлалъ видъ, что онъ не слышитъ словъ полковника; къ тому же тотъ сказалъ это, обращаясь къ своимъ сосѣдямъ.

«И здѣсь, продолжалъ дипломатъ, среди военного стана, я такъ же далекъ отъ политики, какъ въ веймарскомъ кабинетѣ».

— А чѣмъ вы теперь занимаетесь? спросилъ князь, едва скрывая радость, что разговоръ перемѣнился.

«Теоріею цвѣтовъ; я имѣлъ счастье третьяго дня читать отрывки свѣтлѣйшему дядюшкѣ вашей свѣтлости».

Стало, это не дипломатъ. «Кто это»? спросилъ я эмигранта, который сидѣлъ возлѣ меня и, не смотря на бивачную жизнь, нашелъ средство претщательно нарядиться, хотя и въ короткое платье. «Ah, bah; c'est un célèbre poëte allemand M-r Koethe, qui a écrit, qui a écrit... ah, bah;.. la Messiad!»

Такъ это-то авторъ романа, сводившаго меня съ ума: «Wethers Leiden», подумалъ я, улыбаясь филологическимъ знаніямъ эмигранта. Вотъ моя первая встрѣча.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Мрачный терроръ скрылся за блескомъ побѣдъ. Дюмурье, Гошъ и наконецъ Бонапартъ поразили міръ удивленіемъ. То было время первой италіанской кампаніи, этой юношеской поэмы Наполеона. Я былъ въ Веймарѣ и пошелъ въ театръ. Давали какую-то политическую фарсу Гётева сочиненія. Публика не смѣялась, да и по правдѣ насмѣшка была натянута и плосковата. Гёте сидѣлъ въ ложѣ съ герцогомъ. Я издали смотрѣлъ на него и отъ всей души жалѣлъ его; онъ понималъ очень хорошо равнодушіе, кашель, разговоры въ партерѣ, и испытывалъ участь журналиста, попавшаго не въ тонъ. Между прочимъ, въ партерѣ былъ тотъ же полковникъ; я подошелъ къ нему: онъ узналъ меня. Лицо его исхудало, какъ-будто лѣтъ десять мы не видались, рука была на перевязкѣ.

— Что же Гёте тогда толковалъ, что политика ниже его, а теперь пустился въ памфлеты? Я *дожизненный резонёръ* и не понимаю тѣхъ людей, которые хохочутъ тамъ, гдѣ народы обливаются кровью, и, открывши глаза, не видятъ, что совершается передъ ними. А, можетъ быть, это право генія...

Я молча пожалъ его руку и мы разстались. При выходѣ изъ театра, какіе-то три, вѣроятно, пьяные бурша съ растрепанными волосами въ честь Арминія и тацитова сказанія о германцахъ, съ портретомъ Фихте на трубкахъ, принялись свистать, когда Гёте сажился въ карету. Буршей повели въ полицію, я пошелъ домой и съ тѣхъ поръ не видалъ Гёте.

— «Что вы хотите всѣмъ этимъ сказать?» спросилъ я.

— Я хотѣлъ исполнить ваше желаніе и рассказать мою встрѣчу; тутъ нѣтъ внѣшней цѣли, это фактъ. Я видѣлъ Гёте такъ, а не иначе; другіе видѣли его иначе, а не такъ,—это дѣло случая.

«Но вы какъ-то умѣли сократить колоссальную фигуру Гёте, даже умѣли покорить его какому-то полковнику».

— Что нибудь одно: или вы думаете, что я лгу, — въ такомъ случаѣ у меня нѣтъ документовъ, чтобъ убѣдить васъ въ противномъ, или вы вѣрите мнѣ,—и тогда вините себя, ежели Гёте живой не похожъ на того, котораго вы создали... Всѣ мечтатели увлекаются безусловно авторитетами, строятъ себѣ въ головѣ фантастическихъ великихъ людей, одностороннихъ и, слѣдовательно, невѣрныхъ оригиналамъ. Лафатеръ, читая Гёте, составилъ идею его лица по своей теоріи; черезъ нѣсколько времени они увидѣлись, и Лафатеръ чуть не заплакалъ: Гёте живой нисколько не былъ похожъ на Гёте a priori. Я вамъ предсказывалъ, что вы будете недовольны моимъ рассказомъ. Въ томъ-то и дѣло, что все живое такъ хитро спаяно изъ многого множества элементовъ, что оно почти всегда стороною или двумя ускользаетъ отъ самыхъ многообъемлющихъ теорій. Отсюда рядъ ошибокъ. Когда мы говоримъ о римлянахъ, у насъ все мелькаетъ передъ глазами театральная поза, цивическія добродѣтели, форумъ. Будто жизнь римлянъ не имѣла еще множества другихъ сторонъ! Такъ поступаютъ и съ историческими людьми. Для идеалистовъ задача: какъ Рембрандтъ могъ быть скупцомъ и великимъ художникомъ, какъ Тиверій могъ быть жестокимъ и между тѣмъ глубокомысленнымъ, пронизательнымъ монархомъ. Живая индивидуальность—вотъ порогъ, за который цѣпляется ваша философія, и Шекспиръ, безсомнѣнно, лучше всѣхъ философовъ, отъ Анаксагора до Гегеля, понималъ *своимъ путемъ* это необъятное море противорѣчій, бореній, добродѣтелей, пороковъ, увлеченій, прекраснаго и гнуснаго,—море, заключенное въ маленькомъ пространствѣ отъ діафрагмы до черепа и спаянное неразрывно въ живой индивидуальности... Но довольно философствовали, пойдемте гулять; погода прекрасная, жаль въ комнатѣ сидѣть.

— «Въ томъ то вся великая задача, сказалъ я, вставая,—чтобъ умѣть примирить эти противорѣчія и боренія и соткать изъ нихъ одну гармоническую ткань жизни и эту-то задачу разрѣшить намъ Германія, потому что она ее громко выговорила, и одной ею и занимается».

— Дай, Богъ, успѣха! Но я боюсь, чтобъ не повторилась исторія отыскиванія всеобщаго лекарства отъ болѣзней, которое занимало Парацельса и умнѣйшія головы того вѣка. Спору нѣтъ, всякое примиреніе хорошо, и мы всѣ чѣмъ-нибудь примиряемся

съ жизнию: безъ этого пришлось бы застрѣлиться. Философы примиряются съ несчастіями, слѣпо и грубо поражающими ежедневно индивидуальность мыслью о ничтожности индивидуума. Мистикъ примиряется съ этими же несчастіями, полагая, что ими искупаются паденіе Люцифера, и что за это будетъ награда.. по крайней мѣрѣ, это мнѣніе не такъ ледяно-холодно. А потомъ и человѣкъ чѣмъ-нибудь да примиряется съ жизнию: одинъ — тѣмъ, что онъ не вѣритъ ни въ какое примиреніе, и это выходитъ; другою, какъ вы, напримѣръ, вѣря, что вы убѣждены разумомъ въ томъ, во что вы вѣрите; я — тѣмъ, что будто бы дѣлаю существенную пользу, коная землю. Повѣрьте, всѣ мы дѣти и, какъ дѣти вообще, играемъ въ игрушки и принимаемъ куклы за дѣйствительность. Мнѣ теперь пришелъ на память лордъ Гамильтонъ, ѣздившій по Европѣ и Азіи отыскивать идеаль женской красоты между статуями и картинами. Знаете, чѣмъ онъ кончилъ?

— «Нѣтъ».

— Тѣмъ, что женился на доброй, бѣлокуренькой ирландкѣ и кричалъ: «нашелъ! нашелъ!» Ха, ха, ха!.. Ей Богу, дѣти! — Но время идетъ. Пойдемте.

Мы пошли.

Примѣчаніе нашего тетрадь. — Считаю себя обязаннымъ, предупреждая недоразумѣніе, сказать нѣсколько словъ о разсказѣ Трензинскаго относительно Гёте. Больно было-бы мнѣ думать, что разсказъ этотъ сочтутъ мелкимъ камнемъ, брошеннымъ въ великаго поэта, передъ которымъ я благоговѣю. Въ Трензинскомъ преобладаетъ скептицизмъ d'une existence maigre, это равно ни скептицизмъ древнихъ, ни скептицизмъ Юма, а скептицизмъ жизни, убитой обстоятельствами, безпредѣльно грустный взглядъ на вещи человѣка, котораго грудь покрыта ранами незаслуженными, человѣка, оскорбленнаго въ благороднѣйшихъ чувствахъ, и между тѣмъ человѣка полнаго силы (eine kernhafte Natur). Я разскажу со временемъ всю жизнь его, и тогда можно будетъ увидѣть, какъ онъ дошелъ до своего воззрѣнія. Трензинскій—человѣкъ по преимуществу практическій, всего менѣе художникъ. Онъ могъ смотрѣть на Гёте съ такой бѣдной точки, да и долженъ ли былъ вселить Гёте уваженіе къ себѣ, подавить авторитетомъ человѣка, который рядомъ бѣдствій дошелъ до неуваженія лучшихъ упованій своей жизни? Съ другой стороны, люди практической сферы рѣдко умѣютъ свой острый умъ прилагать къ сужденію о художникахъ и о ихъ произведеніяхъ. Фридрихъ II, прочитавъ «Гёте фон-Берлихингена», сказалъ: «Encore une mauvaise tragédie dans le genre anglais!»—Гёте простилъ ему это сужденіе отъ всей души.

Сверхъ того, не увлекаясь авторитетами, мы должны будемъ сознаться, что жизнь германскихъ поэтовъ и мыслителей чрезвы-

чайно одностороння, я не знаю ни одной германской біографіи, которая не была бы пропитана *филистерствомъ*. Въ нихъ, при всей космополитической всеобщности, не достааетъ цѣлаго элемента человѣчности, именно практической жизни, и хоть они очень много пишутъ, особенно теперь, о конкретной жизни, но уже самое то, что они пишутъ о ней, а не живутъ ею, доказываетъ ихъ абстрактность. Просимъ вспомнить для того, чтобъ разомъ увидѣть все необъятное разстояніе между ими и людьми жизни, біографію Байрона... Трензинскій, конечно, не могъ симпатизировать съ германцами и, какъ человѣкъ, въ которомъ нѣкогда была развита именно та сторона жизни, которая вовсе не развита у нѣмцевъ, не могъ съ нею и примириться за другія стороны.

Лициній и Вильямъ Пень.

SCENARIO

ДВУХЪ ДРАМАТИЧЕСКИХЪ ОПЫТОВЪ.

I.

Лициній ¹⁾.

Первая сцена.—Римъ во времена Нерона. Празднество новаго года у Пизона, пышная оргія à l'antique; у Пизона собрались сановитые патриціи, художники, поэты, поклонники старины, представители славнаго прошедшаго, недовольные, *легитимисты* римской республики. Они увѣрены, что императорство не устоитъ и въ тиши работаютъ, чтобъ низвергнуть тирана. У нихъ есть заговоръ, въ немъ участвуютъ избранные изъ избранныхъ, самъ Пизонъ, поэтъ Луканъ, строгій, стойческій римлянинъ древнихъ дней Тразей и восторженная куртизана Эпихарисъ, которая не уступитъ ему въ энергіи и героизмѣ.

Циръ идетъ своимъ порядкомъ: тосты, желанія, политическіе намеки, цвѣты, вино, яства. Въ общемъ разгулѣ не участвуетъ одинъ молодой человекъ, больной, нѣсколько юродивый, племянникъ Пизона, Лициній. Онъ недавно возвратился изъ Лѳингъ; родные замѣтили, что онъ съ тѣхъ поръ сталъ заговариваться. Вызванный изъ своихъ мечтаній, Лициній на веселый тостъ отвѣчаетъ печальной рѣчью. Онъ не вѣритъ въ воскресеніе древняго

¹⁾ Вслѣдъ за «Записками молодаго человека», помѣщая я Scenario моихъ несчастныхъ драматическихъ опытовъ, безжалостно убитыхъ Бѣлинскимъ (XVI глава I части «Былого и Думы»), который просилъ меня переписать стихи въ строкъ, чтобы нельзя было замѣтить, что они писаны рубленой прозой, на манеръ стиховъ. Сцены эти относятся къ 1838 г.

Рима и, еще хуже, онъ и не желаетъ его. На Римѣ лежитъ грѣхъ, грѣхъ Ромула; какъ бы, вызывая прошедшее изъ могилы, не вызвать Рема—голоднаго, одичалаго въ подземной жизни своей! Его ждутъ не граждане Рима, не патриціи, его ждутъ безправные покрытые рубищемъ, чернь спартаковская.

Гости привыкли къ бреду Лицинія, но тѣмъ не меньше на разсвѣтѣ, послѣ оргіи, слова его дѣйствуютъ на нервы. Пиръ разстроивается.

Вторая сцена.—Въ саду Пизоновской виллы. Лициній очень боленъ, его мучитъ тоска, онъ велѣтъ себя положить подъ деревомъ. Возлѣ него другъ его первой молодости, юноша, блестящій умомъ и красотой, пылающій здоровьемъ, Мевій. Мысль Лицинія занята смертью; какъ настоящій римлянинъ, онъ философствуетъ, чувствуя ея приближеніе. Печаленъ его взглядъ. Онъ видитъ ясно, какъ всѣ его близкіе несутся въ неминуемую гибель, онъ знаетъ о ихъ заговорѣ, онъ не вѣритъ въ его успѣхъ, и вообще не вѣритъ, чтобъ Римъ можно было воскресить; его часъ насталъ, и спасти его нельзя и не нужно.

Мевій съ нимъ согласенъ; онъ ясно понимаетъ, что тѣхъ нравственныхъ силъ, которыя поддерживали древнюю республику, нѣтъ больше. Онъ тоже не видитъ выхода въ смыслѣ реставраціи, но онъ находитъ безумнымъ страдать о вещахъ, которыхъ нельзя перемѣнить; не остается ли человѣку еще другая жизнь, чисто личная, принадлежащая ему? Развѣ у него можно взять способность наслаждаться? Пусть же человѣкъ пользуется всѣми дарами жизни, пользуется тѣмъ мгновеніемъ, которое ему уступлено судьбой и которое дается только разъ. Мевій увѣряетъ Лицинія, что вообще въ природѣ нѣтъ ни того счастья, ни того несчастья, о которомъ мечтаютъ люди и котораго боятся; жизнь почти всегда одинакая, и перемѣны поражаютъ только со стороны. «Сегодня цвѣтетъ одно дерево, а завтра другое». Теперь, гдѣ-нибудь въ полуразрушенныхъ Фивахъ, нѣтъ прежней исторической жизни, а змѣямъ и ящерицамъ жить веселѣе и птицамъ привольнѣе вить себѣ гнѣзда.

Лициній не слушаетъ его; онъ вспоминаетъ о встрѣчѣ съ какимъ-то пророкомъ или волхвомъ, котораго вѣра была такъ полна покоя, надежды,—если-бъ онъ могъ вѣрить, онъ былъ бы счастливъ, но вѣры нѣтъ въ его сердцѣ. Онъ забывается, или впадаетъ въ забытѣе. Старикъ, плѣшивый аѳинскій старикъ, волхвъ передъ нимъ, онъ зоветъ его... Дыханіе слабѣетъ и юноша умираетъ.

Третья сцена, на форумѣ.—Державный народъ у себя дома, въ своей пріемной залѣ. Импровизаторъ поетъ наивычурнѣйшими стихами оду о доблестяхъ божественнаго, августѣйшаго Нерона,

отца отечества. Лазутчики подсматриваютъ, восхищаются ли люди, хорошо одѣтые. За плебеями никто не смотритъ, они и бранятъ Цезаря, но они его любятъ; бранятъ они его за то, что онъ сталъ скупъ на гладиаторовъ; агенты успокаиваютъ народъ, говорятъ, что скоро будутъ травить въ циркѣ дикими звѣрями какихъ-то назареевъ, что они ужъ привезены и содержатся въ клѣткахъ, т. е. тигры и львы, а назареевъ скоро пригоятъ. Это успокаиваетъ умы.

Патриціи потомъ толкуютъ о тяжелыхъ временахъ. Новая несправедливость Нерона сильно оскорбила ихъ: какой-то сенаторъ былъ убитъ рабомъ, наслѣдники хотѣли въ наказанье убить всѣхъ рабовъ до одинаго; Неронъ сказалъ, что это глупо, и запретилъ. Послѣ этого гдѣ же неприкосновенная свитость собственности?

Приходить какой-то рабъ и рассказываетъ, что недалеко отъ города, на Аппіевой дорогѣ, онъ видѣлъ какого-то колдуна съ востока, что ему на встрѣчу шли изъ Рима люди въ бѣлой одеждѣ съ зелеными вѣтвями, что за колдуномъ идетъ толпа нищихъ, женщинъ, онѣ рассказываютъ, что онъ лечитъ прикосновеніемъ руки, что ночью около его головы видно сіяніе... «Въ циркъ его, въ циркъ!» кричатъ со всѣхъ сторонъ. «Но сначала пойдѣте его смотрѣть!»

Четвертая сцена. — Via Appia. Съ одной стороны дороги родовой колумбарій Пизона, все приготовлено для сожженія тѣла Лицинія. Похоронная процессія, отецъ Лицинія идетъ печально за тѣломъ; его утѣшаетъ Сенека, приводя въ примѣръ всѣхъ знаменитыхъ отцовъ, потерявшихъ дѣтей, рассказывая мнѣнія египтянъ о смерти.

Патриціи заговорщики рады случаю пошептатъ, съ важностью сообщаютъ они другъ другу неважныя вѣсти, тайно сговариваются на пустой сходъ. Родные устали и хотятъ ѣсть.

Въ это время, съ противоположной стороны, показывается на дорогѣ поднимающійся въ гору *апостоль Павелъ* и останавливается передъ разстилающимся амѣтеатромъ вѣчнаго города. Онъ благословляетъ языческую весъ и, обращаясь къ своимъ, произноситъ рѣчь.

Отецъ Лицинія придирается къ нему и проситъ воскресить сына: «если твой Богъ великъ, отдай мнѣ сына и возьми у меня, что хочешь». Апостоль говоритъ ему, чтобъ онъ молился и вѣрилъ, потомъ снова обращаясь къ народу, пророчитъ кончину стараго міра и водвореніе новаго, смерть въ первомъ Адамѣ и жизнь во второмъ. Окончивъ проповѣдь, онъ молится колѣнопреклоненный.

Лициній открываетъ глаза, приходитъ въ себя и начинаетъ узнавать Павла.

Павель продолжаетъ рѣчь. Народъ, пораженный ужасомъ, видя оживленнаго покойника, молчитъ. Отецъ Лицинія умоляетъ Павла взять часть его достоянія. «Раздай бѣднымъ», отвѣчаетъ Павелъ, «мнѣ не нужно!» Народъ яростно рукоплещетъ. Отецъ зоветъ сына съ собой, но тотъ, кротко взявъ его руку, говоритъ ему: «Лициній твой умеръ, вотъ мой отецъ и моя родина, я иду по стопамъ его».

Народъ разстучается, привѣтствуетъ Павла. Сенска не вѣритъ въ воскрешеніе, онъ думаетъ, что Лициній былъ въ летаргическомъ снѣ. Какой-то жрецъ находитъ, что это гораздо опаснѣе, нежели думаютъ, и идетъ во имя боговъ дѣлать доносъ въ языческую консисторію.

II.

Вильямъ Пенъ.

Та же мысль, тотъ же основной мотивъ и въ Вильямѣ Пенѣ. Опять разрывъ двухъ міровъ, опять отходящее старое тѣснить возникающее юное, опять двѣ нравственности съ ненавистью глядятъ другъ на друга.

Вильямъ Пенъ историческихъ сценъ не похожъ на историческаго Пена, я плохо зналъ исторію Англіи того времени и имѣлъ самыя общія понятія о Пенѣ, населившемъ Пенсильванію. Въ моемъ очеркѣ должно искать другую правду, не историческую; въ Шиллеровомъ Донъ Карлосѣ такъ же трудно найти Донъ Карлоса испанскихъ лѣтописей, какъ въ моемъ блѣдномъ Вильямѣ Пенѣ хитраго квакера, описаннаго (съ пристрастіемъ, можетъ, въ другую сторону) — Маколеемъ. Бѣда не въ томъ, а въ томъ, что очеркъ изъ англійской протестантской жизни, кажется мнѣ больше натянутымъ, чѣмъ *Лициній*, особенно въ концѣ.

Въ небольшомъ англійскомъ городѣ, въ сырой, темной лачугѣ, сапожникъ оканчиваетъ субботнюю работу, въ углу лежитъ больной ребенокъ, его сынъ, въ лихорадкѣ; одежда, которой онъ покрытъ, коротка, въ комнатѣ холодно, топить нечѣмъ. Возлѣ сапожника, тощій, изнуренный работникъ. — «Что-жъ, деньги отъ попа получили?» — спрашиваетъ хозяинъ работника. Работникъ говоритъ, что два раза ходилъ, но что кухарка не только не допустила его, но разбранила и строго на строго запретила приходить до понедѣльника. Reverend сочиняетъ проповѣдь на завтра, и все мірскія дѣла оставилъ.

Сапожникъ крѣпился, онъ давно угрюмъ, въ его головѣ давно бродятъ странныя мысли, онъ самъ ихъ боится; но сосудъ переполнился, этой капли не доставало: больной ребенокъ долженъ дрогнуть, они оба остаются два дня безъ пищи,—потому что *gevegend* сочиняетъ проповѣдь.

«Не объ милосердіи ли?» спрашиваетъ онъ и бросаетъ свое шило, рѣчь страстная, полная упрековъ и обличеній, несется бурнымъ потокомъ, и болѣзненный работникъ, пораженный, тронутый, повергается въ прахъ передъ нимъ, увѣренный, что его устами говорить духъ святой. Сапожникъ растетъ гнѣвомъ и мыслью, завтра онъ идетъ въ церковь, онъ прерветъ рѣчь фарисея, онъ скажетъ проповѣдь, онъ—самъ священникъ.

Во *второй сценѣ*, мы уже встрѣчаемъ Чарлса Фокса, лейстерскаго чеботаря, раскольническимъ іересіархомъ, уже онъ не живетъ на мѣстѣ; «слово», ему ввѣренное, духъ божій его гонить съ мѣста на мѣсто, изъ одного мѣстечка въ другое, съ проповѣдью, съ призывомъ на новую евангельскую жизнь.

На дорогѣ, ведущей отъ большого, сумрачнаго замка, лежитъ нищая старуха, разбитая параличемъ. Проходитъ Фоксъ, выѣзжаетъ изъ воротъ замка мальчикъ верхомъ. Нищая поетъ свою пѣсню, мальчикъ съ состраданіемъ взглянулъ на нее, пошарилъ въ карманъ и бросилъ ей серебряную монету, но бросилъ такъ далеко, что безногой нищей нельзя и достать безъ большихъ усилій. Юноша хочетъ скакать далѣе, но передъ нимъ мрачная фигура сапожника-пророка. Дюжей рукой пролетарія, онъ схватилъ лошадь подъ уздцы. «Ты сдѣлалъ доброе дѣло, но сдѣлалъ его скверно, говоритъ онъ мальчику. Посмотри, куда ты бросилъ деньги, какъ же эта безпомощная женщина ихъ достанетъ, подними ихъ и отдай ей.» Первое движеніе мальчика было желаніе вытянуть его хлыстомъ и дать шпору лошади. Но спокойно-строгий видъ Фокса, его ожидающій взглядъ и страшныя слова поразили юношу. Онъ наивно говоритъ, что не видѣлъ, куда бросилъ монету, и въ доказательство, что онъ напрасно его бранить, соскакиваетъ съ лошади и съ улыбкой подаетъ старухѣ деньги. Фоксъ, тронутый до слезъ, благословляетъ его. Мальчикъ этотъ Вильямъ Пенъ.

Третья сцена въ замкѣ Вильямова отца. Съ тѣхъ поръ какъ юноша встрѣтился съ Фоксомъ, прошло нѣсколько лѣтъ. Отецъ его начальствовалъ гдѣ-то въ колоніяхъ англійскимъ войскомъ, завоевалъ земли, разбилъ непріятелей, заключилъ выгодный миръ, и теперь возвращается торжественно отдохнуть на родину. Его ожидаютъ депутаты, присланные изъ Лондона съ великолѣпными подарками, посланный короля съ лентой, звѣздой и огромнымъ пергаментовымъ свиткомъ. Гремятъ литавры и музыка, является

отважный полководецъ, ему говорятъ привѣтствія, онъ говоритъ привѣтствія; пробиваясь сквозь алдермановъ, придворныхъ и офицеровъ, бѣжитъ къ нему его сынъ и бросается ему на шею. Старикъ радостно прижимаетъ его къ груди и вдругъ отступаетъ, спрашивая съ удивленіемъ сына, что за странный костюмъ на немъ, и какъ онъ смѣлъ явиться къ нему такъ навстрѣчу. Сынъ объясняетъ ему, что онъ принадлежитъ къ братству, которое приняло эту одежду. Отецъ хочетъ обернуть дѣло въ шутку, посылаетъ сына снять платье и одѣться прилично. Сынъ кротокъ, тихъ, но непоколебимъ. Отецъ начинаетъ сердиться и, когда сынъ говоритъ ему: «Ты самъ подумай, отецъ мой, не лучше ли тебѣ снять твой мечъ, вѣдь здѣсь нѣтъ враговъ, кого-жъ хочешь убить имъ»,—онъ выходитъ изъ себя и велитъ сыну удалиться.

Четвертая сцена. Семейный совѣтъ въ домѣ старика. Отецъ созвалъ всѣхъ ближнихъ своихъ, законниковъ и духовныхъ, чтобы въ послѣдній разъ урезонить сына и, если онъ и тутъ будетъ упорствовать, выбросить его изъ семьи, которую онъ пятнаетъ. Вильямъ является не подсудимымъ, а судьей и обличителемъ (процессъ сенъ-симонистовъ въ 1832 году былъ еще живъ въ памяти въ 38). Родные отказываются отъ него, легисты осуждаютъ, духовные предають проклятію, отецъ хочетъ его лишить наслѣдства. Наслѣдники придумываютъ, какія улучшенія они сдѣлають въ имѣніи, какъ перестроють замокъ. У раздраженнаго старика поднялась подагра, его кладутъ въ постель и онъ умираетъ, не сдѣлавъ завѣщанія.

Въ *пятой сценѣ* Вильямъ Пенъ, теперь богачъ, располагающій, какъ хочетъ, своимъ имѣньемъ, сидитъ съ старикомъ Фоксомъ; ихъ занимаетъ важный разговоръ. Вильямъ много ѣздилъ, онъ не вѣритъ ни въ Англію, ни въ Европу,—для основанія братской общины надобна свѣжая, дѣвственная почва; эта почва по ту сторону океана; онъ продалъ свое имущество въ Англіи и купилъ корабли; онъ кликнулъ кличъ въ Англію, Германію, Голландію, и только проситъ благословенья Фокса. Жаль устарѣлому Фоксу отпустить его, и трудно самому разстаться со своей старой Англіей, но, наконецъ, благословляетъ его на путь.

Шестая сцена въ Пенсильваніи. Дряхлый Пенъ близокъ къ могилѣ, онъ очень печаленъ, мечтаемое евангельское братство не учредилось, а новый край, призванный имъ къ жизни, растетъ съ могучей красотой, вездѣ слышится стукъ топора, рѣки покрываются барками, плугъ подымаетъ землю, починки растутъ въ деревни, деревни въ города. Все это видно изъ разговоровъ разныхъ сетлеровъ и пр.

Наконецъ, весь этотъ длинный рядъ картинъ, переданныхъ мною довольно вѣрно по памяти, sauf erreur et omission (очень

естественныхъ, если вспомнить, что я двадцать два года до нихъ не дотрогивался), оканчивался такимъ чисто французскимъ финаломъ: на могилѣ Вильяма Пена, въ восьмидесятихъ годахъ прошлаго столѣтія, стоятъ три путника, пришедшихъ поклониться его праху. Одинъ изъ нихъ *Вашингтонъ*, другой *Франклинъ*, третій *Лафайетъ*—граждане Сѣверо-Американской республики.

КТО ВИНОВАТЪ?

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

«А случай сей за неоткрытіемъ
виновныхъ преданъ волѣ божіей,
дѣло же, почисливъ рѣшеннымъ,
сдать въ архивъ.

Протоколь.

Натальѣ Александровнѣ Герцень,

въ знакъ глубокой симпатіи

отъ писавшаго.

Москва.
1846.

(КЪ ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ).

Кто виноватъ—была первая повѣсть, которую я напечаталъ. Я началъ ее во время моей новгородской ссылки (въ 1841 г.) и окончилъ гораздо позже въ Москвѣ.

Правда, еще прежде я дѣлалъ опыты писать что-то въ родѣ повѣстей; но одна изъ нихъ не *написана*, а другая не *повѣсть*. Въ первое время моего переѣзда изъ Вятки въ Владимірѣ, мнѣ хотѣлось повѣстью смягчить укоряющее воспоминаніе, примириться съ собою и забросать цвѣтами одинъ женскій образъ, чтобъ на немъ не было видно слезъ ¹⁾.

Разумѣется, что я не сладилъ съ своей задачей, и въ моей неоконченной повѣсти было бездна натянутого и, можетъ, двѣ-три порядочныя страницы. Одинъ изъ друзей моихъ въ послѣдствіи страдалъ меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи,—я напечатаю твою повѣсть, она у меня!» По счастью, онъ не исполнилъ своей угрозы.

Въ концѣ 1840 г. были напечатаны въ «*Отечественныхъ Запискахъ*» отрывки изъ «*Записокъ одного молодого человека*»,—«Городъ Малиновъ и малиновцы» нравились многимъ; что касается до остального, въ нихъ замѣтно сильное вліяніе Гейневскихъ *Reisebilder*.

За то *Малиновъ* чуть не навлекъ мнѣ бѣды.

Одинъ вятскій совѣтникъ хотѣлъ жаловаться министру внутреннихъ дѣлъ и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновниковъ въ г. Малиновѣ до того похожи на почтенныхъ сослуживцевъ его, что отъ этого можетъ пострадать уваженіе къ нимъ отъ подчиненныхъ. Одинъ изъ моихъ вятскихъ знакомыхъ спрашивалъ, какія у него доказательства на то, что малиновцы *нашквиль* на вятичей. Совѣтникъ отвѣчалъ ему: «Тысячи, напримеръ, *авкторъ* прямо говоритъ, что у жены директора гимназій бальное платье брусничнаго цвѣта,—ну, развѣ не такъ?» Это до

¹⁾ „Былое и Думы“, т. III, гл. XX.

шло до директорши,—та взбѣсилась, да не на меня, а на совѣтника. «Что онъ слышь или изъ ума шутить?» говорила она; гдѣ онъ видѣлъ у меня платье брусничнаго цвѣта, у меня дѣйствительно было темное платье, но цвѣту *пансэ*. Этотъ оттѣнокъ въ колоритѣ сдѣлалъ мнѣ истинную услугу. Раздосадованный совѣтникъ бросилъ дѣло, а будь у директорши въ самомъ дѣлѣ платье брусничнаго цвѣта, да напиши совѣтникъ,—такъ въ тѣ прекрасныя времена брусничной цвѣтъ надѣлалъ бы мнѣ, навѣрное, больше вреда, чѣмъ брусничной сокъ Лариныхъ могъ повредить Онѣгину.

Успѣхъ *Малинова* заставилъ меня приняться за «*Кто виноватъ?*»

Первую часть повѣсти я привезъ изъ Новгорода въ Москву. Она не понравилась московскимъ друзьямъ и я бросилъ ее. Нѣсколько лѣтъ спустя мнѣніе объ ней измѣнилось, но я и не думалъ ни печатать, ни продолжать ее. Бѣлинскій взялъ у меня какъ-то потомъ рукопись, и, съ своей способностью увлекаться, онъ, совсѣмъ напротивъ, переоцѣнилъ повѣсть въ сто разъ больше ея достоинства и писалъ ко мнѣ: «Если бы я не цѣнилъ въ тебѣ человѣка, такъ же много, или еще и больше, нежели писателя, я, какъ Потемкинъ Фонъ-Визину послѣ представленія «Бригадира», сказалъ бы тебѣ: умри, Герценъ! Но Потемкинъ ошибся, Фонъ-Визинъ не умеръ и потому написалъ «*Недоросля*». Я не хочу ошибаться и вѣрю, что послѣ «*Кто виноватъ?*» ты напишешь такую вещь, которая заставитъ всѣхъ сказать: *Онъ правъ*, давно бы ему принятыся за повѣсть! Вотъ тебѣ и комплиментъ, и сильный каламбуръ».

Цензура сдѣлала разныя урѣзыванія и вырѣзыванія—жаль, что у меня нѣтъ ея обрѣзковъ. Нѣсколько выраженій я вспомнилъ (они напечатаны курсивомъ) и даже цѣлую страницу (и то когда листъ былъ отпечатанъ и прибавилъ его къ стр. 38). Это мѣсто мнѣ особенно памятно потому, что Бѣлинскій выходилъ изъ себя за то, что его не пропустили.

8 іюня. 1859 года.
Park-House, Fulham.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Отставной генералъ и учитель, опредѣляющійся къ мѣсту.

Дѣло шло къ вечеру. Алексѣй Абрамовичъ стоялъ на балконѣ; онъ еще не могъ придти въ себя послѣ двухчасового послѣобѣденнаго сна; глаза его лѣниво раскрывались, и онъ время отъ времени зѣвалъ. Вошелъ слуга съ какимъ-то докладомъ; но Алексѣй Абрамовичъ не считалъ нужнымъ его замѣтить, а слуга не смѣлъ потревожить барина. Такъ прошло минуты двѣ-три, по окончаніи которыхъ Алексѣй Абрамовичъ спросилъ:

«Что ты?»

— Покаместъ ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли изъ Москвы, котораго докторъ нанялъ.

«А?» (что собственно тутъ слѣдуетъ: вопросительный знакъ (?) или восклицательный (!),— обстоятельства не рѣшили).

— Я его провель въ комнату, гдѣ жилъ нѣмецъ, что изволили отпустить.

«А!»

— Онъ просилъ сказать, когда изволите проснуться.

«Позови его». И лицо Алексѣя Абрамовича сдѣлалось доблестнѣе и величественнѣе. Черезъ нѣсколько минутъ явился казачекъ и доложилъ:

— Учитель вошелъ-съ. — Алексѣй Абрамовичъ помолчалъ, потомъ, грозно взглянувъ на казачка, замѣтилъ:

«Что у тебя, у дурака, мука во рту, что-ли? мямлетъ, ничего не поймешь»; впрочемъ, прибавилъ, не дожидаясь повторенія: «позови учителя», и тотчасъ сѣлъ.

Молодой человекъ, лѣтъ двадцати-трехъ-четырехъ, жиденкій, блѣдный, съ бѣлокурыми волосами и въ довольно узкомъ черномъ фракѣ, робко и смѣшавшись, явился на сцену.

«Здравствуйте, почтеннѣйшій! — сказала генералъ, благоклонно улыбаясь и не вставая съ мѣста,—мой докторъ очень хорошо отзывался объ васъ; я надѣюсь, мы будемъ другъ другомъ довольны. Эй, Васька!—при этомъ онъ свиснулъ,—что жъ ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, такъ и не надо. У-у! когда васъ оболванишь и сдѣлаешь похожими на людей! Прошу покорно. У меня, почтеннѣйшій, сынъ-съ; мальчикъ добрый, со способностями, хочу его въ военную школу приготовить. По-французски онъ у меня говорить, по-нѣмецки не то, чтобъ говорить,

а понимаетъ. Нѣмчура попался пьяный, не занимался имъ, да и признаться, я больше его употреблялъ по хозяйству,—вотъ онъ жилъ въ той комнатѣ, что вамъ отвели; я прогналъ его. Скажу вамъ откровенно, мнѣ не нужно, чтобъ изъ моего сына вышелъ магистеръ или философъ; однако, почтеннѣйшій, я хоть и слава Богу, но двѣ тысячи пятьсотъ рублей платить даромъ не стану. Въ наше время, сами знаете, и для военной службы требуютъ всѣ эти грамматики, ариѳметики... Эй, Васька, позови Михайла Алексѣича!»

Молодой человекъ все это время молчалъ, краснѣлъ, перебиралъ носовой платокъ и собирался что-то сказать; у него шумѣло въ ушахъ отъ прилива крови; онъ даже не вовсе отчетливо понималъ слова генерала, но чувствовалъ, что вся его рѣчь вмѣстѣ дѣлаетъ ощущение, похожее на то, когда рукою ведешь по моржевой кожѣ противъ шерсти. По окончаніи воззванія, онъ сказалъ:

— Принимая на себя обязанность быть учителемъ вашего сына, я поступлю, какъ совѣсть и честь... разумѣется, насколько силы мои... впрочемъ, я употреблю всѣ старанія, чтобъ оправдать довѣріе ваше... вашего превосходительства.

Алексѣй Абрамовичъ перебилъ его:

«Мое превосходительство, любезнѣйшій, лишняго не потребуешь. Главное—умѣнье заохотить ученика, этакъ, шутя, понимаете? Вѣдь, вы кончили ученье?»

— Какъ же, я кандидатъ.

«Это какой-то новый чинъ?»

— Ученая степень.

«А, позвольте, здравствуютъ ваши родители?»

— Живы-съ.

«Духовнаго званія?»

— Отецъ мой уѣздный лекарь.

«А вы по медицинской части шли?»

— По физико-математическому отдѣленію.

«По-латынски знаете?»

— Знаю-съ.

«Это совершенно ненужный языкъ: для докторовъ, конечно, нельзя же при больномъ говорить, что завтра ноги протянетъ; а намъ зачѣмъ? помните.»

Не знаешь, долго ли бы продолжалась ученая бесѣда, если-бъ ее не перервалъ Михайло Алексѣевичъ, т. е. Миша, тринадцатилѣтній мальчикъ, здоровый, краснощекій, упитанный и загорѣвшій; онъ былъ въ курткѣ, изъ которой умѣлъ въ нѣсколько мѣсяцевъ вырасти, и имѣлъ видъ, общій всѣмъ дюжиннымъ дѣтямъ богатыхъ помѣщиковъ, живущихъ въ деревнѣ.

«Вотъ твой новый учитель», сказалъ отецъ. Миша шаркнулъ ногой. «Слушайся его, учишь хорошенько; я не жалѣю денегъ,— твое дѣло умѣть пользоваться».

Учитель всталъ, учтиво поклонился Мишѣ, взявъ его за руку, и съ кроткимъ, добрымъ видомъ сказалъ ему, что онъ сдѣлаетъ все, что можетъ, чтобъ облегчить занятія и заохотить ученика.

«Онъ уже кой-чему учился, замѣтилъ Алексѣй Абрамовичъ, у мадамы, живущей у насъ; да попь учишь его—онъ изъ семинаристовъ, нашъ сельскій попь. Да вотъ, милый мой, пожалуйте, покзаменуйте его».

Учитель сконфузился, долго думалъ, что бы спросить, и наконецъ сказалъ:—(скажите мнѣ, какой предметъ грамматики?)

Миша посмотрѣлъ по сторонамъ, поковырялъ въ носу и сказалъ:—Россійской грамматики?

— Все равно, вообще.

— Этому мы не учились.

«Что жъ съ тобою дѣлать попь?» спросилъ грозно отецъ.

— Мы, папашенька, учили Россійскую грамматику до дѣе-причастія и катехизецъ до таинствъ.

«Ну, поди, покажи классную комнату... Позвольте, какъ васъ зовуть?»

— Дмитриемъ, отвѣчалъ учитель, покраснѣвъ.

«А по батюшкѣ?»

— Яковлевымъ.

«А, Дмитрій Яковличъ! Вы не хотите ли съ дороги перекусить, выпить водки!»

— Я ничего не пью, кромѣ воды.

«Притворяется!» подумалъ Алексѣй Абрамовичъ, чрезвычайно уставшій послѣ продолжительнаго ученаго разговора, и отправился въ диванную къ женѣ. Глафира Львовна почивала на мягкомъ турецкомъ диванѣ. Она была въ блузѣ: это ея любимый костюмъ, потому что всѣ другіе тѣснятъ ее; пятнадцать лѣтъ истинно-благополучнаго замужества пошли ей въ-прокъ: она сдѣлалась Adansonia boabab между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее, она подняла заспанную голову, долго не могла придти въ себя и, какъ будто отъ роду въ первый разъ уснула не во время, съ удивленіемъ воскликнула: «Ахъ, Боже мой! вѣдь я, кажется, уснула? представь себѣ!» Алексѣй Абрамовичъ началъ ей отдавать отчетъ о своихъ трудахъ на пользу воспитанія Миши. Глафира Львовна была всемъ довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякій день передъ чаемъ кушала квасъ.

Не всѣ бѣдствія кончились для Дмитрія Яковлевича аудіенціей у Алексѣя Абрамовича; онъ сидѣлъ, молчаливый и взвол-

нованный, въ классной комнатѣ, когда вошелъ человекъ и позвалъ его къ чаю. Доселѣ нашъ кандидатъ никогда не бывалъ въ дамскомъ обществѣ; онъ питалъ къ женщинамъ какое-то инстинктуальное чувство уваженія; онѣ были для него окружены какимъ-то нимбомъ; видѣлъ онъ или на бульварѣ разряженными и неприступными, или на сценѣ московскаго театра,—тамъ, все уродливыя фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Теперь его поведутъ представлять къ генеральшѣ, да и одна ли она будетъ? Миша успѣлъ ему рассказать, что у него есть сестра, что у нихъ живетъ мадамъ, да еще какая-то Любонька. Дмитрію Яковлевичу чрезвычайно хотѣлось узнать, какихъ лѣтъ сестра Миши; онъ начиналъ объ этомъ рѣчь раза три, но не смѣлъ спросить, боясь, что лицо его вспыхнетъ. «Что-же? пойдите-съ!» сказалъ Миша, который, съ дипломатіей, общей всемъ избалованнымъ дѣтямъ, былъ чрезвычайно скромнъ и тихъ съ постороннимъ. Кандидатъ, вставая, не надѣялся, поднимуть ли его ноги; руки у него охолодѣли и были влажны: онъ сдѣлалъ гигантское усиліе и вошелъ, близкій къ обмороку, въ диванную; въ дверяхъ онъ почтительно раскланялся съ горничной, которая выходила, поставивъ самоваръ. «Глаша, сказалъ Алексѣй Абрамовичъ, рекомендую тебѣ — новый менторъ нашего Миши». Кандидатъ кланялся.—«Мнѣ очень пріятно», сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и съ нѣкоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся.—«Нашъ Миша такъ давно нуждается въ хорошемъ наставникѣ; мы, право, не знаемъ, какъ благодарить Семена Ивановича, что онъ доставилъ намъ ваше знакомство. Прошу васъ быть безъ церемоніи; не угодно ли вамъ сѣсть?»

— Я все сидѣлъ, пробормоталъ кандидатъ, истинно самъ не зная, что говорить.

«Не стой же тѣхатъ въ кибиткѣ!» съострилъ генераль.

Это замѣчаніе окончательно погубило кандидата; онъ взялъ стулъ, поставилъ его какъ-то эксцентрически и чуть не сѣлъ возлѣ. Глазь онъ боялся поднять, какъ пушаго несчастія; можетъ быть, дѣвицы тутъ въ комнатѣ, а если онъ ихъ увидитъ, надобно будетъ поклониться, какъ? Да и потомъ, вѣроятно, надобно было, не садившись, поклониться.

«Я тебѣ говорилъ,—сказалъ генераль вполголоса:—красная дѣвка!»

— «Le pauvre, il est à plaindre, замѣтила Глафира Львовна, кусая жирныя губки свои».

Глафирѣ Львовнѣ съ перваго взгляда понравился молодой человекъ; на это было много причинъ. Во-первыхъ, Дмитрій Яковлевичъ съ своими большими голубыми глазами былъ *интереснъ*; во-вторыхъ, Глафира Львовна, кромѣ мужа, лакеевъ, кучеровъ да

старика-доктора, рѣдко видала мужчинъ, особенно молодыхъ, интелесныхъ,—а она, какъ мы послѣ узнаемъ, любила, по старой памяти, платоническія мечтанія; въ-третьихъ, женщины въ нѣкоторыхъ лѣтахъ смотрятъ на юношу съ тѣмъ непонятно-влекущимъ чувствомъ, съ которымъ обыкновенно мужчины смотрятъ на дѣвушекъ. Кажется, будто это чувство близко къ состраданію, чувство материнское, что имъ хочется взять подъ свое покровительство беззащитныхъ, робкихъ, неопытныхъ, ихъ полелѣять, поласкать, отогрѣть; это кажется всего болѣе имъ самимъ. Мы не такъ думаемъ объ этомъ, но не сѣчаемъ нужнымъ говорить, какъ думаемъ... Глафира Львовна сама подвинула чашку чая кандидату; онъ сильно прихлебнулъ и обварилъ языкъ и нѣбо, но скрылъ боль съ твердостью Муція-Сцевола. Это обстоятельство было благотворно для него: сдѣлалось отвлеченіе, и онъ немного успокоился. Мало по малу онъ начиналъ даже подымать взоры. На диванѣ сидѣла Глафира Львовна; передъ нею стоялъ столъ, и на столѣ огромный самоваръ возвышался, какъ какой-нибудь памятникъ въ индійскомъ вкусѣ. Противъ нея, для того ли, чтобъ пользоваться милымъ *vis-à-vis*, или для того, чтобъ не видать его за самоваромъ, вдавливалъ въ полъ какія-то дѣдовскія кресла Алексѣй Абрамовичъ; за креслами стояла дѣвочка лѣтъ десяти съ чрезвычайно глупымъ видомъ; она выглядывала изъ-за отца на учителя: ея-то трепеталъ храбрый кандидатъ! Миша находился также за столомъ; передъ нимъ миска кислаго молока и толстый ломоть рѣшетнаго хлѣба. Изъ-подъ салфетки, покрывавшей столъ, и на которой былъ представленъ довольно удачно городъ Ярославль, оканчивавшійся со всѣхъ сторонъ медвѣдемъ, высовывалась голова лягавой собаки; драпри скатерти придавали ей какой-то египетскій видъ: она неподвижно вперила два жиромъ заплывшіе глаза на кандидата. У окна, на креслахъ, съ чулкомъ въ рукѣ, — миниатюрная старушка, съ веселымъ и сморщившимся видомъ, съ повисшими бровями и тоненькими блѣдными губами. Дмитрій Яковлевичъ догадался, что это француженка-мадамъ. У дверей стоялъ казачекъ, подававшій Алексѣю Абрамовичу трубку; возлѣ него горничная, въ ситцевомъ платьѣ съ холстинными рукавами, ожидавшая съ какимъ-то благоговѣніемъ, когда господа окончатъ церемонію питія чая. Еще одно лицо присутствовало въ комнатѣ, но его Дмитрій Яковлевичъ не видалъ, потому что оно было наклонено къ пяльцамъ. Лицо это принадлежало бѣдной дѣвушкѣ, которую воспитывалъ добрый генералъ. Разговоръ долго не клеился, да и когда сълеился, былъ какъ-то отрывчатъ, не нуженъ и утомителенъ для кандидата.

Странно было это столкновение жизни бѣднаго молодого чело-
вѣка съ жизнью семьи богатого помѣщика. Кажется, эти люди

могли бы преспокойно прожить до скончанія вѣка, не встрѣчаясь. Вышло иначе. Жизнь нѣжнаго и добраго юноши, образованнаго и занимающагося, какимъ-то диссонансомъ попала въ тучную жизнь Алексѣя Абрамовича и его супруги,—попала, какъ птица въ клетку. Все для него измѣнилось, и можно было предвидѣть, что такая переменна не пройдетъ безъ вліянія на молодого человека, совершенно не знавшаго практическаго міра и неопытнаго.

Но что это за люди такіе — генеральская чета, блаженствующая и преуспѣвающая въ счастливомъ бракѣ, этотъ юноша, назначенный для выдѣлки Мишиной головы настолько, чтобъ мальчикъ могъ вступить въ какую-нибудь военную школу?

Я не умѣю писать повѣстей: можетъ быть, именно потому мнѣ кажется вовсе не излишнимъ предварить рассказъ нѣкоторыми біографическими свѣдѣніями, почерпнутыми изъ очень вѣрныхъ источниковъ. Разумѣется, сначала:

II.

Біографія ихъ превосходительствъ.

Алексѣй Абрамовичъ Негровъ, отставной генераль-майоръ и кавалеръ, — толстый, рослый мужчина, который, послѣ прорѣзыванія зубовъ, ни разу не былъ боленъ, могъ служить лучшимъ и полнѣйшимъ опроверженіемъ на знаменитую книгу Гуфланда: «О продолженіи жизни человѣческой». Онъ велъ себя диаметрально противоположно каждой страницѣ Гуфланда — и былъ постоянно здоровъ и румянь. Одно правило гигиены онъ исполнялъ только: не разстроивалъ пищеваренія умственными напряженіями, и, можетъ быть, этимъ стяжалъ право не исполнять всего остального. Строгий, вспыльчивый, жесткій на словахъ и часто жестокій на дѣлѣ, нельзя сказать, чтобъ онъ былъ злой человѣкъ отъ природы: всматриваясь въ рѣзкія черты его лица, не совѣмъ уничтожившіяся въ мясныхъ дополненіяхъ, въ густыя черныя брови и блестящіе глаза, можно было предполагать, что жизнь задавила въ немъ не одну возможность. Четырнадцать лѣтъ, воспитанный природой и французенкой, жившей у его сестры, Негровъ былъ записанъ въ кавалерійскій полкъ: получая много денегъ отъ нѣжной родительницы,—онъ лихо проводилъ свою юность. Послѣ кампаніи 1812 года, Негровъ былъ произведенъ въ полковники; полковничьи эполеты упали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиромъ; военная служба начала ему надоедать, и онъ, послуживъ еще немного и «находя себя неспособнымъ продолжать службу по разстроенному здоровью», вышелъ въ отставку

и вынесъ съ собою генераль-майорскій чинъ, усы, на которыхъ оставались всегда частицы всѣхъ блюдъ обѣда, и мундиръ для важныхъ оказій. Когда отставной генераль поселился въ Москвѣ, которая успѣла уже обстроиться послѣ пожара, передъ нимъ открылась безконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятія, которымъ бы онъ умѣлъ или хотѣлъ заняться. Онъ ѣздилъ изъ дома въ домъ, поигрывалъ въ карты, обѣдалъ въ клубѣ, являлся въ первомъ ряду кресель въ театрѣ, являлся на балахъ, завелъ себѣ двѣ четверки прекрасныхъ лошадей, холилъ ихъ, училъ денно и ношно словами и руками кучера, самъ преподавалъ тайну конной ѣзды фореитору... Такъ прошло года полтора; наконецъ, кучеръ выучился сидѣть на козлахъ и держать возки, фореиторъ выучился сидѣть на лошади и держать поводья, скука одолѣла Негрова: онъ рѣшился ѣхать въ деревню хозяйничать и увѣрилъ себя, что эта поѣздка необходима для предупрежденія важнаго разстройства. Теорія его хозяйства была очень не сложна: онъ бранилъ всякій день приказчика и старосту, ѣздилъ за зайцами и ходилъ съ ружьемъ. Не привыкнувъ рѣшительно ни къ какому рода дѣламъ, онъ не могъ сообразить, что надобно дѣлать, занимался мелочами и былъ доволенъ. Приказчикъ и староста были, съ своей стороны, довольны бариномъ; о крестьянахъ не знаю, они молчали. Мѣсяца черезъ два, въ окнахъ господскаго дома показалось прекрасное женское личико, сначала съ заплаканными, а потомъ просто съ прелестными голубыми глазками. Въ то же самое время староста, несколько не занимавшійся устройствомъ деревни, доложилъ генералу, что у Емельки Барбаша изба плоха, и что не соблаговолить ли Алексѣй Абрамовичъ явить отеческую милость и дать ему лѣску. Лѣсъ былъ пунктъ помѣшательства Алексѣя Абрамовича; онъ себѣ на гробъ не скоро бы рѣшился срубить дерево. Но... но тутъ онъ былъ въ добромъ расположеніи духа и разрѣшилъ Барбашу нарубить лѣса на избу, прибавивъ старостѣ: «да ты смотри у меня, рыжая бестія, за лишнее бревно—ребро». Староста сбѣгалъ на заднее крыльцо и доложилъ Авдотѣ Емельяновнѣ о полномъ успѣхѣ, называя ее «матушкой и заступницей». Бѣдняжка краснѣла до ушей; но въ простотѣ душевной была рада, что у отца ея будетъ новая изба. Мы находимъ въ источникахъ нашихъ мало свѣдѣній о завоеваніи голубыхъ глазокъ, о встрѣчѣ съ ними. Я полагаю потому, что эти побѣды дѣлаются очень просто.

Какъ бы то ни было, сельская жизнь въ свою очередь надоѣла Негрову; онъ увѣрилъ себя, что исправилъ всѣ недостатки по хозяйству, и, что еще важнѣе, дать такое прочное направленіе ему, что оно и безъ него идти можетъ, и снова собрался

ѣхать въ Москву. Багажъ его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенокъ ѣхали въ особой бричкѣ. Въ Москвѣ ихъ помѣстили въ комнатку окнами на дворъ. Алексѣй Абрамовичъ любилъ малютку, любилъ Дуню, любилъ и кормилицу,—это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было безирестанно тошно,—докторъ сказалъ, что она не можетъ больше кормить. Генераль жалѣлъ объ ней: «вотъ попалась рѣдкая кормилица: и здоровая, и усердная такая, услужливая, да молоко испортилось... досадно!» Онъ подарилъ ей двадцать рублей, отдалъ повойникъ и отпустилъ для излеченія къ мужу. Докторъ совѣтовалъ замѣнить кормилицу козкою,—такъ было и сдѣлано; коза была здорова. Алексѣей Абрамовичъ ее очень любилъ, давалъ ей собственноручно черный хлѣбъ, ласкалъ ее, но это не помѣшало ей выкормить ребенка. Образъ жизни Алексѣя Абрамовича былъ такой же, какъ и въ первый прїѣздъ; онъ его выдержалъ около двухъ лѣтъ, но далѣе не могъ. Совершенное отсутствіе всякой опредѣленной дѣятельности невыносимо для человѣка. Животное полагаетъ, что все его дѣло—жить, а человѣкъ жизнь принимаетъ только за возможность что-нибудь дѣлать. Хотя Негровъ съ двѣнадцати часовъ утра и до двѣнадцати ночи не бывалъ дома, но все же скука мучила его; на этотъ разъ ему и въ деревню не хотѣлось; долго владѣла имъ хандра, и онъ чаще обыкновеннаго давалъ отеческіе уроки своему камердинеру и рѣже бывалъ въ комнатѣ окнами на дворъ. Однажды, воротившись домой, онъ былъ въ необыкновенномъ состояніи духа, чѣмъ-то занятъ, то морщилъ лобъ, то улыбался, долго ходилъ по комнатѣ и вдругъ остановился съ рѣшительнымъ видомъ. Замѣтно было, что дѣло внутри кончено. Кончивъ внутри, онъ свиснулъ, свиснулъ такъ, что спавшій въ другой комнатѣ на стулѣ казачекъ отъ испуга бросился въ противоположную сторону отъ двери и насилу послѣ сыскалъ. «Спишь все, щенокъ», сказалъ ему генераль, но не тѣмъ громовымъ голосомъ, послѣ котораго сыпались отеческія молніи, а такъ, просто: «поди, скажи Мишкѣ, чтобъ завтра чѣмъ-свѣтъ сходилъ къ нѣмцу-каретнику и привелъ бы». Видно было, что камень свалился съ плечъ Алексѣя Абрамовича, и онъ могъ спокойно опочить. На другой день, въ восемь часовъ утра, явился каретникъ-нѣмецъ, а въ десять окончилась конференція, въ которой съ большою отчетливостью и подробностью заказана была четверомѣстная карета, кузовъ мордоре-фонсе, гербы золотые, сукно пунцовое, басонъ кокликъ, парадные козлы о трехъ чехлахъ.

Четверомѣстная карета значила ни болѣе, ни менѣе, какъ то, что Алексѣй Абрамовичъ намѣренъ жениться. Намѣреніе это вскорѣ обнаружилось недвусмысленными признаками. Послѣ ка-

ретника, онъ позвалъ своего камердинера. Въ длинной и довольно нескладной рѣчи (что служить къ большой чести Негрова, ибо въ этой нескладности отразилось что-то въ родѣ того, что у людей называется совѣстью) онъ изъявилъ ему свое благоволеніе за его службу и намѣреніе наградить его примѣрнымъ образомъ. Камердинеръ понять не могъ, куда это идетъ, кланялся и говорилъ учтивости въ родѣ: «кому-жъ намъ и угождать, какъ не вашему превосходительству; вы наши отцы, мы ваши дѣти». Комедія эта надоѣла Негрову, и онъ въ краткихъ, но выразительныхъ словахъ объявилъ камердинеру, что онъ позволяетъ ему жениться на Дунькѣ. Камердинеръ былъ человѣкъ умный и сметливый, и хотя его очень поразила нежданная милость господина, но въ два мига онъ расчелъ всѣ шансы pro и contra, и попросилъ у него поцѣловать ручку за милость и неоставленіе. Нареченный женихъ понять, въ чемъ дѣло; однакожъ, думалъ онъ, не совѣмъ же въ немилость посылаютъ Авдотью Емельяновну, коли за меня отдаютъ: я человѣкъ близкій, да и бариновъ нравъ знаю; да и жену имѣть такую красивую недурно. Словомъ, женихъ былъ доволенъ. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она невѣста, поплакала, погрустила, но, имѣя въ виду или ѣхать въ деревню къ отцу, или быть женою камердинера, рѣшилась на послѣднее. Она безъ содроганія не могла вздумать, какъ бывшія ея подруги будутъ надъ ней смѣяться; она вспомнила, что и во времена ея силы и славы онѣ ее называли вполслуха *полубарыней*. Черезъ недѣлю ихъ обвѣнчали. Когда, на другое утро, молодые пришли съ конфектами на поклонъ, Негровъ былъ веселъ, подарилъ новобрачнымъ сто рублей и сказалъ повару, случившемуся тутъ: «учись, осель, люблю наказать, люблю и жаловать: служилъ хорошо, и ему хорошо». Поваръ отвѣчалъ: «слушаю, ваше превосходительство», но на лицѣ его было написано: «вѣдь, я же тебя надуваю при всякой покупкѣ, а ужъ тебѣ меня не провести; дурака нашель!» Вечеромъ, камердинеръ давалъ пиръ, отъ котораго вся дворня двое сутокъ пахла водкой, и точно онъ расходовъ не пожалѣлъ. Была, впрочемъ, мучительно-горькая минута для бѣдной Дуня: маленькую кроватку, а съ нею и дочь ея велѣли перенести въ людскую. Дуня безмѣрно любила малютку всей простой, безъискусственной душой. Алексѣя Абрамовича она боялась,—остальные въ домѣ боялись ея, хотя она никогда никому не сдѣлала вреда: обреченная томному гаремному заключенію, она всю потребность любви, всѣ требованія на жизнь сосредоточила въ ребенкѣ; неразвита, подавленная душа ея была хороша; она, безотвѣтная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорбленіями, не могла вынести одного,—жестокаго обращенія Негрова съ ребенкомъ, когда тотъ чуть ему надоѣдалъ: она под-

нимала тогда голосъ, дрожащій не страхомъ, а гнѣвомъ; она презирала въ эти минуты Негрова, и Негровъ, какъ будто чувствуя свое унижительное положеніе, осыпалъ ее бранью и уходилъ, хлопнувъ дверью. Когда надобно было перенести кровать, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колѣни передъ иконою, схватила рученку дочери и крестила ее. «Молись»,—говорила она:— «молись, мое сокровище, идемъ мы съ тобою мыкать горе; Пресвятая Богородица, заступись за ребенка малаго, ни въ чемъ невиноватаго... А я-то глухая думала: выростеть она, моя сердечная, будетъ ѣздить въ каретѣ, да ходить въ шелковыхъ платьяхъ; изъ-за двери въ щелочку посмотрѣла бы на тебя тогда; спряталась бы отъ тебя, мой ангелъ,—что тебѣ за мать крестьянка!.. А теперь выростешь ты не на радость себѣ: сдѣлають тебя, покалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мыломъ обѣьсть... Господи, Боже мой! чѣмъ предъ Тобой согрѣшилъ младенецъ?»... И Дуня, рыдая, бросилась на полъ; сердце ея раздиралось на части; испуганная малютка уцѣпилась за нее руками, плакала и смотрѣла на нее такими глазами, какъ будто все понимала... Черезъ часъ кровать была въ людской, и Алексѣй Абрамовичъ приказалъ камердинеру приучать ребенка называть себя «тятей».

Но кто же счастливая избранная? Въ Москвѣ есть особая *variety* рода человѣческаго; мы говоримъ о тѣхъ полубогатыхъ дворянскихъ домахъ, которыхъ обитатели совершенно сопли со сцены и скромно проживаютъ цѣлыми поколѣніями по разнымъ переулкамъ; однообразный порядокъ и какое-то затаенное озлобленіе противъ всего новаго составляетъ главный характеръ обитателей этихъ домовъ, глубоко стоящихъ на дворѣ съ покривившимися колоннами и нечистыми сѣнями; они воображаютъ себя представителями нашего національнаго быта, потому что имъ «квасъ нуженъ, какъ воздухъ», потому что они въ саняхъ ѣздятъ, какъ въ каретѣ, берутъ за собой двухъ лакеевъ и цѣлый годъ живутъ на запасахъ, привозимыхъ изъ Пензы и Симбирска. Въ одномъ изъ такихъ домовъ жила графиня Мавра Ильинишна. Нѣкогда она кружилась въ вихрѣ аристократіи, была кокетка, хороша собой, была при дворѣ, любезничала съ Кантемиромъ, и онъ писалъ ей въ альбомъ силлабическимъ размѣромъ мадригалъ, «сирѣчь виршную хвалебницу», въ которой одинъ стихъ оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмующій стихъ словами: «толь протерва». Но отъ природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихамъ, ожидая какой-то блестящей партіи. Между тѣмъ, отецъ ея умеръ, а братъ, управлявшій нераздѣльнымъ имѣніемъ, лѣтъ въ десять пропилъ и проигралъ почти все достояніе. Столичная жизнь стала слишкомъ дорога; надобно было жить скромнѣе. Когда графиня

вполнѣ поняла затруднительное положеніе свое, ей было за тридцать лѣтъ, и она разомъ открыла двѣ ужасныя вещи: состояніе разстроено, а молодость миновала. Тутъ она сдѣлала нѣсколько отчаянныхъ опытовъ выйдти замужъ,—они не удались; тогда, заприставъ страшную злобу внутри своей груди, она переселилась въ Москву, говоря, что ей шумъ большого свѣта опротивѣлъ, и что она ищетъ одного покоя.

Сначала, въ Москвѣ ее носили на рукахъ, считали за особенную рекомендацію на свѣтское значеніе ѣздить къ графинѣ; но мало по малу, желчный языкъ ея и нестерпимая надменность отучили отъ ея дома почти всѣхъ. Брошенная, оставленная всѣми, старая дѣва еще болѣе исполнилась негодованіемъ и ненавистью, окружила себя разными приживающими старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всѣхъ концовъ города, ужасалась развратному вѣку и ставила себѣ въ высокое достоинство свое безконечное дѣвство. Графъ-братецъ, окончательно промотавшій свое имѣніе, для поправки состоянія рѣшился на геройскій подвигъ для того времени, — женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекалъ ее происхожденіемъ, проигралъ до копейки приданое, согналъ ее со двора, опился и умеръ. Годъ спустя, умерла и жена, оставивъ послѣ себя пятилѣтнюю дочь безъ всякаго состоянія. Мавра Ильинишна взяла ее къ себѣ на воспитаніе. Мудрено сказать, что побудило ее къ этому: фамильная гордость, участіе къ ребенку, или ненависть къ брату,—какъ бы то ни было, жизнь маленькой дѣвочки была некрасива: она была лишена всѣхъ радостей своего возраста, застрашена, запугана, притѣснена. Эгоизмъ старухъ-дѣвицъ ужасенъ: онъ хочетъ выместить на всемъ окружающемъ пробѣлы, оставшіеся въ ихъ вымороженномъ сердцѣ. Безотрадно и скучно подростала маленькая графиня; по несчастію, она не принадлежала къ тѣмъ натурамъ, которыя развиваются отъ внѣшняго гнета; начавъ приходить въ сознаніе, она нашла въ себѣ два сильныя чувства: непреодолимое желаніе внѣшнихъ удовольствій и сильную ненависть къ образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинишна не только не доставляла племянницѣ никакого разсѣянія, но убивала претщательно всѣ удовольствія и невинныя наслажденія, которыя она сама находила; она думала, что жизнь молодой дѣвушки только для того и назначена, чтобъ читать ей вслухъ, когда она спитъ, и ходить за нею остальное время; она хотѣла поглотить всю юность ея, высосать всѣ свѣжіе соки души ея въ благодарность за воспитаніе, котораго она ей не давала, но которымъ упрекала ее ежеминутно.

Время шло. Графиня сдѣлалась невѣстой и весьма невѣстой,—ей было ужъ двадцать-три года. Она чувствовала вполнѣ

тягостную скуку и однообразіе своего положенія, и все существо ея вертѣлось около одной мысли — вырваться изъ ада теткина дома. Могила казалась ей лучше; она пила уксусъ, чтобъ получить чахотку, но онъ не помогаль ей; она хотѣла идти въ монастырь, но въ ней не было довольно рѣшимости. Вскорѣ мысли ея приняли другой оборотъ. Старинные французскіе романы, которые она, не знаю какъ, отрыла въ теткинѣмъ гардеробѣ, пояснили ей, что есть, кромѣ смерти и монастыря, значительныя утѣшенія: она оставила адамову голову и начала придумывать голову живую съ усами и кудрями. Тысячи романтическихъ картинъ мучили ее и день, и ночь: она сочиняла себѣ цѣлыя повѣсти: онъ ее увозить, ихъ преслѣдуютъ, «любить имъ не велятъ», раздаются выстрѣлы... «Ты моя на вѣки!» говоритъ онъ, сжимая пистолеть, и проч. На эту тему съ безчисленными вариациями сводились всѣ мечты, всѣ помыслы ея, всѣ сновидѣнія, и бѣдная съ ужасомъ просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозить, никто не говоритъ: «ты моя на вѣки», — и тяжело подымалась ея грудь, и слезы лились на ея подушки, и она съ какимъ то отчаяніемъ пила, по приказу тетки, сыворотку, и еще съ большимъ шнуровалась потомъ, зная, что некому любоваться на ея станъ. Такое состояніе духа не могло быть вполне побѣждено сывороткой, а вело прямо къ сентиментальности и экзальтаціи. Графиня начала покровительствовать всѣхъ горничныхъ и прижимать къ сердцу засаленныхъ дѣтей кучера,—періодъ, послѣ котораго дѣвушка или тотчасъ надобно идти замужъ, или начать нюхать табакъ, любить кошекъ и стриженныхъ собаченокъ и не принадлежать ни къ мужскому, ни къ женскому полу. По счастью, на долю графини выпало первое. Она была недурна собой, и въ эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: *зовущее* всего существа ея, ея томные глаза, ея неровно подымающаяся грудь побѣдили Негрова.

Онъ увидѣлъ ее разъ у Стараго-Вознесенья,—и судьба его жизни была рѣшена. Генераль вспомнилъ корнетскіе годы, началъ искать всевозможныхъ случаевъ увидѣть графиню, ждалъ часы цѣлыя на паперти, и нѣсколько конфузился, когда изъ допотопной кареты, тащимою высокими тощими клячами, потерявшими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню съ видомъ вороны въ чепчикѣ и мѣшали выпрыгнуть молодой графинѣ съ видомъ центифольной розы. У генерала была въ Москвѣ двоюродная сестра... У кого есть въ Москвѣ двоюродная сестра, осѣдлая и довольно богатая, тотъ можетъ жениться почти на всякой невѣстѣ, если онъ имѣеть чинъ и деньги, а она не имѣеть еще жениха. Генераль ввѣрилъ свою тайну кузинѣ,—та приняла истинно сестринское участіе. Мѣсяца два, бѣдная про-

падала отъ скуки, и вдругъ какъ съ неба свалилось сватовство. Она тотчасъ послала дрожки за женой одного титулярнаго совѣтника. Титулярная совѣтница пріѣхала; кухня выгнала изъ ближней комнаты горничныхъ, чтобъ никто не могъ подслушать. Черезъ часъ времени, титулярная совѣтница съ раскраснѣвшимся лицомъ выбѣжала отъ кухни и, наскоро рассказавъ въ дѣвичьей, въ чемъ дѣло, бросилась со двора. На другой день, утромъ въ девять часовъ, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной совѣтницы, которая хотѣла быть въ одиннадцать часовъ, и еще не приходила; наконецъ, желанная гостя явилась и съ нею другая особа въ чепчикѣ; словомъ, дѣло кипѣло съ необычайною быстротою и съ достоюльнымъ порядкомъ.

У графини въ домѣ начались исподволь важныя перемѣны: съ оконъ сняли шторы изъ равендука и велѣли вымыть, замки было велѣно вычистить кирпичомъ съ квасомъ (суррогатъ уксуса); въ передней, гдѣ ужасно пахло кожей, отъ того, что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всѣми, Мавра Ильинишна была въ восхищеніи, что за ея племянницу сватается генераль, да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволенія начать сватовство. Однажды утромъ, графиня приказала племянницѣ одѣться повнимательнѣе, открыть больше шею, и сама осматривала ее съ ногъ до головы.

«Да для чего это, маман, вы мнѣ приказываете одѣваться? развѣ будутъ гости?»

— Не твое дѣло, душечка, отвѣчала графиня, но добрымъ, привѣтливымъ голосомъ.

Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло отъ огня, пробѣжавшаго по ея жиламъ; она догадывалась, подозрѣвала, не смѣла вѣрить, не смѣла не вѣрить... Она должна была выдти на воздухъ, чтобъ не задохнуться. Въ сѣняхъ горничныя донесли ей, что сегодня ждуть генерала, что генераль этотъ сватается за нее... Вдругъ вѣхала карета.

«Палашка, я умру, я умираю!» говорила молодая графиня.

— «И, полноте, ваше сіятельство, кто жъ умираетъ, когда сватаются, да еще такіе женихи... Я, вотъ, всегда говорила: нашей графинѣ быть за генераломъ, извольте всѣхъ спросить».

Чье перо въ состояніи описать все, что перечувствовала бѣдная дѣвушка во время *показа* и *смотря!*.. Когда она нѣсколько припла въ себя, первое, что поразило ее, это фракъ Алексѣя Абрамовича: она такъ твердо вѣрила въ его мундиръ и эполеты... Впрочемъ, Негровъ и безъ мундира могъ тогда еще нравиться; хотя ему было подъ сорокъ, но благодаря доброму здоровью, онъ сохранилъ себя удивительно, и отъ природы не слишкомъ рѣчи-

стый, онъ имѣлъ ту развязность, которую имѣютъ всѣ военные, особенно служившіе въ кавалеріи; остальные недостатки, какіе могла въ немъ открыть невѣста, богато искупались прекрасными усами, щегольски-отдѣланными на тотъ разъ. Свадьба ладилась. Черезъ недѣлю послѣ смотра, графиню Мавру Ильинишну явились поздравлять ея знакомые: люди, которые считались давно умершими, выползли изъ своихъ норъ, гдѣ они лѣтъ тридцать упорно сражались съ смертью и не сдались, гдѣ они лѣтъ тридцать капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличомъ, съ удущемъ и глухотой. Графиня всѣмъ говорила одно: «Новость эта меня удивила не меньше васъ; я и не думала свою Коко такъ рано отдавать замужъ: дитя еще; ну да, батюшка, Божья воля! Человѣкъ онъ солидный и честный, отцомъ можетъ служить ей: она такъ неопытна. А генеральство его и богатство не важная вещь: и черезъ золото слезы текутъ. Да и нечего сказать, я вкусила плодъ благочестиваго воспитанія моего (при этомъ она прикладывала къ глазамъ платокъ); истинно, что дѣлаетъ воспитаніе! Можно ли было ждать отъ такого отца развращеннаго—царство ему небесное—и отъ купчихи такого дѣтища? Не повѣрите: вѣдь она съ нимъ четырехъ словъ не молвила, а я только посовѣтовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово противъ: если вамъ, маман, угодно, говорить, такъ я, говорить, охотно пойду, говорить...» — Это истинно рѣдкая дѣвица въ нашъ развращенный вѣкъ! отвѣчали на разныя манеры знакомые и друзья Мавры Ильинишны, и потомъ начинались сплетни и безсовѣтное черненіе чужихъ репутаций.

Словомъ, немного прошло времени, какъ къ пышно убранной квартирѣ цугъ вороныхъ лошадей привезъ въ четверомѣстной каретѣ мордорефонсе генерала Негрова, одѣтаго въ мундиръ съ ментикомъ, и супругу его Глафиру Львовну Негрову въ вѣнчалномъ платьѣ изъ воздуха съ лентами. Хоръ пѣвчихъ, парадные шаферы, плоски, музыка, золото, блескъ, духи встрѣтили молодую; вся дворня стояла въ сѣняхъ, добиваясь увидѣть молодыхъ, камердинерова жена въ томъ числѣ; ея мужъ, какъ высшій сановникъ передней, распорядился въ кабинетѣ и спальнѣ. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи, и все это ея, и самъ генераль ея, — и молодая была счастлива отъ маленькаго пальца на ногѣ до конца длиннѣйшаго волоса въ косѣ: такъ или иначе, мечты ея сбылись.

Спустя нѣсколько недѣль послѣ свадьбы, Глафира Львовна, цвѣтущая, какъ развернувшійся кактусъ, въ бѣломъ пеньюарѣ, обшитомъ широкими кружевами, наливала утромъ чай; супругъ ея, въ позолоченномъ халатѣ изъ тармаламы и съ огромнымъ янтаремъ въ зубахъ, лежалъ на кушеткѣ и думалъ, какую зака-

зять коляску къ святой, желтую или синюю; хорошо бы желтую, однако и синюю не дурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало; она забыла чайникъ и мечтательно склонила голову на руку; иногда румянецъ пробѣгалъ по ея щекамъ, иногда она показывала явное безпокойство. Наконецъ, мужъ замѣтилъ необыкновенное расположеніе ея и сказалъ:

«Ты что-то не въ духѣ, Глашенька; нездоровится, что ли, тебѣ?»

— Нѣтъ, я здорова, отвѣчала она, и при этомъ подняла глаза къ нему съ видомъ человѣка, просящаго помощи.

«Какъ хочешь, а что нибудь да есть у тебя на умѣ».

Глафира Львовна встала, подошла къ мужу, обняла его и сказала голосомъ трагической актрисы:

— Алексисъ, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу!

Алексисъ началъ удивляться: «Посмотримъ, посмотримъ», отвѣчалъ онъ.

— Нѣтъ, Алексисъ, поклянись исполнить мою просьбу могиллой твоей матери.

Онъ вынулъ чубукъ изъ рта и посмотрѣлъ на нее съ изумленіемъ.

«Глашенька, я не люблю такихъ дальнихъ обходовъ; я солдатъ: что могу—сдѣлаю, только скажи мнѣ просто».

Она спрятала лицо на его груди и пропищала въ слезахъ:

— Я все знаю, Алексисъ, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви... Я понимаю неопытность, пылкость юности (Любонькѣ было три года!). Алексисъ, она твоя, я ее видѣла: у ней твой носъ, твой затылокъ... О, я ее люблю! пусть она будетъ моей дочерью, позволь мнѣ взять ее, воспитать... и дай мнѣ слово, что не будешь мстить, преслѣдовать тѣхъ, отъ кого я узнала. Другъ мой, я обожаю твою дочь; позволь же, не отринь моей просьбы!» — И слезы текли обильнымъ ручьемъ по тармаламѣ халата...

Его превосходительство растерялся и сконфузился до высочайшей степени, и прежде, нежели успѣлъ придти въ себя, жена вынудила его дать позволеніе и поклясться могиллой матери, прахомъ отца, счастьемъ ихъ будущихъ дѣтей, именемъ ихъ любви, что не возьметъ назадъ своего позволенія и не будетъ доискиваться, какъ она узнала. Разжалованная въ дворовья, малютка снова была произведена въ барышни, и кровать опять переѣхала въ бель-этажъ. Любонька, которую сначала отучили отца звать отцомъ, начали отучать теперь звать мать — матерью, хотѣли ее выростить въ мысли, что Дуня ея кормилица. Глафира Львовна сама купила въ магазинѣ на Кузнецкомъ-мосту дѣтское платьѣ, разодрала Любоньку, какъ куклу, потомъ прижала ее къ сердцу и заплакала. «Сиротка», говорила она ей: «у тебя

нѣтъ папаша, нѣтъ мамаша, я тебѣ буду все... Папаша твой тамъ!—и она указала на небо.—«Папа съ крылышками»—пролетѣлъ ребенокъ;—и Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «о, небесная простота!» А дѣло было очень просто: на потолкѣ, по давнопрошедшей модѣ, былъ представленъ амуръ, дрягавшій ногами и крыльями и завязывавшій какой-то бантъ у чернаго желѣзнаго крюка, на которомъ висѣла люстра. — Дуня была на верху счастья: она на Глафиру Львовну смотрѣла, какъ на ангела; ея благодарность была безъ малѣйшей примѣси какого бы то ни было непріязненнаго чувства: она даже не обижалась тѣмъ, что дочь отучали быть дочерью; она видѣла ее въ кружевахъ, она видѣла ее въ барскихъ покояхъ и только говорила: «да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая; кажись, ей и нельзя надѣть другого платья; красавица будетъ». — Дуня обходила все монастыри и вездѣ служила заздравные молебны о доброй барынѣ.

Многіе сочтутъ экс-графиню героиней. Я полагаю, что ея поступокъ самъ въ себѣ былъ величайшею необдуманностью, по крайней мѣрѣ, равною необдуманности выйти замужъ за человѣка, о которомъ она только и знала, что онъ мужчина и генераль. Причина, очевидно, романическая экзальтація, предпочитающая всему на свѣтѣ трагическія сцены, самопожертвованія, натянуто благородные поступки. Справедливость требуетъ присовокупить, что Глафира Львовна не имѣла при этомъ никакой хитрой мысли, ни даже тщеславія; она сама не знала, для чего она хотѣла воспитывать Любоньку: ей нравилась патетическая сторона этого дѣла. Алексѣй Абрамовичъ, позволивъ однажды, нашель очень естественнымъ страшное положеніе ребенка и не далъ даже себѣ труда подумать, хорошо или худо онъ сдѣлалъ, согласившись на это... Въ самомъ дѣлѣ, хорошо или худо онъ сдѣлалъ? Можно многое сказать и за, и противъ. Кто считаетъ высшей цѣлью жизни человѣческой развитіе, во что бы оно ни стало, какія бы оно послѣдствія ни привело,—тотъ будетъ со стороны Глафиры Львовны. Кто считаетъ высшей цѣлью жизни счастье, довольство, въ какомъ бы кругу оно ни было, и на счетъ чего бы оно ни досталось,—тотъ будетъ противъ нея. Любонька въ людской, если-бъ и узнала со временемъ о своемъ рожденіи, понятія ея были бы такъ тѣсны, душа спала бы такимъ непробуднымъ сномъ, что изъ этого ничего бы не вышло: вѣроятно, Алексѣй Абрамовичъ, чтобы вполне примириться съ совѣстью, далъ бы ей отпускную и, можетъ быть, тысячу-другую приданого: она была бы при своихъ понятіяхъ чрезвычайно счастлива, вышла бы замужъ за купца третьей гильдіи, носила бы шелковый платокъ на макушкѣ, пила бы по двѣнадцати чашекъ цвѣточнаго

чаю и народила бы цѣлую семью купчиковъ; иногда приходила бы она въ гости къ дворечихѣ Негрова и видѣла бы съ удовольствіемъ, какъ на нее съ завистью смотрятъ ея бывшія подруги. Такъ она могла бы прожить до ста лѣтъ и надѣяться, что сто извощичьихъ дрожекъ проводятъ ее на Ваганьковское кладбище. Любонька въ гостиной—совсѣмъ иное дѣло: какъ бы глупо ее ни воспитывали, она получала возможность образоваться; самая даль отъ грубыхъ понятій людской—своего рода воспитаніе. Съ тѣмъ вмѣстѣ, она должна была понять всю несообразную нелѣпность своего положенія; оскорбленія, слезы, горести ждали ее въ бельэтажѣ, и все это вмѣстѣ способствовало бы дальнѣйшему развитію духа, а, можетъ быть, съ тѣмъ вмѣстѣ, развитію чахотки. Итакъ, выбирайте сами, хорошо или худо сдѣлала М-ме Негровъ.

Брачная жизнь Алексѣя Абрамовича потекла, какъ по маслу; на всѣхъ каретныхъ гуляньяхъ являлась его четверня и блестящій экипажъ, и пышущая счастьемъ чета въ этомъ экипажѣ. Ихъ навѣрное можно было встрѣтить и въ Сокольникахъ 1-го мая, и въ Дворцовомъ саду въ Вознесенье, и на Прѣсенскихъ прудахъ въ Духовъ день, и на Тверскомъ бульварѣ почти всякій день. Зимой ѣздили они въ собраніе, давали обѣды, имѣли абонированную ложу. Но страшное однообразіе убиваетъ московскія гулянья: какъ было въ прошломъ году, такъ въ нынѣшнемъ и въ будущемъ; какъ тогда съ вами встрѣтился толстый купецъ въ великолѣпномъ кафтанѣ съ чернозубой женой, увѣшанной всякими драгоценностями, такъ и нынче непременно встрѣтится только кафтанъ постарше, борода побѣлѣе, зубы у жены почернѣе,—а все встрѣтится: какъ тогда встрѣтился хватъ съ убійственными усами и въ шутовскомъ сюртукѣ, такъ и нынче встрѣтится, нѣсколько иехудалый; какъ тогда водили на гуляньѣ подагрика, покрытаго нюхательнымъ табакомъ, такъ и нынче его поведутъ... Отъ одного этого можно запереться у себя въ комнатѣ. Алексѣй Абрамовичъ былъ человѣкъ выносливый, однако силы человѣческія сочтены: дольше десяти лѣтъ онъ не могъ протянуть, надоѣло и ему, и Глашѣ. Въ это десятилѣтіе, у нихъ родились сынъ и дочь, и они начали тяжѣть не по днямъ, а по часамъ; одѣваться не хотѣлось имъ больше, и они начали дѣлаться домосѣдами и—не знаю, какъ и для чего, а полагаю больше для всесовершеннѣйшаго покоя—рѣшились ѣхать на житье въ деревню. Это случилось года четыре прежде ученаго разговора генерала съ Дмитріемъ Яковлевичемъ.

III.

Биографія Дмитрія Яковлевича.

Разумѣется, биографія бѣднаго молодого человѣка не можетъ имѣть той занимательности, какъ биографія Алексѣя Абрамовича съ домочадцами. Мы должны изъ міра каретъ мордоре-фонсе перейти въ міръ, гдѣ заботятся о завтрашнемъ обѣдѣ, изъ Москвы переѣхать въ дальній губернской городъ, да и въ немъ не останавливаться на единственной мощеной улицѣ, по которой иногда можно ѣздить и на которой живетъ аристократія, а удалиться въ одинъ изъ немощеныхъ переулковъ, по которымъ почти никогда нельзя ни ходить, ни ѣздить, и тамъ отыскать почернѣвшій, искривившійся домикъ о трехъ окнахъ, — домикъ уѣднаго лекаря Крциферскаго, скромно стоящій между почернѣвшими и искривившимися своими товарищами. Всѣ эти домики скоро развалятся, замѣстятся новыми, и никто объ нихъ не помянетъ; а между тѣмъ, во всѣхъ нихъ развивалась жизнь, кипѣли страсти, поколѣнія смѣнялись поколѣніями, и обо всѣхъ этихъ существованіяхъ столько извѣстно, сколько о дикихъ въ Австраліи, какъ будто они человѣчествомъ оставлены внѣ закона и не признаны имъ. Но вотъ домикъ, который мы искали. Въ немъ лѣтъ тридцать жилъ добрый, честный старикъ съ своей женою. Жизнь его была постоянною битвою со всевозможными нуждами и лишеніями; правда, онъ вышелъ довольно побѣдоносно, т. е. не умеръ съ голода, не застрѣлился съ отчаянія, но побѣда досталась не даромъ: въ пятьдесятъ лѣтъ онъ былъ и сѣдъ, и худъ, и морщины покрыли его лицо, а природа одарила его богатымъ запасомъ силъ и здоровья. Не бурные порывы, не страсти, не грозные перевороты истощили это тѣло и придали ему видъ преждевременной дряхлости, а непрерывная, тяжелая, мелкая, оскорбительная борьба съ нуждою, дума о завтрашнемъ днѣ, жизнь, проведенная въ недостаткахъ и заботахъ. Въ этихъ низменныхъ сферахъ общественной жизни душа вянетъ, сохнетъ въ вѣчномъ безпокойствѣ, забываетъ о томъ, что у нея есть крылья, и вѣчно наклоненная къ землѣ, не подымаетъ взора къ солнцу.

Жизнь лекаря Крциферскаго была огромнымъ продолжительнымъ геройскимъ подвигомъ на неосвѣщенномъ поприщѣ, награда — насущный хлѣбъ въ настоящемъ и надежда не имѣть его въ будущемъ. Онъ учился на казенный счетъ въ московскомъ университетѣ и, выпущенный лекаремъ, прежде назначенія женился на нѣмкѣ, дочери какого-то провизора; приданое ея, сверхъ дробей и самоотверженной души, сверхъ любви, которую она, по нѣмецкому обычаю, сохранила на всю жизнь, состояло изъ нѣ-

сколькихъ платьевъ, пропитанныхъ запахомъ розоваго масла съ ребарбаромъ. Страстно влюбленному студенту въ голову не приходило, что онъ не имѣеть права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этихъ правъ есть свой цензъ, въ родѣ французскаго электоральнаго ценза. Черезъ нѣсколько дней послѣ свадьбы его назначили полковымъ лекаремъ въ дѣйствующую армію. Восемь лѣтъ номадной жизни вынесъ онъ, на девятый усталъ и началъ просить постояннаго мѣста. Ему дали одну изъ открывшихся ваканцій. И Круциферскій потащился съ женой и дѣтьми съ одного края Россіи въ другой и поселился въ губернскомъ городѣ NN.

Сначала онъ имѣлъ кой-какую практику. Хотя сановники и помѣщики въ губернскихъ городахъ предпочитаютъ лечиться у нѣмцевъ, но, по счастью, нѣмца (кромѣ часовщика) подъ рукой не находилось. Это былъ счастливѣйшій періодъ жизни Круциферскаго; тогда онъ купилъ свой домикъ о трехъ окнахъ, а Маргарита Карловна сюрпризомъ мужу, ко дню Якова, брата Господня, ночью обила старый диванъ и кресла ситцемъ, купленнымъ на деньги, собранныя по копейкѣ. Ситецъ былъ превосходный; на диванѣ Авраамъ три раза изгонялъ Агарь съ Измаиломъ на полъ, а Сарра грозилась; на креслахъ съ правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сарры, а съ лѣвой—ихъ головы. Но эта счастливая эпоха не долго продолжалась. Одинъ богатый помѣщикъ, село котораго было подъ самымъ городомъ, привезъ съ собою домашнего доктора, отбившаго всю практику у Круциферскаго. Молодой докторъ былъ мастеръ лечить женскія болѣзни; пациентки были отъ него безъ ума; лечилъ онъ отъ всего пивками и краснорѣчиво доказывалъ, что не только всѣ болѣзни — воспаленіе, но и жизнь есть ничто иное, какъ воспаленіе матеріи; о Круциферскомъ онъ отзывался съ убійственнымъ снисхожденіемъ; словомъ, онъ вошелъ въ моду. Весь городъ шилъ ему по канвѣ подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы, а о старомъ лекарѣ старались забыть. Правда, купцы и духовные остались вѣрными Круциферскому; но купцы никогда не бывали больны, всегда, слава Богу, здоровы, а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрѣнію терлись и мазались въ банѣ всякой дрянью, скипидаромъ, дегтемъ, муравьинымъ спиртомъ и всегда выздоравливали, или умирали черезъ нѣсколько дней. Въ обоихъ случаяхъ Круциферскому не приходилось ничего дѣлать, а смерть падала на его счетъ, и молодой докторъ всякій разъ говорилъ дамамъ: «странная вещь, вѣдь, Яковъ Ивановичъ очень хорошо знаетъ свое дѣло, а какъ не догадался употребить *t-ræ opii Sydenhamii* капель X, *solutum in aqua distillata*, да не поставилъ подъ ложечку 45 пивокъ; вѣдь, человекъ то бы былъ живъ».

Слыша латинскія слова, сама губернаторша вѣрила, что человѣкъ бы былъ живъ.

Итакъ, мало по малу, Крuciферскій былъ сведенъ на одно жалованье: оно состояло, кажется, изъ четырехъ сотъ рублей: у него было пять человѣкъ дѣтей; жизнь становилась тяжелѣе и тяжелѣе. Яковъ Ивановичъ не зналъ, какъ прокормиться: скарлатина указала ему выходъ: трое изъ дѣтей умерли другъ за другомъ, остались старшая дочь и меньшей сынъ. Мальчикъ, кажется, избѣгнулъ смерти и болѣзни своею необычайною слабостью: онъ родился преждевременно и былъ не болѣе, какъ живъ; слабый, худой, хилый и нервный, онъ иногда бывалъ не боленъ, но никогда не былъ здоровъ. Несчастія этого ребенка начались прежде его рожденія. Въ то время, какъ Маргарита Карловна была тяжела имъ, надъ ними готово было разразиться ужасное несчастіе. Губернаторъ возненавидѣлъ Крuciферскаго за то, что онъ не далъ свидѣтельства о естественной смерти застрѣленному кучеру одного помѣщика. Яковъ Ивановичъ былъ на вершокъ отъ гибели и съ какой-то кроткой, геройской грустью, самоотверженно ждалъ страшнаго удара, — ударъ прошелъ мимо головы его. Въ это тревожное время непрерывныхъ слезъ родился Митя, единственный наказанный въ дѣлѣ о найденномъ тѣлѣ кучера. Дитя это было идоломъ Маргариты Карловны: чѣмъ болѣзненнѣе, чѣмъ слабѣе оно казалось, тѣмъ упорнѣе хотѣла мать сохранить его; она, кажется, дѣлилась съ нимъ своею силой, любовь оживляла его и исторгла его у смерти. Она будто чувствовала, что онъ останется у нихъ одинъ, опора, надежда, утѣшеніе. А что же случилось съ его сестрой? Ей было лѣтъ семнадцать, когда въ NN. стоялъ пѣхотный полкъ; когда онъ ушелъ, ушла и лекарская дочь съ какимъ-то подпоручикомъ; черезъ годъ писала она изъ Кіева, просила она прощенья и благословенія и извѣщала, что подпоручикъ женился на ней; черезъ годъ еще писала она изъ Кишинева, что мужъ ее оставилъ, что она съ ребенкомъ въ крайности. Отецъ послалъ ей двадцать пять рублей. Послѣ этого, не было объ ней и вѣсти.

Когда Митя подростъ, его отдали въ гимназію; онъ учился хорошо; вѣчно застѣнчивый, кроткій и тихій, онъ былъ даже любимъ инспекторомъ, который считалъ не вовсе сообразнымъ съ своею должностью любить дѣтей. Отецъ хотѣлъ, послѣ курса, записать его въ канцелярію гражданскаго губернатора, въ чемъ ему обѣщали протектировать секретарь, у котораго онъ лечилъ безвозмездно дѣтей, вѣчно золотушныхъ. Вдругъ Митѣ открылась другая дорога. Какой-то меценатъ и тайный совѣтникъ проѣзжалъ по городу NN., отправляясь изъ деревни въ Москву. Директоръ гимназій, имѣвшій талантъ узнавать ясно прибли-

женіе тайныхъ совѣтниковъ, тотчасъ отправился просить удостоительной чести посѣщенія вертограда и разсадника отечественнаго просвѣщенія. Меценату не хотѣлось, но онъ любилъ радушные приемы и съ тѣмъ вмѣстѣ почтительные. Директоръ, въ мундирѣ и поддерживая шляпой шпагу, объяснилъ меценату подробно, отчего сѣни сыры и лѣстница покривилась (хотя меценату до этого дѣла не было); ученики были развернуты правильной колонной, учителя, сильно причесанные и съ крѣпко повязанными галстухами, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикамъ и сторожу, всего менѣе потерявшемуся. Учитель физики просилъ позволенія его превосходительства убить кролика подъ колпакомъ пневматической машины и голубя Лейденской банкой. Меценатъ просилъ ихъ пощадить, причемъ директоръ, тронутый, посмотрѣлъ на всѣхъ учителей и на всѣхъ учениковъ, какъ бы говоря: «Величіе всегда сопровождается кротостью». Голубь и кроликъ послѣ этого жили въ залавкѣ у сторожа до самаго акта, когда неумолимый учитель все-таки, къ большому удовольствію всего города, принесъ ихъ на жертву наукѣ и образованію. Затѣмъ одинъ изъ учениковъ вышелъ впередъ и учитель французскаго языка спросилъ его: «Не имѣетъ ли онъ имъ что-нибудь сказать по поводу высокаго посѣщенія разсадника наукъ?» Ученикъ тотчасъ же началъ на какомъ-то франко-церковномъ нарѣчій: «Команъ пувоннъ ну поверъ анфанъ ремерсіеръ лилюстръ визитеръ».

Глядя по сторонамъ во время этой кельто-славянской рѣчи, меценатъ обратилъ какъ-то вниманіе на болѣзненный и нѣжный видъ Мити, подозвалъ его къ себѣ, поговорилъ, приласкалъ. Директоръ сказалъ, что это отличнѣйшій ученикъ, что онъ пошелъ бы далеко, но что отецъ его не имѣетъ чѣмъ содержать его въ Москвѣ, и пр. Меценатъ былъ меценатъ, и сказалъ Митѣ, что черезъ мѣсяцъ или два поѣдетъ его управитель, что если его родители согласны, то онъ ему прикажетъ привезти Митю въ Москву и велитъ дать ему уголокъ въ своемъ флигелѣ вмѣстѣ съ дѣтьми управляющаго. Директоръ послалъ тотчасъ письмоводителя за Яковомъ Ивановичемъ. Яковъ Ивановичъ засталъ мецената, уже садящагося въ дормезъ. Старикъ былъ истинно тронуть, плакалъ, какъ дитя, и простымъ языкомъ, нескладнымъ и прерывистымъ, благодарилъ его. Меценатъ указалъ на плечистаго мужчину, помогавшаго застегивать какіе-то ремешки у кареты, и сказалъ: «Это мой управляющій, онъ повезетъ вашего сына», сказалъ и уѣхалъ, милостиво улыбнувшись.

Черезъ мѣсяцъ, кибитка съ бубенчиками выѣхала изъ воротъ Круциферскаго, и въ ней сидѣлъ Митя, покрытый одѣяломъ, увязанный и одѣтый матерью, и приказчикъ въ одномъ сюртукѣ,

потому что онъ въ пути предпочиталъ нагрѣваться изнутри. И вотъ отъ чего зависить судьба человѣка! Если-бъ меценатъ не проѣзжалъ черезъ городъ NN., Митя поступилъ бы въ канцелярію, и разказа нашего не было бы, а былъ бы Митя со временемъ старшій помощникъ правителя дѣлъ и кормилъ бы онъ своихъ стариковъ, Богъ знаетъ какими, доходами,—и отдохнули бы Яковъ Ивановичъ и Маргарита Карловна. Отъѣздъ Мити былъ переломомъ жизни стариковъ,—они остались одни: тишина, грусть еще болѣе овладѣли ихъ домикомъ. Управляющій мецената, человѣкъ не слабонервный, почувствовалъ что-то въ родѣ слезъ, когда старики разставались съ сыномъ. Бѣдный отецъ прощается не такъ, какъ богатый; онъ говорилъ сыну: «Иди, другъ мой, ищи себѣ хлѣба; я болѣе для тебя ничего не могу сдѣлать; пролагай свою дорогу и вспоминай насъ!» И увидятся ли они, найдеть ли онъ себѣ хлѣбъ,—все покрыто черной, тяжелой завѣсой... Хочетъ отецъ дать сыну на дорогу побольше, и нѣтъ возможности; онъ десять разъ разсчитываетъ, сколько можно удѣлить изъ наличныхъ восьмидесяти рублей, и все ему кажется мало. А мать сколько слезъ прольетъ надъ убогимъ узелкомъ, въ который она положила необходимѣйшія свои вещи, но понимаетъ, что всего не достаетъ, и знаетъ, что негдѣ взять... Это сцены, неизвѣстныя, мѣщанскія, скрываемыя тщательно отъ посторонняго глаза, но вопіющія и раздирающія сердце! Хорошо, что онѣ скрыты!

Молодой Круциферскій черезъ четыре года сдѣлался кандидатомъ. Не одаренный ни особенно блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображенія, онъ любовью къ наукѣ, постояннымъ прилежаніемъ вполне заслужилъ полученную имъ степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что изъ него разовьется одно изъ милыхъ германскихъ существованій,—существованій тихихъ, благородныхъ, счастливыхъ въ немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой учено-педагогической дѣятельности, въ немножко ограниченномъ семейномъ кругу, въ которомъ черезъ двадцать лѣтъ мужъ еще влюбленъ въ жену, а жена еще краснѣетъ отъ каждой двусмысленной шутки. Это—существованія маленькихъ патриархальныхъ городковъ въ Германіи, пасторскихъ домиковъ, семинарскихъ учителей, чистыхъ, нравственныхъ и незамѣтныхъ внѣ своего круга... Но будто у насъ возможна такая жизнь? Я рѣшительно думаю, что нѣтъ,—нашей душѣ несвойственна эта среда; она не можетъ утолять жажду такимъ жиденькимъ винцомъ; она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже, но въ обоихъ случаяхъ шире. (Сдѣлавшись кандидатомъ, Круциферскій сначала попытался получить мѣсто при университетѣ; потомъ думалъ пробиться частными уроками,—но всѣ попытки были напрасны: онъ уваслѣдовалъ стѣ отца удачу во всѣхъ предпріятіяхъ...

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, какъ при звукахъ литавръ и трубъ было возвѣщено о кандидатствѣ Круциферскаго, онъ получилъ письмо отъ старика, извѣщавшее его о болѣзни матери и мимоходомъ намекавшее на тѣсныя обстоятельства. Зная характеръ отца, онъ понялъ, что одна страшная крайность заставила его сдѣлать такой наемъ. Послѣднія деньги были прожиты Круциферскимъ, одно средство оставалось: у него былъ патронъ, профессоръ какой-то *гнози*, принимавшій въ немъ сердечное участіе; онъ написалъ къ нему письмо открыто, благородно, трогательно и просилъ взаймы 150 рублей. Профессоръ отвѣчалъ учтивѣйшимъ образомъ, тронулся запиской, но денегъ не прислалъ; въ *postscriptum* ѣ ученый мужъ упрекалъ самымъ милымъ образомъ Круциферскаго, что онъ не приходитъ никогда къ нему обѣдать. Записка поразила молодого человѣка,—такъ мало зналъ онъ цѣну людямъ, или, лучше сказать, деньгамъ! Ему было очень тяжело; онъ бросилъ милую записку добраго профессора на столъ, прошелся раза два по комнаткѣ и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать, слезы потихоньку скатывались со щекъ его; ему такъ живо представлялась убогая комната, и въ ней его мать страждущая, слабая, можетъ быть, умирающая,—возлѣ старикъ, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь, хочется, но она скрываетъ, чтобъ не увеличить горести мужа, а тотъ догадывается и тоже скрываетъ, боясь, что придется отказать ей... Читатель, если вы богаты, или, по крайней мѣрѣ, *обезпечены*,—принесемте глубокую благодарность небу, и да здравствуетъ полученное нами наследство! да здравствуетъ родовое и благопріобрѣтенное!

Въ эту тяжелую минуту для кандидата, отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явнымъ образомъ не столичная, вошла, снимая темный картузь съ огромнымъ козырькомъ. Козырекъ этотъ бросалъ тѣнь на здоровое, краснощекое и веселое лицо человѣка пожилыхъ лѣтъ; черты его выражали экикурейское спокойствіе и добродушіе. Онъ былъ въ поношенномъ коричневомъ сюртукѣ съ воротникомъ, какого именно тогда не носили, съ бамбуковой палкой въ рукахъ, и, какъ мы сказали, съ видомъ рѣшительнаго провинціала.

— «Вы господинъ Круциферскій, кандидатъ здѣшняго университета?»

— Я, отвѣчалъ Дмитрій Яковлевичъ:—къ вашимъ услугамъ.

— «А вотъ, господинъ кандидатъ, позвольте мнѣ сперва сѣсть; я постарше васъ, да и пришелъ пѣшкомъ».

Съ этими словами онъ хотѣлъ было сѣсть на стулъ, на которомъ висѣлъ вицъ-мундирный фракъ; но оказалось, что этотъ стулъ можетъ только выносить тяжесть фрака безъ человѣка, а

не человекъ въ сюртукѣ. Круциферскій, сконфузившись, просилъ его помѣститься на кровать, а самъ взялъ другой (и послѣдній) стулъ.

— «Я, началъ посѣтитель съ убійственною медленностью: — инспекторъ врачебной управы N., докторъ медицины Круповъ, и пришелъ къ вамъ вотъ по какому дѣлу...» — Инспекторъ былъ человекъ методическій, остановился, вынулъ большую табакерку, положилъ ее возлѣ себя, потомъ вынулъ красный платокъ и положилъ его возлѣ табакерки, потомъ бѣлый платокъ, которыми обтеръ себѣ потъ, и, нюхая табакъ, продолжалъ такимъ образомъ: — «Вчерашняго числа я былъ у Антона Фердинандовича... Мы съ нимъ одного выпуска... нѣтъ, извините, онъ вышелъ годомъ ранѣе... да, годомъ ранѣе, точно,—все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вотъ-съ я и прошу его, не можетъ ли онъ мнѣ указать хорошаго учителя въ отъѣздъ-де въ нашу губернію, кондиція, молъ, такія и такія, и вотъ, молъ, требуютъ то и то. Антонъ-атъ Фердинандовичъ и далъ мнѣ вашъ адресъ и, признаюсь, очень лестно отзывался объ васъ; а потому, если вы желаете имѣть кондицію въ отъѣздъ, то я могъ бы съ вами дѣло покончить».

Антонъ Фердинандовичъ былъ именно профессоръ-патронъ: онъ въ самомъ дѣлѣ любилъ Круциферскаго, но только не рисковалъ своими деньгами, какъ мы видѣли,—а рекомендацію всегда былъ готовъ дать.

Тяжелый докторъ Круповъ покался Круциферскому небеснымъ посланникомъ; онъ откровенно разсказалъ ему свое положеніе и заключилъ тѣмъ, что ему выбора нѣтъ, что онъ обязанъ принять мѣсто. Круповъ вытащилъ изъ кармана что-то среднее между бумажникомъ и чемоданомъ и вынулъ письмо, покоившееся въ обществѣ кривыхъ ножницъ, лапцетовъ и зондовъ, и прочелъ: «Предложите такому 2.000 рублей въ годъ и никакъ не болѣе 2.500, потому что за 3.000 рублей у моего сосѣда живетъ французъ изъ Швейцаріи. Особая комната, утромъ чай, прислуга и мытье бѣлыя, какъ обыкновенно. Обѣдать за столомъ».

Круциферскій не дѣлалъ никакихъ требованій, краснѣя, говорилъ о деньгахъ, спрашивалъ о занятіяхъ и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить въ посторонній домъ, жить у чужихъ людей. Круповъ былъ тронутъ, уговаривалъ его не бояться Негровыхъ... «Вѣдь, вамъ съ ними не дѣтей крестить; будете учить мальчика, а съ отцомъ, съ матерью видаться за обѣдомъ. Генералъ денежно васъ не обидитъ, за это я вамъ отвѣчаю; жена его вѣчно спитъ; стало, и она васъ не обидитъ, развѣ во снѣ. Домъ Негрова, повѣрьте мнѣ, не хуже... признаться, и не лучше, всѣхъ помѣщичьихъ домовъ». Словомъ, торгъ сладился:

Круциферскій шелъ въ наемъ за 2.500 рублей въ годъ. Инспекторъ былъ облѣнившійся въ провинціальной жизни человѣкъ, но однако человѣкъ. Узнавъ рядомъ горькихъ опытовъ, что всѣ прекрасныя мечты, великія слова остаются до поры до времени мечтами и словами, онъ поселился на вѣки вѣковъ въ NN и мало по малу научился говорить съ разстановкой, носить два платка въ карманѣ, одинъ красный, другой бѣлый. Ничто въ мірѣ не портитъ такъ человѣка, какъ жизнь въ провинціи. Но онъ не совсѣмъ еще вымеръ: въ глазахъ его еще попрыгивали огоньки. Многое встрепенулось въ душѣ Крупова при видѣ благороднаго, чистаго юноши; ему вспомнилось то время, когда онъ съ Антономъ Фердинандовичемъ мечталъ сдѣлать переворотъ въ мѣдицинѣ, идти пѣшкомъ въ Геттингенъ... И онъ горько улыбнулся при этихъ воспоминаніяхъ. Когда торгъ кончился, ему пришло въ голову: «хорошо ли я дѣлаю, вталкивая этого юношу въ глупую жизнь полустепнаго помѣщика?» Даже мысль дать ему своихъ денегъ и уговорить его не покидать Москвы пришла ему въ голову; лѣтъ пятнадцать тому назадъ онъ такъ бы и сдѣлалъ, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелекъ. «Судьба!» подумалъ Круповъ и утѣшился. Странно, что въ этомъ случаѣ онъ поступилъ точь въ точь, какъ съ древнѣйшихъ временъ поступаетъ человѣчество: Наполеонъ говаривалъ, что судьба—слово, не имѣющее смысла; отъ того-то оно такъ и утѣшительно.

— «Итакъ, мы дѣло сладили, сказалъ, наконецъ, инспекторъ послѣ маленькаго молчанія;—я ѣду черезъ пять дней, и буду очень радъ, если вы раздѣлите со мною тарантасъ».

IV.

Житье-бытье.

Давно извѣстно, что человѣкъ вездѣ можетъ оклиматиться, въ Лапландіи и Сенегалии. Потому дивиться собственно нечему, что Круциферскій мало по малу началъ привыкать къ дому Негрова. Образъ жизни, сужденія, интересы этихъ людей сначала поражали его, потомъ онъ сталъ равнодушнѣе, хотя и былъ далекъ отъ примиренія съ такою жизнію. Странное дѣло: въ домѣ Негрова ничего не было ни разительнаго, ни особеннаго; но свѣжему человѣку, юношѣ, какъ-то неловко, трудно было дышать въ немъ. Пустота всесовершеннѣйшая, самая многосторонняя царила въ почтенномъ семействѣ Алексѣя Абрамовича. Зачѣмъ эти люди вставали съ постели, зачѣмъ двигались, для чего жили,—трудно

было бы отвѣчать на эти вопросы. Впрочемъ, и нѣтъ нужды на нихъ отвѣчать. Добрые люди эти жили потому, что родились и продолжали жить по чувству самосохраненія. Какія тутъ дѣли, да заднія мысли?.. Это все изъ нѣмецкой философіи! Генераль вставалъ въ 7 часовъ утра и тотчасъ появлялся въ залу съ толстымъ черешневымъ чубукомъ; вошедшій незнакомецъ могъ бы подумать, что проекты, соображенія первой важности бродятъ у него въ головѣ: такъ глубокомысленно курилъ онъ; но бродилъ одинъ дымъ, и то не въ головѣ, а около головы. Глубокомысленное куреніе продолжалось часъ. Алексѣй Абрамовичъ все это время тихо ходилъ по залѣ, часто останавливаясь передъ окномъ, въ которое онъ превнимательно всматривался, щурилъ глаза, морщилъ лобъ, дѣлалъ недовольную мину, даже кряхтѣлъ, но и это былъ такой же оптической обманъ, какъ задумчивость. Управитель долженъ былъ въ это время стоять у дверей, рядомъ съ казачкомъ. Окончивъ куренье, Алексѣй Абрамовичъ обращался къ управителю, бралъ у него изъ рукъ рапортчку и начиналъ его ругать не на животъ, а на смерть, присовокупляя всякій разъ, что «кончено, что онъ его знаетъ, что онъ умѣетъ учить мошенниковъ и для примѣра справедливости отдастъ его сына въ солдаты, а его заставитъ ходить за птицами!» Была ли это мѣра нравственной гигиены въ родѣ ежедневныхъ обливаній холодной водой, мѣра, посредствомъ которой онъ поддерживалъ страхъ и повиновеніе своихъ вассаловъ, или просто патріархальная привычка,—въ обоихъ случаяхъ постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушалъ отеческія наставленія съ безмолвнымъ самоотверженіемъ: слушать ихъ казалось ему такою же существенною обязанностью, сопряженной съ его должностью, какъ красть пшеницу и ячмень, сѣно и солому. «Ахъ, ты разбойникъ!» кричалъ генераль: «да тебя мало трехъ разъ повѣсить». — «Воля вашего превосходительства», отвѣчалъ съ величайшимъ спокойствіемъ управитель и смотрѣлъ своими плутовскими глазами какъ-то косвенно внизъ.

Бесѣда эта продолжалась до появленія дѣтей здороваться; Алексѣй Абрамовичъ протягивалъ имъ руку; съ ними являлась миניатюрная французенка-мадамъ, которая какъ-то уничтожалась, уходя сама въ себя, присѣдала à la Pompadour: она возвѣщала, что чай готовъ, и Алексѣй Абрамовичъ отправлялся въ диванную, гдѣ Глафира Львовна уже дожидалась его передъ самоваромъ. Разговоръ обыкновенно начинался жалобою Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессонницу; она чувствовала въ правомъ вискѣ непонятную, живую боль, которая переходила въ затылокъ и въ темя и не давала ей спать. Алексѣй Абрамовичъ слушалъ болелетень о здоровьѣ супруги довольно равнодушно, потому ли,

что онъ одинъ во всемъ родѣ человѣческомъ очень хорошо и основательно зналъ, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видѣлъ, какъ эта хроническая болѣзнь полезна здоровью Глафиры Львовны,—не знаю. За то Элиза Августовна приходила въ ужасъ, жалѣла о страдальцѣ и утѣшала ее тѣмъ, что и княгиня Р***, у которой она жила, и графиня М***, у которой она могла бы жить, если-бъ хотѣла,—точно такъ же страдаютъ живою болью и называютъ ее *tic douloureux*. Во время чая приходилъ поваръ; благородная чета начинала заниматься заказомъ обѣда и бранить за вчерашній, хотя блюда и были вынесены пусты. Поваръ имѣлъ то преимущество передъ приказчикомъ, что его ежедневно бранилъ баринъ, какъ и приказчика, да, сверхъ того, бранила барыня.

Послѣ чая, Алексѣй Абрамовичъ отправлялся по полямъ. Нѣсколько лѣтъ живъ безвыѣздно въ деревнѣ, онъ немного успѣлъ въ агрономіи, напалдалъ на мелкіе беспорядки, пуще всего любилъ дисциплину и видъ безусловной покорности. Воровство самое наглое совершалось почти передъ глазами, и онъ большей частію не замѣчалъ, а когда замѣчалъ, то такъ неловко принимался за дѣло, что всякій разъ оставался въ дуракахъ. Какъ настоящій глава и отецъ общины, онъ часто говаривалъ: «вору спущу, мошеннику спущу, но ужъ дерзости не могу стерпѣть»,—въ этомъ у него состоялъ патриархальный *point l'honneur!* Глафира Львовна, кромѣ чрезвычайныхъ случаевъ, никогда не выходила изъ дома пѣшкомъ, разумѣется, исключая стараго сада, который отъ запущенности сдѣлался хорошимъ и который начинался отъ самаго балкона; даже собирать грибы ѣздила она всегда въ коляскѣ. Это дѣлалось слѣдующимъ образомъ. Съ вечера отдавался приказъ старостѣ, чтобъ собрать легионъ мальчишекъ и дѣвчонокъ съ кузовками, корзинками, плетушками и проч. Глафира Львовна съ французенкой ѣхала шагомъ по просѣлкѣ, а саранча босыхъ, полуголыхъ и полусытыхъ дѣтей, подъ предводительствомъ старухи птичницы, барченка и барышни, напала на масленки, волвянки, сыроѣжки, рыжики, бѣлые и всякіе грибы. Грибъ удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей къ матушкѣ-енаральшѣ; имъ изволили любоваться и ѣхали далѣе. Возвратившись домой, она всякій разъ жаловалась на усталъ и ложилась уснуть передъ обѣдомъ, употребивъ для возстановленія силъ какой-нибудь остатокъ вчерашняго ужина — барашка, телянка, поеннаго однимъ молокомъ, индѣйку, кормленую грецкими орѣхами, или что-нибудь въ этомъ родѣ, легкое и пріятное. Между тѣмъ, ужъ и Алексѣй Абрамовичъ хватилъ горькой, закусилъ, *повторилъ* и отправился прогуляться въ саду; онъ особенно въ это время любилъ пройтись

по саду и заняться оранжереей, разспрашивая обо всемъ садовникову жену, которая во всю жизнь не умѣла отличить грушъ отъ яблокъ, что не мѣшало ей имѣть довольно пріятную наружность. Въ это время, то есть, часа за полтора до обѣда, французенка занималась образованіемъ дѣтей. Что она имъ преподавала, какъ,— это покрывалось непроницаемой тайной. Отецъ и мать были довольны: кто же имѣетъ право мѣшаться въ семейныя дѣла послѣ этого?

Въ два часа подавался обѣдъ. Каждое блюдо было достаточно, чтобъ убить человѣка, привыкнувшаго къ европейской пищѣ. Жиръ, жиръ и жиръ, едва смягчаемый капустой, лукомъ и солеными грибами, переработывался, при помощи достаточнаго количества мадеры и портвейна, въ упругое тѣло Алексѣя Абрамовича, въ расплывшееся Глафиры Львовны и въ сморщившееся тѣльцо, едва покрывавшее косточки, Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала отъ Алексѣя Абрамовича въ употребленіи мадеры (и замѣтимъ притомъ шагъ впередъ XIX вѣка: въ XVIII вѣкѣ нанимавшейся мадамъ не было бы предоставлено право пить вино за столомъ); она увѣряла, что въ ея родинѣ (въ Лозаннѣ) у нихъ былъ виноградникъ, и она дома всегда, вмѣсто кваса, пила мадеру изъ своихъ лозъ, и тогда еще привыкла къ ней. Послѣ обѣда, генералъ ложился на полчаса уснуть на кушеткѣ въ кабинетѣ и спать гораздо долѣе, а Глафира Львовна отправлялась съ мамамой въ диванную. Мамама говорила непрерывно, а Глафира Львовна засыпала подъ ея безконечные рассказы. Ипогда, для разнообразія, Глафира Львовна посылала за женой сельскаго священника. Та являлась — какое-то дикое, несвязное существо, вѣчно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна цѣлые часы проводила съ ней и потомъ говорила мадамъ: ah, comme elle est bête, insupportable! И въ самомъ дѣлѣ, пошадья была непроходимо глупа. Потомъ чай, потомъ ужинъ около десяти часовъ, послѣ ужина семья начинала зѣвать всѣми ртами. Глафира Львовна замѣчала, что въ деревнѣ надобно жить по-деревенски, т. е. раньше ложиться спать,—и семья расходилась. Въ одиннадцать часовъ домъ храпѣлъ отъ конюшни до чердака. Изрѣдка наѣзжалъ какой-нибудь сосѣдъ,—Негровъ подъ другой фамиліей, или старуха тетка, проживавшая въ губернскомъ городѣ и поврежденная на желаніи отдать дочерей замужъ. Тогда на мигъ порядокъ жизни измѣнялся; но гости уѣзжали,—и все шло попрежнему.

Разумѣется, что за всѣми этими занятіями все еще оставалось довольно времени, которое не знали куда дѣть, особенно въ ненастную осень, въ долгіе зимніе вечера. Весь талантъ французенки былъ употребляемъ на то, чтобъ конопа-

тить эти дыры во времени. Надобно замѣтить, что ей было что поразсказать. Она пріѣхала въ послѣдніе годы царствованія покойной Императрицы Екатерины портнихой при французской труппѣ; мужъ ея былъ *второй любовникъ*, но, по несчастію, климатъ Петербурга оказался для него губителенъ, особенно послѣ того, какъ, оберегая съ большимъ усердіемъ, чѣмъ нужно женатому человѣку, одну изъ артистокъ труппы, онъ былъ гвардейскимъ сержантомъ выброшенъ изъ окна второго этажа на улицу. Вѣроятно, падая, онъ не взялъ достаточныхъ предосторожностей отъ сырого воздуха, ибо съ той минуты сталъ кашлять, кашлялъ мѣсяца два, а потомъ пересталъ по очень простой причинѣ,—потому-что умеръ. Элиза Августовна овдовѣла именно въ то время, когда мужъ всего нужнѣе, т. е. лѣтъ въ тридцать... Поплакала, заплакала и пошла сначала въ сестры милосердія къ одному подагрику, а потомъ въ воспитательницы дочери одного вдовца, очень высокаго ростомъ, отъ него перешла къ одной княгинѣ и т. д.,—всего не перескажешь. Довольно, что она умѣла чрезвычайно хорошо прилаживаться къ нравамъ дома, въ которомъ находилась, вкрадывалась въ довѣренность, дѣлалась необходимой, исполняла тайныя и явныя порученія, хранила на всѣхъ дѣйствіяхъ какую-то печать кліентизма и уничиженія, уступала мѣсто, предупреждала желанія. Словомъ, чужія лѣстницы были для нея не круты, чужой хлѣбъ не горекъ. Она, хохотавъ и вязавъ чулокъ, жила себѣ беззаботно и припѣваючи; ей, вѣчно втянутой во всѣ маленькія исторіи, совершающіяся между дѣвичьей и спальней, никогда не приходило въ голову о жалкомъ ея существованіи. Итакъ, въ скучное время, Элиза Августовна тѣшила своими разсказами, тогда какъ Алексѣй Абрамовичъ раскладывалъ гран-пасьянсъ, а Глафира Львовна, ничего не дѣлая, сидѣла на диванѣ. Элиза Августовна знала тысячи похощеній и интригъ о своихъ *благодѣтеляхъ* (такъ она называла всѣхъ, у кого жила при дѣтяхъ); повѣствовала ихъ она съ значительными добавленіями и приписывая себѣ во всякомъ разсказѣ главную роль, худшую или лучшую—все равно. Алексѣй Абрамовичъ еще съ большимъ интересомъ, нежели его жена, слушалъ скандальныя хроники воспитательницы своихъ дѣтей и хохоталъ отъ всего сердца, находя, что это кладъ, а не мадамъ. Почти такъ тянулся день за днемъ, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшеніями дней, увеличеніемъ дней, именинами и рожденіями, а Глафира Львовна, удивляясь, говорила: «Ахъ, Боже мой, вѣдь послѣ-завтра Рождество, а кажется, давно ли выпалъ снѣгъ!»

Но гдѣ же во всемъ этомъ Любонька, бѣдная дѣвушка, которую воспитывали добрые Негровы? Мы ее совсѣмъ забыли. Въ

этомъ она больше насъ виновата: она являлась, большею частью, молча, въ кругу патріархальной семьи, не принимая почти никакого участія во всемъ происходившемъ и принося самымъ этимъ явный диссонансъ въ слаженный аккордъ прочихъ лицъ семейства. Въ этой дѣвицѣ было много страннаго: съ лицомъ, полнымъ энергіи, сопрягались апатія и холодность, ничѣмъ невозмущаемыя, повидимому; она до такой степени была равнодушна ко всему, что самой Глафирѣ Львовнѣ было это невыносимо подѣ часъ, и она звала ее ледяной [англичанкой, хотя андалузскія свойства генеральши тоже подлежали большому сомнѣнію. Лицомъ она была похожа на отца, только темноглубые глаза наслѣдовала она отъ Дуни; но въ этомъ сходствѣ была такая необъятная противоположность, что два лица эти могли бы послужить Лафатеру предметомъ новаго тома кудрявыхъ фразъ: жесткія черты Алексѣя Абрамовича, оставаясь тѣми же, искуплялись, такъ сказать, въ лицѣ Любоньки; по ея лицу можно было понять, что въ Негровѣ могли быть хорошія возможности, задавленные жизнію и погубленные ею; ея лицо было объясненіемъ лица Алексѣя Абрамовича: человѣкъ, глядя на нее, примирялся съ нимъ. Но отчего же она всегда была задумчива? отчего небольшое веселило ее? отчего она любила сидѣть одна у себя въ комнатѣ? Много было на это причинъ, и внутреннихъ и внѣшнихъ,—начнемъ съ послѣднихъ.

Положеніе ея въ домѣ генерала не было завидно не потому, чтобы ее хотѣли гнать или тѣснить, а потому, что исполненные предрасудковъ и лишеныя деликатности, которую даетъ одно развитіе, эти люди были безсознательно грубы. Ни генераль, ни его супруга не понимали страннаго положенія Любоньки у нихъ въ домѣ и усугубляли тягость его безъ всякой нужды, касаясь до нѣжнѣйшихъ фибръ ея сердца. Жесткая и отчасти надменная натура Негрова, часто вовсе безъ намѣренія, глубоко оскорбляла ее, а потомъ онъ оскорблялъ ее и съ намѣреніемъ, но вовсе не понимая, какъ важно вліяніе иного слова на душу болѣе нѣжную, нежели у его управителя, и какъ надобно было быть осторожнымъ ему съ беззащитной дѣвушкой, дочерью и не дочерью, живущей у него по праву и по благодѣянію. Эта деликатность была невозможна для такого человѣка, какъ Негровъ; ему и въ голову не приходило, чтобы эта дѣвочка могла обидѣться его словами: что *она такое*, чтобы обижаться? Алексѣй Абрамовичъ, желая укрѣпить болѣе и болѣе любовь Любоньки къ Глафирѣ Львовнѣ, часто повторялъ ей, что она всю жизнь обязана Богу молить за его жену, что ей одной обязана она всемъ своимъ счастьемъ, что безъ нея она была бы не барышней, а горничной. Онъ въ самыхъ мелочныхъ случаяхъ давалъ ей чувствовать, что

хотя она воспитывалась такъ же, какъ его дѣти, но что между ними огромная разница. Когда ей миновало шестнадцать лѣтъ, Негровъ смотрѣлъ на всякаго неженатаго человѣка, какъ на годнаго жениха для нея. Засѣдатель ли прїѣзжалъ съ бумагой изъ города, доходилъ ли слухъ о какомъ-нибудь мелкопомѣстномъ сосѣдѣ, Алексѣй Абрамовичъ говорилъ при бѣдной Любонькѣ: «Хорошо, кабы посватался засѣдатель за Любу, право, хорошо, и мнѣ бы съ руки, да и ей чѣмъ не партія? Ей не графа же ждать!»

Глафира Львовна еще менѣе не тѣснила Любоньки, даже въ иныхъ случаяхъ по своему баловала ее: заставляла сытую ѣсть, давала не во время варенье, и проч.; но и отъ нея бѣдная много терпѣла. Глафира Львовна считала себя обязанною каждой вновь знакомившейся дамѣ представлять Любоньку, присовокупляя: «это сиротка, воспитывающаяся съ моими малютками», потомъ начинала шептать. Любонька догадывалась, о чемъ рѣчь, блѣднѣла, сторала отъ стыда, особенно, когда провинціальная барыня, выслушавъ тайное поясненіе, устремляла на нее дерзкій взглядъ, сопровождая его двусмысленной улыбкой. Въ послѣднее время, Глафира Львовна немного перемѣнилась къ сироткѣ; ее начала посѣщать мысль, которая впоследствии могла развиться въ ужасныя гоненія Любонькѣ: не смотря на всю материнскую слѣпоту, она какъ-то разглядѣла, что ея Лиза—толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но съ какимъ-то прибавленіемъ глупаго выраженія, будетъ всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой, сверхъ красоты, самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ея. Увидѣвъ это, она совершенно была согласна съ Алексѣемъ Абрамовичемъ, что если подвернется какой-нибудь секретарикъ добренькій, или засѣдатель, тоже добренькій, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видать.

Сверхъ сказаннаго, ее тѣснило и всеокружающее. Ея отношенія къ дворнѣ, среди которой жила ея *кормилица*, были неловки. Горничныя смотрѣли на нее, какъ на выскочку, и, преданныя аристократическому образу мыслей, считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же онѣ убѣдились въ чрезвычайной кротости Любоньки, въ ея невзыскательности, когда увидѣли, что она никогда не ябедничаетъ на нихъ Глафирѣ Львовнѣ, тогда она была совершенно потеряна въ ихъ мнѣніи, и онѣ почти вслухъ, въ минуты негодованія, говорили: «Холопку какъ ни одѣвай, все будетъ холопка: осанки, виду барственнаго совѣтъ нѣтъ». Всѣ эти мелочи—не стоящія вниманія съ точки зрѣнія вѣчности; но прошу того сказать, кто испыталь на себѣ рядъ ничтожныхъ, нечистыхъ названій, оскорбленій,—тотъ, или, лучше, та пусть скажетъ, легки они, или нѣтъ.

Къ довершенію бѣдствій Любоньки, пріѣзжала иногда проживавшая въ губернскомъ городѣ тетка Алексѣя Абрамовича съ тремя дочерьми. Старуха—злая, полубезумная и ханжа—не могла видѣть несчастную дѣвушку и обращалась съ нею возмутительно. «Съ какой стати, матушка», говорила она, покачивая головой: «принарядилась такъ? а? Скажите, пожалуйста! Да васъ, сударыня, можно принять за равную моимъ дочерямъ! Глафира Львовна, для чего вы ее такъ балуете? Вѣдь Марѳушка, родная тетка ея, у меня птичницей, рабыня моя; а это съ какой стати, право? Да и Алексѣй-то, старый грѣшникъ, постыдился бы добрыхъ людей!» Эти ругательныя замѣчанія она заключала всякій разъ молитвою, чтобъ господь Богъ простилъ ея племяннику грѣхъ рожденія Любоньки. Дочери тетки,—три провинціальныя граціи, изъ которыхъ старшая года два-три уже стояла на роковомъ двадцать девятомъ году,—если не говорили съ такою патріархальною простотою, то давали въ каждомъ словѣ чувствовать Любѣ всю снисходительность свою, что онѣ удостоиваютъ ее своей лаской. Любонька при людяхъ не показывала, какъ глубоко ее оскорбляютъ подобныя сцены, или, лучше, люди, окружавшіе ее, не могли понять и видѣть прежде, нежели имъ было указано и растолковано; но, уходя въ свою комнату, она горько плакала... Да, она не могла стать выше такихъ обидъ,—да и врядъ ли это возможно дѣвушкѣ въ ея положеніи. Глафирѣ Львовнѣ было жаль Любоньку; но взять ее подъ защиту, показать свое неудовольствіе—ей и въ голову не приходило; она ограничивалась обыкновенно тѣмъ, что давала Любонькѣ двойную порцію варенья, и потомъ, проводивъ съ чрезвычайной лаской старуху и тысячу разъ повторивъ, чтобъ *chère tante* ихъ не забывала, она говорила французенкѣ, что она ее терпѣть не можетъ и что, всякій разъ послѣ ея посѣщенія, чувствуетъ нервное разстройство и живую боль въ лѣвомъ вискѣ, готовую перейти въ затылокъ.

Нужно ли говорить, что воспитаніе Любоньки было сообразно всему остальному? Кромѣ Элизы Августовны, никто не училъ ее; сама же Элиза Августовна занималась съ дѣтьми одной французской грамматикой, не смотря на то, что тайна французскаго правописанія ей не далась, и она до сѣдыхъ волосъ писала съ большими промахами. Кромѣ грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочемъ, рассказывала, что у какой-то княгини приготовила двухъ сыновей въ университетъ. Книгъ въ домѣ Негрова водилось немного. У самого Алексѣя Абрамовича ни одной; за то у Глафиры Львовны была библіотека; въ диванной стоялъ шкафъ; верхній этажъ его былъ занятъ никогда неупотреблявшимся параднымъ чайнымъ сервизомъ, а нижній—книгами; въ немъ было съ полсотни французскихъ романовъ; часть ихъ тѣшила и обра-

зовывала въ незапамятныя времена графиню Мавру Ильинишну, остальные купила Глафира Львовна въ первый годъ послѣ выхода замужъ, она тогда все покупала: кальянъ для мужа, портфель съ видами Берлина, отличный ошейникъ съ золотымъ замочкомъ... Въ числѣ этихъ ненужностей, купила она десятка четыре модныхъ книгъ; между ними попались двѣ-три англійскія, также переѣхавшія въ деревню, не смотря на то, что не только въ домѣ Негрова, но на четыре географическія мили кругомъ никто не зналъ по-англійски. Ихъ она взяла за лондонскій переплетъ; переплетъ былъ дѣйствительно очень хорошъ. Глафира Львовна охотно позволяла Любонькѣ брать книги, даже поощряла ее къ этому, говоря, что и она страстно любитъ чтеніе и очень жалѣетъ, что многосложныя заботы по хозяйству и воспитанію не оставляютъ ей времени почитать. Любонька читала охотно, внимательно; но особеннаго пристрастія къ чтенію у ней не было: она не настолько привыкла къ книгамъ, чтобъ онѣ ей сдѣлались необходимы; ей что-то все казалось вяло въ нихъ, даже Вальтеръ-Скоттъ наводилъ подъ часъ на Любоньку страшную скуку.

Однакожъ, бесплодность среды, окружавшей молодую дѣвушку, не подавила ея развитія,—совсѣмъ напротивъ; пошлыя обстоятельства, въ которыхъ она находилась, скорѣе способствовали усиленію мощнаго роста. Какъ? Это тайна женской души. Дѣвушка или съ самаго начала такъ прилаживается къ окружающему ее, что ужъ въ четырнадцать лѣтъ кокетничаетъ, сплетничаетъ, дѣлаетъ глазки проѣзжающимъ мимо офицерамъ, замѣчаетъ, не крадутъ ли горничныя чай и сахаръ, и готовится въ почтенныя хозяйки дома и въ строгія матери, или съ необычайною легкостью освобождается отъ грязи и сора, побѣждаетъ внѣшнее внутреннимъ благородствомъ, какимъ-то откровеніемъ постигаетъ жизнь и пріобрѣтаетъ тактъ, хранящій, напутствующій ее. Такое развитіе почти неизвѣстно мужчинѣ; нашего брата учать, учать и въ гимназіяхъ, и въ университетахъ, и въ бильярдныхъ, и въ другихъ болѣе или менѣе педагогическихъ заведеніяхъ, а все не ближе, какъ лѣтъ въ тридцать пять пріобрѣтаемъ, вмѣстѣ съ потерею волосъ, силъ, страстей, ту степень развитія и пониманья, которая у женщины впередъ идетъ, идетъ объ руку съ юностью, съ полнотою и свѣжестью чувствъ.

Любонькѣ было двѣнадцать лѣтъ, когда нѣсколько словъ, изъ рукъ вонъ жесткихъ и грубыхъ, сказанныхъ Негровымъ въ минуту отеческой досады, въ нѣсколько часовъ воспитали ее, дали ей толчекъ, послѣ котораго она не останавливалась. Съ двѣнадцати лѣтъ эта головка, покрытая темными кудрями, стала работать; кругъ вопросовъ, возбужденныхъ въ ней, былъ не великъ, совершенно личенъ, тѣмъ болѣе она могла сосредоточиваться на

нихъ; ничто внѣшнее, окружающее, не занимало ее; она думала и мечтала, мечтала для того, чтобъ облегчить свою душу, и думала для того, чтобъ понять свои мечты. Такъ прошло пять лѣтъ. Пять лѣтъ въ развитіи дѣвушки — огромная эпоха; задумчивая, скрытно-пламенная, Любонька въ эти пять лѣтъ стала чувствовать и понимать такія вещи, о которыхъ добрые люди часто не догадываются до гробовой доски; она иногда боялась своихъ мыслей, упрекала себя за свое развитіе,—но не уснула дѣятельности своего духа. Некому было ей сообщить все занимавшее ее, все собиравшееся въ груди; подъ конецъ, не имѣя силы носить всего въ себѣ, она попала на мысль, очень обыкновенную у дѣвушки: она стала записывать свои мысли, свои чувства. Это было нѣчто въ родѣ журнала; для того, чтобъ познакомить васъ съ нею, выписываемъ изъ этого журнала слѣдующія строки.

«Вчера вечеромъ сидѣла я долго подъ окномъ: ночь была теплая, въ саду такъ хорошо... Не знаю, отчего мнѣ все дѣлалось грустнѣе и грустнѣе, будто темная туча поднялась изъ глубины души; мнѣ было такъ тяжело, что я плакала, горько плакала... У меня есть отецъ и мать,—но я сирота: я одна одиноконька на всемъ бѣломъ свѣтѣ, я съ ужасомъ чувствую, что *никого не люблю*. Это страшно! На кого ни посмотришь, всѣ любятъ кого-нибудь: мнѣ всѣ чужіе,—хочу любить и не могу. Мнѣ иногда кажется, что я люблю Алексѣя Абрамовича, Глафиру Львовну, Мишу, сестру,—но я себя обманываю. Алексѣй Абрамовичъ такъ жестко обращается со мной, онъ мнѣ больше чужой, нежели Глафира Львовна; но онъ отецъ мой: развѣ дѣти судятъ своего отца? развѣ они любятъ его за что-нибудь; его любятъ за то, что онъ отецъ,— я не могу. Сколько разъ давала я себѣ слово съ кротостью слушать его несправедливые упреки, не могу привыкнуть... Какъ только Алексѣй Абрамовичъ становится жестокъ, мое сердце бьется сильнѣе, и, кажется, если-бъ я дала себѣ волю, то отвѣчала бы ему съ той же жесткостью... Любовь мою къ матери у меня испортили, отняли: едва четыре года, какъ я узнала, что она моя мать: мнѣ было поздно привыкнуть къ мысли, что у меня есть мать: я ее любила, какъ кормилицу... Ее-то я люблю, но, боюсь признаться, мнѣ неловко съ ней: я должна многое скрывать, говоря съ нею: это мѣшаетъ, это тяготитъ; надобно все говорить, когда любишь: мнѣ съ нею несвободно: добрая старушка, она больше дитя, нежели я: да къ тому же, она привыкла звать меня барышней, говорить мнѣ *вы*,—это почти тяжелѣе грубаго языка Алексѣя Абрамовича. Я молилась о нихъ и о себѣ, просила Бога, чтобъ Онъ очистилъ мою душу отъ гордости, смирилъ бы меня, ниспослалъ бы любовь, но любовь не снизошла въ мое сердце».

Через недѣлю.—«Неужели всѣ люди похожи на *нихъ*, и всездъ такъ живутъ, какъ въ этомъ домѣ? Я никогда не оставляла дома Алексѣя Абрамовича, но мнѣ кажется, что можно лучше жить даже въ деревнѣ; иногда мнѣ невыносимо тяжело съ ними,—или я одичала, сидя все одна? То ли дѣло, какъ уйду въ липовую аллею, да сяду на лавочкѣ въ концѣ ея и смотрю въ даль,—тогда мнѣ хорошо, я забываю ихъ; не то, чтобъ весело, скорѣе грустно,—но хорошо грустно... Подъ горою село; люблю я эти бѣдныя избы крестьянъ, рѣчку, текущую возлѣ, и рощу вдали; я цѣлые часы смотрю, смотрю и прислушиваюсь: то пѣсня раздастся вдали, то стукъ цѣповъ, то лай собакъ и скрипъ телегъ... А тутъ, лишь только увидятъ мое бѣлое платье, бѣгутъ ко мнѣ крестьянскіе мальчишки, приносятъ мнѣ землянику, рассказываютъ всякій вздоръ; и я слушаю ихъ, и мнѣ не скучно. Какія славныя лица у нихъ, открытыя, благородныя! кажется, если-бъ ихъ воспитать такъ, какъ Мишу, что за люди изъ нихъ вышли бы! Они приходятъ иногда къ Мишѣ на господскій дворъ, только я прячусь тамъ отъ нихъ: наши дворовые и сама Глафира Львовна такъ грубо обращаются съ ними, что у меня сердце кровью обливается; они, бѣдняжки, стараются всѣмъ на свѣтѣ услужить брату, бѣгаютъ, ловятъ ему бѣлокъ, птицъ,—а онъ обижаетъ ихъ... Странно, Глафира Львовна пречувствительная, плачетъ, когда рассказываютъ что-нибудь печальное, а иногда я удивлялась ея жестокости; она, какъ будто стыдясь, всегда говоритъ: «они этого не понимаютъ, съ ними нельзя обходиться по-человѣчески, тотчасъ забудутся». Мнѣ не вѣрится: видно крестьянская кровь моей матери осталась въ моихъ жилахъ! Я всегда съ крестьянками говорю, какъ съ другими, какъ со всѣми, и онѣ меня любятъ, носятъ мнѣ топленое молоко, соты; правда, онѣ мнѣ не кланяются въ поясъ, какъ Глафирѣ Львовнѣ, зато встрѣчаютъ всегда съ веселымъ видомъ, съ улыбкой... Не могу никакъ понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всѣхъ гостей, которые ѣздятъ къ намъ изъ губернскаго города и изъ сосѣдства, и гораздо умнѣе ихъ; а вѣдь, тѣ учились, и все—помѣщики, чиновники, а такіе все противные...»

Вѣроятно ли, чтобъ дѣвушка, воспитанная въ патриархальной семьѣ Негрова, лѣтъ семнадцати отъ роду, никуда не выѣзжавшая, мало читавшая, еще менѣе видѣвшая, такъ чувствовала?—За фактическую достовѣрность журнала отвѣчаетъ совѣсть собиравшаго документы; за психическую позвольте вступитья мнѣ. Странное положеніе Любоньки въ домѣ Негрова вы знаете; она, отъ природы одаренная энергіей и силой, была оскорбляема со всѣхъ сторонъ двусмысленнымъ отношеніемъ ко всей семьѣ, положеніемъ своей матери, отсутствіемъ всякой деликатности въ отцѣ, считавшемъ, что вина ея рожденія падаетъ не на него, а

на нее, наконецъ, всей дворней, которая, съ свойственнымъ лакеямъ аристократическимъ направлениемъ, съ ироніей смотрѣла на Дуню. Куда же было дѣться Любонькѣ, отовсюду отталкиваемой? Она, можетъ быть, бѣжала бы въ полкъ, или не знаю куда, если-бъ она была мужчиной; но дѣвушкой она бѣжала въ самоѹ-себя; она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли; когда, мало по малу, часть бродившаго въ ея душѣ стала осѣдать, когда не было удовлетворенія естественной, сильной потребности высказаться кому-нибудь, — она схватила перо, она стала писать, то-есть, высказывать, такъ сказать, самой себѣ заимавшее ее, и тѣмъ облегчить свою душу.

Немного надобно провицательности, чтобъ предвидѣть, что встрѣча Любоньки съ Крциферскимъ при тѣхъ обстоятельствахъ, при которыхъ они встрѣтились, даромъ не пройдетъ. Едва многолѣтнія усилія воспитанія и свѣтская жизнь достигаютъ до притупленія въ молодыхъ людяхъ способности и готовности любить. Любонька и Крциферскій не могли не замѣтить другъ друга: они были одни, они были въ стени... Долгое время застѣнчивый кандидатъ не смѣлъ сказать съ Любонькой двухъ словъ; судьба ихъ познакомила молча. Первое, что сблизило молодыхъ людей, была отеческая простота въ обращеніи Негрова съ своими домашними и съ прислугой. Любонька цѣлой жизнию, какъ сама высказала, не могла привыкнуть къ грубому тону Алексѣя Абрамовича; само собою разумѣется, что его выходки дѣйствовали еще сильнѣе въ присутствіи посторонняго; ея пылающія щеки и собственное волненіе не помѣшали, однакожъ, ей разглядѣть, что патріархальныя манеры дѣйствуютъ точно такъ же и на Крциферскаго. Спустя долгое время, и онъ, въ свою очередь, замѣтилъ то же самое; тогда между ними устроилось тайное пониманье другъ друга; оно устроилось прежде, нежели они помѣнились двумя-тремя фразами. Какъ только Алексѣй Абрамовичъ начиналъ *шнынять* надъ Любонькой, или поучать уму и нравственности какого-нибудь шестидесятилѣтняго Спирьку, или сѣдаго, какъ лунь, Матюшку, страдающій взглядъ Любоньки, долго прикованный къ полу, невольно обращался на Дмитрія Яковлевича, у котораго дрожали губы и выходили пятна на лицѣ. Онъ точно также, чтобъ облегчить тяжело-непріятное чувство, искалъ украдкой прочесть на лицѣ Любоньки, что дѣлается въ душѣ ея. Она сначала не думала, куда поведутъ эти симпатическіе взгляды, ихъ, больше нежели кого-нибудь, потому что во всемъ ихъ окружавшемъ не было ничего, что могло бы не только перевѣсить, но держать въ предѣлахъ, развлекать возникающую симпатію; совѣтъ напротивъ, совершенная чуждость остальныхъ лицъ способствовала ея развитію.

Я никакъ не намѣренъ рассказывать вамъ слово въ слово повѣсть любви моего героя; мнѣ музы отказали въ способности описывать любовь:

О, ненависть, тебя пою!

Скажу вамъ вкратцѣ, что черезъ два мѣсяца послѣ водворенія въ домъ Негрова, Круциферскій, отъ природы нѣжный и восторженный, былъ безумно, страстно влюбленъ въ Любоньку. Любовь его сдѣлалась средоточіемъ, около котораго расположились всѣ элементы его жизни; ей онъ подчинилъ все: и свою любовь къ родителямъ, и свою науку,—словомъ, онъ любилъ, какъ можетъ любить нервная, романтическая натура, любилъ какъ Вертеръ, какъ Владиміръ Ленскій. Долго не признавался онъ самъ себѣ въ новомъ чувствѣ, охватившемъ всю грудь его, еще долѣе не высказывалъ его ей, даже не смѣлъ объ этомъ думать,—по большей части и не слѣдуетъ думать: такія вещи дѣлаются сами собою.

Однажды послѣ обѣда, когда Негровъ въ кабинетѣ, а Глафира Львовна въ диванной отдыхали, въ залѣ сидѣла Любонька, и Круциферскій читалъ ей вслухъ стихотворенія Жуковскаго. До какой степени опасно и вредно для молодого человѣка читать молодой дѣвицѣ что-нибудь, кромѣ курса чистой математики,—это рассказала на томъ свѣтѣ Франческа-да-Римини Данту, вертясь въ проклятомъ вальсѣ della bufera infernale: она рассказала, какъ перешла отъ чтенія къ поцѣлюю, и отъ поцѣлюя къ трагической развязкѣ. Наши молодые люди этого не знали, и уже нѣсколько дней раздували свою любовь Жуковскимъ, котораго привезъ кандидатъ. Пока они читали «Ивиковы Журавли»,—все шло хорошо, но, открывъ убійцу по этому дѣлу, они перешли къ «Алинѣ и Альсиму»,—тогда случилось вотъ что. Круциферскій, прочитавъ дрожащимъ голосомъ первую строфу, отеръ съ лица своего потъ и, задыхаясь, осилилъ еще слѣдующіе стихи:

«Когда случится жизни въ цвѣтѣ
Сказать душой
Ему: ты будь моя на свѣтѣ»,—

остановился и зарыдалъ въ три ручья... Книга выпала у него изъ рукъ, голова склонилась,—и онъ рыдалъ, рыдалъ безумно, рыдалъ, какъ только можетъ рыдать человѣкъ, въ первый разъ влюбленный. «Что съ вами?» спросила Любонька, у которой тоже сердце билось сильно, и слезы навернулись на глазахъ. «Что съ вами?» повторила она, боясь всей душой отвѣта. Круциферскій схватилъ ея руку, и, одушевленный какой-то новой, невѣдомой силой, не смѣя впрочемъ поднять глазъ, сказалъ ей: «Будьте,

будьте моей Алиной!.. я... я...» Больше онъ не могъ ничего вымолвить. Любонька тихо отдернула свою руку; ея щеки пылали, она заплакала и вышла вонъ. Круциферскій не сдѣлалъ ничего, чтобъ остановить ее; врядъ ли даже желалъ онъ этого. Боже мой! думалъ онъ, что я надѣлалъ... Но она такъ тихо, такъ кротко вынула свою руку... И онъ опять плакалъ, какъ ребенокъ.

Вечеромъ въ тотъ день, Элиза Августовна сказала, шутя, Круциферскому: «Вы вѣрно влюблены? разсѣянны, печальны...» Круциферскій покраснѣлъ до ушей. «Видите, какая я мастерица отгадывать; не хотите ли, я вамъ загадаю на картахъ?» Дмитрій Яковлевичъ испыталъ все, что можетъ испытать злѣйшій преступникъ, не знающій, что извѣстно производящему слѣдствіе, и на что онъ намекаетъ. «Ну, что же, хотите?» спрашивала неотвязчивая француженка.

— «Сдѣлайте одолженіе», отвѣчалъ молодой человѣкъ.

И вотъ Элиза Августовна начала съ какой-то демонической улыбкой раскладывать карты, приговаривая: «А вотъ дама de vos pensées... да вы пресчастливый: она легла возлѣ вашего сердца... Поздравляю, поздравляю... возлѣ червонный тузъ... Она васъ очень любитъ... Это что?—не смѣетъ вамъ сказать. Да вы что за жестокій кавалеръ, заставляете ее страдать!» и проч. При каждомъ словѣ Элиза Августовна устремляла на него пронизательные глазки свои и радовалась отъ всей души пыткѣ, которой подвергала несчастнаго молодого человѣка. «Rauvge jeune homme, она васъ не заставитъ такъ страдать,—ну, гдѣ же найти такую каменную душу...—Да вы говорили ли когда-нибудь ей о вашей любви? Вѣрно, нѣтъ!»—Круциферскій блѣднѣлъ, краснѣлъ, синѣлъ, желтѣлъ и, наконецъ, спасся бѣгствомъ. Пришедши къ себѣ въ комнату, онъ схватилъ листъ бумаги; сердце его билось; онъ восторженно, увлекательно изливалъ свои чувства; это было письмо, поэма, молитва; онъ плакалъ, былъ счастливъ,—словомъ, писавши, онъ испыталъ мгновенія полнаго блаженства. Эти мгновенія, обыкновенно рѣющія, какъ молнія,—лучшее, прекраснѣйшее достояніе нашей жизни, котораго мы не умѣемъ цѣнить, и, вмѣсто того, чтобъ упиваться имъ, мы торопимся, тревожные, ожидающіе все чего-то въ будущемъ...

Окончивъ посланіе, Круциферскій сошелъ внизъ. Пили чай. Любонька не выходила изъ своей комнаты, у нея болѣла голова. Глафира Львовна была особенно очаровательна, но на все никто не обратилъ вниманія. Алексѣй Абрамовичъ глубокомысленно курилъ свою трубку (вы, вѣроятно, не забыли, что его видъ былъ оптической обманъ). Элиза Августовна, проходя за своей чашкой, нашла случай сказать Круциферскому, что ей нужно съ нимъ поговорить. Разговоръ не вязался; Миша дразнилъ собаку, она

лаяла, Негровъ велѣлъ ее выгнать; наконецъ, горничная съ холстинными рукавами унесла самоваръ, Алексѣй Абрамовичъ раскладывалъ гран-пасьянсъ, Глафира Львовна жаловалась на боль въ головѣ. Крциферскій вышелъ въ залу; начинало смеркаться. Элиза Августовна была ужъ тамъ. «Когда смеркнется, выйдите на балконъ; васъ будутъ ждать», — сказала она. Крциферскій былъ ни живъ, ни мертвъ... Вѣрить ли, нѣтъ ли?.. Ему назначено свиданье; можетъ быть, она, негодующая, хочетъ высказать ему свой гнѣвъ, можетъ... И онъ выбѣжалъ въ садъ; ему показалось, что вдали, въ липовой аллеѣ, мелькнуло бѣлое платье, но идти туда онъ не смѣлъ, онъ не зналъ даже, пойдетъ ли онъ на балконъ, да развѣ для того, чтобъ отдать письмо, на одну минуту—только отдать... Но страшно вздумать, какъ взойти на балконъ... Онъ посмотрѣлъ наверхъ: въ углу балкона виднѣлось, не смотря на то, что совсѣмъ смеркло, бѣлое платье. Это она, она, грустная, задумчивая,—она, быть можетъ, любящая!... И онъ сталъ на первую ступеньку лѣстницы, которая вела изъ сада на балконъ. Какъ онъ достигнулъ, наконецъ, верхней, я не берусь вамъ передать.

«Ахъ, это вы?» спросила *Любонька* шопотомъ. Онъ молчалъ, захлебываясь воздухомъ, какъ рыба. «Какой вечеръ прекрасный!» продолжала *Любонька*.

— «Простите меня, простите, Бога ради!» отвѣчалъ Крциферскій и рукою мертвеца взялъ ея руку. *Любонька* не отдергивала. «Прочтите эти строки», сказалъ онъ, «и вы узнаете то, о чемъ мнѣ говорить такъ трудно...» снова потокъ слезъ оросилъ его пылающія щеки. *Любонька* жала его руку; онъ облилъ слезами ея руку и осыпалъ поцѣлуями. Она взяла письмо и спрятала на груди своей. Одушевление его росло, и не знаю, какъ случилось, но уста его коснулись ея устъ; первый поцѣлуй любви, — горе тому, кто не испыталъ его! *Любонька*, увлеченная, сама напечатлѣла страстный, долгій, трепещущій поцѣлуй... Никогда Дмитрій Яковлевичъ не былъ такъ счастливъ; онъ склонилъ голову себѣ на руку, онъ плакалъ... и вдругъ, поднявъ ее, вскрикнулъ:

— «Боже мой, что я надѣлалъ!» Онъ тутъ только разглядѣлъ, что это была вовсе не *Любонька*, а Глафира Львовна.

«Другъ мой, успокойся!» сказала умирающая отъ избытка жизни Негрова; но Дмитрій Яковлевичъ давно уже сбѣжалъ съ лѣстницы; сойдя въ садъ, онъ пустился бѣжать по липовой аллеѣ, вышелъ вонъ изъ сада, прошелъ село и упалъ на дорогѣ, лишенный силъ, близкій къ удару. Тутъ только вспомнилъ онъ, что письмо осталось въ рукахъ Глафиры Львовны. Что дѣлать? Онъ рвалъ свои волосы, какъ разсерженный звѣрь, и катался по травѣ.

Для поясненія страннаго *qui pro quo*, намъ надобно приостановиться и сказать нѣсколько пояснительныхъ словъ. Маленькіе глазки Элизы Августовны, очень наблюдательные и приобученные къ дѣлу, замѣтили, что съ тѣхъ поръ, какъ семья Негрова увеличилась вступленіемъ въ нее Круциферскаго, Глафира Львовна сдѣлалась нѣсколько внимательнѣе къ своему туалету; что блуза ея какъ то иначе надѣвалась; появились всякіе воротнички, разные чепчики, обращено было вниманіе на волосы, и густая коса Палашки, имѣвшая несчастіе подходить подъ цвѣтъ остатковъ шевелюры Глафиры Львовны, снова начала привязываться, не смотря на то, что ее уже немножко подѣла моль. Въ самомъ мягкомъ и дородномъ лицѣ почтенной матери семейства оказались какія-то новыя черты, доселѣ тихо скрывавшіяся въ полнотѣ ея ланитъ; то улыбка и глаза сдѣлаются масляные, то вздохъ и глаза сдѣлаются медовые... Элиза Августовна не проронила ни одной изъ этихъ черемъ; когда же она, случайно зашедши въ комнату Глафиры Львовны во время ея отсутствія и случайно отворивъ ящикъ туалета, нашла въ немъ початую баночку *rouge végétal*, которая лѣтъ пятнадцать покоилась рядомъ съ какою то глазной примочкой въ кладовой,—тогда она воскликнула внутри своей души: «теперь пора и мнѣ выступить на сцену!» Въ тотъ же вечеръ, оставшись наединѣ съ Глафирой Львовной, мадамъ начала рассказывать о томъ, какъ одна, разумѣется, княгиня *интересовалась* однимъ молодымъ человѣкомъ; какъ у нея (т. е. у Элизы Августовны) сердце изныло, видя, что ангель-княгиня сохнетъ, страдаетъ; какъ княгиня, наконецъ, пала на грудь къ ней, какъ къ единственному другу, и живописала ей свои волненія, свои сомнѣнія, прося ея совѣта; какъ она разрѣшила ея сомнѣнія, дала совѣты, какъ потомъ княгиня перестала сохнуть и страдать, напротивъ, начала толстѣть и веселиться. Глафира Львовна сторала вечернимъ огнемъ своимъ отъ этихъ розсказней. Обыкновенно думаютъ, что толстые люди неспособны ни къ какой страсти,—это неправда: пожаръ бываетъ очень продолжителенъ тамъ, гдѣ много жирныхъ веществъ, лишь бы разгорѣться. А Элиза Августовна, какъ видите, заняла должность раздувательныхъ мѣховъ и раздула маленькія эротическія искорки, бѣгавшія по Глафирѣ Львовнѣ, въ довольно большой огонекъ. Она не дошла, правда, до того, чтобъ Глафира Львовна ей повѣрила свою тайну; она имѣла даже великодушіе не вынуждать у нея признанія, потому что это было вовсе не нужно: она хотѣла имѣть Глафиру Львовну въ своей власти,—и успѣхъ былъ несомнѣненъ. Глафира Львовна въ продолженіе двухъ недѣль сдѣлала ей два подарка—купавинской фабрики платокъ и одно изъ своихъ шелковыхъ платьевъ.

Круциферскій, чистый и дѣвственный не только въ поступкахъ, но и въ самыхъ мечтахъ, не догадывался, что значить предупредительная услужливость француженки, ея двусмысленные намеки и, наконецъ, двусмысленные взгляды Глафиры Львовны. Эта недогадливость его, застѣнчивая разсѣянность и потупленные взоры раздували болѣе и болѣе страсть сорокалѣтней женщины; странное ниспроверженіе обыкновеннаго отношенія половъ придавало особый интересъ; въ самомъ дѣлѣ, Глафира Львовна играла роль завоевателя и соблазнителя, а Дмитрій Яковлевичъ—невинной дѣвушки, около которой злонамѣренный паукъ началъ плести свою паутину. Добрый Негровъ ничего не замѣчалъ, ходилъ по прежнему разспрашивать садовникову жену о состояніи фруктовыхъ деревьевъ, и тотъ же миръ и совѣтъ царилъ въ патриархальномъ домѣ Алексѣя Абрамовича. Теперь мы можемъ возвратиться на балконъ.

Глафира Львовна, не понимая хорошенько бѣгства своего Иосифа и прохладивъ себя нѣсколько вечернимъ воздухомъ, пошла въ спальню и, какъ только осталась одна, т. е. вдвоемъ съ Элизой Августовной, она вынула письмо; ея обширная грудь волновалась; она дрожащими перстами развернула письмо, начала читать и вдругъ вскрикнула, какъ будто ящерица или лягушка, завернутая въ письмо, скользнула ей за пазуху. Три горничныя вбѣжали въ комнату, Элиза Августовна схватила письмо. Глафира Львовна требовала одеколонъ, испуганная горничная подала ей летучей мази, она велѣла себѣ лить ее на голову... «Ah, le traître, le scélérat!.. можно ли было ожидать отъ этой скромницы... Англичанка-то наша... нѣтъ, этого хамова поколѣнія ничѣмъ не облагородишь: ни искры благодарности, ничего... Я отогрѣла змѣю на груди своей!» Элиза Августовна была въ положеніи одного моего знакомаго чиновника, который, всю жизнь успѣшно плутовавъ, подалъ въ отставку, будучи увѣренъ, что его нечѣмъ замѣнить; подалъ въ отставку, чтобъ остаться на службѣ,—и получилъ отставку: обмазывая цѣлый вѣкъ, онъ кончилъ тѣмъ, что обманулъ самого себя. Какъ женщина смѣтливая, она поняла, въ чемъ дѣло, поняла, какого маху она дала; да съ тѣмъ вмѣстѣ сообразила, что она и Глафира Львовна столько же въ рукахъ Круциферскаго, сколько онъ въ ихъ, сообразила, что если ревность Глафиры Львовны раздражитъ его, онъ можетъ уличить Элизу Августовну и, если не имѣетъ средства доказать, то все же броситъ недовѣріе въ душу Алексѣя Абрамовича. Пока она обдумывала, какъ укротить гнѣвъ оставленной Дидоны, вошелъ въ спальню Алексѣй Абрамовичъ, зѣвая и осѣняя крестомъ ротъ свой,—Элиза Августовна была въ отчаяніи.

«Алексисъ!» воскликнула негодующая супруга; «никогда бы

въ голову мнѣ не пришло, что случилось; представь себѣ, мой другъ: этотъ скромный то учитель, онъ въ перепискѣ съ Любонькой, да въ какой перепискѣ,—читать ужасно; погубилъ незащищенную сироту!.. Я тебя прошу, чтобъ завтра его нога не была въ нашемъ домѣ. Помилуй, передъ глазами нашей дочери... она, конечно, еще ребенокъ, но это можетъ подѣйствовать на имажинацію».

Алексисъ не былъ одаренъ способностью особенно быстро понимать дѣла и обсуживать ихъ. Къ тому же, онъ былъ удивленъ не менѣе, какъ въ медовый мѣсяцъ послѣ свадьбы, когда Глафира Львовна заклинала его могилой матери, прахомъ отца, позволить ей взять дитя преступной любви. Сверхъ всего этого, Негровъ хотѣлъ смертельно спать; время для доклада о перехваченной перепискѣ было дурно выбрано: человекъ сонный можетъ только сердиться на того, кто ему мѣшаетъ спать, — нервы дѣйствуютъ слабо, все находится подъ влияніемъ усталости.

— Что такое? Какая переписка у Любы?

«Да, да, переписка у Любоньки съ этимъ студентомъ... Благонравница-то наша... Ужъ признаться, отъ такого рожденія всегда бываютъ такіе плоды!..»

— Ну, что же въ этой перепискѣ? Стакнулись что ли? А? Поди, береги дѣвку въ семнадцать лѣтъ; не даромъ все одна сидитъ, голова болитъ, да то, да сѣ... Да я его, мошенника, жениться на ней заставлю. Что онъ, забылъ что ли, у кого въ домѣ живетъ! Гдѣ письмо? Фу ты пропасть какая, какъ мелко писано! Учитель, а самъ писать не умѣетъ, выводитъ мышинныя лапки. Прочти-ка, Глаша.

«Я и читать не стану такихъ скандалей.

— Вздоръ какой несетъ! сорокъ лѣтъ бабѣ, а все еще туда же! Дашка, принеси очки изъ кабинета.

Дашка, хорошо знавшая дорогу въ кабинетъ, принесла очки. Алексѣй Абрамовичъ сѣлъ къ свѣчкѣ, зѣвнулъ, приподнялъ верхнюю губу, что придавало его носу очень почтенное выраженіе, прищурилъ глаза и началъ съ большимъ трудомъ, съ какимъ-то тяжело книжнымъ произношеніемъ читать: «Да, будьте моею Алиной. Я безумно, страстно, восторженно люблю васъ; ваше имя Любовь...»

— Экой баляеникъ какой!—прибавилъ генералъ.

...«Я ничего не надѣюсь, я не смѣю и мечтать объ вашей любви; но моя грудь слишкомъ тѣсна, я не могу не высказать вамъ, что я васъ люблю. Простите мнѣ, у вашихъ ногъ прошу васъ, простите...»

— Фу ты вздоръ какой! Это еще начало первой страницы... Нѣтъ, братъ, довольно! Шокорный слуга читать белиберду такую!..

Предупредить было не ваше дѣло! чего смотрѣли? зачѣмъ дали имъ стакнуться?.. Ну, да бѣда-то не велика, у бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ. Что нашли въ письмѣ? враки; а, то есть, на счетъ того ничего нѣтъ... А замужъ Любу пора, и онъ чѣмъ не женихъ? Докторъ говоритъ, что онъ десятаго класса. Попробуй-ка позаартачиться у меня... Утро вечера мудренѣе; пора спать; прощай, Лизавета Августовна, глаза зорки, а не доглядѣла... Ну, да завтра поговоримъ!

И генералъ сталъ раздѣваться, и черезъ минуту захрапѣлъ, уснувъ съ мыслию, что Круциферскій у него не отвертится, что онъ его женить на Любѣ,—ему наказанье, а ее пристроить къ мѣсту.

Это былъ день неудачъ. Глафира Львовна никакъ не ожидала, что въ умѣ Негрова дѣло это приметъ такой оборотъ; она забыла, какъ въ послѣднее время сама безпрестанно говорила Негрову о томъ, что пора Любу отдать замужъ; съ бѣшенствомъ влюбленной старухи бросилась она на постель и готова была кусать наволочки, а, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ кусала ихъ.

Бѣдный Круциферскій все это время лежалъ на травѣ; онъ такъ искренно, такъ отъ души желалъ умереть, что будь это во время дамскаго управленія Парокъ, онъ бы не вытерпѣли и перерѣзали бы его ниточку. Удрученный тягостными чувствами, преданный отчаянію и страху, страху и стыду, изнеможенный, онъ кончилъ тѣмъ, чѣмъ началъ Алексѣй Абрамовичъ, т. е. уснулъ. Не будь у него *febris erotica*, какъ выражался на счетъ любви докторъ Круповъ, у него непременно сдѣлалась бы *febris catharticalis*; но тутъ холодная роса была для него благотворна: сонъ его, сначала тревожный, успокоился, и, когда онъ проснулся часа черезъ три, солнце всходило... Гейне совершенно правъ, говоря, что это старая штука: отсюда оно всходитъ, а тамъ садится; тѣмъ не менѣе, эта старая штука недурна; какова она должна быть для влюбленнаго,—и говорить нечего. Воздухъ былъ свѣжъ, полонъ особаго внутренняго запаха: роса тяжелыми, бѣловатыми массаами подавалась назадъ, оставляя за собою миллионы блестящихъ капель; пурпуровое освѣщеніе и непривычныя тѣни придавали что-то новое, странно изящное деревьямъ, крестьянскимъ избамъ, всему окружающему; птицы пѣли на разные голоса; небо было чисто. Дмитрій Яковлевичъ всталъ, и на душѣ у него сдѣлалось легче; передъ нимъ вилась и пропадала дорога; онъ долго смотрѣлъ на нее и думалъ: не уйти ли ему по ней, не убѣжать ли отъ этихъ людей, поймавшихъ его тайну, его святую тайну, которую онъ самъ уронилъ въ грязь? Какъ онъ воротится домой, какъ встрѣтится съ Глафирой Львовной... Лучше бы бѣжать! но какъ же оставить ее, гдѣ найти силы разстаться съ нею?.. И онъ тихими шагами пошелъ назадъ.

Вошедши въ садъ, онъ увидѣлъ въ липовой аллеѣ бѣлое платье; яркій румянецъ выступилъ у него на щекахъ при воспоминаніи о страшной ошибкѣ, о первомъ поцѣлѣ; но на этотъ разъ тутъ была Любонька; она сидѣла на своей любимой лавочкѣ и задумчиво, печально смотрѣла въ даль. Дмитрій Яковлевичъ прислонился къ дереву и съ какимъ-то вдохновеннымъ упоеніемъ смотрѣлъ на нее. Въ самомъ дѣлѣ, въ эту минуту она была поразительно хороша; какая-то мысль сильно занимала ее; ей было грустно, и грусть эта придавала нѣчто величественное чертамъ ея, энергическимъ, рѣзкимъ, юно-прекраснымъ. Молодой человѣкъ долго стоялъ, погруженный въ созерцаніе; его взглядъ былъ полонъ любви и благочестія; наконецъ, онъ рѣшился подойти къ ней. Необходимость съ нею поговорить была велика; ее надобно было предупредить на счетъ письма. Любонька нѣсколько смутилась, увидя Крुциферскаго; но тутъ не было никакой натяжки, ничего театральнаго; бросивъ быстро взглядъ на утренній нарядъ свой, въ которомъ она не ожидала встрѣчи ни съ кѣмъ, и также быстро оправивъ его, она подняла спокойный, благородный взглядъ на Дмитрія Яковлевича. Дмитрій Яковлевичъ стоялъ передъ нею, сложивъ руки на груди; она встрѣтила взоръ его умоляющій, исполненный любви, страданія, надежды, упоенія, и протянула ему руку; онъ сжалъ ее со слезами на глазахъ... Господа! какъ въ юности хорошъ человѣкъ!..

Признаніе, вырвавшееся по поводу «Алины и Альсима», сильно потрясло Любоньку. Она гораздо прежде, съ той женской проницательностью, о которой мы говорили, чувствовала, что она любима; но это было нѣчто подразумеваемое, не названное словомъ; теперь слово было произнесено, и она вечеромъ писала въ своемъ журналѣ:

«Едва могу сколько-нибудь привести въ порядокъ мои мысли. Ахъ, какъ онъ плакалъ! Боже мой, Боже мой! я никогда не думала, чтобъ мужчина могъ такъ плакать. Его взглядъ одаренъ какой-то силой, заставившей меня трепетать, и не отъ страха; его взглядъ такъ нѣженъ, такъ кротокъ, кротокъ, какъ его голосъ... Мнѣ такъ жаль его было; кажется, если-бъ я послушалась моего сердца, я бы сказала ему, что люблю его, поцѣловала бы для того, чтобъ утѣшить. Онъ былъ бы счастливъ... Да, онъ любитъ меня; я это вижу, я сама люблю его. Какая разница между нимъ и всѣми, кого я видала! Какъ онъ благороденъ, нѣженъ! Онъ мнѣ разсказывалъ о своихъ родителяхъ: какъ онъ ихъ любитъ! Зачѣмъ онъ мнѣ сказать: «будь моею Алиной!» У меня есть свое имя, оно хорошо: я его люблю, я могу быть его, оставаясь собою... Достояна ли я любви его? Мнѣ кажется, что не могу такъ сильно любить! Опять эта черная мысль, вѣчно терзающая меня...»

— Прощайте, сказала Любонька:—да перестаньте же такъ бояться писъма; я ничего не боюсь, я знаю ихъ. Она пожалала ему руку такъ дружески, такъ симпатично, и скрылась за деревьями. Круциферскій остался. Они долго говорили. Круциферскій былъ больше счастливъ, нежели вчера несчастливъ. Онъ вспоминалъ каждое слово ея, носился мечтами, Богъ знаетъ гдѣ, и одинъ образъ переплетался со всѣми. Вездѣ она, она... Но мечтамъ его положили предѣлъ казачекъ Алексѣя Абрамовича, пришедшій звать его къ нему. Утромъ въ такое время его ни разу не требовалъ Негровъ.

— «Что?» спросилъ его Круциферскій съ видомъ человѣка, которому на голову вылили ушатъ холодной воды.

— Да то съ, что къ барину пожалуйте, отвѣчалъ казачекъ довольно грубо. Видно было, что исторія писъма проникла въ переднюю.

— «Сейчасъ», сказалъ Круциферскій, полумертвый отъ страха и стыда. Чего было бояться ему? Кажется, не было никакого сомнѣнiя, что Любонька его любитъ: чего ему еще? Однако онъ былъ ни живъ, ни мертвъ отъ страха, да и былъ ни живъ, ни мертвъ отъ стыда; онъ никакъ не могъ сообразить, что роль Глафиры Львовны вовсе не лучше его роли. Онъ не могъ себѣ представить, какъ встрѣтиться съ нею. Извѣстное дѣло, что совершались преступленiя для поправки неловкости...

— А что, любезнѣйшiй, сказалъ Негровъ, съ видомъ величественнымъ и приличнымъ важному дѣлу, его занимавшему.—А что, это у васъ въ университетѣ что ли обучаютъ цидулки-то любовныя писать?

Круциферскій молчалъ; онъ былъ такъ взволнованъ, что тонъ Негрова его не оскорблялъ. Этотъ видъ, растерянный и страдающiй, пришпорилъ храбраго Алексѣя Абрамовича, и онъ чрезвычайно громко продолжалъ, глядя прямо въ лицо Дмитрiю Яковлевичу.

— Какъ же вы, милостивый государь, осмѣлились въ моемъ домѣ заводить такiя пашни? Да что же вы думаете объ моемъ домѣ? Да и я то что, болванъ что ли? Стыдно, молодой человѣкъ, и безнравственно совращать бѣдную дѣвушку, у которой ни родителей, ни защитниковъ, ни состоянiя... Вотъ нынѣшнiй вѣкъ! отъ того, что всему учатъ вашего брата, грамматикѣ, ариметикѣ, а морали не учатъ... Ославить дѣвушку, лишить добраго имени...

— «Да помилуйте», отвѣчалъ Круциферскій, у котораго мало по малу негодование побѣдило сознание нелѣпаго своего положенiя:— «что же я сдѣлалъ? я люблю Любовь Александровну (ее звали Александровной, вѣроятно, потому, что отца звали Алексѣемъ, а камердинера, мужа ея матери, Аксѣномъ) и осмѣлился высказать это. Мнѣ самому казалось, что я никогда не скажу ни слова о моей

любви, — я не знаю, какъ это случилось; но что же вы находите преступнаго? почему вы думаете, что мои намѣренія порочны?»

— А вотъ почему: если-бъ вы имѣли честныя намѣренія, такъ вы бы не стали съ толку сбивать дѣвушку своими билъе-ду, а пришли бы ко мнѣ. Вы знаете, по плоти я ей отецъ, такъ вы бы и пришли ко мнѣ, да и попросили бы моего согласія и позволенія; а вы заднимъ крыльцомъ пошли, да и попались,—прошу на меня не пѣнять: я у себя въ домѣ такихъ романовъ не допущу; мудреное ли дѣло дѣвкѣ голову вскружить! Нѣтъ, не ожидалъ я отъ васъ; вы мастерски прикидывались скромникомъ; и она то отличилась, поблагодарила за воспитаніе и за попеченіе! Глафира Львовна всю ночь проплакала.

— «Письмо въ вашихъ рукахъ, замѣтилъ Круциферскій, вы изъ него можете увидѣть, что оно первое».

— Первый блинъ да комомъ. А что, въ этомъ первомъ письмѣ вы просите ея руки, что ли?

— «Я не смѣлъ и думать».

— Какъ это на одно такъ смѣлы, а на другое робки? Съ какою же цѣлью вы писали мышиныя лапки на цѣломъ почтовомъ листѣ кругомъ?

— «Я, право, отвѣчалъ Круциферскій, пораженный словами Негрова: не смѣлъ и думать о рукѣ Любви Александровны: я былъ бы счастливѣйшій изъ смертныхъ, если-бъ могъ надѣяться...»

— Краснорѣчіе—вотъ васъ этому-то тамъ учать, морочить словами! А позвольте васъ спросить: если-бъ я и позволилъ вамъ сдѣлать предложеніе и былъ бы не прочь выдать за васъ Любу, чѣмъ же вы станете жить?

Негровъ, конечно, не принадлежалъ къ особенно умнымъ людямъ; но онъ обладалъ вполне нашей національной сноровкой, этимъ особымъ складомъ практическаго ума, который такъ рѣзко называется: себѣ на умѣ. Выдать Любу замужъ за кого бы то ни было,—было его любимую мечтою, особенно послѣ того, какъ почтенные родители замѣтили, что при ней милая Лизанька теряетъ очень много. Гораздо прежде письма Алексѣю Абрамовичу приходило въ голову женить Круциферскаго на Любонькѣ, да и пристроить его гдѣ-нибудь въ губернской службѣ. Мысль эта явилась на томъ основаніи, на которомъ онъ говорилъ, что если секретарикъ добренькій подвернется, то Любу и отдать за него. Первое, что ему пришло въ голову, когда онъ открылъ любовь Круциферскаго,—заставить его жениться; онъ думалъ, что письмо было шалостью, что молодой человѣкъ не такъ-то легко надѣнетъ на себя ярмо брачной жизни. Изъ отвѣтовъ Круциферскаго Негровъ ясно видѣлъ, что тотъ жениться не прочь, и потому онъ тотчасъ пере-

мѣнили сторону атаки и завелъ рѣчь о состояніи, боясь, что Круциферскій, рѣшась на бракъ, спроситъ его о приданомъ.

Круциферскій молчалъ; вопросъ Негрова придавилъ чугунной плитою его грудь.

— Вы, продолжалъ Негровъ: — вы не ошибаетесь ли на счетъ ея состоянія? У нея ничего нѣтъ, и ждать не откуда; конечно, изъ моего дома я выпущу ее не въ одной юбкѣ; но, кромѣ тряпья, я не могу ничего дать; у меня своя невѣста растеть.

Круциферскій замѣтилъ, что вопросъ о приданомъ совершенно чуждъ для него. Негровъ былъ доволенъ собою и думалъ про себя: «вотъ настоящая овца, а еще ученый!»

— Вотъ то-то, любезнѣйшій; съ конца добрые люди не начинаютъ. Прежде, нежели цидулки писать да сбивать съ толку, надобно бы подумать, что впередъ; если вы въ самомъ дѣлѣ ее любите, да хотите руки просить, отчего же вы не позаботились о будущемъ устройствѣ?

— «Что мнѣ дѣлать?» спросилъ Круциферскій голосомъ, который потрясъ бы всякаго человѣка съ душою.

— Что дѣлать? Вѣдь, вы классный чиновникъ, да еще, кажется, десятаго класса. Ариметику-то да стихи въ сторону; попроситесь на службу царскую; полно баклуши бить,—надобно быть полезнымъ; подите-ка на службу въ казенную палату: вице-губернаторъ намъ свой человѣкъ; современемъ будете совѣтникомъ,—чего вамъ больше? и кусокъ хлѣба обезпеченъ, и почетное мѣсто.

Отроду Круциферскому не приходило въ голову идти на службу въ казенную или въ какую бы то ни было палату; ему было такъ же мудрено себя представить совѣтникомъ, какъ птицей, ежомъ, шмелемъ, или не знаю чѣмъ. Однако, онъ чувствовалъ, что въ основѣ Негровъ правъ; онъ такъ былъ непроницателенъ, что не сообразилъ оригинальной патріархальности Негрова, который увѣрялъ, что у Любоньки ничего нѣтъ, и что ей ждать не откуда, и вмѣстѣ съ тѣмъ распоряжался ея рукой, какъ отецъ.

— «Я могъ бы, лучше, занять мѣсто учителя гимназіи», сказалъ, наконецъ, Дмитрій Яковлевичъ.

— Ну, это будетъ поплоче. Что такое учитель гимназіи? Чиновникъ и нѣтъ, и къ губернатору никогда не приглашаютъ, развѣ одного директора, жалованье бѣдное.—Послѣдняя рѣчь была произнесена обыкновеннымъ тономъ; Негровъ совершенно успокоился на счетъ негоціаціи и былъ увѣренъ, что Круциферскій изъ его рукъ не ускользнетъ.

— Глаша! закричалъ Негровъ въ другую комнату:—Глаша!—Круциферскій помертвѣлъ: онъ думалъ, что послѣдній поцѣлуй любви для Глафиры Львовны такъ же былъ важенъ и поразителенъ, какъ для него первый поцѣлуй, попавшійся не по адресу.

«Что тебѣ?» отвѣчала Глафира Львовна.

— Поди сюда.

Глафира Львовна вошла, придавая себѣ гордую и величественную мину, которая, разумѣется, къ ней не шла и которая худо скрывала ея замѣшательство. Но несчастію, Круциферскій не могъ этого замѣтить: онъ боялся взглянуть на нее.

— Глаша! сказали Негровъ:— вотъ Дмитрій Яковлевичъ просить Любонькиной руки. Мы ее всегда воспитывали и держали, какъ дочь родную, и имѣемъ право располагать ея рукою; ну, а все же не мѣшаетъ съ нею поговорить; это твое женское дѣло.

«Ахъ, Боже мой! вы сватаетесь? какія новости! сказала съ горечью Глафира Львовна.— Да это сцена изъ «Новой Элоизы!»

Если-бъ я былъ на мѣстѣ Круциферскаго, то сказалъ бы, чтобъ не отстать въ учености отъ Глафиры Львовны:— Да-съ, а вчерашнее происшествіе на балконѣ сцена изъ «Фоблаза».— Круциферскій промолчалъ.

Негровъ всталъ, въ ознаменованіе конца засѣданія, и сказалъ:

— Только прошу не думать о Любонькиной рукѣ, пока не получите мѣста. Послѣ всего, совѣтую, государь мой, быть осторожнымъ: я буду имѣть за вами глаза да и глаза. Вамъ почти и оставаться-то у меня въ домѣ неловко. Навязали и мы себѣ работу съ этой Любонькой!

Круциферскій вышелъ. Глафира Львовна съ величайшимъ пренебреженіемъ отзывалась о немъ и заключила свою рѣчь тѣмъ, что такое холодное существо, какъ Любонька, пойдетъ за всякаго, но счастья не можетъ доставить никому.

На другой день, утромъ, Круциферскій сидѣлъ у себя въ комнатѣ, погруженный въ глубокую думу. Едва прошли двое сутокъ послѣ чтенія «Алины и Альсима», и вдругъ онъ почти женихъ, она его невѣста, онъ идетъ на службу... Что за странная власть рока, которая такъ распоряжается его жизнію, подняла его наверхъ человѣческаго благополучія, и чѣмъ же? подняла тѣмъ, что онъ поцѣловалъ одну женщину вмѣсто другой, отдалъ ей чужую записку. Не чудеса ли, не сонъ ли все это? Потомъ онъ припоминалъ опять и опять всѣ слова, всѣ взгляды Любоньки въ линовой аллеѣ и на душѣ у него становилось широко, торжественно.

Вдругъ послышались чьи-то тяжелые шаги по корабельной лѣстницѣ, которая вела къ нему въ комнату. Круциферскій вздрогнулъ и съ какимъ то полустрахомъ ждалъ появленія лица, подерживаемаго такими тяжелыми шагами. Дверь открылась, и вошелъ нашъ старый знакомый, докторъ Круновъ: появленіе его весьма удивило кандидата. Онъ всякую недѣлю ѣздилъ разъ, а иногда и два къ Негрову, но въ комнату Круциферскаго никогда не ходилъ. Его посѣщеніе предвѣщало что-то особенное.

— Этакая проклятая лѣстница! сказалъ онъ, задыхаясь, и обтирая *бѣлымъ* платкомъ потъ съ лица.— Нашелъ же Алексѣй Абрамовичъ для васъ комнату.

— «Ахъ, Семень Ивановичъ!» произнесъ быстро кандидатъ и покраснѣлъ, Богъ знаетъ почему.

— Ба! продолжалъ докторъ:— да какой видъ изъ оконъ... Это вонъ вдали-то бѣлѣется дубасовская церковь что ли, вотъ вправо-то?

— «Кажется; навѣрное, впрочемъ, не знаю», отвѣчала Крuci-ферскій, пристально посмoтрѣвъ налѣво.

— Студентъ, неизлечимый студентъ! Ну, какъ живете вы здѣсь мѣсяцы и не знаете, что изъ окна видно. Охъ, молодость!... Ну, дайте-ка вашу руку пощупать.

— «Я, слава Богу, здоровъ, Семень Ивановичъ».

— Вотъ вамъ и слава Богу, продолжалъ докторъ, подержавъ руку Крuciферскаго:— я зналъ это; усиленный и неравномѣрный. Позвольте ка... разъ, два, три, четыре... лихорадочный, жизненная дѣятельность сильно поднята. Вотъ съ такимъ-то пульсомъ чело-вѣкъ и рѣшается на всякія глупости: бейся пульсъ ровно, тукъ, тукъ, тукъ, никогда бы вы не дошли до этого. Мнѣ тамъ, внизу, почтеннѣйшіи мой, говорятъ: «хочеть-де жениться», — ушамъ не вѣрю; ну, вѣдь малый, думаю, не глупый, я же его и изъ Москвы привезъ... не вѣрю; пойду, посмотрю. Такъ и есть: усиленный и неравномѣрный; да при этомъ пульсъ не только жениться, а чортъ знаетъ какихъ глупостей можно надѣлать. Ну, кто же въ лихорадочномъ состояніи рѣшится на такой важный шагъ? Подумайте. Полечитесь прежде, приведите органъ мышленія, т. е. мозгъ, въ нормальное состояніе, чтобъ кровь-то ему не мѣшала. Хотите, я пришлю фельдшера пустить вамъ кровь, ну, такъ, чайную чашечку съ половинкой?

— «Покорнѣйше благодарю; я не чувствую никакой нужды».

— Гдѣ же вамъ знать, что нужно и что нѣтъ: вѣдь, вы меди-цинѣ совсѣмъ не учились, а я выучился. Ну, не хотите кровопу-сканья, примите глауберовой соли; аптечка со мной, я, пожалуй, дамъ.

— «Я вамъ очень благодаренъ за участие, но долженъ предупредитъ васъ, что я здоровъ, и вовсе не шута, а въ самомъ дѣлѣ хочу (здѣсь онъ загнулся)... жениться, и не понимаю, что вы имѣете противъ моего благополучія».

— Очень многое.

Старикъ сдѣлалъ пресерьезное лицо.

— Я васъ люблю, молодой человекъ, и потому жалѣю. Вы, Дмитрій Яковлевичъ, на закатѣ моихъ дней, напомнили мнѣ мою юность, много прошедшаго напомнили; я вамъ желаю добра, и мол-чать теперь мнѣ показалось преступленіемъ. Ну, какъ вамъ же-

ниться въ ваши лѣта? Вѣдь, это Негровъ васъ надуль... Вотъ видите ли, какъ вы взволнованы, вы не хотите меня слушать, я это вижу, но я васъ заставлю выслушать меня; лѣта имѣють свои права...

— «О, нѣтъ, Семень Ивановичъ, сказалъ молодой человѣкъ, нѣсколько смѣшавшись отъ словъ старика:—я понимаю, что изъ любви ко мнѣ, изъ желанія добра вы высказываете свое мнѣнiе; мнѣ жаль только, что оно нѣсколько излишне, даже поздно».

— О, если-бъ только-то вы имѣли противъ моего мнѣнiя, это сущая бездѣлица; никогда не поздно остановиться. Бракъ... у-у какое тяжелое дѣло! Бѣда въ томъ, что одни тѣ и не думаютъ, что такое бракъ, которые вступаютъ въ него, то есть, послѣ то и раздумаютъ на досугѣ, да поздненько: это все febris erotica; гдѣ человѣку обсудить такой шагъ, когда у него пульсъ бьется, какъ у васъ, любезный другъ мой? Вы понтируете на все свое состоянiе: можетъ быть, и удасться сорвать банкъ, можетъ... да какой же умный человѣкъ будетъ рисковать? Ну, да въ картахъ самъ винсвать, самъ и наказанъ: по дѣломъ вору мука. А въ женитбѣ не-премѣнно съ собою топишь еще человѣка. Эй, Дмитрій Яковлевичъ, подумай! Я вѣрю, что вы ее любите, что и она васъ любитъ, но это ничего не значить. Будьте увѣрены, что любовь пройдетъ въ обоихъ случаяхъ: уѣдете куда-нибудь, пройдетъ; женитесь, еще скорѣе пройдетъ; я самъ былъ влюбленъ, и не разъ, а разъ пять, но Богъ спасъ; и я, возвращаясь теперь домой, спокойно и тихо отдыхаю отъ своихъ трудовъ; день я весь принадлежу моимъ больнымъ, вечеромъ въ вистикъ сыграешь, да и ляжешь себѣ безъ заботы... А съ женою хлопоты, крикъ, дѣти, да весь мiръ погибай, кромѣ моей семьи! Трудно жить на мѣстѣ, трудно перебираться, пойдуть мелкiя сплетни, вертись около своего очага, книгу подъ лавку; надобно думать о деньгахъ, о запасахъ. Теперь, хоть бы объ васъ молвить: придетъ иной разъ нужда, что за бѣда, всякое бываетъ! Мы, бывало, съ Антономъ Фердинандовичемъ, знакомый вамъ человѣкъ, денегъ какой-нибудь рубль, а ѣсть и курить хочется: купимъ четверку «фалеру», такъ ужъ кромѣ хлѣба ничего не ѣдимъ, а купимъ фунтъ ветчины, такъ ужъ и не куримъ, да оба и хохочемъ надъ этимъ, и все ничего; а съ женой не то: жену жаль, жена будетъ ревѣть...

— «О, нѣтъ! Эта дѣвушка, навѣрное, найдетъ силы перенести нужду. Вы ее не знаете!»

— Это-то, любезнѣйшiй, еще хуже; какъ бы очень-то начала кричать, разсердить, по крайней мѣрѣ, плюнешъ, да и прочь пойдешь; а какъ будетъ молчать да худѣть, а ты-то себѣ: «бѣдная, за что я тебя стащилъ на Антонiеву пищу»... поломаешь голову, какъ бы достать денегъ. Ну, честнымъ путемъ, братъ, не разжи-

вешься, плутовать не станешь,—вотъ ты подумаешь, подумаешь, да для освѣженія головы ихватишь горькинъкаго; оно ничего—я самъ употребляю желудочную,—а знаешь, какъ вторую съ горято, да третью... понимаешь? Ну, да положимъ, что и будетъ кусокъ хлѣба... то есть, не больше; вѣдь, она хоть и дочь Негрову, а Негровъ-то хоть и богатъ, да, вѣдь, я его знаю—не разгуляется! Вотъ за дочерью-то онъ приготовилъ пятьсотъ душъ, ну, а Любонькѣ развѣ пять тысячъ рублей дастъ: что за капиталъ?.. Охъ, жаль мнѣ тебя, Дмитрій Яковлевичъ! Ну, пусть другіе, которые лучшаго ничего изъ себя не сдѣлаютъ: ты-то бы поберегъ себя. Я бы предложилъ вамъ другое мѣсто; поскорѣе отсюда вонъ—любовь-то и поразсѣялась бы; у насъ въ гимназіи открылась хорошая ваканція. Не ребячься, будь мужчина!

— «Право, Семенъ Ивановичъ, я благодаренъ вамъ за участіе; но все это совершенно лишнее, что вы говорите, вы хотите застращать меня, какъ ребенка. Я лучше разстанусь съ жизнію, нежели откажусь отъ этого ангела. Я не смѣлъ надѣяться на такое счастье; самъ Богъ устроилъ это дѣло».

— Экъ его!—сказалъ неумолимый Круцовъ:—а все я его погубилъ: ну, зачѣмъ было рекомендовать въ этотъ домъ! Богъ устроилъ — какъ же! Негровъ тебя надулъ, да твоя молодость. Такъ и быть, не хочу ничего утаивать. Я, любезный Дмитрій Яковлевичъ, долго жилъ на свѣтѣ, и не похвастаюсь умомъ, а много наметался. Знаете, наша должность медика ведетъ насъ не въ гостиную, не въ залу, а въ кабинетъ да въ спальню. Я много видѣлъ на своемъ вѣку людей и ни одного не пропускалъ, чтобъ не разсмотрѣть его на обѣ корки. Вы, вѣдь, все людей видите въ ливреяхъ, да въ маскарадныхъ платьяхъ,—а мы за кулисы ходимъ; наглядѣлся я на семейныя картины; стыдиться-то тутъ некого, люди тутъ на распашку, безъ церемоніи. Homo sapiens—какой sapiens къ чорту! fergus, звѣрь самый дикій, въ своей берлогѣ кротокъ, а человѣкъ въ берлогѣ-то своей и дѣлается хуже звѣря... Къ чему, бишь, я это началъ?.. да... да... ну, такъ я привыкъ такіе характеры разбирать. Не пара тебѣ твоя невѣста, ужъ что ты хочешь,—эти глаза, этотъ цвѣтъ лица, этотъ трепеть, который иногда пробѣгаетъ по ея лицу, — она тигренокъ, который еще не знаетъ своей силы; а ты — да что ты? Ты невѣста; ты, братецъ, нѣмка; ты будешь жена,—ну годно ли это?

Круциферскій обидѣлся послѣдней выходкой и, противъ своего обыкновенія, довольно холодно и сухо сказалъ:

— «Есть случаи, въ которыхъ принимающіе участіе помогаютъ, а не читаютъ диссертации. Можетъ быть, все то, что вы говорите, правда,—я не стану возражать; будущее — дѣло темное; я знаю одно: мнѣ теперь два выхода,—куда они ведутъ, трудно сказать,

но третьяго нѣтъ; или броситься въ воду, или быть счастливейшимъ человѣкомъ».

— Лучше броситься въ воду: разомъ конецъ!—сказаль Круповъ, тоже нѣсколько оскорбленный, и вынулъ *красный* платокъ.

Разговоръ этотъ, само собою разумѣется, не принесъ той пользы, которой отъ него ждалъ докторъ Круповъ; можетъ быть, онъ былъ хорошей врачъ тѣла, но за душевныя болѣзни принимался неловко. Онъ, вѣроятно, по собственному опыту судилъ о силѣ любви: онъ сказаль, что былъ нѣсколько разъ влюбленъ, и, слѣдственно, имѣлъ большую практику, но именно потому-то онъ и не умѣлъ обсудить такой любви, которая бываетъ одинъ разъ въ жизни.

Круповъ ушелъ разсерженный, и вечеромъ того дня за ужиномъ у вице-губернатора декламировалъ полтора часа на свою любимую тему,—бранилъ женщинъ и семейную жизнь, забывъ, что вице-губернаторъ былъ женатъ на третьей женѣ и отъ каждой имѣлъ по нѣсколько человѣкъ дѣтей. Слова Крупова почти не сдѣлали никакого вліянія на Круциферскаго, — я говорю *почти*, потому что неопредѣленное, не ясное, но тяжелое впечатлѣніе осталось, какъ послѣ зловѣщаго крика ворона, какъ послѣ встрѣчи съ покойникомъ, когда мы торопимся на веселый пиръ. Все это изгладилось, само собою разумѣется, при первомъ взглядѣ Любоньки.

— «Повѣсть, кажется, близка къ концу», говорите вы, разумѣется, радуясь.

— Извините, она еще не начиналась — отвѣчаю я съ должнымъ почтеніемъ.

— «Помилуйте, остается послать за священникомъ!»

— Да-съ; но, вѣдь, я считаю концомъ, когда за священникомъ посылають, чтобъ онъ собороваль масломъ, да и то иной разъ не конецъ. А когда служитель церкви является съ тѣмъ, чтобъ вѣнчать, то это начало совѣмъ новой повѣсти, въ которой только тѣ же лица. Они не замедлятъ явиться передъ вами.

V.

Владиміръ Бельтовъ.

Въ ***,—впрочемъ, нѣтъ никакой необходимости астрономически и географически точно опредѣлять мѣсто и время, — въ XIX столѣтіи, были въ губернскомъ городѣ NN дворянскіе выборы. Городъ оживлялся: часто были слышны бубенчики и скрипи

дорожныхъ экипажей; часто были видны помѣщичьи зимнія повозки, кибитки, возки всѣхъ возможныхъ видовъ, набитые внутри всякою всячиною и украшенные снаружи цѣлой дворней, въ шинеляхъ и тулупахъ, подвязанныхъ полотенцами; часть ея обыкновенно городомъ шла пѣшкомъ, кланялась съ лавочниками, улыбалась стоящимъ у воротъ товарищамъ; другая спала во всѣхъ положеніяхъ человѣческаго тѣла, въ которыхъ неудобно спать. Мало по малу, помѣщичьи лошади перевезли почти всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ *губернію*, и отставной корнетъ Драгаловъ былъ ужъ на лицо и украшалъ пунцоваго цвѣта занавѣсами окна своей квартиры, нанятой на послѣднія деньги; онъ ѣздилъ въ пять губерній на всѣ выборы и на главнѣйшія ярмарки и нигдѣ *не проигрывался*, несмотря на то, что съ утра до ночи игралъ въ карты, и не наживался, несмотря на то, что съ утра до ночи выигрывалъ. И отставной генералъ Хрящевъ, славившійся музыкантами, богачъ, наѣздникъ, несмотря на 65 лѣтъ, былъ на лицо; онъ являлся на выборы давать четыре бала и всякій разъ отказываться болѣзненно отъ мѣста губернскаго предводителя, которое всякій разъ предлагали ему благодарные дворяне. Въ гостиныхъ начали появляться странные фраки, покоявшіеся цѣлое трехлѣтіе, переложенные табачнымъ листомъ, съ бархатными воротниками, измѣнившимися въ цвѣтѣ и сохранившими какую-то отчаянную форму; вмѣстѣ съ ними явились и странные мундиры всѣхъ временъ, и милиціонные, и съ двумя рядами пуговицъ, и односторонные, и съ одной эполетой, и совсѣмъ безъ эполетъ. Съ утра до ночи дѣлались визиты; три года часть этихъ людей не видалась и съ тяжелымъ чувствомъ замѣчали, глядя другъ на друга, умноженіе сѣдыхъ волосъ, морщинъ, худобы и толщины; тѣ же лица, а будто не тѣ: геній разрушенія оставилъ на каждомъ свои слѣды; а со стороны, съ чувствомъ, еще болѣе тяжелымъ, можно было замѣтить совсѣмъ противоположное, и эти три года такъ же прошли, какъ и тринадцать, какъ и тридцать лѣтъ, предшествовавшіе имъ...

Во всемъ городѣ только и говорили о кандидатахъ, обѣдахъ, ѣздныхъ предводителяхъ, балахъ и судьяхъ. Правитель канцеляріи гражданскаго губернатора третій день ломалъ голову надъ проспектомъ рѣчи; онъ испортилъ двѣ дести бумаги, писавъ: «Милостивые государи, благородное NN—ское дворянство..!» тутъ онъ останавливался и его брало раздумье, какъ начать: «Позвольте мнѣ снова въ средѣ вашей» или: «Радуюсь, что я въ средѣ вашей снова»... И онъ говорилъ старшему помощнику:

«Ахъ, Купріянь Васильевичъ, самое запутанное уголовное дѣло легче въ семьсотъ разъ разобрать, нежели написать рѣчь!»

— Вы бы попросили у Антона Антоновича «Образцовыя Сочиненія»; тамъ, я помню, есть рѣчи.

«Славная мысль! сказалъ правитель дѣлъ, страшно больно хлопнувъ по плечу своего помощника. — Ай-да Купріянъ Купріановичъ!»

Правитель дѣлъ думалъ, что очень остро называть человѣка разъ по батюшкѣ, да разъ по самому себѣ. И онъ въ тотъ же вечеръ составилъ нѣсколько строкъ, руководствуясь рѣчью князя Холмскаго изъ «Марѳы Посадницы» Карамзина.

Среди этихъ всеобщихъ и трудныхъ занятій вдругъ вниманье города, уже столь напряженное, обратилось на совершенно неожиданное, никому неизвѣстное лицо, — лицо, котораго никто не ждалъ, ни даже корнетъ Дрягаловъ, ждавшій всѣхъ, лицо, о которомъ никто не думалъ, которое было вовсе ненужно въ патріархальной семьѣ общинныхъ главъ, которое свалилось какъ съ неба, а въ самомъ дѣлѣ пріѣхало въ прекрасномъ англійскомъ дормезѣ. Лицо это было отставной губернской секретарь Владиміръ Петровичъ Бельтовъ. Чего у него не довѣшивало со стороны чина, искупалось довольно хорошо 3.000 душъ незаложеннаго имѣнія; это-то имѣніе, Бѣлое-Поле, очень подробно знали избираемые и избиратели; но владѣтель Бѣлаго-Поля былъ какой-то миѳъ, сказочное, темное лицо, о которомъ повѣствовали иногда всякія несбыточности, такъ, какъ повѣствуютъ о далекихъ странахъ, о Камчаткѣ, о Калифорніи—вещи странныя для насъ, невѣроятныя. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, говорили, на примѣръ, что Бельтовъ, только что вышедшій изъ университета, попалъ въ милость къ министру; потомъ, вслѣдъ за тѣмъ, говорили, что Бельтовъ рассорился съ нимъ и вышелъ въ отставку на зло своему покровителю. Этому не вѣрили. Есть лица, о которыхъ въ провинціяхъ составлено окончательное и опредѣленное понятіе; съ этими лицами ссориться нельзя, а можно и должно имъ свидѣтельствовать почтеніе; вѣроятно ли, что Бельтовъ осмѣлился?... Нѣтъ, развѣ навлекъ на себя справедливый гнѣвъ, развѣ проигрался въ карты, или спился, или увезъ у кого-нибудь дочь, т. е. не у особы какой-нибудь, а такъ, дочь чью-нибудь. Потомъ сказывали, что онъ уѣхалъ во Францію; къ этому догадливые и ученые прибавляли, что онъ никогда не воротится, что онъ принадлежитъ къ масонской ложѣ въ Парижѣ, и что ложа назначила его совѣстнымъ судьей въ Америку. «Весьма вѣроятно!» говорили многіе: «онъ съ малыхъ лѣтъ былъ какъ брошенный; отецъ его умеръ, кажется, въ тотъ годъ, въ который онъ родился; мать, вы знаете какого происхожденія, притомъ женщина пустая, *экзальте*, да и гувернеръ имъ пошалея преразвращенный, никому не умѣлъ оказывать должнаго». (Сверхъ того, этимъ объясняли,

почему онъ такъ запустилъ хозяйство, хотя мужики его славятся богатствомъ и ходятъ въ сапогахъ. Наконецъ, года три совѣтъ о немъ не говорили, и вдругъ это странное лицо, совѣстный судья отъ парижской масонской ложи въ Америкѣ, человѣкъ, ссорившійся съ тѣми, которымъ надобно свидѣтельствовать глубочайшее почтеніе, уѣхавшій во Францію на вѣки вѣковъ, явился передъ NN-скимъ обществомъ, какъ листъ передъ травой, и явился для того, чтобъ прискивать себѣ голоса на выборахъ. Во всемъ этомъ было чрезвычайно много непонятнаго для NN-скихъ жителей. Что за странное предпочтеніе губернской службы столичной? Что за странное предпочтеніе службы по выборамъ? Потомъ: Парижъ и дворянское депутатское собраніе, 3.000 душъ и чинъ губернскаго секретаря... Ну, было надъ чѣмъ потрудиться и безъ того занятымъ NN-цамъ.

Сильнѣйшая голова въ городѣ былъ безспорно предсѣдатель уголовной палаты; онъ рѣшалъ окончательно, безапелляціонно все вопросы, занимавшіе общество; къ нему ѣздили совѣщаться о семейныхъ дѣлахъ; онъ былъ очень ученъ, литераторъ и философъ. У него былъ только одинъ соперникъ, инспекторъ врачебной управы, Круповъ, и предсѣдатель какъ-то дѣйствительно конфузился при немъ; но авторитетъ Крупова далеко не былъ такъ всеобщъ, особенно послѣ того, какъ одна дама губернской аристократіи, очень чувствительная и не менѣе образованная, сказала при многихъ свидѣтеляхъ: «Я уважаю Семена Ивановича; но можетъ ли человѣкъ понять сердце женщины, можетъ ли понять нѣжныя чувства души, когда онъ могъ смотрѣть на мертвые тѣла и, можетъ быть, касался до нихъ рукою?»—Все дамы согласились, что не можетъ, и рѣшили единогласно, что предсѣдатель уголовной палаты, не имѣющій такихъ свирѣдыхъ прищечекъ, одинъ способенъ рѣшать вопросы нѣжные, гдѣ замѣшано сердце женщины, не говоря уже о всѣхъ прочихъ вопросахъ. Само собою разумѣется, что одна мысль блеснула почти у всѣхъ, когда явился Бельтовъ: что-то скажетъ Антонъ Антоновичъ насчетъ его приѣзда? Но Антонъ Антоновичъ былъ не такой человѣкъ, къ которому можно было такъ вдругъ адресоваться: что вы думаете о г. Бельтовѣ? Далекое нѣтъ; онъ даже, какъ нарочно (а весьма можетъ быть, что и въ самомъ дѣлѣ нарочно) три дня не былъ видимъ ни на вистѣ у вице-губернатора, ни на чаѣ у генерала Хряцова. Всѣхъ любопытнѣе съ своей стороны и всѣхъ предпримчивѣе въ городѣ былъ одинъ совѣтникъ съ Анною въ петлицѣ, употреблявшій чрезвычайно ловко свой орденъ, такъ что какъ бы онъ ни сидѣлъ или ни стоялъ, орденъ можно было видѣть со всѣхъ точекъ комнаты. Этотъ носитель ордена св. Анны въ петлицѣ рѣшился, въ воскресенье, отъ губернатора (у кото-

раго онъ не могъ не быть въ воскресные и праздничные дни) заѣхать на минуту въ соборъ и, если предсѣдателя тамъ нѣтъ, ѣхать прямо къ нему. Подъѣзжая къ собору, совѣтникъ спросилъ квартальнаго поручика: тутъ ли предсѣдательскія сани? — «Никакъ нѣтъ-съ», отвѣчалъ квартальный: «да, должно быть, ихъ высокородіе и не будутъ, потому что сейчасъ я видѣлъ — ихъ кучеръ Пафнушка шелъ въ питейный». Последнее обстоятельство показалось очень важнымъ совѣтнику: не поѣдетъ же Антонъ Антоновичъ въ кафедральный соборъ, подумалъ онъ, на одной лошади, а гдѣ же Никешкѣ фореитору справиться съ парой буланыхъ! И онъ, не заходя ужъ въ соборъ, отправился къ предсѣдателю.

Предсѣдатель, вовсе не ожидая посѣщенія, сидѣлъ въ своемъ домашнемъ костюмѣ, состоявшемъ изъ какой-то длинной вязанной куртки, изъ широкихъ панталонъ и валеныхъ сапоговъ на ногахъ. Онъ былъ не великъ ростомъ, широкоплечъ и съ огромной головой (умъ любить просторъ): всѣ черты лица его выражали какую-то важность, что-то торжественное и исполненное сознанія своей силы. Онъ обыкновенно говорилъ протяжно, съ удареніемъ, такъ, какъ слѣдуетъ говорить мужу, вершающему окончательно всѣ вопросы; если какой-нибудь дерзновенный перебивалъ его, онъ останавливался, ждалъ минуту, двѣ, и потомъ повторялъ снова съ нажимомъ послѣднее слово, продолжая фразу точно въ томъ духѣ и характерѣ, въ какомъ началъ. Возраженій онъ не могъ терпѣть, да и не приходилось никогда ихъ слышать ни отъ кого, кромѣ доктора Крупова; остальнымъ въ голову не приходило спорить съ нимъ, хотя многіе и не соглашались. Самъ губернаторъ, чувствуя внутри себя все превосходство умственныхъ способностей предсѣдателя, отзывался о немъ, какъ о человѣкѣ необыкновенно умномъ, и говорилъ: «Помилуйте, ему не предсѣдателемъ быть уоловной палаты, выше бы могъ подняться. Какія свѣдѣнія! Да и потомъ вы послушайте его разсужденія,—это просто Массильонъ! Онъ много по службѣ потерялъ, посвящая большую часть времени чтенію и наукамъ». — Итакъ, этотъ-то господинъ, много потерявшій изъ любви къ наукамъ, сидѣлъ въ курткѣ передъ своимъ письменнымъ столомъ; подписавъ разные протоколы и выставивъ въ пустомъ мѣстѣ достопамятное *число ударовъ* за корчемство, за бродяжество и т. п., онъ досуха обтеръ перо, положилъ его на столъ, взялъ съ полочки книгу, переплетенную въ сафьянъ, раскрылъ ее и началъ читать. Мало по малу, у него по лицу распространилось какое-то сладкое, невыразимое чувство довольства. Но чтеніе продолжалось не долго: явился на сцену совѣтникъ съ Анной въ петлицѣ.

— А я-съ какъ безпокоился на вашъ счетъ, ей Богу! Къ гу-

бернатору поздравить съ праздникомъ прїѣхаль, — васъ, Антонъ Антоновичъ, нѣтъ; вчера не изволили на вистѣ быть; въ соборъ— вашихъ саней нѣтъ; думаю, неравенъ часъ, вѣдь, могли и занемочь; всякой можетъ занемочь... Отъ слова ничего не сдѣлается. Что съ вами? Ей Богу, я такъ встревожился!

— «Покорнѣйше васъ благодарю; я, слава Всевышнему, не жалуюсь на здоровье; а васъ прошу занять мѣсто, почтеннѣйшій господинъ совѣтникъ».

— Ахъ, Антонъ Антоновичъ! я, кажется, помѣшалъ вамъ: — вы изволили читать.

— «Ничего, мой почтеннѣйшій, ничего; у меня есть время для музъ и есть для добрыхъ прїателей».

— Вотъ-съ, Антонъ Антоновичъ! я полагаю на счетъ новенькихъ книжекъ можно теперь вамъ снабдиться.

— «Не люблю новыхъ, прервалъ предсѣдатель дипломата-совѣтника: не люблю-съ новыхъ книгъ. Вотъ и теперь перечитываль «Душеньку» въ сотый разъ и, истинно увѣряю васъ, съ новымъ удивительнымъ наслажденіемъ. Какая легкость, какое *востроуміе!* — Да, Ипполитъ Ѳедоровичъ не завѣщалъ никому таланта».

Тутъ предсѣдатель прочелъ:

Злоумна ненависть, судя по всюду строго,
Очей имѣеть много,
И видитъ сквозь покровъ закрытыя дѣла,²
Вотще отъ сестръ своихъ царевна ихъ скрывала.
И день, и два, и три притворство продолжала,
Какъ будто бы она супруга вьявь ждала.
Сестры темнили видъ, подъ чѣмъ онъ былъ неявнъ,
Чего не вымыслить коварная хула?
Онъ былъ, по ихъ рѣчамъ, и страшнъ, и злонравнъ.

— Вотъ-съ, перебилъ въ свою очередь совѣтникъ: это точно слово въ слово, какъ у насъ теперь говорятъ объ вояжѣрѣ, посѣтившемъ нашъ городъ; охота, право, пустословить.

Предсѣдатель посмотрѣлъ на него строго и, какъ будто ничего не видалъ и не слыхаль, продолжалъ:

Онъ былъ, по ихъ рѣчамъ, и страшнъ, и злонравнъ.
И вѣрно Душенька съ чудовищемъ жила.
Совѣты скромности въ сей часъ она забыла,
Сестры ли въ томъ виной, судьба ли то, иль рокъ,
Иль Душенькинъ то былъ порокъ,
Она, вздохнувъ, сестрамъ открыла,
Что только тѣнь одну въ супружествѣ любила,
Открыла, какъ и гдѣ приходитъ тѣнь на срокъ
И происшествія подробно рассказала,
Но только лишь сказать не знала,
Каковъ и кто ея супругъ,
Колдунъ, иль змѣй, иль богъ, иль духъ.

— «Вотъ эти стихи не звукъ пустой, а стихи съ душою и съ сердцемъ. Я, мой почтеннѣйшій господинъ совѣтникъ, по слабости ли моихъ способностей, или по недостатку свѣтскаго образованія, не понимаю новыхъ книгъ, съ Василія Андреевича Жуковскаго начиная.

Совѣтникъ, который отъ роду ничего не читалъ, кромѣ резолюцій губернскаго правленія, и то только своего отдѣленія, по прочимъ онъ считалъ себя обязаннымъ высшей деликатностью подписывать, не читая, замѣтилъ:

— Безъ сомнѣнія; а вотъ я полагаю, что прїѣзжіе изъ столицы не такъ думаютъ.

— «Что намъ до нихъ! отвѣтилъ предсѣдатель: знаю и очень знаю, всѣ *повременныя* изданія нынѣ хвалятъ Пушкина: читалъ я и его. Стихи гладенькіе, но мысли нѣтъ, чувства нѣтъ, а для меня, когда здѣсь нѣтъ (онъ ошибкою показалъ на правую сторону груди), такъ одно пустословіе».

— Я самъ чрезвычайно люблю чтеніе, прибавилъ совѣтникъ, которому никакъ не удавалось овладѣть предметомъ разговора,— да времени совсѣмъ не имѣю: утро провозишься съ проклятыми бумагами; въ дѣлахъ правленія истинно мало пищи уму и сердцу; а вечеромъ бостончикъ, вистикъ.

— «Кто хочетъ читать, возразилъ, воздержно улыбаясь, предсѣдатель,— тотъ не будетъ всякій вечеръ сидѣть за картами».

— Конечно, такъ-съ; вотъ, напримѣръ, говорятъ объ этомъ-съ Бельтовъ, что онъ въ руки картъ не беретъ, а все читаетъ.

Предсѣдатель промолчалъ.

— Вы, вѣрно, изволили слышать объ его прїѣздѣ?

— «Слышалъ что-то подобное», отвѣчалъ небрежно философъ-судія.

— Говорятъ, страшной учености; вотъ-съ будетъ вамъ подѣ пару, право-съ; говорятъ, что даже по итальянски умѣетъ.

— «Гдѣ намъ, возразилъ съ чувствомъ собственнаго достоинства предсѣдатель,— гдѣ намъ! Слыхали мы о господинѣ Бельтовѣ: и въ чужихъ краяхъ былъ, и въ министерствахъ служилъ; куда намъ, провинціальнымъ медвѣдямъ! А, впрочемъ, посмотримъ. Я лично не имѣю чести его знать, онъ не посѣщалъ меня».

— Да онъ и у его превосходительства не былъ-съ, а вѣдь прїѣхалъ, я думаю, дней пять тому назадъ... Точно, сегодня въ обѣдъ будетъ пять дней. Я съ Максимомъ Ивановичемъ обѣдалъ у полиціймейстера, и, какъ теперь помню, за *пудинами* услышали мы колокольчикъ. Максимъ Иванычъ, знаете его слабость, не вытерпѣлъ: матушка, говорятъ, Вѣра Васильевна, простите, подбѣжалъ къ окну и вдругъ закричалъ: карета шестерней, да какая карета! Я къ окну: точно карета шестерней, отличнѣйшая,

Иохима, должно быть, работы, ей Богу. Полиціймейстеръ сейчасъ унтера... «Бельтовъ-де изъ Петербурга».

— «Мнѣ, сказать откровенно, началъ предсѣдатель нѣсколько таинственно,—этотъ господинъ подозрителенъ: онъ или промотался, или въ связяхъ съ полиціей, или самъ подъ надзоромъ полиціи. Помилуйте, тащится 900 верстъ на выборы, имѣя 3.000 душъ!»

— Конечно-съ, сомнѣнія нѣтъ. Признаюсь, дорого далъ бы я, чтобъ вы его увидѣли: тогда бы тотчасъ узнали, въ чемъ дѣло. Я вчера послѣ обѣда прогуливался, Семенъ Ивановичъ для здоровья приказываетъ, прошелъ такъ раза два мимо гостиницы; вдругъ выходитъ въ сѣни молодой человекъ, я такъ и думалъ, что это онъ, спросилъ полового, говоритъ: это камердинеръ; одѣтъ какъ нашъ братъ, нельзя узнать, что человекъ... Ахъ, Боже мой, да у вашего подвѣзда остановилась карета!

— «Что-жъ, васъ это удивляетъ? возразилъ стоическій предсѣдатель,—меня не рѣдко посѣщаютъ добрые знакомые».

— Да-съ; но, можетъ быть...

Въ эту минуту вошла въ комнату толстая, румяная горничная, въ глубокомъ дезабилье, и сказала: «Пріѣхалъ какой-то помѣщикъ въ каретѣ, я его не видала прежде, принимать, что ли?»

— «Подай мнѣ халатъ, сказалъ предсѣдатель,—и проси...» Что-то въ родѣ улыбки показалось на лицѣ его въ то время, какъ онъ облакался въ свой шелковый халатъ цвѣта лягушечьей спинки. Совѣтникъ всталъ со стула и былъ въ сильномъ волненіи.

Человекъ лѣтъ тридцати, прилично и просто одѣтый, вошелъ, учтиво кланяясь хозяину. Онъ былъ строенъ, худощавъ, и въ лицѣ его какъ-то странно соединялись добродушный взглядъ съ насмѣшливыми губами, выраженіе порядочнаго человека съ выраженіемъ баловня, слѣды долгихъ и скорбныхъ думъ съ слѣдами страстей, которыя, кажется, не обуздывались. Предсѣдатель, не теряя чувства своей доблести, приподнялся съ кресель и показывалъ, стоя на одномъ мѣстѣ, видъ, будто онъ идетъ на встрѣчу.

— Я здѣшній помѣщикъ Бельтовъ, пріѣхалъ сюда на выборы и счелъ себя обязаннымъ познакомиться съ вами.

— «Чрезвычайно радъ, сказалъ предсѣдатель,—чрезвычайно радъ, и прошу покорнѣйше, милостивый государь, занять мѣсто». Всѣ сѣли.

— «Недавно изволили пріѣхать?»

— Дней пять тому назадъ.

— «Откуда?»

— Изъ Петербурга.

— «Ну, вамъ, послѣ столичнаго шума, будетъ очень скучно въ монотонной жизни маленькаго провинціального городка».

— Не знаю; но, право, не думаю; мнѣ какъ-то въ большихъ городахъ было очень скучно.

Оставимте на нѣсколько минутъ, или на нѣсколько страницъ, председателя и совѣтника, который, послѣ полученія Анны въ петлицу, ни разу не былъ въ такомъ восторгѣ, какъ теперь: онъ пожиралъ сердцемъ, умою, глазами и ушами прѣзжаго, онъ все высмотрѣлъ, и то, что у него жилетъ былъ не застегнуть на послѣднюю пуговицу, и то, что у него въ нижней челюсти съ правой стороны зубъ былъ выдернуть, и проч., и проч. Оставимте ихъ и займемтесь, какъ NN-цы, исключительно страннымъ гостемъ.

VI.

Мы уже знаемъ, что отецъ Бельтова умеръ вскорѣ послѣ его рожденія, и что мать его была *экальте* и обвинялась въ дурномъ поведеніи Бельтова. По несчастію, нельзя не согласиться, что она одна изъ главныхъ причинъ всѣхъ неудачъ въ карьерѣ своего сына. Исторія этой женщины сама по себѣ очень замѣчательна. Она родилась крестьянкой; лѣтъ пяти ее взяли во дворъ; у ея барыни были двѣ дочери и мужъ; мужъ заводилъ фабрики, дѣлалъ агрономическіе опыты и кончилъ тѣмъ, что заложилъ все имѣніе въ Воспитательный Домъ. Вѣроятно, считая, что этимъ исполнилъ свое экономическое призваніе въ мірѣ семъ, онъ умеръ. Разстройство дѣлъ ужаснуло вдову: она плакала, плакала, наконецъ утерла слезы и съ мужествомъ великаго человѣка принялась за поправку имѣнія. Только умъ женщины, только сердце нѣжной матери, желающей приданого дочерямъ, можетъ изобрѣсти всѣ средства, употребленныя ею для достиженія цѣли. Отъ сушенія грибовъ и малины, отъ сбора талекъ и обвѣпиванья масломъ, до порубки въ чужихъ рощахъ *и продажи парней въ рекруты, не стѣсняясь очередью*,—все было употреблено въ дѣйствіе (это было очень давно, и, что теперь рѣдко встрѣчается, то было еще въ обычаѣ тогда) — и, надобно правду сказать, помѣщица села Засѣкина пользовалась всеобщей репутаціей несравненной матери. Между разными бумагами покойнаго агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансіона въ Москвѣ, списалась съ нею; но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять къ себѣ трехъ-четырехъ дворовыхъ дѣвочекъ, предполагая изъ нихъ сдѣлать гувернантокъ для своихъ дочерей или для постороннихъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ возвратились доморощенныя гувернантки къ барынѣ съ громкимъ аттестатомъ, въ которомъ было написано, что онѣ знаютъ законъ Божій, ариметику, російскую пространную и всеобщую краткую исторію, французскій языкъ и проч., въ озна-

менованіе чего при актѣ ихъ наградили золотообрѣзными экземплярами „Paul et Virginie“. Барыня велѣла очистить для нихъ особую комнату и ждала случая ихъ пристроить. Тетка отца нашего Бельтова искала именно въ это время воспитательницу для своихъ дочерей и, узнавъ, что сосѣдка ея имѣеть гувернантокъ, ей принадлежащихъ, адресовалась къ ней; потолковали о цѣнѣ, поспорили, посердились, разошлись и, наконецъ, поладили. Барыня позволила теткѣ выбрать любую, и выборъ палъ на будущую мать нашего героя. Го́да черезъ два-три, пріѣхалъ въ свою деревню отецъ Владиміра. Онъ былъ молодъ, развратенъ, игрокъ, въ отставкѣ, охотникъ пить, ходить съ ружьемъ, показывать ненужную удалъ и волочиться за всѣми женщинами моложе тридцати лѣтъ и безъ значительныхъ недостатковъ въ лицѣ. Со всѣмъ этимъ нельзя сказать, чтобъ онъ былъ рѣшительно пропаціей человѣкъ: праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли на него «семь футовъ грязи», какъ выражается одинъ мой знакомый; но къ чести его должно сказать, что грязь не во все приросла къ нему. Бельтовъ былъ рѣдко чѣмъ-нибудь занятъ, и потому часто посѣщалъ свою тетку; имѣніе его было въ пяти верстахъ отъ теткойной усадьбы. Софи (такъ звали гувернантку) приглянулась ему: ей было лѣтъ двадцать, высокая ростомъ, брюнетка, съ темными глазами и съ пышной косой юности. Долго думать казалось Бельтову смѣшнымъ; онъ, вопреки Вобановой системѣ, не повелъ дальнихъ апрошей, а какъ-то оставшись съ ней одинъ въ комнатѣ, обнялъ ее за талию, расцѣловалъ и звалъ очень усердно пройтись вечеромъ по саду. Она вырвалась изъ его рукъ, хотѣла было кричать; но чувство стыда, но боязнь гласности остановили ее; безъ памяти бросилась она въ свою комнату, и тутъ въ первый разъ вымѣрила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленнаго положенія. Раздраженный отказомъ, Бельтовъ началъ ее преслѣдовать своей любовью, дарилъ ей брильянтовый перстень, который она не взяла, обѣщалъ брегетовскіе часы, которыхъ у него не было, и не могъ надивиться, откуда идетъ неприступность красавицы; онъ и ревновать принимался, но не могъ найти къ кому; наконецъ, раздосадованный Бельтовъ прибѣгнулъ къ угрозамъ, къ брани,—и это не помогло. Тогда ему пришла другая мысль въ голову: предложить теткѣ большія деньги за Софи,—онъ былъ увѣренъ, что алчность побѣдитъ ея выставляемое цѣломудріе; но какъ человѣкъ, вѣчно поступавшій очертя голову, онъ намекнулъ о своемъ намѣреніи бѣдной дѣвушкѣ. Разумѣется, это ее испугало болѣе всего прочаго, она бросилась къ ногамъ своей барыни, обливаясь слезами, рассказала ей все и умоляла позволить ѣхать въ Петербургъ. Не знаю, какъ это случилось, но она барыню застала врасплохъ; ста-

руха, не зная Талейранова правила—«никогда не слѣдовать первому побужденію сердца, потому что оно всегда хорошо»—тронулась ея судьбою и предложила ей отпускную за небольшой взносъ двухъ тысячъ рублей. — «Я сама, сказала она ей, заплатила за тебя эти деньги; а кормъ и платъ съ тѣхъ поръ потраченные на тебя? Ну, а пока выступишь деньги, присылай мнѣ какой-нибудь небольшой оброкъ, рублей сто двадцать, и я велю Платошкѣ написать паспортъ; онъ, вѣдь, у меня дуракъ, испортить пожалуй листъ, а нынче куды дорога гербовая бумага». Софи согласилась на все, благодарила, обливаясь слезами, барыню и нѣсколько успокоилась. Черезъ недѣлю, Платошка написалъ паспортъ, замѣтилъ въ немъ, что у ней лицо обыкновенное, носъ обыкновенный, ростъ средній, ротъ умѣренный, и что особыхъ примѣтъ не оказалось, кромѣ *по французски говоритъ*; а черезъ мѣсяцъ Софи упростила жену управляющаго сосѣднимъ имѣніемъ, ѣхавшую въ Петербургъ положить въ ломбардъ деньги и отдать въ гимназію сына, взять ее съ собою; кибитку нагрозили грибами, вареньемъ, медомъ, мочеными и сушеными ягодами, назначенными въ подарки; жена управляющаго оставила только мѣсто для себя; Софи помѣстилась на какой-то кадкѣ, которая въ продолженіи девятисотъ верстъ напоминала ей, что она сдѣлана не изъ лебяжьего пуха. Гимназиста усадили на козлахъ; онъ былъ долговязый малый, лѣтъ четырнадцати, курившій нѣженскіе корешки, и болѣе развитый, нежели казалось; онъ всю дорогу ухаживалъ за Софи, и если-бъ не помойнаго цвѣта прищуренные глаза его матери, то онъ, можетъ быть, перещеголялъ бы Бельтова. А проросъ, Бельтовъ сдѣлалъ опытъ увести Софи, когда она переѣзжала отъ тетки къ управительшѣ, и вѣроятно бы увезъ, если-бъ кучеръ не нарѣзался пьянъ и не сбился съ дороги. Съ досады и въ первую минуту горькаго сознанія о кислотѣ винограда, Бельтовъ разболталъ свой романъ, не совѣмъ въ томъ видѣ, какъ онъ былъ, компаніи игроковъ. Онъ представилъ, что тетка его ревнивая, какъ всѣ старухи, насильно услала Софью, влюбленную въ него болѣе, нежели по уши; впрочемъ, онъ отчасти былъ радъ, что она уѣхала и увезла съ собой кой-какіе знаки его вниманія. Извѣстно, что, изъ кочующихъ племенъ въ Европѣ, цыгане и игроки никогда не ведутъ осѣдлой жизни, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, что одинъ изъ слушателей Бельтова черезъ нѣсколько дней былъ уже въ Петербургѣ. Онъ находился въ самой тѣсной дружбѣ съ французенкой Жукуръ, содержательницей пансіона. Жукуръ, шнуровавшаяся ежедневно до сорока лѣтъ и носившая платъ съ высокимъ воротомъ изъ стыдливости, была неумолимо-строга къ нравственности ближняго. Говоря о томъ, о семъ, она рассказала своему другу, что у ней нанялось

классной дамой престранное существо, принадлежащее NN-ской госпожѣ и говорящее прекрасно по французски. Кочующій другъ расхохотался. «Ба! старая знакомая! это прекрасно! это превосходно—ха, ха, ха, ха,—помилуйте, да я ее тысячу разъ видалъ у Бельтова, куда она таскалась по ночамъ, когда у тетки въ домѣ всѣ спали». Потомъ, ревнуя о репутаціи заведенія, онъ предупредилъ мадамъ Жукуръ насчетъ положенія Софи. Жукуръ была внѣ себя отъ испуга, кричала: *quelle démoralisation dans ce pays barbare!* забыла отъ негодованія все на свѣтѣ, даже и то, что у привилегированной повивальной бабки, на углу ихъ улицы, воспитывались два ребенка, разомъ родившіеся, изъ которыхъ одинъ былъ похожъ на Жукуръ, а другой на кочующаго друга. Съ горяча она хотѣла послать за квартальнымъ, потомъ ѣхать къ французскому консулу, но разсудила, что это вовсе не нужно, и просто-на-просто прогнала Софи изъ дому самымъ грубымъ образомъ, забывъ въ торопяхъ отдать ей слѣдующія деньги.

Жукуръ рассказала тремъ другимъ содержательницамъ страшную исторію, эти всѣмъ остальнымъ въ Петербургѣ. Куда ни адресовалась бѣдная дѣвушка, вездѣ ей указывали дверь. Она стала искать частнаго мѣста, но гдѣ найти? знакомыхъ нѣтъ. Вышло было какое-то мѣсто въ отъѣздѣ и довольно выгодное, но мать, прежде нежели кончила, съѣздила освѣдомиться къ мадамъ Жукуръ,—и потомъ благодарила Провидѣніе за спасеніе дочери. Софи подождала еще недѣлю, пересчитала свои деньги, — у ней было тридцать пять рублей и никакихъ надеждъ; квартира, которую она наняла, была ей не по карману, и она, долго искавъ, переѣхала, наконецъ, въ пятый, если не шестой этажъ огромнаго дома въ концѣ Гороховой, набитаго всякой сволочью. Двумя грязными двориками, имѣвшими видъ какого-то дна не вовсе просохнувшаго озера, надобно было дойти до маленькой двери, едва замѣтной въ колоссальной стѣнѣ; оттуда вела сырая, темная каменная, съ изломанными ступенями, безконечная лѣстница, на которую отворялись, при каждой площадкѣ, двѣ-три двери. Въ самомъ верху, на финскомъ небѣ, какъ выражаются петербургскіе остряки, нанимала комнатку нѣмка старуха; у нея параличъ отнялъ обѣ ноги, и она полутрупомъ лежала четвертый годъ у печки, вязала чулки по буднямъ и читала Лютеровъ переводъ Библии по праздникамъ. Комнатка была шага въ три; изъ нихъ два казались бѣдной нѣмкѣ совершенной роскошью, и она отдавала ихъ въ наемъ, вмѣстѣ съ окномъ, отъ котораго на полъ аршина возвышалась боковая, некрашенная, кирпичная стѣна другого дома. Софи поговорила съ нѣмкой и наняла этотъ будуаръ; въ этомъ будуарѣ было грязно, черно, сыро и чадно дверь отворялась въ холодный корридоръ, по которому ползали

какія-то дѣти, жалкія, оборванныя, блѣдныя, рыжія, съ глазами, заплывшими золотухой; кругомъ все было биткомъ набито пьяными мастеровыми. Лучшую квартиру въ этомъ этажѣ занимали швей; никогда не было, по крайней мѣрѣ днемъ, замѣтно, чтобъ онѣ работали, но по образу жизни видно было, что онѣ далеки отъ крайности; кухарка, жившая у нихъ, ежедневно пять разъ бѣгала въ полпивную съ кувшиномъ, у котораго былъ отбитъ носъ... Всѣ старанія найти мѣсто были тщетны: добрая нѣмка просила и хлопотала черезъ единственную свою знакомую и соотечественницу, жившую у кого-то при дѣтяхъ, поразвѣдать, нѣтъ ли какого мѣста? Та обѣщала, но ничего не представилось. Софи рѣшилась на послѣднее: она стала искать мѣста горничной, и нашла было одно, въ цѣнѣ сошлись, но особая примѣта въ паспортѣ такъ удивила барыню, что она сказала: «Нѣтъ, голубушка, мнѣ не по состоянію имѣть горничную, которая говоритъ по французски». Софи принялась пить бѣлье. Начальница швей была очень довольна ея строчкой, заплатила ей почти все, что слѣдовало по уговору, и звала къ себѣ напиться чаю, вмѣсто котораго подчивала розовымъ пивомъ; она очень приглашала бѣдную дѣвушку переѣхать къ себѣ; но какой-то внутренней ужасъ остановилъ Софи, и она отказалась. Это очень оскорбило начальницу, и она, съ гордостью захлопнувъ дверь, когда Софи ушла, сказала: «Сама придешь зайскивать, дворянка какая важная! У насъ нѣмка изъ Риги живетъ не хуже тебя собой». Вечеромъ начальница съ колкой ироніей отзывалась о бѣдной дѣвушкѣ комиссару, приходившему иногда вечеромъ отдохнуть въ пріятномъ обществѣ отъ дневныхъ трудовъ, и такъ заинтересовала его, что онъ немедленно отправился въ комнату нѣмки и спросилъ ее:

«Что, фрау мадамъ, какъ живете-можете? А? пора бы, вѣдь, за ногами!» Нѣмка, торопливо надѣвая чепчикъ, который всегда лежалъ возлѣ нея для непредвидимыхъ случаевъ, отвѣчала:

— «Што тѣлить, Богъ не перебирай!»

«Ну, а гдѣ же эта талибеевой дѣвка Софья Нѣмчинова?»

— Здѣсь, отвѣчала Софи.

«Гдѣ это тебя угораздило выучиться по французски, а? плутъ дѣвка, должно быть; нутка поговори по французски». Софи молчала.

«Видно не умѣешь? Ну, что-нибудь скажи-ка». Софи молчала, и ея глаза были полны слезъ.

«Фрау мадамъ, что—умѣетъ она по вашему?»

— «Очень карашо!»

«Не бось, какъ ты въ присядку плясать... а что вы этакъ на-стойчки не держите? я что-то прозябъ».

— «Нѣтъ», отвѣчала нѣмка.

«Плохо,—ну, а это яблоко чье?» (яблоко это принесла знаковая нѣмка старухѣ, и она его берегла съ середи, чтобъ закусить имъ Лютеровъ переводъ Библии въ воскресенье).

— «Мой», отвѣчала нѣмка.

«Ну, гдѣ тебѣ его раскусить; вотъ, вѣдь, французенка эта съѣсть у тебя; ну, прощайте», сказала комиссаръ, не сдѣлавшій, впрочемъ, никакого вреда, и, очень довольный собою, отправился, съ яблокомъ въ карманѣ, къ швеямъ.

Томно, страшно тянулись дни; несчастная дѣвушка потухала въ этой грязи, оскорбляемая, унижаемая всѣмъ и всѣми. Не будь она такъ развита, можетъ быть, она сладила бы какъ-нибудь, нашлась бы и тутъ; но воспитаніе раскрыло въ ней столько нѣжнаго, деликатнаго, что на нее все окружающее дѣйствовало въ десять разъ сильнѣе. Были минуты такого изнуренія, такого онѣмѣнія силъ, что она, вѣроятно, упала бы глубоко, если-бъ не была защищена отъ паденія той грязной, будничной наружностью, подъ которой порокъ выказывался ей. Были минуты, въ которыя мысль принять яду приходила ей въ голову, она хотѣла себя казнить, чтобъ выйти изъ безвыходнаго положенія; она тѣмъ ближе была къ отчаянію, что не могла себя ни въ чемъ упрекнуть. Были минуты, въ которыя злоба, ненависть наполняли и ея сердце, въ одну изъ такихъ минутъ она схватила перо и, сама не давая себѣ отчета, что дѣлаетъ и для чего, написала, въ какомъ-то торжественномъ гнѣвѣ, письмо къ Бельтову. Вотъ оно:

«Я не хочу удерживаться болѣе. Пишу къ вамъ, пишу для того только, чтобъ имѣть послѣднюю, можетъ быть, радость въ моей жизни—высказать вамъ все презрѣніе мое; я охотно заплачу послѣднія копейки, назначенныя на хлѣбъ, за отправку письма; я буду жить мыслию, что вы прочтете его. Ваши поступки со мной, въ домѣ вашей тетушки, показали мнѣ въ васъ безнравственнаго шалуна, бездушнаго развратника; я еще, разумѣется по неопытности, извиняла васъ дурнымъ воспитаніемъ, кругомъ, въ которомъ вы тратите свою жизнь; я извиняла васъ тѣмъ, что мое странное положеніе вызывало васъ на это. Но клевета, которой вы совершили ихъ, гнусная, подлая клевета, показала мнѣ всю мѣру вашей низости; даже не злодѣйства, а именно низости. Вы рѣшились, изъ мести, изъ мелкаго самолюбія, погубить беззащитную дѣвушку, нагать на нее. И за что? развѣ вы въ самомъ дѣлѣ любили меня? Спросите свою совѣсть... Радуйтесь же, вамъ удалось: вашъ пріятель очернилъ меня здѣсь, меня выгнали, на меня смотрѣли съ презрѣніемъ, мои уши должны были слышать страшныя оскорбленія; наконецъ, я безъ куска хлѣба; а потому, выслушайте отъ меня, что я сама гнушаюсь вами. по-

тому что вы мелкій, презрѣнный человѣкъ; выслушайте это отъ горничной вашей теткѣ... Какъ мнѣ пріятно думать о безсильно злобѣ, о бѣшенствѣ, съ которыми вы будете читать эти строки; а, вѣдь, вы слывете за порядочнаго человѣка и, вѣроятно, послали бы пулю въ лобъ, если-бъ кто-нибудь изъ равныхъ вамъ сказалъ это».

Бельтовъ, проигравшійся въ пухъ, раздосадованный, валялся передъ чаемъ на диванѣ, когда посланный въ городъ привезъ ему, между прочимъ, и письмо отъ Софи. Онъ не зналъ ея руки; слѣдовательно, не догадался по адресу, отъ кого письмо, и прехладнокровно развернулъ его. При первой строчкѣ, рука его задрожала, но онъ дочиталъ письмо спокойно, всталъ, бережно сложилъ его, потомъ сѣлъ на стулъ и обернулся головою къ окну. Два часа просидѣлъ онъ въ этомъ положеніи; чай давно уже стоялъ на столѣ, и онъ не хлебнулъ еще изъ своего стакана; трубка его давнымъ давно докурилась, и онъ не кликалъ казачка. Когда онъ совершенно пришелъ въ себя, ему показалось, что онъ вынесъ тяжкую, долгую болѣзнь; онъ чувствовалъ слабость въ ногахъ, усталъ, шумъ въ ушахъ, провелъ раза два рукою по головѣ, какъ будто щупая, тутъ ли она; ему было холодно, онъ былъ блѣденъ, какъ полотно, пошелъ въ спальню, выслалъ человѣка и бросился на диванъ совсѣмъ одѣтый... Черезъ часъ онъ позвонилъ; а на другой день, чѣмъ свѣтъ, по плотинѣ возлѣ мельницѣ простучала дорожная коляска, и четверка сильныхъ лошадей дружно подымала ее въ гору; мельники, вышедшіе посмотреть, спрашивали: куда это нашъ баринъ? «Да, говорятъ, въ Питеръ», отвѣчалъ одинъ изъ нихъ.

А черезъ полгода, по тому же мосту простучала та же коляска назадъ: баринъ воротился съ барыней. Сельскій священникъ, ходившій поздравить Бельтова съ пріѣздомъ, возвратясь домой, съ величайшимъ удивленіемъ говорилъ женѣ:

— «Попадья! а, попадья! знаешь, кто барыня? вотъ что была учительница-то, бывшая у Вѣры Васильевны отъ засѣкинской барыни. Чудны дѣла твои, Господи!»

— Что? не бось, отвѣчала попадья—приступу нѣтъ?

— «Нѣтъ, не хочу лжесвидѣтельствовать», отвѣчалъ священникъ:—«словоохотна и благодушна.»

Тетка, двое сутокъ сердившаяся на Бельтова за его первый пассажъ съ гувернанткой, цѣлую жизнь не могла забыть несноснаго брака своего племянника и умерла, не пуская его на глаза; она часто говорила, что дожила бы до ста лѣтъ, если-бъ этотъ несчастный случай не лишилъ ее сна и аппетита. Видно, ужъ таково устройство женскаго сердца: сама Бельтова не могла изжить страшнаго опыта, перенесеннаго ею до замужества. Есть

нѣжныя и тонкія организаціи, которыя именно отъ нѣжности не перерываются горемъ, уступаютъ ему, повидимому, но искажаются, но принимаютъ въ себя глубоко, ужасно глубоко испытанное, и въ продолженіе всей жизни не могутъ отдѣлаться отъ его вліянія; выстраданный опытъ остается какой то злоторной матеріей, живетъ въ крови, въ самой жизни, и то скроется, то вдругъ обнаруживается съ страшной силой и разлагаетъ тѣло. Именно такая натура была у Бельтовой: ни любовь мужа, ни благотворное вліяніе на него, которое было очевидно, не могли исторгнуть горькаго начала изъ души ея. Она боялась людей, была задумчива, дика, сосредоточна въ себѣ, была худа, блѣдна, недовѣрчива, все чего-то боялась, любила плакать и сидѣла молча цѣлые часы на балконѣ. Года черезъ три, Бельтовъ простудился и дней въ пять умеръ: тѣло его, изнуренное прежней жизнью, не имѣло достаточныхъ силъ побѣдить горячку. Онъ умеръ въ безпамятствѣ. Софи поднесла къ нему двухъ-годоваго мальчика: онъ дико взглянулъ на него, и испуганный ребенокъ потянулся рученками въ другую комнату. Ударъ этотъ сильно потрясъ Бельтову, она любила этого человѣка за его страстное раскаяніе; она узнала благородную натуру изъ за грязи, которая къ ней пристала отъ окружавшаго ее; она оцѣнила его перемѣну; она любила даже иногда возвращавшіеся порывы буйнаго разгула и дикой необузданности избалованнаго нрава.

Со всей своей болѣзненной раздражительностью обратилась Бельтова, послѣ потери мужа, на воспитаніе малютки; если онъ дурно спалъ ночью,—она вовсе не спала; если онъ казался нездоровымъ,—она была больна; словомъ, она имъ жила, имъ дышала, была его нянькой, кормилицей, люлькой, лошадкой. Но и эта судорожная любовь къ сыну была смѣшана у ней съ чернымъ началомъ ея души. Мысль, что она потеряетъ ребенка, почти безпрестанно вплеталась въ мечты ея; она часто съ отчаяніемъ смотрѣла на спящаго младенца, и когда онъ былъ очень покоенъ, робко подносила трепещущую руку къ устамъ его. Но, вопреки внутреннему голосу матери, какъ она называла болѣзненные грезы свои, ребенокъ росъ и, если не былъ очень здоровъ, то не былъ и боленъ. Она не выѣзжала изъ Бѣлаго Поля; мальчикъ былъ совершенно одинъ, и, какъ всѣ одинокія дѣти, развился не по лѣтамъ; впрочемъ, и помимо внѣшнихъ вліяній, въ ребенкѣ были видимы несомнѣнные признаки рѣзкихъ способностей и энергическаго характера. Настало время ученія. Бельтова отправилась съ сыномъ въ Москву, для того, чтобъ найти гувернера. У ея покойнаго мужа жилъ въ Москвѣ дядя, оригиналь большой руки, ненавидимый всей роднею, капризный холостякъ, преумный, препразднѣный и въ самомъ дѣлѣ прененос-

ный своей своеобразностью. Не могу никакъ удержаться, чтобъ не сказать нѣсколько словъ и объ этомъ чудакѣ; меня ужасно занимають біографіи всѣхъ встрѣчающихся мнѣ лицъ. Кажется, будто жизнь людей обыкновенныхъ однообразна,—это только кажется: ничего на свѣтѣ нѣтъ оригинальнѣе и разнообразнѣе біографій неизвѣстныхъ людей, особенно тамъ, гдѣ нѣтъ двухъ чело-вѣкъ, связанныхъ одной общей идеей, гдѣ всякій молодець развивается на своей образецъ, безъ задней мысли,—куда вынесе-ть! Если-бъ можно было, я составилъ бы біографическій сло-варь, по азбучному порядку, всѣхъ, напримѣръ, брѣющихъ бо-роду, сначала; для краткости можно бы выпустить жизнеописанія ученыхъ, литераторовъ, художниковъ, отличившихся воиновъ, государственныхъ людей, вообще людей, занятыхъ общими инте-ресами: ихъ жизнь однообразна, скучна: успѣхъ, таланты, гоне-нія, рукоплесканія, кабинетная жизнь, или жизнь внѣ дома, смерть на полдорогѣ, бѣдность въ старости,—ничего своего, а все принадлежащее эпохѣ. Вотъ поэтому-то я писколько не избѣгаю біографическихъ отступленій: они раскрываютъ всю роскошь мі-розданія. Желаящій можетъ пропускать эти эпизоды, но съ тѣмъ вмѣстѣ онъ пропуститъ и повѣсть. Итакъ, біографія дядюшки.

Отецъ его—степной помѣщикъ, прикидывавшійся всегда раз-зореннымъ, ходилъ всю жизнь въ нагольномъ тулупѣ, самъ ѣздилъ продавать въ губернской городъ рожь, овесъ и гречиху, при чемъ, какъ водится, обмѣривалъ и былъ за это проучаемъ иногда. Однако сына своего, несмотря на разстроенныя обстоятельства, онъ отправилъ въ гвардію, и съ нимъ двѣ четверки лошадей, двухъ поваровъ, камердинера, лакея-гиганта и четырехъ маль-чиковъ какъ *hogs d'œuvre*. Въ Петербургѣ находили, что молодой офицеръ прекрасно воспитанъ, то есть, имѣетъ восемь лошадей, не меньшее число людей, двухъ поваровъ и пр. Все шло сначала какъ по маслу; будущій дядюшка сдѣлался гвардія поручикомъ, какъ вдругъ произошло важное событіе въ его жизни: оно слу-чилось въ семидесятыхъ годахъ. Въ прекрасный зимній день ему вздумалось прокатиться въ саняхъ по Невскому; за Аничковымъ мостомъ его нагнали большія сани тройкой, поравнялись съ нимъ, хотѣли обогнать. Вы знаете сердце русскаго,—поручикъ закричалъ кучеру: «пошелъ!»—«Пошелъ!» закричалъ львинымъ голосомъ высокій, статный мужчина, закутанный въ медвѣжью шубу и сидѣвшій въ другихъ саняхъ. Поручикъ обогнать. Задыхаясь отъ бѣшенства, при поворотѣ, господинъ въ медвѣжьей шубѣ, державшій въ рукѣ аранникъ, вытянулъ имъ поручичьяго ку-чера, нарочно зацѣпивъ за барина:

«Не перегонять, бестія!»

— Что вы съ ума сошли? спросилъ офицеръ.

«Я хочу отучить вашего дурака, чтобъ онъ не смѣлъ перегонять».

— Я ему велѣлъ скакать, милостивый государь, и вы понимаете, что я слишкомъ уважаю мундиръ моей государыни, чтобъ позволить запятнать его.

«Ба, какой молодчикъ,—да кто ты такой?»

— Да ты кто? спросилъ поручикъ, готовый броситься на него, какъ звѣрь. Статный мужчина посмотрѣлъ на него съ презрѣніемъ, показалъ ему свой кулакъ величиною съ слоновью ногу и сказалъ:

«Въ рукопашный? Нѣтъ, братъ, отстанешь!» потомъ закричалъ кучеру: «пошелъ!»

— Ступай за нимъ! вскрикнулъ поручикъ своему кучеру, прибавивъ слова два, до того всѣмъ извѣстныя, что ихъ и въ лексиконѣ не помѣщаютъ.

Офицеръ дѣйствительно узналъ, гдѣ живетъ этотъ господинъ, однако идти къ нему раздумалъ; онъ рѣшился написать ему письмо и началъ было довольно удачно; но ему какъ нарочно помѣшали: его потребовалъ генералъ, велѣлъ за что-то арестовать; потомъ его перевели въ гарнизонъ Орской крѣпости. Орская крѣпость вся стоитъ на яшмѣ и на благороднѣйшихъ горнокаменныхъ породахъ, тѣмъ не менѣе тамъ очень скучно. Офицеръ взялъ съ собою экземпляръ кребильоновыхъ романовъ и съ такимъ назидательнымъ чтеніемъ отправился на границу Уфимской провинціи. Года черезъ три его опять перевели въ гвардію, но онъ возвратился изъ Орской крѣпости, по замѣчанію знакомыхъ, нѣсколько поврежденнымъ; вышелъ въ отставку, потомъ уѣхалъ въ имѣніе, доставшееся ему послѣ раззореннаго отца, который, кряхтя и ходя въ нагольномъ тулупѣ, для одного, впрочемъ, скругленія, прикупилъ двѣ тысячи пятьсотъ душъ окольныхъ крестьянъ. Тамъ новый помѣщикъ поссорился со всѣми родными и уѣхалъ въ чужіе края. Года три пропалъ онъ въ англійскихъ университетахъ, потомъ объѣхалъ почти всю Европу, минуя Австрію и Испанію, которыхъ не любилъ; былъ въ связяхъ со всѣми знаменитостями, просиживалъ вечера съ Боннетомъ, толкуя объ органической жизни, и цѣлыя ночи съ Бомарше, толкуя о его процессахъ за бокалами вина; дружески переписывался съ Шлѣцеромъ, который тогда издавалъ свою знаменитую газету; ѣздилъ нарочно въ Эрменонвиль къ угасавшему Жанъ-Жаку и гордо проѣхалъ мимо Фернея, не заѣжая къ Вольтеру. Возвратившись лѣтъ черезъ десять изъ путешествія, онъ попробовалъ пожить въ Петербургѣ. Ему пришлось не по вкусу петербургская жизнь, и онъ поселился въ Москвѣ. Сначала находилъ онъ все страннымъ; потомъ все его стали находить страннымъ. И въ самомъ дѣлѣ, онъ какъ-то потерялся... сталъ читать однѣ медицинскія книги, видимо опускался, стано-

вился озлобленнымъ, капризнымъ, чужимъ всему и ко всему охладѣвшимъ...

Къ нему пріѣхалъ около того времени, какъ Бельтова искала гувернера, рекомендованный однимъ изъ его швейцарскихъ друзей женевецъ, желавшій опредѣлиться въ воспитатели. Женевецъ былъ человѣкъ лѣтъ сорока, сѣдой, худощавый, съ юными голубыми глазами и съ строгимъ благочестіемъ въ лицѣ. Онъ былъ человѣкъ отлично образованный, славно зналъ по латынѣ, былъ хорошій ботаникъ. Въ дѣлѣ воспитанія мечтатель съ юношескою добросовѣстностью видѣлъ исполненіе долга, страшную отвѣтственность; онъ изучилъ всевозможные трактаты о воспитаніи и педагогій отъ Эмиля и Песталоцци до Базедова и Николаи: одного онъ не вычиталъ въ этихъ книгахъ,—что важнѣйшее дѣло воспитанія состоитъ въ приспособленіи молодаго ума къ окружающему, что воспитаніе должно быть климатологическое, что для каждой эпохи, такъ, какъ для каждой страны, еще болѣе для каждаго сословія, а, можетъ быть, и для каждой семьи должно быть свое воспитаніе. Этого женевецъ не могъ знать: онъ сердце человѣческое изучалъ по Плутарху; онъ зналъ современность по Мальтъ-Брѣну и статистикамъ; онъ въ сорокъ лѣтъ безъ слезъ не умѣлъ читать «Донъ-Карлоса», вѣрилъ въ полноту самоотверженія, не могъ простить Наполеону, что онъ не освободилъ Корсики и возилъ съ собой портретъ Паоли. Правда, и онъ имѣлъ горькія столкновенія съ міромъ практическимъ: бѣдность, неудачи крѣпко давили его, но онъ отъ этого еще менѣе узналъ дѣйствительность. Печальный бродилъ онъ по чуднымъ берегамъ своего озера, негодующій на свою судьбу, негодующій на Европу, и вдругъ воображеніе указало ему на сѣверъ—на новую страну, которая, какъ Австралія въ физическомъ отношеніи, представляла въ нравственномъ что-то слагающееся въ огромныхъ размѣрахъ, что-то иное, новое, возникающее... Женевецъ купилъ себѣ исторію Левека, прочелъ вольтерова «Петра I-го» и черезъ недѣлю пошелъ пѣшкомъ въ Петербургъ. При дѣвственномъ взглядѣ своемъ на міръ, женевецъ имѣлъ какую-то незыблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель не исправимъ: онъ останется на вѣки вѣковъ ребенкомъ.

Бельтова познакомилась съ нимъ у дяди; она едва смѣла надѣяться найти идеальнаго гувернера, который сложился у ней въ фантазіи, но женевецъ былъ близокъ къ нему. Она предложила ему (по тогдашнему очень много) четыре тысячи рублей въ годъ. Женевецъ сказалъ, что ему надобно только тысячу двѣсти, и согласился. Бельтова изъяснила свое удивленіе; но онъ хладнокровно возразилъ, что онъ съ нея беретъ не менѣе и не болѣе, какъ сколько нужно, что онъ составилъ себѣ бюджетъ въ восемьсотъ

рублей, да на непредвидѣнные случаи полагаетъ четыреста; «къ роскоши,—прибавилъ онъ,—я приучаться не хочу, а собирать капиталъ считаю дѣломъ безчестнымъ». И этому-то безумцу ввѣрила мать воспитаніе будущаго обладателя Бѣлымъ Подемъ съ пустошами и угодыями.

Одинъ старикъ-дядя, всѣмъ на свѣтѣ недовольный, былъ и этимъ недоволенъ, и въ то время, какъ Бельтова была внѣ себя отъ радости, дядя (одинъ изъ всѣхъ родныхъ ея мужа, принимавшій ее), говорилъ: «Охъ, Софья, Софья, все ты вздоръ дѣлаешь; женевецъ остался бы преспокойно у меня чтецомъ; что онъ за гувернеръ? За нимъ надо еще няньку, да и что онъ сдѣлаетъ изъ Володи? Швейцарца. Такъ ужъ лучше, по моему, просто тебѣ везти его куда-нибудь въ Вевей или Лозанну»... Софья видѣла въ этихъ словахъ эгоизмъ старика, полюбившаго женевца, и, не желая сердить его, молчала; а потомъ, спустя недѣли двѣ, отправилась съ Володей и съ юношею въ сорокъ лѣтъ назадъ въ свое имѣніе. Дѣло было весною. Женевецъ началъ съ того, что развилъ въ Володѣ страсть къ ботаникѣ. Съ ранняго утра отправлялись они гербаризировать и живой разговоръ замѣнялъ скучные уроки: всякій предметъ, попавшійся на глаза, былъ темою, и Володя съ чрезвычайнымъ вниманіемъ слушалъ объясненія женевца. Послѣ обѣда сидѣли, обыкновенно, на балконѣ, выходившемъ въ садъ, и женевецъ рассказывалъ біографіи великихъ людей, дальнія путешествія, иногда позволялъ въ видѣ награды читать самому Володѣ Плутарха... И время шло и два выбора прошли и пришло время везти Володю въ университетъ. Матери что-то не хотѣлось: она въ эти годы болѣе сдружилась съ кроткимъ счастіемъ, нежели во всю жизнь; ей было такъ хорошо въ этой безмятежной, созвучной жизни, что она боялась всякой переменны; она такъ привыкла и такъ любила ждать на своемъ завѣтномъ балконѣ Володю съ дальнихъ прогулокъ; она такъ наслаждалась имъ, когда онъ, отирая потъ съ своего лица, раскраснѣвшійся и веселый, бросался къ ней на шею; она съ такою гордостью, съ такимъ наслажденіемъ смотрѣла на него, что готова была заплакать. Въ самомъ дѣлѣ, видъ Володи имѣлъ въ себѣ что-то трогательное: онъ былъ такъ благороденъ, что-то такое прямое, открытое, довѣрчивое было въ немъ, что смотрящему на него становилось отрадно для себя и грустно за него. Какъ очевидно было, что на этого стройнаго, гибкаго отрока съ свѣтлымъ взоромъ, жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посѣщало этой груди, что ложь не переходила чрезъ эти уста, что онъ совсѣмъ не зналъ, что ожидаетъ его съ лѣтами. Женевецъ привязался къ своему ученику почти такъ же, какъ мать; онъ иногда, долго смотрѣвъ на него, опускалъ глаза, полные

слезъ, думая: «и моя жизнь не погибла; довольно, довольно сознанія, что я способствовалъ развитію такого юноши,—меня совѣсть не упрекаетъ».

Какъ все перепутано, какъ все странно на бѣломъ свѣтѣ... Ни мать, ни воспитатель, разумѣется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготавливаютъ Володѣ этимъ отшельническимъ воспитаніемъ. Они сдѣлали все, чтобъ онъ не понималъ дѣйствительности; они рачительно завѣсили отъ него, что дѣлается на сѣбрѣ свѣтѣ, и, вмѣсто горькаго посвященія въ жизнь, передали ему блестящіе идеалы; вмѣсто того, чтобъ вести на рынокъ и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балетъ и увѣрили ребенка, что эта грація, что это музыкальное сочетаніе движеній съ звуками—обыкновенная жизнь; они приготовили своего рода нравственнаго Каспара Гаузера... Таковъ былъ и женевецъ: по какой разниці онъ—бѣдный ученый, готовый переходить съ края на край земного шара, съ небольшой котомкой, съ портретомъ Паоли, съ своими заповѣдными мечтами и съ привычкой довольствоваться малымъ, съ презрѣніемъ къ роскоши и съ готовностію на трудъ; что же въ немъ было схожаго съ назначеніемъ Володи и съ его общественнымъ положеніемъ...

Но какъ ни сдружилась Бельтова съ своею отшельнической жизнію, какъ ни было больно ей оторваться отъ тихаго Бѣлаго Поля, она рѣшилась ѣхать въ Москву. Приѣхавъ, Бельтова повезла Володю тотчасъ къ дядѣ. Старикъ былъ очень слабъ; она застала его полулежащаго въ вольтеровскихъ креслахъ; ноги были закутаны шальями изъ козьяго пуху; сѣдые и рѣдкіе волосы длинными космами падали на халатъ; на глазахъ былъ зеленый зонтикъ.

— «Ну, ты чѣмъ занимаешься, Владиміръ Петровичъ?» — спросилъ старикъ.

— Готовлюсь въ университетъ, дѣдушка, отвѣчалъ юноша.

— Въ какой?»

— Въ московскій.

— «Что тамъ дѣлать? Я самъ знакомъ былъ съ Матеемъ, да и съ Геймомъ, — ну, а все кажется бы, въ Оксфордѣ лучше; а, Софья? право лучше. А по какой части хочешь ты идти?»

— По юридической, дѣдушка.

Дѣдушка сдѣлалъ презрительную мину.

— «Ну, чтожъ! выучишь *le droit naturel, le droit des gens, le code de Justinien*, потомъ что?»

— Потомъ,—отвѣчала мать, улыбаясь,—потомъ въ Петербургъ служить.

— «Ха, ха, ха! очень нужно знать *Pandectes* и всѣ эти *glosses*! Или, можетъ быть, вы, Владиміръ Петровичъ, въ юрискон-

сульты собираетесь? Ха, ха, ха! въ адвокаты? Дѣлайте, какъ знаете, а по моему, братецъ, иди по дохтурской части; я тебѣ библіотеку свою оставлю—большая библіотека; я ее держалъ въ хорошемъ порядкѣ и все новое выписывалъ; медицинская наука теперь лучше всѣхъ; ну, вѣдь ближнему будешь полезенъ, изъ за денегъ тебѣ лечить стыдно, даромъ будешь лечить, — а совесть-то спокойна».

Зная упорность мнѣній старика, ни Володя, ни мать его не возражали; но женевецъ не вытерпѣлъ и сказалъ:

«Конечно, поприще врача прекрасно, но я не знаю, отчего же Владиміру Петровичу не идти по гражданской части, когда всѣми средствами стараются, чтобъ образованные молодые люди шли въ службу».

— «Онъ выучить васъ, да кстати и меня; а я былъ въ Женевѣ, когда онъ еще ползаль на четверенькахъ, — отвѣчалъ капризный старикъ, — мой милый *citoyen de Geneve!* А знаете ли вы,—прибавилъ онъ, смягчившись—у насъ въ какомъ-то переводѣ изъ Жанъ-Жака было написано: «Сочиненіе женеваго *мъщанина* Руссо»—и старикъ закашлялъ отъ смѣха. Онъ тысячу разъ рассказывалъ объ этомъ переводѣ, и ему всегда казалось, что его слушатель еще не знаетъ. — «Володя, — продолжалъ уже онъ въ веселомъ расположеніи:—не пишешь ли ты виршей?»

— Пробоваль, дѣдушка,—отвѣчалъ Владиміръ, покраснѣвъ.

— «Пожалуйста, не пиши, любезный другъ; одни пустые люди пишутъ вирши; вѣдь, это *futilité*; надобно дѣломъ заниматься».

Только послѣдній совѣтъ Владиміръ и исполнилъ: стиховъ онъ не писалъ. Вступилъ же онъ не въ оксфордскій университетъ, а въ московскій, и не по медицинской части, а по этико-политической. Университетъ довершилъ воспитаніе Бельтова. Доселѣ онъ былъ одинъ; теперь попалъ въ шумную семью товарищества. Здѣсь онъ узналъ свой удѣльный вѣсъ, здѣсь онъ встрѣтилъ горячую симпатію юныхъ друзей и, раскрытый ко всему прекрасному, сталъ усердно заниматься науками. Самъ деканъ не былъ равнодушенъ къ нему, находя, что ему не достаетъ только покороче волосъ и побольше почтительнаго благонавія, чтобъ быть отличнымъ студентомъ. Кончился, наконецъ, и курсъ, раздали на актѣ юношамъ подорожныя въ жизнь. Бельтова стала собираться въ Петербургъ; сына она хотѣла отправить впередъ, потомъ, устроивъ свои дѣла, ѣхать за нимъ. Прежде, нежели университетскіе друзья разбрелись по бѣлу-свѣту, собрались они у Бельтова, накануне его отъѣзда; всѣ были еще полны надеждъ; будущность раскрывала свои объятія, манила отчасти какъ Клеопатра, предоставляя себѣ право казни за восторги. Молодые люди чертили себѣ колоссальные планы. Никто не подозрѣвалъ, что

одинъ кончить свое поприще начальникомъ отдѣленія, проигрывающимъ все достояніе свое въ преферансъ; другой зачерствѣетъ въ провинціальной жизни и будетъ себя чувствовать нездоровымъ, когда не выпьетъ трехъ рюмокъ зорной настойки передъ обѣдомъ и не проспигъ трехъ часовъ послѣ обѣда; третій—на такомъ мѣстѣ, на которомъ онъ будетъ сердиться, что юноши—не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели. Въ ушахъ Бельтова еще раздавались клятвы въ дружбѣ, въ вѣрности мечтамъ, звуки чокающихся бокаловъ,—какъ женевецъ въ дорожномъ платьѣ будилъ его.

Мечтатель мой съ восторгомъ ѣхалъ въ Петербургъ. Дѣятельность, дѣятельность!.. Тамъ-то совершатся его надежды, тамъ-то онъ разовѣетъ свои проекты, тамъ узнаетъ дѣйствительность,—въ этомъ средоточіи, изъ котораго выходитъ вся новая жизнь Россіи! Москва, думалъ онъ, совершила свой подвигъ, свела въ себя, какъ въ горячее сердце, всѣ вены государства; она бьется за него; но Петербургъ, Петербургъ—это мозгъ Россіи, онъ вверху, около него ледяной и гранитный черепъ,—это возмужалая мысль имперіи... И рядъ подобныхъ мыслей и метафоръ тянулся въ его головѣ безъ малѣйшей натяжки и съ святою искренностью. А дилижансъ, между тѣмъ, катился отъ станціи до станціи и везъ, сверхъ нашихъ мечтателей, отставного конно-егерскаго полковника, съ сѣдыми усами, архангельскаго чиновника, возившаго съ собою окаменѣлую шамаю, ромашку на случай разстройства здоровья и лакея, одѣтаго въ плѣшивый тулупъ, да свѣтло-бѣлокурого юнкера, у котораго щеки были темнѣе волосъ, и который гордился своимъ вліяніемъ на кондуктора. Для Владиміра всѣ эти лица имѣли новость, праздничный видъ. Онъ добродушно смѣялся надъ архангелогородцемъ, когда тотъ его угощалъ ископаемой шамаей, и улыбался надъ его неловкостью, когда онъ такъ долго шарилъ въ кошелекъ, чтобъ найти приличную монету отдать за порцію щей, что нетерпѣливый полковникъ платилъ за него; онъ не могъ довольно нарадоваться, что архангельскій житель говорилъ полковнику: «ваше превосходительство», и что полковникъ не могъ рѣшительно выразить ни одной мысли, не начавъ и не окончивъ ее словами, далеко не столь почтительными: ему даже былъ смѣшонъ неуклюжій старичекъ, служившій у архангельскаго профѣзжаго, или, правильнѣе, не умиравшій у него въ услуженіи и переплетенный въ cuir russe, несмотря на холодъ. Юноша на все смотрѣлъ добродушно!

Пріѣздъ его въ Петербургъ и первое появленіе въ свѣтѣ было чрезвычайно успѣшно. Онъ имѣлъ рекомендательное письмо къ одной старой дѣвицѣ съ вѣсомъ; старая дѣвица, увидя прекрас-

наго собой юношу, рѣшила, что онъ очень образованъ и знаетъ прекрасно языки. Ея братъ былъ начальникомъ какой-то отрасли гражданского управленія. Она представила ему Владиміра. Тотъ поговорилъ съ нимъ нѣсколько минутъ и, въ самомъ дѣлѣ, былъ пораженъ его простою рѣчью, его многостороннимъ образованіемъ и пылкимъ, пламеннымъ умомъ. Онъ ему предложилъ записать его въ свою канцелярію, самъ поручилъ директору обратить на него особенное вниманіе. Владиміръ принялся рьяно за дѣла; ему понравилась бюрократія, разсматриваемая сквозь призму 19 лѣтъ,— бюрократія хлопотливая, занятая, съ нумерами и регистратурой, съ озабоченнымъ видомъ и кипами бумагъ подъ рукой; онъ видѣлъ въ канцеляріи мельничное колесо, которое заставляетъ двигаться массы людей, разбросанныхъ на половинѣ земнаго шара; онъ все поэтизировалъ.

Пріѣхала, наконецъ, и Бельтова въ Петербургъ. Женевецъ все еще жилъ у нихъ; въ послѣднее время онъ порывался нѣсколько разъ оставить Бельтовыхъ, но не могъ; онъ такъ сжился съ этимъ семействомъ, такъ много удѣлилъ своему Владиміру и такъ глубоко уважалъ его мать, что ему трудно было переступить за порогъ ихъ дома; онъ становился утрюмъ, боролся съ собою,—онъ, какъ мы сказали, былъ холодный мечтатель и, слѣдовательно, неисправимъ. Какъ-то, вечеромъ, вскорѣ послѣ опредѣленія Владиміра на службу маленькая семья сидѣла у камина. Молодой Бельтовъ, у котораго и самолюбіе было развито, и юное сознаніе силы и готовности,—мечталъ о будущемъ; у него въ головѣ бродили разныя надежды, планы, упованія; онъ мечталъ объ обширной гражданской дѣятельности, о томъ, какъ онъ посвятитъ всю жизнь ей... И среди этихъ увлеченій будущимъ, пылкой юноша вдругъ бросился на шею къ женевицу: «И какъ много обязанъ я тебѣ, истинный добрый другъ нашъ, сказалъ онъ ему, въ томъ, что я сдѣлался человѣкомъ—тебѣ и моей матери я обязанъ всѣмъ, всѣмъ; ты больше для меня, нежели родной отецъ!» Женевецъ закрылъ рукою глаза, потомъ посмотрѣлъ на мать, на сына, хотѣлъ что-то сказать,—ничего не сказалъ, всталъ и вышелъ вонъ изъ комнаты.

Пришедши въ свой небольшой кабинетъ, женевецъ заперъ дверь, вытащилъ изъ-подъ дивана свой пыльный чемоданчикъ, обтеръ его и началъ укладывать свои сокровища, съ любовью пересматривая ихъ. Эти сокровища обличали какъ-то въявь всю безконечную нѣжность этого человѣка. У него хранился бережно-завернутый портфель; портфель этотъ, криво и косо сдѣланный, склеилъ для женевица 12-лѣтній Володя къ новому году, тайкомъ отъ него, ночью; сверху онъ налѣпилъ выдранный изъ какой-то книги портретъ Вашингтона. Далѣе у него хранился акварель-

ный портретъ 14-лѣтняго Володи: онъ былъ нарисованъ съ открытой шеей, загорѣлый, съ пробивающеюся мыслию въ глазахъ и съ тѣмъ видомъ, полнымъ упованія, надежды, который у него сохранился еще лѣтъ на пять, а потомъ мелькалъ въ рѣдкія минуты, какъ солнце въ Петербургѣ, какъ что-то прошедшее, неприлаживающееся ко всѣмъ прочимъ чертамъ. Еще были у него серебряные математическіе инструменты, подаренные ему старикомъ дядей; его же огромная черепаховая табакерка, на которой было вытиснено изображеніе праздника при федерализаціи, принадлежавшая старику и лежавшая всегда возлѣ него: ее женевецъ купилъ послѣ смерти старика у его камердинера. Уложивъ всѣ эти драгоцѣнности и еще кой-какія въ томъ же родѣ, онъ отобралъ книгъ пятнадцать, остальные отложилъ. Потомъ, раннимъ утромъ, вышелъ онъ осторожно въ Морскую, призвалъ ломового извозчика, вынесъ съ человѣкомъ чемоданчикъ и книги и поручилъ ему сказать, что онъ поѣхалъ дня на два за городъ, надѣлъ длинный сюртукъ, взялъ трость и зонтикъ, пожалъ руку лакею, который служилъ при немъ, и пошелъ пѣшкомъ съ извозчикомъ; крупныя слезы капали у него на сюртукъ.

Дня черезъ два, Бельтова, чрезвычайно удивленная поѣздкой женевца, но ожидавшая его возвращенія, получила слѣдующее письмо:

«Милостивая государыня! Вчера вечеромъ я получилъ полную награду за труды мои. Повѣрьте, эта минута останется мнѣ памятною; она проводитъ меня до конца жизни, какъ утѣшеніе, какъ мое оправданіе въ моихъ собственныхъ глазахъ, — но съ тѣмъ вмѣстѣ она торжественно заключила мое дѣло, она ясно показала, что учитель долженъ оставить уже собственному развитію воспитанника, что онъ уже скорѣе можетъ повредить своимъ вліяніемъ самобытности, нежели быть полезнымъ. Человѣкъ долженъ цѣлую жизнь воспитываться; но есть эпоха, послѣ которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сдѣлать теперь для вашего сына,—онъ опередилъ меня.

«Давно собирался я оставить вашъ домъ; но моя слабость мѣшала мнѣ,—мѣшала мнѣ любовь къ вашему сыну; если-бъ я не бѣжалъ теперь, я никогда бы не сумѣлъ исполнить этотъ долгъ, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила: я не могъ ужъ и потому остаться, что считаю унижительнымъ даромъ ѣсть чужой хлѣбъ и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетвореніе своихъ нуждъ. Итакъ, вы видите, что мнѣ слѣдовало оставить вашъ домъ. Разстанемся друзьями, и не будемъ болѣе говорить объ этомъ.

«Когда вы получите это письмо, я буду по дорогѣ въ Финляндію; оттуда я намѣренъ отправиться въ Швецію; буду путе-

шествовать, пока проживу свои деньги, потомъ примусь опять за работу: силы у меня еще найдутся.

«Въ послѣднее время я не бралъ у васъ денегъ; не дѣлайте опыта мнѣ ихъ пересылать, а отдайте половину челоуѣку, который ходилъ за мною, а половину прочимъ слугамъ, которымъ прошу васъ дружески отъ меня поклониться: я подчасъ доставлялъ много хлопотъ этимъ бѣднымъ людямъ. Оставшіяся книги приметъ отъ меня въ подарокъ Вольдемаръ. Къ нему я пишу особо.

«Прощайте, прощайте, благороднѣйшая и глубоко уважаемая женщина! Да будетъ благословеніе на домъ вашемъ; впрочемъ, чего желать вамъ, имѣя такого сына? Желаю одного: чтобъ вы и онъ жили долго, очень долго. Вашу руку».

Письмо его къ Владиміру начиналось такъ:

«Не совѣты учителя, а совѣты друга будутъ послѣднею рѣчью къ тебѣ, Вольдемаръ. Ты знаешь, у меня нѣтъ родныхъ, которые мнѣ были бы близки, да нѣтъ и постороннихъ ближе тебя, несмотря на безмѣрное разстояніе лѣтъ. На твоемъ челѣ покоятся мои упованія и надежды. Я стяжалъ, Вольдемаръ, право дать тебѣ дружескій совѣтъ, уѣзжая. Иди дорогой, которую тебѣ указала судьба: она прекрасна; я не боюсь неудачъ и несчастій: они найдутъ въ тебѣ отпоръ и силу, — я боюсь успѣховъ и счастья, ты стоишь на скользкой дорогѣ. Служи дѣлу, но смотри, чтобъ не вышло обратнаго: чтобъ дѣло не служило тебѣ. Не смѣшай, Вольдемаръ, средства съ цѣлью. Одна любовь къ ближнему, одна любовь къ благу должна быть цѣлью. Если любовь изсякнетъ въ душѣ твоей, ты ничего не сдѣлаешь, ты будешь обманывать себя; только любовь созидаетъ прочное и живое, а гордость бесплодна, потому что ей ничего не нужно внѣ себя...»

Всего письма не перепишешь: оно въ три почтовые листа.

Такъ исчезъ въ жизни Владиміра этотъ свѣтлый и добрый образъ воспитателя.—«Гдѣ-то нашъ monsieur Joseph?»—часто говорили мать или сынъ, и они оба задумывались, и въ воображеніи у нихъ носилась его кроткая, спокойная и нѣсколько монашеская фигура, въ своемъ длинномъ дорожномъ сюртукѣ, пропадающая за гордыми и независимыми норвежскими горами.

VII.

Азаисъ доказывалъ (очень скудно), что все въ мірѣ навѣрстывается; разумѣется, чтобъ вѣрить этому, не надобно быть слишкомъ строгимъ и придирааться къ мелочамъ. Основываясь на этомъ, мы просимъ позволенія, въ видѣ возмездія за потерю мсье Жозефа, представить Осипа Евсѣича. Осипъ Евсѣичъ былъ худенькой, сѣденькій старичекъ, лѣтъ шестидесяти, въ потертомъ

виць-мундирномъ фракѣ, всегда съ довольнымъ видомъ и красными щеками. Онъ тридцать лѣтъ управлялъ четвертымъ столомъ въ той канцеляріи, куда поступилъ Бельтовъ; пятнадцать лѣтъ до того времени онъ провелъ на дворѣ канцеляріи въ почетномъ званіи швейцарова сына, дававшемъ ему аристократическій вѣсъ передъ дѣтми всѣхъ сторожей. Этотъ человекъ всего лучше могъ служить доказательствомъ, что не дальнія путешествія, не университетскія лекціи, не широкій кругъ дѣятельности образуютъ человека: онъ былъ чрезвычайно опытенъ въ дѣлахъ, въ званіи людей и къ тому же такой дипломатъ, что, конечно, не отсталъ бы ни отъ Остермана, ни отъ Талейрана. Отъ природы сметливый, онъ имѣлъ полную возможность и досугъ развить и воспитать свой практический умъ, сидя съ пятнадцати лѣтъ въ канцеляріи; ему не мѣшали ни науки, ни чтеніе, ни фразы, ни несбыточныя теоріи, которыми мы изъ книгъ развращаемъ воображеніе, ни блескъ свѣтской жизни, ни поэтическія фантазіи. Онъ, переписывая набѣло бумаги и рассматривая въ то же время людей начерно, пріобрѣталъ ежедневно болѣе и болѣе глубокое знаніе дѣйствительности, вѣрное пониманіе окружающаго и вѣрный тактъ поведенія, спокойно проведеній его между канцелярскихъ омутовъ, неказистыхъ, но тинистыхъ и чрезвычайно опасныхъ. Мѣнялись главные начальники, мѣнялись директоры, мелькали начальники отдѣленія, а столоначальникъ четвертаго стола оставался тотъ же, и всѣ его любили, потому что онъ былъ необходимъ и потому что онъ тщательно скрывалъ это. Всѣ отличали его и отдавали ему справедливость, потому что онъ старался совершенно стереть себя; онъ все зналъ, все помнилъ по дѣламъ канцеляріи; у него справлялись какъ въ архивѣ, и онъ не лѣзъ впередъ: ему предлагалъ директоръ мѣсто начальника отдѣленія,—онъ остался вѣренъ четвертому столу; его хотѣли представить къ кресту,—онъ на два года отдалилъ отъ себя крестъ, прося замѣнить его годовымъ окладомъ жалованья, единственно потому, что столоначальникъ третьяго стола могъ позавидовать ему. Таковъ онъ былъ во всемъ: никогда никто изъ постороннихъ не жаловался на его лихоимство; никогда никто изъ его сослуживцевъ не подозрѣвалъ его въ безкорыстіи. Вы можете себѣ представить, сколько разныхъ дѣлъ прошло въ продолженіи сорока пяти лѣтъ черезъ его руки, и никогда никакое дѣло не вывело Осипа Евсѣича изъ себя, не привело въ негодованіе, не лишило веселаго расположенія духа. Онъ отроду не переходилъ мысленно отъ дѣлопроизводства на бумагѣ къ дѣйствительному существованію обстоятельствъ и лицъ; онъ на дѣла смотрѣлъ какъ-то отвлеченно, какъ на сцѣпленіе большого числа отношеній, сообщеній, рапортовъ и запросовъ,

въ извѣстномъ порядкѣ расположенныхъ и по извѣстнымъ правиламъ разросшихся. Продолжая дѣло въ своемъ столѣ, или *сообщая ему движеніе*, какъ говорятъ романтики-столоначальники, онъ имѣлъ въ виду, само собою разумѣется, одну очистку своего стола, и оканчивалъ дѣло у себя, какъ удобнѣе было: справкой въ Красноярскѣ, которая не могла ближе двухъ лѣтъ возвратиться, или заготовленіемъ окончательнаго рѣшенія, или—это онъ любилъ всего больше—пересылкою дѣла въ другую канцелярію, гдѣ уже другой столоначальникъ оканчивалъ по тѣмъ же правиламъ этотъ гранпасьянсъ. Онъ до того былъ безпристрастенъ, что вовсе не думалъ, на примѣръ, что могутъ быть лица, которыя пойдутъ по міру прежде, нежели воротится справка изъ Красноярска,—Θемида должна быть слѣпа...

Вотъ этотъ-то почтеннѣйшій сослуживецъ Владиміра, мѣсяца черезъ три послѣ его опредѣленія, окончивъ пересмотръ перебѣленныхъ бумагъ и задавъ новаго корма перьямъ четырехъ писцовъ, вынулъ свою серебряную табакерку съ чернью, поднесъ ее помощнику и прибавилъ:

— «Попробуйте-ка, Василій Васильевичъ, ворошатинскаго; пріятель привезъ изъ Владиміра».

— Славный табакъ! возразилъ помощникъ чрезъ минуту, которую онъ провелъ между жизнью и смертью, нюхнувъ большую щепотку сухой свѣтло-зеленой пыли.

— «Что? забираетъ-съ?» сказалъ столоначальникъ, очень довольный тѣмъ, что попортилъ носовую перепонку своего помощника.

— А что, Осипъ Евсеѣвичъ, спросилъ помощникъ, болѣе и болѣе приходившій въ себя послѣ паралича отъ ворошатинскаго табаку и утиравшій синимъ платкомъ глаза, носъ, лобъ и даже подбородокъ:—я васъ еще не спросилъ, какъ вамъ понравился вновь опредѣляющійся молодой человѣкъ, изъ Москвы, что-ли?

— «Малой, кажется, бойкій, говорятъ, его *самъ* опредѣлилъ».

— Да-съ, точно, малой умный, отнять нельзя. Я вчера слышалъ, онъ спорилъ съ Павлѣмъ Павлычемъ; тотъ, знаете, не любитъ возраженій, а Бельтовъ этотъ не въ карманъ за словами ходитъ. Павла Павлычъ началъ сердиться: я, говоритъ, вамъ говорю такъ и такъ,—а Бельтовъ: да помилуйте, вотъ такъ и такъ. Порадовался я, со стороны глядя. Послѣ, какъ Бельтовъ отошелъ, Павла Павлычъ, знаете, пріятелю-то своему говоритъ: «вотъ и держи въ порядкѣ канцелярію, какъ этакихъ насажаютъ; да я, впрочемъ, самъ университетъ; я его отучу своевольничать; мнѣ дѣла нѣтъ, черезъ кого опредѣленъ».

— Эки дѣла! сказалъ столоначальникъ, на котораго разсказъ, повидимому, сдѣлалъ тоже радостное впечатлѣніе: «такъ кто бы ни опредѣлилъ, все равно? Ай-да Павлычъ!»

— «Ну, а что жъ, онъ ему въ глаза-то сказать это?»

— Нѣтъ, подѣ конецъ онъ что-то по французски только ввернулъ. Признаюсь, какъ я посмотрѣлъ на эту выходку, такъ знаете, что пришло въ голову: вотъ мы съ Осипомъ Евсеичемъ будемъ все еще также сидѣть на перекоски у четвертаго стола, а онъ переѣдетъ вонъ туда,—онъ показаль на директорскую.

— «Эхъ, голова, голова ты, Василій Васильичъ!» возразиль столоначальникъ:—«умнѣй тебя, кажется, въ трехъ столахъ не найдешь, а и ты мелко плаваешь. Я, братъ, на своемъ вѣку довольно видѣлъ матеріала, изъ котораго выходятъ настоящіе дѣловые люди, да правители канцеляріи; въ этомъ фертикѣ на волосъ нѣтъ того, что нужно. Что уменъ-то, да рьянъ,—а на долго ли хватить я ума и рьяности его? Хочешь объ закладъ на бутылку полыннаго, что онъ до столоначальника не дотянетъ?»

— Пари держать не хочу, а я вчера читаль бумаги, имъ писанныя: прекрасно пишетъ, ей-Богу; только въ «Сынѣ Отечества» удавалось читать такой штиль.

— «Видѣлъ и я, у меня глазъ то, правда, и старъ, ну, да не совѣмъ однако и слѣпъ: формы не знаетъ, да кабы не зналъ по глупости, по невпривычкѣ—не велика бѣда; когда-нибудь научился бы, а то изъ ума не знаетъ; у него изъ дѣла выходитъ романъ, а главное-то между палець идетъ; отъ кого сообщено, достодолжное ли теченіе, кому переслать, ему все равно; это называется по-русски верхки хватать; а спроси его—онъ насъ, стариковъ, пожалуй, поучить. Нѣтъ, братъ, дѣльнаго малаго сразу узнаешь; я сначала самъ было-подумаль: «кажется, не глупъ; можетъ, будетъ путь; ну, не привыкъ къ службѣ, обойдется, привыкнетъ», а теперь, три мѣсяца всякій день ходить и со всякой дрянью носится, горячится, точно отца роднаго, прости Господи, рѣжутъ, а онъ спасаетъ,—ну, куда уйдешь съ этимъ? Видали мы такихъ молодцовъ, не онъ первый, не онъ послѣдній, всѣ они только на словахъ выѣзжаютъ: я-де злоупотребленія искореню, а самъ не знаетъ, какія злоупотребленія и въ чемъ они... Покричить, покричить, да такъ на всю жизнь чиновникомъ *безъ всякихъ порученій* и останется, а съ дуру надъ нами будетъ подѣмивать: это-де канцелярскіе, чернорабочіе; а чернорабочіе-то все и дѣлають; въ гражданскую палату просьбу по своему дѣлу надо подать—не умѣеть, давай чернорабочаго... Трутни!» заключиль краснорѣчивый столоначальникъ.

Въ самомъ дѣлѣ, столоначальникъ разсуждалъ основательно, и событія какъ нарочно торопились ему на подтвержденіе. Бельтовъ вскорѣ охладѣлъ къ занятіямъ канцеляріи, сталъ раздражителенъ, небреженъ. Управлявшій канцелярією призываль его къ себѣ и говорилъ, какъ нѣжная мать,—не помогло. Его при-

звалъ министръ и говорилъ, какъ нѣжный отецъ, такъ трогательно и такъ хорошо, что экзекуторъ, случившійся при этомъ, прослезился, не смотря на то, что его не легко было тронуть, что знали всѣ сторожа, служившіе подъ его начальствомъ,—и это не помогло. Бельтовъ началъ до того забываться, что оскорблялся именно этимъ родственнымъ участіемъ постороннихъ, именно этими отеческими желаніями его исправить. Словомъ, черезъ три мѣсяца послѣ краснорѣчиваго разговора столоначальника съ его помощникомъ, Осипъ Евсѣичъ гнѣвался на одного писца, что то недоумѣвавшего, и приговаривалъ: «Да когда же ты научишься? Ну, сколько разъ приходилось тебѣ писать, и всякій разъ для тебя всю черновую составь; все отъ того, что не служба на умѣ, а въ скюртучкѣ по Адмиралтейскому бульвару шляться за мамзелями,—не разъ видалъ... Ну, пиши: «И для свободнаго въ Россійской Имперіи прожитія данъ ему, отставному губернскому секретарю Бельтову, сей паспортъ, за надлежащимъ подписаніемъ и съ приложеніемъ казенной печати... Кончилъ? давай!» И онъ бормоталъ: «изъ двор... душъ... уѣзда... курсъ... штатъ 18 сентября... православнаго... хорошо!» И внизу Осипъ Евсѣичъ скрѣпилъ мельчайшимъ шрифтомъ на самомъ краешкѣ листа. «Поди же, снеси сейчасъ и подай, а когда подпишетъ, въ регистратуру; вотъ печать поставили бы съ боку, видишь, гдѣ написано: «у сего паспорта». Онъ завтра за нимъ придетъ».

— «Что, Василій Васильичъ, не хотѣли на полынную-то держать, а вотъ оно теперъ бы и зашли. Нечего сказать, проворенъ!»

— Ровно четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ не дослужилъ до пряжки», остроумно замѣтилъ помощникъ. Столоначальникъ и за нимъ весь столъ его расхохотались.

Этимъ олимпийскимъ смѣхомъ окончилось служебное поприще добраго пріятеля нашего, Владиміра Петровича Бельтова. Это было ровно за десять лѣтъ до того знаменитаго дня, когда въ то самое время, какъ у Вѣры Васильевны за столомъ подавали пудингъ, раздался колокольчикъ, Максимъ Ивановичъ не вытерпѣлъ и побѣжалъ къ окну.

Что же дѣлалъ Бельтовъ въ продолженіе этихъ десяти лѣтъ?

Все, или почти все.

Что онъ сдѣлалъ?

Ничего, или почти ничего.

Кто не знаетъ старинной примѣты, что дѣти, слишкомъ много общающія, рѣдко много исполняютъ. Отчего это? Неужели силы у человѣка развиваются въ такомъ опредѣленномъ количествѣ, что если онѣ потребятся въ молодости, такъ къ совершеннолѣтію ничего не останется? Вопросъ премудреный. Я его не умѣю и не хочу разрѣшать; но думаю, что рѣшеніе его на-

добно скорѣе искать въ атмосферѣ, въ окружающемъ, въ вліяніяхъ и соприкосновеніяхъ, нежели въ какомъ-нибудь нелѣпомъ психическомъ устройствѣ человѣка. Какъ бы то ни было, но примѣта исполнилась надъ головой Бельтова. Бельтовъ съ юношеской запальчивостью и съ неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и съ внутреннимъ ужасомъ доходилъ во всемъ почти до того же послѣдствія, которое такъ краснорѣчиво выразилъ Осипъ Евсѣичъ: «а дѣлають-то одни чернорабочіе», и дѣлають оттого, что барсуки и фараоновы мыши не умѣють ничего дѣлать и приносятъ на жертву человѣчеству одно желаніе, одно стремленіе, часто благородное, но почти всегда бесплодное...

Однимъ, если не прекраснымъ, то совершенно петербургскимъ утромъ, утромъ, въ которомъ соединились неудобства всѣхъ четырехъ временъ года, мокрый снѣгъ хлесталъ въ окна и въ одиннадцать часовъ утра еще не разсвѣтало, а, кажется, ужъ смеркалось,—сидѣла Бельтова у того же камина, у котораго была послѣдняя бесѣда съ женеvцемъ; Владиміръ лежалъ на кушеткѣ съ книгою въ рукѣ, которую читалъ и не читалъ, наконецъ рѣшительно не читалъ, а положилъ на столъ и, долго просидѣвъ въ лѣнливой задумчивости, сказалъ:

«Маменька, знаете, что мнѣ въ голову пришло: вѣдь, дядюшка-то былъ правъ, совѣтуя мнѣ идти по медицинской части. Какъ вы думаете, не заняться ли мнѣ медициной?»

— Какъ хочешь, мой другъ, отвѣчала съ обычной кротостью Бельтова;—одно страшно, Володя, надобно будетъ тебѣ подходить къ больнымъ, а есть прилипчивыя болѣзни.

«Маменька», сказалъ Владиміръ, нѣжно взявъ ея руку и улыбаясь: «какой вы эгоистъ, преисполненный любви! Жить, сложа руки, конечно, безопаснѣе; но я полагаю, что на бездѣйствіе надобно такъ же имѣть призваніе, какъ и на дѣятельность. Не всякій, кто захочетъ, можетъ ничего не дѣлать».

— Попробуй,—отвѣчала мать.

На другой день утромъ Владиміръ явился въ залъ анатомическаго театра и съ тѣмъ усердіемъ, съ которымъ принялся за дѣла канцеляріи, сталъ заниматься анатоміей. Но онъ въ эту аудиторию не принесъ той чистой любви къ наукѣ, которая его сопровождала въ Московскомъ университетѣ; какъ онъ ни обманывалъ себя, но медицина была для него мѣстомъ бѣгства; онъ въ нее шелъ отъ неудачъ, шелъ отъ скуки, отъ нечего дѣлать; много легло уже разстоянія между веселымъ студентомъ и отставнымъ чиновникомъ, дилетантомъ медицины. Одаренный быстрымъ умомъ, онъ очень скоро наткнулся въ новыхъ занятіяхъ своихъ на тѣ вопросы, на которые медицина учено мол-

чить, и отъ разрѣшенія которыхъ зависитъ все остальное. Онъ остановился передъ ними и хотѣлъ ихъ взять приступомъ, отчаянной храбростью мысли; онъ не обратилъ вниманія на то, что разрѣшенія эти бываютъ плодомъ долгихъ, постоянныхъ, неутомимыхъ трудовъ; на такіе труды у него не было способности, и онъ примѣтно охладѣлъ къ медицинѣ, особенно къ медикамъ; онъ въ нихъ нашелъ опять своихъ канцелярскихъ товарищей; ему хотѣлось, чтобъ они посвящали всю жизнь разрѣшенію вопросовъ, его занимавшихъ; ему хотѣлось, чтобъ они къ кровати больного подходили, какъ къ высшему священнодѣйствию, а имъ хотѣлось вечеромъ играть въ карты, а имъ хотѣлось практики а имъ было недосугъ.

«Нѣтъ, думалъ Владиміръ—нѣтъ, не хочу быть докторомъ! что я за безсовѣстный человекъ, что осмѣлюсь лечить больного при современной разногласицѣ во всѣхъ физиологическихъ вопросахъ. Все практическое въ сторону! Что я за чиновникъ, что я за ученый?—Я... я..., не смѣю признаться, я—артистъ!»

Срисовыя изображенія черепа, Бельтовъ догадался, что онъ художникъ. Вздумано, сдѣлано. Нижнія стекла у оконъ его кабинета завѣсились непроницаемыми тканями: возлѣ двухъ череповъ явилась небольшая Венера; вездѣ выросли, какъ изъ земли, гипсовые головы съ выраженіемъ ужаса, стыда, ревности, доблести, такъ, какъ ихъ понимаетъ ученое ваяніе, т. е. такъ, какъ эти страсти не являются въ натурѣ. Владиміръ пересталъ стричь волосы и ходилъ цѣлое утро въ блузѣ, этотъ костюмъ пролетарія ему спилъ аристократъ портной на Невскомъ проспектѣ. Владиміръ сталъ ходить всякую недѣлю въ Эрмитажъ и усердно сидѣть за мольбертомъ... Мать входила иногда на цыпочкахъ, боясь помѣшать будущему Тиціану въ его занятіяхъ. Онъ начиналъ поговаривать объ Италіи и объ исторической картинѣ въ современномъ и сильномъ вкусѣ: онъ обдумывалъ встрѣчу Бирона, ѣдущаго изъ Сибири, съ Минихомъ, ѣдущимъ въ Сибирь; крутомъ зимній ландшафтъ, снѣгъ, кибитки и Волга...

Само собою разумѣется, что и живопись не совсѣмъ удовлетворяла Бельтова: въ немъ не доставало удовольствия занятіемъ; внѣ его не доставало той артистической среды, того живого взаимодѣйствія и обмѣна, который поддерживаетъ художника. Ничто не вызывало его дѣятельности; она была вовсе не нужна и обусловливалась только его личнымъ желаніемъ. Но всего болѣе мѣшали ему прежнія мечты о службѣ, о гражданской дѣятельности. Ничто въ мірѣ не заманчиво такъ для пламенной природы, какъ участіе въ текущихъ дѣлахъ, въ этой воочію совершающейся исторіи; кто допустилъ въ свою грудь мечты о такой дѣятельности, тотъ испортилъ себя для всѣхъ другихъ областей;

тотъ, чѣмъ бы ни занимался, вездѣ будетъ гостемъ,—его безусловная область не тамъ: онъ внесетъ гражданскій споръ въ искусство, онъ мысль свою нарисуетъ, если будетъ живописецъ, пропоетъ, если будетъ музыкантъ. Переходя въ другую сферу, онъ будетъ себя обманывать, такъ, какъ человѣкъ, оставляющій свою родину, старается увѣрить себя, что все равно, что его родина вездѣ, гдѣ онъ полезенъ,—старается,... а внутри его неотвязный голосъ зоветъ въ другое мѣсто и напоминаетъ иныя пѣсни, иную природу. Темно и отчетливо бродили эти мысли по душѣ Бельтова, и онъ съ завистью смотрѣлъ на какого-нибудь германца, живущаго въ фортепьянахъ, счастливаго Бетховеномъ и изучающаго современность *ex fontibus*, т. е. по древнимъ писателямъ.

Къ тому же, длинные петербургскіе вечера, въ которые нельзя рисовать... Эти вечера Владиміръ проводилъ очень часто у одной вдовы, страстной любительницы живописи. Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокаго образованія; у нея-то въ домѣ Владиміръ робко проговорилъ первое слово любви и смѣло подписалъ первый вексель на огромную сумму, проигранную имъ въ тотъ счастливый вечеръ, когда, онъ, разсѣянный и упоенный, игралъ, не обращая никакого вниманія на игру; да и до игры ли было? Противъ него сидѣла она, и онъ такъ ясно читалъ въ ея глазахъ любовь, вниманіе!

Не буду вамъ теперь рассказывать всю исторію моего героя; событія ея очень обыкновенны; но они какъ-то не совсѣмъ обыкновенно отражались въ его душѣ. Скажу вкратцѣ, что послѣ опыта любви, на который потратилось много жизни, и послѣ нѣсколькихъ векселей, на которые потратилось довольно много состоянія, онъ уѣхалъ въ чужіе край—искать разсѣянья, искать впечатлѣній, занятій и проч.; а его мать, слабая и состарѣвшаяся не по лѣтамъ, поѣхала въ Бѣлое-Поле поправлять бреша, сдѣланныя векселями, да улачивать годовыми заботами своими минутныя увлеченія сына, да копить новыя деньги, чтобъ Володя на чужой сторонѣ ни въ чемъ не нуждался. Все это для Бельтовой было совсѣмъ не легко; она хотя любила сына, но не имѣла тѣхъ способностей, какъ застѣйская барыня, всегда готовая къ снисхожденію, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по недогадкѣ, а по какой-то нѣжной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видитъ истину. Крестьяне Бѣлаго-Поля молили Бога за свою барыню и платили оброкъ на славу. Бельтовъ писалъ часто къ матери, и тутъ бы вы могли увидѣть, что есть другая любовь, которая не такъ горда, не такъ притязательна, чтобъ исключительно присвоивать себѣ это имя, но любовь, не охлаждающаяся ни лѣтами, ни болѣзнями, которая и въ старыхъ лѣтахъ дрожащими руками открываетъ письмо и

старыми глазами леть горькія слезы на дорогія строчки. Письма сына были для Бельтовой источникомъ жизни; они ее подкрѣпляли, тѣшили, и она сто разъ перелистывала каждое письмо.

А письма его были грустны, хотя и полны любви, хотя и много было утаено отъ слабаго сердца матери. Видно было, что скука снѣдаетъ молодого человѣка, что роль зрителя, на которую обрекаетъ себя путешественникъ, стала надобдаться ему; онъ досматрѣлъ Европу,—ему ничего не оставалось дѣлать; всѣ возлѣ были заняты, какъ обыкновенно люди дома бываютъ заняты; онъ увидѣлъ себя гостемъ, которому предлагаютъ стулъ, котораго осыпаютъ вѣжливостью, но въ семейныя тайны не посвящаютъ, которому, наконецъ, бываетъ пора идти къ себѣ. Но при одномъ воспоминаніи петербургскихъ походовъ на Бельтова находила хандра, и онъ, не зная за чѣмъ, переѣзжалъ изъ Парижа въ Лондонъ. За нѣсколько мѣсяцевъ передъ пріѣздомъ Бельтова, мать получила отъ него письмо изъ Монпелье; онъ извѣщалъ, что ѣдетъ въ Швейцарію, что нѣсколько простудился въ Пиренейскихъ горахъ, и потому пробудетъ еще дней пять въ Монпелье; обѣщалъ писать, когда выѣдетъ; о возвращеніи въ Россію ни слова. «Нѣсколько простудился», и мать уже начала тревожиться и ждать письма съ дороги. Но проходитъ двѣ недѣли, — письма нѣтъ; проходитъ около мѣсяца,—письма нѣтъ. Бѣдная женщина, она была лишена даже послѣдняго утѣшенія въ разлукѣ — возможности писать съ достовѣрностью, что письмо дойдетъ, и, не зная, дойдутъ ли, для одного облегченія, послала два письма въ Парижъ confiées aux soins de l'ambassade Russe. Ложась спать, она всякій разъ приказывала Дунѣ пораньше отправить кучера верхомъ въ уѣздный городъ справиться, нѣтъ ли письма, хотя она и очень хорошо знала, что почта приходитъ въ недѣлю разъ. Уѣздный почтмейстеръ былъ добрый старикъ, душою преданный Бельтовой; онъ всякій разъ приказывалъ ей доложить, что писемъ нѣтъ, что какъ только будутъ, онъ самъ привезетъ или пришлетъ съ эстафетой,—и съ какимъ тупымъ горемъ слушала мать этотъ отвѣтъ, послѣ тревожнаго ожиданія въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ! Мысль ѣхать самой начинала мелькать въ головѣ ея; она хотѣла уже послать за сосѣдомъ, отставнымъ артиллеріи капитаномъ, къ которому обращалась со всѣми важными юридическими вопросами, напримѣръ, о составленіи учтиваго объясненія, почему нѣтъ запаснаго магазина, и т. п.: она хотѣла теперь выспросить у него, гдѣ берутъ заграничныя паспорта, въ казенной палатѣ, или въ уѣздномъ судѣ... И тѣмъ скучнѣе шли дни ожиданія, что на дворѣ была осень, что липы давно пожелтѣли, что сухой листъ хрустѣлъ подъ ногами, что дни цѣлые дождь шелъ будто нехотя, но безпрестанно. Какъ-то разъ подъ вечеръ, дѣ-

вупка, ходившая за Бельтовой, попросилась у нея идти ко все-нощной.

«Ступай; да что такое завтра?»

— «Неужели вы изволили забыть, что завтра 17-е сентября, день вашего ангела, богомудрой Софіи и дочерей ея Любви, Вѣры и Надежды!»

«Ступай, Дуня, да помолись и объ Володѣ», сказала Бельтова, и слезы навернулись на глазахъ ея.

Человѣкъ до ста лѣтъ — дитя, да если-бъ онъ и до пятисотъ лѣтъ жилъ, все былъ бы одной стороной своего бытія дитя. И жаль, если-бъ онъ утратилъ эту сторону,—она полна поэзіи. Что такое именины? Почему въ этотъ день ярче чувствуется горе и радость, нежели наканунѣ, нежели потомъ? Не знаю почему, а оно такъ. Не только именины, а всякая годовщина сильно потрясаетъ душу. «Сегодня, кажется, 3-е марта», говоритъ одинъ, боясь пропустить срокъ продажи имѣнія съ публичнаго торга,— «3-е марта», да, 3-е марта, отвѣчаетъ другой, и его дума ужъ за восемь лѣтъ; онъ вспоминаетъ первое свиданіе послѣ разлуки, онъ вспоминаетъ всѣ подробности и съ какимъ-то торжественнымъ чувствомъ прибавляетъ:—ровно восемь лѣтъ! и онъ боится осквернить этотъ день, и онъ чувствуетъ, что это праздникъ, и ему не приходитъ на мысль, что 13-е марта будетъ ровно восемь лѣтъ и десять дней, и что всякій день своего рода годовщина. Такъ было съ Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о томъ, что нѣтъ писемъ, стала горче, стала тягостнѣе, при мысли, что Володя не придетъ поздравить ее, что онъ, можетъ быть, забудетъ и тамъ ее поздравить... Она впадала въ задумчивую мечтательность, то воображенію ея представлялось, какъ, лѣтъ за пятнадцать, она въ завтрашній день нашла всю чайную комнату убранную цвѣтами; какъ Володя не пускалъ ее туда, обманывалъ; какъ она догадывалась, но скрыла отъ Володи; какъ мсьё Жозефъ усердно помогалъ Володѣ дѣлать гирлянды; потомъ, ей представлялся Володя въ Монпелье, больной, на рукахъ жаднаго трактирщика, и тутъ она боялась дать волю воображенію идти далѣе, и торопилась утѣшить себя тѣмъ, что, можетъ быть, мсьё Жозефъ съ нимъ встрѣтился тамъ и остался при немъ. Онъ такъ нѣженъ, такъ добръ, такъ любитъ Володю, онъ за нимъ будетъ ходить, онъ строго исполнитъ приказы доктора, онъ будетъ смотрѣть на него, когда онъ уснетъ. Да зачѣмъ же Жозефъ въ Монпелье? Что же? Володя могъ его выписать, какъ друга... Но... И ей опять становилось невыносимо тяжело, и рядъ мрачныхъ картинъ, переплетенныхъ съ свѣтлыми воспоминаніями, тянулся въ душѣ ея всю ночь.

На другой день разные хлопоты заняли и, насколько могли,

развлекали Бельтову. Съ ранняго утра передняя была полна аристократами Бѣлаго-Поля; староста стоялъ впереди въ синемъ кафтанѣ и держалъ на огромномъ блюдѣ страшной величины куличъ, за которымъ онъ посылалъ десятскаго въ уѣздный городъ; куличъ этотъ издавалъ запахъ коноплянаго масла, готовый остановить всякое дерзновенное покушеніе на цѣлость его; около него, по бортику блюда, лежали апельсины и куриныя яйца; между красивыми и величавыми головами нашихъ бородачей, одинъ только земскій отличался костюмомъ и видомъ: онъ не только былъ обритъ, но и порѣзанъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, оттого, что рука его (не знаю, отъ многоаго ли письма, или оттого, что онъ никогда не встрѣчалъ прелестное сельское утро, не выпивши на мірской счетъ въ питейномъ домѣ кружечки сивухи) имѣла престранное обыкновеніе трястись, что ему значительно мѣшало отчетливо нюхать табакъ и бриться; на немъ былъ длинный синій сюртукъ и плисовые панталоны въ сапоги, т. е. онъ напоминалъ собою извѣстнаго звѣря въ Австраліи, орниторинха, въ которомъ преотвратительно соединены звѣрь, птица и амфибій. На дворѣ жалобно кричалъ время отъ времени юный теленокъ, поенный шесть недѣль молокомъ: это была гекатомба, которую тоже приготовили крестьяне барынѣ для дня *менинъ*. Бельтова не умѣла съ достоюлжною важностью дѣлать выходы; она это знала сама и всегда какъ-то терялась въ этихъ случаяхъ. Послѣ выхода—обѣдня; служили молебень; въ самое это время пріѣхалъ артиллерійскій капитанъ; на этотъ разъ онъ явился не юрисконсультомъ, а въ прежнемъ воинственномъ видѣ. Когда шли изъ церкви домой, Бельтова была очень испугана какимъ-то трескомъ. Сосѣдъ привезъ съ собою въ кибиткѣ маленькой фальконетъ и велѣлъ выстрѣлить изъ него въ ознаменованіе радости; лягавая собака Бельтовой, случившаяся при этомъ, какъ глухое животное, никакъ не могла понять, чтобъ можно было безъ цѣли стрѣлять, и изстрадалась вся, бѣгая и отыскивая зайца или тетерева. Воротились домой. Бельтова велѣла подать закуску,—вдругъ раздался звонкій колокольчикъ, и отличнѣйшая почтовая тройка летѣла черезъ мостъ, загнула за гору, исчезла, и, минуты двѣ спустя, показалась вблизи; ямщикъ правилъ прямо къ господскому дому и, лихо подѣхавъ, мастерски осадилъ лошадей у подѣзда. Самъ старикъ почтмейстеръ (это былъ онъ), вылѣзая изъ кибитки, не вытерпѣлъ, чтобъ не сказать ямщику:

— Ай-да, Богдашка, собака, истинно собака, можно чести приписать.

Богдашка былъ, разумѣется, доволенъ комплиментами почтмейстера, щурилъ правый глазъ и поправлялъ шляпу, приговаривая:

— «Ужъ если намъ вашему благородію не съсусердствовать, такъ ужъ это хуже не надо»:

Съ торжественно таинственнымъ видомъ, съ просасывающимся довольствомъ во всѣхъ чертахъ, вошелъ почтмейстеръ въ гостиную и отправился учинить цѣлованіе руки.

— Честь имѣю, матушка Софья Алексѣевна, поздравить съ высокаторжественнымъ днемъ ангела и желаю вамъ добраго здравія... Здравствуйте, Спиридонъ Васильевичъ! (это относилось къ капитану).

«Василью Логиновичу наше почтеніе», отвѣчала артиллеристъ.

Василій Логиновичъ продолжалъ:

— А я-съ для вашего ангела осмѣлился подарочекъ привезти вамъ; не взыщите, чѣмъ богать, тѣмъ и радъ; подарокъ не дорогой—всего портовыхъ и страховыхъ рубль пятнадцать копеекъ, да вѣсовыхъ восемь гривенъ. Вотъ вамъ, матушка, два письмеца отъ Владиміра Петровича: одно, кажись, изъ Монтраше, а другое изъ Женева, по штемпелю судя. Простите, матушка, грѣшной человѣкъ, недѣльки двѣ первос письмецо, да и другое деньковъ пять; поберегъ ихъ къ нынѣшнему дню; право, только и думалъ: утѣшу, молъ, Софью Алексѣевну для тезоименитства, такъ утѣшу.

Софья Алексѣевна поступила съ почтмейстеромъ точно такъ, какъ знаменитый актеръ Офренъ съ тераменовымъ разговоромъ: она не слушала всей части рѣчи послѣ того, какъ онъ вынулъ письма; она судорожной рукой сняла пакетъ, хотѣла было тутъ читать, встала и вышла вонъ.

Почтмейстеръ былъ очень доволенъ, что чуть не убилъ Бельтову сначала горемъ, потомъ радостью; онъ такъ добродушно потиралъ себѣ руки, такъ вкушалъ успѣхъ сюрприза, что нѣтъ въ мірѣ жестокаго сердца, которое нашло бы въ себѣ силы упрекнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закутить. На этотъ разъ, послѣднее сдѣлалъ сосѣдъ:

«Вотъ, Василій Логинычъ, оконтузили письмомъ-то, одолжили, нечего сказать! Однако, знаете, пока Софья Алексѣевна бесѣдуетъ съ письмами, оно, вѣдь, не мѣшаетъ и употребить; я очень рано встаю».

Они употребили.

Одно письмо было съ дороги, другое изъ Женева. Оно оканчивалось слѣдующими строками: «Эта встрѣча, любезная маменька, этотъ разговоръ потрясли меня,—и я, какъ уже писалъ въ началѣ, рѣшился возвратиться и начать службу по выборамъ. Завтра я ѣду отсюда, пробуду съ мѣсяцъ на берегахъ Рейна, оттуда прямо въ Таурогенъ, не останавливаясь... Германія мнѣ страшно надоѣла. Въ Петербургѣ, въ Москвѣ, я только пови-

даюсъ съ знакомыми и тотчасъ къ вамъ, милая матушка, къ вамъ въ Бѣлое Поле».

— «Дуня, Дуня, подай поскорѣ календарь! Ахъ, Боже мой, ты гдѣ его ищешь, какая безтолковая! вотъ онъ». И Бельтова бросилась сама за календаремъ и начала отсчитывать, рассчитывать, переводить числа съ новаго стилиа на старый, съ стараго на новый, и при всемъ этомъ она уже обдумывала, какъ учредить комнату... Ничего не забыла, кромѣ гостей своихъ; по счастью, они сами вспомнили о себѣ и употребили *по второй*.

— Странное и престранное дѣло! продолжалъ предсѣдатель: кажется, жизнь резиденціи представляетъ столько увеселительныхъ разсѣяній, что молодому человѣку, особенно безбѣдному, трудно соскучиться.

— «Что дѣлать! отвѣчала Бельтовъ съ улыбкой», и всталъ, чтобъ проститься.

— А, впрочемъ, поживите и съ нами. Если не встрѣтите здѣсь того блеска и образованія, то, навѣрное, найдете добрыхъ и простыхъ людей, которые гостепріимно примутъ васъ въ средѣ своихъ мирныхъ семействъ.

«Это ужъ конечно-съ, прибавилъ развязный совѣтникъ съ Анной въ петлицѣ: нашъ городокъ-съ, чего другого нѣтъ, а на счетъ гостепріимства Москвы уголокъ-съ!»

— «Я въ этомъ увѣренъ», сказалъ Бельтовъ, откланиваясь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Вы знаете уже сильную и продолжительную сенсацию, которую произвелъ Бельтовъ на почтенныхъ жителей NN; позвольте же сказать и о сенсациі, которую произвелъ городъ на почтеннаго Бельтова. Онъ остановился въ гостиницѣ «Кересбергъ», названной такъ, вѣроятно, не въ отличіе отъ другихъ гостиницъ, потому что она одна и существовала въ городѣ, но скорѣе изъ уваженія къ городу, который вовсе не существовалъ. Гостиница эта была надежда и отчаяніе всѣхъ мелкихъ гражданскихъ чиновниковъ въ NN, утѣшительница въ скорбяхъ и мѣсто разгула въ радостяхъ. Направо отъ входа, вѣчно на одномъ мѣстѣ, стоялъ безстрастный хозяинъ за конторкой и передъ нимъ его приказчикъ въ бѣлой рубашкѣ, съ окладистой бородой и съ отчаяннымъ проборомъ противъ лѣваго глаза; въ этой конторкѣ хоронилось, въ первыя числа мѣсяца, больше половины жалованья, полученнаго всѣми столоначальниками, ихъ помощниками и помощниками ихъ помощниковъ (секретари рѣдко ходили, по крайней мѣрѣ, на свой счетъ; съ секретарства, у чиновниковъ къ страсти получать присовокупляется страсть хранить, — они дѣлаются консерваторами). Хозяинъ серьезно и важно пощелкивалъ на счетахъ; проклятая конторка приподнимала свою верхнюю доску, поглощала синенькія и цѣлковые, выбрасывая за нихъ гривенники, пятаки и копейки, потомъ щелкала ключемъ, — и деньги были схоронены. Только въ двухъ случаяхъ притворялась она мертвою, когда къ ея страшной загородкѣ являлся Яковъ Потапычъ—частный приставъ, разумѣется, для того, чтобъ отдать свой долгъ... Иногда заѣзжали въ гостиницу и совѣтники поиграть на бильярдѣ, выпить пуншу, откупорить одну, другую *бутылку*, словомъ, погулять на холостую ногу, потихоньку отъ супруги (холостыхъ совѣтниковъ такъ же не бываетъ, какъ женатыхъ аббатовъ); для достиженія послѣдняго, они недѣли двѣ

разсказывали направо и налѣво о томъ, какъ кутнули. Мелкіе чиновники, при появленіи такихъ сановниковъ, прятали трубки: своя за спину (но такъ, чтобъ было замѣтно, ибо дѣло состояло не въ томъ, чтобъ спрятать трубку, но чтобъ показать достоюющее уваженіе), низко кланялись и, выражая мимикой большое смущеніе, уходили въ другія комнаты, даже не окончивши партіи на бильярдѣ, на бильярдѣ, на которомъ, въ часы досужіе отъ картъ, корнетъ Дрягаловъ удивлялъ поразительно смѣлыми шагами и невѣроятными клопшотсами.

Содержатель, разбогатѣвшій крестьянинъ изъ подгороднаго села, зналъ, что такое Бельтовъ и какое имѣніе у него, а потому онъ тотчасъ рѣшился отдать ему одну изъ лучшихъ комнатъ трактира; комната эта только давалась особамъ важнымъ, генераламъ, откупщикамъ,—и *потому* повелъ его въ другія. Другія были до такой степени черны и гадки, что, когда хозяинъ привелъ Бельтова въ ту, которую назначилъ, и замѣтилъ: «Кабы эта была не проходная, я бы съ нашимъ удовольствіемъ»,—тогда Бельтовъ сталъ съ жаромъ убѣждать, чтобъ онъ уступилъ ему ее; содержатель, тронутый его краснорѣчіемъ, согласился, и цѣну взялъ не обидную себѣ. Учтивость къ Бельтову усугубилъ почтенный содержатель грубостью всѣмъ прочимъ посѣтителемъ. Комната была дѣйствительно проходная; онъ заперъ дверь и отрѣзалъ парадное сообщеніе между залой и бильярдной, предоставивъ желающимъ ходить черезъ кухню. Большая часть посѣтителей молча подверглась этому испытанію, такъ, какъ прежде подвергалась всѣмъ прочимъ испытаніямъ, которыми судьба считала за нужное награждать ихъ; впрочемъ, нашлись и такіе, которые явно кричали противъ грубо пристрастнаго поступка содержателя. Одинъ засѣдатель, лѣтъ десять тому назадъ служившій въ военной службѣ, собирался сломить кій объ спину хозяина и до того оскорблялся, что логически присовокуплялъ къ ряду энергическихъ выраженій: «Я самъ дворянинъ; ну, чертъ его возьми, отдай бы генералу какому-нибудь,—что тутъ дѣлать станешь,—а то молокососу, видите, изъ Парижа пріѣхаль; да позвольте спросить, чѣмъ я хуже его, я самъ дворянинъ, старшій въ родѣ, медаль 1812...» — Да полно ты, полно, горячая голова, говорилъ ему корнетъ Дрягаловъ, имѣвшій свои виды на счетъ Бельтова. Какъ бы то ни было, но хозяинъ, молча и отшучиваясь, съ апатической твердостью, съ уступчивой непреклонностью русскаго кушца, поставилъ на своемъ. Комната, до которой достигнулъ Бельтовъ съ оскорбленіемъ щекотливаго point d'honneur многихъ, могла, впрочемъ, нравиться только послѣ четырехъ ужасныхъ нумеровъ, которыми ловко застращаль хозяинъ пріѣзжаго; въ сущности она была грязна, неудобна и время отъ

времени наполнялась запахомъ подожженаго масла, который, переплетаясь съ постоянной табачной атмосферой, составлялъ нѣчто такое, что могло бы произвести тошноту у иного эскимоса, взлелѣяннаго на тухлой рыбѣ.

Первая суета прїѣзда улеглась. Каретныя вещи, сакъ, шкапулка были принесены; и за всѣми тяжестями явился, наконецъ, Григорій Ермолаевичъ, камердинеръ Бельтова, съ послѣдними остатками путевыхъ снадобій, съ кисетомъ, съ неполною бутылкой бордо, съ остатками фаршированной индѣйки; разложивъ все принесенное по столамъ и стульямъ, камердинеръ отправился вышить водки въ буфетъ, увѣряя буфетчика, что онъ въ Парижѣ привыкъ, по окончаніи всякаго дѣла, выпивать большой птиверь (такъ, какъ въ Россіи начинаютъ тѣмъ же самымъ всѣ дѣла). Толпа чиновниковъ, желавшихъ изъ самаго источника узнать подробности о прїѣзжѣмъ, облѣпила его, но нельзя не замѣтить, что камердинеръ не очень поддавался и обращался съ ними немного свысока; онъ жилъ нѣсколько лѣтъ за границей и гордо сознавалъ это достоинство. Бельтовъ, между тѣмъ, былъ одинъ; посидѣвши недолго на диванѣ, онъ подошелъ къ окну, изъ котораго видно было полгорода.

Прелестный видъ, представившійся глазамъ его, былъ общій, губернский, форменный: плохо выкрашенная калапча, съ подвижнымъ полицейскимъ солдатомъ на верху, первая бросилась въ глаза: соборъ древней постройки виднѣлся изъ за длиннаго и, разумѣется, желтаго зданія присутственныхъ мѣстъ, воздвигнутаго въ извѣстномъ стилѣ; потомъ двѣ-три приходскія церкви, изъ которыхъ каждая представляла двѣ-три эпохи архитектуры; древнія византійскія стѣны украшались греческимъ порталомъ, или готическими окнами, или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ; потомъ домъ губернатора съ сѣнями, украшенными жандармомъ и двумя-тремя просителями изъ бородачей; наконецъ, обывательскіе дома, совершенно тѣ же, какъ во всѣхъ нашихъ городахъ, съ чахоточными колоннами, прилѣпленными къ самой стѣнѣ, съ мезоніомъ, необитаемымъ зимою отъ итальянскаго окна во всю стѣну, съ флигелемъ, законченнымъ, въ которомъ помѣщается дворня, съ конюшней, въ которой хранятся лошади; дома эти, какъ водится, были куплены вѣжливыми кавалерами на дамскія имена; немного наискось, тянулся гостинный дворъ, бѣлый снаружи, темный внутри, вѣчно сырой и холодный; въ немъ можно было все найти—коленкоры, кисей, пиконеты,—все, кромѣ того, что нужно купить.

Нѣсколько тронутый картиной, развернувшейся передъ его глазами, Бельтовъ закурилъ сигару и сѣлъ у окна; на дворѣ была оттепель; оттепель всегда похожа на весну, вода капала съ крышъ, по улицамъ бѣжали ручьи талаго снѣга. Будто чувствовалось,

что вотъ, вотъ и природа оживеть изъ-подо льда и снѣга; но это такъ чувствовалось новичку, который суетно надѣялся въ первыхъ числахъ февраля видѣть весну въ NN. Улица видно знала, что опять придуть морозы, вьюги, и что до 15/27 мая не будетъ признаковъ листа,—она не радовалась. Сонное бездѣйствіе царило на ней; двѣ-три грязныя бабы сидѣли у стѣны гостинаго двора съ рѣзанью и грушей; онѣ, пользуясь тѣмъ, что пальцы не мерзнуть, вязали чулки, считали петли и изрѣдка только обращались другъ къ другу, ковыряя въ зубахъ спичками, вздыхая, зѣвая и осѣняя ротъ свой знаменіемъ креста. Не далеко отъ нихъ старикъ купецъ, лѣтъ подъ семьдесятъ, съ сѣдою бородой, въ высокой собольей шапкѣ, спалъ сладкимъ сномъ на складномъ стулѣ. Изрѣдка сидѣльцы перебѣгали изъ лавки въ лавку; нѣкоторые начинали запирать ихъ. Никто, кажется, ничего не покупалъ; даже почти никто не ходилъ по улицамъ; правда, прошелъ квартальный надзиратель, завернувшись въ шинель съ мѣховымъ воротникомъ, быстрымъ дѣловымъ шагомъ, съ озабоченнымъ видомъ и съ бумагой, свернутой въ трубку; сидѣльцы сняли почтительно шляпы, но квартальному было не до нихъ. Потомъ проѣхала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву, изъ которой вырѣзана ровно четверть; тыкву эту везли четыре потертыхъ лошади; гайдукъ-форейторъ и сѣдой сморщившійся кучеръ были одѣты въ сермягахъ, а сзади трясся лакей въ шинели съ галунами цвѣту верьантикъ. Въ тыквѣ сидѣла другая тыква—добрый и толстый отецъ семейства и помѣщикъ, съ какой-то спеціальной ландкартой изъ синихъ жилъ на носу и щекахъ; возлѣ неразрывная спутница его жизни, не похожая на тыкву, а скорѣе на стручекъ перцу, спрятанный въ какой-то тафтяной шалашъ, надѣтый вмѣсто шляпки; противъ нихъ приятный букетъ изъ сельскихъ трехъ грацій, вѣроятно сладостная надежда маменьки и папеньки, сладостная, но исполняющая заботой ихъ нѣжныя сердца. Проѣхалъ и этотъ подвижной огородъ... Опять настала тишина... Вдругъ изъ переулка раздалась лихая русская пѣсня и черезъ минуту трое бурлаковъ, въ коротенькихъ красныхъ рубашкахъ, съ разукрашенными шляпами, съ атлетическими формами и съ тою удалю въ лицѣ, которую мы всѣ знаемъ, вышли, обнявшись, на улицу; у одного была балалайка, не столько для музыкальнаго тона, сколько для тона вообще; бурлакъ съ балалайкой едва удерживалъ свои ноги; видно было по движенію плечей, какъ ему хочется пуститься въ присядку,—зачѣмъ же дѣло? А вотъ зачѣмъ: изъ-подъ земли, что ли, или изъ-подъ арокъ гостинаго двора явился какой-то хожалый или будочникъ съ палочкой въ рукахъ, и пѣсня, разбудившая на минуту скучную дремоту, разомъ подрѣзанная, остановилась,

только балалайка показала палец будочнику; почтенный блюститель тишины гордо отправился подъ арку, какъ паукъ, возвращающійся въ темный уголъ, закусивши мушиными мозгами. Тутъ тишина еще болѣе водворилась; стало смеркаться.

Бельтовъ поглядѣлъ,—и ему сдѣлалось страшно, его давило чугунной плитой, ему явнымъ образомъ недоставало воздуха для дыханія, можетъ быть, отъ подоженного масла съ табакомъ, который проходилъ изъ нижняго этажа. Онъ схватилъ свой картузь, надѣлъ пальто, заперъ за собой дверь и вышелъ на улицу. Городъ былъ не великъ, и пройти его съ конца въ конецъ было не трудно. Та же пустота вездѣ; разумѣется, ему и тутъ попадались кой-какія лица; изнуренная работница съ коромысломъ на плечѣ, босая и выбившаяся изъ силъ, поднималась въ гору по гололедицѣ, задыхаясь и останавливаясь; толстой и привѣтливой наружности попъ, въ домашнемъ подрясникѣ, сидѣлъ передъ воротами и посматривалъ на нее; попадались еще или поджарые подъячіе, или толстый совѣтникъ, — и все это было такъ засалено, дурно одѣто, не отъ бѣдности, а отъ нечистоплотности, и все это шло съ такою претензіей, такъ непросто: титулярный совѣтникъ выступалъ такъ важно, какъ будто онъ сенаторъ римскій,... а коллежскій регистраторъ, будто онъ титулярный совѣтникъ; проскакалъ еще на санкахъ полиціймейстеръ; онъ съ величайшей граціей кланялся совѣтникамъ, показывая озабоченно на бумагу, вдѣтую между петлицъ,—это значило, что онъ ѣдетъ съ *дневнымъ* къ его превосходительству... Прошли, наконецъ, двѣ толстыя купчихи, кухарка несла за ними вѣники и узелокъ; красныя щеки доказывали, что вѣники не напрасно были взяты. Больше никакихъ встрѣчъ не было.

— Что значить эта тишина, думалъ Бельтовъ: глубокую думу или глубокое бездумье, грусть или, просто, лѣнь?—Не поймешь. И отчего мнѣ эта тишина такъ тягостна, что хоть бы повернуть оглобли; отчего она меня такъ давитъ? Я люблю тишину. Тишина на морѣ, въ селѣ, даже просто на полѣ, на ровномъ вдаль идущемъ полѣ, наполняетъ меня особымъ поэтическимъ благочестіемъ, кроткимъ самозабвеніемъ. Здѣсь не то. Тамъ — ширь съ этимъ безмолвіемъ, а здѣсь все давитъ, а здѣсь тѣсно, мелко, кругомъ жалкія строенія, еще бы развалины, а то подкрашенные, подбѣленные,... да гдѣ же жители? Приступомъ, что ли, взяли вчера этотъ городъ, морь, что ли, посѣтилъ его? Ничего не бывало: жители дома, жители отдыхаютъ; да когда же они трудились?.. И Бельтовъ невольно переносился въ шумныя, кипящія народомъ улицы другихъ городковъ, не столько патріархальныхъ и болѣе преданныхъ суетѣ мірекой. Онъ началъ ощущать ту неловкость, которая обыкновенно сопровождаетъ ложный шагъ въ жизни, осо-

беню, когда мы начинаемъ сознать его, и печально отправился домой. Когда онъ подходилъ къ гостиницѣ, густой протяжный звукъ колокола раздался изъ подгороднаго монастыря; въ этомъ звонѣ напомнилось Владиміру что-то давнопрошедшее, онъ пошелъ было на звонъ, но вдругъ улыбнулся, покачалъ головой и скорыми шагами отправился домой. Бѣдная жертва вѣка, полного сомнѣніемъ, не въ NN тебѣ сыскать покой!

Черезъ нѣсколько дней, которые Бельтовъ провелъ въ глубокомысленномъ чтеніи и изученіи Устава о дворянскихъ выборахъ, онъ, одѣвшись съ нѣкоторой тщательностью, отправился дѣлать нужнѣйшіе визиты. Часа черезъ три онъ возвратился съ сильной головной болью, примѣтно разстроенный и утомленный, спросилъ мятной воды и примочилъ голову одеколономъ; одеколонъ и мятная вода привели немного въ порядокъ его мысли, и онъ одинъ, лежа на диванѣ, то морщился, то чуть не хохоталъ. У него въ головѣ шла репетиція всего видѣннаго, отъ передней начальника губерніи, гдѣ онъ очень пріятно провелъ нѣсколько минутъ съ жандармомъ, двумя кучаами первой гильдіи и двумя лакеями, которые здоровались и прощались со всеми входящими и выходящими весьма оригинальными привѣтствіями, говоря: «съ прошедшимъ праздничкомъ», причемъ они, какъ гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имѣла счастье ежедневно подсаживать генерала въ карету, — до гостиницы губернскаго предводителя, въ которой почтенный представитель блестящаго NN-скаго дворянства увѣрялъ, что нельзя нигдѣ такъ научиться гражданской формѣ, какъ въ военной службѣ, что она даетъ человѣку главное; конечно, имѣя главное, остальное пріобрѣсти ничего не значитъ. Потомъ онъ признался Бельтову, что онъ истинный патриотъ, строить у себя въ деревнѣ каменную церковь и терпѣть не можетъ эдакихъ дворянъ, которые, вмѣсто того, чтобъ служить въ кавалеріи и заниматься устройствомъ имѣнія, играютъ въ карты, держатъ французенокъ и ѣздятъ въ Парижъ; все это вмѣстѣ должно было представить нѣчто въ родѣ колкости Бельтову. Рядъ лицъ, видѣнныхъ Бельтовымъ, не выходилъ у него изъ головы. То ему представлялся губернский прокуроръ, который въ три минуты успѣлъ ему шесть разъ сказать: «вы сами человѣкъ съ образованіемъ, вы понимаете, что для меня г. губернаторъ постороннее лицо: я пишу прямо къ министру юстиціи, министр юстиціи—это генераль-прокуроръ. Губернаторъ хорошъ—и я для его пр-ва все, что могу, «читалъ, читалъ, читалъ» да и кончено; онъ—иначе,—и я ему съ полнымъ уваженіемъ, какъ слѣдуетъ высокому сану; ну да ужъ больше ничего, меня заставить нельзя; я не совѣтникъ губернскаго правленія». При этомъ онъ каждый разъ нюхалъ изъ кольчатой се-

ребряной табакерки рульный табакъ, наружною разительно похожій на французскій, но отличавшійся отъ него сквернымъ запахомъ. То предсѣдатель гражданской палаты, худой, высокій, тощій, скушій и нечистый, доказывавшій грязью свое безкорыстіе. То генераль Хрящовъ, окруженный двумя отрѣшенными отъ должности исправниками, бѣдными помѣщиками, лягавыми собаками, псарями, дворней, тремя племянницами и двумя сестрами; генераль у него въ воспоминаніяхъ кричалъ такъ же, какъ у себя въ комнатѣ, высвистывалъ изъ передней Митьку и съ величайшимъ человѣколюбіемъ обходился съ лягавой собакой. То нашъ знакомый предсѣдатель уголовной палаты, Антонъ Антоновичъ, въ халатѣ цвѣта лягушечьей спинки, съ своимъ совѣтникомъ съ Анной въ петлицѣ. Когда мало-по-малу это почтенное общество лицъ отступило въ головѣ Бельтова на второй планъ, и всѣ они слились въ одно фантастическое лицо какого-то колоссальнаго чиновника, насупившаго брови, нерѣчистаго, уклончиваго, но который постоятъ за себя, Бельтовъ увидѣлъ, что ему не совладать съ этимъ Голиафомъ, и что его не только не собьешь съ ногъ обыкновенной пращей, но и гранитнымъ утесомъ, стоящимъ подъ монументомъ Петра I.

Странное дѣло—Бельтовъ, съ тѣхъ поръ, какъ отправился въ чужіе края, жилъ много и мыслию, и страстями, раздраженіемъ мозга и раздраженіемъ чувствъ. Жизнь даромъ не проходитъ для людей, у которыхъ пробудилась хоть какая-нибудь сильная мысль... Все ничего, сегодня идетъ, какъ вчера, все очень обыкновенно, а вдругъ обернешься назадъ и съ изумленіемъ увидишь, что разстояніе пройдено страшное, нажито, прожито бездна. Такъ и было съ Бельтовымъ: онъ нажилъ и прожилъ бездну; но не установился. Бельтовъ во второй разъ встрѣтился съ дѣйствительностію при тѣхъ же условіяхъ, какъ въ канцеляріи,—и снова струсилъ передъ ней. У него не доставало того практическаго смысла, который выучиваетъ человѣка разбирать связанный почеркъ живыхъ событій; онъ былъ слишкомъ разобщенъ съ міромъ, его окружавшимъ. Причина этой разобщенности Бельтова понятна; Жозефъ сдѣлалъ изъ него человѣка вообще, какъ Руссо изъ Эмиля; университетъ продолжалъ это общее развитіе; дружескій кружокъ изъ пяти-шести юношей, полныхъ мечтами, полныхъ надеждами настолькоъ большими, насколько имъ еще была неизвѣстна жизнь за стѣнами аудиторіи, — болѣе и болѣе поддерживалъ Бельтова въ кругу идей не свойственныхъ, чуждыхъ средѣ, въ которой ему приходилось жить. Наконецъ, двери школы закрылись и дружескій кругъ, вѣчный и домогильный, блѣднѣлъ, блѣднѣлъ и остался только въ воспоминаніяхъ, или воскресалъ при случайныхъ и ненужныхъ встрѣчахъ, да при бокалахъ вина.

Открылись другія двери, немного со скрипомъ. Бельтовъ прошелъ въ нихъ и очутился въ странѣ, совершенно ему неизвѣстной, до того чуждой, что онъ не могъ приладиться ни къ чему; онъ не сочувствовалъ ни съ одной дѣйствительной стороной около него кипѣвшей жизни; онъ не имѣлъ способности быть хорошимъ помѣщикомъ, отличнымъ офицеромъ, усерднымъ чиновникомъ, — а затѣмъ въ дѣйствительности оставались только мѣста праздношатающихся, игроковъ и кутящей братіи вообще. Къ чести нашего героя должно признаться, что къ послѣднему сословію онъ имѣлъ побольше симпатіи, нежели къ первымъ, да и тутъ ему нельзя было распахнуться: онъ былъ слишкомъ развитъ, а развратъ этихъ господъ слишкомъ грязенъ, слишкомъ грубъ. Побился онъ съ медициной да съ живописью, покутилъ, поигралъ да и уѣхалъ въ чужіе края. Дѣла, само собою разумѣется, и тамъ ему не нашлось; онъ занимался бессистемно, занимался всѣмъ на свѣтѣ, удивлялъ нѣмецкихъ специалистовъ многосторонностью русскаго ума; удивлялъ французовъ глубокомысліемъ, и въ то время, какъ нѣмцы и французы дѣлали много, онъ — ничего, онъ тратилъ свое время, стрѣляя изъ пистолета въ тирѣ, просиживая до поздней ночи у ресторановъ и отдаваясь тѣломъ, душою и кошелькомъ какой-нибудь лореткѣ.

Такая жизнь не могла, наконецъ, не привести къ болѣзненной потребности дѣла. Несмотря на то, что среди видимой праздности, Бельтовъ много жилъ и мыслию и страстями, онъ сохранилъ отъ юности отсутствіе всякаго практическаго смысла въ отношеніи своей жизни. Вотъ причина, по которой Бельтовъ, гонимый тоскою по дѣятельности, во-первыхъ, принялъ прекрасное и достохвальное намѣреніе служить по выборамъ, и, во-вторыхъ, не только удивился, увидѣвъ людей, которыхъ онъ долженъ былъ знать со дня рожденія, или о которыхъ ему слѣдовало бы справиться, вступая съ ними въ такія близкія сношенія, но былъ до того ошеломленъ ихъ языкомъ, ихъ манерами, ихъ образомъ мыслей, что готовъ былъ безъ всякихъ усилій, безъ боя отказаться отъ предположенія, занимавшаго его нѣсколько мѣсяцевъ.

Счастливъ тотъ человѣкъ, который продолжаетъ начатое, которому преемственно передано дѣло: онъ рано приучается къ нему, онъ не тратитъ полжизни на выборъ, онъ сосредоточивается, ограничивается для того, чтобъ не расплыться, — и производить. Мы чаще всего начинаемъ вновъ, мы отъ отцовъ своихъ наследуемъ только движимое и недвижимое имѣніе, да и то плохо хранимъ; оттого по большей части мы ничего не хотимъ дѣлать, а если хотимъ, то выходимъ на необозримую степь, иди, куда хочешь, во всѣ стороны — воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездѣйствіе, наша дѣятельная лѣнь. Бельтовъ совер-

шенно принадлежалъ къ подобнымъ людямъ; онъ былъ лишень совершеннолѣтїя, несмотря на возмужалость своей мысли, словомъ, теперь, за тридцать лѣтъ отроду, онъ, какъ шестнадцатилѣтній мальчикъ, *готовился* начать свою жизнь, не замѣчалъ, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, черезъ которую входятъ гладіаторы, а та, въ которую выносятъ ихъ тѣла.— «Конечно, Бельтовъ во многомъ виноватъ». — Я совершенно съ вами согласенъ; а другіе думаютъ, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Такъ на свѣтѣ все превратно.

✓ Не прошло и мѣсяца послѣ водворенія Бельтова въ NN, какъ онъ успѣлъ уже приобрести ненависть всего помѣщичьяго круга, что не мѣшало, впрочемъ, и чиновникамъ, съ своей стороны, его ненавидѣть. Въ числѣ ненавидѣвшихъ были такіе, которые его въ глаза не знали; другіе, если и знали, то не имѣли никакихъ сношеній съ нимъ; это была съ ихъ стороны ненависть чистая, безкорыстная; но и самыя безкорыстныя чувства имѣютъ какую-нибудь причину. Причину нелюбви къ Бельтову разгадать не трудно. Помѣщики и чиновники составляли свои, болѣе или менѣе замкнутые круги, но круги близкіе, родственные; у нихъ были свои интересы, свои ссоры, свои партїи, свое общественное мнѣніе, свои обычаи, общїе, впрочемъ, помѣщикамъ всѣхъ губерній и чиновникамъ всей имперїи. Прїѣзжай въ NN совѣтникъ изъ RR, онъ въ недѣлю былъ бы дѣятельный и уважаемый членъ и собратъ; прїѣзжай уважаемый другъ нашъ, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, и полиціймейстеръ сдѣлалъ бы для него попойку, и другіе пошли бы плясать около него и стали бы его называть мамочкой,—такъ очевидно поняли бы они родство свое съ Павломъ Ивановичемъ. Но Бельтовъ... Бельтовъ—человѣкъ, вышедшій въ отставку, не дослуживши четырнадцати лѣтъ и шести мѣсяцевъ до знака, какъ замѣтилъ помощникъ столоначальника, любившій все то, чего эти господа терпѣть не могутъ, читавшій вредныя книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, скиталець по Евронѣ, чужой дома, чужой и на чужбинѣ, аристократическій по изяществу манеръ и человѣкъ XIX вѣка по убѣжденіямъ,—какъ его могло принять провинціальное общество? Онъ не могъ войти въ ихъ интересы, ни они въ его, и они его ненавидѣли, понявъ чувствомъ, что Бельтовъ—дротскъ, какое-то обличеніе ихъ жизни, какое-то возраженіе на весь порядокъ ея. Ко всему этому присовокупилось множество важныхъ обстоятельствъ. Онъ сдѣлалъ мало визитовъ, онъ сдѣлалъ ихъ поздно, онъ всюду ѣздилъ по утрамъ въ сюртукъ, онъ губернатору рѣже обыкновеннаго говоритъ: ваше превосходительство, а предводителю, оставшему драгунскому ротмистру и вовсе не говоритъ, несмотря на то, что онъ по мѣсту былъ временно

превосходительный; онъ съ своимъ камердинеромъ обращался такъ вѣжливо, что это оскорбляло гостя; онъ съ дамами говорилъ, какъ съ людьми, и вообще изъяснялся «слишкомъ вольно». Присовокупите къ этому, что въ низшемъ слою бюрократіи онъ былъ потерянь въ первый день пріѣзда, вмѣстѣ съ прямымъ ходомъ въ бильярдную. Само собой разумѣется, ненависть къ Бельтову была настолько учтива, что давала собѣ волю за глаза, въ глаза же она окружала свою жертву такимъ тупымъ и грубымъ вниманіемъ, что ее можно было принять за простую любовь. Всякій старался имѣть пріѣзжаго въ своемъ домѣ, чтобъ похвастаться знакомствомъ съ нимъ, чтобъ стяжать право десять разъ въ разговорѣ ввернуть: «вотъ, когда Бельтовъ былъ у меня... я съ нимъ...» ну и, какъ водится, въ заключеніе какая-нибудь невинная клевета.

Всѣ мѣры были взяты добрыми NN-цами, чтобъ на выборахъ прокатить Бельтова *на вороныхъ* или почтить его избраніемъ въ такую должность, которую добровольно мудрено принять. Онъ сначала не замѣчалъ ни ненависти къ себѣ, ни этихъ парламентскихъ козней, потомъ сталъ догадываться и рѣшился самоотверженно идти до конца... Но не бойтесь, по причинамъ, очень мнѣ извѣстнымъ, но которыя изъ авторской уловки хочу скрыть, я избавляю читателей отъ дальнѣйшихъ подробностей и описаній выборовъ NN; на этотъ разъ меня манятъ другія событія—частныя, а не служебныя.

II.

Вы, вѣрно, давнымъ давно забыли о существованіи двухъ юныхъ лицъ, оттертыхъ на далекое разстояніе длиннымъ эпизодомъ,—о Любоньѣ и о скромномъ, миломъ Круциферскомъ. А между тѣмъ, въ ихъ жизни совершилось очень много: мы ихъ оставили почти женихомъ и невѣстой, мы ихъ встрѣтимъ теперь мужемъ и женою; мало этого, они ведутъ за руку трехлѣтняго bambino, маленькаго Яшу.

Разсказывать объ этихъ четырехъ годахъ нечего; они были счастливы, свѣтло, тихо шло ихъ время; счастье любви, особенно любви полной, увѣчанной, лишенной тревожнаго ожиданія—тайна, тайна, принадлежащая двоимъ; тутъ третій—лишній, тутъ свидѣтель не нуженъ; въ этомъ исключительномъ посвященіи только двоихъ лежитъ особая прелесть и невыразимость любви взаимной. Разсказывать внѣшнюю исторію ихъ жизни можно, но не стоитъ труда; ежедневныя заботы, недостатокъ въ деньгахъ, ссоры съ кухаркой, покупка мебели, вся эта внѣшняя пыль садилась на нихъ, какъ и на всѣхъ, досаждала собою, но была

безслѣдно стерта черезъ минуту и едва сохранялась въ памяти. Круциферскій получилъ черезъ Крупова мѣсто старшаго учителя въ гимназіи, давалъ уроки, попадалъ, разумѣется, и на такихъ родителей, которые платили сполна,—скромно, стало-быть, они могли жить въ NN, а иначе имъ и жить не хотѣлось.

Алексѣй Абрамовичъ, сколько его ни убѣждалъ Круповъ, болѣе десяти тысячъ не далъ въ приданое, но зато рѣшительно взялъ на себя обзаведеніе молодыхъ; эту трудную задачу онъ разрѣшилъ довольно удачно: онъ перевезъ къ нимъ все то изъ своего дома и изъ кладовой, что было для него совершенно не нужно, полагая, вѣроятно, что именно это-то и нужно молодымъ. Такимъ образомъ, историческая коляска, о которой думалъ Алексѣй Абрамовичъ въ то самое время, въ которое Глафира Львовна думала о несчастной дочери преступной любви, состарѣвшаяся, осунувшаяся, порывѣвшая, съ сломанной рессорой и съ значительной раной на боку, была доставлена съ большими затрудненіями на маленькій дворикъ Круциферскаго; сарая у него не было, и коляска долго служила пріютомъ кроткихъ куръ. Алексѣй Абрамовичъ и лошадь отправилъ было къ нему, но она на дорогѣ скоростижно умерла, чего съ нею ни разу не случилось въ продолженіи двадцатилѣтней безпорочной службы на конюшнѣ генерала; время ли ей пришло, или ей обидно показалось, что крестьянинъ, выѣхавъ изъ виду барскаго дома, заложилъ ее въ корень, а свою на пристяжку, только она умерла; крестьянинъ былъ такъ пораженъ, что мѣсяцевъ шесть находился въ бѣгахъ. Но одинъ изъ лучшихъ подарковъ былъ сдѣланъ утромъ въ день отъѣзда молодыхъ. Алексѣй Абрамовичъ велѣлъ позвать Николашку и Шалашку—молодого чахоточнаго малаго лѣтъ 25 и молодую дѣвку, очень рябую. Когда они вошли, Алексѣй Абрамовичъ принялъ важный и даже грозный видъ: «Кланяйтесь въ ноги!» сказалъ генералъ: «и поцѣлуйте ручку у Любови Александровны и у Дмитрія Яковлевича». Послѣднее порученіе не легко было исполнить: сконфуженная молодая чета прятала руки, краснѣла, цѣловалась и не знала, что начать. Но глава общины продолжалъ: «Это ваши новые господа»—слова эти онъ произнесъ громко, голосомъ, приличнымъ такому важному извѣщенію:—«служите имъ хорошо, и вамъ будетъ хорошо (вы помните, что это ужъ повтореніе)! Ну, а вы ихъ жалуйте, да будьте къ нимъ милостивы, если хорошо себя поведутъ, а зашалить, прищипите ко мнѣ; у меня такая гимназія для баловней, возвращающіе шолковыми. Баловать тоже не надобно. Вотъ моя хлѣбъ-соль на дорогу; а то я знаю, вы къ хозяйству люди не пріобыкшіе, гдѣ вамъ ладить съ вольными людьми; да и вольный человѣкъ у насъ бестія, знаетъ, что съ нимъ ничего, что возьметъ паспортъ, да

какъ баринъ какой и пойдетъ по переднимъ искать другого мѣста. — Ну, кланяйтесь-же, и вонъ!» краснорѣчиво заключилъ генералъ. Николашка съ Палашкой чебурахнулись еще разъ въ ноги и вышли. Тѣмъ и окончилась исторія вступленія ихъ въ новое владѣніе. Въ тотъ же день перебрались наши молодые въ городъ, въ сопровожденіи кашлявшаго Николашки и барельефной Палашки.

Жизнь Круциферскихъ устроилась прекрасно. Они такъ мало дѣлали требованій на внѣшнее, такъ много были довольны собою, такъ проникались взаимной симпатіей, что ихъ трудно было не принять за иностранцевъ въ NN; они вовсе не были похожи на все, что окружало ихъ. Очень замѣчательная вещь, что есть добрые люди, считающіе насъ вообще и провинціаловъ въ особенности патріархальными, по преимуществу семейными, а мы нашу семейную жизнь не умѣемъ перетащить черезъ порогъ образованія, и еще замѣчательнѣе, можетъ быть, что остывая къ семейной жизни, мы не пристаемъ ни къ какой другой; у насъ не личность, не общіе интересы развиваются, а только семья гложетъ. Въ семейной жизни у насъ какая-то формальная официальность; то только въ ней и есть, что показывается какъ въ театральной декорации, и не брани мужъ свою жену, да не притѣсняя родители дѣтей, нельзя было бы и догадаться, что общаго имѣютъ эти люди и зачѣмъ они надобѣдаютъ другъ другу, а живутъ вмѣстѣ. Кто хочетъ у насъ радоваться на семейную жизнь, тотъ долженъ ее искать въ гостиной, а въ спальню не ходить; мы не нѣмцы, добросовѣстно счастливые во всѣхъ комнатахъ лѣтъ тридцать сряду. Бываютъ исключенія, и такое-то исключеніе представляла наша чета. Они учредились просто, скромно, не знали, какъ другіе живутъ, и жили по крайнему разумѣнію; они не тянулись за другими, не бросали послѣднія тощія средства свои, чтобъ оставить себя въ подозрѣніи богатства, они не натягивали двадцать, тридцать ненужныхъ знакомствъ; словомъ, часть искусственныхъ веригъ, взаимныхъ ланкастерскихъ гоненій, называемыхъ «общезитіемъ», надъ которымъ всѣ смѣются и выше котораго никто не смѣетъ стать, миновала домикъ скромнаго учителя гимназіи; зато самъ Семенъ Ивановичъ Круповъ мирился съ семейной жизнью, глядя на «милыхъ дѣтей» своихъ.

Нѣсколько дней послѣ того, какъ Бельтовъ, недовольный и мучимый какимъ то предчувствіемъ и дѣйствительнымъ отсутствіемъ жизни въ городѣ, бродилъ съ мрачнымъ видомъ и съ руками, засунутыми въ карманы, въ одномъ изъ домиковъ, мимо которыхъ онъ шелъ, полный негодованія и горечи, онъ могъ бы увидѣть тогда, какъ и теперь, одну изъ тѣхъ успокоивающихъ, прекрасныхъ семейныхъ картинъ, которыя всѣми чертами дока-

зываютъ возможность счастья на землѣ. Въ картинѣ этой было что-то похожее на лѣтній вечеръ въ саду, когда нѣтъ вѣтру, когда прудъ стелется, какъ металлическое зеркало, золотое отъ солнца, небольшая деревенька видна вдали, между деревьевъ, роса поднимается, стадо идетъ домой съ своимъ перемѣшаннымъ хоромъ крика, топанья, мычанья... И вы готовы отъ всего сердца присягнуть, что ничего лучшаго не желали бы во всю жизнь... И какъ хорошо, что вечеръ этотъ пройдетъ черезъ часъ, т. е. смѣнится во-время, ночью, чтобъ не потерять своей репутаціи, чтобъ заставить жалѣть о себѣ прежде, нежели надоѣсть.

Въ небольшой чистенькой комнаткѣ сидѣлъ на диванѣ Семенъ Ивановичъ Круповъ почетнымъ и единственнымъ гостемъ. Молодая женщина, улыбаясь, набивала ему трубку, ея мужъ сидѣлъ на креслахъ и поглядывалъ съ безмятежнымъ спокойствіемъ и любовью то на жену, то на старика. Черезъ минуту вошелъ въ комнату трехлѣтній ребенокъ, переваливаясь съ ноги на ногу и отиравился прямымъ путемъ, т. е. не обходя столъ, а туннелемъ между ножекъ къ Крупову, котораго очень любилъ за часы съ репетиціей и за двѣ сердоликовыя печати, висѣвшія у него изъ подъ жилета.

— Яша, здравствуй! сказалъ Семенъ Ивановичъ, вытаскивая своего пріятеля изъ-подъ стола и усаживая его къ себѣ на колѣни. Яша ухватилъ за печатку и вытягивалъ часы.

— «Онъ вамъ мѣшаетъ чай пить и курить, дайте его мнѣ», сказала мать, убѣжденная твердо, что Яша никому и никогда мѣшать не можетъ.

— Оставьте, сдѣлайте одолженіе; я самъ его спроважу, когда надоѣсть,—и Семенъ Ивановичъ вынулъ часы, и заставилъ ихъ бить; Яша съ восхищеніемъ слушалъ бой, поднесъ потомъ часы къ уху Семена Ивановича, потомъ къ уху матери и, видя несомнѣнные знаки ихъ удивленія, поднесъ ихъ къ собственному рту.

— Дѣти—большое счастье въ жизни! сказалъ Круповъ:—особенно нашему брату старику какъ-то отрадно ласкать кудрявыя головки ихъ и смотрѣть въ эти свѣтлые глазенки. Право, не такъ грубѣешь, не такъ падаешь въ ячность, глядя на эту молодую травку. Но, скажу вамъ откровенно, я не жалѣю, что у меня своихъ дѣтей нѣтъ... да и на что? Вотъ далъ же Богъ мнѣ внучка, состарѣюсь, пойду къ нему въ няни.

— Няня тамъ! замѣтилъ Яша, указывая на дверь съ предовольнымъ видомъ.

— Возьми меня въ няни.

Яша приготовился было возразить на это страшнымъ крикомъ, но мать предупредила это, обративъ вниманіе его на золотую пуговицу на фракѣ Крупова.

— Я люблю дѣтей, продолжалъ старикъ:—да, я вообще люблю людей, а былъ помоложе, любилъ и хорошенъкое личико и, право, былъ разъ пять влюбленъ, но для меня семейная жизнь противна. Человѣкъ можетъ жить только одинъ спокойно и свободно. Въ семейной жизни, какъ нарочно, все сдѣлано, чтобъ живущіе подъ одной кровлей надѣдали другъ другу,—поневоля разойдутся; не живи вмѣстѣ,—вѣчная нескончаемая дружба, а вмѣстѣ тѣсно.

«Полноте, Семенъ Ивановичъ, возразилъ Круциферскій:—что вы это говорите! Цѣлая сторона жизни, лучшая, полная счастья и блаженства, вамъ осталась неизвѣстна. И что вамъ въ этой свободѣ, состоящей въ отсутствіи всякихъ ощущеній, въ эгоизмѣ».

— Вотъ, вѣдь, и пошелъ. А сколько разъ я говорилъ тебѣ, Дмитрій Яковлевичъ, что ты меня словомъ эгоизмъ не запугаешь. Какая гордость! «Безъ всякихъ ощущеній»,—какъ будто только на свѣтѣ и ощущеній, что идолопоклонство мужа къ женѣ, жены къ мужу, да ревниное желаніе такъ поглотить другъ друга для самихъ себя, чтобъ ближнему ничего не досталось, плакать только о своемъ горѣ, радоваться своему счастью. Нѣтъ, батюшка, знаемъ мы самоотверженную любовь вашу; вотъ, не хочу хвастаться, да такъ ужъ къ слову пришло, какъ придешь къ больному и сердце замираетъ: плохъ былъ, не ловко такъ подходишь къ кровати—ба, ба, ба! пульсъ-то лучше, а больной смотритъ слабыми глазами да жметъ тебѣ руку,—ну это, братецъ, тоже ощущенье. Эгоизмъ?—Да кромѣ безумныхъ, кто-жъ не эгоистъ? Только одни просто, а другіе, знаете, по пословицѣ: та же щука, да подъ хрѣномъ. А на то пошло, такъ нѣтъ уже и ограниченнѣе эгоизма, какъ семейный.

— «Я не знаю, Семенъ Ивановичъ, что васъ такъ страшитъ въ семейной жизни; я теперь ровно четыре года замужемъ, мнѣ свободно, я вовсе не вижу ни съ моей стороны, ни съ его, ни жертвъ, ни тягости», сказала Круциферская.

— Удалось сорвать банкъ, такъ и похваливаетъ игру; мало ли чудесъ бываетъ на свѣтѣ; вы исключенье—очень радъ: да это ничего не доказываетъ. Два года тому назадъ, у нашего портнаго—да вы знаете его: портной Панкратовъ, на Московской улицѣ,—у него ребенокъ упалъ изъ окна втораго этажа на мостовую; какъ, кажется, не разшибиться? хоть бы что-нибудь! разумѣтся, синія пятна, царапины, больше ничего. Ну, извольте, выбросить другаго ребенка. Да и тутъ еще вышла вещь плохая, ребенокъ то чахнетъ.

— «Это ужъ не дурное ли пророчество намъ? спросила Круциферская, дружески положивъ руку на плечо Семену Ивановичу:—я вашихъ пророчествъ не боюсь съ тѣхъ поръ, какъ вы предсказывали моему мужу страшныя послѣдствія нашего брака».

— Какъ вы злопамятны, не стыдно ли? Да и этотъ болтунъ все разскажалъ, экой мужчина! Ну, слава Богу, слава Богу, что я солгалъ: прошу забыть; кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, хотя бы онъ былъ такъ удивительно хорошъ, какъ вотъ этотъ. Онъ указалъ пальцемъ.

— «Какоевъ Семень Ивановичъ, онъ еще и комплименты говоритъ».

— Я вамъ и получше и побольше комплиментъ скажу: глядя на ваше житъе, я дѣйствительно нѣсколько примирился съ семейной жизнью; но не забудьте, что, проживши лѣтъ шестьдесятъ, я въ вашемъ домѣ въ первый разъ увидѣлъ не въ романѣ, не въ стихахъ, а на самомъ дѣлѣ осуществленіе семейнаго счастья. Не слишкомъ же часты примѣры.

— «Почему знать, отвѣчала Круциферская: можетъ быть, возлѣ васъ прошли незамѣченными другія пары; любовь истинная во-все не интересуется выказываться; да и искали ли вы, и какъ искали. Наконецъ, просто случайность, что вамъ мало встрѣчалось людей семейно-счастливыхъ. А, можетъ, быть, Семень Ивановичъ, прибавила она съ той насмѣшливой злобой и даже съ тою неделикатностью, которая всегда присуща людямъ счастливымъ: — вамъ ужъ кажется, что надобно выдержать характеръ, что если вы теперь признаетесь, что были неправы, то осудите всю жизнь свою и должны будете съ тѣмъ вмѣстѣ узнать, что поправить ея нельзя».

— О, нѣтъ, возразилъ съ жаромъ старикъ: — объ этомъ не беспокойтесь, никогда не раскаюсь въ быломъ, во-первыхъ, потому, что глупо горевать о томъ, чего не воротить, во-вторыхъ, я холостой старикъ, доживаю спокойно вѣкъ мой, а вы прекрасно начинаете вашу жизнь.

«Не знаю цѣли, замѣтилъ Круциферскій,—съ которой вы сказали послѣднее замѣчаніе: но оно сильно отозвалось въ моемъ сердцѣ; оно навело меня на одну изъ безотвязныхъ и очень скорбныхъ мыслей, такихъ, которыхъ присутствіе въ душѣ достаточно, чтобъ отравить минуту самаго пылкаго восторга. Подчасъ мнѣ становится страшно мое счастье; я, какъ обладатель огромныхъ богатствъ, начинаю трепетать передъ будущимъ. Какъ бы...».

— Какъ бы не вычли потомъ. Ха, ха, ха, эки мечтатели! Кто мѣрилъ ваше счастье, кто будетъ вычитать? Что это за ребяческій взглядъ! Случай и вы сами устроили ваше счастье,—и потому, оно ваше, и наказывать васъ за счастье было бы непостижью. Разумѣется, тотъ же случай, неразумный, неотразимый, можетъ разрушить ваше счастье; но мало ли что можетъ быть. Можетъ быть, балки этого потолка подгнили, можетъ быть, онъ провалится; ну, начнемъ-те выбираться; да какъ выбираться? На

дворѣ встрѣтится бѣшеная собака, на улицѣ лошадь задавить... Да если допустить въ себѣ боязнъ возможнаго зла, такъ лучше опиуму выпить, да и уснуть на вѣки вѣковъ.

«Я всегда дивился, Семень Ивановичъ, легкости, съ которой вы принимаете жизнь: это счастье, большое счастье, но оно не вѣзмъ дано. Вы говорите: случай—и успокоиваетесь, а я нѣтъ. Мнѣ отъ того не легче, что я неизвѣстную, но подозрѣваемую связь событій моей жизни назову случаемъ. Все въ жизни не даромъ и все имѣетъ высокій смыслъ; не даромъ вы нашли меня на моемъ чердакѣ; мало ли учителей въ Москвѣ,—почему именно меня? Не для того ли, что во мнѣ лежало орудіе для освобожденія этого высокаго, чистаго существа, и то, о чемъ я боялся мечтать, боялся думать, вдругъ совершилось,—и счастьемъ моему нѣтъ мѣры. Да гдѣ же справедливость, если это такъ и пойдетъ на всю жизнь. Я покоряюсь моему счастию такъ, какъ другіе покоряются несчастію, но не могу отдѣлаться отъ страха передъ будущимъ».

— То есть, передъ тѣмъ, чего нѣтъ. И я, съ своей стороны, скажу, что всю жизнь не понималъ, да и не пойму эти болѣзненные воображенія, находящія наслажденіе въ томъ, чтобы мучить себя грезами и придумывать бѣды и впередъ грустить. Такой характеръ своего рода несчастіе. Ну, пришибетъ бѣдою, разразится горе надъ головой,—поневоля заплачешь и повѣсишь носъ; но думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подастъ пресквернаго квасу,—это своего рода безуміе. Неумѣнье жить въ настоящемъ, цѣнить будущее, отдаваться ему,—это одна изъ моральныхъ эпидемій, наиболѣе развитыхъ въ наше время. Мы все еще похожи на тѣхъ жидовъ, которые не пьютъ, не ѣдятъ, а откладываютъ копейку на черный день; и какой бы черный день ни пришелъ, мы не раскроемъ сундуковъ,—что это за жизнь?

— «Я совершенно согласна съ вами, Семень Ивановичъ, съ жаромъ сказала Круциферская.—Я часто говорю объ этомъ съ Дмитріемъ. Если мнѣ хорошо, зачѣмъ я стану думать о будущемъ? Для меня его хоть бы совсѣмъ не было. Онъ самъ со мною часто соглашается, но тайная грусть такъ глубоко вкоренилась въ него, что онъ не можетъ ее побѣдить. Да и зачѣмъ, впрочемъ, прибавила она, свѣтло и симпатично улыбаясь мужу,—я и грусть эту люблю въ немъ, въ ней столько глубокаго. Я думаю, мы съ вами отъ того не понимаемъ, или, по крайней мѣрѣ, не сочувствуемъ этой грусти, что у насъ нравъ поверхностнѣе, удобовпечатлительнѣе, что насъ занимаетъ и увлекаетъ внѣшность».

— Начали за здравіе, свели за упокой; начали такъ, что я хотѣлъ поцѣловать вашу ручку и сказать мужу: «вотъ человѣ-

ческое пониманье жизни», а кончили тѣмъ, что его грезы—глубокомысліе; хорошо глубокомысліе—мучиться, когда надобно наслаждаться, и горевать о вещахъ, которыхъ, можетъ быть, и не будетъ.

— «Семень Ивановичъ, на что вы такъ исключительны? Есть нѣжныя организаціи, для которыхъ нѣтъ полнаго счастья на землѣ, которыя самоотверженно готовы отдать все, но не могутъ отдать печальный звукъ, лежащій на днѣ ихъ сердца, звукъ, который ежеминутно готовъ сдѣлаться... Надобно быть поглубѣ для того, чтобы быть посчастливѣе; мнѣ это часто приходится въ голову; посмотрите, какъ невозмущаемо счастливы, напр., птицы, звѣри, оттого, что они меньше насъ понимаютъ».

— Однако, довольно непріятно, замѣтилъ неумолимый Круповъ,—имѣть высшую натуру для существа, назначеннаго жить не выше и не ниже, какъ на землѣ. Признаюсь, эту высоту я принимаю за физическое разстройство, за нервный припадокъ; обливайтесь холодной водой, да дѣлайте больше движенія, половина надзвѣздныхъ мечтаній пройдетъ. Вы, Дмитрій Яковлевичъ, отъ рожденія слабы физическими силами: въ слабыхъ организаціяхъ часто умственныя способности чрезвычайно развиты, но почти всегда эдакъ вкось, куда-нибудь въ отвлеченье, въ фантазію, въ мистицизмъ. Вотъ отчего древніе говорили: *mens sana in corpore sano*. Посмотрите на блѣдныхъ, бѣлокурыхъ нѣмцевъ, отчего они мечтатели, отчего они держатъ голову на сторону, часто плачутъ? Отъ золотухи и отъ климата; отъ этого они готовы цѣлые вѣка бредить о мистическихъ контроверзахъ, а дѣла никакого не дѣлаютъ.

— «Не даромъ говорятъ, что медицинскія занятія прививаютъ человѣку какой-то сухой матеріальный взглядъ на жизнь; вы такъ коротко знакомитесь съ вещественной стороной человѣка, что изъ-за нея забыли другую сторону, ускользящую отъ скальпеля и которая одна и даетъ смыслъ грубой матеріи».

— Охъ, эти мнѣ идеалисты, сказалъ Семень Ивановичъ, который примѣтно началъ сердиться, вѣчно подвѣзжаютъ съ вздоромъ. Да кто же это имъ сказалъ, что вся медицина только и состоитъ изъ анатоміи; сами придумали и тѣшатся; какая-то грубая матерія... Я не знаю ни грубой матеріи, ни учтивой, а знаю живую. Мудрецы вы, нынѣшніе ученые, а мелко плаваете! Это нашъ старый споръ, онъ никогда не кончится, лучше перестать.—Посмотрите, какъ Яшу мы убаюкали нашими пустяками, спать себѣ спокойно. Спи, малютка! тебя еще папаша не научилъ презирать землю, да матерію, не увѣрилъ еще тебя, что эти милыя ножки, эти рученки — кусочки грязи, приставшей къ тебѣ. Любовь Александровна, пожалуйста, не развивайте въ немъ этихъ

пустяковъ; ну, вы мужу даете поблажку, Богъ съ нимъ! Невиннаго ребенка, по крайности, не развращайте этимъ бредомъ съ малыхъ лѣтъ. Ну, что сдѣлаете изъ него? Мечтателя. Будетъ до старости искать жарь-птицу, а настоящая-то жизнь въ это время уйдетъ между пальцевъ. Ну, хорошо ли это? Возмите-ка его.

Старикъ отдалъ Яшу матери, взявъ свой картузь и, медленно застегивая фракъ, сказалъ:

— Ахъ, я забылъ вамъ рассказать: на дняхъ какъ-то я познакомился съ преинтереснымъ человѣкомъ.

— «Вѣрнось Бельтовымъ? спросила Круциферская. Его приѣздъ до того надѣлалъ шуму, что я узнала объ немъ отъ директорши».

— Именно. Они шумятъ потому, что онъ богатъ, а дѣло въ томъ, что онъ дѣйствительно замѣчательный человѣкъ, все на свѣтѣ знаетъ, все видѣлъ, умница такой; избалованъ немножко, ну, знаете, матушкинъ сынокъ; нужда не воспитывала его по нашему, жилъ спустя рукава, а теперь умираетъ здѣсь отъ скуки, хандрить; можете себѣ представить, каково послѣ Парижа.

«Бельтовъ! — Да позвольте, сказалъ Дмитрій Яковлевичъ — фамилія знакомая; да не былъ ли онъ въ мое время въ Московскомъ университетѣ? Бельтовъ оканчивалъ курсъ, когда я вступилъ; про него и тогда говорили, что онъ страшно уменъ; еще его воспитывалъ какой-то женевецъ».

— Тотъ самый, тотъ самый.

«Я помню его, мы были немного знакомы».

— Я увѣренъ, что онъ былъ бы очень радъ васъ видѣть: въ этой глуши встрѣтить образованнаго человѣка — всякому кладъ; а Бельтовъ вовсе не умѣетъ быть одинъ, сколько я замѣтилъ. Ему надобно говорить, ему хочется обмѣна, и онъ боленъ отъ одиночества.

«Если вы не находите ничего противъ этого, я, пожалуй, пойду».

— Пойдемте-ка, доброе дѣло.—Нѣтъ, постой; вотъ я и старъ, да опрометчивъ; онъ слишкомъ, братъ, богатъ, чтобъ тебѣ первому идти къ нему; я завтра ему скажу; захочетъ, приѣдемъ съ нимъ къ тебѣ. Прощай, любезный спорщикъ. Прощайте.

— «Привозите же завтра вашего Бельтова, сказала Любовь Александровна, намъ до того наговорили объ немъ, что и мнѣ захотѣлось его видѣть».

— Стоить, право, стоить, сказалъ старикъ, выходя въ переднюю.

Круповъ всякій разъ спорилъ съ Круциферскимъ, всякій разъ сердился и говорилъ, что онъ все болѣе и болѣе расходится съ нимъ, что не мѣшало нисколько тому, что они сближались ежедневно тѣснѣе и тѣснѣе. Для Крупова семья Круцифер-

скаго—была его семья; онъ туда шелъ пожить сердцемъ, которое у него еще было тепло, отдохнуть, глядя на счастье ихъ. Для Круциферскихъ Круповъ представлялъ дѣйствительно старшаго въ семьѣ, — отца, дядю, но такого дядю, которому любовь, а не права крови дали власть иногда пожурить и погрубить,—что оба прощали ему отъ души, и имъ было грустно, когда не видали его дня два.

На другой день, часовъ въ семь послѣ обѣда, Семенъ Ивановичъ привезъ въ своихъ пошевняхъ, покрытыхъ желтымъ ковромъ, и на парѣ обвинокъ, свѣтлосаврасой шерсти, Бельтова къ Круциферскому. Разумѣется, Бельтовъ былъ радъ радехонекъ познакомиться съ порядочнымъ человѣкомъ, и ему вовсе не пришло въ голову, что онъ сдѣлаетъ первый визитъ. Хозяева немного сконфузились; похвалы Семена Ивановича, слухъ о его заграничной жизни, даже его богатство,—все это смутно вспомнилось, когда онъ вошелъ въ комнату, и сдѣлало встрѣчу нѣсколько натянутой: но это тотчасъ прошло. Въ пріемахъ и рѣчахъ Бельтова было столько открытаго, простого, и притомъ въ немъ было столько такту, этой высокой принадлежности людей съ развитой и нѣжной душою, что не прошло получаса, какъ тонъ бесѣды сдѣлался пріятельскимъ. Даже Круциферская, такъ не привыкшувшая къ постороннимъ, невольно была вовлечена въ разговоръ. Съ Дмитриемъ Яковлевичемъ Бельтовъ вспомнилъ университетскіе годы, бездну тогдашнихъ анекдотовъ, тогдашнія мечты, надежды. Давно ему не было такъ отрадно, и онъ дружески благодарилъ Крупова за это знакомство, когда тотъ подвезъ его къ подъѣзду гостиницы «Кересбергъ».

— Ну, что, спрашивалъ потомъ Семенъ Ивановичъ у Круциферскихъ:—какъ вамъ нравится новый знакомый?

«Этого и спрашивать не слѣдуетъ», отвѣчалъ Круциферскій.

— «Онъ мнѣ очень понравился», сказала Любовь Александровна.

Семенъ Ивановичъ, чрезвычайно довольный, что доставилъ всѣмъ удовольствіе, шутливо погрозилъ пальцемъ.

Любовь Александровна покраснѣла.

Семейныя картины увлекательны, и теперь, докончивши одну, я не могу удержаться, чтобъ не начать другую. Тѣсная связь ихъ, увѣрю васъ, раскроется послѣ.

III.

У дубасовскаго уѣзднаго предводителя была дочь,—и въ этомъ еще не было бы большаго зла ни для почтеннѣйшаго Карпа Кондратьича, ни для милой Варвары Карповны; но у него, сверхъ

дочери, была жена, а у Вавы, какъ звали ее дома, была, сверхъ отца, милая маменька, Марья Степановна,—это измѣняло существенно положеніе дѣла. Карпъ Кондратьичъ былъ образецъ кротости въ семейныхъ дѣлахъ; странно было видѣть, какъ измѣнялся онъ, переходя изъ конюшни въ столовую, съ гумна въ спальню или въ диванную. Если-бъ мы не имѣли достовѣрныхъ документовъ отъ извѣстныхъ путешественниковъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что одинъ и тотъ же англичанинъ можетъ быть отличнѣйшимъ плантаторомъ и прекраснымъ отцемъ семейства, то мы сами усомнились бы въ возможности такой двойственности. Впрочемъ, рассуждая глубже, можно замѣтить, что это такъ и должно быть. Въ домѣ, т. е. на конюшнѣ и на гумнѣ, Карпъ Кондратьичъ велъ войну, былъ полководцемъ и наносилъ врагу наибольшее число ударовъ; врагами его, разумѣется, являлись непокорные крамольники—лѣнь, несовершенная преданность его интересамъ, несовершенное посвященіе себя четвертѣ гнѣдыхъ и другія преступленія. Въ залѣ своей, напротивъ, Карпъ Кондратьичъ находилъ рыхлыя объятія вѣрной супруги и милое чело дочери для поцѣлуя; онъ снималъ съ себя тяжелый панцырь помѣщицкихъ заботъ и становился не то, чтобы добрымъ человекомъ, а добрымъ Карпомъ Кондратьичемъ. Жена его находилась вовсе не въ такомъ положеніи; она лѣтъ двадцать вела маленькую партизанскую войну въ стѣнахъ дома, рѣдко дѣлая небольшія вылазки за крестьянскими куриными яйцами и тальками; дѣятельная перестрѣлка съ горничными, поваромъ и буфетчикомъ поддерживала ее въ безпрестанно раздраженномъ состояніи; но къ чести ея должно сказать, что душа ея не могла совсѣмъ наполниться этими мелочными непріятельскими дѣйствіями, и она со слезами на глазахъ, прижала къ своему сердцу семнадцатилѣтнюю Ваву, когда ее привезла двоюродная тетка изъ Москвы, гдѣ она кончила свое ученье въ институтѣ или въ пансіонѣ. Это ужъ не повару чета, не горничной—родная дочь, одна кровь течетъ въ жилахъ, да и священная обязанность. Сначала дали Вавѣ отдохнуть, побѣгать по саду, особенно въ лунныя ночи; для дѣвочки, воспитанной въ четырехъ стѣнахъ все было ново, «очаровательно, плѣнительно», она смотрѣла на луну и вспоминала о какой-нибудь изъ обожаемыхъ подругъ и твердо вѣрила, что и та теперь вспомнить объ ней; она вырѣзывала вензеля ихъ на деревьяхъ... Это было то время, которое холоднымъ людямъ просто смѣшно, а у насъ оно срываетъ улыбку, но не улыбку презрѣнья, а ту улыбку, съ которой мы смотримъ на играющихъ дѣтей; намъ нельзя играть—пусть они поиграютъ. Натянутасть, экзальтація, въ которой обыкновенно обвиняютъ дѣвушекъ, только что оставившихъ пансіонъ, несправедлива, совершенно неспра-

ведлива. Во всѣхъ мечтахъ, во всѣхъ самопожертвованіяхъ этого возраста, въ его готовности любить, въ его отсутствіи эгоизма, въ его преданности и самоотверженіи—святая искренность; жизнь пришла къ перелому, а занавѣсь будущаго еще не поднялась; за ней страшныя тайны, тайны привлекательныя; сердце дѣйствительно страдаетъ по чѣмъ-то неизвѣстномъ, и организмъ складывается въ то же время, и нервная система раздражена, и слезы готовы безпрестанно литься. Пройдетъ пять, шесть лѣтъ, все переменится; замужъ выйдетъ—и говорить нечего; не выйдетъ, да если только есть искра здоровой природы, дѣвушка не станетъ ждать, чтобъ кто-нибудь отдернулъ таинственную завѣсу, сама ее отдернетъ и иначе взглянетъ на жизнь. Смѣшно смотрѣть институткой на міръ двадцатипятилѣтними глазами, и печально, если институтка смотритъ на вещи двадцатипятилѣтними глазами.

Варвара Карповна не была красавица; но въ ней была богатая замѣна красоты, это *нѣчто*, *se quelque chose*, которое, какъ букетъ хорошаго вина, существуетъ только для понимающаго, и это *нѣчто*, еще не развитое, пророческое, предсказывающее, въ соединеніи съ юностью, которая все румянитъ, все краситъ, придавало ей особую, тонкую, нѣжную, не всѣмъ доступную прелесть. Глядя на довольно худое, смутное лицо ея, на юную нестройность тѣла, на задумчивые глаза съ длинными рѣсницами, поневолѣ приходило въ голову, какъ преобразятся всѣ эти черты, какъ онѣ устроятся, когда и мысль, и чувство, и эти глаза—все получить опредѣленіе, смыслъ, отгадку, и какъ хорошо будетъ тому, на плечо котораго склонится эта головка! Марья Степановна, впрочемъ, была очень недовольна наружностью дочери, называла ее «дурняшкой» и приказывала всякое утро и всякій вечеръ мыться огуречною водой, въ которую прибавлялся какой-то порошокъ, чтобъ прошелъ загаръ, какъ она называла ея смуглость. Поведеніе Вавы при гостяхъ заставило мать обратить серьезное вниманіе на нее; Вава была застѣнчива, уходила въ садъ съ книжкой, не любезничала, не дѣлала глазки. Книжка, какъ ближайшая причина, была отнята; потомъ пошли родительскія поученія, во вѣки нескончаемыя; Марья Степановнѣ показалось, что Вава ей повинуется не совсѣмъ съ радостью, что она даже хмуритъ брови и иногда смѣетъ *отвѣчать*; противъ такихъ вещей, согласитесь сами, надобно было взять рѣшительныя мѣры; Марья Степановна скрыла до поры до времени свою теплую любовь къ дочери, и начала ее гнать и тѣснить на всякомъ шагу. Она ей не позволяла гулять, когда той хотѣлось; она ее посылала, когда та хотѣла сидѣть дома. Она ее заставляла нехотя ѣсть, и всякій день упрекала, что она не толстѣетъ. Гоненія матери сдѣлали нравъ Вавы сосредоточеннымъ, она стала еще ди-

чѣе, худѣла еще больше. Карпу Кондратьичу иногда приходило въ голову, что жена его напрасно гонить бѣдную дѣвушку, онъ пробовалъ даже заговаривать съ нею объ этомъ издалека; но какъ только рѣчь подходила къ большей опредѣлительности, онъ чувствовалъ такой ужасъ, что не находилъ въ себѣ силы преодолѣть его и отправлялся поскорѣе на гумно, гдѣ за минутный страхъ вознаграждалъ себя долгимъ страхомъ, внушаемымъ всѣмъ вассаламъ. Поле оставалось свободно за Марьей Степановной, и она, съ величайшей ревностью скупая ткацкія полотна, скатерти и салфетки для будущаго приданаго и заставляя семерыхъ горничныхъ слѣпить глаза за кружевными коклюшками и трехъ вышивать въ пальцахъ разныя ненужности для Вавы, въ то же самое время съ невѣроятной упорностью гнала и тѣснила ее, какъ личнаго врага.

Когда они пріѣхали въ NN на выборы, и Карпъ Кондратьичъ напялил на себя съ большимъ трудомъ дворянскій мундиръ, ибо въ три года предводителя прибыло очень много, а мундиръ, напротивъ, какъ-то съезжился, и поѣхалъ какъ къ начальнику губерніи, такъ и къ губернскому предводителю, котораго онъ, въ отличіе отъ губернатора, остроумно называлъ «наше его превосходительство»; Марья Степановна занялась распоряженіями касательно убранства гостиной и выгрузки разнаго хлама, привезеннаго на четырехъ подводахъ изъ деревни; ей помогали трое нечесанныхъ отъ колыбели лакеевъ, одѣтыхъ въ полуфраки изъ какой-то сѣрой не то байки, не то сукна; дѣло шло горячо впередъ; вдругъ барыня, какъ-бы пораженная нечаянной мыслию, остановилась и закричала своимъ звучнымъ голосомъ:

«Вава, Вава, гдѣ ты это прячешься, а?» Бѣдная дѣвушка, чувствуя, что это не къ добру, робко вошла въ комнату.

— «Я здѣсь, тата!»

«Что это у тебя за видъ, больна что-ли ты? право, посмотришь на васъ со стороны, покажется, что вамъ дурно жить въ родительскомъ домѣ; вотъ эти пансіоны! къ матери подходить съ какимъ лицомъ!» Тутъ Марья Степановна передразнила томный видъ дѣвушки. «Я сама была дочь; бывало, маменька позоветъ, бѣгу къ ней съ открытымъ видомъ». Тутъ она представила открытый видъ и улыбочку. «А ты все изъ подлбья... Дуракъ, разобьешь! чему обрадовался, тащить, мужикъ; никогда не учишь...»

«Ну, милая моя, полно шутить, я тебѣ въ послѣдній разъ скажу добрымъ порядкомъ, что твое поведеніе меня огорчаетъ; я еще молчала въ деревнѣ, но здѣсь этого не потерплю; я не за тѣмъ тащилась такую даль, чтобъ про мою дочь сказали: дикая дурочка; здѣсь я тебѣ не позволю въ углу сидѣть. Какъ, не

умѣешь заинтересовать ни одного кавалера? Да мнѣ было пятнадцать лѣтъ, а ужъ отбою не было отъ нихъ. Тебя пора пристроить, слышишь ли?..

«Ахъ, ты, мерзавецъ, вѣдь, говорила, что сломаешь; поди сюда, поди, тебѣ говорятъ, покажи, вишь, дуракъ, какъ сломать, совсѣмъ на двѣ части; ну, я тебя угощу, дай барину воротиться; я сама бы оттаскала тебя за волосы, да гадко до тебя дотронуться: масломъ какъ намазался, это воръ Митька на кухнѣ даетъ господское масло; вотъ, погоди, я и до него доберусь...»

«Да-съ, Варвара Карповна, вы у меня на выборахъ извольте замужъ выдти; я найду жениховъ, ну, а вамъ поблажки больше не дамъ; что ты о себѣ думаешь, красавица что-ли такая, что тебя очень будутъ искать: ни лица, ни тѣла, да и шагу не хочешь сдѣлать, одѣться не умѣешь, слова молвить не умѣешь; а еще училась въ Москвѣ; нѣтъ, голубушка, книжки въ сторону, довольно начиталась, очень довольно, пора, матушка, за дѣло приниматься. Я тебя съ глазъ сгоню, если не поправишь поведения».

Вава стояла, какъ приговоренная къ смерти; послѣднія слова матери казались ей утѣшеніемъ.

«Какъ тебѣ не найти жениха! 350 душъ какихъ крестьянъ! каждая душа двѣ души сосѣдскія стоитъ, да приданице какое!.. Что, что—да ты, кажется, плакать начинаешь, плакать, чтобъ глаза сдѣлались красными; такъ ты эдакъ за материнскія пощеченія!..»

Она такъ близко подошла къ ней, а у Вавы волосы были такъ мягки и сухи, что неизвѣстно, чѣмъ кончилась бы эта исторія, если-бъ медвѣженокъ въ полуфрактѣ не уронилъ, въ самое это время, десертную тарелку. Марья Степановна перенесла на него всю ярость.

«Кто разбилъ тарелку?» кричала она хриплымъ голосомъ.

— Сама разбилась — отвѣчалъ, повидимому, вышедшій изъ терѣбнѣя слуга.

«Какъ сама! сама? и ты смѣешь мнѣ говорить это, сама!»— Остальное она договорила руками, находя, вѣроятно, что мимика сильнѣе выражаетъ взволнованное состояніе души, чѣмъ слово.

Измученная дѣвушка не могла больше вынести: она вдругъ зарыдала и въ страшномъ истерическомъ припадкѣ упала на диванъ. Мать испугалась, кричала: «люди, дѣвка, воды, капель, за докторомъ, за докторомъ!» Истерическій припадокъ былъ упоренъ, докторъ не ѣхалъ, второй гонецъ, посланный за нимъ, привезъ тотъ же отвѣтъ: «велѣтъ-де сказать, что немножко-де по временити надо, на очень дескать трудныхъ родахъ».

«Тыфу. ты, проклятый! да кому это такъ приспичило родить!»

— Прокуроровой кухаркѣ-съ, отвѣчалъ посланный.

Только этого и недоставало, чтобъ довершить трагическое положеніе Марьи Степановны, она побагровѣла: лицо ея, всегда непривлекательное, сдѣлалось отвратительнымъ.

«У кухарки? у кухарки?»... больше она не могла вымолвить ни слова.

Вошелъ Карпъ Кондратьичъ съ веселымъ и довольнымъ видомъ: губернаторъ дружески жаль ему руку, ея превосходительство водила показывать коверъ, присланный для гостиниой изъ Петербурга, и онъ, посмотрѣвши на коверъ съ видомъ патріархальной простоты, подъ которую мы умѣемъ прятать лести и униженіе, сказалъ: «У кого же, матушка Анна Дмитриевна, и быть такимъ коврамъ, какъ не у вашихъ превосходительствъ». Онъ всѣмъ этимъ былъ очень доволенъ, особенно ловкимъ отвѣтомъ своимъ. И вдругъ семейная сцена обрушилась на его голову: дочь въ истерикѣ, жена въ изступленіи, разбитая тарелка на полу, у Марьи Степановны лица нѣтъ, и правая ручка какъ-то очень красна, почти такъ же, какъ лѣвая щека у Терешки.

— Что за исторія? Что съ Вавой?

«Извѣство, съ дороги; дѣло дѣвичье, отвѣтила нѣжная мать— гдѣ ей вынести 120 верстъ; говорила—отложить до среды, ну такъ нѣтъ; теперь и лечи».

— Помилуй, въ среду не меньше бы было верстъ.

«Ты все лучше знаешь. А вотъ этого убійцу Крупова въ домъ больше не пускай; вотъ массонъ-то, мерзавецъ! Два раза посылала,—вѣдь, я не послѣдняя персона въ городѣ... Отчего? отъ того, что ты не умѣешь себя держать, ты себя держишь хуже засѣдателя; я посылала, а онъ изволить тѣшиться надо мной; видишь, у прокурорской кухарки на родинахъ; моя дочь умираетъ, а онъ у прокурорской кухарки... Якобинецъ!»

— Подлецъ и мерзавецъ! заключилъ предводитель.

Горячій потокъ словъ Марьи Степановны не умолкалъ еще, какъ растворилась дверь изъ передней, и старикъ Круповъ, съ своимъ нѣсколько методическимъ видомъ и съ тростью въ рукѣ, вошелъ въ комнату; видъ его былъ тоже довольнѣе обыкновеннаго; онъ какъ-то улыбался глазами и, не замѣчая того, что хозяева не кланяются ему, спросилъ:

— «Кому нужна здѣсь моя помощь?»

— Моей дочери!

— «А! Вѣрѣ Михайловнѣ? что съ ней?»

— Дочь мою зовутъ Варварой, а меня Карпомъ,—не безъ достоинства замѣтилъ предводитель.

— «Извините, извините; да, ну что же у Варвары Кириловны?»

«Да прежде, батюшка, перебила дрожащимъ отъ бѣшенства голосомъ Марья Степановна:—успокойте, что, кухарка-то прокурорская родила-ли?»

— «Хорошо, очень хорошо, возразилъ съ энергіей Круповъ:—это такой случай, какого въ жизнь не видалъ. Истинно думалъ, что мать и ребенокъ пропадутъ; бабка пренеловкая, у меня руки стары, и вижу нынче плохо. Представьте, пуповина...»

«Ахъ, батюшка, да онъ съ ума сошелъ; стану я такія мерзости слушать! да съ чего вы это взяли! У меня въ деревнѣ своихъ бабъ круглымъ числомъ пятьдесятъ родятъ ежегодно, да я не узнаю всѣхъ гадостей. При этомъ она плюнула».

Круповъ насилу сообразилъ, въ чемъ дѣло. Онъ всю ночь провозился съ бѣдной родильницей, въ душной кухнѣ, и такъ еще былъ весь подъ вліяніемъ счастливой развязки, что не понималъ сначала тона предводительши. Она продолжала:

«Да что, прокуроръ-то платитъ вамъ, что ли, такъ ужъ густо, что вы не могли бабы его оставить на минуту, когда съ моей дочерью чуть смерть не приключилась?»

— «Ни на одну минуту, сударыня, ни на одну минуту не могъ ни для вашей дочери, ни для кого другого. Да видно, она не очень больна: вы не торопитесь вести меня къ ней. Я зналъ это».

Это замѣчаніе озадачило нѣжныхъ родителей; но мать скоро оправилась и возразила:

«Ей лучше, да я и не подпущу васъ теперь къ моей дочери, и рукъ-то, вѣрно, вы не вымыли».

— Признаюсь, г. докторъ, прибавилъ предводитель, такого дерзкаго поступка и такого дерзкаго объясненія, я отъ васъ не ожидалъ, отъ стараго, заслуженнаго доктора. Если-бы не уваженіе мое къ кресту, украшающему грудь вашу, то я, можетъ быть, не остался бы въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ нахожусь. Съ тѣхъ поръ, какъ я предводителемъ — шесть лѣтъ минуло — меня никто такъ не оскорблялъ.

— «Да помяните, если въ васъ нѣтъ искры человѣколюбія, такъ вы, по крайней мѣрѣ, сообразите, что я здѣсь инспекторъ врачебной управы, блюститель законовъ по медицинской части, и я то брошу умирающую женщину для того, чтобъ бѣжать къ здоровой дѣвушкѣ, у которой мигрень, истерика, или что-нибудь такое—домашняя сцена! Да это противно законамъ, а вы сердитесь!»

Карпъ Коандратичъ, въ дополненіе, былъ трусъ величайшій; ему показалось, что въ словахъ доктора лежитъ обвиненіе въ вольнодумствѣ; у него въ глазахъ поголубѣло, и онъ поторошился отвѣтить:

— Не зналъ, видить Богъ, не зналъ; передъ властью закона я нѣмъю. Да вотъ Вава сама встаетъ.

Круповъ подошелъ къ ней, посмотрѣлъ, взявъ руку, покачалъ головой, сдѣлалъ два, три вопроса и, зная, что безъ этого его не выпустятъ, написалъ какой-то вздорный рецептъ, и, прибавивши: «пуще всего спокойствіе, а то можетъ быть худо», ушелъ.

Испуганная истерикой, Марья Степановна немного сдѣлалась помягче; но когда до нея дошелъ слухъ о Бельтовѣ, у нея сердце такъ и стукнуло, и стукнуло съ такой силой, что болонка, лежавшая у нея постоянно шестой годъ на колѣняхъ вмѣстѣ съ носовымъ платкомъ и съ маленькой табакеркой, заворчала и начала нюхать и отыскивать, кто это прыгаетъ.—Бельтовъ—вотъ женихъ! Бельтовъ—его-то намъ и надо.

Разумѣется, Бельтовъ сдѣлалъ Карпу Кондратьичу визитъ; на другой день Марья Степановна протурила мужа платить почтеніе; а черезъ недѣлю Бельтовъ получилъ засаленную записку, съ сильнымъ запахомъ бараньяго тулуна, прибрѣтеннымъ на груди кучера, принесшаго ее; содержаніе ея было слѣдующее:

«Дубасовскій уѣздный предводитель дворянства и супруга его покорнѣйше просятъ Владиміра Петровича сдѣлать имъ честь откушаніемъ у нихъ обѣденнаго стола завтра, въ три часа».

Бельтовъ съ ужасомъ прочелъ приглашеніе и, бросивъ его на столъ, думалъ: что имъ за охота звать? Денегъ стоитъ много, всѣ они скупы, какъ кощии, скука будетъ смертная... а дѣлать нечего, надобно ѣхать, а то обидится.

За два дни до обѣда начались речетици и приготовления Вавы; мать наряжала ее съ утра до ночи, хотѣла даже заставить ее явиться въ какомъ-то красномъ бархатномъ платьѣ, потому что оно будто бы было ей къ лицу, но уступила совѣту своей кухни, ѣздившей запросто къ губернаторшѣ, и которая думала, что она знаетъ всѣ моды, потому что губернаторша обѣщала ее взять на будущее лѣто съ собой въ Карлсбадъ. Съ вечера Марья Степановна приказала принести миндальныя отруби, оставшіяся отъ приготавлиемаго на завтра бланъ-манже, и, показавши дочери, какъ надобно этими отрубями тереть шею, плечи и лицо, начала торжественнымъ тономъ, сдерживая очевидное желаніе перейти къ брани:

«Вава, говорила она, если Богъ мнѣ поможетъ выдать тебя за Бельтова, всѣ мои молитвы услышаны, я тогда тебѣ цѣны не буду знать; утѣшь же ты мать свою; ты не безчувственная какая-нибудь, не каменная, неужели этого не можешь сдѣлать?—Какъ не понравится мужчинѣ, молодому? Да и что здѣсь дѣвицъ, чтоли, очень много: двѣ, три, да и обчелся; красавицы-то хваленія—предсѣдательскія дочки, по мнѣ, прегадкия, да и, говорятъ, перемигиваются съ какими-то секретаришками. А потомъ, что за фамилія ихъ—отецъ выслужился изъ повѣтчиковъ казенной па-

латы. Ка-бы у тебя амбиціи было хоть на волосъ, то на смѣхъ имъ надобно бы... Онѣ, безстыдницы, мимо его квартиры въ открытой коляскѣ шныряють, да нѣтъ, надежда плоха: вотъ теперь я распинаюсь, а вѣдь она смотритъ какъ деревянная; наградила же меня Господь, за мои прегрѣшенія, куклой вмѣсто дочери!»

— Маменька, маменька, говорила полушопотомъ Вава съ ка-кимъ-то отчаяніемъ во взглядѣ: что-же мнѣ дѣлать, я не могу иначе; да разсудите сами, я не знаю совсѣмъ этого человѣка, да и онѣ, можетъ быть, на меня не обратитъ вовсе никакого внима-нія. Не броситься же мнѣ къ нему на шею.

«Грубянка эдакая! да кто тебѣ говоритъ — броситься на шею... Такъ ты эдакъ хочешь исполнить волю матери... не видала никогда! Что, у тебя мать дура или пьяная какая, что не умѣетъ выбрать тебѣ жениха. Царевна какая!..» Она остановилась, боясь разобидѣть ее до слезъ, отъ которыхъ завтра глаза будутъ красны.

Пришелъ, наконецъ, день испытанія: съ двѣнадцати часовъ Ваву чесали, помадили, душили; сама Марья Степановна затянула ее, и безъ того худенькую, корсетомъ и придала ей видъ осы; зато, съ премудрой распорядительностью, она умѣла кое-гдѣ подшить ваты—и все была не вполне довольна: то ей казался воротъ слишкомъ высокъ, то, что у Вавы одно плечо ниже другого; при всемъ этомъ она сердилась, выходила изъ себя, давала поощрительные толчки горничнымъ, бѣгала въ столовую, учила дочь дѣлать глазки и буфетчика накрывать столъ и пр. Труденъ былъ этотъ день для Марьи Степановны, но много можетъ любовь матери!

Понятно, что все это очень хорошо и необходимо въ домашнемъ обиходѣ; какъ ни мечтай, но надобно же подумать о судьбѣ дочери, о ея благосостояніи; да то жаль, что эти приготовительныя, закулисныя мѣры лишаютъ дѣвушку прекраснѣйшихъ минутъ первой, откровенной, нежданной встрѣчи, разоблачаютъ при ней тайну, которая не должна еще быть разоблачена, и показываютъ слишкомъ рано, что для успѣха надобна не симпатія, не счастье, а крапленныя карты. Эти приготовленія опошляютъ отношенія, которыя только тогда и могутъ быть истинны и святы, когда они не опошлены. Строгіе моралисты, пожалуй, прибавятъ, что всѣ подобныя мѣры болѣе могутъ развратить сердце дѣвушки, нежели такъ называемыя паденія: въ такую глубь мы не пускаемся. Да и притомъ, какъ ни толкуй, а дочерей надобно замужъ выдавать, онѣ только для этого и рождаются: въ этомъ, я думаю, согласны всѣ моралисты.

Въ три часа убранная Вава сидѣла въ гостиной, гдѣ ужъ съ половины третьяго было нѣсколько гостей, и подносъ, стоявшій передъ диваномъ, утратилъ уже половину икры и балыка, какъ

вдругъ вошелъ лакей и подалъ Карпу Кондратьичу письмо. Карпъ Кондратьичъ досталъ изъ кармана очки, замаралъ имъ стекла грязнымъ платкомъ и, какъ-то, должно быть, по складкамъ, судя по времени, прочитавши записку въ двѣ строки, возвѣстилъ голосомъ явно не спокойнымъ:

— Маша, Владиміръ Петровичъ просить извинить его, онъ нездоровъ, простудился и при всемъ желаніи не можетъ пріѣхать. Человѣку скажи, что очень дескать жаль.

Марья Степановна измѣнилась въ лицѣ и бросила на дочь такой взглядъ, какъ будто она простудила Бельтова. Вава торжествовала. Никогда Марья Степановна не казалась смѣшнѣе: она до того была смѣшна, что ее становилось жаль. Она возненавидѣла Бельтова отъ всего сердца и отъ всего помышленія. «Это просто афронтъ», бормотала она про себя.

— Кушанье подано, сказалъ лакей.

Губернскій предводитель повелъ Марью Степановну въ столовую.

Недѣли черезъ двѣ послѣ этого происшествія, Марья Степановна занималась чаемъ; она, оставаясь одна или при близкихъ друзьяхъ, любила чай пить продолжительно, сквозь кусочекъ, съ блюдечка, что ей нравилось, между прочимъ, и тѣмъ, что сахару выходило по этой методѣ гораздо меньше. Передъ нею сидѣла на стулѣ какая-то длинная, сухая женская фигура въ чепчикѣ, съ головою нѣсколько качавшеюся, что сообщало оборкѣ на чепцѣ непрерывное колебаніе; она вязала шерстяной шарфъ на двухъ огромныхъ спицахъ, глядя на него сквозь тяжелые очки, которыхъ обкладка, сдѣланная, впрочемъ, изъ серебра, скорѣе напоминала пушечный лафетъ, чѣмъ вещь, долженствующую покоиться на носу человѣка; затасканный темный капоть, огромный ридикюль, изъ котораго торчали еще какія-то спицы, показывали, что эта особа—свой человѣкъ, и притомъ не богатый человѣкъ; послѣднее всего яснѣе можно было замѣтить по тону Марьи Степановны. Старуху эту звали Анной Якимовной. Она была хорошаго дворянскаго происхожденія и съ молодыхъ лѣтъ вдова; имѣніе ея состояло изъ четырехъ душъ крестьянъ, составлявшихъ четырнадцатую часть наслѣдства, выдѣленнаго ей родственниками ея, людьми очень богатыми, которые, взойдя въ ея вдовье положеніе, щедрой рукой нарѣзали для нея и для ея крестьянъ болото, обильное дупелями и бекасами, но не совсѣмъ удобное для мирныхъ занятій хлѣбопашествомъ. При всѣхъ стараніяхъ Анны Якимовны, большого оброку съ такого имѣнія получить было невозможно. Наслѣдство, полученное ею отъ своего супруга, было тоже не велико: оно состояло изъ подполковничьяго чина, изъ единственнаго сына и изъ собранія рецептовъ, какъ

лечить лошадей отъ ишата, сапа и пр.; на каждомъ рецептѣ быть написанъ поразительный примѣръ успѣха. Сынъ былъ отправленъ лѣтъ девятнадцати въ какой-то полкъ, но воротился вскорѣ въ родительскій домъ, высланный изъ службы за пьянство и буйные поступки. Съ тѣхъ поръ онъ жилъ во флигелѣ дома Анны Якимовны; тянулъ сивуху, настоенную на лимонныхъ коркахъ, и безпрестанно дрался то съ людьми, то съ хорошими знакомыми; мать боялась его, какъ огня, прятала отъ него деньги и вещи, клялась передъ нимъ, что у нея нѣтъ ни гроша, особенно послѣ того, какъ онъ топоромъ разломалъ крышку у шкатулки ея и вынулъ оттуда семьдесятъ два рубля денегъ и кольцо съ бирюзой, которое она берегла пятьдесятъ четыре года въ знакъ памяти одного искренняго пріятеля покойника ея. Сверхъ крестьянъ и рецептовъ, у Анны Якимовны были три молодыхъ горничныя, одна старая и два лакея. Молодыхъ дѣвокъ она никогда не одѣвала, а что всего замѣчательнѣе, онѣ были всегда хорошо одѣты. Анна Якимовна съ удовольствіемъ видѣла, что онѣ успѣваютъ выработывать себѣ на платьѣ, несмотря на то, что съ утра до ночи сама занимала ихъ работой, и благоразумно молчала, замѣчая кой какіе непорядки. Лакеи—два уродливые старика, жившіе единственно вину, были въ половинѣ съ горничными и, сверхъ того, шили на полгорода козловые башмаки съ сильнымъ запахомъ. Разумѣется, Якимъ Осипичъ также не упускалъ случая сводить свои счеты, пользуясь слабостями человѣческой природы.

Почтенная глава этого патриархальнаго фаланстера допивала четвертую чашку чаю у Марьи Степановны; она усѣбла уже повторить въ сотый разъ, какъ за нее сватался грузинскій князь, умершій генераль-аншефомъ, какъ она въ 1809 году ѣздила въ Питеръ къ роднымъ, какъ всякій день у ея родныхъ собиралась весь генералитетъ и какъ она единственно потому не осталась тамъ жить, что невская вода ей не по вкусу и не по желудку. Докончивши аристократическія воспоминанія вмѣстѣ съ четвертой чашкой чаю, она вдругъ начала, громко опрокидывая чашку (это былъ фальшивый сигналъ) и положивши на донышко крошечный кусочекъ сахару:

— Да, матушка Марья Степановна, вотъ ка-бы меня Господь сподобилъ увидѣть Варвару Карповну вашу пристроенною,—такъ хоть бы, какъ вы, Марья Степановна; не могу болѣе желать; сердце радуется на ваше семейство: домъ—полная чаша, уваженіе такое отовсюду. Право хорошо бы, успокоило бы васъ!

«Что вы это опрокинули чашку, выкупайте еще».

— Право, довольно; я обыкновенно пью три чашки, а у васъ четыре выпила: покорнѣйше благодарю: чай у васъ отмытый.

«Да, я ужъ всегда говорю, по моему рубль передать на фунтъ—ничего не значить, да ужъ только чтобъ былъ чай. Берите-ка чашку». И Анна Якимовна принялась за пятаю.

«Конечно, все въ Божіей власти, Анна Якимовна, но, вѣдь, Вава очень молода, куда ей замужъ теперь; да и, признаться, какіе женихи, погубятъ дѣвку; а когда подумаю, какъ съ ней разстаться, я не переживу, истинно не переживу».

— И, матушка, Господь съ тобой. Кто же не отдавалъ дочерей, да и товаръ это не таковъ, чтобъ на рукахъ держать: залежится, пожалуй. Нѣтъ, по моему, коли мать пресвятая Богородица благословить, такъ хорошо бы составить авантажную партію. Вотъ Софьи-то Алексѣевны сынокъ пріѣхалъ; онъ, вѣдь, намъ доводится въ дальнемъ свойствѣ; ну, да, вѣдь, нынче родныхъ-то плохо знаютъ, а ужъ особенно бѣдныхъ; а должно быть состояннице хорошее, тысячи двѣ душъ въ одномъ мѣстѣ, имѣніе устроенное.

«Да человѣкъ-то каковъ? Вамъ все деньги дались, а богатство больше обуза, чѣмъ счастье—заботы да хлопоты; это все издали кажется хорошо, одна рука въ меду, другая въ патоку; а посмотрите—богатство только здоровьемъ переводъ. Знаю я Софью Алексѣевны сына; тоже совался въ знакомство съ Карпомъ Кондратьевичемъ; мы, разумѣется, приняли учтиво, чтожъ намъ его учить,—ну а ужъ на лицѣ написано: преразвращенный! Что за манеры! Въ дворянскомъ домѣ держитъ себя точно въ рестораціи. Вы видѣли его?»

— Видала издали, на улицѣ: онъ частенько ѣздитъ мимо меня, и пѣшкомъ прохаживаетъ.

«Да куда же это мимо васъ онъ ходитъ?»

— Не знаю, матушка, мнѣ ли въ мои лѣта и при тяжкихъ болѣзняхъ моихъ (при этомъ она глубоко вздохнула) заниматься, кто куда ходитъ, своей кручины довольно... Предъ вами, какъ передъ Богомъ, не хочу таить: Якиша-то опять зашалилъ,—въ гробъ меня сведетъ... Тутъ она заплакала.

«Чтобы вамъ посовѣтоваться съ крестовоздвиженскимъ церковнымъ старостою: удивительно лечитъ. Возьметъ простого пѣнаго, поговоритъ надъ нимъ, дастъ хлебнуть больному, и самъ остальное выпьетъ, больше ничего, а тому такъ и начнутъ бѣсенята казаться и разныя адскія навожденія,—ну, какъ рукой и сниметъ!»

— Да, вѣдь, небось дорого попросить; знаете наше состояніе.

«Нѣтъ; онъ лечилъ нашего повара, всего дали синенькую».

— Да помочь ли?

«Помочь-то помочь; онъ было опять сталъ припадать, такъ Карпъ Кондратьичъ другого лекарства закатилъ: «ты, говоритъ, боярскихъ милостей не понимаешь; я пять рублей пролечилъ на тебя,

а ты не выздоровѣль, мошенникъ!» Ну, и, знаете, по-русски; съ тѣхъ поръ и не пьеть. Я вамъ пришлю старосту. Ну, а ужъ я не вытерпѣла бы, узнала бы, куда это шляется этотъ молодчикъ».

— Да и я сама какъ-то спросила свою Василиску, вѣдь, она такая бойкая у меня... Такъ, отъ бездѣлья, молвила, куда, моль, ѣздитъ вотъ этотъ баринъ мимо насъ; а она на другой же день мнѣ и докладываетъ: «изволили мнѣ вчера молвить, куда бельтовскій баринъ ѣздитъ: онъ все съ дохтуромъ съ старикомъ къ учителю негровскому ѣздитъ».

«Съ Круповымъ, къ негровскому учителю?» спросила Марья Степановна, едва скрывая пріятное волненіе, въ которомъ сама себѣ не могла дать отчета.

— Да, матушка, онъ, вѣдь, здѣсь въ этой въ гимназіи служить, этому учить...

«А, такъ вотъ куда онъ похаживаетъ; я съ самаго начала его считала преразвращеннымъ, и чему дивить? Учитель его съ малолѣтства постригъ въ массонскую вѣру, ну, какому же быть пути? Мальчишка безъ надзору жилъ во французской столицѣ, ну, ужъ по имени можете разсудить, какая моральность тамъ... Такъ это онъ за негровской-то воспитанницей ухаживаетъ, прекрасно! Экой вѣкъ какой!»

— Жаль, вчужѣ жаль, Марья Степановна, бѣднаго мужа; говорятъ, человекъ солидный. А она, ужъ такое происхожденіе! Сколькихъ я видала на своемъ вѣку, холопская кровь скажется!

«Ну, и Семень-то Ивановичъ, роля очень хороша! прекрасно! Старый грѣшникъ, Бога бѣ побоялся; да и онъ-то массониска такой же, однокорытнику и помогаетъ, да, вѣдь, чай какія беретъ съ него денежки? За что? Чтобъ погубить женщину. И на что, скажите, Анна Якимовна, на что этому скареду деньги? Одинъ, какъ персть, ни ближнихъ, никого; нищему копейки не подастъ: алчность проклятая! Иуда искаріотскій! И куда? Умреть, какъ собака, въ казну возьмутъ!»

Разговоръ продолжался еще съ четверть часа въ томъ же духѣ и направленіи, послѣ чего Анна Якимовна, въ жару разговора выпившая еще три чашки чаю, стала собираться домой, сняла очки, уложила ихъ въ футляръ и послала въ переднюю спросить, пришелъ ли Максютка проводить ее, и, узнавши, что Максютка тутъ, встала. Давно Марья Степановна не принимала ее такъ ласково; она проводила ее даже до самой передней, гдѣ небритый Максютка, пресмѣшной старикъ лѣтъ шестидесяти, грязный и пропахнувшій простымъ виномъ, одѣтый въ фризую шинель съ чернымъ воротникомъ, держалъ одной рукой заячій салоцъ Анны Якимовны, а другой укладываетъ въ карманъ тавлинку. Максютка былъ очень не въ духѣ: онъ только было гото-

вился запереть дамку и ужъ поставилъ грязный палецъ на шашку, чтобъ ее двинуть, какъ барыня отворила дверь. «Ворона проклятая»,—бормоталъ онъ грубо, надѣвая салоупъ на сухія плечи вдовствующей Анны Якимовны.

— Вотъ у меня дурачекъ, не могу научить салопа подать, замѣтила барыня.

— «Пора насъ со двора, наберите себѣ ученыхъ», бормоталъ Максютка.

— Вотъ, матушка, вдовье положеніе; ото всего терплю, отъ послѣдняго мальчишки. Что сдѣлаешь, дѣло женское; если-бъ былъ покойникъ живъ, чтобы я сдѣлала съ эдакимъ негодяемъ... себя бы не узналъ... Горькая участь, не суди вамъ Богъ испытать ее!

Рѣчь эта не тронула Максютку, онъ, ведя подъ руку свою барыню съ лѣстницы, успѣлъ обернуться къ провожавшимъ людямъ и подмигнуть, указывая на Анну Якимовну, что доставило истинное и продолжительное удовольствіе дворнѣ дубасовскаго предводителя.

Предоставляю читателямъ вообразить всю радость и все удовольствіе доброй Марьи Степановны, услышавшей такую новость и получившей явную возможность пустить скандальную исторію не только о Бельтовѣ, но и о Круповѣ. По дорогѣ приходилось, правда, раздавить репутацію женщины, какъ-то жаль, но что дѣлать? Есть важные случаи, въ которыхъ личности человѣческія приносятся на жертву великимъ планамъ!

IV.

Въ то самое время, когда почтенная вдова Анна Якимовна кушала чай у не менѣе почтенной Марьи Степановны и онѣ съ тѣмъ нѣжнымъ вниманіемъ, свойственнымъ одному женскому сердцу, занимались Бельтовымъ, Бельтовъ чрезвычайно грустный сидѣлъ, съ своей стороны, въ своемъ номерѣ, тоскливо думая о чемъ-то очень грустномъ и тяжеломъ. Будь онъ одаренъ ясновидѣніемъ, ему было бы легко утѣшиться, онъ ясно услышалъ бы, что не далѣе, какъ чрезъ большую и нечистую улицу, да черезъ нечистый и маленькій переулокъ, двѣ женщины оказывали родственное участіе къ судьбамъ его и изъ нихъ одна, конечно, безъ убійственнаго равнодушія слушала другую; но Бельтовъ не обладалъ ясновидѣніемъ; по крайней мѣрѣ, если-бъ онъ былъ не испорченный западнымъ нововведеніемъ русскій, онъ сталъ бы икать, и икота удостовѣрила бы его, что тамъ,—тамъ, гдѣ-то... вдали, втиши, его поминаютъ; но въ нашъ вѣкъ отрицанья икота потеряла свой мистическій характеръ и осталась жалкимъ гастрическимъ явленіемъ.

Хандра Бельтова, впрочемъ, не имѣла ни малѣйшей связи съ известнымъ разговоромъ за шестой чашкой чаю. Онъ въ этотъ день всталъ поздно, съ тяжелой головой, съ вечера онъ долго читалъ, но читалъ невнимательно, въ полудремотѣ,—въ послѣдніе дни въ немъ болѣе и болѣе развивалось какое-то болѣзненное *не по себѣ*, не приходившее въ ясность, но располагавшее къ тяжелымъ думамъ; ему все чего-то не доставало, онъ не могъ ни на чемъ сосредоточиться. Около часу онъ докурилъ сигару, допилъ кофей, и долго думая, съ чего начать день, съ чтенія или съ прогулки, онъ рѣшился на послѣднее, сбросилъ туфли, но вспомнилъ, что далъ себѣ слово по утрамъ читать новѣйшія произведенія по части политической экономіи, и потому надѣлъ туфли, взялъ новую сигару и совѣмъ расположился заняться политической экономіей, но, по несчастію, возлѣ ящика съ сигарами лежалъ Байронъ, онъ легъ на диванъ и до пяти часовъ читалъ Донъ-Жуана. Когда онъ посмотрѣлъ на часы, окончивши чтеніе, онъ очень удивился, что такъ поздно, позвалъ своего камердинера, велѣлъ приготовить одѣваться какъ можно скорѣе; впрочемъ, и удивленіе, и приказъ были больше инстинктивны, потому что онъ никуда не собирался и ему было совершенно все равно—6 ли часовъ утра, или 12 ночи. Одѣвшись съ тою тщательностью и чистотою, къ которой мы привыкаемъ, долго живши за границей и отъ которой скоро отвыкаемъ въ провинціи, онъ, твердый въ намѣреніи заняться политической экономіей, легъ на то же мѣсто и развернулъ какую-то англійскую брошюру объ Адамѣ Смитѣ. А камердинеръ развернулъ небольшой столъ и началъ его накрывать. Судьба улыбнулась камердинеру больше, нежели его патрону; Григорій преспокойно накрылъ столъ, поставилъ графинъ съ водою и бутылку съ лафитомъ, поставилъ на другой столъ графинчикъ съ абсентомъ и сыръ, потомъ спокойно осмотрѣлъ сдѣланное и, убѣдившись, что все поставлено на мѣстѣ, отправился за супомъ и черезъ минуту принесть, только не супъ, а письмо.

— Откуда? спросилъ Бельтовъ, не сводя глазъ съ брошюрки объ Адамѣ Смитѣ.

— «Должно быть изъ чужихъ краевъ: штемпель не нашъ, да еще объявленіе на посылку».

— Дай сюда—и Бельтовъ бросилъ брошюру. Отъ кого-бъ это было, думалъ онъ, не понимаю, изъ Женевы... развѣ... нѣтъ—скорѣе... нѣтъ...

Конечно, легче было бы распечатать письмо и на концѣ четвертой странички прочитать, отъ кого оно, нежели отгадывать. Безъ сомнѣнія. Отчего же всѣ дѣлаютъ подобныя гаданія надъ письмомъ? Это тайна сердца человѣческаго, основанная впрочемъ

на томъ, что лестно человѣку признать себя догадливымъ и про-
ницательнымъ.

Наконецъ, Бельтовъ снялъ пакетъ и сталъ читать письмо; съ
каждой строчкой его лицо дѣлалось блѣднѣе и слезы наверну-
лись на глазахъ его.

Письмо это было отъ племянника м-г Жозефъ; онъ извѣщалъ
Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого, благороднаго
существа такъ, какъ текла, тихо и ясно, такъ и потухла. Онъ
былъ много лѣтъ главнымъ учителемъ въ сельской школѣ, не
далеко отъ Женевы. Дни два ему нездоровилось, на третій каза-
лось лучше; едва переставляя ноги, онъ отправился въ учебную
залу, тамъ онъ упалъ въ обморокъ, его перенесли домой, пустили
ему кровь, онъ пришелъ въ себя, былъ въ полной памяти, про-
стился съ дѣтьми, которыя молча стояли, испуганныя и расте-
рянныя, около его кровати, звалъ ихъ гулять и прыгать на его
могилу, потомъ спросилъ портретъ Вольдемара, долго съ любовью
смотрѣлъ на него и сказалъ племяннику: «Какой бы человѣкъ
могъ изъ него выйти... да видно старикъ дядя лучше зналъ...
Отошли этотъ портретъ къ Вольдемару послѣ... адресъ у меня
въ портфелькѣ, въ старомъ, на которомъ портретъ Вашингтона...
Жаль Вольдемара... очень жаль...»

«Тутъ, писалъ племянникъ, больной началъ бредить, лицо его
приняло задумчивое выраженіе послѣднихъ минутъ жизни, онъ
велѣлъ себя приподнять и, открывши свѣтлые глаза, хотѣлъ что-
то сказать дѣтямъ, но языкъ не повиновался. Онъ улыбнулся
имъ и сѣдая голова его упала на грудь. Мы схоронили его на
нашемъ сельскомъ кладбищѣ между органистомъ и кистеромъ».

Бельтовъ прочиталъ письмо, положилъ его на столъ, отеръ
слезу, прошелся по комнатѣ, постоялъ у окна, снова взялъ письмо,
прочелъ его отъ доски до доски. «Удивительный человѣкъ! Уди-
вительный человѣкъ!» бормоталъ онъ сквозь зубы, «пресчастли-
вый человѣкъ, умѣлъ довольствоваться, умѣлъ трудиться, быть
полезнымъ на всякомъ мѣстѣ, куда судьба его ни бросала... Те-
перь на всемъ земномъ шарѣ у меня мать, и болѣе никого...
никого... Хотя изрѣдка дойдетъ, бывало, вѣсть о старикѣ, и хо-
рошо, ну просто, я бывалъ доволенъ сознаніемъ, что онъ суще-
ствуетъ. И его нѣтъ! Фу, какъ тяжело все это. Право, если-бъ
впередъ говорили условія, мало нашлось бы дураковъ, которые
рѣшились бы жить».

— «Супъ простынетъ, Владиміръ Петровичъ», доложилъ камер-
динеръ, съ участіемъ видѣвшій, что содержаніе письма было не
изъ пріятныхъ.

— Григорій, спросилъ Бельтовъ, помнишь учителя, который
жилъ у насъ?

— «Какъ не помнить-съ швейцарца то-съ».

— Онъ скончался, сказалъ Бельтовъ и отвернулся отъ Григорія, чтобъ скрыть волненіе.

— «Царство ему небесное! прибавилъ Григорій,—добрый былъ человекъ, и съ нашимъ братомъ простъ; мы вотъ недавно говорили съ Максимъ Ѳедоровымъ, что у маменьки служить въ буфетчикахъ, т. е. о вась. Признаться доложить, Максимъ Ѳедоровичъ не надвигнется на вась; я, по вашей милости, насмотрѣлся на разныя націи и на тамошніе порядки, ну, а онъ больше все въ губерніи проживалъ, ему и удивительно. «Конечно, говорить, добрая душа у нихъ, врожденная, барынина. Ну и, т. е. и отъ учителя было чему заняться, бывало, я помню, передъ деревенскимъ мальчишкой, который поклонится, приказываетъ Владимиру Петровичу картузикъ снять; такой же де образъ и подобіе Божіе есть».

Бельтовъ промолчалъ и грустно принялся за супъ.

Вѣсть о смерти Жозефа естественнымъ образомъ вызвала въ памяти Бельтова всю его юность, а за нею и всю жизнь. Онъ вспомнилъ поученія Жозефа, какъ жадно внималъ онъ имъ, какъ вѣрилъ и какъ все оказалось въ жизни совсѣмъ не такъ, какъ въ словахъ Жозефа, и... (Странное дѣло! все говоренное имъ было прекрасно, истинно, истинно направо и налѣво, и совершенно ложно для него, Бельтова. Онъ сравнивалъ себя тогдашняго и себя настоящаго; ничего не было общаго, кромѣ нити воспоминаній, связывавшихъ эти два разныя лица. Тотъ — полный упованій, съ религіей самоотверженія, съ готовностію на тяжкіе подвиги, на безвозмездные труды, и *тотъ*, уступившій вѣшнимъ обстоятельствамъ, безъ надеждъ, ищущій чего-нибудь для развлечения. Когда Григорій принесъ портретъ съ почты, Бельтовъ разрѣзалъ поскорѣе клеенку и съ большимъ нетерпѣніемъ вынулъ его... Онъ перебрѣлся въ лицѣ, взглянувъ на черты, бывшія нѣкогда его чертами, онъ чуть не отвернулся отъ нихъ. Тутъ было представлено все, что бродило у него въ головѣ. Какъ свѣжо, свѣтло было отроческое лицо это, шея раскрыта, воротникъ отъ рубашки лежалъ на плечахъ, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробѣгала по устамъ и взору, той неопредѣленной задумчивости, которая предупреждаетъ будущую мощную мысль; какъ много выйдетъ изъ этого юноши, сказалъ бы каждый теоретикъ, такъ говорилъ мсье Жозефъ, а изъ него вышелъ праздный туристъ, который, какъ за послѣдній якорь, схватился за мѣсто по дворянскимъ выборамъ въ NN. Тогда, думалъ Бельтовъ, глядя съ упрекомъ на портретъ, тогда мнѣ было 14 лѣтъ, теперь мнѣ за тридцать—и что впереди? Одна сѣрая мгла, скучное, однообразное продолженіе впредь; начать новую жизнь поздно, продолжать

старую невозможно. Сколько начинаній, сколько встрѣчь... и все окончилось праздностью и одиночеством...

Нить горькихъ мыслей прервалъ Семень Ивановичъ; онѣ продолжались въ формѣ разговора.

— «Что состояніе здоровья, Владиміръ Петровичъ?»

— А! здравствуйте, Семень Ивановичъ; очень радъ васъ видѣть; такая тоска, такая скука, что мочи нѣтъ. Я, право, нездоровъ, во мнѣ что-то въ родѣ лихорадки, очень небольшой, но безпрерывно поддерживающей меня въ какомъ-то напряженномъ состояніи.

— «Вы ведете неправильный образъ жизни», возразилъ Круповъ, заворачивая длинный рукавъ на скюртукъ, чтобъ основательно пощупать пульсъ.—«Пульсъ не хорошъ. Вы живете вдвое скорѣе, чѣмъ надобно, не жалѣете ни колесъ, ни смазки, долго такъ ѣхать нельзя».

— Я самъ чувствую, что морально и физически разрушаюсь. ✓

— «Раненько. Нынѣшнее поколѣніе быстро живетъ; надобно бы вамъ, впрочемъ, серьезно позаняться здоровьемъ, взять свои мѣры».

— Какія тутъ мѣры?

— «Очень много. Ложитесь во время спать, вставайте раньше, меньше чтенія, меньше думать, больше гулять, разгоняйте печальныя мысли, вина пить не много, крѣпкій кофе совсѣмъ бросить».

— Вамъ кажется все это легко, особенно разгонять мысли... И на долго ли вы меня обрекаете такой діэтѣ?

— «На всю жизнь».

— Покорнѣйшій слуга, это и скучно и противно, да и хлопотать не изъ чего.

— «Какъ не изъ чего? мнѣ кажется, что стоитъ принести кой-какую жертву для того, чтобъ достигнуть глубокой старости, для того, чтобъ долѣе прожить».

— Ну, а для чего же долго жить?

— «Странный вопросъ! Ну, да какъ для чего, я не знаю, для чего; ну, жить, все же лучше жить, нежели умереть; всякое животное имѣетъ любовь къ жизни».

— Если жъ найдется такое, которое не имѣетъ, замѣтилъ, горько улыбаясь, Бельтовъ. Байронъ очень справедливо сказалъ, что порядочному человѣку нельзя жить больше тридцати пяти лѣтъ. Да и зачѣмъ долгая жизнь? Это должно быть очень скучно. ✓

— «Вы все изъ проклятыхъ нѣмецкихъ философовъ читались такихъ софизмовъ».

— Въ этомъ случаѣ позвольте мнѣ защитить нѣмцевъ; я человѣкъ русскій и жизнью обучился думать, а не думую жить. Благо мы дошли съ вами до этого вопроса; скажите добросовѣстно, подумавши, что будетъ пользы, если я проживу не десять, а

пятьдесятъ лѣтъ, кому нужна моя жизнь, кромѣ моей матери, которая сама очень ненадежна? По слабости ли силъ, по недостатку ли характера, но дѣло въ томъ, что я бесполезный человѣкъ, и, убѣдившись въ этомъ, я полагаю, что я одинъ хозяинъ надъ моею жизнью; я еще не настолько разлюбилъ жизнь, чтобъ застрѣлиться, и ужъ не люблю ее настолько, чтобъ жить на діэтѣ, водить себя на помочахъ, устранять сильныя ощущенія и вкусныя блюда, для того, чтобъ продлить на долгое время эту жизнь больничнаго пациента.

— «Вы предпочитаете хроническое самоубійство, возразилъ Круповъ, начинавшій уже сердиться:—понимаю, вамъ жизнь надоѣла отъ праздности, — ничего не дѣлать должно быть очень скучно; вы, какъ всѣ богатые люди, не привыкли къ труду. Дай вамъ судьба опредѣленное занятіе, да отними она у васъ Бѣлое Поле, вы бы стали работать, положимъ, для себя, изъ хлѣба, а польза-то вышла бы для другихъ; такъ-то все на свѣтѣ и дѣлается».

— Помилуйте, Семень Ивановичъ, неужели вы думаете, что кромѣ голода нѣтъ довольно сильнаго побужденія на трудъ? Да просто желаніе обнаружиться, высказаться заставить трудиться. Я изъ одного хлѣба, напротивъ, не сталъ бы работать: работать цѣлую жизнь, чтобъ не умереть съ голоду, и не умирать съ голоду, чтобъ работать,—умное и полезное препровожденіе времени

— «Что же вы, съ вашей сытостью и желаніемъ высказаться, много надѣлали?» спросилъ совсѣмъ уже разсерженный старикъ.

— Тутъ-то и запятая. Ужъ, конечно, я не по охотѣ избралъ жизнь праздную и утомительную для меня. Ученымъ специалистомъ я не родился, такъ, какъ не родился музыкантомъ; а остальные дороги, кажется, для меня не родились...

— «То есть, вы себя этимъ утѣшаете: земля вамъ коротка, мало мѣста, воли-то твердой нѣтъ, настойчивости нѣтъ, gutta cavat...»

— *Lapidem*, окончилъ Бельтовъ. Вы человѣкъ положительный, а туда же толкуете о волѣ.

— «Красно-то вы говорите, красно, замѣтилъ Круповъ,—а все мнѣ сдастся, что хорошій работникъ безъ работы не останется».

— Да что же вы думаете, эти лионскіе работники, которые умираютъ голодной смертью, съ готовностью трудиться, за недостаткомъ работы, не умѣютъ ничего дѣлать, или изъ ума шутятъ? Охъ, Семень Ивановичъ! не торопитесь осуждать и не торопитесь прописывать душевное спокойствіе и конскій щавель: первое невозможно, а второе не можетъ помочь. Мало болѣзней хуже сознанія бесполезныхъ силъ. Какая тутъ діета! Вспомните Наполеоновъ отвѣтъ доктору Антомарки: «Это не ракъ, взошедшій внутрь, а Ватерлоо, взошедшее внутрь». У cadaго есть свое *Waterloo centre!* Пойдемте-ка, Семень Ивановичъ, къ Круциферскимъ: у

нихъ я раза два вылечивался отъ хандры: подобныя средства помогаютъ лучше всѣхъ декоктовъ.

— «Вотъ и жди отъ васъ спасибо да признанія! А кто вамъ прописалъ ихъ домъ?»

— Виновать, виновать, забыть! О, вы величайшій изъ сыновъ Гипократа, Семень Ивановичъ! отвѣчалъ Бельтовъ, накладывая сигары и добродушно улыбаясь доктору.

Да что же, наконецъ, спросимъ мы вмѣстѣ съ Марьей Степановной, что влекло Бельтова въ скромный домъ учителя? Нашелъ ли онъ друга въ немъ, человѣка симпатичнаго, или, въ самомъ дѣлѣ, не влюбленъ ли онъ въ его жену? Ему самому отвѣчать на эти вопросы, при всемъ желаніи сказать истину, было бы очень трудно. Его многое сблизило съ этимъ домомъ. Выборы кончились съ своими обѣдами и балами. Бельтова, какъ разумѣется, ни во что не избрали, и онъ оставался въ NN только для окончанія какого-то процесса въ гражданской палатѣ. Предоставляемъ вамъ оцѣнить всю величину скуки для этого человѣка въ NN, если-бъ онъ не былъ знакомъ съ Круциферскими. Тихая, безмятежная жизнь Круциферскихъ представляла нѣчто новое и привлекательное для Бельтова, онъ провелъ всю жизнь въ общихъ вопросахъ, въ наукѣ и теоріи, въ чужихъ городахъ, гдѣ такъ трудно сблизаться съ домашнею жизнью, и въ Петербургѣ, гдѣ ея немного. Онъ домашнее довольство считалъ вымысломъ или достояніемъ людей пошлыхъ и мелкихъ. Круциферскіе не были таковы. Характеръ Круциферскаго опредѣлить трудно: натура нѣжная и любящая до высшей степени, натура женская и поддающаяся, онъ имѣлъ столько простосердечія и столько чистоты, что его нельзя было не полюбить, хотя чистота его и сбивалась на неопытность, на невѣдніе ребенка. Трудно было бы сыскать человѣка, болѣе не знающаго практическую жизнь; онъ все, что зналъ, зналъ изъ книги, и оттого зналъ невѣрно, романтически, риторически; онъ свято вѣрилъ въ дѣйствительность міра, воссѣтаго Жуковскимъ, и въ идеалы, витающіе надъ землею. Изъ затворничества студентской жизни, въ продолженіе которой онъ выходилъ въ міръ страстей и столкновеній только въ райкѣ московскаго театра, онъ вышелъ въ жизнь тихо, въ сѣренькій осенній день; его встрѣтила жизнь подавляющей нуждой, все казалось ему непріязненнымъ, чуждымъ, и молодой кандидатъ пріучался болѣе и болѣе находить всю отраду и все успокоеніе въ мірѣ мечтаній, въ который онъ убѣгалъ отъ людей и отъ обстоятельствъ. Та же внѣшняя нужда загнала его въ домъ Негрова; эта встрѣча съ дѣйствительностью еще болѣе сосредоточила его. Кроткій отъ природы, онъ и не думалъ вступить въ борьбу съ дѣйствительностью, онъ отступалъ отъ ея напора, онъ просилъ только оста-

вить его въ покоѣ; но явилась любовь, такъ, какъ она является въ этихъ организаціяхъ не бѣшено, не безумно, но на вѣки вѣковъ, но съ такимъ отданіемъ себя, что ужъ въ груди не остается ничего не отданнаго. Нервная раздражительность поддерживала его непрерывно въ какомъ-то восторженно-меланхолическомъ состояніи; онъ всегда готовъ былъ плакать, грустить,—онъ любилъ въ тихіе вечера долго, долго смотрѣть на небо, и кто знаетъ, какія видѣнія чудились ему въ этой тишинѣ; онъ часто жаль руку своей женѣ и смотрѣлъ на нее съ невыразимымъ восторгомъ; но къ этому восторгу примѣшивалась такая глубокая грусть, что Любовь Александровна сама не могла удержаться отъ слезъ. Во всѣхъ его дѣйствіяхъ была та же кротость, что и на лицѣ, то же спокойствіе, та же искренность и та же робкая задумчивость. Нужно ли говорить, какъ такой человѣкъ долженъ былъ любить свою жену? Любовь его росла непрерывно, тѣмъ болѣе, что ничто не развлекало его; онъ не могъ двухъ часовъ провести, не видавши темно-голубыхъ глазъ своей жены, онъ трепеталъ, когда она выходила со двора и не возвращалась въ назначенный часъ; словомъ, ясно было видно, что всѣ корни его бытія были въ ней. Къ этому много способствовалъ міръ, въ который онъ попалъ.

Учителя NN гимназіи были, какъ это бывало въ старину въ нашихъ школахъ, люди большею частію облѣнившіеся, огрубѣвшіе въ провинціальной жизни, отданные тяжелымъ, матеріальнымъ привычкамъ и усыпившіе всякое желаніе знать что-нибудь. Не думаемъ, чтобъ Круциферскій имѣлъ призваніе вести далѣе науку, отдаться ея вопросамъ вполне и сдѣлать изъ нихъ свои жизненные вопросы, но онъ имъ сочувствовалъ, ему было многое доступно... кромѣ средствъ. Самому выписывать книги нечего было и думать, гимназія пріобрѣтала, но не такія, которыя могли бы поддержать интересъ въ молодомъ ученомъ. Провинціальная жизнь вообще гибельна для тѣхъ, которые хотятъ сохранить не одно недвижимое имѣніе, и для тѣхъ, которые не хотятъ дѣлать неудободвижимымъ свое тѣло; при совершенномъ отсутствіи всякаго теоретическаго интереса, кто не заснетъ, если не сладкимъ, то долгимъ сномъ въ этой обители душевной дремоты?.. Человѣку необходимы внѣшнія раздраженія, ему нужна газета, которая бы всякой день приводила его въ соприкосновеніе со всѣмъ міромъ, ему нуженъ журналъ, который бы передавалъ каждое движеніе современной мысли, ему нужна бесѣда, нуженъ театръ;—разумѣется, отъ всего этого можно отвыкнуть, покажется, будто все это и не нужно, потомъ сдѣлается въ самомъ дѣлѣ совершенно ненужно, т. е. въ то время, какъ самъ этотъ человѣкъ уже сдѣлался совершенно не нуженъ. Круциферскій далеко не принадлежалъ къ тѣмъ сильнымъ и настойчивымъ лю-

дямъ, которые создаютъ около себя то, чего нѣтъ; отсутствіе всякаго человѣческаго интереса около него дѣйствовало на него болѣе отрицательно, нежели положительно, между прочимъ потому, что это было въ лучшую эпоху его жизни, т. е. тотчасъ послѣ брака. А потомъ онъ привыкъ, остался при своихъ мечтахъ, при нѣсколькихъ широкихъ мысляхъ, которымъ ужъ прошло нѣскольکو лѣтъ, при общей любви къ наукѣ, при вопросахъ, давно рѣшенныхъ. Удовлетворенія болѣе дѣйствительнымъ потребностямъ души онъ искалъ въ любви, и въ сильной натурѣ своей жены онъ находилъ все. Споры съ Круповымъ, продолжавшіеся года четыре, получили тотъ же характеръ провинціальной стоячести: они въ эти годы переговаривали ежедневно одно и то же. Круциферскій являлся на защиту спиритуализма, и старикъ Круповъ грубо и съ негодованіемъ билъ его своимъ медицинскимъ матеріализмомъ. Этимъ то тихимъ русломъ журчала жизнь нашихъ пріятелей, когда вдругъ взошло въ нее лицо совсѣмъ иного закала, лицо чрезвычайно дѣятельное внутри, раскрытое всѣмъ современнымъ вопросамъ, энциклопедическое, одаренное смѣлымъ и рѣзкимъ мышленіемъ. Круциферскій невольно покорился энергической сущности новаго пріятеля; зато Бельтовъ, съ своей стороны, далеко не остался изъять отъ вліянія жены Круциферскаго. Сильной натурѣ, не занятой ничѣмъ особенно, почти невозможно оборониться отъ вліянія энергической женщины; надобно быть или очень ограниченнымъ, или очень ячнымъ, или совершенно безхарактернымъ, чтобъ туо отстоять свою независимость передъ нравственной властью, являющейся въ прекрасномъ образѣ юной женщины,—правда, что пылкій отъ природы, увлекающійся отъ непривычки къ самообузданію, Бельтовъ давалъ легкій призь надъ собою всякой кокеткѣ, всякому хорошенькому лицу. Онъ много разъ былъ до безумія влюбленъ то въ какую-нибудь примадону, то въ танцовщицу, то въ двусмысленную красавицу, уединившуюся у минеральныхъ водъ, то въ какую-нибудь краснощекую и бѣлокурую нѣмку съ притязаніемъ на мечтательность, готовую всегда любить по Шиллеру и поклясться при пѣніи соловья въ вѣчной любви здѣсь и тамъ, то въ огненную француженку, вѣрную наслажденію и разгулу безъ лицепріятія... Но такого вліянія Бельтовъ не испыталъ.

Сначала знакомства, Бельтовъ вздумалъ пококетничать съ Круциферской; онъ приобрѣлъ на это богатые средства, его трудно было запугать аристократической обстановкой или ложной строгостью; увѣренный въ себѣ, потому что имѣлъ дѣло съ очень не трудными красотоми, ловкій и опасно дерзкій на языкъ, онъ имѣлъ все, чтобъ оглушить совѣсть провинціалки; но догадливый Бельтовъ тотчасъ оставилъ пошлое ухаживаніе, понявъ, что на

такого звѣря тенеты слишкомъ слабы. Женщина, явившаяся передъ нимъ въ этой глуши, была такъ проста, такъ наивно естественна и такъ полна силы и ума, что у Бельтова прошла очень скоро охота интриговать ее. Трудно было на нее сдѣлать нападеніе, потому что она вовсе не оборонялась, не становилась en garde: другое отношеніе, болѣе человѣческое, быстро сблизило Круциферскую съ Бельтовымъ. Круциферская поняла его грусть, поняла ту острую закваску, которая бродила въ немъ и мучила его, она поняла и шире и лучше въ тысячу разъ, нежели Круповъ, наприимѣръ; понявши, она не могла болѣе смотрѣть на него безъ участія, безъ симпатіи, а глядя на него такъ, она его болѣе и болѣе узнавала, съ каждымъ днемъ раскрывались для нея новыя и новыя стороны этого человѣка, обреченнаго уморить въ себѣ страшное богатство силъ и страшную ширь пониманія. Бельтовъ тотчасъ оцѣнилъ разницу добросовѣстно-правоучительнаго участія Крупова, романтическаго сочувствія, готоваго раздѣлить слезу, Дмитрія Яковлевича, съ тѣмъ вѣрнымъ тактомъ, который онъ видѣлъ въ Круциферской. Много разъ, когда они четверо сидѣли въ комнатѣ, Бельтову случалось говорить внутреннѣйшія убѣжденія свои: онъ ихъ, по привычкѣ утаивать, по склонности, почти всегда приправлялъ ироніей или бросалъ ихъ вскользь; его слушатели по большей части не отзывались, но когда онъ бросалъ тоскливый взглядъ на Круциферскую, легкая улыбка пробѣгала у него по лицу,—онъ видѣлъ, что понять; они незамѣтно становились, досадно сравнить, а нечего дѣлать, въ то положеніе, въ которомъ находились нѣкогда Любонька и Дмитрій Яковлевичъ въ семьѣ Негрова, гдѣ прежде, нежели они другъ другу успѣли сказать два слова, понимали, что понимаютъ другъ друга. Этого рода симпатій нечего ни развивать, ни подавлять; онѣ просто выражаютъ фактъ братственнаго развитія въ двухъ лицахъ, гдѣ бы и какъ бы ни встрѣтились эти лица; если они узнаютъ другъ друга, если они поймутъ родство свое, то каждый пожертвуетъ, если обстоятельства потребуютъ, всеми низшими степенями родства въ пользу высшаго.

— Отгадайте, кто это? сказала Бельтовъ, подавая портретъ свой Любови Александровнѣ.

— Да это вы! почти вскрикнула Любовь Александровна и вся вспыхнула въ лицѣ:—ваши глаза, вашъ лобъ... Какъ вы были хороши юношей! Какое беззаботное и смѣлое лицо...

— Много надобно хитрости, чтобъ рѣшиться самому для сличенія принести женщинѣ свой портретъ, дѣланный болѣе, нежели за пятнадцать лѣтъ; но мнѣ смертельно хотѣлось его показать вамъ, чтобъ вы сами увидѣли,

Таковъ ли былъ я, расширяая?

Я, право, удивляюсь, какъ вы узнали: ни одной черты не осталось.

— Узнать можно, отвѣчала Круциферская, не сводя глазъ съ портрета.—Какъ это вы его давно не принесли!

— Я сегодня только получилъ его; мой добрый Жозефъ умеръ съ мѣсяцъ тому назадъ; его племянникъ прислалъ мнѣ этотъ портретъ съ письмомъ.

— Ахъ, бѣдный Жозефъ!—Я считаю его въ числѣ близкихъ знакомыхъ, по вашимъ рассказамъ.

— Старикъ умеръ среди кроткихъ занятій своихъ, и вы, которые не знали его въ глаза, и толпа дѣтей, которыхъ онъ училъ, и я съ матерью—помянемъ его съ любовью и горестью. Смерть его многимъ будетъ тяжелый ударъ. Въ этомъ отношеніи я счастливѣе его: умри я, послѣ кончины моей матери, и я увѣренъ, что никому не доставлю горькой минуты, потому что до меня нѣтъ никому дѣла. Говоря это очень искренно, Бельтовъ немного и пококетничалъ: ему хотѣлось вызвать Любовь Александровну на какой-нибудь теплый отвѣтъ.

— Вы этого не думаете сами, отвѣчала Круциферская, пристально взглянувъ на Бельтова; онъ опустилъ глаза.

— Ну, вотъ ужъ послѣ смерти мнѣ совершенно все равно, кто будетъ плакать и кто хохотать, замѣтилъ Круповъ.

— Я съ вами не согласенъ, присовокупилъ Круциферскій:—я очень понимаю весь ужасъ смерти, когда не только у постели, но и въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ любящаго человѣка, и чужая рука холодно броситъ горсть земли и спокойно положить лопатку, чтобъ взять шляпу и идти домой. Любонька, когда я умру, приходи почаще ко мнѣ на могилу, мнѣ будетъ легко...

— Да, очень легко, это правда, съ досадой ввернулъ Круповъ: такъ что и на химическихъ вѣсахъ не свѣшаешь...

— И будто у васъ нѣтъ другихъ друзей, кромѣ Жозефа? спросила Круциферская,—можетъ ли это быть?

— Было множество, самыхъ пламенныхъ, самыхъ преданныхъ, мало ли что было! У меня лицо было вотъ какое, а теперь совсѣмъ другое. Да, впрочемъ, друзей не нужно: дружба милая, юношеская болѣзнь; бѣда тому, кто не умѣетъ самъ себя довлѣть.

— Однако же Жозефъ, сколько я знаю, остался до конца жизни близокъ съ вами.

— Потому что мы жили далеко другъ отъ друга, мы съ нимъ были дружны, потому что разъ видѣлись въ пятнадцать лѣтъ. И при этомъ мелькнувшемъ свиданіи, я заслонилъ воспоминаніями замѣченную мною разность нашу.

— Такъ вы видѣли его послѣ того, какъ онъ отправился въ Швецію?

— Одинъ разъ.

— Гдѣ?

— Въ мѣстахъ, гдѣ онъ кончилъ жизнь.

— И давно?

— Съ годъ тому назадъ.

— Вотъ, вмѣсто вашихъ мрачныхъ словъ, лучше расскажите намъ ваше свиданіе съ старикомъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ; мнѣ хочется имъ заниматься, мнѣ весело говорить объ немъ. Дѣло было вотъ какъ. Въ началѣ прошлаго года я пріѣхалъ изъ южной Франціи въ Женеву. Зачѣмъ? Трудно объяснить. Мнѣ не хотѣлось ѣхать въ Парижъ, потому что я тамъ ничего не успѣвалъ дѣлать и потому что я тамъ постоянно страдалъ завистью: все кругомъ заняты, хлопочуть изъ дѣла, изъ вздора, а я читаю въ кофейныхъ газеты и хожу благосклоннымъ, но постороннимъ зрителемъ. Въ Женевѣ я прежде не былъ; городъ тихій, въ сторонѣ, а потому я и избралъ ее зимней квартирой; я собирался тамъ заняться политической экономіей и на досугѣ обдумать, что дѣлать на будущее лѣто и куда ѣхать. Само собой разумѣется, что на другой или на третій день я уже справлялся у лонлакеевъ, у банкировъ, вездѣ, не знаетъ ли, не слыхалъ ли кто о г. Жозефѣ. Никто не имѣлъ о немъ понятія; одинъ старикъ часовщикъ говорилъ, что онъ точно зналъ Жозефа, который учился съ нимъ вмѣстѣ и ушелъ въ Петербургъ, но что послѣ этого онъ не видалъ его.

Раздосадованный, я бросилъ мои поиски, занятія не клеились, дѣло было ранней весною, погода стояла ясная и прохладная: скитальческая жизнь моя оставила во мнѣ страсть къ бродяжничеству: я рѣшился сдѣлать нѣсколько маленькихъ путешествій пѣшкомъ по окрестностямъ Женевы. Дорога имѣетъ на меня страшное вліяніе: я оживаю на дорогѣ, особенно пѣшкомъ или верхомъ. Экипажъ стучитъ, развлекаетъ, присутствіе возчика разрушаетъ одиночество; но одинъ, верхомъ или съ палкой въ рукѣ, идешь, идешь; дорога ниткой вьется передъ глазами, куда-то пропадая, и никого вокругъ, кромѣ деревьевъ, да ручья, да птицы, которая спорхнетъ и пересядетъ... удивительно хорошо! Иду я разъ такимъ образомъ въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Женевы, долго шелъ я одинъ... вдругъ съ боковой дороги вышли на большую челоѣкъ двадцать крестьянъ: у нихъ былъ чрезвычайно жаркій разговоръ, съ сильной мимикой: они такъ близко шли отъ меня и такъ мало обращали вниманія на посторонняго, что я могъ очень хорошо слышать ихъ разговоръ: дѣло шло о какихъ-то кантональных выборахъ, крестьяне раздѣлялись на двѣ партіи, — завтра надобно было подать окончательные голоса: видно было, что вопросъ, ихъ занимавшій, поглощалъ ихъ совершенно: они

махали руками, бросали вверх шапки. Я сѣлъ подъ дерево, ва-тага избирателей прошла, и долго еще доносились до меня отрывки демагогическихъ рѣчей и консерваторскихъ возраженій. Меня всегда терзаетъ зависть, когда я вижу людей, занятыхъ чѣмъ-нибудь, имѣющихъ дѣло, которое ихъ поглощаетъ... А потому я уже былъ совершенно не въ духѣ, когда появился на дорогѣ новый товарищъ, стройный юноша, въ толстой блузѣ, въ сѣрой шляпѣ съ огромными полями, съ котомкой за плечами и съ трубкой въ зубахъ; онъ сѣлъ подъ тѣнь того же дерева; садясь, онъ дотронулся до края шляпы; когда я ему откланялся, онъ снялъ свою шляпу совсѣмъ и сталъ обтирать потъ съ лица и съ прекрасныхъ каштановыхъ волосъ. Я улыбнулся, понявъ осторожность моего сосѣда: онъ потому не снялъ прежде шляпы, чтобъ я не подумалъ, что это для меня. Посидѣвши, молодой человекъ обратился ко мнѣ и спросилъ:

— «Куда идетъ ваша дорога?»

— Мнѣ трудное отвѣчать вамъ, нежели вы думаете; я просто иду, куда глаза глядятъ.

— «Вы, вѣрно, иностранецъ?»

— Я русский.

— «У! изъ какой дали... чай, у васъ теперь страшные морозы?..» Извѣстное дѣло, что ни одинъ иностранецъ не можетъ говорить о Россіи, не упомянувъ о морозѣ и о скорой почтовой ѣздѣ, несмотря на то, что пора было убѣдиться, что ни особенно страшныхъ морозовъ нѣтъ, ни сказочной ѣзды.

— Да, теперь въ Петербургѣ зима.

— «А какъ вамъ нравится нашъ климатъ?» спросилъ швейцарецъ съ гордостью.

— Хорошъ, отвѣчалъ я.—Вы здѣшній уроженецъ?

— «Да, я родился не далеко отсюда и иду теперь изъ Жене-вы на выборы въ нашемъ мѣстечкѣ; я еще не имѣю права подать голосъ въ собраніи, но зато у меня остается другой голосъ, который не пойдетъ въ счетъ, но который, можетъ быть, найдетъ слушателей. Если вамъ все равно, пойдите со мной; домъ моей матери къ вашимъ услугамъ, съ сыромъ и виномъ; а завтра посмотрите, какъ наша сторона одержитъ верхъ надъ стариками».

— Ого, да это радикалъ! подумалъ я, снова окинувъ глазами моего сосѣда.

— Пойдемте къ вамъ, сказалъ я ему, подавая руку:—мнѣ все равно.

— «Вамъ, чай, любопытно посмотрѣть на выборы; вѣдь, у васъ дома выборовъ нѣтъ?»

— Кто это вамъ сказалъ? отвѣчалъ я,—у васъ въ школѣ, вѣрно, былъ прескверный учитель географіи; очень много, напротивъ:

и дворянскіе, и купеческіе, и мѣщанскіе, и сельскіе, даже въ помѣщичьихъ деревняхъ начальникъ называется выборнымъ.

Юноша покраснѣлъ.

— «Я учился географіи давно, сказалъ онъ,—и не очень долго. А учитель нашъ, несмотря на все уваженіе, которое имѣю къ вамъ, отличнѣйшій человѣкъ; онъ самъ былъ въ Россіи, и, если хотите, я познакомлю васъ съ нимъ; онъ такой философъ, могъ бы быть Богъ знаетъ чѣмъ, и не хочетъ, а хочетъ быть нашимъ учителемъ».

— Очень благодаренъ, отвѣчалъ я, не имѣя ни малѣйшаго желанія увидѣться съ какимъ-нибудь полевымъ педантомъ.

— «А онъ точно былъ въ вашей сторонѣ».

— Гдѣ же?

— «Въ Петербургѣ и въ Москвѣ».

— А какъ его фамилія?

— «Мы его зовемъ рѣе Joseph».

— Рѣе Joseph! повторилъ я, не вѣря ушамъ своимъ.

— «Ну, да что-жъ тутъ удивительнаго?» возразилъ мой товарищъ.

Довольно сказать, послѣ двухъ-трехъ вопросовъ я совершенно убѣдился, что рѣе Joseph — именно мой Жозефъ. Мы удвоили шаги. Молодой человѣкъ не могъ довольно нарадоваться, что доставилъ мнѣ такое неожиданное удовольствіе, и еще болѣе тому, что онъ доставитъ его и Жозефу, котораго любилъ и уважалъ безмѣрно. Я спрашивалъ его объ образѣ жизни старика и изъ всѣхъ подробностей увидѣлъ, что онъ остался тотъ же простой, благородный, восторженный, юный; я понялъ изъ разсказа, что я обогналъ Жозефа въ совершеннѣйшии, что я старѣе его. Прошло пять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ принялъ на себя должность старшаго учителя и завѣдывателя школы; онъ дѣлалъ втрое больше, нежели требовали его обязанности, имѣлъ небольшую бібліотеку, открытую для всего селенія, имѣлъ садъ, въ которомъ кошался въ свободное время съ дѣтьми. Когда мы остановились передъ чистенькимъ домикомъ школьнаго учителя, ярко освѣщеннымъ заходящими лучами солнца и удвоеннымъ отраженіемъ высокой горы, къ которой домикъ прислонялся,—я послалъ впередъ моего товарища, чтобъ не слишкомъ взволновать старика печальностью, и велѣлъ сказать, что одинъ русскій желаетъ его видѣть. Рѣе Joseph былъ въ саду и отдыхалъ на скамеечкѣ, опираясь на заступъ. Онъ встрепенулся при словѣ Россія и поспѣшными шагами шелъ мнѣ на встрѣчу; я бросился въ его объятія. Первое, что поразило меня, это скорбительная сила разрушенія, лежащая во времени: десяти лѣтъ не прошло съ тѣхъ поръ, какъ я его не видалъ,—и какая перемѣна! Онъ потерялъ

почти всё волосы, лицо его осунулось, походка не была такъ тверда и онъ уже ходилъ сгорбившись, одни глаза были такъ же юны, какъ и въ прежнее время. Не могу вамъ выразить радости, съ которой онъ встрѣтилъ меня: старикъ плакалъ, смѣялся, дѣлалъ наскоро бездну вопросовъ, спрашивалъ, жива ли моя ньюфаундленская собака, вспоминалъ шалости; привелъ меня, говоря, въ бесѣдку, усадилъ отдыхать и отправилъ Шарля, т. е. моего спутника, принести изъ погреба кружку лучшаго вина. Признаюсь, что я врядъ когда-либо пилъ съ такимъ наслажденіемъ отличнѣйшее клико, съ какимъ я поглощалъ стаканъ за стаканомъ кисленькое винцо Жозефа. Я былъ одушевленъ, юнъ, счастливъ; но старикъ вскорѣ окончилъ мое превосходное расположеніе духа вопросомъ:

— Что же ты дѣлалъ все это время, Вольдемаръ?

Я рассказалъ ему всю исторію моихъ неудачъ и заключилъ тѣмъ, что, конечно, жизнь моя могла бы лучше разыгратъся, но я не раскаиваюсь; если я потерялъ юношескія вѣрованія, зато приобрѣлъ взглядъ трезвый, можетъ, безотраднѣй, грустнѣй, но зато истиннѣй.

— Вольдемаръ, возразилъ старикъ, бойся предаваться слишкомъ трезвому взгляду,—какъ бы онъ не охладилъ твоего сердца, не потушилъ бы въ немъ любви! Многаго я не предвидѣлъ въ твоей жизни; тяжело тебѣ было, но не должно же тотчасъ класть оружіе; достоинство жизни человѣческой въ борьбѣ... награду надобно выстрадать.

Я ужъ тогда смотрѣлъ по-проще на дѣла житейскія, однако, слова старика сильно подѣйствовали на меня.

— Скажите-ка, père Joseph, лучше что-нибудь о себѣ, какъ вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, по боку ее. Я точно герой нашихъ народныхъ сказокъ, которыя я, бывало, переводилъ вамъ, ходилъ по всѣмъ распутьямъ и кричалъ: «есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?» Но живъ человѣкъ не откликнулся... мое несчастіе!.. а одинъ въ полѣ не ратникъ... Я и ушелъ съ поля и пришелъ къ вамъ въ гости.

— Рано, рано сдася, замѣтилъ старикъ, качая головой.—Что я могу рассказать о себѣ? Моя жизнь идетъ тихонько. Оставивши вашъ домъ, я жилъ въ Швеціи, потомъ уѣхалъ съ однимъ англичаниномъ въ Лондонъ, года два училъ его дѣтей; но мой образъ мыслей такъ расходился съ мнѣніями почтеннаго лорда, что я оставилъ его. Мнѣ захотѣлось домой, и я прямо оттуда пріѣхалъ въ Женеву; въ Женевѣ я не нашелъ никого, кромѣ мальчика, сестрина сына. Думалъ, думалъ, что начать подъ конецъ жизни,— а тутъ открылось мѣсто учителя въ здѣшней школѣ, я принялъ его и чрезвычайно доволенъ моими занятіями. Нельзя, да и не

нужно всё́мъ выступать на первый планъ; дѣлай каждый свое въ своемъ кругу,—дѣло вездѣ найдется, а послѣ работы спокойно заснешь, когда придетъ время послѣдняго отдыха. Наша жажда видныхъ и громкихъ общественныхъ положеній показываетъ великое несовершеннолѣтіе наше, отчасти неуваженіе къ самому себѣ, которыя приводятъ человѣка въ зависимость отъ внѣшней обстановки. Повѣрь, Вольдемаръ, что это такъ.

Въ этомъ тонѣ разговоръ нашъ продолжался съ часъ.

Тронутый свиданьемъ, я былъ чрезвычайно воспріимчивъ, чрезвычайно хорошо настроенъ; мнѣ были доступны всё юныя, полузабытыя мечты. Я смотрѣлъ на лицо Жозефа, совершенно спокойное, безмятежное, и мнѣ стало тяжело за себя, меня давило мое совершеннолѣтіе, и какъ онъ былъ хорошъ! Старость имѣетъ свою красоту, разливающую не страсти, не порывы, но умирающую, успокоивающую; остатки сѣдыхъ волосъ его колыхались отъ вечерняго вѣтра, глаза, одушевленные встрѣчею, горѣли кротко; юно, счастливо я смотрѣлъ на него и вспоминалъ католическихъ монаховъ первыхъ вѣковъ, такъ, какъ ихъ представляли маэстры итальянской школы. И тѣ были юны, думалъ я, съ сѣдинами своими и онъ юнъ, а я старъ; зачѣмъ же я узналъ такъ много, чего они не знали? Жозефъ взялъ меня за руку, вставая, чтобъ идти въ комнату, и съ глубокой любовью повторилъ: «Пора домой, Вольдемаръ, пора домой!» Я остался у него ночевать. Всю ночь меня мучили тысячи проектовъ и плановъ. Примѣръ Жозефа былъ слишкомъ силенъ, онъ безъ средствъ, старикъ, создалъ себѣ дѣятельность, онъ былъ покоенъ въ ней, а я, *rag dépit*, оставилъ отечество, шляюсь чужимъ, ненужнымъ по разнымъ странамъ и ничего не дѣлаю... На другое утро я объявилъ старику, что отправляюсь прямо въ NN служить по выборамъ. Старикъ расплакался и, положивши руку свою мнѣ на голову, сказалъ: «Ступай, другъ мой, ступай. Ты увидишь, человѣкъ, прямо и благородно идущій на дѣло, много сдѣлаетъ, и—прибавилъ старикъ дрожащимъ голосомъ—да будетъ спокойствіе на душѣ твоей». Мы разстались; я отправился въ NN, а онъ на тотъ свѣтъ. Вотъ и все. Это было послѣднее юношеское увлеченіе; съ тѣхъ поръ я покончилъ мое воспитаніе.

Любовь Александровна смотрѣла на него съ глубокимъ участіемъ; въ его глазахъ, на его лицѣ дѣйствительно выражалась тягостная печаль; грусть его особенно поражала, потому что она не была въ его характерѣ, какъ, напримѣръ, въ характерѣ Круциферскаго; внимательный человѣкъ понималъ, что внѣшнее, что обстоятельства, долго сгнетая эту свѣтлую натуру, насильственно втѣснили ей мрачные элементы, и что они развѣдаютъ ее по несредности.

— «Зачѣмъ вы пріѣхали сюда?» спросила тихимъ голосомъ Круциферская.

— Благодарю васъ, душевно благодарю за этотъ вопросъ, отвѣтилъ Бельтовъ.

«Конечно, странно, замѣтилъ Дмитрій Яковлевичъ,—просто непонятно, зачѣмъ людямъ даются такія силы и стремленія, которыхъ некуда употребить. Всякій звѣрь ловко приспособленъ природою къ извѣстной формѣ жизни. А человѣкъ... не ошибка-ли тутъ какая-нибудь? Просто, сердцу и уму противно согласиться въ возможности того, чтобъ прекрасныя силы и стремленія давались людямъ для того, чтобъ они развѣдали ихъ собственную грудь. На что же это?»

— Вы совершенно правы, съ жаромъ возразилъ Бельтовъ:— и съ этой точки вы не выпутаетесь изъ вопроса. Дѣло въ томъ, что силы сами по себѣ непрерывно развиваются, готовятся, а потребности на нихъ опредѣляются исторіей. Вы вѣрно знаете, что въ Москвѣ всякое утро выходитъ толпа работниковъ, поденщиковъ и наемныхъ людей на вольное мѣсто; однихъ берутъ, и они идутъ работать, другіе, долго ждавши, съ понурыми головами плетутся домой, а всего чаще въ кабакъ. Точно такъ и во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ: кандидатовъ на все довольно—занадобится исторіи, она беретъ ихъ; нѣтъ — ихъ дѣло, какъ промаячить жизнь. Оттого-то это забавное à propos всѣхъ дѣятелей. Занадобились Франціи полководцы,—и пошли Дюмурье, Гошъ, Наполеонъ со своими маршалами... конца нѣтъ; пришли времена мирныя, и о военныхъ способностяхъ ни слуху, ни духу.

— «Но что же дѣлается съ остальными?» спросила грустнымъ голосомъ Любовь Александровна.

— Какъ случится; часть ихъ потухаетъ и дѣлается толпой, часть идетъ населять далекія страны, галеры, доставлять практику палачамъ; разумѣется, это не вдругъ,—сначала они дѣлаются трактирными удалцами, игроками, потомъ, смотря по призванію, туристами по большимъ дорогамъ или по маленькимъ переулкамъ. Случится по дорогѣ услышать кличъ,—декораціи перемѣняются: разбойника нѣтъ, а есть Ермакъ, покоритель Сибири. Всего рѣже выходятъ изъ нихъ тихіе, добрые люди; ихъ беспокоятъ у домашняго очага ѣдкія мысли. Дѣйствительно, странныя вещи приходятъ въ голову человѣку, когда у него нѣтъ выхода, когда жажда дѣятельности бродитъ болѣзненнымъ началомъ въ мозгу, въ сердцѣ, и надобно сидѣть, сложа руки... а мышцы такъ здоровы, а крови въ жилахъ такая бездна... Одно можетъ спасти тогда человѣка и поглотить его... это встрѣча... встрѣча-съ...

Онъ не договорилъ.

Любовь Александровна вздрогнула.

— Экая беспорядочная голова! замѣтилъ Круповъ:—чего онъ тутъ не наговорилъ; хаосъ, истинно хаосъ! Ну, нечего сказать, славный кандидатъ въ засѣдатели или въ уѣздные судьи!

Всѣ улыбнулись.

V.

Между прочими достопримѣчательностями города NN особеннаго вниманія заслуживаетъ публичный садъ. Въ богатой природѣ средней полосы нашего отечества публичные сады совершенная роскошь, отъ этого ими никто не пользуется, т. е. въ будни, а что касается до воскресныхъ и праздничныхъ дней, то вы можете встрѣтить весь городъ отъ 6 часовъ вечера до 9 въ саду; но въ это время публика собирается не для саду, а другъ для друга. Если начальникъ губерніи въ хорошихъ отношеніяхъ съ полковымъ командиромъ, то въ эти дни являются трубы или большой барабанъ съ товарищами, смотря потому, какое войско стоитъ въ губерніи; и увертюра изъ Лодоиски и Калифа Багдадскаго, вмѣстѣ съ французскими кадрилими, напоминающими незапамятныя времена греческаго освобожденія и «Московского Телеграфа», увеселяютъ слухъ купчихъ, одѣтыхъ по лѣтнему—въ атласъ и бархатъ, и тѣхъ провинціальныхъ барынь, за которыми никто не ухаживаетъ, какихъ, впрочемъ, моложе сорока лѣтъ почи не бываетъ. Въ будни, какъ мы сказали, сады бываютъ пусты; развѣ какой-нибудь заѣзжій въ отчаяніи, что нѣтъ лошадей, въ отчаяніи, что и *этотъ* городъ похожъ на всѣ остальные, отправится въ садъ, въ надеждѣ найти хоть какой-нибудь посредственный видъ. Давно замѣчено поэтами, что природа до отвратительной степени равнодушна къ тому, что дѣлаютъ люди на ея спи-нѣ, не плачетъ надъ стихами и не хохочетъ надъ прозой, а дѣ-лаетъ свое дѣло по крайнему разумѣнію. Природа точно такъ поступила и въ NN и вовсе не смотрѣла на то, что по саду ни-кто не гулялъ; а кто и гулялъ, тотъ обращалъ вниманіе не на деревья, а на превосходную бесѣдку въ китайско-греческомъ вкусѣ; дѣйствительно, бесѣдка была прекрасна въ своемъ родѣ; начальница губерніи весьма удачно ее назвала Монрепо. Она была особенно успокоительна тѣмъ, что вырѣзанная изъ жести пряничная лошадка, состоявшая въ должности дракона и поса-женная на шпигъ, безпрестанно вертѣлась, издавая какой-то жа-лобный вопль, располагавшій къ мечтамъ и подтверждавшій, что вѣтеръ, который снесъ на лѣвую сторону шляпу, дѣйствительно дуетъ съ правой стороны; сверхъ дракона, между колоннами были придѣланы нечесанныя и пресердитыя львиныя головы изъ але-бастра, растрескавшіяся отъ дождя и всегда готовые уронить на

черепъ входящему свое ухо или свой носъ. Несмотря на этотъ плачь дракона и на эту опасность погибнуть отъ львовъ, какъ въ даниловой пещерѣ, равнодушная природа превосходно разрослась, особенно по боковымъ аллеямъ, и это не отъ скромности, а оттого, что прежній губернаторъ велѣлъ подрѣзать на большой аллеѣ старыя липы; ему казалось несомнѣннымъ съ буквальныймъ исполненіемъ обязанности такое своеволие липовыхъ сучьевъ. Лишенные верхушекъ своихъ, липы, съ торчащими къ небу вѣтвями, сбивались на колодниковъ, которымъ обрили полголовы въ предупрежденіе побѣга, и, казалось, титановски повторяли стихъ Озерова:

Есть боги.—а земля злодѣямъ предана.

Но зато по маленькимъ дорожкамъ деревьямъ была воля вольная расти, сколько душѣ угодно, или сколько соку хватить.

На одной-то изъ нихъ, въ теплый апрѣльскій день, пришедшій, вѣроятно, для того въ NN, чтобъ жители потомъ поняли весь холодъ мая, слѣдующаго за нимъ,—какая-то дама въ бѣломъ бурнусѣ прогуливалась съ кавалеромъ въ черномъ пальто. Садъ былъ разбитъ по горѣ; на самомъ высокомъ мѣстѣ стояли двѣ лавочки, обыкновенно иллюстрированныя довольно отчетливыми политпажами неизвѣстной работы; частный приставъ, сколько ни старался, не могъ никакъ поймать виновниковъ и самоотверженно посылалъ передъ всякимъ праздникомъ пожарнаго солдата (какъ привычнаго къ разрушеніямъ) уничтожать художественныя произведенія, періодически высыпавшія на скамейкѣ. Дама и кавалеръ сѣли на нее. Видъ былъ недуренъ. Большая (и съ большою грязью) дорога шла каймою около сада и впадала въ рѣку; рѣка была въ разливѣ; на обоихъ берегахъ стояли телѣги, повозки, тарантасы, отложенныя лошади, бабы съ узелками, солдаты и мѣщане, два досчаника ходили непрерывно взадъ и впередъ; биткомъ набитые людьми, лошадьми и экипажами, они медленно двигались на веслахъ, похожіе на какихъ-то ископаемыхъ многоножныхъ раковъ, послѣдовательно поднимавшихъ и опускавшихъ свои ноги; разнообразныя звуки доносились до ушей сидѣвшихъ, скрипъ телѣгъ, бубенчики, крикъ перевозчиковъ и едва слышный отвѣтъ съ той стороны; брань торопящихся пассажировъ, топотъ лошадей, устанавливаемыхъ на досчаникѣ, мычаніе коровы, привязанной за рога къ телѣгѣ, и громкій разговоръ крестьянъ на берегу, собравшихся около разложеннаго огня. Дама и кавалеръ прервали свои рѣчи и, молча, смотрѣли и слушали даль... Отчего все это издали такъ сильно дѣйствуетъ на насъ, такъ потрясаетъ,—не знаю, но знаю, что дай Богъ Віардо и Рубини, чтобъ ихъ слушали всегда съ такимъ біеніемъ сердца, съ какимъ я

много разъ слушалъ какую-нибудь протяжную и безконечную пѣсню бурлака, сторожащаго ночью барки, пѣсню унылую, прерываемую плескомъ воды и вѣтромъ, шумящимъ между прибрежнымъ ивнякомъ. И мало ли что мнѣ чудилось, слушая монотонные, унылые звуки; мнѣ казалось, что этой пѣснью бѣднякъ рвется изъ душевной сферы въ иную, что онъ, не давая себѣ отчета, оглашаетъ свою печаль, что его душа звучитъ потому, что ей грустно, потому, что ей тѣсно, и пр. и пр. Это было въ мою молодость!

— Какъ хорошо здѣсь... сказала, наконецъ, дама въ бѣломъ бурнусѣ. Сознайтесь, что и сѣверная природа прекрасна?

— «Какъ вездѣ. Гдѣ бы ни взглянулъ человѣкъ и когда бы ни взглянулъ на природу, на жизнь, съ раскрытой душой, прямо, безкорыстно, онѣ дадутъ бездну наслажденія».

— Это правда. Всѣмъ на свѣтѣ можно любоваться, если только хочешь. Мнѣ часто приходитъ въ голову странный вопросъ, отчего человѣкъ умѣетъ всѣмъ наслаждаться, во всемъ находить прекрасное, кромѣ въ людяхъ?

— «Понять можно отчего, но отъ этого не легче будетъ. Мы вносимъ въ нашихъ отношеніяхъ съ людьми заднюю мысль, которая тотчасъ убиваетъ самой дрянной прозой поэтическое отношеніе. Человѣкъ въ человѣкѣ всегда видитъ непріятеля, съ которымъ надобно драться, лукавить и спѣшить опредѣлить условія перемирія. Какое жъ тутъ наслажденіе? Мы съ этимъ выросли и отдѣлаться отъ этого почти невозможно; въ насъ во всѣхъ есть мѣщанское самолюбіе, которое заставляетъ оглядываться, осматриваться; съ природой человѣкъ не соперничаетъ, не боится ея и оттого намъ такъ легко, такъ свободно въ одиночествѣ; тутъ совершенно отдаемъ впечатлѣніямъ; пригласите съ собой самага близкаго пріятеля, и уже не то».

— Я вообще мало встрѣчаю людей, особенно такихъ, которые бы мнѣ были близки; но думаю, что есть, что можетъ быть, по крайней мѣрѣ, такое сочувствіе между лицами, что всѣ внѣшнія препятствія непониманья пали между ними, они не могутъ помѣшать другъ другу ни въ какомъ случаѣ жизни.

— «Я сомнѣваюсь въ продолжительной полнотѣ такого сочувствія; это все говорится только. Люди, совершенно сочувствующіе, еще не договорились до тѣхъ предметовъ, гдѣ они противоположны; но, рано или поздно, они договорятся».

— Все же, пока они не договорились, могутъ быть минуты полной симпатіи, гдѣ они не мѣшаютъ другъ другу наслаждаться и природой и собой.

— «Въ эти-то минуты я только и вѣрю. Это святые минуты душевной расточительности, когда человѣкъ не скупъ, когда онъ

все отдаетъ и самъ удивляется своему богатству и полнотѣ любви. Но эти минуты очень рѣдки; по большей части мы не умѣемъ ни оцѣнить ихъ въ настоящемъ, ни дорожить ими, даже пропускаемъ ихъ чаще всего сквозь пальцы, убиваемъ всякой дрянью, и они проходятъ человѣка, оставляя послѣ себя болѣзненное щемленіе сердца и тупое воспоминаніе чего-то такого, что могло бы быть хорошо, но не было. Надобно признаться, человѣкъ очень глупо устроилъ свою жизнь: девять десятыхъ ея проводить въ вздорѣ и мелочахъ, а послѣдней долей онъ не умѣетъ пользоваться».

— Зачѣмъ же терять такія минуты, когда человѣкъ знаетъ имъ цѣну? На васъ лежитъ двойная отвѣтственность,—замѣтила Круциферская, улыбаясь—вы такъ ясно видите и понимаете.

— «Я не только такими мгновеніями, я дорожу каждымъ наслажденіемъ; но, вѣдь, это легко сказать: не теряйте такія мгновенія; одна фальшивая нота—и оркестръ погибъ. Какъ отдаться вполнѣ, когда тутъ же рядомъ видишь всякія привидѣнія, грозящія пальцемъ, ругающіяся...»

— Какія? Не собственные ли это капризы? замѣтила Круциферская.

— «Какія? повторилъ Бельтовъ, котораго голосъ мало по малу измѣнялся отъ внутренняго движенія:—трудно мнѣ вамъ объяснить, а для меня это очень ясно; человѣкъ такъ себя забилъ, что не смѣетъ дать воли ни одному чувству. Послушайте, такъ и быть, я скажу вамъ примѣръ, именно тотъ, который не слѣдовало бы говорить,—но я его скажу... начавши, я не въ силахъ остановить себя. Съ первыхъ дней нашего знакомства я полюбилъ васъ... Дружба ли это, любовь ли, просто ли сочувствіе?.. Но знаю, что вы, ваше присутствіе сдѣлались для меня необходимою. Знаю то, что цѣлыя утра я проводилъ въ дѣтскомъ нетерпѣніи, въ болѣзненномъ ожиданіи вечера... Приходилъ, наконецъ, вечеръ, я бѣжалъ къ вамъ, задыхаясь отъ мысли, что я увижу васъ; лишенный всего, окруженный со всѣхъ сторонъ холодомъ, я на васъ смотрѣлъ, какъ на послѣднее утѣшеніе... Повѣрьте, что на сію минуту я всего далѣе отъ фразъ... Съ волненіемъ переступалъ я порогъ вашего дома и входилъ хладнокровно и говорилъ о постороннемъ, и такъ проходили часы... Для чего эта глупая комедія?.. Скажу больше, вы не остались равнодушны ко мнѣ; вѣроятно, иной вечеръ и вы меня ждали, я видѣлъ радость въ вашихъ глазахъ при моемъ появленіи. и сердце у меня билось въ эти минуты до того, что я задыхался, — и вы меня встрѣчали съ притворной учтивостью, и вы садились издали и мы представляли постороннихъ... Зачѣмъ?.. Развѣ на днѣ моей души, на днѣ вашей души было что-нибудь такое, чего надобно

стыдиться, прятать отъ глазъ людей? Нѣтъ!—Чего отъ глазъ людей?.. Еще смѣшнѣе: мы скрывали другъ отъ друга нашу близость; теперь въ первый разъ говоримъ мы объ этомъ, да и тутъ, кажется, вполонину скрываемъ. Самое свѣтлое чувство дѣлается острымъ, жгучимъ, дѣлается темнымъ, чтобъ не сказать другого слова,—если его бояться, если его прячуть, оно начнетъ вѣрить, что оно преступно, и тогда оно сдѣлается преступнымъ; въ самомъ дѣлѣ, наслаждаться чѣмъ-нибудь, какъ воръ краденымъ, съ запертыми дверями, прислушиваясь къ шороху, унижаетъ и предметъ наслажденья и человѣка».

— Вы несправедливы, отвѣчала Круциферская дрожащимъ голосомъ: я никогда не скрывала моей дружбы къ вамъ, я не имѣла въ этомъ нужды...

— «Такъ отчего же, скажите, возразилъ Бельтовъ, схвативъ ея руку и крѣпко ее сжимая, — отчего же измученный, съ душою, переполненною желаніемъ исповѣди, обнаруженія, съ душою, полной любви къ женщинѣ, я не имѣлъ силы придти къ ней и взять ее за руку, и смотрѣть въ глаза, и говорить... и говорить... и склонить свою усталую голову на ея грудь... Отчего она не могла меня встрѣтить тѣми словами, которыя я видѣлъ на ея устахъ, но которыя никогда ихъ не переходили».

— Оттого, отвѣчала Круциферская съ какой-то отчаянной энергіей,—оттого, что эта женщина принадлежитъ другому и любить его... Да, да! любить его отъ души.

Бельтовъ бросилъ ея руку.

— «Представьте себѣ, что я именно этого отвѣта и не ждалъ, а теперь мнѣ кажется, что другого и сдѣлать нельзя. Однако, позвольте, развѣ непременно вы должны отвернуться отъ одного сочувствія другому, какъ будто любви у человѣка дается извѣстная мѣра».

— Можетъ быть, но я не понимаю любви къ двоимъ. Мужъ мой, сверхъ всего другого, одной своей безпредѣльной любовью стяжалъ огромныя, святыя права на мою любовь.

— «Зачѣмъ вы начали защищать права вашего мужа? Никто не нападаетъ на нихъ. Къ тому же, вы дурно начали ихъ защищать. Да, если его любовь дала ему такія права, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имѣетъ никакихъ правъ? Это странно!.. Послушайте, Любовь Александровна, откровенность, откровенность разъ въ жизни, потомъ, пожалуй, я совѣмъ не буду ничего говорить, даже уѣду, если вы хотите. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить; не понимаете? Сойдите поглубже въ душу вашу и посмотрите, что тамъ дѣлается теперь, сейчасъ. Ну, имѣйте же духъ признанья, что я правъ, скажите, по крайней мѣрѣ, что вы все это почув-

ствовали, передумали, вѣдь я это знаю, я видѣлъ эти думы на вашемъ челѣ, въ вашихъ глазахъ».

— Ахъ, Бельтовъ, Бельтовъ, зачѣмъ все это, зачѣмъ этотъ разговоръ? говорила Круциферская голосомъ, исполненнымъ мрачной грусти;—намъ было такъ хорошо... Теперь не будетъ такъ... Вы увидите.

— «То есть, пока мы не назвали вещей своими именами? Какое ребячество!» Бельтовъ грустно качалъ головою и щурилъ глаза; лицо его, за минуту вдохновенное и выражавшее безконечную нѣжность, приняло свою насмѣшливую мину.

Со слезами, съ ужасомъ смотрѣла на него испуганная женщина... Круциферская была поразительно хороша въ эту минуту; шляпку она сняла; черные волосы ея, развитые отъ сырого вечерняго воздуха, разбросались; каждая черта лица была оживлена, говорила, и любовь струилась изъ ея синихъ глазъ; дрожащая рука то жала платокъ, то покидала его и рвала ленту на шляпкѣ, грудь по временамъ поднималась высоко, но, казалось, воздухъ не могъ проникнуть до легкихъ. Чего хотѣлъ этотъ гордый человѣкъ отъ нея? Онъ хотѣлъ слова, онъ хотѣлъ торжества, какъ будто это слово было нужно; если-бъ онъ былъ юнѣе сердцемъ, если-бъ въ головѣ его не обжились такъ долго мысли горькія и странныя, онъ не спросилъ бы этого слова.

— Вы ужасный человѣкъ, промолвила, наконецъ, бѣдная Круциферская и подняла робкій взглядъ на него.

Онъ выдержалъ этотъ взглядъ и спросилъ:

— «Куда это Семень Ивановичъ запропастился? Хотѣлъ тотчасъ придти. Не ищетъ ли онъ насъ въ другихъ аллеяхъ? Пойдемте къ нему на встрѣчу, а то совсѣмъ смеркается».

Она не трогалась съ мѣста, обиженная тономъ послѣднихъ словъ. Помолчавши нѣсколько, она опять подняла взоръ свой на Бельтова и тихимъ, умоляющимъ голосомъ сказала ему:

— Я стала ниже въ вашихъ глазахъ, вы забыли, что я простая слабая женщина, и слезы лились изъ глазъ ея. Тутъ, какъ всегда, любовь и теплота женщины побѣдили гордую требовательность мужчины. Бельтовъ, тронутый до глубины души, взялъ ея руку и приложилъ къ своей груди; она слышала бѣненіе его сердца, она слышала, какъ горячія капли слезъ падали на ея руку...Онъ былъ такъ хорошъ, такъ увлекателенъ въ своей гордой страсти... У ней самой такъ волновалась кровь, такъ смутно было въ головѣ и такъ хорошо, такъ богато чувствами на сердцѣ, что она въ какомъ-то безотчетномъ порывѣ бросилась въ его объятія, и ея слезы градомъ лились на пестрый парижскій жилетъ Владимира Петровича. Почти въ ту же минуту раздался голосъ Семена Ивановича:

«Гдѣ вы? кричалъ онъ: тутъ, что ли?»

— «Здѣсь», отвѣчалъ Бельтовъ и подаль руку Любови Александровнѣ.

Бельтовъ былъ упоенъ своимъ счастьемъ; его дремавшая душа вдругъ воскресла со всеми своими силами. Любовь, доселѣ сдерживаемая, распахнулась въ немъ, онъ чувствовалъ невыразимое блаженство во всемъ бытіи своемъ. Какъ будто онъ вчера, третьяго дня не зналъ, что онъ любитъ и любимъ. Отъ дома Круциферскаго онъ воротился въ садъ, бросился на ту же скамью, грудь его была такъ полна, и слезы текли изъ глазъ; онъ удивлялся, что нашелъ и столько юности и столько свѣжести въ себѣ... Правда, вскорѣ примѣшалось что-то неловкое къ радостному чувству, что-то такое, что заставляло его морщить лобъ; но, воротившись домой, онъ велѣлъ Григорью подать за закуской бутылку шампанскаго и неловкое потонуло въ немъ, а радостное стало еще звонче.

Круциферская, блѣдная какъ смерть, простилась съ Бельтовымъ у своего дома, куда ихъ проводилъ и Семень Ивановичъ. Она не смѣла понять, не смѣла ясно вспомнить, что было.... Но одно какъ-то страшно помнилось, само собою, всеѣмъ организмомъ,— это горячій, пламенный, продолжительный поцѣлуй въ уста, и ей хотѣлось забыть его, и такъ хорошъ онъ былъ, что она ни за что въ свѣтѣ не могла бы отдать воспоминанія о немъ. Семень Ивановичъ хотѣлъ идти, Круциферская испугалась; она просила его зайти, она боялась одна переступить за порогъ, ей было страшно.

Они вошли. Дмитрій Яковличъ сидѣлъ передъ столомъ и внимательно читалъ какой-то журналъ; видъ его былъ, кажется, покойнѣе и безмятежнѣе, нежели обыкновенно. Добродушно улыбаясь входящимъ, онъ закрылъ журналъ и, протягивая руку женѣ, спросилъ:

— Гдѣ вы это загулялись? Я ждалъ, ждалъ тебя, даже грустно сдѣлалось.

Рука жены была холодна и покрыта потомъ, какъ бываетъ у при смерти больныхъ.

«Мы были въ саду», отвѣчалъ Круповъ за нее.

— Что съ тобою? спросилъ Круциферскій:—какая у тебя рука! да на тебѣ, мой другъ, лица нѣтъ.

— «У меня что-то кружится голова; не беспокойся, Дмитрій, я пойду въ спальню и выпью воды, это сейчасъ пройдетъ».

«Позвольте, позвольте; куда торопиться? дайте-ко посмотрѣть: вы забыли что-ли, что я докторъ... Что это? да ей дурно. Дмитрій Яковлевичъ, посадимте ее на диванъ; держите такъ, подъ руку, подъ руку... такъ, такъ. Я что-то на дорогѣ замѣтилъ, что ей не по себѣ. Весенній воздухъ, кровь остра, талый ледъ испаряется,

всякая дрянь оттаиваетъ... Кабы была подъ рукой англійская горчица, сдѣлать бы синапизмики, маленькіе, въ ладонь, съ чернымъ хлѣбомъ и уксусомъ... Кухарка ваша дома?... Пошлите-ка къ моему Карпу, онъ знаетъ... просто, такъ спросить горчицы... такъ и привязать къ икрамъ, а не поможетъ, еще парочку, пониже плечъ, гдѣ мясное мѣсто».

— «Я не больна, я не больна, повторяла слабымъ голосомъ Любовь Александровна, приходя въ себя и дрожа всѣмъ тѣломъ:— Дмитрій, поди сюда ко мнѣ, Дмитрій... я не больна, дай мнѣ твою руку».

— Что съ тобою, что съ тобою, мой ангелъ? спрашивалъ ее мужъ, который самъ уже успѣлъ и занемочь, расплакаться.

Она посмотрѣла какимъ-то странно грустнымъ взглядомъ на него, но не могла сказать, зачѣмъ его звала. Онъ опять спросилъ ее.

— «Дай мнѣ воды, да немножко уснуть, и я буду здорова, мой другъ».

Часа черезъ два или три Любовь Александровна, наказанная угрызеніями совѣсти внутри и горчишниками снаружи за подѣлу Бельтова, лежала на постели въ глубокомъ летаргическомъ снѣ или въ забытіи. Потрясеніе было слишкомъ сильно, организмъ не выдержалъ.

А въ гостиной на диванѣ лежалъ совсѣмъ одѣтый Круповъ, оставшійся сколько для больной, столько и для Круциферскаго, растеряннаго и испуганнаго. Круповъ, чрезвычайно сердясь на пружины дивана, которыя нисколько не способствуя эластичности его, придавали ему свойства, очень близкія той бочкѣ, въ которой карагеняне прокатали Регула,—въ четверть часа сладко захрапѣлъ съ спокойствіемъ человѣка, равно не обременявшаго себѣ ни совѣсти, ни желудка.

Возлѣ кровати больной горѣлъ ночникъ, сдѣланный въ блюдечкѣ, который бросалъ довольно яркій кругъ свѣта на потолокъ, безпрестанно измѣнявшій величину, колебавшійся и вторившій всѣмъ движеніямъ маленькаго пламени, сожигавшаго маленькую свѣтильню. Блѣдный и потерянный, Круциферскій сидѣлъ за столикомъ, на которомъ стоялъ ночникъ. Кому случалось проводить ночи у изголовья трудно больного друга, брата, любимой женщины, особенно въ нашу полнолѣсную зимнюю ночь, тотъ пойметъ, что было на душѣ нервнаго Круциферскаго. Тупое, глупое чувство безсилія помочь, вмѣстѣ съ страхомъ будущаго и съ горячешной напряженностью отъ бессонницы и усталости, привели его въ какое-то раздраженное состояніе. Онъ безпрестанно приподнимался и смотрѣлъ на нее, клалъ ей руку на лобъ, находилъ, что жаръ уменьшился, и начиналъ думать, что не хуже-

ли это, не бросилась ли болѣзнь внутрь. Онъ вставалъ, переставлялъ почникъ и склянку съ лекарствомъ, смотрѣлъ на часы, подносилъ ихъ къ уху и, не выдавши который часъ, клалъ ихъ опять, потомъ опять садился на свой стулъ и начиналъ вперять глаза въ колеблющійся кружокъ свѣта на потолокъ, думать, мечтать,— и воспаленное воображеніе чуть не доходило до бреда. Нѣтъ, думалъ онъ, это нельзя, это невозможно, ну, просто невозможно; какъ это, она одна у меня на свѣтѣ, она такъ молода. Богъ видитъ мою любовь, онъ сжалится надъ нами. Это пустяки, пройдетъ; такъ, холодный, сырой вѣтеръ, кровь остра, ледъ испаряется, да, только весеннія простуды страшны, нервная горячка, чахотка... Какъ это до сихъ поръ не умѣютъ лечить чахотки? Страшная болѣзнь! впрочемъ, она опасна до 18 лѣтъ; а вотъ у нашего французскаго учителя жена 30 лѣтъ, а въ чахоткѣ умерла, да, умерла, ну, если... И ему такъ живо представился гробъ въ гостиной, покрытъ покровомъ, грустное чтеніе раздается, Семенъ Ивановичъ стоитъ печальный возлѣ, Яшу держитъ нянька, повязанная бѣлымъ платкомъ. А потомъ еще что-то страшнѣе почудилось ему, что и гроба нѣтъ, въ комнатѣ такъ прибрано, полы вымыты... только пахиваетъ ладаномъ. Онъ всталъ, близкій къ обмороку, и подошелъ къ женѣ. Щеки ея пылали, она тяжело дышала, болѣзненно сонъ сковалъ ее. Круциферскій скрестилъ руки на груди, и горько заплакалъ... Да! этотъ человѣкъ умѣлъ любить, стоило взглянуть на него; онъ опустился на колѣни, взялъ горячую руку жены и приложилъ ее къ губамъ своимъ.

— Нѣтъ, говорилъ онъ вслухъ, нѣтъ: — Онъ не возьметъ ее, она не оставитъ меня; что же со мной будетъ безъ нея?

И, поднявши глаза къ небу, онъ молился.

Тутъ вошелъ Семенъ Ивановичъ съ сильно заспаннымъ видомъ: лѣвый глазъ у него вовсе не хотѣлъ открываться, сколько онъ ни нудилъ мускуль, нарочно затѣмъ приставленный къ глазу, чтобъ его раскрывать.

— «Что, начала бредить? а?»

— Нѣтъ, она спитъ спокойно.

— «Я самъ, братецъ, слышалъ; во снѣ, что ли, мнѣ показалось».

— Должно быть, Семенъ Ивановичъ, вамъ показалось во снѣ, возразилъ Дмитрій Яковлевичъ съ видомъ пойманнаго школьника.

Круповъ подошелъ къ постели. Жарокъ есть, а впрочемъ, кажется, ничего; да вы бы прилегли, Дмитрій Яковлевичъ, ну, что пользы себя мучить.

— Нѣтъ-съ, я не лигу, отвѣчалъ Дмитрій Яковлевичъ.

— «Вольному воля», замѣтилъ Круповъ, зѣвая и направляя стопы свои къ рельефному дивану, на которомъ преспокойно проспалъ до половины осьмаго, часъ, въ который онъ вставалъ

ежедневно, несмотря на то,—въ десять ли вечера онъ ложился, или въ семь по утру.

Осмотрѣвши больную, Семенъ Ивановичъ рѣшилъ, что это легонькая простудная горячечка, какъ онъ выражался, и прибавилъ, что теперь это въ повѣтріи.

Что было послѣ горячечки, пусть расскажетъ сама Любовь Александровна; вотъ отрывокъ изъ ея журнала.

18 мая. Какъ давно я не писала въ этой книгѣ: больше мѣсяца.... больше мѣсяца! а иной разъ подумаешь, будто годы прошли съ того дня, какъ я занемогла. Теперь, кажется, все прошло, и жизнь опять пойдетъ тихо, спокойно. Вчера я первый разъ выходила изъ дому. Какъ я рада была подышать воздухомъ! Погода была прекрасная.... Однако я очень ослабѣла во время болѣзни; два или три раза прошла я по нашему полисаднику и до того устала, что у меня закружилась голова. Дмитрій перепугался, но это тотчасъ прошло. Господи! какъ онъ меня любить! Добрый, добрый Дмитрій, какъ онъ ходилъ за мной! Стоило мнѣ ночью раскрыть глаза, пошевелиться,—онъ уже стоялъ тутъ; спрашивалъ, что мнѣ надобно, предлагалъ пить.... Бѣдный, онъ самъ похуѣлъ какъ будто послѣ болѣзни. Какая способность любви! Надобно имѣть каменное сердце, чтобъ не любить такого человѣка. О! я люблю его, мнѣ было бы невозможно не любить его. То происшествіе въ саду, оно ничего не значитъ, болѣзнь уже приготавлилась и я была въ особомъ расположеніи, нервы у меня были раздражены. Вчера я *его* видѣла въ первый разъ послѣ болѣзни.... Его голосъ я слыхала какъ сквозь сонъ, но его не видала. Онъ былъ очень взволнованъ, хотя и скрывалъ это, голосъ у него дрожалъ, когда онъ мнѣ сказалъ: «Наконецъ-то, наконецъ-то вамъ лучше». Потомъ онъ мало говорилъ, какая-то мысль его занимала, онъ два раза провелъ рукою по лбу, какъ будто желалъ стереть ее, но она снова проступала. Ни одного малѣйшаго намека о бывшемъ: онъ, вѣрно, понималъ, что это было болѣзненное опьяненіе. Зачѣмъ я не рассказала всего Дмитрію? Въ тотъ вечеръ, когда онъ такъ кротко протянулъ мнѣ руку, мнѣ хотѣлось броситься къ нему и все рассказать, но я не имѣла силы, мнѣ сдѣлалось дурно. Сверхъ того, Дмитрій такъ нѣженъ, его это страшно бы огорчило. Послѣ я ему скажу непременно.

20 мая. Вчера мы были съ Дмитріемъ въ саду, онъ хотѣлъ сѣсть на той скамейкѣ, я сказала, что боюсь вѣтра съ рѣки,—мнѣ эта скамейка сдѣлалась страшна; мнѣ казалось, что для Дмитрія будетъ оскорбительно сидѣть на ней. Будто это правда, что можно любить двоихъ? Не понимаю. Можно и не двоихъ, а нѣсколькихъ любить, но тутъ игра словъ; любить любовью можно одного, и ею я люблю моего мужа. А потомъ, я люблю Крупова,

и не боюсь признаться, что и Бельтова люблю; это такой сильный человекъ, что я не могу не любить его. Это человекъ, призванный на великое, необыкновенный человекъ; изъ его глазъ свѣтитъ гений. Та любовь и не нужна такому человекъ. Что для него женщина? Она пропадаетъ въ безпредѣльной душѣ его... Ему нужна любовь иная. Онъ страдаетъ, глубоко страдаетъ и нѣжная дружба женщины могла бы облегчить эти страданія; ее онъ всегда найдетъ во мнѣ, онъ слишкомъ пламенно понимаетъ эту дружбу, онъ все пламенно понимаетъ; сверхъ того, онъ такъ не привыкъ къ вниманію, къ симпатіи; онъ всегда былъ одинокъ, душа его, огорченная, озлобленная, вдругъ встрепенулась отъ голоса сочувствующаго. Это очень натурально.

23 мая. Бываютъ иногда странныя минуты какого-то безпокойнаго желанія жизни еще полнѣйшей. Неблагодарность ли это къ судьбѣ, или ужъ человекъ такъ устроенъ; а я чувствую часто, особенно съ нѣкотораго времени, стремленіе... очень мудро это выразить. Я искренно люблю Дмитрія; но иногда душа требуетъ чего-то другого, чего я не нахожу въ немъ. Онъ такъ кротокъ, такъ нѣженъ, что я готова раскрыть ему всякую мечту, всякую дѣтскую мысль, пробѣгающую по душѣ; онъ все оцѣнитъ, онъ не улыбнется съ насмѣшкой, не оскорбитъ холоднымъ словомъ или ученымъ замѣчаніемъ, но это не все; бываютъ совѣмъ иныя требованія, душа ищетъ силы, отвагу мысли; отчего у Дмитрія нѣтъ этой потребности добиваться до истины, мучиться мыслию? Я, бывало, обращаюсь къ нему съ тяжелымъ вопросомъ, съ сомнѣніемъ, а онъ меня успокоиваетъ, утѣшаетъ, хочетъ убаюкать, какъ дѣлаютъ съ дѣтьми... а мнѣ совѣмъ не того хотѣлось бы... Онъ и себя убаюкиваетъ тѣми же дѣтскими вѣрованіями, а я не могу.

24 мая. Яша боленъ. Два дня онъ лежалъ въ жару, сегодня показалась сыпь, Семень Ивановичъ меня обманываетъ. Въ десять разъ лучше сказать прямо; надобно испугать воображеніе, а не предоставить ему волю: оно само выдумаетъ еще страшнѣе, еще хуже. Я не могу прямо въ глаза посмотреть Яшѣ, сердце обливается кровью, страданія ребенка ужасны. Какъ онъ похудѣлъ, бѣдняжка, какъ блѣденъ!... и туда же, чуть выдетъ минута полегче, улыбается, проситъ мячикъ. Что это за непрочность всего, что намъ дорого,—страшно вздумать! Такъ какой-то вихрь несетъ, кружитъ всякую всячину, хорошее и дурное, и человекъ туда попадаетъ, и броситъ его на верхъ блаженства, а потомъ внизъ. Человекъ воображаетъ, что онъ самъ распоряжается всѣмъ этимъ, а онъ точно щепка въ рѣкѣ повертывается въ маленькомъ кружечкѣ и плыветъ вмѣстѣ съ волной, куда случится,—прибьетъ къ берегу, унесетъ въ море, или увязнетъ въ тинѣ?... (кучно и обидно!

26 мая. У него скарлатина. У Дмитрія умерло трое братьевъ отъ скарлатины. Семень Ивановичъ печалень, сердить, грубъ, и не отходить отъ Яши. Боже мой, Боже мой! что это такое дѣлается надъ нами? Дмитрій самъ едва ходить; это-то счастье я тебѣ принесла?

27 мая. Время тащится тихо, все тоже; смертный приговоръ или милость... поскорѣй бы... Что у меня за страшное здоровье, какъ я могу выносить все это! Семень Ивановичъ только и говоритъ:—подождите, подождите.... Яша, ангелъ мой, прощай... прощай, малютка!

29 мая. Полтора сутокъ прошло поспокойнѣе, кризисъ миновалъ. Но тутъ-то и надобно беречь. Все это время я была въ какомъ-то натянутомъ состоянїи, теперь начинаю чувствовать страшную душевную усталъ. Хотѣлось бы много поговорить отъ души. Какъ весело говорить, когда насъ умѣютъ вѣрно, глубоко понимать и сочувствовать.

1 июня. Все идетъ хорошо... Кажется, на этотъ разъ туча прошла мимо головы. Яша игралъ сомной сегодня часа два на своей постелькѣ. Онъ такъ ослабѣлъ, что не можетъ держаться на ногахъ. Добрый, добрый Семень Ивановичъ, что за человѣкъ!

6 июня. Все успокоилось, Яшѣ гораздо лучше; но я больна, больна, это я чувствую. Сижу иногда у его кровати, и вмѣсто радости, вдругъ, безъ всякой внѣшней причины, поднимается со дна души какая-то давящая грусть, которая растегъ, растегъ и вдругъ становится нѣмою, жестокой болью; готова бы, кажется, умереть. Я въ этой суетѣ не имѣла времени остаться наединѣ съ собою; моя болѣзнь, болѣзнь Яши, хлопоты не давали мнѣ ни минуты углубиться въ себя. Лишь стало поспокойнѣе и лучше, какой-то скорбный, мучительный голосъ звалъ меня заглянуть въ свое сердце, и я не узнала себя. Вчера послѣ обѣда я что-то чувствовала себя дурно, сидѣла у Яши, положила голову на его подушечку и уснула... Не знаю, долго-ли я спала, но вдругъ мнѣ сдѣлалось какъ-то тяжело, я раскрыла глаза, передо мною стоялъ Бельтовъ и никого не было въ комнатѣ... Дмитрій пошелъ давать уроки... Онъ смотрѣлъ на меня, и глаза его были полны слезъ; онъ ничего не сказалъ, онъ протянулъ мнѣ руку, онъ сжалъ мою руку крѣпко, больно... и ушелъ. Зачѣмъ же онъ не сказалъ ничего?... Я хотѣла его остановить, но у меня не было голоса въ груди.

9 июня. Онъ былъ весь вечеръ у насъ и ужасно веселъ, сыпалъ островами, колкостями, хохоталъ, шумѣлъ, но я видѣла, что все это натянуто; мнѣ даже казалось, что онъ выпилъ много вина, чтобъ поддержать себя въ этомъ состоянїи. Ему тяжело.

Онъ обманываетъ себя, онъ очень не веселъ. Неужели я вмѣсто облегченія принесла новую скорбь въ его душу?

15 *юня*. День былъ сегодня удушливый, я изнемогала отъ жара. Къ обѣду собралась гроза и проливной дождь освѣжилъ меня, можетъ, больше, нежели траву и деревья. Мы пошли въ садъ; на дворѣ необычайно было хорошо: деревья благоухали какой-то укрѣпляющей, влажной свѣжестью; мнѣ стало легко... Я первый разъ вспомнила о *тогдашнемъ* днѣ иначе, въ немъ много прекраснаго... Можетъ ли быть что-нибудь преступное полно прелести, упоенія, блаженства?.. Мы шли по той же дорожкѣ. На лавочкѣ кто-то сидѣлъ, мы подошли, это былъ онъ; я чуть не вскрикнула отъ радости. Онъ былъ очень печаленъ, всѣ слова его были грустны, исполнены горечи и ироніи. Онъ правъ—люди сами себѣ выдумываютъ терзанія; ну, если-бъ онъ былъ мой братъ, развѣ я не могла бы его любить открыто, говорить объ этомъ Дмитрію, всѣмъ?... И никому не показалось бы это странно. А онъ братъ мнѣ, я это чувствую... Какъ мы могли бы прекрасно устроить нашу жизнь, нашъ маленькій кружокъ изъ четырехъ лицъ; кажется, и довѣріе взаимное есть, и любовь, и дружба, а мы дѣлаемъ уступки, жертвы, не договариваемъ. Когда мы шли домой, было поздно; мѣсяцъ взошелъ. Бельтовъ шелъ возлѣ меня. Что за странная, магнетическая власть взгляда у этого человѣка! Взглядъ Дмитрія тихъ и спокоенъ, какъ небо голубое, а его волнуетъ, такъ дѣлается безпокойно,—и потомъ нѣтъ.

Мы мало говорили... только, прощаясь, онъ мнѣ сказалъ: «Я много думалъ объ васъ все это время и... мнѣ очень бы хотѣлось поговорить, такъ на душѣ много». —И я думала объ васъ... прощайте, Вольдемаръ... Я сама не знаю, какъ у меня сорвались эти слова; я никогда его такъ не называла, но мнѣ казалось, что я не могу его иначе назвать. Онъ содрогнулся, услышавъ это названье: онъ наклонился ко мнѣ и, съ тою нѣжностью, которая минутами является у него, сказалъ: «Вы третьи меня такъ назвали, это меня можетъ тѣшить, какъ ребенка, я буду этимъ счастливъ дня на два».—Прощайте, прощайте, Вольдемаръ, повторила я. Онъ хотѣлъ что-то сказать, подумалъ, пожалъ мнѣ руку, посмотрѣлъ въ глаза и ушелъ.

20 *юня*. Я много измѣнилась, возмужала послѣ встрѣчи съ Вольдемаромъ; его огненная, дѣятельная натура, безпрестанно занятая, трогаетъ всѣ внутреннія струны, касается всѣхъ сторонъ бытія. Сколько новыхъ вопросовъ возникло въ душѣ моей! Сколько вещей простыхъ, обыденныхъ, на которыя я прежде все не смотрѣла, заставляютъ меня теперь думать. Многое, о чемъ я едва смѣла предполагать, теперь ясно. Конечно, при этомъ приходится часто жертвовать мечтами, къ которымъ привыкла,

которыя такъ бережлились и лелѣялись; горька бываетъ минута разставанія съ ними, а потомъ становится легче, вольнѣе. Мнѣ было бы очень тяжело, если-бъ онъ уѣхалъ. Я не искала его, но случилось такъ; наши жизни встрѣтились,—совсѣмъ врозь онъ идти не могутъ; онъ открылъ мнѣ новый міръ внутри меня. И не странно ли, что этотъ человѣкъ, не нашедшій себѣ нигдѣ ни труда, ни покоя, одиноко объѣздившій весь свѣтъ, вдругъ, здѣсь, въ маленькомъ городишкѣ, нашелъ симпатію въ женщинѣ мало образованной, бѣдной, далекой отъ его круга! Онъ можетъ слишкомъ любить меня,—да развѣ это зависитъ отъ воли? къ тому же, онъ столько вынесъ холоду и безучастія, что готовъ платить сторицею за всякое теплое чувство. Оставить его тѣмъ же одинокимъ, сдѣлаться чужою ему я не могла бы, это было бы, просто, грѣшно... Да! онъ правъ,—и его любовь имѣетъ права!

Послѣднее время Дмитрій особенно не въ духѣ: вѣчно задумчивъ, болѣе обыкновеннаго разсѣянъ; у него это есть въ характерѣ, но страшно, что все это растетъ; меня беспокоитъ его грусть и, подчасъ, я дурно объясняю ее...

22 *юня*. И, кажется, не ошиблась. Вчера Дмитрій былъ до того мраченъ, что я не вынесла и спросила, что съ нимъ? «У меня болитъ голова, отвѣтилъ онъ, мнѣ надобно походить», и взялъ свою шляпу. Пойдемъ вмѣстѣ, сказала я.—«Нѣтъ, другъ мой, не теперь; я пойду очень скоро, ты устанешь»,—и онъ ушелъ со слезами на глазахъ. Я не вынесла этого и горько проплакала все время, пока онъ ходилъ; онъ меня засталъ на томъ же мѣстѣ у окна, видѣлъ, что я плакала, грустно пожалъ мнѣ руку и сѣлъ. Мы молчали. Потомъ, спустя нѣсколько минутъ, онъ мнѣ сказалъ: «Любонька, знаешь ли о чемъ я думаю? Какъ хорошо бы въ такую теплую, лѣтнюю ночь, гдѣ-нибудь въ рощѣ, положить голову тебѣ на колѣни и уснуть на вѣки».—«Помилуй, Дмитрій, сказала я ему,—что это за мрачныя мысли; неужели тебѣ не жаль никого покинуть здѣсь? «Жаль», отвѣчалъ онъ: «очень жаль и тебя, и Яшу; но Семенъ Ивановичъ говоритъ, что я только могу повредить воспитанію Яши, да я и самъ согласенъ, что ты лучше воспитаешь его, нежели я. Къ тому же, другъ мой, и тамъ, какъ здѣсь, вѣчная молитва о васъ, молитва, полная вѣры и упованья, найдетъ доступъ... Тебѣ будетъ меня жаль, я это знаю, другъ мой, ты такъ добра; но ты найдешь силы перенести этотъ ударъ, признайся сама». Мнѣ было невыносимо больно слушать его; я изъ этихъ словъ слышала и видѣла чувство нехорошее, слезы лились у меня изъ глазъ. Что это такое? Мнѣ начинаетъ казаться, что я созвала какія-то бѣдствія на нашу жизнь. А, между тѣмъ, совѣтъ моя чиста... Неужели я довела его до такого состоянія недостаткомъ любви, или... У него нѣтъ прежней вѣры въ меня,

это я вижу! Неужели въ его благородной душѣ есть мѣсто чувству, котораго назвать не хочу? Неужели онъ подозрѣваетъ, что я разлюбила его и люблю другого! Господи! какъ мнѣ объяснить это ему? Я не другого люблю, а люблю его и люблю Вольдемара; симпатія моя съ Вольдемаромъ совсѣмъ иная... (Странно, мнѣ казалось, что жизнь наша успокоилась, что она пойдетъ широко, полно,—и вдругъ какая-то пропасть раскрылась подъ ногами... лишь бы удержаться на краю... Тяжело... Если-бъ я умѣла хорошо, очень хорошо играть на фортепьяно, я извлекла бы тѣ звуки изъ души, которые не умѣю высказать; Дмитрій понялъ бы меня, онъ понялъ бы, что внутри меня все чисто. Бѣдный Дмитрій! ты страдаешь за безпредѣльную любовь твою; я люблю тебя, мой Дмитрій! Если-бъ я съ самаго начала была откровенна съ нимъ, этого бы никогда не было; что за нечистая сила остановила меня? Какъ только онъ успокоится, я поговорю съ нимъ, и все, все разкажу ему...

23 *юня*. Семенъ Ивановичъ, кажется мнѣ, тоже перемѣнился со мной; да что же сдѣлала я?... Я ничего не понимаю,—ни что сдѣлала, ни что сдѣлалось. Дмитрій поспокойнѣе сегодня; я многое говорила съ нимъ, но не все; были минуты, въ которыя мнѣ казалось, что онъ понимаетъ меня, но черезъ минуту я ясно видѣла, что мы совершенно разнo смотрѣли на жизнь. Я начинаю думать, что Дмитрій и прежде не вполне понималъ меня, не вполне сочувствовалъ,—это страшная мысль!

24 *юня*. *Вечеромъ, поздно*. Жизнь! жизнь! (Среди тумана и грусти, середь болѣзненныхъ предчувствій и настоящей боли, вдругъ засияетъ солнце, и такъ сдѣлается свѣтло, хорошо. Сейчас пошелъ Вольдемаръ; долго говорили мы съ нимъ... Онъ тоже грустенъ и много страдаетъ, и какъ понятно мнѣ каждое слово его! Зачѣмъ люди, обстоятельства придаютъ какой-то иной характеръ нашей симпатіи, портятъ ее? Зачѣмъ они все это дѣлаютъ?)

25 *юня*. Вчера былъ Ивановъ день. Дмитрій былъ на именинахъ у одного учителя. Онъ воротился поздно и нетрезвый; я никогда не видала его въ такомъ положеніи. Блѣдный, съ растрепанными волосами, невѣрными шагами ходилъ онъ по спальнѣ. «Тебѣ дурно, мой другъ?» сказала я: «не дать ли тебѣ воды?»—Да, говорилъ онъ голосомъ, задыхающимся отъ волненія, и съ выраженіемъ, совершенно чуждымъ его характеру:—если-бъ ты столько принесла воды, чтобъ уточиться можно, я бы поблагодарилъ тебя.—Я глядѣла прямо въ глаза ему, онъ смѣшался.— Не слушай, Бога ради, что я вру, сказалъ онъ, испугавшись, вѣроятно, моего взгляда: самъ не знаю, какъ вышилъ лишній стаканъ вина, отъ этого жаръ, бредъ... Прощай, мой другъ, я

отдохну здѣсь немного, и онъ бросился совсѣмъ одѣтый на диванъ и скоро заснулъ тяжелымъ сномъ. Я не спала всю ночь; глубокое страданіе выражалось на сонномъ лицѣ его, иногда онъ улыбался, но не своей улыбкой... Нѣтъ, Дмитрій, меня не обманешь! ты не случайно выпилъ лишній стаканъ вина, ты не въ бреду говорилъ твои слова, а вино только придало тебѣ жестокости, которой вовсе нѣтъ въ твоей душѣ. Что это дѣлается надъ нашими головами, Боже милосердый! Это свыше силъ человѣческихъ! Тяжело тебѣ, бѣдный Дмитрій! А мнѣ-то видѣть его страданія и знать, что причиною всего я!

Черезъ три часа. Не могу еще ничего привести въ порядокъ; въ душѣ такъ все смутно, какъ послѣ бури волны не могутъ улечься. Кровь стучитъ въ вискахъ, сердце бьется до того, что держу грудь. Дмитрій! и тебѣ не грѣшно такъ жалко меня понимать? и какъ ты, бѣдный, страдаешь за это? Облегченіе ему, облегченіе!... Ахъ, какъ кружится голова и горитъ! Не опять ли горячка! Я говорила съ Дмитріемъ, я требовала отъ него объясненія его грусти, его поступковъ, его словъ. Да! онъ утратилъ вѣру въ меня, онъ никогда не пойметъ, что во мнѣ дѣлается. Это страшно, потому что я не могу ничего переменить... Все покрывается туманомъ, въ груди трепеть, боль. Зачѣмъ я встрѣтилась съ Вольдемаромъ?..

26 *іюня.* Какъ все странно и перепутано въ людскихъ понятіяхъ! Подумаешь иногда и не знаешь: сердиться ли, или хохотать. Мнѣ сегодня пришло въ голову, что самоотверженнѣйшая любовь—высочайшій эгоизмъ, что высочайшее смиреніе, что кротость—страшная гордость, скрытая жесткость; мнѣ самой дѣлается страшно отъ этихъ мыслей, такъ, какъ бывало, маленькой дѣвочкой, я считала себя уродомъ, преступницей за то, что не могла любить Глафиры Львовны и Алексѣя Абрамовича; что же мнѣ дѣлать, какъ оборониться отъ своихъ мыслей и зачѣмъ? Я не ребенокъ. Дмитрій не обвиняетъ меня, не упрекаетъ, ничего не требуетъ; онъ сдѣлался еще нѣжнѣе. *Еще!* вотъ въ этомъ-то еще и видно, что все это неестественно, не такъ; въ этомъ столько гордости и униженія для меня и такая даль отъ пониманья. Онъ очень страдаетъ, но что же сказать о той женщинѣ, которая за любовь платитъ отравой? Да, Боже мой, хотѣла ли я этого! Я говорила съ нимъ откровеннѣе, нежели бы это сдѣлала другая женщина; онъ, видимо, уступаетъ, но въ то же время у него накапливается совсѣмъ другое въ душѣ и онъ не совладаетъ съ этимъ другимъ.

27 *іюня.* Его грусть принимаетъ видъ безвыходнаго отчаянія. Въ тѣ дни послѣ грустныхъ разговоровъ являлись минуты нѣсколько посвѣтлѣе. Теперь нѣтъ. Я не знаю, что мнѣ дѣлать. Я

изнемогаю. Много надобно было, чтобъ довести этого кроткаго человѣка до отчаянія, я довела его, я не умѣла сохранить эту любовь. Онъ не вѣритъ больше словамъ моей любви, онъ гибнетъ. Умереть бы мнѣ теперь... сейчасъ, сейчасъ бы умерла!

Я начинаю себя презирать; да, хуже всего, непонятнѣе всего, что у меня совѣсть покойна; я нанесла страшный ударъ чело-вѣку, котораго вся жизнь посвящена мнѣ, котораго я люблю, и я сознаю себя только несчастной; мнѣ кажется, было бы легче, если-бъ я поняла себя преступной, о, тогда бы я бросилась къ его ногамъ, я обвила бы моими руками его колѣни, я раская-ніемъ своимъ загладила бы все: раскаяніе выводитъ всѣ пятна на душѣ. Онъ такъ нѣженъ, онъ не могъ бы противиться, онъ меня бы простилъ, и мы, выстрадавши другъ друга, были бы еще счастливѣе. Что же это за проклятая гордость, которая не допускаетъ раскаянія въ душу. Мнѣ хотѣлось бы теперь быть одной, гдѣ-нибудь вдаль,—только бы Яшу взяла съ собой; я бродила бы гдѣ-нибудь между чужими людьми и окрѣпла бы... Ты не найдешь, Дмитрій, примиренія въ своей душѣ. Ахъ, другъ мой, я отдала бы всю кровь мою до послѣдней капли, если-бъ ты могъ, хотѣлъ понять меня; какъ тебѣ было бы хорошо! Ты падешь жертвой твоего восторженнаго непониманья, я пойду за тобой въ эту пропасть, пойду, потому что люблю тебя, потому что подземныя силы меня избрали для твоей гибели. Подчасъ мнѣ кажется, что два-три слова съ Вольдемаромъ облегчили бы меня, и я боюсь искать случая съ нимъ видѣться. Вотъ что сдѣ-лали толки! Они успѣли бросить страхъ и въ меня, успѣли отравить свѣтлое и благородное чувство. Да отпустится имъ! Семенъ Ивановичъ косвенно читалъ мнѣ мораль... О, добрый Семенъ Ива-новичъ! Мнѣ такъ жаль его было; ничего не понимаетъ, говорить о святыхъ обязанностяхъ матери... Неужели ему не приходится въ голову, что я иногда думала объ этомъ? Участіе людское оскор-бительнѣе людского холода... Дружба считаетъ лучшимъ правомъ своимъ привязать друга къ позорному столбу... Потомъ требовать исполненія совѣтовъ, какъ бы они ни были противны тому, ко-торому совѣтуютъ... Ахъ, какъ все это мелко! Фу, душно, какъ въ маленькой комнаткѣ, когда всѣ окна закрыты, да еще мухи летаютъ!..

Если-бъ Бельтовъ не пріѣзжалъ въ NN, много бы прошло счастливыхъ и покойныхъ лѣтъ въ тихой семьѣ Дмитрія Яков-левича,—конечно, но это не утѣшительно; идучи мимо обгорѣлаго дома, почернѣвшаго отъ дыма, безъ рамъ, съ торчащими тру-бами, мнѣ самому приходило иной разъ въ голову: если-бъ не

запала искра, да не раздулась бы въ пламень, домъ этотъ простоялъ бы много лѣтъ и въ немъ бы пировали, веселились, а теперь онъ груда камней.

Повѣсть наша собственно кончена; мы можемъ остановиться, предоставляя читателю разрѣшить: *кто виноватъ?*

Но есть еще нѣсколько подробностей, которыя кажутся намъ довольно занимательными; позвольте ими подѣлиться. Обращаемся сначала къ бѣдному Круциферскому.

Круциферскій, вскорѣ послѣ болѣзни своей жены, замѣтилъ, что какая-то мысль ее сильно занимаетъ; она была задумчива, безпокойна... Въ ея лицѣ было что-то болѣе гордое и сильное, нежели всегда. Круциферскому приходили разныя объясненія въ голову, странныя, невѣроятныя; онъ внутренно смѣялся надъ ними, но они возвращались.

Разъ какъ-то она сидѣла съ Яшей, вдругъ въ передней стукнула дверь и кто-то спросилъ: дома? Это Бельтовъ, сказалъ Круциферскій, поднимая глаза, и глаза его встрѣтили легкій румянецъ на лицѣ Любви Александровны и оживленный взглядъ, который, кажется, былъ не для него такъ оживленъ. Онъ содрогнулся и промолчалъ. Онъ очень хорошо зналъ, что жена его была въ большой дружбѣ съ Бельтовымъ, и нисколько не удивлялся этому; но этотъ взглядъ, но эта краска, пробѣжавшая по ея лицу? Неужели? думалъ онъ, и снова посмотрѣлъ на то, что дѣлалось. Бельтовъ ласкалъ Яшу; но что за взоръ, исполненный нѣжности и страсти, онъ остановилъ на матери! Въ этомъ взорѣ одинъ слѣпой не прочелъ бы любви, любви пламенной, и еще болѣе любви счастливой. Она стояла, потупивши глаза, руки ея немного дрожали, ей, кажется, было очень хорошо. Дмитрій Яковлевичъ, сказавши нѣсколько словъ, вышелъ въ другую комнату. Неужели это правда? спрашивалъ онъ себя, испуганный; у него въ головѣ сдѣлался такой сумбуръ, въ ухахъ такой стукъ, что онъ поскорѣ сѣлъ на кровать; посидѣвши минутъ пять, въ которыя онъ ничего не думалъ, а чувствовалъ какое-то нелѣпо-тяжелое состояніе, онъ вошелъ въ комнату; они разговаривали такъ дружески, такъ симпатично, ему показалось, что имъ вовсе его не нужно. Онъ сталъ ходить по комнатѣ и вспоминать разныя мелочи, едва обратившія въ свое время вниманіе, но являвшіяся теперь какъ доказательства, какъ подтвержденія. Когда Бельтовъ пошелъ, она его проводила, она ему улыбнулась, и какъ улыбнулась! «Да, она его любитъ». Сознавшись въ этомъ, онъ съ ужасомъ сталъ отталкивать эту мысль, но она была упорна, она всплыла; мрачное, безумное отчаяніе овладѣло имъ; «вотъ они, мои предчувствія! что мнѣ дѣлать! и ты, и ты не любишь меня!» И онъ рвалъ волосы на головѣ, кусалъ губы, и вдругъ въ его

душѣ, мягкой и пѣжной, открылась страшная возможность злобы, ненависти, зависти и потребность отомстить, и въ дополненіе онъ нашель силу все это скрыть. Настала ночь; ему очень хотѣлось плакать, но не было слезъ: минутами сонъ смыкаль его глаза, но онъ тотчасъ просыпался, облитый холоднымъ потомъ: ему снился Бельтовъ, ведущій за руку Любовь Александровну, съ своимъ взглядомъ любви; и она идетъ, и онъ понимаетъ, что это навсегда,—потомъ опять Бельтовъ, и она улыбается ему, и все такъ страшно; онъ всталъ. На дворѣ разсвѣтало; она спала, лицо ея было покойно; лицо спящаго имѣеть иногда особенную трогательную прелесть, — таково дѣйствительно въ эту минуту было лицо Любви Александровны, и вдругъ улыбка показалась на устахъ. «Она видитъ его во снѣ», подумаль Круциферскій и посмотрѣль на нее съ такою ненавистью, съ такимъ звѣрствомъ, что, не имѣй онъ миролюбивыхъ привычекъ нашего вѣка, онъ задушилъ бы ее не хуже венеціанскаго мавра: у насъ трагедіи оканчиваются не такъ круто. «За эту безпредѣльную любовь, чѣмъ она заплатила? О, Боже мой, Боже мой!—за такую любовь!» повторяль онъ и, какъ будто, желаль уйти отъ себя и отъ страшныхъ искушеній; онъ подошелъ къ кровати.

Яша разбросался, подложилъ рученку подъ щеку и крѣпко спалъ. «Ты скоро останешься сиротой», думаль, стоя передъ нимъ, Дмитрій Яковлевичъ: «бѣдный Яша!.. Я тебѣ больше не отецъ, не могу и не хочу перенести этого, бѣдный ребенокъ! поручаю тебя Заступнику всѣхъ сиротъ... Какъ онъ похожъ на нее!» — Онъ заплакаль. Слезы, молитва и покойный видъ спящаго Яши нѣсколько облегчили страдальца; толпа совѣтъ иныхъ мыслей явилась въ размягченной душѣ его. «Да правъ ли я, что обвиняю ее? Развѣ она хотѣла его полюбить? И притомъ онъ... я чуть ли самъ не влюбленъ въ него...» И нашъ восторженный мечтатель, сейчасъ безумный ревнивецъ, карающій мужъ, вдругъ рѣшился самоотверженно молчать. «Пусть она будетъ счастлива, пусть она узнаеть мою самоотверженную любовь, лишь бы мнѣ ее видѣть, лишь бы знать, что она существуетъ; я буду ея братомъ, ея другомъ!» И онъ плакаль отъ умиленія, и ему стало легче, когда онъ рѣшился на гигантскій подвигъ, — на безпредѣльное пожертвованіе собою, и онъ тѣшился мыслию, что она будетъ тронута его жертвой; но это были минуты душевной натянутости; онъ менѣе, нежели въ двѣ недѣли, изнемогъ, палъ подъ бременемъ такой ноши.

Не станемъ винить его, подобныя противуестественныя добродѣтели, преднамѣренныя самозакланія вовсе не по натурѣ человека и бывають большею частію только въ воображеніи, а не на дѣлѣ. На нѣсколько дней его стало; но первая мысль, ослабив-

шая его героизмъ, была холодная и узкая: «она думаетъ, я ничего не вижу, она хитритъ, она притворяется». О комъ думалъ онъ это? О женщинѣ, которую онъ такъ любилъ, такъ уважалъ, которую долженъ бы былъ знать,—да не знать. Потомъ внутренняя тоска, снѣдавшая его сама по себѣ, стала прорываться въ словахъ, потому что слова облегчаютъ грусть,—это повело къ объясненіямъ, въ которыхъ ни онъ не умѣлъ остановиться, ни Любовь Александровна не захотѣла бы. Тяжело ему стало послѣ разговоровъ съ нею, онъ миновалъ быть съ глазу на глазъ, и между тѣмъ въ отшельнической жизни своей они почти всегда были вдвоемъ. Онъ пробовалъ больше заниматься, но ему наука не шла въ голову, книга не читалась, или пока глаза его читали, воображеніе вызывало свѣтлыя воспоминанія былаго, и часто слезы лились градомъ на листы какого-нибудь ученаго трактата. Въ душѣ его открылась какая-то пустота, которой предѣлы словно раздвигались съ каждымъ часомъ и жить съ которой было невозможно. Онъ сталъ искать разсѣянія. Мы видѣли въ журналѣ, какъ онъ возвратился въ Ивановъ день съ вечера ученаго друга своего Медузина.

Кстати, для отдыха отъ патетическихъ мѣстъ, пойдите въ ученую бесѣду Медузина, и начнемъ съ того, безъ чего войти въ нее нельзя: познакомимся съ почтеннымъ хозяиномъ. Знакомство это такъ пріятно, что мы отдѣлимъ его въ новую главу.

VI.

Иванъ Аванасьевичъ Медузинъ, учитель латинскаго языка и содержатель частной школы, былъ прекраснѣйшій человекъ и вовсе не похожъ на Медузу, снаружи потому, что онъ былъ плѣшивъ, внутри потому, что онъ былъ полонъ не злобой, а настойкой. Медузинымъ его назвали въ семинаріи, во-первыхъ, потому, что надобно было какъ-нибудь назвать, а, во-вторыхъ, потому, что у будущаго ученаго мужа волосы торчали всѣ врознь и отличались необыкновенной толщиной, такъ что ихъ можно было принять за проволоки, но сокрушающая сила времени «и вѣтеръ ихъ разнесъ». Изъ семинаріи Иванъ Аванасьевичъ, сверхъ пріятной мѣологической фамиліи, вынесъ то прочное образованіе, которое обыкновенно сопровождаетъ семинаристовъ до послѣдняго дня ихъ жизни и кладетъ на нихъ ту самобытную печать, по которой вы узнаете бывшаго семинариста во всѣхъ нарядахъ. Аристократическія манеры не были отличительнымъ свойствомъ Медузина: онъ никогда не могъ рѣшиться ученикамъ говорить *вы* и не прибавлять въ разговорѣ словъ, мало употребляемыхъ въ высшемъ обществѣ. Ивану Аванасьевичу было лѣтъ пятьде-

сятъ. Сначала онъ былъ учителемъ въ разныхъ домахъ, наконецъ, дошелъ до того, что завелъ свою собственную школу. Однажды пріятель его, учитель, тоже изъ семинаристовъ, по прозванію Кафернауумскій, отличавшійся тѣмъ, что у него съ самаго рожденія не проходилъ потъ и что онъ въ 30 градусовъ мороза безпрестанно утирался, а въ 30° жара у него просто открывалась капель съ лица, встрѣтивъ Ивана Аванасьяча въ классѣ, сказалъ ему, нарочно при свидѣтеляхъ:

— «А вѣдь, кажется, Иванъ Аванасьячъ, день тезоименитства вашего, если не ошибаюсь, приближается. Конечно, мы отпразднуемъ его и нынѣ по принятому уже вами обыкновенію?»

— Увидимъ, почтеннѣйшій, увидимъ, отвѣчалъ Иванъ Аванасьяевичъ съ усмѣшкою, и на этотъ разъ рѣшился почему-то великолѣпнѣе обыкновеннаго отпраздновать свои именины.

Хозяйство Ивана Аванасьяевича не было *монтировано*. Онъ жилъ лѣтъ пятнадцать безвыѣздно въ NN, но можно было думать, что онъ только вчера пріѣхалъ въ городъ и не успѣлъ ничего завести. Это было не столько отъ скупости, сколько отъ совершеннаго невѣдѣнія вещей, потребныхъ для человѣка, живущаго въ гражданскомъ обществѣ. Приготовляясь дать балъ, онъ осмотрѣлъ свое хозяйство: оказалось, что у него было шесть чайныхъ чашекъ, изъ нихъ двѣ превратились въ стаканчики, потерявъ единственныя ручки свои; при нихъ всѣхъ состояли три блюдечка; былъ у него самоваръ, нѣсколько тарелокъ, колеблющихся на столѣ, потому что кухарка накупила ихъ изъ браку, два стаканчика на ножкахъ, которые Медузинъ скромно называлъ «своими водочными рюмками», три чубука, заткнутыхъ какой-то грязью, вѣроятно, чтобъ не было сквознаго вѣтра внутри ихъ. Вотъ и все. А онъ назвалъ всѣхъ школьныхъ учителей: долго думалъ онъ, какъ быть, и, наконецъ, позвалъ кухарку свою Пелагею (замѣьте, что онъ ее никогда не называлъ Палагеей, а какъ слѣдуетъ Пелагеей; равно слова четвертокъ и пятокъ онъ не замѣнялъ извѣженными четвергъ и пятница).

Пелагея была супруга одного храбраго воина, ушедшаго черезъ недѣлю послѣ свадьбы въ милицію и съ тѣхъ поръ не сыскавшаго времени ни воротиться, ни написать вѣсть о смерти своей, чѣмъ самымъ онъ оставилъ Пелагею въ весьма непріятномъ положеніи вдовы, состоящей въ подозрѣніи, что ея мужъ живъ. Я имѣю тысячу причинъ думать, что толстая, высокая, повязанная платкомъ и украшенная бородавками и очень темными бровями, Пелагея имѣла въ завѣдываніи своемъ не только кухню, но и сердце Медузина; но я вамъ ихъ не скажу потому, что тайны частной жизни для меня священны. Она явилась. Онъ объяснилъ ей свое затруднительное положеніе.

— «Экъ, вѣдь, лукавый-то васъ, отвѣчала Пелагея,—а туда же ученые! Какъ, прости Господи, мальчишка точно не разумный, эдакую араву назвать, а другой разъ десяти копеекъ на портюмойное не выпросишь! Что теперь станемъ дѣлать? Передъ людьми-то срамъ: точно погорѣлое мѣсто».

— Пелагея! возрази.ль громкимъ голосомъ Медузинъ:—не употребляй во зло терпѣніе мое; именины править съ друзьями хочу и сдѣлаю; возраженій бабьихъ не терплю.

Вліяніе Цицерона было бы замѣтно каждому, но Пелагея, взволнованная вѣстью о праздникѣ, не думала о Цицеронѣ.

— «Конечно, мы и замолчимъ; дѣло ваше, хоть въ окно бросайте деньги, коли блесиръ доставляетъ. Дайте пятьдесятъ рублей, всего искуплю, кромѣ напитковъ».—Пелагея очень хорошо знала, что Медузину не понравится ея отвѣтъ, а потому, сказавши это, она съ глубокимъ чувствомъ собственного достоинства подперла одну руку другой, а первой рукой щеку и спокойно ожидала дѣйствія своихъ словъ.

— Пятьдесятъ рублей на эту дрянъ! Да ты того, хватила, что-ли, черезъ край? Пятьдесятъ рублей безъ напитковъ! Вздоръ какой! баба глупая! никакого совѣта не умѣетъ дать! Такъ ступай же къ отцу Іоаникію пригласить его ко мнѣ 24 числа, и попроси у него посуды на вечеръ.

— «Куда хорошо по дворамъ шпаться за посудой!»

— Пелагея! знакомый тебѣ это человѣкъ? спросилъ Медузинъ, указывая на сучковатую трость въ углу.

Пелагея, увидѣвшись съ знакомымъ, пошла въ кухню надѣть капоть, шелковый платокъ, и потомъ съ ворчаніемъ отправилась къ отцу Іоаникію; а Медузинъ сѣлъ за письменный столъ и просидѣлъ съ часъ въ глубокой задумчивости; потомъ вдругъ «обшелся посредствомъ» руки, схватилъ бумагу и написалъ, — вы думаете комментарій къ Энеидѣ или къ Евтропѣевой краткой исторіи—и ошибается... Вотъ онъ что написалъ:

1. Россійская грамматика и логика много употребл.
2. Исторія и географія употребляетъ довольно
3. Чистая математика плохъ
4. Французскій языкъ виногради. много.
5. Нѣмецкій языкъ пива очень много.
6. Рисованіе и чистописаніе одну частойку.
7. Греческій языкъ ¹⁾ все употребляетъ.

Послѣ этихъ антропологическихъ отмѣтокъ, Иванъ Аванасевичъ написалъ соотвѣтственную имъ программу:

¹⁾ У меня было написано отецъ законоучитель... цензура замѣнила его греческимъ учителемъ!

Ведро сантуринскаго	16	руб.	коп.
$\frac{1}{3}$ ведра настойки	8	>	>
$\frac{1}{3}$ ведра пива	4	>	>
2 бутылки меду	—	>	50
Судацкаго 10 бутылокъ	10	>	>
3 бутылки ямайскаго	4	>	>
Сладкой водки штофъ	2	>	50

Итого: 45 руб. —

Медузинъ былъ доволенъ смѣтой: не то чтобъ очень дорого, а выпить довольно; сверхъ того, онъ ассигновалъ значительныя деньги на покушку вязиги для пироговъ, ветчины, паюсной икры, лимоновъ, селедокъ, курительнаго табаку и мятныхъ пряниковъ,— послѣднее уже не по необходимости, а изъ роскоши.

Гости собрались въ седьмомъ часу. Въ девять съ Кафернаузмскаго шелъ уже проливной дождь; въ десять учитель географіи, разговаривая съ учителемъ французскаго языка о кончинѣ его супруги, померъ со смѣху и не могъ никакъ понять, что собственно смѣшнаго было въ кончинѣ этой почтенной женщины: но всего замѣчательнѣе то, что и французъ, неутѣшный вдовецъ, глядя на него, расхохотался, несмотря на то, что онъ употреблялъ одно виноградное. Медузинъ показывалъ самъ примѣръ гостямъ: онъ пилъ безпрестанно и все, что ни подавала Пелагея,—пуншъ и пиво, водку и сантуринское, даже успѣлъ хватить стаканъ меду, котораго было только двѣ бутылки; ободренные такимъ примѣромъ гости не отставали отъ хозяина. Одинъ Круциферскій, приглашенный хозяиномъ для почета, потому что онъ принадлежалъ къ высшему ученному сословію въ городѣ, одинъ Круциферскій не бралъ участія въ общемъ шумѣ и гамѣ: онъ сидѣлъ въ углу и курилъ трубку. Зоркій взглядъ хозяина добрался, наконецъ, до него.

— Дмитрій Яковлевичъ, вы то что же пуншику-то съ лимончикомъ!... ну, что, право, сидите, голову повѣся, сами не пьете, другимъ мѣшаете.

— «Вы знаете, Иванъ Аеанасьевичъ, что я никогда не пью».

— И знать, любезнѣйшій мой, не хочу такого вздору, пьешь не пьешь, а съ друзьями выпить надобно: дружеская бесѣда, да... Пелагея, подай стаканъ пуншу, да гораздо покрѣпче. Послѣднее замѣчаніе, вѣроятно, хозяинъ осповалъ на томъ, что Круциферскій и послабже не хотѣлъ.

Принесла Пелагея стаканъ кизлярки, въ которой лежалъ должно быть мертво пьяный кусокъ лимону и въ которой безслѣдно пропали нѣсколько чайныхъ ложекъ кипятку. Круциферскій взялъ стаканъ, чтобъ отдѣлаться отъ хозяина, въ надеждѣ, что найдетъ случай три четверти выплеснуть за растворенное

окно. Это было не такъ легко, потому что Медузинъ, посадивши кого-то за себя поиграть въ бостонъ, подсѣлъ къ Круциферскому.

— Вотъ, Дмитрій Яковлевичъ, я тебѣ искренно скажу, ты меня обязалъ, истинно дружески обязалъ, а то какъ въ твои лѣта, сидишь дома на заперти; конечно, у тебя есть тамъ хозяйюшка молодая, ну, да вѣдь надобно же и въ свѣтъ-то иной заглянуть. Ну, дай же, Дмитрій Яковлевичъ, я тебя за это поцѣлую, — и не дожидаясь разрѣшенія и несмотря на то, что отъ него пахло точно изъ растворенной двери питейнаго дома, вылитогографировалъ довольно отчетливо толстыя губы свои на щекѣ Круциферскаго. А вслѣдъ за тѣмъ, не говоря худаго слова, обнялъ Дмитрія Яковлевича и Кафернауемскій, съ котораго потъ лился ручьями. Желая просушить лицо, безъ явной обиды со-брату по просвѣщенію юношества, Круциферскій отошелъ въ уголь и вынулъ платокъ. Спиную съ нему стоялъ неутѣшный вдовецъ и учитель французскаго языка съ Густавомъ Ивановичемъ, учителемъ нѣмецкаго языка, который въ сію минуту былъ налить пивомъ до конца ногтей и курилъ трубку съ перышкомъ. Ни тотъ, ни другой не замѣтили Круциферскаго и продолжали въ полголоса разговоръ. Само собою разумѣется, что Круциферскому вовсе не хотѣлось подслушать, что они говорятъ, но фамилія Бельтова, произнесенная довольно громко, рядомъ съ его собственной, заставила его вздрогнуть и инстинктивно прислушаться.

— Это старый штукаъ, говорилъ французъ, поглядивши какъ то всѣ русскія буквы:—и если Адаи' не носилъ рокъ, то это отъ того, что онъ билъ одна мушина въ Эденъ.

— Та, отвѣчалъ Густавъ Ивановичъ:—та! этотъ Цельгтофъ, это точна Тонъ Шуанъ,—и черезъ минуту громко расхохотался; минуту эту, по нѣмецкому обычаю, онъ провелъ въ глубокомысленномъ обсуживаніи, что сказалъ французскій учитель объ Адамъ; добравшись, наконецъ, до смысла, Густавъ Ивановичъ громко расхохотался и, вынимая изъ чубука перышко, совершенно разгрызенное его германскими зубами, присовокупилъ съ большимъ довольствомъ: «*ich habe die Pointe, sehr gut!*»

Но наибольшее дѣйствіе этотъ рассказъ сдѣлалъ не на Густава Ивановича, а на человѣка, который почти не слыхалъ его, т. е. на Круциферскаго. Что это значитъ, эти двѣ фамиліи, рядомъ поставленныя? Да какъ же это, неужели страшная тайна, которую онъ едва подозрѣвалъ, въ которой онъ себѣ не смѣлъ признаться, сдѣлалась площадною сплетней? Да точно ли они говорили это? Конечно, говорили,—и вотъ они стоятъ еще на томъ же мѣстѣ и Густавъ Ивановичъ продолжаетъ хохотать... Круциферскому показалось, что у него въ груди что-то оборвалось и

что грудь наполняется горячей кровью, и все она подступает выше и выше, и скоро хлынет ртомъ... Голова у него кружилась, передъ глазами прыгали огоньки, онъ боялся встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь взглядомъ, онъ боялся упасть на полъ—и прислонился къ стѣнѣ... Вдругъ чья-то тяжелая рука схватила его за рукавъ; онъ весь содрогнулся; что еще будетъ? думаль онъ.

— Нѣтъ, любезный Дмитрій Яковлевичъ, честные люди такъ не поступаютъ, говорилъ Иванъ Аванасьевичъ, держа одной рукой Круциферскаго за рукавъ, а другою стаканъ пуншу: нѣтъ, дружище! припрятался къ сторонкѣ, да и думаешь, что правъ. У меня такой законъ: бери, не бери, твоя воля, а взялъ, такъ пей.

Круциферскій, долго всматриваясь и вслушиваясь—въ родѣ того, какъ Густавъ Ивановичъ изучалъ замѣчаніе французскаго учителя,—наконецъ смутно понялъ, въ чемъ дѣло, взялъ стаканъ, выпилъ его разомъ, и расхохотался.

— Вотъ люблю, можно чести приписать; каковъ? а говорить, не пью, экой хитрецъ. Ну, Дмитрій Яковлевичъ, Митя, выпей еще стаканчикъ... Пелагея, присококупилъ Медузинъ, вытаскивая изъ стакана Круциферскаго собственнымъ (обходительнымъ) пальцемъ своимъ кусокъ лимона:—еще пуншу, да покрѣпче... Выпьешь?

— «Давайте».

— Bravo, bravo! И Медузинъ только потому не поцѣловаль Круциферскаго, что ротъ его былъ занятъ лимономъ, который онъ съѣлъ съ кожей и съ косточками, прибавляя въ видѣ объяснительной комментаріа: «кисленькое то славно, когда фундаментъ выведенъ».

Пуншъ принесли, Круциферскій выпилъ его, какъ стаканъ воды. Никто не замѣтилъ, что онъ былъ блѣденъ какъ воскъ, и что посинѣлыя губы у него дрожали, можетъ потому, что гостямъ казалось, что весь земной шаръ дрожить.

Между тѣмъ, какъ дѣло шло на пулюку, неутомимая Пелагея принесла на маленькій столикъ подносъ съ графиномъ и стаканчиками на ножкахъ, потомъ тарелку съ селедками, пересыпанными лукомъ. Селедки хотя и были нарублены поперекъ, но впрочемъ не лишены ни позвоночнаго столба, ни реберъ, что имъ придавало особенную, очень пріятную остроту. Игра кончилась мелкимъ проигрышемъ и крупнымъ ругательствомъ между людьми, жившими вмѣстѣ цѣлый бостонъ. Медузинъ былъ въ выигрышѣ, а, слѣдовательно, въ самомъ лучшемъ расположеніи духа.

— Полноте, полноте! кричалъ онъ. Пойдемте-ка лучше, да съ Божьимъ благословеніемъ, хватимте кантафреснаго.

Иванъ Аванасьевичъ постоянно называлъ настойку кантафреснымъ, почему, не знаю, но полагаю—по достаточнымъ и вѣрнымъ латинскимъ источникамъ.

Гости отправились къ столу.

— Дмитрій Яковлевичъ! ужъ вѣрно ты не откажешься и отъ кантафреснаго?

— «Давайте и кантафреснаго», отвѣчала Круциферскій и опрокинула въ горло огромную рюмку пѣнника, испорченнаго разными травами, отвратительными на вкусъ и полезными, какъ думаютъ легковѣрные люди, для желудка.

Восторгъ гостей былъ неописанный; но Пелагея принесла баснословной величины пирогъ съ вязигой... Я, впрочемъ, полагаю, что мы довольно ознакомились съ характеромъ валтасаровскаго праздника, которымъ Медузинъ праздновалъ свое тезоименитство; тѣмъ болѣе не считаю нужнымъ описывать продолженіе его, что могу увѣрить читателей въ томъ, что праздникъ продолжался совершенно въ томъ же направленіи и на тѣхъ же основаніяхъ.

На другой день Круциферскій имѣлъ длинный разговоръ съ Любовью Александровной; она поднялась въ его глазахъ опять такъ высоко, такъ недосыгаемо высоко, онъ былъ способенъ понять и оцѣнить ее... Но что-то отлетѣло между ними и страшная мысль: «объ этомъ говорятъ», уничтожала его. Онъ, впрочемъ, насчетъ этого не сказалъ ей ни слова; ему было тяжело съ ней говорить и онъ торопился въ гимназію; пришедши туда прежде окончанія другой лекціи, онъ стоялъ у окна въ рекреационной залѣ. Давно ли онъ такъ спокойно смотрѣлъ изъ этого окна, давно ли, на верху человѣческаго счастья, онъ такъ торопился бѣжать домой? И вдругъ все перемѣнилось: онъ хотѣлъ бы бѣжать изъ дому... И между тѣмъ онъ былъ подавленъ ея величіемъ и силой, онъ понималъ, что она страдаетъ не меньше его, но что она скрываетъ эти страданія изъ любви къ нему... Изъ любви ко мнѣ! Но развѣ она любитъ меня, развѣ можно любить бревно, лежащее на дорогѣ къ счастью?.. Зачѣмъ я не умѣлъ скрыть, что все знаю; если-бъ я былъ осторожнѣе, она не столько бы страдала; а я все сдѣлалъ бы, чтобъ она была счастлива; но что же дѣлать; бѣжать, бѣжать—куда?

.

Его остановилъ Анемподистъ Кафернаумскій. Онъ, видимо, еще не оправился отъ вчерашняго раута; глаза у него были красны и окружены какимъ-то пухлымъ кругомъ, какъ бываетъ луна зимою въ морозные дни, на щекахъ и носѣ проступали сизыя пятна.

— Что, почтеннѣйшій, сказалъ Кафернаумскій, отирая потъ съ лица:—трещить?

Круциферскій промолчалъ.

— Я самъ едва живъ.

Видала ль ты обломки корабля?
Видала, но почто? Се жизнь теперь моя...

— Каковъ-съ Медузинъ-то? Старый песь, расходился какъ!
Да вы, Дмитрій Яковлевичъ, поправлялись? То есть, клинъ
клиномъ-то...

— «Какъ, поправлялся ли?»

— А вотъ, я вамъ покажу какъ; и видно, что еще новичекъ!
Пойдемте-ка ко мнѣ. Я, вѣдь, тутъ возлѣ живу--

Ради рома и арака
Посѣти домишко мой.

Круциферскій отправился къ Кафернаускому. Зачѣмъ? Этого
онъ самъ не зналъ. Кафернаускій, вмѣсто рома и арака, пред-
ложилъ рюмку пѣннику и огурцы. Круциферскій выпилъ и, къ
удивленію, увидѣлъ, что, въ самомъ дѣлѣ, у него на душѣ стало
легче; такое открытіе, разумѣется, не могло быть болѣе кстати,
какъ въ то время, когда безвыходное горе разъѣдало его.

.

Часовъ въ десять съ небольшимъ Семень Ивановичъ Круповъ
явился въ небольшую залу «города Кересбергъ» и принялся про-
хаживаться взадъ и впередъ, съ лицомъ озабоченнымъ и сердитымъ.
Минутъ черезъ пять, дверь изъ комнаты Бельтова отвори-
лась и вышелъ Григорій, со щеткой въ рукѣ и съ пальто на
рукѣ.

— Что, небось, еще спить?

«Сейчасъ проснулись», отвѣчалъ Григорій.

— Скажи ему, что я пришелъ и имѣю до него дѣло.

— «Семень Ивановичъ! закричалъ Бельтовъ:—Семень Ивано-
вичъ! милости просимъ»,—и показался въ дверяхъ.

— Имѣете вы, спросилъ онъ:—полчаса времени для меня?

— «Хоть цѣлый день!» отвѣчалъ Бельтовъ.

— Да не помѣшалъ ли я вамъ? Вы, кажется, по утрамъ за-
нимаетесь политической экономіей, что ли? Старикъ нисколько
не скрылъ ироническій тонъ вопроса.

— «Вы, кажется, сегодня и рано встали съ постели, да только
лѣвой ногой», замѣтилъ Бельтовъ, до высочайшей степени кротко
принимавшій замѣчанія стараго ворчуна.

— Стало, я всталъ съ той ноги, съ которой хотѣлъ.

— «Итакъ», сказалъ Бельтовъ, указывая на дверь.

Круповъ молча вошелъ въ нее.

— Владиміръ Петровичъ! началъ Круповъ, и сколько онъ ни
хотѣлъ казаться холоднымъ и снокойнымъ, не могъ,—я пришелъ

съ вами поговорить не сбрызгу, а очень подумавши о томъ, что дѣлаю. Больно мнѣ вамъ сказать горькія истины, да, вѣдь, не легко и мнѣ было, когда я ихъ узналъ. Я на старости лѣтъ остался въ дуракахъ; такъ ошибся въ человѣкѣ, что мальчику въ шестнадцать лѣтъ надобно было бы краснѣть.

Бельтовъ смотрѣлъ на старика съ удивленіемъ.

— Коли я ужъ началъ говорить, такъ буду, какъ македонскій солдатъ, вещи называть своимъ именемъ, а тамъ, что будетъ, не мое дѣло; я старъ, однако трусомъ меня никто не назоветъ, да и я, изъ трусости, не назову неблагороднаго поступка—благороднымъ.

— «Послушайте, Семень Ивановичъ! я увѣренъ, что вы не трусь, да еще болѣе увѣренъ въ томъ, что и меня вы не считаете за труса; но мнѣ бы очень было неприятно стать въ необходимость доказывать это вамъ, котораго я искренно уважаю; я вижу, вы раздражены, а потому, чтобы ни было, сдѣлаемте условіе не употреблять грубыхъ выраженій; они имѣютъ странное свойство надо мной: они меня заставляютъ забыть все хорошее въ томъ, кто унижается до ругательствъ. Бранью вы ничего не объясните, а потому къ дѣлу, и извините за aviso».

— Хорошо-съ; я буду, милостивый государь, вѣжливъ, чрезвычайно вѣжливъ. Позвольте мнѣ имѣть смѣлость, Владиміръ Петровичъ, васъ спросить,—знаете вы или нѣтъ, что вы разрушили счастье семьи, на которую я четыре года ходилъ радоваться, которая мнѣ замѣняла мою собственную семью; вы отравили ее, вы сдѣлали разомъ четырехъ несчастныхъ. Изъ сожалѣнія къ вашему одиночеству, я ввелъ васъ въ эту семью; васъ приняли, какъ родного, васъ отогрѣли тамъ, а вы чѣмъ отблагодарили? Изволите знать, мужъ не нынче, завтра повѣсится или утопится, не знаю, въ водѣ или въ винѣ; она будетъ въ чахоткѣ, за это я вамъ отвѣчаю; ребенокъ останется сиротою на чужихъ рукахъ, — и, въ довершеніе, весь городъ трубить о вашей побѣдѣ. Позвольте же и мнѣ васъ поздравить!—Благородный старикъ дрожалъ отъ гнѣва, говоря послѣднія слова.—А, можетъ, вамъ это ничего съ высшей точки зрѣнія? прибавилъ онъ, погода немного.

Бельтовъ всталъ съ дивана и быстро ходилъ по комнатѣ; потомъ онъ вдругъ остановился передъ старикомъ.

— «Позвольте мнѣ васъ теперь спросить, кто вамъ далъ право такъ дерзко и такъ грубо дотрогиваться до святѣйшей тайны моей жизни? Почему вы знаете, что я не вдвое несчастнѣе другихъ? Но я забываю вашъ тонъ; извольте, я буду говорить. Что вамъ отъ меня надобно знать? Люблю ли я эту женщину? Я люблю ее! Да, да! тысячу разъ повторяю вамъ: я люблю всѣми силами души моей эту женщину! Я ее люблю, слышите?»

— Такъ зачѣмъ же вы ее губите? Если-бъ вы были человѣкъ съ душою, вы остановились бы на первой ступени, вы не дали бы замѣтить своей любви! Зачѣмъ вы не оставили ихъ домъ? Зачѣмъ?

— «Вы проще спросите: зачѣмъ я живу вообще? Дѣйствительно, не знаю! Можетъ для того, чтобъ сгубить эту семью, чтобъ погубить лучшую женщину, которую я встрѣчалъ. Вамъ все это легко и спрашивать, и осуждать. Видно въ васъ сердце-то смолоду билось тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь въ воспоминаніи. Извольте, я буду отвѣчать на ваши вопросы. Да! я чувствую теперь потребность не оправдываться—я не признаю надъ собою суда, кромѣ меня самого—а говорить; да сверхъ того, вамъ нечего больше мнѣ сказать: я понялъ васъ; вы будете только пробовать тѣ же вещи облекать въ болѣе и болѣе оскорбительную форму; это, наконецъ, раздражитъ насъ обоихъ, а, право, мнѣ не хотѣлось бы поставить васъ на барьеръ, между прочимъ потому, что вы нужны, необходимы для этой женщины».

— Говорите, говорите: я буду слушать.

— «Я пріѣхалъ сюда въ одну изъ самыхъ тяжелыхъ эпохъ моей жизни. Въ послѣднее время я разстался съ заграничными друзьями; здѣсь не было ни одного человѣка, близкаго мнѣ; я толкнулся къ нѣкоторымъ въ Москвѣ—ничего общаго! Это укрѣпило меня еще болѣе въ намѣреніи ѣхать въ NN. Вы знаете, что здѣсь было, и весело ли я жилъ? Вдругъ я встрѣчаю эту женщину... Вы ее любите, уважаете, но вы ее совсѣмъ не знаете, такъ точно, какъ не знаете меня. Вы дорого оцѣнили ея семейное счастье, ея любовь къ мужу, къ ребенку,—только, не сердитесь,—есть минуты, въ которыя говорятъ не однѣ сладкія истины... Не думайте, чтобы внѣшняя близость или число лѣтъ распечатывали душу одного другому,—нисколько! Очень часто людей, жившихъ лѣтъ двадцать вмѣстѣ, въ гробъ кладутъ чужими, а иногда они и любятъ другъ друга, да не знаютъ; а братственное сочувствіе въ одинъ мигъ раскрываетъ въ десять разъ больше. Къ тому же, по вашей привычкѣ морализировать, вы на нее смотрѣли докторально сверху внизъ; а я, изумленный необычайной силой ея, я склонялся передъ ней. Удивительное существо! Какъ это сдѣлалось въ ней, что тѣ результаты, за которые я пожертвовалъ полжизнію, до которыхъ добился трудами и мученіями, и которые такъ новы мнѣ казались, что я ими дорожилъ, принималъ ихъ за нѣчто выработанное, были для нея простыми, само собою понятными истинами: они ей казались обыкновенны. Не знаю, я со многими людьми встрѣчался, у каждаго рано или поздно дойдешь до его горизонта, дойдешь до рва, чрезъ который онъ пересадить не можетъ; въ ней я не видѣлъ этого горизонта.

Какія мгновенія истиннаго блаженства я испыталъ въ эти вечера, когда мы долго бесѣдовали?—Я отдохнулъ за весь холодъ, испытанный въ моей жизни. Первый разъ человекъ узналъ, что такое любовь, что такое счастье и зачѣмъ онъ не остановился? Это, наконецъ, становится смѣшно, столько благоразумія у меня нѣтъ. Да и потомъ это вовсе было не нужно. Когда я отдалъ отчетъ, когда я самъ понялъ—было поздно».

— Да скажите, наконецъ, какая же у васъ цѣль? Ну, что же дальше?

— «Я не думалъ объ этомъ и ничего не могу сказать вамъ».

— Вотъ вамъ передъ глазами зато и лежатъ плоды необдуманности.

— «Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды, что я ждалъ, чтобы вы пришли мнѣ рассказать? Прежде васъ я понималъ, что мое счастье потускло, что эпоха, полная поэзіи и упоенья, прошла, что эту женщину затерзають..., потому что она удивительно высоко стоитъ. Дмитрій Яковлевичъ хорошей человекъ, онъ ее безумно любитъ, но у него любовь манія, онъ себя погубить этой любовью, что-жъ съ этимъ дѣлать?... Хуже всего, что онъ и ее погубить».

— Какъ же, по вашему, ему слѣдовало бы хладнокровно смотрѣть на то, что его жена любитъ другого.

— «Я этого не говорю. Вѣроятно, ему слѣдовало то дѣлать, что онъ сдѣлалъ; каждая натура очень вѣрна себѣ, особенно въ критическія минуты. А знаете, чего ему не слѣдовало дѣлать: сочетать свою жизнь съ женщиной такой силы, какъ она».

— По несчастью, это я ему говорилъ передъ свадьбой, но согласитесь, что теперъ поздно объ этомъ толковать и что до вашего пріѣзда она была счастлива.

— «Семень Ивановичъ, это бы не осталось такъ навсегда. Такого рода недоразумѣнія рано или поздно всплываютъ; какъ это вы такъ непослѣдовательны!»

— Право, это дѣло мудреное! Охъ, то-то не даромъ всегда говорилъ я, что семейная жизнь вещь преопасная, да проповѣдывалъ, какъ Іоаннъ въ пустынѣ; никто меня не слушалъ. Хоть бы вы изъ состраданія просто...

— «Я право не знаю, чего вы отъ меня хотите? Послѣ ея болѣзни, я сталъ замѣчать ея грусть и его нѣмое безвыходное отчаяніе. Я почти пересталъ ходить къ нимъ, вы это знаете, а чего мнѣ это стоило, знаю я; двадцать разъ принимался я писать къ ней и, боясь ухудшить ея состояніе, не писалъ; я бывалъ у нихъ—и молчалъ; въ чемъ же вы меня упрекаете, что вы хотите отъ меня; надѣюсь, что не простое желаніе бросить въ меня нѣсколько оскорбительныхъ выраженій привело васъ ко мнѣ?»

— Владиміръ Петровичъ, ну, докажите же, что вы сильный человѣкъ; я вѣрю, что вамъ это трудно, ну, все же принесите жертву, большую жертву... А мы, можетъ, спасемъ эту женщину; Владиміръ Петровичъ, уѣзжайте отсюда!... И какая-то нѣжность въ тонѣ замѣнила натянутую жесткость... Голосъ у старика дрожалъ. Онъ любилъ Бельтова.

Бельтовъ открылъ свой портфель, порылся въ бумагахъ и подалъ ему начатое письмо. «Прочтите», сказалъ онъ. Письмо было къ матери; онъ извѣщалъ ее о своемъ твердомъ намѣреніи опять ѣхать за границу и притомъ очень скоро.

— «Вы видите, я ѣду. И вы думаете, что вы спасете ее этимъ, спросилъ онъ грустно, качая головой:—добрѣйшій Семень Ивановичъ?»

— Да что же дѣлать? спросилъ Круповъ съ какимъ-то отчаяніемъ.

— «Не знаю, отвѣчалъ Бельтовъ; Семень Ивановичъ, я напишу къ ней письмо и принесу его къ вамъ, вы отдадите, честное слово!»

— Отдамъ, отвѣчалъ Круповъ.

Бельтовъ проводилъ Семена Ивановича, печальнаго и разстроеннаго до дверей.

Потомъ онъ воротился къ своему столику и бросился на диванъ въ какомъ-то совершенномъ безсиліи; видно было, что разговоръ съ Круповымъ нанесъ ему страшный ударъ, видно было, что онъ не могъ еще овладѣть имъ, сообразить, осилить. Часа два лежалъ онъ съ потухнувшей сигарой, потомъ взялъ листъ почтовой бумаги и началъ писать. Написавши, онъ сложилъ письмо, одѣлся, взялъ его съ собою и пошелъ къ Крупову.

— «Вотъ письмо, сказалъ Бельтовъ:—можете вы, Семень Ивановичъ, доставить мнѣ случай съ ней видѣться, при васъ, на двѣ минуты, или нѣтъ?»

— Да зачѣмъ?

— «Что вамъ до этого, хуже отъ этого не будетъ. Если въ васъ когда-нибудь была малѣйшая привязанность ко мнѣ, вы это сдѣлаете».

— Когда вы ѣдете?

— «Завтра утромъ».

— Будьте въ восемь часовъ въ саду.

Бельтовъ пожалъ ему руку.

— А я видѣлъ сегодня *его* въ самомъ жалкомъ положеніи.

— «Перестаньте; ни слова, Семень Ивановичъ, умоляю васъ».

Блѣдная, исхудавшая, съ заплаканными глазами, шла несчастная Любовь Александровна подъ руку съ Круповымъ; она была въ лихорадкѣ, выраженіе ея глазъ было страшно. Она знала,

куда она шла, и знала зачѣмъ. Они пришли къ завѣтной лавочкѣ и сѣли на нее: она плакала, въ рукахъ ея было письмо; Семенъ Ивановичъ, не находившій даже правоучительныхъ замѣчаній, обтиралъ слезу за слезою.

Подошелъ Бельтовъ; все свѣтлое въ лицѣ его исчезло, въ каждой чертѣ видно было нестерпимое страданіе; онъ взялъ ея руку. Онъ былъ похожъ на мертвеца.

— «Прощайте, сказалъ онъ ей едва внятнымъ голосомъ:—я опять скитаться; но наша встрѣча, но вашъ образъ сохранится во мнѣ... Онъ меня утѣшить въ послѣднюю минуту жизни».

«Навсегда?» спросила она.

Онъ молчалъ.

«Боже мой!» сказала она и умолкла. «Прощайте, Вольдемаръ», прибавила она шопотомъ, и потомъ вдругъ, какъ будто силы ея разомъ удесятерились, она встала и, сжимая руку его, сказала громко и ясно: «Вольдемаръ, помните, что вы любимы безпредѣльно... Безпредѣльно любимы, Вольдемаръ!»

Она встала, онъ не удерживалъ ее; въ ней достало духу идти болѣе твердымъ шагомъ, нежели какъ она пришла.

Онъ смотрѣлъ имъ вслѣдъ, провожалъ до-нельзя мельканіе бѣлаго бурнуса между березками. Она не имѣла силы обернуться. Вольдемаръ остался. Да неужели, думалъ онъ, я долженъ оставить ее и навсегда! Онъ положилъ голову на руку, закрылъ глаза и съ полчаса сидѣлъ уничтоженный, задавленный горемъ, какъ вдругъ кто-то его назвалъ по имени; онъ поднялъ голову и едва узналъ общее совѣтничье лицо совѣтника; Бельтовъ сухо поклонился ему.

— Вы, кажется, Владиміръ Петровичъ, приходите сюда отдаваться мечтаніямъ и размышленіямъ.

— «Да, и поэтому люблю быть одинъ».

— Это точно-съ, доложу вамъ, что можетъ быть пріятнѣе для образованнаго человѣка, какъ одиночество, замѣтилъ совѣтникъ, садясь на лавку:—а впрочемъ, есть и компанія иногда не хуже одиночества. Я сейчасъ встрѣтилъ Крупова, Семена Ивановича, онъ такую себѣ подцѣпилъ дамочку.

Бельтовъ всталъ въ ту же минуту, какъ совѣтникъ сѣлъ, и хотѣлъ идти, но онъ его остановилъ послѣдними словами. Насмѣшливый видъ совѣтника очень хорошо показывалъ, съ какою цѣлью онъ это говорилъ. Всего вѣроятнѣе, что онъ и въ садъ попалъ по тайному порученію какой-нибудь Марьи Степановны.

— «Я знаю даму, съ которой шелъ Круповъ», сказалъ Бельтовъ, задыхаясь отъ ярости.

— Да, какъ чай вамъ не знать, ха, ха, ха! замѣтилъ развязный совѣтникъ:—ужъ вы, молодые люди, знаете всѣхъ хорошихъ.

— «Вы или сумасшедшій, или дуракъ! Въ обоихъ случаяхъ прощайте», сказалъ Бельтовъ и отправился по аллеѣ.

— Какъ вы осмѣлились меня такъ назвать! вскричалъ совѣтникъ, покраснѣвши, какъ пюнь, и вскакивая съ лавки.

Бельтовъ остановился.

— «Что вы хотите отъ меня? спросилъ онъ совѣтника,—стрѣляться съ вами? Извольте! Какъ ни гадко, я стану; если-жъ нѣтъ, вы мени извините, я имѣю скверную привычку отгонять тростью тѣхъ, которые мнѣ мѣшаютъ гулять».

— Какъ тростью? спросилъ совѣтникъ:— да кто вы такой, что смѣете тростью угрожать?

Во всякомъ другомъ случаѣ, Бельтовъ расхохотался бы отъ всего сердца надъ милымъ совѣтникомъ, но въ эту минуту, когда онъ и безъ него былъ такъ сильно раздраженъ и врядъ ли хорошо помнилъ, что дѣлаетъ, онъ показалъ совѣтнику *какъ*. Совѣтникъ удивился; Бельтовъ ушелъ.

На другой день утромъ, пока Григорій укладывалъ и хлопоталъ, Бельтовъ ходилъ по комнатѣ; у него въ умѣ и въ груди была какая-то пустота, точно полжизни, полсуществованія кануло въ воду, и нѣтъ ее, такъ что-то страшно и больно, какой-то трещеть,—и вдругъ навернутся слезы. Десять разъ Григорій обращался къ нему съ вопросомъ, и онъ отвѣчалъ: «все равно», и дѣйствительно въ эту минуту ему было не только все равно, какое пальто надѣтъ на дорогу, а даже по какой дорогѣ ѣхать, въ Парижъ или Тобольскъ. Вошелъ Семенъ Ивановичъ, совсѣмъ не такъ, какъ вчера: на глазахъ его видны были слѣды слезъ, онъ какъ-то вошелъ тихо, чистилъ шляпу рукавомъ, постоялъ у окна, замѣтилъ Григорію, что вага у дормеза не хорошо привязана, и вообще былъ не въ своей тарелкѣ.

— «Довольны мною, Семенъ Ивановичъ?» сказалъ со смѣхомъ и со слезами Бельтовъ.

— Я оскорбилъ васъ вчера, ну, что дѣлать, простите меня... если вы такъ уѣдете...—И у старика голосъ замеръ.

— «Полноте, полноте, Семенъ Ивановичъ, что вы это?»

И Бельтовъ протянулъ ему обѣ руки.

— Вотъ еще что, примите отъ меня въ знакъ памяти, я истинно васъ любилъ, и хочу вамъ... И онъ ему подаль довольно большой сафьянный портфель,—хочу вамъ отдать вещь дорогую, очень дорогую мнѣ. Бельтовъ развернулъ портфель, взглянулъ на старика и бросился къ нему на шею. Старикъ рыдалъ и приговаривалъ: «Самому смѣшно, право, изъ ума выживаю. Экая глушь, подъ старость плаксою сталъ». Бельтовъ бросился на стулъ и держалъ передъ собою портфель... Это былъ акварельный портретъ Любви Александровны.

Круповъ стоялъ передъ нимъ и, чтобъ окончательно увѣрить Бельтова, что онъ вовсе ничего не чувствуетъ, дѣлалъ слѣдующіе комментаріи, отирая украдкой слезы:

— Года два тому назадъ, здѣсь проѣзжалъ англичанинъ живописецъ, хорошій живописецъ; онъ большіе масляные портреты дѣлалъ; вотъ губернаторшинъ портретъ, что виситъ въ кабинетѣ, онъ писалъ; я уговорилъ Любовь Александровну посидѣть, всего три сеанса... думала ли она?..

Бельтовъ не слушалъ его, а потому бѣда была не велика, когда рѣчь Крупова перервалъ хозяинъ трактира, который, запыхавшись, возвѣстилъ пріѣздъ г. полицеймстера.

— «Что ему надобно?» спросилъ Бельтовъ.

— Имѣеть до вашей милости дѣло, отвѣчалъ трактирщикъ.

— «Скажи, что я дома».

Полицеймстеръ вошелъ, страшно гремя саблею; вдали сквозь растворенную дверь видѣлся тощій комиссаръ и половой, державшій въ страхѣ въ рукахъ шинель полицеймстера.

Бельтовъ всталъ и всею фигурою своей выразилъ вопросъ, такъ что словъ не нужно было. Вопросъ былъ естественно тотъ, *за комъ діаволомъ?*

— Мнѣ очень жаль, Владиміръ Петровичъ, что я долженъ остановить васъ на нѣсколько минутъ; вы, кажется, намѣрены отбыть изъ нашего города.

— «Да».

— Генералъ васъ проситъ побывать къ нему. Фирсъ Петровичъ Елканевичъ подалъ на васъ, партикулярнымъ письмомъ, жалобу его превосходительству насчетъ оскорбленія его чести. Мнѣ очень совѣстно; согласитесь сами, долгъ службы; сами изволите знать, мое дѣло—неумытное исполненіе.

— «Это чрезвычайно не ко времени. Позвольте васъ спросить, это надолго можетъ меня остановить?»

— Это будетъ зависѣть отъ васъ; г. Елканевичъ человекъ благородный: онъ навѣрное дѣла не затянетъ вдаль, если вы, изволите знать, объяснитесь.

— «Да какъ тутъ объясняться?»

— Охъ, Владиміръ Петровичъ, что мнѣ это съ тобою дѣлать? ничего право не понимаешь, замѣтилъ Круповъ, ну, хотите, я съ г. полицеймстеромъ буду посредникомъ, и кончимъ въ четверть часа?

— «Очень бы обязали, истинно обязали бы».

— Помилуйте, замѣтилъ полицеймстеръ: это священная обязанность наша, и самая пріятная обязанность, когда можно эдакъ мирнымъ образомъ и къ общему удовольствію.

Такъ и случилось.

*
* *

... Черезъ двѣ недѣли по той дорогѣ, по которой нѣкогда мчалась мимо мельницы коляска, запряженная четверкой лихихъ лошадей, и которая шла отъ Бѣлаго-Поля на большую дорогу, подымался дорожный дормезъ; Григорій сидѣлъ на козлахъ и закуривалъ трубку, ямщикъ убѣждалъ лошадей идти дружнѣе и, чтобъ ближе поддѣлаться къ ихъ понятіямъ, произносилъ однѣ гласныя: о... о... о... у... у... у... а... а... а... и т. д. А по сю сторону рѣки стояла старушка, въ бѣломъ чепцѣ и бѣломъ капотѣ; опираясь на руку горничной, она махала платкомъ, тяжелымъ и мокрымъ отъ слезъ, человѣку, высунувшемуся изъ дормеза, и онъ махалъ платкомъ. Дорога шла немного вправо; когда карета заворотила туда, видна была только задняя сторона, но и ее скоро закрыло облакомъ пыли, и пыль эта разсѣялась и кромѣ дороги ничего не было видно, а старушка все еще стояла, поднимаясь на цыпочки и стараясь что-то разглядѣть.

Скучно и пусто сдѣлалось старушкѣ въ Бѣломъ-Полѣ. Бывало все же въ недѣлю разъ, другой пріѣдетъ Вольдемаръ, она такъ привыкла слышать издали, еще съ горы, бубенчики и выходить къ нему навстрѣчу на тотъ балконъ, на которомъ она нѣкогда ждала его, загорѣлаго отрока съ свѣтлымъ лицомъ. Ее что-то звало въ NN: тамъ жила женщина, любимая ея сыномъ, несчастная жертва любви къ нему. И въ самомъ дѣлѣ старушка переѣхала туда къ зимѣ. Она застала Любовь Александровну потухающею, не надежною; Семенъ Ивановичъ, сдѣлавшійся вдвое угрюмѣе, качалъ головою, когда его спрашивали объ ней; Дмитрій Яковлевичъ, задавленный горемъ, молился Богу и пилъ. Софья Алексѣевна просила позволенія ходить за больной и дни цѣлыя проводила у ея кровати, и что-то высоко-поэтическое было въ этой группѣ умирающей красоты съ прекрасной старостью, въ этой увядающей женщинѣ со впавшими щеками, съ огромными блестящими глазами, съ волосами, небрежно падающими на плечи,—когда она, опирая свою голову на исхудалую руку, съ полуютверстымъ ртомъ и со слезою на глазахъ внимала безконечнымъ разговорамъ старушки-матери объ ея сынѣ, объ ихъ Вольдемарѣ, который теперь такъ далеко отъ нихъ.

Послѣдній праздникъ дружбы.

Разъ, въ послѣднихъ числахъ мая 1833 года, въ нижнемъ этажѣ большого дома на Никитской, сильно бушевала молодежь. Оргія была въ полномъ разгарѣ, во всемъ блескѣ. Вино, какъ паяльная трубка, раздувало въ длинную струю пламени воображеніе. Идеи, анекдоты, лирическіе восторги, карикатуры крутились, вертѣлись въ быстромъ вальсѣ, неслись сумасшедшимъ галопомъ. Всѣ стояли на демаркаціонной линіи, отдѣляющей трезваго человѣка отъ пьянаго; никто не переступалъ ее. Всѣ шумѣли, разговаривали, смѣялись, курили, пили, всѣ безотчетно отозвались настоящему, всѣ истинно веселились. Лучшій стенографъ не записалъ бы ни одинаго слова.

Среди вакханаліи бываетъ торжественная минута устали и тишины; она умолкаетъ для того, чтобы бурей и ураганомъ явиться по ту сторону демаркаціонной линіи. Вотъ эта-то минута и настала.

Огромная чаша пылала блѣдно-лазоревымъ огнемъ, придавая юношамъ видъ заклинателей. Клико подливало силу въ жженку и кровь въ щеки молодыхъ людей. Шумная масса разбилась на части и расположилась на бивакахъ.

Вотъ высокій молодой человѣкъ, съ лицомъ послѣдняго могикана; онъ сѣлъ на маленькій столъ (Парки тотчасъ же подломили ножки жизни этого стола), стенторскій голосъ его, какъ Нилъ при втеченіи въ Средиземное море, далеко вдается въ общій гулъ, не потерявъ своей самобытности. Это упсальскій баронъ, онъ живетъ въ двухъ шагахъ отъ природы, въ Преображенскомъ. Тамъ у него есть садъ и домикъ, у котораго дверь не имѣетъ замка.

Въ этомъ домѣ баронъ прячется и вдругъ, какъ минотавръ или татары, набѣгаетъ на Москву неотразимый и неожиданный, обираетъ книги и тетради и исчезаетъ. Онъ похожъ и на *bon homme patience* Жоржъ-Занда и на самаго Карла Санда, ежели хотите, а всего болѣе на террориста. Онъ какъ-то гильотинно умѣетъ

двигать бровями. Баронъ началъ свою жизнь переводами Шиллера и кончилъ переводомъ на жизнь одного изъ лицъ, которыя Шиллеръ такъ любилъ набрасывать, въ которыхъ нѣтъ ни одного эгоистическаго желанія, ни одной черной мысли, но которыхъ сердце бьется для всего человѣчества и для всего благороднаго, и которыя никогда не выйдутъ изъ своей односторонности, какъ *exemples gratia* Менцеля. Онъ съ четвероногой трибуны что-то повѣствуетъ, съ наивной мимикой обѣихъ рукъ и, по очереди, одной ноги. Два неустрашимые человѣка подвергаютъ жизнь свою опасности, слушая барона въ атмосферѣ его декламациа, непрерывно разсѣкаемой рукою и ногой и молніей зажженной сигары. У васъ, можетъ, слабы нервы,—отвернитесь отъ этой картины.

Видите ли у камина худощаваго молодого человѣка, бѣлокураго, нѣсколько блѣднаго въ вицмундирной формѣ, съ неумолимой рѣчью,—это магистръ математическаго отдѣленія, представитель матеріализма XVIII вѣка, столько же неподвижный на своемъ конькѣ, какъ и баронъ на своемъ. Онъ держитъ за пуговицу молодого человѣка съ опухшими глазами и выразительнымъ лицомъ. Магистръ въ короткихъ словахъ продолжаетъ споръ, начавшійся у нихъ года за два, о Бэконѣ и эмпириі. Молодой человѣкъ, прикованный къ этому Кавказу, испещренному зодіаками,—одно изъ тѣхъ эксцентрическихъ существованій, которыя были бы исполнены вѣры, если бы ихъ вѣкъ имѣлъ вѣрованія; беспокойный демонъ, обитающій въ ихъ душѣ, ломаетъ ихъ и сильно клеймитъ печатью оригинальности. Онъ больше образами, яркими сравненіями отражалъ магистра.

— Направленіе, которое начинаетъ проявляться, говорилъ онъ, вснять не пойдетъ, матеріализмъ сдѣлалъ свое и умеръ. Вандомская колонна—его надгробный памятникъ. Германскія идеи, проникающія во Францію...

Магистръ не слушалъ студента, даже закрывалъ глаза, чтобы и не видать его, и продолжалъ со всѣмъ хладнокровіемъ математика, читающаго лекцію о мнимыхъ корняхъ, и со всею ясностію геометрическаго анализа, употребляя однѣ, закономъ опредѣленные, формы доказательства а *contrario per inductionem a principio causae sufficientis*.

— Итакъ, принявъ это положеніе, слѣдуетъ вопросъ, которое состояніе наукъ выше, которое дало болѣе приложений и принесло положительнѣе пользу? Разрѣшивъ его, мы естественно перейдемъ къ главному вопросу, отъ котораго зависитъ окончательно рѣшеніе этого спора...

Съ тѣхъ поръ магистръ окончилъ нивелированіе Каспійскаго моря; студентъ обѣхалъ полъ-Европы, а споръ еще не кончился, и сами видите, остался только одинъ вопросъ.

Вотъ два молодыхъ человѣка, обнявшись, прогуливаются по комнатѣ. Одинъ съ длинными волосами и прелестнымъ лицомъ à la Schiller и прихрамывающій à la Вугон; другой съ прекрасными, задумчивыми глазами, съ нѣсколько театральными манерами à la Мочаловъ и съ очками à la Каченовскій; это—Ritter aus Tambow, и кандидатъ этико-политическій, очерчивающій Россію. Ritter, юный страдалецъ, принесъ въ жизнь нѣжную, чувствительную душу, но не принесъ ни твердой воли, которая защищаетъ отъ грубыхъ рукъ толпы, ни твердаго тѣла. Болѣзненный, блѣдный—онъ похожъ на оранжерейное растеніе, воспитанное въ комнатахъ и забытое небрежнымъ садовникомъ на стужѣ московскихъ лѣтнихъ ночей. Онъ можетъ чище всѣхъ своихъ товарищей служить изящнымъ типомъ юноши. Съ какой любовью, съ какой симпатіей онъ пріютился къ нимъ дичкомъ. Его фантазія была направлена на ложную мысль бѣгства отъ земли. Резигнація составляла его поэзію. Такое направленіе развивается именно въ больномъ слабомъ тѣлѣ, конечно ложное, но имѣющее свою безпредѣльно увлекательную сторону.

Кандидатъ этико-политическій жаждетъ общепользительности и славы. Онъ готовъ на самопожертвованія безъ границъ и грустно говоритъ юношѣ, что ему надобна кафедра въ университетѣ и слава въ мірѣ. Юноша ему вѣритъ, сочувствуетъ и готовъ плакать. Вотъ они остановились передъ черпаломъ полюбоваться пылающей жженкой.

Въ самомъ фокусѣ оргіи, т. е. у пылающей жженки, также интересная группа. Молодой человѣкъ, въ сѣромъ халатѣ, на диванѣ, задумчиво мѣшаетъ горящее море и задумчиво всматривается въ фантастическіе узоры огня, сливающиміся съ ложки. Противъ него за столомъ, безъ сюртука, безъ галстуха, съ обнаженной грудью, сложивши руки à la Napoleon, съ сигарою въ зубахъ, сидитъ худощавый юноша, съ выразительнымъ, умнымъ взоромъ.

— Помнишь ли,—говоритъ молодой человѣкъ въ халатѣ, какъ мы дѣтми встрѣчали новый годъ тайкомъ, украдкой; какъ тогда мечтали о будущемъ: ну, вотъ оно и пришло, и пустота въ груди не наполняется, и не принесло оно той жизни, которой требовала душа. На Воробьевыхъ горахъ она ничего не требовала и была довольна.

Они взглянули другъ на друга.

— Пора окончить этотъ фазисъ жизни, шумъ начинается надождать; меня манитъ другая жизнь, жизнь болѣе поэтическая.

— Пора, согласенъ и я; но забудемъ еще сегодня, забудемъ, прочь мрачныя мысли!

Юноша въ халатѣ напѣнилъ стаканъ и, улыбаясь, сказалъ:

— За здоровье заходящаго солнца на Воробьевыхъ горахъ!

— Которое было восходящимъ солнцемъ нашей жизни, добавилъ юноша безъ сюртука.

Оба замолчали, что-то хорошее пробѣжало по ихъ лицамъ.

Вдругъ юноша безъ сюртука вскочилъ на стулъ и звонкимъ голосомъ закричалъ:

— Messieurs et mylords! je demande la parole, je demande la cloture de vos discussons; une grande motion... Silence aux interrupteurs, monsieur le président, couvrez vous.

И нахлобучилъ какую-то шапку на голову своему сосѣду. Нѣсколько головъ обратилось къ оратору.

— Mylords et lords! le punsch cardinal, tel que le cardinal Mezzofantí, qui connait toutes les langues existantes et qui n'ont jamais existées, n'a jamais goûté; le punsch cardinal est, à vos ordres. Hommes illustres par vos lumières, connaissez que Schiller, decreté citoyen de la république une et indivisible... a dit, il me semble, en parlant des prisoniers, lors du siège d' Anony par les troupes du roi citoyen Louis Philippe:

Eh' es verduftet,
Schöpfet es schnell,
Nur wenn er glúhet
Labet der Quell.

Je propose donc de nous mettre à l' instant même dans la possibilité de vérifier les proverbes du citoyen Schiller,—à vos verres, citoyens!

Всѣ съ хохотомъ подходили къ столу. Ораторъ спокойно разливалъ въ стаканы пуншъ.

— Магистръ, скажи пожалуйста,—кричалъ онъ,—не изобрѣлъ ли Деви новыхъ металлическихъ стѣнокъ для того, чтобы не жглись губы?

— Гумфри Деви умеръ,—отвѣчалъ магистръ, весь занятый своимъ споромъ.

— И, я думаю, радъ отъ души, — продолжалъ ораторъ, что наконецъ химически разложился и на себѣ можетъ испытывать соединеніе и разложеніе.

— Господа, господа, разойдитесь, баронъ идетъ со стаканомъ, а это страшнѣе, чѣмъ встрѣтиться съ локомотивомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, благоразумные люди отодвигались. Ораторъ продолжалъ шумѣть, никто его не слушалъ... (Стаканы еще разъ наполнились.

Демаркаціонная линія была пройдена. Господа хотѣли продолжать свои разговоры: суетное желаніе удалось одному юношѣ безъ сюртука, потому что онъ разомъ говорилъ со всѣми и обо

всемъ. Баронъ чистилъ трубку кому-то въ шляпу и говорилъ *ты* магистру. На магистра жженка сдѣлала ужасное дѣйствіе, въ головѣ у него все завертѣлось и перекувырнулось, онъ не забывалъ свой споръ и продолжалъ, держа на этотъ разъ за пуговицу барона:

— Слѣдовательно, ежели въ тотъ вѣкъ, въ одно время дифференціальныя исчисленія изобрѣли Лейбница и Невтона... Онъ, какъ бы самъ, чувствуя нелѣпность, потеръ себѣ лобъ.

— Да, да, именно, когда Коперникъ изобрѣлъ движеніе земли, а Уатъ паровыя машины, и Сиръ Флуни—машины чинить перья, кричалъ ораторъ.

— Помню, помню Флуни,—повторилъ магистръ и хотѣлъ было произнести еще какую-то букву, но не могъ ни повернуть языка, ни упротить это слово, чтобы оно вышло.

— О чемъ споръ? спрашивалъ тутъ же бывший водевилистъ.

— Магистръ,—шепталъ ему ораторъ,—доказываетъ, что Каратыгинъ гораздо лучше игралъ роль Отелло, чѣмъ Мочаловъ; а водевилистъ, бѣшенный поклонникъ Мочалова, бросился какъ лютый звѣрь на магистра и кричалъ ему на ухо:

— У Мочалова есть душа, а у Каратыгина все поддѣлка, да просто взгляните на его лицо, какая натянутость, неестественность.

— Правда, правда,—кричалъ ораторъ,—у живого Каратыгина видъ не натуральный, то ли дѣло статуи Торвальдсена, вотъ какія лица должны быть въ XIX вѣкѣ, и самъ водевилистъ захоталъ.

Въ это время баронъ, желая подвинуться къ столу, выломалъ ручку у креселъ и ножку у стола; двѣ тарелки и стаканъ легли костью при этомъ членовредительствѣ: «мертвіи сраму не имуть». Баронъ не потерялся, началъ доказывать, что это не его вина, а вина непрочности мебели, для объясненія чего изломалъ еще кресло и этажерку и былъ очень доволенъ, что оправдался.

Подали сыру, единственный съѣстной припасъ, который важивался у Ника. Сыръ великая вещь на оргіи: отъ него дѣлается жажда. Въ одно мгновеніе ока плачущее, рябое дитя Швейцаріи исчезло.

— Прежде нежели мы совсѣмъ пьяны, вотъ вамъ предложеніе,—сказалъ Никъ:—кто хочетъ на цѣлый день villegiare, подышать чистымъ воздухомъ, побыть не въ Москвѣ, а на волѣ хоть день?

— Превосходная мысль, подхватилъ Ritter.

— Въ Архангельское, — прибавилъ студентъ, — у меня тамъ есть квартира.

— Все же это не имѣетъ основанія,—сказалъ магистръ, услышавши голосъ студента.

— Въ Архангельское, повторило нѣсколько голосовъ.

— Давай шампанскаго, кричалъ ораторъ, у котораго вино, казалось, испаряется съ словами.—Надобно выпить за здоровье прекрасной мысли и прекраснаго опредѣленія ея.

Пробки хлопали, шампанское лилось вонъ изъ бутылокъ и исчезало. Дымъ табачный стучался.

Кто-то запѣлъ:

Ah! vers une rive,
Où sans peine on vive,
Qui m'aime me suive!
Voyageons gaiement!
Ivre de champagne
Je bas la campagne,
Et vois de Cocagne
Le pays charmant.

Всѣ подхватили:

Terre chérie,
Sois ma patric.
Quand je ris
Du sort inconstant.

— За здоровье друзей! провозгласилъ ораторъ, пуская отчаянной параболой по воздуху пробку, и въ одно мгновеніе выпитые стаканы разсыпались черепками по полу. Все вскочило, пере-мѣшалось, сбилось, зашумѣло вдвое. Кто цѣлуется, кто вздыхаетъ, кто подымаетъ съ полу кусочекъ сыру. Всѣмъ кажется чрезвычайно весело. Баронъ уродуетъ въ своихъ объятіяхъ всѣхъ встрѣчающихся и подмѣщается къ этико-политическому кандидату, который сидитъ у раскрытаго окна, рыдаетъ и, какъ Донъ-Карлосъ и Юлій Цезарь, приговариваетъ: «24 года и ничего не совершилъ для человечества, для вѣчности!» Въ отчаяніи, сильной рукою онъ ударилъ по стоящему передъ нимъ стакану и раздробилъ его. Стекла врѣзались въ руку, кровь полилась. Баронъ, какъ бы, протрезвился, схватилъ руку кандидата, сталъ вынимать стекла, мочить водою и завязывать платкомъ.

— Что рука,—говоритъ кандидатъ, заливаясь слезами,—прахъ, тлѣнь! Духъ, вотъ жизнь! Хочешь, выброшусь за окно?

— Лучше выйдемъ въ дверь и влѣземъ въ окно, предлагаетъ баронъ.

Магистръ сердится, что заперта дверь, пробуя отворить зеркало въ каминѣ, а дверь—съ противоположной стороны. Магистръ правъ, надобно освѣжиться, выйдемъ на воздухъ, голова кружится. Видно, и я вышилъ лишнее.

Bon!
La farira dondaine,
Gai!
La farira dondé.

На другой день рано утромъ, т. е. часа три послѣ того, какъ ораторъ съ магистромъ вышли на чистый воздухъ, la bande joyeuse уже хлопотала и распоряжалась объ отъѣздѣ. Ораторъ всталъ раньше прочихъ, будиль всѣхъ и каждого. Спальня представляла удивительное зрѣлище. Длинный турецкій диванъ былъ заваленъ людьми, многіе уснули въ той позѣ, въ какой допили послѣднюю каплю. Баронъ, завернувшись въ непромокаемую шинель, съ сигарою во рту, грозно и величественно видѣлъ что-то во снѣ. Сонъ его былъ безпокоенъ и время отъ времени онъ пихалъ ногою въ голову водевилиста, который на другой день удивлялся странному сну: ему казалось, что онъ былъ въ театрѣ и что какъ только выходитъ Мочаловъ, сводъ Петра и Павла падаетъ ему на голову. Ritter прижался къ уголку, скатавши въ шарикъ тоненькое тѣло свое, въ томъ родѣ, какъ спать комнатныя собачки. Юноша въ халатѣ, который былъ дома, замѣтте, положилъ себѣ подъ голову латинскій лексиконъ и покойно лежалъ, накрывшись ковромъ со стола.

Солнце свѣтило ясно, день готовился чудесный, голова была свѣжа: «благородное шампанское не оставляетъ горькихъ упрековъ на утро», говорили они потомъ. Всѣ необходимыя распоряженія были тотчасъ взяты. Послали за виномъ, послали за лошадьми, послали за паштетомъ и за сигарами. Двѣ коляски находились въ наличности. Никъ, студентъ, водевилистъ etc. отправились впередъ. Ораторъ съ Ritter'омъ послѣ. Они выѣхали часовъ въ 9 изъ Москвы. Великолѣпно свѣтило солнце, природа на каждой точкѣ дышала жизнью и нѣгой; на душѣ не было заботъ. Юноши мечтали, поэтизировали всю дорогу; душа Ritter'a, немного элегическая, испарялась въ заунывныхъ звукахъ и дѣтскихъ фантазіяхъ. Они были какъ-то на мѣстѣ съ летавшими бабочками, съ зеленѣвшей травой, между которою подымались звѣздочки Иванова цвѣтка и фонарики цикорія. Ritter'у было 18 лѣтъ. Часа черезъ два коляска остановилась передъ прекраснымъ домомъ князя Юсупова. Я до сихъ поръ люблю Архангельское. Посмотрите, какъ милъ этотъ маленькій клочекъ земли отъ Москвы-рѣки до дороги. Здѣсь чловѣкъ встрѣтился съ природой подъ другимъ условіемъ, нежели обыкновенно. Онъ отъ нея потребовалъ одного удовольствія, одной красоты и забылъ пользу; онъ потребовалъ отъ нея одной перемѣны декораціи, для того, чтобы отпечатать духъ свой, придать естественной красотѣ красоту художественную, очеловѣчить ее на ея пространныхъ страницахъ: словомъ, изъ лѣса сдѣлать паркъ, изъ рощицы—садъ. Еще больше, гордый аристократъ собралъ тутъ растенія со всѣхъ частей свѣта и заставилъ ихъ утѣшать себя на сѣверѣ; собралъ изящнѣйшія произведенія живописи и ваянія и поставилъ ихъ

рядомъ съ природою, какъ вопросъ: кто изъ нихъ лучше? Но здѣсь уже самая природа не соперничаетъ съ ними, измѣнилась, расчистилась въ арену для духа человѣческаго, который, какъ прежніе германскіе императоры, признаетъ только тѣ власти неприкосновенными, которыя уничтожались въ немъ и имъ уже возстановлены, какъ вассалы.

Бывали ли вы въ Архангельскомъ? Ежели нѣтъ, поѣзжайте, а то оно, пожалуй, превратится или въ фильтурную фабрику, или не знаю во что, но превратится изъ прекраснаго цвѣтка въ огородное растеніе.

Они тотчасъ отыскали Ника съ товарищами и отправились сначала въ домъ.

Террористъ Давидъ привѣтствовалъ ихъ атлетическими формами, которыя онъ думалъ возродить въ республикѣ единой и нераздѣльной 93-го года вмѣстѣ съ спартанскими нравами, о притиіи которыхъ хлопоталъ Сенъ-Жюсть; а за ними открылся длинный рядъ изящныхъ произведеній.

Глаза разбѣжались, изящные образы окружали со всѣхъ сторонъ. Уныніе смѣнялось смѣхомъ. (Святое семейство—Нидерландской таверной, Дѣва радости—Вернатовскимъ видомъ моря. Пышный Гвидо-Рени,—князь Юсуповъ въ живописи,—роскошно бросаетъ краски, и формы, и украшенія, чтобы прикрыть подчасъ бѣдность мысли, и суровые Ванъ-Дейка портреты, глубоко оживленные внутреннимъ огнемъ, съ заклеянной душой на челѣ, и дивная группа Амура и Психеи Кановы,—все это вмѣстѣ оставило имъ воспоминаніе смутное, въ которомъ едва вырѣзываются отдѣльныя картины, оставшіяся, Богъ знаетъ почему, также въ памяти. Помнился, напримѣръ, портретъ молодого князя, князь верхомъ, въ татарскомъ платьѣ; помнился портретъ дочери *the Lebgun*. Она стыдливо закрываетъ полуребячью грудь и смотритъ тѣмъ розовымъ взглядомъ дѣвушки, которой уже немного поцѣлуй, который уже волнуетъ ея душу, чистую какъ капля росы на розовомъ листкѣ, и огненную какъ золотое аи. Не разъ, быть можетъ, старый князь останавливался передъ ней, желая отдрать ее отъ полотна, возстановить растянутыя въ одну плоскость формы, согрѣть ихъ, оживить и прижать къ своему сердцу татарина.

Имъ некогда было разбирать все отдѣльно, да, вѣроятно, это и невозможно: всякую галерею надобно изучить въ одиночествѣ и притомъ разсматриваніе ея распространить на много и много дней. Довольные восторженностью, чистотою, въ какое ихъ привело созерцаніе изящнаго, они высыпали въ садъ, мимо мощныхъ воиновъ изъ желтаго мрамора, мимо гладиаторовъ, въ тѣнь аллей. День былъ южно-палящій жаромъ, все ликовало, жужжа летали

пчелы, тонко перетянутыя, молча и съ величайшей граціей танцовали по воздуху пестрыя бабочки съ широкими рукавами, какъ барышни. Солнце *faisait les honneurs de la maison*, отогрѣвало сырую землю, эмалью покрывало листики цвѣтковъ, радостью наполняло все живущее и копошащееся въ травѣ, на воздухѣ, закуривало сигары и гордо не позволяло себѣ смотрѣть въ глаза. Имъ все нравилось, даже на этотъ разъ романтизмъ ихъ не возмущался противъ подстриженныхъ деревьевъ, которыя важно и чопорно, какъ официанты прошлаго вѣка, въ парикъ и французскихъ перчаткахъ, стояли по обѣимъ сторонамъ дороги. Бѣлые мраморные бюсты выглядывали изъ-подъ нихъ.

Испеченные солнцемъ и утомленные ходьбой, молодые люди отправились въ комнаты студента. Небольшая зала, въ которой былъ приготовленъ обѣдъ, примыкала къ оранжереѣ; одна стеклянная дверь отдѣляла ихъ отъ нея; они отворили дверь, ихъ обдало благоуханіемъ юга. Дыханіе дѣтей пламенной природы располагало къ нѣгѣ и къ чувственно-огненнымъ страстямъ, къ *dolce far niente*. Зачѣмъ изъ вѣнчиковъ этихъ цвѣтковъ не вышли вѣчно юныя гуріи восточнаго рая! Зачѣмъ не принесли холоднаго шербета, зачѣмъ стройныя одалиски не вѣяли пестрыми опахалами, опуская длинныя рѣсницы своихъ черныхъ глазъ и бросая свѣжіе розовые листки въ вино! «Зачѣмъ этотъ глупый нарядъ запада,—простора, нѣги и еще цвѣтовъ благоухающихъ, съ яркими вѣнчиками»,—говорили юноши.

Вино, принесенное со льда, на минуту прохлладило ихъ, но, отлившая отъ сердца и головы, кровь возвратилась зажженнымъ спиртомъ, страсти расколыхались; имъ было непомѣстительно въ горницѣ,—они вышли опять въ садъ и отправились въ бесѣдку на гору, у ногъ которой—Москва-рѣка.

Рѣка тихо струилась узенькой ленточкой, довольная своимъ аристократическимъ именемъ; поля, лѣса, синяя даль—природа именно этою далью, этою безграничностью приводитъ въ восторгъ; въ ея наружности отпечатлѣнъ тотъ характеръ безконечности, который заключенъ въ душѣ нашей, и они переплетаются, встрѣтившись; но молодые люди не долго поэтизировали, вскорѣ разговоръ превратился въ шалость, въ хохотъ. Нѣсколько человекъ вмѣстѣ рѣдко могутъ восхищаться природой или изящнымъ произведеніемъ: благоговѣйный восторгъ рѣдко посѣщаетъ разомъ цѣлое общество, и, ежели хоть одинъ сказалъ холодное слово, остроту, кристальная мечта разсыпалась, фальшивая нота разнесется громче прочихъ и роняетъ дѣйствіе всей пьесы. Продурившись до поздняго вечера, всѣ поѣхали домой. Пріѣхали къ Нику часу во второмъ ночи и расположились отдыхать. Было полнолуніе, мѣсячный свѣтъ ясно свѣтилъ въ окна; днемъ душа

молча вшивала изящное, теперь, когда водворилась тишина и вмѣсто яркаго свѣта дня разлился кроткій полусвѣтъ мѣсячной ночи, она начала испарять свои чувства, какъ ночныя фіюли свое благоуханіе.

— Никъ, пойдѣмъ гулять,—сказаль Саша,—хочется еще ощущеній, движенія, хочется, чтобы не было потолка.

И они отправились. Длинные полосы луннаго свѣта стлались по улицамъ, ярко смѣняемыя густою тѣнью. Городъ уже уснулъ или еще не просыпался; такъ тихо было, что шаги, далеко слышные, вызывали глухой лай собакъ.

Они вышли на Арбатскую площадь. Величественнѣе и колоссальнѣе обыкновеннаго казались зданія. Они шли, шли и остановились на Каменномъ мосту. Святой Кремль въ своемъ византійскомъ нарядѣ, окруженный башнями, стѣнами, думаль царскую думу о прошлыхъ и новыхъ вѣкахъ; часовой, поставленный Годуновымъ, въ бѣлой одеждѣ, какъ рында, въ золотой шапкѣ, какъ князь, сторожить покой Кремля, неподвижный и высокій; а рѣка шумѣла и неслась изъ-подъ арки, и всасывала въ себя мѣсяць, и сносила его свѣтъ на середину, и играла имъ, и пускала длинной полосою плыть въ вороненой рамкѣ.

Вода не останавливалась ни на мгновеніе, шумѣла, разбивалась о камень, пѣнилась и утекала; волна, сейчасъ блеснувшая, какъ рыба, терялась въ толпѣ другихъ, исчезала, какъ волна, но неслась, какъ рѣка, въ даль, въ море.

Они стояли молча, о чемъ тутъ было говорить; и не думали, и не молились,—а высоко было сочувствіе ихъ въ ту минуту съ Творцомъ, съ природою, съ челоуѣчествомъ... Предтеча солнца, Гесперь заблесталь, словно алмазь на рукѣ Творца, отворяющаго врата утра, и красная полоса, какъ брошенная на землю порфира, сказала о приближеніи царственнаго свѣтила. Алый отливъ пробѣжалъ по бѣлымъ стѣнамъ Кремля и заигралъ огнями на крестахъ, главахъ и окнахъ. Разсвѣтало. Съ одной стороны спало темное Замоскворѣчье, покрытое подымающимся утреннимъ туманомъ, съ другой стороны спала часть города, облитая тѣмъ же мѣсяцемъ. Обѣ не знали о началѣ дня, а Кремль его уже встрѣтилъ, ему уже радовался, и ночь съ днемъ встрѣтились на рѣкѣ, серебро и золото перемѣшалось на волнахъ. Чудное, удивительное зрѣлище, и оно повторяется каждый день, и люди занятые, «пекущіеся о мнозѣ», не ходятъ смотрѣть на него! Барабанъ и дудка возвѣщали земнымъ языкомъ «зрю». Они отправились къ Нику, въ садъ, физически и морально утомленные.

Этотъ длинный праздникъ, эта особая, блеснувшая волна жизни не могутъ исчезнуть въ толпѣ дней, ночей, недѣль, мѣсяцевъ, лѣтъ, которые, какъ дюжинныя волны, бѣгутъ, шумятъ,

имѣють смыслъ въ совокупности, но не врѣзываются въ память. Эта шумная оргія, эта прелестная прогулка внѣ города и въ городѣ на мѣстѣ,—онѣ на границѣ учебныхъ лѣтъ, это прощанье съ ними, и потому въ нихъ собралось все хорошее и дурное того времени, идеализированное, проникнутое поэзіей. Прогулка на Каменный мостъ окончила прогулку на Воробьевы горы. Мѣсяць мечтаній, односторонней жизни, закатывался, солнце жизни выступало съ своею огненною, всепоглощающею любовью, но и черныя тучи поднимались грозно и мрачно...

Сорока - Воровка.

ПОВѢСТЬ.

(Посвящено Михаилу Семеновичу Щепкину).

Твой домъ, украшенный богато,
Гостямъ-согражданамъ открытъ;
Тамъ Терпсихора и Эрато
Съ подругой Таліей гостить;
Хозяинъ, ласковый душою,
Склоняеть къ нимъ привѣтный взоръ.

«Украинскій Вѣстникъ» на 1816 г.

— Замѣтили ли вы, сказалъ молодой человекъ, остриженный подъ гребенку, продолжая начатой разговоръ о театрѣ: — замѣтили ли вы, что у насъ хотя и рѣдки хорошіе актеры, но бываютъ; а хорошихъ актрисъ почти вовсе нѣтъ, и только въ преданіи сохранилось имя Семеновой: не безъ причины же это?

— Причину искать не далеко; вы ея не понимаете только потому, возразилъ другой, остриженный въ кружокъ: — что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнетъ выходить на помость сцены и отдаваться глазамъ толпы, возбуждать въ ней тѣ чувства, которыя она приносить въ исключительный даръ своему главѣ; ея мѣсто—дома, а не на позорищѣ. Незамужняя—она дочь, дочь покорная, безгласная; замужемъ—она покорная жена. Это естественное положеніе женщины въ семьѣ если лишаетъ насъ хорошихъ актрисъ, зато прекрасно хранить чистоту нравовъ.

— Отчего же у нѣмцевъ, замѣтилъ третій, вовсе не стриженный:—семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у насъ, и это нисколько не мѣшаетъ появленію хорошихъ актрисъ. Да потомъ я и въ главномъ не согласенъ съ вами: не знаю, что дѣлается около очага у западныхъ славянъ, а мы, русскіе, право перестаемъ быть такими патріархами, какими вы насъ представляете.

— А позвольте спросить, гдѣ вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высшихъ сословій, живущихъ особою жизнію, въ городахъ, которые оставили сельскій бытъ, одинъ народный у насъ, по большимъ дорогамъ, гдѣ мужикъ сдѣлался торгашемъ, гдѣ ваша индустрія развратила его довольствомъ, развила въ немъ искусственныя потребности? Семья не тутъ сохранилась; хотите ее видѣть, ступайте въ скромныя деревеньки, лежащія по проселочнымъ дорогамъ.

— Однако, странное дѣло, большія дороги, города, все то, что хранить и развиваетъ другихъ, вредно для славянъ, такъ, какъ вамъ угодно ихъ представлять; по вашему, чтобъ сохранить чистоту нравовъ, надобно, чтобъ не было проѣзда, сообщенія, торговли, наконецъ довольства, перваго условія развивающейся жизни. Конечно, и Робинзонъ, когда жилъ одинъ на островѣ, былъ примѣрнымъ человѣкомъ, никогда въ карты не игралъ, не шлялся по трактирамъ.

— Все можно представить въ нелѣпомъ видѣ; шутка иногда разсмѣшить, но опровергнуть ею ничего нельзя. Есть вещи, которыхъ при всей ловкости западнаго ума вы не поймете, ну такъ не поймете, какъ человѣкъ, лишенный уха, не понимаетъ музыки, что ему вовсе не мѣшаетъ быть живописцемъ или чѣмъ угодно. Вы не поймете никогда, что бѣдность, смиренная и трудолюбивая, выше самодовольнаго богатства. Вы не поймете нашего семейнаго, отеческаго распорядка ни въ избѣ, гдѣ отецъ глава, ни въ цѣломъ селѣ, гдѣ глава общины — отецъ. Вы привыкли къ строгимъ очертаніямъ правъ, къ рамамъ для лицъ, сословій, къ взаимному обузданью и недоувѣрью, — все это необходимо на Западѣ: тамъ все основано на враждѣ, тамъ вся задача государственная, какъ сказалъ вашъ же поэтъ, въ неловой борьбѣ:

Здѣсь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суровой,
Пружины смѣлыя гражданственности новой.

— Этой дорогой я не думаю, чтобъ мы скоро добрались до рѣшенія вопроса, отчего у насъ рѣдки актрисы, сказалъ начавшій разговоръ: если для полноты отвѣта вы хотите *chemin faisant* разрѣшить всѣ историческіе и политическіе вопросы, то надобно будетъ посвятить на это лѣтъ сорокъ жизни, да и то еще успѣхъ сомнителенъ. Вы, любезный славянинъ, сколько я понимаю, хотите сказать, что у насъ оттого нѣтъ актрисъ, что женщина существуетъ не какъ лицо, а какъ членъ семейства, которымъ она поглощается: тутъ много истиннаго. Однако вы полагаете, что семейство — въ маленькихъ деревенькахъ; ну, а вѣдь актрисы берутся не изъ этихъ же деревенекъ, къ которымъ нѣтъ проѣзда.

— Здѣсь позвольте мнѣ отвѣчать вамъ, замѣтилъ европеецъ (такъ мы будемъ называть нестриженаго); у насъ вообще и по шоссе и по проселочнымъ дорогамъ женщина не получила того развязнаго права участія во всемъ, какъ, напр., во Франціи; встрѣчаются исключенія, но всегда неразрывныя съ какимъ-то фанфаронствомъ, — лучшее доказательство, что это исключеніе. Женщина, которая бы вздумала у насъ вести себя наравнѣ съ образованнымъ мужчиной, не свободно бы пользовалась своими правами, а хотѣла бы выказать свое освобожденіе.

— Конечно, такая женщина была бы уродъ; и по счастью, возразилъ славянинъ, не у насъ надобно искать *la femme émancipée*, да и вообще надобно ли ее гдѣ-нибудь искать,—я не знаю. Вотъ что касается до человѣческихъ правъ, то обратите нѣсколько вниманія на то, что у насъ женщина пользовалась ими въ самой глубокой древности больше, нежели въ Европѣ, ея имѣнье не сливалось съ имѣньемъ мужа, она имѣетъ голосъ на выборахъ, право владѣнія крестьянами.

— Конечно, изъ правъ, которыми пользуются у насъ дамы, не всѣ принадлежатъ европейской женщинѣ. Но, извините, здѣсь рѣчь вовсе не о писанныхъ правахъ, а именно о правахъ неписанныхъ, объ общественномъ мнѣніи. Что сказали бы мы сами, если бы въ нашу бесѣду, очень тихую и не имѣющую въ себѣ ничего оскорбительнаго, вдругъ явилась одна изъ знакомыхъ дамъ. Я увѣренъ, что и намъ и ей было бы не по себѣ; мы со-всѣмъ иначе настраиваемъ себя, если предвидимъ дамское общество: въ этомъ недостатокъ уваженія къ женщинѣ.

— Какъ вы начитались Жоржа Занда. Мужчина вовсе не долженъ быть съ женщинами на распашку; и зачѣмъ женщина пойдетъ дѣлать его бесѣду? Мнѣ ужасно нравятся мужскія собранія, въ которыя не мѣшаются дамы, — въ этомъ есть что-то строгое, неизмѣненное.

— И чрезвычайно гуманное относительно женщинъ, которыя покинуты дома. Вы, я думаю, пошли бы въ запорожскіе казаки, если-бъ попрежде родились.

— Ваша мысль до того иностранная, что вы и слова русскаго не прибрали, чтобъ ее выразить. Какъ будто мало женщинѣ дѣла въ скромномъ кругу домашней жизни; я не говорю ужъ о матери, которой обязанности и такъ святы, и такъ сложны.

— Охъ, этотъ скромный кругъ! Императоръ Августъ, который раздѣлялъ ваши славянскія теоріи, держалъ дочь дома и съ улыбкой говорилъ спрашивавшимъ о ней: «дома сидитъ, шерсть прядетъ». Ну, а знаете, нельзя сказать, чтобъ нравы ея сохранились совершенно чистыми. По моему, если женщина отлучена отъ половины нашихъ интересовъ, занятій, удовольствій, такъ

она въ половину менѣе развита и, браните меня хоть почешски, въ половину менѣе нравственна: твердая нравственность и сознание не разрывны.

— Теперь мой чередъ вамъ возражать, сказалъ начавшій разговоръ. Каждый видѣлъ своими собственными глазами, что у насъ въ образованныхъ сословіяхъ женщины несравненно выше своихъ мужей; вотъ и ловите жизнь послѣ этого общими формулами. Дѣло очень понятное. Мужчина у насъ не просто мужчина, а военный или статскій, онъ съ двадцати лѣтъ не принадлежитъ себѣ, онъ занятъ дѣломъ: военный—ученьями; статскій—протоколами, выписками; а жены въ это время, если не ударятся исключительно въ соленье и варенье, читаютъ французскіе романы.

— Поздравляю ихъ. Должно быть хорошо образованіе, вставилъ славянинъ, которое можно почерпнуть изъ Бальзака, Сю, Дюма, изъ этой болтовни старика, начинающаго морализировать отъ истощенія силъ.

— Я съ вами, пожалуй, соглашусь, хоть я и не говорилъ, что дамы читаютъ именно тѣ романы, о которыхъ вы говорите; и тутъ, удивительное дѣло, самые пустые французскіе романы больше развиваютъ женщину, нежели очень важныя занятія развиваютъ ихъ мужей, и это отчасти оттого, что судьба такъ устроила француза: чтобъ онъ ни дѣлалъ, онъ все учитъ. Онъ напишетъ дрянной романъ съ неестественными страстями, съ добродѣтельными пороками и съ злодѣйскими добродѣтелями, да по дорогѣ, или, вѣрнѣе, потому что это совсѣмъ не по дорогѣ, коснется такихъ вопросовъ, отъ которыхъ у васъ духъ займется, отъ которыхъ вамъ сдѣлается страшно; а чтобъ прогнать страхъ, вы начнете думать. Положимъ, что вопросовъ-то и не разрѣшите вы, да самая возбужденность мысли есть своего рода образованіе. Вотъ, видя это отношеніе женскаго образованія у насъ къ мужскому, я и удивляюсь, что нѣтъ актрисъ.

— Да что же вамъ еще надо, возразилъ съ запальчивостью славянинъ:—у насъ нѣтъ актрисъ потому, что занятіе это несовмѣстно съ цѣломудренною скромностью славянской жены: она любитъ молчать.

— Давно бы вы сказали, прибавилъ европеецъ:—вы больше объяснили, нежели хотѣли. Теперь ясно, отчего у насъ актрисъ нѣтъ, а танцовщицъ очень много. Но шутки въ сторону. Я думаю, у насъ оттого нѣтъ актрисъ, что ихъ заставляютъ представлять такія страсти, которыхъ онѣ никогда не подозрѣвали, а вовсе не отъ недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистомъ, должно быть ему коротко знакомо, для того, чтобъ его выразить не карикатурно. Китайца въ Opium et Cham-

рагне ничего не значить представить; но есть ли возможность, чтобъ я хорошо сыгралъ индѣйскаго брамина, повергнутаго въ глубокое отчаяніе оттого, что онъ нечаянно зацѣпился за парю, или боярина XVII столѣтія, который въ припадкѣ аристократическаго мѣстничества, изъ point d'honneur, валяется подъ столомъ, а его оттуда тащатъ за ноги. Если-бъ, въ самомъ дѣлѣ, у насъ женщина не существовала, какъ лицо, а была бы совершенно потеряна въ семействѣ, тутъ нечего было бы и думать объ актрисѣ. Въ пастушеской жизни, какъ и вездѣ, могутъ быть страсти, но не тѣ, которыя возможны въ драмѣ: слѣпая покорность, коварная скрытность, двоедушіе такъ же мало идутъ въ истинную драму, какъ подлое убійство, какъ чувственность. Необразованная семья слишкомъ неразвита, она—семья, а въ драмѣ нужны лица. По счастью, такая семья только и существуетъ въ преданіяхъ да въ славянскихъ мечтахъ. Но если мы и перешагнули за плетень патриархальности, такъ не дошли же опять до той всесторонности, чтобъ глубоко сочувствовать прожитому, выстрадавшему опыту другихъ. Ну, я васъ спрашиваю, какъ сыграетъ русская актриса Дѣву Орлеанскую? Это не въ ея родѣ совѣмъ. Или: какъ русскій актеръ возсоздастъ эти величавыя и мрачныя, гордыя и самобытныя шекспировскія лица, окружающія его Іоанна, Ричарда, Генриховъ, лица совершенно англійскія? Они для него такъ же странны, какъ человѣкъ, который бы нюхалъ глазами и ушами пѣль бы пѣсни. Фальстафа онъ представитъ скорѣе, потому что въ Фальставѣ есть черты, которыя мы можемъ видѣть во всякомъ уѣздномъ городѣ..

— Но есть же общечеловѣческія страсти?

— И да, и нѣтъ. Отелло былъ ревнивъ по-африкански и задушилъ невинную Дездемону, потомъ зарѣзался, называя себя «собакой». А у меня былъ пріятель, сосѣдъ по имѣнію, тоже ревнивый; онъ перехватилъ разъ письмо, писанное къ его женѣ и притомъ очень недвусмысленное; въ припадкѣ ярости онъ употребилъ отеческую исправительную мѣру и помирился съ женой. Ревность—одна страсть, но похожа ли она въ бѣшенномъ маврѣ и въ нравоучительномъ пріятелѣ? До нѣкоторой степени можно натянуть себя на пониманье чуждаго положенія и чуждой страсти, но для художественной игры этого мало. Повѣрьте, такъ, какъ поэтъ всюду вноситъ свою личность,—и чѣмъ вѣрнѣе онъ себѣ, чѣмъ откровеннѣе, тѣмъ выше его лиризмъ, тѣмъ сильнѣе онъ потрясаетъ ваше сердце,—тоже съ актеромъ: чему онъ не сочувствуетъ, того онъ не выразитъ или выразитъ учено, холодно. Вы не забывайте, онъ все же себя вводитъ въ лицо, созданное поэтомъ.

— О чемъ это вы такъ горячо проповѣдуете? спросилъ, входя въ комнату, одинъ извѣстный художникъ.

— Вотъ кстати-то какъ нельзя больше! Рѣшайте намъ вопросъ, занимающій насъ; мы единогласно выбираемъ васъ непогрѣшающимъ судіей.

— Много чести. Въ чемъ же дѣлю?

— Во-первыхъ, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполнѣ удовлетворила всѣмъ вашимъ требованіямъ на искусство?

— Которая была бы не хуже Марсъ, Рашель?

— Хоть Алланъ и Плесси.

— Видѣлъ, отвѣчалъ артистъ; видѣлъ великую русскую актрису; только я ее сужу безъ всякаго сравненія; всѣ названныя вами актрисы хороши, велики, каждая въ своемъ родѣ, но какъ ихъ искусство относится къ той, которую я видѣлъ, не знаю. Знаю, что я видѣлъ великую актрису, и что она была русская.

— Въ Москвѣ или Петербургѣ?

— Вотъ задача-то для нашего славянина, подхватилъ одинъ изъ говорившихъ:—какъ вы думаете, вѣдь театръ-то болѣе принадлежитъ петербургской эпохѣ, нежели московской. Ну, гдѣ же она была?

— Все-таки, должно быть, въ Москвѣ, рѣшительно возразилъ славянинъ.

— Успокойтесь. Я ее видѣлъ ни тамъ, ни тутъ, а въ одномъ маленькомъ губернскомъ городѣ.

— Вы это, вѣрно, говорите для оригинальности, хотите насъ поразить эффектомъ.

— Можетъ быть. Вы признали меня непогрѣшающимъ судіей, — ваше дѣло вѣрить. Ну, какъ я теперь вамъ докажу, что двадцать лѣтъ тому назадъ, я видѣлъ великую актрису, что я тогда рыдалъ отъ Сороки-Воровки, и что все это было въ маленькомъ городкѣ?

— Очень легко. Расскажите намъ какія-нибудь подробности о ней: вѣдь, не съ неба же она свалилась прямо въ Сороку-Воровку и не улетѣла же вмѣстѣ съ безнравственной птицей.

— Пожалуй. Да только эти воспоминанья неотрадны для меня, какъ-то очень тяжелы. Но извольте, что помню—расскажу. Дайте сигару.

— Вотъ вамъ *casadores cubrey*, сказалъ европеецъ, вынимая изъ портфеля длинную, стройную сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежитъ къ высшей аристократіи табачнаго листа.

— Вы знаете человѣческую слабость,—о чемъ бы человѣкъ ни вспоминалъ, онъ начнетъ всегда съ того, что вспомнить са-

мого себя; такъ и я, грѣшный человѣкъ, попрошу у васъ позволенія начать съ самого себя.

— Отъ души позволяемъ, отъ всей души.

— Не знаю, будутъ ли подробности объ актрисѣ интересны, а объ васъ-то навѣрно:

Parlez nous de vous, notre grand père,
Parlez nous de vous!—

Напѣвалъ европеецъ.

Всѣ успокоились, всѣ немножко подвинулись, какъ обыкновенно бываетъ, когда приготовляются слушать. Передаю здѣсь, насколько могу, рассказъ художника; конечно, записанный, онъ много потеряетъ и потому, что трудно во всей живости передать рѣчь, и потому, что я не все записалъ, боясь перегрузить стейку.

Но вотъ его рассказъ.

Вы знаете, что я началъ свое артистическое поприще на скромномъ провинціальномъ театрѣ. Дѣла нашего театра поразстроились; я былъ ужъ женатъ: надобно было думать о будущемъ. Въ самое это время распространялись болѣе и болѣе сказочныя повѣствованія о театрѣ князя Скалинскаго, въ одномъ губ. городѣ. Любопытство видѣть хорошо устроенный театръ, надежды, а можетъ быть и самолюбие, сильно манили туда. Долго думать было не о чемъ; я предложилъ одному изъ товарищей, который вовсе не предполагалъ ѣхать, отправиться вмѣстѣ въ N, и черезъ недѣлю мы были тамъ. Князь былъ очень богатъ и проживался на театрѣ. Вы можете изъ этого заключить, что театръ былъ не совсѣмъ дурень. Въ князѣ была русская широкая, размашистая натура: страстный любитель искусства, человѣкъ съ огромнымъ вкусомъ, съ тактомъ роскоши, ну, и при этомъ, какъ водится, непривычка обуздываться, и расточительность въ высшей степени. За послѣднее винить его не станемъ: это у насъ въ крови; я, небогатый художникъ, и онъ, богатый аристократъ, и бѣдный поденщикъ, пропивающій все, что зарабатываетъ, въ кабакъ,—мы руководствуемся одними правилами экономіи; разница только въ цифрахъ.

— Мы—неразчетливые нѣмцы, замѣтилъ съ удовольствіемъ славянинъ.

— Въ этомъ нельзя не согласиться, прибавилъ европеецъ. Останавливался ли кто изъ насъ мыслію, что у него денегъ мало, напр., когда ему хотѣлось выпить благороднаго вина? «За него», говорить Пушкинъ:

Послѣдній бѣдный лептъ, бывало,
Давать я, помните ль, друзья?

Совсѣмъ напротивъ: чѣмъ меньше денегъ, тѣмъ больше тратимъ. Вы, вѣрно, не забыли одного изъ нашихъ друзей, который, отдавая назадъ налитой стаканъ плохого шампанскаго, замѣтилъ, что мы еще не такъ богаты, чтобъ пить дурное вино.

— Господа, мы мѣшаемъ разсказу. Итакъ-съ?

Ничего. Князь слышалъ обо мнѣ прежде. Когда я явился къ нему, онъ былъ въ своей конторѣ и раздавалъ билеты, съ глубокимъ обсуживаніемъ, достоинъ или нѣтъ, и какого именно мѣста достоинъ приславшій за билетомъ. «Очень радъ, очень радъ, что вы вздумали, наконецъ, посѣтить нашъ театръ, вы будете нашимъ дорогимъ гостемъ», и бездну любезностей; мнѣ оставалось благодарить и кланяться. Князь говорилъ о театрѣ, какъ человѣкъ, совершенно знающій и сцену и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны другъ другомъ. Въ тотъ же вечеръ я отправился въ театръ; не помню, что давали, но увѣряю, что такой пышности намъ рѣдко случалось видѣть; что за декорации, что за костюмы, что за сочетаніе всѣхъ подробностей! Словомъ, все внѣшнее было превосходно, даже выработанность актеровъ; но я остался холоденъ; было что-то натянутое, неестественное въ манерѣ, какъ дворовые люди князя представляли лордовъ и принцессъ. Потомъ я дебютировалъ, былъ принятъ публикой какъ нельзя лучше; князь осыпалъ меня учтивостями. Приготовляясь ко второму дебюту, я пошелъ въ театръ. Давали «Сороку-Воровку»; мнѣ хотѣлось посмотрѣть княжескую труппу въ драмѣ.

Пьеса уже началась, когда я вошелъ; я досадовалъ, что опоздалъ, и разсѣянно, не понимая, что дѣлаютъ на сценѣ, смотрѣлъ по сторонамъ, смотрѣлъ на правильное размѣщеніе лицъ по чиnamъ, на странное сборище физиономій, вовсе другъ на друга не похожихъ, а выражающихъ одно и то же, на провинціальныхъ барынь, пестрыхъ, какъ американскія птицы, и на самого князя, который такъ гордо, такъ озабоченно сидѣлъ въ своей ложѣ. Вдругъ меня поразилъ слабый женскій голосъ; въ немъ выразилось такое страшное, глубокое страданіе. Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала въ старомъ бродягѣ своего отца, бѣглаго солдата... Я почти не слушалъ ея словъ, а слушалъ голосъ. Боже мой! думалъ я; откуда взялись такіе звуки въ этой юной груди; они не выдумываются, не приобрѣтаются изъ сольфеджей, а бываютъ выстраданы, приходятъ наградой за страшные опыты. Она провожаетъ отца до плетня, она стоитъ передъ нимъ такъ просто, задумчиво; надеждъ мало его спасти,— и когда старикъ уходитъ, вмѣсто словъ, назначенныхъ въ роли, у нея вырвался неопредѣленный крикъ, крикъ слабого, безза-

щитнаго существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, черезъ двадцать лѣтъ, я слышу этотъ раздирающій крикъ.

Онъ приостановился.

Да, господа, сказалъ онъ, помолчавши: — это была великая русская актриса!

Вѣроятно, вы знаете сюжетъ «Сороки-Воровки» хоть по россиіевской оперѣ. Страшная пьеса, послѣ которой ничего бы не оставалось на душѣ, кромѣ отчаянія, если бы не придѣлали мелодрамную развязку. Анету обвиняютъ въ кражѣ, подозрѣніе имѣетъ какъ будто полное право пасть на ея голову; какъ ее не подозрѣвать? Она бѣдна, она служанка. Да и наконецъ, если обвиненіе окажется несправедливымъ, что за бѣда; ей скажутъ: «поди, голубушка, домой; видишь, какое счастье, что ты невинна!» А до какой степени все это вмѣстѣ должно равнѣть, уничтожить оскорбленіемъ нѣжное существо,—этого рассказать не могу; для этого надобно было видѣть игру Анеты, видѣть, какъ она, испуганная, трепещущая и оскорбленная, стояла при допросѣ: ея голосъ и видъ были громкій протестъ, протестъ, раздирающій душу, обличающій много нелѣпаго на свѣтѣ и въ то же время умягченный какой-то теплой, кроткой женственностію, разливающей свой характеръ нѣжной граціи на всѣ ея движенія, на всѣ слова. Я былъ изумленъ, пораженъ; этого я не ожидалъ, между тѣмъ пьеса развивалась, обвиненіе шло впередъ, баллы хотѣлъ его для наказанія неприступной красавицы; черные люди суда мелькали по сценѣ, толковали такъ глубокомысленно, рассуждали такъ здраво,—потомъ осудили невинную Анету, и толпа стражей повела ее въ тюрьму; да, да, вотъ какъ теперь вижу, баллы говорить: «Господа служивые, отведите эту дѣвицу въ земскую тюрьму»—и бѣдная идетъ! но она останавливается еще разъ. «Ришаръ»,—говоритъ она, «я невинна, да неужели и ты не вѣришь, что невинна!» И тутъ уже среди стона угнетенной женщины звучитъ вопль негодованія, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю униженія, послѣ потери всѣхъ надеждъ, развивается вмѣстѣ съ сознаніемъ своего достоинства и тупой безвыходности положенія. Помните старый анекдотъ, какъ добрый нѣмецъ закричалъ изъ райка людямъ убитаго командора, искавшимъ Донъ-Жуана: «Онъ побѣжалъ направо въ переулочекъ!» Я чуть не сдѣлалъ того же, когда Анету повели солдаты. Потомъ сцена въ тюрьмѣ съ баллы. Развратный старикъ видитъ невиновность ея въ кражѣ и предлагаетъ продажей чести купить свободу. Несчастливая жертва вырастаетъ, ея слова становятся страшны, и какая-то глубокая иронія лица удваиваетъ оскорбительную силу словъ. Я какъ-то случайно

взглянулъ въ продолженіе этой сцены на князя; онъ былъ сильно потрясенъ, вертѣлся, покидалъ лорнетъ, опять бралъ его. Какъ такому знатоку не быть пораженнымъ этой игрой! Онъ вѣрно умѣлъ вполне цѣнить такую актрису, подумалъ я. Тихо, съ опущенной головой, съ связанными руками, шла Анета, окруженная толпою солдатъ, при рѣзкихъ звукахъ барабана и дудки. Ея видъ выражалъ какую-то глубокую думу и изумленіе. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ всю нелѣпость: это дитя, слабое, кроткое, съ свѣтлымъ челомъ невинности, и солдаты съ тесаками, съ штыками, и барабаны; да гдѣ же непріятель? А непріятель-то—это дитя въ серединѣ ихъ, и они побѣдятъ его... Но она останавливается передъ церковью, бросается, молча, на колѣни, поднимаетъ задумчивый взглядъ къ небу; не укоръ Прометея, не надменность Титана въ этомъ взглядѣ, совсѣмъ нѣтъ, а такъ простой вопросъ: «За что же это? и неужели это правда?» Ее повели. Я рыдалъ какъ ребенокъ. Вы знаете преданіе о «Сорокѣ-Воровкѣ»; дѣйствительность не такъ слабонервна, какъ драматическіе писатели, она идетъ до конца: Анету казнили. Въ пьесѣ открываютъ, что воровка не она, а сорока,—и вотъ Анету несутъ назадъ въ торжествѣ; но Анета лучше автора поняла смыслъ событія; измученная грудь ея не нашла радостнаго звука; блѣдная, усталая, Анета смотрѣла съ тупымъ удивленіемъ на окружающее ликованіе, со стороною упованій и надеждъ, кажется, она не была знакома. Сильныя потрясенія, горькій опытъ подрѣзали корень, и цвѣтокъ, еще благоуханный, склонялся, вянулъ; спасти его нельзя было; какъ мнѣ жаль было эту дѣвушку!...

Фу, Боже мой, продолжалъ онъ, обтирая лицо платкомъ:—я такую волю далъ воображенію и воспоминанію, что, кажется, и заврался и расплакался; да я не могу объ этихъ предметахъ иначе говорить, всякой разъ увлекусь... Ну, занавѣсъ опустилась. Какъ дорого бы я далъ, чтобъ ее опять подняли; еще бы разъ взглянуть на эту потухающую красоту, на это изящное страданіе. Но ее не вызывали. Не увидѣть Анеты я не могъ; идти къ ней, схватить ей руку, молча, взглядомъ передать ей все, что можетъ передать художникъ другому, поблагодарить ее за святые мгновенія, за глубокое потрясеніе, очищающее душу отъ разнаго хлама,—мнѣ это необходимо было какъ воздухъ. Я бросился за кулисы... Въ партерѣ меня остановилъ одинъ любитель театра; онъ кричалъ мнѣ, выходя изъ своего ряда: «А, вѣдь, Анета-то не дурна была, какъ вамъ? Очень недурна, немножко манеры тривіальны». Я не возражалъ ему ни слова; его бы не убѣдилъ, а время терять не хотѣлъ. «Куда вы?» спросилъ меня офиціантъ, стоявшій при входѣ за кулисы.—Я желаю видѣть Анету, понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку. «Безъ княжева позво-

ленья нельзя».—Помилуй, любезный, я самъ артистъ, третьяго дня игралъ. «Мнѣ не было приказу васъ пускать».—Пожалуйста, сказалъ я, выразительно опустивши два пальца въ жилетный карманъ. «Какіе вы мудреные», отвѣчалъ лакей: — «что же, мнѣ изъ-за васъ свою спину подставить?»

Я больше не настаивалъ и отправился домой; но я былъ близокъ къ отчаянію, я былъ несчастенъ, и это не фраза, не пустое слово... Неужели изъ васъ никому не случалось отдаваться безотчетно и безцѣльно обаятельному вліянію женщины, вовсе не близкой, долго смотрѣть на нее, долго ее слушать, встрѣчаться взглядомъ, привыкнуть къ ея улыбкѣ, и такъ вжиться въ эту летучую симпатію, что вы потомъ удивляетесь ея силѣ, когда эта женщина исчезаетъ; и вы себя чувствуете какъ-то оставленнымъ, одинокимъ: какая-то горечь наполняетъ душу, и весь вечеръ испорченъ, и вы торопитесь домой и сердитесь, что у васъ въ передней нагорѣло на свѣчкѣ, и что сигара скверно курится,—все оттого, что сыгралъ романъ въ полтора часа, романъ съ завязкой и развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мнѣ, молодомъ художникѣ: тоска по Анетѣ привела меня въ лихорадочное состояніе. Я, больной, бросился на кровать, я бредилъ, спалъ и не спалъ, и въ обоихъ случаяхъ образъ несчастной служанки носился передо мною. То она стоитъ, осужденная, такъ просто, удивительно просто; кругомъ сумасшедшіе—ихъ называютъ судьи, и мнѣ становилось горько; никто изъ нихъ не можетъ понять, что съ этимъ лицомъ и съ этимъ голосомъ нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведутъ ее, со связанными руками, на торжественное убіеніе и думаютъ, что дѣлаютъ дѣло. То несутъ ее съ криками радости, ей толкуютъ, говорятъ, что все прошло, что она свободна,—а она устала, у ней нѣтъ силъ обрадоваться, она какъ будто спрашиваетъ: «да что же было, вѣдь, ничего и не было?» Словомъ, тысячи варіацій на тему «Сороки-Воровки» бродили у меня въ головѣ всю ночь.

На другой день утромъ, часовъ въ одиннадцать, я отправился въ домъ князя, съ твердымъ намѣреніемъ лечь костыми, или добиться аудіенціи у Анюты. Когда я взошелъ на парадное крыльцо—одинъ отпертой входъ во всѣ дома, домики и флигеля князя—явился швейцаръ съ своимъ глобусомъ на палкѣ. Начался допросъ: къ кому, за чѣмъ? Я сказалъ. Швейцаръ объявилъ мнѣ, что безъ письменнаго дозволенія отъ князя меня не пропустятъ. Ну, меценатъ ревнивъ, подумалъ я. «Да какъ же берутъ эти дозволенія?» — Пожалуйте въ контору, тамъ управляющій можетъ доложить его сіятельству. Швейцаръ позвонилъ; вышелъ офиціантъ и повелъ меня въ контору. Гордо развалился передъ конторкой, сидѣлъ толстый управляющій, и, несмотря на ранній

часъ, онъ уже успѣлъ не только утолить голодъ, но даже и жажду. Я объяснилъ ему мою просьбу; вѣроятно, толстый господинъ не очень бы двинулся для меня, но онъ зналъ, что князь хотѣлъ заманить меня въ свою труппу, и, предоставляя себѣ дѣлать мнѣ отказы и неприятности впослѣдствіи, счелъ за нужное теперь уступить моей просьбѣ и самъ отправился къ князю для переговоровъ по такому важному дѣлу. Черезъ минуту онъ возвратился съ вѣстью, что князь билетъ подпишетъ и пришлетъ въ контору. Мнѣ было нѣкуда итти, я сѣлъ въ уголъ. Въ конторѣ царствовала большая дѣятельность. Французъ декораторъ прибѣгалъ крупно браниться съ управляющимъ и ломанымъ русскимъ языкомъ говорилъ совершенно нерусскія вещи; онъ былъ растрепанъ, въ засаленомъ сюртукѣ и такъ гордо смотрѣлъ, какъ самъ управляющій, и очень ругался. Потомъ управляющій велѣлъ позвать какого-то Матюшку; привели молодого человѣка съ завязанными руками, босого, въ сѣромъ кафтанѣ изъ очень толстаго сукна. «Пошелъ къ себѣ», сказалъ ему грубымъ голосомъ управляющій:— «да если въ другой разъ осмѣлишься выкинуть такую штуку, я тебя не такъ угощу: забыли о Сенькѣ?» Босой человѣкъ поклонился, мрачно посмотрѣлъ на всѣхъ и вышелъ вонъ. «Sacre reurle», пробормоталъ декораторъ и вышелъ вонъ, надѣвши сѣредь комнаты шляпу. «Лицо молодого человѣка мнѣ что-то очень знакомо», сказалъ я лакею, случившемуся близъ меня.— «Да вы съ нимъ третьяго дня играли». — «Неужели это тотъ, который игралъ лорда?»— «Тотъ самый».— «За что это такъ скрутили?» спросилъ я, понизивъ голосъ. Лакей бросилъ косвенный взглядъ на управляющаго и, видя, что онъ щелкаетъ на счетахъ, слѣдственно совершенно поглощенъ, отвѣчалъ мнѣ полушопотомъ: «Записочку перехватили къ одной актеркѣ; ну, этого у насъ не долюблываютъ, его и велѣли на мѣсяцъ посадить въ сибирку».— «Такъ это его тогда приводили на сцену оттуда?»— «Да-съ; имъ туда роли посылають твердить».— «Порядокъ всего дороже», отвѣчалъ я, и желаніе итти въ княжескую труппу начало остывать.

Дверь въ контору растворилась съ шумомъ, всѣ вскочили, вошелъ князь. Лакей взглянулъ на меня, я понялъ: это была просьба о скромности. Князь прямо подошелъ ко мнѣ и, подавая билетъ, замѣтилъ, какъ ему пріятно, что артистка его труппы заслужила такое одобреніе отъ меня,—весьма лестно отзывался о ней, страхъ какъ жалѣлъ, что она слаба здоровьемъ, извинялся, что меня не пустили безъ билета... «Дѣлать нечего, порядокъ въ нашемъ дѣлѣ половина успѣха, ослабъ сколько-нибудь возжи, бѣда, артисты люди безпокойные. Вы знаете, можетъ быть, что французы говорятъ: легче арміей цѣлой управлять, нежели труппой актеровъ. Вы не сердитесь за это, прибавилъ онъ, смѣясь:—

вы такъ привыкаете играть разныхъ султановъ, вельможъ, что и за кулисами остаются такія замашки».—Князь, сказалъ я:—если французы это говорятъ, то потому, что они не знаютъ устройства вашей труппы и ея управленія. «О, да вы къ тому же и льстецъ большой!» замѣтилъ князь, грозя пальцемъ, и, благосклонно улыбувшись, важно отправился къ бюро. А я къ Анетѣ.

Пока я достигъ флигеля, гдѣ жила Анета, меня раза три оставляли то лакей въ ливреѣ, то дворникъ съ бородой: билетъ побѣдилъ всѣ препятствія, и я съ біющимъ сердцемъ постучался робко въ указанную дверь. Вышла дѣвочка лѣтъ тринадцати, я назвалъ себя. «Пожалуйте», сказала она:—«мы васъ ждемъ». Она привела меня въ довольно опрятную комнатку, вышла въ другую дверь; дверь черезъ минуту открылась, и женщина, одѣтая вся въ бѣломъ, шла скорыми шагами ко мнѣ. Это была Анета. Она протянула мнѣ обѣ руки и сказала:

— Чѣмъ заслужила я это... благодарю васъ..., сказала тѣмъ голосомъ, который вчера такъ сильно потрясъ меня, и прежде, нежели я успѣлъ что-нибудь отвѣчать, она залилась слезами.—Извините, шептала она сквозь слезы прерывающимся голосомъ:—Бога ради, извините... это сейчасъ пройдетъ... я такъ обрадовалась... я слабая женщина, простите.

— Успокойтесь, что съ вами? успокойтесь, говорилъ я ей, и мои слезы капали на жилетъ:—если-бъ я зналъ, что мое посѣщеніе...

— Полю-те, какъ вамъ не грѣшно, полно-те, и она снова протянула мнѣ руку, омоченную слезами, а другою закрыла глаза:—вы не можете понять, сколько добра вы мнѣ сдѣлали вашимъ посѣщеніемъ, это благодѣяніе... Будьте же снисходительны, подождите минуту... я не много выпью воды, тогда все пройдетъ, и она улыбулась мнѣ такъ хорошо и такъ печально... Мнѣ давно хотѣлось поговорить съ художникомъ, съ человѣкомъ, котором у я могла бы все сказать, но я не ждала такого человѣка, и вдругъ вы,—я вамъ очень благодарна. Пойдемъ-те въ комнату, здѣсь могутъ насъ подслушать; не думайте, чтобъ я боялась, нѣтъ, ей-Богу, нѣтъ. Но это шпионство унизительно, грязно... и не для ихъ ушей то, что я вамъ хочу сказать.

Мы вошли въ спальню; она выпила воды и бросилась на стулъ, указывая мнѣ на кресло. Гдѣ были всѣ придуманныя мною похвалы, гдѣ были эти тонкія замѣчанія, которыми я хотѣлъ похвастать? Я смотрѣлъ на нее сквозь слезы, смотрѣлъ, и грудь моя поднималась. Лицо ея, прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказанье: въ каждой чертѣ можно было прочесть ту исповѣдь, которая звучала въ ея голосѣ вчера. Къ этимъ чертамъ, къ этому лицу прибавлять много не было нужды: нѣ-

сколько собственных именъ, нѣсколько случайностей, чиселъ, остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной нѣгой, а какъ-то траурно, безнадежно; огонь, свѣтившійся въ нихъ, кажется, сжигалъ ее. Худое и до невѣроятности истомленное лицо раскраснѣлось отъ слезъ какъ-то неестественно, чахоточно, она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на столъ, свою голову. Зачѣмъ тутъ не было Кановы или Торвальдсена: вотъ статуя страданья, страданья внутренняго, глубокаго! Что за благородная, богатая натура, думалъ я, которая такъ изящно гибнетъ, такъ страшно и такъ граціозно выражаетъ несчастье!.. Минутами, артистъ побѣждалъ во мнѣ человѣка... Я восхищался ею, какъ художественнымъ произведеніемъ.

Между тѣмъ она оправилась и говорила:

— Не правда ли, какая смѣшная встрѣча? Да еще не конецъ; я вамъ хочу рассказывать о себѣ; мнѣ надобно высказаться; я, можетъ быть, умру, не увидѣвши въ другой разъ товарища-художника... Вы, можетъ быть, будете смѣяться,—нѣтъ, это я глупо сказала, смѣяться вы не будете. Вы слишкомъ человѣкъ для этого; скорѣе вы сочтете меня за безумную. Въ самомъ дѣлѣ, что за женщина, которая бросается съ своей откровенностью къ человѣку, котораго не знаетъ; да, вѣдь, я васъ знаю, я видѣла васъ на сценѣ: вы художникъ.

Я жалъ ея руку и не могъ вымолвить ни слова.

— Исторія моя не длинна, очень коротка, напротивъ; я не утомлю васъ; послушайте ее хоть за то удовольствіе, которое я вамъ доставила Анетой.

— Да говорите, ради Бога, говорите; я жадно ловлю каждое слово, хотя, скажу вамъ откровенно, я бы могъ вамъ рассказать вашу исторію, не слыхавъ ни отъ васъ, ни отъ кого другого ни слова... Я ее знаю.

— Вотъ потому-то я вамъ и расскажу ее. Я не такъ давно въ здѣшней труппѣ. Прежде я была на другомъ провинціальномъ театрѣ, гораздо меньшемъ, гораздо хуже устроенномъ; но мнѣ тамъ было хорошо, можетъ быть оттого, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви къ искусству съ такимъ увлеченіемъ, что на внѣшнее не обращала вниманія, я болѣе и болѣе вживалась въ мысль, вамъ, вѣроятно, коротко знакомую,—въ мысль, что я имѣю призваніе къ сценическому искусству; мнѣ собственное сознаніе говорило, что я актриса. Я непрерывно изучала мое искусство, воспитывала тѣ слабыя способности, которыя нашла въ себѣ, и радостно видѣла, какъ трудность за трудностью исчезаетъ. Помѣщикъ нашъ былъ добрый, простой и честный человѣкъ; онъ

уважалъ меня, цѣнилъ мои таланты, далъ мнѣ средства выучиться по-французски, возилъ съ собою въ Италію, въ Парижъ, и видѣла Тальму и Марсъ, я пробыла полгода въ Парижѣ, и— что дѣлать!—я еще была очень молода, если не лѣтами, то опытомъ, и воротилась на провинціальный театрикъ; мнѣ казалось, что какіе-то особенные узы долга связуютъ меня съ воспитателемъ. Еще бы годъ!.. Мало ли что могло бы быть... Онъ умеръ скоропостижно. Въ мрачной боязни ждали мы шесть недѣль, онѣ прошли, вскрыли бумаги, но въ нихъ ничего не нашлось. Новость эта оглушила насъ; пока мы еще плакали да думали, что дѣлать, наша труппа перешла въ другія руки. Князь нашъ хорошо принялъ, хорошо помѣстилъ, какъ вы сами видите, даже положилъ большіе оклады, не стѣсня себя впрочемъ точностью выдачи. Но это былъ ужъ не прежній директоръ, добродушный и снисходительный; онъ съ перваго разу далъ почувствовать всю необъятную разницу между имъ и его гаерами, назначенными для его удовольствія. Онъ привыкъ къ раболѣпію, онъ протягивалъ свою руку охотникамъ цѣловать; дворецкій и толпа его фаворитовъ старались подражать ему въ обращеніи. Тяжело было на сердцѣ, очень тяжело, но были еще и отрадныя минуты; меня берегли за талантъ, и я умѣла еще такъ предаваться искусству, что забывала окружающее; меня тѣшило—самой смѣшно и стыдно теперь — прекрасное устройство театра. Все это прошло, — даже становится невѣроятнымъ, что было.

— Я стала замѣчать, что одинъ изъ любимцевъ князя особенно внимателенъ ко мнѣ, я поняла эту внимательность и—вооружилась. Князь не привыкъ къ отказамъ изъ труппы. Я дѣлала видъ, что ничего не понимаю; онъ счелъ за нужное высказывать яснѣе и яснѣе свои намѣренія; наконецъ, онъ подослалъ ко мнѣ своего повѣреннаго съ разными обѣщаніями и условіями. Я прогнала повѣреннаго, и на время преслѣдованія прекратились. Разъ поздно вечеромъ, воротившись съ представленія, я читала вслухъ, одна, читала вновь переведенную съ нѣмецкаго трагедію «Коварство и Любовь». Вы знаете, вѣроятно, ее. Въ ней такъ много близкаго душѣ, такъ много негодованія, упрека, улики въ нечѣстности жизни, которую ведутъ люди; когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Всѣ лица этой пьесы оставляютъ какое-то тяжелое впечатлѣніе—гофмаршалъ, и леди, и старикъ камердинеръ, у котораго дѣти пошли добровольно въ Америку... и милыя дѣти Фердинандъ и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы, особенно сцену съ Вурмомъ, гдѣ онъ заставляетъ писать письмо, если бы можно при васъ, да князь не любитъ такихъ пьесъ. Итакъ, я читала «Коварство и Любовь» и была совершенно подъ вліяніемъ пьесы, увлечена, одушевлена ею:

вдругъ кто-то сказалъ: «Прекрасно, прекрасно!» и положила мнѣ на раскрытое плечо свою руку. Я съ ужасомъ отскочила къ стѣнѣ. Это былъ онъ.

— «Что угодно приказать вамъ? спросила я голосомъ, дрожавшимъ отъ бѣшенства и негодованія», я слабая женщина, вы это сейчасъ видѣли, но увѣряю, я могу быть и сильной женщиной.

— Я и это видѣлъ, возразилъ я, намекая на нѣкоторыя выраженія въ ея разсказѣ.

«Приказывать нечего, отвѣчалъ посѣтитель, стараясь придать плѣнительное выраженіе своему лицу:—можно ли приказывать такимъ глазкамъ: они должны приказывать».

Я смотрѣла прямо ему въ глаза. Онъ нѣсколько смутился, онъ ждалъ какого-нибудь отвѣта. Но онъ скоро нашелся, подошелъ ко мнѣ и, сказавши: «Ne faites donc pas la grude, не дурасься, ну, посмотри же на меня не такъ; другія за счастье поставили бы себѣ...» и онъ взялъ меня за руку, я ее отдернула.

— «Вы, сказала я, можете сдѣлать мнѣ много зла, но есть такія блага и у самого животнаго, которыхъ у него отнять нельзя, пока оно живо, по крайней мѣрѣ. Идите къ другимъ, осчастливьте ихъ, если вы успѣли воспитать ихъ въ такихъ понятіяхъ».

«Mais elle est charmante! возразилъ онъ, какъ къ ней идетъ этотъ гнѣвъ! Да полно ролю играть».

— «Что вамъ угодно въ моеѣ комнатѣ въ такое время?» сказала я сухо.

«Ну, пойдѣмъ въ мою, отвѣчалъ онъ; я не такъ грубо принимаю гостей, я гораздо добрѣе тебя». И онъ придалъ своимъ глазамъ видъ сладко-чувствительный. Старикъ этотъ въ эту минуту былъ безмѣрно отвратителенъ, съ дрожащими губами, съ выраженіемъ... съ гадкимъ выраженіемъ.

— «Дайте вашу руку, подите сюда». Онъ, ничего не подозрѣвая, подаль мнѣ руку; я подвела его къ моему зеркалу, показала ему его лицо и спросила его:—«И вы думаете, что я пойду къ этому смѣшному старику, къ этому плѣшивому селадону?» Я расхохоталась.

Старикъ поблѣднѣлъ отъ бѣшенства. Въ первую минуту онъ, вырвавши свою руку, поднялъ ее и, вѣроятно, ударилъ бы меня въ лицо, если-бъ онъ больше владѣлъ собою. Онъ ограничился грубой бранью и вышелъ вонъ, крича:

«Я тебя научу забываться: кому ты смѣешь говорить этимъ языкомъ? Ты воображаешь, что ты актриса!.. Ты *прачка!*»

— Я захлопнула за нимъ дверь и бросила на полъ столовый ножикъ, который безъ всякой мысли схватила, когда мнѣ помѣшали читать, и потомъ спрятала его въ рукавъ на всякой случай.

— Что я чувствовала, какъ я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вамъ рассказывать ряда мелкихъ, оскорбительныхъ неприятностей, который начался для меня съ этого дня. У меня отняли лучшія роли, меня мучили непрерывной игрой въ роляхъ, вовсе чуждыхъ моему таланту, со мною всѣ наши власти начали обращаться грубо, говорили мнѣ *ты*, не давали мнѣ хорошихъ костюмовъ; не хочу потому рассказывать, что это все пойдеть въ похвалу князю: онъ не такъ бы могъ поступить со мною, онъ поделикатился, онъ меня уважилъ гоненіями, въ то время, какъ онъ могъ наказать розгами. Меня не скоро бы они добились только такими мелочами, меня добила эта любовь... Я постоянно въ лихорадкѣ, сонъ не освѣжаетъ меня, къ вечеру голова горитъ, а утромъ я какъ въ ознобѣ. Повѣрите ли, что съ тѣхъ поръ каждую недѣлю мнѣ перешиваютъ костюмы, и я радуюсь этому, а съ тѣмъ вмѣстѣ, признаюсь вамъ, страшно, страшно и больно. Да развѣ не могло иначе быть?.. Видно, что нѣтъ... Съ тѣхъ поръ, больная, въ какомъ-то горячечномъ состояніи выхожу я на сцену, и меня осыпаютъ рукоплесканіями, не понимая моей игры. Я съ тѣхъ поръ играю одну роль, зрители не догадались. Талантъ мой тухнетъ, я становлюсь одностороннѣе; есть роли, которыя я играю небрежно, которыя мнѣ сдѣлались невозможны. Итакъ, все кончено—и талантъ и жизнь... прощай искусство, прощайте увлеченія на сценѣ! Поживу еще года два съ князевыми словами: ихъ бы вырѣзать на моей могилѣ.

Она умолкла. Я не нашелъ ей ничего сказать въ утѣшеніе. Помолчавши, она продолжала:

— Мѣсяца два тому назадъ былъ бенефисъ. Прошу костюма, не даютъ. Въ такомъ случаѣ, сказала я режиссеру, я куплю на свои деньги, что надобно, и сошью его себѣ. Надѣваю шляпку и хочу итти въ лавки.

— Не велѣно никуда пускать безъ спросу; гдѣ у васъ дозволеніе?

Я была раздражена и пошла въ контору. Князь былъ тамъ; подхожу къ нему и прошу позволенія итти въ лавки.

«(Транное время тебѣ назначаютъ любовники для свиданья—утромъ!» замѣтилъ князь, къ неопisanному удовольствію управляющаго и лакеевъ.

Кровь бросилась мнѣ въ голову; мое поведеніе было незапятнанное; оскорбленіе вывело меня изъ себя.

— «Такъ это для сбереженія нашей чести запираютъ насъ? Ну, князь, вотъ вамъ моя рука, мое честное слово, что ближе году я докажу вамъ, что мѣры, вами избранныя, недостаточны!»

При этомъ я вышла прежде, нежели онъ успѣлъ сказать слово.

Тутъ она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просилъ успокоиться, выпить еще воды, держалъ ея холодную и влажную руку въ моей... Она опустила голову; казалось, ей тяжело продолжать. Но вдругъ она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянувъ на меня, сказала:

— Я сдержала слово!...

— Мой романъ не оставилъ мнѣ тѣхъ кроткихъ, сладкихъ воспоминаній счастья, упоеній, какъ у другихъ: въ немъ все лихорадочно, безумно; въ немъ не любовь, а отчаяніе, безвыходность... Я вамъ не расскажу его, потому что собственно нечего рассказывать.

— Князь знаетъ? спросилъ я.

— Вѣроятно, знаетъ; онъ все знаетъ... Да я бы была въ отчаяніи, если-бъ онъ не зналъ. Я не боюсь его; я умру въ этой комнатѣ, а ужъ проситься не пойду къ нему. Я и это слово сдержу. Меня одно страшило: умереть, не выдавши человѣка... Теперь вы понимаете, что для меня ваше посѣщеніе...

— Да нельзя ли какъ-нибудь... располагайте мною.

— Нѣтъ; вы видите, какъ васъ строго пасутъ.

Бѣдная артистка! думалъ я: что за безумный, что за преступный человѣкъ сунулъ тебя на это поприще, не подумавши о судьбѣ твоей. Зачѣмъ разбудили тебя? Затѣмъ только, чтобъ сообщить вѣсть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя въ неразвитости, и великій талантъ, неизвѣстный тебѣ самой, не мучилъ бы тебя; можетъ быть, подчасъ и поднималась бы съ дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной.

— Пора намъ разстаться, сказала она печально.

— Прощайте, благодарю васъ; какъ бы я желалъ что-нибудь... Она улыбнулась.

— Вспоминайте иногда, что и во мнѣ...

— Погибла великая русская актриса!...

Я вышелъ, заливаясь слезами.

— Знаешь ли, какая радость? сказалъ мнѣ товарищъ мой, когда я возвратился домой:—здѣсь сейчасъ былъ управляющій князя, удивлялся, что ты не приходишь еще домой, и велѣлъ тебѣ сказать, что князь желаетъ тебя оставить на слѣдующихъ условіяхъ.—Онъ съ торжествующимъ лицомъ подаль мнѣ бумагу.

Условія были превосходны.

— А знаешь ли ты новость, отвѣчалъ я ему:—идучи домой, я зашелъ къ нашему ямщику и нанялъ ту же тройку, которая насъ сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я черезъ часъ ѣду.

— Да что ты, съума сошелъ?

— Не знаю, но я здѣсь не останусь; климатъ нездоровъ для художника. А? Подумай-ка, да и поѣдемъ на нашъ старый театръ,

съ его декораціями, въ которыхъ мудрено отличить тѣнистую аллею отъ рѣки, въ которыхъ море спокойно, а стѣны волнуются. Поѣдемъ-ка!

— Я бы и готовъ, право, воротиться, отвѣчалъ товарищъ, беззаботнѣйшій изъ смертныхъ:—да, вѣдь, съ голоду тамъ умремъ.

— А здѣсь отъ сытости. Голодъ можно вылечить кускомъ хлѣба, а кусокъ хлѣба, слава Богу, съ нашимъ здоровьемъ работаетъ. Болѣзни отъ сытости не такъ скоро лечатся.

Товарищъ задумался; я не хотѣлъ его уговаривать. Вдругъ онъ померъ со смѣху:

— Ха, ха, ха! ѣду, братецъ, ѣду; знаешь ли, что мнѣ въ голову пришло: какъ удивится Василій Петровичъ, когда мы черезъ двѣ недѣли воротимся, вотъ удивится-то!

Эта мысль о сюрпризѣ совершенно примирила моего пріятеля съ неожиданнымъ путешествіемъ. Однако онъ спросилъ:

— Ну, а управляющему какой отвѣтъ?

— Тутъ очень затрудняться нечѣмъ; не мы будемъ отвѣчать завтра, если сегодня уѣдемъ; ему скажутъ: вчера отправились обратно. Вотъ я князю сюрпризъ такой же, какъ Василью Петровичу.

— Въ самомъ дѣлѣ хорошо, оттого хорошо, что условія выгодны; пусть онъ знаетъ, что не все на свѣтѣ покупается. Сейчасъ буду укладываться!

И онъ началъ увязывать и складывать небольшіе пожитки наши, насвистывая мотивъ изъ Калифа Багдадскаго.

Вотъ и все. Для полноты прибавлю, что черезъ два часа мы попрыгивали въ кибиткѣ. Мнѣ было скверно, какая-то жолчевая злоба наполняла душу; я пробовалъ и на дорогу смотрѣть, и по сторонамъ, и сигары курить,—ничего не помогало. Да и, какъ на смѣхъ, небо было сѣро, вѣтеръ холодень, даль терялась за болотистыми испареніями, всѣ виды, которыми я восхищался, ѣхавши сюда, были угрюмы, оттого ли, что я ихъ видѣлъ въ обратномъ порядкѣ, или отчего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господскіе дома съ парками и оранжереями, такъ гордо красовавшіеся между почернѣвшихъ и полуразвалившихся избъ, казались мнѣ мрачными.

— Что же сдѣлалось потомъ съ Анетой? Видѣли ли вы ее?

— Нѣтъ; она умерла черезъ два мѣсяца послѣ родовъ.

Художникъ отиралъ слезы, бѣжавшія по щекѣ. Молодые люди молчали, онъ и они представляли прекрасную надгробную группу Анетѣ.

— Все такъ, сказалъ вставая славянинъ:—но зачѣмъ она не обвинчалась тайно?...

26 января, 1846 г.

Докторъ Круповъ.

ПОВѢСТЬ.

О душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности.

Сочиненіе доктора Крупова ¹⁾.

Много и много лѣтъ прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ я постоянно посвящаю время, отъ леченія больныхъ и исполненія обязанностей остающееся, на положеніе *сравнительной психіатріи* съ точки зрѣнія совершенно новой. Но недовѣріе къ силамъ, скромность и осторожность доселѣ воспрещали мнѣ всякое обнародованіе моея теоріи. Нынѣ дѣлаю первый опытъ сообщить благосклонной публикѣ часть моихъ наблюденій. Дѣлаю оное, побуждаемый предчувствіемъ скорого перехода въ минерально-химическое царство, коего главное неудобство—отсутствіе сознанія. Полагаю, что на мнѣ лежитъ обязанность узнанное мною закрѣпить, такъ сказать, внѣ себя добросовѣстнымъ рассказомъ для пользы и соображенія сотоварищамъ по наукѣ; мнѣ кажется, что я не имѣю права допустить мысль мою безслѣдно исчезнуть, при новыхъ, предстоящихъ большимъ полушаріямъ мозга моего, химическихъ сочетаніяхъ и разложеніяхъ.

Узнавъ случайно о вашемъ Сборникѣ я рѣшился послать въ него отрывокъ изъ введенія, потому именно, что оно весьма общедоступно, въ ономъ собственно содержится не теорія, а исторія возникновенія оной въ головѣ моей. Присемъ не излишнимъ считая предупредить васъ, что я всего менѣе литераторъ и, проживая нынѣ лѣтъ тридцать въ губернскомъ городѣ, удаленномъ

¹⁾ Этотъ небольшой отрывокъ былъ помѣщенъ въ «Современникѣ» 1847 года, съ значительными пропусками, сдѣланными цензурой. Мы его печатаемъ теперъ въ настоящемъ видѣ.

какъ отъ резиденціи, такъ и отъ столицы, я отвыкъ отъ красно-рѣчиваго изложенія мыслей и не привыкъ къ модному языку. Не должно, однако, терять изъ виду, что цѣль моя вовсе не беллетристическая, а патологическая. Я не плѣнить хочу моими сочиненіями, а быть полезнымъ, сообщая чрезвычайно важную теорію, доселѣ отъ вниманія величайшихъ врачей ускользнувшую, нынѣ же недостойнѣйшимъ изъ учениковъ Иппократа научно-образно развитую и наблюденіями пробвренную.

Сію теорію посвящаю я вамъ, самоотверженные врачи, жертвующіе временемъ вашимъ печальному занятію леченія и хожденія за страждущими душевными болѣзнями.

S. Croupoff, M. et Ch. Doctor.

I.

Я родился въ одномъ помѣщичьемъ селеніи на берегу Оки. Отецъ мой былъ діакономъ. Возлѣ нашего домика жилъ пономарь, человекъ хилой, бѣдный и обремененный огромной семьей. Въ числѣ восьми дѣтей, которыми Богъ наградилъ пономаря, былъ одинъ ровесникъ мнѣ, мы съ нимъ вмѣстѣ росли, всякій день вмѣстѣ играли въ огородѣ, на погостѣ, или передъ нашимъ домомъ. Я ужасно привязался къ товарищу, дѣлился съ нимъ всѣми лакомствами, которыя мнѣ давали, даже кралъ для него спрятанные куски пирога, кашу и передавалъ черезъ плетень. Пріятеля моего всѣ звали косою Левка, онъ дѣйствительно немного косилъ глазами. Чѣмъ болѣе я возвращаюсь къ воспоминаніямъ о немъ, чѣмъ внимательнѣе перебираю ихъ, тѣмъ яснѣе мнѣ становится, что пономаревъ сынъ былъ ребенокъ необыкновенный; шести лѣтъ онъ плавалъ какъ рыба, лазилъ на самыя большія деревья, уходилъ за нѣсколько верстъ отъ дома одинъ одиноконекъ, ничего не боялся, былъ какъ дома въ лѣсу, зналъ всѣ дороги и въ то же время былъ чрезвычайно непонятливъ, разсѣянъ, даже тупъ. Лѣтъ восьми насъ стали учить грамотѣ; и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ бѣгло читалъ псалтырь, а Левка не дошелъ и до складовъ. Азбука сдѣлала переворотъ въ его жизни. Отецъ его употреблялъ всевозможныя средства, чтобы развить умственные способности сына: и не кормилъ дня по два, и сбѣкъ такъ, что недѣли двѣ рубцы были видны, и половину волосъ выдралъ ему и запиралъ въ темный чуланъ на сутки,—все было тщетно, грамота Левкѣ не давалась; но безжалостное обращеніе онъ понималъ, ожесточился и выносилъ все, что съ нимъ дѣлали, съ какою-то злою сосредоточенностію. Это ему не дешево стоило; онъ исхудалъ, видъ его, выражавшій прежде дѣтскую кротость и

дѣтскую беззаботность, сталъ выражать дикость запуганнаго звѣря; на отца онъ не могъ смотрѣть безъ ужаса и отвращенія. Побился еще года два пономарь съ сыномъ, увидѣлъ, наконецъ, что онъ глупо-рожденный и предоставилъ ему полную волю.

Освобожденный Левка сталъ пропадать цѣлые дни, приходилъ домой грѣться или укрываться отъ непогоды, садился въ уголокъ и молчалъ, а иногда бормоталъ про себя разныя неясныя слова и велъ дружбу только съ двумя существами,—со мной и съ своей собаченкой. Собаченку эту онъ приобрѣлъ неотъемлемымъ правомъ. Разъ, когда Левка лежалъ на пескѣ у рѣки, крестьянскій мальчикъ вынесъ щенка, привязалъ ему камень на шею и, подойдя къ крутому берегу, гдѣ рѣка была поглубже, бросилъ туда собаченку; въ одинъ мигъ Левка отправился за нею, нырнулъ и черезъ минуту явился на поверхности со щенкомъ; съ тѣхъ поръ они не разлучались.

Лѣтъ двѣнадцати меня отправили въ семинарію. Два года я не былъ дома, на третій я пріѣхалъ провести вакаціонное время къ отцу. На другой день утромъ рано, я надѣлъ свой новый затрапезный халатъ и хотѣлъ идти осматривать знакомыя мѣста. Только я вышелъ на дворъ, у плетня стоитъ Левка, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ, бывало, я ему давалъ пироги; онъ бросился ко мнѣ съ такою радостью, что у меня слезы навернулись.

— «Сенька, говорилъ онъ, я всю ночь ждалъ Сеньку,—Груша вчера молвила: Сенька пріѣхалъ», и онъ ласкался ко мнѣ какъ звѣрекъ, съ какимъ-то подобострастіемъ, смотрѣлъ мнѣ въ глаза и спрашивалъ: «Ты не сердить на меня? Всѣ сердиты на Левку,—не сердись, Сенька, я плакать буду, не сердись, я тебѣ вкешу поймалъ».

Я бросился обнимать Левку; это такъ ново, такъ необыкновенно было для него, что онъ просто зарыдалъ и, схвативши мою руку, цѣловалъ ее, я не могъ ее отдернуть, такъ крѣпко онъ держалъ ее.

— Пойдемъ-ка въ лѣсъ, сказалъ я ему.

— «Пойдемъ далеко за буераки, хорошо будетъ, очень хорошо», отвѣчалъ онъ.

Мы пошли, онъ велъ версты четыре лѣсомъ, поднимавшимся въ гору, и вдругъ вывелъ на открытое мѣсто; внизу текла Ока, кругомъ версть на двадцать стелился одинъ изъ превосходныхъ сельскихъ видовъ Великороссіи.

— «Здѣсь хорошо, говорилъ Левка,—здѣсь хорошо».

— Что же хорошо? спросилъ я его, желая испытать. Онъ остановилъ на мнѣ какой-то невѣрной взглядъ, лицо его приняло другое болѣзненное выраженіе, онъ покачалъ головой и сказалъ: — «Левка не знаетъ, такъ, хорошо!»

Мнѣ стало смерть стыдно. Левка сопровождалъ меня на всѣхъ прогулкахъ, его безграничная преданность, его непрерывное вниманіе сильно трогали меня. Привязанность его ко мнѣ была понятна: одинъ я обходился съ нимъ ласково. Въ семьѣ имъ гнушались, стыдились его; крестьянскіе мальчишки дразнили его, даже взрослые мужики дѣлали ему всякаго рода обиды и оскорбленія, приговаривая: «юродиваго обижать не надо, юродивый Божій человѣкъ». Онъ обыкновенно ходилъ задами села; когда же ему случалось идти улицей, однѣ собаки обходились съ нимъ по-человѣчески: онѣ издали, завидя его, виляли хвостомъ и бѣжали къ нему навстрѣчу, прыгали на шею, лизали въ лицо и ласкались до того, что Левка, тронутый до слезъ, садился середь дороги и цѣлые часы занималъ изъ благодарности своихъ пріятелей, занималъ ихъ до тѣхъ поръ, пока какой-нибудь крестьянскій мальчикъ пускалъ камень на удачу, въ собаку ли попадетъ, или въ бѣднаго мальчика; тогда онъ вставалъ и убѣгалъ въ лѣсъ.

Передъ сельскимъ праздникомъ мой отецъ, видя, что Левка весь въ лохмотьяхъ, велѣлъ моей матери сшить ему длинную рубашку и отдать ее сестрамъ шить. Управитель, услышавши, объ этомъ, далъ толстаго домашняго сукна для него на кафтанъ. При господскомъ домѣ былъ приставленъ старикъ лакей, онъ былъ приставленъ не столько по способности смотрѣть за чѣмъ-нибудь, сколько за пьянство. Этотъ лакей былъ фельдшеръ и портной; онъ весьма затруднился, когда получилъ отъ управляющаго приказъ сшить Левкѣ кафтанъ,—какъ сшить дурацкій кафтанъ? Сколько онъ ни думалъ, все выходило довольно обыкновенный кафтанъ, а потому онъ и рѣшился на отчаянное средство: пришить къ нему красный воротникъ изъ остатковъ какой-то старинной ливреи. Левка былъ ужасно радъ и новой рубашкѣ, и кафтану, и красному воротнику, хотя, по правдѣ сказать, радоваться было нечему. Доселѣ крестьянскіе мальчишки нѣсколько удерживались, но когда на Левку надѣли парадный мундиръ дурака,—гоненія и насмѣшки удвоились. Однѣ женщины были на сторонѣ Левки, подавали ему лепешки, квасу и браги и говорили иногда пріятливое слово; мудрено ли, впрочемъ, что бабы и дѣвки, задавленные патріархальнымъ гнетомъ мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику. Мнѣ было чрезвычайно жаль Левку, но помочь ему было трудно; унизая его, казалось, добрые люди расли въ своихъ собственныхъ глазахъ. Серьезно съ нимъ никто слова не молвилъ, даже мой отецъ, отъ природы вовсе не злой человѣкъ, хотя исполненный предразсудковъ и лишенный всякаго снисхожденія, и тотъ иначе не могъ обращаться съ Левкой, какъ унижая его и возвышая себя.

— А что, Левка, говариваль онъ ему, любяшь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящаго?

— «Люблю, отвѣчалъ Левка, Сеньку люблю больше».

— Видишь, губа-то не дура, ну, а еще кого больше любяшь?

— «Никого», простодушно отвѣчалъ Левка.

— Ахъ, глупорожденный, глупорожденный, ха, ха, ха, а мать родную меньше любяшь развѣ?

— «Меньше», отвѣчалъ Левка.

— А отца твоего?

— «Совеѣмъ не люблю».

— О, Господи Боже мой, чти отца твоего и мать твою, а ты дуракъ что? Безмысленныя животныя и тѣ любятъ родителей, какъ же разумному подобію Божию не любить ихъ?

— «Какія животныя»?

— Ну, какія: лошади, псы всякіе.

Левка качалъ головой:—«Развѣ щенята, а большіе нѣтъ. Они такъ любятъ, кто по нраву придется, вотъ наша кошка Машка любитъ моего Шарика».

И батюшка мой хохоталъ отъ души, прибавляя: «Блаженны нище духомъ!»

Я тогда уже оканчивалъ риторикку и потому не трудно понять, отчего мнѣ въ голову пришло написать «Слово о богопротивномъ людей обращеніи съ глупорожденными». Желая расположить мое сочиненіе по всеѣмъ квинтилиановскимъ правиламъ съ соблюденіемъ законовъ хриіа, я, обдумывая его, пошелъ по дорогѣ, шелъ, шелъ и, не замѣчая того, очутился въ лѣсу; такъ какъ я взошелъ въ него безъ вниманія, то и не удивительно, что потерялъ дорогу, искалъ, искалъ и еще болѣе терялся въ лѣсу; вдругъ слышу знакомый лай Левкиной собаки, я пошелъ въ ту сторону, откуда онъ раздавался и вскорѣ былъ встрѣченъ Шарикомъ; шагахъ въ пятнадцать отъ него, подъ большимъ деревомъ, спалъ Левка. Я тихо подошелъ къ нему и остановился. Какъ кротко, какъ спокойно спалъ онъ! Онъ былъ дурень собой на первый взглядъ: бѣлые льняные волосы прямо падали съ головы странной формы, блѣдный лицомъ, съ бѣлыми рѣсницами и нѣсколько косившимися глазами. Но никто никогда не далъ себѣ труда взглянуть въ его лицо; оно вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, когда онъ спалъ, щеки его немного раскраснѣлись, косые глаза не были видны, черты его выражали такой миръ душевный, такое спокойствіе, что становилось завидно.

Тутъ, стоя передъ этимъ спящимъ дурачкомъ, я былъ пораженъ мыслью, которая преслѣдовала меня всю жизнь. Съ чего люди, окружающіе его, воображаютъ, что они лучше его, отчего

считаютъ себя въ правѣ презирать, гнать это существо тихое, доброе, никому никогда не сдѣлавшее вреда? И какой-то таинственный голосъ шепталъ мнѣ: оттого, что и всѣ остальные — юродивые, только на свой ладъ, и сердятся, что Левка глупъ по своему, а не по ихъ.

Странная мысль эта выгнала у меня изъ головы всѣ хриіи и метафоры, я оставилъ спящаго Левку и пошелъ бродить на-удачу по лѣсу, съ какой-то внутренней болью перевертывая и взглядываясь въ новую мысль. Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, чѣмъ Левка хуже другихъ? Тѣмъ, что онъ не приноситъ никакой пользы; ну, а пятьдесятъ поколѣній, которыя жили только для того на этомъ клочкѣ земли, чтобы ихъ дѣти не умерли съ голоду сегодня и чтобы никто не зналъ, зачѣмъ они жили и для чего они жили, гдѣ же польза ихъ существованія? Наслажденіе жизнию — да они ею никогда не наслаждались, по крайней мѣрѣ гораздо меньше Левки? Дѣти? дѣти могутъ быть и у Левки, это дѣло не хитрое. Зачѣмъ Левка не работаетъ? что за бѣда; онъ ни у кого ничего не проситъ, кой-какъ сытъ. Работа не наслажденіе, кто можетъ обойтись безъ работы, тотъ не работаетъ; всѣ остальные на селѣ работаютъ безъ всякой пользы, работаютъ цѣлый день, чтобы съѣсть кусокъ черстваго хлѣба, а хлѣбъ ѣдятъ для того, чтобы завтра работать, въ твердой увѣренности, что все выработанное не ихъ. Здѣшній помѣщикъ, Федоръ Григорьевичъ, одинъ ничего не дѣлаетъ, а пользы получаетъ больше всѣхъ, да и то онъ ее не дѣлаетъ, она какъ-то сама дѣлается ему. Жизнь его, сколько я знаю, проходитъ въ большей пустотѣ, нежели жизнь Левки, который, чего нѣтъ другого, гуляетъ, а тотъ все сердится.

Чѣмъ Левка сытъ, я не понимаю, но знаю одно, что какъ онъ ни тупъ, но если наберетъ земляники или грибовъ, то его не такъ-то легко убѣдить, что онъ можетъ ѣсть одни неспѣлыя ягоды да сыроѣжки, а что вкусныя ягоды и бѣлые грибы принадлежатъ, ну хоть отцу Василью. Левка никогда дома не живетъ, не исполняетъ ни гражданскихъ, ни семейныхъ обязанностей сына, брата. Ну, а тѣ, которые дома живутъ, развѣ исполняютъ? У него есть еще семь братьевъ и сестеръ, живущихъ дома въ какомъ-то состояніи постоянной войны между собой и съ пономаремъ. Все такъ, но пустая жизнь его. Да отчего же она пустая? Онъ вжился въ природу, онъ понимаетъ ея красоты по своему, — а для другихъ жизнь пошлый обрядъ, туное одно и то же, ни къ чему не ведущее.

И я постоянно возвращался къ основной мысли, что причина всѣхъ гоненій на Левку состоитъ въ томъ, что Левка глупъ на свой особенный салтыкъ, — а другіе повально глупы; и такъ какъ картежники не любятъ неиграющаго, а пьяницы нешьющаго,

такъ и они ненавидятъ бѣднаго Левку. Однако, диссертациа я не написалъ; для меня, ученика семинаріи, казалось труднымъ и даже неприличнымъ писать о такихъ суетныхъ предметахъ. Намъ учили все писать о предметахъ возвышенныхъ, душу и сердце возносящихъ горѣ. Вакаціонное время прошло, пора мнѣ было возвращаться въ монастырь. Когда батюшка мой заложилъ пѣгую лошадку нашу въ телѣгу, чтобы отвезти меня, Левка пришелъ опять къ плетню, онъ не совался впередъ, а прислонившись къ веревѣ, обтиралъ по временамъ грязнымъ спущеннымъ рукавомъ рубашки слезы. Мнѣ было очень грустно его оставить; я подарилъ ему всякихъ бездѣлушекъ, онъ на все смотрѣлъ печально. Когда же я сталъ садиться въ телѣгу, Левка подошелъ ко мнѣ и такъ печально, такъ грустно сказалъ: «Сенька, прощай», а потомъ подаль мнѣ Шарика и сказалъ: «Возьми, Сенька, Шарика себѣ». Дороже предмета у Левки не было и онъ отдавалъ его. Я насилу уговорилъ его оставить Шарика у себя, что пусть онъ будетъ мой, но жить у него. Мы поѣхали. Левка пустился лѣсомъ и выбѣжалъ на гору, мимо которой шла дорога, я увидѣлъ его и сталъ махать платкомъ. Онъ стоялъ неподвижно на горѣ, опираясь на свою палку.

Мысль о Левкѣ, о причинѣ его страннаго развитія не выходила изъ головы моей. Она мѣшала мнѣ вполне предаваться изученію духовныхъ предметовъ, и я вмѣсто преиспренныхъ созерцаній стремился къ изученію предметовъ земныхъ, несмотря на то, что я зналъ ничтожность всего тѣлеснаго и суетность всего физическаго. Мало по малу, во мнѣ развилось непреодолимое желаніе изучать медицину. Когда я впервые заикнулся объ этомъ отцу моему, онъ взоршелъ въ неописанный гнѣвъ. «Ахъ ты, баловень презорный, кричалъ онъ на меня, вотъ какъ схвачу за вихры, такъ ты у меня и узнаешь, гдѣ раки зимуютъ. Дѣды твои и отцы не хуже тебя были, да не выходили изъ своего званія, а ты что вздумалъ? Пришлось подѣ старость дожить до такого сраму, вотъ и радость, приносимая сыномъ, отъ плоти моей рожденнымъ. Не одинъ, видно, пономарь пощещенъ Богомъ, не даромъ съ дуракомъ валандаешься вѣчно, свой своему поневолѣ братъ. А все ты, малоумная баба, испортила его»,—прибавилъ батюшка, обращаясь къ матушкѣ. Почему именно матушка была виновата, что я хотѣлъ учиться медицинѣ, этого я не знаю. Господи, думалъ я, да что же я сдѣлалъ такое, мнѣ хочется заниматься медициной, а послушаешь батюшку, право подумаешь, что я просился на большую дорогу людей рѣзать. Даль я мѣсто родительскому гнѣву, промолчалъ; черезъ мѣсяць опять завелъ было рѣчь; куда ты—съ перваго слова такъ его лицо и зардѣло. Дѣлать нечего, жду особаго случая, а самъ только и зани-

маюсь латынью. Отець-ректоръ славно зналъ латинскій языкъ и полюбилъ меня за мои успѣхи. Я выбралъ минуту добрую, да въ ноги ему; онъ такъ кротко и благосклонно сказалъ: «Встань, сынъ мой, встань, что тебѣ надобно, говори просто». Я рассказалъ ему о моемъ желаніи и просилъ замолвить отцу. Отець-ректоръ покачалъ головой и велѣлъ мнѣ утромъ и вечеромъ сверхъ обыкновенной читать другую молитву, говорилъ, что это вліяніе нечистой силы, отвлекающей отъ служенія престолу къ служенію мірскому, отъ леченія духовнаго къ леченію плотскому. Потомъ напомнилъ четвертую заповѣдь, далъ прочесть сочиненіе Нила Сорскаго о монашескомъ житіи. Я все исполнилъ въ точности, но не могъ переломить влеченія къ медицинѣ.

На вакаціи поѣхалъ я опять домой. Левка еще болѣе одичалъ, онъ добровольно помогалъ пастуху пасти стадо и почти никогда не ходилъ домой. Меня однако онъ принялъ съ прежней безграничной, нечеловѣческой привязанностью; грустно мнѣ было на него смотрѣть особенно потому, что у него языкъ какъ-то сдѣлался невнятиѣ, сбивчивѣ, и взглядъ еще болѣе одичалъ. Черезъ годъ мнѣ приходилось окончить курсъ, времени было нечего, батюшка уже готовилъ мнѣ мѣсто. Что было дѣлать? Утопающій за соломенку хватается; слыхалъ я отъ дворовыхъ людей, что сынъ нашего помѣщика (они жили это лѣто въ деревнѣ) добрый баринъ, ласковый, я и подумалъ, если бы онъ черезъ Федора Григорьевича попросилъ обо мнѣ моего отца, можетъ, тотъ, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы. Почему не сдѣлать опыта? Надѣлъ я свой нанковый сюртукъ, тщательно вычистилъ сапоги, повязалъ голубой шейный платокъ и пошелъ въ господскій домъ. На дорогѣ попался Левка.

— «Сенька, кричалъ онъ мнѣ, въ лѣсъ, Левка гнѣздо нашель; птички маленькія, едва пушекъ, матери нѣтъ, грѣтъ надо, кормить надо».

— Нельзя, братъ, иду за дѣломъ, вонъ туда.

— «Куда?»

— Въ барской домъ.

— «У-у! сказалъ Левка, поморщившись,—у-у! весной, весной дядя Захаръ—его били, Левка смотрѣлъ, дядя Захаръ здоровый, сильный, а дуракъ стоитъ, его бьютъ,—а онъ ничего—дядя Захаръ дуракъ, сильный, большой и стоитъ. Не ходи, прибьютъ».

— Не бось, дѣло есть. Онъ долго смотрѣлъ мнѣ влѣдъ, потомъ свиснулъ своей собакой и побѣжалъ къ лѣсу; но едва я успѣлъ сдѣлать двадцать шаговъ, Левка нагналъ меня:

— «Левка идетъ туда: Сеньку бить будутъ—Левка камнемъ пустить», при этомъ онъ мнѣ показалъ булыжникъ величиною съ пидѣичье яйцо. Но мѣры его были ненужны, люди отказали, говоря,

что господа чай кушаютъ; потомъ я раза три приходилъ, все недосутъ молодому барину, послѣ третьяго раза, я не пошелъ больше. И чѣмъ же это молодой баринъ такъ занятъ?.. Вѣчно ходитъ или съ ружьемъ, или такъ просто безъ всякаго дѣла по полямъ, особенно, гдѣ крестьянскія дѣвки работаютъ. Неужели онъ не могъ оторваться на пять минутъ?

Самъ Богъ показалъ выходъ, хотя, по правдѣ, очень горестный. Въ селѣ Порѣчьѣ, верстъ восемь отъ насъ, былъ храмовой праздникъ; село Порѣчье казенное, торговое, богаче нашего, праздникъ у нихъ справлялся всегда отлично. Тамошній священникъ (онъ же и благочинный) пригласилъ насъ всѣхъ на праздникъ. Мы отправились наканунѣ, отецъ Василій съ попадѣей, батюшка одинъ, причетникъ и я, для того, чтобы отслужить всенощную соборнѣ. Праздникъ былъ великолѣпный, фабричныя пѣли на крылосѣ. Во время литургіи пріѣхалъ самъ капитанъ-исправникъ, съ супругой и двумя засѣдателями. Голова за мѣсяць собиралъ по двадцати пяти копеекъ серебромъ съ тягла начальству на закуску. Словомъ сказать, было весело, шумно; одинъ я грустилъ; грустилъ я и потому, что намѣренія мои не удавались, и по непривычкѣ къ многолюдію; вина я тогда еще въ ротъ не бралъ, въ хороводахъ ходить не умѣлъ, а пуще всего мнѣ досадно было, что всѣ перемигивались, глядя на меня и на дочь порѣчнскаго священника. Я приглянулся ея отцу и онъ предлагалъ, какъ меня похиротонисаютъ, женить на дочери, а онъ-де мѣсто уступить и обзаведеніе, самому молъ на отдыхъ пора. А дочь-то его несмотря на то, что ей было не болѣе 18 или 19 лѣтъ, была сильно поражена избыткомъ плоти, такъ что скорѣе напоминала образъ и подобіе аладій, нежели Господа Бога.

Такимъ образомъ, поскучавъ въ Порѣчьи до вечера, я вышелъ на берегъ рѣки; откуда ни возмись, Левка тутъ, и онъ бѣдняга приходилъ на праздникъ, самъ не зная за чѣмъ. Его никто не зналъ и не подчивалъ. Стоитъ лодочка, причаленная къ берегу, и покачивается; давно я не катался,—смерть захотѣлось мнѣ ѣхать домой по водѣ. На берегу нѣсколько мужичковъ лежали въ синихъ кафтанахъ, въ новыхъ поярковыхъ шляпахъ съ лентами; выпивши, они лихо пѣли пѣсни во все молодецкое горло (по счастью въ селѣ Порѣчьи не было слабонервной барыни).

— Позвольте молъ, православные, лодочку взять прокататься до Раздеришина, сказалъ я имъ.—«Съ нашимъ удовольствіемъ, мы де вашего батюшку знаемъ. Митюхъ, Митюхъ, отвязька лодочку-то, извольте взять». И Митюхъ, нѣсколько покачиваясь и безъ нужды ступая въ воду по колѣна, отвязалъ лодку, я принялся править, а Левка грести; поплыли мы по Окѣ рѣкѣ. Между тѣмъ смерклося, мѣсяць взошелъ, съ одной стороны было такъ свѣтло, а

съ другой черныя тѣни береговъ, насупившись, бѣжали на лодку. Поднимавшаяся роса, словно дымъ огромнаго пожара, бѣлѣла на лунномъ свѣтѣ и двигалась по водѣ, будто нехотя отдираясь отъ нея.

Левка былъ доволенъ, мочилъ безпрестанно свою голову водой и стряхивалъ мокрые волосы, падавшіе въ глаза.—«Сенька, хорошо?» спрашивалъ онъ, и когда я отвѣчалъ ему: очень, очень хорошо, онъ былъ въ неописанномъ восторгѣ. Левка умѣлъ мастерски грести, онъ отдавался въ какомъ-то опьяненіи ритму разсѣкаемыхъ волнъ и вдругъ поднималъ оба весла, и лодка тихо, тихо скользила по волнамъ, и тишина, заступавшая мѣрные удары, клонила къ какому-то полусну, а издали слышались пѣсни празднующихъ порѣчанъ, носимыя вѣтромъ то тише, то громче.

Мы пріѣхали поздно ночью. Левка отправился съ лодкой назадъ, а я домой. Только что я легъ спать, слышу подъѣзжаетъ телѣга къ нашему дому. Матушка, она не ѣздила на праздникъ, ей что-то нездоровилось, матушка послушала, да говоритъ: «Это не нашей телѣги скрипъ, стучать, треба молъ вѣрно какая-нибудь».

— «Не вставайте, матушка, я схожу посмотрѣть», да и вышелъ, отворяю калитку, порѣчинской голова стоитъ, немножко хмельный.

— «Что, Макаръ Лукичъ?»

— Да что, говоритъ, дѣло-то не ладно—вотъ что.

— «Какое дѣло?» спросилъ я, а самъ дрожу всеѣмъ тѣломъ какъ въ лихорадкѣ.

— Вѣстимо насчетъ отца-діакона. Я бросился къ телѣгѣ, на ней лежалъ батюшка безъ движенія.

— «Что съ нимъ такое?»

— А Богъ его вѣдаетъ, все былъ здоровъ, да вдругъ что ни есть прилучилось.

Мы внесли батюшку въ домъ, лице у него посинѣло, я теръ его руки, вспрыскивалъ водой, мнѣ казалось, что онъ хрипитъ, я уложилъ его на постель и побѣжалъ за пьянымъ портнымъ; на этотъ разъ онъ еще былъ довольно трезвъ, схватилъ ланцетъ, бинтъ и побѣжалъ со мною. Раза три просѣкъ руку, кровь не идетъ... Я стоялъ ни живой, ни мертвый; портной вынулъ табакерку, понюхалъ, потомъ началъ грязнымъ платкомъ обтирать инструментъ.—Что? спросилъ я какимъ-то не своимъ голосомъ.— «Не нашего ума дѣло-съ, экскузе — отвѣчалъ онъ, а извольте молитву читать». Матушка упала безъ чувствъ, у меня сдѣлался ознобъ, а ноги такъ и подламывались.

II.

Послѣ смерти отца матушка не препятствовала и я выхлопоталъ себѣ, наконецъ, увольненіе изъ семинаріи и вступилъ въ московскую медико-хирургическую академію студентомъ. Читая печатную программу лекцій я увидѣлъ, что адъюнктъ ветеринарнаго искусства, если останется время, будетъ читать студентамъ, оканчивающимъ курсъ, *общую психіатрію*, то есть науку о душевныхъ болѣзняхъ. Я съ нетерпѣніемъ ждалъ конца года и, хотя мнѣ еще не приходилось слушать психіатріи, явился на первую лекцію адъюнкта. Но я тогда такъ мало былъ образованъ по медицинской части, что почти ничего не понималъ, хотя слушалъ съ такимъ вниманіемъ, что до сихъ поръ помню краснорѣчивое вступленіе ветеринарнаго врача. «Психіатрія, говорилъ онъ, бесспорно самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая, но зато нравственное вліяніе ея самое благотворное. Ни метафизика, ни философія не могутъ такъ ясно доказать независимость души отъ тѣла, какъ психіатрія. Она учитъ, что всѣ душевныя болѣзни—разстройства тѣлесныя, она учитъ, слѣдственно, что безъ тѣла, безъ сей скудельной оболочки духъ былъ бы вѣчно здоровъ и пр.». Я уже въ семинаріи зналъ Вольфіеву философію, но совершенно ясно изложенія адъюнкта не понималъ, хотя и радовался, что самая медицина служитъ доказательствомъ высокихъ метафизическихъ соображеній.

Когда я порядкомъ изучилъ пріуготовительныя части, я сталъ мало-по-малу дѣлать собственныя наблюденія надъ одержимыми душевными болѣзнями, тщательно записывая все видѣнное въ особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводилъ я почти всегда въ домѣ умалишенныхъ. Всѣ наблюденія мои вели постоянно къ мысли, поразившей меня при созерцаніи спавшаго Левки, то есть, что официальные патентованные сумасшедшіе въ сущности и не глупѣе и не поврежденнѣе всѣхъ остальныхъ, но только самобытнѣе, сосредоточеннѣе, независимѣе, оригинальнѣе, даже можно сказать геніальнѣе тѣхъ. Странные поступки безумныхъ, раздражительную ихъ злобу объяснялъ я себѣ тѣмъ, что все окружающее нарочно сердить ихъ и ожесточаетъ непрерывнымъ противурѣчіемъ, жесткимъ отрицаніемъ ихъ любимой идеи. Замѣчательно, что люди дѣлаютъ все это только въ домахъ умалишенныхъ, внѣ ихъ существуетъ между больными какое-то тайное соглашеніе, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признаютъ пункты помѣшательства другъ въ другъ. Все несчастіе явно безумныхъ—ихъ гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально повреж-

денные, со всею злобою слабыхъ характеровъ, запирають ихъ въ кѣтки, поливають холодной водой и пр.

Главный докторъ въ заведеніи былъ добрѣйшій человекъ въ мірѣ, но, безъ сомнѣнія, болѣе поврежденный, нежели половина больныхъ его (онъ надѣвалъ, напримѣръ, на себя одинъ шейный и два петличныхъ ордена для того, чтобы пройти по палатамъ безумныхъ; онъ давалъ чувствовать фельдшерамъ, что ему приятно, когда они говорятъ ваше превосходительство, а чиномъ была статскій совѣтникъ, и разныя другія шалости ясно доказывали поражение большихъ полушарій мозга). Больные ненавидѣли его оттого, что онъ, самъ стоя на одной почвѣ съ ними, вступалъ всегда въ соревнованіе. «Я китайскій императоръ», кричалъ ему одинъ больной, привязанный къ толстой веревкѣ, которой по необходимости ограничили высочайшую власть его.—«Ну когда же китайскій императоръ сидитъ на веревкѣ?» отвѣчалъ добрѣйшій нѣмецъ съ пресерьезнымъ видомъ, какъ будто онъ самъ сомнѣвался, не дѣйствительно ли китайскій императоръ передъ нимъ. Больной выходилъ изъ себя, слыша возраженіе, скрежеталъ зубами, кричалъ, что это Вольтеръ и іезуиты посадили его на цѣпь и долго не могъ потомъ успокоиться. Я, совсѣмъ напротивъ, подходилъ къ нему съ видомъ величайшаго подобострастія: «Лазурь неба, прозрачнѣйшій братъ солнца, говорилъ я ему, плодородіе земли, позволь мнѣ, презрѣнному червю, грязи, отставшей отъ безсравненныхъ подошвъ твоихъ, покапать холодной воды на свѣтлое чело твое, да возрадуется океанъ, что вода имѣетъ счастье освѣжать священную шкуру, покрывающую бѣлую кость твоего черепа».

И больной улыбался и позволялъ съ собою дѣлать все, что я хотѣлъ.

Обращаю особенное вниманіе на то, что я для этого больного не дѣлалъ ничего особеннаго, а поступалъ съ нимъ такъ, какъ добрые люди поступаютъ другъ съ другомъ всегда — на улицѣ, въ гостинной.

Въ заведеніе ѣздилъ одинъ тупорожденный старичекъ, воображавшій, что онъ гораздо лучше докторовъ и смотрителей знаетъ, какъ надобно за больными ходить, и всякій разъ приказывалъ такой вздоръ, что за него дѣлалось стыдно; однако главный докторъ съ непокрытой головой слушалъ его до конца благоговѣнно и не говорилъ ему, что все это вздоръ, не дразнилъ его, а китайскаго императора дразнилъ. Гдѣ же тутъ справедливость!

Продолжая мои наблюденія, я открылъ, что между собой нерѣдко сумасшедшіе признають другъ друга; эти уже ближе къ обыкновенному гражданскому благоустройству. Такъ, въ V палатѣ жили восемь человекъ легко помѣшанныхъ въ большой дружбѣ.

Одинъ изъ нихъ сошелъ съ ума на томъ, что онъ, сверхъ своей порціи, имѣеть призваніе ѣсть по полупорціи у всѣхъ товарищей, основывая пресмѣшно свои права на томъ, что его отецъ умеръ отъ объяденія, а дѣдъ опился. Онъ такъ увѣрилъ своихъ товарищей, что ни одинъ изъ нихъ не смѣлъ ѣсть своей порціи, не отдавъ ему лучшей части, не смѣлъ ее взять украдкой, боясь угрызений совѣсти. Когда же изрѣдка кто-либо изъ дерзкихъ скептиковъ утаивалъ кусокъ, онъ гордо уличалъ преступнаго и шесть остальныхъ готовы были оттаскать злодѣя; онъ называлъ его воромъ, стяжателемъ; и глава этой общины до того добродушно вѣрилъ въ свое право, что, не имѣя возможности сѣдаты все набранное, съ величавой важною награждалъ избранныхъ ихъ же ѣдою, и награжденный точилъ слезы умиленія, а остальные слезы зависти.

Нельзя отказать этимъ безумнымъ въ высококомъ политическомъ смыслѣ, такъ точно, какъ нельзя отказать въ безуміи людямъ, не только считающимъ себя здоровыми (самые бѣшеные собою совершенно довольны), но признаваемымъ за такихъ другими. Для убѣдительнаго доказательства присовокуплю отрывокъ изъ моего журнала, предпославъ оному слѣдующую краткую діагностику безумія.

Главные признаки разстройства умственныхъ способностей состоятъ:

- a) Въ неправильномъ, но и произвольномъ сознаніи окружающихъ предметовъ;
- b) Въ болѣзненной упорности, стремящейся сохранить это сознаніе съ явнымъ даже вредомъ самому больному, и отсюда—
- c) Тупое и постоянное стремленіе къ цѣлямъ не существеннымъ и упущеніе цѣлей дѣйствительныхъ.

Этого достаточно для того, чтобы убѣдиться въ истинѣ моихъ выводовъ.

Выписка изъ журнала:

Субъектъ 29. Мѣщанка Матрена Бучкина. Сложеніе сангвиническое, склонность къ толщинѣ, лѣтъ тридцати, замужемъ.

Субъектъ этотъ находится у меня въ услуженіи въ должности кухарки, а потому я изучалъ его довольно внимательно въ главныхъ психическихъ и многихъ физиологическихъ отправленияхъ. *Alienatio mentale*, не подлежащее никакому сомнѣнію; всѣ умственные отправления поражены, несмотря на хорошія врожденные способности, что доказывается сохранившеюся ловкостію обчитывать при покупкахъ и утаивать половину провизіи. Какъ женщина, Матрена живетъ болѣе сердцемъ, нежели умомъ: но всѣ ея чувства такъ ниспровергнуты болѣзненнымъ отклоненіемъ

ніемъ дѣятельности мозга отъ нормальнаго отправленія, что они не только не человѣческія, но и не животныя.

а) Чувство любви.

Не видать, чтобы у нея была особенная нѣжность къ мужу, но отношенія ихъ въ высшей степени замѣчательны и драгоцѣнны, какъ патологическій фактъ. Мужъ ея сапожникъ и живетъ въ другомъ домѣ, онъ приходитъ къ ней обыкновенно утромъ въ воскресенье. Матрена покупаетъ на послѣднія деньги простого вина и печетъ пироги или блины. Часу въ десятомъ, мужъ ея напивается пьянъ и тотчасъ начинаетъ ее продолжительно и больно бить; потомъ онъ впадаетъ въ летаргическій сонъ до понедѣльника, а, проснувшись, отправляется съ страшной головной болью за свою работу, питаясь пріятной надеждой черезъ семь дней снова отпраздновать такъ семейно и кротко воскресный день.

Такъ какъ она приходила всякій разъ съ горькими жалобами ко мнѣ на своего мужа, я совѣтовалъ ей не покупать ему вина, основываясь на томъ, что оно имѣетъ на него дурное вліяніе. Но больная весьма оскорблялась моимъ совѣтомъ и возражала, «что она не безчестная какая-нибудь и не нищая, чтобы своему законному мужу не поднести стакана вина святъ день до обѣда, что, сверхъ того, она покупаетъ вино на свои деньги, а не на мои, и что—если мужъ ее и колотить—такъ все же онъ Богомъ данный ей мужъ». Отвѣтъ этотъ, много разъ повторяемый, очень замѣчателенъ; можно добратъся по немъ до странныхъ законовъ мышленія мозга, пораженнаго болѣзнію; ни одного слова нѣтъ въ ея отвѣтѣ, которое бы шло къ моему замѣчанію, а при болѣзни мозга ей казалось, что она вполне опровергала меня.

Но до какой степени и это поверхностно,—я доказываю тѣмъ, что стоило мнѣ, продолжая мои наблюденія, сказать ей: «А ты зачѣмъ съ нимъ споришь, ты бы смолчала, вѣдь, онъ твой мужъ и глава». Тогда больная приходила въ состояніе близкое маніи и съ сердцемъ говорила: «онъ злодѣй мнѣ, а не мужъ, я ему не дура досталась молчать, когда онъ несетъ всякій вздоръ». И тутъ она начинала бранить не только его, но и барыню свою, которая, истинно въ материнскихъ попеченіяхъ своихъ о подданныхъ, сама приняла на себя трудъ избрать ей мужа; выборъ палъ на сапожника не случайно, а потому, что онъ крѣпко хмелемъ зашибалъ, такъ барыня думала, что онъ остепенится жепившись,—конечно не ея вина, что она ошиблась, *errare humanum est!*

б) Отношеніе къ дѣтямъ.

Любопытно до высшей степени и имѣетъ двойной интересъ. Тутъ я имѣлъ случай видѣть, какъ съ самаго дня рожденія прииваютъ безуміе. Сначала чисто механически крѣпкимъ пелена-

ніемъ, при чемъ сдавливають ossa parietalia черепа, чтобы помѣшать мозговому развитію,—это съ своей стороны уже очень дѣйствительно. Потомъ употребляются органическія средства; они состоятъ преимущественно въ чрезмѣрномъ развитіи прозорливости и въ дурномъ обращеніи. Когда организмъ ребенка не изловчился еще претворять всю дрянъ, которая ему давалась отъ грязной соски до жирныхъ лепешекъ, дитя иногда страдало; мать лечила сама, и въ медицинскихъ убѣжденіяхъ своихъ далеко расходилась со всѣми врачами отъ Иппократа до Бюргера и отъ Бюргера до Гуфланда; иногда она откачивала его такъ, какъ спасаютъ утопленниковъ (средство совершенно безвредное, если утопленникъ умеръ, и способное показать усердіе присутствующихъ), ребенокъ впадалъ въ морскую болѣзнь отъ качки, что его дѣйствительно облегчало, или мать начинала на извѣстномъ основаніи Ганеманова ученія клинъ клиномъ вышибать, кормить его селедкой, капустой; если же ребенокъ не выздоравливалъ, мать начинала его бить, толкать, дергать, наконецъ, прибѣгала къ послѣднему средству—давала ему или настойки, или макового молока и радовалась очевидной пользѣ отъ лекарства, когда ребенокъ впадалъ въ тяжелое опьяненіе или въ летаргическій сонъ. Въ дополненіе слѣдуетъ замѣтить, что Матрена, на свой манеръ, чрезвычайно любила ребенка. Любовь ея къ дитяти была совершенно въ родѣ любви къ мужу; она покупала на скудные деньги свои какой-нибудь тафтицы на одѣяльце и потомъ безщадно била ребенка за то, что онъ не нарочно капалъ на него молоко. Мнѣ очень жаль, что я скоро разстался съ Матреной и не могъ доучить этотъ интересный субъектъ; къ тому же я впоследствии услышалъ, что ея ребенокъ не выдержалъ воспитанія и умеръ.

с и d) Отношенія гражданскія и общественныя; отношенія къ церкви и государству...

Но я полагаю сказаннаго совершенно достаточно, чтобы убѣдиться, что жизнь этого субъекта проходила въ чаду безумія. А по сему снова обращаюсь къ прерванной нити моего жизнеописанія, которое съ тѣмъ вмѣстѣ и есть описаніе развитія моей теоріи.

По окончаніи курса меня отправили лекаремъ въ одинъ пѣхотный полкъ. Я не нахожу нужнымъ въ предварительной части говорить о наблюденіяхъ, сдѣланныхъ мною на семь спеціальномъ поприщѣ. Перехожу къ болѣе разнообразному поприщу. Черезъ нѣсколько лѣтъ, по распоряженію высшаго начальства, которому, пользуясь симъ случаемъ, свидѣтельствую искреннѣйшую благодарность за начальственное вниманіе, получилъ я мѣсто по гражданскому вѣдомству; тутъ съ большимъ досугомъ предался я сравнительной психіатріи. Для занятій и на-

блюденій я избралъ на первый случай два заведенія—домъ умалишенныхъ и канцелярію врачебной управы.

Добросовѣстно изучая субъекты въ обоихъ заведеніяхъ, я былъ пораженъ сходствомъ чиновниковъ канцеляріи съ больными; разумѣется, наружныя различія тоже бросались въ глаза, но врачъ долженъ идти далѣе, по наружности долгое время кита считали рыбою. Самое важное различіе между писарями и больными состояло въ образѣ поступленія въ заведеніе; первые просились объ опредѣленіи, а вторые были опредѣляемы высшимъ начальствомъ, вслѣдствіе публичнаго испытанія въ губернскомъ правленіи. Но однажды помѣщенные въ канцелярію писаря тотчасъ подвергались психической эпидеміи, весьма быстро заражавшей все нормально человѣческое и еще быстрѣе развивавшей искаженныя потребности, желанія, стремленія; цѣлые дни работали эти труженики съ усердіемъ, болѣе нежели съ усердіемъ, съ завистью; штаты тогда были еще невѣроятныя, едва эти бѣдняки въ будни до сыта наѣдались и въ праздники до пьяна напивались, а ни одинъ не хотѣлъ заняться какимъ-нибудь ремесломъ, считая всякую честную работу несомѣстною съ человѣческимъ достоинствомъ, дозволяющимъ только брать двугривенныя за справки. Признаюсь, когда я вполне убѣдился, что чиновничество (я, разумѣется, далѣе XII класса восходить не смѣю) есть особое специфическое поражение мозга, мнѣ опротивѣли всѣ эти журнальныя побасенки, наполненныя насмѣшками надъ чиновниками. Смѣяться надъ больными показываетъ жесткость сердца.

Вліяніе эпидеміи до того сильно, что мнѣ случалось наблюдать ея дѣйствіе на организаціи болѣе крѣпкія и здоровыя, и тутъ-то я увидѣлъ всю силу ея. Какое-то безпокойное чувство, похожее на угрызеніе совѣсти, овладѣвало вновь поступавшими здоровыми субъектами; имъ становилось замѣтно тягостно быть здоровыми, они такъ страдали тоскою по безумію, что излечивались отъ умственныхъ способностей разными спиртными напитками, и я замѣтилъ, что при надлежащемъ и постоянномъ употребленіи ихъ они дѣйствительно успѣвали себя поддерживать въ искусственномъ состояніи безумія, которое мало по малу становилось естественнымъ.

Отъ чиновниковъ я перешелъ къ прочимъ жителямъ города и въ скоромъ времени не осталось ни малѣйшаго сомнѣнія, что всѣ они поврежденные. Предоставляю тѣмъ, которые долго трудились надъ какимъ-нибудь открытіемъ, оцѣнить то чувство радости, которымъ исполнилось сердце мое, когда я убѣдился въ этомъ драгоцѣнномъ фактѣ.

Городокъ нашъ вообще оригиналенъ: это—губернское правленіе, обросшее разными домами и жителями, собравшимися около

присутственныхъ мѣсть; онъ тѣмъ отличается отъ другихъ городовъ, что онъ возникъ собственно для удовольствія и пользы начальства. Начальство составило сущность, цвѣтъ, корень и плодъ города. Остальные жители—какъ купцы, мѣщане—больше находились для порядка, ибо нельзя же быть городу безъ купцовъ и мѣщанъ. Всѣ получали смыслъ только въ отношеніи къ начальству (и къ откупу впрочемъ); мастеровые, напр., портные, сапожники, шили для чиновниковъ фраки и сапоги; содержатель трактира имѣлъ для нихъ бильярдъ. Прочіе неслужащіе въ городѣ занимались исключительно произведеніемъ тѣхъ средствъ, на которыя чиновники заказывали фраки, сапоги и увеселялись на бильярдѣ.

Въ нашемъ городкѣ считалось 5.000 жителей; изъ нихъ человекъ двѣсти были повергнуты въ томительнѣйшую скуку отъ отсутствія всякаго занятія, а четыре тысячи семьсотъ человекъ повергнуты въ томительную дѣятельность отъ отсутствія всякаго отдыха. Тѣ, которые денно и ночью работали, не вырабатывали ничего, а тѣ, которые ничего не дѣлали, непрерывно вырабатывали и очень много.

Утвердивъ на прочныхъ началахъ общую статистику помѣшательства, перейдемъ снова къ частнымъ случаямъ. Въ качествѣ врача я былъ часто призываемъ лечить тѣло, тамъ, гдѣ слѣдовало лечить душу; невѣроятно, въ какомъ чадѣ нелѣпостей, въ какомъ рѣзкомъ безуміи находились всѣ мои пациенты обоихъ половъ.

— Пожалуйте сейчасъ къ Аннѣ Ѳедоровнѣ, Аннѣ Ѳедоровнѣ очень дурно.

— «Сію минуту, ѣду».

Анна Ѳедоровна лѣтъ тридцати женщина, любившая и любящая многихъ мужчинъ, за исключеніемъ своего мужа, богатаго помѣщика, точно также расположеннаго ко всѣмъ женщинамъ, кромѣ Анны Ѳедоровны. У нихъ отъ розовыхъ цѣпей брачныхъ осталась одна, которая обыкновенно бываетъ крѣпче прочихъ,—ревность, и ею они неутомимо преслѣдовали другъ друга десятый годъ. Пріѣзжаю. Анна Ѳедоровна лежитъ въ постелѣ съ вспухшими глазами, у нея жаръ, у нея боль въ груди; все показываетъ, что было семейное Бородино, дѣло горячее и продолжительное. Люди ходятъ испуганные, мебель въ беспорядкѣ, вдребезги разбитая трубка (явнымъ образомъ не случайно) лежитъ въ углу и переломленный чубукъ въ другомъ.

— «У васъ, Анна Ѳедоровна, нервы разстроены, я вамъ пропишу немножко лавровишневой воды; на свѣтъ не ставьте,—она портится; такъ принимайте, сколько-бишь вамъ лѣтъ? капель по 20». Больная становится веселѣе и кусаетъ губы.—«Да знаете ли

что, Анна Ѳедоровна, вамъ бы надо ѣхать куда-нибудь, ну, хоть въ деревню; жизнь, которую вы ведете, васъ разстроитъ окончательно».

— Мы ѣдемъ въ маѣ мѣсяцѣ съ Никаноръ Ивановичемъ въ деревню.

— «А! превосходно, — такъ вы останетесь здѣсь. Это будетъ еще лучше».

— Что вы хотите этимъ сказать?

— «Вамъ надобенъ покой безусловный, тишина; иначе я не отвѣчаю за то, что, наконецъ, изъ всего этого выйдутъ серьезные послѣдствія».

— Я несчастнѣйшая женщина, Семенъ Ивановичъ, у меня будетъ чахотка, я должна умереть. И все виноватъ этотъ извергъ,—ахъ, Семенъ Ивановичъ, спасите меня.

— «Извольте. Только мое лекарство будетъ не изъ аптеки, вотъ рецептъ: «возьми небольшой чистенькій домъ, въ самомъ дальнемъ разстояніи отъ Никаноръ Ивановича, прибавь мебель, цвѣты и книги. Жить, какъ сказано, тихо, спокойно». Этотъ рецептъ вамъ поможетъ».

— Легко вамъ говорить, вы не знаете, что такое бракъ.

— «Не знаю, но догадываюсь: полюбовное насиліе жить вмѣстѣ, когда хочется жить врозь, и совершеннѣйшая роскошь, когда хочется и можно жить вмѣстѣ; не такъ ли?»

— О, вы такой вольнодумъ! Какъ я покину мужа!

— «Анна Ѳедоровна, вы меня простите, одна долгая практика въ вашемъ домѣ позволяетъ мнѣ идти до такой откровенности,— я осмѣлюсь сдѣлать вамъ вопросъ».

— Что угодно, Семенъ Ивановичъ, вы другъ дома, вы...

— «Любите ли вы сколько-нибудь вашего мужа?»

— Ахъ, нѣтъ, я готова это сказать передъ всѣмъ свѣтомъ, безумная тетушка моя сварганила этотъ несчастный бракъ.

— «Ну, а онъ васъ?»

— Искры любви нѣтъ въ немъ. Теперь почти въ открытой интригѣ съ Полиной, вы знаете—мнѣ Богъ съ нимъ совсѣмъ, да, вѣдь, денегъ что это ему стоитъ...

— «Очень хорошо-съ. Вы другъ друга не любите, скучаете, вы оба богаты, что васъ держитъ вмѣстѣ?»

— Да помилуйте, Семенъ Ивановичъ, за кого же вы меня считаете, моя репутація дороже жизни, что обо мнѣ скажутъ?

— «Это, конечно. Но, Боже мой, половина перваго! Что это, какъ время-то? Да-съ, такъ по 20 капель лавровишневой воды, хоть три раза до ночи, а я заѣду какъ-нибудь завтра взглянуть».

Я только въ залу, а ужъ Никаноръ Ивановичъ небритый, съ испорченнымъ отъ спирту и гнѣва лицомъ меня ждетъ.

— Семень Ивановичъ, Семень Ивановичъ, ко мнѣ въ кабинетъ.

— «Чрезвычайно радъ».

— Вы честный человекъ, я васъ всю жизнь зналъ за честнаго человека, вы благородный человекъ,—вы поймете, что такое честь. Вы меня по гробъ обяжете, ежели скажете истину.

— «Сдѣлайте одолженіе. Что вамъ угодно?»

— Да какъ вы считаете положеніе жены?

— «Оно не опасно; успокойтесь, это пройдетъ; я прописалъ капельки».

— Да чортъ съ ней, не объ этомъ дѣло, по мнѣ хоть сегодня ногами впередъ, да и со двора. Это змѣя, а не женщина, лучшія лѣта жизни отняла у меня. Не объ этомъ рѣчь.

— «Я васъ не понимаю».

— Что это, ей Богу, съ вами? Ну, то есть болѣзнь ея подозрительна или нѣтъ?

— «Вы желаете знать насчетъ того, нѣтъ ли какихъ надеждъ на наслѣдника?»

— Наслѣдника? Я ей покажу наслѣдника! Что это за женщина! Знаете, для меня ужъ коли женщина въ эту сторону, все кончено,—нѣтъ, не могу! Законная жена, Семень Ивановичъ, она мое имя носить, она мое имя пятнаеть.

— «Я ничего не понимаю. А впрочемъ, знаете, Никаноръ Ивановичъ, жили бы вы въ разныхъ домахъ, для обоихъ было бы спокойнѣе».

— Да-съ, такъ ей и позволить, ха, ха, ха, выдумали ловко! Ха, ха, ха, какъ же—позволю! Нѣтъ, вѣдь, я не французъ какой-нибудь! Вѣдь, я родился и выросъ въ благочестивой русской дворянской семьѣ. Нѣтъ-съ, вѣдь, я знаю законъ и приличіе! О, если-бы матушка была жива, да она изъ своихъ рукъ ее на столъ бы положила. Я знаю ея продѣлки.

— «Прощайте, почтеннѣйшій Никаноръ Ивановичъ, мнѣ еще къ вашей сосѣдкѣ надобно».

— Что у нея? спросилъ, врасплохъ взятый супругъ и что-то сконфузился.

— «Не знаю,—присылали горничную, дочь что-то все нездорова, дѣвка не умѣла рассказать порядкомъ».

— Ахъ, Боже мой,—да какъ же это? Я на-дняхъ видѣлъ Полину Игнатьевну.

— «Да-съ, бываютъ быстрыя болѣзни».

— Семень Ивановичъ, я давно хотѣлъ,—вы меня извините, вѣдь, ужъ это такъ заведено, священникъ живетъ отъ алтаря, а чиновникъ отъ просителей, я такъ много доволенъ вами. Повольте вамъ предложить эту золотую табакерку, примите ее въ

знакъ искренной дружбы... Только, Семень Ивановичъ, я надѣюсь что, во всякомъ случаѣ, молчаніе ваше...

— «Есть вещи, на которыя докторъ имѣеть уши, но рта не имѣеть».

Никаноръ Ивановичъ обнялъ меня и своими мокрыми губами и потнымъ лицомъ произвелъ довольно непріятное впечатлѣніе на щекѣ.

И кто-нибудь скажетъ, что это не поврежденные! Позвольте еще примѣръ.

Рядомъ со мною живетъ богатый помѣщикъ, гордый своимъ имѣніемъ, скряга. Онъ держитъ домъ на заперти, никого не пускаетъ къ себѣ, рѣдко самъ выѣзжаетъ и, что дѣлается въ городѣ, понять нельзя; не служить, процессовъ не имѣеть, деревня въ 50-ти верстахъ, а живетъ въ городѣ. Были, правда, слухи, что одинъ мужикъ, котораго онъ наказалъ, какъ-то дурно посмотрѣлъ на него и сглазилъ: онъ такъ испугался его взгляда, что очень ласково отпустилъ мужика, а самъ на другой день перебрался въ городъ. Главное занятіе его—стяжаніе и накапливаніе денегъ; но это дѣлается за кулисами; я вамъ хочу показать его въ торжественныхъ минутахъ жизни. У него въ гостиницѣ и на почтѣ закуплены слуги, чтобы извѣщать его, когда по городу проѣзжаетъ какой-нибудь сановникъ, генераль внутренней стражи, генераль путей сообщенія, ревизующій чиновникъ не ниже V класса.

Сосѣдъ мой, получивши вѣсть, тотчасъ надѣвалъ дворянскій мундиръ и отправлялся къ его превосходительству; тотъ, разумѣется, съ дороги спалъ, сосѣда не пускали; онъ давалъ на водку цѣлковый, синенькую, упорствовалъ, дожидался часы цѣлые, наконецъ, объ немъ докладывали. Генераль (ибо въ эти минуты и чиновникъ V класса чувствовалъ себя не только генераломъ, но генераль-фельдмаршаломъ) принималъ просителя, не скрывая ярости и не воздавая вѣсу и мѣры словамъ и движеніямъ. Проситель послѣ долгихъ околичностей докладывалъ, что вся его просьба, отъ которой зависитъ его счастье, счастье его дѣтей и жены, состоитъ въ томъ, чтобы его превосходительство изволило откушать у него завтра или отъужинать сегодня; онъ такъ трогательно просилъ, что ни одинъ высокій сановникъ не могъ противустоять и давалъ ему слово. Тутъ наставали поэтическія минуты его жизни. Онъ бросался въ рыбные ряды, покупать стерлядь ростомъ съ извѣстнаго тамбуръ-мажора, и ее живую перевозили въ подвижномъ озерѣ къ нему на дворъ, выгружалось старинное серебро, вынималось старое вино. Онъ бѣгалъ изъ комнаты въ комнату, бранился съ женою, дѣлалъ отеческія исправленія дворецкому, грозился на всю жизнь сдѣлать уродомъ и несчастнымъ повара (для одобренія), звалъ человѣкъ двадцать

гостей, бѣгалъ съ курильницей по комнатамъ, встрѣчалъ въ сѣняхъ генерала, цѣловалъ его въ шовъ, идущій подъ руку. Шампанское лилось у скряги за здравіе высокаго проѣзжаго. И замѣтьте, все это изъ помѣшательства, все это безкорыстно. И что еще важнѣе для психіатріи, что его безуміе всякой разъ полярно переносилось съ обратными признаками на гостя. Гость вѣрилъ, что онъ по гробъ одолажаетъ хозяина тѣмъ, что прекрасно обѣдалъ. Каковы діагностическіе знаки безумія!

Отсюда текли доказательства очевидныя, неподлежащія сомнѣнію моей основной мысли.

Успокоившись насчетъ жителей нашего города, я пошелъ далѣе. Выписалъ себѣ знаменитѣйшія путешествія, древнія и новыя, историческія творенія и подписался на аугсбургскую Всеобщую Газету.

Слезы умиленія не разъ наполняли глаза мои при чтеніи. Я не говорю уже объ аугсбургской газетѣ, на нее я съ самаго начала смотрѣлъ не какъ на суетный дневникъ всякой всячины, а какъ на всеобщій бюллетень разныхъ богоугодныхъ заведеній для несчастныхъ страждущихъ душевными болѣзнями. Нѣтъ! чтобы историческое я ни начиналъ читать, вездѣ, во всѣ времена открывалъ я разныя безумія, которыя соединялись въ одно всемірное хроническое сумасшествіе. Тита Ливія я бралъ или Муратори, Тацита или Гиббона, никакой разницы; всѣ они, равно какъ и нашъ отечественный историкъ Карамзинъ, всѣ доказываютъ одно, что исторія не что иное, какъ связанный рассказъ родового, хроническаго безумія и его медленнаго излеченія (этотъ рассказъ даетъ по наведенію полное право надѣяться, что черезъ тысячу лѣтъ двумя-тремя безуміями будетъ меньше). Истинно, не считаю нужнымъ приводить примѣры: ихъ милліоны. Разверните, какую хотите, исторію, вездѣ васъ поразитъ, что вмѣсто дѣйствительныхъ интересовъ, всѣмъ заправляютъ мнимые, фантастическіе интересы; взгляните изъ-за чего льется кровь, изъ-за чего несутъ крайность, что восхваляютъ, что порицаютъ,—и вы ясно убѣдитесь въ печальной на первый взглядъ истинѣ, и истинѣ полной утѣшенія на второй взглядъ, что все это слѣдствіе разстройства умственныхъ способностей. Куда ни взглянешь въ древнемъ мірѣ, вездѣ безуміе почти такъ же очевидно, какъ въ новомъ. Тутъ Курцій бросается въ яму для спасенія города, тамъ отецъ приноситъ дочь на жертву, чтобы былъ попутный вѣтеръ, и нашелъ стараго дурака, который прирѣзалъ бѣдную дѣвушку, и этого бѣшенаго не посадили на цѣпь, не свезли въ желтый домъ, а признали за первосвященника. Здѣсь персидскій царь гоняетъ море сквозь строй, такъ же мало понимая нелѣпость поступка, какъ его враги аеиняне, которые цыкутой хотѣли лечить отъ разума

и сознанія. А что это за бѣлая горячка была, вслѣдствіе которой императоры гнали христіанство? Развѣ трудно было разсудить, что эти средства палачества, тюремъ, крови, истязаній ничего не могли сдѣлать противъ сильныхъ убѣжденій, а удовлетворяли только животной свирѣпости гонителей?

Какъ только христіанъ домучили, дотравили звѣрями, они сами принялись мучить и гнать другъ друга съ еще большимъ озлобленіемъ, нежели ихъ гнали. Сколько невинныхъ нѣмцевъ и французовъ погибло, такъ, изъ вздору, и помѣшанные судьи ихъ думали, что они исполняли свой долгъ и спокойно спали въ нѣсколькихъ шагахъ отъ того мѣста, гдѣ дожаривались еретики.

Кто не видитъ ясныя признаки безумія въ среднихъ вѣкахъ, тотъ вовсе не знакомъ съ психіатріей. Въ среднихъ вѣкахъ все безумно. Если и выходитъ что-нибудь путное, то совершенно противоположно желанію. Ни одного здороваго понятія не осталось въ средневѣковыхъ головахъ, все перепуталось. Проповѣдывали любовь и жили въ ненависти, проповѣдывали миръ и лили рѣками кровь. Къ тому же цѣлыя сословія подвергались эпидемической дури,—каждое на свой ладъ; напримѣръ, одного человѣка въ латахъ считали сильнѣе тысячи человѣкъ, вооруженныхъ дубьемъ, а рыцари сошли съума на томъ, что они дикіе звѣри, и сами себя содержали по селлюлярному порядку новыхъ тюремъ въ укрѣпленныхъ сумасшедшихъ домахъ по скаламъ, лѣсамъ и пр.

Исторія доселѣ остается непонятною отъ ошибочной точки зрѣнія. Историки, будучи большею частію не врачами, не знаютъ, на что обращать вниманіе; они стремятся вездѣ выставить послѣ придуманную разумность и необходимость всѣхъ народовъ и событій; совѣмъ напротивъ, надобно на исторію взглянуть съ точки зрѣнія патологии, надобно взглянуть на историческія лица съ точки зрѣнія безумія, на событія съ точки зрѣнія нелѣпости и ненужности.

Исторія—горячка, производимая благодѣтельной натурой, посредствомъ которой человѣчество пытается отдѣлываться отъ излишней животности; но какъ бы реакція ни была полезна, все же она болѣзнь. Впрочемъ, въ нашъ образованный вѣкъ стыдно доказывать простую мысль, что исторія—автобіографія сумасшедшаго.

Интересъ лѣтописей и путешествій тотъ же самый, который мы находимъ въ анатомико-патологическомъ кабинетѣ. Кстати о путешествіяхъ. Они не менѣе исторіи принесли мнѣ подтвержденій и тѣмъ пріятнѣйшихъ, что всѣ описываемыя въ нихъ безумія дѣлались не за тысячу лѣтъ, а совершаются теперь, сейчасъ, въ ту минуту, какъ я пишу, и будутъ совершаться въ ту минуту, какъ вы, любезный читатель, займетесь чтеніемъ моего отрывка. Доказательства и здѣсь совершеннѣйшая роскошь: разверните

Магелана, разверните Дюмонъ д'Юрвиля и читайте первое, что раскроется,—будетъ хорошо; вамъ или индѣецъ попадетса какой-нибудь, который во славу Вишны сидитъ двадцать лѣтъ съ поднятой рукой и не утираетъ носу для приобрѣтенія безконечной радости на томъ свѣтѣ, или женщина, которая изъ учтивости и приличія бросается на костеръ, на которомъ жгутъ трушъ мужа. Востокъ, классическая страна безумія, но, впрочемъ, и въ Европѣ очень удовлетворительные симптомы и въ ирландскомъ вопросѣ, и въ вопросѣ о пауперизмѣ, и во многихъ другихъ. Да, сверхъ того, въ Европѣ остались нѣсколько видоизмѣненными и всѣ азіатскія глупости, собственно перемѣнились только названія.

Здѣсь я останавливаюсь. Я хотѣлъ передать публикѣ на первый случай небольшой отрывокъ. Кто желаетъ болѣе знать по сей части, тотъ пусть купитъ курсъ психіатріи, когда онъ выйдетъ (о цѣнѣ и условіяхъ подписки своевременно черезъ Вѣдомости объявлено будетъ).

Объяснительное прибавленіе отъ автора.

Я не могу положить пера, не сказавъ еще нѣсколько объяснительныхъ и, такъ сказать, предупредительныхъ замѣчаній. Знаю я, что неблагонамѣренность обвинить меня въ желаніи блеснуть новизною, въ гордости и пренебреженіи къ больнымъ—за то, что я ихъ не считаю здоровыми. Совѣсть моя чиста. Не гордость и пренебреженіе, а любовь привела меня къ моей теоріи и, когда я совершенно убѣдился въ истинности ея, весь нравственный бытъ мой перемѣнился; мнѣ стало легко, упованія и надежды разцвѣли какъ въ молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицанія и осужденія замѣнились теплымъ чувствомъ состраданія къ больнымъ и вмѣсто желанія отвратительной мести за дѣйствія, явнымъ образомъ сдѣланныя подъ вліяніемъ болѣзни, явилось кроткое снисхожденіе и сильное желаніе помочь больному. (Я даже въ домѣ умалишенныхъ вывелъ наказанія, не желая вступать въ соревнованіе съ безумными, ни побѣждать ихъ въ нелѣпости). Что же касается до предполагаемаго мною обвиненія въ желаніи блеснуть новизною, то я обязанъ замѣтить, что въ разныхъ формахъ мысль медицинская, мною проведенная, являлась многимъ въ голову. Аристотель называлъ Анаксагора единымъ трезвымъ въ сонмѣ пьяныхъ. Спиноза видѣлъ одно безсиліе разума въ человѣкѣ безнравственномъ, Бенгамъ прямо сказалъ: «что всякой преступникъ, прежде всего, дурной счетчикъ», человѣкъ съ здравымъ смысломъ не можетъ дурно считать. Бенгамъ правъ; онъ, однако, не понялъ, что если преступникъ дѣлаетъ ариѳметическія ошибки слишкомъ грубыя, то всѣ остальные тоже дурные счетчики, но ошибаются въ мелочахъ или съ общаго со-

гласія. Люди окружены цѣлой атмосферой призрачной и одуряющей, всякой человѣкъ, болѣе или менѣе, какъ Матренина дочь (зри выше) съ малыхъ лѣтъ, при содѣйствіи родителей и семьи, приобщается мало по малу къ эпидемическому сумасшествію окружающей среды (нѣмецкіе врачи называютъ эту болѣзнь *der historische Standpunkt*); вся жизнь наша, всѣ дѣйствія такъ и рассчитаны по этой атмосферѣ, въ томъ родѣ, какъ нелѣпыя формы ихтиозавровъ, мастодонтовъ были рассчитаны и сообразны перво-бытной атмосферѣ земного шара.

Мѣстами воздухъ становится чище, болѣзни душевныя укрощаются. Но не легко перерабатывается въ душѣ человѣческой родовое безуміе; большія усилія надобно употреблять для малѣйшаго шага. Вспомните романтизмъ,—эту духовную золотуху, одну изъ злоторнѣйшихъ психическихъ эпидемій, поддерживающую организмъ въ непрерывномъ и неестественномъ раздраженіи, поселяющую отвращеніе къ всему дѣйствительному, практическому и истошающую страстями вымышленными.

Вспомните аристократизмъ, эту застарѣлую подагру нравственнаго міра, іудейскую проказу исключительной національности и пр.

Предвижу еще одинъ вопросъ. Что же ты, занимавшійся столько лѣтъ исторической психіатріей, открылъ ли какія-нибудь средства леченія? Что же плодъ твоихъ трудовъ?

Во первыхъ, истина, во вторыхъ, точка зрѣнія, въ третьихъ, я далеко не все сказалъ, а намекнулъ, означилъ, слегка указалъ только.

Средствъ я нашелъ мало, но средства есть. При дальнѣйшемъ развитіи органической химіи, при благодѣтельной помощи природы можно будетъ выдѣлывать и поправлять вещество мозга.

Мы имѣемъ уже драгоценныя наблюденія касательно возможности химически улучшать и видоизмѣнять духовную сторону, хотя она совершенно независима. Такъ напр., прилично употребленное леченіе шампанскимъ располагаетъ человѣка къ дружбѣ, въ доблести, къ чувствамъ радостнымъ и объятіямъ разверстымъ. Дѣйствуя же бургонскимъ, точно такимъ же образомъ, то есть отправляя его черезъ желудокъ въ вены и оттуда въ голову, выходитъ результатъ совѣмъ иной: человѣкъ дѣлается мраченъ, несообщителенъ, болѣе склоненъ къ ревности, нежели къ любви, къ раскаянію, нежели къ наслажденію, къ плачу о грѣхахъ міра сего, нежели къ снисхожденію. Для меня тутъ ключъ къ психотерапіи, и вотъ я десятый годъ, не щадя ни издержекъ, ни здоровья, занимаюсь постоянно изученіемъ дѣйствія на умственные способности вышеозначенныхъ медикаментовъ и разныхъ другихъ. Чего не сдѣлаетъ человѣкъ изъ пламенной любви къ наукѣ!

Москва, 10 февраля, 1846.

Aphorismata.

По поводу психіатрической теоріи д-ра Крупова.

Сочиненіе прозектора и адъюнктъ-профессора

ТИТА ЛЕВІАΘАНСКАГО.

Милостивый государь и господинъ редакторъ (имени и отчества, извините, не знаю)!

Въ заграничной періодикѣ, издаваемой вами, я съ удовольствіемъ прочиталъ введеніе въ психіатрію добрѣйшаго наставника и товарища моего д-ра Крупова. Я Семена Ивановича зналъ лично, любилъ, уважалъ и, могу сказать, отдалъ ему послѣдній дружескій долгъ, т. е. вскрылъ послѣ кончины его тѣло и обнаружилъ хроническую болѣзнь въ печени, которой онъ и не предполагалъ, но которая свела его въ могилу.

Увлекательная теорія покойнаго, во время ея появленія, сильно подѣйствовала на меня. Я долгое время былъ подъ ея вліяніемъ и самъ вездѣ, на практикѣ, въ житейскихъ отношеніяхъ и въ книгѣ, приискивалъ новые факты и свидѣтельства въ подтвержденіе главныхъ положеній ея. Такъ напр., я въ одномъ англійскомъ авторѣ, Байронѣ, нашелъ замѣчательную по вѣрности мысль, «что если-бъ изъ Бедлама выпустить больныхъ, а здоровыхъ, внѣ Бедлама находящихся, запереть, то значительной перемѣны не было бы замѣтно» (Vid. Don. Juan, Can. XIV, v. 87). Другой англійскій писатель, Вильямъ Шекспиръ (читанный мною въ переводѣ одного изъ моихъ сотоварищей Н. Хр. Кетчера), намекнулъ на это, говоря, что «сумасшедшаго датскаго принца затѣмъ и посылаютъ въ Англію, чтобъ его состояніе не было замѣтно въ странѣ, гдѣ всѣ поврежденные». Неудивительно, что именно на этомъ островѣ и выразился первый свободный, энергическій протестъ одного лично поврежденнаго, который, содержась въ больницѣ, сказалъ врачу: «Весь свѣтъ меня считаетъ поврежденнымъ, а я весь свѣтъ считаю такимъ же. Бѣда моя въ томъ, что *большинство* со стороны всего свѣта».

Но не буду наполнять моего письма цитатами; скажу напротивъ, что въ послѣдствіи во мнѣ возникли нѣкоторыя сомнѣнія, не въ главномъ положеніи д-ра Крупова, однако же въ вещахъ очень важныхъ.

Лѣтами гораздо постарѣ меня, С. И. принадлежалъ еще къ слушателямъ знаменитаго профессора М. Я. Мудрова, въ силу чего и получилъ нѣсколько религіозно-мистическое и отчасти франкъ-массонское направленіе.

Я же, какъ студентъ Дядковского и М. Г. Павлова, ими былъ наведенъ на направленіе болѣе философское. Наведенъ, но не удовлетворенъ, а оставленъ на собственные силы.

Нѣкоторыя возраженія я тогда помѣтилъ и для большей доступности написалъ ихъ по-латыни. Но не только не далъ имъ никакого развитія, но даже не привелъ въ систематическій порядокъ.

По обязанностямъ моего служенія, я посвящаю время свое людямъ, уже кончившимъ свою жизнь, и, такъ какъ долгъ относительно ихъ и мой интересъ собственно начинаются съ полицейскаго удостовѣренія о приключившейся кончинѣ, то и не трудно понять, что, имѣя большую практику, какъ отъ университетской больницы, такъ и отъ военнаго госпиталя, поставляющаго намъ въ обиліи трупы, я занимался психіатрическими возраженіями, въ феріахъ и каникулахъ, не какъ моимъ специальнымъ дѣломъ, но скорѣе отдохновительнымъ хѣтга.

Впослѣдствіи, при возрастающихъ занятіяхъ, благодаря акклиматизаціи холеры и укороенію простаго и возвратнаго тифа, я забылъ о моей тетради, какъ вдругъ одинъ изъ коллеговъ, ѣздившій въ Германію, привезъ съ собою нумеръ издаваемой вами періодики (имя его, по причинамъ, понятнымъ вамъ, я считаю долгомъ, до поступленія его въ прозекторскую, умолчать), — въ немъ я нашель сочиненіе учителя и наставника моего, д-ра Крупова, вульгаризированнымъ на французской языкъ. Невольно вспомнилъ я тетрадку свою, перечиталъ ее, исправилъ, мѣстами перебѣлилъ и, пользуясь отправленіемъ за границу нашего добрейшаго Киліана Вильгельмовича, профессора теологической экзегезы и автора извѣстнаго сочиненія объ отношеніи богословія къ анатоміи и христіанства къ тераціи, рѣшилъ послать вамъ. Если вы не найдете ничего неприличнаго въ помѣщеніи сего слабаго, но искренняго опыта,—мое уваженіе къ памяти Семена Ивановича не допустило бы меня ни въ какомъ случаѣ до выраженій, лишенныхъ урбанности,—то сочту это для себя одолженіемъ, ибо въ отечествѣ нашемъ послѣ уничтоженія цензуры и увеличенія отвѣтственности, не полагаю, чтобъ это сочиненіе было къ печати допущено: особенно при нынѣшнемъ теократическомъ направленіи

полиціи и администраціи и полицейской тенденціи православныхъ служителей алтаря.

Пожелаете ли перевести, или напечатать по-латыни мои *афоризматъ*,—это совершенно зависитъ отъ васъ. Полагаю, латинскій языкъ популярнѣе.

Позвольте, М. Г., г. Редакторъ,
засвидѣтельствовать о чувствахъ
глубокоуваженія, съ которыми пребываю
Тить Левіаѳанскій,
Prosector et anatomiae professor adj.

P. S. Адреса не пишу, такъ какъ отвѣта по почтѣ получить не желаю, по обстоятельствамъ, моего уваженія къ вамъ не уменьшающимъ...

T. L. pr.

... Левіаѳанскій, Левіаѳанскій, да еще Тить! Я думалъ, что съ Титомъ Каменецкимъ, издавшимъ тридцать тисненій всеобщей пространной и краткой географіи, Титы въ Россіи кончились. Вѣрно псевдонимъ тоже «по обстоятельствамъ, не уменьшающимъ уваженіе». Что касается до фамиліи,—семинарія за такими бездѣлицами не останавливается: развѣ нѣтъ у насъ разныхъ Крестовоздвиженскихъ, Федоростудитенскихъ, Геесеманійскихъ, Ризоположенскихъ, не говоря о старыхъ знакомыхъ Круциферскомъ и Кафернаумовъ?

При письмѣ была тетрадь, написанная мельчайшимъ шрифтомъ, семинарскимъ почеркомъ и медицинской латынью. Я латыни никогда хорошо не зналъ, да и то, что зналъ, забылъ. По счастью, теперь во всѣхъ городахъ игорныхъ, гидро-терапевтическихъ и гидро-минеральныхъ заводятъ православныя часовни. Переводъ сдѣланъ мною сообща съ однимъ священникомъ; усердно благодаря его, я долженъ въ очистку его сказать, что онъ сталъ мнѣ помогать только послѣ явственнаго удостовѣренія съ моей стороны, что все относящееся до религіи у Тита Левіаѳанскаго, какъ и д-ра Круцова, относится къ лжекатолической религіи и къ лютеровымъ ересямъ, а не къ православной церкви.

Когда я перевелъ первый афоризмъ, я испугался, но вскорѣ догадался, что прозекторъ «лично» сумасшедшій, въ доказательство чего и печатаю переводный отрывокъ.

APHORISMA TA.

I.

Вѣрность, съ которой многоуважаемый авторъ разбираемой мною диссертациі опредѣлилъ *родовое* единство двухъ видовъ помѣшательства, повального и личнаго, составляетъ неоспоримую заслугу д-ра Крупова.

Онъ былъ весьма близокъ къ тому, чтобы вывести прочный фундаментъ для медицинскаго пониманія *всемірной исторіи*. Но, по несчастію, онъ, какъ многіе изъ великихъ врачей до него, отступая отъ опыта, допустилъ преждевременныя заключенія о *цѣли*, и черезъ то запутался въ религіозно-метафизическія фантасмагоріи.

Авторъ въ «историческомъ безуміи» видитъ *средство* (къмъ взятое?), «благодѣтельную горячку», какъ онъ выражается, для излеченія отъ «животности» и видитъ его медленное, но вѣрное уменьшеніе, а посему и ожидаетъ *перерожденія рода человѣческаго*, что многіе дѣлали и прежде него, но главное состоитъ въ томъ, что онъ на *этомъ свѣтѣ* ждетъ свою метемпсихозу.

Допуская это, мы изъ предверья науки уносимся въ пучину мистическихъ волнъ и возвратимся къ младенческимъ степенямъ ума и пониманія, которыя и были, можетъ быть, полезны и необходимы для мозгового роста, какъ прорѣзываніе зубовъ, но которыя въ совершеннолѣтіи безъ уродства повторяются не должны. Сюда мы причисляемъ всякаго рода *ожиданія*: пророковъ, мессій, пятаго царства, братства, справедливости и другихъ предназначенныхъ прогрессовъ.

Притомъ замѣтимъ, что всѣ послѣдовательные богословы, храмовые ¹⁾, церковные и академическіе, ставили всегда отвлеченный идеалъ свой, какъ бы они его ни понимали, внѣ исторической жизни, что значительно уменьшаетъ погрѣшность ихъ.

Такъ, язычники искали его въ до-историческомъ времени, въ дикомъ состояніи, называемомъ *золотымъ вѣкомъ*, въ него переносили свои мечты о непорочности, незнанія, простотѣ и другихъ отрицательныхъ добродѣтеляхъ и положительныхъ неразвитіяхъ, которыми преисполнены и поднесъ орангутанги и лемуры. Такъ, христіанство ожидало въ сущности царства небснаго, а не земнаго. Оно сѣяло *здѣсь* для предвѣчнаго жнитва *тамъ*. Церковь считала здѣшнюю жизнь, которой надобно было пройти, дурной

¹⁾ Т. е. не тамплеры, а язычники, молитву творившіе въ капищахъ, божнищахъ и «храмахъ», въ противоположность христіанамъ, молитвословящимъ въ церквахъ.

(Примѣчаніе батюшки, помогавшаго въ переводѣ).

дорогой и старалась слегка и немного посыпать ее щебнемъ, насколько не думая объ окончательномъ ея устройствѣ.

Остальные теологи безцерковные, какъ Вольтеръ и Руссо и другіе бого-и антропо-теофилы прошлаго вѣка и нашего, всѣ принимали для исполненія идеала своего *иной свѣтъ*, или такъ называемый *тотъ свѣтъ*, о которомъ, по занятіямъ моимъ въ прозекторской, я всего меньше имѣлъ случай сдѣлать какія-нибудь наблюденія, и дѣйствительно не знаю, существуетъ онъ или нѣтъ, и, если существуетъ, то какъ къ нашему прилагается. Для меня всегда было неясно (и я смиренно въ томъ вижу отсутствіе выпреннихъ способностей), какъ можетъ *привычка къ существованію переживать существующаго*. Но въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ не объ объективномъ бытіи, т. е. о бытіи *въ самомъ дѣлѣ того свѣта*, но о логичности его постановленія у теологовъ, безцерковныхъ и церковныхъ.

Даже тѣ изъ богослововъ, которые, какъ *деисты*, сознають, что они *постичь* не могутъ высшее существо и только *чтуть* его, не понимая—сознаваясь, что ничего, ни хорошаго, ни дурного, о немъ не знаютъ—и они приняли несомнѣстимость понятія здѣшней жизни съ освобожденіемъ отъ ея условій. Въ силу чего они, допуская прогрессъ, допустили *«безконечность»* его, т. е. поставили цѣлью усилій человѣческихъ поступательное движеніе безъ достиженія, что совершенно подходитъ къ психіатрической діагнозѣ безумія, блестяще чиноположенной нашимъ авторомъ.

Какъ же онъ, *сей* ¹⁾ врачъ, постигнувшій, что люди дѣйствуютъ только подъ вліяніемъ извѣстнаго состоянія мозга, называемаго нами патологическимъ или фантазмагорическимъ, какъ же онъ не понялъ, что другого *чистаго* мозга вовсе нѣтъ и быть не можетъ, какъ чистаго (математическаго) маятника, какъ нормально здороваго человѣка. Онъ думаетъ, что это будетъ по излеченіи, а мы спрашиваемъ, какъ же *постоянное состояніе* какого-нибудь животнаго рода или вида можетъ излечиться, хотя бы оно имѣло свои неудобства, какъ слѣпота крота—это не болѣзнь, а *особенность, признакъ*.

Какъ же, повторяю, врачъ, чиноположившій отличительныя свойства того, что называется безуміемъ, въ силу котораго окружающіе предметы сознаются неправильно, но и не произвольно, въ болѣзненномъ упорствѣ сохранить это сознаніе, даже при вредѣ себѣ, въ стремленіи къ цѣлямъ несуществующимъ, съ упущеніемъ цѣлей дѣйствительныхъ, могъ усомниться въ его вѣчной необходимости для исторіи и прогресса.

¹⁾ Батюшка непремѣнно просилъ оставить «сей»; онъ находилъ, что *этотъ* «указательно», а *сей* «сугубо указательно».

Семень Ивановичъ, прослѣдившій свою мысль у постели больного, у своего очага (съ кухаркой Матреной Бучкиной), въ домѣ друзей своихъ (у Анны Ѳедоровны), въ присутственныхъ мѣстахъ своего города, во Всеобщей Аугсбургской газетѣ, въ путешествіяхъ отъ Магелана, Васко-де-Гама, Марка Поло «до Дюмонъ Дюрвиля», въ бытописаніяхъ отъ Геродота, Тита Ливія «до отечественнаго Карамзина»,— какъ же онъ, видя такъ много, не усмотрѣлъ главнаго (не будемъ упрекать человѣка, сдѣлавшаго много, за то, что онъ не сдѣлалъ всего,—силы человѣка сочтены): что безъ хроническаго, родового помѣшательства прекратилась бы всякая государственная дѣятельность, что съ излеченіемъ отъ него остановилась бы исторія. Не было бы ей занятія, не было бы въ ней интереса. Не въ умѣ сила и слава исторіи, да и не въ счастья, какъ поетъ старинная пѣсня, а *въ безуміи*.

Безъ него мы были бы сведены на логику и математику.

Оставимъ же навсегда дѣтскую кичливость, съ которой шведъ Линней, лучше знавшій воспроизводительныя части растений, чѣмъ мозги человѣческіе, назвалъ человѣка *мудрымъ*, homo sapiens, и противопоставилъ ему человѣка безумнаго—homo insanus, человѣка, съ безконечнымъ творчествомъ мѣняющаго *idées fixes* и пункты помѣшательства и постоянно пребывающаго вѣрнымъ безумію. Если у людей являлась рѣдкая манія жить по чистому разуму и по разуму устроиться, то она количественно всегда такъ была незначительна, что ее можно отнести къ личнымъ умопомѣшательствамъ, а не къ тѣмъ, которыми зиждятся царства и имперіи, народы и цѣлыя эпохи.

Умомъ и словомъ человѣкъ отличается отъ всѣхъ животныхъ. И такъ, какъ безуміе есть творчество ума, такъ вымыселъ—творчество слова.

Одно животное пребываетъ въ бѣдной правдивости своей и въ жалкомъ здоровомъ смыслѣ. Природа молчитъ или звучитъ безсвязно, ибо она-то и находится подъ безвыходнымъ самовластьемъ разума, въ то время, какъ человѣкъ горюдитъ цѣлыя Магабараты и Урвази. Все сковано въ природѣ желѣзною необходимостью, она не усовершенствуется, не домогается, не ждетъ обновленія и искупленія, она только перерабатывается, «не вѣдая, что творить»,—и въ эту-то кабалу, въ этотъ домъ безъ хозяина, безъ добродѣтелей и пороковъ, толкаютъ человѣка подъ предлогомъ излеченія?

Отнимите у людей сказки и бредни, библіи и апокалипсисы, вѣру въ пришествіе вѣчнаго міра и таковаго же братства,—и родъ человѣческой, какъ Калигула, возжелаетъ имѣть едину главу и едину каротиду, чтобъ перерѣзать ее однимъ ударомъ бистуріи.

Посему и неудивительно, что всѣ пророки и законодатели

ставили въ основу своей проповѣди и закона фантазію; что всѣ моралисты соединяются на томъ, что самый необходимый даръ есть *даръ вѣры*, а вѣрить только въ то и надобно, чего доказать нельзя.

Необходимость фантазіи неотрицаема, и дѣло вовсе не въ основахъ, не въ теодицеяхъ, не въ догматахъ (и въ личномъ безуміи, главное совсѣмъ не въ пунктѣ помѣшательства; патологическое состояніе можетъ быть одно и то же, воображаетъ ли себя больной сверчкомъ въ щели или шавкой на дворѣ). Только поверхностные и сентиментальные наблюдатели могли негодуя удивляться, что человѣка третьяго дня травили львами и тиграми за то, что онъ не вѣритъ въ громовержца, а вѣритъ въ Спасителя, вчера жгли за то, что онъ вѣритъ въ Спасителя, но не вѣритъ въ завѣдующаго дѣлами его папу, а сегодня убиваютъ французами за то, что онъ вѣритъ въ папу, какъ въ управителя Христова, но не вѣритъ въ него, какъ въ царя итальянскаго.

Посему-то я всегда и оправдывалъ самаго послѣдовательнаго религіознаго инквизитора и гонителя—Максимиліана Робеспьера; онъ стоитъ гораздо выше Діоклетіана, Кальвина, Филиппа II и др., чему, конечно, обязанъ успѣхамъ философіи и гуманности въ XVIII вѣкѣ. Тѣ жгли своихъ противниковъ, онъ рубилъ головы людямъ не за то, что они *не такъ* вѣрили, какъ онъ, а просто за то, что они не вѣрили ни во что, кромѣ разума. Онъ очень послѣдовательно казнилъ Анахарсиса Клоотса и его товарищей, понимая, что какъ только изъ подъ ногъ человѣка выдернуть треножникъ мистики, такъ онъ и падетъ въ самое жалостное положеніе.

Все, что намъ дорого и изъ-за чего мы такъ обильно льемъ кровь ближняго, а иногда и свою, все имѣетъ глубокіе корни въ безуміи и не имѣетъ *ихъ развѣт его...* Безконечность и безсмертіе, честь и слава, воля человѣческая и воля Божія, обѣ свободныя, одна подчиненная другой и *обѣ другъ другу не мѣшающія, не смотря на необходимость*, въ коей обѣ движутся ¹⁾. Будто это можно понять, не сойдя съ ума?... Да и зачѣмъ воздерживаться, когда все зоветъ къ безумію, все жило и живетъ имъ.

Пусть же великое и покровительствующее безуміе, хранящее и утѣшающее, исправляющее и ведущее насъ чрезъ вѣка и океаны, пусть же оно и впредь сопровождаетъ насъ во вѣки вѣковъ, пока родъ человѣческій не поглотится геологическимъ переворотомъ. И пусть передъ его торжественнымъ шествіемъ не

¹⁾ Насчетъ замѣчательнаго остро-безумнаго сочетанія совершеннаго прозвона съ совершенной необходимостью, какъ о сильнѣйшемъ признакѣ, пишу особый аргументъ.

сетя, какъ и прежде, то лучезарное, то въ облакахъ, то полное, то съ ущербомъ, *свѣтило разума*, пребывающее, какъ луна, все въ томъ же разстояніи отъ земнаго шара, какъ бы онъ ни то-ропился.

А посему, наставникъ и другъ, Семенъ Ивановичъ, воскликнемъ вмѣстѣ съ латинскимъ классикомъ, но относя слова его къ святому безумію рода человѣческаго: *Tu urbes peperisti, tu homines dissipatos in societates convocasti!*¹⁾.

Т. Левіаѳанскій.

¹⁾ Не знаю, помнитъ ли теперь кто-нибудь небольшую повѣсть мою «Докторъ Круповъ». Она была напечатана въ 1847 году въ «Современникѣ» и имѣла нѣкоторый успѣхъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, *Круповъ* явился во французскомъ переводѣ въ одномъ парижскомъ *Revue*. *Двадцать* лѣтъ спустя, въ 1867 году, меня просили прочесть что-нибудь въ близкомъ кругу друзей, собиравшихся то у насъ, то у извѣстнаго физиолога *Шифа* во Флоренціи. Я вспомнилъ переводъ *Крупова* и прочелъ его. Слушатели были очень довольны, *Шифъ* настоятельно требовать, чтобы я перепечаталъ его. Одинъ итальянскій литераторъ просилъ текстъ для перевода на итальянскій языкъ. Мой *Круповъ*, какъ Лазарь, снова ожилъ. Перечитывая его, мнѣ пришли въ голову «рефлексиі и контроверзиі» прозектора Левіаѳанскаго и я ихъ написалъ собственно для *Шифа*.

Карлъ Фогтъ, смѣясь, требовать отвѣта Левіаѳанскому, обвиняя его въ скрытомъ деизмѣ, на томъ основаніи, что онъ своего бога спряталъ въ *фонарь*, котораго вовсе нѣтъ. Но я побоялся, что одна и та же шутка утомитъ.

Мимоѣздомъ.

(Отрывокъ).

..... Ъхавши какъ-то изъ деревни въ Москву, я остановился дни на два въ одномъ губернскомъ городѣ. На другое утро явилась ко мнѣ жена одного крестьянина изъ нашей вотчины, который торговалъ тутъ. Она была въ отчаяніи, мужъ ея сидѣлъ шестой мѣсяць въ острогѣ, и до нея дошелъ слухъ, что его скоро накажутъ. Я разспросилъ дѣло; никакой важности въ преступленіи его не было.

Я знавалъ когда-то товарища предсѣдателя, честнѣйшаго человека въ мірѣ и большого оригинала; отправляюсь прямо къ нему въ уголовную палату; присутствіе еще не начиналось, мой старичекъ съ своимъ добродушнымъ лицомъ и съ синими очками на глазахъ сидѣлъ одинъ одиухонекъ, читая страшной толщины дѣло. Мы съ нимъ не видались года три, онъ обрадовался мнѣ, и я ему обрадовался, не потому, чтобы мы другъ друга особенно любили, а потому, что человекъ всегда радуется, когда увидитъ знакомыя черты послѣ долгаго отсутствія. Я сказалъ ему о причинахъ моего появленія. Онъ велѣлъ подать дѣло; резолюція была подготовлена, я попросилъ его обратить вниманіе на нѣкоторыя «облегчающія обстоятельства», онъ согласился въ возможности уменьшить наказаніе.

Поблагодаривши его, я не могъ удержаться, чтобы не сказать ему, дружески взявши его за руку:

— «Владиміръ Яковлевичъ, ну, а если-бъ я не пришелъ, да не попросилъ бы васъ перечитать дѣло, мужика-то бы наказали строже, нежели надобно».

— Что дѣлать, батюшка, отвѣчалъ старикъ, поднимая свои синія очки на лобъ,—совѣсть у меня чиста; я, не читавши всего дѣла, никогда не подпишу протокола, но, признаюсь, какъ огня боюсь отыскивать облегчающія причины.

— «Ну, васъ нельзя обвинить ни въ снисходительности, ни въ особомъ желаніи облегчить участь подсудимаго».

— Совсѣмъ напротивъ. Я двадцатый годъ служу въ этой палатѣ, а всякой разъ, какъ придется подписывать строгій приговоръ, такъ мурашки по тѣлу пробѣгутъ.

— «Такъ отчего же вы не любите облегчающихъ обстоятельствъ?»

— Ведутъ далеко, вотъ что; право, вы, нынѣшніе, все только верхки хватаете,—ну, вѣдь, вы чай служили тамъ гдѣ-нибудь въ министерствѣ, а дѣла навѣрно въ руки не брали; но вамъ оно все темная грамота. Не хотите ли позаняться у насъ въ архивѣ, прочтите дѣла хоть за два послѣдніе года, впередъ пригодится,—и судопроизводство узнаете, и людей тоже. Тутъ и поймете, что такое отыскивать оправданія и куда это ведетъ.

— «Благодарю за доброе предложеніе; однако прежде, нежели я переѣду въ вашъ архивъ на нѣсколько мѣсяцевъ, скорѣе не прочтешъ двухъ полокъ, объясните теперь еще болѣе непонятное для меня отвращеніе ваше отъ облегчающихъ обстоятельствъ. Хлопотъ, что ли, много, времени не достаетъ рыться въ каждомъ дѣлѣ?»

— Господи, прости мои прегрѣшенія, да что я, батюшка, въ вашихъ глазахъ турка или якобинецъ какой, что изъ лѣни (замѣтьте, якобинцевъ во всемъ обвиняли прежде, но исключительно Владиміру Яковлевичу принадлежитъ честь обвиненія ихъ въ лѣни) стану усугублять участь несчастнаго; говорю вамъ, далеко поведетъ.

— «Воля ваша, я готовъ согласиться, что я непростительно тушъ, но не понимаю васъ».

— О... о... охъ эти мнѣ петербургскіе чиновники, портфельчикъ эдакой сафьянной съ золотымъ замочкомъ подъ мышкой, а плохіе дѣльцы. Да помилуйте, возьмите любое дѣло, да начните отыскивать облегчающія обстоятельства, отъ одного къ другому, отъ другого къ третьему, такъ къ концу-то и выйдетъ, что виноватаго вовсе нѣтъ. Что же за порядки?

— «Тѣмъ лучше».

— Такъ это, по вашему, за все по головкѣ гладить. Это гдѣ-нибудь въ Филадельфіи хорошо, гдѣ люди другъ друга ѣдятъ: какъ же въ благоустроенномъ обществѣ виноватаго не наказать?

— «Да какой же онъ виноватый, когда вы сами найдете ему оправданіе?»

— Ну, да эдакъ и всякаго оправдаешь, коли дать волю мурованіямъ. Я развѣ затѣмъ тутъ посаженъ? Я стараго покроя человѣкъ, мое дѣло буквальное исполненіе; да и такъ не хорошо,—ну, какъ же видишь, что человѣкъ укралъ. Воръ есть, а

тутъ пойдеть... да онъ отъ голоду укралъ, да мать больна, да отецъ умеръ, когда ему было три года, онъ по міру съ тѣхъ поръ ходилъ, привыкъ бродяжничать... и конца нѣтъ; такъ вора и оставить безъ наказанія? Нѣтъ, батюшка, собственное сознаніе есть, улики есть,—прошу не гнѣваться, XV томъ свода законовъ, да статейку. Вотъ оттого эти облегчительныя обстоятельства для меня ножъ вострый, мѣшаютъ ясному пониманію дѣла. Теперь я, знаете, понаторѣлъ и попривыкъ, а бывало сначала, ей Богу, измучишься, такой скверной нравъ. Ночью придетъ дѣло въ голову, вникнешь, поразсудишь, не виновать да и только, точно на смѣхъ уснуть не даетъ, кажется изъ чего хлопотать, не то, что родной или другъ, а такъ бродяга, мерзавецъ, бѣглый... Поди ты, а сердце кровью обливается. Оправдай этого, оправдай другого, а тамъ третьяго... На что же это похоже, я себя на службѣ не замаралъ, честное имя хочу до могилы сохранить. Что же начальство скажетъ, все оправдываетъ, словно дуракъ какой-нибудь, да и самому совѣстно. Я думалъ, думалъ, да и пересталъ искать облегчающихъ причинъ. Наша служба мудреная, не то что въ гражданской палатѣ,—довѣренность засвидѣтельствовалъ, купчую совершилъ, духовную утвердилъ, отпускную скрѣпилъ, да и спи спокойно. А тутъ подумаешь, такой-то Еремѣй, вотъ двѣ недѣли тому назадъ, тутъ стоялъ, говорилъ, а идетъ теперь по Владимірской; такая-то Акулина идетъ тоже, да и знаете того... на ногахъ... ну, и сдѣлается жаль. Понимаете теперь?

— «Понимаю, понимаю, добрѣйшій и почтеннѣйшій Владиміръ Яковлевичъ. Прощайте, этого разговора я не забуду».

— Пожалуйста, батюшка, по Питеру-то не рассказывай такого вздору, ну, что скажетъ министръ или особа какая:—«Баба, а не товарищъ предсѣдателя».

— «О, нѣтъ, нѣтъ, будьте увѣрены,—я вообще съ особами ни о чемъ не говорю».

Москва, май, 1846.

Долгъ прежде всего.

ПОВѢСТЬ.

«Я считалъ бы себя преступнымъ, если-бъ не исполнилъ и въ сей настоящій годъ *священнаго долга* моего и не принесъ бы Вашему Превосходительству наиусерднѣйшаго поздравленія съ наступающимъ высокаторжественнымъ праздникомъ».

I.

За воротами.

Сыну Михайла Степановича Столыгина бѣло лѣтъ четырнадцать... но съ этого начать невозможно; для того, чтобъ принять участіе въ сынѣ, надобно узнать отца, надобно сколько-нибудь узнать почтенное и доблестное семейство Столыгиныхъ. Мнѣ даже хотѣлось бы основательно познакомить читателей моихъ съ нимъ, но не знаю, какъ лучше приняться.

Мнѣ приходило въ голову начать съ историческихъ преданій ихъ знаменитаго рода. Я хотѣлъ слегка упомянуть, какъ Трифонъ Столыгинъ успѣлъ въ двѣ недѣли три раза присягнуть, разъ Владиславу, разъ Тушинскому вору, разъ не помню кому,— и всѣмъ измѣнилъ; я хотѣлъ описать ихъ богатые достоянія, ихъ села, въ которыхъ церкви были пышно украшены благочестивыми и смиренными приношеніями помѣщиковъ, повидимому, не столь смиренныхъ въ свѣтскихъ отношеніяхъ, что доказывали полуразвалившіяся, кривыя, худо крытыя и подпертыя шестью избы; но боясь утомить вниманіе ваше, я скромно рѣшаюсь начать не дальше какъ за воротами большого московскаго дома Михайла Степановича Столыгина, что на Яузѣ. Ограда около дома каменная, ворота толстаго дерева, съ одной стороны калитка истинная, съ другой—ложная, для симметріи, въ ней вставлена доска, на доскѣ сидитъ обтерханный старикъ, повидимому нищій.

Старикъ этотъ, впрочемъ, не былъ нищій, а дворникъ Михайла Степановича.

Пятьдесятъ второй годъ пошелъ съ тѣхъ поръ, какъ красивый русый юноша Ефимка вышелъ въ первый разъ за эти ворота съ метлою въ рукахъ и горькими слезами на глазахъ. Дядя Михаила Степановича, объѣзжая свои помѣстья, привезъ его изъ Симбирска, не потому что ему особенно нуженъ былъ мальчикъ, а такъ, ему понравился добрый видъ Ефимки, онъ и рѣшился устроить его судьбу. Устроилъ онъ ее прочно, какъ видите. Ефимка мель юношей, мель съ пробивающимся усомъ, мель съ окладистой бородой, мель съ просѣдью, мель совсѣмъ сѣдой и теперь мететь съ пожелтѣвшей бородой, съ ногами, которыя подгибаются, съ глазами, которые плохо видятъ. Одно сберегъ онъ отъ юности—названіе Ефимки; впрочемъ страннѣе этого патриархальнаго названія было то, что онъ дѣйствительно не развился въ Ефима. По мѣрѣ того какъ онъ свылкался съ своей одинокой жизнію, по мѣрѣ того какъ страсть къ двору и къ улицѣ у него дѣлалась сильнѣе и доходила до того, что онъ вставалъ раза два, три ночью и осматривалъ дворъ съ пытливымъ любопытствомъ собаки, несмотря на то, что ворота были заперты и двѣ настоящихъ собаки спущены съ цѣпи,—въ немъ пропадала и живость и развязность, кругъ его понятій становился уже и уже, мысли смутнѣе, тусклѣе. Разъ, лѣтъ за двадцать до нашего разсказа, ему взошла въ голову дурь—жениться на кучеровой дочери; она была и не прочь, но баринъ сказалъ, что это вздоръ, что онъ съ ума сошелъ, съ какой стати ему жениться,—тѣмъ дѣло и кончилось. Ефимка потосковалъ, никому не говорилъ о томъ ни слова и сталъ попивать. Къ старости онъ сдѣлался кроткимъ, тихимъ звѣремъ, страдавшимъ отъ холода и отъ боли въ поясницѣ, веселившимся отъ сивухи и нюхательнаго табаку, который ему поставлялъ сосѣдній лавочникъ за то, чтобъ онъ мель улицу передъ лавочкой. Другихъ сильныхъ страстей у него не было, если мы не примемъ за страсть его безусловной послушливости всѣмъ, кто хотѣлъ приказывать, и безграничнаго страха передъ Михайломъ Степановичемъ.

Нельзя сказать, чтобы сношенія Ефимки съ Михайломъ Степановичемъ были особенно часты или важны; они ограничивались строгими выговорами, сопряженными съ сильными угрозами за то, что мостовая портится, за то, что тротуарные столбы гніютъ, за то, что за нихъ задѣпляются телѣги и сани; Ефимка чувствовалъ свою вину и со вздохомъ поминалъ то блаженное время, когда улицъ не мостили и тротуаровъ не чинили по очень простой причинѣ, потому что ихъ не было.

Сношеніе другого рода, болѣе пріятное и торжественное, по-

вторялось всякой годъ одинъ разъ. Въ Свѣтлое Воскресеніе вся дворня приходила христосоваться съ бариниомъ; причеиъ Михайло Степановичъ, обыкновенно угрюиый и раздраженный, мѣнялъ гнѣвъ на милость и дарилъ своихъ слугъ ласковымъ словомъ—отчасти въ предупрежденіе другихъ подарковъ.

— А помнишь, говорилъ ежегодно Михайло Степановичъ Ефимкѣ, обтирая губы послѣ христосованья, помнишь, какъ ты меня возилъ на салазкахъ и дѣлалъ снѣговую гору? Сердце прыгало отъ радости у старика при этихъ словахъ и онъ торопился отвѣчать:

— «Какъ же, батюшка, кормилецъ ты нашъ, мнѣ-то не помнить, оно, вѣдь, еще при покойномъ дядюшкѣ вашей милости, при Львѣ Степановичѣ было, помню, вотъ словно вчера».

— Ну, оно вчера не вчера, прибавлялъ Михайло Степановичъ, улыбаясь, а небось пятой десятокъ есть. Смотри же, Ефимка, праздникъ праздникомъ, а улицу мети, да пьяныхъ много теперь шляется, такъ ты, какъ смеркнется, ворота и запри. Что не крадутъ ли булыжникъ?

— («Словно глазъ свой берегу, батюшка, и ночью выхожу разъ, другой поглядѣть», отвѣчалъ дворникъ,—и баринъ давалъ знакъ, чтобъ онъ шелъ съ краснымъ яйцомъ, даннымъ ему на обмѣнъ.

Этимъ периодическимъ разговоромъ ограничивались личныя сношенія двухъ ровесниковъ, жившихъ лѣтъ пятьдесятъ подъ одной крышей. Ефимка бывалъ очень доволенъ аристократическими воспоминаніями и обыкновенно вечеромъ въ первый праздникъ, не совсѣмъ трезвый, рассказывалъ кому-нибудь въ грязной и душной кучерской, какъ было дѣло, прибавляя: «Вѣдь, подумаешь, какая память у Михайла-то Степановича, помнить что,—а, вѣдь, это сущая правда, бывало меня заложить въ салазки, а я вожу, а онъ-то знай кнутикомъ погоняетъ, ей Богу, а сколько годовъ подумаешь», и онъ, качая головою, развязывалъ онучи и засыпалъ на печи, подложивши свой армякъ (постели онъ еще не успѣлъ завести въ полвѣка), думая вѣроятно о суетѣ жизни человѣческой и о прочности нѣкоторыхъ общественныхъ положеній, наприиѣръ, дворниковъ.

Итакъ, Ефимка сидѣлъ у воротъ. Сначала онъ медленно, больше изъ удовольствія, нежели для пользы подгонялъ грязную воду въ канавѣ метлой, потомъ понюхалъ табаку, посидѣлъ, посмотрѣлъ и задремалъ. Вѣроятно, онъ довольно долго бы проспалъ, въ товариществѣ дворной собаки плебейскаго происхожденія, черной съ бѣлыми пятнами, длинною жесткою шерстью и изгрызаннымъ ухомъ, котораго сторонки она приподнимала врозь, чтобъ сгонять мухъ, если бы ихъ обоихъ не разбудила женщина среднихъ лѣтъ.

Женщина эта, тщательно закутанная, въ шляпкѣ съ опущеннымъ вуалемъ, давно показала на улицѣ; она медленно шла по противоположному тротуару и съ безпокойнымъ вниманіемъ смотрѣла, что дѣлается на дворѣ Столыгина. На дворѣ все было тихо, казачекъ въ сѣняхъ пощелкивалъ орѣхи, кучеръ возлѣ сарая чистилъ хомутъ и курилъ изъ крошечнаго чубука, однако и этого довольно было, чтобъ отстращать ее; она прошла мимо и черезъ четверть часа явилась на томъ тротуарѣ, на которомъ спалъ Ефимъ. Собака заворчала было, но вдругъ бросилась со всѣми собачьими изъявленіями радости къ женщинѣ, она испугалась ея ласкъ и отошла, какъ можно скорѣе. Осмотрѣвши еще разъ, что дѣлается на дворѣ, она рѣшилась подойти къ Ефиму и назвать его.

— «А-съ», пробормоталъ Ефимъ, «чего вамъ?» Онъ не былъ такъ счастливъ, какъ его пріятель съ раздвоеннымъ ухомъ, и не узналъ, кто съ ними говорить.

«Ефимушка, продолжала незнакомка, вызови сюда Кирилловну».

— «Настасью Кирилловну, а на что вамъ ее?» спросилъ дворникъ, что-то запинаясь.

— «Да ты меня развѣ не узнаешь?»

— «Ахъ, ты, мать пресвятая Богородица», отвѣчалъ старикъ и вскочилъ съ лавки, «глаза-то, какіе стали, матушка... Экъ я кого не спозналъ, простите матушка, изъ ума выжилъ на старости лѣтъ, такъ ужъ никуда не гоюсь».

«Послушай, Ефимъ, мнѣ нѣкогда, коли можно, вызови Настасью».

— «Слушаю, матушка, слушаю, отчего же нельзя, — оно все можно, я сейчасъ для тебя-то сбѣгалъ бы, — да вотъ, мать ты моя родная, и старикъ чесалъ пожелтѣлые волосы свои, — да какъ бы то есть Титъ-то Трофимовичъ не свѣдалъ?»

Женщина смотрѣла на него съ состраданіемъ и молчала; старикъ продолжалъ:

— «Боюсь, охъ боюсь, матушка, кости старыя, лѣта какія, а, вѣдь, у насъ кучеръ Ненпадисть, не приведи Господь, какая тяжелая рука, такъ въ конюшнѣ Богу душу и отдашь, христіанскій долгъ не исполнишь».

Старикъ еще не кончилъ своей рѣчи, какъ изъ воротъ выскочила старушонка худоцавая, поделѣная, вся въ морщинахъ, съ сѣдыми волосами.

— Ахъ, матушка, не извольте слушать, что вамъ старый сычъ этотъ напѣваетъ, пожалуйста ко мнѣ, я проведу васъ, — вѣдь, изъ окна матушка узнала, походку-то вашу узнала, такъ сердце-то и забилось, ахъ, молъ, наша барыня идетъ, шепчу я

сама себѣ, да на половину къ Анатолю Михайловичу бѣгу, а тутъ попался казачекъ Ванюшка, прядовитой у насъ такой, шпіонишка мерзкой, что, спросила я, баринъ-то спитъ?—Спитъ еще—чтобъ ему тутъ право, не при васъ будь сказано. Все это она такъ проворно говорила съ пресильной мимикой, что Марья Валеріановна не успѣла раскрыть рта и, наконецъ, ужъ перебила ее вопросомъ:

«Настасьюшка, да здоровъ ли онъ?»

— Ничего, матушка, ну только худенькой такой. Какое и житье-то! Вѣдь, аспидъ-то нашъ, на то и взялъ ихъ, чтобъ было надъ кѣмъ зло изливать, человѣконенавистникъ, ржа, которая, на что желѣзо, и то побѣдомъ ѣсть. У Натоль же Михайловича, изволите знать какой нравъ, весь въ маменьку, не то что наше холопское дѣло, выйдешь за дверь да самого обругаешь вдвое, прости Господи, ну, а они все къ сердцу принимаютъ. Марья Валеріановна утерла наскоро слезу и шепнула:

«Пойдемъ же, Настасьюшка».

Настасья строго наказала Ефимкѣ, если Титъ подошлетъ казачка спросить, съ кѣмъ она говорила за воротами и съ кѣмъ вошла, сказать со швеей молъ, съ Ольгой Петровной, что живетъ у Покровскихъ воротъ. Послѣ этого, она повела Марью Валеріановну черезъ дворъ на заднее крыльцо, потомъ по темной лѣстницѣ, которую врядъ ли мели когда-нибудь послѣ отстройки дома. Лѣстница эта шла въ маленькую каморку, отведенную Настасѣ; эта каморка была цѣль ея желаній, предметъ домогательствъ ея въ продолженіи пятнадцати лѣтъ. Ни у кого въ домѣ не было особой комнаты, кромѣ у Тита. Михайло Степановичъ, наконецъ, дозволилъ занять ее, съ условіемъ не считать ее своею, никогда въ ней не сидѣть, а такъ покажѣсть положить свои пожитки. Въ этой маленькой комнатѣ стоялъ небольшой деревянный столъ, окрашенный временемъ, на немъ покоился покрытый полотенцемъ самоваръ, въ сосѣдствѣ чайника и двухъ опрокинутыхъ чашекъ. На стѣнѣ висѣли двѣ головки, рисованныя чернымъ карандашемъ, одна изображала поврежденную женщину, которая смотрѣла изъ картины, страшно вытаращивъ глаза, вмѣсто кудрей у нея были черви,—должно думать, что цѣль была представить Медузу. Другая представляла какого-то жандарма въ каскѣ, вѣроятно выходившаго изъ воды, судя по голому плечу, лице у него было отвратительно правильно, носъ въ родѣ іонійской колонны, опрокинутой волютами внизъ, голову онъ держалъ крѣпко на сторону, разумѣется, этотъ жандармъ былъ—Александръ Македонскій.

Но передъ этими картинами, нарисованными дѣтской рукой, остановилась Марья Валеріановна и не могла болѣе удержи-

ваться. Она закрыла глаза платкомъ и Настасья плакала ото всей души, приговаривая:

— Да, это онъ, мой голубчикъ, въ именины подарилъ.

«Ну, какъ кто взойдетъ сюда, Настасьюшка, что тогда дѣлать?»

— Не извольте беспокоиться, матушка, фискала - то нашего дома нѣтъ. Вишь, староста пріѣхалъ, да обозъ съ дровами, что ли, пришелъ, такъ онъ и пошелъ въ трактиръ принимать; самый вредный человѣкъ и преалчной, никакой совѣсти нѣтъ, чаю пары двѣ выпьетъ съ французской водкой, какъ слѣдуетъ, да потребуетъ бутылку бѣлаго, рыбы, икры; какъ чрево выносить, небось седьмой десятокъ живетъ, да, вѣдь, что, матушка, какой неочестливой и сына-то своего приведетъ и того угощай. Ну, да онъ угодитъ еще подъ красную шапку, сынъ-то озорникъ. Покуда старой-то песь живъ, такъ все шито и крыто, а какъ Богъ по душу пошлетъ, мы все выведемъ, и какъ синенькая у кучера пропала...

Длинная рѣчь in Titum осталась неоконченною. Молодой человѣкъ лѣтъ тринадцати, стройный, милый и блѣдный отъ внутренняго движенія, бросился, не говоря ни слова, на шею Марьи Валеріановны и спряталъ голову на ея груди; она гладила его волосы, смѣялась, плакала, цѣловала его...

«Ну, привелъ же Богъ, привелъ же Богъ, говорила она. Да, дай же посмотрѣть на тебя...» и она всматривалась долго, съ тѣмъ упоеніемъ, преданнымъ, святымъ, съ какимъ можетъ смотрѣть одна любовь матери. Она была счастлива, онъ такъ хорошъ, черты его такъ невинно чисты и открыты, она молилась ему.

«Дружокъ ты мой, какой ты худенькой, говорила она ему, здоровъ ли ты?»

— «Я здоровъ, маменька, отвѣчалъ молодой человѣкъ, я только боюсь, что папаша узнаетъ, спроситъ меня?»

— И, батюшка, вмѣшалась няня, что это ужъ такой умникъ и не умѣете держать отвѣтъ. Правду сказать, это только вашъ папаша воображаетъ, что его въ свѣтѣ никто не проведетъ, а его вся дворня надуваетъ.

Молодой человѣкъ не отвѣчалъ, но сдѣлалъ движеніе, которое дѣлаютъ всѣ нервныя люди, когда ножъ скрипитъ по тарелкѣ.

II.

Дядюшка Левъ Степановичъ.

Кажется, что и хорошо я началъ мой рассказъ, а опять приходится отступить, далеко отступить, иначе не объяснишь сцены, происходившей въ маленькой комнаткѣ Настасьи.

Начнемъ-те тамъ, гдѣ оканчиваются воспоминанія Ефимки: онъ возилъ молодого барина въ салазкахъ при жизни «дяденьки». Дяденька Левъ Степановичъ уже потому заслуживаетъ, чтобы начать съ него, что, несмотря на всю патріархальную дикость свою, онъ первый *ручной* представитель Столыгиныхъ. Этимъ онъ обязанъ слѣпой любви родителей къ его меньшему брату. Степушку никогда бы не рѣшились они отправить на службу, отдать въ чужія руки; Левушку, напротивъ, родители не жалѣли и, какъ только онъ кончилъ курсъ своего воспитанія, то есть, научился читать по русски и писать вопреки всѣмъ правиламъ орфографіи, его отправили въ Петербургъ. Послуживши лѣтъ десять въ гвардіи, онъ перешелъ въ гражданскую службу, былъ совѣтникомъ, былъ впоследствии президентомъ какой-то коллегіи, и въ большей близости съ кѣмъ-то изъ временщиковъ. Патронъ его, долго умѣвшій искусно удержаться въ силѣ въ классическое время паденій и успѣховъ, воцареній и низверженій, послѣ Петра I и Екатерины II, потерялъ, наконецъ, равновѣсіе и исчезъ въ своихъ малороссійскихъ вотчинахъ. Помощникъ и ставленникъ его, Левъ Степановичъ, премудро и во время умѣлъ отдѣлить свою судьбу отъ судьбы патрона, премудро успѣлъ жениться на племянницѣ другого временщика, которую тотъ не зналъ куда дѣвать, и, наконецъ, что премудрѣе всего вмѣстѣ, Левъ Степановичъ, получивъ аннинскую кавалерію, вышелъ въ отставку и отправился въ Москву для устройства имѣнія, уважаемый всѣми, какъ честный, добрый, солидный и дѣловой человекъ.

Не надобно думать, чтобъ въ его удаленіи былъ одинъ расчетъ или дипломатія; причина столько же сильная звала его воротиться къ болѣе родной средѣ. Въ Петербургѣ, несмотря на успѣхи по службѣ, ему все было что-то неловко, точно въ гостяхъ; ему захотѣлось покоя въ почетномъ раздольи помѣщичьей жизни, захотѣлось пожить на своей волѣ; родители его давно померли, Степушка былъ отдѣленъ, имѣнье, доставшееся Леву Степановичу, было одно изъ богатѣйшихъ подѣ Москвою, верстъ сотню по Можайкѣ отъ города. Какъ же не ѣхать ему было въ свои березовыя и липовыя рощи, въ свой старый отцовскій домъ, гдѣ подобострастная дворня и испуганное село готово было его встрѣтить съ страхомъ и трепетомъ, поклониться ему въ землю и подойти къ ручкѣ?

Въ Москвѣ онъ остался недолго, заложилъ на Яузѣ, вмѣсто деревяннаго дома, каменныя палаты и уѣхалъ въ Липовку, изрѣдка наѣзжая присмотрѣть за постройкой. За хозяйство Левъ Степановичъ принялся усердно; онъ и на службѣ своего имѣнья не разстроилъ, а, напротивъ, къ родовымъ тысячѣ душамъ прикупилъ тысячи полторы; но теперь, не вдаваясь въ агрономическія разсужденія, онъ разомъ сдѣлался смышленнымъ помѣщикомъ съ той снаровкой, съ которой изъ лейбъ-гвардіи капитановъ сталъ въ годъ времени дѣловымъ совѣтникомъ. Удвоивая доходы, онъ улучшилъ состояніе крестьянъ. Онъ и хлѣбомъ поможетъ, и овса на посѣвъ дастъ, и корову или лошадь дастъ взаимну падшей, ну, да послѣ держи ухо востро. Вдругъ никто не думаетъ, не гадаетъ, баринъ съ старостой и съ десятскими на дворъ. «Ей ты, Акулька, покажи-ка горшки для молока», не вымыты, тутъ бабѣ и расправа. «А ты, Нефедъ, покажь-ка соху, да и борону, выведи лошадь-то», словомъ поучалъ ихъ, какъ неразумныхъ дѣтей, и мужички разсказывали долго послѣ его смерти «о порядкахъ стараго барина», прибавляя, «точно, бывало, спуску не даетъ, ну, а только умница былъ, все зналъ наше крестьянское дѣло досконально и праваго не тронетъ; то есть, учитель былъ».

Дворовыхъ онъ держалъ безъ числа и мѣры. У него были мальчишки, единственно употребляемые днемъ на то, чтобъ чистить клѣтки соловьевъ, а ночью ходить по двору, чтобъ собаки не лаяли близъ господскаго дома. У него были дѣвочки, которыхъ все назначеніе состояло въ томъ, чтобъ зимой стирать воду съ оконницъ, а лѣтомъ носить уголья и тазики для варенья. Нельзя сказать, чтобъ такое количество прислуги его вводило въ особенно важныя траты; все, начиная съ самыхъ личностей, было домашнее, рожъ и гречиха, горохъ и капуста, и не одинъ кормъ... Умреть корова, выдѣлаютъ кожу, сапожникъ сошьетъ портному сапоги, въ то время какъ портной ему кроить куртку изъ домашняго сукна цвѣту маренго-клеръ и широкія панталоны изъ небѣленаго холста, которымъ были обложены рабочія бабы. Притомъ у Льва Степановича былъ неотъемлемый талантъ воспитывать дворню, талантъ, совершенно утраченный въ наше время; онъ вселялъ съ юныхъ лѣтъ такой страхъ, что даже его фаворитъ и долею лазутчикъ, камердинеръ Титъ Трофимовъ, гроза всей дворни, не всегда обращавшій вниманіе на приказы барыни, сознавался въ минуты откровенности и сердечныхъ изліяній, что ни разу не входилъ въ спальню барина безъ особаго чувства страха, особенно утромъ, не зная, въ какомъ расположеніи Левъ Степановичъ. Дивиться нечему. Выгоды и почетъ барскаго фавора очень не даромъ доставались, Титу особенно, потому, что онъ часто попадался на глаза. Левъ Степановичъ былъ чловѣкъ.

характерный, сдерживать себя не считалъ нужнымъ, и, когда утромъ онъ выходилъ къ чаю съ красными глазами, сама Марѳа Петровна долго не смѣла начать разговоръ. Въ эти «характерныя» минуты сильно доставалось Титу,—побѣтъ его бывало, да и пошлетъ къ барынь: «Поди, говорить, покажи ей свою рожу и скажи, вотъ молъ, какъ дураковъ учать, людей дѣлають изъ скотовъ». Для Марѳы Петровны, въ ея скучной и однообразной жизни, подобные случаи служили развлеченіемъ, даже она находила своего рода удовольствіе въ униженіи гордаго и высокоомѣрнаго Тита.

Дѣйствительно, развлеченій въ ея жизни было мало, особенно свѣтскихъ! Дѣтей имъ Богъ не далъ. Пыталась она и ворожить, и заговариваться, и пить всякую дрянъ, и къ Троицѣ-Сергію ходила пѣшкомъ, и Титову сестру посылала въ Кіево-Печерскую Лавру, откуда она ей принесла колечко съ раки Варвары мученицы, но дѣтей все не было. Нельзя сказать, чтобъ Левъ Степановичъ особенно былъ оттого несчастенъ, однако онъ сердился за это, какъ за беспорядокъ, и упрекалъ въ минуты досады свою жену довольно оригинальнымъ образомъ, говоря: «У меня жену Богъ даровалъ глупѣ таракана; что такое тараканъ? нечистота! а дѣтей выводить». При этомъ видно было гордое сознаніе, что онъ своей стороны, себя, въ этомъ не винить,—да и въ самомъ дѣлѣ, безъ вопіющей несправедливости мудрено было винить Льва Степановича, взявъ во вниманіе хоть одно разительное сходство съ нимъ поваровыхъ дѣтей. Главное, что сердило Льва Степановича, это отсутствіе цѣли въ хозяйствѣ и устройствѣ имѣнія. «Я, говорилъ онъ, денно и ночью хлопочу, и запашку удвоилъ, и порядокъ завелъ, и лѣсъ берегу, и денегъ не трачу; а подумаю на что, самъ не знаю; точно управляющій братнина сына, а тотъ возьметъ все, да и спасибо не скажетъ, я его знаю, по матери пошелъ, баба продувная была, и въ немъ хамовой крови довольно. Оно, конечно, это мой долгъ, на то я и поставленъ Богомъ въ домѣщики, чтобы хозяйничать, на томъ свѣтѣ съ меня спросится; все же лучше, если бы былъ настоящій наслѣдникъ!»

И Левъ Михайловичъ грустно качалъ головою, сидя на жесткихъ креслахъ, обитыхъ черной кожей, приколоченой мѣдными гвоздочками. Марѳа Петровна горько плакивала отъ подобныхъ разговоровъ и за свѣтскія лишенія прибѣгала къ духовнымъ утѣшеніямъ.

Возлѣ самаго господскаго дома, иждивеніемъ Льва Степановича, была воздвигнута каменная церковь о трехъ предѣлахъ. Спальня выходила окнами къ колокольнѣ; при первомъ благовѣстѣ Марѳа Петровна поспѣшно одѣвалась и являлась ранѣе всѣхъ въ храмъ Божій. Левъ Степановичъ приходилъ позже и то по большимъ праздникамъ и въ воскресные дни. Марѳа же Петровна являлась при всѣхъ богослуженіяхъ, на похоропахъ, кре-

стинахъ, бракосочетаніяхъ. Левъ Степановичъ становился впереди, подтягивалъ клиросу и бдительнымъ окомъ смотрѣлъ за порядкомъ, самъ дралъ за уши шалившихъ мальчишекъ и чрезъ старосту показывалъ, когда надо было креститься и когда класть земные поклоны. Онъ былъ любитель и знатокъ богослуженія, онъ на домъ къ себѣ призывалъ молодого діакона и мѣсяца три всякій день училъ кадить и дѣлать возгласъ, поднимая орарь съ полуоборотомъ на амвонѣ; діаконъ дѣйствительно такъ мастерски дѣлалъ возгласъ и полуоборота, что можайскіе купцы пріѣзжали любоваться и находили, что іеродіаконъ Савина монастыря далеко будетъ пониже липовскаго.

Монастырь этотъ былъ верстъ тридцать отъ усадьбы Льва Степановича. Онъ постоянно посылалъ туда не столько богатыя, сколько постоянныя приношенія, — возовъ десять прошлогодняго и нѣсколько сгорѣвшаго сѣна, овесъ, негодный на сѣмяна, сырыя и почернѣвшія дрова. Марѳа Петровна, съ своей стороны, дѣлала приношенія тоже болѣе цѣнныя по усердію, нежели по чему иному; она посылала въ монастырь розовую и мятную воду, муравьиный спиртъ, сушеную малину (иноки, не зная, что съ ней дѣлать, настаивали ее пѣннымъ виномъ), нѣсколько банокъ грибовъ, въ укусѣ искусно уложенныхъ такъ, что съ которой стороны ни посмотришь, все видно одни бѣлые грибы, а какъ ложкой ни возьмешь, все вынешь или березовикъ или масленокъ. Иноки иногда посѣщали благочестивый домъ богопріѣжнаго помѣщика и всегда находили радушный пріемъ Марѳы Петровны, которая любила ихъ и какъ-то боялась.

Другихъ гостей почти никогда не являлось у Столыгиныхъ. Кромѣ ихъ двоихъ, еще проживали у нихъ дядя Марѳы Петровны съ своей женой. Бѣжавши изъ Петербурга, Левъ Степановичъ пригласилъ къ себѣ дядю своей жены, не главнаго, а такъ дядю-старика, оконтуженнаго въ голову во время турецкой кампаніи, вслѣдствіе чего онъ потерялъ память, умъ и глаза. Настоящій дядя, не зная, куда его дѣтъ, намекнулъ Льву Степановичу, который хотя уже тогда и былъ въ отставкѣ, но все же не смѣлъ поперечить особѣ. Слепой старикъ былъ женатъ на молдаванкѣ, у которой въ домѣ лежалъ раненый; она была не первой молодости и, несмотря на большой римской носъ и на огромные орлиные глаза, отличалась великимъ смиреніемъ духа. Ее Столыгинъ употреблялъ на пріемъ талекъ, холстины, орѣховъ, на чищеніе ягодъ, сушеніе травъ, вареніе грибовъ. Марѳа Петровна, призрѣвая родственниковъ, была увѣрена, что этимъ загладитъ всѣ свои грѣхи, а можетъ, сдѣлаетъ доступною и свою молитву о дарованіи дѣтей. Обращеніе, сложившееся между хозяевами и гостями, было простое, патріархальное. Марѳа Петровна называла

старика дядей, но жену его не только не называла теткой, но говорила ей «ты» и въ иныхъ случаяхъ позволяла цѣловать у себя руку. Левъ Степановичъ говорилъ обоимъ «ты» и обращался съ ними такъ, какъ слѣдуетъ обращаться съ людьми, вполне зависящими отъ насъ,—съ холоднымъ презрѣніемъ и съ оскорбительнымъ выказываніемъ своего превосходства. Онъ ихъ трактовалъ, какъ мебель или вещь, не очень нужную, но къ которой онъ привыкъ.

Утро слѣпой обыкновенно проводилъ въ своей комнатѣ во флигелѣ, гдѣ курилъ сушеной вишневой листь, перемѣшанный съ венгерскими корешками. Въ часъ, дѣвка, приставленная за нимъ, надѣвала на него длинный синій сюртукъ, повязывала бѣлый галстухъ и приводила въ столовую. Здѣсь онъ дождался, сидя въ углу, торжественнаго выхода Льва Степановича. Горе бывало старику, если онъ опоздаетъ, тутъ доставалось не только ему, но и Танькѣ, служившей при немъ корнакомъ, и молдаванкѣ. Старику повязывали на шею салфетку и сажали его за столъ, гдѣ онъ смиренно дождался, пока Левъ Степановичъ ему пришлетъ рюмку настойки, въ которую онъ ему подливалъ воды. За столомъ старикъ не смѣлъ ничего просить, да не смѣлъ ни отъ чего и отказаться; даже больше двухъ стакановъ квасу (хозяева пили кислыя щи, но для дяди съ теткой приносили людского квасу, кислаго какъ квасцы) ему не дозволялось пить. Подадуть ли дыню, Левъ Степановичъ вырѣжетъ лучшую часть, а корки положить ему на тарелку. Марѳа Петровна дѣлала тоже съ зрячей молдаванкой, прибавляя, что это сущій вздоръ и почти грѣхъ думать, что Богъ такъ создалъ дыню, что одну крайнику можно употреблять въ свѣдь.

Въ рѣдкія минуты, когда Левъ Степановичъ былъ веселъ, слѣпой старикъ служилъ предметомъ всѣхъ шутокъ и любезностей Льва Степановича. «А, добро пожаловать», кричалъ онъ, «добро пожаловать, отецъ Ксенофонтіи! — Эй, Васильичъ (такъ называлъ онъ дядю), не видишь, что ли, отецъ Ксенофонтіи идетъ тебя благословить». — «Не вижу, государь мой, не вижу», отвѣчалъ слѣпой. «Да вотъ съ правой-то стороны»—и онъ посылалъ Тита благословлять старика и тотъ ловилъ его руку. Левъ Степановичъ хохоталъ до слезъ, не догадываясь, что самое забавное въ этой комедіи состояло въ томъ, что выжившій изъ ума старикъ съ тою остротой слуха, которая обща всѣмъ слѣпымъ, очень хорошо зналъ, что отецъ Ксенофонтіи не входилъ и представлялъ только для удовольствія покровителя, что обмануть. Но верхъ наслажденія для Столыгина состоялъ въ томъ, чтобы накласть на тарелку старику чего-нибудь скромнаго въ постный день, и когда тотъ съ спокойной совѣстью съѣдалъ, онъ его спрашивалъ, что это ты на старости лѣтъ, въ Молдавіи, что ли, въ турецкую пе-

решель, въ какой день утираешь скоромное. У старика дѣлались спазмы, онъ плакаль, полоскаль ротъ, дѣлался больнымъ,—это очень забавляло Столыгина.

Иногда Левъ Степановичъ будилъ въ старикѣ что-то похожее на чувство человѣческаго достоинства, и онъ дрожащимъ голосомъ напоминаль Льву Степановичу, что ему грѣшно обижать слѣпца и что онъ все-таки дворянинъ и премьеръ-маіоръ по чину.

— «Ваше высокородіе, отвѣчалъ Столыгинъ, у котораго кровь бросалась въ лицо отъ такой дерзкой оппозиціи, да ты бы ѣхаль въ полкъ, — ну, я тебѣ пришелся не по нраву, прости великодушно, а ужъ переучиваться мнѣ поздно, мнѣ не подь лѣта; да и что же, я тебя не на веревочкѣ держу, ступай себѣ въ Молдавію, въ женино имѣнье».

— Левъ Степановичъ, робко прибавляла Марфа Петровна,—вѣдь, какъ бы то ни было, онъ мнѣ дядя и вамъ сродственникъ.

— «Вотъ? Въ самомъ дѣлѣ? возражалъ еще болѣе разъяренный Столыгинъ. Скажите, пожалуйста, новости какія! А знаешь ли ты, что если бы онъ не былъ твой дядя, такъ у меня не только бъ не сидѣль за столомъ, да и подь столомъ».— Испуганная маіорша дергала мужа за рукавъ, начинала плакать, прося простить неразумнаго слѣпца, не умѣющаго цѣнить благодѣяній. У старика текли по щекамъ тоже слезы, но какъ-то очень жалкія, онъ походилъ на безпомощнаго ребенка, обижаемаго грубой и пьяной толпой.

Послѣ обѣда баринъ ложился отдохнуть. Титъ долженъ былъ стоять у дверей и, когда Левъ Степановичъ ударить въ ладоши, подать ему графинъ кислыхъ щей. Иногда въ это время Титъ бѣгалъ въ дѣвичью и приказываль по именному назначенію той или другой горничной налить ромашки и подать барину, что «де на животѣ не хорошо», и горничная съ какимъ-то страхомъ бѣжала къ Агафѣ Ивановнѣ. Агафья Ивановна, ворча сквозь зубы, сыпала вонючую траву въ чайничекъ. Марфа Петровна никогда не навѣщала мужа во время его гастрическихъ припадковъ; она ограничивала свое участіе развѣдываніемъ, кто именно носила ромашку, для того, чтобы при случаѣ припомнить такую услугу и такое предпочтеніе.

Левъ Степановичъ, запивши кислыми щами или ромашкой сонъ, отправлялся побродить по полямъ и работамъ и часовъ въ шесть являлся въ чайную комнату, гдѣ у стѣны уже сидѣль на большихъ креслахъ слѣпой маіоръ и вязаль чулокъ, единственное умственное занятіе, которое осталось у него. Иногда старикъ засыпаль, Левъ Степановичъ, разумѣется, этого не могъ вынести и тотчасъ кричалъ горничной: «Танька, не зѣвай», и Танька будила старика, который, проснувшись, увѣряль, что онъ и не думаль спать, что онъ и по ночамъ плохо спить отъ поясницы.

Послѣ чая, (Толыгинъ вынималъ довольно не новую колоду картъ и игралъ въ дураки съ женою и молдаванкой. Если онъ бывалъ въ хорошемъ расположеніи, то среди игры рассказывалъ въ тысячной разъ отрывки изъ аристократическихъ воспоминаній своихъ; какъ покойникъ графъ его любилъ, какъ ему довѣрялъ, какъ совѣтывался съ нимъ; но притомъ дружба дружбой, а служба службой. «Бывало задастъ такую баню, и бумаги всё по полу разбросаетъ и раскричится. Ну, иной разъ и чувствуешь, что правъ, да и не отвѣчаешь, надо дать мѣсто гнѣву. Онъ же у насъ терпѣть не могъ, какъ отвѣчаютъ; тогда было жутко, а теперь съ благодарностью вспоминаю».

Всего же болѣе любилъ онъ останавливаться съ большими подробностями на томъ, какъ графъ его посылалъ однажды съ бумагой къ князю Григорью Григорьевичу... «Утромъ всталъ я часовъ въ пять. Титъ, тогда мальчишкой былъ, не развѣдался еще какъ теперь, что гадко смотрѣть,—ну, только и тогда былъ прелѣпной и преглупой. Вхожу я въ переднюю, насилу его растолкалъ, чтобы скорѣй за парикмахеромъ сбѣгалъ. Парикмахеръ пришелъ, причесалъ меня... Тогда носили вотъ такъ, три пукли одна надъ другой; я надѣлъ мундиръ и отправляюсь къ князю. Вхожу въ переднюю, говорю официанту, что вотъ по такому дѣлу отъ графа къ его свѣтлости присланъ. Официантъ посмотрѣлъ на меня, видитъ съ двумя лакеями пріѣхалъ—и говоритъ: «раненько изволили пожаловать, князь не встаетъ раньше десяти, а въ десять я, молъ, камердинеру доложу». А можно, говорю я ему, гдѣ-нибудь обождать? «Какъ не можно, комнать у насъ довольно. Вотъ пожалуйте въ залу». Я взошелъ, люди полы метутъ, да пыль стираютъ, я сѣлъ въ уголокъ и сижу. Часика такъ черезъ два, вышелъ секретарь ли, камердинеръ ли и прямо ко мнѣ. «Вы отъ графа?»—«Я, батюшка, я»,—«Пожалуйте за мною къ его свѣтлости въ гардеробную». Вхожу я, князь изволитъ въ пудермантелѣ сидѣть и одинъ парикмахеръ въ шитомъ французскомъ кафтанѣ причесываетъ, а другой держитъ на серебряномъ блюдѣ помаду, пудру и гребенки. Князь, взявши бумагу, такимъ громкимъ ласковымъ голосомъ мнѣ и молвили:

— «Благодари графа, я сегодня доложу объ этомъ дѣлѣ. Мнѣ графъ говорилъ о тебѣ, что ты дѣловой и усердный чиновникъ, старайся впередъ заслужить такой отзывъ».

— Свѣтлѣйшій, молъ, князь, жизнь свою предпочитаю положить за службу.

— «Хорошо, хорошо, сказалъ князь и изволилъ со стола взять табакерку, золотую, государыня тебѣ жалуетъ въ поощреніе». Какъ это онъ изволилъ сказать, у меня слезы въ три ручья. Я хотѣлъ было руку поцѣловать, но онъ отдернулъ. Я его въ плечо, князь

взглянулъ на меня, да пальчикомъ парикмахеру показалъ, — да оба такъ и вспрыснули отъ смѣха. Я ничего не понимаю, что за причина. А дѣло-то было просто, дѣлуя свѣтлѣйшаго въ плечо, я весь вымарался въ пудрѣ. Князь потомъ за ея величества столомъ рассказывалъ объ этомъ, ей-Богу». И во всемъ лицѣ Льва Степановича распространялась гордая радость.

Но большей частію, вмѣсто аристократическихъ рассказовъ и воспоминаній, Левъ Степановичъ угрюмый и «гнѣвный», какъ выражалась молдаванка, притѣснялъ ее и жену за игрой всевозможными мелочами, бросалъ, сдавая, карты на полъ, дразнилъ молдаванку, съ бѣшенствомъ критиковалъ каждый ходъ и такъ добивалъ вечеръ до ужина. Въ десятомъ часу Левъ Степановичъ отправлялся въ спальню, замѣчая: «ну, слава Богу, вотъ день-то и прошелъ», какъ будто онъ ждалъ чего-то, или какъ будто ему хотѣлось поскорѣе скоротать свой вѣкъ.

Передъ спальней была образная, маленькая комната, которой восточный уголъ былъ уставленъ большими и драгоценными иконами, въ кіотѣ краснаго дерева. Двѣ лампадки горѣли безпрестанно передъ образами. Левъ Степановичъ всякой вечеръ молился иконамъ, кладя земные поклоны или, по крайней мѣрѣ, касаясь перстомъ до земли. Потомъ онъ отпускалъ Тита. Титъ, пользуясь единственнымъ свободнымъ временемъ, отправлялся на село къ Исаю рыбаку или къ обручнику Никифору, всего же чаще къ старостѣ, который на мірской счетъ покупалъ для дворовыхъ сивуху. Титъ бралъ съ собою кого-нибудь изъ лакеевъ, особенно же Митьку цирюльника, отлично игравшаго на гитарѣ.

Долго жилъ такъ доблестный помѣщикъ Левъ Степановичъ, Богъ знаетъ, для чего устраивая и улучшая свое имѣнье, усугубляя свои доходы и не пользуясь ими. Домъ его съ селами и деревнями составлялъ какой-то особенный міръ, разобщенный со всѣмъ остальнымъ міромъ, чертою, проведенной генеральнымъ межеваніемъ. Даже «Московскія Вѣдомости» не получались въ Липовкѣ. Войны раздирали Европу, миры заключались, троны падали; въ Липовкѣ все шло нынче какъ вчера, вечеромъ игра въ дурачки, утромъ сельскія работы, та же жирная бужанина подавалась за обѣдомъ. Титъ все также стоялъ у дверей съ квасомъ, и никто не только не говорилъ, но и не зналъ и не желалъ знать всемірныхъ событій, наполнявшихъ собою весь свѣтъ.

Но такъ какъ всему временному есть конецъ, то пришелъ конецъ и этому застою, и притомъ очень крутой. Однажды послѣ обѣда, Левъ Степановичъ, употребивши довольно разсолъника съ потрохами, жирной индѣйки и разныхъ съдобныхъ и слоеныхъ пирожковъ и смочивъ все это кислыми щами, перешелъ въ гостиную закусить обѣдъ арбузомъ и выпить княжевишной наливки.

Освѣжившись арбузомъ и разгорячившись наливкой, онъ въ самомъ лучшемъ расположеніи духа пошелъ въ кабинетъ уснуть. Но какъ нарочно въ залѣ засталъ Настьку, говорившую въ дверяхъ передней съ извѣстнымъ намъ музыкантомъ и цирюльникомъ Митькой. Левъ Степановичъ былъ чрезвычайно ревнивъ во всемъ, что касалось до горничныхъ. Ему что-то померещилось не совсѣмъ хорошее въ выраженіи Митькина лица. Онъ закричалъ страшнымъ голосомъ и схватилъ въ углу стоящую палку. Митька, горячая голова, какъ всѣ артисты, ударился бѣжать. Столыгинъ за нимъ, со всѣмъ грузомъ индѣйки, потроховъ, подъ квасомъ и арбузомъ; Митька отъ него, онъ за нимъ, Митька на чердакъ по узенькой лѣстницѣ, Столыгинъ сунулся было, но увидѣлъ, что судьба его не создала матросомъ. На крикъ барина сбѣжалась вся дворня. Багровый отъ гнѣва, сбиваясь въ словахъ и буквахъ, баринъ велѣлъ поймать Митьку, гдѣ бы онъ ни былъ, и посадить въ колодку, пока онъ рѣшитъ его судьбу; отдавши приказъ, онъ усталый и запыхавшись удалился въ кабинетъ.

(Случай этотъ распространилъ ужасъ и безпокойство въ домѣ, въ людскихъ, въ кухнѣ, на конюшнѣ и, наконецъ, во всемъ селѣ. Агафья Ивановна ходила служить молебень и затеплила свѣчку въ дѣвичьей передъ иконой всѣхъ скорбящихъ заступницы. Молдаванка, сбивавшаяся во всѣхъ чрезвычайныхъ случаяхъ на поврежденную, бормотала сквозъ зубы «о царѣ Давидѣ и всей кротости его», какъ передъ громовымъ ударомъ.

Титу не пришлось долго Митьку искать; онъ сидѣлъ босикомъ въ питейномъ домѣ, уже выпивши на сапоги сивухи, и громко кричалъ:

— «Не хочу служить аспиду такому, хочу царю служить, въ солдаты пойду, у меня нѣтъ ни отца, ни матери, за народъ послужу, а ужъ я ему не слуга, и назадъ не пойду, а силой возьметъ, такъ грѣхъ надъ собой совершу, ей Богу, совершу».

«Митрій, Митрій, ты не горлань, говорилъ ему Тить, и такого вздора не ври; барина рука длинная, она тебя вездѣ достанетъ, а ты лучше ступай со мной, а не то, вѣдь, я руки свяжемъ, на то барской приказъ».

Краснорѣчіе Тита побѣдило, наконецъ, Митьку и онъ, протестуя и говоря, что завтра же грѣхъ совершить, пошелъ, прибавляя:

— «Нѣтъ, Тить Трофимовичъ, вязать меня не нужно, я не воръ и не собака, чтобы меня на веревкѣ водить,—мы дойдемъ и безъ веревки». На дорогѣ Митька во весь голосъ пѣлъ «Ай, барыня, барыня!» съ тѣми богатыми вариантами, которыми избилуютъ всѣ передни.

Неумытный Тить, посадивъ своего друга въ колодку, побѣжалъ къ дверямъ съ кислыми щами. Въ пять часовъ Марѳа

Петровна прислала узнать, проснулся ли баринъ; Тить молча помахалъ рукой и приложилъ палець къ губамъ. Въ шесть пришла сама Марѳа Петровна къ дверямъ. «Кажется, еще не изволили просыпаться», доложилъ Тить. Марѳа Петровна тихо отворила дверь и такъ вскрикнула вдругъ, что Тить опрокинулъ кувшинъ съ кислыми щами. Закричать было немудрено. Старый баринъ лежалъ, растянувшись, возлѣ кровати, одинъ глазъ былъ прищуренъ, другой совершенно открытъ съ тупымъ и мутно стекляннѣмъ выраженіемъ; ротъ былъ перекошенъ и нѣсколько капель кровавой пѣны текло по губамъ. Съ минуту продолжалась совершенная тишина, но вдругъ, откуда ни возмись, хлынула въ комнату вся дворня; грозный Тить не препятствовалъ, а стоялъ какъ вкопанный. Марѳу Петровну вынесли въ обморкѣ и положили ей подъ ложечку образъ, въ которомъ были мощи св. Антипія; молдаванка вбѣжала въ комнату съ какимъ-то неестественнымъ хныканьемъ и, поскользнувшись въ лужѣ кислыхъ щей, чуть не сломила ногу.

Тить, какъ болѣе сильный характеръ, первый пришелъ въ себя и снова тѣмъ повелительнымъ голосомъ, которымъ отдавалъ барскіе приказы лѣтъ двадцать, сказалъ: «Ну, что тутъ зѣвать! Сенька, втащи сюда корыто да воды. А ты, Ларивонъ, сбѣгай-ка за батюшкой. Да нѣтъ ли у васъ, Агафья Ивановна, мѣднаго пятака на правой глазъ-то ему надобно положить»... И все пошло какъ по маслу.

Освобожденный арестантъ Митька, безъ малѣйшаго злопаметства, приготовлялся, какъ записной грамотей, ночью читать взапуски псалтырь съ земскимъ и пономаремъ, просилъ только молдаванку дать ему табаку позабирательнѣе на случай, если сонъ клонить будетъ.

Дворня была испугана. Она доставалась человѣку неизвѣстному; къ праву стараго барина примѣнились, теперь приходилось вновь начинать службу и какъ, и что будетъ, и кто останется въ Липовкѣ, кто поѣдетъ въ Питеръ, на какомъ положеніи, все это волновало умы и заставляло почти жалѣть покойника.

Черезъ два дня, послѣ необыкновенныхъ напряженій, написалъ Тить, будущему обладателю слѣдующее письмо:

«Все Милостивѣйшій Государь,
Государь батюшка и единственный заступникъ
нашъ Михайло Степановичъ.

«По приказанію Ея Превосходительства тетюшки вашей, а нашей госпожи Марѳы Петровны. Преемлю смѣлость начертать Вамъ, батюшка Михайла Степановичъ сіи строки, такъ какъ по большому огорченію они сами писать силъ не чувствуютъ Богу

же угодно было посѣтить ихъ великимъ несчастіемъ утратою ихъ и нашего отца и благодѣтеля о упокоеніи души коего должны до скончанія дней нашихъ молить Господа и Дядюшки вашего нынѣ въ бозѣ представившагося Его Превосходительства Льва Степановича, изволившагося скончаться въ двадцать третье мѣсяца число, въ 6 часовъ по полудни. Онагоже тѣлу вынось завтрашняго числа.

«Такъ какъ мы по извѣстности ваши, то батюшка и все милостивѣйшій Государь, можете призрѣть насъ яко сиротъ отца лишенныхъ и неоставить милосердіемъ вашимъ недостойныхъ подданныхъ а мы чувствуемъ какъ обязаны усердіемъ Вашему здоровью до конца нашей жизни, что покойному дядюшки такъ и вамъ все едино, какъ вся дворянѣ такъ и выборный Трофимъ Кузминъ съ міромъ.

«Прибывая Ни жайціи рабъ вашъ Тить—если изволите помнѣть что при покойномъ Дядюшкѣ камардинеромъ находилъся».

Село Липовка. 1794 года Іюня 25 дня.

III.

Нѣжный братецъ покойнаго дядюшки.

Михайлъ Степановичъ былъ сынъ брата Льва Степановича, Степана Степановича. Въ то время, какъ Левъ Степановичъ посвящалъ дни свои блестящей гражданской дѣятельности, получалъ высокіе знаки милости и цѣловалъ свѣтлѣйшее плечо, карьера его меньшаго брата разыгрывалась на иномъ поприщѣ, не столько громкомъ, но болѣе сердечномъ.

Любимецъ родителей, баловень и «нѣженка», какъ выражалась дворянѣ, онъ постоянно оставался въ деревнѣ подъ крыломъ материнскимъ. Въ двѣнадцать лѣтъ старуха няня мыла его еще всякую субботу въ корытѣ и приносила ему съ села лепешки, чтобы онъ хорошенько позволилъ промылить голову и не кричалъ бы на весь домъ, когда мыльная вода пошла въ глаза. Лѣтъ четырнадцати, признаки равняго совершеннолѣтія начинали ясно оказываться въ отношеніяхъ Степушки къ дѣвичьей. Матушка его, не слышавшая въ немъ души, не токмо не препятствовала развитію его раннихъ способностей, но даже не безъ удовольствія смотрѣла на удалъ сына и исподволь помогала ему, что при ея средствахъ и гражданскихъ отношеніяхъ къ дѣвичьей не представляло непреоборимыхъ трудностей. Нѣжные чувства, питаемыя съ такого нѣжнаго возраста, вскорѣ поглотили всего Степушку; любовь, какъ выражаются [поэты, была единственнымъ призваніемъ его, онъ до кончины своей былъ вѣренъ избранному пути букоoliko-эротическаго помѣщика.

Степушка не долго пользовался покровительствомъ родителей. Ему было семнадцать лѣтъ, когда онъ лишился матери, года черезъ три спустя умеръ его отецъ. Смерть родителей и честное преданіе ихъ тѣла землѣ не доставили Степану Степановичу столько безпокойствъ и сердечныхъ мукъ, какъ прїѣздъ брата; онъ вообще не отличался храбростью, брата же онъ особенно боялся. Не зная, что дѣлать, онъ совѣщался съ своими подданными и не могъ безъ содроганія вздумать, какъ они будутъ дѣлить дворовыхъ, къ числу которыхъ принадлежала и дѣвичья. Онъ взялъ нѣкоторыя мѣры, всѣхъ горничныхъ велѣлъ запереть въ поваровой комнатѣ, оставивши на лицѣ только такихъ, которыя имѣли значительныя недостатки въ лицѣ, сильную шадровитость, косые глаза. Левъ Степановичъ все понялъ, обдѣлилъ брата, закупивъ его пустыми уступками, предоставилъ ему почти весь прекрасный полъ и, благословляемый имъ, уѣхалъ назадъ.

Проводивши брата, Степанъ Степановичъ принялся, съ своей стороны, за устройство имѣнья. Онъ купилъ двухъ музыкантовъ и приказалъ имъ учить дворовыхъ дѣвокъ пѣть. Хоры составились хоть куда, учителя играли одинъ на торбанѣ, другой на кларнетѣ. Въ праздничные дни сгоняли послѣ обѣдни крестьянскихъ дѣвокъ и бабъ на лужекъ передъ домомъ для хороводовъ и пѣсней. Степанъ Степановичъ, откушавши, выходилъ въ сѣни, въ халатѣ на распахку, окруженный горничными, тутъ онъ садился, горничныя готовили чай и обмахивали мухъ павлиновыми перьями. Благодарный помѣщикъ угощалъ гостей цареградскими стручками, пряниками, брагой и грошевыми серьгами, иногда самъ участвовалъ въ хороводахъ, но чаще засыпалъ подъ конецъ; чай имѣлъ на него очень сильное вліяніе, хотя онъ и подливалъ французской водки, чтобы ослабить его дѣйствіе.

Матеріальной частью хозяйства Степанъ Степановичъ, какъ всѣ сентиментальныя натуры, заниматься не любилъ; староста и поваръ управляли вотчиной; до барина доступъ былъ не легокъ, кому и случалось съ нимъ молвить слово, остерегался проболтаться, баринъ все рассказывалъ горничнымъ. Случилось разъ, что крестьянка, съ большими черными глазами, пожаловалась барину на старосту. Степанъ Степановичъ, не давая себѣ труда разобрать дѣла и вѣчно увлекаемый своимъ нѣжнымъ сердцемъ, велѣлъ старосту на конюшнѣ посѣчь. Староста обмылся пѣнничкомъ и кротко вынесъ наказаніе, не думая оправдываться, несмотря на то, что онъ въ дѣлѣ былъ правъ; тѣмъ не менѣе желаніе мести сильно запахло въ его душу. Спустя недѣлю, другую, староста черезъ повара доложилъ барину, что де, несмотря на барское приказаніе, такая-то баба сильно балуется и находится въ очень близкихъ отношеніяхъ съ своимъ мужемъ, возвратив-

шимся съ работы въ городѣ. Поступокъ этотъ, такъ грубо неблагодарный, глубоко огорчилъ Степана Степановича и онъ велѣлъ бабу назначить безъ очереди въ работу. Похудѣвъ, состарясь черезъ годъ, она на себѣ носила доказательства, что приказъ былъ исполненъ въ точности. Послѣ этого примѣра никто, кромѣ горничныхъ, не смѣлъ дѣлать оппозицію старостѣ и повару.

Веселая сельская жизнь Степана Степановича стала скоро извѣстной въ околodкѣ; явились сосѣди, одни съ цѣлью его женить на дочери, другіе обыграть, третьи, болѣе скромные, познакомились потому, что имъ казалось пить чужой пуншъ пріятнѣе своего. Онъ поддавался всему, весьма вѣроятно, что его бы женили и обыграли, но нѣжное сердце его спасло. Посѣщая одного изъ своихъ сосѣдей, онъ увидѣлъ у него горничную,—такъ сердце у него и опустилось... Онъ пріѣхалъ домой разстроенный, влюбленный, да какъ! Ъсть пересталъ, а пить сталъ вдвое больше. Подумалъ онъ, подумалъ, видитъ, что такой страсти переломить невозможно; опостылѣла ему дѣвичья, и, если онъ позволялъ себѣ кой-какія шалости, то больше, чтобы не отставать отъ привычекъ, нежели изъ удовольствія.

Присталъ Степанъ Степановичъ къ сосѣду, чтобы тотъ продалъ Акульку; сосѣдъ поломался, потомъ согласился съ условіемъ, чтобы Столыгинъ купилъ отца и мать,—я, говорить, христіанинъ и не хочу разлучать того, что Богъ соединилъ. Степанъ Степановичъ на все согласился и заплатилъ ему три тысячи рублей; по тогдашнимъ цѣнамъ на такую сумму можно было купить пять Акулекъ и стально же Дунашекъ съ ихъ отцами и матерями.

Сельская Брунегиялда поняла, именно по суммѣ, заплаченной за нее, ширь своей власти и въ полгода привела своего господина въ полнѣйшую покорность. Померкло вліяніе повара, слабла сила старосты. Отецъ Акулины Андреевны былъ сдѣланъ дворецкимъ, мать ключницей, да она и имъ потачки не давала, а держала ихъ въ страхъ и повиновеніи,—и всего этого было ей мало, ей хотѣлось открыто и явно быть помѣщицей, она стала питать династическіе интересы. И года черезъ два Степанъ Степановичъ поѣхалъ въ четверомѣстной колымагѣ покойнаго родителя своего въ церковь и обвинчался съ Акулиной Андреевной. Бракъ ихъ, не такъ, какъ бракъ Льва Степановича, не остался безплоднымъ. Въ сѣняхъ господскаго дома, когда новобрачные воротились, сперва подошли къ ручкѣ и поздравили новую барыню ея родители, а потомъ кормилица въ золотомъ повойникѣ поднесла десятизмѣсячнаго сына; бракъ ихъ былъ благословенъ заблаговременно. Грудной ребенокъ этотъ, Михайло Степановичъ, котораго Ефимка возилъ на салазкахъ, а онъ его кнутикомъ подгонялъ.

Послѣ свадьбы баринъ сдѣлался призракъ. Акулина Андреевна приняла бразды правленія сильной рукой. Она съ глубокимъ политическимъ тактомъ взяла всѣ мѣры, чтобы упрочить свое самовластіе; но какъ всегда бываетъ, взявши всѣ мѣры, она все-таки упустила изъ виду одну изъ возможныхъ причинъ переворота, и на ней-то все оборвалось. Мало знакомая съ врачебной наукой, она не только не ограничивала, но развивала въ Степанѣ Степановичѣ его страсть къ наливкамъ и сладкимъ водкамъ; она не знала, что человѣческое тѣло только до извѣстной степени противодѣйствуетъ алкоголю. Лѣтъ черезъ семь послѣ бракосочетанія, синій Степанъ Степановичъ, отекавшій отъ водяной, полунѣмой отъ паралича, отдалъ Богу душу, — около того времени, когда Левъ Степановичъ отдѣлывалъ свой домъ на Яузѣ.

Получивъ вѣсть о смерти брата, Левъ Степановичъ, въ первые минуты горести, попробовалъ опровергнуть бракъ покойника, потомъ законность его сына, но вскорѣ увидѣлъ, что Акулина Андреевна взяла всѣ мѣры еще при жизни мужа и что седьмую часть ей выдѣлить во всякомъ случаѣ придется, и сыну имѣніе предоставить, да еще заплатить протори. Больно было Льву Степановичу, но онъ покорился несправедливой судьбѣ и, какъ настоящій практической человѣкъ, тотчасъ придумалъ иной образъ дѣйствія. Онъ написалъ къ вдовѣ письмо, полное родственнаго участія, звалъ ее въ Москву для окончанія дѣлъ и для того, чтобы показать ему наслѣдника его брата, а можетъ и его собственнаго, пещься о которомъ онъ считалъ священной обязанностью, ибо Богомъ и закономъ назначенъ ему въ опекуны. Весьма вѣроятно, что Акулина Андреевна не повезла бы своего сына по письму дяди, но послѣ смерти Степана Степановича люди стали что-то грубо поговаривать, а иногда даже и перечесть съ такимъ видомъ, что Акулинѣ Андреевнѣ показалось безопаснѣе переѣхать въ Москву. Левъ Степановичъ плакалъ при свиданіи съ Мишей, благословилъ его образомъ и взялъ на себя всѣ хлопоты по опежѣ и по управленію имѣніемъ.

Акулину Андреевну провести было не легко; но ее устранилъ совершенно неожиданный случай. Своей седьмой частью она прельстила одного поручика изъ ординарцевъ при московскомъ главнокомандующемъ, и сама прельстилась его ростомъ, его дебелий и свирѣпой красотой, совершенно противоположной аркадскому покойнику. Акулина Андреевна не могла удержаться, чтобы не выйти за него замужъ. Роли перемѣнились. Поручикъ съ четвертаго дня началъ ее бить и ужъ Акулина Андреевна на этотъ разъ стала пить подслащенные наливки. Левъ Степановичъ сильно покровительствовалъ поручику и выхлопоталъ ему прибыльное мѣсто по комиссаріатской части, гдѣ-то на Черномъ морѣ.

Левъ Степановичъ требовалъ, чтобы племянникъ его остался въ Москвѣ для полученія приличнаго его званію воспитанія. Мать не хотѣла оставить его; но поручикъ прикрикнулъ и уговорилъ ее, основываясь на томъ, что мѣсто получилъ по ходатайству Столыгина и что его дружбу надо беречь на черный день.

IV.

Троюродные братья.

Мишѣ было лѣтъ десять. Воспитаніе его не было сложно; простое, деревенское воспитаніе того времени, оно ограничивалось съ физической стороны—развитіемъ непобѣдимаго пищеваренія, съ нравственной—укорененіемъ вѣрнаго взгляда на отношеніе столбоваго помѣщика къ дворовымъ и крестьянамъ. Воспитаніе это не столько было отвлеченно и книжно, какъ практично, и потому самому имѣло несомнѣнный успѣхъ. Десятилѣтній мальчикъ былъ окруженъ толпой оборванныхъ, грязныхъ и босыхъ мальчишекъ, которыхъ онъ тѣснилъ, билъ и на которыхъ жаловался матери, бравшей всегда его сторону.

Одинъ болѣе свободный товарищъ его игръ былъ сынъ сельскаго священника, отличавшійся бѣлыми волосами, до того рѣдкими, что не совсѣмъ покрывали кожу на черепѣ, и способностью въ двѣнадцать лѣтъ выпивать чайную чашку сивухи, не пьянѣя. Онъ иногда обижалъ Мишу, не позволялъ ему себя тотчасъ поймать въ горѣлкахъ, обгонялъ его въ запуски, самъ ѣлъ найденныя ягоды. Мишу это оскорбляло и Акулина Андреевна не могла оставаться равнодушной къ такому нарушенію приличій; она обыкновенно подзывала къ себѣ поповича и поучала его слѣдующимъ образомъ: «Ты, толоконной лобъ, ты помни, дуракъ, и чувствуй, съ кѣмъ я тебѣ позволяю играть; ты, вѣдь, воображаешь, что Михайло-то Степановичъ дьячковъ сынъ».

Матушка понадея, бывало, какъ услышитъ подобное слово, тотчасъ, не вступая въ дальнѣйшее разбирательство дѣла, поймавъ сына за бѣдные волосенки, какъ-то приправленные на маслѣ, приносимомъ для лампы Тихвинской Божіей матери,—и довольно удачно представляетъ, будто безпощадно деретъ его за волосы, приговаривая: «Ахъ, ты грубіанъ эдакой, поганый, вотъ истинно дурья порода. Простите, матушка Акулина Андреевна, изволите сами знать, какой умъ въ нашихъ дѣтяхъ, въ срамъ и заустѣннїи живутъ; а ты благодари, дуракъ, барыню, что изволить обучать», и она наклоняла его маслянную голову и сама кланялась. Миша послѣ подтрунивалъ надъ пріятелемъ, но поповичъ, съ досадой улыбаясь, говорилъ: «Вѣдь, все вретъ, мать-то, такъ для барыни въ угоду горячку порить, примѣръ дѣлаеть».

Левъ Степановичъ недолго продержалъ у себя племянника; цѣль его была достигнута, онъ его разлучилъ съ матерью и могъ распоряжаться, какъ хотѣлъ, имѣніемъ. Онъ думалъ отдать Мишу въ пансіонъ; но двоюродная тетка Льва Степановича выпросила его къ себѣ воспитывать съ своимъ сыномъ, который, говорила она, былъ одинъ и скучалъ. Льву Степановичу не очень хотѣлось, но онъ побоялся княгини и согласился. Побоялся онъ ее потому, что она сильно любила болтать и имѣла большія связи въ Петербургѣ; что она могла ему сдѣлать болтовней и связями, не знаю, да и онъ не зналъ, а трусилъ. Княгиня была богата, держала большой домъ и занималась дѣланіемъ визитовъ. При сынѣ находился французъ гувернеръ, рекомендованный самимъ Вольтеромъ Шувалову, Шуваловымъ княгинѣ Дашковой, Дашковой нашей княгинѣ. Онъ безусловно управлялъ воспитаніемъ. Гувернеръ не былъ глупый человѣкъ, какъ всѣ французы, и не умный человѣкъ, какъ всѣ французы; онъ имѣлъ всѣ забавные недостатки своей страны: лгалъ, острилъ, былъ дерзокъ и не золъ, высокобренъ и добрый малый. Онъ смотрѣлъ съ улыбкой превосходства на все русское, отроду не слыхалъ, что есть нѣмецкая литература и англійскіе поэты, зато зналъ на память Корнеля и Расина, всѣ литературные анекдоты отъ Буало до энциклопедистовъ, онъ зналъ даже древніе языки и любилъ въ рѣчи поразить цитатомъ изъ Георгикъ или изъ Фарсалы.

Само собою разумѣется, что нашъ гувернеръ былъ поклонникъ Вовенарга и Гелвеція, упивался Жанъ-Жакомъ, мечталъ о совершенномъ равенствѣ и полномъ братствѣ, что не мѣшало ему ставить передъ своей звучной фамиліей Дрейякъ смягчающее «де», на которое онъ не имѣлъ права. Онъ съ улыбкой сожалѣнія говорилъ о католицизмѣ и вообще о христіанствѣ и проповѣдывалъ какую-то религію собственнаго изобрѣтенія, состоявшую изъ поклоненія закону тяготѣнія. Безъ тяготѣнія, говорилъ онъ, морща лобъ отъ усилій,—былъ бы хаосъ и атомы разлетѣлись бы; тяготѣніе поддерживаетъ великій порядокъ, въ которомъ раскрывается великій художникъ. При развитіи этихъ глубокихъ и ясныхъ истинъ, онъ никогда не забывалъ прибавить, что поэтому Платонъ и называлъ Бога геометромъ, а Ньютонъ снималъ шляпу, когда произносилъ имя Божье. Сверхъ своей религіи тяготѣнія, которою онъ былъ совершенно доволенъ, онъ упорно не хотѣлъ суда на томъ свѣтѣ и язвительно смѣялся надъ людьми, вѣрившими въ адъ, хотя противъ безсмертія души онъ не только ничего не имѣлъ, но говорилъ, что оно крайне нужно для жизни.

Ученье съ де-Дрейякомъ шло весело и легко. Онъ могъ всегда говорить безъ различія времени, предмета, возраста и пола, а потому его ученики отлично выучивались, сначала слушать по-

французски, а потомъ говорить. Воспитаніе почти въ этомъ и состояло.

Миша сначала погрузилъ въ домъ княгини и, утирая слезы, поминалъ о Липовкѣ. Онъ очень хорошо замѣтилъ, что первая роль не ему принадлежитъ, онъ былъ «братецъ», онъ былъ «*cher cousin*», въ то время какъ князь былъ самимъ собою. Различіе это Миша равно видѣлъ и въ обращеніи княгини, и въ обращеніи гостей, и еще болѣе въ обращеніи дядьки. Старикъ безъ возраженія исполнялъ приказы князя, а Мишѣ часто говорилъ, что ему нѣкогда, что онъ можетъ послать кого-нибудь помоложе. Самолюбивый мальчикъ, глубоко оскорбленный всѣмъ этимъ, дулся, сидѣлъ въ углу, смотрѣлъ изъ-подлобья. Дрейякъ это относилъ къ дикости, другіе вовсе не замѣчали.

Видя безуспѣшность своихъ протестацій, Миша вдругъ сдѣлался шелковый, ласковъ, веселъ, привѣтливъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, онъ былъ любимецъ Дрейяка. Сама княгиня не могла надивиться, какой онъ не глупой мальчикъ, «точно можно сказать, *c'est un miracle* се qu'en a fait мой Дрейякъ, онъ совсѣмъ *sauvage* былъ, ну, и теперь эдакой *дурнушка*, а право премилой мальчикъ». Въ словѣ *дурнушка* выражалось сознаніе матери, что ея сынъ не такъ уменъ, не такъ даровитъ и она торопилась утѣшиться его красотой. Молодой князь не любилъ учиться, онъ былъ разсѣянъ и зѣвалъ за уроками; добрый, очень добрый, раскрытый всякому чувству и благородный по натурѣ, онъ былъ вялъ, и умъ его дремалъ еще безпробудно, да и не знаю, просыпался ли въ послѣдствіи когда-нибудь. Лѣнь и невниманіе князя поощрили Мишу и Миша бросился на занятія со всѣмъ усердіемъ, которое даетъ зависть и затаенное желаніе превосходства. Дрейякъ чуть не плакалъ, видя, какъ ловко Миша цитируетъ мѣста изъ Кандида, изъ дѣвы Орлеанской, изъ Жана Фаталиста...

Мало по малу воспитаніе молодыхъ людей пришло къ концу. Они писали французскія записочки правильнѣе русскихъ. При всей своей лѣни, даже князь зналъ довольно хорошо греческую мѣологію и французскую исторію, больше въ то время не требовалось; тогда у насъ еще не выдумывали своей литературы, о русскихъ журналахъ и не снилось никому, развѣ одному Новикову; русской исторіи тоже еще не было открыто. Знали только, что царствовалъ мудрый правитель Олегъ, о которомъ сама императрица изволила писать пьесу, знали еще, благодаря Вольтеру, нѣкоторыя невѣрныя подробности о царствованіи Петра I. У княгини было таки небольшое собраніе русскихъ книгъ, сочиненія Сумарокова, «Россиада» Хераскова, «Камень вѣры» Стефана Яворскаго и томовъ сорокъ записокъ вольнаго экономическаго общества, но молодые люди никогда не развѣтывали этихъ книгъ.

Княгиня свезла дѣтей въ гвардію и сама поселилась въ Петербургѣ. Служба тогда была легкая. Иарѣдка приходилось надѣть мундиръ, въ кои вѣки доставалось побывать въ караулѣ, это даже правилое какъ разнообразіе. Остальное время, кромѣ родственныхъ визитовъ, визитовъ къ важнымъ людямъ, обѣдни по воскресеньямъ въ домовоі церкви княгининаго брата и скучнаго обѣда у самой княгини, было въ полномъ распоряженіи молодыхъ людей. Князь радовался мундиру, радовался волѣ, пылко бросался на всѣ наслажденія, на всѣ удовольствія; отроду не останавливавшійся ни на чемъ и отроду ни на чемъ не останавливаемый, онъ часто обжигался, былъ обманутъ, ссорился, и при всемъ этомъ былъ славный товарищъ и лихой малый. Столыгинъ былъ скромнѣе; онъ глядѣлъ на своего товарища съ какимъ-то снисхожденіемъ, порицая внутри все, что дѣлалось. Изъ всѣхъ исторій Столыгинъ выходилъ чистымъ, такъ мастерски онъ умѣлъ себя держать. Князь любилъ его, вѣрилъ въ его дружбу, признавалъ его превосходство и съ дѣтскимъ простосердечіемъ прибѣгалъ во всякомъ трудномъ случаѣ къ Мишѣ за совѣтомъ.

Князь былъ хорошъ собою, румяный, нѣжный, отрочески мужественнаго вида, съ легкимъ пухомъ на губахъ, съ чистымъ голубымъ взглядомъ, онъ нравился особенно сангвиническимъ дѣвицамъ и молодымъ вдовамъ. Столыгинъ, бравшій не столько красотою, сколько дерзкою рѣчью, любезностью и злословіемъ, не могъ простить своему другу его высокой ростъ, его красивыя черты и старался всякой разъ затмить его остроуміемъ и колкостями.

Они занялись исключительно волокитствомъ; отъ боярскихъ палатъ до швей иностраннаго происхожденія и до отечественныхъ охтенокъ, ничего не ускользало отъ нашихъ молодыхъ людей. Къ тому же князь успѣлъ раза два проигратъ въ пухъ, надавать векселей за страстную любовь, побить какихъ-то соперниковъ, упасть изъ саней мертво пьяный, словомъ сдѣлать все, что въ тѣ счастливыя времена называлось службою въ гвардіи.

Когда Столыгинъ замѣтилъ, что, несмотря на все его краснорѣчіе, князь рѣшительно беретъ верхъ у женщинъ, онъ сталъ его подбивать ѣхать въ Парижъ. Дѣйствительно, только этого расположенія и не доставало нашимъ друзьямъ.

Сначала, какъ водится, княгиня не хотѣла пустить, потомъ сама имъ выпросила отпускъ. Надзоръ за дѣтьми снова былъ порученъ Дрейяку, успѣвшему въ антрактѣ образоватъ еще двухъ русскихъ помѣщиковъ греческою мѣологіей и французскою исторіей. Тогда еще существовали пространство и даль, не такъ, какъ теперь, мѣсяца два тащились они до Парижа.

...Улицы кипѣли народомъ, тамъ-сямъ стояли отдѣльныя группы, что-то читая, что-то слушая; крикъ и пѣсни, громкіе разговоры, грозные возгласы и движенія—все показывало ту лихорадочную возбужденность, ту удвоенную жизнь, то судорожное и страстное настроеніе, въ которомъ былъ Парижъ того времени; казалось, что у камней бился пульсъ, въ воздухѣ была примѣшана электрическая струя, наводившая душу на злобу и безпокойство, на охоту борьбы, потрясеній, страшныхъ вопросовъ и отчаянныхъ разрѣшеній, на все, чѣмъ были полны писатели XVIII вѣка. И все это выговорилось, заявилось, выказалось путникамъ, прежде нежели запыленный и тяжелый дормезъ остановился у отеля въ улицѣ Сентъ-Оноре, и двое крѣпостныхъ слугъ стали отстегивать пряжки у вожжой...

И вотъ, Михайло Степановичъ, напудренный и раздушенный, въ шитомъ кафтанѣ, съ крошечною шпажкой, съ подвязанными икрами, весь въ кружевахъ и цѣпочкахъ, острить въ Версалѣ, какъ острилъ въ Петербургѣ; онъ толкуеть о тьерсъ-эта, превозноситъ Неккера и пугаетъ смѣлостью опасныхъ мнѣній двухъ старыхъ маркизъ, которыя отъ страха хотятъ ѣхать въ Берри, въ свои имѣнія. Его замѣтили. Нѣсколько колкостей, удачно имъ сказанныхъ, повторились.

— «Знаете, что меня всего болѣе удивляетъ въ этомъ *maquis hyperboréen*, сказалъ разъ, сдавая карты, пожилой аббатъ съ сухимъ и строгимъ лицомъ, не столько умъ—умомъ насъ, слава Богу, не легко удивить—нѣтъ, меня поражаетъ его способность все понимать и ни въ чемъ не брать участія; для него жизнь, кипящая возлѣ, имѣетъ тотъ же интересъ, какъ сказанія о Сестрискѣ. Это какой-то посторонній всему».

«Скиеъ въ Аѣинахъ», замѣтилъ какой-то ученый.

— «Совсѣмъ нѣтъ, возразилъ аббатъ,—у скиеа было бы что-нибудь свое, дикое, а онъ съ виду и съ рѣчи похожъ на меня съ вами. Признаюсь вамъ, я могъ бы ненавидѣть такого чловѣка, если-бъ я не жалѣлъ его. Это болѣзненное произведеніе образованія, привитаго къ корню, не нуждавшемуся въ немъ. Будьте увѣрены, что у него нѣтъ будущности».

«Помилуйте, изъ него выйдетъ отличный дипломатъ, онъ даже лицомъ похожъ на Кауница».

«Въ самомъ дѣлѣ похожъ», подхватила пожилая дама, старавшаяся скрыть свои годы,— и гиперборейской маркизъ былъ забытъ.

Пока Столыгинъ занималъ собою гостинныя, князь успѣлъ отбить маленькую актрису у сына какого-то посла, подратъся съ нимъ на шпагахъ, обезоружить его, простить и въ тотъ же вечеръ ему спустить пятьсотъ червонцевъ. Но маленькая актриса была очень мила и очень благодарна своему рыцарю.

Путешествіе князя и Столыгина окончилось прежде, нежели они предполагали, виною этого былъ Дрейякъ. Де-Дрейякъ, котораго прислуга въ трактирѣ звала мсье ле-Шевалье, одобрительно и не безъ заднихъ мыслей улыбался «успѣхамъ челоуѣчества и торжеству разума надъ предрасудками»; но онъ, какъ всѣ благоразумные люди, больше успѣха любилъ безопасность и больше торжества ума и разума—покой. А тутъ вышелъ вотъ какой случай. Погода разъ была чудесная, Дрейякъ пошелъ гулять утромъ; но только что онъ вышелъ на бульваръ, какъ услышалъ за собой какой-то нестройный гулъ; онъ остановился и, сдѣлавъ изъ руки зонтикъ отъ свѣта, началъ всматриваться; сначала онъ увидѣлъ облако пыли, блескъ пикъ, ружей, наконецъ вырѣзалась нестройная, пестрая масса людей. Прежде, нежели Дрейякъ что-нибудь понялъ, высокій плечистый мужчина безъ сюртука, съ засученными рукавами, съ тяжелымъ желѣзнымъ ломомъ, повязанный краснымъ платкомъ, поровнявшись съ нимъ, спросилъ его громовымъ голосомъ: «Ты съ нами?» Дрейякъ, блѣдный и ужъ нѣсколько нездоровый, не могъ сообразить, какое можетъ имѣть послѣдствіе отказъ и потому медлилъ съ отвѣтомъ; но новый знакомецъ былъ нетерпѣливъ, онъ взялъ нашего шевалье за шиворотъ и, сообщивъ его тѣлу движеніе, весьма непріятное, повторилъ вопросъ. Дрейякъ, вмѣсто отвѣта, уронилъ трость; учтивая дама, почтеннаго размѣра, съ сѣдыми космами, торчавшими изъ-подъ чепчика, подняла ее и, показывая болѣе и болѣе густѣвшей массѣ народа, замѣтила:

«Да это акапаристъ, аристократъ, посмотрите, какой набалдашникъ, золотой и съ рѣзбою, что вы толкуете съ нимъ, на фонарь его!»

— «На фонарь», сказали нѣсколько голосовъ спокойнымъ, подтверждающимъ тономъ, исполненнымъ наивнаго убѣжденія, что дѣйствительно его необходимо повѣсить на фонарь, что это просто аксіома. Челоуѣка три выступили было съ очень враждебнымъ намѣреніемъ, дѣло остановилось за веревкой. Мальчикъ лѣтъ двѣнадцати обѣщался тотчасъ принести. Дрейякъ воспользовался этимъ временемъ, чтобы сказать:

— Помилуйте, что вы? съ молодыхъ лѣтъ я питался писаніями нашихъ великихъ писателей и примѣрами римской и спартанской республики.

— «Хорошо, очень хорошо», закричали нѣсколько челоуѣкъ, слышавшихъ только слово «республика».

— Я съ вами, продолжалъ ободренный ораторъ,—я принадлежу народу, я изъ народа, какъ же мнѣ не быть съ вами? И остановившаяся кучка двинулась впередъ грозно и мрачно, принимая новыя толпы изъ всѣхъ переулковъ и улицъ и бра-

таясь съ ними. Долго спустя раздавался еще на бульварѣ ревъ, похожій на морскія волны, гонимыя вѣтромъ въ скалистый берегъ, ревъ, иногда утихавшій и вдругъ раздававшійся торжественно и страшно.

Дрейяку удалось завернуть, подъ самымъ суетнымъ предложомъ, въ переулочъ, вылучивъ счастливую минуту, когда все вниманіе его сосѣдей обратилось на аббата, котораго толкали впередъ три торговки; онъ далъ оттуда стрелка и пришелъ домой полумертвый, съ потухшими глазами и съ изорваннымъ кафтаномъ. Дома онъ легъ въ постель, велѣлъ налить какой-то тизаны и въ первый разъ признался, что дорого бы далъ, если бы былъ на варварскихъ, но покойныхъ берегахъ Невы. Тизана помогла ему, онъ началъ приходить въ себя и собирался было прочесть въ Титѣ Ливіи о народномъ возмущеніи противъ Тарквинія старшаго, какъ вдругъ раздался ружейный залпъ, прогремѣла пушка, еще разъ, и еще,—а тамъ выстрѣлы въ разбивку; временами слышался барабанъ и дальній гулъ, и гулъ, и барабаны, и выстрѣлы, казалось, приближались. По улицѣ бѣжали блузники, работники съ крикомъ: «а ла Бастиль, а ла Бастиль!» Передъ окнами остановили офицера изъ Royal Allemand, стащили съ лошади и повели. «О, Боже мой, Боже мой, пощади насъ и помилуй», бормоталъ Дрейякъ, измѣняя закону тяготѣнія и забывая, что Платонъ Бога называлъ «великимъ геометромъ». Тутъ онъ вспомнилъ, что прислуга его называетъ шевалье, и это проклятое «де» передъ фамильей. «Всѣ люди, говорилъ онъ гарсону, который вошелъ, чтобы вынести чайникъ, равны,—всѣ люди братья и могутъ отличатся только гражданскими добродѣтелями, любовью къ народу и къ неотъемлемымъ правамъ человѣка».

Михайлъ Степановичъ ходилъ смотрѣть взятіе Бастиліи; Дрейякъ былъ увѣренъ, не видя его вечеромъ, что онъ убитъ и уже начиналъ утѣшаться тѣмъ, что нашелъ славную турнюру, какъ извѣстить объ этомъ княгиню, когда явился Столыгинъ, помирая со смѣху при мысли, какъ его версальскіе пріятели обрадуются новости о взятіи Бастиліи.

Дрейякъ объявилъ, что дольше въ Парижѣ не останется и, несмотря на всѣ споры и просьбы, опираясь на полномочіе княгини, отстоялъ свое мнѣніе съ тѣмъ мужествомъ, которое можетъ дать одинъ сильный страхъ; дѣлать было нечего, дѣти воротились. И маленькая французенка очутилась какъ-то въ то же время на Литейной и сильно хлопотала объ отдѣлкѣ своей квартиры и топала ножкой съ досады, что лакей Кузьма ничего не понимаетъ, что она говорить.

Разъ вечеромъ князь засталъ Михайла Степановича въ слишкомъ огненномъ разговорѣ съ Mademoiselle Nina. Князь былъ не

въ духѣ, разсердился и обошелся колко, сухо съ Столыгинымъ. Столыгинъ и уступилъ бы, да на бѣду онъ взглянулъ на плутовскіе глазки маленькой француженки, — глазки помирали со смѣху и, шурясь, какъ будто говорили: «какая-жъ ты дрянъ». Взглядъ этотъ подзадорилъ его. Ссора разгорѣлась. Князь, не помня себя, выбросилъ Столыгина за дверь и разругалъ его такъ, что на этотъ разъ маленькая Нина ничего не поняла, а Кузьма все понялъ.

Они дрались. Дуэль кончилась почти ничѣмъ. Столыгинъ ранилъ князя въ щеку. Это подражаніе цезаревымъ солдатамъ въ фарсальской битвѣ врядъ было ли случайно, зато оно и не прошло ему даромъ; раны на щекѣ невозможно было скрыть. Княгиня узнала черезъ людей о дуэли и приказала Столыгину оставить ея домъ.

Такимъ образомъ, лѣтъ двадцати восьми отроду, Столыгинъ очутился впервые на собственныхъ ногахъ.

Привычный къ роскоши княгинина дома, онъ такъ испугался своей бѣдности, хотя онъ очень прилично могъ жить своими доходами, что сдѣлался отвратительнѣйшимъ скрягой. Онъ дни и ночи проводилъ въ придумываніи, какъ бы разбогатѣть. Одна надежда у него и была на смерть дяди, но старикъ былъ здоровъ, почеркъ его писемъ былъ оскорбительно твердъ.

Онъ было принялся хозяйничать, дядя вручилъ ему бразды правленія послѣ его выѣзда изъ дома княгини, но какъ-то неловко, — и зналъ-то онъ плохо сельское дѣло, и время терялъ на мелочи. Но человѣкъ этотъ, какъ говорятъ, родился въ рубашкѣ. Къ нему повадился ходить какой-то отставной морской офицеръ, основываясь на томъ, что онъ служилъ вмѣстѣ съ его вотчимомъ въ Севастополѣ и зналъ его родительницу. Морякъ имѣлъ процессъ и зналъ, что черезъ связи Столыгина можетъ его выиграть. Столыгинъ обѣщалъ ему, чтобъ отдѣлаться отъ него, поговорить съ тѣмъ и съ другимъ, и, разумѣется, не говорилъ ни съ кѣмъ. Но морякъ привыкъ выжидать погоды, онъ всякой день сталъ ходить къ Столыгину. Ему отказывали, — онъ возвращался; его не пускали, — онъ прогуливался около дома и ловилъ Столыгина на улицѣ. Наконецъ, Михайло Степановичъ, выведенный изъ терпѣнія, исполнилъ его просьбу. Офицеръ былъ безмѣрно счастливъ.

«Чѣмъ вы намѣрены заниматься?» — спросилъ его Столыгинъ, перебивая длинное и скучное изъясненіе флотской благодарности.

— «Искать частной службы, по части управленія имѣніемъ», отвѣчалъ морякъ. Михайлъ Степановичъ посмотрѣлъ на него и почти покраснѣлъ отъ мысли, какъ онъ до сихъ поръ не поду-

маль употребить его на дѣло. Дѣйствительно, человѣкъ этотъ былъ для него кладъ.

Морякъ, какъ нарочно, отчасти уцѣлѣлъ для благосостоянія хозяйства Столыгина; онъ леталъ на воздухъ при взрывѣ какого-то судна подъ Чесмой, онъ былъ весь израненъ, поломанъ и память; но, несмотря на пристегнутый рукавъ вмѣсто лѣвой руки, на отсутствіе уха и на подвязанную челюсть, эта хирургическая рѣдкость сохранила неутомимую дѣятельность, непрерывно разлитую желчь и сморщившееся отъ худобы и злобы лицо. Онъ былъ исполнительенъ и честенъ, онъ никого бы не обманулъ, тѣмъ болѣе человѣка, которому былъ обязанъ важной услугой: но многимъ именно эта честность и эта исполнительность показались бы хуже всякаго плутовства.

Михайль Степановичъ предложилъ ему ѣхать осмотрѣть его имѣніе. Морякъ отправился.

V.

Наслѣдникъ.

Столыгинъ ждалъ моряка съ часу на часъ со всѣми его проектами и планами, когда вмѣсто его пришло краснорѣчивое письмо Тита. Онъ немедленно поскакалъ въ Москву. Въ Москвѣ его ожидала новая радость, которой онъ не могъ и предполагать. Титъ Трофимовъ и староста, пріѣхавшіе поклониться новому барину, извѣстили его о смерти Марѣи Петровны.

— А что, есть завѣщаніе? спросилъ съ нѣкоторымъ безпокойствомъ Михайль Степановичъ.

— «Покойная тетушка письмо только изволила вашей милости оставить», отвѣчалъ Титъ, вынимая бумажникъ.

— Ты бы съ этого и началъ, болванъ, замѣтилъ Столыгинъ, поспѣшно вырывая изъ рукъ Тита письмо.

Лицо его просвѣтлѣло при чтеніи, онъ видѣлъ ясно, что смерть такимъ сюрпризомъ подкосила стариковъ, что они не успѣли сдѣлать «никакихъ глухихъ распоряженій».

— Кто при домѣ въ деревнѣ остался? За коимъ чортомъ вы оба пріѣхали? спросилъ Михайль Степановичъ.

— «Агафья Петровна, ключница, батюшка, и покойной тетушки дядюшка маіоръ съ супругой».

— Они-то первые и растащутъ все. Да гдѣ же бумаги?

— «Въ кабинетъ покойнаго барина, дверь вотчинной печатью запечатана и десятской приставленъ въ калидорѣ».

— Я завтра собираюсь въ Липовку, будьте готовы.

— «Милости просимъ, батюшка, отвѣчалъ, низко кланяясь, староста.—Лошади дожидаются, моихъ тройка на *вашемъ* дворѣ, да крестьянскихъ еще двѣ придуть подъ вечеръ въ Рогожскую».

— Хорошо, ступай. А ты, эй! Тить! Сейчасъ съ Ильей Антипычемъ (такъ назывались остатки морского офицера, задержанные въ Москвѣ вѣстью о кончинѣ Льва Степановича) въ домъ все по описи прими, слышишь?

— «Слушаю, батюшка», отвѣчалъ Тить густымъ голосомъ.

На другой день баринъ и первый министръ его отправились въ подмосковную. На границѣ Липовской земли ждали Михайла Степановича дворовые люди и депутація отъ крестьянъ съ хлѣбомъ и солью. Староста и Тить Трофимовъ, ѣхавшіе впереди въ телѣгѣ, остановили дормезъ и доложили Михайлу Степановичу, что этотъ большой камень и эта большая яма означаютъ границу его владѣній. Онъ вышелъ изъ кареты; подданные повалились въ ноги, старикъ, сѣдой какъ лунь, съ длинной бородой и съ лицомъ буанаротіевскихъ статуй, поднесъ хлѣбъ и соль. Михайло Степановичъ указалъ Титу, чтобы онъ принялъ хлѣбъ, и дребезжащимъ голосомъ сказалъ крестьянамъ, что благодарить ихъ за хлѣбъ, за соль, но надѣется, что они усердіе свое докажутъ на дѣлѣ.

— А что, на оброчныхъ есть недоимка?

— «Есть невеликое, батюшка, дѣло», отвѣчалъ староста.

— А ты чего смотрѣлъ, у меня чтобы слово недоимка не было извѣстно. Слышишь! Какой оброкъ платять, неслыханное дѣло, дядюшка такъ попустилъ отъ старости. Я чай вамъ, православные, передъ сосѣдями совѣстно такъ мало платить.

«Они легко могутъ платить еще по десяти рублей съ тягла», замѣтилъ морякъ.

— Еще бы, подмосковные мужики. Видите, что люди говорятъ.

— «Какъ вашей милости взгодно будетъ, какъ изволите, батюшка, установить, наше крестьянское дѣло сполнять», сказалъ буанаротьевской старикъ и мужики снова поклонились въ землю, благодаря за доброе намѣреніе лишить ихъ стыда такъ мало платить.

— Объ этомъ я поговорю завтра. Собери утромъ на барской дворъ стариковъ.

— Это что за рожи? продолжалъ помѣщикъ, обращая привѣтствіе къ дворовымъ. Откуда это покойникъ набралъ ихъ, одинъ Тить на человѣка похожъ. Кто это въ засаленомъ нанковомъ сюртукѣ, на-право-то?

— «Земской Василій Никитинъ, отвѣчалъ староста—то есть онъ, батюшка, по ревизіи записанъ Львомъ, да покойный дядюшка, взявши во дворъ, изволили Васильемъ назвать».

— Сюда отъ него виномъ пахнетъ. Дорогу къ кабаку вы не будете у меня знать.

Послѣ этой рѣчи онъ быстрыми шагами пошелъ по дорогѣ съ морякомъ, который шелъ возлѣ безъ фуражки. Староста и Тить плелись, нѣсколько отступя и не глядя другъ на друга, а за ними дворовые, крестьяне, дормезъ и телѣга. Никто почти ничего не говорилъ, на сердцѣ у всѣхъ было тяжело, неловко. Когда они шли по селу, дряхлые старики, старухи выходили изъ избъ и земно кланялись, дѣти съ крикомъ и плачемъ прятались за ворота, молодыя бабы съ ужасомъ выглядывали въ окна. Одна собака какая-то, смѣлая и даже разсерженная процессіей, выбѣжала съ лаемъ на дорогу, но Тить и староста бросились на нее съ такимъ остервененіемъ, что она, поджавши хвостъ, пустилась во весь опоръ и успокоилась, только забившись подъ крышу послѣдняго овина. Такъ достигли господскаго дома. Тутъ дожидались священникъ съ женою и съ сотами отъ пчелокъ своихъ, тощій, плѣшивой діаконъ и причетники съ волосами, которыхъ расчесать не было возможности. Слѣпой маіоръ и молдаванка, повязанная бѣлымъ платкомъ и закутанная въ черную шаль покойной благодѣтельницацы, встрѣтили въ сѣняхъ новаго обладателя Липовки.

Михайло Степановичъ учтиво обошелся со всѣми, но всѣмъ какъ-то стало жаль Льва Степановича больше, нежели прежде. Онъ попросилъ священника отслужить молебенъ съ водоосвященіемъ и потомъ панихиду о покойникѣ; освѣдомился, говѣютъ ли крестьяне, и отправился въ запечатанный кабинетъ, сопровождаемый морякомъ. Онъ нашелъ все въ порядкѣ и деньги и ломбардные билеты. Говорятъ, что онъ нашелъ еще записку, въ которой дядюшка изъявлялъ желаніе отпустить на волю дворовыхъ, но онъ, справедливо замѣтивъ моряку, что, стало-быть, дядя раздумалъ, если самъ не написалъ отпускныхъ, и что въ такомъ случаѣ отпустить ихъ было бы противно желанію покойника,—сжегъ эту записку на свѣчѣ.

На другой день Михайло Степановичъ возвѣстилъ маіору и его супругѣ, что, свято исполняя волю покойной тетушки, поручившей ему не оставить ихъ, онъ имъ жалуетъ двѣ тысячи рублей. При чемъ онъ вручилъ билетъ (по которому проценты были взяты). Потомъ онъ имъ объявилъ, что, сколько не желалъ бы, но не можетъ по разнымъ соображеніямъ оставить за ними комнаты и совѣтуетъ имъ переѣхать въ Москву. «Кириллѣ Васильевичу часто можетъ быть, прибавилъ онъ, нужна въ докторѣ, ему непремѣнно надобно жить въ городѣ». Молдаванка хотѣла было просить Михайла Степановича позволить имъ остаться, хоть въ людской избѣ, но встрѣтивъ холодные глаза его съ рыжева-

тыми рѣсницами, она не смѣла вымолвить ни слова и пошла укладывать свои пожитки.

Осмотрѣвши прочія имѣнія и повелѣвъ безпрекословно слушать во всемъ моряка, онъ уѣхалъ въ Петербургъ, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отправился снова за границу. Гдѣ онъ былъ, что дѣлалъ въ продолженіи цѣлыхъ четырехъ лѣтъ? Трудно сказать. И что собственно его привязывало къ заграничной жизни?..

Когда онъ воротился въ Москву, морякъ подалъ ему отчеты. Другіе проживаются въ путешествіи, Михайло Степановичъ нашелъ во всемъ приращеніе, безъ всякаго труда, безъ всякихъ пожертвованій почти; онъ чрезвычайно мало давалъ моряку. Даже теперь, воротившись изъ путешествія, онъ отдѣлался золотыми нортоновскими часами, которые купилъ по случаю и о которыхъ рассказывалъ моряку, чтобъ поднять ихъ цѣну, что они принадлежали адмиралу Элфингстону.

Одинъ одиухонекъ жилъ Михайло Степановичъ въ огромномъ и запустѣломъ домѣ на Яузѣ. Что-то страшно угрюмое было въ его существованіи. Онъ ни съ кѣмъ не знался, рѣдко выѣзжалъ, ничего не дѣлалъ, былъ скупъ до отвратительности и скрытно, прозаически, дешево развратенъ. Каждую недѣлю пріѣзжалъ изъ Липовки морякъ и Столыгинъ оставлялъ его дня на два, подъ предлогомъ разныхъ дѣлъ, а въ сущности изъ потребности живого человѣка. Дворню свою онъ страшно тѣснилъ. У него въ воображеніи все носился домъ княгини и онъ хотѣлъ достигнуть чего-то подобнаго, не тратя денегъ; задача была невозможная, на всякомъ шагу онъ видѣлъ, что ему не удастся, бѣсился и вымещалъ это на, слугахъ. При всей своей скупости онъ серьезно имѣніемъ не занимался, иногда только, безъ всякой нужды, онъ врывался въ управленіе моряка, распространялъ ужасъ и трепетъ, брилъ лбы, наказывалъ, бралъ во дворъ, обременялъ совершенно ненужными работами—тамъ дорогу велить проложить, тутъ сарай перенести съ мѣста на мѣсто... Показавши такимъ образомъ свою власть, онъ снова предоставлялъ моряку управленіе крестьянами.

Сверхъ моряка, являлся къ Столыгину раза два въ недѣлю высокій, подслѣпый мѣняла въ безконечномъ сюртукѣ; моргая глазами и пошевеливая плечомъ, онъ называлъ всѣ камни и всѣ вещи наизнанку, что вовсе ему не мѣшало быть тонкимъ знаткомъ. Черезъ него Михайло Степановичъ помѣщалъ свои деньги, за баснословные проценты. Мѣняла, не удовлетворяясь куртажемъ за безносыхъ адонисовъ, за новые антики и старыя картины,—занимался въ свободное время пріятною должностью сводчика. Михайлѣ Степановичу не хотѣлось выступать ростовщикомъ, да не хотѣлось тоже и капиталъ оставлять на одни несча-

стные пять процентовъ, которые тогда платилъ ломбардъ, такъ онъ и прибѣгалъ къ услугамъ мѣнялы. Несмотря на всѣ предосторожности его, мѣняла все-таки надулъ Столыгина. Завелся процессъ. Ни одинъ сенатскій секретарь, ни одинъ герой, посѣдѣвшій въ чернилахъ, вскормленный на справкахъ и сандаракѣ, не догадался бы никогда, чѣмъ окончится этотъ процессъ.

Хожденіе по дѣлу было поручено Столыгинимъ знаменитому тогда въ Москвѣ стряпчему, отставному статскому совѣтнику Валерьяну Андреевичу Трегубскому. У стряпчаго была дочь, скромная, запуганная отцемъ, дикая отъ одиночества и очень не дурная собою. Михайлѣ Степановичу она приглянулась, онъ любилъ эти скромныя волокитства, не вовлекавшія въ большія траты. Молодая дѣвушка, совершенно неопытная и подбиваемая непрерывно кухаркой, шла, сама не зная какъ, прямо на свою гибель. Кухарка статскаго совѣтника, помогавшая Столыгину за бѣленькую бумажку и за золотыя серьги, которыя онъ обѣщаль, но все не приносилъ, вдругъ испугалась могущихъ быть изъ этой связи послѣдствій и разъ вечеромъ, немного напившись, все рассказала отцу, разумѣется, кромѣ собственнаго участія. Старикъ разомъ убѣдился въ справедливости доноса и въ томъ, что предупредить поздно, но поправить самое время.

Сказать по правдѣ, новость эта больше обрадовала его, нежели опечалила; тѣмъ не менѣе онъ съ свирѣпостью напалъ на дочь, разбилъ ее, оттаскалъ по обычаю праотцевъ за косу, заперъ въ чуланъ, словомъ, сдѣлалъ все, что требовала оскорбленная любовь родителя. Исполнивъ эту тяжелую, хотя и святую обязанность, онъ снова сдѣлался, чѣмъ былъ,—стряпчимъ, и принялся дѣлать повальный обыскъ въ комнатѣ дочери. Нашелъ онъ и записочки, и вещицы разныя, все пересмотрѣлъ внимательно, все перечиталъ раза два, три. Прочтенное явнымъ образомъ доставляло ему удовольствіе. Онъ взялъ письмо къ себѣ, принялся самъ писать, писалъ долго, подгибая третій палецъ подъ перо и наклоня правый глазъ къ самой бумагѣ. И перемарывалъ онъ, и перечитывалъ, и прибавлялъ, и сокращалъ, наконецъ, удовлетворенный редакціей, онъ раза два до кашля понюхалъ табуку и принялся переписывать набѣло. Переписавши, онъ взялъ свѣчу и отправился къ дочери.

Бѣдная дѣвушка, оскорбленная, униженная, пристыженная, заплаканная сидѣла въ углу. Старикъ на все на это считалъ какъ нельзя лучше.

— «Убила, говорилъ онъ ей, убила старика отца, сѣдины покрыла позоромъ»,

Дѣвушка стояла ни живая, ни мертвая и шептала блѣдными губами: «Простите, простите».

— «Поди сюда, закричалъ отецъ, возьми перо, пиши, тутъ— ну же».

«Батюшка!»

— «Да ты еще не слушаться, опозорила отца, да и изъ повиновенія вышла, тебѣ говорить, пиши», и онъ диктовалъ: «дочь статскаго совѣтника Марья Валерьяновна Трегубская».

Дѣвушка писала въ лихорадкѣ, въ безуміи; когда отецъ взялъ у нее перо, руки ея опустились, она упала на колѣни передъ пустымъ стуломъ и прижала къ нему голову. Почтенный старецъ вышелъ, не говоря ни слова. Онъ думалъ, что ему больше придется ломаться. Онъ былъ даже нѣсколько сконфуженъ легкой побѣдой.

На другой день Столыгинъ получилъ отъ статскаго совѣтника длинное письмо. Онъ сообщалъ ему, что вѣсть о томъ, что Михайло Степановичъ, опутавъ коварными обѣщаніями, повергъ его дочь въ гибель несчастія и лишилъ его послѣдней опоры и послѣдняго утѣшенія, поразила его въ самое сердце; что онъ находитъ, наконецъ, положеніе жертвы его соблазна сомнительнымъ. А потому полагаетъ, что онъ навѣрно свой поступокъ покроетъ Божиимъ благословеніемъ черезъ бракъ, которымъ возвратитъ ей честь, а себѣ спокойствіе совѣсти, которое превыше всѣхъ благъ земныхъ. Буде же (чего Боже сохрани) Михайлѣ Степановичу это не угодно, то онъ съ прискорбіемъ долженъ будетъ сему дѣлу дать гласность и просить защиты у недремлющаго закона и у высокихъ особъ, Богомъ и монархомъ поставленныхъ невиннымъ въ защиту и сильнымъ въ обузданіе. Въ подкрѣпленіе же просьбы, сверхъ свидѣтельства домашнихъ, онъ съ душевнымъ прискорбіемъ приведетъ разные документы, собственно Михайла Степановича рукою писанные. Въ заключеніи, оскорбленный отецъ счелъ нужнымъ присовокупить, что преступная дочь его есть съ тѣмъ вмѣстѣ его единственная наслѣдница, какъ дома, что въ Хамовнической части, въ третьемъ кварталѣ, за № 99, такъ и капитала, имѣющаго ей достаться, когда Господу Богу угодно будетъ прекратить грѣшные дни его.

Михайло Степановичъ задохнулся отъ гнѣва и отъ страха; онъ очень хорошо зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, ему представились траты, мировыя сдѣлки, грѣхъ пополамъ. О бракѣ онъ и не думалъ, онъ считалъ его невозможнымъ. Въ своемъ отвѣтѣ онъ просилъ старика не вѣрить клеветамъ, увѣрялъ, что онъ ихъ разсѣетъ, говорилъ, что это козни его враговъ, завидующихъ его спокойной и безмятежной жизни, и главное уговаривалъ его не торопиться въ дѣлѣ, отъ котораго зависитъ честь его дочери.

Валеріанъ Андреевичъ не даромъ лѣтъ сорокъ былъ стряпчимъ; онъ видѣлъ, что Столыгинъ выигрываетъ время, что, слѣд-

ственно, ему его терять не слѣдуетъ. Между разными дѣлами, ввѣренными его хожденію, былъ у него на рукахъ длинный, запутанный процессъ о горныхъ заводахъ одного графа, находившагося въ большой силѣ. Трегубской отправился къ нему и вдругъ, докладывая ему о теченіи дѣла, подобралъ нижнюю губу, опустилъ щеки, сдѣлалъ пресмѣшной видъ и началъ капать слезами. Графъ удивился, встревожился, сталъ спрашивать; старикъ просилъ прощенія, извинялся своимъ нѣжнымъ сердцемъ и безмѣрнымъ горемъ, наконецъ, рассказалъ всю исторію, показалъ письма Столыгина и просьбы дочери. Графъ, забывая вовсе ненужныя въ то время воспоминанія собственныхъ продѣлокъ, принялъ сердечное участіе въ горѣ несчастнаго старца и сказалъ ему, отпуская его: «Будь покоенъ, негодяю этому даромъ это не пройдетъ. Оставь письмо дочери у меня. Да кстати, апелляціонную записку по моему дѣлу окончи поскорѣе». Старикъ успокоился.

Черезъ нѣсколько дней предводитель дворянства пригласилъ къ себѣ Михайла Степановича по «экстренному и конфиденціальному дѣлу». Освѣдомившись о состояніи его здоровья и объ урожаѣ озимыхъ хлѣбовъ, предводитель спросилъ его, какъ онъ намѣренъ окончить неосторожный пассажъ свой съ дѣвицей Трегубской, присовокупляя, что ему велѣно посовѣтовать Михайлѣ Степановичу кончить это дѣло, какъ слѣдуетъ дворянину и христіанину. Столыгинъ пустился въ рядъ объясненій. Предводитель выслушалъ ихъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ и замѣтилъ, что все это совершенно справедливо, но что онъ тѣмъ не менѣе увѣренъ, что Михайло Степановичъ оправдаетъ довѣріе высокыхъ особъ и поступитъ, какъ христіанинъ и дворянинъ; что, впрочемъ, онъ его проситъ дать себѣ трудъ прочесть письмо, полученное имъ по поводу этой непріятной исторіи.

Михайло Степановичъ прочелъ письмо и положилъ его на столъ, молча и съ измѣнившимся лицомъ.

«Не угодно ли вамъ будетъ теперь, спросилъ его предводитель, подписать вотъ эту бумажку?» Столыгинъ взялъ перо. «Позвольте—позвольте, съ жаромъ замѣтилъ предводитель, вѣжливо вырывая изъ его руки перо, это перо не хорошо, вотъ это гораздо лучше». Столыгинъ взялъ лучшее перо и нѣсколько дрожащей рукой подписалъ. Думать надобно, что первая бумага была очень краснорѣчива и вполне убѣждала въ необходимости подписать вторую. Предводитель, прощаясь, сказалъ Столыгину, что онъ искренно и сердечно радъ, что дѣло кончилось келейно и что онъ такъ прекрасно, какъ истинный патріотъ и настоящій христіанинъ, рѣшился поправить поступокъ или лучше пассажъ.

Черезъ недѣлю Михайло Степановичъ былъ женатъ. Несмотря на то, что Москва классическая страна бракосочетаній, но

я увѣренъ, что со времени знаменитаго кутежа, по поводу котораго въ лѣтописяхъ въ первый разъ упоминается имя Москвы, и до нашихъ дней, не было человѣка, менѣе расположеннаго и менѣе годнаго къ семейной жизни, какъ Столыгинъ. Благодарственное начальство исправило эти недостатки отеческимъ вмѣшательствомъ своимъ.

Трудно себѣ представить хуже, нелѣпѣе и неловче положенія бѣдной новобрачной. Перейдя, по распоряженію высшаго правительства, изъ затворничества, въ которомъ ее держалъ старый писарь, въ чужой домъ, въ которомъ не было въ ней нужды, въ которомъ ничего не пережилось отъ ея появленія,—положеніе ея собственно ухудшилось. Столыгинъ ее держалъ не какъ жену, а какъ крѣпостную фаворитку. У ней не было ни одной знакомой, Столыгинъ запретилъ ей принимать какихъ-то родственницъ, раза два являвшихся изъ-за Москвы рѣки позавидовать ея счастью; она сама не хотѣла дѣлать досуги съ племянницей моряка, которую Столыгинъ хотѣлъ ввести по части супружеской тайной полиціи. Она никуда не выѣзжала, иногда только Михайло Степановичъ предлагалъ женѣ проѣхать въ каретѣ одной, и тутъ кучеру и лакею давалась инструкція, какими улицами ѣхать.

Нѣсколько лѣтъ оставалась она потерянной, оскорбляемой и безгласной. Существо доброе, готовое любить, готовое на всякую преданность, она отдавалась молча своей судьбѣ и, вспоминая страданія, выносимыя отъ отца, она думала, что такъ и надобно, что такое положеніе женщины на свѣтѣ.

Первый утѣшитель, явившійся ей, былъ малютка Анатолий, родившійся черезъ годъ послѣ ея свадьбы; впоследствии онъ же и развилъ, и воспиталъ, и освободилъ ее.

Рожденіе сына на нѣсколько степеней поправило положеніе Марьи Валеріановны. Столыгинъ былъ доволенъ сходствомъ. Онъ до того расходился въ первыя минуты радости, что съ благоклонной улыбкой спросилъ Тита: «Ты видѣлъ маленькаго?» и когда Титъ отвѣчалъ, что не сподобился еще этого счастья, онъ велѣлъ кормилицѣ показать Анатоля Михайловича Титу. Титъ подошелъ къ ножкѣ новорожденнаго и со слезами умиленія три раза повторилъ: «Настоящій папенька, вылитой папенька, папенькинъ портретъ».

Михайло Степановичъ, очень довольный, тутъ же отдалъ приказъ, чтобы люди вставали, когда проходитъ кормилица съ маленькимъ бариномъ; а кормилицѣ, напротивъ, разрѣшилъ сидѣть даже въ своемъ присутствіи, чего, впрочемъ, она никогда не дѣлала, повинуваясь инструкціямъ моряка. Кормилица была изъ Липовки. За двѣ недѣли до родовъ Марьи Валеріановны, приказалъ

Столыгинъ моряку выслать для выбора двухъ, трехъ здоровыхъ, красивыхъ и недавно родившихъ бабъ съ ихъ дѣтьми. Морякъ выслалъ шесть, и мѣра эта оказалась вовсе неизлишней; отъ сильнаго мороза и слабыхъ тулуповъ, двѣ лучшія кормилицы, отправленные на пятой день послѣ родовъ, простудились и такъ основательно, что потомъ сколько ихъ старуха птичница ни окуривала калганомъ и сабуромъ, все-таки водяная сдѣлалась; у третьей на дорогѣ съ ребенкомъ родимчикъ приключился, вѣроятно отъ дурного глаза и, несмотря на чистый воздухъ и прочія удобства зимняго пути, въ пошевняхъ онъ умеръ, не доѣзжая Реполовки, гдѣ обыкновенно липовскіе останавливались. Такъ какъ у матери отъ этого молоко поднялось въ голову, то она и оказалась неспособною кормить грудью. Остались три для выбора, согласно желанію Михайла Степановича. Изъ нихъ онъ самъ съ повивальной бабкой избрали женщину, дѣйствительно замѣчательную. Будучи третій годъ замужемъ, она еще не утратила ни красоты, ни здоровья и была то, что называется кровь съ молокомъ, со сливками даже, можно сказать. На организмъ, который не только безнаказанно, но такъ торжественно вынесъ бѣдность, работу, отца, мать, жнитво, мужа, двухъ снохъ, старосту, свекровь и барщину, можно было слѣпо положиться. Кормилица на барскомъ дворѣ въ два мѣсяца сдѣлалась вдвое толще и румянѣе. Такъ что свекровь, приходившая иногда изъ деревни, не могла безъ ненависти видѣть ее, и всякой разъ бормотала, выходя изъ воротъ: «Вишь раздѣлась на барскихъ чаяхъ какая. Дай срокъ, воротисья домой, спустимъ жиръ... Погоди». Говорятъ, что простодушная старушка добросовѣстно сдержала обѣщаніе.

Для дворни малютка сдѣлался новымъ источникомъ гоненій и несчастій. Стукъ во время его сна, сквозной вѣтеръ, отворенная дверь,—все это выводило изъ себя Столыгина. Что вынесла бѣдная няня, та самая Настасья, которая послужила невольной причиной смерти Льва Степановича, мудроно себѣ представить. Кормилицѣ дозволялось иногда спать, Настасья должна была день и ночь быть на лицо. Она раздѣвалась разъ только въ недѣлю—въ банѣ. Настасьѣ было приказано, чтобы лѣтомъ въ дѣтской не было мухъ; она отвѣчала за крикъ ребенка, за то, что онъ падалъ, начиная ходить, за насморкъ, который дѣлался отъ прорѣзыванія зубовъ... И подите, изслѣдуйте тайны сердца человѣческаго,—Настасья любила до безумія ребенка, существованіемъ котораго отравлялась вся жизнь ея, за котораго она вынесла сколько нравственныхъ страданій, столько и физической боли. Марья Валеріановна, сколько могла, вознаграждала ее и лаской, и подарками, но сама чувствовала, какую бѣдную замѣну она ей

даетъ за лишенія всякаго покоя, за вѣчный страхъ, вѣчную брань и вѣчное преслѣдованіе.

Пока ребенокъ былъ звѣркомъ, баловству со стороны Михайла Степановича не было конца; но когда у Анатоля начала развиваться воля, любовь отца стала превращаться въ гоненіе. Болѣзненный эгоизмъ Столыгина, раздражительная капризность и избалованность его не могли выносить присутствія чего бы то ни было свободнаго; онъ даже собаченку, не знаю, какъ попавшуюся ему, до того испортилъ, что она ходила при немъ, повѣся хвостъ и опустя голову, какъ чумная.

Марья Валеріановна, до тѣхъ поръ кроткая и самоотверженная, явилась женщиной съ характеромъ и съ волей непреклонной. Она не только рѣшилась защитить ребенка отъ очевидной порчи, но, уважая въ себѣ его мать, она сама стала на другую ногу. Эту оппозицію тотчасъ замѣтилъ Михайло Степановичъ и рѣшился сломить ее во что бы то ни стало.

Пяти-шести лѣтній Анатоль былъ свидѣтелемъ грубыхъ, отвратительныхъ сценъ, нервный и нѣжный мальчикъ судорожно хватался за платье матери и не плакалъ, а послѣ ночью стоналъ во снѣ и, проснувшись, дрожа всѣмъ тѣломъ, спрашивалъ няню: «папаша еще тутъ, ушелъ папаша?» Марья Валеріановна чувствовала необходимость положить предѣлъ этому и не знала какъ. Обстоятельства, какъ всегда бываетъ, помогли ей.

Въ гостиной стояла горка, на которой были разставлены всякія ненужности, взятыя у мѣнялы, для поощренія его. Анатоль, тысячу разъ игравшій этой дрянью, подошелъ къ горкѣ и взялъ какую-то фарфоровую куклу.

— «Не тронь!» закричалъ отецъ. Анатоль посмотрѣлъ на него съ испугомъ, оставилъ куклу и черезъ двѣ минуты опять ее взялъ. Михайло Степановичъ подошелъ къ нему, схватилъ за руку и дернулъ его съ такой силой, что онъ грянулся объ полъ и разбилъ себѣ до крови лобъ. Мать и няня бросились къ нему.

— «Оставьте его, это вздоръ, капризы», закричалъ отецъ.

Няня приостановилась въ недоумѣніи, но мать, не обращая никакого вниманія на слова мужа, подняла Анатоля и понесла его, говоря:

— Пойдемъ, дружокъ мой, въ дѣтскую, папаша боленъ.

— «Да ты слышала, или нѣтъ, что я сказалъ?» спросилъ Михайло Степановичъ, — оставь его».

— Ни подъ какимъ видомъ, отвѣчала оскорбленная мать, — какъ можно оставить ребенка съ человѣкомъ въ припадкѣ безумія?

— «Это что значитъ?» спросилъ Столыгинъ, дрожа всѣмъ тѣломъ отъ бѣшенства.

— То, отвѣчала Марья Валеріановна,—что есть всему мѣра, и, если вы сошли съ ума, то мой долгъ положить предѣлъ вашему вредному вліянію на ребенка.

Михайло Степановичъ не далъ ей кончить, онъ ударилъ ее. Анатолю взвизгнулъ и помертвѣлъ.

Марья Валеріановна, пришедши въ спальню, бросилась на колѣни передъ образомъ и долго молилась, обливаясь слезами; потомъ она поднесла Анатоля къ иконѣ и велѣла ему приложиться, одѣла его, накинула на себя шаль и, выславъ Настю и горничную зачѣмъ-то изъ дѣвичьей, вышла съ Анатодемъ за ворота, незамѣченная никѣмъ, кромѣ Ефима. На дворѣ смерклося; Марья Валеріановна почти никогда не выходила вечеромъ на улицу, ей было страшно и жутко; по счастью извозчикъ, ѣхавшій безъ сѣдока, предложилъ ей свои услуги, она кой-какъ усѣлась на калиберѣ, взяла на колѣни Анатоля и отправилась къ отцу въ домъ. Сходя съ дрожекъ, она сунула извозчику въ руки цѣлковый и хотѣла взойти въ ворота, но извозчикъ остановилъ ее, онъ думалъ, что она ему дала пятакъ, и сказалъ: «Нѣтъ, барыня, стой, какъ можно», и разглядѣвши, что это не пятакъ, а цѣлковый, продолжалъ тѣмъ же тономъ и нисколько не потерявшись, «какъ можно цѣлковый взять съ двоихъ, синенькую слѣдуетъ получить, матушка». Она бросила ему какую-то монету и взошла въ ту несчастную калитку, изъ-за которой лѣтъ шесть тому назадъ, Богъ знаетъ подъ вліяніемъ какой чары, вышла на первое свиданіе съ человѣкомъ, котораго судьба избрала на то, чтобы мучить ее цѣлую жизнь.

Когда Михайло Степановичъ пришелъ въ себя, онъ понялъ, что переступилъ нѣсколько границу. «Ну, да что же дѣлать, думалъ онъ, у меня нравъ такой, пора въ самомъ дѣлѣ привыкнуть; сердить меня, какъ нарочно, et ensuite elle devient impertinente, я не могу своего сына воспитывать по моимъ идеямъ». Утѣшивши себя такими разсужденіями, онъ отправился въ гостиную, однако на лицѣ его было видно, что какъ ни убѣдительно они были, но совѣсть не совѣмъ была покойна. Большая гостиная была пуста и мрачна, освѣщенная двумя сальными свѣчами. Онъ посидѣлъ на диванѣ—пусто, нехорошо.

— «Сенька!» закричалъ онъ и мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, одѣтый казачкомъ, показался въ дверяхъ.— «Скажи Наськѣ, чтобы привела Анатоля Михайловича».

Казачекъ вышелъ, но долго не возвращался; слышны были голоса, шопотъ, шаги. Титъ, блѣдный какъ смерть, стоялъ въ залѣ; Настасья съ заплаканными глазами ему объясняла что-то, Титъ качалъ головой и приговаривалъ: «Господи Боже мой, прости наши прегрѣшенія». Черезъ нѣсколько минутъ казачекъ взошелъ съ докладомъ:

— Анатолия Михайловича дома нѣтъ, ихъ барыня изволили взять съ собою.

— «Что... о... о... о?»

Казачекъ повторилъ.

— «Что ты врешь, пошли Наську и Тита».—Наська и Тить взошли.

— «Куда барыня пошла?» спросилъ Столыгинъ.

— Не могу доложить, отвѣчала старуха, дрожа всѣмъ тѣломъ; меня изволили послать за водой, изволили надѣть желтую шаль,—я думала такъ, отъ холоду...

— «Молчи и отвѣчай только на то, что я спрашиваю. Ну, а ты, старой разбойникъ, ты чего смотрѣлъ, Тить Трофимовичъ, домоправитель? Кто пошелъ за барыней?»

— Виновать, батюшка, Михайло Степановичъ, Богъ попуталъ на старости лѣтъ, я не видалъ.

— «Виновать, батюшка! передразнилъ его Столыгинъ, входившій болѣе и болѣе въ ярость,—позови, старый дуракъ, Кузьку и Оську, да дурака Ефимку и кучеровъ».

Люди переглянулись съ ужасомъ другъ на друга, они очень хорошо знали, что значить приглашеніе кучеровъ...

На другой день утромъ Тить, Настасья и двое лакеевъ валились въ ногахъ у Маріи Валеріановны, утирая слезы и умоляя ее спасти ихъ. Столыгинъ велѣлъ имъ или привести барыню съ сыномъ или готовиться въ смиренный домъ и потомъ на поселеніе. Сѣдой и толстый Тить ревѣлъ какъ ребенокъ, приговаривая:

— Сгубить онъ насъ, матушка, со свѣта Божьяго сгонить.

— Марья Валеріановна, говорила Настасья, спаси ты насъ, заступница наша, или ужъ оставь меня здѣсь.

— Я домой не пойду, прибавилъ старикъ,—я съ Каменнаго моста брошусь въ воду, одинъ конецъ.

Марья Валеріановна долго молчала, тяжело ей было, она еще разъ взглянула на эти растерянные и отчаянные лица, встала и сказала грустнымъ голосомъ:

— Такъ и быть, я спасу васъ. Я не могу допустить, чтобы онъ замучилъ васъ за меня. Я возвращусь теперь, можетъ, на свою собственную гибель, только молитесь же Бога, чтобы не на гибель малютки!

— Мать ты наша родная! говорилъ Тить,—иверской Божіей матери отслужимъ молебень, всей дворней свѣчу десятифунтовую поставимъ.

Марья Валеріановна явилась домой не какъ виновная и бѣглая жена, а съ полнымъ сознаніемъ своей правоты и своего призванія быть защитницей сына. Она покойно и твердо объявила Стс-

лыгину, что возвратилась только для того, чтобы спасти совершенно невинных людей отъ его бѣшенства, но что она рѣшилась не жертвовать болѣе сыномъ необузданности такого отца.

— «Охъ, говорилъ Михайло Степановичъ, притворившійся больнымъ, — охъ, ша сѣге, зачѣмъ это ты употребляешь такія слова, мое ухо не привыкло къ такимъ выраженіямъ. У меня отъ заботъ, отъ болѣзни (онъ жаловался на аневризмъ, котораго у него, впрочемъ, не было) бываютъ иногда черныя минуты, — надобно кротостью и добрымъ словомъ остановить, а не раздражать, я самъ оплакиваю несчастный случай», и онъ остановился, какъ бы подавленный сильными чувствами.

Но на Марью Валеріановну его рѣчи болѣе не дѣйствовали. Весь prestige, окружавшій его, исчезъ, она чувствовала себя настолько выше, настолько сильнѣе его, что у ней начала развиваться жалость къ нему.

Послѣ этой исторіи Столыгинъ сталъ себя держать попристойнѣе. Марья Валеріановна съ сыномъ жила большую половину года въ деревнѣ; такъ какъ это значительно уменьшало расходы, то мужъ и не препятствовалъ. Смерть добраго старика Валеріана Андреевича, случившаяся черезъ нѣсколько лѣтъ, снова запутала и окончательно разстроила жизнь, устроенную Маріей Валеріановной.

Онъ умеръ вскорѣ послѣ московскаго пожара. Старикъ оставался все время войны въ Москвѣ, довольно счастливо скупая, долею у французовъ, долею у казаковъ, разныя серебряныя и золотыя вещицы. По выходѣ непріятеля, онъ подавалъ просьбу о денежномъ вспоможеніи для поправленія дома, сожженнаго боготпротивнымъ врагомъ во время нашествія галловъ и съ ними дванадцати языкъ. Но, несмотря на то, что его просьба была совершенно несправедлива, онъ получилъ отказъ. Это его сильно огорчило, онъ помаячилъ еще годикъ, да и умеръ, оставивши Марьѣ Валеріановнѣ домъ, золотыя и серебряныя бездѣлупки и толстую пачку ломбардныхъ билетовъ.

Марья Валеріановна въ это время была въ Петербургѣ, куда Столыгинъ переѣхалъ во время приближенія непріятеля. Домъ ихъ на Яузѣ сгорѣлъ. Морякъ отстраивалъ его медленно, потому что Столыгинъ скупился на деньги. Старикъ передъ смертію звалъ дочь проститься. Она поѣхала, но не застала его. Морякъ, имѣвшій уже свои инструкціи, распорядился въ домѣ ея отца, какъ на кораблѣ, взятомъ въ плѣнъ. Марья Валеріановна молчала, но билеты ломбардные прибрала. Михайло Степановичъ не давалъ почти вовсе денегъ на воспитаніе сына, да и, сверхъ того, она хотѣла на всякой случай имѣть капиталъ въ своихъ рукахъ.

Это обстоятельство снова ее поссорило съ мужемъ. Переписка ихъ приняла горькій тонъ. Видя непреклонность жены, Столыгину пришла въ голову мысль воспользоваться разлукой ея съ сыномъ, чтобы поставить на своемъ.

Онъ писалъ моряку во всякомъ письмѣ, чтобы все было готово для его прїѣзда, что онъ на дняхъ ѣдетъ, и нарочно оттягивалъ свой отъѣздъ. Возвратившись, наконецъ, въ свой домъ на Яузѣ, онъ прервалъ всѣ сношенія съ Маріей Валеріановной, строго запретилъ людямъ принимать ее или ходить къ ней въ домъ. «Я долженъ былъ принять такія мѣры, говорилъ онъ, для сына; я все бы ей простилъ, но она женщина до того *эгриванная*, что можетъ пошатнуть тѣ фундаменты морали, которые я съ такимъ трудомъ вывожу въ сердцѣ Анатоля».

Разумѣется, ему никто не вѣрилъ, кромѣ моряка, да и тотъ болѣе вѣрилъ изъ дисциплины и подчиненности, нежели изъ убѣжденія, и защищалъ Столыгина только слѣдующимъ выразительнымъ аргументомъ. «Все же, вѣдь, какъ тамъ угодно, а она супруга Михайла Степановича, а Михайло Степановичъ, какъ бы то ни было, все же ея супругъ есть!..»

Поврежденный.

ПОВѢСТЬ.

I.

...Въ одну очень тяжелую эпоху моей жизни, послѣ бурь и утратъ и передъ еще большими бурями и утратами, встрѣтилъ я одно странное лицо, котораго слова и сужденія мнѣ сдѣлались больше понятны спустя нѣкоторое время.

Человѣкъ этотъ попался мнѣ на дорогѣ, точно какъ эти мистическія лица чернокнижниковъ, пилигримовъ, пустынниковъ являются въ средневѣковыхъ разказахъ для того, чтобы приготовить героя къ печальнымъ событіямъ, къ страшнымъ ударамъ, впередъ примиряя съ судьбой, вооружая терпѣніемъ, укрѣпляя думами.

Дѣло было на Корниче.

Я приплылъ на лодкѣ изъ Ниццы въ небольшой городокъ; отсюда я собирался ѣхать сухимъ путемъ, но лошади единственнаго ветурина только что воротились, надобно было имъ дать отдохнуть, по его словамъ, «два маленькихъ часа», что значило, по крайней мѣрѣ, четыре очень большихъ. Мнѣ было некуда торопиться и совершенно все равно, днемъ позже или раньше пріѣду въ Геную. Я заказалъ себѣ завтракъ и пошелъ бродить по берегу.

Какое счастье, что есть на свѣтѣ полоса земли, гдѣ природа такъ удивительно хороша и гдѣ можно еще жить до поры до времени свободному человѣку.

Когда душа носить въ себѣ великую печаль, когда человѣкъ не настолько сладилъ съ собою, чтобы примириться съ прошедшимъ, чтобы успокоиться на пониманіи, ему нужна и даль, и горы, и море, и теплый, кроткій воздухъ; нужны для того, чтобы грусть не превращалась въ ожесточеніе, въ отчаяніе, чтобы онъ не зачерствѣлъ. Хорошій край нужныѣ хорошихъ людей. Люди готовы сострадать, но почти никогда не умѣютъ; отъ ихъ состра-

данія становится хуже, они бередят раны, они не ловки. Сверхъ того, люди бѣсятъ или разбѣиваютъ; къ чему еще бѣситься, къ чему, съ другой стороны, бѣжать отъ печали, это также робко и слабо, какъ глупо бѣжать отъ наслажденій, когда они еще веселятъ.

Досадно, что я не пишу стиховъ. Рѣчи объ этомъ краѣ необходимо ритмъ, такъ, какъ онъ необходимо морю, которое мѣрными стопами, вовѣки не скончаемыхъ гексаметровъ, плещеть въ пышный карнизъ Италіи. Стихами легко рассказывается именно то, чего не уловишь прозой... Едва очерченная и замѣченная форма, чуть слышный звукъ, не совсѣмъ пробужденное чувство, еще не мысль... Въ прозѣ просто совѣстно повторять этотъ лепетъ сердца и шопотъ фантазіи.

День былъ удивительный, жаръ только что начинался, яркое утреннее солнце освѣщало маленькій городокъ, померанцовую рощу и море. Пригорокъ былъ покрытъ лѣсомъ маслинъ. Я легъ подъ старой, тѣнистой оливой, недалеко отъ берега и долго смотрѣлъ, какъ одна волна за другою шла длинной, выгнутой линіей, подымалась, хмурилась, начинала закипать и разливалась, пропадая струями и пѣной, въ то время какъ слѣдующая съ тѣмъ же важнымъ и стройнымъ видомъ хмурилась и закипала, чтобы разлиться. Намъ такъ чуждо все безкорыстное, такъ дешево все настоящее, что и въ вѣчномъ колыханіи природы человѣкъ невольно ждетъ чего-то—слѣдующей волны, развязки... Вотъ теперь, кажется, что-то да выйдетъ... Кажется, что теперь, а волна опять разлилась и шумитъ, шурстятъ камнями, которые утягиваетъ съ собой въ глубь, чтобы при первомъ вѣтрѣ выбросить ихъ снова на берегъ.

Волна моей жизни, думалось мнѣ, тоже перегнулась и течетъ вспять, я чувствую, какъ она отступаетъ, касается каменевъ, дна и берега, какъ увлекаетъ меня назадъ, не обращая вниманія ни на ушибы, ни на усталъ, и нашептывая въ утѣшеніе:

Погоди немного
Отдохнешь и ты!

... Наша жизнь вовсе не наша, все дѣлается помимо насъ.

Человѣкъ растетъ, растетъ, складывается и прежде, нежели замѣчаетъ, идетъ ужъ подъ гору. Вдругъ какой-нибудь ударъ будитъ его и онъ съ удивленіемъ видитъ, что жизнь не только сложилась, но и прошла. Онъ тутъ только замѣчаетъ тягость въ членахъ, сѣдые волосы, усталъ въ сердцѣ, вялость въ чувствахъ. Помочь нечѣмъ. Узелъ, которымъ организмъ связанъ и затянутъ—личность—слабѣетъ. Жгучія страсти выдыхаются въ успокоивающія разсужденія, дикіе порывы въ благоразумныя отгѣтки,

сердце холодѣть, привыкаетъ ко всему, мало требуетъ, мало даетъ, химическое сродство, гдѣ можетъ, утягиваетъ составныя части въ минеральный міръ и замѣняетъ ихъ чѣмъ-то мертвымъ, каменнымъ. Безличная мысль и безличная природа одолѣвають мало по малу человѣкомъ и влекутъ его безостановочно на свои вѣчныя, неотвратимыя кладбища логики и стихійнаго бытія...

II.

... Когда я пришелъ въ гостиницу, на дворѣ уже было очень жарко, я сѣлъ на балконѣ. Передъ глазами тянулась длинной ниткой обозженная солнцемъ дорога, она шла у самого моря, по узенькой нарѣзкѣ, огибавшей гору. Мулы, звоня бубенчиками и украшенные красными кисточками, везли боченки вина, осторожно переступая съ ноги на ногу; медленное шествіе ихъ нарушилось дорожной каретой, почталіонъ хлопалъ бичемъ и кричалъ, мулы жались къ скалистой стѣнѣ, возчики бранились, карета, покрытая густыми слоями пыли, приближалась больше и больше и остановилась подъ балкономъ, на которомъ я сидѣлъ.

Почталіонъ соскочилъ съ лошади и сталъ откладывать, толстой трактирщикъ въ фуражкѣ національной гвардіи отворилъ дверцы и два раза привѣтствовалъ княжескимъ титуломъ сидѣвшихъ въ каретѣ, прежде нежели слуга, спавшій на козлахъ, пришелъ въ себя и, потягиваясь, сошелъ на землю.

Такъ спать на козлахъ и такъ аппетитно тянутся только русскіе слуги, подумалъ я и пристально посмотрѣлъ на его лицо; русые усы, сдѣлавшіеся свѣтлобурными отъ пыли, широкій носъ, бакенбарды, пущенные прямо въ усы на половинѣ лица, и особый національный характеръ всѣхъ его приемовъ убѣдили меня окончательно, что почтенный незнакомецъ былъ родомъ изъ какой-нибудь тамбовской, пензенской или симбирской передней. Какъ ни философствуй и не клеветни на себя, но есть что-то шевелящееся въ сердцѣ, когда вдругъ неожиданно встрѣчаешь въ дальней дали своихъ соотечественниковъ. Между тѣмъ изъ кареты выскочилъ человѣкъ лѣтъ тридцати съ сытымъ, здоровымъ и веселымъ видомъ, который даетъ беззаботность, славное пищевареніе и не излишне развитые нервы. Онъ посадилъ на носъ верховые очки, висѣвшіе на шнуркѣ, посмотрѣлъ направо, посмотрѣлъ налево и съ дѣтскимъ простодушіемъ закричалъ спутнику въ каретѣ:

«Чудо какое мѣсто, ей Богу, прелесть, вотъ Италія такъ Италія, небо-то, небо синее, яхонтъ? Отсюда начинается Италія!»

— «Вы это шестой разъ говорите съ Авиньона», замѣтилъ его товарищъ усталымъ и нервнымъ голосомъ, медленно выходя изъ

кареты. Это былъ худощавый, высокій человѣкъ, гораздо постарше перваго; онъ почти весь былъ одного цвѣта, на немъ былъ свѣтло-зеленый пальто, фуражка изъ небѣленаго батиста, подъ цвѣтъ бѣлокурымъ волосамъ, покрытымъ пылью, слабые глаза его отгѣнялись свѣтлыми рѣсницами и, наконецъ, лицо завялое и болѣзненное было больше изжелта-зеленоватое, нежели блѣдное.

Печальная фигура посмотрѣла молча въ ту сторону, въ которую показывалъ его товарищъ, не выражая ни удивленія, ни удовольствія.

«Вѣдь это все оливы, все оливы»,—продолжалъ молодой человѣкъ.

— «Олировая зелень прескучная и преоднообразная, возразилъ свѣтлозеленый товарищъ,—наши березовыя рощи красивѣе».

Ба, подумалъ я, да это старые знакомые, это Ноздревъ и Межуевъ, переложенные на новые нравы и ѣдущіе не въ Заманиловку, а въ Сенъ-Ремо.

Молодой человѣкъ покачалъ головой, какъ будто хотѣлъ сказать: неисправимъ, хоть брось! и взглянулъ наверхъ. Лицо его показалось мнѣ знакомо, но сколько я ни старался, я не могъ припомнить, гдѣ я его видѣлъ. Русскихъ вообще трудно узнавать въ чужихъ краяхъ, они въ Россіи ходятъ по-нѣмецки безъ бороды, а въ Европѣ по-русски, отращивая съ невѣроятной скоростью бороду.

Мнѣ не пришлось долго ломать головы. Молодой человѣкъ съ тѣмъ добродушіемъ и съ той беззаботной сытостью въ выраженіи, съ которыми радовался оливамъ, бѣжалъ ко мнѣ и кричалъ по-русски:

«Вотъ не думалъ, не гадалъ—истинно говорятъ: гора съ горой не сходится... Да вы меня, кажется, не узнаете? Старыхъ знакомыхъ забывать стали?»

— Теперь-то очень узнаю; вы ужасно перемѣнились: и борода, и растолстѣли, и похорошѣли, такіе стали кровь съ молокомъ.

«In corpore sano, mens sana, отвѣчалъ онъ, отъ души смѣясь и показывая рядъ зубовъ, которому бы позавидовалъ волкъ,—и вы перемѣнились, постарѣли... А что? жизнь-то кладетъ свои нарѣзки? Впрочемъ, мы четыре года не видались; много воды утекло съ тѣхъ поръ».

— Не мало. Какъ вы сюда попали?

«Ѣду съ больнымъ...»

Это былъ лекарь московскаго университета, исправлявшій нѣкогда должность прозектора; лѣтъ пять передъ тѣмъ, я занимался анатоміей и тогда познакомился съ нимъ. Онъ былъ добрый, услужливый малой, необыкновенно прилежный, усердно зани-

мавшийся наукою à livre ouvert, т. е. никогда не ломая себѣ головы ни надъ однимъ вопросомъ, который не былъ разрѣшенъ другими, но отлично знавшій всѣ разрѣшенные вопросы.

— А! такъ этотъ зеленый товарищъ вашъ больной; куда же вы его дѣли?

«Это такой экземпляръ, что и въ Италіи у васъ не скоро сыщешь. Вотъ чудакъ-то. Машина была хороша, да немного повредилась (при этомъ онъ показалъ пальцемъ на лобъ), я и чиню ее теперь. Онъ шелъ сюда, да чортъ меня дернулъ сказать, что я васъ знаю, онъ перепугался; ипохондрія, доходящая до маіи; иногда онъ цѣлые дни молчить, а иногда говоритъ, говорить—такія вещи, ну просто волосъ дыбомъ становится, все отвергаетъ, все,—оно ужъ эдакъ черезъ край; я самъ, знаете, не очень бабьимъ сказкамъ вѣрю, однакожь все же есть что-то. Впрочемъ, онъ претихой и предобрый; ему ѣхать за границу вовсе не хотѣлось. Родные уговорили, знаете, съ рукъ долой, ну да и языка-то его побаивались,—лакеи, дворники все на отъѣзду у полиціи, поди тамъ оправдывайся. Ему хотѣлось въ деревню, а имѣніе у него съ сестрой недѣленное; та и перепугалась—коммунизмъ, говорить, будетъ мужикамъ проповѣдывать, тутъ и собирай недоимку. Наконецъ, онъ согласился ѣхать, только непременно въ южную Италію, Magna Grecia! Отправляется въ Калабрію и вашъ покорный слуга съ нимъ въ качествѣ лейбъ-медика. Помилуйте, что за мѣсто, тамъ, кромѣ бандитовъ да поповъ, человѣка не найдешь; я вотъ проѣздомъ въ Марселѣ купилъ себѣ пистолеть-револьверъ, знаете, четыре ствола такъ повертываются».

— Знаю. Однакожь, должность ваша не изъ самыхъ веселыхъ: быть безпрестанно съ сумасшедшимъ.

«Вѣдь, онъ не въ самомъ дѣлѣ на стѣну лѣзетъ или кусается. Онъ меня даже любить по своему, хотя и не дастъ слова сказать, чтобы не возразить. Я, впрочемъ, совершенно доволенъ: получаю тысячу серебромъ въ годъ на всемъ готовомъ, даже сигарокъ не покупаю. Онъ очень деликатенъ, что до этого касается. Чего-нибудь стоять и то, что на свѣтъ посмотришь. Да, послушайте, надобно вамъ показать моего чудака».

— Богъ съ нимъ совѣмъ. Кстати, вы не только другихъ не знакомьте, но и сами будьте осторожны, со мной вѣрноподаннымъ дозволяется только грубить, а не то, васъ, пожалуй, послѣ возвращенія изъ Италіи въ такую Калабрію пошлютъ, гдѣ ни поповъ, ни разбойниковъ нѣтъ. А, можетъ быть, и *reggio*—такое зададутъ *agreggio*.

«Ха, ха, ха — экъ языкъ-то, языкъ, все тотъ же, все съ ядомъ, все бы кусаться, вотъ небось этого не забыли—*agreggio*. Не боимся мы, наше дѣло медицинское; ну, позовутъ къ Леон-

тію Васильевичу, что же? Я скажу откровенно: помилуйте, генераль, на дорогѣ встрѣтилъ человѣка, безъ живота лежитъ, не можетъ дальше ѣхать, ну, я ему лауданума съ мятой далъ, это обязанность званія, долгъ человѣчества. Онъ, вѣдь, и пойметъ, что это вздоръ, ну, да умный человѣкъ, скажетъ: ну, впередъ будьте осторожны, я говорю для вашего собственнаго блага, это отеческій совѣтъ,—такъ и отпустить. Нынче у насъ какъ-то меньше смотрятъ за этимъ, ей-Богу; у Излера пресса лежитъ такъ, какъ Петербургскія вѣдомости, просто на столѣ лежитъ».

— И притомъ еще отборные нумера, не такъ, какъ здѣсь сплошь да рядомъ.

«Смѣйтесь, смѣйтесь, много небось вы здѣсь выиграли февральской революціей?»

— У... у... да вы преопасный человѣкъ, вы ужъ разрѣшили эдакъ о мятежахъ и злоумышленникахъ говорить,—смотрите, до добра это не доведетъ.

«Я притащу моего пациента,—ну, что вамъ въ самомъ дѣлѣ, черезъ часъ разѣйдитесь; онъ предобрѣйшій человѣкъ и былъ бы преумный».

— Если-бъ не сошелъ съ ума.

«Это несчастье... вамъ, ей Богу, все равно, а ему разсѣяніе и нужно и полезно».

— Вы уже меня начинаете употреблять съ фармацевтически-ми цѣлями, замѣтилъ я, но лекаръ уже летѣлъ по коридору.

Я не подчинился бы его желанію и его русской распорядительности чужою волею, но меня, наконецъ, интересовалъ свѣтло-зеленый коммунистъ-помѣщикъ и я остался его ждать.

Онъ взошелъ робко и застѣнчиво, кланялся мнѣ какъ-то больше, нежели нужно, и нервно улыбался. Чрезвычайно подвижные мускулы лица придавали странное и неуловимое колебаніе его чертамъ, которыя непрерывно мѣнялись и переходили изъ грустно печальнаго въ насмѣшливое, а иногда даже въ простоватое выраженіе. Въ его глазахъ, по большей части никуда не смотрѣвшихъ, была замѣтна привычка сосредоточенности и большая внутренняя работа, подтверждавшаяся морщинами на лбу, которыя всѣ были сдвинуты надъ бровями. Не даромъ и не въ одинъ годъ мозгъ выдавилъ черезъ костяную оболочку свою таковую лобъ и съ такими морщинами, не даромъ и мускулы лица сдѣлались такими подвижными.

«Евгеній Николаевичъ, говорилъ ему лекаръ, позвольте васъ познакомить. Представьте, какой странный случай, вотъ гдѣ встрѣтился—старый пріятель, съ которымъ вмѣстѣ кошекъ и собакъ рѣзали».

Евгеній Николаевичъ улыбался и бормоталъ:—«Очень радъ... случай... такъ неожиданно... вы извините».

«А помните, продолжалъ лекаръ, какъ мы собаченкѣ сторожа Сычева перерѣзали пневмогастрическій нервъ,—закашляла голу-бушка».

Евгеній Николаевичъ сдѣлалъ гримасу, посмотрѣлъ въ окно и, откашлянувъ раза два, спросилъ меня:

— «Вы давно изволили оставить Россію?»

— Пятой годъ.

— «И ничего, привыкаете къ здѣшней жизни?» спросилъ Евгеній Николаевичъ и покраснѣлъ.

— Ничего.

— «Да-съ, но очень неприятная, скучная жизнь за границей».

«И въ границахъ», прибавилъ развязный лекаръ.

Вдругъ, чего я никакъ не ожидалъ, мой Евгеній Николаевичъ покотился со смѣху и, наконецъ, послѣ долгихъ усилій, успѣлъ настолько успокоиться, чтобы сказать прерывающимся голосомъ:

— «Вотъ, Филиппъ Даниловичъ все со мной спорить, ха, ха, ха... Я говорю, что земной шаръ или неудавшаяся планета, или больная; а онъ говоритъ, что это пустяки; какъ же послѣ этого объяснить, что за границей и дома жить скучно, противно», и онъ опять расхохотался до того, что жилы на лбу налились кровью. Лекаръ лукаво подмигнулъ мнѣ съ такимъ видомъ превосходства, что мнѣ стало его ужасно жаль.

— «Отчего же не быть больнымъ планетамъ,—спросилъ пресерьезно Евгеній Николаевичъ,—если есть больные люди?»

«Оттого, отвѣчалъ лекаръ за меня, что планета не чувствуетъ; гдѣ нѣтъ нервовъ, тамъ нѣтъ и боли».

— «А мы съ вами что? Да для болѣзни нервовъ и не нужно, бываетъ же виноградъ боленъ и картофель? Я того и смотрю, что земной шаръ или лопнетъ, или сорвется съ орбиты, полетитъ. Какъ это будетъ странно, и Калабрія, и мы съ вами, Филиппъ Даниловичъ, все полетитъ и вашего пистолета не нужно будетъ».—Онъ снова расхохотался и въ ту же минуту продолжалъ съ страстной настойчивостію, обращаясь ко мнѣ: «Такъ жить нельзя, вѣдь, это очевидно надобно, чтобы что-нибудь да сдѣлалось; лучше планетѣ съизнова начать; настоящее развитіе очень неудачно, есть какой-то фауль. При составѣ, что-ли, или когда мѣсяцъ отдѣлялся, что-то не сладилось, все идетъ съ тѣхъ поръ не такъ, какъ слѣдуетъ. Сначала болѣзни были острыя; каковъ былъ жаръ внутренній во время геологическихъ переворотовъ! Жизнь взяла верхъ, но болѣзнь оставила слѣды. Равновѣсіе потеряно, планета мечется изъ стороны въ сторону. Сначала ударились въ количественную нелѣпность; ну, пошли ящерицы съ

домъ величины, папоротники такіе, что однимъ листомъ экзерциргаусъ покрыть можно, ну, разумѣется, все это перемерло, какъ же такимъ нелѣпостямъ жить? Теперь въ качественную сторону пошло,—еще хуже: мозгъ, мозгъ, нервы, развивались, развивались до того, что умъ за разумъ зашелъ. Исторія сгубить человека, вы, что хотите, говорите, а увидите—сгубить».

Послѣ этой выходки Евгений Николаевичъ замолчалъ. Подали завтракъ, онъ очень мало ѣлъ, очень мало пилъ и во все время ничего не говорилъ, кромѣ «да» и «нѣтъ». Передъ концомъ завтрака онъ спросилъ бордо, налилъ рюмку, отвѣдалъ и поставилъ ее съ отвращеніемъ.

«Что, спросилъ лекаръ, видно скверное?»

— «Скверное», отвѣчалъ пациентъ, и лекаръ принялся стыдить трактирщика, бранить слугу, удивляться корыстолюбію людей, ихъ эгоизму, упрекалъ въ томъ, что трактирщики берутъ 35 процентовъ и все-таки обманываютъ.

Евгений Николаевичъ равнодушно замѣтилъ, что онъ не понимаетъ, за что сердится лекаръ, что онъ, съ своей стороны, не видитъ, отчего трактирщику не брать 65 процентовъ, если онъ можетъ, и что онъ очень умно дѣлаетъ, продавая скверное вино, пока его покупаютъ.

Этимъ нравственнымъ замѣчаніемъ кончился нашъ завтракъ.

III.

Поврежденный съ самаго перваго разговора удивилъ меня независимою отвагой больного ума. Онъ былъ явнымъ образомъ «надломленъ» и, хотя лекаръ увѣрялъ меня, что онъ во всю жизнь не имѣлъ ни большого несчастья, ни большихъ потрясеній, я плохо вѣрилъ въ психологію моего добраго прозектора.

Мы поѣхали вмѣстѣ въ Геную и остановились въ одномъ изъ дворцовъ, разжалованныхъ въ нашъ мѣщанскій вѣкъ въ отели. Евгений Николаевичъ не показывалъ ни особеннаго интереса къ моимъ бесѣдамъ, ни особеннаго отвращенія отъ нихъ. Съ докторомъ онъ безпрестанно спорилъ.

Когда темныя минуты апохондріи подавляли его, онъ удалялся, запирался въ комнатѣ, рѣдко выходилъ, былъ желто-блѣденъ, дрожалъ какъ въ ознобѣ, а иногда, казалось, глаза его были заплаканы. Лекаръ побаивался за его жизнь, бралъ глупыя предосторожности, удалялъ бритвы и пистолеты, мучилъ больного разводящими и ослабляющими нервы лекарствами, сажалъ его въ теплую ванну съ ароматической травой. Тотъ слушался съ желчной и озлобленной страдательностью, возражая на все и все исполняя, какъ избалованное дитя.

Въ свѣтлыя мнуты онъ былъ тихъ, мало говорилъ, но вдругъ рѣчь его неслась какъ изъ прорвавшейся плотины, перерываемая спазматическимъ смѣхомъ и нервнымъ сжатіемъ горла, и потомъ скошенная середь дороги, она останавливалась, оставляя слушающаго въ тоскливомъ раздумьи. Его странныя парадоксальныя выходки казались ему легкими, какъ таблица умноженія. Взглядъ его дѣйствительно былъ вѣренъ и послѣдователенъ тѣмъ произвольнымъ началамъ, которыя онъ бралъ за основу.

Онъ много зналъ, но авторитеты на него не имѣли ни малѣйшаго вліянія, это всего болѣе оскорбляло хорошо учившагося лекаря, который ссылался, какъ на окончательный судъ, на Кювье или на Гумбольдта!

— «Да отъ чего мнѣ—возражалъ Евгений Николаевичъ—такъ думать, какъ Гумбольдтъ. Онъ умный человѣкъ, много ѣздилъ, интересно знать, что онъ видѣлъ и что онъ думаетъ, но меня-то это не обязываетъ думать, какъ онъ. Гумбольдтъ носить синій фракъ,—что-же и мнѣ носить синій фракъ? Вотъ, небось, Моисею такъ вы не вѣрите».

«Знаете-ли, говорилъ глубоко уязвленный докторъ, обращая рѣчь ко мнѣ, что Евгений Николаевичъ не видитъ разницы между религіей и наукой,—что скажете?»

— «Разницы нѣтъ—прибавилъ тотъ утвердительно, развѣ то, что они одно и то же говорятъ на двухъ нарѣчіяхъ».

«Да еще то, что одна основана на чудесахъ, а другая на умѣ, одна требуетъ вѣры, а другая знанія».

— «Ну, чудеса-то тамъ и тутъ, все равно, только что религія идетъ отъ нихъ, а наука къ нимъ приходитъ. Религія такъ ужъ откровенно и говоритъ, что умомъ не поймешь, а есть, говоритъ, другой умъ поумнѣе, тотъ моль сказывалъ вотъ такъ и такъ. А наука обманываетъ, воображая, что понимаетъ какъ;... а въ сущности, и та и другая доказываютъ одно, что человѣкъ неспособенъ знать всего, а такъ кое-что таки понимаетъ; въ этомъ сознаться не хочется, ну, по слабости человѣческой, люди и вѣрятъ, одни Моисею, другіе Кювье; какая повѣрка тутъ? Одинъ рассказываетъ, какъ Богъ создавалъ звѣрей и траву, а другой—какъ ихъ создавала жизненная сила. Противуположность не между знаніемъ и откровеніемъ въ самомъ дѣлѣ, а между сомнѣніемъ и принятіемъ на вѣру».

«Да на что же мнѣ принимать на вѣру какія-нибудь патологическія истины, когда я ихъ умомъ вывожу изъ законовъ организма?»

— «Конечно, было бы не нужно, да вѣдь ни вы, и никто другой не знаетъ этихъ законовъ, ну, такъ оно и приходится вѣрить, да помнить».

Въ мірѣ не было человѣка менѣе способнаго ладить съ нашимъ чудачкомъ, какъ лекарь; онъ вовсе не былъ глупъ, но принадлежалъ къ числу тѣхъ свѣтлыхъ, практическихъ умовъ, умовъ подкожныхъ, такъ сказать, которые дальше разсудочныхъ категорій и общепринятыхъ мнѣній не только не идутъ, но и не могутъ идти. Онъ удивлялся, какъ я могъ иной разъ артистически наслаждаться разговорами Евгенія Николаевича и брать его сторону; я утѣшалъ его, говоря: «свой своему поневолѣ братъ».

«Однако, нѣкоторые законы организма намъ извѣстны», возразилъ защитникъ наукъ.

— «Какіе же, напримѣръ?»

«Мало ли, я не знаю,— да чтобы далеко не искать — вотъ вамъ общій законъ, все родившееся должно умереть».

— «Зачѣмъ же? возразилъ Евгеній Николаевичъ,— что за долгъ умирать? Да это и не законъ, это такъ, фактъ, внутренней необходимости никакой нѣтъ въ смерти; неужели вы думаете, что медицина не дойдетъ до того, чтобы продолжать жизнь до безконечности?»

При этомъ вопросъ и я, грѣшный человѣкъ, взглянулъ на него почти такъ же, какъ докторъ.

— Я много встрѣчалъ людей, замѣтилъ я въ свою очередь,— вѣрующихъ и не вѣрующихъ въ безсмертіе души, но вы первый, который не вѣрите въ смертность тѣла.

— «Какъ не вѣрить, я не то говорю,— я только не вижу никакой серьезной необходимости въ смерти. Жить значить ѣсть окружающее; если пища будетъ поддерживать химическій процессъ, онъ и продолжится. Если пища будетъ мѣшать костямъ каменѣть, хрящу дѣлаться костью, крови становиться гуще или жидче, нежели надобно, на что же умирать? Родившееся должно жить; оно умираетъ не потому, что родилось, а потому, что не ту пищу нужно. Слѣдуетъ ли теперь изъ того, что мы плохіе повара, что смерть нельзя удалить на безконечное время? Жизнь лучше не просить, какъ продолжаться».

«Со стороны послушаешь, точно будто и дѣло—сказалъ Филиппъ Даниловичъ.— А вотъ какъ намъ быть съ этимъ, если медицина дойдетъ до того, что людей будутъ лечить отъ смерти; а планета, которая по вашему сильно хирѣетъ, совѣмъ зачахнетъ и умретъ. Странное будетъ положеніе, переѣзжать придется на луну, или прямо на Венеру».

Вопросъ этотъ нѣсколько смутилъ Евгенія Николаевича, онъ задумался, походилъ по комнатѣ и потомъ съ видомъ человѣка, доискавшагося до важнаго разрѣшенія, отвѣтилъ:

— «Tout bien pris, болѣзнь не такъ глубока, я, можетъ, ошибался; во-первыхъ, ужъ то хорошо, что болѣзнь специальная—

одинъ только родъ человѣческой ея пораженъ. Да и родъ-то человѣческой не весь боленъ. Это мѣстная болѣзнь, эндемическая въ одной Европѣ. Такъ, какъ холера идетъ съ береговъ Инда, чума съ береговъ Нила, желтая лихорадка съ устьевъ Миссисипи, такъ болѣзнь историческаго развитія идетъ изъ Европы. Какъ только люди коснутся этой проклятой земли, такъ ихъ мозгъ и поражается болѣзнію. Съ пелазговъ, съ грековъ начиная и до нашего времени. Англія разнесла заразу по всему земному шару. Чего, Австралія совсѣмъ негодный материкъ, и тотъ не оставляютъ въ покоѣ. Въ Африкѣ жить нельзя европейцу, такъ по крайнимъ поселились, — вотъ вамъ за холеру, да за чуму; это ужъ не зубъ за зубъ, а челюсть за зубъ».

— Вы такъ разсуждаете, сказалъ я ему, шутя и взявъ его за обѣ руки...

— «Не обвиняйте меня, пожалуйста, не обвиняйте, возразилъ онъ съ чувствомъ, и не шутите надъ моими мыслями. Я самъ шутилъ надъ Руссо, и знаю, какъ Вольтеръ ему писалъ, что учиться ходить на четверенькахъ поздно. Трудомъ тяжелымъ и мученическимъ дошелъ я до того, что понялъ, откуда все зло, понялъ, и самъ оробѣлъ; я никому не говорилъ, молчалъ, но когда страданія и плачъ людей становились громче и громче, зло очевиднѣе и очевиднѣе, тогда я пересталъ прятать истину. Мы погибшіе люди, мы жертвы вѣковыхъ отклоненій и платимъ за грѣхи нашихъ праотцевъ, гдѣ насъ лечить! Будущія-то поколѣнія, можетъ, опомнятся».

«Итакъ, à la fin des fins, выздоровленіе человѣка начнется тогда, когда вмѣсто прогресса люди пойдутъ вспять, съ цѣлью зачислиться со временемъ въ орангъ-утанги», сказалъ лекаръ, закуривая свѣжую сигару.

— «Приблизиться къ животнымъ не мѣшаетъ, послѣ неудачныхъ опытовъ сдѣлаться ангелами. Всѣ звѣри разсчитаны по средѣ, въ которой жить должны, перестановки почти всегда гибельны. Рѣчная вода для насъ пріятнѣе и чище морской, а пустиете въ нее какого-нибудь морского моллюска, — онъ умретъ. Человѣкъ вовсе не такъ богато одаренъ природой, какъ воображаетъ; болѣзненное развитіе его нервовъ и мозга увлекаетъ его въ жизнь ему несвойственную, вышнюю, въ ней онъ гибнетъ, чахнетъ, мучится. Гдѣ люди переломили эту болѣзнь, тамъ они успокоились, тамъ они довольны и были бы счастливы, если бы ихъ оставили въ покоѣ. Посмотрите на эти ряды поколѣній гдѣ-нибудь въ Индіи, природа имъ дала все съ избыткомъ, язва государственной и политической жизни прошла, болѣзненное преобладаніе ума надъ другими отправлениями организма утихло; всемірная исторія ихъ забыла, и они жили такъ, какъ людямъ

хорошо живетъся, такъ, какъ людямъ возможно жить, до проклятой Ость-Индской кампаніи, которая все перепортила».

«Впрочемъ, замѣтилъ лекаръ, толпа почти такъ и у насъ живетъ».

— «Это было бы важнѣйшее доказательство въ мою пользу, то, что вы называете толпой, это-то и есть человѣческій родъ; но толпѣ не даютъ жить такъ, какъ она хочетъ,—вотъ бѣда-то въ чемъ. Снизу кишитъ задавленное работой, изнуренное голодомъ населеніе, сверху вянетъ и выбивается изъ силъ другое населеніе, задавленное мыслию, изнуренное стремленіями, на которыя такъ же мало отвѣта, какъ мало хлѣба на голодъ бѣдныхъ. А между этими двумя болѣзнями, двумя страданіями, между лихорадкой отъ другой жизни и чахоткой отъ сумасшедшихъ нервъ, между ними лучшій цвѣтъ цивилизаціи, ея балованнѣе дѣти, единственные люди, кой-какъ наслаждающіеся, кто же они? Наши помѣщики средней руки и здѣшніе лавочники. Но природа себя въ обиду не даетъ... Она клеймитъ за измѣну не хуже всякаго палача... продолжалъ онъ, ходя по комнатѣ, и вдругъ остановился передъ зеркаломъ.—Ну, посмотрите на эту рожу—ха, ха, ха, вѣдь это ужасно, сравните любого крестьянина нашего со мной, новая *varietas*, которую Блуменбахъ проглядѣлъ, «кавказско-городская», къ ней принадлежатъ чиновники и лавочники, ученые, дворяне и всѣ эти альбиносы и кретины, которые населяютъ образованный міръ,—племя слабое, безъ мышць, въ ревматизмѣ, и при томъ глупое, злое, мелкое, безобразное, неуклюжее—точь въ точь я, старикъ въ тридцать пять лѣтъ безпомощный, ненужный, который провелъ всю жизнь какъ крессъ-салатъ, выращенный зимой между двухъ войлоковъ,—фу, какая гадость! Нѣтъ, нѣтъ, такъ продолжаться не можетъ, это слишкомъ нелѣпно, слишкомъ гнило. Къ природѣ... Къ природѣ на покой,—полно строить и перестраивать вавилонскую башню общественнаго устройства; оставить ее да и кончено, полно домогаться невозможныхъ вещей. Это хорошо влюбленнымъ дѣвочкамъ мечтать о крыльяхъ, *von einer besseren Natur, von einem andern Sonnenlichte*. Пора домой на мягкое ложе, приготовленное природой, на свѣжій воздухъ, на дикую волю самоуправства, на могучую свободу безначалія».

«Такъ это уже просто въ разсыпную по лѣсамъ?» замѣтилъ Филиппъ Даниловичъ.

— «Люди всегда будутъ жить стадами», отвѣтилъ докторально нашъ чудакъ.

— Евгений Николаевичъ—прибавилъ я—а, вѣдь, какъ люди-то надуютъ философію исторіи и ученіе о совершенствованіи, когда они вылечатся отъ хронической болѣзни *historia morbus* и начнутъ жить мирными стадами?

— «Да, да, съ восторгомъ подхватилъ онъ — Кондорсе-то съ своей книжкой, ха! ха!»

И Евгений Николаевичъ, раскраснѣвшійся въ лицѣ, съ жилами, налившимися кровью на лбу, вдругъ сморщился, сдѣлалъ серьезный видъ и упорно замолчалъ.

IV.

— Вы тамъ что ни толкуйте, Филиппъ Даниловичъ, а въ исторіи вашего больнаго есть какія-нибудь странныя событія, сказалъ я разъ доктору, гуляя съ нимъ по мраморной террасѣ у моря.

«Ну, да какъ не быть чего-нибудь, кто же до тридцати пяти лѣтъ доживалъ безъ какихъ-нибудь непріятностей?»

— Какія же, однако, были у него непріятности?

«Я важнаго ничего не знаю. Вы сами видите, какой организмъ, нервы почти наружѣ, всякая всячина его раздражаетъ, крови нѣтъ, отъ природы слабъ, пищевареніе скверное, матери было за сорокъ лѣтъ, когда онъ родился, да еще по смерти отца, форсепсомъ полуживого достали. А тутъ петербургскій климатъ, богатство, англійская болѣзнь, глупое холенье довоспитали. Съ родными онъ никогда особенно близко не бывалъ; оно и не мудрено, онъ давно уже занимается болѣзнію земного шара, и излеченіемъ рода человѣческаго отъ исторіи, а тѣ думаютъ, какъ бы побольше денегъ слупить съ крестьянъ. Разумѣется, хозяйство шло у него черезъ пень-колоду; сестра жила на его счетъ, и теперь на его счетъ всю семью содержать, да это его и не заботитъ, благо конца нѣтъ деньгамъ. Сначала, говорятъ, онъ жилъ покойно, занимался науками, не выходилъ почти никогда изъ своей половины, пристрастился къ музыкѣ, читалъ всякую всячину, только на службу никакъ не хотѣлъ. Потомъ говорили, какая-то дѣвчонка обманула его и обобрала. Онъ все становился пасмурнѣе, тяжеле для окружающихъ, ипохондрія развивалась, они его и спровадили».

— Какая же это дѣвчонка его обманула?

«У васъ такъ ужъ въ головѣ и вертятся Вертеръ и Шарлотта, письма, пистолеты,—мечтатели и вы страшные; успокойтесь, исторія эта очень проста, Шарлотта была сестрина горничная. Онъ презастѣнчивой и отроду не подходилъ близко къ женщинѣ, не знаю ужъ, какъ тамъ ихъ Богъ свелъ, только говорятъ, онъ ее любилъ, воображалъ, что чудо открылъ, кантатрису, а она какъ-то, сговорившись съ любовникомъ, обокрала его, вотъ вамъ и весь романъ. Я видѣлъ ее передъ отъѣздомъ, такъ, неважная, а впрочемъ недурна, если-бъ мы долше остались въ Петербургѣ, а, такъ и быть, приволокнулся бы за ней».

Больше я не могъ ничего добиться отъ моего патолога; мнѣ было досадно, что онъ, такъ играя, скользить по жизни, досадно, а, можетъ, и завидно...

Стройная, высокая генуэзка въ черномъ платьѣ и покрытая бѣлымъ, длиннымъ, прикрѣпленнымъ къ косѣ вуалемъ, шмыгнула мимо насъ, незамѣтно улыбнулась, прищурила глаза и быстро прошла. Ah che bellezza, che bellezza! закричалъ лекарь. Она обернулась и поблагодарила его тѣмъ граціознымъ, легкимъ, чисто итальянскимъ движеніемъ руки, которымъ они кланяются, и, какъ будто этого было мало, кивнула своей прекрасной головкой. Лекарь бросился за ней.

Я оставилъ его и пошелъ въ Stabilimento della Concordia.

Это самое изящное, самое красивое кафе во всей Европѣ. Тамъ, бродя между фонтанами, цвѣтами, при гремящей музыкѣ и ослѣпительномъ освѣщеніи, переходя изъ мраморныхъ залъ въ садъ и изъ сада въ залы, раскрытыя al fresco, среди энергическихъ, воронихъ головъ римскихъ изгнанниковъ, среди безконечныхъ савойскихъ усовъ и генуэзскихъ породистыхъ красавицъ, я продолжалъ думать о поврежденномъ.

Вспоминая его рѣчи и разсказъ лекаря, я пошелъ къ одному изъ маленькихъ столиковъ въ саду и спросилъ граниту. Увидя меня, человекъ, сидѣвшій за ближнимъ столомъ, поспѣшно всталъ, выпилъ наскоро свою рюмку росоліо и собрался уйти. Это былъ слуга Евгенія Николаевича, который такъ по-русски тянулся на козлахъ.

— Для чего-жъ вы это идете? Я вамъ не мѣшаю, ни вы мнѣ.

— Помилуйте-съ, отвѣчалъ Спиридонъ, снявши шляпу,—оно нашему брату не приходится, то есть съ господами.

— Вѣдь, вы теперь не въ Петербургѣ и не въ Москвѣ. Пожалуйста, надѣньте вашу шляпу и останьтесь, или я уйду.

Онъ остался и надѣлъ шляпу, но садиться не хотѣлъ никакъ.

— Да, вѣдь, вы сидѣли же прежде меня, почему вы знаете, кто были ваши сосѣди, можетъ князя какіе-нибудь? спросилъ я.

— Это точно-съ. Но, вѣдь, вы русскіе, а тѣ что же—тальянцы-съ.

— Voilà mon homme, подумалъ я, и потребовалъ у камеріера графинчикъ марсалы и двѣ рюмки.

— Что это вашъ Евгеній-то Николаевичъ здоровьемъ эдакъ разстроенъ; жаль его, такой, кажется, хорошій человекъ.

— Это-съ, позвольте вамъ доложить, такихъ господъ нарѣдкость, самый душевной-съ характеръ. Какъ же не жаль-съ, очень даже жаль; мыслями все разстроиваются... такой нравъ-съ. Все изволютъ къ сердцу брать и никакой отрады не имѣютъ. Бывало, когда имъ на душѣ не хорошо сдѣлается, садутъ за кла-

викордъ,—то есть такъ играли, что не уступать никому музыканту въ александринскомъ оркестрѣ. Господа, прекрасно одѣтые, барыни, настоящія, останавливались иной разъ на улицѣ. Бывало, въ передней сидишь, сердце радуется, каково нашъ-то отличается. Иногда такъ жалобно играютъ, что даже истома возьметъ,—отмѣнно играли. Ну, впрочемъ, какъ оставили музыку, такъ больше стали сбиваться, по нашему замѣчанію.

— Да развѣ онъ совсѣмъ не игралъ дома послѣднее время?

— Больше двухъ годовъ-съ. Разъ Софія Николаевна, сестрица ихъ, бывши въ ихъ комнатѣ, открыли клавикордъ и такъ взяли одну акорду: «Вечеркомъ красна дѣвица». А Евгеній Николаевичъ только глухо сказали: «Зачѣмъ это вы, сестрица, Боже мой». Да такъ, какъ пласть и упали, потомъ сдѣлались спазмы, слезы и смѣхъ-съ,—съ полчаса продолжалось. Дохтуръ говорить: нервы у нихъ такъ разстроены, не могутъ слышать музыки. Такъ съ тѣхъ поръ нашъ домъ и замолкъ-съ. А имъ все хуже; въ лицѣ много перемѣны, старѣютъ... Такъ жаль, что сказать нельзя, больше все молчатъ, а иногда слово одно скажутъ: «Ты усталъ чай, (спиридонъ, поди-ка да лягъ)», такимъ трогательнымъ голосомъ и взглядъ такой добрый у нихъ сдѣлается, и видно самимъ-то имъ плохо, наболѣло на сердцѣ; вотъ тѣ и богатства и все,—иной разъ доложить вамъ откровенно слеза прошибетъ.

— Мнѣ Филиппъ Даниловичъ говорилъ, что у Евгенія Николаевича какая-то исторія была съ горничной.

— Дѣло точно было-съ. И она, эта самая Ульяна, доводится мнѣ сродни, племянница, сестрина дочь. Наварила каша, чего сама не стоитъ,—а добрейшая душа была, ей-Богу-съ. Жаль, что баринъ тогда такъ къ сердцу приняли и огорчились. Просто дуру слѣдовало проучить и все тутъ; и она благодарить стала бы потомъ, ей всего было лѣтъ восемнадцать, какой умъ въ эти лѣта, къ тому же баловство-съ.

— Да въ чемъ же дѣло-то?

— Извольте видѣть, Ульяна эта у Софіи Николаевны при комнатѣ находилась, и барыня ее жаловали, умница такая была. Былъ у насъ тоже-съ человѣкъ Федоръ, человѣкъ пьющій, но впрочемъ игралъ на скрышкѣ отмѣнно; только рука ужъ очень дрожала отъ горячихъ напитковъ, а чести былъ примѣрной. Вотъ Федоръ этотъ возьми и обучи пѣсни пѣть Ульяну, голосомъ она брала-съ и на музыку пренятливая. Такъ это шло годъ, другой и никто подумать не могъ, что за катавасія выйдетъ. Баринъ нашъ слышали нѣсколько разъ, какъ Ульяна поетъ, и говорятъ сестрицѣ: вѣдь, это кладъ, дайте ей, молъ, вольную, а я ее пѣвицей сдѣлаю. Вотъ извольте замѣтить, какая душа, не хотѣли, чтобы, обучившись, крѣпостной осталась. Сестрица имъ въ глаза

смотрѣли: «сейчасъ, молъ, Енюша», и отпускную совершила. Учитель ходилъ изъ нѣмцовъ, иной разъ съ нами вступалъ въ разговоръ, шинель когда подаешь или что, приостановится, не гордой, былъ простой,—вотъ какъ вы теперь изволите примѣромъ со мной разговаривать,—ну, говорилъ онъ, а помѣщикъ вашъ въ музыкѣ собаку съѣлъ, мнѣ у него учиться приходится и голосъ у фрейленъ Юльхенъ оченно прекрасенъ; да и глаза-то у нея не дурны, философъ-то вашъ знаетъ, гдѣ раки зимуютъ. Ну, такъ, бывало, посмѣмся для балагурства, а то въ самомъ-то дѣлѣ онъ у насъ велъ себя, какъ красная дѣвица, только къ церкви не былъ прибѣженъ и постовъ не соблюдалъ. Однако, мы стали замѣчать ужъ и промежъ себя, что Евгенийъ Николаевичъ очень руководствуются Ульяной. Ужъ и сестрица-то перепужались, что, молъ, много воли заберетъ. Но только она никому вреда никогда не дѣлала и смысла не имѣла о томъ; такъ дѣтской, пустой нравъ, безъосновательной,—поетъ себѣ, бывало, день-деньской да конфетъ закупить, а грубаго слова никто не слыхалъ, со всѣми преласковая была. Къ тому случаю у Евгения Николаевича будъ камердинеромъ Архипъ. Съ дѣтства при нихъ состоялъ, только былъ года четыре помоложе, казачкомъ такъ поступилъ съ малолѣтства къ Евгению Николаевичу на половину. И кто его знаетъ, какой человѣкъ, не то что дурной, а безалаберной и нерегулярной. Пить пойдетъ, весь домъ поить до положенія ризъ и съ себя все спуститъ, часы, жилетку, исподнее. Баринъ его жаловали очень, съ дѣтства, на примѣръ, росли вмѣстѣ и, что ему давали, невѣроятно, они же забывчивы. Евгенийъ Николаевичъ ему вѣрили, какъ самому себѣ. Вотъ этотъ самый Архипъ и сбилъ съ толку Ульяну. Мудрено ли глупую дѣвку съ ума свести, а ужъ это до добра въ домѣ никогда не доводитъ; на сторонѣ развѣ мало есть, слава Богу, этого снадобья довольно, Петербургъ не клиномъ сошелся. Сначала все шло благополучно, вдругъ только случись такая бѣда, что у насъ въ домѣ отродясь не бывало: у барина изъ шкапки пропало двѣ тысячи рублей. Евгенийъ Николаевичъ, изволите видѣть сами, какой человѣкъ, самый безсчетный, они бы, можетъ, и не догадались, но деньги-то слѣдовало сестрицѣ отдать, они ихъ и приготовили съ вечера, утромъ хватъ-похватъ, а денегъ нѣтъ. Поднялся въ домѣ гвалтъ, Архипъ нашъ суетится, ищетъ, платья швыряетъ, волосы на себѣ рветъ—денегъ нѣтъ. Баринъ-то и ничего, словно не его дѣло, но Софія Николаевна расходилась, говорить,—это дѣло Федьки музыканта, онъ все пьянъ, откуда деньги беретъ. Такъ-съ женское разсужденіе, видите—на вино эдакой кушъ укралъ. Взялъ я смѣлость и говорю: вы меня простите, барыня, а только Федоръ человѣкъ слабый, точно, но воровъ не будетъ, я его съ малолѣтства знаю. Ты, говорить,

молчи, да за себя отвѣчай, и Федора отправили при запискѣ во вторую адмиралтейскую. Жаль мнѣ стало старика, такъ, мочи нѣтъ, сошелъ я въ людскую, да и говорю: ребята, если воръ дома, слѣдуетъ его сыскать и выдать, а стараго человѣка и невиннаго не приходится отдать на терзаніе, хоша на то и барская воля, но мы, въ очистку себя и его, вора поймать должны. Всѣ наши говорятъ въ одно слово, какъ не сыскать вора, коли дома. Ну, думаю, стой, не уйдешь ты, голубчикъ, отъ нашего глаза, а самъ пошелъ наверхъ и присматриваюсь часокъ-другой, такъ, какъ будто не мое дѣло. Вижу я-съ эдакъ въ Архипѣ перемѣну, э, братъ, это не модель,—суетится слишкомъ Архипъ, ищетъ послѣ обѣда за диваномъ, извольте знать, у насъ что называются турецкимъ диваномъ, подушки по стѣнѣ. Что, молъ, ты это Архипъ хлопочешь? Да что, говорить, все эти проклятыя деньги, такая бѣда.

— Да какъ же, молъ, деньгамъ попасть за диванъ?

А онъ мнѣ въ отвѣтъ: — Да вотъ, молъ, подите съ полоумнаго спрашивайте отчетъ, все побросаетъ, а потомъ ищи за нимъ, да еще чего добраго скажутъ, что кто-нибудь укралъ.

Посмотрѣлъ я ему въ глаза, вижу взглядъ не хорошъ, ну, думаю, была не была—то есть Федора мнѣ было смерть жаль, да и на домъ похула не хороша,—я таки, не говоря худого слова, хватъ его въ грудь, да и на полъ, тутъ я его колѣнкой прижать да и говорю: «ну, признавайся, мошенникъ, твое это дѣло, а другихъ не марай и за себя не губи». Онъ такъ оторопѣлъ, что ни слова. На этотъ шумъ выходитъ баринъ. Я ему докладываю: батюшка, молъ, Евгеній Николаевичъ, извольте меня на поселенье послать, какъ угодно, а деньгамъ вашимъ воръ никто иное, какъ Архипъ. — Да ты, братецъ, пьянъ, баринъ-то мнѣ въ отвѣтъ—оставь его, какъ воровъ называть?

— Нѣтъ-съ, говорю, воля ваша, а я не пьянъ и до квартальнаго надзирателя его не пушу. Что Федора, невиннаго человѣка, сестрица ваша отправила въ часть, это Богъ разсудить. А воръ вашихъ денегъ вотъ.

— Баринъ эдакъ пріостановился, подумалъ и такимъ тихимъ и грустнымъ голосомъ сказалъ: Архипъ, неужели въ самомъ дѣлѣ? Не выдержалъ Архипъ, въ три ручья залился, рванулся отъ меня и барину въ ноги. «Виновать, говорить, кругомъ виновать и запыраться не намѣренъ. Запутался я въ одномъ нечистомъ дѣлѣ, мнѣ приходилось въ острогъ идти или выкупиться, ну, лукавый подтолкнулъ меня. Готовъ я всякое наказаніе принять, а деньги ваши, Евгеній Николаевичъ, еще цѣлы». При этомъ онъ, въ азартѣ, расплаканный, вытащилъ изъ кармана ассигнаціи, завернутыя въ бумажку, и подаль.

Баринъ все время не говорили ни слова, только взявши деньги, они вздрогнули и вышли вонъ. А Архипъ такъ и взвылъ: посажу себѣ пулю въ лобъ, не хочу больше горе мыкать, лучшаго я не достоинъ. Господи, что я надѣлалъ, вѣдь деньги-то были завернуты въ Ульянино письмо,—сгубилъ я себя и ее.

«Спиридонъ», позвалъ баринъ изъ кабинета,—я взошелъ. А Архипъ такъ и остался на колѣняхъ, расплаканный, индо самому мнѣ жаль его стало. Баринъ стояли близъ дверей, прислонившись къ стѣнѣ, такой страшной, будто не живой, губы посинѣли; они два раза хотѣли что-то сказать,—и не могли, голоса не было, потомъ они такъ ручку приложили ко лбу,—плохо-съ имъ было. Обратились съ силами, наконецъ, и говорятъ такимъ глухимъ голосомъ: —«Спиридонъ, никто въ домѣ не знаетъ, что было. Такъ вотъ поди сюда, вотъ отпускная Архипа и еще отпускная—тутъ они остановились, однако такъ и не сказали — такъ ты имъ отдай, да устрой, чтобы сейчасъ изъ дому переѣхали, только сейчасъ, не мѣшкая, возьми, сколько надобно, денегъ изъ тѣхъ. Да ты, Спиридонъ, сдѣлай это все помягче, понимаешь: ну, да хорошо, ступай», прибавилъ онъ, видя, что слова-то не выходятъ.

Ну, ужъ какъ обѣдная Ульяна плакала, у меня сердце надорвалось. И взять ничего не хотѣла своего, у меня ничего, говорить, нѣтъ собственнаго. Хоть бы взглянуть еще разъ на него, прощенья бы попросить, руку бы поцѣловать. Вѣдь, какъ добръ-то онъ былъ ко мнѣ, какъ ласково смотрѣлъ,—пусть бы, кажется, побилъ меня, все лучше бы было. Ну, я говорю, послушай Уля, о томъ надобно было думать прежде, а теперь убирай-ка свои пожитки. Пока я съ ней хлопоталъ, привелъ полицейской Федора и комиссаръ съ нимъ, говорить, сколько мы его не принимались съъчь, не признается, видно деньги не онъ укралъ. Я посмотрѣлъ, Федоръ въ лицѣ не хорошъ. Комиссаръ говоритъ: барынѣ слѣдуетъ допросить другихъ, на кого есть подозрѣнiе; она пошла къ братцу, что-то по-французски потолковали, вдругъ она выходитъ въ залъ и говоритъ комиссару: «Представьте, какой случай, братъ мой нашелъ деньги, мнѣ право совѣстно, что васъ даромъ обезпокоили». —«Помилуйте, это наша обязанность», говоритъ комиссаръ, а она ему красненькую, да Федора приказала чаемъ напоить.

Я вечеромъ взошелъ съ докладомъ, баринъ сидѣлъ за столомъ, опершись на обѣ руки. Увидѣвши меня, онъ какъ съ испуга вскочилъ, поднялъ руку и сказалъ: «Не нужно». Съ тѣхъ поръ и помину не было объ этой исторiи. Тѣмъ дѣло почитай и кончилось. Ну, только Федоръ слегъ въ постель, да мѣсяца черезъ два и померъ. Невинную душу загубила Софья Николаевна. Наше крѣпостное дѣло, не приведи Богъ!

— Я не понимаю въ этой исторіи одного, какъ же Уляна могла такъ сблизиться съ Архиномъ,—изъ вашихъ словъ видно, что она Евгенія Николаевича любила.

— Да еще какъ-съ. Вотъ теперь третій годъ пошелъ, какъ она выбыла изъ дома, безъ слезъ ни разу не говорила о баринѣ и Архипъ ей совсѣмъ опостылѣлъ; онъ, впрочемъ, ушелъ въ солдаты охотникомъ, мы объ немъ не слышали послѣ. Все вѣтренность-съ и баловство. По нашему простому разсужденію, извольте видѣть, Уляна и не подумала, ей и въ голову не приходило, что она барину въ самомъ дѣлѣ что-нибудь значить. Вѣдь, все же онъ былъ баринъ, не могла же она его не бояться, быть его ровней, не могла эдакъ вольной духъ имѣть съ нимъ, какъ съ Архиномъ, они же по характеру всегда серьезны бывали. Извольте сами знать, молодость кипить, все бы смѣхи да дурачества. Ну, Архипъ мелкимъ бѣсомъ, бывало, разсыпается, и пляшетъ, и на торбанѣ играетъ, и кроновскимъ пивомъ подчуетъ, и мороженымъ угощаетъ, всякой подъ Богомъ ходить, оно нехорошо потачку давать, но такъ къ слову, по человѣчеству разсудить, такъ оно и понятно. Въ самый день нашего отъѣзда, утромъ изъ рестораціи съ Сучка, гдѣ мы обыкновенно чай пивали, прибѣгаетъ за мной половой, говоритъ, барыня васъ требуетъ какая-то. Что, думаю, за пропасть, однако пошелъ. Смотрю, Уляна сидитъ и опять заливается слезами. Дяденька, говоритъ, уладьте, какъ хотите, мнѣ бы хоть взглянуть на Евгенія Николаевича, и что у нихъ за сердце, за жесткое, что гнѣваются такъ долго; меня, говоритъ, въ театръ въ хористки взяли, ему вѣдь я обязана, что нѣтъ обучилъ. Хотѣ бы поблагодарить, слово одно сказать, камень точно на сердцѣ. Да еще Василиса говоритъ, что и болѣзнь ихъ все черезъ меня, — жизнь мнѣ не мила. Не хотѣлось мнѣ долго барина беспокоить, но вижу, она никакого интереса не имѣетъ, а сильно кручинится, думаю, что же, головы не сниметъ. Вхожу въ кабинетъ, Евгений Николаевичъ какъ обыкновенно сидятъ въ задумчивости, видъ ничего, добрый. Я эдакъ, немного позамявшись, говорю: да вотъ еще, Евгений Николаевичъ, я осмѣлюсь доложить, такъ ужъ очень меня просила... Вдругъ у нихъ глаза такъ сверкнули, лицо перемѣнилось. Я поскорѣе за чемоданъ. Она потомъ, бѣдняжка, въ людской спряталась, чтобы въ окно взглянуть, когда мы поѣдемъ, тутъ я Филиппу Даниловичу ее показывалъ...

— Я вамъ очень, очень благодаренъ, сказать я Спиридону; ну, пойдете-ка въ наше Croce di Malta, да выпьемте послѣднюю рюмку марсалы за здоровье бѣдной Уляны. Мнѣ ее жаль, несмотря ни на что.

— Точно-съ, не наше дѣло чужіе грѣхи судить, и за ваше, сударь, здоровье, съ тѣмъ вмѣстѣ, прибавилъ Спиридонъ...

С. Елень, возлѣ Ниццы. Зимой, 1851.

Трагедія за стаканомъ грока.

Тебѣ, другъ мой Тата, дарю я этотъ
разсказъ въ память нашего свиданія въ
Неаполѣ.

28 сентября, 1863 г.

Очерки, силуеты, берега непрерывно возникаютъ и теряются, влетаясь своей тѣнью и своимъ свѣтомъ, своей ниткой въ общую ткань движущейся съ нами картины.

Этотъ мимолетный міръ, это проходящее, все идетъ и все не проходитъ, а остается чѣмъ-то *всегдашнимъ*. Мимо идетъ, видно, *вѣчное*, оттого оно и не проходитъ. Оно такъ и отражается въ человѣкѣ. Въ отвлеченной мысли—нормы и законы; въ жизни—мерцаніе едва уловимыхъ частныхъ и пропадающихъ формъ.

Но въ каждой задержанной былинкѣ несущагося вихря тѣ же мотивы, тѣ же силы, какъ въ землетрясеніяхъ и переворотахъ, и буря въ стаканѣ воды, надъ которой столько смѣялись, вовсе не такъ далека отъ бури на морѣ, какъ кажется.

I.

Я искалъ загородный домъ. Утомившись одними и тѣми же вопросами, одними и тѣми отвѣтами, — я взошелъ въ трактиръ, передъ которымъ стоялъ столбъ и на столбѣ красовался портретъ Георга IV—въ мантии, шитой на манеръ той шубы, которую носить бубновый король, въ пудрѣ, съ взбитыми волосами и съ малиновыми щеками. Георгъ IV, повѣшанный какъ фонарь и нарисованный на большомъ желѣзномъ листѣ, не только видомъ напоминалъ путнику о близости трактира, но и какимъ-то нетерпѣливымъ скрежетомъ петель, на которыхъ онъ висѣлъ.

Сквозь сѣни былъ виденъ садъ и лужайка для игры въ шары; я прошелъ туда. Все было въ порядкѣ, то есть совершенно такъ, какъ бываетъ въ загородныхъ трактирахъ подъ Лондономъ. Столы и скамьи подъ трельяжемъ, раковины въ видѣ

руинъ, цвѣты, посаженные такъ, чтобы вышелъ узоръ или буква; лавочки сидѣли за всеми столами съ супругами (можетъ быть, не съ своими) и тяжело напивались пивомъ, сидѣльцы и работники играли шарами тяжести и величины огромнаго пушечнаго ядра, не выпуская изъ рта трубки.

Я спросилъ стаканъ гроку, усаживаясь въ стойло подъ трель-жемъ.

Толстый слуга въ очень истертомъ и узкомъ черномъ фракѣ, въ черныхъ и лоснящихся панталонахъ, приподнялъ голову и вдругъ, какъ обожженный, повернулся въ другую сторону и закричалъ: «Джонъ—водки и воды въ 8-й №». Молодой, неловкій и рябой до противности малый принесъ подносъ и поставилъ передо мной.

Какъ ни быстро было движеніе толстаго служителя, но лицо его мнѣ показалось знакомо; я посмотрѣлъ,—онъ стоялъ спиной ко мнѣ, прислонясь къ дереву. Фигуру эту я видѣлъ; но какъ ни ломалъ себѣ голову, вспомнить не могъ; удрученный, наконецъ, любопытствомъ и улучивъ минуту, когда Джонъ побѣжалъ за пивомъ, я позвалъ слугу.

— Yes, Sir! отвѣчалъ спрятавшійся за дерево слуга, и, какъ человѣкъ, однажды рѣшившійся на трудный, но неотвратимый поступокъ, какъ комендантъ, вынужденный сдать крѣпость,—онъ бодро и величественно подошелъ ко мнѣ, нѣсколько помахивая грязной салфеткой.

Эта величественность и показала мнѣ, что я не ошибся, что я имѣю дѣло съ старымъ знакомымъ.

... Три года тому назадъ останавливался я на нѣсколько дней въ одномъ аристократическомъ отелѣ на Isle of Wight. Въ Англии эти заведенія не отличаются ни хорошимъ виномъ, ни изысканной кухней, а обстановкой, рамами, и на первомъ планѣ—при-слугой. Офиціанты въ нихъ совершаютъ службу съ важностію нашихъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ прежняго времени—и современныхъ камергеровъ при нѣмецкихъ заднихъ дворахъ.

Главнымъ Waiter'омъ въ Royal Hotel былъ человѣкъ непри-ступный, строгій къ гостямъ, взыскательный къ живущимъ; онъ бывалъ снисходителенъ только къ людямъ привычнымъ къ отель-ной жизни. Новичковъ онъ не баловалъ и вмѣсто ободренія—взглядомъ обращалъ назадъ дерзкій вопросъ, «какъ могутъ кот-лета съ картофелемъ и сыръ съ латукомъ стоять 5 шилл.?» Во всемъ, что онъ дѣлалъ, была обдуманность, потому что онъ ни-чего не дѣлалъ просто. Въ градусѣ поворота головой и глазами и въ тонѣ, которымъ онъ отвѣчалъ Yes, Sir, можно было до мелочи знать лѣта, общественное положеніе и количество издержи-ваемыхъ денегъ господина, который звалъ.

Разъ, сидя одинъ въ кабинетѣ съ открытымъ окномъ, я его спросилъ: позволяютъ ли здѣсь курить. Онъ отступилъ отъ меня къ двери—и, выразительно глядя на потолокъ, онъ мнѣ сказалъ голосомъ, въ которомъ дрожало негодованіе:

— «Я, Sir, не понимаю, Sir, что вы спрашиваете?»

— Я спрашиваю, можно-ли курить здѣсь? сказалъ я, поднимая голосъ, что всегда удается съ вельможами, служащими въ Англіи за трактирнымъ столомъ.

Но это былъ не обыкновенный вельможа, — онъ выпрямился, но не потерялся, а отвѣчалъ мнѣ съ видомъ Каратыгина въ Коріоланѣ:

— «Не знаю, въ мою службу, сэръ, этого не случалось, *такихъ* господъ не бывало—я справлюсь у губернатора»...

Не нужно и говорить, что губернаторъ велѣлъ меня за такую дерзость конвоировать въ душный smoking room, куда я не пошелъ.

Несмотря на гордый нравъ и на постоянно бдящее чувство своего достоинства и достоинства Royal Hotel, главный Waiter сдѣлался ко мнѣ благосклоненъ, и этому я обязанъ не личнымъ достоинствомъ, а мѣсту рожденія, — онъ узналъ, что я русскій. Имѣлъ ли онъ понятіе о вывозѣ пеньки, сала, хлѣба и казеннаго лѣса, я не могу сказать, — но онъ положительно зналъ, что Россія высылаетъ за границу огромное количество князей и графовъ, и что у нихъ очень много денегъ. (Это было до 19 февраля 1861 г.).

Какъ аристократъ по убѣжденіямъ, по общественному положенію и по инстинктамъ, онъ съ удовольствіемъ узналъ, что я русскій. И желая поднять себя въ моихъ глазахъ и сдѣлать мнѣ пріятное, онъ какъ-то, граціозно играя листкомъ плюща, висѣвшаго надъ дверью въ садъ, обратился ко мнѣ съ слѣдующей рѣчью:

— «Дней пять тому назадъ я служилъ вашему великому князю, — онъ пріѣзжалъ съ ея величествомъ изъ Осборна».

— А!

— «Ея величество, His Highness, кушали лончъ; вашъ эрцдюкъ очень хорошій молодой человекъ», прибавилъ онъ, одобрительно закрывая глаза, — и, ободривъ меня такимъ образомъ, поднялъ себрюную крышку, подъ которой не простывала цвѣтная капуста.

Когда я поѣхалъ, онъ указалъ мизинцемъ дворнику на мой дорожный мѣшокъ, но и тутъ, желая засвидѣтельствовать свою благосклонность, схватилъ мою записную книжку и самъ ее донесъ до кеба. Прощаясь я ему подалъ гафкрону—сверхъ взятаго за службу; онъ ее не замѣтилъ, и она какимъ-то чародѣйствомъ опустилась въ карманъ жилета, такой бѣлизны и крахмальной упругости, которыхъ мы съ вами не допросимся у прачки...

...Ба! — сказала я, сидя въ стойлѣ трактирнаго сада служителю, подававшему мнѣ спички; да мы старые знакомые!..

Это былъ онъ.

— «Да, я *здѣсь*» — сказалъ Waiter, — и вовсе не былъ похожъ ни на Каратыгина, ни на Кориолана.

Это былъ человѣкъ, разбитый глубокимъ горемъ, въ его видѣ, въ каждой чертѣ его лица выражалось невыносимое страданіе, человѣкъ этотъ былъ убитъ несчастьемъ. Онъ сконфузилъ меня. Толстое румяное лицо его, откормленное до арбузной упругости и полноты мясами Royal Hotel'я, висѣло теперь неправильными кусками, обозначая какъ-то мускулы въ лицѣ; черные бакенбарды его, подбритые на поллицѣ, съ необыкновенно удачнымъ выемомъ къ губамъ, одни остались памятникомъ инаго времени.

Онъ молчалъ.

— Вотъ не думалъ... сказалъ я чрезвычайно глупо.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ видомъ пойманнаго на дѣлѣ преступника и потомъ окинулъ глазами садъ, деревянныя скамьи, пиво, шары, сидѣльцевъ и работниковъ. Въ его памяти очевидно воскресалъ богатый столъ, за которымъ сидѣли русскіе эрцдюкы и ея величество, за которымъ стоялъ онъ самъ, благоговѣйно нагнувшись и глядя въ садъ, посаженный по кишеску и вычищенный какъ будуаръ... воскресала вся столовая, съ ненужными вазами и кубками, съ тяжелыми, толстыми шелковыми занавѣсами и его собственный безукоризненный фракъ воскресалъ, и бѣлыя перчатки, которыми онъ держалъ серебряный подносъ со счетомъ, приводившимъ въ уныніе неопытнаго путника...

А тутъ — гамъ играющихъ въ шары, глиняныя трубки, плебейскій джинватеръ и вѣчное пиво draft.

— «Тогда, Sir, было другое время, сказалъ онъ мнѣ, а теперь другое!..»

«Waiter, закричалъ нѣсколько подгулявшій сидѣлецъ, стуча оловянной стошкой по столу, пинту гафанафъ, да скорѣе, please!»

Мой старый знакомый взглянулъ на меня и пошелъ за пивомъ; въ его взглядѣ было столько униженія, стыда, презрѣнія къ себѣ, столько помѣшательства, предшествующаго самоубійству, что у меня морозъ пробѣжалъ по жиламъ. Сидѣлецъ сталъ расплачиваться мѣдью, я отвернулся, чтобы не видѣть лишній пенсъ.

Плотина была прорвана, — ему хотѣлось сказать мнѣ что-нибудь о переворотѣ, низвергнувшемъ его изъ Royal Hotel'я въ «Георга IV». Онъ подошелъ ко мнѣ безъ моего зова и сказалъ:

— «Я очень радъ васъ видѣть въ полномъ здоровьи».

— Что намъ дѣлается!

— «Какъ это вамъ вздумалось прогуляться въ наши заходы?»

— Домъ ищу.

— «Домовъ много, вотъ тутъ, пройдя шаговъ десять направо, да еще другой. А насчетъ того, что со мной случилось, это точно замѣчательно».

— «Все, что я заработалъ съ малыхъ лѣтъ, все погибло, все до фардинга... Вы вѣрно слышали о Типерарскомъ банкротствѣ— именно тутъ-то все и погибло. Я въ газетахъ прочиталъ, сначала не повѣрилъ, бросился какъ поврежденный къ солиситору; тотъ говорить: «оставьте всякое попеченіе, вы не спасете ничего, а только послѣднее израсходуете,—вотъ, на примѣръ, мнѣ за свѣтъ потрудитесь 6 шилл. 6 пенсовъ отдать». Ходилъ я, ходилъ по улицамъ—день цѣлый ходилъ; думаю, что-жъ тутъ дѣлать, со скалы да и въ море—самому утопиться да и дѣтей утопить; я даже испугался, когда ихъ встрѣтилъ. Слегъ я больнымъ, — это въ нашемъ дѣлѣ первѣйшее несчастіе; черезъ недѣлю воротился къ службѣ,—разумѣется лица нѣтъ, а внутри словно рана не даетъ покоя.—Гouverноръ раза два замѣтилъ, что видъ у меня печальный, что сюда, молъ, не съ похоронъ ѣздить, гости не любить печальныя фізіономіи. А тутъ середь обѣда я уронилъ блюдо, отроду подобнаго случая не бывало. Гости хохочутъ, а содержатель вечеромъ отзываетъ меня въ сторону и говорить: «Вы ужъ себѣ поищите другое мѣсто,—у насъ нельзя служить невоздержному человѣку».—Какъ, говорю я,—я былъ боленъ.—«Ну такъ и лечитесь, а здѣсь для *такихъ* мѣста нѣтъ». Слово за слово пошло крупно; онъ мнѣ въ отместку ославилъ по всѣмъ отелямъ пьяницей и буянномъ. Какъ ни бился, нѣтъ мѣста. Перемѣнилъ я имя, какъ какой-нибудь воръ, и сталъ искать хоть въ время мѣсто,—нѣтъ какъ нѣтъ; между тѣмъ все, даже серьги и брошка жены—ей ихъ подарила герцогиня, у которой она жила четыре года въ должности Upperlady-maid—все пошло на крючекъ. Пришлось закладывать платье, — это у насъ первая вещь, безъ платья ни въ одно хорошее заведеніе не примутъ. Служилъ я иногда во временныхъ буфетахъ, и въ этой бродячей жизни совсѣмъ обносился. Я и самъ не знаю, какъ меня принялъ хозяинъ Георга IV, — и онъ взглянулъ съ отвращеніемъ на свой старый фракъ... Кусокъ хлѣба могу для дѣтей заработать, и жена... она теперь... онъ приостановился—она стираетъ на другихъ, не надобно ли вамъ, Sir, вотъ карточка... она очень хорошо стираетъ. А прежде никогда... никогда... она... ну, да что толковать, — гдѣ-же нищимъ выбирать работу. Лишь бы *милости* не просить,—а только тяжело...»

Слеза, дрожавшая на рѣсницѣ, блеснула и капнула на его грудь, уже не покрытую жилетомъ изъ лубка или латуни съ бѣлой эмалью.

— Waiter! кричали съ другой стороны.

— «Yes, Sir!»

Онъ ушелъ и я тоже.

II.

Такой искренней, разрушающей боли я давно не видалъ. Человѣкъ этотъ явнымъ образомъ подавался подъ тяжестью удара, разрушившаго его существованіе, и, конечно, страдалъ не меньше всѣхъ падшихъ величинъ, прибываемыхъ со всѣхъ сторонъ къ англійскому берегу...

Не меньше?.. Да полно, такъ ли? Не больше ли въ десять, во сто разъ страдалъ онъ, чѣмъ Людвигъ Филиппъ напр., жившій возлѣ «Георга IV?»

Крупныя страданія, передъ которыми обыкновенно останавливаются цѣлыя столѣтія, пораженныя ужасомъ и состраданіемъ, большею частью достаются крупнымъ людямъ. У нихъ бездна силъ и бездна врачеваній. Удары топора въ дубъ раздаются по цѣлому лѣсу, раненое дерево стоитъ себѣ, потряхивая верхушкой, а трава грядой падаетъ, подрѣзанная косой, и мы, не замѣчая, топчемъ ее ногами, идучи за своимъ дѣломъ. Я наглядѣлся на столько несчастій, что сознаю себя знатокомъ, экспертомъ въ этомъ дѣлѣ, и потому-то у меня перевернулось сердце при видѣ обнищавшаго слуги, у меня, видѣвшаго столько великихъ нищихъ.

...Знаете ли вы, что значитъ вездѣ, и особенно въ Англій, слово *нищій* — beggar, — произнесенное имъ самимъ? Въ этомъ словѣ заключается все: средневѣковое отлученіе и гражданская смерть, презрѣніе толпы, отсутствіе закона, судьи... всякой защиты, лишеніе всѣхъ правъ... даже права просить помощи у ближняго...

...Усталый, оскорбленный, возвращался этотъ человѣкъ въ свою конуру изъ «Георга IV», преслѣдуемый своими воспоминаніями, съ своей открытой раной въ груди, — и тамъ его встрѣчала старшая горничная герцогини, сдѣлавшаяся по его милости прачкой. Сколько разъ, должно быть, безсильный, чтобъ наложить на себя руки, то есть покинуть дѣтей на голодную смерть, онъ искалъ облегченія у единаго утѣшителя бѣдныхъ и страждущихъ, у Джина, у оклеветаннаго Джина, снявшаго на себя столько бремени, столько горечи и столько жизней, которыхъ продолженіе было бы одно безвыходное страданіе, одна боль въ невидимой мглѣ...

...Все это очень хорошо, да почему этотъ человѣкъ не сталъ выше своего несчастія? Въ сущности быть напыщеннымъ лакеемъ въ Queen's Hotel или скромнымъ половымъ «Георга IV» разницы не Богъ знаетъ какая...

— Для философа, но онъ былъ трактирнымъ слугой, въ ихъ числѣ рѣдко бываютъ философы,—я помню только двухъ: Эзопа и Ж. Ж. Руссо,—да и то послѣдній въ молодыхъ лѣтахъ оставилъ свою профессю. Впрочемъ, спорить нельзя, гораздо было бы лучше, если бы онъ *могъ* стать выше своей бѣды, — ну, а если *не могъ*?

Да зачѣмъ-же не могъ?

Ну, ужъ это вы спрашивайте у Маколея, Лингарда и пр..., а я вамъ лучше когда-нибудь расскажу о другихъ *нищихъ*.

— Да, я зналъ *великихъ нищихъ*, — и потому-то, что я ихъ зналъ, я и жалѣю слугу въ «Георгѣ IV», а не ихъ.

Скуки ради.

I.

Я сѣлъ въ вагонъ въ самомъ скверномъ расположеніи духа: ѣхать въ путь, когда не хочется, скучно, ѣхать на леченіе — еще скучнѣе; но чувствовать себя ко всему этому совершенно здоровымъ... этого и выразить нельзя...

Быть не въ духѣ, скучать, капризничать можно, когда кто-нибудь этимъ огорчается, занимается, когда кто-нибудь развлекается, а сидѣть въ вагонѣ и знать, что никому дѣла нѣтъ до этого, что никто не обращаетъ вниманія, это выше силъ человѣческихъ.

Я попробовалъ придратъ къ сосѣду за то, что у него дорожный мѣшокъ великъ, и нарочно сказалъ ему: «вашъ чемоданъ мнѣ мѣшаетъ». Дуракъ извинился и переложилъ, съ кротостью, мѣшокъ на другое мѣсто.

Поэты говорятъ, что вынести они могутъ многое, но что имъ надобно *пропѣть* свое горе. Пропѣть кому-нибудь — пѣть безъ уха слушающаго такъ-же трудно, какъ легко пѣть безъ голоса... Ухато, уха пригоднаго у меня не доставало. Впрочемъ, подумалъ я, поэты для большаго удобства поютъ чернилами, — а я буду капризничать карандашемъ... Затѣмъ, я вынулъ изъ кармана только что купленный *Memorandum* и еще разъ окинулъ взглядомъ сосѣдей. Ихъ было четверо — четыре въ четырехъ углахъ. Когда это они успѣли забиться, сейчасъ насъ спустили изъ *salle d'attente!* Что за безобразныя рожи! Надобно правду сказать, родъ человѣческой некрасивъ. Черезъ двѣ станціи трое вышли и, едва я успѣлъ броситься въ уголъ, вошли трое другихъ, еще хуже, — такъ и видно, что черепъ имъ жметъ мозгъ, какъ узкій сапогъ, что мысль ихъ похожа на китайскія ножки, на которыхъ ходить нельзя — слаба, мала, тѣсна... А жиру вволю. Средній классъ во Франціи очень потолѣлъ за послѣдніе двадцать лѣтъ.

Впрочемъ, на какомъ же основаніи ждалъ я Аполлоновъ Бельведерскихъ въ случайномъ наплывѣ, который зачерпывала желѣзная дорога, *chemin faisant*, почти не останавливаясь!

Красота вообще рѣдкость, есть цѣлые народы изъ *меньшихъ братій*, у которыхъ никакой нѣтъ красоты, напр., обезьяны со своими ирландскими челюстями, молодыми морщинами и выдавшимися зубами; лягушки съ глазами на выкатѣ и ртомъ до ушей... Да и часто ли встрѣчается красивая лошадь, собака? Одна природа постоянно красива, потому что мы на нее смотримъ издали, съ благородной дистанціи, къ тому же она намъ посторонняя и мы съ ней не ведемъ никакихъ счетовъ, не имѣемъ никакихъ личностей, смотримъ на нее, какъ чужіе, и просто не видимъ тѣхъ безобразій, которыя намъ бросаются въ глаза въ человѣческихъ лицахъ и даже въ звѣриныхъ, имѣющихъ съ нашими родственное сходство. А присмотришься къ лицамъ и, при всемъ ихъ безобразіи, не отвернешься. Лицо — послужной списокъ, въ которомъ все отмѣчено, паспортъ, на которомъ визы остаются. И какъ это все умѣщается между темемъ и подбородкомъ, все, съ малѣйшими подробностями, нескромностями и обличеніями, все вываяно бѣдными средствами мышцъ, жира, оболочекъ и костей! Не даромъ мнѣ Фанъ Муйденъ говорилъ: «чѣмъ больше я рисую, тѣмъ больше меня занимаютъ лица, одни лица, головы, фізіономіи; что за неисчерпаемое богатство оттѣнковъ выраженій» и невольныхъ исповѣдей, прибавилъ я.

Рѣшительно, я слишкомъ строго осудилъ тѣсные лбы, тѣснящіе черепа, толстые носы, глупые глаза, ненужные усы,—все оттого, что былъ не въ духѣ. Очень много уже бѣдъ было со мной еще до вагона. Передъ самымъ отъѣздомъ оторвалась пряжка у чемодана. Господи, какъ смѣшно, беспомощно стоитъ нашъ братъ передъ такой бѣдой... Если-бъ насъ между Расиномъ и Шиллеромъ немного учили шилу да иглѣ, взялъ бы да починилъ, а тутъ комическое отчаяніе и мрачныя разсужденія. Только что я успокоился на томъ, что безъ пряжки можно обойтись, стоитъ запереть чемоданъ,—ключъ пропалъ! Сейчасъ былъ здѣсь, вотъ на этомъ столѣ, какъ теперь вижу: перерывалъ, перебрасывалъ все,—ключа нѣтъ, и я, утомившись, сѣлъ на стулъ, самоотверженно скрестивъ руки на груди. Рази молъ, судьба, если еще есть стрѣла.

Какое счастье было въ старые годы, когда при ремнѣ, при ключѣ состоялъ камердинеръ, и на немъ можно было взыскать, зачѣмъ перегорѣлъ ремень и зачѣмъ самъ потерялъ ключъ. Ничего не можетъ быть вреднѣе для здоровья, какъ именно то, что нельзя вымѣстить на комъ-нибудь бѣду, поди тутъ и берегись.

Лонже, знаменитый фізіологъ, Лонже *de l'institut*, его авторитета не отведетъ никто,—разъ подымался со мной въ Монпелье по улицѣ, идущей вверхъ отъ медицинской школы. «Куда вы торопитесь,—сказалъ онъ мнѣ, останавливаясь:—не у всѣхъ такія

легкія, какъ у васъ, я вотъ не могу перевести духа. Погодите минуточку, я вамъ расскажу, отчего я задыхаюсь: это очень любопытно. Вы, вѣрно, знаете стараго дурака (здѣсь онъ называлъ одного академика, котораго имя такъ громко, что я не хочу обозначить его даже предательскими заглавными буквами), *il est tout ramolli*, а все презлая бестія; меня онъ терпѣть не могъ и вралъ на меня всякую чушь; я долго спускалъ ему, но, наконецъ, рѣшился ему дать урокъ. Какъ, говорю я ему, *вы*, негодный старикашка... и взялъ его за плечо (при этомъ онъ сдѣлалъ на мнѣ повтореніе манипуляціи,—я хоть и не *ramolli*, но чуть не вскрикнулъ), говорили то-то и то-то, да въ засѣданіи института, знаете ли что такихъ негодяевъ, клеветниковъ, какъ вы... А старикъ, перетрусивши, растерялся, началъ извиняться, увѣрялъ, что онъ не то говорилъ, что онъ впередъ не будетъ. Я бросилъ его и выбѣжалъ внѣ себя на улицу; вѣтеръ былъ скверный, я пришелъ домой и на другой день, *monsieur*, у меня сдѣлалась *pleurésie, monsieur*, и вотъ отчего я задыхаюсь. Не будь этотъ уродъ такой подлый, я бы ему далъ пинка, два пинка, и этимъ вся первая буря разрѣшилась бы покойно и естественно, и у меня не было бы плерези и я не задыхался бы! Экой извергъ!»

А ключей все нѣтъ, что же я буду дѣлать безъ нихъ? „*Sonner pour l'homme de charge trois fois*“, вставъ тихо и торжественно, подошелъ я къ звонку, жму три раза цуговку,—входитъ горничная.—Нѣтъ ли, *madame*, веревки перевязать чемоданъ?—«*De la ficelle, autant que monsieur voudra*». Она приноситъ веревку, я шарю въ карманѣ, чтобы сыскать франкъ, и нахожу ключъ.—Фу, какъ глупо! Я съ ненавистью посмотрѣлъ на его бородку, на его дырочку, даже швырнулъ его на полъ, потомъ поднялъ и бросился въ омнибусъ. Мелкій дождь, начавшійся съ утра, продолжался.

Въ омнибусѣ, очень сальномъ и пропитанномъ особымъ, но сквернымъ запахомъ, который распускался во весь букетъ въ сырую погоду, были отмежеваны мѣстечки для тощихъ и ночи безпозвоночныхъ французовъ. Втѣснившись кое-какъ и открывая окно, я сказалъ молодому человѣку, сидѣвшему противъ меня:

— «Какъ это странно, что въ Парижѣ такіе же скверные и неудобные омнибусы, какъ были лѣтъ двадцать тому назадъ: въ Лондонѣ, въ Швейцаріи вездѣ омнибусы гораздо лучше».

Молодой человѣкъ сконфузился, даже покраснѣлъ.

— Да,—сказалъ онъ,—конечно, *этотъ* омнибусъ не изъ лучшихъ, но есть прекрасные другой компаніи; впрочемъ, обратите вниманіе на лошадей: какія лошади!

Лошади были посредственныя, но патріотизмъ великъ. Что вы сдѣлаете со страной, которая такъ упорно, такъ ревниво, такъ

глупо, такъ упрямо вѣрять, что она краса всей планеты, что Парижъ «образцовый хуторокъ» человѣчества и фонарь, зажженный на планетѣ, по свѣту котораго она гордо несется по своей орбитѣ? Дѣло вовсе не въ томъ, чтобы быть хорошимъ или счастливымъ, а въ томъ, чтобы вѣровать въ свое превосходство и счастье.

II.

Между тѣмъ, мои сосѣди—не въ омнибусѣ, а въ вагонѣ—по-разговорились...

— Ну, что же скажете?

— Я боюсь одного, что Примъ—*un ambitieux* и эгоистъ...

— Это можетъ быть. Въ генералахъ нѣтъ никогда проку... Замѣтите, у насъ всѣ генералы были реакционеры: Ламорисьеръ, Шангарнье,—одинъ Шаросъ остался вѣрнымъ демократіи, но зато онъ былъ полковникъ, а не генераль.

— Все же онъ будетъ вынужденъ провозгласить республику, а это что-нибудь...

— Никогда не провозгласить,—замѣтилъ третій уголъ нѣсколько хриплымъ голосомъ. Голосъ этотъ издавалъ сѣдой, подстриженный подъ гребенку, господинъ лѣтъ пятидесяти, съ лицомъ Пелисье.

— Да на какой имъ чортъ республика? Одно слово, названіе. Испаніи надобно *либеральную власть*, порядокъ и свободу, а не республику. Я знаю Испанію.

— А вы бывали тамъ?

— Да, т.-е. не то, чтобы въ самой Испаніи, но бывалъ въ Байонѣ. Я работаю въ Маконахъ и по этой части бывалъ въ Байонѣ.

— А я такъ думаю, что если *только Англія*, стоящая на дорогѣ всякаго прогресса, не воспрепятствуетъ, то испанцы провозгласятъ республику.

— Вы ошибаетесь самымъ глубочайшимъ образомъ. Испанецъ слишкомъ гордъ, чтобы быть безъ короля. Грандъ какой-нибудь, весь покрытый звѣздами, какъ они представляютъ себя на фотографическихъ карточкахъ, перешедши спальней Эскуриала,—никогда не согласится быть простымъ гражданиномъ.

— Да, вѣдь, рано или поздно,—замѣтилъ нѣсколько подавленный глубокими политическими знаніями говорящаго молодой человѣкъ,—Европа будетъ же республикой.

— Европа?.. Никогда,—замѣтилъ рѣшительно Пелисье, работавшій въ Маконахъ, и даже провелъ рукой, какъ будто срѣзывая всякую возможность.

— Что же вы говорите,—а Швейцарія?

— Тутъ-то я васъ и ждалъ. Помилуйте, будто это республика? Я самъ бывалъ въ Женевѣ, насчетъ Божоле,—чортъ знаетъ что такое. Вся Швейцарія клочекъ земли, да и то еще негодный, покрытый горами да скалами, и этотъ клочекъ раздѣленъ на двадцать, что ли, клочечковъ, изъ которыхъ каждый, милостивый государь, считаетъ себя туда же самодержавнымъ, свободнымъ государствомъ, имѣетъ свой судъ, свою расправу, и настоящее правительство не мѣшайся... Вѣдь, это смѣшно! Ни силы, ни приличія, ни войска; правительство не пользуется никакимъ уваженіемъ. Знаете ли, кто президентъ швейцарскаго союза?.. Навѣрное нѣтъ. Да и я не знаю,—вотъ вамъ и республика. Я люблю, чтобы правительство было правительствомъ,—главное, чтобы оно дѣйствовало, *l'action c'est tout*. Гдѣ же дѣйствовать, когда каждый кантонъ кричитъ о себѣ, тянетъ на свою сторону. Силы нѣтъ, воли нѣтъ. Я самъ люблю свободу, но надобно признаться: республика просто не идетъ какъ-то къ современнымъ нравамъ, къ развитію промышленности и просвѣщенія.

— Позвольте! А Сѣверные Штаты?

— Я ихъ ненавижу, я... я ихъ терпѣть не могу. Для меня люди, занимающіеся однѣми денежными выгодами, одной наживой—не люди. Разумѣется, этимъ торгашамъ не нужно правительство: имъ достаточно конторы, факторіи. У нихъ нѣтъ души, сердце не бьется, нѣтъ этого *elan*, какъ у насъ. Ну, что же, заступились они за Польшу?

Молодой человѣкъ, подавленный Целисье, замолчалъ и взялъ газету; я сдѣлалъ то же.

Папа зоветъ протестантовъ и католиковъ на вселенскій сборъ и совѣтъ, чтобы положить предѣлъ и преграду избаловавшемуся уму человѣческому; конгрессъ мира въ Бернѣ кладетъ прочное основаніе... Война готовится со всѣхъ сторонъ... Все мой Целисье, работающій въ Маконахъ...

Цугъ. Въ высшее народное училище вызывается учитель чистой математики. Желаящій обязанъ представить, сверхъ удостоверенія своихъ знаній, свидѣтельство о католическомъ вѣроисповѣданіи. Вотъ это хорошо.

Франція. Двѣ женщины—мать и дочь, обвиняемая содержательницей пансіона, у которой онѣ жили на харчахъ, въ томъ, что онѣ, вопреки условія, взяли съ собой на работу съѣстные принасы (тѣ, которые онѣ имѣли право съѣсть), были, несмотря на честное поведеніе и крайнюю бѣдность, осуждены на три мѣсяца тюремнаго заключенія... И это не дурно... но скучно, однообразно. Великій Целисье! Дѣйствительно республика не идетъ къ современнымъ нравамъ. *Il faut de l'action!*

III.

— Все по глупости-съ,—оправдывается русскій человѣкъ, когда ему рѣшительно оправдаться нельзя.

— Ты, стало-быть, дуракъ!—говорить ему на этой власти имущій.

— Не всѣмъ быть умнымъ, надо кому-нибудь быть «дуракомъ»,—отвѣчаетъ онъ, если имущій власть безъ боя.

Хотя, собственно, настоятельной крайности въ дуракахъ нѣтъ, но, пожалуй, можно согласиться съ этимъ извиненіемъ. Только отчего же, въ свою очередь, нѣтъ такой ясно сознаанной потребности *въ умныхъ*? Мудрено ли послѣ этого, что міромъ владѣютъ «нищіе духомъ»,—тамъ, какъ большинство, тутъ, какъ одинъ за всѣхъ.

Въ сущности, все дѣлается по глупости, только никто не признается въ этомъ, кромѣ русскаго человѣка, и всѣ ищутъ всегда и во всемъ умныхъ причинъ и объясненій и потому идутъ всякій разъ направо, когда слѣдуетъ идти налево,—и запутываются дальше и дальше въ безвыходныхъ соображеніяхъ и затемняющихъ объясненіяхъ.

Люди выбиваются изъ силъ, отыскивая тайныя пружины, спрятанныя причины, глубокіе замыслы, сокровенныя связи, злостныя цѣли, коварные планы, обдуманныя ковы, — всего этого *вовсе нѣтъ* и придумано послѣ. Міръ идетъ гораздо наивнѣе и проще, чѣмъ кажется сквозь призму критики и рефлексій.

Деять десятыхъ всѣхъ злодѣйствъ дѣлаются по глупости и наказываются по двойной,—и это не особенность злодѣйствъ, а вообще всѣхъ поступковъ, особенно крупныхъ. Въ самыхъ рѣшительныхъ событіяхъ жизни умъ не участвуетъ, или участвуетъ, помогая глупости. Не по уму же люди, напимѣръ, играютъ въ карты, въ карты *по уму* играютъ одни шуллера,—оттого-то они и выигрываютъ всегда, пока ихъ кто-нибудь не поколотитъ по глупости. Не умомъ же собиралъ Спорженъ и легіонъ другихъ торговыхъ богослововъ въ Лондонѣ тысячи занятыхъ англичанъ на слушаніе неимовѣрнѣйшаго вздора, проповѣдываемого ими.

«Вы,—кричалъ Спорженъ въ *Crystal Palace*,—вы, ищущіе со вниманіемъ и за дорогую цѣну ягненка для питанія вашего тѣла и часто обманутые корыстнымъ торговцемъ, мы вамъ предлагаемъ агнца, вѣчно свѣжаго, въ питаніе души вашей и предлагаемъ даромъ (онъ забылъ цѣну за входъ)...»

Гдѣ же тутъ искра ума?

Гдѣ искра ума въ гомеопатіи?

Гдѣ искра ума въ Юмопатіи и всѣхъ заклинателяхъ, вызывателяхъ?

Отчего весь міръ видитъ ясно, просто, что война величайшая глупость, и идетъ рѣзаться?..

Мудрено понять и мудрено-то именно потому, что глупо!

Свѣтъ стоитъ между недошедшими до ума и перешедшими его, между глупыми и сумасшедшими, и стоитъ довольно давно и прочно, если же и не устоитъ, такъ не умъ же будетъ въ этомъ участвовать, а бессмысленныя физическія силы.

Дѣйствуютъ страсти, страхи, предрасудки, привычки, невѣдѣніе, фанатизмъ, увлеченіе, а умъ является на другой день, какъ квартальный послѣ событія; производитъ слѣдствіе, дѣлаетъ опись и въ этомъ еще останавливается на полдорогѣ: ограниченный, тамъ—впередъ идущими обязательными статьями закона, тутъ—опасностью далеко уйти по неизвѣстной дорогѣ, всего больше лѣнью, происходящей, можетъ быть, отъ инстинктивнаго сознанія, что дѣлу не поможешь, что вся работа все жетъ сводится на патологическую анатомію, а не на леченіе!

Отъ этой лѣни и небрежности мы всю жизнь бродимъ въ какомъ-то пріятномъ полумракѣ и умираемъ въ сумрачномъ мерцаніи. Всѣ мы ужасно похожи на докторовъ, довольствующихся знаніемъ, что они не знаютъ, что дѣлаютъ, но что снадобья хороши.

Мы повторяемъ, сто лѣтъ, двѣсти лѣтъ, какой-нибудь вздоръ и чувствуемъ, что что-то неладно, да такъ и идемъ мимо, за недосугомъ, страшно озабоченные чѣмъ-то другимъ.

Что же это за другое дѣло?..

Объ этомъ люди еще не подумали, а должно быть *дѣло немноточное!*..

IV.

Поѣздъ остановился. Кто-то сталъ отворять дверцы вагона; сначала взошелъ громкій смѣхъ, вслѣдъ за нимъ явился небольшого роста свѣженькій старичекъ, почти совершенно плѣшивый, съ мягкими щеками, тонкими морщинами и очками, изъ-за которыхъ продолжали смѣяться сѣрые, прищуренные глаза. На немъ было два черныхъ сюртука: одинъ весь застегнутый, другой весь разстегнутый; онъ бросилъ небольшой мѣшокъ въ уголъ и махнулъ рукой провожавшему его товарищу; тотъ, все еще смѣясь, прокричалъ: «Вы большой чудакъ, докторъ. *Von voyage, docteur!*» и ушелъ.

Докторъ протеръ очки, устроился, протянулся, потянулся и приготовился соснуть, какъ вдругъ мой Целисье разразился рядомъ ругательства и, бросая газету, обратился къ доктору и ко мнѣ, какъ къ старѣйшимъ по лѣтамъ, со словами:

— Это возмутительно, это чортъ знаетъ что такое: вотъ вамъ французскіе судьи, которымъ завидуетъ вся Европа. Представьте себѣ, этихъ арабовъ, людоѣдовъ, изверговъ, приговорили не къ гильотинѣ, не къ смерти, а къ каторжной работѣ. *C'est trop fort; ça n'a pas de nom.*

Докторъ улыбнулся и прибавилъ:

— Я по профессіи за леченіе, а не за убійство.

— Да-съ, но позвольте: есть справедливость или нѣтъ? Есть казнь въ законѣ или нѣтъ? Если есть, то послѣ этого примѣра кого же прикажете казнить?

— Что за бѣда,—замѣтилъ докторъ,—если послѣ этого никого не будутъ казнить? Людоѣдство вещь печальная, но очень рѣдкая, кромѣ Африки, а казнятъ безпрестанно во всемъ образованномъ мірѣ и во всемъ необразованномъ. Вѣдь, коли на то пошло, все же больше смысла въ томъ, чтобы убить человѣка въ безуміи голода, для того, чтобы его съѣсть, чѣмъ убить его на сытый желудокъ и для того, чтобы бросить въ яму и залить известью.

— Ну это радикаль, и въ самомъ дѣлѣ чудакъ, — подумалъ я и сложилъ газету.

На этотъ разъ сконфузился Пелисье. Онъ долго смотрѣлъ, вылупя глаза, на улыбающагося доктора и, наконецъ, вымолвилъ:

— Я васъ не понимаю; по вашему, этимъ дикимъ звѣрямъ такъ и позволить ѣсть котлеты изъ убитыхъ дѣтей?

— Я этого не говорилъ. Да, сверхъ того, они навѣрно отказались бы отъ этихъ котлетъ, если бы у нихъ были бараньи. Когда человѣкъ нѣсколько дней не ѣлъ, онъ ѣсть безъ спроса.

— Голодъ не оправданіе.

— Нѣтъ, но облегчаетъ виновность, пока нѣтъ средствъ отучить голодныхъ отъ привычки ѣсть.

— А до тѣхъ поръ какъ же прикажете наказывать такихъ изверговъ?

— Какъ волковъ; вы сами называете ихъ дикими звѣрями, а наказывать хотите, какъ образованныхъ людей.

— Я никогда не слыхивалъ ничего подобнаго, замѣтилъ совсѣмъ сбитый съ толку Пелисье.—Послѣ этого страшно по улицѣ ходить; встрѣтится голодный и откуситъ палецъ.

— Полноте. Вѣдь, мы не въ Алжирѣ, а во Франціи. На что же централизація, цивилизація, полиція, юстиція, администрація? Развѣ мы не затѣмъ жертвуемъ волей, словомъ, умомъ, платимъ налоги, содержимъ духовное воинство и свѣтскую армію, чтобъ онѣ насъ защищали отъ голодныхъ, дикихъ, воровъ, безумныхъ людей и бѣшеныхъ собакъ? Если человѣкъ и умретъ гдѣ-нибудь на чердакѣ или въ подвалѣ,—то онъ падаетъ жертвой для поддержанія порядка. Ни въ чемъ торжество общественнаго строя

не выражается такъ мощно, какъ въ перенесеніи нуждъ до послѣдняго предѣла. И если у насъ умирающій съ голода похожъ на *съдденнаго* по иному способу, то онъ никогда не лишентъ духовной пищи и похожъ на тѣхъ мучениковъ, которыхъ намъ представляютъ великіе художники,—снизу его обдираютъ, а сверху его зоветъ хоръ летающихъ ангеловъ, такъ что вы по лицу видите, что операція ему скорѣе доставляетъ удовольствіе.

— Ну, а въ Алжирѣ, чѣмъ вы украсите, выкупите голодную смерть? Тамъ наши французы я тѣ дичають въ зуавовъ.

— Я въ такія тонкости не вхожу. Если ихъ религія не удерживаетъ, долгъ не удерживаетъ, пусть страхъ казни удержитъ.

— Пристращать висѣлицей умирающаго съ голода трудно, одно—*embarras du choix*.

— А позоръ?

— Это еще мудренѣе растолковать полудикимъ. Сегодня одного разстрѣливають за побѣгъ изъ какого-нибудь легіона, куда его взяли насильно съ обязанностью убивать кого попало. Завтра будутъ вѣшать Фатиму за людоедство,—толкуй имъ различіе. Для ихъ тупости, имъ все кажется, что они побѣжденные и падаютъ на полѣ сраженія.

— *Vous vous moquez du monde*. Нашли, что защищать,—замѣтилъ уже взволнованнымъ голосомъ Пелисье.

— Я согласенъ съ вами, — отвѣчалъ, смѣясь, докторъ, — что лучше было бы всей семьѣ, проголодавши мѣсяцъ и ничего не ѣвши четыре дня, завернуть головы въ бурнусы и умереть. Да какъ имъ растолковать корнелевское *qu'il mourût!* Для того, чтобъ они поняли, надобно ихъ непременно откормить, а откормить ихъ, — они не станутъ ѣсть сосѣднихъ дѣтей. Это логическій кругъ! — и веселый докторъ опять расхохотался. — Посмотрѣли бы вы своими глазами на этихъ урабовъ, какъ ихъ называлъ одинъ солдатъ, которому я рѣзалъ ногу.

— А вы бывали въ Алжирѣ? — спросилъ Пелисье, усталый и очень встревоженный болтовней доктора.

— Жить десять жилъ тамъ полковымъ врачомъ сначала, потомъ въ лазаретѣ. Кстати я вспомнилъ этого солдата, расскажу вамъ лучше пресмѣшной анекдотъ объ немъ. Старый солдатъ, онъ еще при Бюжо дѣлалъ всякія экспедиціи, наконецъ-таки, потерялъ ногу. Долго лежалъ онъ въ лазаретѣ и ужасно любилъ рассказывать свои похождения. Прихожу я разъ въ палатку, фельдшеръ катается—хохочетъ. «Докторъ,—говоритъ,—сдѣлайте одолженіе, попросите ветерана рассказать исторію, которую сейчасъ кончилъ».

— *Et bien, mon vieux*,—говорю я, и сѣлъ возлѣ койки. Онъ поломался, какъ вызванная пѣвица. — Самая обыкновенная исто-

рія; это молодежь все хохочетъ,—неопытность, ничего еще не видѣла. — Ну, да вы исторію-то, — говорю я ему. — Это было уже давненько. Мы стояли близъ Орана; дѣла никакого не было... Люди сильно скучали; продовольствіе было скверное. Капитану жаль насъ стало. Хотѣлъ позабавить солдатъ и велѣлъ охотникамъ сдѣлать небольшую *razzia* на урабскую деревушку и тѣмъ способомъ отогнать барановъ. Деревушка не то, чтобъ бунтовала,—такъ, не любила насъ, ну мы, разумѣется, и усмирили. Урабы—это народъ коварный, лукавый; силой не взяли, а внутри хранили злобу. Недѣли черезъ двѣ они подстрегли одного изъ нашихъ, который барановъ отгонялъ, веревку ему на шею, да на большой дорогѣ и повѣсили. Капитанъ, разумѣется, дѣлаетъ рапортъ полковнику. Полковникъ взбѣсился; приказываетъ отыскать, во что бы ни стало, убійцу. Ну, гдѣ его сыщешь; всѣ эти урабы на одно лицо, и не то, что наши, не выдають другъ друга,—къ тому же, уйдетъ въ горы, и поминай, какъ звали. Посылаетъ капитанъ меня и двоихъ солдатъ. «Приведите непременно убійцу: хоть изъ земли достаньте». Походили мы день, другой,—ни слуху, ни духу. Съ пустыми руками возвращаться къ начальству неловко. Сѣли мы, эдакъ, на дорогѣ и разсуждаемъ. Вдругъ намъ навстрѣчу спускается какой-то урабъ. Одинъ изъ товарищей—проказникъ былъ большой—и говорить: Богъ намъ послалъ его на выручку, да съ тѣмъ бросился на ураба; за горло его и кричатъ: «зачѣмъ убилъ нашего солдата». Урабъ руками, ногами; мы его повалили, связали и представили. Капитанъ доволенъ, насъ съ убійцей къ полковнику, полковникъ самъ вышелъ: люблю, говорить, молодцы... Нарядили тотчасъ судъ. Привели нашего ураба. Полковникъ разсвирѣпѣлъ, кричитъ на него: «зачѣмъ ты, собака, убилъ фузильера?» Тотъ ему отвѣчаетъ,—то-есть ничего не отвѣчаетъ: онъ по французски ни слова не зналъ, а бормочить что-то, да руками разводитъ и показываетъ на небо.—«А, говорить полковникъ, такъ онъ еще запирается»,—взялъ да и приговорилъ его къ разстрѣлянню. Ну, его и разстрѣляли.—А ужъ потомъ какъ мы хохотали, — убилъ-то фузильера не онъ, а совсѣмъ другой.

— Ну, господа, извините, одиннадцать часовъ, пора спать...— и докторъ задернулъ лампочку, освѣщавшую вагонъ.

V.

Въ казино, подъ пѣніе чувствительнаго и разбитаго тенора, подъ говоръ играющихъ въ карты, подъ шелестъ женскихъ платьевъ и шумъ бѣгающихъ гарсоновъ, какой-то господинъ спалъ за листомъ газеты. Надъ газетой было видно что-то въ родѣ

лоснящагося страусоваго яйца и по немъ-то я узналъ защитника алжирскихъ людодѣдовъ, ѣхавшаго со мной въ вагонѣ.

Когда докторъ проснулся, я завелъ съ нимъ рѣчь и, между прочимъ, напомнилъ ему о томъ, какъ онъ встревожилъ Целисье, «работающаго въ Маконахъ».

— У меня такая глупая привычка, — сказалъ докторъ, — и, несмотря на лѣта, она не проходитъ. Меня сердить театральное негодованіе и грошевая нравственность этихъ господъ. Долею — все это ложь, комедія, а долею — того хуже: они сами себя уважаютъ за то, что не надѣлали уголовщины; имъ кажется достоинствомъ, что, выходя отъ Вефура, они не ѣдятъ дѣтей и, получая десять процентовъ съ капитала, не воруютъ платки. Вы иностранецъ, вы мало знаете нашихъ буржуа *pur sang*.

— Догадываюсь, впрочемъ.

— Я въ вагонѣ разсказалъ алжирскую шалость, когда-нибудь я вамъ разскажу и не такія проказы парижанъ. Тутъ поневолѣ забудешь Фатиму и ея голодную семью... Мнѣ, на старости лѣтъ, всего лучше идетъ роль того доктора, который ходилъ въ романѣ Альфреда де-Виньи лечить разсказами своего нервнаго пациента отъ «синихъ чертиковъ». Жаль, что я не такъ серьезенъ, какъ мой собратъ.

— Я лечусь у васъ у одного, докторъ, къ тому же и у меня головныя боли безъ нервности и безъ всякихъ голубыхъ и синихъ чертей.

VI.

...7 часовъ утра. Проклятый дождь, не перестаетъ четвертый день, мелкій, англійскій, съ туманомъ... воздухъ точно распухъ. Здѣсь такой дождь не на мѣсть—сѣрдить.

И какая скверная привычка у кошекъ лѣзть ночью свои нѣжности, истинная любовь должна быть скромнѣе.

А, можетъ, докторъ столько же виноватъ въ моей бессонницѣ, сколько кошки и дождь.

Поразсказалъ онъ мнѣ вчера удивительныя вещи. Какой шутъ однакожъ человекъ, живетъ себѣ прицѣвajući, зная очень хорошо, что за картонными и дурно намалеванными кулисами совершаются вещи, отъ которыхъ волосы не стануть дыбомъ развѣ у плѣшивыхъ, у прежнихъ нашихъ помѣщиковъ и у югоамериканскихъ охотниковъ по бѣглымъ неграмъ. Много онъ видѣлъ и много думалъ, его нѣсколько угловатый юморъ ему достался не даромъ. Когда другой докторъ, и именно Трела, былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, онъ его посылалъ по тюрьмамъ, гдѣ содержались побѣжденные работники, въ ожиданіи ссылки безъ суда. Онъ съ Корменей былъ въ Тюльерійскихъ подвалахъ,

въ фортахъ, и одинъ въ марсельскомъ Шато д'Ифъ. Въ декабрьскіе дни 1851 г. онъ попался, неосторожно перевязывая своему товарищу рану, нанесенную жандармомъ, и за это былъ приговоренъ къ Каенѣ. Въ понтоннахъ военнаго корабля, стоявшаго на готовѣ въ Брестъ, его случайно нашелъ адмираль, у котораго онъ спасъ дочь, и выхлопоталъ ему дозволеніе ѣхать въ Алжиръ. Его разсказъ я непременно запишу, но не сегодня, сегодня я въ дурномъ расположеніи, скажешь что-нибудь лишнее, а это грѣшно.

Пойду обѣдать въ маленькій ресторанъ напротивъ.

Надобно сказать, что здѣсь *обѣдаютъ* подъ скромнымъ названіемъ *завтрака* въ *одиннадцатомъ* часу — не вечера, а утра! И, можетъ, это меньше удивительно, чѣмъ то, что я ѣмъ, какъ будто всю жизнь прямо съ постели садился за столъ. А говорятъ, что боленъ!

Меня одно лишаетъ аппетита—это *table d'hote*, затѣмъ-то я и хочу идти въ небольшой ресторанчикъ. Мнѣ за *table d'hot'омъ* все ненавистно, начиная съ крошечныхъ кусочковъ мяса, которые нарѣзываетъ скупой за хозяина, напомаженный и важный оберъ-форшнейдеръ, до гарсоновъ, разодртыхъ, какъ будто они на чьихъ-нибудь похоронахъ или на своей свадьбѣ, до огромныхъ кусковъ живаго, но попорченнаго мяса (дѣло на водахъ), одѣтыхъ въ пальто и поглощающихъ маленькіе кусочки, одѣтые въ соусъ... Мнѣ совсѣмъ не нужно знать, какъ ѣсть этотъ худой, желтый, съ какой-то чернью на лицѣ нотаріусъ изъ Ліона, ни того, что синяя бархатная дама въ критическихъ случаяхъ вынимаетъ цѣлую челюсть зубовъ, жевавшихъ когда-то пищу другому желудку. А тутъ еще англичанинъ, который за десертомъ полощетъ ротъ съ такими взрывами гаргаризацій, что кажется, будто въ огромномъ котлѣ закипаетъ смола или какой-нибудь металлъ... Словомъ сказать, я ненавижу *table d'hote*. И въ ресторанѣ ѣдятъ другіе, но они сами по себѣ, а я самъ по себѣ; а за *table d'hote* есть круговая порука, какое-то соучастіе, прикосновенность, незнакомое знакомство и въ силу его разговоръ и взаимныя любезности.

Два часа. День на день не приходится. Сегодня я и въ маленькомъ ресторанѣ почти ничего не ѣлъ. Стыдно сказать отчего. Я всегда завидовалъ поэтамъ, особенно «антологическимъ»: напишетъ контурчики, чтобъ было плавно, выпукло, округло, звучно, безъ малѣйшаго смысла: «Рододендронъ-Рододендронъ» — и хорошо. Въ прозѣ люди требовательнѣе и, если нѣтъ ни таланта, ни мысли, то требуютъ хоть какого-нибудь *доноса*. А мнѣ именно приходится написать такую «антологическую прозу».

Передо мной въ ресторанъ вошла женщина съ двумя дѣтьми въ траурѣ и съ ними высокой господинъ тоже въ черномъ.

Возлѣ столика, за который я сѣлъ, обѣдали четыре *commis voyageurs* изъ Парижа; они толковали свысока о казино и съ снисхожденіемъ о пѣвицахъ, въ которыхъ цѣнили вовсе не голось, — они говорили что-то другъ другу на ухо и раздражались вдругъ громкимъ хохотомъ.

Слушать и смотрѣть на комми *en négligé*, между собой—моя страсть, но мнѣ не долго пришлось питать ее.

— Ты плачешь? — спросила женщина въ траурѣ; мальчикъ лѣтъ восьми-девяти поднялъ на нее глаза, полные слезъ, и сказалъ: «нѣтъ, нѣтъ!» Мать взглянула на мужчину, улыбаясь,— она, видимо, извинялась за слезы ребенка. Мужчина положилъ ему большой кусокъ чего-то на тарелку и прибавилъ: «будь же уменъ и ѣшь».

— Я не хочу ѣсть,—отвѣчалъ мальчикъ.

— Мой другъ, это глупо,—сказалъ мужчина.

— Ты съ утра ничего не ѣлъ, кромѣ молока, — прибавила мать, и просила взглядомъ, чтобы мальчикъ ѣлъ. Мальчикъ принялся за котлету, взглянувъ на мать съ невыразимымъ горемъ; крупная слеза капнула въ тарелку. Женщина и господинъ сдѣлали видъ, что не замѣтили, и начали говорить между собой. Другой ребенокъ—гораздо моложе—болталъ, шумѣлъ и ѣлъ. Мать погладила старшаго, онъ взялъ ее руку и поцѣловалъ, задержавъ слезы.

«Башмаковъ не успѣла она износить»—и маленькій Гамлетъ это понималъ.

Господинъ велѣлъ подать какого-то особеннаго вина, чокнулся съ матерью и, наливая дѣтямъ, улыбаясь, сказалъ старшему:

— Не будь же плаксивой дѣвочкой и выпей браво твое вино.

Мальчикъ выпилъ.

Когда они пошли, мать надѣла на мальчика шарфъ, чтобы онъ не простудился, и обняла его. Въ ея заботѣ было раскаяніе и примиреніе съ собой,—она, казалось, просила прощенія, пощады у него и у него.

И, можетъ, она во всемъ права.

Но мальчикъ не виноватъ, что помнить другого, что ему хотѣлось *доносить башмаки*—и что новые его жали, такъ, какъ не виноватъ въ томъ, что испортилъ мнѣ обѣдъ.

Пойду въ казино искать доктора,—онъ, навѣрное, спитъ или читаетъ какую-нибудь газету.

VII.

— Скажите, докторъ, какъ вы при всемъ этомъ сохранили столько здоровья, свѣжести, силъ, смѣха?

— Все отъ пищеваренія. Я съ ребячества не помню, чтобъ у меня сильно животь болѣлъ, развѣ, бывало, объѣшься неспѣлыхъ ягодъ. Съ такимъ фундаментомъ не трудно устроить психическую діету, особенно съ склонностью смѣяться, о которой вы говорили. Человѣкъ я одинокій, семьи нѣтъ. Это, съ своей стороны, очень сохраняетъ здоровье и аппетитъ. Я всегда считалъ людей, которые женятся безъ крайней надобности, героями или сумасшедшими. Нашли геройство—лечить чумныхъ, да подъ пулями перевязывать раны. Во-первыхъ, это всякій человѣкъ съ здоровыми нервами сдѣлаеть, а потомъ, выждалъ часть, другой—перестануть стрѣлять, прошло недѣли двѣ—нѣтъ чумы, аппетитъ хорошъ,—ну и кончено. А, вѣдь, это подумать страшно, на вѣки вѣчные, хуже конскрипціи, — та все же имѣетъ срокъ. Я рано смекнулъ это и рѣшился, пока розы любви окружены такими безчеловѣчными шипами, которыми ихъ оградилъ по папскому оригиналу гражданскій кодексъ, я своего палисадника не заведу. Охотниковъ продолжать родъ человѣческій всегда найдется много и безъ меня. Да и кто же мнѣ поручилъ продолжать его и нужно ли, вообще, чтобъ онъ продолжался и плодился, какъ пески морскіе,—все это дѣло темное, а бѣда семейнаго счастья очевидна.

— Что вы на это рѣшились—дѣло не хитрое, хитрое дѣло въ томъ, что вы выдержали. Впрочемъ, тутъ темпераментъ.

— Темпераментъ — темпераментомъ... ну, однако, безъ воли ничего не сдѣлаешь. Вы, можетъ, думаете, что монахи первыхъ вѣковъ были холоднаго темперамента? Все зависитъ отъ того, чтó приму играетъ, да отъ воспитанія воли.

— Однако, докторъ, вы вѣрите, кажется, въ *libre arbitre*, — это почти ересь?

— *Libre arbitre*, воля, — все это слова. Я не вѣрю, а вижу, что если человѣкъ захочетъ стоять на столбу—простоить, захочетъ ѣсть траву и хлѣбъ — и ѣсть одну траву да хлѣбъ, возлѣ жареныхъ рябчиковъ. А чѣмъ онъ хочетъ, волей или неволей, это все равно. Конечно, воля не съ неба падаетъ, а также изъ нервъ растетъ и воспитывается, какъ память и умъ, главное дѣло въ томъ, что она воспитывается. Человѣкъ привыкаетъ попридерживать себя или распускаться, давать отпоръ внѣшнему толчку или пасовать передъ каждымъ. Всякій можетъ сдѣлаться нравственнымъ Митридатомъ и выносить ядъ жизни, лишь бы оба пищеваренія были исправны.

— Какъ, ужъ два пищеваренія?

— Непремѣнно! *Желудочное и мозговое*. Безъ хорошаго мозгова претворенія и съ хорошимъ желудкомъ далеко не уѣдешь. Безъ него нельзя понять, что съѣдобно и что не съѣдобно, что существенно и что нѣтъ, что необходимо и что безразлично, наконецъ, что возможно и что невозможно. Безъ здороваго мозга, мелочи и призраки заѣдаютъ людей и портятъ имъ желудокъ. Мелочамъ конца нѣтъ, какъ мухамъ; прогналъ однѣхъ — другія насѣли, а призраки хуже мухъ: это мухи внутри, ихъ и прогнать нельзя, развѣ однимъ смѣхомъ. Но люди не понимающіе—больше люди угрюмые, серьезные — все берутъ къ сердцу, всѣмъ обижаются, ни черезъ что не умѣютъ переступить, ни надъ чѣмъ не умѣютъ смѣяться, смѣхъ просто ихъ оскорбляетъ. Года два тому назадъ умеръ одинъ изъ старыхъ товарищей моихъ, извѣстный хирургъ, и умеръ оттого, что его не позвали къ принцессѣ, сломавшей ногу. Въ началѣ его болѣзни я зашелъ къ нему. Два часа битыхъ толковалъ онъ мнѣ, желтый, исхудалый, о своихъ правахъ на принцессину ногу и все повторялъ одно и то же на сто ладовъ. Человѣкъ лѣтъ семидесяти, большая репутация, большое состояніе,—ну, что ему было такъ сокрушаться о принцессиной ногѣ, сломить еще кто-нибудь изъ нихъ ногу или руку—онъ же теперь все сами кучерами ѣздить — пришлютъ и за нимъ. Я постарался навести его на другой разговоръ.—Куда, все свое говорить. А тутъ вошелъ мальчикъ и подаль газету; больной взялъ ее, что-то прочелъ, глаза его сверкнули, губы затряслись, и онъ, улыбаясь, ткнулъ пальцемъ въ газету и сунулъ мнѣ ее въ руку. Лента почетнаго легіона была дана хирургу, починившему ногу принцессы. Чтобъ бѣдняка какъ-нибудь разсѣять, я ему говорю: «Погода сегодня славная, поѣдемте-ка въ Анверъ, у меня тамъ есть знакомый *chef*, отлично дѣлаетъ бульябесъ и котлеты *à la Soubize*».—Что вы, говорить, смѣтесъ надо мной, у меня желудокъ ничего не варить, а вы подчуете провансальской кухней? Это вы, *cher ami*, ужъ не утѣшаете ли меня въ лентѣ... ха, ха, ха!.. Нужно очень мнѣ ленту, мнѣ досадно, мнѣ больно, что во мнѣ оскорблены права, заслуги тридцатилѣтней дѣятельности... а лента... ха, ха, ха... хорошо выдумали; *à la Soubize*... чеснокъ—это почетный легіонъ провинціальныхъ *cordons bleu*!—и онъ расхохотался, увѣренный, что сдѣлалъ чрезвычайно ядовитый и удачный каламбуръ. Дѣло пропашее: ни мозгъ, ни желудокъ не находятся въ исправности, какой же тутъ можетъ быть выходъ. Замѣйте, мимоходомъ, патологическую особенность, что люди большей частью выносятъ гораздо легче настоящія бѣды, чѣмъ фантастическія, и это оттого, что настоящими бѣдами рѣдко бываетъ задѣто самолюбіе, а въ само-

любіи источникъ болѣзненныхъ страданій. Наши братья, обыкновенно, мало обращаютъ вниманія на душевную причину болѣзней, да если и обращаютъ, то очень неловко, оттого и лечение не идетъ. Для меня тиць докторскаго вмѣшательства въ психическую сторону пациентовъ составляетъ серьезный совѣтъ чело-вѣку, дрожащему и обезумѣвшему отъ страха, *не бояться заразы*. Настоящій врачъ, милостивый государь, долженъ быть и поварь, и духовникъ, и судья, — всѣ эти должности врозь нелѣпы, а соедините ихъ, и выйдетъ что-нибудь путное, пока люди остаются недорослями.

— Итакъ, послѣ теократіи, іатрократіи, вы не мѣтите ли, какъ вашъ предшественникъ, докторъ Франсія, въ генераль-штабъ - архіатры врачедержавной имперіи? Человѣкъ надѣлалъ мерзостей, его отдають въ судебную лечебницу, и дежурный врачъ приговариваетъ его къ двумъ ложкамъ рициноваго масла, къ овсяному супу на недѣлю или, въ важномъ случаѣ, къ ссылке мѣсяца на три въ Карлсбадъ. Осужденный протестуетъ, дѣло идетъ въ кассационный медицинскій совѣтъ и онъ смягчаетъ Карлсбадъ на Виши.

— Смѣйтесь, сколько хотите, а что же, лучше, что-ли, запи-рать въ Мазасъ, посылать въ Каену и, вмѣсто рициноваго масла, прописывать денежные штрафы? Но до пришествія царства вра-чебнаго далеко, а лечить приходится непрерывно, и я на дол-гой практикѣ испыталъ, что знай себѣ, какъ хочешь, терапію, безъ—какъ бы это сказать—безъ своего рода философіи...

— У васъ она есть, докторъ, это я еще въ вагонѣ замѣтилъ, и преоригинальная.

— Худа ли, хороша ли, но я не нахожу надобности мѣнять ее.

— Какъ же вы дошли до нея?

— Это длинная пѣсня.

— Да, вѣдь, времени довольно до второго стакана.

— Вы подмѣтили, что я люблю поболтать, и эксплуатируете меня.

— Лучше болтать, чѣмъ играть цѣлое утро и цѣлый вечеръ въ домино, какъ наши сосѣди.

— Эге, такъ вы еще не освободились отъ порицаній и пере-судъ безразличныхъ дѣйствій людскихъ. Не играй они въ до-мино, что же бы они дѣлали? Жизнь дала имъ много досуга и мало содержанія, надобно чѣмъ-нибудь заткнуть время утромъ до обѣда, вечеромъ до постели. Моя философія все принимаетъ.

— Даже алжирское людоедство?

— Оно только зацѣпляется за европейское. Дошелъ я до моей философіи не въ одинъ день, да и не то, чтобы вчера. Первый разъ я порядкомъ подумалъ о жизни лѣтъ сорокъ тому назадъ,

шедши отъ Шарьера; фирма его и теперь дѣлаетъ превосходные хирургическіе инструменты, можетъ, лучше англійскихъ,—вы это на всякій случай замѣтите—прямо по *Rue de l'École de Médecine*, въ окнахъ увидите всевозможныя пилы, ножницы. Отъ Шарьера я вышелъ часовъ въ пять, съ сильнымъ аппетитомъ и пошелъ *Au boeuf à la mode*, возлѣ Одеона, да вдругъ среди дороги остановился и, вмѣсто *Au boeuf à la mode*, повернулъ въ Люксембургскій садъ. У меня въ карманѣ не было ни одного су! Какое варварство, что часть этого сада уничтожаютъ; вѣдь, въ такомъ городѣ, какъ Парижъ, такіе сады прибѣжища, лодки спасенія для утопающихъ. Иной, безъ сада, походить по узкимъ переулкамъ, вонючимъ, неприятнымъ, да и поидеть въ Сену, а тутъ по дорогѣ садъ, воробьи летаютъ, деревья шумятъ, трава пахнетъ; ну, бѣднякъ и не поидетъ топиться. Вотъ тутъ-то въ саду, на пустой желудокъ, я и расфилософствовался. Ну, думаю, почтенные родители очень безцеремонно надули тебя въ жизнь; безъ твоего спроса и вѣдома втолкнули тебя въ какой-то омутъ, какъ щепять толкаютъ въ воду: «спасайся, какъ знаешь, а не то тони». Какъ я ни думалъ, вижу, выплывать надобно. Надобно затѣмъ, зачѣмъ и щенокъ барахтается, чтобы не идти ко дну, просто привыкъ жить. До этого случая нужда меня не очень давила. Прежде мнѣ изъ дому посылали немного денегъ. Отецъ мой умеръ года четыре тому назадъ, все поправлялъ какія-то брешн въ состояніи, сдѣланныя спекуляціями, и кончилъ свои поправки тѣмъ, что ничего не оставилъ. У него былъ братъ, старый полковникъ, обогатившійся на войнѣ и имѣвшій деньги въ амстердамскомъ банкѣ, онъ помогалъ нашей семьѣ и радовался моему карьерѣ, говоря, что Наполеонъ уважалъ Ларе и Корвизара. Разумѣется, онъ мысленно меня назначалъ въ полковыя доктора. О дядѣ я долженъ вамъ рассказать кое-что. Меньше меня ростомъ, съ огромной львиной головой, сѣдыми вклокоченными волосами и черными усами, которые онъ подстригалъ подъ щетку, онъ былъ отчаянный бонапартистъ, никогда не давая себѣ никакого отчета, что собственно было хорошаго въ имперіи. Подумать объ этомъ ему казалось бы святотатствомъ. Послѣ июльской революціи онъ съ презрительной улыбкой говорилъ:

«Это все не то, это не надолго», пристегивая толстую трость съ бѣлымъ набалдашникомъ къ верхней пуговицѣ сюртука, застегнутаго по горло. «Мы этихъ *barbouilleurs de lois*, этихъ подъячихъ, адвокатовъ въ Сену бросимъ; люди безъ сердца, безъ достоинства; намъ надобно имперію, чтобы отомстить за 1814 и 1815 годы».

— И, замѣтилъ я, утратить тѣ небольшія свободы, которыя пріобрѣли на баррикадахъ.

«Что?—закричалъ дядя, и лицо его побагровѣло.—Что? Какъ, у меня въ домѣ!.. Что ты сказалъ?»

Я съ нимъ никогда не спорилъ и тутъ уступилъ бы, если бы онъ не взбѣсилъ меня крикомъ, а потому я повторилъ сказанное.

«Кто ты такой?» кричалъ полковникъ, свирѣпо подходя ко мнѣ и отвязывая палку отъ пуговицы совершенно безуспѣшно, палка вертѣлась, какъ веретено, и все туже прикрѣплялась къ пуговицѣ.—«Ты сынъ моего брата, или чей ты сынъ? Чей? Развратили мальчишку эти доктринеры. Неужели ты не чувствуешь кровавую обиду вторженія варваровъ въ Парижъ, *des kalmuk, des keiserlich*, и проклятый день Ватерлооской битвы?»

— Нѣтъ, не чувствую! — сказалъ я хладнокровно и совершенно искренно.

Левъ отпрянулъ, отдулся и тѣмъ голосомъ, которымъ командовалъ *«en avant»* своему отступившему полку подъ Лейцигомъ, закричалъ: «Вонъ, вонъ изъ моего дома!»

Я вышелъ и съ тѣхъ поръ отъ дяди ни гроша. Онъ только матери написалъ письмо, исполненное сожалѣнія (а отчасти и упрековъ), что она родила и воспитала изверга, который не принимаетъ Ватерлооскую битву за лично ему данную пощечину и не стремится ее отомстить. «Куда мы идемъ съ такой негодной молодежью?» заключилъ левъ. Мать моя могла что-нибудь посылать иной разъ, но я не хотѣлъ: у нея самой едва въ хозяйствѣ концы сводились.

— Походилъ я въ саду на тощій желудокъ и вспомнилъ стараго фармацевта, искавшаго помощника. Я прямо къ нему, нанялся изъ-за обѣда и постели, стоявшей между кухней и лабораторіей. Мѣсяца четыре я вынесъ, но потомъ терпѣніе лопнуло. Старикъ полуслѣпой, полуглухой, съ деньгами и безъ наслѣдниковъ, дрожащими руками обвѣшивалъ на всѣхъ медикаментахъ; ну, на какой-нибудь соли, которой унцъ стоитъ двадцать сантимовъ, и на той украдетъ на полъ-сантима. Мнѣ было это очень противно и я, только скрѣпя сердце, молчалъ. Наконецъ, старый отравитель говорить мнѣ и разъ, и два: «Вы вѣшаете безъ всякаго разсчета, вы меня разоряете! Вы должны съ меня примѣръ брать». — «Послушайте, почтенный *père Philippe*, я глупыя микстуры дѣлать готовъ, а воровать на вѣсѣ не хочу, развѣ недовольно слишкомъ 50⁰/₀, да *taxa laborum*?» — «А я, сказалъ старикъ, кашляя, задыхаясь и утирая грязнымъ платкомъ давно вертѣвшуюся табачную каплю на концѣ носа, а я у себя въ домѣ хочу быть хозяиномъ и всякому студенту *bon à rien* не позволю дѣлать дерзкія замѣчанія». — «Особенно, замѣтилъ я, когда они справедливы». Затѣмъ я взялъ шляпу и, насвистывая пѣсню, пошелъ вонъ. Это былъ второй урокъ философіи.

VIII.

— Третій урокъ образоваль меня по сердечной части.

— Тутъ-то я васъ и ждалъ.

— И совершенно ошибетесь. Въ моей жизни все было очень просто, и романъ мой меньше сложенъ, чѣмъ всѣ повѣсти, перемежающіяся по фельетонамъ газетъ. Года три послѣ того, какъ я бросилъ стараго отравителя, былъ я интерномъ въ *Maternité* и на дежурствѣ.

— Помилуйте, докторъ, тамъ часто оканчиваются романы, но ни одинъ, сколько я знаю, не начинался.

— А мой не только начался, но почти и кончился въ этомъ «*арьергардъ любви*», какъ ее называла *м-те Обержинъ*, съ которой я васъ сейчасъ познакомлю. Провозился я цѣлый день и, усталый, какъ собака, бросился на диванъ, закуривъ трубку и взявъ книгу Сивьяля о болѣзняхъ мочевыхъ путей. Едва я успѣлъ заснуть и выронить трубку и книгу, кто-то дернулъ за колокольчикъ: «Это вы, бригадье?» кричу я ему, то-есть нашему сторожу или консьержу, котораго, шутя, мы называли «бригадье» за его необыкновенно военную и суровую посадку. Мы, смѣясь, говорили, что правительство его намѣренно посадило консьержемъ въ *Maternité* для того, чтобъ отстраивать родильницъ и дѣлать ихъ больше осторожными. «Я, говорить, я».

— Что у васъ?

— Пожалуйте сейчасъ въ № 21.

— Не дадутъ проклятыя уснуть. Вы бы прикрикнули, бригадиръ; куда торопится, могла бы подождать до утра. А что *м-те Обержинъ* тамъ?

— Она-то и послала за вами.

Я вытеръ лицо мокрымъ полотенцемъ и побѣжалъ въ № 21. *М-те Обержинъ* сидитъ, по обыкновенію, разставивши ноги. Она столько учила своихъ паціентокъ сидѣть на больничныхъ креслахъ, что сама приняла эту посадку. За занавѣсью слышно, что-то охаетъ и стонетъ слабо, очень слабо. «Никакой силы нѣтъ, говорить шопотомъ *м-те Обержинъ*, и ребенокъ неправильно лежитъ». — «А вотъ мы его научимъ шалить до рожденья», говорю я ей. *М-те Обержинъ*, старшая повивальная бабка наша, была отличнѣйшая женщина и со всѣми нами пріятель и товарищъ. Черезъ ея руки прошли не только нѣсколько поколѣвій, нечаянно родившихся въ Парижѣ, но два, три выпуска интерновъ. Жирная, рослая, сильная, всегда готовая врать вздоръ, смѣшнить и хохотать, никогда не заспанная и всегда готовая уснуть, она какъ нарочно была создана для своей должности. Смолоду, вѣроятно,

она не только принимала дѣтей, но страсти мало по-малу ушли въ жиръ и, если случались кой-какія бездѣлицы, то это ужъ, какъ *hors d'oeuvre*. Удивляться нечему, самыя наши занятія наводили на щекотливые предметы, да и потомъ ночи, дѣлныя ночи, просиживаемыя въ ожиданіи... Какъ живая, она передо мной, съ ея сѣрыми смѣющимися глазами, съ бѣлокурымъ усомъ на одной губѣ и клокомъ такихъ же волосъ на противоположной сторонѣ подбородка; этотъ клочекъ она любила крутить, какъ гусаръ, — славная была женщина!

Подхожу я къ кровати, отдернулъ немного занавѣсъ и говорю:

— Извините, сударыня, я пришелъ подать вамъ нужную помощь! Молодая женщина закрыла лицо и рыдала. — Успокойтесь, говорю я ей, хлебните немного воды.

— Я очень страдаю, — отвѣчала она едва внятнымъ образомъ, — и очень боюсь.

— Вѣрю, вѣрю, но это гораздо легче, чѣмъ вы думаете, не вы первая, не вы послѣдняя, *du courage*; дайте-ка вашу руку, — эге, да у васъ порядочная лихорадочка, — и я попросилъ *т-те Обержинъ* приблизить свѣчу. Испуганное, болѣзненное лицо больной какимъ-то гаснущимъ взглядомъ просило у меня помощи... и... и прощенія. Такого выраженія я никогда не видывалъ и даже смутился. Роды были тяжелы, мучительны, долги. Наконецъ, «рекрутъ», какъ *т-те Обержинъ* называла всѣхъ новорожденныхъ мужскаго пола, хлебнулъ воздуха и запищалъ.

— Что, кисло и холодно? проговорила *т-те Обержинъ*, пошлепывая его и повертывая съ необыкновенной ловкостью — приучишься и кислымъ дышать.

— Ну, — прибавила она, обращаясь ко мнѣ, — что вы уставили глаза на родильницу, осматривайте, годный ли рекрутъ.

— Онъ-то годенъ, а вы посмотрите сами на больную: какъ свѣча на дворѣ, того и гляди потухнетъ при легчайшемъ вѣтерѣ.

— Да она и то чуть ли не умираетъ, — сказала *т-те Обержинъ* и сама взяла ее руку, чтобы узнать, какъ бьется пульсъ.

Мы сдѣлали, что могли, чтобъ задержать отлетавшую жизнь, наконецъ, она раскрыла глаза — слабые, мутные, долго взгляды-валась и потомъ едва внятно спросила: «гдѣ?»

Я взялъ у *т-те Обержинъ* «рекрута» и поднесъ ей; она зарыдала и опять лишилась чувствъ. Умиравшая, хрупкая, тщедушная женщина сильно потрясла меня. Видаль я и прежде нея и родильницъ, и красавицъ. Какія красавицы лежали у насъ въ отель Дье; была одна креолка — фу!

Я невольно улыбнулся, думая, въ какихъ необычныхъ мѣстахъ докторъ мой изучалъ прекрасный полъ и его красоты.

— Словомъ, видалъ довольно, но ни одна не сдѣлала на меня такого впечатлѣнія. Я почти не отходилъ отъ больной. Старуха наша все замѣтила и дня черезъ два говорить мнѣ, ущипнувъ въ плечо: «Вѣроломный Артуръ! И ты туда же, хочешь фуражировать въ нашемъ арьеръ-гардѣ, *glaner* на полѣ битвы, между ранеными и убитыми — ха-ха-ха!» — И смѣхъ, и слова неприятно подѣйствовали на меня, я какъ-то отшутился и ушелъ въ свою комнату; хотѣлъ позаняться, отдохнуть и, не знаю какъ, часа черезъ два очутился опять въ № 21. *М-те Обержинъ* спала на кушеткѣ, окончивъ свою третью чашку кофе, въ который она прибавляла, чтобъ не сильно дѣйствовалъ на нервы, бенедиктинской водки; я обрадовался ея сну, и на ципочкахъ подошелъ къ больной. Спала и она: если-бъ не легкое, едва уловимое дыханіе, можно бы положить въ гробъ. Я скрестилъ руки и смотрѣлъ, смотрѣлъ, что за чистыя линіи, что за профиль! Послѣ я видѣлъ что-то такое въ картинахъ Ванъ-Дика, въ головкахъ Андрея Дель-Сарто, — красота, вообще, сила, но она дѣйствуетъ по какому-то избирательному средству.

— Я магнетизмъ отрицаю, а, пожалуй, тутъ есть что-нибудь похожее на магнетизмъ. Красота и звукъ голоса—принадлежности чисто личныя и дѣйствуютъ тоже совсѣмъ лично; умъ, знаніе и все такое—мое и не мое, а черты мои, мой голосъ—совершенно мои. Мнѣ всегда казалось, что, именно, по ихъ личности и переходимости, они и дѣйствуютъ такъ неотразимо на нашу страстную, т. е. тоже личную, сторону. Пока я стоялъ и смотрѣлъ, т. е. все больше и больше подвергался вліянію магнетизма, *м-те Обержинъ* подкралась ко мнѣ и говорить: *Tu es donc bien rincé, ton petit chat?* Придется мнѣ тебѣ помогать, коварный измѣнникъ! Я взялъ ея руку и въ какомъ-то азартѣ отвѣчалъ ей: «Помощи мнѣ никакой ненадобно, но я чувствую, что стою на краю пропасти!» Добрая женщина посмотрѣла на меня съ какимъ-то материнскимъ участіемъ и съ тѣхъ поръ ни разу не заикалась объ этомъ. Больная поправлялась медленно. Тяжелая плита лежала на ея груди, и, по мѣрѣ того, какъ грудь становилась крѣпче, плита давила тяжелѣе. Никто не приходилъ навѣстить бѣдняжку, справиться, жива ли она; никто не писалъ, не сдѣлалъ опыта что-нибудь прислать, какъ обыкновенно дѣлаютъ,—варенья, конфектъ. Между тѣмъ, подошло время выписываться. Тревога и горе росли. Послѣ долгихъ усилій, она мнѣ призналась, что ей, просто, некуда идти, что матери ея нѣтъ въ Парижѣ, а что *онъ* оставилъ ее, «не по моей винѣ», прибавила она, заливаясь слезами. Что тутъ было дѣлать? Снасти ее надобно было, — я предложилъ ей переѣхать къ знакомой мнѣ старушкѣ. Не принять она не могла, иначе ей пришлось бы переѣхать на улицу. Въ небольшомъ пе-

реулкѣ Латинскаго квартала вылечилъ я какъ-то случайно, долго пачкая, одну старушку; она была одинокая, вся въ ревматизмахъ, но умереть боялась ужасно. Она имѣла ко мнѣ собачью привязанность и была увѣрена, что я одинъ могу еще разъ вылечить отъ смерти. Она отдавала въ наймы довольно удобную и и свѣтлую мансарду. Ходить въ нее надобно было черезъ какой-то чердакъ, въ которомъ вѣчно висѣло сырое бѣлье и пахло щелокомъ,—во на войнѣ, какъ на войнѣ,—въ самой комнатѣ было недурно. Перевезъ я туда мою вандиковскую головку и ея рекрута. Что же, въ самомъ дѣлѣ, родился безъ отца, такъ и погибать? Вы, пожалуйста, не полагайте, что я хочу похвастаться особенной доблестью,—всѣ такого рода подвиги подтасованы, по пристрастью къ матери, одни безъ смысла любятъ ея дѣтей, другіе ненавидятъ. Вандиковская головка никогда ни разу не упоминала даже издали объ отцѣ ребенка. Я ни однимъ словомъ не заикался о моей любви. Она удивляла меня: въ ней все было полно такта, граціи, чуткости. Только въ Парижѣ, и притомъ въ прежнемъ, неперестроенномъ, не въ вновь крещеномъ, а въ старомъ полуязыческомъ Парижѣ, встрѣчались такія чудеса. Я проводилъ съ ней вечера, читалъ ей Бальзака и Гюго: чуть ли это не было лучшее время моей жизни, въ родѣ весенняго утра — теплаго, свѣтлаго, но въ которомъ еще чувствуется свѣжесть, да оно и прошло, какъ мартовское солнце.—Докторъ пріостановился.—Вы, вѣрно, не ждете, что мы при развязкѣ?

— Конечно, нѣтъ.

— Прошло около мѣсяца. Маргарита, такъ звали ванъ-диковскую головку, настолько оправилась и окрѣпла, что стала выходить въ хорошую погоду. Разъ возвращается она домой страшно разстроенная, на лицѣ мертвая блѣдность и пятна, руки дрожатъ. Я хотѣлъ спросить, но, взглянувъ, до того испугался, что не нашелъ словъ. Она бросилась къ люлкѣ, взяла рекрута и зарыдала истерически. Теперь, думаю, будетъ легче. И, въ самомъ дѣлѣ, она черезъ двѣ, три минуты взяла мою руку и сказала: «Я видѣла его... онъ... онъ требуетъ, чтобы я малютку отдала въ воспитательный домъ; онъ прежде говорилъ это, съ этого началась наша ссора. Будто малютка можетъ мѣшать. Онъ его даже не видалъ ни разу и говорилъ объ немъ такъ холодно, такъ равнодушно. Онъ негодяй!» вскрикнула она и прижала къ себѣ ребенка, какъ будто его вырывали у ней силой. Потомъ бросилась на колѣни передо мной и, захлебываясь слезами, говорила: «Ты, ты меня не разлучишь съ нимъ, ты такъ добръ,—о, я тебя знаю, я все оцѣнила, я оцѣнила твое молчаніе. Ты меня любишь, возьми меня, спаси менѣ и его, я буду тебя любить, не отнимай у меня ребенка!» И она положила его мнѣ на колѣни и рыдала, ухва-

тившись обѣими руками за меня. Я взялъ малютку, слезы катились изъ глазъ моихъ. Она встала, взглянула на меня, улыбнулась, да, улыбнулась съ какимъ-то торжествомъ и бросилась ко мнѣ на шею. Я уложилъ ее въ постель, укрылъ и вышелъ на улицу,—я не могъ не выйти! Прощаясь, она мнѣ сказала: «Ты мнѣ прости, не сердись, вѣдь я сумасшедшая!» И вотъ я опять очутился въ пустынныхъ аллеяхъ Люксембургскаго сада; свѣжій ночной вѣтеръ пронималъ, но мнѣ было не до того; я сѣлъ на скамью; что происходило во мнѣ, этого, я думаю, и Бальзакъ не могъ бы описать, а у него именно былъ талантъ описывать эти сложные мудренныя блаженства, сбивающіяся на страданія, и страданія, сбивающіяся на блаженства. Для меня было ясно, что въ ней говорило *dépit*,—оскорбленная мать, она *бѣжала* отъ него ко мнѣ, она пряталась за своимъ рекрутомъ, но горячія губы ея горѣли на моей щекѣ, но горячія слезы едва обсохли на ней, но она улыбалась мнѣ, и будто можно любить такого *негодяя*? Она его такъ называла. Когда я пришелъ къ ней, было уже утро. Дѣло приняло плохой оборотъ. Лихорадочное молоко отравило ребенка, онъ кричалъ и бился въ корчахъ; выбившись изъ силъ онъ уснулъ, уснула и мать. Я взялъ ребенка на руки,—онъ все спалъ, долго спалъ; потянулся раза два и сталъ тяжелѣе и холоднѣе. Тихо, тихо положилъ я его въ люльку, покрылъ и сѣлъ у изголовья матери. Она проснулась,—мое лицо, тишина; она бросилась къ люлкѣ и съ крикомъ грохнулась безъ чувствъ на землю. На другой день она была въ бѣлой горячкѣ.

— И умерла?—спросилъ я.

— Нѣтъ, она выздоровѣла и потомъ ушла къ «отцу рекрута», выбывшаго изъ строя,—препятствій больше не было. Ей не легко было покинуть меня, она писала мнѣ письмо—Ж. Зандъ такого не напишетъ—потомъ забыла, да и я потомъ забылъ.

IX.

И вотъ мы опять несемъ, поправивши и укрѣпивши наши пищеваренія и кровотоверенія, въ обратный путь, и я съ ужасомъ думаю, что въ Лионѣ придется расстаться съ докторомъ: онъ поѣдетъ направо, я налево. Со мной дѣлая тетрадь, въ которую я внесъ половину его рассказовъ и, главное, его подстрочныхъ замѣчаній къ нимъ. Со временемъ и я издамъ «*Слышанное и незабытое, записанное и напечатанное, — изъ воспоминаній другого*».

— Вы зачѣмъ это записывали?—спросилъ докторъ.

— Такая мода теперь у насъ. Съ тѣхъ поръ какъ судъ изъ письменнаго сдѣлался словеснымъ, мы все словесное записываемъ.

— И печатаете потомъ?

— Отчасти, отобравши плевелы.

— Какая же польза отъ этого? Совсѣмъ не нужно печатать такъ много.

— Все для исправленія нравовъ.

— Книгами-то! Хорошо выдумали. Во-первыхъ, книгъ никто не читаетъ.

— А во-вторыхъ, любезный докторъ, книгъ читаютъ очень много.

— Ну, то-есть никто въ пропорціи къ вовсе неграмотному большинству, къ большинству едва грамотному, но не берущему никакихъ книгъ въ руки, кромѣ прихода-расходныхъ. А во-вторыхъ, хотѣлъ я сказать, людей совсѣмъ не надобно исправлять и переиначивать. Оно же и не удастся никогда. Умнѣе стануть,— сами кое въ чемъ поисправятся, хотя все же останутся людьми, а такъ съ чего же? Для удовольствія моралистовъ? И то нѣтъ. Начни люди въ самомъ дѣлѣ исправляться, моралисты первые останутся въ дуракахъ, кого же тогда исправлять?

— Отчего же вы не можете допустить, что иной разъ человѣкъ, просто жалѣя другихъ, любя ихъ, старается ихъ исправить по крайнему разумѣнію?

— Мудрено что-то. Не спрашивая человѣка, хочетъ ли онъ, можетъ ли онъ измѣниться, говорятъ ему: видишь моль, какой ты негодяй, тебѣ надобно сдѣлаться вотъ такимъ отличнымъ, какъ я, разившійся подъ другими условіями, въ другомъ нравственномъ климатѣ, въ другомъ историческомъ кряжѣ, достигай же до меня, и когда достигнешь, я тебя въ награду назову *меньшимъ* братомъ и притомъ братомъ безкорыстнымъ, титулярнымъ, потому что наслѣдствомъ я буду все-таки пользоваться одинъ. Хороша любовь! Животныхъ люди считаютъ больше посторонними или ужъ очень дальними родственниками, и съ ними умнѣе обходятся, или просто на просто ихъ бьютъ или пользуются ихъ глупостью, не стараясь исказить ихъ самобытности и характера, а скорѣе признавая его. Иногда берутъ крутыя мѣры, когда звѣри на насъ смотрятъ, какъ мы на нихъ, и принимаютъ насъ тоже за съѣстной припасъ, но, вообще, откровенно пользуются ихъ особенностями и кабалаютъ ихъ въ свою крѣпостную работу. Весь приѣмъ не тотъ. Отъ лошади мы требуемъ, чтобы она была хорошей лошадию, и вовсе не стремимся стереть ея характеръ, воспитывая въ ней ея общеживотную натуру и стараясь изъ нея сначала образовать хорошаго звѣря вообще, а потомъ ея спеціальность. Нѣмцу же или англичанину толкуютъ, что онъ прежде всего *человѣкъ*, онъ и старается съ самаго начала не походить на себя. Животныхъ мы наблюдаемъ, а людямъ все внушаемъ,

ну и выходить вздоръ. Примѣры на всякомъ шагу. Мы знаемъ, что кошка личной собственности не признаетъ, авторитетовъ еще меньше, что она ни къ полицейскимъ должностямъ, ни къ военной дисциплинѣ собачьей страсти не имѣетъ, и не ходимъ съ ней на охоту, не ставимъ ее сторожемъ при вещахъ, кварталнымъ при стадѣ, а, напротивъ, соглашая ея эгоистическіе вкусы съ нашей потребностью, предоставляемъ ей удовольствіе охотиться по мышамъ, которыя намъ почему-то всегда мѣшаютъ. Отчего же никто не исправляетъ кошки, не прививаетъ ей голубиныхъ добродѣтелей, не внушаетъ ей любовь къ мышамъ и птицамъ, не внушаетъ даже военного духа, вслѣдствіе котораго загрызть мышей должно, но ѣсть унизительно, а слѣдуетъ послѣ сраженія набрать побольше мышиныхъ труповъ и зарыть въ яму...

— Ха, ха, ха! Я, докторъ, и это запишу.

— И это будетъ такъ же бесполезно, развѣ для препровожденія времени.

— Вы мнѣ напоминаете одного нашего генерала, который, рассуждая о революціонныхъ движеніяхъ 1848 года, говорилъ, что, по его мнѣнію, вся эта кутерьма была сдѣлана для «изоэчренія въ стилѣ журналистовъ».

— Не помните ли вы его фамилію?

— Нѣтъ.

— Экая досада, я записалъ бы ее. Это умнѣйшій генераль у васъ послѣ Суворова; а вы хотѣли надъ нимъ посмѣяться!

— Нѣтъ пророка въ своемъ отечествѣ.

— *Lyon Perrache—Lyon Perrache! Les voyageurs pour Amberg, Culos, ligne de Chambéry, ligne de Genève! Changement de voiture.— Les voyageurs de l'Express—Arseille—Lyon continuent immédiatement.*

Я вышелъ изъ кареты, люди выгружали багажъ. Я подошелъ еще разъ къ окну, докторъ протянулъ обѣ ноги на мое мѣсто и повязалъ себѣ на голову фуляръ.

Экспрессъ двинулся.

Досадно, запрутъ меня теперь въ ящикъ съ какими-нибудь часовщиками изъ Шо-де-фона, или съ ліонскими комми, «работающими въ шелкахъ», или, чего Боже сохрани, съ путешествующими дамами, которыя закроютъ всѣ окна, займутъ всѣ мѣста необычайнымъ количествомъ *ручного* добра, который онѣ таскаютъ съ собой...

. . . Съ тѣхъ поръ, какъ поднялся вопросъ объ освобожденіи женщинъ отъ супружеской зависимости, онѣ вовсе *не крѣпки* дома и ужасно легко отрываются отъ «ложа и стола», какъ выражается римское право. Встрѣчь онѣ никакихъ не боятся, мы ихъ боимся. Сама природа, кажется мнѣ, способствуетъ къ уравненію прекраснаго пола съ просто поломъ; Швейцарія, напр.,

окружаетъ, по крайней мѣрѣ, городскую часть женскаго населенія какимъ-то нимбомъ, удаляющимъ всякую опасность временнаго перемирія и *entente cordiale* между враждебными станами.

Я замѣтилъ это (въ другой формѣ) ѣхавшему со мной члену женевскаго большаго совѣта. Онъ не то чтобъ очень доволенъ былъ моимъ замѣчаніемъ и совершенно неожиданно возразилъ:

— Но зато, какъ онѣ *свѣжи*.

Въ этомъ неоспоримомъ достоинствѣ устриць и сливочнаго масла искалъ онъ облегчающей причины.

X.

— Послѣдній тунель и *post tenebras lux*.

Женеvu я знаю съ давнихъ лѣтъ. Я ее слишкомъ знаю.

— Скажите, пожалуйста, какъ бы мнѣ сдѣлать,—говорила одна дама, соотечественница наша, не безъ угрызенія совѣсти,—какъ бы сдѣлать, чтобы полюбить Швейцарію?

Задача была не легкая, несмотря на то, что есть множество причинъ, по которымъ Швейцарію слѣдуетъ любить.

— А вы куда ѣдете?—спросилъ я ее.

— Въ Женеву.

— Какъ можно, вы ужъ лучше поѣзжайте въ другое мѣсто

— Куда же?

— Въ Люцернъ, или что-нибудь такое.

— Неужели тамъ лучше?

— Нѣтъ, гораздо хуже, но тамъ вы скорѣе дойдете до разрѣшенія вашей задачи.

Въ самомъ дѣлѣ, въ Женевѣ все хорошо и прекрасно, умно и чисто, а живетъ туго. Начнешь разсуждать,—ясно какъ дважды два, что въ наше сѣренькое время мало мѣсть лучше въ Европѣ; а наймешь квартиру,—такъ и тянетъ куда-нибудь, лишь бы изъ Женевы вонъ.

Достоинствъ Женевы кто не знаетъ. Каподистрія въ тѣ веселыя времена, когда Европа танцевала свою исторію на конгрессахъ и вся пахла *fleur d'orange*'мъ и бѣлыми лиліями, сравнивалъ Женеву съ ладанкой, въ которой бережется *кабардинская струя*, напоминающая что-то Европѣ своимъ запахомъ. Каподистрія былъ правѣ покойнаго императора Павла I, называвшаго движеніе въ Женевѣ «бурями въ стаканѣ». Конечно, привыкнувъ братъ за единицу мѣры пространство отъ Петербурга до Камчатки, Женева можетъ показаться не только стаканомъ, но и рюмкой,—но одной рюмки мохуса было дѣйствительно достаточно, чтобы во всей Европѣ поняли, что извѣстный мохусъ существуетъ. Въ ней, какъ въ фокусѣ, усиленно и сокращенно.

отражается все движеніе и всѣ движенія современной исторіи, съ тѣмъ преувеличеніемъ, которое имѣютъ Альпы на выпуклыхъ картахъ и капли подъ микроскопомъ.

Вы видите,—я далекъ отъ того, чтобы клеветать на рюмку, служившую вѣка цѣлые гаванью всѣмъ преслѣдуемымъ за грѣхъ мысли, бѣжавшимъ въ нее съ четырехъ сторонъ, на рюмку, изъ которой вышелъ Руссо и со дна которой Вольтеръ мутилъ Европу. Но что же мнѣ дѣлать, когда при всемъ этомъ *чего-то въ ней не достаетъ*.

Наружно женеvцы давно бросили свой отгалкивающий піэтизмъ, свою канцелярскую, педантскую обрядность. Женева въ этомъ даже опередила Англію,—въ ней человекъ можетъ, не теряя честнаго имени, кредита, мѣста, уроковъ и приглашеній на обѣды, не явиться нѣсколько воскресеній къ предикѣ. Но за спавшей съ души коростой кальвинизма осталась постно сморщенная кожа. Эти формы безъ содержанія, эти рябины прошлой болѣзни уцѣлѣли вмѣстѣ съ сухой раздражительностью, съ приемами прежней нетерпимости. Женева похожа на разстриженнаго патера, потерявшаго вѣру, но не потерявшаго клерикальныя манеры.

Кто-то сказалъ, что въ каждомъ женеvцѣ остается на вѣки-вѣковъ слѣдъ двухъ простудъ, двухъ холодныхъ дуновеній *бизы* и *Кальвина*,—и кто бы ни сказалъ, это совершенно вѣрно, но онъ забылъ прибавить, что къ двумъ прирожденнымъ простудамъ прибавляются разные пограничныя оттѣнки и осложнения: савойскіе—немного съ зобомъ внутри, французскіе—съ *coup d'état*-скими поползновеніями и централизаціонными стремленіями. Все это вмѣстѣ составляетъ въ общемъ швейцарскомъ характерѣ, тоже больше свѣжемъ, чѣмъ любезномъ, особый оттѣнокъ женеvскій, конечно, очень хорошій, но не то, чтобы чрезвычайно пріятный.

Женеvецъ—гражданинъ и буржуа, гражданинъ раздражительный, буржуа агрессивный, нѣсколько хищный и всегда готовый сдать сдачу—крупной, мѣдной монетой дурного чекана. Между собой у нихъ расплата идетъ свирѣпѣе и быстрѣе, чѣмъ съ нашимъ братомъ. Иностранца, особенно туриста, пока не замѣчаютъ въ немъ склонности къ осѣдлой жизни, щадятъ, какъ хорошую оборочную статью и выгодный транзитный товаръ. Такихъ соображеній между жителями быть не можетъ. На другіе кантоны женеvцы смотрятъ свысока, они *нарочно* не знаютъ по-нѣмецки. Вообще надобно замѣтить, что у швейцарцевъ два, три, даже четыре патріотизма, и, стало-быть, столько же ненавистей. Есть патріотизмъ федеральный и есть кантональный; федеральный, въ свою очередь, раздвоенъ на романскій и германскій. Какъ

добрые родственники, граждане разныхъ кантоновъ любятъ собираться на семейные праздники, вмѣстѣ покушать и попить, пострѣлять въ цѣль, пошѣть духовную музыку и послушать свѣтскихъ рѣчей, послѣ чего, какъ *настоящіе* родственники, они возвращаются по домамъ съ той же завистью и нелюбовью другъ къ другу, съ которой пришли, съ тѣми же пересудами и взаимными антипатіями.

Въ германской Швейцаріи вы встрѣчаете на каждомъ шагѣ ту природную, наивную, англо-саксонскую грубость и безсознательную неотесанность, которая очень непріятна, но не оскорбительна, которая сердитъ, не озлобляя, такъ, какъ сердитъ неповоротливость осла, слона. Женевецъ, заимствуя у нѣмецкихъ кантоновъ это патріархальное свойство, усложняетъ его, переводя на французскій языкъ, не имѣющій столько емкости или выразительности по этой части, и, мало этого, онъ возводитъ простодушную, сосѣдскую грубость въ квадратъ преднамѣренной дерзости и сознательнымъ *sans façon*. Онъ наступаетъ на ногу, зная, что это очень больно; онъ скорѣе потому-то и позволяетъ себѣ это маленькое удовольствіе, что знаетъ.

То, что у нѣмецкаго нѣмца идетъ до приторности, чѣмъ онъ производитъ въ непривычномъ морскую болѣзнь и что называется словомъ, не переводимымъ ни на какой языкъ, словомъ *Gemüthlichkeit*,—это до такой степени отсутствуетъ въ женевцѣ, что вы отъ него бѣжите и безъ морской болѣзни. Къ тому же, женевецъ особенно скученъ, когда онъ весель, и пуще всего, когда разострится. Вѣроятно, во времена женевскихъ *либертиновъ* они были размашистѣе, смѣялись смѣшно и острили не тупымъ концомъ ума; но они выродились.

Такъ, какъ у женевцевъ слѣда нѣтъ нѣмецкой *задушевности*, такъ у нихъ нѣтъ признака сельскаго, горнаго элемента, сохранившагося въ другихъ мѣстахъ Швейцаріи; женевцамъ не нужно ни полей, ни деревьевъ,—имъ за все и про все служить издали *Mont Blanc* и вблизи озеро. Если онъ хочетъ гулять за городомъ, у него есть на то пароходы съ фальшивящей музыкой и двигающимся рестораномъ. Богатые уѣзжаютъ въ загородные дома, но бѣдное населеніе женевское не имѣетъ ничего подобнаго маленькимъ мѣстечкамъ возлѣ Берна, Люцерна, разнымъ Шенули, Гютчли, Ютли; есть кое-гдѣ несчастныя пивныя съ кеглями,—вогъ и все. Впрочемъ, надобно и то сказать, женевцу некогда много ѣздить *ins Grüne*; все время, остающееся отъ промысла, онъ посвящаетъ дѣламъ отечества, выбираетъ, выбирается, поддерживаетъ однихъ, топить другихъ и постоянно сердится. Къ тому же его торговыя дѣла именно и идутъ бойко только въ то время, когда людямъ въ городѣ душно. Главный промыселъ Же-

невы, такъ же, какъ и всей городской Швейцаріи, стада туристовъ, прогоняемые горами и озерами изъ Англіи въ Италію и изъ Италіи въ Англію. Нашихъ соотечественниковъ, дѣлающихъ также свои два пути по Швейцаріи, и больше, чѣмъ когда-нибудь, не такъ дорого цѣнять, «не стоятъ столько», по американскому выраженію, какъ прежде, до 19 февраля 1861 г. Англичане и американцы *котируются* выше. Женева къ торговлѣ странствами, вершинами и долинами, водами и водопадами, пропастями и утесами прибавляетъ торговлю временемъ и продаетъ каждому путешественнику часы и даже цѣпочку, несмотря на то, что у всякаго есть свои ¹⁾).

Въ отправленіи своей коммерціи съ иностранцами, женеваскій торговецъ является во всей своей оригинальности, онъ сердится на свою жертву за ея опыты самосохраненія и, мало что сердится, въ случаѣ упорства, оскорбляетъ бранью и крикомъ. Иностранецъ, который не поддается, въ глазахъ женеваца что-то въ родѣ вора.

XI.

Чтобъ подражать въ болтовнѣ моему уѣхавшему доктору и быть истымъ туристомъ, я долженъ бросить, заговоривъ о женевацахъ, взглядъ на ихъ исторію. Дальше 1789 г. мы, разумѣется, не пойдемъ, скучно и не очень нужно. Рѣзче этой черты исторія на Западѣ не проводила, это своего рода экваторъ.

Передъ этимъ годомъ генеральнаго межеванія, Женева жила набожной и скупой семьей, двери держала назаперти и безъ большого шума, но съ большой упорностью, молилась Богу по Кальвину и копила деньги. Опекуны и пастыри много переливали изъ пустого въ порожнее по части богословскихъ препираній съ католиками. Католики меньше болтали, больше интриговали и, когда отчаянные кальвинисты торжественно ихъ побили въ контроверзѣ, католики уже обзавелись землицей и всякимъ добромъ. Извѣстно, что католическіе клерикалы имѣютъ, при своей бездѣтности, то драгоцѣнное свойство хрѣна, что, гдѣ они цуютъ корни, ихъ выколоть трудно. Кальвинисты побились, побились, да такъ и оставили хрѣнъ въ своемъ огородѣ.

Въ тѣ времена въ Швейцаріи было много добродушно патриархальнаго; нѣсколько семействъ, переродившихся, покумив-

¹⁾ Въ Женевѣ до того усовершенствовались теперь измѣреніе времени, что узнать, который часъ, если не невозможно, то чрезвычайно трудно. Какъ ни посмотришь, все разный часъ: одинъ циферблатъ показываетъ парижское время (оно вѣрно отстаётъ *au jour d'aujourd'hui*), другое бернское (полагать надобно, совѣтъ нейдетъ), наконецъ, женеваское (по карманнымъ часамъ Кальвина на томъ свѣтѣ).

шихся другъ съ другомъ, пасли кантоны тихо и выгодно для себя, какъ свои собственныя стада. Разные почтенные старички съ клюками, такъ, какъ они являются въ святъ день послѣ объѣда потолковать нараспѣвъ не въ гётевскомъ Фаустѣ, а въ *Фостъ* Гуно, завѣдывали Женевою, какъ своей кладовой, распоряжаясь всѣмъ и употребляя на себя всѣ рабочія силы своихъ племянниковъ, дальнихъ родственниковъ и меньшихъ братій. Къ роскоши они ихъ не приучили, а работать заставляли до изнеможения, «въ потѣ, моль, лица твоего снискивай хлѣбъ», все по писаніямъ. Метода эта къ концу XVIII вѣка перестала особенно нравиться племянникамъ, потому что дяди богатѣли, а они исполняли писанія. Какъ дяди ни доказывали, что женевецъ женеvcу розъ, что одни женеvцы—*граждане*, другіе—*мъщане*, а третьи—только *уроженцы*, племянники не вѣрили и начинали поговаривать, что они равны дядямъ. «Вы правы, мы всѣ равны передъ Богомъ, — отвѣчали дяди, — а о суетныхъ, земныхъ различіяхъ, если они и есть, стоитъ-ли толковать!»—«Стоитъ и очень», отвѣчали тѣ изъ племянниковъ, которыхъ старые скряги не совсѣмъ сломали, и стали отлынивать отъ благочестиваго острога. «Вы люди свободные, толковали имъ дяди, не нравится дома, свѣтъ великъ, ступайте искать хлѣба, гдѣ хотите, а мы васъ даромъ кормить не будемъ, а будемъ молиться за васъ Богу, чтобъ очистить души ваши отъ навожденія общаго врага нашего».

— Ничего, думали про себя старички, пусть помяются, да поучатся, пусть поголодаютъ, да перебѣсятся, воротятся и опять будутъ работать на нивѣ нашей.

Взяли племяннички котомки и длинныя палки и пошли смотреть свѣтъ: кто съ запятокъ, кто съ козелъ, кто съ булавою *швейцара* въ рукѣ, кто съ бурбонскимъ ружьемъ на плечѣ, кто съ исторіей и географіей подъ мышкой, кто кондитеромъ, кто часовщикомъ, кто трактирнымъ слугой, кто слугой вообще; жены и сестры ихъ шли въ *француженки*, по части выкроскъ и воспитанія.

Тѣ, которымъ повезло, весело ѣхали домой и сами зачислялись въ дяди, но не всѣ остальные возвращались къ особенному удовольствію набожныхъ сродниковъ. Жившіе въ Вѣнѣ и въ Москвѣ, въ Неаполѣ и Петербургѣ, конфетчиками и буфетчиками, гувернерами въ Россіи или «свиццерами» въ Римѣ—еще ничего. Но другіе, встрѣтившіеся въ Парижѣ съ безпорядками, и притомъ не съ той стороны, съ которой были ихъ храбрые соотечественники, стрѣлявшіе по народу изъ оконъ Тюльерійскаго дворца 10-го августа 1792 года, возвратились никуда негодными. Въмѣсто молитвенниковъ въ черныхъ переплетахъ съ золотымъ обрѣзомъ, они начитались гнѣвнаго *père Duchêne* и мяг-

каго «Друга народа». Старые родственники, сдѣлавшіеся еще закоснѣлѣйшими раскольниками, такъ и ахнули. «Ахъ, говорятъ, вы богоотступники, мошенники, вотъ мы васъ!» — «Вы погодите ругаться, благочестивые старцы, отвѣчаютъ племянники, мы, вѣдь, не прежніе, мы раскусили васъ, *pas si bœuf* ¹⁾, давайте-ка прежде дѣлить наслѣдство, *Liberté, Fraternité, Egalité ou*... Старика и кончить не дали. Давно отупѣвшіе отъ ханжества и стяжанія, они совсѣмъ рехнулись при видѣ такой черной неблагодарности племянниковъ. Страхъ на нихъ нашель такой, вспомнили площадь, на которой они поджарили и отляпали невинную голову Серве,—ну, думаютъ, какъ «наши-то» съ безстыжихъ глазъ ограбятъ, потузятъ да еще, пожалуй... Фу! какъ отъ бизы, такъ морозъ по кожѣ и дереть.

По счастью, Франція явилась на выручку. Первому консулу было какъ-то нечего дѣлать, за неимѣніемъ двухъ, трехъ тысячъ какой-нибудь арміи *Sambre et Meuse* для гуртового отправленія на тотъ свѣтъ, онъ вдругъ отдалъ слѣдующій приказъ:

Article I. Женевская республика перестала существовать.

Article II. Департаментъ Лемана началъ существовать. *Vive la France!*

Великая армія, *освобождавшая* народы, заняла Женеву и тотчасъ освободила ее отъ всѣхъ свободъ. Пользуясь досугомъ, старички стали забираться и прятаться все выше и выше, запирались все крѣпче и крѣпче въ неприступныхъ домахъ, въ узкихъ и вонючихъ переулкахъ... Другіе, посмышленнѣе, принялись укладываться, да, не говоря худого слова,... за Альпы, да за Альпы.

Хорошимъ людямъ все на пользу, — добровольное заключеніе и добровольное бѣгство послужило старичкамъ какъ нельзя лучше. Оставшіеся, желая отмстить за порабощеніе отечества, принялись продавать непріятелю военные и съѣстные припасы по страшно патріотическимъ цѣнамъ. Во время имперіи никто не торговался (кромѣ Талейрана, и то только, когда онъ продавалъ свои ноты и мнѣнія). Недостало денегъ въ одномъ мѣстѣ, контрибуцію въ другомъ, двѣ контрибуціи въ третьемъ, ясно, что комиссаріатскіе Вильгельмы Телли въ убыткѣ не остались. Освобожденные, въ свою очередь, реакціей 1815 года отъ своихъ страховъ, эмигранты возвращались (точно также разжившись разными дипломатическими и другими аферами) къ затворникамъ, и давай другъ на другѣ жениться, для того, чтобъ составить плотную аристократію.

Какой вѣтеръ вѣялъ тогда, вы знаете: Байронъ чуть отъ него

¹⁾ Истое женевское выраженіе.

не задохнулся, Штейны и Канинги казались якобинцами, и Меттернихъ былъ *человѣкъ минуты*.

Объявляя обратно первому консулу о томъ, что департаментъ Лемана пересталъ существовать, а женевская республика снова начала существовать, священный союзъ резонно потребовалъ, чтобы во вновь воскресающей республикѣ ничего не было республиканскаго. Это-то старичкамъ и было на руку. Для либерально-учено-литературной наружности имъ за глаза было довольно м-мъ Сталь въ Коппетѣ, Декандоля въ ботаникѣ и Росси въ политической экономіи... Снова принялись они общипывать и брать голодомъ понурившихъ голову племянниковъ, снова завели богословскіе скачки и бѣги съ католиками, которые еще больше накупили земель. Скряжническую жизнь свою старики выдавали за олигархическую неприступность,—мы, де, имѣемъ наши знакомства при разныхъ дворахъ, а по другую сторону *Pont des Bergues* никого не знаемъ. Замкнутые въ горной части и лѣпясь около собора, они не спускались внизъ, предоставляя черни селиться въ С.-Жерве. Какъ всегда бываетъ, взявши всѣ мѣры, они не взяли самой важной: не строить имъ надобно было *Pont des Bergues*, не поправлять, а подорвать его порохомъ,—не подорвали.

По этому мосту прошла революція 1848 года.

Докторъ, умирающій и мертвые.

(Ницца, мартъ, 1869 года).

I.

Докторъ.

— Ну, что новаго, любезный гипербореецъ? Выраженія въ родѣ «любезный гипербореецъ» принадлежали у доктора къ послѣднимъ запоздалымъ листочкамъ старофранцузскаго древа познанія добра и зла.

— Новаго ничего нѣтъ, кромѣ того, что въ журналахъ ваше правительство такъ честятъ, какъ этого съ 2 декабря не бывало. Да не зовите вы меня, Бога ради, гиперборейцемъ. Во-первыхъ, мнѣ отъ этого слова всякій разъ становится холодно, а во-вторыхъ, жутко: такъ и кажется, что мы живемъ во времена Монтескье, близъ отель Ледисьеръ, гдѣ останавливался le Grand Tzar hyperboréen!

— Все забываю, что по новымъ учебникамъ васъ слѣдуетъ называть не гиперборейцами, а *туранцами*.

— Это все же лучше.

— Еще-бъ.... тутъ, сверхъ моды, комплиментъ.

— Конечно, не предумышленный!

— Въ этомъ-то и букетъ. Наши мудрецы выдумали это имя вамъ на смѣхъ, на зло, чтобъ васъ филологически обругать. Это была единственная помощь, которую Франція оказала Польшѣ. Нечего сказать, ловко придумали. Назвать васъ туранцами, имѣющими арианскіе элементы, значитъ признать ваши притязанія на Азію и на Европу. Вотъ обидѣли-то. Въ одномъ мы съ вами никогда не спорили, — это въ томъ, что люди еще очень глупы. Какъ у васъ должны хохотать надъ нами. Все, что мы противъ васъ дѣлаемъ, вамъ же идетъ въ прокъ. Наша ненависть полезнѣе для васъ всѣхъ союзовъ. Мы вамъ не можемъ простить взятія Парижа, хотя себя никогда не упрекали за вступленіе въ

Москву; это еще понятно, но не удивительно-ли, что и нѣмцы, взявшіе съ вами Парижъ, тоже сердятся на васъ за это. Изъ нелюбви къ вамъ, Европа всклепала на васъ неслыханную силу, а вы и повѣрили ей. Англія до того болтала о вашихъ замыслахъ въ Индіи, что вы въ самомъ дѣлѣ пошли въ какую-то Самарканду... Гдѣ же здравый смыслъ?... Стоить петербургскому кабинету забыть на недѣлю Турцію; двадцать европейскихъ газетъ напомнить ему восточный вопросъ и поддразнять Константинополь и всевозможными сербами и булгарами. Въ отищеніе за Польшу выдумали, что у васъ съ поляками нѣтъ славянскаго сродства, что вамъ, стало, и жалѣть ихъ нечего. Я завидую вамъ, мой милый монголь.

— Вы таки придерживаетесь *grattez un Russe*.

— И скоблить ненадобно. Татарскія степи такъ и сквозятъ сквозь французскія обои *et cela a son charme*. Я это не въ вину вамъ ставлю; напротивъ, съ вами, т. е. съ удавшимися, оттого и легко, что ступай, куда хочешь, ни забора, ни запрета, ни надгробнаго креста, ни верстоваго столба; однѣ пустоты, да размѣры...

— Добавьте кое-гдѣ вѣхи, кое-гдѣ верблюды съ Европейской кладью второй руки, немного подсохнувшей, немного подмоченной... кругомъ спить какое-то многое множество непробуднымъ сномъ.

— Спящіе еще проснутся. Вотъ мы такъ на яву бредимъ, это плохо; мозги такъ *парализированы*, что новой мысли прохода нѣтъ. Голова загружена, какъ мѣняльная лавка; все, что не идетъ вмѣстѣ, навалено рядомъ; чего не набито тутъ! Дѣйствительныя богатства и курьезная ненужная мебель, неудавшіяся машины воспоминаній, заклинаній, прорицаній, химическіе сосуды и церковныя снаряды, микроскопы, ороскопы, допотопныя звѣри, нежившіе уродцы, мыльные пузыри, надутые утопіями, лопаются въ облакахъ архивной пыли... Кабы у насъ въ головѣ да ваши пустыри!... Вы извините меня, вы еще народъ лѣнивый, не умѣете ими пользоваться. Съ нашей дѣятельностью, съ нашей привычкой, мы чудеса бы настроили...

— Если-бъ посчастливилось не наткнуться на дикихъ звѣрей.

— Дикіе звѣри выведутся, они отступаютъ передъ образованіемъ. Много ли у васъ осталось бѣловѣжскихъ зубровъ?

— Бѣда въ томъ, что наши дикіе звѣри, все звѣри высоко образованные.

— Это-то и хорошо. Опасно не то, когда звѣрь остается звѣремъ, а когда онъ отъ образованія становится скотиной и бьется между двумя крайними типами—русскаго плута и кроткаго дурака. Цивилизація подчистила у насъ все дикое, по крайней

мѣрѣ, засыпала песочкомъ да землицей, изъ нихъ и образовался толстый пластъ грязи, въ которомъ пропадаетъ всякое движеніе и вязнуть всякія колеса. Кое-гдѣ по этимъ болотамъ есть дощечки; но горе, если вы ступили возлѣ: васъ затянетъ съ головой, и вы незамѣтно сдѣлаетесь лягушкой, и вамъ покажется хорошо, какъ дома, въ этой вязкой глинѣ; въ ней все есть: своя глупость и свой умъ, свои герои и свои геніи, свои интересы и заботы. Можетъ, дренажъ и возможенъ, но поди, расчищай такія понтійскія болота. Исторія не крѣпка землѣ. Если-бъ это было не такъ, цивилизація не переѣзжала бы съ мѣста на мѣсто. Старые мозги труднѣе двигать, чѣмъ города и народы; новый умъ на нихъ не дѣйствуетъ. Особенно трудно двигать нравственныхъ людей, знающихъ, что они нравственны и честны. Подите, объясните какому-нибудь нелицепріятному судѣ, что глупо, закрывши книгу Кетле, прикидывать на своемъ безмѣнѣ справедливости, сколько годовъ каторжной работы вытягиваетъ какой-нибудь бѣшеный или отчаянный поступокъ. Эти господа опаснѣе всѣхъ дикихъ звѣрей вмѣстѣ. Будь у насъ въ 1848 году дикіе звѣри на мѣсто *честнѣйшаго* Тамартина и *честнѣйшихъ* товарищей его, не то бы было.

— Возвратились, докторъ, къ вашимъ баранамъ.

— Ужъ, конечно, въ этомъ случаѣ не къ козламъ. Ха, ха, ха. Вотъ вы меня и сбили. О чемъ, бишь, рѣчь-то шла? Какъ этотъ Тамартинъ попадется на языкъ, такъ нить мысли и потеряна. Ну, да оно и хорошо: я что-то заврался. Кстати... ну, т. е., оно не совсѣмъ кстати, но такъ и быть, я лучше расскажу вамъ по поводу Тамартина пресмѣшную вещь. Вы знаете, что осенью 1848 я былъ на югѣ Франціи. Какъ-то въ торговый день сажу я послѣ завтрака въ маленькомъ кафе и читаю; крестьянъ бездна, толкуютъ о выборахъ, о политикѣ. Услышавъ, что я докторъ и изъ Парижа, одинъ высокій старикъ въ вязаномъ колпакѣ, должно быть человѣкъ солидный и съ авторитетомъ, подсѣлъ ко мнѣ и сталъ спрашивать меня о новостяхъ. Выслушавъ, онъ подвинулся поближе, чокнулся стаканомъ, утеръ носъ и, понизивъ голосъ, сказалъ мнѣ, въ полслуха и глядя на меня испытующими глазами:

— У насъ поговариваютъ, что все дѣло мутитъ *одна особа...* (Самъ-то *дюжъ...*

Я посмотрѣлъ на него.

— Ну, le duc Rollin очень хорошій человѣкъ, да его-то полюбвица, что ли, очень забрала силу и сбиваетъ его.

— Не слыхалъ я, говорю ему, ни разу не слыхалъ.

(Старикъ хитро улыбнулся и прибавилъ:

— А мы вотъ и вдали живемъ, да не только слышали объ

этомъ, ни и имя этой Иродіады знаемъ,—ее прозываютъ la Martine.

Не выдержалъ я и, какъ старика ни жаль было, расхохотался. Что мнѣ пуще всего понравилось, это названіе Иродіады Ла-Мартинъ. Иродіада, добро бы уже Нинонъ-де-Ланкло. Да-съ, милостивый государь, этотъ вопросъ былъ сдѣланъ не въ Рязани, не въ Казани, а въ какихъ-нибудь ста километрахъ отъ Марселя и Авиньона. И это въ то самое время, когда у тѣхъ же крестьянъ готовились спрашивать, нуженъ ли республикѣ президентъ и, если нуженъ, то кого они хотятъ въ президенты? Ну, какъ же послѣ этого не бросить весь политическій хламъ... А что вы давеча поминали о газетахъ?

— Старая пѣсня, только голоса погромче. Винять правительство за все, за послабленія и за деспотизмъ, за разливы и за засухи.

— То-то, чай, доволенъ, потираетъ себѣ руки.

— Ну, не думаю, ужъ очень бранятся.

— Что ему брань, когда отъ него ждутъ урожая и теплой погоды? Религія правительства и страсть къ опекабъ были-бъ цѣлы. Вѣра во власть; вотъ въ чемъ все дѣло и вся сила. Я разъ посадилъ блоху въ голову одной старушкѣ, у которой лечилъ золотушныхъ внучатъ. Жаль, говорю ей, что наши короли утратили цѣлебную силу лечить золотуху. Будь по старому, вмѣсто того, чтобъ меня звать да на аптеку тратиться, добѣжали бы со внучатами до оперы, сегодня роль ѣдетъ слушать Малибранъ,... дѣтей посадили бы на столбики да на ступеньки. Онъ бы передъ Figaro qua, Figaro là, погладилъ бы ихъ по головкѣ и снялъ бы золотуху какъ рукой. Что вы, отвѣчаетъ мнѣ старушка, развѣ тогда короли были *такіе*, развѣ они ѣздили въ оперу; тогда какое житье-то ихъ было! Это, говорю я, извините, я не большой охотникъ до Людовика Филиппа, ну а все же ведетъ онъ себя почище. Тѣ-то, матушка, были все страшные блудники, да норовили все съ насиліемъ, съ убійствомъ. Старушка только качаетъ головой. Я тогда молодъ былъ, языкъ-то чесался...

— Ну, докторъ, я не замѣчаю, чтобъ и теперь пересталъ.

— Досада береть. Кричатъ себѣ о рабствѣ, о притѣсненіяхъ, а сами-то такъ и наклеиваютъ на него. Интегралъ, взятый отъ тридцати милліоновъ безконечно малыхъ бонапартистовъ, по неволѣ, долженъ быть Наполеономъ. Поговорите четверть часа съ любимымъ французомъ, о чемъ хотите, что его занимаетъ: о Рейнѣ, о почетномъ легіонѣ, о будущемъ его дочери, о притязаніяхъ его работниковъ; и вы возстановите по зубу, по косточкѣ, по волоску, по чешуйкѣ и допотопныхъ маршаловъ, и флцовыхъ архіереевъ, и легистовъ *diluviei testes*, и трепетныхъ мѣщанъ либераловъ, и

весь кодексъ, писанный Камбасересомъ съ компаніей раскаявшихся якобинцевъ, и *сюр д'этат*, и вчерашній день. Отъ чешуйки до чешуйки, отъ плебисцита до плебисцита, отъ сенатскаго рѣшенья до сенатскаго рѣшенья—вы невольно дойдете до постоянного соответствія правительства или полиціи съ темпераментомъ французовъ, такъ, какъ онъ выработался революціонными горячками, военными кровопусканіями à la Бруссе, романтическимъ постомъ и діэтой во время реставраціи, и жирнымъ разговорьнемъ при королѣ гражданинѣ и при пѣсняхъ Беранже.

— Вы хотите сказать, что Франція имѣетъ право на имперію такъ, какъ виновный на наказанье.

— Нѣтъ, не хочу и вамъ не совѣтую употреблять этотъ жаргонъ уголовныхъ палатъ и прокурорскихъ рѣчей. Какія тутъ наказанія, какія вины: простая логическая, фактическая послѣдовательность, идущая по пятамъ за событіями и дѣлами. Человѣкъ напился пьянъ, па другой день у него болитъ голова: это вовсе не наказаніе, а послѣдствіе. Откуда это, изъ какой нѣмецкой философіи откопали вы такое чудовище, какъ «право на казнь?»

— Докторъ, вы забыли вашихъ классиковъ: это сказалъ не нѣмецъ, а Платонъ.

— «Божественный», такъ и видно, что не простой смертный. Онъ совѣтовалъ поэтовъ выгонять изъ своего воспитательнаго дома, возведеннаго въ образцовую республику; а, небось, не догадался дать имъ въ безвозвратныхъ провожатыхъ всѣхъ идеалистовъ, любомудровъ. Я сколько ни принимался читать философскіе трактаты, изданные послѣ Вольтера и Дидро, все вздоръ. Они мнѣ всегда напоминаютъ *философскій камень*, худшій изъ всѣхъ камней, потому что онъ вовсе не существуетъ, а его ищутъ. Въ наукѣ ли, въ засѣданіи какомъ, если человѣкъ хочетъ городить пустяки, общіе взгляды, недосказанныя гипотезы, онъ сейчасъ оговаривается тѣмъ, что это только философское, т. е. не дѣльное воззрѣніе.

— Какія вамъ книги, докторъ! вы величайшій философъ безъ книгъ, вы все по зубу, да по косточкѣ.

— А какъ же иначе? Геологи не берутъ цѣлый Монбланъ въ лабораторію, а такъ, верешки, да осколки. Мелочь-то, мелочь-то надобно обсудить, да понять; а крупное само дается. Къ этому-то и ведетъ врачебная наука. Медицинская практика великое дѣло. Насъ зовутъ, когда машина совсѣмъ испортилась, такъ, какъ часы отдають чистить, когда колеса свинтились да перетерлись; а съ нами не худо бы было совѣтываться прежде болѣзни, да и не объ однихъ завалахъ да почечныхъ разстройствахъ.

Если-бъ передъ революціями, вмѣсто того, чтобъ собирать адвокатовъ и журналистовъ, дѣлали консиліумы, не было бы столько промаховъ! Люди, видящіе сотни человѣкъ въ день не одѣтыхъ, а раздѣтыхъ,—люди, щупающіе сотни разныхъ рукъ, ручекъ, рученокъ и ручищъ, повѣрьте мнѣ, знаютъ лучше всѣхъ, какъ бьется общественный пульсъ. Публично на банкетахъ и собраніяхъ, въ камерахъ и академіяхъ, все театральные греки и римляне, что тутъ узнаешь? Посмотрите-ка на нихъ съ точки зрѣнія врача. Куда дѣнутся ваши Бруты и Фабриціи! Гнилага зуба, мигрени достаточно, чтобъ ихъ свести *au naturel*. Доктору все раскрыто; что больной не доскажетъ, то здоровые добавятъ; что и здоровые умолчатъ, стѣны, мебель, лица дополняютъ. Духовника боятся, съ нимъ и умирающій и всѣ другіе кокетничаютъ; съ докторомъ никто. Ему ничего не говорятъ на духу, но во всемъ исповѣдуются.

Подумайте, какіе медяки нашли бы вамъ пульсъ девяностыхъ годовъ у нашихъ либераловъ сорокъ восьмого. Возьмите портреты тѣхъ... Мирабо, Дантонъ *felis leo*... Мара собака, бульдогъ, Робеспьеръ *felis catus*... барсъ, кошка, да какая кошка! Черты, глаза, разъ замѣченные, остаются на вѣки въ мозгу. Гошъ, Марсо... въ этихъ лицахъ горитъ огонь, эти люди объаты страстью; они отделились, они всѣ *туть*, у нихъ нѣтъ дома, семьи, неба; у нихъ нераздѣльная республика и отечество въ опасности, у нихъ все въ общемъ ураганѣ, на трибунѣ, на полѣ битвы. Дантонъ погибъ за то, что на мигъ забылъ со своей молодой красавицей женой, что «отечество въ опасности». Робеспьеръ, усталый отъ казней, приостановился на минуту, призадумался, пошелъ прогуляться въ поле, за городъ, и очутился безъ головы. Какъ въ такой горячкѣ не надѣлать чудесъ, не разрушить міръ и не сотворить другой. Головы валяются, ряды солдатъ валяются, стѣны валяются, а небо-склоны становятся все шире и шире. Одно преступленіе за другимъ, одно безуміе за другимъ, и ихъ никто не замѣчаетъ изъ-за величія лицъ, изъ-за свѣта событій. Всѣ диссонансы, все свирѣпое, кровавое, темное, тонетъ въ яркихъ краскахъ восходящаго солнца.

— Докторъ, дайте вашу руку; я пульса щупать не буду.

— Вспомните теперь, напримѣръ, сводный портретъ временнаго правительства 48 года. Людямъ этимъ надобно было себѣ спшить бѣлые жилеты съ отворотами *à la Robespierre*, чтобъ ихъ приняли за якобинцевъ; одинъ крошечный Луи-Бланъ по чело-вѣчески одѣтъ, а тѣ—круглая шляпа, сюртукъ и по *сюртуку* трехцвѣтный шарфъ... вмѣсто «отцевъ отечества» вышли какіе-то кварталные на слѣдствіи. Впереди сухая фигура Ламартина... зачѣмъ онъ тутъ? Какого «надшаго ангела» пришелъ отпѣвать

или подымать старый Нарцисъ? А тутъ эти не *сами*, а *братья*... Съ кѣмъ имѣю честь говорить, съ вами или съ вашимъ братомъ?— Съ моимъ братомъ, отвѣчаетъ Гарнье Пажесъ jun., Кавеньякъ не Годафруа. Вы не подумайте, что я врагъ этихъ людей. Я ихъ почти всѣхъ зналъ, кого лечилъ, съ кѣмъ спорилъ, съ кѣмъ соглашался. Честные люди, добрые люди; но люди, попавшіе не на мѣсто, люди, ну знаете, люди безъ *sacré feu*, какъ выражается одинъ нѣмецкій потентатъ, пьющій съ нами воды. У иныхъ сердце было золотое; да золотое-то для домашняго обихода, для жены, для пріятелей. Дѣти нашли брошенное безъ надзора ружье и храбро схватились за него, никакъ не думая, что оно заряжено,—ружье выстрѣлило, они переполошились; сперва испугались шума, надзиратели какъ бы не услышали; потомъ испугались другъ друга, что выдадутъ. Это не я! кричатъ одни. И не я,—кричатъ другіе. Ружье само выстрѣлило, кричатъ третьи. И въ голову ни одному не пришло, что старые надзиратели сами давно убѣждали, и что надзирателей, кромѣ ихъ, совсѣмъ нѣтъ. Ну, какъ же имъ было дѣлать республики? Вы когда-нибудь на досугъ почитайте двѣ книжки: изъ нихъ многому научитесь. Одна изъ нихъ называется «Буржскій процессъ», а другая «Донесеніе слѣдственной комиссіи».

— Господи, какое русское заглавіе!

— Составленное Бошаромъ объ іюньскихъ дняхъ. Прочитавши ихъ, вы перестанете многому дивиться, а это очень важно. Человѣкъ дивится только тому, чего не понимаетъ; а вѣдь сознаться надобно, какъ ни горько, намъ только остается, что *кой-что понять*.

— И другимъ объяснить, докторъ.

— Это дѣлается само собою. Вы зажигаеи спичку для себя, а человѣкъ посмотритъ который часъ... Кстати, дайте-ка посмотреть и на свои. Поздно. Прощайте. Доброй вамъ ночи.

— И вамъ, докторъ, хорошаго сна.

II.

Умирающій.

I.

— Докторъ, а вы все время февральской революціи были въ Парижѣ?

— Все время.

— Вотъ бы рассказали.

— Что я могу рассказать. Я никогда не бралъ прямого участія въ политикѣ.

— Тѣмъ лучше, вы-то и можете рассказывать, какъ безпристрастный свидѣтель.

— Я не говорилъ, что я не имѣлъ своихъ пристрастій... Впрочемъ, я какъ-то печально встрѣтился съ 24 февралемъ. Совершенная случайность, но она имѣла на меня вліяніе, ее-то я вамъ и расскажу вмѣсто исторической лекціи.

... Сильно не въ духѣ пробирался я между камнями баррикады. На моихъ рукахъ часть тому назадъ умеръ старикъ, котораго я очень любилъ, очень уважалъ. Обстоятельства, при которыхъ онъ умеръ, перевернули всю внутренность мою. Нашего брата трудно удивить агоніей. Мы съ молодыхъ лѣтъ привыкаемъ къ смерти, нервы крѣпнуть, притупляются въ больницахъ, на военныхъ перевязкахъ, во время заразы; а смерть моего пациента такъ перетряхнула меня, что я нѣсколько дней не могъ съ ней справиться, потомъ махнулъ рукой, какъ человѣкъ машетъ на все, когда видитъ свое безсиліе.

Пока я искалъ, куда поставить ногу между камнями, гляжу—бѣжитъ нашъ лаборантъ изъ Hôtel Dieu, съ веселымъ лицомъ, безъ шляпы, съ пучкомъ какихъ-то листовъ. Увидѣвъ меня, онъ прокричалъ мнѣ:—Побѣда, докторъ, побѣда. Nous l'avons. Вотъ читайте, и знаете, кто набиралъ? Самъ Прудонъ, въ типографіи «Реформы». Я сейчасъ оттуда, несу раздавать нашимъ! Прощайте!—Онъ было ударился бѣжать, но наткнулся въ упоръ на двухъ всадниковъ, которые хотѣли тоже проѣхать по разгороженному мѣсту баррикады. Одинъ былъ въ кепи и кабанъ; другой въ круглой шляпѣ, надвинутой на брови. Vive la République! закричалъ имъ во всю горловую мочь лаборантъ и приставилъ пальцы къ носу. Военный схватился за рукоятку сабли, всадникъ въ круглой шляпѣ остановилъ его руку; оба пожали плечами. Лаборантъ громко и звонко хохоталъ. Всадники, словно, передумали, повертели лошадей и тихо поѣхали назадъ. Военный показывалъ что-то пальцемъ вдали и объяснялъ; штатскій слегка качалъ головой.

Исхудалое, мрачное лицо, мѣстами почернѣвшее какъ бронза, умирающаго старика не вышло у меня изъ головы.

Прежде чѣмъ продолжать, я васъ вотъ что спрошу: Вы вѣрно встрѣчали въ Россіи послѣднихъ могижанъ нашей революціи, непримиримыхъ, неисправимыхъ стариковъ девяностыхъ годовъ?

— Встрѣчалъ и не одного, и признаюсь вамъ, имѣю къ нимъ пристрастіе...

— Тѣмъ лучше... я ихъ ставлю ужасно высоко. Такихъ людей больше нѣтъ. Должно быть на людей бываетъ урожай, какъ на виноградъ. Кажется, условія тѣ же, а одинъ годъ изъ десяти вино лучше, говорятъ, отъ кометы. Въ Англіи комета на людей была во время Кромвеля, а у насъ въ концѣ XVIII вѣка. И замѣтите, что люди этихъ двухъ стус похожи другъ на друга. Пуритане, доканчивавшіе свой вѣкъ въ Швейцаріи и Голландіи, сильно сбивались на старыхъ якобинцевъ, только что одни все говорили по Исаію и Езекиілу, а другіе по Тациту и Плутарху. Въ началѣ моей практики, нашихъ стариковъ еще было много; теперь чуть ли не все ушли, да и пора: новая Франція для нихъ чужая. Они страдали, были въ тягость другимъ, были просто не на мѣстѣ. Дѣло въ томъ, что они въ сущности были моложе внучатъ. Тѣ все ихъ учили уму-разуму, а старики учились дурно. Какъ сохранили эти люди свѣжесть души, своего рода наивность и вѣру? это потерянный секретъ. Я, бывало, смотрю и дивлюсь, какъ сѣдой, пожелтѣлый старикъ, едва двигающій ноги, а туда же, какъ влюбленный мальчикъ, хранитъ свою святыню, имѣетъ свои завітныя на памяти и свои завітныя слова, отъ которыхъ въ семьдесятъ, въ восемьдесятъ лѣтъ ихъ глаза горятъ и голосъ дрожить: привычные утописты, они вѣрили въ свой практической смыслъ и, отдавши все общему дѣлу, серьезно считали себя эгоистами. Ихъ жиденькіе наслѣдники скучали съ ними, думали, что они позируютъ; а этотъ поднятый тонъ происходилъ просто оттого, что душа ихъ была поднята и привыкла гордо хранить свое убѣжденіе въ тяжелое время.

... Теперь я долженъ вамъ сказать нѣсколько словъ о жизни человѣка, со смерти котораго я началъ мой рассказъ. Умершаго пациента моего звали по крещенью и метрику Лукасомъ Ральеромъ, но по собственному усовершенствованію гражданиномъ Тразеасъ - Гракхомъ Ральеромъ. Лѣтъ двадцати онъ попался въ тюрьму по дѣлу «послѣднихъ римлянъ»; это было въ 1796, какъ вы знаете. Судъ, приговорившій Рома и Гужона съ товарищами къ гильотинѣ, испугался ихъ великаго самоубійства и на скорую руку объявилъ Тразеаса-Гракха, вмѣстѣ съ множествомъ людей, захваченныхъ для уголовного corps de ballet, невинными. Ральеръ вовсе не хотѣлъ быть оправданнымъ, а самъ явиться обвините-

лемъ; съ этой цѣлью онъ писалъ судьямъ записки съ разными вѣжностями, въ родѣ: «убійцы республики, изверги и измѣнники рода человѣческаго»; но его не слушали,—жертвъ было больше не нужно. Ральера вытолкали противъ воли изъ тюрьмы. Онъ бросился въ журнализмъ и мстилъ своимъ перомъ за смерть Рома и его друзей, à la suite de la séquelle corrompue de l'infâme Cabarus. Бараса и Таліена онъ не подорвалъ, а самъ посидѣлъ еще раза два въ тюрьмѣ и чуть не отправился въ одну изъ депортацій, которыя дѣлались тогда на томъ расчетѣ, на которомъ давали эликсиръ Леруа, для героическаго очищенія общественнаго организма. Призадумался мой Тразеасъ-Граакъ, видя, какъ всякій день «Наполеонъ больше и больше просвѣчивалъ сквозь Бонапарта», и, наконецъ, какого-то нивоа ап. VIII или IX, взялъ паспортъ во имя «единой и нераздѣльной республики» и оставилъ Францію. Паспортъ этотъ онъ потомъ переплелъ въ сафьянъ, берегъ всю жизнь, иногда показывая близкимъ знакомымъ. Ральеръ отправился прямо въ Петербургъ. Въ оригинальномъ рѣшеніи этомъ помогъ ему опять-таки указующій перстъ du grand maître. Какъ-то вечеромъ въ 92 году Ральеръ сидѣлъ у Терони-де-Мерикуръ; туда пришелъ Ромъ и съ нимъ какой-то юноша. Юношу Ромъ воспитывалъ и любилъ, какъ сына. Онъ говорилъ объ немъ съ восторгомъ, какъ о будущемъ представителѣ безсмертныхъ началъ революціи въ Россіи. Мальчикъ этотъ долженъ былъ получить тысячу тридцать крестьянъ и клялся Рому ихъ освободить. Ральеръ сблизился съ нимъ. Молодой человѣкъ много разъ звалъ Ральера въ Россію просвѣщать полуварваровъ; онъ рѣшился воспользоваться его приглашеніемъ.

Это было въ концѣ царствованія Павла. Прежде, чѣмъ Ральеръ отыскалъ le citoyen comte Strogonoff, онъ однимъ добрымъ утромъ встрѣтилъ на улицѣ Павла. Замѣтивъ что-то якобинское въ покроѣ его кафтана, онъ осмотрѣлъ его съ головы до ногъ и велѣлъ узнать, кто онъ такой? Узнавъ, что онъ гражданинъ французской республики, Тразеасъ-Граакъ по имени, императоръ тутъ же велѣлъ отставить одного генерала, одного полковника, двухъ таможенныхъ приставовъ и десятокъ квартальныхъ, за допущеніе въ столицу такого Тразеаса-Граакха. Ральера схватили, свезли въ крѣпость. Черезъ часъ въ крѣпость явился оберъ-полиціймейстеръ; черезъ часъ и пять минутъ—тройка съ фельдъ-егеремъ. Оберъ-полиціймейстеръ объявилъ, что государь приказалъ его отправить на житье въ Пермь, и потомъ сталъ допрашивать его, зачѣмъ онъ пріѣхалъ, какого званія и проч. «Справедливѣе было бы, замѣтилъ Ральеръ, сперва спросить, а потомъ сылать». Полиціймейстеръ испугался, писарь записалъ. Ральера усадили въ кибитку, адъютантъ проводилъ до заставы, и они

помчались... На другой день они были километровъ за триста отъ Петербурга, когда нагнала ихъ другая тройка, скѣкавшая во весь опоръ. Адъютантъ, сидѣвшій въ ней, кричалъ фельдъегерю, чтобъ онъ остановился, и билъ ямщика, чтобъ тотъ обгонялъ. Подскакавши, онъ соскочилъ съ телѣги, велѣлъ Ральеру выйти и объявилъ ему слѣдующее отъ имени императора: государь находитъ замѣчаніе французскаго подданнаго Ральера совершенно вѣрнымъ, относить къ глупости и нерадѣнію по службѣ оберъ-полиціймейстера, что онъ сперва не допросилъ его, въ силу чего приказываетъ выслать означеннаго Ральера за границу, давъ ему сто червонцевъ на дорогу. Ральеръ отказался отъ денегъ и помчался тѣмъ же порядкомъ въ Петербургъ; на заставѣ его уже ждалъ третій адъютантъ съ третьимъ приказомъ Павла. «За отказъ отъ денегъ слѣдовало бы иностранца Ральера строжайше наказать, но, такъ какъ онъ показываетъ столько же безкорыстія, сколько первое замѣчаніе разсудительности, предложить ему на выборъ: ѣхать въ ссылку въ Сибирь, или опредѣлиться въ женское учебное заведеніе учителемъ французскаго языка съ обязанностью носить армейскій прапорщичій мундиръ». Онъ не поѣхалъ и заказалъ себѣ мундиръ. Послѣ смерти Павла Ральеръ добрался до Строгонова. Онъ тотчасъ сообщилъ ему проектъ преобразования Россіи, основанный на уничтоженіи крѣпостнаго состоянія, дворянства, чиновъ, привилегій, на превращеніи церкви въ школы, а аршиновъ въ метры.

Строгоновъ находилъ его проектъ замѣчательнымъ, но преждевременнымъ. Ральеръ надулся и воспользовался первой войной съ Франціей, чтобъ уѣхать въ Молдо-Валахію. Тамъ онъ проповѣдывалъ Рома и монтаньяровъ дѣтямъ какого-то владѣтельнаго принца, обучалъ яескихъ аристократовъ французскому языку и пѣнію марсельезы. Изъ Яесъ онъ поѣхалъ въ Польшу, къ какому-то магнату, князю и поклоннику Робеспьера; въ его домѣ онъ встрѣтилъ сироту французенку, ея красота тронула моего героя, онъ предложилъ ей руку и сердце на томъ условіи, чтобъ въ церкви не вѣнчаться. *La belle enfant* разсудила, что чѣмъ менѣе цѣпей, тѣмъ лучше, и согласилась. Черезъ три года она его бросила, уѣхавъ съ сыномъ поклонника Робеспьера, оставляя въ знакъ памяти новорожденнаго; черезъ тринадцать лѣтъ она сама, брошенная магнатомъ, поселилась въ Парижѣ и упростила Ральера отнустить къ ней *le cher fils* для воспитанія въ *la belle France*. Въ Парижѣ она умерла, обобранная до нитки какимъ-то высокимъ итальянскимъ баритономъ и двумя тощими аббатами. Сынъ остался въ школѣ.

Наконецъ, послѣ всѣхъ скитаній и Ральеръ, какъ настоящій французъ, все-таки очутился въ Парижѣ послѣ 1830 года, смяг-

ченный возстановленіемъ *трехъ цвѣтовъ*. Онъ свысока смотрѣлъ на конституціонную монархію и былъ увѣренъ, что новая измѣна Мотье (онъ иначе не называлъ Лафайета) и «узурпація» старшаго сына Филиппа-Эгалите неппрочны, и что республика настоящая, *la bonne et la vraie*, за плечами. Но видно интриги Бараса и Кабаргосъ пережили ихъ, и Ральера, замѣшаннаго въ дѣло Барбеса и Бланки, усадили въ Mont Saint Michel. Ему было тогда уже за шестьдесятъ.

... А прогосъ къ Mont Saint Michel, я помню въ старые годы, въ Версали или въ Сень-Клу, въ комнатѣ Маріи Амеліи, висѣлъ превосходный видъ Mont Saint Michel. Для меня всегда было странно, почему она выбрала именно этотъ видъ, а не что-нибудь другое... морское и гористое, ну Сень-Мало, что-ли? Какъ будто пріятно засыпать съ такими memento власти передъ глазами и просыпаться, думая: а вотъ нашъ добрый cousin Пакье еще вчера законопатилъ въ это птичье гнѣздо на скалѣ двѣ-три безпокойныя головы; а Барбесъ тамъ сидитъ столько-то; мой мужъ можетъ выпустить ихъ всѣхъ, онъ добрый человѣкъ, но затрудняется въ выборѣ и, чтобъ не сдѣлать несправедливости, не выпускаетъ никого...

— А мнѣ кажется, докторъ, она вовсе этого не думала, а просто смотрѣла, да любовалась на волны и камни. Такъ, какъ люди, ѣдящіе страсбургскіе пироги, не думаютъ о разныхъ неприятностяхъ, причиняемыхъ гусьямъ для ожиренія ихъ печени.

— J'aime ça... вы правы; и это уже чистый туранизмъ: въ самомъ дѣлѣ, ей и въ голову, вѣроятно, не приходило, что за этими стѣнами томятся люди, она все на чаекъ смотрѣла.

Итакъ, снабдивши старика ревматизмомъ во всѣхъ суставахъ, правительство лѣтъ черезъ шесть возвратило, сколько его осталось, «семьѣ и обществу». Старика взялъ къ себѣ его сынъ, который уже успѣлъ сдѣлаться большимъ дѣльцомъ и извѣстнымъ нотаріусомъ въ Парижѣ. Я лечилъ у него въ домѣ и меня призвали къ старику. Старикъ очень привязался ко мнѣ, ему не съ кѣмъ было души отвести, а я слушалъ его съ любовью. Зато, могу васъ увѣрить, рѣдко кто знаетъ больше меня подробностей о процессѣ Рома и Гужона. Молодой Ральеръ, Изидоръ, былъ не глупый, не злой человѣкъ, даже либеральничалъ, но при этомъ онъ все же былъ больше нотаріусъ, чѣмъ что-нибудь другое. Ему и въ голову не приходило становиться на дорогѣ реакціи; онъ сторонился передъ ней, пожимая плечами и предоставляя исторію самой вырабатываться, какъ знаетъ. Къ тому же онъ былъ въ ложномъ положеніи. Онъ ничего не имѣлъ, кромѣ кой-какихъ знаній и того *пятна*, которое въ глазахъ честныхъ и умѣренныхъ людей положилъ на него нераскаянный старикъ.

Мѣсто свое, тепло насиженное со всей кліентеліею тестя, онъ получилъ въ приданное за женой. Жена его во всю жизнь имѣла одинъ капризъ: ей вздумалось выйти замужъ за Изидора. Ральеръ былъ хорошъ собой, какъ-то удачно чесался à la Louis-Philippe и могъ танцовать отъ 10 вечера безъ устали до 5 утра. Капризъ былъ не силенъ, но отецъ сначала поперечилъ; тогда она рѣшила во чтобъ ни стало поставить на своемъ и поставила. Это была чистая парижанка средняго круга, не хуже, не лучше тысячи другихъ. Она была правильно красива, имѣла видъ образованія, большой эгоизмъ, бездну тщеславія и совершеннѣйшую пустоту внутри. Мужу она не позволяла ни на минуту забывать, что она ему вмѣстѣ съ своей персоной, сладкой и холодной, какъ *meringue russe*, съ своей правильной любовью, безъ излишествъ и отказовъ, принесла очень «хорошее общественное положеніе».

Мысль поселить старика у нихъ въ домъ принадлежала ей, она смертельно боялась, что онъ на волѣ скомпрометируетъ опять ея Изидора и его общественное положеніе. Матеріально она ему все приготовила, обчистила его и приодѣла. Она, понимая, что между старикомъ и ею не было ничего общаго, высказывала тѣмъ сильнѣе свои чувства. Мнѣ приходилось не разъ внутренне улыбаться, когда *м-ме* Матильдъ, провожая послѣ обѣда прищуренными глазами старика, уходившаго къ себѣ, опираясь на костыль, подъ предлогомъ трубки, говорила мнѣ: «Какъ это мило имѣть въ домѣ такого почтеннаго старика, *vénérable vieillard*; я такъ люблю, когда «рара» за столомъ, это такъ трогательно, такъ патриархально. Старикъ съ почтенными сѣдинами такъ же необходимъ для семейной картины, какъ дѣтскія бѣлокурыя головки. Жаль, что у нана такіе нехорошіе принципы, но онъ жилъ въ ужасное время, когда все было ниспровергнуто, и тронъ, и алтарь. Мнѣ, знаете, просто страшно, когда онъ говоритъ о религіи и о всемъ такомъ, я стараюсь просто не слушать. Это такъ прекрасно имѣть религію, неправда ли?» Нотаріусъ не перечилъ ей, не перечилъ и отцу. Онъ сидѣлъ весь день и часть вечера въ своемъ студіумѣ, искалъ законы, писалъ черновые и принималъ разныхъ княгинь и маркизъ въ первую минуту зачатія подложной духовной, исправленнаго брачнаго контракта, и безъ шума откладывалъ плоды своихъ совѣтовъ въ разныя желѣзныя дороги. Старикъ было не по себѣ у нихъ, онъ не шелъ ни къ кабинету сына, ни къ гостиной его жены, скучалъ, слабѣлъ, становился мрачнѣе и, мнѣ кажется, жалѣлъ *Mont Saint Michel*. Раза два ему хотѣлось уйти куда-нибудь на свободу и покой, но жена нотаріуса и слышать не хотѣла; она рѣшительно находила неприличнымъ имѣть старика отца на сторонѣ. «То положеніе, которое занимаетъ (и съ такимъ достоинствомъ) мой Изидоръ, говорила

она,—положеніе, которое создать и упрочить стоило жизни моему бѣдному отцу, обязываетъ ко многому; оно требуетъ des ménagements и великій тактъ поведенія. Это не капиталъ, съ котораго рента растетъ, какъ трава, пока мы спимъ; тутъ все зависитъ отъ нравственнаго кредита. Что же вы думаете — хорошо, когда пальцемъ укажутъ на рара, прибавляя, что это отецъ Изидора, и тутъ пойдутъ всѣ эти комментаріи, разспросы: отчего онъ не ужился у своего сына, и какъ онъ его отпустилъ, вѣрно его сноха выжила? Къ тому же нашъ добрый старикъ, онъ опасенъ внѣ дома съ своими идеями съ того свѣта и фразами изъ Chevaliers de la maison rouge Дюма. Его посадятъ, если не опять въ тюрьму, то въ сумасшедшій домъ. За нимъ надобно смотрѣть какъ за ребенкомъ, и я со всей охотой, со всей преданностью дѣлаю все это для отца моего Изидора». Жена плакала, Изидоръ принимался умолять старика; старикъ угрюмо соглашался и шелъ къ себѣ читать по новому изданію Монитера девяностыхъ годовъ процессъ Рома, дѣлая «на маржахъ отмѣтки, поправки и собираясь торжественно уличить въ криводушіи редакторовъ, изъ которыхъ ни одного не было въ живыхъ».

II.

Пока старикъ собиралъ неопровержимыя доказательства, что гарантіи, даваемая закономъ всякому преступнику, не были взяты въ уваженіе при процессѣ послѣднихъ римлянъ «и великихъ патріотовъ», онъ получилъ первое предостереженіе. У него отнялись рука и нога. Немного спустя, какъ всегда бываетъ, когда судьба или ея представители хотятъ прекратить челоуѣка или журналъ, второе предостереженіе. Я намекнулъ m-me Ральеръ, что положеніе не безъ опасности; она вскочила съ какимъ-то ужасомъ.—«Боже мой! я всегда этого боялась».—Разсудите, замѣтилъ я: семьдесятъ шестой годъ.—«Нѣтъ, нѣтъ, вы этого, докторъ, не поймете, онъ *кончитъ такъ*»; и она побѣжала къ мужу въ какомъ-то истерическомъ раздраженіи.

Пріѣзжаю я разъ къ старику утромъ и застаю его очень печальнымъ и беспокойнымъ.

— Мнѣ, говоритъ онъ, съ вами надобно особо поговорить.

— Къ услугамъ вашимъ, у меня времени довольно.

— Посмотрите сперва, не подслушиваетъ ли кто?

Я посмотрѣлъ: разумѣется, никто не подслушивалъ.

— Теперь закройте дверь и сядьте ко мнѣ поближе. Вотъ въ чемъ дѣло, я думаю, почти увѣренъ...

— Ваше положеніе, замѣтилъ я, не безъ опасности (старикъ презрительно улыбнулся); но живутъ и не такіе больные годы цѣлые у насъ теперь въ Hôtel Dieu.

Ральеръ строго посмотрѣлъ на меня изъ-подъ нависшихъ бровей:

— Извините, сказалъ онъ, у меня нѣтъ достаточно силъ и времени, чтобъ дослушать эту, вѣроятно, очень интересную исторію о вашемъ пациентѣ. Вы, докторъ, кажется человѣкъ умный и меня немного знаете; не можете же вы думать, что я не умѣю покориться неизмѣннымъ законамъ естества? Я пожилъ довольно, слишкомъ довольно. Меня занимаетъ совсѣмъ другое. Съ того дня, когда великій учитель мой Ромъ прижалъ меня къ своей груди и сказалъ мнѣ: «Храни эти чувства», я ихъ хранилъ во всѣхъ обстоятельствахъ моей трудной, скитальческой жизни. Съ ними я хотѣлъ бы отойти. Пока машина исправна, я ничего не боюсь; ну, а сломается (онъ указалъ пальцемъ на свой высокий, покрытый морщинами лобъ),—что же я сдѣлаю? Изидоръ хорошій человѣкъ, но слабый, и не туда направленъ умъ... Матильда женщина добрая, хорошая мать, но женщина не свободная отъ фанатическихъ предразсудковъ и, еще меньше, отъ мнѣнія пустыхъ людей. Послѣ перваго случая со мной, я какъ-то послѣ обѣда возвратился опять въ столовую; дверь въ гостиную была отворена, тамъ сидѣлъ молодой откормленный аббатъ; Матильда съ жаромъ говорила съ нимъ и наливала ему въ рюмку ликеру. Аббатъ слегка качалъ головой и то закрывалъ глаза, то поднималъ ихъ къ небу. Увидя меня, Матильда сконфузилась, да сконфузился и я; показалъ ей пальцемъ, чтобъ она меня не замѣчала, и ушелъ къ себѣ.

... Черезъ нѣсколько минутъ я подхожу къ окну. Аббатъ стоялъ на тротуарѣ и дружески толковалъ съ нашей Бабетой.

— Вы знаете?

— Какъ же не знать.

— Аббатъ благословилъ ся и подарилъ ей какую-то медальку. Эге, да это комплотъ, подумалъ я, и комплотъ противъ меня. Они хотятъ загнать въ папское стадо потерянную овцу. Дѣло лестное, овца недюжинная... Но они считаютъ безъ хозяина... меня смертью не испугаешь.—Старикъ началъ сердиться и повторялъ:—нѣтъ, нѣтъ, вѣдь, я не принцъ Беневентскій, я никогда не примирялся съ конкордатомъ,—нѣтъ, я не принцъ Беневентскій!—И, выбившись изъ силъ, онъ заснулъ середь рѣчи. Во снѣ больной, вѣроятно, продолжалъ ту же нить мыслей... Раскрывши глаза, онъ сказалъ мнѣ:—Докторъ, вы честный человѣкъ, вы не были равнодушны ни ко мнѣ, ни къ великимъ началамъ революціи. Могу ли я считать на васъ, что вы не оставите меня въ послѣднія минуты, что вы будете здѣсь... возлѣ моей кровати, что вы не допустите къ моему одру чернаго таракана (Caffard).

— Здѣсь я буду, сказалъ я ему, за это я вамъ отвѣчаю и сдѣлаю все человѣчески возможное, чтобъ желаніе ваше исполнилось. Но теперь успокойтесь; вамъ необходимо отдохнуть, вы очень взволнованы. Вечеромъ я опять заѣду. Больной взялъ меня за руку и, сколько могъ, сжалъ ее, чтобъ поблагодарить.

— Не беспокойтесь объ усталости; скоро я буду имѣть досугъ для того, чтобъ отдохнуть отъ всего. А теперь дайте мнѣ вотъ эту шкатулку, что стоитъ на комодѣ.

Я подалъ; онъ съ уваженіемъ отперъ, вынулъ изъ нея черепаховую табакерку, портретъ въ эту и еще что-то въ кожаномъ мѣшечкѣ.

— Табакерка Рома, его портретъ, дѣланный ученикомъ измѣнника Давида, «барона Давида», и шейный платокъ Гужона, покрытый его кровью... Это все мои сокровища. Я съ ними не разлучался съ 96 года; я ихъ завѣщаю вамъ, докторъ, берегите ихъ и оставьте при мнѣ до тѣхъ поръ, пока не потухнетъ мое зрѣніе.

Старикъ отеръ слезы. Да, признаюсь вамъ, и не одинъ старикъ. Я опять старался его успокоить, но уговорить его было трудно; онъ не отпускалъ меня и держалъ то за руку, то за сюртукъ.

— Ну, спасибо вамъ; что я безъ васъ могъ бы сдѣлать въ моемъ положеніи противъ заговора, въ которомъ участвуютъ все? Вчера Бабета приноситъ мнѣ изображеніе казни одного великаго мученика и говоритъ мнѣ: «Я пришила это изображеніе къ вашей занавѣси; это облегчитъ васъ и заставитъ подумать о спасеніи души вашей. Когда мой отецъ былъ очень боленъ, ему бабушка положила такое изображеніе на подушку и ему стало легче».—Бабета, сказалъ я ей, искренно жалѣю, что вашъ родитель кончилъ жизнь въ мракѣ предразсудковъ. Я этого казненнаго человѣка уважаю: онъ твердо умеръ за свои убѣжденія, убитый судейскими Барасами и римскими военно-судными коммиссіями; но, когда вы приносите его изображеніе какъ лекарство или колдовство, я прошу васъ удалиться съ нимъ; у меня въ комнатѣ не мѣсто знакамъ фанатизма, ниспровергающимъ право ума человѣческаго и гармонию законовъ природы... На мои слова Бабета отвѣчаетъ мнѣ: «Ужъ хоть бы Богъ передъ смертью раскрылъ ваше сердце. Я вамъ изъ жалости говорю: вы кончите безъ покаянія и попадете въ адъ, словно вы не крещеный».—М-ше Куртилье, говорю я ей, человѣкъ отвѣчаетъ за свою старость и смерть, пока не сошелъ съ ума. Что касается до Бога и ада, это вопросы нерѣшенные и вовсе меня не занимающіе, какъ выходящіе изъ круга нашей дѣятельности.—«Такъ вы еретикомъ и пойдете туда», прибавила она, ворча и убираясь вонъ.

Это все аббата ее научил; иезуиты вездѣ ищутъ себѣ агентовъ и соглядатаевъ.

Старикъ уснулъ, бормоча что-то о Лойолѣ... а я на цыпочкахъ вышелъ вонъ, тихо, тихо притворивши дверь.

III.

Прямо отъ старика я прошелъ въ студию нотариуса. Въ канцеляріи былъ величайшій беспорядокъ. Ни одного ожидающаго, зѣвущаго, скучающаго посѣтителя на лавкахъ, ни одного писца на своемъ мѣстѣ. Самого Изидора не было въ кабинетѣ, несмотря на то, что это былъ пріемный часъ. Я имѣю непреодолимое отвращеніе къ конторамъ, канцеляріямъ и всякимъ мастерскимъ и людскимъ бюрократіи,—и самое ненавистное для меня въ нихъ, это ихъ бездушный порядокъ, ихъ запыленное и потертое однообразие; потому я почти обрадовался, увидя анархію Изидоровой готовальни. Молодой клеркъ стоялъ на столѣ и читалъ громко газету; около него собрались всѣ писцы, положивъ перья свои за ухо, въ томъ родѣ, какъ ружья берутъ отъ дождя. Одинъ старшій письмоводитель, старичекъ крошечнаго роста, съ сморщившимися мелкими складочками, которыя придавали ему видъ печенаго яблока, сидѣлъ поодаль. Беззубый, въ красномъ парикѣ, подобранномъ полосками всѣхъ рыжихъ цвѣтовъ, отъ темно-бураго до красно-желтаго, онъ постоянно жевалъ какія-то зернышки и журилъ молодыхъ писарей. Теперь онъ для сохраненія уваженія къ своему общественному положенію сидѣлъ одинъ на своемъ мѣстѣ и говорилъ шамшая: «Шалунъ, перестань читать; здѣсь не кафе. Перестань, сорванецъ. Сейчасъ воротится самъ и увидитъ...»

Мое появленіе остановило чтеніе и смѣхъ.

— Что у васъ за *parti gras* сегодня?

— Вы, докторъ, развѣ не знаете, что творится на свѣтѣ, замѣтилъ стоявшій на столѣ, соскочилъ на полъ и подалъ мнѣ торжественно газету. — Я вамъ совѣтую ѣхать домой, вы вѣрно найдете приглашеніе. Тюльерійскій дворецъ занемогъ.

— Перестанешь ли ты, проклятый болтунъ. Совѣтъ отъ рукъ отбился; вотъ, докторъ, что значитъ подрывать авторитеты, замѣтилъ старикъ, сердясь, какъ сердятся нянюшки на рѣзвыхъ дѣтей.

Я взялъ газету, съ утра дѣло банкета разыгралось и приняло огромные размѣры. Оппозиція требовала отдать министровъ подъ судъ. Гизо шпынялъ надъ ней, президентъ камеры бросилъ петицію подъ столъ, а тонъ журналовъ и оппозиціи поднимался, грозилъ. На улицахъ, на перекресткахъ собирались группы.

— И вотъ, докторъ, эдакой праздникъ *foyer d'âge* не позволяеть намъ праздновать, болталъ клеркъ.—Вѣрно нашъ рѣе

Бонкокъ, подхватилъ другой, въ половинѣ съ Гизо въ какихъ-нибудь акціяхъ и боится потерять. Какъ нашъ Бертранъ совсѣмъ оборвется со своимъ Роберъ Макеромъ...

— Кто, кто, Роберъ Макеръ? спрашивалъ не на шутку разсердившійся и испугавшійся старикъ.

— Будто вы не знаете, рѣге Бонкокъ: Фредерикъ Леметръ.

Снова взрывъ смѣха, и вдругъ все умолкло, вошелъ Изидоръ. Онъ хотѣлъ быстро пройти въ кабинетъ, но, увидя меня, остановился и, мягко указывая рукой на дверь, пропустилъ меня впередъ. Тамъ онъ устало опустился въ большое сафьянное кресло, указалъ мнѣ на другое и, пробормотавъ:

— Что за день! что за день! спросилъ объ отцѣ.

— Я не скрою отъ васъ, отвѣчалъ я,—больной плохъ. Всего хуже то, что онъ поддерживаетъ себя въ тревожномъ состояніи, въ раздраженіи; на это быстро потратятся очень сочтенныя силы его.

— Какъ такъ?

Я рассказалъ ему, что счелъ нужнымъ. Нотаріусъ всталъ, прошелся раза два по комнатѣ, потомъ остановился передо мной и, скрестивши руки на груди, сказалъ:

— Ей Богу, голова идетъ кругомъ, есть отъ чего съ ума сойти. Кажется, я привыкъ ко всякаго рода самымъ запутаннымъ положеніямъ, но это слишкомъ; все разомъ — и нѣтъ времени сообразить... Тутъ разваливается цѣлый общественный строй отъ упрямства двухъ стариковъ; уличный беспорядокъ и шумъ грозить Богъ знаетъ чѣмъ. Дома умираетъ отецъ, котораго я люблю, но котораго несчастный ригоризмъ, совсѣмъ не принадлежащій нашему времени, ставитъ меня въ страшнѣйшую альтернативу. Я съ вами, докторъ, буду откровененъ, мы люди нашего вѣка; вы не можете думать, чтобъ у меня были какіе-нибудь предрасудки... Между нами будь сказано, я полагаю, что во всемъ домѣ одна Бабета въ самомъ дѣлѣ имѣетъ дѣтскую вѣру и держится церкви; но тутъ одно проклятое обстоятельство... Если я могу его устранить, я сдѣлаю все такъ, чтобъ кончина старика была тиха и покойна; только сладить трудно.

— Въ чемъ же дѣло?

— Какъ въ чемъ, любезный докторъ? (Слухъ о тяжелой болѣзни отца разнесся, не могу же я сказать тогда, что онъ кончилъ *скоростижно*, не успѣлъ исполнить обряды. Его прошедшее, его мнѣнія слишкомъ извѣстны, чтобъ *они* захотѣли смотрѣть сквозь пальцы. Будь это просто такъ кто-нибудь, я поѣхалъ бы къ Афру, прекраснѣйшій и прелюбезнѣйшій человекъ. Я сладилъ бы съ нимъ въ четверть часа; но тутъ онъ упрется: почитатель Рома, нераскаянный якобинецъ, умеръ безъ отреченья,

безъ примиренья,—онъ для примѣра другимъ, для угрозы, не позволять его хоронить съ должной церемоніей.

— Что же, отецъ вашъ этого-то и хочетъ.

Нотаріусъ поднялъ голову наверхъ, какъ это дѣлають лошади въ упряжи.

— Въ моемъ общественномъ положеніи это безусловно невозможно—*безусловно*. Есть обязанности, которымъ слѣдуетъ подчинять самыя справедливыя стремленія сердца. У меня дѣти, я долженъ объ нихъ думать, и это далеко не все: мое положеніе, мое достояніе, это *депо*, ввѣренное мнѣ женщиной, ихъ матерью, я его именно потому долженъ хранить какъ святыню, что съ меня нельзя требовать никакого отчета. Понимаете теперь?..

— Нѣтъ, не понимаю.

— Вамъ хорошо, вы одни и васъ зовуть, когда тѣло нездорово; отъ васъ хотять *только* физической помощи. Наши пациенты посложнѣе, отъ насъ требуютъ не одного знанія, но неукоризненной нравственности, огромнаго такта въ поведеніи и самаго строгаго соблюденія приличій. Ну, какъ же имя, особенно женское, аристократическое, пойдетъ въ мою студию послѣ гражданскихъ похоронъ моего отца? Вы не подозреваете чудовищную силу предрасудковъ въ нашемъ обществѣ! На словахъ мы всѣ кощунствуемъ; а на дѣлѣ—величайшіе трусы. Незаконнорожденному, подкидыву скорѣе простятъ его рожденіе, чѣмъ отцу, который бы не окрестилъ своихъ дѣтей. Да что тутъ толковать, я душевныя немощи знаю столько, сколько вы тѣлесныя. Отца я люблю, уважаю, хотя и не дѣлю его эксцентричностей, и сдѣлаю все, *что могу*—*nul n'est tenu à l'impossible*.

— Я всталъ.

— А что? Отецъ не говорилъ вамъ, что онъ писалъ свою волю? Вы понимаете, добавилъ нотаріусъ, подымая плечи, — я не за наслѣдство боюсь: оно, кажется, состоитъ изъ Ромовой табакерки и его портрета.

— Ими вашъ отецъ распорядился, онъ ихъ завѣщалъ мнѣ...

— Спорить изъ-за наслѣдства, надѣюсь, мы не будемъ, замѣтилъ онъ съ невыразимо сдержанной улыбкой. Нѣтъ, я насчетъ письменнаго заявленія о похоронахъ.

— Можетъ и писать, замѣтилъ я, желая его помучить.

Туча пробѣжала по лицу нотаріусу.—Онъ вамъ читалъ?

— Нѣтъ.

Лицо нотаріуса прояснилось: мы разстались.

IV.

... На другой день весь Парижъ былъ на ногахъ, били рапцель; все шло и двигалось. Министерство Одилона Барро было смыто мгновенно, какъ глина и грязь первой волной. Правительство уступало, никто не зналъ куда итти, и всѣ шли скорыми шагами. Приемный часъ мой проходилъ; ни одного больного: въ такіе дни, я всегда замѣчалъ, всѣ бывають здоровы. Въ 49 году, 13 іюня сдѣлало перерывъ въ холерѣ. Я хотѣлъ выйти взглянуть, взялъ уже шляпу, вдругъ колокольчикъ и самъ Изидоръ *in propria persona* явился передо мной. Онъ никогда не бывалъ у меня.

— Я къ вамъ заѣхалъ, говоритъ онъ, на минуту, чтобъ сказать, что дѣло я почти уладилъ, и легче чѣмъ думалъ. Вотъ что намъ помогло... и онъ указалъ пальцемъ на улицу, по которой шли колонны вооруженныхъ людей, громко покрикивая: *Vive la réforme! A bas Guizot.*—Духовенство сконфужено до высочайшей степени, боится революціи, какъ огня, и со страху кокетничаетъ съ нами. Если *наша* возьметъ, а въ этомъ почти нѣтъ сомнѣнія, все сойдетъ съ рукъ безъ хлопотъ. «Успокойтесь, сказалъ мнѣ самъ архіерей, я поговорю съ вашимъ священникомъ и постараюсь убѣдить его. Если состояніе больного препятствуетъ, мы охотно возьмемъ на себя спасеніе его души. Церковь *volentem ducit, nolentem trahit*. Скажите вашей доброй супругѣ, что я молюсь за него и чтобъ и она молилась; скажите, что я посылаю ей пастырское благословеніе и очень цѣню, что въ нашъ суетный вѣкъ она прибѣжна къ храму Господню. Вклады ея мнѣ извѣстны и такъ же то, что ея мѣсто въ церкви рѣдко бываетъ пусто въ воскресные дни». Онъ очень, очень милый человекъ.

— А хорошо, сказалъ я ему, что вашъ батюшка не будетъ присутствовать на своихъ похоронахъ.

— Вы не къ намъ ли? Мой экипажъ у вашего подъѣзда, я васъ доведу.

— Благодарю васъ, мнѣ хочется пройтись.

— Ходить теперь не совсѣмъ удобно: *il y a trop de peuple souverain* на улицахъ. До свиданія.

... Утромъ я засталъ старика въ забытіи. Жизнь отступала тихо, надежды не было никакой. Мнѣ говорили, что онъ слышалъ шумъ на улицѣ, рапцель спрашивалъ: что такое? узналъ марсельезу, билъ тактъ и двигалъ губами; потомъ опять заснулъ. Я поѣхалъ къ двумъ-тремъ больнымъ, сѣлъ котлету и воротился въ сумеркахъ къ старику. У дверей больного стояла добрая Ба-

бета и горько плакала. Этотъ агентъ римской церкви и алгвазиль ордена Игнатія Лойолы любила старика и жалѣла его отъ чистаго сердца.

— Докторъ, говорила она мнѣ, онъ отходить; не берите на вашу душу часть грѣха, уговорите его, пока время есть, покаяться и примириться съ святой церковью. У него, вѣдь, было золотое сердце, онъ любилъ насъ, бѣдныхъ и безъ всякой гордости, сколько могъ, всегда помогалъ. За что же, помилуйте, за что же его праведная душа должна итти въ адъ? Неужели вы такой безчувственный, что вамъ не жаль?

— Бабета, успокойтесь, *chère enfant*, душа его въ адъ не пойдетъ; сами же говорите, что она праведная.

— Безъ отпущенія никакая не войдетъ въ рай, говорила она, и бѣдная заливалась слезами. Во время моего отсутствія у старика былъ еще ударъ. Сынъ сидѣлъ возлѣ на креслахъ и, все что-то обдумывая, глядѣлъ на потолокъ. Онъ во время моего отсутствія привелъ въ порядокъ бумаги отца. Я, осмотрѣвши больного, сказалъ Изидору, что остаюсь по обѣщанію до послѣдняго дыханія старика, что надежды нѣтъ никакой и что это вопросъ нѣсколькихъ часовъ, больше или меньше...

Изидоръ замѣтилъ, что онъ ничего письменнаго насчетъ распоряженій не нашелъ.

Старикъ только минутами приходилъ въ себя и то не совсѣмъ. Разъ, всмотрѣвшись въ меня, онъ узналъ, обрадовался и сказалъ:

— А вы слышали марсельезу на улицѣ и барабанъ? Ихъ оправдаютъ! съ торжествомъ прибавилъ онъ.

Въ комнатѣ было совершенно тихо; вдругъ брякнулъ залпъ и за нимъ опять тишина. Старикъ раскрылъ мутные глаза, прислушался и сказалъ:

— Вандемьеръ; я не вѣрю корсиканцу.

Это былъ знаменитый залпъ на бульварѣ. Часа черезъ два народное море заревѣло по улицамъ. Изидоръ пошелъ узнать, что дѣлается. Старикъ много разъ открывалъ глаза, будто припоминалъ что-то... Изидоръ возвратился взволнованный. Онъ мнѣ сказалъ, что строятъ баррикады и покрикиваютъ: «Да здравствуетъ республика!» Мнѣ хотѣлось сообщить это умирающему и въ минуту, когда онъ снова услышалъ шумъ и барабанъ, я сказалъ ему:

— Республика, республика.

— *Une et indivisible*, повторилъ онъ слабо, но внятно.

Затѣмъ началась послѣдняя борьба жизни. Сынъ подошелъ къ кровати, опустился на колѣни и взялъ старика за руку. Бабета тихо вошла въ комнату и плакала, удерживая рыданья; Мотильды, по нашему обычаю, не было въ комнатѣ. Изидоръ сдѣлалъ какой-то знакъ, Бабета бросилась вонъ и забыла затворить дверь.

Послѣ сильнаго вздоха, больной открылъ большіе глаза, видно было, что сознание на минуту возвратилось. Онъ узналъ опять меня и сына. Толпы народа шумѣли больше прежняго; старикъ указалъ головой и потомъ обвелъ глазами комнату, и вдругъ, какъ ужаленный змѣей или преслѣдуемый звѣремъ, вскрикнулъ; лицо его исказилось отъ ужаса, онъ вырвалъ руку у сына и, усиливаясь спрятаться подальше въ постели, указывалъ мнѣ въ противоположную сторону.

— Черный! черный! проговорилъ онъ, и голова его склонилась, рука повисла, пульса не было.

Я взглянулъ на то мѣсто, на которое онъ указалъ. Въ дверяхъ, не входя въ комнату, стоялъ аббатъ, за нимъ Матильда; Бабета держала свѣчу. Сынъ показалъ, что все кончено, и закрылъ глаза платкомъ. Аббатъ развернулъ маленькую книжку, которая у него была въ рукахъ, и сталъ въ носъ бормотать полатыни...

Привыкнувшій ко всему, этого я не могъ выдержать, и глядя въ упоръ на Изидора, сказалъ ему:

— Это уже изъ Лукреціи Борджіа, только постановка не удалась, поторопились! Я закрылъ покойнику глаза, поцѣловалъ его лобъ; на лицѣ его осталось выраженіе гнѣва и отвращенія, можетъ, умирая, онъ и меня считалъ однимъ изъ заговорщиковъ, однимъ изъ негодяевъ!

Съ плитой на сердцѣ вышелъ я на улицу и встрѣтилъ, какъ вамъ сказалъ, лаборанта и двухъ всадниковъ.

III.

Мертвые.

I.

— Вчера, началъ докторъ, разставшись съ вами,—я долго рылся въ бумагахъ и нашелъ тамъ, наконецъ, старую газету, которую искалъ. Статья клерикальнаго журнала и моя назидательная бесѣда съ Марастомъ хорошо замкнутъ мой рассказъ о старомъ яacobинцѣ.

Докторъ развернулъ листъ и прибавилъ:—Позвольте прочесть, я ужасно люблю эту статейку.

— Сдѣлайте одолженіе.

— Чего стоитъ одно заглавіе: «Le catholicisme est-il démocratique et républicain?» Католическая церковь не можетъ быть связана ни съ какой формой земной и проходящей власти; она свя-

зана съ небомъ и властью, которая не проходитъ. Католическая церковь не враждуетъ съ *свободой*, она сама основана на высшемъ изъ всѣхъ освобожденій, на освобожденіи отъ грѣхопаденія; она не враждуетъ съ *равенствомъ*, призывая малыхъ, сырыхъ и неимущихъ рядомъ съ сильными міра сего; она не враждуетъ съ *братствомъ*, называя братомъ во Христвъ каждого христіанина и повелѣвая любить ближняго и врага. Нечестивыя стѣны, отдѣлявшія жизнь гражданскую отъ жизни церкви, разлетаются какъ прахъ въ такіе великіе дни, въ которые гласъ Божій смѣшивается съ гласомъ народнымъ. И вотъ почему для насъ не было ничего удивительнаго въ томъ, что вожди народнаго движенія послѣ побѣды пришли къ алтарю воздать Богу богово и нашли архипастыря возносящаго къ небу теплыя молитвы о народѣ и народныхъ властяхъ. *Domine fac salvam Rempublicam* раздалось въ то же время во всѣхъ церквахъ великаго града.

«Да, времена, въ которыя мы живемъ, глубоко знаменательны, и еще на дняхъ мы видѣли торжественное зрѣлище, которое сильно потрясло насъ и надолго запечатлѣлось въ сердцахъ нашихъ. Едва бушующее народное море отступило съ львинымъ ревомъ своимъ въ берега, какъ на Монмартрскую пажить Господню постучался новый гость, сопровождаемый неутѣшнымъ сыномъ, опиравшимся на руку подруги своей. Она-то примирила почившаго старца съ тѣмъ, который принимаетъ всякое раскаяніе и прощаетъ всякій грѣхъ за ревность о дѣлѣ ближняго. Хорошили по всѣмъ правиламъ католическаго культа Люкаса Ральера, отца извѣстнаго въ Парижѣ нотариуса и легиста. Родившись въ тѣ несчастныя времена, когда легкомысліе Аруэта и вѣрующее невѣріе Жанъ-Жака считались наукой, а ненависть къ церкви любовью къ народу и образованію, Ральеръ въ молодыхъ годахъ дерзко закрылъ себѣ врата церкви. Гордость поль-вѣка воспрепятствовала ему сознаться въ своей ошибкѣ, и только въ послѣдніе дни, благодаря кроткому вліянію добродѣтельной жены своего сына, старецъ смирился передъ Искушителемъ, и церковь успѣшила принять духъ его съ миромъ. Отецъ Амарантъ произнесъ нѣсколько (но какихъ) словъ на текстъ: «Онъ сказалъ вертоградарю, что не пойдетъ на работу, — и пошелъ»... — Да, заключилъ краснорѣчивый аббатъ С.-Сулпиція: усопшій гражданинъ работаль въ вертоградѣ Христа, зане работаль для страждущихъ... Ты былъ нашъ, враждуя на ны. Мы ждали тебя долготерпѣливо и дождались, гряди же, какъ невѣста Ливанская на приуготовленное ложе... А мы повторимъ отъ всей души и всего помышленія литію архипастыря... И еще помолимся о державномъ народѣ французскомъ и испросимъ благословенія Господня на нашу христолюбивую республику, на ея градоначаль-

никовъ, военачальниковъ и представителей. Народъ, сильно тронутый словами Амаранта, разошелся съ крикомъ: *Vive la République! Vive l'église*».

II.

... Мѣсяца три спустя, мнѣ было нужно повидаться по очень важному дѣлу съ Марастомъ. Я былъ съ нимъ хорошо знакомъ и помѣщалъ время отъ времени обзорѣнія медицинскихъ книгъ и отчеты о засѣданіяхъ Медицинской Академіи въ «National'»ъ. Это былъ медовый мѣсяцъ его президентства; добратъся до президента было не легко. Пріѣзжаю въ первый разъ,—отказываютъ; пріѣзжаю во второй—дома нѣтъ.

— А какъ вы думаете, гдѣ онъ?

— Въ Собраніи.

— Я сейчасъ оттуда, его тамъ нѣтъ.

— Стало, уѣхалъ.

— Очень вѣроятно, а когда онъ воротится?

— Да вамъ который часъ назначень?

— Никакого; мнѣ нужно видѣть Мараста по дѣлу, я докторъ такой-то. Одинъ huissier съ цѣпью позвалъ другаго huissier съ цѣпью; это былъ важнѣе и, слѣдственно, грубѣе: высокій, плѣшивый, рыхлый подагрикъ, павшій на ноги, въ замшевыхъ сапогахъ, съ тѣмъ театральнымъ величіемъ, за которымъ человѣкъ прячетъ совершенную пустоту своего ремесла, онъ объявилъ, глядя не на меня, а куда-то въ уголъ, что у Monsieur le Président надобно письменно просить свиданія и прибавилъ:

— Если-бъ президентъ всѣхъ принималъ, ему надобно было бы 48 часовъ въ сутки, да и тѣхъ, можетъ, не хватило бы. Хотите бумаги и чернилъ? вотъ все, что нужно, прибавилъ онъ и указалъ маленькимъ пальцемъ на столъ. Я вынулъ изъ кармана свою карточку и написалъ на ней: «Мнѣ васъ нужно по дѣлу; меня къ вамъ не пускаютъ. Я прійду завтра въ девять утра узнать, когда васъ можно видѣть?» Huissier улыбнулся и не могъ удержаться, чтобъ не сказать: это не дѣлается такъ.

На другое утро та же исторія. Huissier говорилъ, что онъ карточку положилъ съ другими, что приказа никакого не было. Шутка эта стала мнѣ надоѣдать.

— Позовите кого-нибудь изъ секретарей, сказалъ я, немного приподнявъ голосъ.

— Ни одного еще нѣтъ.

— Зачѣмъ нѣтъ, долженъ быть дежурный; что за беспорядокъ. Я сажусь здѣсь и буду ждать часъ, два; а потомъ, прошу покорно замѣтить, что, если не прійдетъ секретарь, я не возвращусь, а послѣдствіе этого вы возьмете на себя.

Подагрикъ, нѣсколько огорошенный, отправился во внутреннія комнаты, беззвучно ступая по паркету съ осторожностью слона, идущаго по льду. Черезъ минуту онъ воротился съ чернымъ фракомъ, видимо заряженнымъ на всякую дерзость; онъ еще издали, для тону громко сморкаясь, спросилъ:

— Гдѣ онъ? *que diable*, и сѣзлся. Я его зналъ корректоромъ въ «Националъ» и вмѣстѣ съ нимъ поправлялъ мой статьи.

— Зачѣмъ, говорю я ему, Марастъ играетъ въ прятки и поставилъ какихъ-то гинопотамовъ съ цѣпями въ свою охрану. Мнѣ его нужно видѣть по дѣлу, которое столько же интересуетъ его, какъ меня.

— Видѣть теперь президента невозможно; у него Ламартинъ и Гарнье Пажесъ, поѣзжайте домой; я черезъ два часа пришлю вамъ отвѣтъ. Черезъ два часа, даю честное слово. Вы слышали, что затѣваютъ Косидьеръ и Луи-Бланъ?

— Не слыхалъ, но не хочу у васъ отнимать времени. Итакъ, черезъ два часа...

Эксъ-корректоръ сдержалъ слово. Хотя не черезъ два часа, но въ тотъ же день явился ко мнѣ, гремя палашемъ и шпорами, зацѣпляясь каской за двери, драгунъ и подалъ огромный пакетъ, въ которомъ лежала крошечная бумажка, и на ней: «Г. президентъ проситъ васъ пріѣхать завтра въ 11 часовъ утра, время его утренней закуски».

Когда я на другой день вошелъ въ приемную залу, тамъ стояли сидѣли, ходили, говорили, молчали обычные лица всѣхъ официальныхъ переднихъ. У дверей во внутреннія комнаты красовались часовые изъ національной гвардіи съ ружьями у ногъ, лакеи въ ливреяхъ сновали взадъ и впередъ, какіе-то офицеры главнаго штаба пробѣгали въ такомъ вооруженіи и такъ озабоченно и быстро по залѣ, какъ будто сейчасъ начнется канонада, и непріятель уже занялъ Монмартрскія высоты. Нѣсколько человѣкъ въ нечищенныхъ пальто и ярко красныхъ шейныхъ платкахъ сильно ораторствовали; полагаю, что эти представители демократическаго равенства сословій были просто шпіоны, которыхъ Марастъ захватилъ съ собой изъ *Hôtel de Ville*. Словомъ, это была приемная временщика, Меттерниха, при царѣ-народѣ; но приемная не обходившаяся, не обтершаяся; словно въ ней пахло краской и двери скрипѣли на петляхъ.

Официантъ громко назвалъ меня по фамиліи и пригласилъ въ столовую. Въ углу большой залы былъ накрытъ столъ на четыре прибора, ломившійся отъ тяжелаго серебрянаго плато. У окна стоялъ Павьеръ, я подошелъ къ нему и едва успѣлъ, улыбаясь, сказать: *tempora mutantur*, какъ двери отворились *à deux battants* и, предшествуемый главнымъ *huissier*, сопровождаемый

секретаремъ и официантами, вошелъ Марастъ. Часовые брякнули на караулъ; щегольски одѣтый, въ небрежномъ утреннемъ костюмѣ, раздушенный, съ пышно-взбитыми сѣдыми волосами, Марастъ былъ свѣжъ и румянъ, какъ американское яблоко; въ лицѣ его, отъ природы очень красивомъ, была какая-то фосфоричность отъ упоенія собою. Онъ слегка извинился передо мной и, указавъ рукой на стулъ, прибавилъ:

— Мы, любезный докторъ, переговоримъ за котлеткой, если вы думаете, что дѣло не повредитъ пищеваренію.

Официантъ торжественно снялъ какую-то крышку и передалъ ее другому, который торжественно понесъ ее на другой столъ. Я взглянулъ на Паньера и подумалъ: съ какимъ бывало веселымъ аппетитомъ ужинали мы съ нимъ въ небольшой столовой третьяго этажа, у издателя «Насіоналя», и какъ интересно болтали съ милой, умной M-me Marast, которой, видно, не по этикету было являться такъ рано...

О дѣлѣ мы переговорили.—«Romanée gelée», сказалъ хозяинъ, тихо и ни къ кому не обращаясь; и въ ту же минуту выросъ, какъ изъ-подъ земли, мажоръ д'омъ, у котораго въ рукахъ была бутылка, покоившаяся на боку въ тростниковой колыбели.

— Знаете, докторъ, кого я часто поминаю и кого ужасно жаль: это нашего папа Ральера. И какъ странно, что онъ умеръ въ ту самую минуту, когда воскресала республика, которой онъ такъ ждалъ, которую такъ любилъ. Славный былъ старикъ, и какъ бы онъ былъ счастливъ; мѣсяць бы пожить какой-нибудь. Это былъ удивительный человѣкъ, прибавилъ онъ, обращаясь къ Паньеру, вы его знали?

— Очень, отвѣчалъ Паньеръ.

— Такихъ-то людей, непоколебимыхъ и сильныхъ, намъ теперь очень, очень нужно.

— Будто? замѣтилъ я, улыбаясь.

Едва уловимое движеніе пробѣжало по лицу Мараста.

— А вы знаете подробности о его кончинѣ и похоронахъ?

— Ничего не знаю, кромѣ того, что онъ умеръ въ ночь 24 февраля; что же особеннаго?

Я передалъ ему вамъ извѣстныя подробности, не забывъ даже упомянуть и о статьѣ въ клерикальномъ журналѣ.

По мѣрѣ того, какъ я рассказывалъ, фосфоричность Мараста исчезла, онъ успокоился, дѣлалъ видъ мигрени и, наконецъ, нетерпѣливо кроша двумя пальцами хлѣбъ, сказалъ:

— Вы мнѣ позволите замѣтить, любезнѣйшій докторъ, мнѣ кажется, что вы напрасно такъ обвиняете Изидора Ральера. Вы дѣйствительно не вошли въ его положеніе; я его знаю очень хорошо за прекраснаго человѣка и преданнаго республиканца...

Я улыбнулся.

— Я говорю, *что я его знаю*, сказалъ, нѣсколько прищуривая глаза, Марастъ.

— Въ нашемъ царствѣ всеобщей подачи голосовъ позвольте мнѣ имѣть мое смиренное мнѣніе.

— У васъ взглядъ непрактическій, докторъ. Исполненіе религиозныхъ обрядовъ большинства народа до нѣкоторой степени обязательно для всѣхъ. Здѣсь не можетъ быть рѣчи о притѣсненіи совѣсти, это дѣло декорума. Зачѣмъ человѣку высококомѣрно выдѣлять себя въ какое-то оскорбительное *a parte*... Это очень хорошо понималъ человѣкъ, котораго авторитетъ трудно отвести: Робеспьеръ. Онъ говорилъ, что атеизмъ—аристократія.

— И выдумалъ свою церковь, въ которую вербовалъ гильотиной; да и то не навербовалъ...

— Вы знаете, что я гильотину не оправдываю, но все же его религія была лучше атеизма Геберта.

— Какъ кому, это дѣло вкуса: а послѣдній крикъ умирающаго Ральера у меня въ ушахъ.

— Что же, вы думаете, что мы могли бы, какъ въ 93, закрыть церкви, дѣйствительно насилуя совѣсть огромнаго большинства французовъ? Хороши мы были бы, если-бъ съ самаго начала затронули такую опасную струну съ народомъ, который надобно всѣми средствами приучить къ республикѣ, воспитать къ свободѣ и пониманью права.

— Вы были не совсѣмъ того мнѣнія о немъ три мѣсяца тому назадъ, въ вашихъ энергическихъ *premiers Paris*.

— Три мѣсяца немного времени, а посмотрите, сколько у меня прибавилось сѣдыхъ волосъ. Перо публициста и дѣятельность государственнаго человѣка могутъ имѣть общую цѣль; но они далеки, какъ практика и теорія; а эту даль только тотъ можетъ измѣрить, кто самъ окунулся въ омутъ дѣлъ.

Затѣмъ Марастъ быстро всталъ и пригласилъ меня въ кабинетъ. Когда мы проходили въ двери, часовые опять взяли на караулъ. Вѣроятно, Марасту это не было неприятно; имѣлъ же онъ, вѣроятно, право сказать имъ, чтобъ они стояли смирно и не дурачились.

Ему было совѣстно и досадно; онъ подаль Паньеру и мнѣ сигары и, потрепавъ меня дружески по плечу, сказалъ ему:

— Что намъ дѣлать съ нашимъ неисправимымъ эскулапомъ, вотъ *enfant terrible* съ сѣдыми волосами?

— Скажите, спросилъ я, смѣясь, гражданинъ Паньеръ, давно ли это нашъ президентъ сдѣлался изъ вольтеріанцевъ клерикаломъ и проповѣдуетъ церковные обряды?

— Что вы дурачитесь, докторъ! Ну, какой тутъ клерикализмъ; а вотъ, вамъ, что за охота говорить при секретарѣ. Онъ очень хорошій молодой человѣкъ, но въ душу не заглянешь, а въ нашемъ положеніи надобна осторожность и осторожность; да тутъ официанты еще. Неужели вы не понимаете, что мое *общественное положеніе*, которое только и держится на нравственномъ вліяніи...

— И священное депо, вѣренное вамъ, сказалъ я, невольно вспоминая фразеологию Изидора.

— Да, да, депо, вѣренное самимъ народомъ мнѣ и моимъ товарищамъ, накладываетъ на меня обязанности, и, во-первыхъ, не позволяеть мнѣ ссориться съ духовенствомъ.

— Я не подумалъ объ этомъ за столомъ, сказалъ я, откланиваясь.

Марастъ любезно проводилъ меня за двери. Часовые брякнули на карауль.

25 марта, 1869 г., Ницца.

IV.

Эпилогъ.

— Мнѣ, докторъ, хочется вамъ повторить вопросъ, который сдѣлалъ какой-то математикъ, прослушавши очень внимательно симфонію: Что же это доказываетъ?

— И музыкантъ не умѣлъ ему, вѣроятно, ничего отвѣтить. Не легко и мнѣ, а все-таки я думаю, что моя симфонія, или *Marche funèbre*, доказываетъ кое-что; доказываетъ хоть бы, на-примѣръ, и то, что Франція совсѣмъ не такая уже революціонная страна, какой себѣ представляли ее иностранцы и мы сами. Мы взбалмошные консерваторы и капризные рутинисты. Мы часто стоимъ на одномъ мѣстѣ съ видомъ скорого марша и отступаемъ съ крикомъ атаки. Малѣйшій вѣтеръ колышетъ и рябитъ наше море, но на вершокъ, не больше. Девяностые годы захватили глубже, такъ мы восемьдесятъ лѣтъ пятимся, чтобъ войти въ старое, узкое и жесткое русло. Революціонная пьеса доиграна, но костюмы намъ понравились и мы мирно ходили въ нихъ по улицамъ, какъ дѣти въ мундирахъ. Входъ за кулисы только легокъ въ театрахъ. Нигдѣ не хранятъ лучше семейныя тайны и физическіе недостатки, какъ у насъ. Насъ ужасно трудно застать въ расплохъ. Что мудреннаго узнать англичанина, не дающаго себѣ труда играть роль; или нѣмца, довѣряющаго свои чувствованія знакомому по *table d'hôte'y*. Раскусите-ка насъ.

Мы для ближайших знакомых дѣлаемъ туалетъ, и такія неглиже всегда по модѣ и къ лицу. Бываютъ иногда «дурные четверть часа», когда все, спрятанное подъ манишками, выступаетъ наружу; тутъ и ловите. Пропустили—ваша бѣда. Я самъ дожилъ до сѣдинъ, плохо понимая, что дѣлается вокругъ, и потомъ въ три дня выучился больше, чѣмъ во всю жизнь, и выучился на всю жизнь.

— Вы говорите?...

— Разумѣется, объ іюньскихъ дняхъ.

— Вы социалистъ?

— Я докторъ медицины.

— Это не мѣшаетъ.

— Мѣшаетъ, и очень. Быть разомъ больнымъ и врачомъ—дѣло плохое. Одилонъ Барро говорилъ, что законъ не знаетъ Бога; а ужъ врачъ и подавно не долженъ имѣть никакой религіи; иначе онъ неодинаково будетъ относиться къ больнымъ.

— Вольно вамъ социализмъ считать религіей?

— А какъ же? Можетъ онъ когда-нибудь и выростетъ изъ стихаря, даже есть обѣщающіе зачаточки; но это еще нерѣшенное дѣло; великая революція имѣла не меньше его зачатковъ, а такъ и состарѣлась на своихъ цивическихъ литургіяхъ и политическихъ процессіяхъ. Все тѣ же идолопоклонники и иконоборцы; только иконы другія; а средства защиты и нападенія, какъ встарь, чисто богословскія, основанныя на вѣрѣ во что-нибудь невѣроятное, подтверждаемой доказательствами, ничего не доказывающими, и силой, доказывающей, что разсужденіемъ ничего не сдѣлаешь, а кулакомъ очень много.

— Ничего подобнаго нѣтъ въ современной борьбѣ капитала съ работой; какія тутъ литургіи, да крестные ходы?

— Помилуйте, да тутъ все литургія, кромѣ самого предмета. Одни хотятъ увѣрить другихъ, что эти другіе... не имѣютъ права на необходимое, тогда какъ они сами имѣютъ лишнее, и дивятся, какъ тѣ не понимаютъ, что въ этомъ-то и состоитъ свобода. Другіе укоряютъ въ грабежѣ тѣхъ, которые также безсознательно имѣютъ деньги, какъ укоряющіе ихъ не имѣютъ. Гдѣ же тутъ логика? Одно богословіе, примѣненное къ земнымъ предметамъ. Иконоборцы капитала и его идолопоклонники такъ и стоятъ на своемъ диспутѣ, все больше и больше отравляя его и поддразнивая другъ друга.

— Куда же это приведетъ?

— Туда, куда приводятъ всѣ религіозныя препинанія: не къ *ав. цу*, а къ *крови*.

— И будто это такъ неминуемо?

— Я не фаталистъ, но, кажется, миновать трудно. Одинъ станъ растетъ не по днямъ, а по часамъ; другой свирѣпѣетъ, и оба не понимаютъ другъ друга...

— Надобно посредниковъ.

— А гдѣ же ихъ взять? Примирившихся и непримиримыхъ бездна, но примирителей нѣтъ. Примирившіеся резонеры всего хуже; что они примутся объяснять, то остается на вѣки мутнымъ и безжизненнымъ, какъ замерзнувшая лужа. Это наша язва. Вы ее найдете почти во всѣхъ журналахъ. Мишле говорить о томъ, какъ схоластика и монашеское воспитаніе образовали цѣлую породу *дураковъ*. Журнализмъ, парламентаризмъ, неудавшіяся революціи и революціонное похмѣлье выростили въ наше время слой умниковъ, заговаривающихъ всякое дѣло до безмыслія. Они все объясняютъ, все понимаютъ; но всякій жизненный вопросъ выходитъ изъ ихъ мозговой реторты, какъ зеленый листъ, опущенный въ хлоръ, блѣднымъ, увядшимъ. Ихъ неистощимая верва, запугивающее умничанье однихъ, дѣловая наторѣлость другихъ дѣлаютъ изъ нихъ казовый конецъ нашего времени; и это большое несчастье. Это не дилетанты, а адвокаты всего на свѣтѣ. Ихъ задача состоитъ въ томъ, чтобъ одержать верхъ въ преніи, выиграть дѣло; а въ чемъ оно, имъ все равно.

... Я прерываю философствованіе моего доктора, или лучше, не продолжаю его потому, что и тутъ, какъ почти во всемъ, обстоятельства нагнали насъ и опередили...

Разсказъ доктора о гражданинѣ Ральеръ я писалъ въ началѣ марта 1869 г. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, гроза, давно собиравшаяся, разразилась безъ ударовъ и потрясеній. Удушливая тяжесть атмосферы Парижа и Франціи измѣнились. Равновѣсіе, устроившееся отъ начала реакціи послѣ 1849 г., нарушилось окончательно.

Явились новыя силы и люди.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

Изъ римскихъ сценъ.

Однимъ сентябрьскимъ днемъ грустныя думы рядомъ съ туманной, сырой погодой навели на меня сильную печаль. Чтобъ разсѣяться, я вздумалъ читать, но книга выпадала изъ рукъ на второй страницѣ... Перебравъ нѣсколько, мнѣ попалась, наконецъ, такая, которая поглотила меня до глубокой ночи,—то былъ Тацитъ. Задыхаясь, съ холоднымъ потомъ на челѣ, читалъ я страшную повѣсть,—какъ отходилъ въ корчахъ, судорогахъ, съ рѣчью предсмертнаго бреда вѣчный городъ. Не личность цезарей, не личность ихъ окружавшихъ клеветовъ поражала меня,—страшная личность народа римскаго далеко покрывала ихъ собой. Мелькомъ и съ чрезвычайнымъ хладнокровіемъ говоритъ Тацитъ о гоненіи христіанъ, на которыхъ Неронъ сложилъ извѣстный пожаръ. До того назареевъ даже не гнали. Я зналъ, что въ то время апостоль Павелъ былъ въ Римѣ; это дало мнѣ поводъ раскрыть Апостольскія Дѣянія, и, рядомъ съ мрачнымъ, кровавленнымъ, развратнымъ, сибдасмымъ страстями Римомъ, предстала мнѣ эта бѣдная община гонимыхъ, угнетенныхъ проповѣдниковъ Евангелія, сознавшая, что ей вручено пересозданіе міра; рядомъ съ распадающею всею, которой все достоиніе въ воспоминаніи, въ прошедшемъ,—святая хранилищница благой вѣсти, вѣры и надежды въ грядущее. Я долго думалъ о времени, предварившемъ ихъ встрѣчу. Есть особое состояніе трепета и безпокойства, мучительнаго стремленія и боязни, когда будущее, чреватое цѣлымъ міромъ, хочеть развернуться, отрѣзать все былое, но еще не разверзлось; когда сильная гроза предвидится; когда ея неотразимость очевидна, но еще царитъ тишина,—настоящее тягостно въ такія мгновенія, ужасъ и стремленіе наполняютъ душу, трудно поднимается грудь, и сердце, полное тоски и ожиданія, бьется сильнѣе. Этотъ трепеть передъ будущимъ неизвѣстнымъ, но близкимъ, это отрицаніе всехъ узъ, которыми ересея человекъ съ былымъ и существующимъ, это мученіе неизвѣстности, мученіе предчувствія и необладанія хотѣлось мнѣ уловить въ тогдашнемъ состояніи умовъ, не страданіе города, а отчаянный

крикъ челоуѣка—и врачеваніе его словомъ Евангелія. Здѣсь предлагается отрывокъ изъ тогда написанныхъ сценъ. Лициній—мой герой, онъ еще не имѣеть понятія объ ученіи Христовомъ, но вѣяніе духа современности раскрыло въ немъ вопросы, на которые, кромѣ Евангелія, не было отвѣта. Отсутствие религіи, неудовлетворительность философіи, наконецъ, очевидное разрушеніе Рима сломили его для того, чтобъ онъ воскресъ новымъ челоуѣкомъ. Мевій—благородная, прекрасная, античная натура, но не принадлежавшая къ тѣмъ организаціямъ, которыя шагаютъ за предѣлы понятій своего вѣка. Въ Лициніи предсуществуетъ романтическое воззрѣніе, Мевій—классикъ со всѣмъ реализмомъ древняго міра.

«Ну посмотри, посмотри, Лициній, около себя», — сказала юный философъ Мевій другу своему, указывая на видъ съ холма:—«неужели ты не чувствуешь теплое, живое дыханіе природы и неужели это дыханіе матери не согрѣваетъ тебя? О, космосъ! мое сочувствіе къ тебѣ велико, я поклоняюсь тебѣ потому, что ты не хочешь поклоненія; ты все содержишь и все свободно въ тебѣ. Птица, червякъ, звѣрь,—каждый воленъ, каждый чувствуетъ себя дома, на мѣстѣ, всѣмъ хорошо. Какое блаженство существовать, существовать и понимать, что существуешь,—въ этомъ безконечное наслажденіе; существовать, любить—два великія начала и два великія окончанія природы, положивъ въ основу ей Венеру. Но послушай, Лициній, ни одной морщины не свелъ съ твоего чеда этотъ видъ; что за странная грусть поселилась въ тебѣ, давно ли въ твоей груди обитали свѣтлые образы? Я перестаю узнавать тебя. Теперь даже, когда вся природа около насъ дышетъ нѣгой, когда все живое радостно припадаетъ къ лучамъ солнца, чтобъ сосать изъ нихъ огонь, ты одинъ, какъ чужой, какъ пасынокъ въ родительской хранилѣ, стоишь мрачный и сосредоточенный въ себѣ».

Противоположность двухъ друзей была разительна. Одушевленные черты Мевія, распростертыя руки, какъ бы раскрывшія объятія всему, и свѣтлое чело, и ясный взглядъ, разливавшійся на все окружающее, дѣлали его похожимъ на греческаго бога, полнота и гармонія, юность и избытокъ жизни громко говорили его чертами. О такомъ лицѣ думалъ Платонъ, когда сказалъ, что есть нѣчто изящнѣе тверди небесной, усыпанной звѣздами,—очи, разсматривающія эту твердь. Блѣдное, нѣжное и худое лицо Лицинія, болѣзненно-страдальческое выраженіе, скрещенныя на груди руки и глаза, свѣтящіяся какъ-то лихорадочно и независимо отъ окружающаго, однимъ своимъ свѣтомъ говорили совсѣмъ иное; казалось, душа, смотрящая такъ,—бездонная пропасть, въ которую утягивается вся природа и пропадаетъ безвѣстно; блѣдное и холодно-влажное чело его носило клеймо думъ тягостныхъ, безотходныхъ и мученій нестерпимыхъ.

Онъ отвѣчалъ Мевію: «Я не виноватъ, что природа на меня не такъ дѣйствуетъ, какъ на тебя, я завидую тебѣ, но перенять не могу; такъ, со слезою на глазахъ, я смотрю на дѣтскія игры; ихъ безотчетная радость, звонкій смѣхъ, совершенное поглощеніе игрой понятно, но оно невозможно, когда выйдешь изъ того возраста. Я, съ своей стороны, дивлюсь тебѣ, какъ такой дешевой цѣной ты сыскалъ маришь душъ и наслажденіе; что птицѣ, червяку хорошо—не спорю: животныя—дѣти, у которыхъ нѣтъ совершеннотѣтія, нѣтъ ума, нѣтъ вопросовъ; бѣдные, обманутые, они беззаботно живутъ, не подозрѣвая, что вмѣстѣ съ груднымъ молокомъ сосутъ отраву. Но

на этомъ дѣтскомъ праздникѣ Изиды челоувѣкъ—чужой. Сверхъ этихъ глазъ, есть у него другіе, и они видятъ, чего бы не надобно видѣть, и въ душѣ тѣснятся вопросы, на которые плохо отвѣтили мудрецы всѣхъ вѣковъ. Я изучилъ ихъ и бросилъ; одни слова и уловки. Скажи мнѣ, объяснили ли они цѣль челоувѣка, для чего онъ? что послѣ? что прежде?

Мевіій. Цѣль! Да жизнь—вотъ и цѣль, мнѣ это ясно; ты ищешь какой-то другой цѣли, виѣ челоувѣка, виѣ природы. По какому праву?

Лициній. Оно законно. Я выстрадалъ себѣ это право, оно запечатлѣно морщинами на моемъ челѣ. Ты легко удовлетворяешься, мой другъ, но такое примиреніе не для всѣхъ: у нихъ въ груди зарождается демонъ, котораго не убавокаешь эликурейскою пѣснью. Жизнь—цѣль жизни! Да что мнѣ въ ней? Я принимаю только тѣ дары, которыхъ требую. Жизни я не просилъ... Я вдругъ проснулся изъ небытія; кто разбудилъ меня,—не знаю, но моей воли не было. Мнѣ втѣснено тяжелое бремя жизни—этой странной борьбы, не имѣющей конца, борьбы непрерывной, утомительной. Въ груди лежитъ сознаніе моей нравственной свободы, моей безконечности, а я со всѣхъ сторонъ ограниченъ, униженъ тѣломъ. Я иногда возвращаюсь къ религиознымъ вымысламъ и вѣрю, что людей создалъ возмущившійся дерзкій Титанъ. Онъ затѣялъ незаконное смѣшеніе вещества и ума, а мы страдаемъ, искупая нелѣпность, невозможность такого смѣшенія. Именно нелѣпность—она очевидна: вложитъ духъ, разумъ въ безволосую обезьяну и оставить ее обезьяной, чтобы вся жизнь была страданіе отъ двухъ противоположныхъ влеченій, одного, не имѣющаго силы подняты на небо, другого—не имѣющаго силы стянуть на землю! Это аристофановская иронія!

Мевіій. Одно слово. Зачѣмъ ты такъ дѣлишь духъ отъ тѣла, и точно ли они непримиримые враги, и мѣшаетъ ли тѣло духу, не оно ли чрево, изъ котораго духъ развился?

Лициній. Какъ не мѣшаетъ? Да кто же меня приковалъ ко времени и пространству, къ этимъ двумъ цѣнямъ, ежеминутно бряцающимъ на моихъ рукахъ и ногахъ? Мой духъ хотѣлъ бы обнять всю вселенную, разлиться по ней безпредѣльнымъ и вольнымъ, а онъ сидитъ въ этихъ костяхъ, въ этой оболочкѣ мяса. Я колодникъ, котораго пересылаютъ куда-то, не сказавши ему за что; время влачить скованнаго съ свирѣпой быстротой и само, кажется, не вѣдастъ куда, не внемлетъ слезамъ, стенанью, не дастъ остановиться, кто на дорогѣ уналъ, того трупъ—хищнымъ птицамъ, и мимо. Духъ оскорбленный, униженный борется, по тѣлу дана сила грубая и дикая, которую не сломишь. Духъ понимаетъ свою свободу отъ временнаго, да время не понимаетъ ея. Оно идетъ безотвѣтно, тупо, однообразно. Могу ли я продолжить мигъ восторга? Могу ли я сжать мигъ горести? Нѣтъ. У кого во власти клепсира? У случая, у судьбы. Судьба—слово безъ смысла. И чтобы эта жизнь была цѣль. Коли она цѣль, за ней ничего, понимаешь ли—ничего! Я сдѣлаюсь прошедшее, жизнь промчится по моимъ костямъ, раздавить ихъ, и я не почувствую боли. Лучшее [?] царство Плутона, чтобы я исчезъ, какъ звукъ лиры въ безконечномъ пространствѣ; если я не вѣченъ, Мевіій, такъ и мѣръ умереть когда-нибудь, одряхлѣвши, истощивъ свои силы, и не оставить слѣда и будеть—ничего. Памяти не оставить по себѣ, потому что некому будеть помнить.

Мевіі. Въ этомъ можешь быть обезпеченъ; для вселенной нѣтъ смерти. Космосъ есть,—ты понимаешь ли, что въ этомъ словѣ заключена вѣчность? Это значить: мѣръ былъ и будетъ, потому что онъ есть. Онъ живетъ, обновляясь поколѣніями.

Лициній. Да, онъ, какъ Хроносъ, пожираетъ своихъ дѣтей, бросая обглоданныя кости, чтобъ мы могли угадать свою судьбу. Когда я былъ въ Египтѣ, я посѣтилъ Фивы, этотъ стовратный городъ Гомера. Дворцы, столбы, аллеи сфинксовъ, грифы стоятъ, на скалахъ сидятъ страшные Мемноны,obelisks, неисчерпанные цѣлыми рѣчами гіероглифовъ, стерегутъ ворота, въ которые никто не входитъ, и говорятъ что-то каменной рѣчью, которую никто не слушаетъ и никто не понимаетъ теперь. Тишина страшная—ни одного человѣка, и пустыя зданія, формы безсмысленныя, оттого что содержаніе выдохлось, черепы чего-то умершаго! Куда ушелъ народъ, толпившійся тутъ, работавшій? ушелъ—да куда? Гдѣ этотъ Пантеонъ или та Слоаса шахита, куда стекаетъ прошедшее—люди, царства, звѣри, мысли, дѣянія? Хроносъ съ ненасытной жадностью безпрестанно ѣсть, но у него нѣтъ внутренностей, все, что онъ проглотитъ, исчезаетъ, и оттого онъ не сытъ и безпрестанно гложетъ.

Мевіі. Ты послѣ спросишь, зачѣмъ сегодня волна нанесла кучу песка на берегъ, а завтра смываетъ его и какъ его отыскать въ морѣ. Все существующее существуетъ во времени, въ этомъ надо убѣдиться однажды навсегда. Одна жизнь вѣчна. Когда ты бродилъ по Фивамъ, зачѣмъ не взглянулъ вверхъ, ты увидѣлъ бы прекраснаго нестраго орикса; зачѣмъ ты не видалъ ни одного изъ красивыхъ цвѣтовъ, качавшихъ яркими и благоухающими вѣнчиками изъ-за трещинъ колоннъ и упавшихъ канителей, между которыми ползла, извиваясь и блестя чешуей, змѣя? Гдѣ тутъ знахъ смерти, пустоты: жизнь человѣческая перешла, жизнь природы, разлитая повсюду, осталась. Царства, дѣла рукъ человѣческихъ—падаютъ: жизнь вѣчно юная цвѣтетъ на ихъ развалинахъ. Что за дѣло, куда ушли египтяне, чего жалѣть ихъ? Развѣ они въ продолженіе своей жизни не наслаждались по своему, не имѣли минутъ блаженства и сильныхъ ощущеній, развѣ они не любили, не трепетали отъ радости, развѣ жизнь не подносила свой кубокъ наслажденій и къ ихъ устамъ?

Лициній. А несчастные, задавленные обломками, присутствовавшіе при гибели родины,—тѣмъ много ли отпущено было наслажденій?

Мевіі. Ихъ участь была горька, но тутъ ненавистная тебѣ смерть явилась благодѣтельнымъ геніемъ, успокоила ихъ въ могилѣ, замѣнивши новыми поколѣніями такъ, какъ замѣняетъ траву, скошенную на лугу. Ты слышишь много придаешь важности человѣку, это правится гордости: онъ не больше, какъ листъ на деревѣ, какъ песчинка въ горѣ.

Лициній. Счастливъ ты, удовлетворяющійся такими объясненіями. Нѣтъ, я считаю жизнь каждаго человѣка важнѣе всей природы. Человѣкъ—носитель безсмертнаго духа, къ которому природа только рвется. Каждая слеза, каждое страданіе человѣка отзывается въ моемъ сердцѣ. Безчувственно жертвовать какому-то отвлеченному понятію о жизни людьми, не жалѣя ихъ. Варвары, приносящіе на жертву людей, закалываютъ ихъ, по крайней мѣрѣ, своимъ богамъ... Я съ нѣкотораго времени боюсь произносить это слово, оно утратило великій смыслъ свой въ нашихъ устахъ. Для насъ боги—

какой-то сонъ, облекающій въ образы идеи и мысли. А что прежде была религія? Зачѣмъ я не могу дѣтски вѣровать, зачѣмъ я родился въ развратный вѣкъ, вѣрующій въ одно сомнѣніе? Что мнѣ дали философы? Ни одного полнаго рѣшенія, ни одной достовѣрности. Они лишили только покоя мою душу, привели ее въ вѣчное колебаніе. Фетишизмъ давалъ больше положительнаго, нежели развѣдающій духъ нашихъ учителей. Подкопавшись подъ пьедесталы боговъ, свергнувъ, осмѣявъ ихъ, что они поставили на эти пьедесталы? Скептическій взглядъ и удостовѣреніе, что мы ничего не знаемъ? Нѣтъ, еще кое-что: стоическую нравственность и ясной взглядъ.

Мевіѣ. Ты всегда вдаешься въ крайности и требуешь несправедливаго. Что они поставили на пьедесталы, съ которыхъ сняли Олимпійцевъ,—помилуй, они поставили Нусъ, великій законъ, великую энергію всего развитія, они поставили живую душу міра,—многіе—хотя и не понимаю, для чего—доказывали бытіе боговъ.

Лициніѣ. И въ томъ числѣ нашъ Цицеронъ. И нечего сказать, хорошо написалъ онъ въ ихъ пользу, не хуже, какъ за Архіа поэта. И я такъ же, какъ ты, не могу понять, для чего они доказывали,—для изошренія въ діалектикѣ, вѣроятно. Доказывать можно только то, въ чемъ можно сомнѣваться. Неужели голосъ мощный, звучащій въ груди, не говоритъ громче всѣхъ философовъ? Что вышло изъ философскихъ доказательствъ? Холодный, безчувственный депзмъ, съ ихъ богами мы чужіе, нѣтъ связи между нами; одинъ Платонъ изъ всѣхъ провидѣлъ, какъ мало удовлетворяетъ такое признаніе боговъ. Я чувствую, что человѣкъ долженъ быть связанъ съ божествомъ, въ немъ успокоиться, любовью возноситься къ нему. Какъ?—не знаю, не понимаю какъ, отъ того-то я и страдаю; я ищу, жажду, и все—камень, все слова, все мертвое, до чего ни коснусь. У одного Платона и его учениковъ есть что-то, намекъ, приводящій въ трепеть всю душу. Думаль-ли ты когда-нибудь, что значить *Логосъ*? Тайна, тайна и мы умремъ, не разгадавъ ее. Пусть явится, кто-бъ овъ ни былъ, и откроетъ мнѣ эту тайну,—я обниму его ноги, обლობаю прахъ его сандалій. Предчувствіе мое меня мучитъ, знать, что не знаешь,—ужасно. Логосъ, Логосъ—профорикосъ, въ этомъ словѣ для меня заключено все—идея, событіе, гіероглифъ, связь міра и бога—и не могу понять. (*Молчитъ*).

Послушай, Мевіѣ, что-то великое совершается. Этимъ путемъ міръ дальше идти не можетъ: онъ своими когтями разорвалъ свою грудь и пожираетъ свои внутренности; на такой пищѣ долго не проживешь. Бродятъ вопросы, никогда не являвшіеся прежде. Если бы можно было приподнять завѣсу—хоть для того, чтобъ взглянуть и умереть... (*Задумывается и молчитъ*).

Мевіѣ. Мечтатель, милый мечтатель, люблю слушать его рѣчь; она имѣетъ какую-то магическую силу, какъ музыка, какъ лунный свѣтъ.

(Лициніѣ садится на холмъ и не принимаетъ, повидимому, никакого участія въ разговорѣ Мевіѣ съ подошедшимъ патриціемъ).

Патриціѣ. Я сейчасъ отъ Низона.

Мевіѣ. Много было?

Патриціѣ. Да всѣ наши.

Мевіѣ. Эпихарисъ была?

Патрицій. Была и говорила, какъ вдохновенная богами прѳея. Великая женщина! Имя ея пойдетъ до позднѣйшаго потомства, окруженное лучами славы. Странно, женскую руку избрали боги участвовать въ великомъ дѣлѣ, для котораго такъ долго не находилось достаточно крѣпкихъ рукъ мужчины.

Мевій. Что новаго о цезарѣ?

Патрицій. Каждое дыханіе Нерона—злѣдѣйство. На-дняхъ рабы убили какого-то сенатора. Отцы присудили всѣхъ рабовъ его, жившихъ у него въ домѣ и внѣ дома, казнить. Ты знаешь, на это есть прямой законъ. Неронъ, когда ему подали дѣло ¹⁾, сказалъ: «Безумно нѣсколько сотъ человекъ казнить въ то время, какъ подозрѣніе падаетъ на двухъ - трехъ изъ окружавшихъ.»—«Императоръ», вскричало нѣсколько голосовъ, «законъ требуетъ ихъ казни.»—«А я», возразилъ Неронъ, «требую казни этого закона, потому что онъ бессмысленъ.»—Видишь-ли, какъ онъ пренебрегаетъ закономъ и какъ льститъ подлымъ рабамъ. И сенатъ поддался, но ропталъ больше, нежели когда-либо.

Мевій. Онъ безпрестанно ищетъ случая унижить патриція и отцозъ. Давеча я встрѣтилъ недалеко отъ вновь строящагося дворца похороны. Чьи, ты думаешь? Тигръ околѣлъ у него въ звѣринцѣ, онъ велѣлъ его хоропить, какъ сенатора, завернувши въ латиклаву. Плебеи толпами шли за труномъ гадкой кошки, съ рукоплесканіями и хохотомъ; тутъ какой-то ободраный разбойникъ взлѣзъ на камень и кричалъ: «божественный цезарь, доверши благое дѣло; ты посадилъ тигра въ сенатъ, посади же отцовъ въ звѣринецъ.»—Толпа съ восторгомъ слушала эти нечестивыя рѣчи.

Патрицій. Подлое отродье подлыхъ корней. Плебей никогда не былъ римляниномъ,—это ложныя дѣти Италіи. Мевій, сегодня приходи непременно къ Латерину, у него совѣщаніе; всѣ поняли, что пора приступить къ дѣлу, еще нѣсколько дней -- и заговоръ непременно будетъ открытъ. Отъ быстроты зависеть успѣхъ. Мы утромъ для того сходились, но было какъ-то смутно и безтолково. Латеринъ поссорился съ Пизономъ. Ты знаешь его—воплощенный Брутъ, а Пизонъ туда же мѣтитъ въ цезари. Луканъ, который въ Неронѣ ненавидитъ соперника-поэта больше, нежели тирана, хотѣлъ выпить чашу вина за здоровье новаго цезаря, Латеринъ и Эпихарисъ чуть не растерзали его. Пизонъ надулся; тутъ, какъ на смѣхъ, Сульпицій-Асперъ сталъ требовать въ раздачу тѣмъ преторіанскимъ когортамъ, которыя пристанутъ къ намъ, какихъ-то полей близъ Рима. Пизонъ испугался за земли, находящіяся въка во владѣніи Калпурніевъ безъ всякихъ правъ, надулся вдвое и уѣхалъ къ себѣ на дачу, а Луканъ на него сочинилъ уморительное двустишіе,—однако, у Латерина будутъ всѣ.

Мевій. Латеринъ—великій гражданинъ. Когда я смотрю на его открытое чело, на его спокойный, величественный и грустный видъ, онъ мнѣ представляется однимъ изъ полководцевъ временъ нашей славы. Римъ не погибъ, если могъ создать еще такого гражданина. Ну, а что касается до Пизона и...

Патрицій. Всякій знаетъ, да они намъ нужны. Что мы сдѣлаемъ безъ Пизоновыхъ сестерцій? А, сверхъ денегъ, его происхожденіе глубоко

¹⁾ Историческій фактъ.

очѣнно даже плебеями. Онъ—имя. Да, кстати, я было забылъ сказать, не знаю почему, пало подозрѣніе на старика пафлагонца—раба Пизона, знаешь, что игралъ на флейтѣ, будто онъ доносить. Пизонъ велѣлъ его отравить и еще двухъ.

Мевій. Что-жь, онъ узналъ навѣрно?

Патрицій. Эти вещи доказывать и узнавать мудро. Онъ предупредилъ... если они не успѣли донести что-нибудь важное, и лишилъ себя трехъ рабовъ безъ пользы, если они уже сдѣлали доносъ. Это обстоятельство заставляетъ еще болѣе торопиться. Мнѣ есть еще дѣла, и такъ сегодня ночью у Латерина.

Мевій. За мной дѣло не станеть, моя жизнь принадлежитъ Риму, я буду умѣть принести ее на жертву; а странно на душѣ: вѣра и недовѣріе, страхъ и надежда. Да неужели это не сонъ, что разъ, два сядетъ солнце и въ третій взойдетъ надъ освобожденнымъ Римомъ и онъ, какъ финиксъ, воскреснетъ въ лучахъ прежней славы, пробудится огъ тяжелаго лихорадочнаго сна, въ которомъ грезилъ чудовищныя событія? И такъ скоро?

Лициній (встаетъ и подходитъ къ нимъ). Сонъ! И я скажу теперь — мечты! Домъ падаетъ, столбы покачнулись, скоро рухнуть, а вы хотите поддержать его; чѣмъ? руками? — васъ раздавитъ, а зданіе все-таки упадетъ. Убить Нерона—дѣло возможное, можемъ легко перерѣзать нить жизни; но трудно вызвать изъ могилы мертваго. Я участвовалъ въ заговорѣ, вы знаете, и пойду сегодня и буду дѣлать, что другіе хотятъ; но вѣра моя остыла. Римъ кончилъ свое бытіе, убійствомъ его воскресить нельзя; явится другой Неронъ. И вотъ уже есть желающій, Пизонъ,—этотъ ограниченный человѣкъ, сильный только деньгами и предками, протягиваетъ дерзкую руку. Мнѣ жаль Латерина, жаль васъ, жаль эту голубицу ¹⁾, назначенную летать по небесамъ въ Элладѣ и залетѣвшую въ горящій домъ. Не то жаль, что вы погибнете, а жаль, что вы втуне употребляете вашу вѣру. . Что хотите? Воскреситъ Римъ? Зачѣмъ? Онъ былъ нелѣпъ, римяне были хороши. Не законъ, начертанный на доскахъ, покорилъ ему міръ, а другой законъ, который онъ сосать съ молокомъ. Истанный Римъ былъ построенъ не изъ камня, онъ былъ въ груди гражданъ, въ ихъ сердцахъ; а теперь его нѣтъ, остался его остовъ, каменные стѣны, каменные учрежденія. И въ этомъ трупѣ, уже загнившемъ, тлѣетъ какая-то болѣзненная, лихорадочная, упорная искра жизни. Одряхлѣвшій Римъ одинъ ходитъ не можетъ, а вы, добрые люди, хотите отнять вожатаго у калѣки, чтобы онъ упалъ въ первую канаву. Для кого вы работаете, на кого обопретесь? На плебеевъ что ли? Да они васъ ненавидятъ. Было время, плебей считалъ патриція за отца. Хорошо воспиталь отецъ сына: онъ его ограбилъ, замучилъ на тяжелой работѣ, прогналъ изъ дома, раба принялъ на его мѣсто, рѣзалъ мясо его на куски за долги, морилъ въ тюрьмѣ, ругался надъ нимъ, спрашивалъ, глядя на закорузлую руку, — не четвероногій-ли онъ? ²⁾. Онъ и въ самомъ дѣлѣ сдѣлался звѣремъ. Посмотрите вы на кровожаднаго барса, выходящаго иногда погулять на площади, послушайте его ревъ; цезари поняли его характеръ, они ему голодному, вмѣсто хлѣба, бросаютъ трупы гладиаторовъ, и

¹⁾ Эпихарисъ.

²⁾ Острота Сициліона Африканскаго.

звѣрь, упоенный зрѣлищемъ крови, рукоплещеть. При первомъ шагѣ онъ васъ растерзаетъ на части, и нечему дивиться. Вы сейчасъ бранили плебеевъ за то, что они ругались надъ сенаторомъ, а сенатъ развѣ нѣсколько столѣтій не ругался надъ ними? На плебеевъ обопрется цезарь,—не вы, а вы обопретесь, можетъ, на патриціатъ. Хорошъ и этотъ крокодилъ, не имѣющій зубовъ, снѣдаемый нечистыми страстями, умирающій въ рукахъ рабовъ, египетскихъ поваровъ и нагихъ невольницъ! Въ основѣ своей Римъ носилъ зародышъ гибели. Время казни настало. Онъ богами посвященъ! Ремъ, облитый кровью, всталъ, онъ требуетъ наслѣдія, отчета; онъ не забылъ, что его зарѣзалъ родной братъ изъ корысти. Онъ одичалъ въ преисподней, безумье блестя въ его глазахъ, лишенныхъ свѣта нѣсколько вѣковъ, у него въ груди одно чувство—мсть! Онъ, какъ Протей, является въ тысячѣ формъ: онъ Калигула, онъ Клавдій, онъ Неронъ, онъ нѣкогда кололъ булавкой въ языкъ Цицерона и таскалъ его окровавленную голову по площади, онъ былъ Катилина, онъ выводитъ теперь сенаторовъ на арену и заставляетъ бороться съ подлыми гладиаторами и онъ же—чернь, рукоплещаящая около арены... Онъ—огонь, прокравшійся всюду и сожигающій со всѣхъ сторонъ ветхое зданіе, воздвигнутое на его разможенномъ черепѣ... Когда-нибудь пожаръ кончится, тогда тишина наляжетъ на эту полосу, будутъ объ Римѣ говорить, какъ о Карфагенѣ, о Вавилонѣ. Звѣри поселятся, имъ ловко норы устраивать въ развалинахъ, стаи хищныхъ птицъ прилетятъ дождать несъѣденное Хроносомъ. Поторжествуютъ животныя падніи: чловѣка; нѣтъ, еще хуже, они будутъ жить, какъ дома, въ берлогахъ своихъ на великомъ римскомъ форумѣ.

Мевій. Остановись, наконецъ, дерзновенный! Что за ужасное воображеніе—слѣдъ незаконныхъ, преступныхъ мечтаній. Римлянинъ не долженъ слушать такую рѣчь, полную отравы. Погибнуть лучше съ вѣрою въ Римъ, нежели дать мѣсто въ груди ядовитымъ нѣснямъ фурій.

Лициній. Мнѣ самому досадно: больше сказалося, нежели я хотѣлъ. Я, видишь ли, долго молчалъ; грудь отъ этого стала полна, ей надобно былъ истокъ, она не могла долше хранить жгучія истины; мнѣ горько, Мевій, что я дерзкой рукой тронулъ твое сердце гражданина. Но не брани меня, плачь обо мнѣ; потерявши многое, у васъ осталась вѣра въ Римъ, для меня и Римъ пересталъ быть святымъ. А я люблю его, но не могу не видѣть, что стою у изголовья умирающаго. Если-бъ можно было создать новый Римъ—прочную, обширную храмину изъ незажившихъ остатковъ! Но кто мощный, великій, который вольетъ новую кровь въ наши жилы, юную и азую, который огнемъ своего генія сплавить въ одну семью патриціатъ и плебеевъ, согрѣетъ ихъ своею любовью, очиститъ своей молитвой и, наполнивъ своимъ духомъ, всѣхъ гордою стопой поведетъ въ грядущіе вѣка? Но и Зевсъ, сойдя на землю, не сдѣлаетъ этого.

Мевій. Другъ, такія слова еще ужаснѣе; бѣшеные звуки твоей филиппики возбудили гнѣвъ, а эти слова... послушай (съ отчаяніемъ): скажи, что намъ дѣлать, что намъ дѣлать?

Лициній. Наконецъ-то ты увидѣлъ весь ужасъ настоящаго... Что дѣлать? Въ этомъ то вся задача сфинксовъ. Во все время, отъ троглодитовъ до прошлаго поколѣнія, можно было что-нибудь дѣлать. Теперь дѣлать нечего. Да, нечего, и это худшая кара, которая можетъ пасть на

людей, хуже Сизифовой, хуже Тантазовой. Бѣдные, несчастные! Фатумъ призвалъ насъ быть страдательными свидѣтелями позорной смерти нашего отца и не далъ никакихъ средствъ помочь умирающему, даже отнять уваженіе къ развратному старику. А, между тѣмъ, въ груди бьется сердце, жадное дѣяній и полное любви. Ни Эсхилу, ни Софоклу не приходило въ голову такого трагическаго положенія. Можетъ, придуть другія поколѣнія, будетъ у нихъ вѣра, будетъ надежда, свѣтло имъ будетъ, зацвѣтетъ счастье, можетъ. Но мы—промежуточное кольцо, вышедшее изъ былого, не дошедшее до грядущаго. Для насъ темная ночь—ночь, потерявшая послѣдніе лучи заходящаго солнца и не нашедшая алой полосы на востокъ. Счастливые потомки, вы не поймете нашихъ страданій, не поймете, что нѣтъ тягостнѣе работы, нѣтъ алгѣйшаго страданія, какъ *ничего не дѣлать!* Душно!

(Лициній закрываетъ руками лицо. Мевій, глубоко взволнованный, молчитъ).

FORUM API.

Бружокъ обдерганныхъ плебеевъ окружаетъ какую-то женщину; ее поставили на возвышеніе.

Г о л о с а. Сама, сама ты видѣла?

Ж е н щ и н а. Братъ мой, свидѣтельствуюсь богами—видѣла; святого-то мужа, какъ преступника, вели въ цѣняхъ, поселяне его провожали. А онъ кротко, спокойно, просто все поучалъ своей вѣрѣ.

Г о л о с а. Что жъ онъ говорилъ, что?

Ж е н щ и н а. Онъ такъ утѣшительно говорилъ, такъ хорошо, не могу всего пересказать. Говорилъ онъ, что пора каяться, что новая жизнь началась, что Богъ послалъ Сына своего спасти міръ, спасти притѣсненныхъ и бѣдныхъ. Мы плакали, слушая его. Потомъ онъ взялъ моего маленькаго, посмотрѣлъ на него ласково и сказалъ: «Ты увидишь уже сильнымъ царство Христово».

Г о л о с а. Слышите! слышите! Говорятъ, и слѣпые стали видѣть, и мертвые воскресаютъ!

1838 г. Владиміръ на Клязьмѣ.

Маріи Р.....¹⁾.

.....Итакъ, вы думаете, что все-таки печатать, несмотря на то, что одна повѣсть едва начата, а другая не кончена.. Оно въ самомъ дѣлѣ лучше: не напечатанная рукопись мѣшаетъ, это что-то неудавшееся, слабое, письмо, не дошедшее по адресу, звукъ, не дошедшій ни до чьего слуха.

Позвольте же вамъ и посвятить эти поблекшіе листья, захваченные на подорогѣ суровыми утренниками. Новаго вы въ нихъ не найдете ничего; все вамъ знакомо въ нихъ, и оригиналы блѣдныхъ копій, и молодой смѣхъ былого времени, и грусть настоящаго, и даже то, что пропущено между строкъ.

Примите же ихъ, какъ принимаютъ старыхъ друзей послѣ долгой разлуки, не замѣчая ихъ недостатковъ, не подвергая ихъ слишкомъ строгому суду.

Лондонъ, 31 декабря, 1853.

¹⁾ Это посвященіе относится къ четыремъ рассказамъ: «Докторъ Круповъ», «Мимоздомъ», «Долгъ прежде всего» и «Поврежденный», изданнымъ отдѣльно подъ заглавіемъ: «Прерванные рассказы».

Примѣч. издат.

Между четвертой и пятой частью.

Два первые тома *Былого* и *Думъ* составляютъ такой «отрѣзанный локоть», что мнѣ пришло въ голову между ними и слѣдующими частями поставить небольшую кладовую для стараго добра, съ которымъ по *ту* сторону берега нечего дѣлать; она можетъ служить въ родѣ *pièces justificatives* или обвинительныхъ актовъ.

Общихъ статей, въ родѣ *Писемъ объ изученіи природы, Дилетантизма въ наукѣ* и пр., разумѣется, въ этой книгѣ нѣтъ ¹⁾, нѣтъ также и повѣстей. Я выбралъ только тѣ статьи, которыя имѣютъ какое-нибудь отношеніе къ двумъ вышедшимъ томамъ *Былого* и *Думъ*. Тутъ на первомъ планѣ *Записки одного молодого человека*; какъ чертежи сравнительной анатоміи или лафатеровскіе профили, они показываютъ наглядно измѣненія, вносимыя въ фізіономію мысли и слова двадцатью такими годами, которые я прожилъ между записками *молодого* чело­вѣка, набросанными въ 1838 въ Владимірѣ на Клязмѣ, и думами *пожилого* чело­вѣка, помѣченными въ Лондонѣ на Темзѣ.

Досадно, что у меня нѣтъ цензурныхъ пропусковъ и всего досаднѣе, что нѣтъ цѣлой тетради между первымъ напечатаннымъ въ *От. Зап.* отрывкомъ и вторымъ. Я помню, что въ ней былъ нашъ университетскій курсъ и что тетрадь оканчивалась *соборной* поѣздкой нашей въ Архангельское князя Юсупова, описаніемъ обѣда и пира возлѣ оранжереи, который продолжался еще дни два возлѣ Ирѣсенскихъ Прудовъ.

Затѣмъ я помѣстилъ нѣсколько полемическихъ статей, во всей ихъ *правдѣ и кривдѣ*, въ костюмѣ сороковыхъ годовъ и во всей тогдашней односторонности.

Много воды утекло съ тѣхъ поръ, какъ мы боролись съ православной покорой славянофильской, и быстро текла вода съ 1848... Все сдвинула она, все подмыла... многое совѣмъ снесла. Наша религія независимости не такъ исключительна и ревнива, какъ была, и недавно еще намъ казалось пздали, что великороссійская любовь къ отечеству перестала быть ненавистью къ другимъ...

25 января, 1862 г.

Orsett House, Westbourne Terrace.

¹⁾ Я сдѣлалъ исключеніе для двухъ статей: *По поводу одной драмы и Капризы и радумье*, обѣ имѣютъ тѣсное отношеніе къ личнымъ опытамъ и событіямъ, имѣвшимъ сильное вліяніе на меня, на насъ.

Примѣчанія.

Стр. 1. «Легенда о святой Θεодорѣ» была впервые напечатана въ декабрьской книгѣ «Русской Мысли» за 1881 годъ Е. С. Некрасовой по подлинной тетради Герцена, найденной ею въ 1872 году среди книжнаго хлама на рынкѣ подъ Сузаровой башней въ Москвѣ. Эта толстая въ переплетѣ тетрадь, находящаяся теперь въ рукописномъ отдѣленіи Румянцовскаго музея, содержитъ, кромѣ «Легенды», обѣ помѣщаемыя ниже «Встрѣчи», а также «Отдѣльныя мысли» и «Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ», и цѣлый рядъ выписокъ изъ Гёте, Данте и др. Здѣсь же находилась утраченная теперь статья Герцена о зодчествѣ, которая въ тетради вырвана; уцѣлѣли только послѣднія строки ея, и подъ ними помѣта: «Владиміръ, 12 февр. 1838». Вся тетрадь писана въ Вяткѣ и во Владиміръ; на первой ея чистой страницѣ, наверху, рукою Герцена написано: *6 марта 1836. Вятка (!)*. — «Легенда», какъ показываетъ помѣтка въ концѣ ея, была написана во время ареста Герцена, въ Крутицкихъ казармахъ, въ Москвѣ, въ февралѣ 1835 года, и (вѣроятно, съ поправками) переписана въ эту тетрадь—вся собственноручно—въ Вяткѣ, въ мартѣ 1836 г. Текстъ, напечатанный Е. С. Некрасовой, исправленъ здѣсь по подлинной рукописи.

Стр. 4. Симеонъ Метафрастъ жилъ въ X вѣкѣ и писалъ житія мучениковъ и святыхъ, поэтому онъ и является первоначальнымъ авторомъ сказанія о св. Θεодорѣ.

Стр. 4. Константинъ VII Багрянородный былъ императоромъ византийскимъ съ 912 по 959 годъ.

Стр. 5. Діадохъ Провлѣ — греческій философъ-неоплатоникъ V вѣка, придавшій неоплатонизму законченныя формы.

Стр. 5. Аполлоній Тианскій, неопиетейскій философъ, магъ и теургъ, современникъ Христа, своими путешествіями, прорицаніями, такъ называемыми чудесами и проч. возбудившій повидимому, среди своихъ современниковъ большое вниманіе и умершій въ Эфесѣ на 100 году жизни. Ему воздвигались храмы во многихъ городахъ Малой Азіи и Греціи и въ честь его чеканились медали.

Стр. 5. Сераписъ—египетскій Богъ ада и умершихъ (Озирисъ = Аписъ). Поклоненіе ему было распространено только въ Египтѣ, но и въ Римѣ.

Стр. 9. Констансъ (Константъ), третій сынъ Константина Великаго (323—350), получившій отъ отца Иллирію, Италію и Африку съ титуломъ цезаря. Вступивъ въ борьбу со своимъ старшимъ братомъ, Константиномъ II, погибъ во время возстанія на западѣ.

Стр. 10. Ринальдо-Ринальдини—генеральный итальянскій разбойникъ, герой романа нѣмецкаго писателя Хр.-Авг. Вульпиуса «Rinaldo Rinaldini» (1797), переведеннаго почти на всѣ новейшіе языки и сдѣлавшагося прототипомъ многочисленныхъ разбойничьихъ романовъ, а самъ Ринальдо сдѣлался синонимомъ романтическаго разбойника.

Стр. 24. Обѣ помѣщенные здѣсь «Встрѣчи» находятся въ той подлинной тетради Герцена, о которой сказано выше, въ примѣчаніи къ «Легендѣ о св. Θεодорѣ». «Первая встрѣча» была написана въ Крутицкихъ казармахъ въ декабрѣ 1834 г. и переписана въ тетрадь въ июнѣ 1836 г. въ Вяткѣ. Первоначальное ея заглавіе было: «Германскій путешественникъ»; это заглавіе зачеркнуто въ тетради и сверху написано: «Первая встрѣча». Дѣло въ томъ, что въ началѣ 1836 г. Герценъ, очевидно, задумалъ написать рядъ очерковъ

подъ заглавіемъ «Встрѣчи»; введеніе, которымъ начинается «Вторая встрѣча», и должно было служить предисловіемъ ко всей этой серіи очерковъ. «Что могу я прислать для печати?»—писалъ Герценъ друзьямъ изъ Вятки.—1-е. «Встрѣчи»: это три статьи, изъ коихъ одна вамъ известна—«Германскій путешественникъ» (поправленный) и двѣ другія: «Человѣкъ въ венгерѣ», въ коемъ описана моя встрѣча въ Перми съ однимъ весьма несчастнымъ и весьма сильнымъ человѣкомъ; третья—«Шведъ» («Мысль и Откровеніе») (Анненковъ, Идеалы 30-хъ годовъ, стр. 15). Третій очеркъ до насъ не дошелъ, а «Человѣкъ въ венгерѣ» именно и есть «Вторая встрѣча». «Первую встрѣчу» Герценъ поздѣе еще разъ переработалъ и въ обновленномъ видѣ вставилъ въ свои «Записки одного молодого человѣка», напечатанныя въ «Отеч. Зап.» 1840—41 гг.; здѣсь «германецъ» замѣненъ полкомъ Тренанскимъ, подъ видомъ котораго выведенъ, по мнѣнію Н. Страхова, двоюродный братъ автора—«Химикъ» «Былого и Думъ». «Первая встрѣча» переписана въ тетради всѣхъ рукою Герцена, «Вторая»—чужой, вѣроятно женской, рукой, но съ собственноручными поправками автора. Оба очерка были напечатаны въ первый разъ Е. С. Некрасовой въ «Русской Мысли», 1882 г., явл. и дек.; текстъ ихъ здѣсь исправленъ по подлиннику.

Стр. 24. Луи-Бенжаминъ Франкеръ (1773—1849), французскій математикъ, большинство сочиненій котораго переведено на русскій языкъ и долго служило распространенными учебными пособиями и руководствами.

Стр. 26. Карлъ Нодде (1780—1844), французскій бездѣльникъ и филологъ.

Стр. 26. Баронъ Анахарсизъ (собственно, Жанъ-Батистъ) Клоотсъ (1755—1794) объѣзжалъ Европу, всюду проповѣдая всеобщую демократическую организацію всѣхъ народовъ по образцу древнихъ греческихъ республикъ, но при общемъ братствѣ всѣхъ національностей. Онъ былъ гильотинированъ по настоянію Робеспьера.

Стр. 27. Жакъ-Рене Геберъ (у Герцена: Эбертъ), французскій революціонеръ (1755—1794), прозванный «отцомъ Дошеномъ», по названію издававшейся имъ газеты «Père Duchesne». Сочѣствовалъ гибели жирондистовъ и проповѣдывалъ культъ разума. Гильотинированъ по настоянію Робеспьера, какъ компро-

метированный дѣло революціи своими крайностями.

Стр. 32. Морганъ, ледя Сидней (1785—1859), англійскій писательница, прославившаяся своей книгой «Италія» (1821 г., 2 тома).

Стр. 32. Вольфгангъ Менцель (1798—1873), нѣмецкій писатель, приобрѣтшій въ 30-хъ и 40-хъ годахъ печальную славу гнуснаго доносчика на писателей «Молодой Германіи» (Гейне, Барне, Гудкова и др.), которыми и былъ по достоинству закованъ.

Стр. 33. Анри Ларошъ-Жакантъ (1772—1794), глава вандейцевъ. Былъ убитъ въ бою съ республиканскими войсками.

Стр. 33. Мальербъ (у Герцена: Малербъ), Кретьенъ Гильомъ (1721—1794), ревностный роялистъ, бывший министр въ внутреннихъ дѣлахъ при Людовикѣ XVI и смѣло защищавшій послѣдняго во время его процесса въ конвентѣ. Былъ гильотинированъ.

Стр. 34. Саади—величайшій персидскій поэтъ (1184—1291), написавшій «Гюлистанъ» («Садъ розъ») и «Бостанъ» («Садъ плодовъ»). Низами—великій персидскій поэтъ XII вѣка, написавшій «Диванъ» и 5 большихъ поэмъ, считающихся въ Персіи донельзя недосыгаемыми шедеврами. Низами—основатель персидскаго романтическаго эпоса.

Стр. 34. Иоганнъ-Георихъ фонъ-Данскеръ (1758—1841), нѣмецкій скульпторъ, бывшій въ дружбѣ съ Шиллеромъ и первый назвавшій его бюстъ въ натуральную величину, находившійся въ веймарской бібліотекѣ.

Стр. 35. «Беллерофонъ» назывался англійскій корабль, на которомъ въ 1815 году былъ увезенъ на островъ св. Елены Наполеонъ I, находившійся тамъ подъ присмотромъ мѣстнаго англійскаго губернатора Гудзона Лоу (или Лова, какъ пишетъ Герценъ).

Стр. 35. Генералъ Максимилианъ Ламаркъ (1770—1832) участвовалъ въ наполеоновскихъ войнахъ, а съ 1828 г., состоя депутатомъ, прославился какъ одинъ изъ лучшихъ оппозиціонныхъ ораторовъ, отстаивавшихъ законъ и народныя права.

Стр. 37. Подъ 9-мъ апрѣля подражывается 9-е апрѣля 1835 г., когда Герценъ, отправляясь изъ Москвы въ ссылку, имѣлъ прощальное свиданіе со своей двоюродной сестрой (внучатствіемъ женой) Паталіей Александровной За-

харьной въ Крутицкихъ казармахъ («Крутицхъ»).

Стр. 42. Лонгвудомъ назывался домъ, въ которомъ жилъ Наполеонъ I на островѣ св. Елены.

Стр. 44. Это было 22-го октября, 1817 г. печатается по рукописи Герцена, найденной въ его перепискѣ съ невестой; впервые напечатана была Е. С. Некрасовой въ статьѣ: «Юношескіе литературные труды Герцена» («Сѣв. Вѣстникъ», 1895 г., № 9); въ рукописи Герцена стоитъ заголовокъ, приведенный здѣсь; въ письмѣ же, при которомъ статья послышалась невестѣ, она названа фантазією.

Стр. 44. Эмануэль Сведенборгъ (1668—1772), шведскій мистикъ, утверждавшій въ своихъ сочиненіяхъ, что неоднократно удостоивался видѣній Бога и божественныхъ открытій.

Стр. 47. Записки одного молодого человека и продолженіе ихъ (въ текстъ—глава III: «Годы странствованія»—стр. 69—97) подъ заглавіемъ «Еще изъ записокъ одного молодого человека» были напечатаны въ «Отеч. Запискахъ» 1840 г., № 12 (томъ XIII) и 1841 г. № 1 (томъ XIV).

Стр. 50. Августъ Коцебу (1761—1819), плодовитый нѣмецкій писатель, писавшій драмы, комедіи и пр. Убить студентомъ Карломъ Зандомъ, какъ доносить.

Стр. 52. Жанъ-Франсуа Мармонтель (1723—1799), французскій писатель, пользовавшійся въ свое время большимъ успѣхомъ, благодаря живости языка и романтичности мысли. (Собственно славился его романъ «Инки» (Les Incas).

Стр. 54. Ломоздъ — авторъ весьма распространенной въ свое время французской грамматики, выдержавшей въ подлинникъ болѣе 40 изданій и переведенной на русскій языкъ.

Стр. 54. Августъ Лафонтенъ (1758—1831), плодовитый и популярный въ свое время нѣмецкій романистъ. Его романы проникнуты мѣшанско-морально-сентиментальнымъ направленіемъ.

Стр. 55. «Письмовникъ» Ник. Гавр. Курганова (1726—1796) выдержалъ 11 изданій (1769—1837) и служилъ какъ бы энциклопедіей для средней публики и грамотнаго люда во второй половинѣ XVIII, а въ глухихъ мѣстахъ и до второй половины XIX вѣка.

Стр. 55 Титъ Алексѣевичъ Камеицкій (1790—1844) былъ съ 1815 по 1824 г. профессоромъ географіи и ста-

тистики въ Московскомъ университетѣ. Составленное имъ «Руководство къ географіи» имѣло значеніе лучшаго учебника въ свое время.

Стр. 55. Ивъ Андреевъ Геймъ (1759—1821) былъ 40 лѣтъ профессоромъ Московскаго университета, гдѣ преподавалъ географію, исторію, нѣмецкій языкъ и греческія и римскія древности. Онъ издалъ на нѣмецкомъ языкѣ рядъ учебныхъ книгъ по географіи и статистикѣ.

Стр. 58. Шарль Бате (1713—1780), французскій эстетикъ, бывшій профессоромъ краснорѣчія, въ Парижѣ и проповѣдовавшій подражаніе прекрасному въ природѣ.

Стр. 58. Жанъ-Франсуа Лагарпъ (1740—1803), французскій писатель и критикъ, важнѣйшій трудъ котораго «*Cours de littérature*».

Стр. 58. Николай Буало-Депрео (1636—1711), французскій поэтъ и критикъ, авторъ «Сатиръ», одъ, посланій, эпиграммъ и поэмы «*Art poétique*», которая, служа кодексомъ условныхъ правилъ поэзіи («ложно-классицизмъ»), имѣла громадное вліяніе на всю поэзію XVIII вѣка.

Стр. 58. Подъ родственницей изъ города Меленовъ, Владимірской губ., Герценъ здѣсь обозначаетъ свою родственницу Татьяну Петровну Пассекъ, которая фигурируетъ также и въ «Быломъ и Думамъ» подъ именемъ «Корчевской кузаны».

Стр. 60. Жанъ-Пьеръ Флорианъ (1755—1794), французскій писатель, писавшій басни, пасторалы, романы («Нума Помпилій») и проч. Почти всѣ его сочиненія въ свое время были переведены на русскій языкъ.

Стр. 64. Графъ Филиппъ-Анри Сегюръ-д'Агессо (1753—1830), французскій историкъ, писавшій рядъ историческихъ сочиненій, въ томъ числѣ «*Histoire ancienne*», «*Histoire romaine*» и др.

Стр. 66. Фонтенель (1657—1757), французскій писатель, написавшій много драмъ, комедій, оперъ, басенъ и проч.

Стр. 69. Подъ именемъ города Малинова на слѣдующихъ страницахъ Герценъ нарисовалъ Вятку, гдѣ провѣлъ въ ссылкѣ 1835—38 годы.

Стр. 70. Карлъ Розенкранцъ (1805—1879), нѣмецкій философъ, одинъ изъ наиболѣе талантливыхъ и разностороннихъ учениковъ Гегеля, хотя и значительно отступившій отъ него вѣтво.

Написалъ очень много сочиненій по философіи, логикѣ, психологій, исторіи науки и литературы и пр. Его психологія, о которой говорятъ здѣсь Герценъ, вышла въ 1837 году. Въ 1844 г. овъ издалъ «Жизнь Гегеля».

Стр. 70. Алексѣй Леонтьевъ Ловецкій (1787—1840), врачъ и профессоръ минералогіи и зоологій въ Московскомъ университетѣ и физиологій и патологій въ московской медико-хирургической академіи, изданный нѣсколько оригинальныхъ и переводныхъ сочиненій по своей спеціальности.

Стр. 72. Плато-Карпини, францисканскій монахъ, путешествовавшій въ XIII вѣкѣ въ азіатскихъ степяхъ и путевыя записки котораго очень важны для знакомства съ жителями тогдашней Азіи, особенно татарами.

Стр. 72. Дюмонъ-Дюрвилъ, Жюль-Себастьянъ-Севаръ, французскій контръ-адмиралъ (1790—1842), совершивъ 3 кругосвѣтныя путешествія, сдѣлалъ много географическихъ открытій. Его «Путешествіе вокругъ свѣта» переведено и на русскій языкъ (1835, 1843 и 1850 гг.). Погибъ во время крушенія лодки на желѣзной дорогѣ между Парижемъ и Версалемъ.

Стр. 73. Въ выноскѣ къ этой страницѣ говорится о повѣсти нѣвснаго беллетриста и этнографа В. И. Даля «Бѣловикъ».

Стр. 84. Книгу «Mémorial de St. Helène» (1821—23 гг.) издалъ графъ Эммануэль-Огюстенъ Ласкавъ (1766—1842), который былъ личнымъ другомъ Наполеона I и сопровождалъ его на островъ св. Елены, гдѣ и писалъ, подъ диктовку Наполеона, означенную книгу — нѣчто въ родѣ мемуаровъ Наполеона.

Стр. 84. Альбрехтъ Тьеръ (1752—1828), славившійся въ свое время нѣмецкій агрономъ.

Стр. 88. Шпрудель—минеральный источникъ въ Карлсбадѣ, выделяющій изъ себя обильный осадокъ углекислоты.

Стр. 90. Христіанъ Раухъ (1777—1857), известный нѣмецкій скульпторъ, основавшій въ Берлинѣ школу скульптуры, изваявшій бюсты Гёте, королевы Луизы прусской и др.

На стр. 90—96 повторяются уже ранѣе (стр. 26—35) наложеныя въ разсказѣ «Первая встрѣча» подробности о свиданіи «германскаго путешественника» (здѣсь Тревинскаго) съ Гёте.

Стр. 93. Жанъ Жуанвилъ (1224—1318), французскій историкъ, другъ и

свѣтъникъ Людовика IX, сопровождавшій его въ первомъ крестовомъ походѣ и написавшій «Histoire de St. Louis».

Стр. 95. Парацельсъ (1493—1541), швейцарскій врачъ, естествоиспытатель и профессоръ въ Базелѣ, основатель фармацевтической химіи, пользовавшійся большою славой и авторитетомъ въ XVI вѣкѣ.

Стр. 102. Джорджъ (у Герцена ошибочно названъ Чарлсомъ) Фоксъ (1624—1691), основатель религиозной общины квакеровъ, былъ сперва сапожникомъ въ Ноттингемѣ. За распространеніе своихъ религиозныхъ идей подвергся частымъ гоненіямъ и преслѣдованіямъ.

Стр. 105. Первая часть романа «Кто виноватъ?» была первоначально напечатана въ «Отеч. Запискахъ» 1845 г., № 12 (томъ 43-й, отдѣлъ I, стр. 195—245). Похъ ней стояла дата: 1842. Затѣмъ въ тѣхъ-же «Отеч. Зап.» 1846 г., № 4 (томъ 45-й, отдѣлъ I, стр. 155—192) была напечатана «Эпизодъ между первою и второю частью»: «Владиміръ Бельтовъ». Вполнѣ романъ былъ приложенъ къ № 1 «Современника» 1847 г., а затѣмъ имѣлъ 4 отдѣльныя изданія: въ Лондонѣ 1859 г. и въ С.-Петербургѣ 1866, 1871 (не поступало въ продажу, такъ какъ было задержано: и 1891 (въ «Семейной бібліотекѣ», №№ 13 и 14).

Стр. 108. «Нѣсколько выраженій я вспомнилъ (они напечатаны курсивомъ)» — это замѣчаніе Герцена («курсивомъ») относится къ заграничн. изданію 1859 г.

Стр. 108. Фульгэмъ — пригородная мѣстность близъ Лондона, гдѣ въ 1859 г. жилъ Герценъ на дачѣ Паркъ-Гоузъ.

Стр. 114 Христофъ-Вильгельмъ-Гуфландъ (1762—1836), нѣмецкій врачъ, лейбъ-медикъ прусскаго короля и профессоръ берлинскаго университета. Изъ его многихъ сочиненій особенную популярность имѣло «Макробіотика или искусство продлить человеческую жизнь» переведенное и на русскій языкъ проф. И. Заблочкинымъ.

Стр. 156. «Новая Элоиза» — романъ Жанъ-Жака Руссо. Фоблазъ — герой крайне скабрзнаго романа Луве де-Куврѣ.

Стр. 164. Жанъ-Батистъ Массильонъ (1663—1742), епископъ клермонскій, прославившійся своими проповѣдями, переведенными и на русскій языкъ.

Стр. 165. Здѣсь приводятся выдержки изъ славившейся въ началѣ XIX в. поэмы Иппол. Фед. Богдановича (1743—1802) «Душенька».

Стр. 169. «Paul et Virgiiue» («Поль и Виргиня») — знаменитый въ свое время романъ Бернардена де-Сенъ-Пьера (1737—1814), переведенный неоднократно и на русский языкъ.

Стр. 169. Себастьянъ де-Преть де-Вобанъ (1663—1707), французскій маршалъ, знаменитый въ свое время инженеръ, прославившійся устройствомъ крепостей, ихъ обороной и срадой.

(Стр. 177. Шарль Боннэ (у Герцена — Боннетъ), естествоиспытатель и философъ (1720—1793).

Стр. 178. Иоганнъ-Бернгардъ Базедовъ (1723—1790), нѣмецкій педагогъ, послѣдователь Руссо и Коменскаго, требовавшій наглядности въ воспитаніи и произведшій реформу въ воспитательномъ дѣлѣ.

Стр. 178. Людвигъ-Генрихъ Николадъ (1737—1820), нѣмецкій писатель и педагогъ. Съ 1769 г. былъ воспитателемъ цесаревича Павла Петровича, а впоследствии президентомъ Спб. академіи наукъ.

Стр. 178. Мальтъ-Брѣвъ — французскій ученый первой половины XIX в., написавшій много географическихъ сочиненій.

Стр. 178. Паскаль Паоли (1726—1807), знаменитый корсиканскій патриотъ, много лѣтъ боровшійся за независимость острова Корсики.

Стр. 178. Пьеръ-Шарль Левекъ (1736—1812), французскій историкъ, по рекомендаціи Дидро Екатериной II ставшій учителемъ сиб. кадетскаго корпуса. Кроме другихъ историческихъ сочиненій, написалъ «Histoire de Russie», вышедшую въ 1812 г. 4-мъ изданіемъ.

Стр. 180. Каспаръ Гаузеръ — загадочная личность. Въ 1828 г. онъ былъ найденъ близъ Нюрнберга при запискѣ, въ которой было только сказано, что онъ родился въ 1812. Гаузеръ былъ лишенъ самыхъ элементарныхъ представленій о чемъ-либо, такъ какъ ничему не былъ обученъ и съ дѣтства, по его разсказу, жилъ въ подземной тюрьмѣ. Въ 1833 г. онъ былъ убитъ неизвестно кѣмъ и личность его навсегда осталась неустановленною.

Стр. 180. Любимъ Матей (Aimé Mathé), врачъ, получившій медицинское образованіе въ Лейденѣ, а затѣмъ, какъ доцентъ, преподававшій фیزیологию въ Россіи. Ум. въ 1792 г.

Стр. 185. Азичъ — малоизвѣстный французскій философскій писатель начала XIX вѣка.

Стр. 196. Офрѣнь — французскій актеръ XVIII вѣка, игравшій на сценѣ парижскаго театра «Comedie Française».

Стр. 234. Докторъ Франческо Автомарки (1780—1838) лечилъ въ 1818—21 гг. Наполеона I на островѣ св. Елены и отказался подписать протоколъ вскрытія тѣла Наполеона, такъ какъ, по мнѣнію Автомарки, императоръ умеръ не отъ рака, а отъ господствующей на островѣ лихорадки. Онъ издалъ въ 1823 г. книгу «Les derniers moments de Napoléon». Во время польскаго возстанія 1831 г. Автомарки управлялъ больничными заведеніями Варшавы.

Стр. 246. Джованни-Батисто Рубини (1795—1854), знаменитый въ свое время итальянскій пѣвецъ-теноръ. Позна Віардо-Гарсія (род. 1821) — знаменитая пѣвица, известная также и своей многолѣтней дружбой съ И. С. Тургеньевымъ.

Стр. 267. Евтропій — римскій историкъ, жившій въ IV в. по Р. Х. Былъ императорскимъ секретаремъ въ Византии и составилъ по достовернымъ источникамъ очеркъ римской исторіи отъ основанія Рима до 364 г. по Р. Х. въ 10 книгахъ («Breviarium ab urbe condita»).

Стр. 281. Перепечатывая въ 1862 г. свои автобіографическія «Записки одного молодого человѣка» впервые появившіяся двумя частями въ «Отеч. Зап.» (декабрь 1840 г. и авг. 1841 г.), Герценъ писалъ въ предисловіи: «Досадно, что у меня нѣтъ цензурныхъ пропусковъ, и всего досаднѣе, что нѣтъ дѣвой тетради между первыми напечатаннымъ въ «Отеч. Зап.» отрывкомъ и вторымъ. Я помню, что въ ней былъ нашъ университетскій курсъ и что тетрадь оканчивалась *сборной поядкой нашей въ Архангельское князя Юсупова, описаніемъ обиды и мира возлѣ оранжереи*, который продолжался еще для дѣя возлѣ Прьсненскихъ Прудовъ». Упомянутая здѣсь тетрадь содержала, очевидно, ту автобіографическую повѣсть «О себѣ», которую Герценъ писалъ въ 1838 г. во Владимірѣ и о которой онъ не разъ говоритъ въ своихъ письмахъ къ невѣстѣ и друзьямъ за это время. Въ январѣ 1838 г. онъ въ письмѣ къ невѣстѣ такъ излагалъ планъ этой повѣсти: «Первая часть — до 20-го іюля 1834 года. Тутъ я дитя, юноша, студентъ, другъ Огарева, мечты о славіи, вакханалія — и все это оканчивается грустной, но гармоничною нашей прогулкой на кладбище (она уже написана).

Вторая начнется моей фантазией «22 октября». Въ началѣ марта онъ сообщаетъ: «Написалъ VIII главу въ свою жизнь и написалъ очень хорошо, и ужъ, конечно, не догадася о чемъ: о любви къ Люд. П.; вообще идетъ прекрасно (я пишу по твоему приказу). Далѣе описана самая черная эпоха, отъ 9-го юліа 1834 г., до 20-го, no halte là». Однако, онъ на этомъ не остановился; 30 марта онъ пишетъ: «Да, это поэма юности, и она хороша. Въ IX главѣ описана студенческая орія и прогулка». Е. С. Некрасова («Юношескіе литер. труды Герцена», «Сѣв. Вѣстн.», 1895 г. № 9, стр. 118—119) правильно указала на то, что эта IX глава сохранилась въ воспоминаніяхъ Т. Пассекъ: это—отрывокъ, напечатанный въ I томѣ ея записокъ подъ заглавіемъ «Послѣдній праздникъ дружбы». Пассекъ предпослала этому отрывку слѣдующія вступительныя слова: «Въ послѣднихъ числахъ мая 1833 г. одинъ товарищескій вечеръ завершилъ этотъ отдыль ихъ юности... Изъ замѣтокъ, найденныхъ мною въ бумагахъ Вадима (т. е., В. В. Пассека) и одного изъ его товарищей, вотъ что сказано объ этомъ вечерѣ». Въ слогѣ отрывка и во многихъ отдѣльныхъ выраженіяхъ легко узнать Герцена. Е. С. Некрасова, кажется, справедливо полагаетъ, что копія, которую воспроизвела Пассекъ, представляла собою исправленную редакцію IX главы; такъ, замѣчаніе о необходимости изучать картинную галерею въ одиночествѣ и притомъ въ теченіе многихъ дней вставлено, повидимому, уже послѣ декабря 1839 г., когда Герценъ пришелъ къ этому выводу послѣ неудачной попытки въ одинъ приемъ ознакомиться съ Эрмитажемъ (объ этомъ онъ писалъ женѣ изъ Петербурга въ дек. 1839 г.).

Стр. 281. Упсальскій баронъ—Николай Христовороничъ Кетчеръ.

Стр. 282. «Видите-ли у каміна худощаво молодого челоѣка».—т. е. Алексѣя Николаевича Савича.

Стр. 282. «Онъ держалъ за пуговицу молодого челоѣка», т. е. Н. Сазонова.

Стр. 283. «Одинъ съ длинными волосами и прелестными лицомъ la Schiller и прихрамывающій la Byron».—Николай Михайловичъ Сатинъ.

Стр. 283. ...«другой съ прекрасными задумчивыми глазами, съ нѣсколько театральными манерами».—Вадимъ Васильевичъ Пассекъ.

Стр. 283. «Молодой челоѣкъ, въ сѣромъ халатѣ, на диванѣ».—Никъ, т. е. Николай Платоновичъ Огаревъ.

Стр. 283. ...«худощавый юноша съ выразительнымъ, умнымъ взоромъ», Саша, т. е. Александръ Ивановичъ Герценъ.

Стр. 284. Кардиналъ Джузеппе Меллофанти (1774—1849) отличался необыкновенной способностью къ языкознанію: онъ говорилъ на 58 языкахъ, а читалъ и понималъ разговоръ на втрое больше числомъ языкомъ.

Стр. 285. Полю именовъ «Никъ» обозначенъ ближайшій другъ Герцена, Ник. Плат. Огаревъ.

Стр. 290. «Сашей» названъ здѣсь самъ авторъ.

Стр. 292. Повѣсть «Сорока-воробья» была первоначально напечатана въ «Современникѣ» 1848 г., № 7 (томъ IX), а впоследствии перепечатана въ литературномъ сборникѣ «На нѣсколько часовъ» (Спб., 1867, т. II). Черновая редакція этой повѣсти помѣщена въ «Русской Старинѣ» 1889 г., № 4. Фабула повѣсти была рассказана Герцену знавшимъ московскимъ авторомъ М. С. Щепкинымъ, которому авторъ и посвятилъ повѣсть.

Стр. 295.—296. «Opium et Champagne»—французскій водевилъ того времени.

Стр. 297. Рашель, Элиза, знаменитая французская актриса (1810—1858). Сестра ея—Юдишь (Judith) была весьма малоизвѣстной и недаровитой актрисой.—Не менѣе знаменита, но гораздо раніе Рашель, была и актриса Анна Марсь (1779—1849), долго бывшая любимицей публики при первой имперіи. Ея «Признанія» переведены и на русскій языкъ (1860 г.).—Алашъ и Плесси были французскія актрисы. и правншія съ успѣхомъ въ 30 и 40-хъ годахъ въ Петербургѣ, въ Михайловскомъ театрѣ.

Стр. 311. Повѣсть «Докторъ Круповъ» была первоначально напечатана въ «Современникѣ» 1847 г., № 5 (томъ III, отд. I). Затѣмъ первая глава этой повѣсти была перепечатана, подъ заглавіемъ «Левка» въ изданномъ А. И. Суворьиной и Е. I. Лихачевой литературномъ сборникѣ для дѣтей всѣхъ возрастовъ «Для чтенія» (Спб., 1867).

Стр. 321. Баронъ Христіанъ Вольфъ (1679—1754) былъ профессоромъ философіи и естествознанія въ университетѣ въ Галле, но въ 1723 г. былъ изгнанъ оттуда за вольнодумство, а въ

1740 г. вновь возвращень въ Галле и занял кафедру математики и естествознания. У него учился в Ломоносовъ, который перевелъ на русской языкъ его «Теоретическую физику». (Спб., 1746; 2-е изд. 1760). Рационалистическая философія Вольфа пользовалась большою славою и господствовала въ Германіи до Канта. Петръ Великій совѣтовался съ Вольфомъ объ учрежденіи въ Петербургѣ академіи наукъ.

Стр. 336. Матвѣй Яковл. Мудровъ (1772—1831), врачъ и профессоръ (съ 1808 г.) терапевтической клиники въ московскомъ университетѣ и патологии въ московской медико-хирургической академіи. Организовалъ и устроилъ клиники при московскомъ университетѣ. Устинъ Евдоким. Дядьковский (1784—1841), врачъ и профессоръ московскаго университета (съ 1812 г.) и московской медико-хирургической академіи (съ 1826 г.). Былъ извѣстенъ, какъ хорошій врачъ и ученый.

Стр. 336. Михайлъ Григор. Павловъ (ум. въ 1840 г.) былъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ профессоромъ сельскаго хозяйства въ московскомъ университетѣ, издавалъ журналы: «Мнеозина», «Атенеи» и «Русскій Земледѣлецъ». Павловъ много сдѣлалъ для развитія въ Россіи философскихъ идей, распространяя и популяризируя въ своихъ сочиненіяхъ идеи Шеллинга.

Стр. 358. Подъ «княземъ Григоріемъ Григорьевичемъ» здѣсь, очевидно, подразумѣвается фаворитъ Екатерины II, графъ Григ. Григ. Орловъ, пользовавшійся огромнымъ влияніемъ при дворѣ и достигшій высшихъ почестей, но съ 1772 г. уступившій свое мѣсто Потемкину.

Стр. 364. Брунегильда—франкская (Австравіи) королева VI в., отличавшаяся своею жестокостію.

Стр. 367. «Георгіки»—стихотворенія Вергилія, посвященные земледѣлю. «Фарсала» («Pharsalia»)—эпическая поэма Лукана (I в. по Р. X.). Лука Воленаргъ (1715—1747), французскій моральистъ, главное сочиненіе котораго «Réflexions et maximes» переведено и на русской языкъ.

Стр. 368. «Кандидъ»—философскій романъ Вольтера, «Орлеанская Дѣва» («La pucelle d'Orléans») — его же сатирическая и скабрезная поэма. «Жакъ-фатальистъ» — скабрезно-философскій романъ Дидро.

Стр. 388. Корниче (La Corniche)—славящаяся красотами природы береговая дорога въ Ривьерѣ, тянущаяся у скалистаго берега Средиземнаго моря отъ Ниццы до Генуи

Стр. 392. Magna Grecia — Великая Греція—общее названіе всѣхъ древнихъ греческихъ колоній въ южной Италіи, въслѣдствіи употреблявшееся, какъ названіе всей южной Италіи.

Стр. 392—393. Леонтіемъ Васильевичемъ звали извѣстнаго генерала Дуббельта (1792—1862), бывшаго съ 1835 г. начальникомъ штаба корпуса жандармовъ, а съ 1839 г. управляющимъ III отдѣленіемъ. Дуббельтъ въ свое время былъ предметомъ общаго ужаса въ виду его дѣятельности, безконтрольной и безапелляціонной.

Стр. 393. Ив. Ив. Излеръ—извѣстный въ 40-хъ и 50-хъ гг. петербургскій антрепренеръ-увеселитель.

Стр. 407. «Трагедія за стаканомъ грока» напечатана впервые въ сборникѣ: «Еще разъ» 1866 г.

Стр. 409. Осборнъ—дѣтняя резиденція англійской королевской семьи на островѣ Уайтъ.—Лончъ—завтракъ у англчанъ.

Стр. 414. Статья «Скуки ради» была напечатана подъ псевдонимомъ *Г. Нюмскій* (отъ швейцарскаго города Нюнь, гдѣ жилъ Герценъ дѣтомъ 1868 г.) въ «Недѣль» за 1868 г. № 48 и за 1869 г. №№ 10 и 16. Она составляетъ начало статьи, напечатанной въ «Сборникъ по смертныхъ статей» какъ самостоятельное произведеніе подъ заглавіемъ «Дождаръ, умирающій и мертвые» и перепечатываемой въ настоящемъ изданіи ниже.

Стр. 417. Генералъ Хуанъ Прихъ (1814—1870) послѣ низверженія королевы Изабеллы (1868) былъ испанскимъ министромъ-президентомъ и подготовилъ избраніе въ испанскіе короли итальянскаго принца Амедея, но еще до прибытія послѣдняго въ Испанію былъ убитъ неизвестными лицами.

Стр. 417. Генералъ Ламорисьеръ (1806—1865) былъ однимъ изъ усмирителей іонскаго (1848) возстанія рабочихъ въ Парижѣ.—Генералъ Шангарье (1793—1877), легитимистъ, жившій во время 2-й имперіи въ Франціи, но въ 1870 г. явившійся участвовать въ войнѣ съ Пруссіей.—Полковникъ Шаррасъ (1810—1865), республиканецъ и знатокъ стратегіи, написавшій замѣчательныя исторіи войнъ 1813 и 1815 гг.—

Маршалъ Пеллсье (1794—1864), бонапартистъ, бывший главнокомандующимъ французской арміей въ Крыму (1854—55) и за взятие Севастополя получившій титулъ герцога Малаховскаго.

Стр. 417. Маконъ—главный городъ французскаго департамента Соны и Луары, славящійся своимъ виномъ. Господинъ, выведенный здѣсь Герценомъ и охарактеризованный имъ, какъ «работавшій въ Маконахъ», очевидно, тамошній виноторговецъ.

Стр. 418. Божоле—мѣстность во Франціи между рѣками Луарой и Соной, гдѣ готовится высоко цѣнимое вино, вывозимое оттуда ежегодно въ большомъ количествѣ.

Стр. 419. Подъ «Юмпатіей» Герценъ разумѣетъ здѣсь тотъ успѣхъ, которымъ пользовался въ 60-хъ годахъ англійскій спиртъ и междуъ Юмъ, имѣвшій много поклонниковъ.

Стр. 422. Маршалъ Бюжо (1784—1849) былъ въ 1848 г. начальникомъ парижскаго гарнизона и былъ смѣненъ 24 февраля письменною приказомъ Луи-Филиппа, не позволившаго ему бомбардировать Парижъ. Ранѣе былъ губернаторомъ и командующимъ войсками въ Алжирѣ.

Стр. 424. Вецуръ—владѣлецъ моднаго ресторана въ Парижѣ.

Стр. 424. Луи-Мари Кормененъ (въ текстѣ ошибочно напечатано: Корменей), франц. публицистъ и юристъ (1788—1868), дѣятельно участвовавшій въ выработкѣ конституціи 1848 г., а съ 1855 г. бывший членомъ франц. Института. Онъ написалъ выдержавшія въ 10 лѣтъ 25 изданій «Lettres sur la liste civile», «Livre des orateurs» (18 изданій), «Административное право» и др.

Стр. 429. Докторъ Гаспаръ-Родригъ Франція или Франсія (1756—1840). ставъ съ 1814 г. диктаторомъ Парагвайской республики и отличаясь необыкновенной жестокостью, правилъ крайне деспотически и надолго отразилъ Парагвай отъ всякихъ сношеній съ другими странами.

Стр. 432. Жанъ Сивьяль (1792—1867), извѣстный въ свое время хирургъ, изобрѣтатель литотрипсиса.

Стр. 444. Михайль Серве (1511—1553), врачъ и богословъ, жившій въ Женевѣ. Онъ открылъ легочное кровообращеніе, но въ своихъ сочиненіяхъ отрицалъ троичность Бога и др. догматы, за что, по настоянію Кальвина, и былъ сожженъ.

Стр. 450. Франсуа-Жозефъ-Викторъ Бруссэ (1772—1838), французскій медикъ, основатель системы леченія посредствомъ усиленныхъ кровопусканій (бруссеизмъ).

Стр. 457. Бланки, Луп-Огюстъ, извѣстный французскій революціонеръ (1805—1881), почти половину своей жизни просидѣвшій въ тюрьмахъ за свою агитаторскую дѣятельность.—Другой видный франц. революціонеръ 1848 г. былъ Арманъ Барбесъ (1810—1870). «Барбесовское дѣло», о которомъ здѣсь говорится, была предпринятая Барбесомъ попытка восстанія, 12 мая 1839 г., за что онъ былъ приговоренъ сперва къ смерти, а затѣмъ къ пожизненному тюремному заключенію.

Стр. 459. «Chevalier de la maison rouge»—историческій романъ Ал. Домюотна изъ эпохи первой французской революціи. — «Мониторъ»—официальная газета французскаго правительства (съ 1793 по 1871 г.).

Стр. 460. Принцъ (правильнѣе: князь) Бенеventскій, титулъ, пожалованный Наполеономъ I его министру иностранныхъ дѣлъ Талейрану, который во время революціи отрекся отъ католицизма, а при имперіи снова къ нему вернулся.

Стр. 461. Жакъ-Луи-Давидъ (1748—1825), славившійся въ свое время французскій живописецъ, бывший главой классической школы въ живописи. Во время революціи онъ былъ приверженцемъ Марата и Робеспьера, что не помѣшало ему при имперіи Наполеона I превратиться въ придворнаго живописца и получить баронскій титулъ. При реставраціи былъ изгнанъ изъ Франціи Лучшія его картины: «Смерть Марата», «Клятва Горациевъ», «Велизарій» и др.

Стр. 463. Робертъ Макеръ—типъ мошенника, выведеннаго на парижскую сцену.

Стр. 463. Дени-Огюстъ Аффрѣ состоялъ съ 1840 г. парижскимъ архиепископомъ. Убитъ во время іюньскаго восстанія 1848 г., взойдя для умиротворенія народа на баррикады.

Стр. 465. Одилоу Барро (1791—1873) политическій дѣятель, бывший министромъ при Луи-Филиппѣ и Наполеонѣ III. Былъ либераломъ при Луи-Филиппѣ, но при республикѣ и второй имперіи сталъ реакціонеромъ.

Стр. 467. Въ драмѣ Виктора Гюго «Лукренія Борджиа» есть аналогичная сцена, на что и сдѣлано здѣсь указаніе.

Стр. 467. Арманъ Марастъ (1800—1852) былъ въ 40-хъ годахъ публицистомъ и, избранный въ 1848 г. въ члены временнаго правительства французской республики, явился представителемъ буржуазныхъ интересовъ. Былъ председателемъ учредительнаго собранія и участвовалъ въ составленіи республиканской конституціи. Остался извѣстенъ своими интригами противъ чистыхъ республиканцевъ.

Стр. 470. Маркъ Косидьеръ (1809—1861), французскій политическій дѣятель, участвовавшій въ 30-хъ и 40-хъ годахъ во всѣхъ республиканскихъ говорахъ и возстаніяхъ въ Парижѣ, а 24 февраля 1848 г. сталъ префектомъ полиціи въ Парижѣ. Впослѣдствіи бѣжалъ въ Англію и издалъ свои мемуары.

Стр. 476. Помѣщаемый здѣсь отрывокъ напечатанъ впервые Т. П. Пассекъ въ ея воспоминавіяхъ «Изъ дальнихъ лѣтъ», т. II, стр. 71. Этотъ отрывокъ представляетъ собою первую половину 2-ой сцены «Лиціи» по сценарію Герцена, помѣщенному выше. «Лиціи» былъ написанъ во Влади-

миръ въ концѣ 1838 и началъ 1839 г.—написанъ пятистопными ямбами, и, вѣроятно уже поодино, по возвращеніи въ Москву, переложень въ прозу—согласно шутивому совѣту Бѣлинскаго, какъ объ этомъ разсказываетъ Герценъ («Былое и Думы», т. I, гл. 16).

Стр. 485. Посвященіе «Маріи Р.» относится къ Маріи Каспаровнѣ Рейхель, урожденной Эрнъ, съ которою Герценъ подружился еще въ Вяткѣ, во время своей ссылки 30-хъ годовъ, и которая впослѣдствіи, ставъ близкимъ другомъ не только Герцена, но и его жены, вмѣстѣ съ ними уѣхала за границу въ 1847 году. Она часто фигурируетъ въ перепискѣ Герцена и его свѣты (VII томъ).

Стр. 486. Тетрадь воспоминаній Герцена, о пропажѣ которой онъ здѣсь сожалѣетъ и въ которой описана его поездка съ друзьями въ подмосковное имѣніе кн. Юсупова—Архангельское—впослѣдствіи нашлась и была напечатана Т. П. Пассекъ въ I томѣ ея воспоминаній (см. прим. къ стр. 271), откуда и воспроизведена въ настоящемъ томѣ на стр. 281—291.

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА.

ТОМЪ II.



А. И. Герценъ.

(Съ фотографіи Левицкаго, 1861 г.).

СОЧИНЕНІЯ
А. И. ГЕРЦЕНА

и

Переписка съ Н. А. Захарьиной.

~~~~~  
ВЪ СЕМИ ТОМАХЪ.  
~~~~~

Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя).

—
Томъ II.

—
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Ф. Павленкова.
1905.

Типографія М. Меркушева, Невскій, 8.

Оглавленіе II-го тома.

Былое и Думы.

	стр.
Посвященіе Н. П. Огареву	2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Дѣтская и Университетъ.

Глава I. Моя нянюшка и <i>La grande armée</i> . — Пожаръ Москвы. — Мой отецъ у Наполеона. — Генераль Иловайскій. — Путешествіе съ французскими плѣнниками. — Патриотизмъ К. Кало. — Общее управленіе имѣніемъ. — Раздѣлъ. — Сенаторъ	7
Глава II. Разговоръ нянюшекъ и бесѣда генераловъ. — Ложное положеніе. — Русскіе энциклопедисты. — Скука. — Дѣвичья и передняя. — Два нѣмца. — Ученье и чтенье. — Катехизисъ и Евангеліе.	21
Глава III. Смерть Александра I и 14 декабря. — Нравственное пробужденіе. — Террористъ Бушо. — Корчевская кузина. — Н. Огаревъ	41
Глава IV. Никъ и Воробьевы горы	55
Глава V. Подробности домашняго житья. — Люди XVIII вѣка въ Россіи. — День у насъ въ домѣ. — Гости и <i>habitués</i> . — Зоненбергъ. — Камердинеръ и пр.	62
> Глава VI. Кремлевская экспедиція. — Московскій Университетъ. — Химикъ. — Мы. — Маловская исторія. — Холера. — Филаретъ. — В. Пассекъ. — Генераль Лисовскій. — Н. А. Полевой	77
> Глава VII. Конецъ курса. — Шиллеровскій періодъ. Молодая юность и артистическая жизнь. — С. симонизмъ и Н. Полевой.	110
Прибавленіе: А. Полежаевъ	122

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Тюрьма и Ссылка.

Глава VIII. Пророчество.—Арестъ Огарева.— Пожаръ.— Московскій либераль.—М. Ѳ. Орловъ.—Кладбище	126
Глава IX. Арестъ.—Добросовѣстный.—Канцелярія пречистенскаго частнаго дома.—Патріархальный судъ	133
Глава X. Подъ каланчей.—Лиссабонскій квартальный.— Зажигатели	138
Глава XI. Крутицкія казармы.—Жандармскія повѣствованія.—Офицеры	145
Глава XII. Слѣдствіе. Г. sen.—Г. jun.—Генераль Стааль. Сентенція.—Соколовскій	152
Глава XIII. Ссылка.—Городничій.—Волга.—Пермь	163
Глава XIV. Вятка.—Канцелярія и столовая его превосходительства.—К. Я. Тюфяевъ	174
Глава XV. Чиновники.—Сибирскіе генераль-губернаторы.— Хищный полицмейстеръ.— Ручной судья.— Жареный исправникъ.— Татаринъ.—Мальчикъ женскаго пола.—Картофельный терроръ и проч. . .	188
Глава XVI. Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ	208
Глава XVII. Наслѣдникъ въ Вяткѣ.—Паденіе Тюфяева.—Переводъ во Владиміръ.—Исправникъ на слѣдствіи	219
Глава XVIII. Начало Владимірской жизни	226

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Владиміръ на Клязьмѣ.

Глава XIX. Княгиня и княжна	234
Глава XX. Сирота	241
Глава XXI. Разлука	253
Глава XXII. Въ Москвѣ безъ меня	267
Глава XXIII. Третье марта и девятое мая 1838 года	275
Глава XXIV. 13 іюня 1839 года	292

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Москва, Петербургъ и Новгородъ.

Глава XXV. Диссонансъ. —Новый кругъ.—Отчаянный гегелизмъ.— В. Бѣлинскій, М. Бакунинъ и пр.—Ссора съ Бѣлинскимъ и мирь.—Новгородскіе споры съ дамой.—Кругъ Станкевича	303
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Глава XXVI. Предостереженія.—Герольдія.—Канцелярія министра.— III Отдѣленіе.—Исторія будочника.—Генераль Дуббельтъ.—Графъ Бен- кендорфъ.—Ольга Александровна Жеребцова.—Вторая ссылка	334
Глава XXVII. Губернское правленіе.—Я у себя подъ надзоромъ.— Отечская власть помѣщиковъ и помѣщицъ.—Каннибальское слѣд- ствіе.—Отставка	357
Глава XXVIII. Grübelel.—Москва послѣ ссылки.—Покровское.— Смерть Матвѣя.—Іерей Іоаннъ	366
> Глава XXIX. Наши.	
I. Московскій кругъ.—Застольная бесѣда.—Западники (Вот- кинъ, Рѣдкинъ, Крюковъ, Е. К....)	379
II. На могилѣ друга	388
> Глава XXX. Не наши.	
Славянофилы и панславизмъ.—Хомяковъ, Кирѣевскіе, К. Акса- ковъ.—П. Я. Чаадаевъ	398
Глава XXXI. Кончина моего отца.—Наслѣдство.—Дѣлежъ.—Два пле- мянника	429
Глава XXXII. Послѣдняя повѣдка въ Соколово.—Теоретическій раз- рывъ.—Натянутое положеніе.—Dahin! Dahin!	453
Глава XXXIII. Частный приставъ въ должности камердинера.— Оберъ-полицмейстеръ Кокоскинъ.—„Безпорядокъ въ порядкѣ“.—Еще разъ Дуббельтъ.—Паспортъ	461

Прибавленіе къ „Былое и Думы“.

Н. Х. К.	470
Базиль и Армансъ	496
Примѣчанія	503

БЫЛОЕ И ДУМЫ.

Н. П. Огареву.

Въ этой книгѣ всего больше говорится о двухъ личностяхъ. Одной уже нѣтъ, — ты еще остался, а потому тебѣ, другъ, по праву принадлежитъ она.

Искандеръ.

1 июля, 1860 г.

Eagle's Nest, Bournemouth.

Многіе изъ друзей совѣтовали мнѣ начать полное изданіе *Былого и Думъ*, и въ этомъ затрудненія нѣтъ, по крайней мѣрѣ, относительно двухъ первыхъ частей. Но они говорятъ, что отрывки, помѣщенные въ *Полярной Звѣздѣ*, рапсодичны, не имѣютъ единства, прерываются случайно, забѣгаютъ иногда, иногда отстаютъ. Я чувствую, что это правда; но поправить не могу. Сдѣлать дополненія, привести главы въ хронологическій порядокъ—дѣло не трудное; но все переплавить, d'un jet, я не берусь.

Былое и Думы не были писаны подъ рядъ; между иными главами лежатъ цѣлые годы. Оттого на всемъ остался оттѣнокъ своего времени и разныхъ настроеній,—мнѣ бы не хотѣлось стертъ его.

Это не столько *записки*, сколько *исповѣдь*, около которой, по поводу которой собрались тамъ-сямъ схваченныя воспоминанія изъ *былого*, тамъ-сямъ остановленныя мысли изъ *думъ*. Впрочемъ, въ совокупности этихъ пристроекъ, надстроекъ, флигелей *единство есть*, по крайней мѣрѣ, мнѣ такъ кажется.

Записки эти не первый опытъ. Мнѣ было лѣтъ двадцать пять, когда я начиналъ писать что-то въ родѣ воспоминаній. Случилось это такъ. Переведенный изъ Вятки во Владимірѣ, я ужасно скучалъ. Остановка передъ Москвой дразнила меня, оскорбляла; я былъ въ положеніи человѣка, сидящаго на послѣдней станціи безъ лошадей!

Въ сущности, это былъ чуть-ли не самый «чистый, самый серьезный періодъ оканчивавшейся юности» ¹⁾. И скучаль-то я тогда свѣтло и счастливо, какъ дѣти скучаютъ наканунѣ праздника или дня рожденія. Всякій день приходили письма, писанныя мелкимъ шрифтомъ: я былъ гордъ и счастливъ ими, я ими росъ. Тѣмъ не менѣе разлука мучила, и я не зналъ за что приняться, чтобъ поскорѣе протолкнуть эту *вѣчность*—какихъ-нибудь *четыре*хъ мѣсяцевъ... Я послушался даннаго мнѣ совѣта и

¹⁾ См. «Тюрьма и Ссылка».

сталь на досугѣ записывать мои воспоминанія о Крутицахъ, о Вяткѣ. Три тетрадки были написаны... потомъ прошедшее потонуло въ свѣтѣ настоящаго.

Въ 1840 Бѣлинскій прочелъ ихъ; онѣ ему понравились, и онѣ напечаталъ двѣ тетрадки въ *Отечественныхъ Запискахъ* (первую и третью); остальная и теперь должна валяться гдѣ нибудь въ нашемъ московскомъ домѣ, если не пошла на подтопки.

Прошло *пятнадцать лѣтъ* ¹⁾, «я жилъ въ одномъ изъ лондонскихъ захолустій, близъ Примрозъ - Гиля, отдѣленный отъ всего міра далью, туманомъ и своей волей.

«Въ Лондонѣ не было ни одного близкаго мнѣ человѣка. Были люди, которыхъ я уважалъ, которые уважали меня, но близкаго никого. Всѣ, подходившіе, отходившіе, встрѣчавшіеся, занимались одними общими интересами, дѣлами всего человѣчества, по крайней мѣрѣ, дѣлами цѣлаго народа; знакомства ихъ были, такъ сказать, безличныя. Мѣсяцы проходили, и ни одного слова о томъ, о чемъ хотѣлось поговорить.

... «А между тѣмъ, я тогда едва начиналъ приходить въ себя, оправляться послѣ ряда страшныхъ событій, несчастій, ошибокъ. Исторія послѣднихъ годовъ моей жизни представлялась мнѣ яснѣе и яснѣе, и я съ ужасомъ видѣлъ, что ни одинъ человѣкъ, кромѣ меня, не знаетъ ея и что съ моей смертью умретъ истина.

«Я рѣшился писать; но одно воспоминаніе вызывало сотни другихъ, все старое, полузабытое воскресало: отроческія мечты, юношескія надежды, удачъ молодости, тюрьма и ссылка,—эти раннія несчастія, не оставившія никакой горечи на душѣ, пронесшіяся какъ вѣшнія грозы, освѣжая и укрѣпляя своими ударами молодую жизнь» ²⁾.

... Этотъ разъ я писалъ не для того, чтобы выиграть время,—торопиться было некуда.

Когда я начиналъ новый трудъ, я совершенно не помнилъ о существованіи *Записокъ одного молодого человека*, и какъ-то случайно попалъ на нихъ въ British Museum'ѣ, перебирая русскіе журналы. Я велѣлъ ихъ списать и перечиталъ. Чувство, возбу-

¹⁾ Введеніе къ «Тюрьмѣ и Ссылкѣ», писанное въ маѣ 1854 г.

²⁾ Послѣ этого введеніе къ первому изданію «Тюрьма и Ссылка» заканчивалось такъ:

«Я не имѣлъ силы отогнать эти тѣни,—пусть онѣ, свѣтлыми снѣгами, думалось мнѣ, встрѣчаютъ въ книгѣ, какъ было на самомъ дѣлѣ.

«И я сталь писать сначала; пока я писалъ двѣ первыя части, прошли нѣсколько мѣсяцевъ поспокойнѣе...

«Цѣпкая живучесть человѣка всего болѣе видна въ невѣроятной силѣ разсѣянія и себя-оглушенія. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично; человѣкъ разсѣивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственномъ кладбищѣ... Лондонъ, 1 мая 1854 г.

Прим. изом

жденное ими, было странно: я такъ ощутительно увидѣлъ, насколько я состарѣлся въ эти пятнадцать лѣтъ, что на первое время это потрясло меня. Я игралъ еще тогда жизнью и самимъ счастьемъ, какъ будто ему и конца не было. Тонъ *Записокъ одного молодого человѣка* до того былъ розенъ, что я не могъ ничего взять изъ нихъ; онѣ принадлежатъ молодому времени, онѣ должны остаться сами по себѣ. Ихъ утреннее освѣщеніе неидетъ къ моему вечернему труду. Въ нихъ много истиннаго, но много также и шалости; сверхъ того, на нихъ остался очевидный для меня слѣдъ Гейне, котораго я съ увлеченіемъ читалъ въ Вяткѣ. На *Быломъ и Думахъ* видны слѣды жизни и больше никакихъ слѣдовъ не видать.

Мой трудъ двигался медленно... Много надобно времени для того, чтобы *иня* была отстоялась въ прозрачную думу—неутѣшительную, грустную, но примиряющую пониманіемъ. Безъ этого можетъ быть искренность, но не можетъ быть *истины!*

Нѣсколько опытовъ мнѣ не удались,—я ихъ бросилъ. Наконецъ, перечитывая нынѣшнимъ лѣтомъ одному изъ друзей юности мои послѣднія тетради, я самъ *узналъ знакомыя* черты, и остановился... Трудъ мой былъ конченъ.

Очень можетъ быть, что я далеко перецѣнилъ его, что въ этихъ едва обозначенныхъ очеркахъ схоронено такъ много *только для меня одного*; можетъ, я гораздо больше читаю, чѣмъ написано; сказанное будить во мнѣ сны, служить іероглифомъ, къ которому у меня есть ключъ. Можетъ, я одинъ слышу, какъ подъ этими строками бьются духи... можетъ, но оттого книга эта мнѣ не меньше дорога. Она долго замѣняла мнѣ и людей, и утраченное. Пришло время и съ нею разстаться.

Все личное быстро осыпается, этому обнищанію надо покориться. Это не отчаяніе, не старчество, не холодъ и не равнодушіе; это—сѣдая юность, одна изъ формъ выздоровленія, или лучше, самый процессъ его. Человѣчески переживать иныя раны можно только этимъ путемъ.

Въ монахѣ, какихъ бы лѣтъ онъ ни былъ, постоянно встрѣчается и старецъ и юноша. Онъ похоронами всего личнаго возвратился къ юности. Ему стало легко, широко... иногда слишкомъ широко... Дѣйствительно, человѣку бываетъ подъ-часъ пусто, сиротливо между безличными всеобщностями, историческими стихіями и образами будущаго, проходящими по ихъ поверхности, какъ облачныя тѣни. Но что же изъ этого? Людямъ хотѣлось бы все сохранить: и розы, и снѣгъ; имъ хотѣлось бы, чтобъ около спѣлыхъ гроздьевъ винограда вились майскіе цвѣты! Монахи спасались отъ минутъ ропота молитвой. У насъ нѣтъ молитвы: у насъ есть *трудъ*. Трудъ наша молитва. Быть можетъ,

что *плодъ того и другого* будетъ одинакій, но на сію минуту не объ этомъ рѣчь.

Да, въ жизни есть пристрастіе къ возвращающемуся ритму, къ повторенію мотива; кто не знаетъ, какъ старчество близко къ дѣтству? Вглядитесь, и вы увидите, что по обѣ стороны полнаго разгара жизни, съ ея вѣнками изъ цвѣтовъ и терній, съ ея колыбелями и гробами, часто повторяются эпохи, сходныя въ главныхъ чертахъ. Чего юность *еще* не имѣла, то *уже* утрачено; о чемъ юность мечтала безъ личныхъ видовъ, выходитъ свѣтлѣе, спокойнѣе и также безъ личныхъ видовъ изъ-за тучъ и зарева.

... Когда я думаю о томъ, какъ мы двое теперь, подь *пятьдесятъ лѣтъ*, стоимъ за первымъ станкомъ русскаго вольнаго слова, мнѣ кажется, что наше ребячье *Грютли* на Воробьевыхъ горахъ было не *тридцать три* года тому назадъ, а много три!

Жизнь... жизни, народы, революціи, любимѣйшія головы возникли, мѣнялись и исчезали между Воробьевыми горами и Примрозъ-Гилемъ; слѣдъ ихъ уже почти заметенъ безощаднымъ вихремъ событій. Все измѣнилось вокругъ: Темза течетъ вмѣсто Москвы-рѣки и чужое племя около... и нѣтъ намъ больше дороги на родину... одна мечта двухъ мальчиковъ, одного 13 лѣтъ, другого 14—уцѣлѣла!

Пусть-же *Былое и Думы* заключатъ счетъ съ личною жизнью и будутъ ея оглавленіемъ. Остальныя *думы*—на дѣло, остальныя *силы*—на борьбу.

Таковъ остался нашъ союзъ...
Опять одни мы въ грустный путь поидемъ,
Объ истинѣ глася неутомимо—
И пусть мечты и люди идутъ мимо!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ДѢТСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТЪ.

(1812—1834).

Когда мы въ памяти своей
Проходимъ прежнюю дорогу,
Въ душѣ всѣ чувства прежнихъ дней
Вновь оживаютъ понемногу,
И грусть и радость тѣ же въ ней,
И знаетъ ту жъ она тревогу,
И такъ же вновь тѣснится грудь,
И такъ же хочется вздохнуть.

Н. Огаревъ (Юморъ).

ГЛАВА I.

Моя нянюшка и La grande armée. — Пожаръ Москвы. — Мой отецъ у Наполеона. — Генераль Пловайскій. — Путешествіе съ французскими плѣнниками. — Патриотизмъ К. Кало. — Общес управление имѣніемъ. — Раздѣлъ. — Сенаторъ.

...«Вѣра Артамоновна, ну, расскажите мнѣ еще разокъ, какъ французы приходили въ Москву», говаривалъ я, потягиваясь на своей кроваткѣ, обшитой холстиной, чтобъ я не вывалился, и завертываясь въ стѣганое одѣяло.

— И! что это за рассказы, ужъ столько разъ слышали, да и почивать пора, лучше завтра пораньше встанете, отвѣчала обыкновенно старушка, которой столько же хотѣлось повторить свой любимый рассказъ, сколько мнѣ его слушать.

«Да вы немножко расскажите, ну, какъ же вы узнали, ну, съ чего же началось?»

— Такъ и началось. Папенька-то вашъ, знаете какой, все въ долгой ящикъ откладываетъ; собирался, собирался, да вотъ и собрался! Всѣ говорили пора ѣхать, чего ждать, почитай въ городъ никого не оставалось. Нѣтъ, все съ Павломъ Ивановичемъ ¹⁾ пере-

¹⁾ Голохвастовъ, мужъ меньшей сестры моего отца.

говариваютъ, какъ вмѣстѣ ѣхать, то тотъ не готовъ, то другой. Наконецъ — таки мы уложились и коляска была готова; господа сѣли завтракать, вдругъ нашъ кухмистръ взошелъ въ столовую такой блѣдный, да и докладываетъ: «непріятель въ Драгомировскую заставу вступилъ», такъ у насъ у всѣхъ сердце и опустилось, сила, молъ, крестная съ нами! Все переполошилось; пока мы суетились, да ахали, смотримъ — а по улицѣ скачутъ драгуны въ такихъ каскахъ и съ лошадинымъ хвостомъ сзади. Заставы всѣ заперли, вотъ вашъ папенька и остался у праздника, да и вы съ нимъ; васъ кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, такіе были щедушные, да слабые.

И я съ гордостью улыбался, довольный, что принималъ участіе въ войнѣ:

— Сначала еще шло кое-какъ, первые дни, то-есть, ну такъ бывало взойдутъ два-три солдата и показываютъ, нѣтъ ли выпить; поднесемъ имъ по рюмочкѣ, какъ слѣдуетъ, они и уйдутъ, да еще сдѣлаютъ подъ козырекъ. А тутъ видите, какъ пошли пожары, все больше да больше, сдѣлалась такая неурядица, грабежъ пошелъ и всякіе ужасы. Мы тогда жили во флигелѣ у княжны, домъ загорѣлся; вотъ Павелъ Ивановичъ говоритъ, пойдемте ко мнѣ, мой домъ каменный, стоитъ глубоко на дворѣ, стѣны капитальныя; пошли мы, и господа и люди, всѣ вмѣстѣ, тутъ не было разбора; выходимъ на Тверской бульваръ, а ужъ и деревья начинаютъ горѣть; добрались мы, наконецъ, до Голохвастовскаго дома, а онъ такъ и пышитъ, огонь изъ всѣхъ оконъ. Павелъ Ивановичъ остолбенѣлъ, глазамъ не вѣрить. За домомъ, знаете, большой садъ, мы туда, думаемъ, тамъ останемся сохранны; сѣли пригорюнившись на скамеечкахъ, вдругъ откуда ни возьмись ватага солдатъ, претпьяныхъ, одинъ бросился съ Павла Ивановича дорожный тулупчикъ скидывать; старикъ не даетъ, солдатъ выхватилъ тесакъ да по лицу его и хватъ, такъ у нихъ до кончины шрамъ и остался; другіе принялись за насъ, одинъ солдатъ вырвалъ васъ у кормилицы, развернулъ пеленки, нѣтъ ли де какихъ ассигнацій или брильянтовъ, видить, что ничего нѣтъ, такъ нарочно озорникъ изодралъ пеленки да и бросилъ. Только они ушли, случилась вотъ какая бѣда. Помните нашего Платона, что въ солдаты отдал, онъ сильно любилъ выпить и былъ онъ въ этотъ день очень въ куражѣ; повязалъ себѣ саблю, такъ и ходилъ. Графъ Растопчинъ всѣмъ раздавалъ въ арсеналѣ за день до вступленія непріятеля всякое оружіе, вотъ и онъ промыслилъ себѣ саблю. Подъ вечеръ видить онъ, что драгунъ верхомъ вѣхалъ на дворъ: возлѣ конюшни стояла лошадь, драгунъ хотѣлъ ее взять съ собой, но только Платонъ стремглавъ бросился къ нему и, уцѣпившись за поводья, сказалъ: «Лошадь наша, я тебѣ ее не дамъ». Драгунъ погрозилъ

ему пистолетомъ, да видно онъ не былъ заряженъ; баринъ самъ видѣлъ и закричалъ ему: «Оставь лошадь, не твое дѣло». Куда ты! Платонъ выхватилъ саблю, да какъ хватить его по головѣ, драгунъ-то и покачнулся, а онъ его еще, да еще. Ну, думаемъ мы, теперь пришла наша смерть, какъ увидятъ его товарищи, тутъ намъ и конецъ. А Платонъ-то, какъ драгунъ свалился, схватилъ его за ноги и стащилъ въ творило, такъ его и бросилъ бѣдняжку, а еще онъ былъ живъ; лошадь его стоитъ, ни съ мѣста, и бьетъ ногой землю, словно понимаетъ; наши люди заперли ее въ конюшню, должно быть она тамъ сгорѣла. Мы всѣ скорѣй со двора долой, пожаръ-то все страшнѣе и страшнѣе; измученные, не ѣвши, взшли мы въ какой-то уцѣлѣвшій домъ, и бросились отдохнуть; не прошло часу, наши люди съ улицы кричатъ: «Выходите, выходите, огонь, огонь!»—тутъ я взяла кусокъ равендюка съ бильярда и завернула васъ отъ ночного вѣтра; добрались мы такъ до Тверской площади, тутъ французы тушили, потому что ихъ набольшой жилъ въ губернаторскомъ домѣ; сѣли мы такъ просто на улицѣ, караульные вездѣ ходятъ, другіе верховые ѣздятъ. А вы-то кричите, надсаждаетесь; у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлѣба. Съ нами была тогда Наталья Константиновна, знаете бой-дѣвка; она увидѣла, что въ углу солдаты что-то ѣдятъ, взяла васъ и прямо къ нимъ, показываетъ: маленькому, моль, *манже*; они сначала посмотрѣли на нее такъ сурово да и говорятъ *але, але*; а она ихъ ругать, экіе моль окаянные, такіе сякіе; солдаты ничего не поняли, а таки вспрыснули со смѣха и дали ей для васъ хлѣба моченаго съ водой и ей дали краюшку. Утромъ рано подходитъ офицеръ и всѣхъ мужчинъ забралъ, и вашего папеньку тоже, оставилъ однѣхъ женщинъ, да раненаго Павла Ивановича, и повелъ ихъ тушить окольные дома, такъ до самаго вечера пробыли мы одни; сидимъ и плачемъ, да и только. Въ сумерки приходитъ баринъ и съ нимъ какой-то офицеръ...

Позвольте мнѣ смѣнить старушку и продолжать ея разсказъ. Мой отецъ, окончивъ свою брендъ-маіорскую должность, встрѣтилъ у Страстного монастыря эскадронъ итальянской конницы, онъ подошелъ къ ихъ начальнику и разсказалъ ему по-итальянски, въ какомъ положеніи находится семья. Итальянецъ, услышавъ *la sua dolce favella*, обѣщалъ переговорить съ герцогомъ Тревизскимъ и предварительно поставить часового въ предупрежденіе дикихъ сценъ въ родѣ той, которая была въ саду Голохвостова. Съ этимъ приказаніемъ онъ отправилъ офицера съ моимъ отцомъ. Услышавъ, что вся компанія второй день ничего не ѣла, офицеръ повелъ всѣхъ въ разбитую лавку; цвѣточный чай и леванскій кофе были выброшены на полъ, вмѣстѣ съ большимъ количествомъ финиковъ, винныхъ ягодъ, миндаля; люди наши набили себѣ ими

карманы; въ десертѣ недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезенъ: десять разъ ватаги солдатъ придирались къ несчастной кучкѣ женщинъ и людей, расположившихся на кочевье въ углу Тверской площади, но тотчасъ уходили по его приказу.

Мортъ вспомнилъ, что онъ зналъ моего отца въ Парижѣ, и доложилъ Наполеону; Наполеонъ велѣлъ на другое утро представить его себѣ. Въ синемъ поношенномъ полуфракѣ съ бронзовыми пуговицами, назначенномъ для охоты, безъ парика, въ сапогахъ нѣсколько дней нечищенныхъ, въ черномъ бѣльѣ и съ небритой бородой, мой отецъ—поклонникъ приличій и строжайшаго этикета—явился въ тронную залу Кремлевскаго дворца по зову императора французовъ.

Разговоръ ихъ, который я столько разъ слышалъ, довольно вѣрно переданъ въ исторіи барона Фенъ и въ исторіи Михайловскаго-Данилевскаго.

Послѣ обыкновенныхъ фразъ, отрывистыхъ словъ и лаконическихкихъ отмітокъ, которымъ лѣтъ тридцать пять приписывали глубокой смыслъ, пока не догадались, что смыслъ ихъ очень часто былъ пошлъ, Наполеонъ разбралилъ Растопчина за пожаръ, говорилъ, что это вандализмъ, увѣрялъ, какъ всегда, въ своей непреодолимой любви къ миру, толковалъ, что его война въ Англіи, а не въ Россіи, хвастался тѣмъ, что поставилъ караулъ къ Воспитательному дому и къ Успенскому собору, жаловался на Александра, говорилъ, что онъ дурно окруженъ, что мирныя расположенія его неизвѣстны императору.

Отецъ мой замѣтилъ, что предложить миръ скорѣе дѣло побѣдителя.

— Я сдѣлалъ, что могъ, и посылалъ къ Кутузову, онъ не вступаетъ ни въ какіе переговоры и не доводитъ до свѣдѣнія государя моихъ предложеній. Хотятъ войны, не моя вина,—будетъ имъ война.

Послѣ всей этой комедіи, отецъ мой попросилъ у него пропускъ для выѣзда изъ Москвы.

— Я пропусковъ не велѣлъ никому давать, зачѣмъ вы ѣдете? чего вы боитесь? я велѣлъ открыть рынки. Императоръ французовъ въ это время, кажется, забылъ, что, сверхъ открытыхъ рынковъ, не мѣшаетъ имѣть покрытый домъ и что жизнь на Тверской площади средь непріятельскихъ солдатъ не изъ самыхъ пріятныхъ.

Отецъ мой замѣтилъ это ему; Наполеонъ подумалъ и вдругъ спросилъ:

— Возьметесь-ли вы доставить императору письмо отъ меня? на этомъ условіи я велю вамъ дать пропускъ со всѣми вашими.

«Я принялъ бы предложеніе в. в., замѣтилъ ему мой отецъ, но мнѣ трудно ручаться».

— Даете-ли вы честное слово, что употребите всѣ средства лично доставить письмо?

«Je m'engage sur mon honneur, Sire».

— Это довольноно. Я пришлю за вами. Имѣете вы въ чемъ-нибудь нужду?

«Въ крышѣ для моего семейства, пока я здѣсь, больше ни въ чемъ»,

— Герцогъ Тревизскій сдѣлаеть, что можетъ.

Мортъе дѣйствительно далъ комнату въ генераль-губернаторскомъ домѣ и велѣлъ насъ снабдить съѣстными припасами; его метръ-д'отель прислалъ даже вина. Такъ прошло нѣсколько дней, послѣ которыхъ, въ четыре часа утра, Мортъе прислалъ за моимъ отцомъ адъютанта и отправилъ его въ Кремль.

Пожаръ достигъ въ эти дни страшныхъ размѣровъ: накалившійся воздухъ, непрозрачный отъ дыма, становился невыносимъ отъ жара. Наполеонъ былъ одѣтъ и ходилъ по комнатѣ, озабоченный, сердитый; онъ начиналъ чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнутъ и что тутъ не отдѣлаешься такою шуткою, какъ въ Египтѣ. Планъ войны былъ нелѣпъ, это знали всѣ, кромѣ Наполеона, Ней и Нарбонъ, Бертье и простые офицеры; на всѣ возраженія онъ отвѣчалъ кабаллистическимъ словомъ: «Москва»; въ Москвѣ догадался и онъ.

Когда мой отецъ взошелъ, Наполеонъ взявъ запечатанное письмо, лежавшее на столѣ, подаль ему и сказалъ, откланиваясь: «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конвертѣ было написано: à mon frère l'empereur Alexandre.

Пропускъ, данный моему отцу, до сихъ поръ цѣлъ; онъ подписанъ герцогомъ Тревизскимъ и внизу скрѣпленъ *московскимъ* оберъ-полиціймейстеромъ Лесепсомъ. Нѣсколько постороннихъ, узнавъ о пропускѣ, присоединились къ намъ, прося моего отца взять ихъ подъ видомъ прислуги или родныхъ. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пѣшкомъ. Нѣсколько уланъ верхами провожали насъ до русскаго арьергарда, въ виду котораго они пожелали счастливаго пути и поскакали назадъ. Черезъ минуту казаки окружили странныхъ выходцевъ и повели въ главную квартиру арьергарда. Тутъ начальствовали Винценгероде и Иловайскій IV.

Винценгероде, узнавъ о письмѣ, объявилъ моему отцу, что онъ его немедленно отправить съ двумя драгунами къ государю въ Петербургъ.

— Что дѣлать съ вашими? спросилъ казацкій генераль Иловайскій; здѣсь оставаться невозможно: они здѣсь не вѣ ружей-

ныхъ выстрѣловъ, и со дня на день можно ждать серьезнаго дѣла. Отецъ мой просилъ, если возможно, доставить насъ въ его ярославское имѣніе, но замѣтилъ при томъ, что у него съ собою нѣтъ ни копейки денегъ.

— Сочтемся послѣ, сказалъ Иловайскій, и будьте покойны, я даю вамъ слово ихъ отправить.

Отца моего повезли на фельдъегерскихъ по тогдашнему фашиннику. Намъ Иловайскій досталъ какую-то старую колымагу и отправилъ до ближняго города съ партией французскихъ плѣнниковъ, подъ прикрытіемъ казаковъ; онъ снабдилъ деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сдѣлалъ все, что могъ въ суетѣ и тревогѣ военнаго времени.

Таково было мое первое путешествіе по Россіи; второе было безъ французскихъ улановъ, безъ уральскихъ казаковъ и военно-плѣнныхъ,—я былъ одинъ и возлѣ меня сидѣлъ пьяный жандармъ.

Отца моего привезли прямо къ Аракчееву и у него въ домѣ задержали. Графъ спросилъ письмо, отецъ мой сказалъ о своемъ честномъ словѣ лично доставить его; графъ обѣщалъ спросить у государя и на другой день письменно сообщилъ, что государь поручилъ ему взять письмо для немедленнаго доставленія. Въ полученіи письма онъ далъ росписку (и она цѣла). Съ мѣсяцъ отецъ мой оставался арестованнымъ въ домѣ Аракчеева; къ нему никого не пускали; одинъ С. С. Шишковъ пріѣзжалъ, по приказанію государя, разспросить о подробностяхъ пожара, вступленія непріятели и о свиданіи съ Наполеономъ; онъ былъ первый очевидецъ, явившійся въ Петербургъ. Наконецъ, Аракчеевъ объявилъ моему отцу, что императоръ велѣлъ его освободить, не ставя ему въ вину, что онъ взялъ пропускъ отъ непріятельскаго начальства, что извинялось крайностью, въ которой онъ находился. Освобождая его, Аракчеевъ велѣлъ немедленно ѣхать изъ Петербурга, не выдавшись ни съ кѣмъ, кромѣ старшаго брата, которому разрѣшено было проститься.

Пріѣхавши въ небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отецъ мой засталъ насъ въ крестьянской избѣ (господскаго дома въ этой деревнѣ не было); я спалъ на лавкѣ подъ окномъ; окно затворялось плохо, снѣгъ, пробиваясь въ щель, заносилъ часть скамьи и лежалъ не таявши на оконницѣ.

Все было въ большомъ смущеніи, особенно моя мать. За нѣсколько дней до пріѣзда моего отца, утромъ староста и нѣсколько дворовыхъ съ поспѣшностью вошли въ избу, гдѣ она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтобъ она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски, она только поняла, что рѣчь шла о Павлѣ Ивановичѣ; она не знала, что думать; ей

приходило въ голову, что его убили или что его хотять убить, и потомъ ее. Она взяла меня на руки и ни живая, ни мертвая, дрожа всѣмъ тѣломъ, пошла за старостой. Голохвостовъ занималъ другую избу, они вошли туда; старикъ лежалъ дѣйствительно мертвый возлѣ стола, за которымъ хотѣлъ бриться; громовой ударъ паралича мгновенно прекратилъ его жизнь.

Можно себѣ представить положеніе моей матери (ей было тогда семнадцать лѣтъ) среди этихъ *полудикихъ* людей съ бородами, одѣтыхъ въ нагольные тулупы, говорящихъ на совершенно незнакомомъ языкѣ, въ небольшой закоптѣлой избѣ, и все это въ ноябрѣ мѣсяцѣ страшной зимы 1812 года. Ея единственная опора былъ Голохвостовъ; она дни, ночи плакала послѣ его смерти. А *дикіе* эти жалѣли ее отъ всей души, со всѣмъ радушіемъ, со всей простотой своей, и староста посылалъ нѣсколько разъ сына въ городъ за изюмомъ, пряниками, яблоками и баранками для нея.

Лѣтъ черезъ пятнадцать, староста еще былъ живъ и иногда прѣзжалъ въ Москву, сѣдой какъ лунь и плѣшивый; моя мать угощала его обыкновенно чаемъ и поминала съ нимъ зиму 1812 года, какъ она его боялась и какъ они, не понимая другъ друга, хлопотали о похоронахъ Павла Ивановича. Старикъ все еще называлъ мою мать, какъ тогда, Юлиза Ивановна—вмѣсто Луиза, и рассказывалъ, какъ я вовсе не боялся его бороды и охотно ходилъ къ нему на руки.

Изъ Ярославской губерніи мы переѣхали въ Тверскую и, наконецъ, черезъ годъ перебрались въ Москву. Къ тѣмъ порамъ воротился изъ Швеціи братъ моего отца, бывший посланникомъ въ Вестфалии и потомъ ѣздившій за чѣмъ-то къ Бернадоту; онъ поселился въ одномъ домѣ съ нами.

Я еще, какъ сквозь сонъ, помню слѣды пожара, оставшіеся до начала двадцатыхъ годовъ, большіе обгорѣлые дома безъ рамъ, безъ крышъ, обвалившіяся стѣны, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и трубъ на нихъ.

Разказы о пожарѣ Москвы, о Бородинскомъ сраженіи, о Березинѣ, о взятіи Парижа, были моею колыбельной пѣснью, дѣтскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отецъ и Вѣра Артамоновна безпрестанно возвращались къ грозному времени, поразившему ихъ такъ недавно, такъ близко и такъ круто. Потомъ возвратившіеся генералы и офицеры стали наѣзжать въ Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой, едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у насъ. Они отдыхали отъ своихъ трудовъ и дѣлъ, рассказывая ихъ. Это было дѣйствительно самое блестящее время петербургскаго періода; сознаніе силы давало новую жизнь, дѣла и заботы, казалось, были отложены

на завтра, на будни, теперь хотѣлось попировать на радостяхъ побѣды.

Тутъ я еще больше наслушался о войнѣ, чѣмъ отъ Вѣры Артамоновны. Я очень любилъ рассказы графа Милорадовича, онъ говорилъ съ чрезвычайною живостью, съ рѣзкой мимикой, съ громкимъ смѣхомъ, и я не разъ засыпалъ подъ нихъ на диванѣ за его спиной.

Разумѣется, что при такой обстановкѣ я былъ отчаянный патриотъ и собирался въ полкъ; но исключительное чувство національности никогда до добра не доводитъ; меня оно довело до слѣдующаго. Между прочими у насъ бывалъ графъ Кенсона, французскій эмигрантъ и генераль-лейтенантъ русской службы. Отчаянный роялистъ, онъ участвовалъ на знаменитомъ праздникѣ, на которомъ королевскіе опричники топтали народную кокарду и гдѣ Марія Антуанета пила на погибель революціи. Графъ Кенсона, худой, стройный, высокій и сѣдой старикъ, былъ типъ учтивости и изящныхъ манеръ. Въ Парижѣ его ждало пѣрство, онъ уже ѣздилъ поздравлять Людовика XVIII съ мѣстомъ и возвратился въ Россію для продажи имѣнья. Надобно было на мою бѣду, чтобъ вѣжливейшій изъ генераловъ всѣхъ русскихъ армій сталъ при мнѣ говорить о войнѣ. «Да, вѣдь вы, стало, сражались противъ насъ?» спросилъ я его пренаивно.—Non, mon petit, non j'étais dans l'armée russe. «Какъ, сказалъ я, вы французъ и были въ нашей арміи, это не можетъ быть!» Отецъ мой строго взглянулъ на меня и замялъ разговоръ. Графъ геройски поправилъ дѣло; онъ сказалъ, обращаясь къ моему отцу, «что ему нравятся такія *патриотическія* чувства». Отцу моему онѣ не понравились, и онъ мнѣ задалъ послѣ его отъѣзда страшную гонку. «Вотъ что значитъ говорить очертя голову обо всемъ, чего ты не понимаешь и не можешь понять: графъ изъ вѣрности *своему* королю служилъ *нашему* императору». Дѣйствительно, я этого не понималъ!

Отецъ мой провелъ лѣтъ двѣнадцать за границей, братъ его еще дольше; они хотѣли устроить какую-то жизнь на иностранный манеръ, безъ большихъ тратъ и съ сохраненіемъ всѣхъ русскихъ удобствъ. Жизнь не устраивалась, оттого-ли что они не умѣли сладить, оттого ли что помѣщичья натура брала верхъ надъ иностранными привычками? Хозяйство было общее, имѣнье нераздѣльное, огромная дворня заселяла нижній этажъ, всѣ условія безпорядка, стало-быть, были налицо.

За мной ходили двѣ нянюшки—одна русская и одна нѣмка; Вѣра Артамоновна и М-ше Прово были очень добрыя женщины, но мнѣ было скучно смотрѣть, какъ онѣ цѣлый день вяжутъ чулокъ и пикируются между собой, а потому при всякомъ удобномъ случаѣ я убѣгалъ на половину Сенатора (бывшаго послан-

ника), къ моему единственному пріятелю, къ его камердинеру Кало.

Добрѣе, кротче, мягче я мало встрѣчалъ людей; совершенно одинокій въ Россіи, разлученный со всѣми своими, плохо говорившій по-русски, онъ имѣлъ женскую привязанность ко мнѣ. Я часы цѣлые проводилъ въ его комнатѣ, докучалъ ему, притѣснялъ его, шалилъ,—онъ все выносилъ съ добродушной улыбкой, вырѣзывалъ мнѣ всякія чудеса изъ картонной бумаги, точилъ разныя бездѣлицы изъ дерева (за то, вѣдь, какъ-же я его и любилъ!). По вечерамъ онъ приносилъ ко мнѣ наверхъ изъ бібліотеки книги съ картинами: пушествіе Гмелина и Паласса и еще толстую книгу «Свѣтъ въ лицахъ», которая мнѣ до того нравилась, что я ее смотрѣлъ до тѣхъ поръ, что даже кожаной переплетъ не вынесъ; Кало часа по два показывалъ мнѣ однѣ и тѣ же изображенія, повторяя тѣ же объясненія въ тысячный разъ.

Передъ днемъ моего рожденія и моихъ именинъ, Кало запирался въ своей комнатѣ, оттуда были слышны разные звуки молотка и другихъ инструментовъ; часто быстрыми шагами проходилъ онъ по коридору, всякій разъ запирая на ключъ свою дверь, то съ кастрюлькой для клея, то съ какими-то завернутыми въ бумагу вещами. Можно себѣ представить, какъ мнѣ хотѣлось знать, что онъ готовитъ; я подсылалъ дворовыхъ мальчиковъ вывѣдать, но Кало держалъ ухо остро. Мы какъ-то открыли на лѣстницѣ небольшое отверстіе, падавшее прямо въ его комнату, но и оно намъ не помогло; видна была верхняя часть окна и портретъ Фридриха II съ огромнымъ носомъ, съ огромной звѣздой и съ видомъ исхудалаго коршуна. Дни за два шумъ переставалъ, комната была отворена,—все въ ней было по старому, кой-гдѣ валялись только обрѣзки золотой и цвѣтной бумаги; я краснѣлъ, снѣдаемый любопытствомъ, но Кало, съ натянуто-серьезнымъ видомъ, не касался щекотливаго предмета.

Въ мученіяхъ доживалъ я до торжественнаго дня; въ пять часовъ утра я уже просыпался и думалъ о приготовленіяхъ Кало: часовъ въ восемь являлся онъ самъ въ бѣломъ галстухѣ, въ бѣломъ жилетѣ, въ синемъ фракѣ и съ пустыми руками.—Когда же это кончится? Не испортилъ-ли онъ? И время шло и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексѣевны Голохвастовой уже приходилъ съ завязанной въ салфеткѣ богатой игрушкой и Сенаторъ уже приносилъ какія-нибудь чудеса, но безпокойное ожиданіе сюрприза мутило радость.

Вдругъ, какъ-нибудь невзначай, послѣ обѣда или послѣ чая, нянюшка говорила мнѣ: «Сойдите на минуточку внизъ, васъ спрашиваетъ одинъ человекъ». Вотъ оно, думалъ я, и опускался, скользя на рукахъ, по поручнямъ лѣстницы. Двери въ залу от-

воряются съ шумомъ, играетъ музыка, транспарантъ съ моимъ вензелемъ горитъ, дворовые мальчики, одѣтые турками, подаютъ мнѣ конфеты, потомъ кукольная комедія или комнатный фейерверкъ. Кало въ поту, суетится, все самъ приводитъ въ движеніе и не меньше меня въ восторгѣ.

Какіе же подарки могли стать рядомъ съ такимъ праздникомъ,—я же никогда не любилъ *вещей*, бугоръ собственности и стяжанія не былъ у меня развитъ ни въ какой возрастъ,—усталь отъ неизвѣстности, множество свѣчекъ, фольги и запахъ пороха! Недоставало, можетъ, одного—товарища, но я все ребячество провель въ одиночествѣ ¹⁾ и, стало, не былъ избалованъ съ этой стороны.

У моего отца былъ еще братъ, старшій обоихъ, съ которымъ онъ и Сенаторъ находились въ открытомъ разрывѣ; несмотря на то, они имѣніемъ управляли вмѣстѣ, т. е. разоряли его сообща. Беспорядокъ тройного управленія при ссорѣ былъ вошющъ. Два брата дѣлали все наперекоръ старшему, онъ имъ. Старосты и крестьяне теряли голову; одинъ требуетъ подводъ, другой сѣна, третій дровъ, каждый распоряжается, каждый посылаетъ своихъ повѣренныхъ. Старшій братъ назначаетъ старосту, — меньшіе смѣняютъ его черезъ мѣсяць, придравшись къ какому-нибудь вздору, и назначаютъ другого, котораго старшій братъ не признаетъ. При этомъ, какъ слѣдуетъ, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты и на днѣ всего бѣдные крестьяне, не находившіе ни расправы, ни защиты, и которыхъ тормозили въ разныя стороны, обременяли двойной работой и неустройствомъ капризныхъ требованій.

Ссора между братьями имѣла первымъ слѣдствіемъ, поразившимъ ихъ,—потерю огромнаго процесса съ графами Девіеръ, въ которомъ они были правы. Имѣя одинъ интересъ, они не могли никогда согласиться въ образѣ дѣйствія; противная партія естественно воспользовалась этимъ. Сверхъ потери большого и прекраснаго имѣнія, сенатъ приговорилъ каждыя изъ братьевъ къ уплатѣ проторей и убытковъ *по тридцати тысячъ* руб. асс. Этотъ урокъ раскрылъ имъ глаза и они рѣшились раздѣлиться. Около года продолжались приуготовительные толки, имѣнье было

¹⁾ Кромѣ меня, у моего отца былъ другой сынъ, лѣтъ десять старше меня. Я его всегда любилъ, но товарищемъ онъ мнѣ не могъ быть. Лѣтъ съ двѣнадцати и до тридцати онъ провель подъ ножомъ хирурговъ. Послѣ ряда истязаній, вынесенныхъ съ чрезвычайнымъ мужествомъ, превративъ цѣлое существованіе въ одну перемежающуюся операцію, доктора объявили его болѣзнь неизлечимой. Здоровье было разрушено; обстоятельства и нравъ способствовали окончательно сломать его жизнь. Страницы, въ которыхъ я говорю о его удивленномъ, печальномъ существованіи, выпущены мной; я ихъ не хочу печатать безъ его согласія.

разбито на три довольно равныя части, судьба должна была рѣшиться, кому какая достанется. Сенаторъ и мой отецъ ѣздили къ брату, котораго не видали нѣсколько лѣтъ, для переговоровъ и примиренія; потомъ разнесся слухъ, что онъ пріѣдетъ къ намъ для окончанія дѣла. Слухъ о пріѣздѣ старшаго брата распространилъ ужасъ и безпокойство въ нашемъ домѣ.

Это было одно изъ тѣхъ оригинально-уродливыхъ существъ, которыя только возможны въ оригинально-уродливой русской жизни. Онъ былъ человѣкъ даровитый отъ природы и всю жизнь дѣлалъ нелѣпости, доходившія часто до преступленій. Онъ получилъ порядочное образованіе на французской манеръ, былъ очень начитанъ,—и проводилъ время въ развратѣ и празднои пустотѣ до самой смерти. Онъ началъ свою службу тоже съ Измайловскаго полка, состоялъ при Потемкинѣ чѣмъ-то въ родѣ адъютанта, потомъ служилъ при какой-то миссіи и, возвратившись въ Петербургъ, былъ сдѣланъ оберъ-прокуроромъ въ синодѣ. Ни дипломатическій кругъ, ни монашескій не могли укротить необузданный характеръ его. За ссоры съ архіереями онъ былъ отставленъ; за пощечину, которую хотѣлъ дать или далъ на официальномъ обѣдѣ у генераль-губернатора какому-то господину, ему былъ воспрещенъ вѣздъ въ Петербургъ. Онъ уѣхалъ въ свое тамбовское имѣнье; тамъ мужики чуть не убили его за волокитство и свирѣпости; онъ былъ обязанъ своему кучеру и лошадямъ спасеніемъ жизни.

Послѣ этого онъ поселился въ Москвѣ. Покинутый всѣми родными и всѣми посторонними, онъ жилъ одинъ одинехонекъ въ своемъ большомъ домѣ на Тверскомъ бульварѣ, притѣснялъ свою дворню и разорялъ мужиковъ. Онъ завелъ большую библіотеку и цѣлую крѣпостную сераль, и то и другое держалъ назаперти. Лишенный всякихъ занятій и скрывая страшное самолюбіе, доходившее до наивности, онъ для разсѣянія скупалъ ненужныя вещи и заводилъ еще болѣе ненужныя тяжбы, которыя велъ съ ожесточеніемъ. *Тридцать* лѣтъ длился у него процессъ объ Ама-тievской скрипкѣ и кончился тѣмъ, что онъ выигралъ ее. Онъ оттягалъ послѣ необычныхъ усилій стѣну, общую двумъ домамъ, отъ обладанія которой онъ ничего не пріобрѣталъ. Будучи въ отставкѣ, онъ, по газетамъ, приравпывая къ себѣ повышение своихъ сослуживцевъ, покуналъ ордена, имъ данные, и клалъ ихъ на столъ, какъ скорбное напоминаніе: чѣмъ и чѣмъ онъ могъ бы быть изукрашенъ!

Братья и сестры его боялись и не имѣли съ нимъ никакихъ сношеній; наши люди обходили его домъ, чтобъ не встрѣтиться съ нимъ, и блѣднѣли при его видѣ; женщины страшились его

наглых преслѣдованій, дворовые служили молебны, чтобъ не достаться ему.

И вотъ этотъ-то страшный человѣкъ долженъ былъ пріѣхать къ намъ. Съ утра во всемъ домѣ было необыкновенное волненіе; я никогда прежде не видалъ этого мнѣческаго «брата - врага», хотя и родился у него въ домѣ, гдѣ жилъ мой отецъ, послѣ пріѣзда изъ чужихъ краевъ; мнѣ очень хотѣлось его посмотреть и въ то же время я боялся, не знаю чего, но очень боялся.

Часа за два передъ нимъ явился старшій племянникъ моего отца, двое близкихъ знакомыхъ и одинъ добрый, толстый и сырой чиновникъ, завѣдывавшій дѣлами. Всѣ сидѣли въ молчаливомъ ожиданіи, вдругъ взмошелъ офиціантъ и какимъ-то не своимъ голосомъ доложилъ: «Братецъ изволили пожаловать». — Приси, сказалъ Сенаторъ съ примѣтнымъ волненіемъ; мой отецъ принялся нюхать табакъ, племянникъ поправилъ галстухъ, чиновникъ повернулся и откашлянулъ. Мнѣ было велѣно идти наверхъ, я остановился, дрожа всѣмъ тѣломъ, въ другой комнатѣ.

Тихо и важно подвигался «братецъ», Сенаторъ и мой отецъ пошли ему навстрѣчу. Онъ несъ съ собою, какъ носятъ на свадьбахъ и похоронахъ, обѣими руками передъ грудью—образъ, и протяжнымъ голосомъ, нѣсколько въ носъ, обратился къ братьямъ съ слѣдующими словами:

— Этимъ образомъ благословилъ меня предъ своей кончиной нашъ родитель, поручая мнѣ и покойному брату Петру печься объ васъ и быть вашимъ отцомъ въ замѣну его... Если-бъ покойный родитель нашъ зналъ ваше поведеніе противъ старшаго брата...

«Ну, mon cher frère, замѣтилъ мой отецъ своимъ изученно безстрастнымъ голосомъ,—хорошо и вы исполнили послѣднюю волю родителя. Лучше было бы забыть эти тяжелыя напоминовенія для васъ, да и для насъ».

— Какъ? что? — закричалъ набожный братецъ. Вы меня за этимъ звали... и такъ бросилъ образъ, что серебряная риза его задребезжала. Тутъ и Сенаторъ закричалъ голосомъ еще страшнѣйшимъ. Я опреметью бросился на верхній этажъ и только успѣлъ видѣть, что чиновникъ и племянникъ, испуганные не меньше меня, ретировались на балконъ.

Что было и какъ было, я не умѣю сказать; испуганные люди забились въ углы, никто ничего не зналъ о происходившемъ, ни Сенаторъ, ни мой отецъ никогда при мнѣ не говорили объ этой сценѣ. Шумъ мало по малу утихъ и раздѣлъ имѣнія былъ сдѣланъ, тогда или въ другой день—не помню.

Отцу моему досталось Васильевское, большое подмосковное имѣнье въ Русскомъ уѣздѣ. На слѣдующій годъ мы жили тамъ

цѣлое лѣто; въ продолженіе этого времени Сенаторъ купилъ себѣ домъ на Арбатѣ; мы пріѣхали одни на нашу большую квартиру, опустѣвшую и мертвую. Вскорѣ потомъ и отецъ мой купилъ тоже домъ въ Старой-Конюшенной.

Съ Сенаторомъ удалялся, во-первыхъ, Кало, а, во-вторыхъ, все живое начало нашего дома. Онъ одинъ мѣшалъ ипохондрическому нраву моего отца взять верхъ, теперь ему была воля вольная. Новый домъ былъ печаленъ, онъ напоминалъ тюрьму или больницу; нижній этажъ былъ со сводами, толстыя стѣны придавали окнамъ видъ крѣпостныхъ амбразуръ, кругомъ дома со всѣхъ сторонъ былъ ненужной величины дворъ.

Въ сущности скорѣе надобно дивиться, какъ Сенаторъ могъ такъ долго жить подъ одной крышей съ моимъ отцомъ, чѣмъ тому, что они разѣхались. Я рѣдко видалъ двухъ человѣкъ болѣе противоположныхъ, какъ они.

Сенаторъ былъ по характеру человѣкъ добрый и любившій разсѣянія; онъ провелъ всю жизнь въ мірѣ, освѣщенномъ лампами, въ мірѣ официально-дипломатическомъ и придворно-служебномъ, не догадываясь, что есть другой міръ посерьезнѣе,—несмотря даже на то, что всѣ событія съ 1789 до 1815 не только прошли возлѣ, но зацѣплялись за него. Графъ Воронцовъ посылалъ его къ лорду Гренвиллю, чтобъ узнать о томъ, что предпринимаетъ генералъ Бонапартъ, оставившій египетскую армію. Онъ былъ въ Парижѣ во время коронаціи Наполеона. Въ 1811 году Наполеонъ велѣлъ его остановить и задержать въ Касселѣ, гдѣ онъ былъ посломъ «при царѣ Ерѣмѣ», какъ выражался мой отецъ въ минуты досады. Словомъ, онъ былъ на лицо при всѣхъ огромныхъ происшествіяхъ послѣдняго времени, но какъ-то странно, не такъ какъ слѣдуетъ.

Лейбъ-гвардіи капитаномъ Измайловскаго полка, онъ находился при миссіи въ Лондонѣ; Павелъ, увидя это въ спискахъ, велѣлъ ему немедленно явиться въ Петербургъ. Дипломатъ-воинъ отправился съ первымъ кораблемъ и явился на разводъ.

— Хочешь оставаться въ Лондонѣ? спросилъ сиплымъ голосомъ Павелъ.

— «Если в. в. угодно будетъ мнѣ позволить», отвѣчалъ капитанъ при посольствѣ.

— Ступай назадъ, не теряя времени, отвѣтилъ Павелъ сиплымъ голосомъ, и онъ отправился, не повидавшись даже съ родными, жившими въ Москвѣ.

Пока дипломатическіе вопросы разрѣшались штыками и картечью, онъ былъ посланникомъ и заключилъ свою дипломатическую карьеру во время Вѣнскаго конгресса, этого свѣтлаго праздника всѣхъ дипломатій. Возвратившись въ Россію, онъ былъ про-

изведенъ въ дѣйствительные камергеры въ Москвѣ, гдѣ нѣтъ двора. Не зная законовъ и русскаго судопроизводства, онъ попалъ въ сенатъ, сдѣлался членомъ опекунскаго совѣта, начальникомъ Марьинской больницы, начальникомъ Александринскаго института, и все исполнялъ съ рвеніемъ, которое врядъ было ли нужно, со строптивостью, которая вредила, съ честностью, которую никто не замѣчалъ.

Онъ никогда не бывалъ дома. Онъ заѣзжалъ въ день двѣ четверки здоровыхъ лошадей, одну утромъ, одну послѣ обѣда. Сверхъ сената, который онъ никогда не забывалъ, опекунскаго совѣта, въ которомъ бывалъ два раза въ недѣлю, сверхъ больницы и института, онъ не пропускалъ почти ни одинъ французскій спектакль и ѣздилъ раза три въ недѣлю въ англійскій клубъ. Скучать ему было некогда, онъ всегда былъ занятъ, разсѣянъ, онъ все ѣхалъ куда-нибудь, и жизнь его легко катилась на ресорахъ по міру обертокъ и переплетовъ.

Зато онъ до семидесяти пяти лѣтъ былъ здоровъ какъ молодой человѣкъ, являлся на всѣхъ большихъ балахъ и обѣдахъ, на всѣхъ торжественныхъ собраніяхъ и годовыхъ актахъ,— все равно какихъ: агромическихъ или медицинскихъ, страхового отъ огня общества или общества естествоиспытателей;... да сверхъ того, за то же, можетъ, сохранилъ до старости долю человѣческаго сердца и нѣкоторую теплоту.

Нельзя ничего себѣ представить больше противоположнаго вѣчно движущемуся, сангвиническому Сенатору, иногда заѣзжавшему домой, какъ моего отца, почти никогда не выходившаго со двора, ненавидѣвшаго весь официальный міръ, вѣчно капризнаго и недовольнаго. У насъ было тоже восемь лошадей (прескверныхъ), но наша конюшня была въ родѣ богоугоднаго заведенія для клячъ; мой отецъ ихъ держалъ отчасти для порядка, и отчасти для того, чтобъ два кучера и два фореитора имѣли какое-нибудь занятіе, сверхъ хожденія за московскими вѣдомостями и пѣтушиныхъ боевъ, которые они завели съ успѣхомъ между каретнымъ сараемъ и сосѣднимъ дворомъ.

Отецъ мой почти совсѣмъ не служилъ; воспитанный французскимъ гувернеромъ въ домѣ набожной и благочестивой тетки, онъ лѣтъ шестнадцати поступилъ въ Измайловскій полкъ сержантомъ; послужилъ до павловскаго воцаренія и вышелъ въ отставку гвардіи капитаномъ; въ 1801 онъ уѣхалъ за границу и прожилъ, скитаясь изъ страны въ страну, до конца 1811 года. Онъ возвратился съ моею матерью за три мѣсяца до моего рожденія и, проживши годъ въ тверскомъ имѣніи послѣ московскаго пожара, переѣхалъ на жительство въ Москву, стараясь какъ можно уединеннѣе и скучнѣе устроить жизнь. Живость брата ему мѣшала.

Послѣ переѣзда Сенатора все въ домѣ стало принимать болѣе и болѣе угрюмый видъ. Стѣны, мебель, слуги, все смотрѣло съ неудовольствіемъ, изъ-подлѣбья; само собою разумѣется, всѣхъ недовольнѣе былъ мой отецъ самъ. Искусственная тишина, шопотъ, осторожные шаги прислуги выражали не вниманіе, а подавленность и страхъ. Въ комнатахъ все было неподвижно, пять, шесть лѣтъ однѣ и тѣ же книги лежали на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ и въ нихъ тѣ же замѣтки. Въ спальнѣ и кабинетѣ моего отца годы цѣлыя не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уѣзжая въ деревню, онъ бралъ ключъ отъ своей комнаты въ карманъ, чтобъ безъ него не вздумали вымыть половъ или почистить стѣнъ.

ГЛАВА II.

Разговоръ нянюшекъ и бесѣда генераловъ. — Ложное положеніе. — Русскіе энциклопедисты. — Скука. — Дѣвчичья и передняя. — Два нѣмца. — Ученье и чтенье. — Катихизисъ и Евангеліе.

Лѣтъ до десяти я не замѣчалъ ничего страннаго, особеннаго въ моемъ положеніи; мнѣ казалось естественно и просто, что я живу въ домѣ моего отца, что у него на половинѣ я держу себя чинно, что у моей матери другая половина, гдѣ я кричу и шалю, сколько душѣ угодно. Сенаторъ баловалъ меня и дарилъ игрушки, Кало носилъ на рукахъ, Вѣра Артамоновна одѣвала меня, клала спать и мыла въ корытѣ, М-те Прово водила гулять и говорила со мной по-нѣмецки; все шло своимъ порядкомъ, а между тѣмъ я началъ призадумываться.

Бѣглыя замѣчанія, неосторожно сказанныя слова стали обращать мое вниманіе. Старушка Прово и вся дворня любили безъ памяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домашнія сцены, возникавшія иногда между ними, служили часто темой разговоровъ М-те Прово съ Вѣрой Артамоновной, бравшихъ всегда сторону моей матери.

Моя мать дѣйствительно имѣла много неприятностей. Женщина чрезвычайно добрая, но безъ твердой воли, она была совершенно подавлена моимъ отцомъ и, какъ всегда бываетъ съ слабыми натурами, дѣлала отчаянную оппозицію въ мелочахъ и бездѣлицахъ. По несчастію именно въ этихъ мелочахъ отецъ мой былъ почти всегда правъ и дѣло оканчивалось его торжествомъ.

— Я право, говаривала напримѣръ М-те Прово, — на мѣстѣ барыни просто взяла бы да и уѣхала въ Штутгартъ; какая отрада — все капризы да неприятности, скука смертная.

— «Разумѣется, добавляла Вѣра Артамоновна, да вотъ что связало по рукамъ и ногамъ, и она указывала спичками чулка на меня.—Взять съ собой—куда? къ чему? покинуть здѣсь одного, съ нашими порядками, это и вчужѣ жалъ!»

Дѣти вообще проникательнѣе, нежели думаютъ, они быстро разсѣиваются, на время забываютъ, что ихъ поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются съ удивительной настойчивостью и ловкостью до истины.

Однажды настороженный, я въ нѣсколько недѣль узналъ всѣ подробности о встрѣчѣ моего отца съ моей матерью, о томъ, какъ она рѣшилась оставить родительскій домъ, какъ была спрятана въ русскомъ посольствѣ въ Касселѣ у Сенатора, и въ мужскомъ платьѣ переѣхала границу; все это я узналъ, ни разу не сдѣлавъ никому ни одного вопроса.

Первое слѣдствіе этихъ открытій было отдаленіе отъ моего отца—за сцены, о которыхъ я говорилъ. Я ихъ видѣлъ и прежде, но мнѣ казалось, что это въ совершенномъ порядкѣ, я такъ привыкъ, что все въ домѣ, не исключая Сенатора, боялось моего отца, что онъ всѣмъ дѣлалъ замѣчанія, что не находилъ этого страннымъ. Теперь я сталъ иначе понимать дѣло, и мысль, что доля всего выносятся за меня, заволакивала иной разъ темнымъ и тяжелымъ облакомъ свѣтлую, дѣтскую фантазію.

Вторая мысль, укоренявшаяся во мнѣ съ того времени, состояла въ томъ, что я гораздо меньше завишу отъ моего отца, нежели вообще дѣти. Эта самобытность, которую я самъ себѣ выдумалъ, мнѣ нравилась.

Года черезъ два или три, разъ вечеромъ сидѣли у моего отца два товарища по полку, П. К. Эссенъ, оренбургскій ген.-губернаторъ, и А. Н. Бахметевъ, бывший намѣстникомъ въ Бессарабіи, генераль, которому подъ Бородинымъ оторвало ногу. Комната моя была возлѣ залы, въ которой они усѣлись. Между прочимъ мой отецъ сказалъ имъ, что онъ говорилъ съ княземъ Юсуповымъ насчетъ опредѣленія меня на службу. «Время терять нечего, прибавилъ онъ,—вы знаете, что ему надобно долго служить для того, чтобы до чего-нибудь дослужиться».

— Что тебѣ, братецъ, за охота, сказалъ добродушно Эссенъ, дѣлать изъ него писаря. Поручи мнѣ это дѣло, я его запишу въ уральскіе казаки, въ офицеры его выведемъ, это главное, потомъ своимъ чередомъ и пойдетъ, какъ мы всѣ.

Мой отецъ не соглашался, говорилъ, что онъ разлюбилъ все военное, что онъ надѣется помѣстить меня современемъ гдѣ-нибудь при миссіи въ теплое краѣ, куда и онъ бы поѣхалъ оканчивать жизнь.

Бахметевъ, мало бравшій участія въ разговорѣ, сказалъ, вставая на своихъ костыляхъ: «Мнѣ кажется, что вамъ слѣдовало бы очень подумать о совѣтѣ Петра Кирилловича. Не хотите записывать въ Оренбургъ, можно и здѣсь записать. Мы съ вами старые друзья, и я привыкъ говорить съ вами откровенно,—штатской службой, университетомъ вы ни *вашему молодому человеку* не сдѣлаете добра, ни пользы для общества. Онъ явнымъ образомъ въ *ложномъ положеніи*, одна военная служба можетъ разомъ раскрыть карьеру и поправить его. Прежде чѣмъ онъ дойдетъ до того, что будетъ командовать ротой, всѣ опасныя мысли улягутся. Военная дисциплина—великая школа, дальнѣйшее зависитъ отъ него. Вы говорите, что онъ имѣетъ способности, да развѣ въ военную службу идутъ одни дураки? А мы-то съ вами, да и весь нашъ кругъ? Одно вы можете возразить, что ему долше надобно служить до офицерскаго чина, да въ этомъ-то именно мы и поможемъ вамъ».

Разговоръ этотъ стоилъ замѣчаній М-те Прово и Вѣры Артамоновны. Мнѣ тогда уже было лѣтъ 13; такіе уроки, переворачиваемые на всѣ стороны, разбираемые недѣли, мѣсяцы въ совершенномъ одиночествѣ, приносили свой плодъ. Результатомъ этого разговора было то, что я, мечтавшій прежде, какъ всѣ дѣти, о военной службѣ и мундирѣ, чуть не плакавшій о томъ, что мой отецъ хотѣлъ изъ меня сдѣлать статскаго, вдругъ охладѣлъ къ военной службѣ и хотя не разомъ, но мало-по-малу искоренилъ до тла любовь и нѣжность къ эполетамъ, аксельбантамъ, лампасамъ. Еще разъ впрочемъ потухающая страсть къ мундиру вспыхнула. Родственникъ нашъ, учившійся въ пансіонѣ въ Москвѣ и приходившій иногда по праздникамъ къ намъ, поступилъ въ Ямбургскій уланскій полкъ. Въ 1825 году онъ пріѣзжалъ юнкеромъ въ Москву и остановился у насъ на нѣсколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидѣлъ со всѣми шнурками и шнурочками, съ саблей и въ четырехугольномъ киверѣ, надѣтомъ немного на бокъ и привязанномъ на шнуркѣ. Онъ былъ лѣтъ семнадцати и небольшого роста. Утромъ на другой день я одѣлся въ его мундиръ, надѣлъ саблю и киверъ и посмотрѣлъ въ зеркало. Боже мой, какъ я казался себѣ хорошъ, въ синемъ куцомъ мундирѣ, съ красными выпушками! А этишкеты, а помпонъ, а ледунка... что съ ними въ сравненіи была камлотовая куртка, которую я носилъ дома, и желтые китайчатые панталоны?

Пріѣздъ родственника потрясъ было дѣйствіе генеральской рѣчи, но вскорѣ обстоятельства снова и окончательно отклонили мой умъ отъ военнаго мундира.

Внутренній результатъ думъ о «ложномъ положеніи» былъ довольно сходенъ съ тѣмъ, который я вывелъ изъ разговоровъ двухъ нянюшекъ. Я чувствовалъ себя свободнѣе отъ общества,

котораго вовсе не зналъ, чувствовалъ, что въ сущности я оставленъ на собственныя своя силы, и съ нѣскольکو дѣтской заносчивостью думалъ, что покажу себя Алексѣю Николаевичу съ товарищами.

При всемъ этомъ можно себя представить, какъ томно и однообразно шло для меня время въ странномъ аббатствѣ родительскаго дома. Не было мнѣ ни поощреній, ни разсѣяній, отецъ мой былъ почти всегда мною недоволенъ, онъ баловалъ меня только лѣтъ до десяти; товарищей не было, учителя приходили и уходили, и я украдкой убѣгалъ, провожая ихъ на дворъ, поиграть съ дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большимъ почернѣлымъ комнатамъ съ закрытыми окнами днемъ, едва освѣщенными вечеромъ, ничего не дѣлая или читая всякую всячину.

Передняя и дѣвичья составляли единственное живое удовольствіе, которое у меня оставалось. Тутъ мнѣ было совершенное раздолье, я бралъ партію однихъ противъ другихъ, судилъ и рядилъ вмѣстѣ съ моими пріятелями ихъ дѣла, зналъ всѣ ихъ секреты и никогда не проболтался въ гостиной о тайнахъ передней.

На этомъ предметѣ нельзя не остановиться. Я, впрочемъ, вовсе не бѣгу отъ отступленій и эпизодовъ, такъ идетъ всякій разговоръ, такъ идетъ самая жизнь.

Дѣти вообще любятъ слугъ; родители запрещаютъ имъ сблизжаться съ ними, особенно въ Россіи; дѣти не слушаютъ ихъ, потому что въ гостиной скучно, а въ дѣвичьей весело. Въ этомъ случаѣ, какъ въ тысячѣ другихъ, родители не знаютъ, что дѣлаютъ. Я никакъ не могу себя представить, чтобъ наша передняя была вреднѣе для дѣтей, чѣмъ наша «чайная» или «диванная». Въ передней дѣти перенимаютъ грубыя выраженія и дурныя манеры, это правда; но въ гостиной они принимаютъ грубыя мысли и дурныя чувства.

Самый приказъ удаляться отъ людей, съ которыми дѣти въ непрерывномъ сношеніи, безнравствененъ.

Много толкуютъ у насъ о глубокомъ развратѣ слугъ, особенно крѣпостныхъ. Они дѣйствительно не отличаются примѣрной строгостью поведенія; нравственное паденіе ихъ видно уже изъ того, что они слишкомъ многое выносятъ, слишкомъ рѣдко возмущаются и даютъ отпоръ. Но не въ этомъ дѣло. Я желалъ бы знать, которое сословіе въ Россіи меньше ихъ развращено? Неужели дворянство, или чиновники? Быть можетъ, духовенство?

Что-же вы смѣтаете?

Развѣ одни крестьяне найдутъ кой-какія права...

Разница между дворянами и дворовыми такъ же мала, какъ между ихъ названіями. Я ненавижу, особенно послѣ бѣды 1848 г., дема-

гогическую лесть толпѣ, но аристократическую клевету на народъ ненавижу еще больше. Представляя слугъ и рабовъ распутными звѣрями, плантаторы отводятъ глаза другимъ и заглушаютъ крики совѣсти въ себѣ. Мы рѣдко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчѣ скрываемъ эгоизмъ и страсти; наши желанія не такъ грубы и не такъ явны, отъ легости удовлетворенія, отъ привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытѣе и вслѣдствіе этого взыскательнѣе. Когда графъ Альмавива исчислилъ севилскому цирюльнику качества, которыя онъ требуетъ отъ слуги, Фигаро замѣтилъ, вздыхая: «Если слугѣ надобно имѣть всѣ эти достоинства, много ли найдется господъ, годныхъ быть лакеями?»

Развратъ въ Россіи вообще не глубокъ, онъ больше дикъ и сальнъ, шуменъ и грубъ, растрепанъ и безстыденъ, чѣмъ глубокъ. Духовенство, запершись дома, пьянствуетъ и обжирается съ купечествомъ. Дворянство пьянствуетъ на бѣломъ свѣтѣ, играетъ на пропалую въ карты, дерется съ слугами, развратничаетъ съ горничными, ведетъ дурно свои дѣла и еще хуже семейную жизнь. Чиновники дѣлаютъ то же, но грязнѣе, да, сверхъ того, подличаютъ передъ начальниками и воруютъ по мелочи. Дворяне собственно меньше воруютъ, они открыто берутъ чужое, впрочемъ, гдѣ случится, похулы на руку не кладутъ.

Всѣ эти милыя слабости встрѣчаются въ формѣ еще грубѣйшей у чиновниковъ, стоящихъ за 14 классомъ, у дворянъ, принадлежащихъ не царю, а помѣщикамъ. Но чѣмъ они хуже другихъ, какъ сословіе,—я не знаю.

Перебирая воспоминанія мои не только о дворовыхъ нашего дома и Сенатора, но о слугахъ двухъ, трехъ близкихъ намъ домовъ въ продолженіе двадцати-пяти лѣтъ, я не помню ничего особенно порочнаго въ ихъ поведеніи. Развѣ придется говорить о небольшихъ кражахъ..., но тутъ понятія такъ сбиты положеніемъ, что трудно судить: *человѣкъ-собственность* не церемонится съ своимъ товарищемъ и поступаетъ за панибрата съ барскимъ добромъ. Справедливѣе слѣдуетъ исключить какихъ-нибудь временщиковъ, фаворитовъ и фаворитокъ, барскихъ барынь, наушниковъ; но, во-первыхъ, они составляютъ исключеніе,—это Перекусихины въ затрапезномъ платьѣ, Помпадуръ на босую ногу; сверхъ того, они-то и ведутъ себя всѣхъ лучше, напиваются только ночью и платья своего не закладываютъ въ питейный домъ.

Простодушный развратъ прочихъ вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой бесѣды и трубки, самовольныхъ отлучекъ изъ дома, ссоръ, иногда доходящихъ до дракъ, плутней съ господами, требующими отъ нихъ нечеловѣческаго и невозможнаго. Разумѣется, отсутствіе, съ одной стороны, всякаго воспита-

ніа, съ другой—крестьянской прѣстоты, при рабствѣ, внесли бездну уродливаго и искаженнаго въ ихъ нравы, но при всемъ этомъ они, какъ негры въ Америкѣ, остались полудѣтьми, бездѣлица ихъ тѣшить, бездѣлица огорчаетъ; желанія ихъ ограничены и скорѣе наивны и человѣчественны, чѣмъ порочны.

Вино и чай, кабакъ и трактиръ, двѣ постоянныя страсти русскаго слуги; для нихъ онъ крадетъ, для нихъ онъ бѣденъ, изъза нихъ онъ выноситъ гоненія, наказанія и покидаетъ семью въ нищетѣ. Ничего нѣтъ легче, какъ, съ высоты трезваго опьяненія патера Метью, осуждать пьянство и, сидя за чайнымъ столомъ, удивляться, для чего слуги ходятъ пить чай въ трактиръ, а не пьютъ его дома, несмотря на то, что дома дешевле.

Вино оглушаетъ человѣка, даетъ возможность забыться, искусственно веселить, раздражаетъ; это оглушеніе и раздраженіе тѣмъ больше нравятся, чѣмъ меньше человѣкъ развитъ и чѣмъ больше сведенъ на узкую, пустую жизнь. Какъ же не пить слугѣ, осужденному на вѣчную переднюю, на всегдашнюю бѣдность, на рабство, на продажу? Онъ пьетъ черезъ край, когда можетъ, потому что не можетъ пить всякій день; это замѣтилъ, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, Сенковскій въ *Библиотеку для Чтенія*. Въ Италіи и южной Франціи нѣтъ пьяницъ, оттого что много вина. Дикое пьянство англійскаго работника объясняется точно такъ же. Эти люди сломились въ безвыходной и неровной борьбѣ съ голодомъ и нищетой; какъ они ни бились, они вездѣ встрѣчали свинцовый сводъ и суровый отпоръ, отбрасывавшій ихъ на мрачное дно общественной жизни и осуждавшій на вѣчную работу безъ цѣли, снѣдавшую умъ вмѣстѣ съ тѣломъ. Что же тутъ удивительнаго, что, пробывъ шесть дней рычагомъ, колесомъ, пружиной, винтомъ, человѣкъ дико вырывается въ субботу вечеромъ изъ каторги мануфактурной дѣятельности и въ полчаса напивается пьянъ, тѣмъ больше, что его изнуреніе немного можетъ вынести. Лучше бы и моралисты пили себѣ Irish или Scotch Whiskey, да молчали бы, а то, съ ихъ безчеловѣчной филантропіей, они накличутся на страшные отвѣты.

Пить чай въ трактирѣ имѣетъ другое значеніе для слугъ. Дома ему чай не въ чай; дома ему все напоминаетъ, что онъ слуга; дома у него грязная людская, онъ долженъ самъ поставить самоваръ, дома у него чашка съ отбитой ручкой и всякую минуту баринъ можетъ позвонить. Въ трактирѣ онъ вольный человѣкъ, онъ господинъ, для него накрытъ столъ, зажжены лампы, для него несется съ подносомъ половой, чашки блестятъ, чайникъ блеститъ, онъ приказываетъ—его слушаютъ, онъ радуется и весело требуетъ себѣ наусной икры или растегайчикъ къ чаю.

Во всемъ этомъ больше дѣтскаго простодушія, чѣмъ безнрав-

ственности. Впечатлѣнія ими овладѣвають быстро, но не пускаютъ корней; умъ ихъ постоянно занятъ, или, лучше, разсѣянъ случайными предметами, небольшими желаніями, пустыми цѣлями. Ребячья вѣра во все чудесное заставляетъ трусить взрослого мужчину и та же ребячья вѣра утѣшаетъ его въ самыя тяжелыя минуты. Я съ удивленіемъ присутствовалъ при смерти двухъ или трехъ изъ слугъ моего отца: вотъ гдѣ можно было судить о простодушномъ безпечіи, съ которымъ проходила ихъ жизнь, о томъ, что на ихъ совѣсти вовсе не было большихъ грѣховъ; а если кой-что случилось, такъ уже покончено на духу съ «батюшкой».

На этомъ сходствѣ дѣтей съ слугами и основано взаимное пристрастіе ихъ. Дѣти ненавидятъ аристократію взрослыхъ и ихъ благосклонно-снисходительное обращеніе оттого, что они умны и понимаютъ, что для нихъ они дѣти, а для слугъ—лица. Вслѣдствіе этого, они гораздо больше любятъ играть въ карты и лото съ горничными, чѣмъ съ гостями. Гости играютъ для *нихъ* изъ снисхожденія, уступаютъ имъ, дразнятъ ихъ и оставляютъ игру, какъ вздумается; горничныя играютъ обыкновенно столько же для себя, сколько для дѣтей; отъ этого игра получаетъ интересъ.

Прислуга чрезвычайно привязывается къ дѣтямъ и это вовсе не рабская привязанность, это взаимная любовь *слабыхъ и простыхъ*.

Встарь бывала, какъ теперь въ Турціи, патриархальная династическая любовь между помѣщиками и дворовыми. Нынче нѣтъ больше на Руси усердныхъ слугъ, преданныхъ роду и племени своихъ господъ. И это понятно. Помѣщикъ не вѣрять въ свою власть, не думаетъ, что онъ будетъ отвѣчать за своихъ людей на страшномъ судилищѣ Христовомъ, а пользуется ею изъ выгоды. Слуга не вѣрять въ свою подчиненность и выносить насиліе не какъ кару Божію, не какъ искусь, а просто оттого, что онъ беззащитенъ; сила солону ломить.

Я знавалъ еще въ молодости два, три образчика этихъ фанатиковъ рабства, о которыхъ со вздохомъ говорятъ восьмидесятилѣтніе помѣщики, повѣствуя о ихъ неусыпной службѣ, о ихъ великомъ усердіи, и забывая прибавить, чѣмъ ихъ отцы и они сами платили за такое самоотверженіе.

Въ одной изъ деревень Сенатора проживалъ на покоѣ, т. е. на хлѣбѣ, дряхлый старикъ, Андрей Степановъ.

Онъ былъ камердинеромъ Сенатора и моего отца во время ихъ службы въ гвардіи, добрый, честный и трезвый человекъ, глядѣвшій въ глаза молодымъ господамъ и угадывавшій, по ихъ собственнымъ словамъ, ихъ волю, что, думаю, было не легко. Потомъ онъ управлялъ подмосковной. Отрѣзанный сначала войной 1812 года отъ всякаго сообщенія, потомъ одинъ, безъ денегъ на

пепелищѣ выгорѣлаго села, онъ продалъ какія-то бревна, чтобъ не умереть съ голоду. Сенаторъ, возвратившись въ Россію, принялся приводить въ порядокъ свое имѣніе и, наконецъ, добрался до бревенъ. Въ наказаніе онъ отобралъ его должность и отправилъ его въ опалу. Старикъ, обремененный семьей, поплелся на подножный кормъ. Намъ приходилось проѣзжать и останавливаться на день, на два въ деревнѣ, гдѣ жилъ Андрей Степановъ. Дряхлый старецъ, разбитый параличемъ, приходилъ всякій разъ, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить съ нимъ.

Преданность и кротость, съ которой онъ говорилъ, его несчастный видъ, космы желто-сѣдыхъ волосъ по обѣимъ сторонамъ голаго черепа, глубоко трогали меня. «Слышалъ я, государь мой», говорилъ онъ однажды, «что братецъ вашъ еще кавалерію изволилъ получить. Старъ, батюшка, становлюсь, скоро Богу душу отдамъ, а, вѣдь, не сподобилъ меня Господь видѣть братца въ кавалеріи, хоть бы разъ передъ кончивой лицезрѣть ихъ въ лентѣ и во всѣхъ регаліяхъ!»

Я смотрѣлъ на старика, его лицо было такъ дѣтски откровенно, сгорбленная фигура его, болѣзненно перекошенное лицо, потухшіе глаза, слабый голосъ — все внушало довѣріе; онъ не лгалъ, онъ не льстилъ, ему дѣйствительно хотѣлось видѣть, прежде смерти, въ «кавалеріи и регаліяхъ» человѣка, который лѣтъ пятнадцать не могъ ему простить какихъ-то бревенъ. Что это святой, или безумный? Да не одни ли безумные и достигаютъ святости?

Новое поколѣніе не имѣетъ этого идолопоклонства, и если бываютъ случаи, что люди не хотятъ на волю, то это просто отъ лѣни и изъ матеріальнаго расчета. Это развратіе, спору нѣтъ, но ближе къ концу; они навѣрно, если что-нибудь и хотятъ видѣть на шеѣ господъ, то не владимірскую ленту.

Скажу здѣсь кстати о положеніи нашей прислуги вообще.

Ни Сенаторъ, ни отецъ мой не тѣснили особенно дворовыхъ, т. е. не тѣснили ихъ физически. Сенаторъ былъ вспыльчивъ, нетерпѣливъ и именно потому часто грубъ и несправедливъ; но онъ такъ мало имѣлъ съ ними соприкосновенія и такъ мало ими занимался, что они почти не знали другъ друга. Отецъ мой доучалъ имъ капризами, не пропускалъ ни взгляда, ни слова, ни движенія и безпрестанно училъ; для русскаго человѣка это часто хуже побоевъ и брани.

Тѣлесныя наказанія были почти неизвѣстны въ нашсмъ домѣ, и два-три случая, въ которые Сенаторъ и мой отецъ прибѣгали къ гнусному средству «частнаго дома», были до того необыкновенны, что объ нихъ вся дворня говорила цѣлые мѣсяцы; сверхъ того, они были вызываемы значительными проступками.

Чаще отдавали дворовыхъ въ солдаты; наказаніе это приводило въ ужасъ всѣхъ молодыхъ людей: безъ роду, безъ племени, они все же лучше хотѣли остаться крѣпостными, нежели двадцать лѣтъ тянуть лямку. На меня сильно дѣйствовали эти страшныя сцены...; являлись два полицейскіе солдата по зову помѣщика, они воровски, невзначай, врасплохъ брали назначеннаго человека; староста обыкновенно тутъ объявлялъ, что баринъ съ вечера приказалъ представить его въ присутствіе, и человекъ сквозь слезы куражился, женщины плакали, всѣ давали подарки и я отдавалъ все, что могъ, т. е. какой-нибудь двугривенный, шейный платокъ.

Помню я еще, какъ какому-то старостѣ за то, что онъ истратилъ собранный оброкъ, отецъ мой велѣлъ обрить бороду. Я ничего не понималъ въ этомъ наказаніи, но меня поразилъ видъ старика лѣтъ шестидесяти; онъ плакалъ навзрыдъ, кланялся въ землю и просилъ положить на него, сверхъ оброка, сто цѣлковыхъ штрафа, но помиловать отъ безчестья.

Когда Сенаторъ жилъ съ нами, общая прислуга состояла изъ тридцати мужчинъ и почти столькихъ же женщинъ; замужнія, впрочемъ, не несли никакой службы, онѣ занимались своимъ хозяйствомъ; на службѣ были пять-шесть горничныхъ и прачки, не ходившія на верхъ. Къ этому слѣдуетъ прибавить *мальчишекъ* и *дѣвченочъ*, которыхъ приучали къ службѣ, т. е. къ праздности, лѣни, лганью и къ употребленію сивухи.

Для характеристики тогдашней жизни въ Россіи, я не думаю, чтобъ было излишнимъ сказать нѣсколько словъ о содержаніи дворовыхъ. Сначала имъ давались 5 рублей ассигн. въ мѣсяцъ на харчи, потомъ 6. Женщинамъ рублемъ меньше, дѣтямъ лѣтъ съ десяти половина. Люди составляли между собой артели и на недостатокъ не жаловались, что свидѣтельствуетъ о чрезвычайной дешевизнѣ съѣстныхъ припасовъ. Наибольшее жалованье состояло изъ 100 руб. асс. въ годъ, другіе получали половину, нѣкоторые 30 руб. въ годъ. Мальчики лѣтъ до восемнадцати не получали жалованья. (Сверхъ оклада людямъ давались платья, шинели, рубашки, простыни, одѣяла, полотенца, матрацы изъ парусины; мальчикамъ, не получавшимъ жалованья, отпускались деньги на нравственную и физическую чистоту, т. е. на баню и *говѣнье*. Взявъ все въ расчетъ, слуга обходился руб. въ 300 асс.; если къ этому прибавить дивидендъ на лекарство, лекаря и на съѣстные припасы, случайно привозимые изъ деревни и которые не знали куда дѣть, то мы и тогда не перейдемъ 350 рублей. Это составляетъ *четвертую* часть того, что слуга стоитъ въ Парижѣ или въ Лондонѣ.

Плантаторы обыкновенно вводятъ въ счетъ *страховую* премію рабства, т. е. содержаніе жены, дѣтей помѣщикомъ, и скудный кусокъ хлѣба гдѣ-нибудь въ деревнѣ подъ старость лѣтъ.

Конечно, это надобно взять въ расчетъ; но страховая премія сильно понижается преміей *страха* тѣлесныхъ наказаній, невозможностью переменны состоянія и гораздо худшаго содержанія.

Я довольно наглядѣлся, какъ страшное сознаніе крѣпостного состоянія убиваетъ, отравляетъ существованіе дворовыхъ, какъ оно гнететъ, одуряетъ ихъ душу. Мужики, особенно оброчные, меньше чувствуютъ личную неволю, они какъ-то умѣютъ не вѣрять своему полному рабству. Но тутъ, сидя на грязномъ залавкѣ передней съ утра до ночи, или стоя съ тарелкой за столомъ,— нѣтъ мѣста сомнѣнію.

Разумѣется, есть люди, которые живутъ въ передней какъ рыба въ водѣ, люди, которыхъ душа никогда не просыпалась, которые взопли во вкусъ и съ своего рода художествомъ исполняютъ свою должность.

Въ этомъ отношеніи было у насъ лицо чрезвычайно интересное, нашъ старый лакей Бакай. Человѣкъ атлетическаго сложения и высокаго роста, съ крупными и важными чертами лица, съ видомъ величайшаго глубокомыслія, онъ дожилъ до преклонныхъ лѣтъ, воображая, что положеніе лакея одно изъ самыхъ значительныхъ.

Почтенный старецъ этотъ постоянно былъ сердить или выпивши, или выпивши и сердить вмѣстѣ. Должность свою онъ исполнялъ съ какой-то высшей точки зрѣнія и придавалъ ей торжественную важность; онъ умѣлъ съ особеннымъ шумомъ и трескомъ отбросить ступеньки кареты и хлопалъ дверцами сильнѣе ружейнаго выстрѣла. Сумрачно и на вытяжкѣ стоялъ на запяткахъ, и всякой разъ, когда его подтряхивало на рытвинѣ, онъ густымъ и недовольнымъ голосомъ кричалъ кучеру: «легче», не смотря на то, что рытвина уже была на пять шаговъ сзади.

Главное занятіе его, сверхъ ѣзды за каретой, занятіе, добровольно возложенное имъ на себя, состояло въ обученіи мальчишекъ аристократическимъ манерамъ передней. Когда онъ былъ трезвъ, дѣло еще шло кой-какъ съ рукъ; но когда у него въ головѣ шумѣло, онъ становился педантомъ и тираномъ до невѣроятной степени. Я иногда вступался за моихъ пріятелей, но мой авторитетъ мало дѣйствовалъ на римскій характеръ Бакай; онъ отворялъ мнѣ дверь въ залу и говорилъ: «Вамъ здѣсь не мѣсто, извольте идти, а не то я на рукахъ снесу». Онъ не пропускалъ ни одного движенія, ни одного слова, чтобъ не разбранить мальчишекъ; къ словамъ перѣдко прибавлялъ онъ и тумакъ или «ковырялъ масло», т. е. щелкалъ какъ-то хитро и искусно, какъ пружиной, большимъ пальцемъ и мизинцемъ по головѣ.

Когда онъ разгонялъ, наконецъ, мальчишекъ и оставался одинъ, его преслѣдованія обращались на единственнаго друга его Мак-

бета, большую ньюфаундлендскую собаку, которую онъ кормилъ, любилъ, чесалъ и холилъ. Посидѣвъ безъ компаніи минуты двѣ-три, онъ сходилъ на дворъ и приглашалъ Макбета съ собой на залавокъ; тутъ онъ заводилъ съ нимъ разговоръ. «Что же ты, дуракъ, сидишь на дворѣ, на морозѣ, когда есть топленая комната? Экая скотина! Что вытаращилъ глаза—ну? Ничего не отвѣчаешь?» За этимъ слѣдовала обыкновенная пощечина. Макбетъ иногда огрызался на своего благодѣтеля; тогда Бакай его упрекалъ, но безъ ласки и уступокъ. «Впрямь корми собаку, все собака останется, зубы скалитъ и не подумаетъ, на кого... Блохи бы заѣли безъ меня!» И, обиженный неблагодарностью своего друга, онъ нюхалъ съ гнѣвомъ табакъ и бросалъ Макбету въ носъ, что оставалось на пальцахъ, послѣ чего тотъ чихалъ, ужасно неловко лапой снималъ съ глазъ табакъ, понавшій въ носъ, и, съ полнымъ негодованіемъ оставляя залавокъ, царапалъ дверь; Бакай ему отворялъ ее со словами «мерзавецъ» и давалъ ему ногой толчекъ. Тутъ обыкновенно возвращались мальчики, и онъ принимался «ковырять масло».

Прежде Макбета у насъ была лягавая собака Берта; она сильно занемогла, Бакай ее взялъ на свой матраць и двѣ-три недѣли ухаживалъ за ней. Утромъ рано выхожу я разъ въ переднюю. Бакай хотѣлъ мнѣ что-то сказать, но голосъ у него перемѣнился и крупная слеза скатилась по щекѣ,—собака умерла; вотъ еще фактъ для изученія человѣческаго сердца. Я вовсе не думаю, чтобъ онъ и мальчишекъ ненавидѣлъ; это былъ суровый нравъ, подкрѣпляемый сивухою и безсознательно втянувшійся въ поэзію передней.

Но рядомъ съ этими дилетантами рабства, какіе мрачные образы мучениковъ, безнадежныхъ страдальцевъ печально проходятъ въ моей памяти.

У Сенатора былъ поваръ, необычайнаго таланта, трудолюбивый, трезвый; онъ шелъ въ гору; самъ Сенаторъ хлопоталъ, чтобъ его приняли въ кухню государя, гдѣ тогда былъ знаменитый поваръ французъ. Поучившись тамъ, онъ опредѣлился въ англійскій клубъ, разбогатѣлъ, женился, жилъ баринномъ; но веревка крѣпостного состоянія не давала ему ни покойно спать, ни наслаждаться своимъ положеніемъ.

Собравшись съ духомъ и отслуживши молебенъ Иверской, Алексѣй явился къ Сенатору съ просьбой отпустить его за пять тысячъ асс. Сенаторъ гордился *своимъ* поваромъ, точно такъ, какъ гордился *своимъ* живописцемъ, а вслѣдствіе того денегъ не взялъ и сказалъ повару, что отпустить его даромъ послѣ своей смерти.

Поваръ былъ пораженъ, какъ громомъ; погрузилъ, перемѣнился въ лицѣ, сталъ сѣдѣть и... русскій человѣкъ — принялся

попивать. Дѣла свои повелъ онъ спустя рукава, англійскій клубъ ему отказалъ. Онъ нанялся у княгини Трубецкой; княгиня преслѣдовала его мелкимъ скряжничествомъ. Обиженный разъ ею черезъ мѣру, Алексѣй, любившій выразаться краснорѣчиво, сказалъ ей съ своимъ важнымъ видомъ своимъ голосомъ въ носъ: «какая непрозрачная душа обитаетъ въ вашемъ свѣтлѣйшемъ тѣлѣ!» Княгиня взбѣсилась, прогнала повара и, какъ слѣдуетъ русской барынѣ, написала жалобу Сенатору. Сенаторъ ничего бы не сдѣлалъ, но, какъ учтивый кавалеръ, призвалъ повара; разругалъ его и велѣлъ ему идти къ княгинѣ просить прощенія.

Поваръ къ княгинѣ не пошелъ, а пошелъ въ кабакъ. Въ годъ времени онъ все спустилъ: отъ капитала, приготовленнаго для взноса, до послѣдняго фартука. Жена побилась, побилась съ нимъ, да и пошла въ няньки куда-то въ отъѣздъ. Объ немъ долго не было слуха. Потомъ какъ-то полиція привела Алексѣя, обтерханнаго, одичалаго; его подняли на улицѣ, квартиры у него не было, онъ кочевалъ изъ кабака въ кабакъ. Полиція требовала, чтобъ помѣщикъ его прибралъ. Больно было Сенатору, а, можетъ, и совѣстно; онъ его принялъ довольно кротко и далъ комнату. Алексѣй продолжалъ пить, пьяный шумѣлъ и воображалъ, что сочиняетъ стихи; онъ дѣйствительно не былъ лишенъ какой-то безпорядочной фантазіи. Мы были тогда въ Васильевскомъ. Сенаторъ, не зная что дѣлать съ поваромъ, прислалъ его туда, воображая, что мой отецъ уговорить его. Но человекъ былъ слишкомъ сломенъ. Я тутъ разглядѣлъ, какая сосредоточенная ненависть и злоба противъ господъ лежать на сердцѣ у крѣпостного человѣка: онъ говорилъ со скрипомъ зубовъ и съ мимикой, которая особенно въ поварѣ могла быть опасна. При мнѣ онъ не боялся давать волю языку; онъ меня любилъ, и часто, фамиллярно трепля меня по плечу, говорилъ: «добрая вѣтвь испорченнаго древа».

Послѣ смерти Сенатора, мой отецъ далъ ему тотчасъ отпускную; это было поздно, и значило сбыть его съ рукъ; онъ такъ и пропалъ.

Рядомъ съ нимъ не могу не вспомнить другой жертвы крѣпостного состоянія. У Сенатора былъ, въ родѣ писмоводителя, дворовый человекъ лѣтъ 35. Старшій братъ моего отца, умершій въ 1813 году, имѣя въ виду устроить деревенскую больницу, отдалъ его мальчикомъ какому-то знакомому врачу для обученія фельдшерскому искусству. Докторъ выпросилъ ему позволеніе ходить на лекціи медико-хирургической Академіи; молодой человекъ былъ съ способностями, выучился по-латыни, по-нѣмецки и лечилъ кой-какъ. Лѣтъ двадцати-пяти онъ влюбился въ дочь какого-то офицера, скрылъ отъ нея свое состояніе и женился на ней. Долго обманъ не могъ продолжаться, жена съ ужасомъ узнала послѣ

смерти барина, что они крѣпостные. Сенаторъ, новый владѣлецъ его, нисколько ихъ не тѣснилъ, онъ даже любилъ молодого Толочанова, но ссора его съ женой продолжалась; она не могла ему простить обмана и бѣжала отъ него съ другимъ. Толочановъ, должно быть, очень любилъ ее, онъ съ этого времени впалъ въ задумчивость, близкую къ помѣшательству, прогуливалъ ночи и, не имѣя своихъ средствъ, тратилъ господскія деньги; когда онъ увидѣлъ, что нельзя свести концовъ, онъ 31 декабря 1821 года отравился.

Сенатора не было дома; Толочановъ взошелъ при мнѣ къ моему отцу и сказалъ ему, что онъ пришелъ съ нимъ проститься, и просить его сказать Сенатору, что деньги, которыхъ не достаетъ, истратилъ онъ.

— «Ты пьянъ, сказалъ ему мой отецъ, поди и выпись».

— Я скоро пойду спать надолго, сказалъ лекаръ, и прошу только не поминать меня зломъ.

Спокойный видъ Толочанова испугалъ моего отца, и онъ, пристальнѣе посмотрѣвъ на него, спросилъ:

— «Что съ тобою, ты бредишь?»

— Ничего-съ, я только принялъ рюмку мышьяку.

Послали за докторомъ, за полиціей, дали ему рвотное, дали молока... Когда его начало тошнить, онъ удерживался и говорилъ: «Сиди, сиди тамъ, я не съ тѣмъ тебя проглотилъ». Я слышалъ потомъ, когда ядъ сталъ сильнѣе дѣйствовать, его стонъ и страдальческій голосъ, повторявшій: «Жжетъ—жжетъ! огонь!» Кто-то посовѣтовалъ ему послать за священникомъ, онъ не хотѣлъ и говорилъ Кало, что жизни за гробомъ быть не можетъ, что онъ *настолько знаетъ анатомію*. Часу въ двѣнадцатомъ вечера, онъ спросилъ штабъ-лекаря, по-нѣмецки, который часъ, потомъ сказавши: «Вотъ и новый годъ, поздравляю васъ»,—умеръ.

Утромъ я бросился въ небольшой флигель, служившій баней, туда снесли Толочанова; тѣло лежало на столѣ, въ томъ видѣ, какъ онъ умеръ, во фракѣ безъ галстука, съ раскрытой грудью; черты его были страшно искажены и уже почернѣли. Это было первое мертвое тѣло, которое я видѣлъ; близкій къ обмороку, я вышелъ вонъ. И игрушки, и картинки, подаренныя мнѣ на новый годъ, не тѣшили меня; почернѣлый Толочановъ носился передъ глазами, и я слышалъ его: «жжетъ—огонь!»

Въ заключеніе этого печальнаго предмета, скажу только одно: на меня передняя не сдѣлала никакого дѣйствительно дурнаго вліянія. Напротивъ, она съ раннихъ лѣтъ развила во мнѣ непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще былъ ребенкомъ, Вѣра Артамоновна, желая меня сильно обидѣть за какую-нибудь шалость, говаривала мнѣ: «Дайте срокъ, вырастете, такой же баринъ будете, какъ

другіе». Меня это ужасно оскорбляло. Старушка можетъ быть довольна—*такимъ какъ другіе*, по крайней мѣрѣ, я не сдѣлался.

Сверхъ передней и дѣвичьей, было у меня еще одно разсѣяніе, и тутъ, по крайней мѣрѣ, не было мнѣ помѣхи. Я любилъ чтеніе столько же, сколько не любилъ учиться. Страсть къ безсистемному чтенію была вообще однимъ изъ главныхъ препятствій серьезному ученію. Я, напримѣръ, прежде и послѣ терпѣть не могъ теоретическаго изученія языковъ, но очень скоро выучивался кой-какъ понимать и болтать съ грѣхомъ пополамъ, и на этомъ останавливался, потому что этого было достаточно для моего чтенія.

У отца моего вмѣстѣ съ Сенаторомъ была довольно большая библіотека, составленная изъ французскихъ книгъ прошлаго столѣтія. Книги валялись грудями въ сырой, нежилой комнатѣ нижняго этажа въ домѣ Сенатора. Ключъ былъ у Кало, мнѣ было позволено рыться въ этихъ литературныхъ закромахъ, сколько я хотѣлъ, и я читалъ себѣ, да читалъ. Отецъ мой видѣлъ въ этомъ двойную пользу: во-первыхъ, что я скорѣе выучусь по-французски, а сверхъ того, что я занятъ, т. е. сижу смирно и притомъ у себя въ комнатѣ. Къ тому же я не всѣ книги показывалъ или клалъ у себя на столѣ, инныя прятались въ шифоньеръ.

Что же я читалъ? Само собою разумѣется, романы и комедіи. Я прочелъ томовъ пятьдесятъ французскаго репертуара и русскаго *театра*; въ каждой части было по три, по четыре пьесы. Сверхъ французскихъ романовъ, у моей матери были романы Лафонтена, комедіи Коцебу, я ихъ читалъ раза по два. Не могу сказать, чтобъ романы имѣли на меня большое вліяніе, я бросался съ жадностью на всѣ двусмысленныя или нѣсколько растрепанныя сцены, какъ всѣ мальчпкки, но онѣ не занимали меня особенно. Гораздо сильнѣйшее вліяніе имѣла на меня пьеса, которую я любилъ безъ ума, перечитывалъ двадцать разъ и притомъ въ русскомъ переводѣ *Осатра* «Свадьба Фигаро». Я былъ влюбленъ въ Херубима и въ графиню, и, сверхъ того, я самъ былъ Херубимъ; у меня замирало сердце при чтеніи и, не давая себѣ никакого отчета, я *чувствовалъ* какое-то новое ощущеніе. Какъ упоительна казалась мнѣ сцена, гдѣ пажа одѣваютъ въ женское платье, мнѣ страшно хотѣлось спрятать на груди чью-нибудь ленту и тайкомъ цѣловать ее. На дѣлѣ я былъ далекъ отъ всякаго женскаго общества въ эти лѣта.

Помню только, какъ изрѣдка по воскресеньямъ къ намъ пріѣзжали изъ пансіона двѣ дочери Б. Меньшая лѣтъ шестнадцати была поразительной красоты. Я терялся, когда она входила въ комнату, не смѣлъ никогда обращаться къ ней съ рѣчью, а украдкой смотрѣлъ въ ея прекрасные темные глаза, на ея темные кудри. Никогда никому не заикался я объ этомъ и первое дыханіе любви прошло не свѣданное никѣмъ, ни даже ею.

Годы спустя, когда я встрѣчался съ нею, сильно билось сердце, и я вспоминалъ, какъ я двѣнадцати лѣтъ отроду молился ея красотѣ.

Я забылъ сказать, что «Вертеръ» меня занималъ почти столько же, какъ «Свадьба Фигаро»; половины романа я не понималъ и пропускалъ, торопясь скорѣе дойти до страшной развязки, тутъ я плакалъ какъ сумасшедшій. Въ 1839 году «Вертеръ» попался мнѣ случайно подъ руки, это было во Владимірѣ; я рассказалъ моей женѣ, какъ я мальчикомъ плакалъ, и сталъ ей читать послѣднія письма... И когда дошелъ до того же мѣста, слезы полились изъ глазъ и я долженъ былъ остановиться.

Глѣтъ до четырнадцати я не могу сказать, чтобъ мой отецъ особенно тѣснилъ меня, но просто вся атмосфера нашего дома была тяжела для живого мальчика. Строптивая и ненужная заботливость о физическомъ здоровьи, рядомъ съ полнымъ равнодушіемъ къ нравственному, страшно надоѣдала. Предостереженія отъ простуды, отъ вредной пищи, хлопоты при малѣйшемъ насморкѣ, кашлѣ. Зимой я по недѣлямъ сидѣлъ дома, а когда позволялось проѣхаться, то въ теплыхъ сапогахъ, шарфахъ и пр. Дома былъ постоянно нестерпимый жаръ отъ печей, все это должно было сдѣлать изъ меня хилаго и изнѣженнаго ребенка, если-бъ я не наслѣдовалъ отъ моей матери непреодолимаго здоровья. Она, съ своей стороны, вовсе не дѣлила этихъ предразсудковъ и на своей половинѣ позволяла мнѣ все то, что запрещалось на половинѣ моего отца.

Ученье шло плохо, безъ соревнованія, безъ поощреній и одобреній; безъ системы и безъ надзору, я занимался спустя рукава и думалъ памятью и живымъ соображеніемъ замѣнить трудъ. Разумѣется, что и за учителями не было никакого присмотра; однажды условившись въ цѣнѣ—лишь бы они приходили въ свое время и сидѣли свой часъ,—они могли продолжать годы, не отдавая никакого отчета въ томъ, что дѣлали.

Однимъ изъ самыхъ странныхъ эпизодовъ моего тогдашняго ученія было приглашеніе французскаго актера *Далеса* давать мнѣ уроки декламациі.

«Нынче на это не обращаютъ вниманія, говорилъ мнѣ мой отецъ, а вотъ братъ Александръ, онъ шесть мѣсяцевъ съ ряду всякой вечеръ читалъ съ Офреномъ *le recit de Thérèse*, и все не могъ дойти до того совершенства, котораго хотѣлъ Офренъ».

Затѣмъ принялся я за декламацию.

«А что, *monsieur Dalès*, спросилъ его разъ мой отецъ, вы можете, я полагаю, давать уроки танцованія».

Далесъ, толстый старикъ за шестьдесятъ лѣтъ, съ чувствомъ глубокаго сознанія своихъ достоинствъ, но и съ неменьше глубокимъ чувствомъ скромности отвѣчалъ, что онъ не можетъ су-

дить о своихъ талантахъ, но что онъ часто *давалъ советы* въ балетныхъ танцахъ au grand Opera!

— «Я такъ и думалъ, замѣтилъ ему мой отецъ, поднося ему свою открытую табакерку, чего съ русскимъ или нѣмецкимъ учителемъ онъ никогда бы не сдѣлалъ. Я очень хотѣлъ бы, если-бъ вы могли le degourdir un peu, послѣ декламациі, немного бы потанцовать».

— Monsieur le comte peut disposer de moi.

И мой отецъ, безмѣрно любившій Парижъ, началъ вспоминать о фойе оперы въ 1810, о молодости Жоржъ, о преклонныхъ лѣтахъ Марсъ, и спрашивать о кафе и театрахъ.

Теперь вообразите себѣ мою небольшую комнатку, печальный зимній вечеръ, окна замерзли и съ нихъ течетъ вода по веревочкѣ, двѣ сальныя свѣчи на столѣ и нашъ tête à tête. Далесъ на сценѣ еще говорилъ довольно естественно, но за урокомъ считалъ своей обязанностью наиболѣе удаляться отъ натуры въ своей декламациі. Онъ читалъ Расина какъ-то на распѣвъ и дѣлалъ тотъ проборъ, который англичане носятъ на затылкѣ, на цезурѣ каждаго стиха, такъ что онъ выходилъ похожимъ на надломленную трость.

При этомъ онъ дѣлалъ рукой движеніе человѣка, попавшаго въ воду и не умѣющаго плавать. Каждый стихъ онъ заставлялъ меня повторять нѣсколько разъ и все качалъ головой: «Не то, совсѣмъ не то! Attention: Je crains Dieu, cher Abner, тутъ проборъ,—онъ закрывалъ глаза, слегка качалъ головой и, нѣжно отталкивая рукой волны, прибавлялъ—et n'ai point d'autre crainte».

Затѣмъ старичекъ, «ничего не боявшійся, кромѣ Бога», смотрѣлъ на часы, свертывалъ романы и бралъ стулъ: *это была моя дама*.

Послѣ этого нечему дивиться, что я никогда не танцевалъ.

Уроки эти продолжались недолго, и прекратились очень трагически недѣли черезъ двѣ.

Я былъ съ Сенаторомъ въ французскомъ театрѣ, проиграла увертюра, и разъ и два, занавѣсъ не подымалась; передніе ряды, желая показать, что они знаютъ *свой Парижъ*, начали шумѣть, какъ тамъ шумятъ *задніе*. На аванъ-сцену вышелъ какой-то режиссеръ, поклонился направо, поклонился налево, поклонился прямо и сказалъ: «Мы просимъ всего снисхожденія публики; насъ постигло страшное несчастіе, нашъ товарищъ Далесъ,—и у режиссера дѣйствительно голосъ перервался слезами,—найдень у себя въ комнатѣ мертвымъ отъ угара».

Такимъ-то сильнымъ средствомъ избавилъ меня русскій чадъ отъ декламациі, монологовъ и монотанцевъ съ моей дамой о четырехъ точеныхъ ножкахъ изъ краснаго дерева.

Лѣтъ двѣнадцати я былъ переведенъ съ женскихъ рукъ на мужскія. Около того времени мой отецъ сдѣлалъ два неудачныхъ опыта приставить за мной нѣмца.

Нѣмецъ при дѣтяхъ—и не гувернеръ и не дядька, это совсѣмъ особенная профессія. Онъ не учитъ дѣтей и не одѣваетъ, а смотритъ, чтобъ они учились и были одѣты, печется о ихъ здоровьи, ходитъ съ ними гулять и говорить тотъ вздоръ, который хочеть, не иначе какъ по-нѣмецки. Если есть въ домѣ гувернеръ, нѣмецъ ему покоряется; если есть дядька, онъ покоряется нѣмцу. Учителя, ходящіе по билетамъ, опаздывающіе по непредвидимымъ причинамъ и уходящіе слишкомъ рано, по обстоятельству не зависящимъ отъ ихъ воли, строятъ нѣмцу куры, и онъ при всеї безграмотности начинаетъ себя считать ученымъ. Гувернантки употребляютъ нѣмца на покупки, на всѣ возможныя комиссіи, но позволяютъ ухаживать за собой только въ случаѣ физическихъ недостатковъ и при совершенномъ отсутствіи другихъ поклонниковъ. Лѣтъ четырнадцати воспитанники ходятъ тайкомъ отъ родителей къ нѣмцу въ комнату курить табакъ; онъ это терпитъ, потому что ему необходимы сильныя вспомогательныя средства, чтобъ оставаться въ домѣ. Въ самомъ дѣлѣ, большей частью въ это время нѣмца при дѣтяхъ благодарятъ, дарятъ ему часы и отсылаютъ; если онъ усталъ бродить съ дѣтьми по улицамъ и получать выговоры за насморкъ и пятна на платьяхъ, то нѣмецъ *при дѣтяхъ* становится просто нѣмцемъ, заводитъ небольшую лавочку, продаетъ прежнимъ питомцамъ мундштуки изъ янтаря, о-де-колонъ, сигарки и дѣлаеть другого рода *тайныя* услуги имъ ¹⁾.

Первый нѣмецъ, приставленный за мною, былъ родомъ изъ Шлезіи и назывался Јокишъ; по моему этой фамиліи было за глаза довольно, чтобъ его не брать. Высокій, плѣшивый мужчина, онъ отличался чрезвычайной нечистоплотностью и хвастался своимъ знаніемъ агрономіи; я думаю, что отецъ мой именно по этому его и взялъ. Я съ отвращеніемъ смотрѣлъ на шленскаго великана и только на томъ мирился съ нимъ, что онъ мнѣ рассказывалъ, гуляя по Дѣвичьему полю и на Ирѣсенскихъ прудахъ, сальныя анекдоты, которые я передавалъ передней. Онъ прожилъ не больше года, напакостилъ что-то въ деревнѣ, садовникъ хотѣлъ его убить косою; отецъ мой велѣлъ ему убраться.

На его мѣсто поступилъ Брауншвейгъ-Вольфенбютельскій солдатъ (вѣроятно, бѣглый) Федоръ Карловичъ, отличавшійся кал-

¹⁾ Органистъ и учитель музыки, о которомъ говорится въ «Запискахъ одного молодого человѣка», И. И. Экъ давалъ только уроки музыки, не имѣвъ никакого вліянія.

лпграфіей и непомѣрнымъ тупоуміемъ. Онъ уже былъ прежде въ двухъ домахъ при дѣтяхъ и имѣлъ нѣкоторый навыкъ, т. е. придавалъ себѣ видъ гувернера, къ тому же онъ говорилъ по-французски на «ши» съ обратнымъ удареніемъ ¹⁾).

Я не имѣлъ къ нему никакого уваженія и отравлялъ всѣ минуты его жизни, особенно съ тѣхъ поръ, какъ я убѣдился, что, несмотря на всѣ мои усилія, онъ не можетъ понять двухъ вещей: десятичныхъ дробей и тройного правила. Въ душѣ мальчиковъ вообще много безпощаднаго и даже жестокаго; я съ свирѣпостію преслѣдовалъ бѣднаго вольфенбютельскаго егеря пропорціями; меня это до того занимало, что я, мало вступавшій въ подобные разговоры съ моимъ отцомъ, торжественно сообщилъ ему о глупости Федора Карловича.

Къ тому же Федоръ Карловичъ мнѣ похвастался, что у него есть новый фракъ, синій, съ золотыми пуговицами, и дѣйствительно я его видѣлъ разъ, отправляющагося на какую-то свадьбу во фракъ, который ему былъ широкъ, но съ золотыми пуговицами. Мальчикъ, приставленный за нимъ, донесъ мнѣ, что фракъ этотъ онъ бралъ у своего знакомаго сидѣльца въ косметическомъ магазинѣ. Безъ малѣйшаго сожалѣнія присталъ я къ бѣдняку,—гдѣ синій фракъ, да и только?

— У васъ въ домѣ много моли, я его отдалъ къ знакомому портному на сохраненіе.

— «Гдѣ живетъ этотъ портной?»

— Вамъ на что?

— «Отчего-же не сказать?»

— Ненадобно не въ свои дѣла мѣшаться.

— «Ну, пусть такъ, а черезъ недѣлю мои именины,—утѣшите меня, возьмите синій фракъ у портного на этотъ день».

— Нѣтъ, не возьму, вы не заслуживаете, потому что вы «импертигентъ».

И я грозилъ ему пальцемъ.

Надобно же было для послѣдняго удара Федору Карловичу, чтобъ онъ разъ при Бушо, французскомъ учителѣ, похвастался тѣмъ, что онъ былъ рекрутомъ подъ Ватерлоо, и что нѣмцы дали страшную таску французамъ. Бушо только посмотрѣлъ на него и такъ страшно понюхалъ табуку, что побѣдитель Наполеона нѣсколько сконфузился. Бушо ушелъ, сердито опираясь на свою сучковатую палку, и никогда не называлъ его иначе, какъ *le soldat de Villain—ton*. Я тогда еще не зналъ, что каламбуръ этотъ принадлежитъ Беранже, и не могъ нарадоваться на выдумку Бушо.

¹⁾ Англичане говорятъ хуже нѣмцевъ по-французски, но они только коверкаютъ языкъ, нѣмцы оподляютъ его.

Наконецъ, товарищъ Блюхера разсорился съ моимъ отцомъ и оставилъ нашъ домъ; послѣ этого отецъ мой не тѣсилъ меня больше нѣмцами.

При Брауншвейгъ-Вольфенбютельскомъ войнѣ я иногда похаживалъ къ какимъ-то мальчикамъ, при которыхъ жилъ его пріятель тоже въ должности «нѣмца» и съ которыми мы дѣлали дальнія прогулки; послѣ него я снова оставался въ совершенномъ одиночествѣ, скучалъ, рвался изъ него и не находилъ выхода. Не имѣя возможности пересилить волю отца, я, можетъ, сломился бы въ этомъ существованіи, если-бъ вскорѣ новая умственная дѣятельность и двѣ встрѣчи, о которыхъ скажу въ слѣдующей главѣ, не спасли меня. Я увѣренъ, что моему отцу ни разу не приходило въ голову, какую жизнь онъ заставляетъ меня вести, иначе онъ не отказывалъ бы мнѣ въ самыхъ невинныхъ желаніяхъ, въ самыхъ естественныхъ просьбахъ.

Изрѣдка отпускалъ онъ меня съ Сенаторомъ въ французскій театръ, это было для меня высшее наслажденіе; я страстно любилъ представленія, но и это удовольствіе приносило мнѣ столько же горя, сколько радости. Сенаторъ пріѣзжалъ со мною въ поль-піесы и, вѣчно куда-нибудь званный, увозилъ меня прежде конца. Театръ былъ у Арбатскихъ воротъ въ домѣ Апраксина, мы жили въ старой Конюшенной, т. е. очень близко; но отецъ мой строго запретилъ возвращаться безъ Сенатора.

Мнѣ было около пятнадцати лѣтъ, когда мой отецъ пригласилъ священника давать мнѣ уроки богословія, *насколько* это было нужно для вступленія въ университетъ. Катехизисъ попался мнѣ въ руки послѣ Вольтера. Нигдѣ религія не играетъ такой скромной роли въ дѣлѣ воспитанія, какъ въ Россіи, и—это, разумѣется, величайшее счастье. Священнику за уроки закона Божія платятъ всегда поль-цѣны, и даже это такъ, что тотъ же священникъ, если даетъ тоже уроки латинскаго языка, то онъ за нихъ беретъ дороже, чѣмъ за катехизисъ.

Мой отецъ считалъ религію въ числѣ необходимыхъ вещей благовоспитаннаго человѣка; онъ говорилъ, что надобно вѣрить въ Священное Писаніе безъ разсужденій, потому что умомъ тутъ ничего не возьмешь и всѣ мудрованія затемняютъ только предметъ; что надобно исполнять обряды той религіи, въ которой родился, не вдаваясь, впрочемъ, въ излишнюю набожность, которая идетъ старымъ женщинамъ, а мужчинамъ неприлична. Вѣрилъ ли онъ самъ? Я полагаю, что немного вѣрилъ по привычкѣ, изъ приличія и на всякой случай. Впрочемъ, онъ самъ не исполнялъ никакихъ церковныхъ постановленій, защищаясь разстроеннымъ здоровьемъ. Онъ почти никогда не принималъ священника или просилъ его пѣть въ пустой залѣ, куда высылалъ ему синенькую бумажку. Зимомъ онъ из-

впялся тѣмъ, что священникъ и дьяконъ вносятъ такое количество стужи съ собой, что онъ всякой разъ простужается. Въ деревнѣ онъ ходилъ въ церковь и принималъ священника, но это больше изъ свѣтско-правительственныхъ цѣлей, нежели изъ богобоязненныхъ.

Мать моя была лютеранка и, стало-быть, степенью религіозности; она всякой мѣсяцъ разъ или два ѣздила въ воскресенье въ свою церковь или, какъ Бакай упорно называлъ, «въ свою кирху», и я отъ нечего дѣлать ѣздилъ съ ней. Тамъ я выучился до артистической степени передразнивать нѣмецкихъ пасторовъ, ихъ декламацию и пустословіе, — талантъ, который я сохранилъ до совершеннolѣтія.

Каждый годъ отецъ мой приказывалъ мнѣ говѣть. Я побоялся исповѣди, и вообще церковная mise en scéne поражала меня и пугала; съ истиннымъ страхомъ подходилъ я къ причастію; но религіознымъ чувствомъ я этого не назову; это былъ тотъ страхъ, который наводятъ все непонятное, таинственное, особенно когда ему придаютъ серьезную торжественность. Разговѣвшись послѣ заутрени на святой недѣлѣ и объѣвшись красныхъ яицъ, пасхи и кулича, я цѣлый годъ больше не думалъ о религіи.

Но Евангеліе я читалъ много и съ любовью, по-славянски и въ лютеровскомъ переводѣ. Я читалъ безъ всякаго руководства, не все понималъ, но чувствовалъ искреннее и глубокое уваженіе къ читаемому. Въ первой молодости моей я часто увлекался вольтеріанизмомъ, любилъ иронию и насмѣшку, но не помню, чтобъ когда-нибудь я взялъ въ руки Евангеліе съ холоднымъ чувствомъ; это меня проводило черезъ всю жизнь; во всѣ возрасты, при разныхъ событіяхъ я возвращался къ чтенію Евангелія, и всякой разъ его содержаніе низводило миръ и кротость на душу.

Когда священникъ началъ мнѣ давать уроки, онъ былъ удивленъ не только общимъ знаніемъ Евангелія, но тѣмъ, что я приводилъ тексты буквально. «Но Господь Богъ, говорилъ онъ, раскрывъ умъ, не раскрылъ еще сердца». И мой теологъ, пожимая плечами, удивлялся моей «двойственности», однако-же былъ доволенъ мною, думая, что у Терновскаго сумѣю держать отвѣтъ.

Вскорѣ религія другого рода овладѣла моей душой.

ГЛАВА III.

Смерть Александра I и 14 декабря. — Нравственное пробужденіе. — Террористъ Бушо. — Корчевская кузина. — Н. Огаревъ.

Однимъ зимнимъ утромъ, какъ-то не въ свое время, пріѣхалъ Сенаторъ; озабоченный, онъ скорыми шагами прошелъ въ кабинетъ моего отца и заперъ дверь, показавши мнѣ рукой, чтобъ я остался въ залѣ.

По счастью, мнѣ недолго пришлось ломать голову, догадываясь, въ чемъ дѣло. Дверь изъ передней немного пріотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьимъ мѣхомъ ливрейной шубы, шопотомъ подзывало меня; это былъ лакей Сенатора, я бросился къ двери.

— Вы не слышали? спросилъ онъ.

— «Чего?»

— Государь померъ въ Таганрогѣ.

Новость эта поразила меня; я никогда прежде не думалъ о возможности его смерти; я выросъ въ большомъ уваженіи къ Александру и грустно вспоминалъ, какъ я его видѣлъ незадолго передъ тѣмъ въ Москвѣ. Гуляя, встрѣтили мы его за Тверской заставой; онъ тихо ѣхалъ верхомъ съ двумя-тремя генералами, возвращаясь съ Ходынки, гдѣ были маневры. Лицо его было привѣтливо, черты мягки и округлы, выраженіе лица усталое и печальное. Когда онъ поровнялся съ нами, я снялъ шляпу и поднял ее; онъ, улыбаясь, поклонился мнѣ.

... Пока смутныя мысли бродили у меня въ головѣ, и въ лавкахъ продавали портреты императора Константина, пока носились повѣстки о присягѣ и добрые люди торопились поклясться, разнесся слухъ объ отреченіи цесаревича. Вслѣдъ за тѣмъ, тотъ же лакей Сенатора, большой охотникъ до политическихъ новостей и которому было гдѣ ихъ собирать по всѣмъ переднимъ сенаторовъ и присутственныхъ мѣсть, по которымъ онъ ѣздилъ съ утра до ночи, не имѣя выгоды лошадей, которыя мѣнялись послѣ обѣда, сообщилъ мнѣ, что въ Петербургѣ былъ бунтъ и что по Галерной стрѣляли «въ пушки».

На другой день вечеромъ былъ у насъ жандармскій генераль, графъ Комаровскій; онъ рассказывалъ о каре на Исаакіевской площади, о конно-гвардейской атакѣ, о смерти графа Милорадовича.

А тутъ пошли аресты, «того-то взяли», «того-то схватили», «того-то привезли изъ деревни»; испуганные родители трепетали за дѣтей. Мрачныя тучи заволокли небо.

Въ царствованіе Александра политическія гоненія были рѣдки; онъ сослалъ, правда, Пушкина за его стихи и Лабзина за то, что

опъ, будучи конференцъ-секретаремъ въ академіи художествъ, предложилъ избрать кучера Илью Байкова въ члены академіи¹⁾; но систематическаго преслѣдованія не было. Тайная полиція не разрослась еще въ корпусъ жандармовъ, а состояла изъ канцеляріи подъ начальствомъ стараго вольтеріанца, остряка и болтуна и юмориста, въ родѣ Жуи, Де-Санглена. При Николаѣ, Де-Сангленъ попалъ самъ подъ надзоръ полиціи и считался либераломъ, оставаясь тѣмъ же, чѣмъ былъ; по одному этому легко вымѣрять разницу царствованій.

Тонъ общества мѣнялся наглазно; быстрое нравственное паденіе служило печальнымъ доказательствомъ, какъ мало развито было между русскими аристократами чувство личнаго достоинства. Никто (кромѣ женщинъ) не смѣлъ показать участія, произнести теплаго слова о родныхъ, о друзьяхъ, которымъ еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротивъ, являлись дикіе фанатики рабства, одни изъ подлости, а другіе хуже—безкорыстно.

Однѣ женщины не участвовали въ этомъ позорномъ отреченіи отъ близкихъ... и у креста стояли однѣ женщины, и у кровавой гильотины является — то Люсиль Демуленъ, эта Офелія революціи, бродящая возлѣ топора, ожидая свой чередъ, то Ж. Сандъ, подающая на эшафотѣ руку участія и дружбы фанатическому юношѣ Алибо.

Жены сосланныхъ въ каторжную работу лишались всѣхъ гражданскихъ правъ, бросали богатство, общественное положеніе и ѣхали на цѣлую жизнь неволи, въ страшный климатъ Восточной Сибири, подъ еще страшнѣйшей гнетъ тамошней полиціи. Сестры, не имѣвшія права ѣхать, удалялись отъ двора, многія оставили Россію; почти всѣ хранили въ душѣ живое чувство любви къ страдальцамъ; но его не было у мужчинъ, страхъ выѣлъ его въ ихъ сердцахъ, никто не смѣлъ заикнуться о *несчастныхъ*.

Коснувшись до этого предмета, я не могу удержаться, чтобъ не сказать нѣсколько словъ объ одной изъ этихъ героическихъ исторій, которая очень мало извѣстна.

Въ старинномъ домѣ Ивашевыхъ жила молодая француженка гувернанткой. Единственный сынъ Ивашева хотѣлъ на ней жениться. Это свело съ ума всю родню его; гвалтъ, слезы, просьбы.

¹⁾ Президентъ академіи предложилъ въ почетные члены Аракчсева. Лабзинъ спросилъ, въ чемъ состоятъ заслуги графа въ отношеніи къ искусствамъ? Президентъ не нашелся и отвѣчалъ, что Аракчеевъ «самый близкій человекъ къ государю». — «Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера Илью Байкова», замѣтилъ секретарь; «онъ не только близокъ къ государю, но сидитъ передъ нимъ». Лабзинъ былъ мистикъ и издатель «Сіонскаго Вѣстника».

У французенки не было на лицо брата Чернова, убившаго на дуэли Новосильцова и убитаго имъ; ее уговорили уѣхать изъ Петербурга, его—отложить до поры до времени свое намѣреніе. Ивашевъ былъ однимъ изъ энергическихъ заговорщиковъ; его приговорили къ вѣчной каторжной работѣ. Отъ этой mesalliance родня не спасла его. Какъ только страшная вѣсть дошла до молодой дѣвушки въ Парижѣ, она отправилась въ Петербургъ и попросила дозволенія ѣхать въ Иркутскую губернію къ своему жениху Ивашеву. Бенкендорфъ попытался отклонить ее отъ такого преступнаго намѣренія; ему не удалось и онъ доложилъ Николаю. Николай велѣлъ ей объяснить положеніе женъ, не *измѣнившихъ* мужьямъ, сосланнымъ въ каторжную работу, присовокупляя, что онъ ее не держитъ; но что она должна знать, что если жены, идущія изъ вѣрности съ своими мужьями, заслуживаютъ нѣкотораго снисхожденія, то она не имѣетъ на это ни малѣйшаго права, сознательно вступая въ бракъ съ преступникомъ.

Въ крѣпости ничего не знали о позволеніи, и бѣдная дѣвушка, добравшись туда, должна была ждать, пока начальство спишется съ Петербургомъ, въ какомъ-то мѣстечкѣ, населенномъ всякаго рода бывшими преступниками, безъ всякаго средства узнать что-нибудь объ Ивашевѣ и дать ему вѣсть о себѣ.

Мало по малу, она ознакомила съ своими новыми товарищами. Между ними былъ сосланный разбойникъ; онъ работалъ въ крѣпости, она рассказала ему свою исторію. На другой день разбойникъ принесъ ей записочку отъ Ивашева. Черезъ день онъ предложилъ ей носить отъ Ивашева вѣсти и брать ея записки. Съ утра онъ долженъ былъ работать въ крѣпости до вечера; когда наступала ночь, онъ бралъ письмо Ивашева и отправлялся, несмотря ни на бураны, ни на свою усталъ, и возвращался къ развѣту на свою работу ¹⁾).

Наконецъ, пришло позволеніе, ихъ обвѣнчали. Черезъ нѣсколько лѣтъ, каторжная работа замѣнилась поселеніемъ. Положеніе ихъ нѣсколько улучшилось, но силы были потрачены; жена первая пала подъ бременемъ всего испытаннаго. Она увяла, какъ долженъ былъ увянуть цвѣтокъ полуденныхъ странъ на сибирскомъ снѣгу. Ивашевъ не пережилъ ее, онъ умеръ ровно черезъ годъ

¹⁾ Люди, хорошо знавшіе Ивашевыхъ, говорили мнѣ впоследствии, что они сомнѣваются въ исторіи разбойника и что, говоря о возвращеніи дѣтей и объ участіи брата, нельзя не вспомнить благороднаго поведенія сестеръ Ивашева. Подробности дѣла я слышала отъ Языковой, которая ѣздила къ брату (Ивашеву) въ Сибирь. Но она ли рассказывала о разбойникѣ, я не помню. Не смѣшали ли Ивашеву съ кн. Трубецкой, посылавшей письма и деньги кн. Оболенскому черезъ незнакомаго раскольника? Цѣлы ли письма Ивашева? Намъ кажется, будто мы имѣемъ право на нихъ.

послѣ нея, но и *тогда* онъ уже не былъ здѣсь; его письма (поразившія третье отдѣленіе) носили слѣдъ какого-то безмѣрно-грустнаго, святаго лунатизма, мрачной поэзіи; онъ собственно не жилъ послѣ нея, а тихо, торжественно умиралъ.

Это «житіе» не оканчивается съ ихъ смертію. Отецъ Ивашева, послѣ ссылки сына, передалъ свое имѣніе незаконному сыну, прося его не забывать бѣднаго брата и помогать ему. У Ивашевыхъ осталось двое дѣтей, двое малютокъ безъ имени, двое будущихъ кантонистовъ, посельщиковъ въ Сибиря—безъ помощи, безъ правъ, безъ отца и матери. Братъ Ивашева испросилъ позволеніе взять дѣтей къ себѣ. Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ рискнулъ другую просьбу, онъ ходатайствовалъ о возвращеніи имъ имени отца; удалось и это.

Разказы о возмущеніи, о судѣ, ужасъ въ Москвѣ, сильно поразили меня; мнѣ открывался новый міръ, который становился больше и больше средоточіемъ всего нравственнаго существованія моего; не знаю, какъ это сдѣлалось, но, мало понимая или очень смутно, въ чемъ дѣло, я чувствовалъ, что я не съ той стороны, съ которой картечь и побѣды. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческій сонъ моей души.

Несмотря на то, что политическія мечты занимали меня день и ночь, понятія мои не отличались особенной проницательностью; они были до того сбивчивы, что я воображалъ въ самомъ дѣлѣ, что петербургское возмущеніе имѣло, между прочимъ, цѣлью посадить на тронъ цесаревича, ограничивъ его власть.

Само собою разумѣется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежняго, мнѣ хотѣлось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, провѣрить ихъ, слышать имъ подтвержденіе; я слишкомъ гордо сознавалъ себя «злоумышленникомъ», чтобъ молчать объ этомъ или чтобъ говорить безъ разбора.

Первый выборъ палъ на русскаго учителя.

И. Е. Протопоповъ былъ полонъ того благороднаго и неопредѣленнаго либерализма, который часто проходитъ съ первымъ сѣдымъ волосомъ, съ женитьбой и мѣстомъ, но все-таки облагораживаетъ человѣка. Иванъ Евдокимовичъ былъ тронуть и, уходя, обнялъ меня со словами: «Дай Богъ, чтобъ эти чувства созрѣли въ васъ и укрѣпились». Его сочувствіе было для меня великой отрадой. Онъ послѣ этого сталъ носить мнѣ мелко переписанныя и очень затертыя тетрадки стиховъ Пушкина: *Ода на свободу*, *Кинжалъ*: *Думы Рытѣва*; я ихъ переписывалъ тайкомъ... (*а теперь печатаю явно!*)

Разумѣется, что и чтеніе мое перемѣнилось. Политика впередъ, а главное исторія революціи; я ее зналъ только по рассказамъ М-те Прово. Въ подвальной бібліотекѣ открылъ я какую-

то исторію девяностыхъ годовъ, писанную роялистомъ. Она была до того пристрастна, что даже я 14-лѣтъ ей не повѣрилъ. Слышалъ я мелькомъ отъ старика Бушо, что онъ во время революціи былъ въ Парижѣ, мнѣ очень хотѣлось разспросить его; но Бушо былъ человѣкъ суровый и угрюмый, съ огромнымъ носомъ и очками; онъ никогда не пускался въ излишніе разговоры со мной, спрягалъ глаголы, диктовалъ примѣры, бранилъ меня и уходилъ, опираясь на толстую сучковатую палку.

Старикъ Бушо не любилъ меня и считалъ пустымъ шалуномъ за то, что я дурно приготовлялъ уроки, онъ часто говаривалъ: «Изъ васъ ничего не выйдетъ», но когда замѣтилъ мою симпатію къ его идеямъ, онъ смѣнилъ гнѣвъ на милость, прощалъ ошибки и рассказывалъ эпизоды 93 года, и какъ онъ уѣхалъ изъ Франціи, когда «развратные и плуты» взяли верхъ. Онъ съ тою же важною, не улыбаясь, оканчивалъ урокъ, но уже снисходительно говорилъ: «Я право думалъ, что изъ васъ ничего не выйдетъ, но ваши благородныя чувства спасутъ васъ».

Къ этимъ педагогическимъ поощреніямъ и симпатіямъ вскорѣ присовокупилась симпатія болѣе теплая и имѣвшая сильное вліяніе на меня.

Въ небольшомъ городкѣ Тверской губерніи жила внучка старшаго брата моего отца. Я ее зналъ съ самыхъ дѣтскихъ лѣтъ, но видались мы рѣдко; она пріѣзжала разъ въ годъ на святки или объ масляницу погостить въ Москву съ своей теткой. Тѣмъ не менѣе мы сблизились. Она была лѣтъ пять старше меня, но такъ мала ростомъ и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбилъ за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человѣчески, т. е. не удивлялась безпрестанно тому, что я выросъ, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочутъ ли въ военную службу и въ какой полкъ, а говорила со мной такъ, какъ люди вообще говорятъ между собой, не оставляя, впрочемъ, докторальный авторитетъ, который дѣвушки любятъ сохранять надъ мальчиками нѣсколько лѣтъ моложе ихъ.

Мы переписывались и очень съ 1824 г., но письма—это опять перо и бумага, опять учебный столъ съ чернильными пятнами и иллюстраціями, вырѣзанными перочиннымъ ножомъ; мнѣ хотѣлось ее видѣть, говорить съ ней о новыхъ идеяхъ, — и потому можно себѣ представить, съ какимъ восторгомъ я услышалъ, что кузина пріѣдетъ въ февралѣ (1826) и будетъ у насъ гостить нѣсколько мѣсяцевъ. Я на своемъ столѣ нацарапалъ числа до ея пріѣзда и смарывалъ прошедшія, иногда намѣренно забывая дни три, чтобъ имѣть удовольствіе разомъ вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго; потомъ и срокъ прошелъ и новый былъ назначенъ, и тотъ прошелъ, какъ всегда бываетъ.

Мы сидѣли разъ вечеромъ съ Иваномъ Евдокимовичемъ въ моей учебной комнатѣ, и Иванъ Евдокимовичъ, по обыкновенію запивая кислыми шами всякое предложеніе, толковалъ о «гекса-метрѣ», страшно рубя на стопы голосомъ и рукой каждый стихъ изъ Гнѣдичевой Илиады; вдругъ на дворѣ снѣгъ завизжалъ какъ-то иначе, чѣмъ отъ городскихъ саней, подвязанный колокольчикъ позванивалъ остаткомъ голоса, говоръ на дворѣ,—я вспыхнулъ въ лицѣ, мнѣ было не до рубленаго гнѣва «Ахиллеса, Пелеева сына»; я бросился стремглавъ въ переднюю, а тверская кузина, закутанная въ шубахъ, шаляхъ, шарфахъ, въ капорѣ и въ бѣлыхъ мохнатыхъ сапогахъ, красная отъ морозу, а можетъ и отъ радости, бросилась меня цѣловать.

Люди обыкновенно вспоминаютъ о первой молодости, о тогдашнихъ печаляхъ и радостяхъ немного съ улыбкой снисхожденія, какъ будто они хотятъ, жеманясь какъ Софья Павловна въ «Горе отъ ума», сказать: «Ребячество!» Словно они стали лучше послѣ; сильнѣе чувствуютъ или больше. Дѣти года черезъ три стыдятся своихъ игрушекъ,—пусть ихъ, имъ хочется быть большими, они такъ быстро растутъ, мѣняются, они это видятъ по курточкѣ и по страницамъ учебныхъ книгъ; а, кажется, совершеннолѣтнимъ можно бы было понять, что «ребячество» съ двумя-тремя годами юности—самая полная, самая изящная, самая *наша* часть жизни, да и чуть-ли не самая важная, она незамѣтно опредѣляетъ все будущее.

Пока человѣкъ идетъ скромнымъ шагомъ впередъ, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришелъ къ оврагу или не сломалъ себѣ шею, онъ все полагаетъ, что его жизнь впереди, свысока смотритъ на прошедшее и не умѣетъ цѣнить настоящаго. Но когда опытъ прибилъ весенніе цвѣты и остудилъ лѣтній румянецъ, когда онъ догадывается, что жизнь—собственно прошла, а осталось ея продолженіе, тогда онъ иначе возвращается: къ свѣтлымъ, къ теплымъ, къ прекраснымъ воспоминаніямъ первой молодости.

Природа съ своими вѣчными уловками и экономическими хитростями *даетъ* юность человѣку, но человѣка сложившагося *беретъ* для себя, она его втягиваетъ, впутываетъ въ ткань общественныхъ и семейныхъ отношеній, въ три четверти не зависящихъ отъ него; онъ, разумѣется, даетъ своимъ дѣйствіямъ свой личный характеръ, но онъ гораздо меньше принадлежитъ себѣ, лирическій элементъ личности ослабленъ, а потому и чувства и наслажденіе—все слабѣе, кромѣ ума и воли.

Жизнь кузины шла не по розамъ. Матери она лишилась ребенкомъ. Отецъ былъ отчаянный игрокъ и, какъ всѣ игроки по крови, десять разъ былъ бѣденъ, десять разъ былъ богатъ, и

кончилъ все-таки тѣмъ, что окончательно разорился. Les beaux restes своего достоянія онъ посвятилъ конскому заводу, на который обратилъ все свои помыслы и страсти. Сынъ его, уланскій юнкеръ, единственный братъ кузины, очень добрый юноша, шелъ прямымъ путемъ къ гибели; девятнадцати лѣтъ онъ уже былъ болѣе страстный игрокъ, нежели отецъ.

Лѣтъ пятидесяти, безъ всякой нужды, отецъ женился на застарѣлой въ дѣвствѣ воспитанницѣ Смольнаго монастыря. Такого полного, совершеннаго типа петербургской институтки мнѣ не случалось встрѣчать. Она была одна изъ отличнѣйшихъ ученицъ и потомъ классной дамой въ монастырѣ; худая, бѣлокурая, подслѣпая, она въ самой наружности имѣла что-то дидактическое и назидательное. Совсе не глухая, она была полна ледяной восторженности на словахъ, говорила готовыми фразами о добродѣтели и преданности, знала на память хронологію и географію, до противной степени правильно говорила по-французски и тайла внутри самолюбіе, доходившее до искусственной, іезуитской скромности. Сверхъ этихъ общихъ чертъ «семинаристовъ въ желтой шали», она имѣла чисто невскія или смольныя. Она поднимала глаза къ небу, полные слезъ, говоря о посѣщеніяхъ ихъ общей матери (императрицы Маріи Феодоровны), была влюблена въ императора Александра и, помнится, носила медальонъ или перстень съ отрывкомъ изъ письма императрицы Елизаветы—*«Il a repris son sourire de bienveillance!»*

Можно себѣ представить стройное trio, составленное изъ отца-игрока, страстнаго охотника до лошадей, цыганъ, шума, пировъ, скачекъ и бѣговъ; дочери, воспитанной въ совершенной независимости, привыкшей дѣлать, что хотѣлось въ домѣ, и ученой дѣвы, вдругъ сдѣлавшейся изъ пожилыхъ наставницъ молодой супругой. Разумѣется, она не любила падчерицу, разумѣется, что падчерица ее не любила. Вообще между женщинами тридцати-пяти лѣтъ и дѣвушками семнадцати только тогда бываетъ большая дружба, когда первыя самоотверженно рѣшаются не имѣть пола.

Я нисколько не удивляюсь обыкновенной враждѣ между падчерицами и мачихами, она естественна, она нравственна. Новое лицо, вводимое вмѣсто матери, вызываетъ со стороны дѣтей отвращеніе. Второй бракъ—вторые похороны для нихъ. Въ этомъ чувствѣ ярко выражается дѣтская любовь, она шепчетъ сиротамъ: «Жена твоего отца вовсе не твоя мать». Христіанство сначала понимало, что съ тѣмъ понятіемъ о бракѣ, которое оно развивало, съ тѣмъ понятіемъ о безсмертіи души, которое оно проповѣдывало, второй бракъ вообще нелѣпость; но дѣлая постоянно уступки міру, церковь перехитрила и встрѣтилась съ неумолимой логикой жизни — съ простымъ дѣтскимъ сердцемъ, практически возстав-

шимъ противъ благочестивой нелѣпости считать подругу отца своей матерью.

Съ своей стороны и женщина, встрѣчающая, выходя изъ-подъ вѣнца, готовую семью, дѣтей, находится въ неловкомъ положеніи; ей нечего съ ними дѣлать, она должна натянуть чувства, которыхъ не можетъ имѣть, она должна увѣрить себя и другихъ, что чужія дѣти ей такъ же милы, какъ свои.

Я, стало-быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за ихъ взаимную нелюбовь, но понимаю, какъ молодая дѣвушка, не привыкнутая къ дисциплинѣ, рвалась куда бы то ни было на волю изъ родительскаго дома. Отецъ, начинавшій стариться, больше и больше покорялся ученой супругѣ своей; уланъ, братъ ея, шалилъ хуже и хуже, словомъ—дома было тяжело, и она, наконецъ, склонила мачиху отпустить ее на нѣсколько мѣсяцевъ, а можетъ и на годъ, къ намъ.

На другой день послѣ приѣзда, кузина ниспровергла весь порядокъ моихъ занятій, кромѣ уроковъ; самодержавно назначила часы для общаго чтенія, не совѣтовала читать романы, а рекомендовала Сегюрову всеобщую исторію и Анахарисово путешествіе. Съ стоической точки зрѣнія противоудѣйствовала она сильнымъ наклонностямъ моимъ курить тайкомъ табакъ, завертывая его въ бумажку (тогда папиросы еще не существовали); вообще она любила мнѣ читать морали,—если я ихъ не исполнялъ, то мирно выслушивалъ. По счастью, у нея не было выдержки, и, забывая свои распоряженія, она читала со мной повѣсти Цшоке, вмѣсто археологическаго романа, и посылала тайкомъ мальчика покупать зимой гречневика и гороховой кисель съ постнымъ масломъ, а лѣтомъ крыжовникъ и смородину.

Я думаю, что вліяніе кузины на меня было очень хорошо; теплый элементъ взошелъ съ нею въ мое келейное отрочество, отогрѣлъ, а, можетъ, и сохранилъ едва развертывавшіяся чувства, которыя очень могли быть совѣмъ подавлены ироніей моего отца. Я научился быть внимательнымъ, огорчаться отъ одного слова, заботиться о другѣ, любить; я научился говорить о чувствахъ. Она поддержала во мнѣ мои политическія стремленія, пророчила мнѣ необыкновенную будущность, славу,—и я съ ребячьимъ самолюбіемъ вѣрилъ ей, что я будущій «Брутъ или Фабрицій».

Мнѣ одному она довѣрила тайну любви къ одному офицеру Александрійскаго гусарскаго полка, въ черномъ ментикѣ и въ черномъ долманѣ; это была дѣйствительная тайна, потому что и самъ гусаръ никогда не подозрѣвалъ, командуя своимъ эскадронъ, какой чистой огонекъ теплился для него въ груди восемнадцатилѣтней дѣвушки. Не знаю, завидовалъ ли я его судьбѣ, вѣроятно немножко, но я былъ гордъ тѣмъ, что она избрала меня

своимъ повѣреннымъ, и воображалъ (по Вертеру), что это одна изъ тѣхъ трагическихъ страстей, которая будетъ имѣть великую развязку, сопровождаемую самоубійствомъ, ядомъ и кинжаломъ; мнѣ даже приходило въ голову идти къ нему и все рассказать.

Кузина привезла изъ Корчевы воланы; въ одинъ изъ волановъ была воткнута булавка, и она никогда не играла другимъ, и всякій разъ, когда онъ попадался мнѣ или кому-нибудь, брала его, говоря, что она очень къ нему привыкла. Демонъ *espièglerie*, который всегда былъ моимъ злымъ искусителемъ, паустилъ меня перемѣнить булавку, т. е. воткнуть ее въ другой воланъ. Шалость вполне удалась, кузина постоянно брала тотъ, въ которомъ была булавка. Недѣли черезъ двѣ я ей сказалъ: она перемѣнилась въ лицѣ, залилась слезами и ушла къ себѣ въ комнату. Я былъ испуганъ, несчастенъ и, подождавъ съ полчаса, отправился къ ней; комната была заперта, я просилъ отпереть дверь, кузина не пускала, говорила, что она больна, что я не другъ ей, а бездушный мальчикъ. Я написалъ ей записку, умолялъ простить меня; послѣ чая мы помирились, я у ней поцѣловалъ руку, она обняла меня и тутъ объяснила всю важность дѣла. Годъ тому назадъ гусарь обѣдалъ у нихъ и послѣ обѣда игралъ съ ней въ воланъ, его-то воланъ и былъ отмѣченъ. Меня угрызала совѣсть, я думалъ, что я сдѣлалъ истинное святотатство.

Кузина оставалась до октября мѣсяца. Отецъ звалъ ее назадъ и общалъ черезъ годъ отпустить ее къ намъ въ Васильевское. Мы съ ужасомъ ждали разлуки, и вотъ однимъ осеннимъ днемъ пріѣхала за пей бричка и горничная ея понесла класть кузовки и картоны, наши люди уложили всякихъ дорожныхъ припасовъ на цѣлую недѣлю, толпились у подъѣзда и прощались. Крѣпко обнялись мы, она плакала и я плакалъ, бричка выѣхала на улицу, повернула въ переулочъ возлѣ того самаго мѣста, гдѣ продавали гречневика и гороховой кисель, и исчезла; я походилъ по двору, — такъ что-то холодно и дурно; взошелъ въ свою комнату, — и тамъ будто пусто и холодно, принялся готовить урокъ Ивану Евдокимовичу, а самъ думалъ, гдѣ-то теперь кибитка, прѣхала заставу или нѣтъ?

Одно меня утѣшало: въ будущемъ іюнѣ вмѣстѣ въ Васильевскомъ!

Для меня деревня была временемъ воскресенія, я страстно любилъ деревенскую жизнь. Лѣса, поля и воля вольная, — все это мнѣ было такъ ново, выросшему въ хлопкахъ, за каменными стѣнами, не смѣя выйти ни подъ какимъ предлогомъ за ворота безъ спроса и безъ сопровожденія лакея.

«Ѣдемъ мы нынѣшній годъ въ Васильевское, или нѣтъ?» Вопросъ этотъ сильно занималъ меня съ весны. Отецъ мой всякій разъ говорилъ, что въ этомъ году онъ уѣдетъ рано, что ему хо-

чется видѣть, какъ распускается листь, и никогда не могъ обратиться прежде іюля. Иной годъ онъ такъ опаздывалъ, что мы совсѣмъ не ѣздили. Въ деревню писалъ онъ всякую зиму, чтобъ домъ былъ готовъ и протопленъ, но это дѣлалось больше по глубокимъ политическимъ соображеніямъ, нежели серьезно, для того, чтобъ староста и земскій, боясь близкаго пріѣзда, внимательнѣе смотрѣли за хозяйствомъ.

Кажется, что ѣдемъ. Отецъ мой говорилъ Сенатору, что очень хотѣлось бы ему отдохнуть въ деревнѣ и что хозяйство требуетъ его присмотра, но опять проходили недѣли.

Мало по малу дѣло становилось вѣроятнѣе, запасы начинали отправляться, сахаръ, чай, разная крупа, вино,—тутъ снова пауза, и, наконецъ, приказъ старостѣ, чтобъ къ такому-то дню прислалъ столько-то крестьянскихъ лошадей. Итакъ, ѣдемъ, ѣдемъ!

Я не думалъ тогда, какъ была тягостна для крестьянъ въ самую рабочую пору потеря четырехъ или пяти дней, радовался отъ души и торопился укладывать тетради и книги. Лошадей приводили, я съ внутреннимъ удовольствіемъ слушалъ ихъ жеваніе и фырканіе на дворѣ и принималъ большое участіе въ суетѣ кучеровъ, въ спорахъ людей о томъ, гдѣ кто сядетъ, гдѣ кто положить свои пожитки; въ людской огонь горѣлъ до самаго утра и всѣ укладывались, таскали съ мѣста на мѣсто мѣшки и мѣшочки и одѣвались по-дорожному (ѣхать всего было около восьмидесяти верстъ). Всего болѣе раздраженъ былъ камердинеръ моего отца; онъ чувствовалъ всю важность укладки, съ ожесточеніемъ выбрасывалъ все положенное другими, рвалъ себѣ волосы на головѣ отъ досады и былъ неприступенъ.

Отецъ мой вовсе не раньше вставалъ на другой день, казалось даже позже обыкновеннаго, также продолжительно пилъ кофе и, наконецъ, часовъ въ одиннадцать приказывалъ закладывать лошадей. За четверомѣстной каретой, заложеной шестью господскими лошадьми, ѣхали три, иногда четыре повозки: коляска, бричка, фура или, вмѣсто ея, двѣ телѣги; все это было наполнено дворовыми и пожитками, несмотря на обозы, прежде отправленные,—все было биткомъ набито, такъ что никому нельзя было порядочно сидѣть.

На полдорогѣ мы останавливались обѣдать и кормить лошадей въ большомъ селѣ Перхушковѣ, имя котораго попало въ наполеоновскіе бюллетени. Село это принадлежало сыну «старшаго брата», о которомъ мы говорили при раздѣлѣ. Запущенной барскій домъ стоялъ на большой дорогѣ, окруженной плоскими безотрадными полями; но мнѣ и эта пыльная даль очень нравилась послѣ городской тѣсноты. Въ домѣ покоробленные полы и ступени лѣстницы качались, шаги и звуки раздавались рѣзко, стѣны вторили имъ будто съ удивленіемъ. Старинная мебель изъ кунстѣ-

камеры прежняго владѣльца доживала свой вѣкъ въ этой ссылкѣ; а съ любопытствомъ бродилъ изъ комнаты въ комнату, ходилъ вверхъ, ходилъ внизъ, отправлялся въ кухню. Тамъ нашъ поваръ приготовлялъ наскоро дорожный обѣдъ съ недовольнымъ и ироническимъ видомъ. Въ кухнѣ сидѣлъ обыкновенно бурмистръ, сѣдой старикъ съ шишкой на головѣ; поваръ, обращаясь къ нему, критиковалъ плиту и очагъ, бурмистръ слушалъ его и по временамъ лаконически отвѣчалъ: «И то—пожалуй, что и такъ» и невесело посматривалъ на всю эту тревогу, думая, когда нелегкая ихъ пронесетъ.

Обѣдъ подавался на особенномъ англійскомъ сервизѣ изъ жести или изъ какой-то композиціи, купленномъ ad hoc. Между тѣмъ лошади были заложены; въ передней и въ сѣняхъ собирались охотники до придворныхъ встрѣчъ и проводовъ: лакеи, оканчивающіе жизнь на хлѣбѣ и чистомъ воздухѣ, старухи, бывшія смазливыми горничными лѣтъ тридцать тому назадъ, вся эта саранча господскихъ домовъ, поѣдающая крестьянскій трудъ безъ собственной вины, какъ настоящая саранча. Съ ними приходили дѣти съ свѣтлопалевыми волосами; босыя и запачканныя, они все совались впередъ, старухи все ихъ дергали назадъ; дѣти кричали, старухи кричали на нихъ, ловили меня при всякомъ случаѣ и всякій годъ удивлялись, что я такъ выросъ. Отецъ мой говорилъ съ ними нѣсколько словъ; одни подходили къ *ручкѣ*, которую онъ никогда не давалъ, другіе кланялись,—и мы уѣзжали.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Вяземы князя Голицына дождался васильевскій староста, верхомъ, на опушкѣ лѣса и проводжалъ проселкомъ. Въ селѣ, у господскаго дома, къ которому вела длинная липовая аллея, встрѣчалъ священникъ, его жена, причетники, дворовые, нѣсколько крестьянъ и дуракъ Пронька, который одинъ чувствовалъ человѣческое достоинство, не снималъ засаленной шляпы, улыбался, стоя нѣсколько поодаль, и давалъ стрѣчка, какъ только кто-нибудь изъ городскихъ хотѣлъ подойти къ нему.

Я мало видалъ мѣстъ изящнѣе Васильевского. Кто знаетъ Кунцово и Архангельское Юсупова, или имѣніе Лопухина противъ Савина монастыря, тому довольно сказать, что Васильевское лежитъ на продолженіи того же берега, верстъ тридцать отъ Савина монастыря. На отлогой сторонѣ—село, церковь и старый господскій домъ. По другую сторону—гора и небольшая деревенька, тамъ построилъ мой отецъ новый домъ. Видъ изъ него обнималъ верстъ пятнадцать кругомъ: озера нивъ, колеблясь, стлались безъ конца; разныя усадьбы и села съ бѣлѣющими церквями видны были тамъ-сямъ; лѣса разныхъ цвѣтовъ дѣлали полукруглую раму, и черезъ все—голубая тесьма Москвы-рѣки. Я открывалъ окно рано утромъ въ своей комнатѣ наверху и смотрѣлъ, и слушалъ, и дышалъ.

При всемъ томъ мнѣ было жаль старый каменный домъ, можетъ, оттого, что я въ немъ встрѣтился въ первый разъ съ деревней; и такъ любилъ длинную, тѣнистую аллею, которая вела къ нему, и одичалый садъ возлѣ; домъ разваливался, и изъ одной трещины въ сѣняхъ росла тоненькая, стройная береза. Налѣво по рѣкѣ шла ивовая аллея, за нею тростникъ и бѣлый песокъ до самой рѣчки; на этомъ пескѣ и въ этомъ тростникѣ игрывалъ я, бывало, цѣлое утро—лѣтъ одиннадцати, двѣнадцати. Передъ домомъ сиживалъ почти всегда сгорбленный старикъ, садовникъ, троилъ мяную воду, отваривалъ ягоды и тайкомъ кормилъ меня всякой овощью. Въ саду было множество воронъ; гнѣзда ихъ покрывали макушки деревьевъ, онѣ кружились около нихъ и каркали; иногда особенно къ вечеру, онѣ вспархивали цѣлыми сотнями, шумя и поднимая другихъ; иногда, одна какая-нибудь перелетитъ наскоро съ дерева на дерево, и все затихнетъ... А къ ночи издали гдѣ-то сова то плачетъ, какъ ребенокъ, то заливается хохотомъ... Я боялся этихъ дикихъ, плачевныхъ звуковъ, а все-таки ходилъ ихъ слушать.

Каждый годъ или, по крайней мѣрѣ, черезъ годъ ѣздили мы въ Васильевское. Я, уѣзжая, мѣтилъ на стѣнѣ возлѣ балкона мой ростъ, и тотчасъ отправлялся свидѣтельствовать, сколько меня прибыло. Но я могъ деревней мѣрить не одинъ физическій ростъ: періодическія возвращенія къ тѣмъ же предметамъ наглядно показывали разницу внутренняго развитія. Другія книги привозились, другіе предметы занимали. Въ 1823 я еще совсѣмъ былъ ребенкомъ, со мной были дѣтскія книги, да и тѣхъ я не читалъ, а занимался всего больше зайцемъ и векшей, которые жили въ чуланѣ возлѣ моей комнаты. Одно изъ главныхъ наслажденій состояло въ разрѣшеніи моего отца каждый вечеръ разъ выстрѣлить изъ фальконета, причемъ, само собою разумѣется, вся дворня была занята, и пятидесятилѣтніе люди съ просѣдью такъ же тѣшились, какъ я. Въ 1827 я привезъ съ собою Плутарха и Шиллера; рано утромъ уходилъ я въ лѣсъ, въ чащу, какъ можно дальше; тамъ ложился подъ дерево и, воображая, что это Богемскіе лѣса, читалъ самъ себѣ вслухъ; тѣмъ не меньше, еще плотина, которую я дѣлалъ на небольшомъ ручьѣ съ помощью одного дворянаго мальчика, меня очень занимала, и я въ день десять разъ бѣгалъ ее осматривать и поправлять. Въ 1829—30 годахъ я писалъ *философскую* статью о шиллеровомъ Валленштейнѣ, и изъ прежнихъ пгръ удержался въ силѣ одинъ фальконетъ.

Впрочемъ, сверхъ палбы еще другое наслажденіе осталось моей неизмѣнной страстью—сельскіе вечера; они и теперь, какъ тогда, остались для меня минутами благочестія, тишины и поэзіи. Одна изъ послѣднихъ кротко-свѣтлыхъ минутъ въ моей жизни тоже напоминаетъ мнѣ сельскій вечеръ. Солнце опускалось

торжественно, ярко въ океанъ огня, распускалось въ немъ... Вдругъ густой пурпуръ смѣнился синей темнотою; все подернулось дымчатымъ испареніемъ, въ Италіи сумерки начинаются быстро. Мы сѣли на муловъ; по дорогѣ изъ Фраскати въ Римъ надобно было проѣзжать небольшою деревенькой; кой-гдѣ уже горѣли огоньки, все было тихо, копыта муловъ звонко постукивали по камню, свѣжій и нѣсколько сырой вѣтеръ подувалъ съ Апеннинъ. При выѣздѣ изъ деревни въ нишѣ стояла небольшая мадонна, передъ нею горѣлъ фонарь; крестьянскія дѣвушки, шедшія съ работы, покрытыя своимъ бѣлымъ убрусомъ на головѣ, опустились на колѣна и заплѣли молитву, къ нимъ присоединились шедшіе мимо нищіе пиферари; я былъ глубоко потрясенъ, глубоко тронутъ. Мы посмотрѣли другъ на друга... и тихимъ шагомъ поѣхали къ остеріи, гдѣ насъ ждала коляска. Ъхавши домой, я рассказывалъ о вечерахъ въ Васильевскомъ. А что рассказывать?

Дерева сада

Стояли тихо. По холмамъ
Тянулась сельская ограда,
И расходилось по домамъ
Уныло медленное стадо.

(Юморъ).

... Пастухъ хлопаетъ длиннымъ бичемъ да играетъ на берестовой дудкѣ; мычанье, бляенье, топанье по мосту возвращающагося стада, собака подгоняетъ лаемъ разсѣянную овцу и та бѣжитъ какимъ-то деревяннымъ курць-галопомъ; а тутъ пѣсни крестьянокъ, идущихъ съ поля, все ближе и ближе; но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Изъ домовъ, скрипя воротами, выходятъ дѣти, дѣвочки—встрѣчаютъ своихъ коровъ, барановъ, работа кончилась. Дѣти играютъ на улицѣ, у берега, и ихъ голоса раздаются пронзительно-чисто по рѣкѣ и по вечерней зарѣ; къ воздуху примѣшивается паленый запахъ овиповъ, роса начинаетъ исподволь стлать дымомъ по полю, надъ лѣсомъ вѣтеръ какъ-то ходитъ вслухъ, словно листъ закипаетъ, а тутъ зарница дрожа освѣтитъ замирающей, трепетной лазурью окрестности, и Вѣра Артамоновна, больше ворча, нежели сердясь, говоритъ, найдя меня подъ липой:

— «Что это васъ нигдѣ не сыщешь, и чай давно поданъ и всѣ въ сборѣ, я уже искала, искала васъ, ноги устали, не подь лѣта мнѣ бѣгать; да и что это на сырой травѣ лежать?... Вотъ будетъ завтра насморкъ, непременно будетъ».

— Ну, полноте, полноте, говорилъ я смѣясь старушкѣ, и насморку не будетъ, и чаю я не хочу, а вы мнѣ украдѣте сливокъ получше съ самаго верху.

— «Въ самомъ дѣлѣ, ужъ какой вы, на васъ и сердиться нельзя... Лакомство какое! сливки-то я уже и безъ вашего спроса приготовила. А вотъ зарница... хорошо! это къ хлѣбу зарить».

И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой.

Послѣ 1832 года мы не ѣздили больше въ Васильевское. Въ продолженіе моей ссылки, мой отецъ продалъ его. Въ 1843 году мы жили въ другой подмосковной, въ Звенигородскомъ уѣздѣ, верстѣ двадцать отъ Васильевского. Какъ же было не съѣздить на старое пепелище. И вотъ, мы опять ѣдемъ тѣмъ же проселкомъ; открывается знакомый боръ и гора, покрытая орѣшникомъ, а тутъ и бродъ черезъ рѣку; этотъ бродъ, приводившій меня двадцать лѣтъ тому назадъ въ восторгъ—вода брызжетъ, мелкіе камни хрустятъ, кучера кричатъ, лошади упираются... Ну вотъ и село, и домъ священника, гдѣ онъ сживалъ на лавочкѣ въ буромъ подрясникѣ, простодушный, добрый, рыжеватый, вѣчно въ поту, всегда что-нибудь прикусывавшій и постоянно одержимый икотой; вотъ и канцелярія, гдѣ земскій Василій Епифановъ, никогда не бывшій трезвымъ, писалъ свои отчеты, скорчившись надъ бумагой, и держа перо у самаго конца, круто подогнувши третій палецъ подъ него. Священникъ умеръ, Василій Епифановъ пишетъ отчеты и напивается въ другой деревнѣ. Мы остановились у старостихи, мужъ ея былъ на полѣ.

Что-то чужое прошло тутъ въ эти десять лѣтъ; вмѣсто нашего дома на горѣ стоялъ другой, около него былъ разбитъ новый садъ. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встрѣтили какое-то уродливое существо, тащившееся почти на четверенькахъ; оно мнѣ показывало что-то, я подошелъ, — это была горбатая и разбитая параличемъ полуюродивая старуха, жившая подаянїемъ и работавшая въ огородѣ прежняго священника; ей было тогда уже лѣтъ около семидесяти и ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала: «Охъ, уже и ты-то какъ состарился, я по поступи тебя только узнала, а я—ужъ, я-то—о, о, охъ—и не говори!»

Когда мы ѣхали назадъ, я увидѣлъ издали на полѣ старосту, того же, который былъ при насъ; онъ сначала не узналъ меня, но когда мы проѣхали, онъ, какъ бы спохватившись, снялъ шляпу и низко кланялся. Проѣхавъ еще нѣсколько, я обернулся, староста Григорій Горскій все еще стоялъ на томъ же мѣстѣ и смотрѣлъ намъ вслѣдъ; его высокая, бородатая фигура, кланяющаяся середь нивы, знакомо проводила насъ изъ отчуждившагося Васильевского.

ГЛАВА IV.

Никъ и Воробьевы горы.

«Напиши тогда, какъ въ этомъ мѣстѣ (на Воробьевыхъ горахъ) развилась исторія нашей жизни, т. е. моей и твоей».

Письмо 1833.

Года за три до того времени, о которомъ идетъ рѣчь, мы гуляли по берегу Москвы-рѣки въ Лужникахъ, т. е. по другую сторону Воробьевыхъ горъ. У самой рѣки мы встрѣтили знакомаго намъ француза-гувернера въ одной рубашкѣ, онъ былъ перепуганъ и кричалъ: «тонетъ! тонетъ!» Но прежде, нежели нашъ пріятель успѣлъ снять рубашку или надѣть панталоны, уральскій казакъ сбѣжалъ съ Воробьевыхъ горъ, бросился въ воду, исчезъ и черезъ минуту явился съ тщедушнымъ человѣкомъ, у котораго голова и руки болтались, какъ платье, вывѣшенное на вѣтеръ; онъ положилъ его на берегъ, говоря: «еще отходится, стоять покачать».

Люди, бывшіе около, собрали рублей пятьдесятъ и предложили казаку. Казакъ безъ ужимокъ очень простодушно сказалъ: «Грѣшно за эдакое дѣло деньги брать и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочемъ, прибавилъ онъ, мы люди бѣдные, просить не просимъ, ну, а коли даютъ — отчего не взять, покорнѣйше благодаримъ». Потомъ, завязавши деньги въ платокъ, онъ пошелъ пасти лошадей на гору.

Мой отецъ спросилъ его имя и написалъ на другой день о бывшемъ Эсену. Эссенъ произвелъ его въ урядники. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ явился къ намъ казакъ и съ нимъ надушенный, рябой, лысый, въ завитой бѣлокурой надкладкѣ нѣмецъ: онъ пріѣхалъ благодарить за казака, это былъ утопленникъ. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ бывать у насъ.

Карль Ивановичъ Зоненбергъ оканчивалъ тогда нѣмецкую часть воспитанія какихъ-то двухъ повѣсь, отъ нихъ онъ перешелъ къ одному симбирскому помѣщику, отъ него къ дальнему родственнику моего отца. Мальчикъ, котораго физическое здоровье и германское произношеніе было ему ввѣрено и котораго Зоненбергъ называлъ Никомъ, мнѣ нравился, въ немъ было что-то доброе, кроткое и задумчивое; онъ вовсе не походилъ на другихъ мальчиковъ, которыхъ мнѣ случалось видѣть, тѣмъ не менѣе сблизались мы туго. Онъ былъ молчаливъ, задумчивъ; я рѣзовъ, но боялся его тормозить.

Около того времени, какъ тверская кузина уѣхала въ Корчеву, умерла бабушка Ника, матери онъ лишился въ первомъ дѣтствѣ. Въ ихъ домѣ была суета, и Зоненбергъ, которому нечего было дѣлать, тоже хлопоталъ и представлялъ, что сбить съ ногъ; онъ привелъ Ника съ утра къ намъ и просилъ его на весь день оставить у насъ. Никъ былъ грустенъ, испуганъ; вѣроятно, онъ любилъ бабушку. Онъ такъ поэтически вспомнилъ ее потомъ:

И вотъ теперь въ вечерней часъ
Заря блеститъ стезею длинной,
Я вспоминаю, какъ у насъ
Давно обычай былъ старинной,
Предъ воскресеньемъ каждый разъ
Ходилъ къ намъ попъ сѣдой и чинной
И передъ образомъ святымъ
Молился съ причетомъ своимъ.

Старушка бабушка моя,
На креслахъ опершись, стояла,
Молитву шепотомъ твоя,
И четки все перебирала;
Въ дверяхъ знакомая семья
Дворовыхъ лицъ мольбѣ внимала,
И въ землю кланялись они,
Прося у Бога долги дни.

А блескъ вечерней по окнамъ
Межъ тѣмъ горѣлъ....
По залѣ изъ кадила дымъ
Носился клубомъ голубымъ.

И все такую тишиной
Кругомъ дышало, только чтение
Дьячковъ звучало, и съ душой
Дружилось тайное стремленье,
И смутно съ дѣтскою мечтой
Ужъ грусти тихой ощущенье
Я бессознательно сближалъ,
И все чего-то такъ желать.

Юморъ.

..... Посидѣвши немного, я предложилъ читать Шиллера. Меня удивляло сходство нашихъ вкусовъ; онъ зналъ на память гораздо больше, чѣмъ я, и зналъ именно тѣ мѣста, которыя мнѣ такъ нравились; мы сложили книгу и выпытывали, такъ сказать, другъ въ другѣ симпатію.

Ненапечатанные стихи Пушкина и Рылѣева были и ему извѣстны; разница съ пустыми мальчиками, которыхъ я изрѣдка встрѣчалъ, была разительна. У него сердце такъ же билось, какъ у меня; онъ также отчалилъ отъ угрюмаго консервативнаго бе-

рега, стоило дружнѣе отпихиваться, и мы, чуть ли не въ первый день, рѣшили дѣйствовать въ пользу цесаревича *Константина*.

Прежде мы имѣли мало долгихъ бесѣдъ. Карлъ Ивановичъ мѣшалъ, какъ осенняя муха, и портилъ всякой разговоръ своимъ присутствіемъ, во все мѣшался, ничего не понимая, дѣлалъ замѣчанія, поправлялъ воротникъ рубашки у Ника, торопился домой, словомъ, былъ очень противенъ. Черезъ мѣсяць мы не могли провести двухъ дней, чтобъ не увидѣться, или не написать письмо; я съ порывистостью моей натуры привязывался больше и больше къ Нику, онъ тихо и глубоко любилъ меня.

Дружба наша должна была съ самаго начала принять характеръ серьезный. Я не помню, чтобъ шалости занимали насъ на первомъ планѣ, особенно когда мы были одни. Мы, разумѣется, не сидѣли съ нимъ на одномъ мѣстѣ, лѣта брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зоненберга и стрѣляли на нашемъ дворѣ изъ лука; но основа всего была очень далека отъ пустого товарищества; насъ связывала, сверхъ равенства лѣтъ, сверхъ нашего «химическаго» сродства, наша общая религія. Ничего въ свѣтѣ не очищаетъ, не облагораживаетъ такъ отроческій возрастъ, не хранить его, какъ сильно возбужденный общечеловѣчскій интересъ. Мы уважали въ себѣ наше будущее, мы смотрѣли другъ на друга, какъ на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили съ Никомъ за городъ; у насъ были любимыя мѣста—Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Онъ приходилъ за мной съ Зоненбергомъ часовъ въ шесть или семь утра и, если я спалъ, бросалъ въ мое окно песокъ и маленькіе камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти къ нему.

Раннія прогулки эти завелъ неутомимый Карлъ Ивановичъ.

Зоненбергъ въ помѣщичьи-патріархальномъ воспитаніи Огарева играетъ роль Бирона. Съ его появленіемъ вліяніе старика дядьки было устранено; скрѣпя сердце, молчала недовольная олигархія передней, понимая, что проклятаго нѣмца, кушающаго за господскимъ столомъ, не пересилишь. Круто измѣнилъ Зоненбергъ прежніе порядки; дядька даже прослезился, узнавъ, что нѣмчура повелъ молодого барина *самого* покупать въ лавки готовые сапоги. Переворотъ Зоненберга такъ же, какъ переворотъ Петра I, отличался военнымъ характеромъ въ дѣлахъ самыхъ мирныхъ. Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы худенькія плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погономъ или эполетами,—но природа такъ устроила нѣмца, что если онъ не доходитъ до неряшества и *sans gêne* филологіей или теологіей, то какой бы онъ ни былъ статскій, все-таки онъ военный. Въ силу этого и Карлъ Ивановичъ любилъ и узкія платья, застегнутыя и съ перехватомъ, въ силу

этого и онъ былъ строгій блюститель собственныхъ правилъ и, положивши вставать въ шесть часовъ утра, поднималъ Ника въ 59 минутъ шестого и никакъ не позже одной минуты седьмого и отправлялся съ нимъ на чистый воздухъ.

Воробьевы горы, у подножія которыхъ тонулъ Карлъ Ивановичъ, скоро сдѣлались нашими «святыми холмами».

Разъ послѣ обѣда, отецъ мой собрался ѣхать за городъ. Огаревъ былъ у насъ, онъ пригласилъ и его съ Зоненбергомъ. Поѣздки эти были не шуточными дѣлами. Въ четверомѣстной каретѣ «работы Іохима», что не мѣшало ей въ пятнадцатилѣтнюю, хотя и покойную, службу состарѣться до безобразія и быть по-прежнему тяжелѣе осадной мортиры, до заставы надобно было ѣхать часъ или больше. Четыре лошади разнаго роста и не одного цвѣта, облѣнившіяся въ праздной жизни и наѣвшія себѣ животы, покрывались черезъ четверть часа потомъ и мыломъ; это было *запрещено* кучеру Авдѣю, и ему оставалось ѣхать шагомъ. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жаръ ни былъ; и ко всему этому, рядомъ съ равномѣрно-гнетущимъ надзоромъ моего отца, безпокойно суетливый, тормошащій надзоръ Карла Ивановича; но мы охотно подвергались всему, чтобъ быть вмѣстѣ.

Въ Лужникахъ мы переѣхали на лодкѣ Москву-рѣку на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ казакъ вытащилъ изъ воды Карла Ивановича. Отецъ мой, какъ всегда, шелъ угрюмо и сгорбившись; возлѣ него мелкими шажками сѣменялъ Карлъ Ивановичъ, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли отъ нихъ впередъ и, далеко опередивши, взбѣжали на мѣсто закладки Витбергова храма, на Воробьевыхъ горахъ.

Запахавшись и раскраснѣвшись, стояли мы тамъ, обтирая потъ. Садилось солнце, купола блестѣли, городъ стлался на необозримое пространство подъ горой, свѣжій вѣтерокъ подувалъ на насъ; постояли мы, постояли, оперлись другъ на друга и, вдругъ обнявшись, присягнули, въ виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта можетъ показаться очень натянутой, очень театральной, а между тѣмъ, черезъ двадцать шесть лѣтъ, я тронуть до слезъ, вспоминая ее: она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но видно одинакая судьба поражаетъ всѣ обѣты, данные на этомъ мѣстѣ; Александръ былъ тоже искрененъ, положивши первый камень храма, который, какъ Іосифъ II сказалъ, и притомъ ошибочно, при закладкѣ какого-то города въ Новороссіи, — сдѣлался послѣднимъ.

Мы не знали всей силы того, съ чѣмъ вступали въ бой, но бой приняли. *Сила* сломила въ насъ многое, но не она насъ сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на всѣ ея удары. Руб-

цы, полученные отъ нея, почетны, свихнутая нога Іакова была знаменіемъ того, что онъ боролся ночью съ Богомъ.

Съ этого дня Воробьевы горы сдѣлались для насъ мѣстомъ богомолья, и мы въ годъ разъ или два ходили туда, и всегда одни. Тамъ спрашивалъ меня Огаревъ, пять лѣтъ спустя, робко и застѣнчиво, вѣрю ли я въ его поэтическій талантъ, и писалъ мнѣ потомъ (1833) изъ своей деревни: «Выѣхалъ я, и мнѣ стало грустно, такъ грустно, какъ никогда не бывало. А все Воробьевы горы. Долго я самъ въ себѣ тайлъ восторги; застѣнчивость или что-нибудь другое, чего я и самъ не знаю, мѣшало мнѣ высказать ихъ, но на Воробьевыхъ горахъ этотъ восторгъ не былъ отягченъ одиночествомъ, ты раздѣлялъ его со мной, и эти минуты незабвенны, онѣ, какъ воспоминанія о быломъ счастьи, преслѣдовали меня дорогой, а вокругъ я только видѣлъ лѣсъ; все было такъ синѣ, синѣ, а на душѣ темно, темно».

«Напиши, заключалъ онъ, какъ въ этомъ мѣстѣ (на Воробьевыхъ горахъ) развидась исторія нашей жизни, т. е. моей и твоей».

Прошло еще пять лѣтъ, я былъ далеко отъ Воробьевыхъ горъ, но возлѣ меня угрюмо и печально стоялъ ихъ Прометей—А. Л. Витбергъ. Въ 1842, возвратившись окончательно въ Москву, я снова посѣтилъ Воробьевы горы, мы опять стояли на мѣстѣ закладки, смотрѣли на тотъ же видъ, и также вдвоемъ,—но не съ Никомъ.

Съ 1827 мы не разлучались. Въ каждомъ воспоминаніи того времени, отдѣльномъ и общемъ, вездѣ на первомъ планѣ онъ съ своими отроческими чертами, съ своей любовью ко мнѣ. Рано виднѣлось въ немъ то помазаніе, которое достается немногимъ, на бѣду ли, на счастье ли, не знаю, но навѣрное на то, чтобъ не быть въ толпѣ. Въ домѣ у его отца долго потомъ оставался большой писанный масляными красками портретъ Огарева того времени (1827—28 года). Впослѣдствіи часто останавливался я передъ нимъ и долго смотрѣлъ на него. Онъ представленъ съ раскинутымъ воротникомъ рубашки; живописецъ чудно схватилъ богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильныхъ чертъ и нѣсколько смуглый колоритъ; на холстѣ виднѣлась задумчивость, предваряющая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвѣчивали изъ сѣрыхъ большихъ глазъ, намекая на будущій ростъ великаго духа; такимъ онъ и выросъ. Портретъ этотъ, подаренный мнѣ, взяла чужая женщина; можетъ, ей попадутся эти строки, и она его пришлетъ мнѣ.

Я не знаю, почему даютъ какой-то монополь воспоминаніямъ первой любви надъ воспоминаніями молодой дружбы. Первая любовь потому такъ благоуханна, что она забываетъ различіе по-

ловъ, что она страстная дружба. Съ своей стороны дружба между юношами имѣеть всю горячность любви и весь ея характеръ, та же застѣнчивая боязнь касаться словомъ своихъ чувствъ, то же недовѣріе къ себѣ, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желаніе исключительности.

Я давно любилъ и любилъ страстно Ника, но не рѣшался назвать его «другомъ», и когда онъ жилъ лѣтомъ въ Кунцовѣ, я писалъ ему въ концѣ письма: «Другъ вашъ или нѣтъ, еще не знаю». Онъ первый сталъ мнѣ писать *ты* и называлъ меня своимъ. Агатономъ по Карамзину, а я звалъ его моимъ Рафаиломъ по Шиллеру ¹⁾.

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, такъ, какъ улыбаются, думая о своемъ пятнадцатомъ годѣ. Или не лучше ли призадуматься надъ своимъ: «Таковъ ли былъ я, расцвѣтая?» и благословить судьбу, если у васъ *была* юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у васъ былъ тогда другъ.

Языкъ того времени намъ сдастся натянутымъ, книжнымъ; мы отучились отъ его неустоявшейся восторженности, нестройпаго одушевленія, смѣняющагося вдругъ то томной нѣжностью, то дѣтскимъ смѣхомъ. Онъ былъ бы смѣшонъ въ тридцатилѣтнемъ человѣкѣ, какъ знаменитое *Betina will schlafen*, но въ свое время этотъ отроческій языкъ, этотъ *jargon de la puberté*, эта перемежна психическаго голоса—очень откровенны, даже книжный отгѣпокъ естествененъ возрасту теоретическаго знанія и практическаго невѣжества.

Шиллеръ остался нашимъ любимцемъ ²⁾; лица его драмъ были для насъ существующія личности, мы ихъ разбирали, любили и ненавидѣли не какъ поэтическія произведенія, а какъ живыхъ людей. Сверхъ того, мы въ нихъ видѣли самихъ себя. Я писалъ къ Нику, нѣсколько озабоченный тѣмъ, что онъ слишкомъ любитъ Фіеско, что за «всякимъ» Фіеско стоитъ свой Верина. Мой идеалъ былъ Карлъ Моръ, но я вскорѣ измѣнилъ ему и перешелъ въ маркиза Позу.

Такъ-то, Огаревъ, рука въ руку входили мы съ тобою въ жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвѣчали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлеченію. Путь,

¹⁾ Philosophische Briefe.

²⁾ Поэзія Шиллера не утратила на меня своего вліянія; нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, я читалъ моему сыну Валленштейна; это—гигантское произведеніе! Тотъ, кто теряетъ вкусъ къ Шиллеру, тотъ или старъ, или педантъ, очерствѣлъ или забылъ себя. Что же сказать о тѣхъ скороспѣлыхъ *altkluge Burschen*, которые такъ хорошо знаютъ недостатки его въ семнадцатъ лѣтъ?..

нами избранный, былъ не легокъ; мы его не покидали ни разу, раненые, сломанные, мы шли и насъ никто не обгонялъ. Я дошелъ... не до цѣли, а до того мѣста, гдѣ дорога идетъ подъ гору и невольно ищу твоей руки, чтобъ вмѣстѣ выйти, чтобъ пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: «*вотъ и все!*»

А покажѣмъ въ скучномъ досугѣ, на который меня осудили событія, не находя въ себѣ ни силъ, ни свѣжести на новый трудъ, записываю я *наши* воспоминанія. Много того, что насъ такъ тѣсно соединяло, осѣло въ этихъ листахъ, я ихъ дарю тебѣ. Для тебя они имѣютъ двойной смыслъ, смыслъ надгробныхъ памятниковъ, на которыхъ мы встрѣчаемъ знакомыя имена ¹⁾).

... А не странно-ли подумать, что, умѣй Зоненбергъ плавать или утони онъ тогда въ Москвѣ-рѣкѣ, вытаци его не уральскій казакъ, а какой-нибудь апшеронскій пѣхотинецъ, я бы и не встрѣтился съ Никомъ, или позже, иначе, не въ той комнаткѣ нашего стараго дома, гдѣ мы, тайкомъ куря сигарки, заступали такъ далеко другъ другу въ жизнь и черпали другъ въ другѣ силу.

Онъ не забылъ его—нашъ «старый домъ»:

Старый домъ, старый другъ! посѣтилъ я,
Наконецъ, въ запустѣнны тебя,
И бывое опять воскресилъ я,
И печально смотрѣлъ на тебя.

Дворъ лежалъ предо мной неметеный,
Да колодезь валился гнилой,
И въ саду не шумѣлъ листь зеленый,
Желтый тлѣлъ онъ на почвѣ сырой.

Домъ стоялъ обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругомъ,
Туча сѣрая сверху ходила
И все плакала, глядя на домъ.

Я вошелъ. Тѣ же комнаты были,
Здѣсь ворчалъ недовольный старикъ,
Мы бесѣды его не любили,
Насъ страшилъ его черствый языкъ.

Вотъ и комнатка: съ другомъ, бывало,
Здѣсь мы жили умомъ и душой,
Много думъ золотыхъ возникало
Въ этой комнаткѣ прежней порой.

Въ нее звѣздочка тихо свѣтила,
Въ ней остались слова на стѣнахъ;
Ихъ въ то время рука начертила,
Когда юность кипѣла въ душахъ.

Въ этой комнаткѣ счастье бывое,
Дружба свѣтлая выросла тамъ;
А теперь запустѣнны глухое,
Паутины висятъ по угламъ.

¹⁾ Писано въ 1853 году.

И мнѣ страшно вдругъ стало. Дрожаль я,
На кладбищѣ я будто стояль,
И родныхъ мертвецовъ вызываль я,
Но изъ мертвыхъ никто не возсталъ.

ГЛАВА V.

Подробности домашняго житья.—Люди XVIII вѣка въ Россіи.—День у насъ въ домѣ.—Гости и habitués. Зоненбергъ.—Камердинеръ и пр.

Невыносимая скука нашего дома росла съ каждымъ годомъ. Если-бъ не близокъ былъ университетскій курсъ, не новая дружба, не политическое увлеченіе и не живость характера, я бѣжалъ бы или погибъ.

Отецъ мой рѣдко бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа, онъ постоянно былъ всѣмъ недоволенъ. Человѣкъ большого ума, большой наблюдательности, онъ бездну видѣлъ, слышалъ, помнилъ; свѣтскій человѣкъ assompli, онъ могъ быть чрезвычайно любезенъ и занимателенъ, но онъ не хотѣлъ этого и все болѣе и болѣе впадалъ въ капризное отчужденіе ото всѣхъ.

Трудно сказать, что собственно внесло столько горечи и желчи въ его кровь. Эпохи страстей, большихъ несчастій, ошибокъ, потерь, вовсе не было въ его жизни. Я никогда не могъ вполне понять, откуда происходила злая насмѣшка и раздраженіе, наполнявшія его душу, его недовѣрчивое удаленіе отъ людей и досада, снѣдавшая его. Развѣ онъ унесъ съ собой въ могилу какое-нибудь воспоминаніе, котораго никому не довѣрилъ, или это было просто вслѣдствіе встрѣчи двухъ вещей до того противоположныхъ, какъ восемнадцатый вѣкъ и русская жизнь, при посредствѣ третьей, ужасно способствующей капризному развитію,—помѣщицкѣй праздности.

Прошлое столѣтіе произвело удивительный кряжъ людей на Западѣ, особенно во Франціи, со всѣми слабостями регентства, со всѣми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вмѣстѣ отворили настежь двери революціи и первые ринулись въ нее, носѣвшно толкая другъ друга, чтобъ выйти въ «окно» гильотины. Нашъ вѣкъ не производитъ болѣе этихъ цѣльныхъ, сильныхъ натуръ; прошлое столѣтіе, напротивъ, вызвало ихъ вездѣ, даже тамъ, гдѣ онѣ не были нужны, гдѣ онѣ не могли иначе развиваться, какъ въ уродство. Въ Россіи люди, подвергнувшіеся вліянію этого мощнаго западнаго вѣянія, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи запад-

ными предразсудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ.

Къ этому кругу принадлежалъ въ Москвѣ на первомъ планѣ блестящій умомъ и богатствомъ русскій вельможа, европейскій *grand seigneur* и татарскій князь Н. Б. Юсуповъ. Около него была цѣлая плеяда сѣдыхъ волокитъ и *esprits forts*, всѣхъ этихъ Масальскихъ, Санти и *tutti quanti*. Всѣ они были люди довольно развитые и образованные; оставленные безъ дѣла, они бросились на наслажденія, холили себя, любили себя, отпускали себѣ добродушно всѣ прегрѣшенія, возвышали до платонической страсти свою гастрономію и сводили любовь къ женщинамъ на какое-то обжорливое лакомство.

Старый скептикъ и эпикуреецъ Юсуповъ, пріятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касты, былъ одаренъ дѣйствительно артистическимъ вкусомъ. Чтобъ въ этомъ убѣдиться, достаточно разъ побывать въ Архангельскомъ, поглядѣть на его галереи, если ихъ еще не продалъ въ разбивку его наслѣдникъ. Онъ пышно потухалъ восьмидесяти лѣтъ, окруженный мраморной, рисованой и *живой* красотой. Въ его загородномъ домѣ бесѣдовалъ съ нимъ Пушкинъ, посвятившій ему чудное посланіе, и рисовалъ Гонзага, которому Юсуповъ посвятилъ свой театръ.

Мой отецъ, по воспитанію, по гвардейской службѣ, по жизни и связямъ, принадлежалъ къ этому же кругу; но ему ни его нравъ, ни его здоровье не позволяли вести до семидесяти лѣтъ вѣтреную жизнь, и онъ перешелъ въ противоположную крайность. Онъ хотѣлъ себѣ устроить жизнь одинокую, въ ней его ждала смертельная скука, тѣмъ болѣе, что онъ только *для себя* хотѣлъ ее устроить. Твердая воля превращалась въ упрямые капризы, незанятая сила портила нравъ, дѣлая его тяжелымъ.

Когда онъ воспитывался, европейская цивилизація была еще такъ нова въ Россіи, что быть образованнымъ значило быть наименѣе русскимъ. Онъ до конца жизни писалъ свободнѣе и правильнѣе по-французски, нежели по-русски, онъ *à la lettre* не читалъ ни одной русской книги, ни даже библіи. Впрочемъ библіи онъ и на другихъ языкахъ не читалъ, онъ зналъ по наслышкѣ и по отрывкамъ, о чемъ идетъ рѣчь вообще въ св. писаніи, и дальше не полюбопытствовалъ заглянуть. Онъ уважалъ, правда, Державина и Крылова: Державина за то, что написалъ оду на смерть его дяди князя Мещерскаго, Крылова за то, что вмѣстѣ съ нимъ былъ секундантомъ на дуэли Н. Н. Бахметева. Какъ-то мой отецъ принялся за Карамзина *Исторію Государства Россійскаго*, узнавши, что императоръ Александръ ее читалъ, но поло-

жилъ въ сторону, съ пренебреженіемъ говоря: «все Изяславичи да Ольговичи, кому это можетъ быть интересно?»

Людей онъ презиралъ откровенно, открыто—всѣхъ. Ни въ какомъ случаѣ онъ не считалъ ни на кого, и я не помню, чтобъ онъ къ кому-нибудь обращался съ значительной просьбой. Онъ и самъ ни для кого ничего не дѣлалъ. Въ сношеніяхъ съ посторонними онъ требовалъ одного — сохраненія приличій; les apparences, les convenances составляли его нравственную религію. Онъ много прощалъ или лучше пропускалъ сквозъ пальцы, но нарушеніе формъ и приличій выводили его изъ себя, и тутъ онъ становился безъ всякой терпимости, безъ малѣйшаго снисхожденія и состраданія. Я такъ долго возмущался противъ этой несправедливости, что, наконецъ, понялъ ее; онъ впередъ былъ увѣренъ, что всякой человѣкъ способенъ на все дурное, и если не дѣлаетъ, то или не имѣетъ нужды, или случай не подходитъ; въ нарушеніи же формъ онъ видѣлъ личную обиду, неуваженіе къ нему или «мѣщанское воспитаніе», которое, по его мнѣнію, отлучало человѣка отъ всякаго людскаго общества.

«Душа человѣческая, говаривалъ онъ, потемки, и кто знаетъ, что у кого на душѣ; у меня своихъ дѣлъ слишкомъ много, чтобъ заниматься другими, да еще судить и пересуживать ихъ намѣренія; но съ человѣкомъ дурно воспитаннымъ я въ одной комнатѣ не могу быть, онъ меня оскорбляетъ, *фруасируетъ*; а тамъ онъ можетъ быть добрѣйшій въ мірѣ человѣкъ, зато ему будетъ мѣсто въ раю, но мнѣ его ненадобно. Въ жизни всего важнѣе *esprit de conduite*, важнѣе превыспреннаго ума и всякаго ученья. Вездѣ умѣть паятиться, нигдѣ не соваться впередъ, со всѣми чрезвычайная вѣжливость и ни съ кѣмъ фамильярности».

Отецъ мой не любилъ никакого abandon, никакой откровенности, онъ все это называлъ фамильярностью, такъ, какъ всякое чувство—сентиментальностью. Онъ постоянно представлялъ изъ себя человѣка, стоящаго выше всѣхъ этихъ мелочей; для чего, съ какой цѣлью? въ чемъ состоялъ высшій интересъ, которому жертвовалось сердце?—я не знаю. И для кого этотъ гордый старикъ, такъ искренно презиравшій людей, такъ хорошо знавшій ихъ, представлялъ свою роль безстрастнаго судьи? Для женщины, которой волю онъ сломилъ, несмотря на то, что она иногда ему противурѣчила; для больного, постоянно лежавшаго подъ ножомъ оператора; для мальчика, изъ рѣзвости котораго онъ развилъ непокорность; для дюжины лакеевъ, которыхъ онъ не считалъ людьми!

И сколько силъ, терпѣнія было употреблено на это, сколько настойчивости и какъ удивительно вѣрно была дограна роль, несмотря ни на лѣта, ни на болѣзнь. Дѣйствительно, душа человѣческая потемки!

Впослѣдствіи я видѣлъ, когда меня арестовали, и потомъ, когда отправляли въ ссылку, что сердце старика было больше открыто любви и даже нѣжности, нежели я думалъ. Я никогда не поблагодарилъ его за это, не зная, какъ бы онъ принялъ мою благодарность.

Разумѣется, онъ не былъ счастливъ; всегда насторожѣ, всѣмъ недовольный, онъ видѣлъ съ стѣсненнымъ сердцемъ непріязненные чувства, вызванныя имъ у всѣхъ домашнихъ; онъ видѣлъ, какъ улыбка пропадала съ лица, какъ останавливалась рѣчь, когда онъ входилъ; онъ говорилъ объ этомъ съ насмѣшкой, съ досадой, но не дѣлалъ ни одной уступки и шелъ съ величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмѣшка, иронія холодная, язвительная и полная презрѣнія—было орудіе, которымъ онъ владѣлъ артистически; онъ его равно употреблялъ противъ насъ и противъ слугъ. Въ первую юность многое можно скорѣе вынести, нежели *штыняе*, и я, въ самомъ дѣлѣ, до тюрьмы удалялся отъ моего отца и вель противъ него маленькую войну, соединяясь съ слугами и служанками.

Ко всему остальному, онъ увѣрилъ себя, что онъ опасно боленъ и безпрестанно лечился; сверхъ домоваго лекаря, къ нему ѣздили два или три доктора и онъ дѣлалъ, по крайней мѣрѣ, три консилиума въ годъ. Гости, видя постоянно непріязненный видъ его и слушая однѣ жалобы на здоровье, которое далеко не было такъ дурно, рѣдѣли. Онъ сердился за это, но ни одного человѣка не упрекнулъ, не пригласилъ. Страшная скука царила въ домѣ, особенно въ безконечные зимніе вечера: двѣ лампы освѣщали цѣлую анфиладу комнатъ, сгорбившись и заложивъ руки на спину, въ суконныхъ или поярковыхъ сапогахъ (въ родѣ валенокъ), въ бархатной шапочкѣ и въ тулупѣ изъ бѣлыхъ мерлушекъ ходилъ старикъ взадъ и впередъ, не говоря ни слова, въ сопровожденіи двухъ-трехъ коричневыхъ собакъ.

Вмѣстѣ съ меланхоліей росла у него бережливость, обращенная на ничтожные предметы. Своимъ имѣніемъ онъ управлялъ дурно для себя и дурно для крестьянъ. Староста и его *missi dominici* грабили барина и мужиковъ; зато все находившееся на глазахъ было подвержено двойному контролю; тутъ береглись свѣчи, и тощій *vin de Graves* замѣнялся кислымъ крымскимъ виномъ, въ то самое время какъ въ одной деревнѣ сводили цѣлый лѣсъ, а въ другой ему же продавали его собственный овесъ. У него были привилегированные воры; крестьянинъ, котораго онъ сдѣлалъ сборщикомъ оброка въ Москвѣ и котораго посылалъ всякое лѣто ревизовать старосту, огородъ, лѣсъ и работы, купилъ лѣтъ черезъ десять въ Москвѣ домъ. Я съ дѣтства ненавидѣлъ этого министра безъ портфеля, онъ при мнѣ разъ на дворѣ билъ

какого-то стараго крестьянина, я отъ бѣшенства вцѣпился ему въ бороду и чуть не упалъ въ обморокъ. Съ тѣхъ поръ я не могъ на него равнодушно смотрѣть до самой его смерти въ 1845 г. Я нѣсколько разъ говорилъ моему отцу, откуда-же Шкунъ взялъ деньги на покупку дома?

— Вотъ что значитъ трезвость, отвѣчалъ мнѣ старикъ, онъ капли вина въ ротъ не беретъ.

Всякой годъ около масляницы пензенскіе крестьяне привозили изъ-подъ Керенска оброкъ *натурой*. Недѣли двѣ тащился бѣдный обозъ, нагруженный свинными тушами, поросятами, гусями, курами, крупами, рожью, яйцами, масломъ и, наконецъ, холстомъ. Приѣздъ керенскихъ мужиковъ былъ праздникомъ для всей дворни, они грабили мужиковъ, обсчитывали на каждомъ шагу и притомъ безъ малѣйшаго права. Кучера съ нихъ брали за воду въ колодезь, не позволяя поить лошадей безъ платы; бабы за тепло въ избѣ; аристократамъ передней они должны были кланяться кому поросенкомъ и полотенцемъ, кому гусемъ и масломъ. Все время ихъ пребыванія на барскомъ дворѣ шелъ пиръ горой у прислуги, дѣлались селянки, жарились поросята и въ передней носился постоянно запахъ лука, подгорѣлаго жира и сивухи, уже выпитой. Бакай послѣдніе два дня не входилъ въ переднюю и не вполнѣ одѣвался, а сидѣлъ въ накинутой старой ливрейной шинели, безъ жилета и куртки, въ сѣняхъ кухни. Никита Андреевичъ видимо худѣлъ и становился смуглѣе и старше. Отецъ мой выносилъ все это довольно спокойно, зная, что это необходимо и отвратить этого нельзя.

Послѣ приѣма мерзлой *живности*, отецъ мой — и тутъ самая замѣчательная черта въ томъ, что эта штука повторялась ежегодно—призывалъ повара Спиридона и отправлялъ его въ Охотный рядъ и на Смоленскій рынокъ узнать цѣны. Поваръ возвращался съ баснословными цѣнами, меньше, чѣмъ въ половину. Отецъ мой говорилъ, что онъ дуракъ и посылалъ за Шкуномъ или Слѣпушкинымъ. Слѣпушкинъ торговалъ фруктами у Ильинскихъ воротъ. И тотъ, и другой находили цѣны повара ужасно низкими, справлялись и приносили цѣны повыше. Наконецъ, Слѣпушкинъ предлагалъ взять все огуломъ, и яйца, и поросятъ, и масло, и рожь, «чтобъ вашему-то здоровью, батюшка, никакого безпокойства не было». Цѣну онъ давалъ, само собою разумѣется, нѣсколько выше поварской. Отецъ мой соглашался; Слѣпушкинъ приносилъ ему на спрыски апельсиновъ съ пряниками, а повару двухсотрублевую ассигнацію.

Слѣпушкинъ этотъ былъ въ большой милости у моего отца и часто занималъ у него деньги; онъ и тутъ былъ оригиналенъ, именно потому, что глубоко изучилъ характеръ старика.

Выпросить бывало себѣ руб. 500 мѣсяца на два, и за день до срока является въ переднюю съ какимъ-нибудь куличемъ на блюдѣ и съ 500 рублей на куличѣ. Отецъ мой бралъ деньги; Слѣпушкинъ кланялся въ поясъ и просилъ ручку, которую баринъ не давалъ. Но дня черезъ три, Слѣпушкинъ снова приходилъ просить денегъ въ займы, тысячи полторы. Отецъ ему давалъ, и Слѣпушкинъ снова приносилъ въ срокъ; отецъ мой ставилъ его въ примѣръ; а тотъ черезъ недѣлю увеличивалъ кушъ и имѣлъ такимъ образомъ для своихъ оборотовъ тысячь пять въ годъ наличными деньгами, за небольшіе проценты двухъ-трехъ куличей, нѣсколько фунтовъ фигъ и грецкихъ орѣховъ, да сотню апельсинъ и крымскихъ яблокъ.

Въ заключеніе упомяну, какъ въ Новосельи пропало нѣсколько сотъ десятинь строевого лѣса. Въ сороковыхъ годахъ М. Ѳ. Орловъ, которому тогда, помнится, графиня Анна Алексѣевна давала капиталъ для покупки имѣнья его дѣтямъ, сталъ торговать тверское имѣнье, доставшееся моему отцу отъ Сенатора. Сошлись въ цѣнѣ, и дѣло казалось оконченнымъ. Орловъ поѣхалъ осмотрѣть и, осмотрѣвши, написалъ моему отцу, что онъ ему показывалъ на планѣ лѣсъ, но что этого лѣса вовсе нѣтъ.

— «Вѣдь, вотъ — умный человекъ, говорилъ мой отецъ, и въ конспираціи былъ, книгу писалъ *des finances*, а какъ до дѣла дошло, видно, что пустой человекъ... Неккеры! а я вотъ попрошу Григорія Ивановича съѣздить, онъ не конспираторъ, но честный человекъ и дѣло знаетъ».

Поѣхалъ и Григорій Ивановичъ въ Новоселье и привезъ вѣсть, что лѣса нѣтъ, а есть только лѣсная декорация, такъ что ни изъ господскаго дома, ни съ большой дороги порубки не бросаются въ глаза. Сенаторъ послѣ раздѣла на худой конецъ былъ пять разъ въ Новосельи, и все оставалось шито и крыто.

Чтобъ дать полное понятіе о нашемъ житьѣ-бытьѣ, опишу цѣлый день съ утра; однообразность была именно одна изъ самыхъ убійственныхъ вещей, жизнь у насъ шла какъ англійскіе часы, у которыхъ убавленъ ходъ, — тихо, правильно и громко напоминая каждую секунду.

Въ десятомъ часу утра камердинеръ, сидѣвшій въ комнатѣ возлѣ спальной, увѣдомлялъ Вѣру Артамоновну, мою экс-нянюшку, что баринъ встаетъ. Она отпраивлялась готовить кофе, который онъ пилъ одинъ въ своемъ кабинетѣ. Все въ домѣ принимало иной видъ, люди начинали чистить комнаты, по крайней мѣрѣ показывали видъ, что дѣлаютъ что-нибудь. Передняя, до тѣхъ поръ пустая, наполнялась, даже большая ньюфаундлендская собака Макбетъ садилась передъ печью и, не мигая, смотрѣла въ огонь.

За кофеемъ старикъ читалъ «Московскія Вѣдомости» и «Journal de St. Petersbourg»; не мѣшаетъ замѣтить, что «Московскія Вѣдомости» было велѣно грѣть, чтобъ не простудить рукъ отъ сырости листовъ, и что политическія новости мой отецъ читалъ во французскомъ текстѣ, находя русскій неяснымъ. Одно время онъ бралъ откуда-то Гамбургскую газету, но не могъ примириться, что нѣмцы печатаютъ нѣмецкими буквами; всякой разъ показывалъ мнѣ разницу между французской печатью и нѣмецкой и говорилъ, что отъ этихъ вычурныхъ готическихъ буквъ съ хвостиками слабѣетъ зрѣніе. Потомъ онъ выписывалъ «Journal de Francfort», а впослѣдствіи ограничивался отечественными газетами.

Окончивъ чтеніе, онъ примѣчалъ, что въ его комнатѣ уже находится Карлъ Иановичъ Зоненбергъ. Когда Нику было лѣтъ пятнадцать, Карлъ Ивановичъ завелъ было лавку, но, не имѣя ни товара, ни покупателейъ и растративъ кой-какъ сколоченныя деньги на эту полезную торговлю, онъ ее оставилъ съ почетнымъ титуломъ «ревельскаго негоціанта». Ему было тогда гораздо лѣтъ за сорокъ и онъ въ этотъ пріятный возрастъ повелъ жизнь птички Божіей или четырнадцатилѣтняго мальчика, т. е. не зналъ, гдѣ завтра будетъ спать и на что обѣдать. Онъ пользовался нѣкоторымъ благорасположеніемъ моего отца; мы сейчасъ увидимъ, что это значить.

Въ 1830 году отецъ мой купилъ возлѣ нашего дома другой, больше, лучше и съ садомъ; домъ этотъ принадлежалъ графинѣ Растопчиной, женѣ знаменитаго Федора Васильевича. Мы перешли въ него. Велѣдъ за тѣмъ онъ купилъ третій домъ, уже совершенно ненужный, но смежный. Оба эти дома стояли пустые, въ наймы они не отдавались, въ предупрежденіе пожара (дома были застрахованы) и безпокойства отъ наемщиковъ; они, сверхъ того, и не поправлялись, такъ что были на самой вѣрной дорогѣ къ разрушенію. Въ одномъ-то изъ нихъ дозволялось жить безпріютному Карлу Ивановичу, съ условіемъ: воротъ послѣ десяти часовъ вечера не отпирать; условіе легкое, потому что они никогда и не запирались; дрова покупать, а не брать изъ домашняго запаса (онъ ихъ дѣйствительно покупалъ у нашего кучера) и состоять при моемъ отцѣ въ должности чиновника особыхъ порученій, т. е. приходиться по утру съ вопросомъ: нѣтъ-ли какихъ приказаній, являться къ обѣду и приходиться вечеромъ, когда никого не было, занимать повѣствованіями и новостями.

Какъ ни проста, кажется, была должность Карла Ивановича, но отецъ мой умѣлъ ей придать столько горечи, что мой бѣдный ревелецъ, привыкнувшій ко всѣмъ бѣдствіямъ, которые могутъ обрушиться на голову человѣка безъ денегъ, безъ ума, маленькаго роста, рябого и нѣмца, не могъ постоянно выносить ее. Года

въ два, въ полтора, глубоко оскорбленный Карлъ Ивановичъ объявлялъ, что «это вовсе несносно», укладывался, покупалъ и мѣнялъ разныя вещицы подозрительной цѣнности и сомнительнаго качества и отправлялся на Кавказъ. Неудачи его обыкновенно преслѣдовали съ ожесточеніемъ. То кляченка его—онъ ѣздилъ на своей лошади въ Тифлисъ и въ Редутъ-Кале — падала не подалеку Земли Донскихъ казаковъ, то у него крали половину груза, то его двухъ-колесая таратайка падала, причемъ французскіе духи лились, никѣмъ не оцѣненные, у подножія Эльборуса на сломанное колесо; то онъ терялъ что-нибудь, и когда нечего было терять, терялъ свой пассъ. Мѣсяцевъ черезъ десять обыкновенно Карлъ Ивановичъ постарше, поизмятъе, побѣднѣе и еще съ меньшимъ числомъ зубовъ и волосъ, смиренно являлся къ моему отцу съ запасомъ персидскаго порошку отъ блохъ и клоповъ, линялой тармаламы, ржавыхъ черкескихъ кинжаловъ, и снова поселялся въ пустомъ домѣ на тѣхъ же условіяхъ исполнять комиссіи и печь топить своими дровами.

Примѣтивъ Карла Ивановича, отецъ мой тотчасъ начиналъ небольшія военныя дѣйствія противъ него. Карлъ Ивановичъ освѣдомлялся о здоровьи, старикъ благодарилъ поклономъ и потомъ, подумавши, спрашивалъ напр.:

— «Гдѣ вы покупаете помаду?»

При этомъ необходимо сказать, что Карлъ Ивановичъ, пребезобразнѣйшій изъ смертныхъ, былъ страшный волокита, считалъ себя Ловласомъ, одѣвался съ претензіей и носилъ завитую золотисто-бѣлокурую накладку. Все это, разумѣется, давно было взвѣшено и оцѣнено моимъ отцомъ.

— У Буисъ, на Кузнецкой мостъ,—отрывисто отвѣчалъ Карлъ Ивановичъ, нѣсколько пикированный, и ставилъ одну ногу на другую, какъ человѣкъ готовый постоять за себя.

— «Какъ называется этотъ запахъ?»

— Нахтъ-фіолень, отвѣчалъ Карлъ Ивановичъ.

— «Онъ васъ обманываетъ, violet это запахъ нѣжный, c'est un parfum, а это какой-то крѣпкой, противный, тѣла бальзамируютъ чѣмъ-то такимъ; куда нервы стали у меня слабы, мнѣ даже тошно сдѣлалось, велите-ка мнѣ дать о-де-колонъ».

Карлъ Ивановичъ самъ бросался за стеклянкой.

— «Да нѣтъ, вы уже позовите кого-нибудь, а то вы еще ближе подойдете, мнѣ сдѣлается дурно, я упаду». Карлъ Ивановичъ, рассчитывавшій на дѣйствіе своей помады на дѣвичью, глубоко огорчался.

Опрыскавши комнату о-де-колонью, отецъ мой придумывалъ комиссіи: купить французскаго табаку, англійской магнезіи, посмотреть продажную по газетамъ карету (онъ ничего не поку-

палт). Карлъ Ивановичъ, пріятно раскланявшись и душевно довольный, что отдѣлался, уходилъ до обѣда.

Послѣ Карла Ивановича являлся поваръ; что-бъ онъ ни купилъ и что-бъ ни написалъ, отецъ мой находилъ чрезмѣрно дорогимъ.

— «У, у какая дороговизна! что это подвозовъ, что-ли, нѣтъ?»

— Точно такъ-съ, отвѣчалъ поваръ, дороги очень дурны.

— «Ну, такъ знаешь, пока ихъ починять, мы съ тобой будемъ поменьше покупать».

Послѣ этого онъ садился за свой письменный столъ, писалъ отписки и приказанія въ деревни, сводилъ счеты, между дѣломъ журилъ меня, принималъ доктора, а, главное, ссорился съ своимъ камердинеромъ. Это былъ первый пациентъ во всемъ домѣ. Небольшого роста, сангвиникъ, вспыльчивый и сердитый, онъ какъ нарочно былъ созданъ для того, чтобъ дразнить моего отца и вызывать его поученія. Сцены, повторявшіяся между ними всякій день, могли бы наполнить любую комедію, а все это было совершенно серьезно. Отецъ мой очень зналъ, что человѣкъ этотъ ему необходимъ и часто сносилъ крупные отвѣты его, но не переставалъ воспитывать его, несмотря на безуспѣшныя усилія въ продолженіе тридцати пяти лѣтъ. Камердинеръ, съ своей стороны, не вынесъ бы такой жизни, если-бъ не имѣлъ своего развлечения; онъ, по большей части, къ обѣду былъ нѣсколько навеселѣ. Отецъ мой замѣчалъ это и ограничивался легкими околичнословіями, напр., совѣтомъ закусывать чернымъ хлѣбомъ съ солью, чтобъ не пахло водкой. Никита Андреевичъ имѣлъ обыкновеніе, выпивши, подавая блюда, особенно расшаркиваться. Какъ только мой отецъ замѣчалъ это, онъ выдумывалъ ему порученіе, посылалъ его, напр., спросить у «цирюльника Антона, не перемѣнилъ-ли онъ квартиры», прибавляя мнѣ по-французски: «Я знаю, что онъ не съѣзжалъ; но онъ не трезвъ, уронить суповую чашку, разобьетъ ее, обольетъ скатерть и перепугаетъ меня: пусть онъ провѣтрится, le grand air помогаетъ».

Камердинеръ обыкновенно при такихъ продѣлкахъ что-нибудь отвѣчалъ; но когда не находилъ отвѣта въ глаза, то выходя бормоталъ сквозь зубы. Тогда баринъ, тѣмъ же спокойнымъ голосомъ, звалъ его и спрашивалъ, что онъ ему сказалъ?

— Я не докладывалъ ни слова.

— «Съ кѣмъ же ты говоришь? Кромѣ меня и тебя никого нѣтъ ни въ этой комнатѣ, ни въ той».

— Самъ съ собой.

— «Это очень опасно, съ этого начинается сумасшествіе».

Камердинеръ съ бѣшенствомъ уходилъ въ свою комнату возлѣ спальни; тамъ онъ читалъ «Московскія Вѣдомости» и тресировалъ волосы для продажныхъ париковъ. Вѣроятно, чтобъ отве-

сти сердце, онъ свирѣпо нюхалъ табакъ; табакъ ли былъ у него силенъ, нервы носа, что ли, были слабы, но онъ вслѣдствіе этого почти всегда разъ шесть или семь чихалъ.

Баринъ звонилъ. Камердинеръ бросалъ свою пачку волосъ и входилъ.

— «Это ты чихаешь?»

— Я-съ.

— «Желаю здравствовать». И онъ давалъ рукой знакъ, чтобъ камердинеръ удалился.

Въ послѣдній день масляницы, всѣ люди, по старинному обычаю, приходили вечеромъ просить прощенія къ барину; въ этихъ торжественныхъ случаяхъ мой отецъ выходилъ въ залу, сопровождаемый камердинеромъ. Тутъ онъ дѣлалъ видъ, будто не всѣхъ узнаетъ.

— «Что это за почтенный старецъ стоитъ тамъ въ углу?» спрашивалъ онъ камердинера.

— Кучеръ Данило, отвѣчалъ отрывисто камердинеръ, зная, что все это одно драматическое представленіе.

— «Скажи, пожалуйста, какъ онъ перемѣнился! Я право думаю, что это все отъ вина люди такъ старѣютъ; чѣмъ онъ занимается?»

— Дрова *таскаетъ* въ печи.

Старикъ дѣлалъ видъ нестерпимой боли. — «Какъ это ты въ тридцать лѣтъ не научился говорить?.. Таскаетъ—какъ это таскать дрова? Дрова носятъ, а не таскаютъ. Ну, Данило, слава Богу, Господь сподобилъ меня еще разъ тебя видѣть. Прощаю тебѣ всѣ грѣхи за сей годъ и овесъ, который ты тратишь безмѣрно, и то, что лошадей не чистишь, и ты меня прости. Потаскай еще дровецъ, пока силенка есть, ну а теперь настаетъ постъ, такъ вина употребляй поменьше, въ наши лѣта вредно, да и грѣхъ».—Въ этомъ родѣ онъ дѣлалъ общій смотръ.

Обѣдали мы въ четвертомъ часу. Обѣдъ длился долго и былъ очень скученъ. Спиридонъ былъ отличный поваръ; но, съ одной стороны, экономія моего отца, а съ другой, его собственная дѣлали обѣдъ довольно тощимъ, несмотря на то, что блюдо было много. Возлѣ моего отца стоялъ красный глиняный тазъ, въ который онъ самъ клалъ разные куски для собакъ; сверхъ того, онъ ихъ кормилъ съ своей вилки, что ужасно оскорбляло прислугу и, слѣдовательно, меня. Почему? Трудно сказать...

Гости вообще ѣздили рѣдко; обѣдать—еще рѣже. Помню одного человѣка изъ всѣхъ посѣщавшихъ насъ, котораго пріѣздъ къ обѣду разглаживалъ иной разъ морщины моего отца—Н. Н. Бахметева. Н. Н. Бахметевъ, братъ хромого генерала и тоже генералъ, но давно въ отставкѣ, былъ друженъ съ нимъ еще во время ихъ службы въ Измайловскомъ полку. Они вмѣстѣ кутили съ

нимъ при Екатеринѣ, при Павлѣ оба были подѣ военнымъ судомъ, Бахметевъ за то, что стрѣлялся съ кѣмъ-то, а мой отецъ— за то, что былъ секундантомъ; потомъ одинъ уѣхалъ въ чужіе края—туристомъ, а другой въ Уфу— губернаторомъ. Сходства между ними не было. Бахметевъ, полный, здоровый и красивый старикъ, любилъ и хорошенько поѣсть, и выпить немного, любилъ веселую бесѣду и многое другое. Онъ хвастался, что во время оно съѣдалъ до ста подовыхъ пирожковъ и могъ, лѣтъ около шестидесяти, безнаказанно употребить до дюжины гречневыхъ блиновъ, потонувшихъ въ лужѣ масла; этимъ опытамъ я бывалъ не разъ свидѣтель.

Бахметевъ имѣлъ какую-то тѣнь вліянія или, по крайней мѣрѣ, держалъ моего отца въ уздѣ. Когда Бахметевъ замѣчалъ, что мой отецъ ужъ черезъ край не въ духѣ, онъ надѣвалъ шляпу и, шаркая по военному ногами, говорилъ; «до свиданья, — ты сегодня боленъ и глупъ; я хотѣлъ обѣдать, но я за обѣдомъ терпѣть не могу кислыхъ лицъ! Гегорсамеръ динеръ!»... А отецъ мой, въ видѣ поясненія, говорилъ мнѣ: «Impressario! какой живой еще Н. Н.! Слава Богу, здоровый человекъ, ему понять нельзя нашего брата, Иова многострадальнаго; морозъ въ двадцать градусовъ, онъ скачетъ въ санкахъ какъ ничего... съ Покровки..., а я благодарю Создателя каждое утро, что проснулся живой, что еще дышу. О... о... охъ! не даромъ пословица говорить: сытый голоднаго не понимаетъ!» Больше снисходительности нельзя было отъ него ждать.

Издѣдка давались семейные обѣды, на которыхъ бывалъ Сенаторъ, Голохвастовы и проч., и эти обѣды давались не изъ удовольствія и не просто, а были основаны на глубокихъ экономико-политическихъ соображеніяхъ. Такъ 20 февраля, въ день Льва Катанскаго, т. е. въ именины Сенатора, обѣдъ былъ у насъ, а 24 июня, т. е. въ Ивановъ день, у Сенатора, что, сверхъ моральнаго примѣра братской любви, избавляло того и другого отъ гораздо большаго обѣда у себя.

Затѣмъ были разныя habitués; тутъ являлся ex-officiо Карлъ Ивановичъ Зоненбергъ, который, хвативши дома, передъ самымъ обѣдомъ, рюмку водки и закусивши ревельской килькой, отказывался отъ крошечной рюмочки какой-то особенно настоенной водки; иногда пріѣзжалъ послѣдній французскій учитель мой, старикъ скряга, съ дерзкой рожей и шлетникъ. Monsieur Thirié такъ часто ошибался, наливая вино въ стаканъ вмѣсто пива и выпивая его въ извиненіе, что отецъ мой впоследствии говорилъ ему: «съ правой стороны вашей стоитъ vin de Graves,—вы опять не ошибитесь», и Тирье, пихая огромную щепотку табаку въ широкій и вздернутый въ одну сторону носъ, сыпалъ табакъ на тарелку.

Въ числѣ этихъ посѣтителей, одно лицо было въ высшей степени комическое. Небольшой, лысенкой старичекъ, постоянно одѣтый въ узенькой и короткой фракъ и въ жилетъ, оканчивавшійся тамъ, гдѣ нынче жилетъ собственно начинается, съ тоненькой тросточкой, онъ представлялъ всей своей фигурой двадцать лѣтъ назадъ, въ 1830—1810 годъ, а въ 1840—1820 годъ. Дмитрій Ивановичъ Пименовъ—статскій совѣтникъ по чину—былъ одинъ изъ начальниковъ Шереметевскаго странно-пріемнаго дома, и притомъ занимался литературой. Скупо надѣленный природой и воспитанный на сентиментальныхъ фразахъ Карамзина, на Мармонтелъ и Мариво, Пименовъ могъ стать среднимъ братомъ между Шаликовымъ и В. Панаевымъ. Вольтеръ этой почтенной фаланги былъ начальникъ тайной полиціи при Александрѣ—Яковъ Ивановичъ Де-Сангленъ; ея молодой человекъ, подававшій надежды — Пименъ Араповъ. Все это примыкало къ общему патриарху Ивану Ивановичу Дмитріеву; у него соперниковъ не было, а былъ Василій Львовичъ Пушкинъ. Пименовъ всякій вторникъ являлся къ «ветхому деню» Дмитріеву, въ его домъ на Садовой, разсуждать о красотахъ стилиа и о испорченности новаго языка. Дмитрій Ивановичъ самъ искусился на скользкомъ поприщѣ отечественной словесности; сначала онъ издалъ *Мысли герцога Де-ла-Роше-Фуко*, потомъ трактатъ о *женской красотѣ и прелести*. Въ этомъ трактатѣ, котораго я не бралъ въ руки съ шестнадцати-лѣтняго возраста, я помню только длинныя сравненія въ томъ родѣ, какъ Плутархъ сравниваетъ героевъ-блондинокъ съ черноволосыми. «Хотя блондинка—то, то и то, но черноволосая женщина зато—то, то и то»... Главная особенность Пименова состояла не въ томъ, что онъ издавалъ когда-то книжки, никогда никѣмъ не читанныя, а въ томъ, что если онъ начиналъ хохотать, то онъ не могъ остановиться, и смѣхъ у него выросталъ въ припадки коклюша со взрывами и глухими раскатами. Онъ зналъ это, и потому, предчувствуя что-нибудь смѣшное, бралъ мало по малу свои мѣры: вынималъ носовой платокъ, смотрѣлъ на часы, застегивалъ фракъ, закрывалъ обѣими руками лицо и, когда наступалъ кризисъ, вставалъ, оборачивался къ стѣнѣ, упирался въ нее и мучился полчаса и больше; потомъ, усталый отъ пароксизма, красный, обтирая потъ съ плѣшивой головы, онъ садился, но еще долго потомъ его схватывало.

Разумѣется, мой отецъ не ставилъ его ни въ грошъ; онъ былъ тихъ, добръ, неловокъ, *литераторъ* и бѣдный человекъ,—стало, по всѣмъ условіямъ стоялъ за цензоръ; но его судорожную смѣшливость онъ очень хорошо замѣтилъ. Въ силу чего, онъ заставлялъ его смѣяться до того, что всѣ остальные начинали, подъ его вліяніемъ, тоже какъ-то неестественно хохотать. Виновникъ

глумленія, немного улыбаясь, глядѣлъ тогда на насъ, какъ чело-
вѣкъ смотритъ на возню щенятъ.

Иногда мой отецъ дѣлалъ съ несчастнымъ цѣнителемъ жен-
ской красоты и прелести ужасныя вещи.

— Инженеръ полковникъ такой-то, докладывалъ челоѣкъ.

— «Проси», говорилъ мой отецъ и, обращаясь къ Пименову, прибавлялъ: «Димитрій Ивановичъ, пожалуйста, будьте осторожны при немъ, у него несчастный тикъ, когда онъ говоритъ, какъ-то странно заикается, точно будто у него хроническая отрыжка». При этомъ онъ представлялъ совершенно вѣрно полковника. «Я знаю, вы челоѣкъ смѣшливый, пожалуйста, воздержитесь».

Этого было довольно. По второму слову инженера, Пименовъ вынималъ платокъ, дѣлалъ зонтикъ изъ руки и, наконецъ, вскакивалъ.

Инженеръ смотрѣлъ съ изумленіемъ, а отецъ мой говорилъ мнѣ преспокойно: «Что это съ Димитріемъ Ивановичемъ? Il est malade, это спазмы; вели поскорѣе подать стаканъ холодной воды, да принеси о-де-колонъ». Пименовъ хваталъ въ подобныхъ случаяхъ шляпу и хохоталъ до Арбатскихъ воротъ, останавливаясь на перекресткахъ и опираясь на фонарные столбы.

Онъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ постоянно черезъ воскресенье обѣдалъ у насъ, и равно его аккуратность и неаккуратность, если онъ пропускалъ, сердили моего отца, и онъ тѣснилъ его. А добрый Пименовъ все-таки ходилъ и ходилъ цѣшкомъ отъ Красныхъ Воротъ въ Старую Конюшенную, до тѣхъ поръ, пока умеръ, и притомъ совсѣмъ не смѣшно. Одинокій, холостой старикъ, послѣ долгой хворости, умирающими глазами видѣлъ, какъ его экономка забирала его вещи, платья, даже бѣлье съ постели, оставляя его безъ всякаго ухода.

Но настоящіе souffre douleur'ы обѣда были разныя старухи, убогія и кочующія приживалки княгини М. А. Хованской (сестры моего отца). Для перемѣны, а долею для того, чтобъ освѣδοмитъ, какъ все обстоитъ въ домѣ у насъ, не было ли ссоры между господами, не дрался-ли поваръ съ своей женой и не узналъ-ли баринъ, что Палашка или Ульяша съ прибылью,—прихаживали онѣ иногда въ праздники на цѣлый день. Надобно замѣтить, что эти вдовы еще незамужними, лѣтъ сорокъ, пятьдесятъ тому назадъ, были *прибѣжны* къ дому княгини и княжны Мещерской и съ тѣхъ поръ знали моего отца; что въ этотъ промежутокъ между молодымъ шатаньемъ и старымъ кочевьемъ, онѣ лѣтъ двадцать бранились съ мужьями, удерживали ихъ отъ пьянства, ходили за ними въ параличъ и свесли ихъ на кладбище. Однѣ таскались съ какимъ-нибудь гарнизоннымъ офицеромъ и охапкой дѣтей въ Бессарабіи, другія состояли годы подъ судомъ съ му-

жемь, и всё эти опыты жизненные оставили на них слѣды по-
вытій и уѣздныхъ городовъ, боязнъ сильныхъ міра сего, духъ
уничженія и какое-то тупоумное изувѣрство.

Съ ними бывали сцены удивительныя.

— Да ты что это, Анна Якимовна, больна что-ли, ничего не
кушаешь?—спрашивалъ мой отецъ.

Скорчившаяся, съ поношеннымъ и вылинялымъ лицомъ ста-
рушонка, вдова какого-то зрителя въ Кременчугѣ, постоянно
и сильно пахнувшая какимъ-то пластыремъ, отвѣчала унижаясь
глазами и пальцами: «Простите, батюшка, Иванъ Алексѣевичъ,
право-съ ужъ мнѣ совѣстно-съ, да такъ-съ, по старинному-съ,
ха, ха, ха, теперь спажинки».

— Ахъ какая скука! Набоженство все! Не то, матушка, сквер-
нѣтъ, что въ уста входитъ, а что изъ устъ; то-ли ѣсть, друго-
ли—одинъ исходъ; вотъ что изъ устъ выходитъ,—надобно на-
блюдаютъ... пересуды да о ближнемъ. Ну, лучше ты обѣдала бы
дома въ такіе дни, а то тутъ еще турокъ придетъ—ему пилавъ
надобно, у меня не гербергъ á la carte.

Испуганная старуха, имѣвшая въ виду, сверхъ того, попросить
крупки да мучки, бросалась на квасъ и салатъ, дѣлая видъ, что
страшно ѣсть.

Но замѣчательно то, что стояло ей или кому-нибудь изъ
нихъ начать ѣсть скоромное въ постъ, отецъ мой (никогда не
употреблявшій постнаго) говорилъ, скорбно качая головой: «Не
стояло бы, кажется, Анна Якимовна, на нѣсколько послѣднихъ
лѣтъ мѣнять обычай предковъ. Я грѣшу, ѣмъ скоромное, по мно-
жеству болѣзней; ну, а ты, по твоимъ лѣтамъ, слава Богу, всю
жизнь соблюдала посты, и вдругъ... что за примѣръ для *нихъ*».
Онъ указывалъ на прислугу. И бѣдная старуха снова бросалась
на квасъ да на салатъ.

Сцены эти сильно возмущали меня; иной разъ я дерзалъ всту-
паться и напоминалъ противоположное мнѣніе. Тогда отецъ мой
привставалъ, снималъ съ себя за кисточку бархатную шапочку
и, держа ее на воздухѣ, благодарилъ меня за уроки и просилъ
извинить забывчивость, а потомъ говорилъ старухѣ: «Ужасный
вѣкъ! Мудрено-ли, что ты *кушаешь* скоромное постомъ, когда
дѣти учатъ родителей! Куда мы идемъ? Подумать страшно! Мы
съ тобой по счастью не увидимъ».

Послѣ обѣда мой отецъ ложился отдохнуть часа на полтора.
Дворня тотчасъ разсыпалась по полпивнымъ и по трактирамъ.
Въ семь часовъ приготовляли чай; тутъ иногда кто-нибудь приѣз-
жалъ, всего чаще Сенаторъ; это было время отдыха для насъ.
Сенаторъ привозилъ обыкновенно разныя новости и рассказы-
валъ ихъ съ жаромъ. Отецъ мой показывалъ видъ совершеннаго

невниманія, слушая его: дѣлалъ серьезную мину, когда тотъ былъ увѣренъ, что морить со смѣху, и переспрашивалъ, какъ будто не слыхалъ въ чемъ дѣло, если тотъ рассказывалъ что-нибудь поразительное.

Сенатору доставалось и не такъ, когда онъ противурѣчилъ или былъ не одного мнѣнія съ меньшимъ братомъ, что, впрочемъ, случалось очень рѣдко; а иногда безъ всякихъ противурѣчій, когда мой отецъ былъ особенно не въ духѣ. При этихъ комико-трагическихъ сценахъ, что всего было смѣшнѣе, это—естественная запальчивость Сенатора и натянутое, искусственное хладнокровіе моего отца. «Ну, ты сегодня боленъ», говорилъ нетерпѣливо Сенаторъ, хваталъ шляпу и бросался вонъ. Разъ въ досадѣ онъ не могъ отворить дверь и толкнулъ ее что есть силъ ногой, говоря: «что за проклятыя двери!» Мой отецъ спокойно подошелъ, отворилъ дверь въ противоположную сторону и совершенно тихимъ голосомъ замѣтилъ: «дверь эта дѣлаетъ свое дѣло, она отворяется туда, а вы хотите ее отворить сюда и сердитесь». При этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что Сенаторъ былъ двумя годами старше моего отца и говорилъ ему *ты*, а тотъ въ качествѣ меньшого брата—*вы*.

Послѣ Сенатора, отецъ мой отправлялся въ свою спальную, всякій разъ освѣдомлялся о томъ, заперты ли ворота, получалъ утвердительный отвѣтъ, изъяснялъ нѣкоторое сомнѣніе и ничего не дѣлалъ, чтобы удостовѣриться. Тутъ начиналась длинная исторія умываній, примочекъ, лекарствъ; камердинеръ приготовлялъ на столикѣ возлѣ постели цѣлый арсеналъ разныхъ вещей: стклянокъ, ночниковъ, коробочекъ. Старикъ обыкновенно читалъ съ часъ времени Бурьена, Memorial de S-te Helène, и вообще разныя записки; за симъ наступала ночь.

Такъ я оставилъ въ 1834 нашъ домъ, такъ засталъ его въ 1840 и такъ все продолжалось до его кончины въ 1846 году.

Лѣтъ тридцати, возвратившись изъ ссылки, я понялъ, что во многомъ мой отецъ былъ правъ, что онъ, по несчастію, оскорбительно хорошо зналъ людей. Но моя ли была вина, что онъ п самую истину проповѣдывалъ такимъ возмутительнымъ образомъ для юнаго сердца. Его умъ, охлажденный длинной жизнью въ кругу людей испорченныхъ, поставилъ его en garde противу всѣхъ, а равнодушное сердце не требовало примиренія, онъ такъ и остался въ враждебномъ отношеніи со всѣми на свѣтѣ.

Я его засталъ въ 1839, а еще больше въ 1842 слабымъ и уже дѣйствительно больнымъ. Сенаторъ умеръ, пустота около него была еще больше, даже и камердинеръ былъ другой, но онъ самъ былъ тотъ же, однѣ физическія силы измѣнили, тотъ же злой умъ, та же память, онъ такъ же всѣхъ тѣшилъ мелочами, и неизмѣн-

ный Зоненбергъ имѣлъ свое прежнее кочевье въ старомъ домѣ и дѣлалъ комиссіи.

Тогда только оцѣнилъ я все безотрадное этой жизни; съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣлъ я на грустный смыслъ этого одинокаго, оставленнаго существованія, потухавшаго на сухомъ, жесткомъ, каменистомъ пустырѣ, который онъ самъ создалъ возлѣ себя, но который измѣнить было не въ его волѣ; онъ зналъ это, видѣлъ приближающуюся смерть и, переламывая слабость и дряхлость, ревниво и упорно выдерживалъ себя. Мнѣ бывало ужасно жаль старика, но дѣлать было нечего, онъ былъ неприступенъ.

... Тихо проходилъ я иногда мимо его кабинета, когда онъ, сидя въ глубокихъ креслахъ, жесткихъ и неловкихъ, окруженный своими собаченками, одинъ одиноконекъ игралъ съ моимъ трехлѣтнимъ сыномъ. Казалось сжавшіяся руки и окоченѣвшіе нервы старика распускались при видѣ ребенка, и онъ отдыхалъ отъ непрерывной тревоги, борьбы и досады, въ которой поддерживалъ себя, дотрогиваясь умирающей рукой до колыбели.

ГЛАВА VI.

Кремлевская экспедиція. — Московскій Университетъ. — Химикъ. — Мы. — Маловская исторія. — Холера. — Филаретъ. — В. Пассекъ. — Генералъ Лисовскій. — Н. А. Полевой.

● О годы вольныхъ, свѣтлыхъ думъ
И беспредѣльныхъ упованій,
Гдѣ смѣхъ безъ желчи, ширя шумъ?
Гдѣ трудъ столь полный ожиданій?
(Юморъ).

Несмотря на зловѣщія пророчества хромого генерала, отецъ мой опредѣлилъ-таки меня на службу къ князю Н. Б. Юсупову въ кремлевскую экспедицію. Я подписалъ бумагу, тѣмъ дѣло и кончилось, больше я о службѣ ничего не слыхалъ, кромѣ того, что года черезъ три Юсуповъ прислалъ дворцоваго архитектора, который всегда кричалъ такимъ голосомъ, какъ будто онъ стоялъ на стропилахъ пятаго этажа и оттуда что-нибудь приказывалъ работникамъ въ подвалѣ, извѣстить, что я получилъ первый офицерскій чинъ. Всѣ эти чудеса, замѣтимъ мимоходомъ, были ненужны: чины, полученные службой, я разомъ наверсталъ, выдержавши экзаменъ на кандидата; изъ какихъ-нибудь двухъ-трехъ

годовъ старшинства не стоило хлопотать. А между тѣмъ, эта мнимая служба чуть не помѣшала мнѣ вступить въ университетъ. Совѣтъ, видя, что я числюсь къ канцеляріи кремлевской экспедиціи, отказаль мнѣ въ правѣ держать экзаменъ.

Для служащихъ были особые курсы послѣ обѣда, чрезвычайно ограниченные и давашіе право на такъ называемые «комитетскіе экзамены». Всѣ лѣнтяи съ деньгами, баричи ничему неучившіеся, все, что не хотѣло служить въ военной службѣ и торопилось получить чинъ ассесора, держало комитетскіе экзамены; это было нѣчто въ родѣ *золотыхъ* пріисковъ, уступленныхъ старымъ профессорамъ, дававшимъ *privatissima* по двадцати рублей за урокъ.

Начать мою жизнь этими каудинскими фуркулами науки далеко не согласовалось съ моими мыслями. Я сказалъ рѣшительно моему отцу, что если онъ не найдетъ другого средства, я подамъ въ отставку.

Отецъ мой сердился, говорилъ, что я своими капризами мѣшаю ему устроить мою карьеру, бранилъ учителей, которые натолковали мнѣ этотъ вздоръ; но, видя, что все это очень мало меня трогаетъ, рѣшился ѣхать къ Юсупову.

Юсуповъ разсудилъ дѣло въ мигъ, отчасти по-барски и отчасти по-татарски. Онъ позваль секретаря и велѣлъ ему написать отпускъ на три года. Секретарь помялся, помялся и доложилъ со страхомъ пополамъ, что отпускъ болѣе, нежели на четыре мѣсяца, нельзя давать безъ высочайшаго разрѣшенія.

— Какой вздоръ, братецъ, сказалъ ему князь, что тутъ затрудняться; ну въ отпускъ нельзя, пиши, что я командирую его для усовершенствованія въ наукахъ—слушать университетскій курсъ.

Секретарь написалъ, и на другой день я уже сидѣлъ въ амфитреатрѣ физико-математической аудиторіи.

Въ исторіи русскаго образованія и въ жизни двухъ послѣднихъ поколѣній московскій университетъ и царскосельскій лицей играютъ значительную роль.

Московскій университетъ выросъ въ своемъ значеніи вмѣстѣ съ Москвою послѣ 1812 года; разжалованная императоромъ Петромъ изъ царскихъ столицъ, Москва была произведена императоромъ Наполеономъ (сколько волею, а вдвое того неволею) въ столицы народа русскаго. Народъ догадался по боли, которую чувствовалъ при вѣсти о ея занятіи непріятелемъ, о своей кровной связи съ Москвою. Съ тѣхъ поръ началась для нея новая эпоха. Въ ней университетъ больше и больше становился средоточіемъ русскаго образованія. Всѣ условія для его развитія были соединены—историческое значеніе, географическое положеніе.

Сильно возбужденная дѣятельность ума въ Петербургѣ, послѣ Павла, мрачно замкнулась 14 декабря.

Все пошло назадъ, кровь бросилась къ сердцу, дѣятельность, скрытая наружи, закипала, таясь внутри. Московскій университетъ устоялъ и началъ первый вырѣзываться изъ-за всеобщаго тумана.

Голицынъ былъ удивительный человѣкъ; онъ долго не могъ привыкнуть къ тому безпорядку, что когда профессоръ боленъ, то и лекціи нѣтъ; онъ думалъ, что слѣдующій *по очереди* долженъ былъ его замѣнять.

Но, несмотря на это, университетъ росъ вліяніемъ: въ него, какъ въ общій резервуаръ, вливались юныя силы Россіи со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ слоевъ; въ его залахъ онѣ очищались отъ предрасудковъ, захваченныхъ у домашняго очага, приходили къ одному уровню, братались между собой и снова разливались во всѣ стороны Россіи, во всѣ слои ея.

До 1848 года устройство нашихъ университетовъ было чисто демократическое. Двери ихъ были открыты всякому, кто могъ выдержать экзаменъ и не былъ ни крѣпостнымъ, ни крестьяниномъ, не уволеннымъ своей общиной. Николай ограничилъ пріемъ студентовъ, увеличилъ плату своекоштныхъ и дозволилъ избавлять отъ нея только бѣдныхъ *дворянъ*. Все это принадлежитъ къ ряду мѣръ, которыя исчезнутъ вмѣстѣ съ закономъ о насѣсахъ, о религіозной нетерпимости и пр.

Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, съ юга и сѣвера, быстро сплавливалась въ компактную массу товарищества. Общественныя различія не имѣли у насъ того оскорбительнаго вліянія, которое мы встрѣчаемъ въ англійскихъ школахъ и казармахъ; объ англійскихъ университетахъ я не говорю: они существуютъ исключительно для аристократіи и для богатыхъ. Студентъ, который бы вздумалъ у насъ хвастаться своей *бѣлой костью* или богатствомъ, былъ бы отлученъ отъ «воды и огня», замученъ товарищами.

Внѣшнія различія, и то не глубокія, дѣлившія студентовъ, шли изъ другихъ источниковъ. Такъ, напр., медицинское отдѣленіе, находившееся по другую сторону сада, не было съ нами такъ близко, какъ прочіе факультеты; къ тому же его большинство состояло изъ семинаристовъ и нѣмцевъ. Нѣмцы держали себя нѣсколько въ сторонѣ и были очень пропитаны западно-нѣмецкимъ духомъ. Все воспитаніе несчастныхъ семинаристовъ, всѣ ихъ понятія были совсѣмъ иныя, чѣмъ у насъ, мы говорили разными языками; они, выросшіе подъ гнетомъ монашескаго дес-

потизма, забытые своей риторикой и теологіей, завидовали нашей развязности; мы—досадовали на ихъ христіанское смиреніе ¹⁾.

Я вступилъ въ физико-математическое отдѣленіе, несмотря на то, что никогда не имѣлъ ни большой способности, ни большой любви къ математикѣ. Учились ей мы съ Никомъ у одного учителя, котораго мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занимательности, онъ врядъ могъ ли развить особую страсть къ своей наукѣ. Онъ зналъ математику включительно до коническихъ сѣченій, т. е. ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистовъ къ университету; настоящій философъ, онъ никогда не полюбопытствовалъ заглянуть въ «университетскія части» математики. Особенно замѣчательно при этомъ, что онъ только одну книгу и читалъ, и читалъ ее постоянно лѣтъ десять, это Франкеровъ курсъ; но воздержный по характеру и не любившій роскоши, онъ не переходилъ извѣстной страницы.

Я избралъ физико-математическій факультетъ потому, что въ немъ же преподавались естественныя науки, а къ нимъ именно въ это время развилась у меня сильная страсть.

Довольно странная встрѣча навела меня на эти занятія.

Послѣ знаменитаго раздѣла имѣнія въ 1822 году, о которомъ я рассказывалъ, «старшій братецъ» переѣхалъ на житѣ въ Петербургъ. Долго объ немъ ничего не было слышно, какъ вдругъ разнесся слухъ, что онъ женился. Ему было за шестьдесятъ лѣтъ тогда, и всѣ знали, что, сверхъ совершеннолѣтняго сына, у него были другія дѣти. Онъ именно женился на матери старшаго сына; «молодой» тоже было за пятьдесятъ. Этимъ бракомъ онъ «привѣнчалъ», какъ говорили встарь, своего сына. Отчего же не всѣхъ дѣтей? Мудрено было бы сказать отчего, если бы главная цѣль, съ которой онъ все это дѣлалъ, была неизвѣстна: онъ хотѣлъ одного—лишить своихъ братьевъ наслѣдства и этого онъ достигалъ вполне «привѣнчиваніемъ» сына. Въ извѣстное наводненіе 1824 года старика залило водой въ каретѣ, онъ простудился, слегъ и въ началѣ 1825 года умеръ.

О сынѣ носились странные слухи, говорили, что онъ былъ нелюдимъ, ни съ кѣмъ не знался, вѣчно сидѣлъ одинъ, занимаясь химіей, проводилъ жизнь за микроскопомъ, читалъ даже за обѣдомъ и ненавидѣлъ женское общество. Объ немъ сказано въ «Горе отъ ума»:

¹⁾ Въ этомъ отношеніи сдѣланъ огромный успѣхъ; все, что я слышалъ въ послѣднее время о духовныхъ академіяхъ и даже семинаріяхъ, подтверждаетъ это. Само собою разумѣется, что въ этомъ виновато не духовное начальство, а духъ учащихся.

— Онъ химикъ, онъ ботаникъ,
Князь Федоръ, нашъ племянникъ,
Отъ женщинъ бѣгаетъ и даже отъ меня.

Дяди, перенесшіе на него зубъ, который имѣли противъ отца, не называли его иначе, какъ «Химикъ», придавая этому слову порицательный смыслъ и подразумѣвая, что химія вовсе не можетъ быть занятіемъ порядочнаго человѣка.

Отецъ передъ смертію страшно гѣснилъ сына, онъ не только оскорблялъ его зрѣлищемъ сѣдого отцовскаго разврата, разврата циническаго, но просто ревновалъ его къ своей серали. Химикъ разъ хотѣлъ отдѣлаться отъ этой неблагородной жизни лауданумомъ; его спасъ случайно товарищъ, съ которымъ онъ занимался химіей. Отецъ перепугался и передъ смертію сталъ смирише съ сыномъ.

Послѣ смерти отца, Химикъ далъ отпускную несчастнымъ одалискамъ, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ, положенный отцомъ на крестьянъ, простилъ недоимки и даромъ отдалъ рекрутскія квитанціи, которыя продавалъ имъ старикъ, отдавая дворовыхъ въ солдаты.

Года черезъ полтора онъ пріѣхалъ въ Москву; мнѣ хотѣлось его видѣть, я его любилъ за крестьянъ и за несправедливое недоброжелательство къ нему его дядей.

Однимъ утромъ явился къ моему отцу небольшой человѣкъ въ золотыхъ очкахъ, съ большимъ носомъ, съ полупотерянными волосами, съ пальцами, обоженными химическими реакціями. Отецъ мой встрѣтилъ его холодно, колко; племянникъ отвѣчалъ той-же монетой и не хуже чеканной; помѣрившись, они стали говорить о постороннихъ предметахъ съ наружнымъ равнодушіемъ и разстались учтиво, но съ затаенной злобой другъ противъ друга. Отецъ мой увидѣлъ, что боецъ ему не уступить.

Они никогда не сближались потомъ. Химикъ ѣздилъ, очень рѣдко къ дядямъ; въ послѣдній разъ онъ видѣлся съ моимъ отцомъ послѣ смерти Сенатора, онъ пріѣзжалъ просить у него тысячъ тридцать рублей въ займы на покупку земли. Отецъ мой не далъ; Химикъ разсердился и, потирая рукою носъ, съ улыбкой ему замѣтилъ: «Какой же тутъ рискъ, у меня имѣние *родовое*, я беру деньги для его усовершенствованія, дѣтей у меня нѣтъ и мы другъ послѣ друга наслѣдники». Старикъ 75 лѣтъ никогда не прощалъ племяннику эту выходку.

Я сталъ время отъ времени навѣщать его. Жилъ онъ чрезвычайно своеобразно; въ большомъ домѣ своемъ на Тверскомъ бульварѣ занималъ онъ одну крошечную комнату для себя и одну

для лабораторіи. Старуха мать его жила черезъ коридоръ въ другой комнаткѣ; остальное было запущено и оставалось въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ было при отъѣздѣ его отца въ Петербургъ. Почернѣвшіе канделябры, необыкновенная мебель, всякія рѣдкости, стѣнные часы, *будто бы* купленные Петромъ I въ Амстердамѣ, креслы, будто бы изъ дома Станислава Лещинскаго, рамы безъ картинъ, картины, обороченныя къ стѣнѣ, — все это, поставленное кой-какъ, паполяло три большія залы нетопленныя и неосвѣщенныя. Въ передней люди играли обыкновенно на турбанѣ и курили (въ той самой, въ которой прежде едва смѣли дышать и молиться). Человѣкъ зажигалъ свѣчку и провожалъ этой оружейной палатой, замѣчая всякій разъ, что плаща снимать ненадобно, что въ залахъ очень холодно; густые слои пыли покрывали рогагыя и курьезныя вещи, отражавшіяся и двигавшіяся вмѣстѣ со свѣчей въ вычурныхъ зеркалахъ; солома, оставшаяся отъ укладки, спокойно лежала тамъ-сямъ вмѣстѣ съ стриженной бумагой и бичевками.

Рядомъ этихъ комнатъ достигалась, наконецъ, дверь, завѣшанная ковромъ, которая вела въ страшно натопленный кабинетъ. Въ немъ Химикъ, въ замаранномъ халатѣ на бѣличьемъ мѣху, сидѣлъ безвыходно, обложенный книгами, обставленный стеклянками, ретортами, тигелями, снарядами. Въ этомъ кабинетѣ, гдѣ теперь царилъ микроскопъ Шевалье, пахло хлоромъ и гдѣ совершались за нѣсколько лѣтъ страшныя, вопіющія дѣла, — въ этомъ кабинетѣ *родилась*. Отецъ мой, возвратившись изъ чужихъ краевъ, до ссоры съ братомъ, останавливался на нѣсколько мѣсяцевъ въ его домѣ, и въ этомъ-же домѣ родилась моя жена въ 1817 году. Химикъ года черезъ два продалъ свой домъ, и мнѣ опять случилось бывать въ немъ на вечерахъ у Свербѣева, спорить тамъ о панславизмѣ и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не сердился. Комнаты были перестроены, но подъездъ, сѣни, лѣстница, передняя — все осталось, также и маленькій кабинетъ остался.

Хозяйство Химики было еще менѣе сложно, особенно когда мать его уѣзжала на лѣто въ подмосковную, а съ нею и поваръ. Камердинеръ его являлся часа въ четыре съ кофейникомъ, распускалъ въ немъ немного крѣпкаго бульону и, пользуясь химическимъ горномъ, ставилъ его къ огню вмѣстѣ съ всякими ядами. Потомъ онъ приносилъ изъ трактира полрябчика и хлѣбъ, въ этомъ состоялъ весь обѣдъ. По окончаніи его камердинеръ мылъ кофейникъ и онъ входилъ въ свои естественныя права. Вечеромъ снова являлся камердинеръ, снималъ съ дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наслѣдству отъ отца, и груды книгъ, стлалъ простыню, приносилъ подушки и одѣяло, и кабинетъ такъ же легко превращался въ спальню, какъ въ кухню и столовую.

Съ самаго начала нашего знакомства, Химикъ, увидѣлъ, что я серьезно занимаюсь, и сталъ уговаривать, чтобъ я бросилъ «пустыя» занятія литературой и «опасныя безъ всякой пользы» политикой, а принялся бы за естественныя науки. Онъ далъ мнѣ рѣчь Кювье о геологическихъ переворотахъ и Декандолеву растительную органографію. Видя, что чтеніе идетъ на пользу, онъ предложилъ свои превосходныя собранія, снаряды, гербаріи и даже свое руководство. Онъ на своей почвѣ былъ очень занятеленъ, чрезвычайно ученъ, остеръ и даже любезенъ; но для этого ненужно было ходить дальше обезьянъ; отъ камней до оранжъ-утанга, его все интересовало, далѣе онъ неохотно пускался, особенно въ философію, которую считалъ болтовней. Онъ не былъ ни консерваторъ, ни отсталой человѣкъ, онъ просто не вѣрилъ въ людей, т. е. вѣрилъ, что эгоизмъ исключительное начало всѣхъ дѣйствій, и находилъ, что его сдерживаетъ только безуміе однихъ и невѣжество другихъ.

Меня возмущалъ его матеріализмъ. Поверхностный и со страхомъ пополамъ вольтеріанизмъ нашихъ отцовъ нисколько не былъ похожъ на матеріализмъ Химика. Его взглядъ былъ спокойный, послѣдовательный, оконченный; онъ напоминалъ извѣстный отвѣтъ Лаланда Наполеону: «Кантъ принимаетъ гипотезу Бога», сказалъ ему Бонапартъ.—«Sige, возразилъ астрономъ, мнѣ въ моихъ занятіяхъ никогда не случалось нуждаться въ этой гипотезѣ».

Атеизмъ Химика шелъ далѣе теологическихъ сферъ. Онъ считалъ Жофруа Сентъ-Илера мистикомъ, а Окена просто поврежденнымъ. Онъ съ тѣмъ пренебреженіемъ, съ которымъ мой отецъ сложилъ исторію Карамзина, закрылъ сочиненія натуръ-философовъ. «Сами выдумали первыя причины, духовныя силы, да и удивляются потомъ, что ихъ ни найти, ни понять нельзя». Это былъ мой отецъ въ другомъ изданіи, въ иномъ вѣкѣ и иначе воспитанный.

Взглядъ его становился еще безотрадиѣ во всѣхъ жизненныхъ вопросахъ. Онъ находилъ, что на человѣкѣ такъ же мало лежитъ отвѣтственности за добро и зло, какъ на звѣрѣ; что все дѣло организаціи, обстоятельствъ и вообще устройства нервной системы, отъ которой *больше ждуть, нежели она въ состояніи дать*. Семейную жизнь онъ не любилъ, говорилъ съ ужасомъ о бракѣ и наивно признавался, что онъ пережилъ тридцать лѣтъ, не любя ни одной женщины. Впрочемъ, одна теплая струйка въ этомъ охлажденномъ человѣкѣ еще оставалась, она была видна въ его отношеніяхъ къ старушкѣ матери; они много страдали вмѣстѣ отъ отца, бѣдствія сильно сплавили ихъ; онъ трогательно окружалъ одинокую и болѣзненную старость ея, насколько умѣлъ, покоемъ и вниманіемъ.

Теорій своихъ, кромѣ химическихъ, онъ никогда не проповѣдывалъ: онѣ высказывались случайно, вызывались мною. Онъ даже нехотя отвѣчалъ на мои романтическія и философскія возраженія; его отвѣты были коротки, онъ ихъ дѣлалъ улыбаясь и съ той деликатностью, съ которой большой, старый мастифъ играетъ съ шпиромъ, позволяя ему себя теревить и только легко отгоняя лапой. Но это-то меня и дразнило всего больше, и я неутомимо возвращался *à la charge*, не выигрывая, впрочемъ, ни одного пальца почвы. Впослѣдствіи, т. е. лѣтъ черезъ двѣнадцать, я много разъ поминалъ Химика, такъ, какъ поминалъ замѣчанія моего отца; разумѣется, онъ былъ правъ въ трехъ-четвертяхъ всего, на что я возражалъ. Но, вѣдь, и я былъ правъ. Есть истины, мы уже говорили объ этомъ, которыя, какъ политическія права, не передаются раньше извѣстнаго возраста.

Вліяніе Химика заставило меня избрать физико-математическое отдѣленіе, можетъ, еще лучше было бы вступить въ медицинское; но бѣды большой въ томъ нѣтъ, что я сперва посредственно выучилъ, потомъ основательно забылъ дифференціальныя и интегральныя исчисленія.

Безъ естественныхъ наукъ нѣтъ спасенія современному чело-вѣку, безъ этой здоровой пищи, безъ этого строгаго воспитанія мысли фактами, безъ этой близости къ окружающей насъ жизни, безъ смиренія передъ ея независимостью,—гдѣ-нибудь въ душѣ остается монашеская келья и въ ней мистическое зерно, которое можетъ разлиться темной водой по всему разумѣнію.

Передъ окончаніемъ моего курса, Химикъ уѣхалъ въ Петербургъ, и я не видался съ нимъ до возвращенія изъ Вятки. Нѣсколько мѣсяцевъ послѣ моей женитьбы, я ѣздилъ полутайкомъ на нѣсколько дней въ подмосковную, гдѣ тогда жилъ мой отецъ. Цѣль этой поѣздки состояла въ окончательномъ примиреніи съ нимъ, онъ все еще сердился на меня за мой бракъ.

По дорогѣ я остановился въ Перхушковѣ, тамъ, гдѣ мы столько разъ останавливались; Химикъ меня ожидалъ и даже приготовилъ обѣдъ и двѣ бутылки шампанскаго. Онъ черезъ четыре или пять лѣтъ былъ неизмѣнно тотъ же, только немного постарѣлъ. Передъ обѣдомъ онъ спросилъ меня совершенно серьезно: «Скажите, пожалуйста, откровенно, ну, какъ вы находите семейную жизнь, бракъ? Что, хорошо, что ли, или не очень?»—Я смѣялся. —«Какая смѣлость съ вашей стороны, продолжалъ онъ, я удивляюсь вамъ; въ нормальномъ состояніи никогда чело-вѣкъ не можетъ рѣшиться на такой страшный шагъ. Мнѣ предлагали двѣ, три партіи очень хорошія, но какъ я вздумаю, что у меня въ комнатѣ будетъ распорядиться женщина, будетъ все приводить по своему въ порядокъ, пожалуй, будетъ мнѣ запрещать курить

мой табакъ (онъ курилъ нѣжинскіе корешки), подниметь шумъ, сумбуръ, тогда на меня находить такой страхъ, что я предпочитаю умереть въ одиночествѣ».

— Останься мнѣ у васъ ночевать, или ѣхать въ Покровское? спросилъ я его послѣ обѣда.

— «Недостатка въ мѣстѣ у меня нѣтъ, отвѣтилъ онъ,—но для васъ, я думаю, лучше ѣхать, вы приѣдете часовъ въ десять къ вашему батюшкѣ. Вы, вѣдь, знаете, что онъ еще сердитъ на васъ; ну—вечеромъ, передъ сномъ у старыхъ людей обыкновенно нервы ослаблены и вялы, онъ васъ приметъ, вѣроятно, гораздо лучше нынче, чѣмъ завтра; утромъ вы его найдете совсѣмъ готовымъ для сраженія».

— Ха, ха, ха,—какъ я узнаю моего учителя физиологіи и материализма, сказалъ я ему, смѣясь отъ души;—ваше замѣчаніе такъ и напомнило мнѣ тѣ блаженные времена, когда я приходилъ къ вамъ, въ родѣ гётевскаго Вагнера, надоѣдать моимъ идеализмомъ и выслушивать не безъ негодованія ваши охлаждающія сентенціи.

— «Вы съ тѣхъ поръ довольно жили, отвѣтилъ онъ, тоже смѣясь, чтобъ знать, что всѣ дѣла человѣческія зависятъ просто отъ нервовъ и отъ химическаго состава».

Послѣ мы какъ-то разошлись съ нимъ; вѣроятно мы оба были неправы...; тѣмъ не менѣе, въ 1846 г. онъ написалъ мнѣ письмо. Я начиналъ тогда входить въ моду послѣ первой части *Кто виноватъ?* Химикъ писалъ мнѣ, что онъ съ грустью видитъ, что я употребляю на пустыя занятія мой талантъ. «Я съ вами примирился за ваши письма объ изученіи природы; въ нихъ я понималъ (насколько человѣческому уму можно понимать) нѣмецкую философію; зачѣмъ же вмѣсто продолженія серьезнаго труда вы пишете сказки?» Я отвѣчалъ ему нѣсколькими дружескими строками; тѣмъ наши сношенія и кончились.

Если эти строки попадутся на глаза самому Хпмику, я попрошу его ихъ прочесть, ложась спать въ постель, когда нервы ослаблены, и увѣренъ, что онъ проститъ мнѣ тогда дружескую болтовню, тѣмъ болѣе, что я храню серьезную и добрую память о немъ.

Итакъ, наконецъ, затворничество родительскаго дома пало. Я былъ au large; вмѣсто одиночества въ нашей небольшой комнатѣ, вмѣсто тихихъ и полускрываемыхъ свиданій съ однимъ Огаревымъ,—шумная семья, въ семьсотъ головъ, окружила меня. Въ ней я больше оклиматился въ двѣ недѣли, чѣмъ въ родительскомъ домѣ съ самаго дня рожденія.

А домъ родительскій меня преслѣдовалъ даже въ университетъ, въ видѣ лакея, которому отецъ мой велѣлъ меня провожать, особенно, когда я ходилъ пѣшкомъ. Цѣлый семестръ я отдѣлы-

вался отъ провожатаго и насилу официально успѣлъ въ этомъ. Я говорю: официально,—потому что Петръ Федоровичъ, мой камердинеръ, на котораго была возложена эта должность, очень скоро понялъ, во-первыхъ, что мнѣ неприятно быть провожаемымъ, во-вторыхъ, что самому ему гораздо пріятнѣе въ разныхъ увеселительныхъ мѣстахъ, чѣмъ въ передней физико-математическаго факультета, въ которой все удовольствія ограничивались бесѣдою съ двумя сторожами и взаимнымъ потчиваніемъ другъ друга и самихъ себя табакомъ.

Къ чему посылали за мной провожатаго? Неужели Петръ, съ молодыхъ лѣтъ зашибавшій по нѣскольку дней сряду, могъ меня остановить въ чемъ-нибудь? Я полагаю, что мой отецъ и не думалъ этого, но для *своего* спокойствія бралъ мѣры недѣйствительныя, но все же мѣры, въ родѣ того, какъ люди, не вѣря, говѣютъ. Черта эта принадлежитъ нашему старинному помѣщицкому воспитанію. До семи лѣтъ было приказано водить меня за руку по внутренней лѣстницѣ, которая была нѣсколько крута: до одиннадцати меня мыла въ корытѣ Вѣра Артамоновна; стало, очень послѣдовательно—за мной, студентомъ, посылали слугу и до 21 года мнѣ не позволялось возвращаться домой послѣ половины одиннадцатаго. Я практически очутился на волѣ и на своихъ ногахъ въ ссылкѣ; если-бъ меня не сослали, вѣроятно, тотъ же режимъ продолжался бы до 25 лѣтъ... до 35.

Какъ большая часть живыхъ мальчиковъ, воспитанныхъ въ одиночествѣ, я съ такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, съ такой безумной неосторожностью дѣлалъ пропаганду и такъ откровенно самъ всѣхъ любилъ, что не могъ не вызвать горячій отвѣтъ со стороны аудиторіи, состоявшей изъ юношей почти одного возраста (мнѣ былъ тогда семнадцатый годъ).

Мудрыя правила — со всѣми быть учтивымъ и ни съ кѣмъ близкимъ, никому не довѣряться — столько же способствовали этимъ сближеніямъ, какъ неотлучная мысль, съ которой мы вступили въ университетъ, мысль—что *здесь* совершаются наши мечты, что *здесь* мы бросимъ сѣмена, положимъ *основу* союзу.

Молодежь была прекрасная въ нашъ курсъ. Именно въ это время пробуждались у насъ больше и больше теоретическія стремленія. Семинарская выучка и шляхетская лѣнь равно исчезали, не замѣняясь еще нѣмецкимъ утилитаризмомъ, удобряющимъ умы наукой, какъ поля навозомъ, для усиленной жатвы. Порядочный кругъ студентовъ не принималъ больше науку за необходимый, но скучный проселокъ, которымъ скорѣе объѣзжаютъ въ коллежскіе ассессоры. Возникавшіе вопросы вовсе не относились до табели о рангахъ.

Съ другой стороны, научный интересъ не успѣлъ еще выродиться въ доктринаризмъ; наука не отвлекала отъ внимательства въ жизнь, страдавшую вокругъ. Это сочувствіе съ нею необыкновенно поднимало *гражданскую* нравственность студентовъ. Мы и наши товарищи говорили въ аудиторіи открыто все, что приходило въ голову; тетрадки *запрещенныхъ* стиховъ ходили изъ рукъ въ руки, запрещенныя книги читались съ комментаріями и, при всемъ томъ, я не помню ни одного доноса изъ аудиторіи, ни одного предательства. Были робкіе молодые люди, уклонявшіеся, отстранявшіеся,—но и тѣ молчали.

Одинъ пустой мальчикъ, допрашиваемый своею матерью о Маловской исторіи подь угрозою прута, рассказалъ ей кое-что. Нѣжная мать—*аристократка* и княгиня—бросилась къ ректору и передала доносъ сына, какъ доказательство его раскаянія. Мы узнали это и мучили его до того, что онъ не остался до окончанія курса.

Исторія эта, за которую и я посидѣлъ въ карцерѣ, стоитъ того, чтобъ рассказать ее.

Маловъ былъ глухой, грубый и необразованный профессоръ въ политическомъ отдѣленіи. Студенты презирали его, смѣялись надъ нимъ. «Сколько у васъ профессоровъ въ отдѣленіи?» спросилъ какъ-то попечитель у студента въ политической аудиторіи. «Безъ Малова девять», отвѣчалъ студентъ. Вотъ этотъ-то профессоръ, котораго надобно было *выгнать* для того, чтобъ осталось девять, сталъ больше и больше дѣлать дерзостей студентамъ; студенты рѣшились прогнать его изъ аудиторіи. Сговорившись, они прислали въ наше отдѣленіе двухъ парламентаревъ, приглашая меня придти съ вспомогательнымъ войскомъ. Я тотчасъ объявилъ кличъ идти войной на Малова, нѣсколько человекъ пошли со мной. Когда мы пришли въ политическую аудиторію, Маловъ былъ налицо и видѣлъ насъ.

У всѣхъ студентовъ на лицахъ былъ написанъ одинъ страхъ: ну, какъ онъ въ этотъ день не сдѣластъ никакого грубаго замѣчанія. Страхъ этотъ скоро прошелъ. Черезъ край полная аудиторія была непокойна и издавала глухой, сдавленный гулъ. Маловъ сдѣлалъ какое-то замѣчаніе, началось шарканье. «Вы выражаете ваши мысли, какъ лошади, ногами», замѣтилъ Маловъ, воображавшій вѣроятно, что лошади думаютъ галопомъ и рысью,—и буря поднялась, свистъ, шиканье, крикъ: «вонъ его, вонъ его, repeat!» Маловъ, блѣдный, какъ полотно, сдѣлалъ отчаянное усиліе овладѣть шумомъ и не могъ; студенты вскочили на лавки. Маловъ тихо сошелъ съ кафедры и, съсѣжившись, сталъ пробираться къ дверямъ; аудиторія за нимъ, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслѣдъ за нимъ его калоши. Последнее обстоя-

тельство было важно, на улицѣ дѣло получило совсѣмъ иной характеръ; но, будто, есть на свѣтѣ молодые люди 17, 18 лѣтъ, которые думаютъ объ этомъ.

Университетскій совѣтъ перепугался и убѣдилъ попечителя представить дѣло оконченнымъ и для того виновныхъ или такъ кого-нибудь посадить въ карцеръ. Это было не глупо. Легко можетъ быть, что въ противномъ случаѣ государь прислалъ бы флигель-адъютанта, который для полученія креста сдѣлалъ бы изъ этого дѣла заговоръ, возстаніе, бунтъ и предложилъ бы всѣхъ отправить на каторжную работу, а государь помиловалъ бы въ солдаты. Видя, что порокъ наказанъ и нравственность торжествуетъ, государь ограничился тѣмъ, что утвердилъ волю студента и отставилъ профессора. Мы Малова прогнали до университетскихъ воротъ, а онъ его выгналъ за ворота.

Итакъ, дѣло закипѣло; на другой день послѣ обѣда припелся ко мнѣ сторожъ изъ правленія, сѣдой старикъ, который добросовѣстно принималъ à la lettre, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживалъ себя въ состояніи болѣе близкомъ къ пьяному, чѣмъ къ трезвому. Онъ въ обшлагъ шпнели принесъ отъ «লেখুра» записочку, — мнѣ было велѣно явиться къ нему въ семь часовъ вечера. Вслѣдъ за нимъ явился блѣдный и испуганный студентъ изъ остзейскихъ бароновъ, получившій такое же приглашеніе и принадлежавшій къ несчастнымъ жертвамъ, приведеннымъ мною. Онъ началъ съ того, что осыпалъ меня упреками, потомъ спрашивалъ совѣта, что ему говорить.

— «Лгать отчаянно, запираться во всемъ, кромѣ того, что шумъ былъ и что вы были въ аудиторіи», отвѣчалъ я ему.

— А ректоръ спросить, зачѣмъ я былъ въ политической аудиторіи, а не въ нашей?

— «Какъ зачѣмъ? Да развѣ вы не знаете, что Родіонъ Гейманъ не приходилъ на лекцію, вы, не желая потерять времени попустому, пошли слушать другую».

— Онъ не повѣритъ.

— «Это ужъ его дѣло».

Когда мы входили на университетскій дворъ, я посмотрѣлъ на моего барона: пухленькія щечки его были очень блѣдны и вообще ему было плохо. «Слушайте, сказалъ я, вы можете быть увѣрены, что ректоръ начнетъ не съ васъ, а съ меня; говорите то же самое съ варіаціями, вы же и въ самомъ дѣлѣ ничего особеннаго не сдѣлали. Не забудьте одно: за то, что вы шумѣли, и за то, что лжете, — много, много васъ посадятъ въ карцеръ; а если вы проболтаетесь да кого-нибудь при мнѣ запутаете, я расскажу въ аудиторіи и мы отравимъ вамъ ваше существованіе». Баронъ обѣщалъ и честно сдержалъ слово.

Ректоромъ былъ тогда Двигубскій, одинъ пзъ остатковъ п образцовъ допотопныхъ профессоровъ или, лучше сказать, *до-пожарныхъ*, то есть до 1812 года.

Они вывелись теперь; съ почительствомъ князя Оболенскаго вообще оканчивается патріархальный періодъ московскаго университета. Въ тѣ времена начальство университетомъ не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притомъ не въ мундирныхъ сюртукахъ *ad instar* конноегерскихъ, а въ разныхъ отчаянныхъ и эксцентрическихъ платьяхъ, въ крошечныхъ фуражкахъ, едва державшихся на дѣвственныхъ волосахъ. Профессора составляли два стана или слоя, мирно ненавидившіе другъ друга, одинъ состоялъ исключительно изъ нѣмцевъ, другой изъ не-нѣмцевъ. Нѣмцы, въ числѣ которыхъ были люди добрые и ученые, какъ Лодерь, Фишеръ, Гильдебрантъ и самъ Геймъ, вообще отличались незнаніемъ и нежеланіемъ знать русскаго языка, хладнокровіемъ къ студентамъ, духомъ западнаго кліентизма, ремесленничества, неумѣреннымъ куреніемъ сигаръ и огромнымъ количествомъ крестовъ, которыхъ они никогда не снимали. Не-нѣмцы, съ своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кромѣ русскаго, были отечественно раболѣпны, семинарски неуклюжи, держались, за исключеніемъ Мерзлякова, въ черномъ тѣлѣ и, вмѣсто неумѣреннаго употребленія сигаръ, употребляли неумѣренно настойку. Нѣмцы были больше изъ Геттингена, не-нѣмцы изъ поповскихъ дѣтей.

Двигубскій былъ изъ не-нѣмцевъ. Видъ его былъ такъ назидателенъ, что какой-то студентъ изъ семинаристовъ, приходя за табелюю, подошелъ къ нему подъ благословеніе и постоянно называлъ его «отецъ-ректоръ». Притомъ онъ былъ страшно похожъ на сову съ Анной на шеѣ, какъ его рисовалъ другой студентъ, получившій болѣе свѣтское образованіе. Когда онъ, бывало, приходилъ въ нашу аудиторію или съ деканомъ Чумаковымъ, или съ Котельницкимъ, который завѣдывалъ шкапомъ съ надписью «*Materia Medica*», неизвѣстно зачѣмъ проживавшимъ въ математической аудиторіи, или съ Рейсомъ, выписаннымъ изъ Германіи за то, что его дядя хорошо зналъ химію, съ Рейсомъ, который, читая по-французски, называлъ свѣтильню—*baton de coton*, ядь—рыбой: *poisson*, а слово молнія такъ несчастно произносилъ, что многіе думали, что онъ бранится,—мы смотрѣли на нихъ большими глазами, какъ на собраніе ископаемыхъ, какъ на послѣднихъ Абенсераговъ, представителей иного времени, не столько близкаго къ намъ, какъ къ Тредьяковскому и Кострову; времени, въ которомъ читали Хераскова и Княжнина, времени добраго профессора Дильтея, у котораго были двѣ собачки, одна вѣчно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что онъ очень справедливо прозвалъ одну *Баваркой*, а другую *Пруденкой*.

Но Двигубскій былъ вовсе не добрый профессоръ, онъ принялъ насъ чрезвычайно круто и былъ грубъ; я поролъ страшную дичь и былъ неучтивъ, баронъ подогрѣвалъ то же самое. Раздраженный Двигубскій велѣлъ явиться на другое утро въ совѣтъ; тамъ въ полчаса времени насъ допросили, осудили, приговорили и послали сентенцію на утверждение князя Голицына.

Едва я успѣлъ въ аудиторіи пять или шесть разъ въ лицахъ представить студентамъ судъ и расправу университетскаго сената, какъ вдругъ въ началѣ лекціи явился инспекторъ, русской службы маіоръ и французскій танцмейстеръ, съ унтеръ-офицеромъ и съ приказомъ въ рукѣ—меня взять и свести въ карцеръ. Часть студентовъ пошла провожать, на дворѣ тоже толпилась молодежь; видно, меня не перваго вели, когда мы проходили, всѣ махали фуражками, руками; университетскіе солдаты двигали ихъ назадъ, студенты не шли.

Въ грязномъ подвалѣ, служившемъ карцеромъ, я уже нашелъ двухъ арестантовъ, Арапетова и Олова; князя Андрея Оболенскаго и Розенгейма посадили въ другую комнату; всего было шесть человѣкъ, наказанныхъ по маловскому дѣлу. Насъ было велѣно содержать на хлѣбѣ и водѣ, ректоръ прислалъ какой-то супъ, мы отказались и хорошо сдѣлали; какъ только смерклось и университетъ опустѣлъ, товарищи принесли намъ сыру, дичи, сигаръ, вина и ликеру. Солдатъ сердился, ворчалъ, бралъ двугривенные и носилъ припасы. Послѣ полуночи, онъ пошелъ далѣе и пустилъ къ намъ нѣсколько человѣкъ гостей. Такъ проводили мы время, пируя ночью и ложась спать днемъ.

Разъ какъ-то товарищъ попечителя Панинъ, братъ министра юстиціи, вѣрный своимъ конногвардейскимъ привычкамъ, вздумалъ обойти ночью рундомъ государственную тюрьму въ университетскомъ подвалѣ. Только что мы зажгли свѣчу подъ стуломъ, чтобы снаружи не было видно, и принялись за нашъ ночной завтракъ, раздался стукъ въ наружную дверь; не тотъ стукъ, который своей слабостью просить солдата отпереть, который больше боится, что его услышатъ, нежели то, что не услышатъ; нѣтъ, это былъ стукъ съ авторитетомъ, приказывающій. Солдатъ обмеръ, мы спрятали бутылки и студентовъ въ небольшой чуланъ, задули свѣчу и бросились на наши койки. Взошелъ Панинъ. «Вы, кажется, курите?» сказалъ онъ, едва вырѣзываясь съ инспекторомъ, который несъ фонарь, изъ-за густыхъ облаковъ дыма. «Откуда это они берутъ огонь, ты даешь?» Солдатъ клялся, что не дастъ. Мы отвѣчали, что у насъ былъ съ собою трутъ. Инспекторъ обѣщаль его отнять и обобрать сигары, и Панинъ удалился, не замѣтивъ, что количество фуражекъ было вдвое больше количества головъ.

Въ субботу вечеромъ явился инспекторъ и объявилъ, что я и еще одинъ изъ насъ можетъ идти домой, но что остальные посидятъ до понедѣльника. Это предложеніе показалось мнѣ обиднымъ и я спросилъ инспектора, могу ли остаться; онъ отступилъ на шагъ, посмотрѣлъ на меня съ тѣмъ грозно-граціознымъ видомъ, съ которымъ въ балетахъ цари и героини пляшутъ гнѣвъ, и, сказавши: «сидите, пожалуй», вышелъ вонъ. За послѣднюю выходку досталось мнѣ дома больше, нежели за всю исторію.

Итакъ, первыя ночи, которыя я не спалъ въ родительскомъ домѣ, были проведены въ карцерѣ. Вскорѣ мнѣ приходилось испытать другую тюрьму и тамъ я просидѣлъ не восемь дней, а девять мѣсяцевъ, послѣ которыхъ поѣхалъ не домой, а въ ссылку. Но до этого далеко.

Съ этого времени я въ аудиторіи пользовался величайшей симпатіей. Сперва я слылъ за хорошаго студента; послѣ маловской исторіи сдѣлался, какъ извѣстная гоголевская дама, хороший студентъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Учились ли мы при всемъ этомъ чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподаваніе было скуднѣе, объемъ его меньше, чѣмъ въ сороковыхъ годахъ. Университетъ, впрочемъ, не долженъ оканчивать научное воспитаніе; его дѣло—поставить человѣка à тѣмѣ продолжать на своихъ ногахъ; его дѣло—возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и дѣлали такіе профессора, какъ М. Г. Павловъ, а съ другой стороны, и такіе, какъ Каченовскій. Но больше лекцій и профессоръ развивала студентовъ аудиторія юнымъ столкновеніемъ, обмѣномъ мыслей, чтеній... Московскій университетъ свое дѣло дѣлалъ; профессора, способствовавшіе своими лекціями развитію Лермонтова, Бѣлинскаго, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могутъ спокойно играть въ бостонъ и еще покойнѣе лежать подъ землей.

А какіе оригиналы были въ ихъ числѣ и какія чудеса: отъ Ѳедора Ивановича Чумакова, *подгонявшего* формулы къ тѣмъ, которыя были въ курсѣ Пуансо, съ совершеннѣйшей свободой помѣщичьяго права, прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и x за извѣстное, до Гавріила Мягкова, читавшаго самую *жесткую* науку въ мірѣ—тактику. Отъ постоянного обращенія съ предметами героическими, самая наружность Мягкова приобрѣла строевую выправку: застегнутый до горла, въ несгибающемся галстухѣ, онъ больше командовалъ свои лекціи, чѣмъ говорилъ. «Господа!» кричалъ онъ, «на полѣ—*Объ артиллеріи!*» это не значило на полѣ сраженія ѣдутъ пушки, а просто, что на маршѣ такое заглавіе.

А Ѳедоръ Ѳедоровичъ Рейсъ, никогда не читавшій химіи да-лѣе второй химической иностаси, т. е. водорода! Рейсъ, который:

дѣйствительно попалъ въ профессора химіи, потому что не онъ, а его дядя занимался когда-то ею. Въ концѣ царствованія Екатерины, старика пригласили въ Россію; ему ѣхать не хотѣлось,— онъ отправилъ вмѣсто себя племянника...

Къ чрезвычайнымъ событіямъ нашего курса, продолжавшагося четыре года (потому что во время холеры университетъ былъ закрытъ цѣлый семестръ), принадлежитъ сама холера, пріѣздъ Гумбольдта и посѣщеніе Уварова.

Гумбольдтъ, возвращаясь съ Урала, былъ встрѣченъ въ Москвѣ въ торжественномъ засѣданіи общества естествоиспытателей при университетѣ, членами котораго были разные сенаторы, губернаторы,—вообще люди, не занимавшіеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайнаго совѣтника его прусскаго величества, которому государь императоръ изволилъ дать Анну и приказалъ не брать съ него денегъ за матеріалъ и дипломъ, дошла и до нихъ. Они рѣшились не ударить себя лицомъ въ грязь передъ человѣкомъ, который былъ на Чимборазо и жилъ въ Санъ-Суси.

Мы до сихъ поръ смотримъ на европейцевъ и Европу въ томъ родѣ, какъ провинціалы смотрятъ на столпчныхъ жителей, съ подобострастіемъ и чувствомъ собственной вины, принимая каждую разницу за недостатокъ, краснѣя своихъ особенностей, скрывая ихъ, подчиняясь и подражая. Дѣло въ томъ, что мы были застрашены и не оправились отъ насмѣшекъ Петра I, отъ оскорбленій Бирона, отъ высокомѣрія служебныхъ вѣмцевъ и воспитателей французовъ. Западные люди толкуютъ о нашемъ двоедушіи и лукавомъ коварствѣ; они принимаютъ за желаніе обмануть—желаніе выказаться и похвастаться. У насъ тотъ же человѣкъ готовъ наивно либеральничать съ либераломъ, прикинуться легитимистомъ, и это безъ всякихъ заднихъ мыслей, просто изъ учтивости и изъ кокетства; бугоръ de l'approbativité сильно развитъ въ нашемъ черепѣ.

«Князь Дмитрій Голицынъ, сказалъ какъ-то лордъ Дюрамъ, настоящій вигъ, вигъ въ душѣ!».

Князь Д. В. Голицынъ былъ почтенный русскій баринъ, но почему онъ былъ «вигъ», съ чего онъ былъ «вигъ»,—не понимаю. Будьте увѣрены, князь на старости лѣтъ хотѣлъ поправиться Дюраму и прикинулся вигомъ.

Пріемъ Гумбольдта въ Москвѣ и въ университетѣ было дѣло не шуточное. Генераль-губернаторъ, разные вое- и градо-начальники, сенатъ—все явилось: лента черезъ плечо, въ полномъ мундирѣ, профессора воинственно при шпагахъ и съ трехъ-угольными шляпами подъ рукой. Гумбольдтъ, ничего не подозревая, пріѣхалъ въ синемъ фракѣ съ золотыми пуговицами и, разумеется, былъ сконфуженъ. Отъ сѣней до залы общества естествоиспытателей,

вездѣ были приготовлены засады: тутъ ректоръ, тамъ деканъ, тутъ начинающій профессоръ, тамъ ветеранъ, оканчивающій свое поприще, и именно потому говорящій очень медленно; каждый привѣтствовалъ его по-латыни, по-нѣмецки, по-французски, и все это въ этихъ страшныхъ каменныхъ трубахъ, называемыхъ коридорами, въ которыхъ нельзя остановиться на минуту, чтобъ не простудиться на мѣсяць. Гумбольдтъ все слушалъ безъ шляпы и на все отвѣчалъ; я увѣренъ, что всѣ дикіе, у которыхъ онъ былъ, краснокожіе и мѣднаго цвѣта, сдѣлали ему меньше не-пріятностей, чѣмъ московскій приемъ.

Когда онъ дошелъ до залы и усѣлся, тогда надобно было встать. Попечитель Писаревъ счелъ нужнымъ въ краткихъ, но сильныхъ словахъ *отдать приказъ*, по-русски, о заслугахъ его превосходительства и знаменитаго путешественника; послѣ чего Сергѣй Глинка, «офицеръ», голосомъ тысяча восьмисотъ двѣнадцатаго года, густо сиплымъ, прочелъ свое стихотвореніе, начавшееся такъ:

Humboldt—Prométhée de nos jours!

А Гумбольдту хотѣлось потолковать о наблюденіяхъ надъ магнитной стрѣлкой, сличить свои метеорологическія замѣтки на Уралѣ съ московскими; вмѣсто этого, ректоръ пошелъ ему показывать что-то сплетенное изъ волосъ Петра I...; насилу Эренбергъ и Розе нашли случай кой-что рассказать о своихъ открытіяхъ ¹⁾.

У насъ и въ неофициальномъ мірѣ дѣла идутъ не много лучше: десять лѣтъ спустя, точно такъ же принимали Листа въ московскомъ обществѣ. Глупостей довольно дѣлали для него и въ Германіи, но тутъ совсѣмъ не тотъ характеръ; въ Германіи это все стародѣвическая экзальтація, сентиментальность, все *Blumenstreuen*; у насъ—подчиненіе, признаніе власти, вытяжка, у насъ все «честь имѣю явиться къ вашему превосходительству». Тутъ же, по несчастью, прибавилась слава Листа, какъ извѣстнаго ловласа: дамы толпились около него такъ, какъ крестьянскіе мальчишки на проселочныхъ дорогахъ толпятся около проѣзжаго,

¹⁾ Какъ разное было понято въ Россіи путешествіе Гумбольдта, можно судить изъ повѣствованія уральскаго казака, служившаго при канцеляріи пермскаго губернатора; онъ любилъ рассказывать, какъ онъ провожалъ «сумасшедшаго прусскаго принца Гумплота».—Что же онъ дѣлалъ?—«Такъ, самое, т. е., пустое, травы набереть, песокъ смотреть; какъ-то въ Солончакахъ говорить мнѣ черезъ толмача: полѣзай въ воду, достань что на днѣ; ну, я достала обыкновенно что на днѣ бывасть, а онъ спрашиваетъ: что, внизу очень холодна вода? Думаю, нѣтъ братъ, меня не проведешь, сдѣлать фронтъ и отвѣтилъ: того, молъ, ваша свѣтлость, служба требуетъ—все равно, мы рады стараться».

пока закладываютъ лошадей, любознательно разсматривая его самого, его коляску, шапку... Все слушало одного Листа, все горело только съ нимъ однимъ, отвѣчало только ему. Я помню, что на одномъ вечерѣ Хомяковъ, краснѣя за почтенную публику, сказалъ мнѣ: «поспоримте, пожалуйста, о чемъ-нибудь, чтобъ Листъ видѣлъ, что есть здѣсь въ комнатѣ люди, не исключительно занятые имъ». Въ утѣшеніе нашимъ дамамъ, я могу только одно сказать, что англичанки точно такъ же метались, толпились, тормозились, не давали проходу другимъ знаменитостямъ: Кошуту, потомъ Гарибальди и пр.; но горе тѣмъ, кто хочетъ учиться хорошимъ манерамъ у англичанокъ и ихъ мужей!

Второй «знаменитый» путешественникъ былъ тоже въ нѣкоторомъ смыслѣ «Проміею нашихъ дней», только что онъ свѣтъ кралъ не у Юпитера, а у людей. Этотъ Проміею, воспѣтый не Глинкою, а самимъ Пушкинымъ въ посланіи къ Лукуллу, былъ министръ народнаго просвѣщенія С. С. (еще не графъ) Уваровъ. Онъ удивлялъ насъ своимъ многоязычіемъ и разнообразіемъ всякой всячины, которую зналъ; настоящій сидѣлецъ за прилавкомъ просвѣщенія, онъ берегъ въ памяти образчики всѣхъ наукъ, ихъ казовые концы или лучше начала. При Александрѣ онъ писалъ либеральныя брошюрки по-французски, потомъ переписывался съ Гёте по-нѣмецки о греческихъ предметахъ. Сдѣлавшись министромъ, онъ толковалъ о славянской поэзіи IV столѣтія, на что Коченовскій ему замѣтилъ, что тогда впору было съ медвѣдями сражаться нашимъ праотцамъ, а не то, что пѣсноуѣтъ о самооеракійскихъ богахъ и самодержавномъ милосердіи. Въ родѣ патента, онъ носилъ въ карманѣ письмо отъ Гёте, въ которомъ Гёте ему сдѣлалъ прекуръезный комплиментъ, говоря: «Напрасно извиняетесь вы въ вашемъ слогѣ: вы достигли до того, до чего я не могъ достигнуть—вы забыли нѣмецкую грамматику».

Вотъ этотъ-то дѣйствительный тайный Пикъ-де-ла-Мирандоль завелъ новаго рода испытанія. Онъ велѣлъ отобрать лучшихъ студентовъ для того, чтобъ каждый изъ нихъ прочелъ по лекціи изъ своихъ предметовъ вмѣсто профессора. Деканы, разумѣется, выбрали самыхъ бойкихъ.

Лекціи эти продолжались цѣлую недѣлю. Студенты должны были приготовляться на всѣ темы своего курса, деканъ вынималъ билетъ и имя. Уваровъ созвалъ всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генераль-губернаторъ и Ив. Ив. Дмитріевъ—всѣ были налицо.

Мнѣ пришлось читать у Ловецкаго изъ минералогіи—и онъ уже умеръ!

Гдѣ нашъ старецъ Манжеронъ!
Гдѣ нашъ старецъ Бенгсонъ,

И тебя уже не стало,
И тебя какъ не бывало!

Алексѣй Леонтьевичъ Ловецкій былъ высокій, тяжело двигавшійся, топорной работы мужчина, съ большимъ ртомъ и большимъ лицомъ, совершенно ничего не выражавшимъ. Снимая въ коридорѣ свою гороховую шинель, украшенную воротниками разнаго роста, какъ носили во время перваго консулата,—онъ, еще не входя въ аудиторію, начиналъ ровнымъ и безстрастнымъ (что очень хорошо шло къ каменному предмету его) голосомъ: «Мы заключили прошедшую лекцію, сказавъ все, что слѣдуетъ о кремнеземіи», потомъ онъ садился и продолжалъ «о глиноземіи...». У него были созданы неизмѣнныя рубрики для формулярныхъ списковъ каждаго минерала, отъ которыхъ онъ никогда не отступалъ; случалось, что характеристика иныхъ опредѣлялась отрицательно: «кристаллизація—не кристаллизуется, употребленіе—никуда не употребляется, польза—вредъ, приносимый организму...».

Впрочемъ, онъ не бѣжалъ ни поэзіи, ни нравственныхъ отмѣтокъ, и всякій разъ, когда показывалъ поддѣльные камни и рассказывалъ, какъ ихъ дѣлаютъ, онъ прибавлялъ: «господа, это обманъ». Въ сельскомъ хозяйствѣ онъ находилъ *моральными* качествами хорошаго пѣтуха, если онъ «охотникъ пѣтъ и до куръ», и отличительнымъ свойствомъ аристократическаго барана—«плѣ шивыя колѣнки». Онъ умѣлъ тоже трогательно повѣствовать, какъ мушки рассказывали, какъ онѣ въ прекрасный лѣтній день гуляли по дереву и были залиты смолой, сдѣлавшейся янтаремъ, и всякій разъ добавлялъ: «господа, это прозопопея».

Когда деканъ вызвалъ меня, публика была нѣсколько утомлена; двѣ математическія лекціи распространили уныніе и грусть на людей, не понявшихъ ни одного слова. Уваровъ требовалъ что-нибудь поживѣе и студента съ «хорошо-повѣшеннымъ языкомъ». Щепкинъ указалъ на меня.

Я взошелъ на кафедру. Ловецкій сидѣлъ возлѣ неподвижно, положи руки на ноги, какъ Мемнонъ или Озирисъ, и боялся... Я шепнулъ ему: «экое счастье, что мнѣ пришлось у васъ читать, я васъ не выдамъ».—«Не хвались, идучи на рать...», отпечаталъ, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессоръ. Я чуть не захохоталъ, но когда я взглянулъ передъ собой, у меня зарябило въ глазахъ, я чувствовалъ, что я поблѣднѣлъ и какая-то сухость покрыла языкъ. Я никогда прежде не говорилъ публично, аудиторія была полна студентами,—они надѣялись на меня; подъ кафедрой за столомъ—«сильные міра сего» и всѣ профессора нашего отдѣленія. Я взялъ вопросъ и прочелъ не своимъ голосомъ «о кристаллизаціи, ея условіяхъ, законахъ, формахъ».

Пока я придумывалъ, съ чего начать, мнѣ пришла счастливая мысль въ голову, если я и ошибусь, замѣтятъ, можетъ, профессора, но ни слова не скажутъ, другіе же сами ничего не смыслятъ, а студенты, лишь бы я не срѣзался на полдорогѣ, будутъ довольны, потому что я у нихъ въ фаворѣ. Итакъ, во имя Гайюи, Вернера и Митчерлиха, я прочелъ свою лекцію, заключилъ ее философскими разсужденіями и все время относился и обращался къ студентамъ, а не къ министру. Студенты и профессора жали мнѣ руки и благодарили. Уваровъ водилъ представлять князю Голицыну; онъ сказалъ что-то одними гласными, такъ, что я не понималъ. Уваровъ обѣщалъ мнѣ книгу въ знакъ памяти и никогда не присылалъ.

Второй разъ и третій я совѣтъ иначе выходилъ на сцену. Въ 1836 году я представлялъ «Угара», а жена жандармскаго полковника «Марю», при всемъ вятскомъ бомондѣ и при Тюфяевѣ. Съ мѣсяць времени мы дѣлали репетицію, а все-таки сердце сильно билось и руки дрожали, когда мертвая тишина вдругъ замѣнила увертюру и зававѣсь стала, какъ-то страшно пошевеливаясь, подниматься; мы съ Марфой ожидали за кулисами начала. Ей было меня до того жаль, или до того она боялась, что я испорчу дѣло, что она мнѣ подала огромный стаканъ шампанскаго, но и съ нимъ я былъ едва живъ.

Съ легкой руки министра народнаго просвѣщенія и жандармскаго полковника, я уже безъ нервныхъ явленій и самолюбивой застѣнчивости явился на польскомъ митингѣ въ Лондонѣ, это былъ мой третій публичный дебютъ. Отставной министръ Уваровъ былъ замѣненъ отставнымъ министромъ Ледрю-Ролленомъ.

Но не довольно-ли студентскихъ воспоминаній? Я боюсь, не старчество ли это останавливаться на нихъ такъ долго; прибавлю только нѣсколько подробностей о холерѣ 1831 года.

Холера—это слово, такъ знакомое теперь въ Европѣ, домашнее въ Россіи, раздалось тогда въ первый разъ на сѣверѣ. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волгѣ къ Москвѣ. Преувеличенные слухи наполняли ужасомъ воображеніе. Болѣзнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдругъ грозная вѣсть: «холера въ Москвѣ!»—разнеслась по городу.

Утромъ одинъ студентъ политическаго отдѣленія почувствовалъ дурноту, на другой день онъ умеръ въ университетской больницѣ. Мы бросились смотрѣть его тѣло. Онъ исхудалъ какъ въ длинную болѣзнь, глаза ввалились, черты были искажены, возлѣ него лежалъ сторожъ, занемогшій въ ночь.

Намъ объявили, что университетъ велѣно закрыть. Въ нашемъ отдѣленіи этотъ приказъ былъ прочтенъ профессоромъ техноло-

ги Денисовымъ; онъ былъ грустенъ, можетъ быть, испуганъ. На другой день къ вечеру умеръ и онъ.

Мы собрались изъ всѣхъ отдѣленій на большой университетскій дворъ; что-то трогательное было въ этой толпящейся молодежи, которой велѣно было разстаться передъ заразой. Лица были блѣдны, особенно одушевлены, многіе думали о родныхъ, друзьяхъ; мы простились съ казеннокоштными, которыхъ отъ насъ отдѣляли карантинными мѣрами, и разбрелись небольшими кучками по домамъ. А дома всѣхъ встрѣтили вонючей хлористой известью, уксусомъ четырехъ разбойниковъ, и такой діэтой, которая одна безъ хлору и холеры могла свести человѣка въ постель.

Странное дѣло, это печальное время осталось какимъ-то торжественнымъ въ моихъ воспоминаніяхъ.

Москва приняла совѣтъ иной видъ. Публичность, неизвѣстная въ обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачныя толпы народа стояли на перекресткахъ и толковали объ отравителяхъ; кареты, возившія больныхъ, шагомъ двигались, сопровождаемыя полицейскими; люди сторонились отъ черныхъ фуръ съ трупами. Бюллетени о болѣзни печатались два раза въ день. Городъ былъ оцѣпленъ, какъ въ военное время, и солдаты пристрѣлили какого-то бѣднаго дьячка, пробиравшагося черезъ рѣку. Все это сильно занимало умы, страхъ передъ болѣзнію отнялъ страхъ передъ властями, жители роптали, а тутъ вѣсть за вѣстью, что тотъ-то занемогъ, что такой-то умеръ...

Митрополитъ устроилъ общее молебствіе. Въ одинъ день и въ одно время священники съ хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили изъ домовъ и бросались на колѣни во время шествія, прося со слезами отпущенія грѣховъ; самые священники были серьезны и тронуты. Доля ихъ шла въ Кремль; тамъ на чистомъ воздухѣ, окруженный высшимъ духовенствомъ, стоялъ колѣно-проклоненный митрополитъ и молился—да мимо идетъ чаша сія.

Филаретъ представлялъ какого-то оппозиціоннаго іерарха; во имя чего онъ дѣлалъ оппозицію, я никогда не могъ понять. Развѣ во имя своей личности. Онъ былъ человѣкъ умный и ученый, владѣлъ мастерски русскимъ языкомъ, удачно вводя въ него церковно-славянскій: все это вмѣстѣ не давало ему никакихъ правъ на оппозицію. Народъ его не любилъ и называлъ массомомъ, потому что онъ былъ въ близости съ княземъ А. Н. Голицынымъ и проповѣдывалъ въ Петербургѣ въ самый разгаръ библейскаго общества. Синодъ запретилъ учить по его катехизису. Подчиненное ему духовенство трепетало его.

Филаретъ умѣлъ хитро и ловко унижать временную власть; въ его проповѣдяхъ просвѣчивалъ тотъ христіанскій, неопредѣ-

ленный социализмъ, которымъ блистали Лакордеръ и другіе дальновидные католики. Филаретъ съ высоты своего первосвятительнаго амвона говорилъ о томъ, что человѣкъ никогда не можетъ быть *законно* орудіемъ другого, что между людьми можетъ только быть обмѣна услугъ, и это говорилъ онъ въ государствѣ, гдѣ поль-населенія рабы.

Онъ говорилъ колодникамъ въ пересыльномъ острогѣ на Воробьевыхъ горахъ: «Гражданскій законъ васъ осудилъ и гонить, а церковь гонится за вами, хочетъ сказать еще слово, еще помолиться объ васъ и благословить на путь». Потомъ, утѣшая ихъ, онъ прибавлялъ, «что они, наказанные, покончили съ своимъ прошедшимъ, что имъ предстоитъ новая жизнь, въ то время какъ между другими (вѣроятно другихъ, *кроме* чиновниковъ, не было налицо) есть еще большіе преступники», и онъ ставилъ въ примѣръ разбойника вмѣстѣ съ Христомъ.

Проповѣдь Филарета на молебствіи по случаю холеры превзошла всѣ остальные; онъ взялъ текстомъ, какъ ангелъ предложилъ въ наказаніе Давиду избрать войну, голодъ или чуму; Давидъ избралъ чуму. Государь пріѣхалъ въ Москву взбѣшенный, послалъ министра двора князя Волхонскаго намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитомъ въ Грузію. Митрополитъ смиренно покорился и разослалъ новое слово по всѣмъ церквамъ, въ которомъ пояснялъ, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложеніе въ текстѣ первой проповѣди къ благочестивѣйшему императору, что Давидъ это мы сами, погрязнувшіе въ грѣхахъ. Разумѣется, тогда и тѣ поняли первую проповѣдь, которые не добрались до ея смысла сразу.

Такъ игралъ въ оппозицію московскій митрополитъ.

Молебствіе такъ же мало помогло отъ заразы, какъ хлористая известь; болѣзнь увеличивалась.

Я былъ все время жесточайшей холеры 1849 г. въ Парижѣ. Болѣзнь свирѣпствовала страшно. Юньскіе жары ей помогали, бѣдные люди мерли какъ мухи; мѣщане бѣжали изъ Парижа, другіе сидѣли назаперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой противъ революціонеровъ, не думало брать дѣятельныхъ мѣръ. Тщедушныя колекты были несоразмѣрны требованіямъ. Бѣдные работники оставались покинутыми на произволъ судьбы, въ больницахъ не было довольно кроватей, у полиціи не было достаточно гробовъ, и въ домахъ, биткомъ набитыхъ разными семьями, тѣла оставались дня по два во внутреннихъ комнатахъ.

Въ Москвѣ было не такъ.

Князь Д. В. Голицынъ, тогдашній генералъ-губернаторъ, человѣкъ слабый, но благородный, образованный и очень уважае-

мый, увлекъ московское общество и какъ-то все уладилось по домашнему, т. е. безъ особеннаго вмѣшательства правительства. Составился комитетъ изъ почетныхъ жителей — богатыхъ помѣщиковъ и купцовъ. Каждый членъ взялъ себѣ одну изъ частей Москвы. Въ нѣсколько дней было открыто двадцать больницъ, онѣ не стоили правительству ни копейки, все было сдѣлано на пожертвованныя деньги. Купцы давали даромъ все, что нужно для больницъ—одѣяла, бѣлье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшимъ. Молодые люди шли даромъ въ смотрители больницъ, для того, чтобъ приношенія не были на половину украдены служащими.

Университетъ не отсталъ. Весь медицинскій факультетъ, студенты и лекаря en masse, привели себя въ распоряженіе холернаго комитета; ихъ разослали по больницамъ и они остались тамъ безвыходно до конца заразы. Три или четыре мѣсяца эта чудная молодежь прожила въ больницахъ ординаторами, фельдшерами, сидѣлками, письмоводителями,—и все это безъ всякаго вознагражденія и притомъ въ то время, когда такъ преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента малороссіянина, кажется Фицхеллаурова, который въ началѣ холеры просился въ отпускъ по важнымъ семейнымъ дѣламъ. Отпускъ во время курса даютъ рѣдко, онъ, наконецъ, получилъ его; въ самое то время, какъ онъ собирался ѣхать, студенты отправлялись по больницамъ. Малороссіянинъ положилъ свой отпускъ въ карманъ и пошелъ съ ними. Когда онъ вышелъ изъ больницы, отпускъ былъ давно просроченъ, и онъ первый отъ души хохоталъ надъ своей поѣздкой.

Москва, повидимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольемъ, свадьбами и ничѣмъ, просыпается всякій разъ, когда надобно, и становится въ уровень съ обстоятельствами, когда надъ Русью гремитъ гроза.

Она въ 1612 году кроваво обвѣнчалась съ Россіей и сплывалась съ нею огнемъ 1812.

Она склонила голову передъ Петромъ, потому что въ звѣриной лапѣ его была будущность Россіи.

Хмура брови и надувая губы, ждалъ Наполеонъ ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпѣливо играя мундштукомъ и теребя перчатку. Онъ не привыкъ одинъ входить въ чужіе города.

«Но не пошла Москва моя»,

какъ говорить Пушкинъ,—а зажгла самое себя.

Явилась холера, и снова народный городъ показался полнымъ сердца и энергіи!

Въ 1830, въ августѣ, мы поѣхали въ Васильевское, останавливались, по обыкновенію, въ радклифовскомъ замкѣ Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ѣхать далѣе. Бакай, подпоясанный полотенцемъ, уже прокричалъ «трогай!», какъ какой-то человѣкъ, скакавшій верхомъ, далъ знакъ, чтобъ мы остановились, и фореиторъ Сенатора въ пыли и поту соскочилъ съ лошади и подалъ моему отцу пакетъ. Въ этомъ пакетѣ была *Юльская революція!* — Два листа Journal des Debats, которые онъ привезъ съ письмомъ, я перечиталъ сто разъ, я ихъ зналъ наизусть, — и первый разъ скучалъ въ деревнѣ.

Славное было время, событія неслись быстро. Едва худошавая фигура Карла X успѣла скрыться за туманами Голируда, Бельгія вспыхнула, тронъ короля-гражданина качался, какое-то горячее, революціонное дуновеніе началось въ преніяхъ, въ литературѣ. Романы, драмы, поэмы, все снова сдѣлалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революціонныхъ постановокъ во Франціи намъ была неизвѣстна, и мы все принимали за чистыя деньги.

Кто хочетъ знать, какъ сильно дѣйствовала на молодое поколѣніе вѣсть іюльскаго переворота, пусть тотъ прочтетъ описаніе Гейне, услышавшаго на Гельголандѣ, «что великій, языческій Панъ умеръ». Тутъ нѣтъ поддѣльнаго жара; Гейне тридцати лѣтъ былъ такъ же увлеченъ, такъ же одушевленъ до ребячества, какъ мы восемнадцати.

Мы слѣдили шагъ за шагомъ, за каждымъ словомъ, за каждымъ событіемъ, за смѣлыми вопросами и рѣзкими отвѣтами, за генераломъ Лафайетомъ и за генераломъ Ламаркомъ; мы не только подробно знали, но горячо любили всѣхъ тогдашнихъ дѣятелей, разумѣется радикальныхъ, и хранили у себя ихъ портреты отъ Манюеля и Бенжамена Констана, до Дюпонъ-де-Лѣра и Армана Кареля.

Насъ было пятеро сначала, тутъ мы встрѣтились съ Пасекомъ.

Въ Вадимѣ для насъ было много новаго. Мы всѣ, съ небольшими вариациями, имѣли сходное развитіе, т. е. ничего не знали кромѣ Москвы и деревни, учились по тѣмъ же книгамъ и брали уроки у тѣхъ же учителей, воспитывались дома или въ университетскомъ пансіонѣ. Вадимъ родился въ Сибири, во время ссылки своего отца, въ нуждѣ и лишеніяхъ; его училъ самъ отецъ, онъ выросъ въ многочисленной семьѣ братьевъ и сестеръ, въ гнетущей бѣдности, но на полной волѣ. Сибирь кладетъ свой отпечатокъ, вовсе не похожій на нашъ провинціальный; онъ далеко не такъ пошлъ и мелокъ, онъ обличаетъ больше здоровья и лучшей

закалъ. Вадимъ былъ дичекъ въ сравненіи съ нами. Его удалъ была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; аристократизмъ несчастія развилъ въ немъ особое самолюбіе; но онъ много умѣлъ любить и другихъ, и отдавался имъ не скупясь. Онъ былъ отваженъ, даже неостороженъ до излишества: человѣкъ, родившійся въ Сибири, и притомъ въ семьѣ сосланной, имѣеть уже то преимущество передъ нами, что не боится Сибири.

Вадимъ прижалъ насъ къ своей груди, какъ только встрѣтился. Мы сблизились очень скоро. Впрочемъ, въ то время ни церемоній, ни благоразумной осторожности, ничего подобнаго не было въ нашемъ кругѣ.

— Хочешь познакомиться съ К., о которомъ ты столько слышалъ?—говорить мнѣ Вадимъ.

— «Непремѣнно хочу».

— Приходи завтра въ семь часовъ вечера, да не опоздай,—онъ будетъ у меня.

Я прихожу—Вадима нѣтъ дома. Высокій мужчина съ выразительнымъ лицомъ и добродушно—грознымъ взглядомъ изъ-подъ очковъ дожидается его. Я беру книгу — онъ беретъ книгу.

— Да вы, говоритъ онъ, раскрывая ее,—вы Герценъ?

— «Да, а вы К.?»

Начинается разговоръ — живѣй, живѣй...

— Позвольте, грубо перебиваетъ меня К., — позвольте, сдѣлайте одолженіе, говорите мнѣ *ты*.

— «Будемте говорить *ты*».

И съ этой минуты (которая могла быть въ концѣ 1831 г.) мы были неразрывными друзьями; съ этой минуты гнѣвъ и милость, смѣхъ и крикъ К. раздаются во всѣ наши возрасты, во всѣхъ приключеніяхъ нашей жизни.

Встрѣча съ Вадимомъ ввела новый элементъ въ нашу запорожскую сѣчь.

Собирались мы, по прежнему, всего чаще у Огарева. Большой отецъ его переѣхалъ на житье въ свое пензенское имѣнье. Онъ жилъ одинъ въ нижнемъ этажѣ ихъ дома у Никитскихъ воротъ. Квартира его была недалеко отъ университета и въ нее особенно всѣхъ тянуло. Въ Огаревѣ было то магнитное притяженіе, которое образуетъ первую стрѣлку кристаллизаціи во всякой массѣ беспорядочно встрѣчающихся атомовъ, если только они имѣютъ между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незамѣтно сердцемъ организма.

Но рядомъ съ его свѣтлой, веселой комнатою, обитой красными обоями съ золотыми полосками, въ которой не проходилъ дымъ сигаръ, запахъ жженки, и другихъ... я хотѣлъ сказать—яствъ и питій, но остановился, потому что изъ сѣстныхъ при-

пасовъ, кромѣ сыру, рѣдко что было—итакъ, рядомъ съ ультра-студенческимъ пріютомъ Огарева, гдѣ мы спорили цѣлыя ночи напролетъ, а иногда цѣлыя ночи кутили, дѣлался у насъ больше и больше любимымъ другой домъ, въ которомъ мы чуть ли не впервые научились уважать семейную жизнь.

Вадимъ часто оставлялъ наши бесѣды и уходилъ домой, ему было скучно, когда онъ не видалъ долго сестеръ и матери. Намъ, жившимъ всей душою въ товариществѣ, было странно, какъ онъ могъ предпочитать свою семью—нашей.

Онъ познакомилъ насъ съ нею. Она вчера пришла изъ Сибири, она была разорена, и вмѣстѣ съ тѣмъ полна того величія, которое кладетъ несчастье не на *каждаго* страдальца, а на чело тѣхъ, которые *умѣли* вынести.

Ихъ отецъ былъ схваченъ при Павлѣ вслѣдствіе какого-то политическаго доноса, брошенъ въ Шлиссельбургъ и потомъ сосланъ въ Сибирь на поселенье. Александръ возвратилъ тысячи сосланныхъ отцомъ его, но Пассекъ былъ *забытъ*. Онъ былъ племянникъ того Пассека, который потомъ былъ генераль-губернаторомъ въ польскихъ провинціяхъ, и *могъ требовать* долю наслѣдства, уже перешедшаго въ другія руки.

Содержась въ Шлиссельбургѣ, Пассекъ женился на дочери одного изъ офицеровъ тамошняго гарнизона. Молодая дѣвушка знала, что дѣло кончится дурно, но не остановилась, устрешенная ссылкой. Сначала они въ Сибири кой-какъ перебивались, продавая послѣднія вещи, но страшная бѣдность шла неотразимо и тѣмъ скорѣе, что семья росла числомъ. Въ нуждѣ, въ работѣ, лишеныя теплой одежды, а иногда насущнаго хлѣба, они умѣли выходить, вскормить цѣлую семью львенковъ; отецъ передалъ имъ неукротимый и гордый духъ свой, вѣру въ себя, тайну великихъ несчастій, онъ воспиталъ ихъ примѣромъ; мать самоотверженіемъ и горькими слезами. Сестры не уступали братьямъ въ героической твердости. Да, чего бояться словъ, — это была семья героевъ. Что они всѣ вынесли другъ для друга, что они дѣлали для семьи,—невѣроятно, и все съ поднятой головой, нисколько не сломившись.

Въ Сибири у трехъ сестеръ была какъ-то одна пара башмаковъ; онѣ ее берегли для прогулки, чтобъ посторонніе не видали крайности.

Въ началѣ 1826 года Пассеку было разрѣшено возвратиться въ Россію. Дѣло было зимой; шутка ли подняться съ такой семьей безъ шубъ, безъ денегъ, изъ Тобольской губерніи, а съ другой стороны сердце рвалось, ссылка всего невыносимѣе послѣ ея окончанія. Поплелись наши страдальцы кой-какъ; кормилица крестьянка, кормившая кого-то изъ дѣтей во время болѣзни ма-

тери, принесла свои деньги, кой-какъ сколоченныя ею, имъ на дорогу, прося только, чтобъ и ее взяли; ящики провезли ихъ до русской границы за безцѣнокъ или даромъ; часть семьи шла, другая ѣхала, молодежь смѣнялась, такъ они перешли дальній зимній путь отъ Уральскаго хребта до Москвы. Москва была мечтою молодежи, ихъ надеждой,—тамъ ихъ ждалъ голодъ.

Правительство, прощая Пассековъ, и не думало имъ возвратить какую-нибудь долю имѣнья. Истощенный усиліями и лишениями старикъ слегъ въ постель; не знали, чѣмъ будутъ обѣдать завтра.

Не вынесъ больше отецъ, онъ умеръ. Остались дѣти одни съ матерью, кой-какъ перебиваясь съ дня на день. Чѣмъ больше было нуждъ, тѣмъ больше работали сыновья; трое блестящимъ образомъ окончили курсъ въ университетѣ и вышли кандидатами. Старшіе уѣхали въ Петербургъ, оба отличные математики, они сверхъ службы (одинъ во флотъ, другой въ инженерахъ) давали уроки и, отказывая себѣ во всемъ, посылали въ семью вырученныя деньги.

Живо помню я старушку мать въ ея темномъ капотѣ и бѣломъ чепцѣ; худое блѣдное лицо ея было покрыто морщинами, она казалась съ виду гораздо старше, чѣмъ была; одни глаза нѣсколько отстали, въ нихъ было видно столько кротости, любви, заботы и столько прошлыхъ слезъ. Она была влюблена въ своихъ дѣтей, она была ими богата, знатна, молода... она читала и перечитывала намъ ихъ письма, она съ такимъ свято глубокимъ чувствомъ говорила о нихъ своимъ слабымъ голосомъ, который иногда измѣнялся и дрожалъ отъ удержанныхъ слезъ.

Когда они всѣ бывали въ сборѣ въ Москвѣ и садились за свой простой обѣдъ, старушка была внѣ себя отъ радости, ходила около стола, хлопотала и, вдругъ останавливаясь, смотрѣла на свою молодежь съ такою гордостью, съ такимъ счастіемъ и потомъ поднимала на меня глаза, какъ будто спрашивая: «не правда ли, какъ они хороши?»—Какъ въ эти минуты мнѣ хотѣлось броситься ей на шею, поцѣловать ея руку. И къ тому же они дѣйствительно всѣ были даже наружно очень красивы.

Она была счастлива тогда... Зачѣмъ она не умерла за однимъ изъ этихъ обѣдовъ?

Въ два года она лишилась трехъ старшихъ сыновей. Одинъ умеръ блестяще, окруженный признаніемъ враговъ, середь успѣховъ, славы, хотя и не за свое дѣло сложилъ голову. Это былъ молодой генералъ, убитый черкесами подъ Дарго. Лавры не лечатъ сердце матери... Другимъ даже не удалось хорошо погибнуть; тяжелая русская жизнь давила ихъ, давила; пока продавала грудь.

Бѣдная мать!

Вадимъ умеръ въ февралѣ 1843 г.; я былъ при его кончинѣ и тутъ въ первый разъ видѣлъ смерть близкаго человѣка, и притомъ во всемъ несмягченномъ ужасѣ ея, во всей безсмысленной случайности, во всей тупой, безнравственной несправедливости.

Десять лѣтъ передъ своей смертью, Вадимъ женился на моей кузинѣ, и я былъ шаферомъ на свадьбѣ. Семейная жизнь и перемѣна быта развели насъ нѣсколько. Онъ былъ счастливъ въ своемъ а partе, но внѣшняя сторона жизни не давалась ему, его предпріятія не шли. Незадолго до нашего ареста онъ поѣхалъ въ Харьковъ, гдѣ ему была обѣщана кафедра въ университетѣ. Его поѣздка хотя и спасла его отъ тюрьмы, но имя его не ускользнуло отъ полицейскихъ ушей. Вадиму отказали въ мѣстѣ. Товарищъ попечителя признался ему, что они получили бумагу, въ силу которой имъ не велѣно ему давать кафедры за извѣстныя правительству связи его съ *злумышленными людьми*.

Вадимъ остался безъ мѣста, т. е. безъ хлѣба—вотъ его Вятка.

Насъ сослали. Сношенія съ нами были опасны. Черные годы нужды наступили для него; въ семилѣтней борьбѣ съ добываніемъ скудныхъ средствъ, въ оскорбительныхъ столкновеніяхъ съ людьми грубыми и черствыми, вдали отъ друзей, безъ возможности перекликнуться съ ними—здоровые мышцы его износились.

— Разъ,—сказывала мнѣ его жена потомъ,—у насъ вышли всѣ деньги до послѣдней копейки; наканунѣ я старалась достать гдѣ-нибудь рублей десять, нигдѣ не нашла, у кого можно было занять нѣсколько, я уже заняла. Въ лавочкахъ отказались давать припасы иначе, какъ на чистыя деньги; мы думали объ одномъ—что же завтра будутъ ѣсть дѣти? Печально сидѣлъ Вадимъ у окна, потомъ всталъ, взялъ шляпу и сказалъ, что хочетъ пройтись. Я видѣла, что ему очень тяжело, мнѣ было страшно, но все же я радовалась, что онъ нѣсколько разсѣется. Когда онъ ушелъ, я бросилась на постель и горько, горько плакала, потомъ стала думать, чтò дѣлать: всѣ сколько-нибудь цѣнные вещи—кольцы, ложки давно были заложены; я видѣла одинъ выходъ, приходилось идти къ *нашимъ* и просить ихъ тяжелой, холодной помощи. Между тѣмъ Вадимъ бродилъ безъ определенной цѣли по улицамъ и такъ дошелъ до Петровскаго бульвара. Проходя мимо лавки Ширяева, ему пришло въ голову спросить, не продать ли онъ хоть одинъ экземпляръ его книги; онъ былъ дней пять передъ тѣмъ, но ничего не нашелъ; со страхомъ вошелъ онъ въ его лавку. «Очень радъ васъ видѣть, сказалъ ему Ширяевъ, отъ петербургскаго корреспондента письмо, онъ продалъ на 300 рублей вашихъ книгъ, желаете получить?»—И Ши-

ряевъ отсчиталъ ему пятнадцать золотыхъ. Вадимъ потерялъ голову отъ радости, бросился въ первый трактиръ за съѣстными припасами, купилъ бутылку вина, фруктовъ и торжественно приискалъ на извозчикѣ домой. Я въ это время разбавила водой остатокъ бульона для дѣтей и думала удѣлить ему немного, увѣривши его, что я уже ѣла, какъ вдругъ онъ входитъ съ кулькомъ и бутылкой, веселый и радостный, какъ бывало.

И она рыдала и не могла выговорить ни слова...

Послѣ ссылки я его мелькомъ встрѣтилъ въ Петербургѣ и нашелъ его очень измѣнившимся. Убѣжденія свои онъ сохранилъ, но онъ ихъ сохранилъ, какъ воинъ не выпускаетъ меча изъ руки, чувствуя, что самъ раненъ на вылетъ. Онъ былъ задумчивъ, изнуренъ и сухо смотрѣлъ впередъ. Такимъ я его засталъ въ Москвѣ въ 1842 году; обстоятельства его нѣсколько поправились, труды его были оцѣнены, но все это пришло поздно,— это эпюлеты Полежаева, это прощенье Кольрейфа, сдѣланное русской жизнью.

Вадимъ таялъ, туберкулезная чахотка открылась осенью 1842 года,—страшная болѣзнь, которую мнѣ привелось еще разъ видѣть.

За мѣсяць до его смерти я съ ужасомъ сталъ примѣчать, что умственные способности его тухнуть, слабѣютъ, точно догорающія свѣчи, въ комнатѣ становилось темнѣе, смутнѣе. Онъ вскорѣ сталъ съ трудомъ и усилениемъ приискивать слово для нескладной рѣчи, останавливался на внѣшнихъ созвучіяхъ, потомъ онъ почти и не говорилъ, а только заботливо спрашивалъ свои лекарства и не пора ли принять.

Одной февральской ночью, часа въ три, жена Вадима прислала за мной; больному было тяжело, онъ спрашивалъ меня, я подошелъ въ нему и тихо взялъ его за руку; его жена назвала меня, онъ посмотрѣлъ долго, устало, не узналъ и закрылъ глаза. Привели дѣтей, онъ посмотрѣлъ на нихъ, но тоже, кажется, не узналъ. Стонъ его становился тяжелѣе, онъ утихалъ минутами и вдругъ продолжительно вздыхалъ съ крикомъ; тутъ въ ближней церкви ударили въ колоколъ; Вадимъ прислушался и сказалъ: «Это заутреня». Больше онъ не произнесъ ни одного слова... Жена рыдала на колѣняхъ у кровати возлѣ покойника; добрый, милый молодой человекъ изъ университетскихъ товарищей, ходившій послѣднее время за нимъ, суетился, отодвигалъ столъ съ лекарствами, поднималъ шторы... Я вышелъ вонъ; на дворѣ было морозно и свѣтло, восходящее солнце ярко свѣтило на снѣгъ, точно будто сдѣлалось что-нибудь хорошее; я отправился заказывать гробъ.

Когда я возвратился, въ маленькомъ домѣ царила мертвая тишина; покойникъ по русскому обычаю лежалъ на столѣ въ

залѣ, поодаль сидѣлъ живописецъ Рабусъ, его пріятель, и карандашомъ сквозь слезъ снималъ его портретъ; возлѣ покойника, молча, сложа руки, съ выраженіемъ безконечной грусти, стояла высокая женская фигура; ни одинъ артистъ не сумѣлъ бы изваять такую благородную и глубокую «скорбь». Женщина эта была не молода, но слѣды строгой, величавой красоты остались; завернутая въ длинную черную бархатную мантилью на горностаевомъ мѣху, она стояла неподвижно.

Я остановился въ дверяхъ.

Прошли двѣ-три минуты, та же тишина, но вдругъ она поклонилась, крѣпко поцѣловала покойника въ лобъ и, сказавъ: «Прощай, прощай, другъ Вадимъ», твердыми шагами пошла во внутреннія комнаты. Рабусъ все рисовалъ, онъ кивнулъ мнѣ головой, говорить намъ не хотѣлось, я молча сѣлъ у окна.

Женщина эта была сестра графа Захара Чернышева, сосланнаго за 14 декабря, Е. Черткова.

Симоновскій архимандритъ Мелхиседекъ самъ предложилъ мѣсто въ своемъ монастырѣ. Мелхиседекъ былъ нѣкогда простой плотникъ и отчаянный раскольникъ, потомъ обратился къ православію, пошелъ въ монахи, сдѣлался игуменомъ и, наконецъ, архимандритомъ. При этомъ онъ остался плотникомъ, т. е. не потерялъ ни сердца, ни широкихъ плечъ, ни краснаго, здороваго лица. Онъ зналъ Вадима и уважалъ его за его историческія изысканія о Москвѣ.

Когда тѣло покойника явилось передъ монастырскими воротами, они отворились и вышелъ Мелхиседекъ со всеми монахами встрѣтить тихимъ, грустнымъ пѣніемъ бѣдный гробъ страдальца и проводить до могилы. Недалеко отъ могилы Вадима покоится другой прахъ, дорогой намъ, прахъ Веневитинова съ надписью: «Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ!» Много зналъ и Вадимъ жизнь!

Судьбѣ и этого было мало. Зачѣмъ въ самомъ дѣлѣ такъ долго зажилась старушка мать? Видѣла конецъ ссылки, видѣла своихъ дѣтей во всей красотѣ юности, во всемъ блескѣ таланта, чего было жить еще! Кто дорожить счастьемъ, тотъ долженъ искать ранней смерти. Хроническаго счастья такъ же нѣтъ, какъ нетающего льда.

Старшій братъ Вадима умеръ, нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ того, какъ Діомидъ былъ убитъ; онъ простудился, запустилъ болѣзнь, подточенный организмъ не вынесъ. Врядъ было ли ему сорокъ лѣтъ, а онъ былъ старшій.

Эти три гроба трехъ друзей отбрасываютъ назадъ длинныя черныя тѣни; послѣдніе мѣсяцы юности видѣются сквозь погребальный крепъ и дымъ кадилъ...

Прошло съ годъ, дѣло взятыхъ товарищей окончилось. Ихъ обвинили (какъ въ послѣдствіи насъ, потомъ Петрашевцевъ) въ *намѣреніи* составить тайное общество, въ преступныхъ разговорахъ; за это ихъ отправляли въ солдаты, въ Оренбургъ.

Чередъ былъ теперь за нами. Имена наши уже были занесены въ списки тайной полиціи. Первая игра голубой кошки съ мышью началась такъ.

Когда приговоренныхъ молодыхъ людей отправляли по этапамъ, пѣшкомъ, безъ достаточно теплой одежды, въ Оренбургъ, Огаревъ въ нашемъ кругу и И. Кирѣвскій въ своемъ сдѣлали подписки. Всѣ приговоренные были безъ денегъ. Кирѣвскій привезъ собранныя деньги коменданту Стаалу, добрѣйшему старику, о которомъ намъ придется еще говорить. Стааль общался деньги отдать и спросилъ Кирѣвскаго:

— «А это что за бумаги?»

— Имена подписавшихся, сказалъ Кирѣвскій, и счетъ.

— «Вы вѣрите, что я деньги отдамъ?» спросилъ старикъ.

— Объ этомъ нечего говорить.

— «А я думаю, что тѣ, которые вамъ ихъ вручили, вѣрятъ вамъ. А потому на что жъ *намъ беречь ихъ имена*». Съ этими словами Стааль списокъ бросилъ въ огонь и, само собою разумѣется, поступилъ превосходно.

Огаревъ самъ свезъ деньги въ казармы, и это сошло съ рукъ. Но молодые люди вздумали поблагодарить изъ Оренбурга товарищей и, пользуясь случаемъ, что какой-то чиновникъ ѣхалъ въ Москву, попросили его взять письмо, котораго довѣрить почтѣ боялись. Чиновникъ не преминулъ воспользоваться такимъ рѣдкимъ случаемъ для засвидѣтельствованія своихъ вѣрноподданныхическихъ чувствъ и представилъ письмо жандармскому окружному генералу въ Москвѣ.

Тогда на мѣстѣ А. А. Волкова, сошедшаго съ ума на томъ, что поляки хотятъ ему поднести польскую корону (что за иронія свести съ ума жандармскаго генерала на коронѣ Ягеллоновъ!), былъ Лисовскій. Лисовскій, самъ полякъ, былъ не злой и не дурной человекъ: разстроивъ свое имѣнье игрой и какой-то французской актрисой, онъ философски предпочелъ мѣсто жандармскаго генерала въ Москвѣ—мѣсту въ ямѣ того же города.

Лисовскій призвалъ Огарева, К....., С....., Вадима, И. Оболенскаго и пр., и обвинилъ ихъ за сношенія съ государственными преступниками. На замѣчаніе Огарева, что онъ ни къ кому не писалъ, а что если кто къ нему писалъ, то за это онъ отвѣчать не можетъ, къ тому же до него никакого письма и не доходило, Лисовскій отвѣчалъ:

— «Вы дѣлали для нихъ подписку, это еще хуже. На первый разъ государь такъ милосердъ, что онъ васъ прощаетъ, только, господа, предупреждаю васъ, за вами будетъ строгій надзоръ, будьте осторожны».

Лисовскій осмотрѣлъ всѣхъ значительнымъ взглядомъ и, остановившись на К....., который былъ всѣхъ выше, постарше и такъ грозно поднималъ брови, прибавилъ: «Вамъ-то, милостивый государь, въ *вашемъ званіи* какъ не стыдно». Можно было думать, что К..... былъ тогда вице-канцлеромъ російскихъ орденовъ, а онъ занималъ только должность уѣзднаго лекаря.

Я не былъ призванъ, вѣроятно моего имени въ письмѣ не было.

Угроза эта была чиномъ, посвященіемъ, мощными шпорами. Совѣтъ Лисовскаго попалъ масломъ въ огонь, и мы, какъ бы облегчая будущій надзоръ полиціи, надѣли на себя бархатные береты à la Karl Sand и повязали на шею одинакіе *трехцветные шарфы!*

Полковникъ Шубинскій, тихо и мягко, бархатной ступней подбивавшійся на мѣсто Лисовскаго, цѣпко ухватился за его слабость съ нами; мы должны были послужить одной изъ ступенекъ его повышенія по службѣ—и послужили.

Но прежде прибавлю нѣсколько словъ о судьбѣ Сунгурова и его товарищей.

Кольрейфъ возвратился въ Москву и потухъ на старыхъ рукахъ убитаго горемъ отца.

Костенецкій отличился рядовымъ на Кавказѣ и былъ произведенъ въ офицеры. *Антоновичъ* тоже.

Судьба несчастнаго Сунгурова несравненно страшнѣе. Пришедши въ первый этапъ на Воробьевыхъ горахъ, Сунгуровъ попросилъ у офицера позволеніе выйти на воздухъ изъ душной избы, биткомъ набитой ссыльными. Офицеръ, молодой человекъ, лѣтъ двадцати, вышелъ самъ съ нимъ на дорогу. Сунгуровъ, избравъ удобную минуту, свернулъ съ дороги и исчезъ. Вѣроятно, онъ очень хорошо зналъ мѣстность, ему удалось уйти отъ офицера, но на другой день жандармы попали на его слѣдъ. Когда Сунгуровъ увидѣлъ, что ему нельзя спастись, онъ перерѣзалъ себѣ горло. Жандармы привезли его въ Москву безъ памяти и исходящаго кровью.

Несчастный офицеръ былъ разжалованъ въ солдаты.

Сунгуровъ не умеръ. Его снова судили, но уже не какъ политическаго преступника, а какъ бѣглаго поселщика: ему обрили пол-головы. Къ этому вышнему сраму сентенція прибавила *одимъ* ударъ плетью въ стѣнахъ острога. Было ли это исполнено, не знаю. Послѣ этого Сунгуровъ былъ отправленъ въ Нерчинскъ въ рудники.

Имя его еще разъ прозвучало для меня, и потомъ совсѣмъ исчезло.

Въ Вяткѣ встрѣтилъ я разъ на улицѣ молодого лекаря, товарища по университету, ѣхавшаго куда-то на заводы. Мы разговорились о былыхъ временахъ, объ общихъ знакомыхъ.

— Боже мой, сказалъ лекарь, знаете ли, кого я видѣлъ, ѣхавши сюда? Въ Нижегородской губерніи сижу я на почтовой станціи и жду лошадей. Погода была прескверная. Взшелъ этапный офицеръ, приведшій партію арестантовъ, пообогрѣться. Мы съ нимъ разговорились; услышавъ, что я лекарь, онъ попросилъ меня дойти до этапа, взглянуть на одного больного изъ пересыльныхъ, притворяется что ли онъ, или вправду крѣпко боленъ. Я пошелъ, разумѣется, съ намѣреніемъ во всякомъ случаѣ подтвердить болѣзнь колодника. Въ небольшомъ этапѣ было чело-вѣкъ восемьдесятъ народу въ цѣпяхъ, бритыхъ и небритыхъ, женщинъ, дѣтей; всѣ они разступились передъ офицеромъ, и мы увидѣли на грязномъ полу, въ углу на соломѣ, какую-то фигуру, завернутую въ кафтанъ ссыльнаго.

— Вотъ больной, сказалъ офицеръ. Лгать мнѣ не пришлось: несчастный былъ въ сильнѣйшей горячкѣ; исхудалый и изнеможенный отъ тюрьмы и дороги, полубритый и съ бородой, онъ былъ страшень, бессмысленно водилъ глазами и безпрестанно просилъ пить.

— Что, братъ, плохо? сказалъ я больному, и прибавилъ офицеру:—идти ему невозможно.

Больной уставилъ на меня глаза и пробормоталъ: «Это вы?» Онъ назвалъ меня. «Вы меня не узнаете», прибавилъ онъ голосомъ, который ножомъ провелъ по сердцу.

— Извините меня, сказалъ я ему, взявъ его сухую и каленую руку, не могу припомнить.

— «Я Сунгуровъ», отвѣчалъ онъ.—Бѣдный Сунгуровъ! повторилъ лекарь, качая головой.

— Что же, его оставили? спросилъ я.

— Нѣтъ, однако дали телѣгу.

Послѣ того какъ я писалъ это, я узналъ, что Сунгуровъ умеръ въ *Нерчинскѣ*.

ГЛАВА VII.

Конецъ курса.—Шиллеровскій періодъ.—Молодая юность и артистическая жизнь.—С.-симонизмъ и Н. Полевой.

Пока еще не разразилась надъ нами гроза, мой курсъ пришелъ къ концу. Обыкновенныя хлопоты, неспяныя ночи для без-
полезныхъ мнемоническихъ пытокъ, поверхностное ученіе на скорую руку и мысль объ экзаменѣ, побѣждающая научный ин-
тересъ, все это какъ всегда. Я писалъ *астрономическую* диссерта-
цію на золотую медаль, и получилъ серебряную. Я увѣренъ, что
я теперь не въ состояніи былъ бы понять того, что тогда писалъ,
и что стоило вѣсъ—*серебра*.

Мнѣ случалось иной разъ видѣть во снѣ, что я студентъ и
иду на экзаменъ; я съ ужасомъ думалъ, сколько я забуду, срѣ-
жешься да и только,—и я просыпался, радуясь отъ души, что
море и паспорта, годы и вины отдѣляютъ меня отъ универси-
тета, никто меня не будетъ испытывать и не осмѣлится поста-
вить отвратительную единицу. А въ самомъ дѣлѣ, профессора
удивились бы, что я въ столько лѣтъ такъ много пошелъ на-
задъ. Разъ это со мной уже и случилось ¹⁾.

Послѣ окончательнаго экзамена, профессора заперлись для
счета балловъ, а мы, волнуемые надеждами и сомнѣніями, бро-
дили маленькими кучками по коридору и по сѣнямъ. Иногда
кто-нибудь выходилъ изъ совѣта, мы бросались узнать судьбу,
но долго еще не было рѣшено; наконецъ, вышелъ Гейманъ. «По-
здравляю васъ, сказалъ онъ мнѣ, вы кандидатъ».—Кто еще, кто
еще?—Такой-то и такой-то. Мнѣ разомъ сдѣбалось грустно и ве-
село; выходя изъ-за университетскихъ воротъ, я чувствовалъ,
что не такъ выхожу, какъ вчера, какъ всякой день; я отчуждался
отъ университета, отъ этого общаго родительскаго дома, въ ко-
торомъ провелъ такъ юно-хорошо четыре года; а съ другой сто-

¹⁾ Въ 1844 г. встрѣтился я съ Перевозищковымъ у Щепкина и сидѣлъ
возлѣ него за обѣдомъ. Подъ конецъ онъ не выдержалъ и сказалъ: «Жаль-съ,
очень жаль-съ, что обстоятельства-съ помѣшали-съ заниматься дѣломъ-съ,— у
васъ прекрасныя-съ были-съ способности-съ».

-- Да, вѣдь, не всѣмъ же, говорилъ я ему, за вами на небо лѣзть. Мы
здѣсь займемся, на землѣ, кой-чѣмъ.

— Помилуйте-съ, какъ-же-съ это-съ можно-съ, какое занятіе-съ, Геге-
лева-съ философія-съ, ваши статьи-съ читаль-съ, понимать-съ нельзя-съ, пти-
чій языкъ-съ. Какое-съ это дѣло-съ. Нѣтъ-съ!

Я долго смѣялся надъ этимъ приговоромъ, т. е. долго не понималъ, что
языкъ-то у насъ тогда дѣйствительно былъ скверный, и если птичій, то на-
вѣрно—птицы, состоящей при Минервѣ.

роны, меня тѣшило чувство признаннаго совершеннѣтїа и, отчего же не признаться, и названіе кандидата, полученное сразу ¹⁾).

Alma mater! Я такъ много обязанъ университету и такъ долго послѣ курса жилъ его жизнью, съ нимъ, что не могу вспоминать о немъ безъ любви и уваженія. Въ неблагодарности онъ меня не обвинить, по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ университету легка благодарность, она нераздѣльна съ любовью, съ свѣтлымъ воспоминаніемъ молодого развитія... И я благословляю его изъ дальней чужбины!

Годъ, проведенный нами послѣ курса, торжественно заключилъ первую юность. Это былъ продолжающійся пиръ дружбы, обмѣна идей, вдохновенья, разгула...

Небольшая кучка университетскихъ друзей, пережившая курсъ, не разошлась и жила еще общими симпатіями и фантазіями, никто не думалъ о матеріальномъ положеніи, объ устройствѣ будущаго. Я не похвалилъ бы этого въ людяхъ совершеннѣтнихъ, но дорого цѣню въ юношахъ. Юность, гдѣ только она не изсякла отъ нравственнаго растлѣнія мѣщанствомъ, вездѣ непрактична, тѣмъ больше она должна быть такою въ странѣ молодой, имѣющей много стремленій и мало достигнутаго. Сверхъ того, быть непрактическимъ далеко не значитъ быть во лжи; все обращенное къ будущему имѣетъ непремѣнно долю идеализма. Безъ непрактическихъ натуръ всѣ практики остановились бы на скучно повторяющемся одномъ и томъ же.

Иная восторженность лучше всякихъ нравоученій хранить отъ истинныхъ паденій. Я помню юношескія оргіи, разгульныя минуты, хватавшія иногда черезъ край; я не помню ни одной безнравственной исторіи въ нашемъ кругу, ничего такого, отъ чего человѣкъ *серьезно* долженъ былъ краснѣть, что старался бы забыть, скрыть. Все дѣлалось открыто, открыто рѣдко дѣлается дурное. Половина, больше половины, сердца была не туда направлена, гдѣ праздная страстность и болѣзненный эгоизмъ сосредоточиваются на нечистыхъ помыслахъ и троютъ пороки.

Я считаю большимъ несчастіемъ положеніе народа, котораго молодое поколѣніе не имѣетъ юности; мы уже замѣтили, что

¹⁾ Въ бумагахъ, присланныхъ мнѣ изъ Москвы, я нашелъ записку, которою я извѣщаль к у з и н у, бывшую тогда въ деревнѣ съ княгиней, объ окончаніи курса. «Экзаменъ кончился, и я кандидатъ! Вы не можете себя представить сладкое чувство воли послѣ четырехлѣтнихъ занятій. Вспомнили-ли вы обо мнѣ въ четвергъ? День былъ душный и пытка продолжалась отъ 9 утра до 9 вечера» (26 іюня 1833). Мнѣ кажется, часа два прибавлено для эффекта или для скругленія. Но при всемъ удовольствіи самолюбіе было задѣто тѣмъ, что золотая медаль досталась другому, Александру Драшусову. Во второмъ письмѣ отъ 6 іюля сказано: «Сегодня актъ, но я не былъ, я не хотѣлъ быть в т о р ы м ь при полученіи медали».

одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый періодъ нѣмецкаго студентства во сто разъ лучше мѣщанскаго совершеннѣйшаго молодежи во Франціи и Англіи; для меня американскіе *пожилые* люди лѣтъ въ пятнадцать отроду—просто противны.

Во Франціи нѣкогда была блестящая аристократическая юность, потомъ революціонная. Всѣ эти С. Жюсты и Гоши, Марсо и Демулены, героическія дѣти, выращенныя на мрачной поэзіи Жанъ-Жака, были настоящіе юноши. Революція была сдѣлана молодыми людьми; ни Дантонъ, ни Робеспьеръ, ни самъ Людовикъ XVI не пережили своихъ тридцати пяти лѣтъ. Съ Наполеономъ изъ юношей дѣлаются ординарцы; съ реставраціей, «съ воскресеніемъ старости»,—юность вовсе несовмѣстна: все становится совершеннѣйшимъ, дѣловымъ, т. е. мѣщанскимъ.

Послѣдніе юноши Франціи были сенъ-симонисты и фаланга. Нѣсколько исключеній не могутъ измѣнить прозаически-плоскій характеръ французской молодежи. Деку и Лебра застрѣлились оттого, что они были юны въ обществѣ стариковъ. Другіе бились какъ рыба, выкинутая изъ воды на грязномъ берегу, пока одни не попались на баррикаду, другіе на іезуитскую уду.

Но такъ какъ возрастъ беретъ свое, то большая часть французской молодежи отбываетъ юность *артистическимъ* періодомъ, т. е. живетъ, если нѣтъ денегъ, въ маленькихъ кафе, съ маленькими гризетками въ *quartier Latin*, и въ большихъ кафе съ большими лоретками, если есть деньги. Въмѣсто шиллеровскаго періода, это періодъ поль-де-коковскій; въ немъ наскоро и довольно мизерно тратится сила, энергія, все молодое,—и человекъ готовъ въ *commiss* торговыхъ домовъ. Артистическій періодъ оставляетъ на днѣ души одну страсть—жажду денегъ, и ей жертвуется вся будущая жизнь, другихъ интересовъ нѣтъ; практическіе люди эти смѣются надъ общими вопросами, презираютъ женщинъ (слѣдствіе многочисленныхъ побѣдъ надъ *побѣжденными* по ремеслу). Обыкновенно артистическій періодъ дѣлается подъ руководствомъ какого-нибудь истасканнаго грѣшника изъ увядшихъ знаменитостей, *d'un vieux prostitué*, живущаго на чужой счетъ, какого-нибудь актера, потерявшаго голосъ, живописца, у котораго трясутся руки; ему подражаютъ въ произношеніи, въ питъѣ, а главное, въ гордомъ взглядѣ на людскія дѣла и въ основательномъ знаніи блудъ.

Въ Англіи артистическій періодъ замѣненъ пароксизмомъ милыхъ оригинальностей и эксцентрическихъ любезностей, т. е. безумныхъ продѣлокъ, нелѣпныхъ тратъ, тяжелыхъ шалостей, увѣсистога, но тщательно скрытаго разврата, безплодныхъ поѣздокъ въ Калабрию или Квито, на югъ, на сѣверъ; по дорогѣ—лошади, собаки, скачки, глушыя обѣды, а тутъ и жена съ неимовѣрнымъ

количествомъ румяныхъ и дебелыхъ baby, обороты, Times, парламентъ и придавливающей къ землѣ Ольдъ-Портъ.

Дѣлали шалости и мы, пировали и мы, но основной тонъ былъ не тотъ, діапазонъ былъ слишкомъ поднять. Шалость, разгулъ не становились цѣлью. Цѣль была вѣра въ призваніе; положимте, что мы ошибались, но, фактически вѣруя, мы уважали въ себѣ и другъ въ другѣ орудія общаго дѣла.

И въ чемъ же состояли наши пиры и оргіи? Вдругъ приходитъ въ голову, что черезъ два дня—6 декабря, Николинъ день. Обиліе Николаевъ страшно: Николай Огаревъ, Николай С., Николай К., Николай Сазоновъ... «Господа, кто празднуетъ именины?»—Я! Я!—А я на другой день.—Это все вздоръ, что такое на другой день. Общій праздникъ, складку! Зато каковъ будетъ и пиръ!

— Да, да, у кого же собираться.

— С. . . . боленъ, ясно что у него.

И вотъ дѣлаются смѣты, проекты, это занимаетъ невѣроятно будущихъ гостей и хозяевъ. Одинъ Николай ѣдетъ къ Яру заказывать ужинъ, другой къ Матерну за сыромъ и салами. Вино разумеется берется на Петровѣ у Депре, на книжкѣ котораго Огаревъ написалъ эпиграфъ:

De près ou de loin,
Mais je fournis toujours.

Нашъ неопытный вкусъ еще далѣе шампанскаго не шель и былъ до того молодъ, что мы какъ-то измѣнили и шампанскому въ пользу Rivesaltes mousseux. Въ Парижѣ я на картѣ у ресторана увидѣлъ это имя, вспомнилъ 1833 годъ и потребовалъ бутылку. Но увы, даже воспоминанія не помогли мнѣ выпить больше одного бокала.

До праздника вина пробуются, оттого надобно еще посылать нарочнаго, потому что пробы явнымъ образомъ нравятся.

При этомъ не могу не рассказать, что случилось съ Соколовскимъ. Онъ былъ постоянно безъ денегъ и тотчасъ тратилъ все, что получалъ. За годъ до его ареста онъ пріѣзжалъ въ Москву и остановился у С.... Онъ какъ-то удачно продалъ, помнится, рукопись «Хеверя», и потому рѣшился дать праздникъ не только намъ, но и pour les gros bonnets, т. е. позвалъ Полевого, Максимовича и пр. Наканунъ онъ съ утра поѣхалъ съ Полежаевымъ, который тогда былъ съ своимъ полкомъ въ Москвѣ, дѣлать покупки, накупилъ чашекъ и даже самоваръ, разныхъ ненужныхъ вещей, и, наконецъ, вина и съѣстныхъ припасовъ, т. е. пастетовъ, фаршированныхъ индѣекъ и пр. Вечеромъ мы пришли къ С.... Соколовскій предложилъ откупорить одну бутылку, затѣмъ

другую, насъ было человѣкъ пять; къ концу вечера, т. е. къ началу утра слѣдующаго дня, оказалось, что ни вина больше нѣтъ, ни денегъ у Соколовскаго. Онъ купилъ на все, что оставалось отъ уплаты маленькихъ долговъ.

Огорчился было Соколовскій, но, скрѣпивъ сердце, подумалъ, подумалъ и написалъ ко всѣмъ gros bonnets, что онъ страшно занемогъ и праздникъ откладываетъ.

Для пира *четырехъ именинъ* я писалъ цѣлую программу, которая удостоилась особеннаго вниманія инквизитора Голицына, спрашивавшаго меня въ комиссіи, точно ли программа была исполнена.

— A la lettre, отвѣчалъ я ему. Онъ пожалъ плечами, какъ будто онъ всю жизнь провелъ въ Смольномъ монастырѣ или въ великой пятницѣ.

Послѣ ужина возникалъ обыкновенно *капитальный* вопросъ, вопросъ, возбуждавшій пренія, а именно «какъ варить жженку?» Остальное обыкновенно ѣлось и пилось, какъ вотируютъ по до-вѣрью въ парламентахъ, безъ спору. Но тутъ каждый участвовалъ и притомъ съ высоты ужина. «Зажигать, не зажигать еще? какъ зажигать? тушить шампанскимъ или сотерномъ? класть фрукты и ананасъ, пока еще горитъ, или послѣ?»

— Очевидно, пока горитъ, тогда-то весь аромъ перейдетъ въ пуншъ.

— Помилуй, ананасы плаваютъ, стороны ихъ подожгутся, это просто бѣда.

— Все это вздоръ, кричить К..... всѣхъ громче, а вотъ что не вздоръ, свѣчи надобно потушить.

Свѣчи потушены, лица у всѣхъ посинѣли и черты колеблются съ движеніемъ огня. А между тѣмъ въ небольшой комнатѣ температура отъ горячаго рома становится тропическая. Всѣмъ хочется пить, жженка не готова. Но Joseph, французъ, присланный отъ Яра, готовъ, онъ приготавливаетъ какой-то анти-тезисъ жженки, напитокъ со льдомъ изъ разныхъ винъ, à la base de cognac; неподдѣльный сынъ «великаго народа», онъ, наливая французское вино, объясняетъ намъ, что оно потому такъ хорошо, что два раза проѣхало экваторъ.—Oui, oui, messieurs, deux fois l'equateur, messieurs!

Когда замѣчательный своей полярной стужей напитокъ оконченъ, и вообще пить больше ненадобно, К..... кричитъ, мѣшая огненное озеро въ суповой чашкѣ, причемъ послѣдніе куски сахара таютъ съ шипѣніемъ и плачемъ: «Пора тушить! пора тушить!»

Огонь краснѣетъ отъ шампанскаго, бѣгаетъ по поверхности пунша съ какой-то тоской и дурнымъ предчувствіемъ.

А тутъ отчаянный голосъ: «Да, помилуй, братецъ, ты съ ума сходишь, развѣ не видишь, смола топится прямо въ пуншъ».

— А ты самъ поддержи бутылку въ такомъ жару, чтобъ смола не топилась.

— Ну, такъ ее прежде обить, продолжаетъ огорченный голосъ.

— Чашки, чашки, довольно ли у васъ ихъ, сколько насъ— девять, десять, четырнадцать,—такъ, такъ.

— Гдѣ найти четырнадцать чашекъ?

— Ну, кому чашекъ не достало—въ стаканъ.

— Стаканы лопнуть.

— Никогда, никогда, стоять только ложечку положить.

Свѣчи поданы, послѣдній зайчикъ огня выбѣжалъ на середину, сдѣлалъ пируэтъ и нѣтъ его.

— Жженка удалась!

— Удалась, очень удалась!—говорятъ со всѣхъ сторонъ.

На другой день болитъ голова, тошно. Это очевидно отъ жженки,—смѣсь! И тутъ искреннее рѣшеніе впредь жженки никогда не пить, это отравя.

Входитъ Петръ Ѳедоровичъ.—А вы-съ сегодня пришли не въ своей шляпѣ, наша шляпа будетъ лучше.

— Чортъ съ ней совсѣмъ.

— Не прикажете ли сбѣгать къ Николай Михайловичу Кузьмѣ?

— Что ты воображаешь, что кто-нибудь пошелъ безъ шляпы?

— Не мѣшаетъ-съ, на всякой случай.

Тутъ я догадываюсь, что дѣло совсѣмъ не въ шляпѣ, а въ томъ, что Кузьма звалъ на поле битвы Петра Ѳедоровича.

— Ты къ Кузьмѣ ступай, да только прежде попроси у повара мнѣ кислой капусты.

— Знать, Лександъ Иванычъ, именинники-то не ударили лицомъ въ грязь?

— Какой въ грязь, этакаго пира во весь курсъ не было.

— Въ ниверситетъ - то уже, должно быть, сегодня отложимъ попеченіе?

Меня угрызаютъ совѣсть и я молчу.

— Папенька-то вашъ меня спрашивалъ: «Какъ это, говорить, еще не вставалъ?» Я знаете не промахъ: голова изволить болѣть, съ утра-съ жаловались, такъ я такъ и сторы не подымалъ-съ.—«Ну, говорить, и хорошо сдѣлалъ».

— Да, дай ты мнѣ Христа ради уснуть. Хотѣлъ идти къ С..., ну и ступай.

— Сію минуточку-съ, только за капустой сбѣгаю-съ.

Тяжелый сонъ снова смыкаетъ глаза, часа черезъ два просыпаешься гораздо свѣжѣе. Что-то они дѣлаютъ тамъ? К... и

Огаревъ остались почевать. Досадно, что жженка такъ на голову дѣйствуетъ; надобно признаться, она была очень вкусна. Вольно же пить жженку стаканомъ; я рѣшительно отнынѣ и до вѣка буду пить небольшую чашку.

Между тѣмъ мой отецъ уже окончилъ чтеніе газетъ и пріемъ повара.

— У тебя голова болить сегодня?

— «Очень».

— Можетъ, слишкомъ много занимался? И при этомъ вопросѣ видно, что прежде отвѣта онъ усомнился.

— Я и забылъ, вѣдь вчера ты, кажется, былъ у Николаши ¹⁾ и у Огарева?

— «Какъ-же-съ».

— Потчивали, что ли, они тебя именины? Опять супъ съ мадерой? Охъ, не охотникъ я до всего до этого. Николаша-то любить, я знаю, не во время вино, и откуда у него это взялось, не понимаю. Покойный Павелъ Ивановичъ... ну, 29 іюня именины, позоветъ всѣхъ родныхъ, обѣдъ какъ водится, все скромно, прилично. А это, по нынѣшнему, шампанскаго, да сардинки въ маслѣ,—противно смотрѣть. О несчастномъ сынѣ Платона Богдановича я и не говорю,—одинъ, брошенъ! Москва... деньги есть,—кучеръ Еремей, «пошелъ за виномъ». А кучеръ радъ, ему за это въ лавкѣ гривенникъ.

— «Да, я у Николая Павловича завтракалъ. Впрочемъ, я не думаю, чтобъ отъ этого болѣла голова. Я пройдуся немного, это мнѣ всегда помогаетъ».

— Съ Богомъ,—обѣдаешь дома, я надѣюсь.

— «Безъ сомнѣнія, я только такъ».

Для поясненія *суна съ мадерой*, необходимо сказать, что за годъ или больше до знаменитаго пира четырехъ именинниковъ, мы на святой недѣлѣ отправлялись съ Огаревымъ гулять, и, чтобъ отдѣлаться отъ обѣда дома, я сказалъ, что меня пригласилъ обѣдать отецъ Огарева.

Отецъ мой не любилъ вообще моихъ знакомыхъ, называлъ наизнанку ихъ фамиліи, ошибаясь постоянно одинакимъ образомъ; такъ С.... онъ безошибочно называлъ Сакенымъ, а Сазонова — Сназинымъ. Огарева онъ еще меньше другихъ любилъ, и за то, что у него волосы были длинные, и за то, что онъ курилъ безъ его спроса. Но, съ другой стороны, онъ его считалъ внучатымъ племянникомъ и, слѣдственно, родственной фамиліи искажать не могъ. Къ тому же Платонъ Богдановичъ принадлежалъ, и по родству и по богатству, къ малому числу признанныхъ моимъ от-

¹⁾ Голохвастова.

цомъ личностей, и мое близкое знакомство съ его домомъ ему нравилось. Оно нравилось бы еще больше, если-бъ у Платона Богдановича не было сына.

Итакъ, отказать ему не считалось приличнымъ.

Вмѣсто почтенной столовой Платона Богдановича, мы отправились сначала подъ Новинское, въ балаганъ Прейса (я потомъ встрѣтилъ съ восторгомъ эту семью акробатовъ въ Женевѣ и Лондонѣ); тамъ была небольшая дѣвочка, которой мы восхищались и которую называли Миньоной.

Посмотрѣвъ Миньону и рѣшившись еще разъ придти ее посмотреть вечеромъ, мы отправились обѣдать къ Яру. У меня былъ золотой и у Огарева около того же. Мы тогда еще были совершенные новички и потому, долго обдумывая, заказали аюка au champagne, бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, въ силу чего мы встали изъ-за обѣда, ужасно дорогого, совершенно голодные и отправились опять смотрѣть Миньону.

Отецъ мой, прощаясь со мной, сказалъ мнѣ, что ему кажется, будто бы отъ меня пахнетъ виномъ.

— Это вѣрно оттото, сказалъ я, что супъ былъ съ мадерой.

— «Au madère,—это зять Платона Богдановича вѣрно такъ завелъ; cela sent les casernes de la garde».

Съ тѣхъ поръ и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпилъ вина, что у меня лицо красно, онъ непременно говорилъ мнѣ: «Ты вѣрно ѣлъ сегодня супъ съ мадерой!»

Итакъ, я скорымъ шагомъ къ С.

Разумѣется, Огаревъ и К. были на мѣстѣ. К., съ помятымъ лицомъ, былъ недоволенъ нѣкоторыми распоряженіями и строго ихъ критиковалъ. Огаревъ гомеопатически вышибалъ клинъ клиномъ, допивая какіе-то остатки не только послѣ праздника, но и послѣ фуражировки Петра Федоровича, который уже съ пѣніемъ, присвистомъ и дробью игралъ на кухнѣ у С.

Въ рошѣ Марьиной гулянье,
Въ самой тотъ день семика.

... Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной исторіи, которая осталась бы на совѣсти, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится безъ исключенія ко всемъ нашимъ друзьямъ.

Были у насъ платоническіе мечтатели и разочарованные юноши въ семнадцать лѣтъ. Вадимъ даже писалъ драму, въ которой хотѣлъ представить «страшный опытъ своего *изжитого* сердца». Драма эта начиналась такъ: «Садъ—вдали домъ—окна освѣщены—буря—никого нѣтъ—калитка не заперта, она хлопаетъ и скрипитъ».

— Сверхъ калитки и сада, есть дѣйствующія лица? спросилъ я у Вадима.

И Вадимъ, нѣсколько огорченный, сказалъ мнѣ: «ты все дурочишься! Это не шутка, а боль моего сердца; если такъ, я и читать не стану»,—и сталъ читать.

Были и вовсе не платоническія шалости, даже такія, которыя оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлыхъ интригъ, губящихъ женщину и унижающихъ мужчину, не было *содержанокъ* (даже не было и этого подлаго слова). Покойный, безопасный, прозаическій, мѣщанскій развратъ, развратъ по контракту, миновалъ нашъ кругъ.

Стало быть, вы допускаете худшій, продажный развратъ?

— Не я, а вы! То есть не *вы* вы, а вы всѣ. Онъ такъ прочно покоится на общественномъ устройствѣ, что ему не нужно моей инвеституры.

Общіе вопросы, гражданская экзальтація спасали насъ; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интересъ. Они, какъ зажженная бумага, выжигали сальныя пятна. У меня сохранилось нѣсколько писемъ Огарева того времени; о тогдашнемъ грундтонѣ нашей жизни можно легко по нимъ судить. Въ 1833 году, іюня 7, Огаревъ, напимѣрь, мнѣ пишетъ:

«Мы другъ друга, кажется, знаемъ, кажется, можемъ быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. Итакъ, скажи,—съ нѣкотораго времени я рѣшительно такъ полонъ, можно сказать, задавленъ ощущеніями и мыслями, что мнѣ кажется, мало того, кажется, мнѣ врѣзалась мысль, что мое призваніе — быть поэтомъ, стихотворцемъ или музыкантомъ, *alles eins*, но я чувствую необходимость жить въ этой мысли, ибо имѣю какое-то самоощущеніе, что я поэтъ; положимъ, я еще пишу дрянно, но этотъ огонь въ душѣ, эта полнота чувствъ даетъ мнѣ надежду, что я буду и порядочно (извини за такое пошлое выраженіе) писать. Другъ, скажи же—вѣрить ли мнѣ моему призванію? Ты, можетъ, лучше меня знаешь, нежели я самъ, и не ошибешься». (Іюнь 7, 1833).

«Ты пишешь: *Да, ты полтъ, поэтъ истинный!* Другъ, можешь ли ты постигнуть все то, что производятъ эти слова? И такъ оно не ложно, все, что я чувствую, къ чему стремлюсь, въ чемъ моя жизнь. Оно не ложно! Правду ли говоришь? Это не бредъ горячки,—это я чувствую. Ты меня знаешь болѣе, чѣмъ кто-нибудь, не правда ли, я это дѣйствительно чувствую. Нѣтъ, эта высокая жизнь—не бредъ горячки, не обманъ воображенія, она слишкомъ высока для обмана, она дѣйствительна, я живу ею, я не могу вообразить себя съ иною жизнью. Для чего я не знаю музыки, какая симфонія вылетѣла бы изъ моей души те-

перъ! Вотъ слышишь величественное *adagio*, но нѣтъ силъ выразиться, надобно больше сказать, нежели сказано, *presto, presto*, мнѣ надобно бурное, неукротимое *presto*. *Adagio* и *presto*, двѣ крайности. Прочь съ этой посредственностью, *andante, allegro moderato*, это зайки или слабоумные, не могутъ ни сильно говорить, ни сильно чувствовать». (Село Чертково, 18 августа, 1833).

Мы отвыкли отъ того восторженнаго лепета юности, онъ намъ страненъ, но въ этихъ строкахъ молодого человѣка, которому еще не стукнуло 20 лѣтъ, ясно видно, что онъ застрахованъ отъ пошлаго порока и отъ пошлой добродѣтели, что онъ, можетъ, не спасется отъ болота, но выйдетъ изъ него не загрязнившись.

Это не неувѣренность въ себѣ, это сомнѣніе вѣры, это страстное желаніе подтвержденія, ненужнаго слова любви, которое такъ дорого намъ. Да, это безпокойство зарождающаго творчества, это тревожное озираніе души *зачавшей*.

«Я не могу еще взять, пишетъ онъ въ томъ же письмѣ, тѣ звуки, которые слышатся душѣ моей, неспособность тѣлесная ограничиваетъ фантазію. Но чортъ возьми! Я поэтъ, поэзія мнѣ подсказываетъ истину тамъ, гдѣ бы я ея не понялъ холоднымъ рассужденіемъ. Вотъ философія откровенія».

Такъ оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде нежели мы взойдемъ въ нее, надобно упомянуть, въ какомъ направленіи, съ какими думами она застала насъ.

Время, слѣдовавшее за усмиреніемъ польскаго возстанія, быстро воспитывало. Мы начали съ внутреннимъ ужасомъ разглядывать, что и въ Европѣ и особенно во Франціи, откуда ждали паролъ политическій и лозунгъ, дѣла идутъ неладно, теоріи наши становились намъ подозрительны.

Дѣтскій либерализмъ 1826 года, сложившійся мало по малу въ то французское возрѣніе, которое проповѣдывали Лафайеты и Бенжаменъ Констанъ, пѣлъ Беранже, — терялъ для насъ, послѣ гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и въ ея числѣ Вадимъ, бросились на глубокое и серьезное изученіе русской исторіи. Другая — въ изученіе нѣмецкой философіи.

Мы съ Огаревымъ не принадлежали ни къ тѣмъ, ни къ другимъ. Мы слишкомъ сжились съ иными идеями, чтобъ скоро поступиться ими. Вѣра въ беранжеровскую *застольную* революцію была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни въ несторовской лѣтописи, ни въ трансцендентальномъ идеализмѣ Шеллинга.

Середь этого броженія, середь догадокъ, усилій понять сомнѣ-

нія, пугавшія насъ, попались въ наши руки сень-симонистскія брошюры, ихъ проповѣди, ихъ процессъ. Они поразили насъ.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смѣялись надъ отцомъ Анфантенемъ и надъ его апостолами; время иного признанія наступаетъ для этихъ предтечъ социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мѣщанскаго міра эти восторженные юноши съ своими неразрѣзными жилетами, съ отрощенными бородами. Они возвѣстили новую вѣру, имъ было что сказать и было во имя чего позвать передъ свой судъ старый порядокъ вещей, хотѣвшій ихъ судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религіи.

Съ одной стороны, *освобожденіе женщины*, призваніе ее на общій трудъ, отданіе ея судебъ въ ея руки, союзъ съ нею, какъ съ равнымъ.

Съ другой—оправданіе, *искупленіе плоти*, *Réhabilitation de la chair!*

Великія слова, заключающія въ себѣ цѣлый міръ новыхъ отношеній между людьми, міръ здоровья, міръ духа, міръ красоты, міръ естественно-нравственный и потому нравственно-чистый. Много издѣвались надъ свободой женщины, надъ признаніемъ правъ плоти, придавая словамъ этимъ смыслъ грязный и пошлый; наше монашески-развратное воображеніе боится плоти, боится женщины. Религія жизни шла на смѣну религіи смерти, религія красоты на смѣну религіи бичеванія и худобы отъ поста и молитвы. Распятое тѣло воскресало въ свою очередь и не стыдилось больше себя; человѣкъ достигалъ созвучнаго единства, догадывался, что онъ существо цѣлое, а не составленъ, какъ маятникъ, изъ двухъ разныхъ металловъ, удерживающихъ другъ друга, что врагъ, спаянный съ нимъ, исчезъ.

Какое мужество надобно было имѣть, чтобъ произнести всенародно во Франціи эти слова освобожденія отъ спиритуализма, который такъ силенъ въ понятіяхъ французовъ и такъ вовсе не существуетъ въ ихъ поведеніи.

Старый міръ, осмѣянный Вольтеромъ, подшибленный революціей, но закрѣпленный, перешитый и упроченный мѣщанствомъ для своего обихода, этого еще не испыталъ. Онъ хотѣлъ судить отщепенцевъ на основаніи своего тайно соглашеннаго лицемѣрія, а люди эти обличили его. Ихъ обвиняли въ отступничествѣ отъ христіанства, а они указали надъ головой судьи *завѣщанную* икону послѣ революціи 1830 года. Ихъ обвиняли въ оправданіи чувственности, а они спросили у судьи, цѣломудренно ли онъ живетъ?

Новый міръ толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сень-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ.

Удобовпечатлимые, искренно-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тотъ рубежъ, на которомъ останавливаются цѣлые ряды людей, складываютъ руки, идутъ назадъ или ищутъ по сторонамъ броду—черезъ море!

Но не всѣ рискнули съ нами. Соціализмъ и реализмъ остаются до сихъ поръ пробными камнями, брошенными на путяхъ революціи и науки. Группы пловцовъ, прибитыя волнами событій или мышленіемъ къ этимъ скаламъ, немедленно разстаются и составляютъ двѣ вѣчныя партіи, которыя, мѣняя одежды, проходятъ черезъ всю исторію, черезъ всѣ перевороты, черезъ многочисленныя партіи и кружки, состоящіе изъ десяти юношей. Одна представляетъ логику, другая—исторію, одна—діалектику, другая—эмбриогенію. Одна изъ нихъ *правъе*, другая—*возможнѣе*.

О выборѣ не можетъ быть и рѣчи; обуздать мысль труднѣе, чѣмъ всякую страсть,—она влечетъ невольно; кто можетъ ее затормазить чувствомъ, мечтой, страхомъ послѣдствій, тотъ и затормозитъ ее, но не всѣ могутъ. У кого мысль беретъ верхъ, у того вопросъ не о прилагаемости, не о томъ, легче или тяжеле будетъ, тотъ ищетъ истины и неумолимо, нелицепріятно проводить начала, какъ с.-симонисты нѣкогда, какъ Прудонъ до сихъ поръ.

Кругъ нашъ еще тѣснѣе сомкнулся. Уже тогда, въ 1833 году, *либералы* смотрѣли на насъ изъ-подлобья, какъ на сбившихся съ дороги. Передъ самой тюрьмой сенъ-симонизмъ поставилъ рубежъ между мной и Н. А. Полевымъ. Полевой былъ человѣкъ необыкновенно ловкаго ума, дѣятельнаго, легко претворяющаго всякую пищу; онъ родился быть журналистомъ, лѣтописцемъ успѣховъ, открытій, политической и ученой борьбы. Я познакомился съ нимъ въ концѣ курса и бывалъ иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещенію *Телеграфа*.

Этотъ-то человѣкъ, жившій послѣднимъ открытіемъ, вчерашнимъ вопросомъ, новой новостью въ теоріи и въ событіяхъ, мѣнявшійся какъ хамелеонъ, при всей живости ума не могъ понять сенъ-симонизма. Для насъ сенъ-симонизмъ былъ откровеніемъ, для него безуміемъ, пустой утопией, мѣшающей гражданскому развитію. Сколько я ни ораторствовалъ, ни развивалъ, ни доказывалъ, Полевой былъ глухъ, сердился, становился желченъ. Ему была особенно досадна оппозиція, дѣлаемая студентомъ, онъ очень дорожилъ своимъ вліяніемъ на молодежь и въ этомъ преніи видѣлъ, что она ускользаетъ отъ него.

Одинъ разъ, оскорбленный нелѣпостью его возраженій, я ему замѣтилъ, что онъ такой же отсталый консерваторъ, какъ тѣ, противъ которыхъ онъ всю жизнь сражался. Полевой глубоко

обидѣлся моими словами и, качая головой, сказалъ мнѣ: «Придетъ время, и вамъ, въ награду за цѣлую жизнь усилій и трудовъ, какой-нибудь молодой человѣкъ, улыбаясь, скажетъ: ступайте прочь, вы отсталый человѣкъ». Мнѣ было жаль его, мнѣ было стыдно, что я его огорчилъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ я понималъ, что въ его грустныхъ словахъ звучалъ его приговоръ. Въ нихъ слышался уже не сильный боецъ, а отжившій, устарѣлый гладиаторъ. Я понималъ тогда, что впередъ онъ не двинется, а на мѣстѣ устоять не сумѣетъ съ такимъ дѣятельнымъ умомъ и съ такимъ непрочнымъ грунтомъ.

Вы знаете, что съ нимъ было потомъ: онъ принялся за Парашу Сибирячку.

Какое счастье во-время умереть для человѣка, не умѣющаго въ свой часъ ни сойти со сцены, ни идти впередъ. Это я думалъ, глядя на Полевого, глядя на Пія IX и на *многихъ другихъ!*.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

А. ПОЛЕЖАЕВЪ.

Въ дополненіе къ печальной лѣтописи того времени слѣдуетъ передать нѣсколько подробностей объ А. Полежаевѣ.

Полежаевъ студентомъ въ университетѣ былъ уже извѣстенъ своими превосходными стихотвореніями. Между прочимъ, написалъ онъ юмористическую поэму *Сашка*, пародируя Онѣгина. Въ ней, не стѣсняя себя приличіями, шутливымъ тономъ и очень милыми стихами задѣлъ онъ многое.

Осенью 1826 года Николай праздновалъ въ Москвѣ свою коронацію.

Тайная полиція доставила ему поэму Полежаева...

И вотъ въ одну ночь, часа въ три, ректоръ будитъ Полежаева, велитъ одѣться въ мундиръ и сойти въ правленіе. Тамъ его ждетъ попечитель. Осмотрѣвъ, всѣ ли пуговицы на его мундирѣ и нѣтъ ли лишннихъ, онъ безъ всякаго объясненія пригласилъ Полежаева въ свою карету и увезъ.

Привезъ онъ его къ министру народнаго просвѣщенія. Министръ сажаетъ Полежаева въ свою карету и тоже везетъ, — но на этотъ разъ ужъ прямо къ государю.

Князь Ливенъ оставилъ Полежаева въ залѣ, гдѣ дожидались нѣсколько придворныхъ и другихъ вышихъ чиновниковъ, не смотря на то, что былъ шестой часъ утра, и пошелъ во внутрен-

нія комнаты. Придворные вообразили себѣ, что молодой человекъ чѣмъ-нибудь отличился и тотчасъ вступили съ нимъ въ разговоръ. Какой-то сенаторъ предложилъ ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали въ кабинетъ. Государь стоялъ, опершись на бюро, и говорилъ съ Ливеномъ. Онъ бросилъ на взшедшаго испытующій взглядъ, въ рукѣ у него была тетрадь.

— «Ты ли, спросилъ онъ, сочинилъ эти стихи?»

— Я, отвѣчалъ Полежаевъ.

— «Вотъ, князь, продолжалъ государь, вотъ я вамъ дамъ образчикъ университетскаго воспитанія, я вамъ покажу, чему учатся тамъ молодые люди. Читай эту тетрадь вслухъ», прибавилъ онъ, обращаясь снова къ Полежаеву.

Волненіе Полежаева было такъ сильно, что онъ не могъ читать.

— Я не могу, сказалъ Полежаевъ.

— «Читай!»

Этотъ крикъ воротилъ силу Полежаеву, онъ развернулъ тетрадь. Никогда, говорилъ онъ, я не видывалъ *Сашку* такъ переписаннаго и на такой славной бумагѣ.

Сначала ему было трудно читать, потомъ, одушевляясь болѣе и болѣе, онъ громко и живо дочиталъ поэму до конца. Въ мѣстахъ особенно рѣзкихъ государь дѣлалъ знакъ рукой министру. Министръ закрывалъ глаза отъ ужаса.

— «Что скажете?»—спросилъ Николай по окончаніи чтенія. —«Я положу предѣлъ этому разврату, это все еще *слѣды, послѣдніе остатки*; я ихъ искореню. Какого онъ поведенія?»

Министръ, разумѣется, не зналъ его поведенія, но въ немъ проснулось что-то человѣческое, и онъ сказалъ: «Превосходнѣйшаго поведенія, в. в.»

— «Этотъ отзывъ тебя спасъ, но наказать тебя надобно для примѣра другимъ. Хочешь въ военную службу?»

Полежаевъ молчалъ.

— «Я тебѣ даю военной службой средство очиститься.—Что же, хочешь?»

— Я долженъ повиноваться, отвѣчалъ Полежаевъ.

Государь подошелъ къ нему, положилъ руку на плечо и, сказавъ: «Отъ тебя зависитъ твоя судьба; если я забуду, *ты можешь мнѣ писать*», поцѣловалъ его въ лобъ.

Я десять разъ заставлялъ Полежаева повторять рассказъ о поцѣлуѣ, такъ онъ мнѣ казался невѣроятнымъ. Полежаевъ клялся, что это правда.

Отъ государя Полежаева свели къ Дибичу, который жилъ тутъ же, во дворцѣ. Дибичь спалъ, его разбудили, онъ вышелъ зѣвая и, прочитавъ бумагу, спросилъ флигель-адъютанта: «Это онъ?»—«Онъ, в. с.»

— «Что же! доброе дѣло, послужите въ военной, я все въ военной службѣ былъ, видите, дослужился, и вы, можете, будете фельдмаршаломъ». Эта неумѣстная, тупая, нѣмецкая шутка была поцѣлуемъ Дибича. Полежаева свезли въ лагерь и отдали въ солдаты.

Прошли года три, Полежаевъ вспомнилъ слова государя и написалъ ему письмо. Отвѣта не было. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, онъ написалъ другое,—тоже нѣтъ отвѣта. Увѣренный, что его письма не доходятъ, онъ бѣжалъ, и бѣжалъ для того, чтобъ лично подать просьбу. Онъ велъ себя неосторожно, видѣлся въ Москвѣ съ товарищами, былъ ими угощаемъ; разумѣется, это не могло остаться въ тайнѣ. Въ Твери его схватили и отправили въ полкъ какъ бѣглаго солдата, въ цѣпяхъ, пѣшкомъ. Военный судъ приговорилъ его прогнать сквозь строй; приговоръ послали къ государю на утверженіе.

Полежаевъ хотѣлъ лишиться себя жизни передъ наказаніемъ. Долго отыскивая въ тюрьмѣ какое-нибудь острое орудіе, онъ довѣрился старому солдату, который его любилъ. Солдатъ понялъ его и оцѣнилъ его желаніе. Когда старикъ узналъ, что отвѣтъ пришелъ, онъ принесъ ему штыкъ и, отдавая, сказалъ сквозь слезы: «Я самъ отточилъ его».

Государь не велѣлъ наказывать Полежаева.

Тогда-то написалъ онъ свое превосходное стихотвореніе:

Безъ утѣшеній
Я погибалъ,
Мой злобный геній
Торжествовалъ...

Полежаева отправили на Кавказъ; тамъ онъ былъ произведенъ за отличіе въ унтеръ-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положеніе сломило его; сдѣлаться полицейскимъ поэтомъ онъ не могъ, а это былъ единственный путь отдѣлаться отъ ранца.

Былъ, впрочемъ, еще другой, и онъ предпочелъ его: онъ пилъ для того, чтобъ забыться. Есть страшное стихотвореніе его «Къ сивухѣ».

Онъ перепросился въ карабинерный полкъ, стоявшій въ Москвѣ. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чахотка разѣдала его грудь. Въ это время я познакомился съ нимъ около 1833 года. Помаялся онъ еще года четыре и умеръ въ солдатской больницѣ.

Когда одинъ изъ друзей его явился просить тѣло для погребенія, никто не зналъ, гдѣ оно; солдатская больница торгуетъ трупами, она ихъ продастъ въ университетъ, въ медицинскую

академію, вывариваетъ скелеты и пр. Наконецъ, онъ нашель въ подвалѣ трупъ бѣднаго Полежаева, онъ валялся подъ другими, крысы объѣли ему одну ногу.

Послѣ его смерти издали его сочиненія и при нихъ хотѣли приложить его портретъ въ солдатской шинели. Цензура нашла это неприличнымъ, и бѣдный страдалецъ представленъ въ офицерскихъ эполетахъ,—онъ былъ произведенъ въ больницѣ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ТЮРЬМА И ССЫЛКА.

(1834—1838).

ГЛАВА VIII.

Пророчество. — Арестъ Огарева. — Пожаръ.—Московскій либераль.—М. Ф. Орловъ.—Кладбище.

... Разъ весною 1834 года пришелъ я утромъ къ Вадиму, ни его не было дома, ни его братьевъ и сестеръ. Я взошелъ наверхъ въ небольшую комнату его и сѣлъ писать.

Дверь тихо отворилась и вошла старушка, мать Вадима; шаги ея были едва слышны, она подошла устало, болѣзненно къ кресламъ и сказала мнѣ, садясь въ нихъ: «Пишите, пишите, — я пришла взглянуть, не воротился ли Вада; дѣти пошли гулять, внизу такая пустота, мнѣ сдѣлалось грустно и страшно, я посижу здѣсь, я вамъ не мѣшаю, дѣлайте свое дѣло».

Лицо ея было задумчиво, въ немъ ясныѣ обыкновеннаго виднѣлся отблескъ вынесеннаго въ прошедшемъ и та подозрительная робость къ будущему, то недовѣріе къ жизни, которое всегда остается послѣ большихъ, долгихъ и многочисленныхъ бѣдствій.

Мы разговорились. Она рассказывала что-то о Сибири.—«Много, много пришлось мнѣ перестрадать, что-то еще придется увидѣть, прибавила она, качая головой,—хорошаго ничего не чувствуетъ сердце».

Я вспомнилъ, какъ старушка, иной разъ слушая наши смѣлые рассказы и демагогическіе разговоры, становилась блѣднѣе, тихо вздыхала, уходила въ другую комнату и долго не говорила ни слова.

— «Вы, продолжала она, и ваши друзья, вы идете вѣрной дорогой къ гибели. Погубите вы Вадю, себя и всѣхъ; я, вѣдь, и васъ люблю, какъ сына». Слеза катилась по исхудалой щекѣ.

Я молчалъ. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила: «Не сердитесь, у меня нервы разстроены; я все понимаю, идите вашей дорогой, для васъ нѣтъ другой, а если-бъ была, вы всѣ были бы не тѣ. Я знаю это, но не могу пересилить страха, я такъ много перенесла несчастій, что на новыя не достаесть силъ. Смотрите, вы ни слова не говорите Вадѣ объ этомъ, онъ огорчится, будетъ меня уговаривать... вотъ онъ», прибавила старушка, поспѣшно утирая слезы и прося еще разъ взглядомъ, чтобъ я молчалъ.

Бѣдная мать! Святая, великая женщина!

Это стоитъ корнелевскаго «qu'il mourût!»

Пророчество ея скоро сбылось; по счастью, на этотъ разъ гроза пронеслась надъ головой ея семьи, но много набралась бѣдная гора и страху.

— «Какъ взяли?» спрашивалъ я, вскочивъ съ постели и щупая голову, чтобъ знать, сплю я или нѣтъ.

— Полицмейстеръ пріѣзжалъ ночью, съ квартальнымъ и казаками, часа черезъ два послѣ того, какъ вы ушли отъ насъ, забралъ бумаги и увезъ Н. П.

Это былъ камердинеръ Огарева. Я не могъ понять, какой поводъ выдумала полиція, въ послѣднее время все было тихо. Огаревъ только за день пріѣхалъ... И отчего же его взяли, а меня нѣтъ?

Сложивъ руки нельзя было оставаться, я одѣлся и вышелъ изъ дому безъ опредѣленной цѣли. Это было первое несчастіе, падшее на мою голову. Мнѣ было скверно, меня мучило мое безсиліе.

Бродя по улицамъ, мнѣ, наконецъ, пришелъ въ голову одинъ пріятель, котораго общественное положеніе ставило въ возможность узнать, въ чемъ дѣло, а можетъ и помочь. Онъ жилъ страшно далеко, на дачѣ за Воронцовскимъ полемъ; я сѣлъ на перваго извозчика и поскакалъ къ нему. Это былъ часъ седьмой утра.

Года за полтора передъ тѣмъ познакомились мы съ В., это былъ своего рода левъ въ Москвѣ. Онъ воспитывался въ Парижѣ, былъ богатъ, уменъ, образованъ, остеръ, вольнодумъ, сидѣлъ въ Петропавловской крѣпости по дѣлу 14 декабря и былъ въ числѣ выпущенныхъ; ссылки онъ не испыталъ, но слава осталась при немъ. Онъ служилъ и имѣлъ большую силу у генералъ-губернатора. Князь Голицынъ любилъ людей съ свободнымъ образомъ мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. Въ русскомъ языкѣ князь былъ не силенъ.

В. былъ лѣтъ десять старше насъ и удивлялъ насъ своими практическими замѣтками, своимъ знаніемъ политическихъ дѣлъ, своимъ французскимъ краснорѣчіемъ и горячностью своего либерализма. Онъ зналъ такъ много и такъ подробно, рассказывалъ такъ мило и такъ плавно; мнѣнія его были такъ твердо очерчены, на все былъ отвѣтъ, совѣтъ, разрѣшеніе. Читалъ онъ все: новые романы, трактаты, журналы, стихи, и, сверхъ того, сильно занимался зоологіей, писалъ проекты для князя и составлялъ планы для дѣтскихъ книгъ.

Либерализмъ его былъ чистѣйшій трехъ-цвѣтной воды, лѣваго бока между Могеномъ и генераломъ Ламаркомъ.

Его кабинетъ былъ увѣшанъ портретами всѣхъ революціонныхъ знаменитостей, отъ Гемпдена и Балъи до Фіески и Арманъ Кареля. Цѣлая бібліотека запрещенныхъ книгъ находилась подъ этимъ революціоннымъ иконостасомъ. Скелеть, нѣсколько набитыхъ птицъ, сушеныхъ амфибій и моченыхъ внутренностей набрасывали серьезный колоритъ думы и созерцанія на слишкомъ горячительный характеръ кабинета.

Мы съ завистью посматривали на его опытность и знаніе людей; его тонкая ироническая манера возражать имѣла на насъ большое вліяніе. Мы на него смотрѣли какъ на *дѣлового* революціонера, какъ на государственнаго человѣка *in spe*.

Я не засталъ В. дома. Онъ съ вечера уѣхалъ въ городъ для свиданья съ княземъ; его камердинеръ сказалъ, что онъ непременно будетъ часа черезъ полтора домой. Я остался ждать.

Дача, занимаемая В., была превосходна. Кабинетъ, въ которомъ я дожидался, былъ обширенъ, высокъ и *au rez-de-chaussée*; огромная дверь вела на террасу и въ садъ. День былъ жаркій, изъ сада пахло деревьями и цвѣтами, дѣти играли передъ домомъ, звонко смѣясь. Богатство, довольство, просторъ, солнце и тѣнь, цвѣты и зелень... А въ тюръмѣ-то узко, душно, темно. Не знаю, долго ли я сидѣлъ, погруженный въ горькія мысли, какъ вдругъ камердинеръ съ какимъ-то страннымъ одушевленіемъ позвалъ меня съ террасы.

— Что такое? спросилъ я.

— «Да пожалуйста сюда, взгляните».

Я вышелъ, не желая его обидѣть, на террасу—и обомлѣлъ. Цѣлый полукругъ домовъ пылалъ, точно будто всѣ они загорѣлись въ одно время. Пожаръ разрастался съ невѣроятной скоростью.

Я остался на террасѣ. Камердинеръ смотрѣлъ съ какимъ-то нервнымъ удовольствіемъ на пожаръ, приговаривая: «славно забираетъ, вотъ и этотъ домъ направо загорится, непременно загорится».

Пожаръ имѣетъ въ себѣ что-то революціонное: онъ смѣется надъ собственностью, нивелируетъ состоянія. Камердинеръ инстинктомъ понялъ это.

Черезъ полчаса времени, четверть небосклона покрылась дымомъ, краснымъ внизу и сѣрочернымъ сверху. Въ этотъ день выгорѣло Лефортово. Это было начало тѣхъ зажигательствъ, которыя продолжались мѣсяцевъ пять; объ нихъ мы еще будемъ говорить.

Наконецъ, пріѣхалъ и В. Онъ былъ въ ударѣ, милъ, привѣтливъ, рассказалъ мнѣ о пожарѣ, мимо котораго ѣхалъ, объ общемъ говорѣ, что это поджоги, и полушутя прибавилъ:

— «Пугачевщина-съ, вотъ посмотрите, и мы съ вами не уйдемъ, посадятъ насъ на колъ...»

— Прежде нежели посадятъ насъ на колъ, отвѣчалъ я, боюсь, чтобъ не посадили на цѣпь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиція взяла Огарева?

— «Полиція,—что вы говорите?»

— Я за этимъ къ вамъ пріѣхалъ. Надобно что-нибудь сдѣлать, сѣздите къ князю, узнайте, въ чемъ дѣло, попросите мнѣ дозволеніе его увидѣть.

Не получая отвѣта, я взглянулъ на В., но вмѣсто его, казалось, былъ его старшій братъ, съ посоловѣлымъ лицомъ, съ опустившимися чертами,—онъ ахалъ и беспокоился.

— Что съ вами?

— «Вѣдь, вотъ я вамъ говорилъ, всегда говорилъ, до чего это доведетъ... Да, да, этого надобно было ждать, прошу покорно,—ни тѣломъ, ни душой не виновать, а и меня, пожалуй, посадятъ; эдакъ шутить нельзя, я знаю, что такое казематы».

— Поѣдете вы къ князю?

— «Помилуйте, зачѣмъ же это? Я вамъ совѣтую дружески, и не говорите объ Огаревѣ, живите какъ можно тише, а то худо будетъ. Вы не знаете, какъ эти дѣла опасны; мой искренній совѣтъ, держите себя въ сторонѣ; тормошитесь, какъ хотите, Огареву не поможете, а сами попадетесь. Вотъ оно самовластье,—какія права, какая защита, есть, что ли, адвокаты, судьи?»

На этотъ разъ я не былъ расположенъ слушать его смѣлыя мнѣнія и рѣзкія сужденія. Я взялъ шляпу и уѣхалъ.

Дома я засталъ все въ волненіи. Уже отецъ мой былъ сердитъ на меня за взятіе Огарева, уже Сенаторъ былъ налицо, рылся въ моихъ книгахъ, отбиралъ, по его мнѣнію, опасныя и былъ недоволенъ.

На столѣ я нашелъ записку отъ М. Ѡ. Орлова, онъ звалъ меня обѣдать. Не можетъ ли онъ чего-нибудь сдѣлать? Опытъ хотя меня и проучилъ, но все же—попытка не пытка и спросъ не бѣда.

Михаиль Федоровичъ Орловъ былъ одинъ изъ основателей знаменитаго Союза Благоденствія, и если онъ не попалъ въ Сибирь, то это не его вина, а его брата, который первый прискакалъ съ своей конной гвардіей на защиту Зимняго дворца, 14 декабря. Орловъ былъ посланъ въ свои деревни, черезъ нѣсколько лѣтъ ему позволено было поселиться въ Москвѣ. Въ продолженіе уединенной жизни своей въ деревнѣ, онъ занимался политической экономіей и химіей. Первый разъ, когда я его встрѣтилъ, онъ толковалъ о новой химической номенклатурѣ. У всѣхъ энергическихъ людей, поздно начинающихъ заниматься какой-нибудь наукой, является поползновеніе переставлять мебель и распорядиться по своему. Номенклатура его была сложнѣе общепринятой французской. Мнѣ хотѣлось обратить его вниманіе, и я въ родѣ *captatio benevolentiae* сталъ доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше.

Орловъ поспорилъ, потомъ согласился.

Мое кокетство удалось, мы съ тѣхъ поръ были съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ. Онъ видѣлъ во мнѣ восходящую возможность, я видѣлъ въ немъ ветерана нашихъ мнѣній, друга нашихъ героевъ, благородное явленіе въ нашей жизни.

Бѣдный Орловъ былъ похожъ на льва въ клѣткѣ. Вездѣ стучался онъ въ рѣшетку, нигдѣ не было ему ни простора, ни дѣла, а жажда дѣятельности его снѣдала.

Послѣ паденія Франціи, я не разъ встрѣчалъ людей этого рода, людей, разлагаемыхъ потребностью политической дѣятельности и не имѣющихъ возможности найтись въ четырехъ стѣнахъ кабинета или въ семейной жизни. Они не умѣютъ быть одни; въ одиночествѣ на нихъ нападаетъ хандра, они становятся капризны, ссорятся съ послѣдними друзьями, видятъ вездѣ интриги противъ себя и сами интригуютъ, чтобъ раскрыть всѣ эти несуществующія козни.

Имъ надобна, какъ воздухъ, сцена и зрители; на сценѣ они дѣйствительно герои и вынесутъ невыносимое. Имъ необходима шумъ, громъ, трескъ, имъ надобно произносить рѣчи, слышать возраженія враговъ, имъ необходимо раздраженіе борьбы, лихорадка опасности,—безъ этихъ конфертативовъ они тоскуютъ, вянутъ, опускаются, тяжелѣютъ, рвутся вонъ, дѣлаютъ ошибки. Таковъ Ледрю-Ролленъ, который встаетъ и лицомъ напоминаетъ Орлова, особенно съ тѣхъ поръ, какъ отростилъ усы.

Онъ былъ очень хорошъ собой; высокая фигура его, благородная осанка, красивыя мужественныя черты, совершенно обнаженный черепъ, и всё это вмѣстѣ стройно соединенное, сообщали его наружности неотразимую привлекательность. Его бюстъ *repandant* бюсту А. П. Ермолова, которому его насупленный, четве-

роугольный лобъ, шалашъ сѣдыхъ волосъ и взглядъ, пронизывающій даль, придавали ту красоту вождя, состарѣвшагося въ битвахъ, въ которую влюбилась Марія Кочубей въ Мазепѣ.

Отъ скуки Орловъ не зналъ, что начать. Пробовалъ онъ и хрустальную фабрику заводить, на которой дѣлались средне-вѣковыя стекла съ картинами, обходившіяся ему дороже, чѣмъ онъ ихъ продавалъ, и книгу онъ принимался писать «о кредитѣ», — нѣтъ, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Левъ былъ осужденъ праздно бродить между Арбатомъ и Басманной, не смѣя даже давать волю своему языку.

Смертельно жаль было видѣть Орлова, усилившагося сдѣлаться ученымъ, теоретикомъ. Онъ имѣлъ умъ ясный и блестящій, но вовсе не спекулятивный, а тутъ онъ путался въ разныхъ новозобрѣтенныхъ системахъ на давно знакомые предметы, въ родѣ химической номенклатуры. Всѣ отвлеченное ему рѣшительно не удавалось, но онъ съ величайшимъ ожесточеніемъ воился съ метафизикой.

Неосторожный, невоздержный на языкъ, онъ безпрестанно дѣлалъ ошибки; увлекаемый первымъ впечатлѣніемъ, которое у него было рыцарски благородно, онъ вдругъ вспоминалъ свое положеніе и сворачивалъ съ поль-дороги. Эти дипломатическіе контръ-марши ему удавались еще меньше метафизики и номенклатуры; и онъ, заступивъ за одну постройку, заступалъ за двѣ, за три, стараясь выправиться. Его бранили за это; люди такъ поверхностны и невнимательны, что они больше смотрятъ на слова, чѣмъ на дѣйствія, и отдѣльнымъ ошибкамъ даютъ больше вѣса, чѣмъ совокупности всего характера. Что тутъ винить съ натянутой регуловской точки зрѣнія человѣка, — надобно винить грустную среду, въ которой всякое благородное чувство передается какъ контрабанда, подъ полой, да затворивши двери; а сказалъ слово громко, — такъ день цѣлый и думаешь, скоро ли придетъ полиція...

Обѣдъ былъ большой. Мнѣ пришлось сидѣть возлѣ генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевскій былъ тоже въ опалѣ съ 14 декабря; сынъ знаменитаго Н. Н. Раевского, онъ мальчикомъ четырнадцати лѣтъ находился съ своимъ братомъ подъ Бородинымъ возлѣ отца; впоследствии онъ умеръ отъ ранъ на Кавказѣ. Я рассказалъ ему объ Огаревѣ и спросилъ, можетъ ли и захочетъ ли Орловъ что-нибудь сдѣлать?

Лицо Раевского подернулось облакомъ, но это было не выраженіе плаксиваго самосохраненія, которое я видѣлъ утромъ, а какая-то смѣсь горькихъ воспоминаній и отвращенія.

— Тутъ нѣтъ мѣста хотѣть или не хотѣть, отвѣчалъ онъ, только я сомнѣваюсь, чтобъ Орловъ могъ много сдѣлать; послѣ

обѣда пройдите въ кабинетъ, я его приведу къ вамъ. Такъ вотъ, прибавилъ онъ, помолчавъ, и вашъ чередъ пришелъ, этотъ омутъ всѣхъ утянетъ.

Разспросивши меня, Орловъ написалъ письмо къ князю Голицыну, прося его свиданія. «Князь, сказалъ онъ мнѣ, порядочный человѣкъ: если онъ ничего не сдѣлаетъ, то скажетъ, по крайней мѣрѣ, правду».

Я на другой день поѣхалъ за отвѣтомъ. Князь Голицынъ сказалъ, что Огаревъ арестованъ по высочайшему повелѣнію, что назначена слѣдственная комиссія, и что матеріальнымъ поводомъ былъ какой-то пиръ 24 іюня, на которомъ пѣли возмутительныя пѣсни. Я ничего не могъ понять. Въ этотъ день были именины моего отца; я весь день былъ дома и Огаревъ былъ у насъ.

Съ тяжелымъ сердцемъ оставилъ я Орлова; и ему было не хорошо; когда я ему подаль руку, онъ всталъ, обнялъ меня, крѣпко прижалъ къ широкой своей груди и поцѣловалъ.

Точно будто онъ чувствовалъ, что мы расстаемся надолго.

Я его видѣлъ съ тѣхъ поръ одинъ разъ, ровно черезъ шесть лѣтъ. Онъ угасалъ. Болѣзненное выраженіе, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; онъ былъ печаленъ, чувствовалъ свое разрушеніе, зналъ разстройство дѣлъ— и не видѣлъ выхода. Мѣсяца черезъ два онъ умеръ; кровь свернулась въ его жилахъ.

...Въ Люцернѣ есть удивительный памятникъ; онъ сдѣланъ Торвальдсеномъ въ дикой скалѣ. Въ впадинѣ лежитъ умирающій левъ; онъ раненъ на смерть, кровь струится изъ раны, въ которой торчитъ обломокъ стрѣлы; онъ положилъ молодецкую голову на лапу, онъ стонетъ, его взоръ выражаетъ нестерпимую боль; кругомъ пусто, внизу прудъ, все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожіе идутъ, не догадываясь, что тутъ умираетъ царственный звѣрь.

Разъ какъ-то, долго сидя на скамьѣ противъ каменнаго страдальца, я вдругъ вспомнилъ мое послѣднее посѣщеніе Орлова...

Ѣхавши отъ Орлова домой мимо оберъ-полицмейстерскаго дома, мнѣ пришло въ голову попросить у него открыто дозволеніе повидаться съ Огаревымъ.

Я отроду никогда не бывалъ прежде ни у одного полицейскаго лица. Меня заставили долго ждать, наконецъ оберъ-полицмейстеръ вышелъ.

Мой вопросъ его удивилъ.

— «Какой поводъ заставляетъ васъ просить дозволеніе?»

— Огаревъ мой родственникъ.

— «Родственникъ?» спросилъ онъ, прямо глядя мнѣ въ глаза.

Я не отвѣчалъ, но такъ же прямо смотрѣлъ въ глаза его пре-восходительства.

— «Я не могу вамъ дать позволенія, сказалъ онъ, вашъ родственникъ au secret. Очень жаль!»

...Неизвѣстность и бездѣйствіе убивали меня. Почти никого изъ друзей не было въ городѣ, узнать рѣшительно нельзя было ничего. Казалось, полиція забыла или обошла меня. Очень, очень было скучно. Но когда все небо заволочло сѣрыми тучами и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, свѣтлый лучъ сошелъ на меня.

Нѣсколько словъ глубокой симпатіи, сказанныя семнадцатилѣтней дѣвушкой, которую я считалъ ребенкомъ, воскресили меня.

Первый разъ въ моемъ разсказѣ является женскій образъ... и собственно одинъ женскій образъ является во всей моей жизни.

Мимолетныя, юныя, весеннія увлеченія, волновавшія душу, поблѣднѣли, исчезли передъ нимъ, какъ туманныя картины: новыхъ, другихъ не пришло.

Мы встрѣтились на кладбищѣ. Она стояла, опершись на надгробный памятникъ, и говорила объ Огаревѣ, и грусть моя улеглась.

— «До завтра», сказала она, и подала мнѣ руку, улыбаясь сквозь слезы.

— До завтра, отвѣтилъ я... и долго смотрѣлъ вслѣдъ за исчезавшимъ образомъ ея.

Это было девятнадцатаго іюля 1834.

ГЛАВА IX.

Арестъ.— Добросовѣстный.— Канцелярія пречистенскаго частнаго дома.— Патриархальный судъ.

...«До завтра», повторялъ я, засыпая..., на душѣ было необыкновенно легко и хорошо.

Часу во второмъ ночи меня разбудилъ камердинеръ моего отца; онъ былъ раздѣтъ и испуганъ.

— «Васъ требуетъ какой-то офицеръ».

— Какой офицеръ?

— «Я не знаю».

— Ну, такъ я знаю, сказалъ я ему, и набросилъ на себя халатъ. Въ дверяхъ залы стояла фигура, завернутая въ военную шинель; къ окну виднѣлся бѣлый султанъ, сзади были еще какія-то лица,—я разглядѣлъ казацкую шапку.

Это былъ полицмейстеръ Миллеръ.

Онъ сказалъ мнѣ, что по приказанію военнаго генераль-губернатора, которое было у него въ рукахъ, онъ долженъ осмотрѣть мои бумаги. Принесли свѣчи. Полицмейстеръ взялъ мои ключи; квартальный и его поручикъ стали рыться въ книгахъ, въ бѣльѣ. Полицмейстеръ занялся бумагами; ему все казалось подозрительнымъ, онъ все откладывалъ и вдругъ, обращаясь ко мнѣ, сказалъ:

— «Я васъ попрошу покажѣсть одѣться; вы поѣдете со мной».

— Куда? спросилъ я.

— «Въ пречистенскую часть», отвѣтилъ полицмейстеръ успокоивающимъ голосомъ.

— А потомъ?

— «Дальше ничего нѣтъ въ приказаніи генераль-губернатора». Я сталъ одѣваться.

Между тѣмъ, испуганные слуги разбудили мою мать; она бросилась изъ своей спальни ко мнѣ въ комнату, но въ дверяхъ между гостиной и залой была остановлена казакомъ. Она вскрикнула, я вздрогнулъ и побѣжалъ туда. Полицмейстеръ оставилъ бумаги и вышелъ со мной въ залу. Онъ извинился передъ моею матерью, пропустилъ ее, разругалъ казака, который былъ не виноватъ, и воротился къ бумагамъ.

Потомъ взмогъ мой отецъ. Онъ былъ блѣденъ, но старался выдержать свою безстрастную роль. Сцена становилась тяжела. Мать моя сидѣла въ углу и плакала. Старикъ говорилъ безразличными вѣщи съ полицмейстеромъ, но голосъ его дрожалъ. Я боялся, что не выдержу этого *à la longue*, и не хотѣлъ доставить квартальнымъ удовольствіе видѣть меня плачущимъ.

Я дернулъ полицмейстера за рукавъ:—Поѣдемте!

— «Поѣдемте», сказалъ онъ съ радостью. Отецъ мой вышелъ изъ комнаты и черезъ минуту возвратился; онъ принесъ маленькой образъ, надѣлъ мнѣ на шею и сказалъ, что имъ благословилъ его отецъ, умирая. Я былъ тронутъ; этотъ *религіозный* подарокъ показалъ мнѣ мѣру страха и потрясенія въ душѣ старика. Я сталъ на колѣни, когда онъ надѣвалъ его; онъ поднялъ меня, обнялъ и благословилъ.

Образъ представлялъ на финифти отсѣченную голову Іоанна Предтечи на блюдѣ. Что это было—примѣръ, совѣтъ или пророчество?—не знаю, но смыслъ образа поразилъ меня.

Мать моя была почти безъ чувствъ.

Вся дворня провожала меня по лѣстницѣ со слезами, бросаясь цѣловать меня, мои руки,—я живо присутствовалъ при своемъ выносі; полицмейстеръ хмурился и торопился.

Когда мы вышли за ворота, онъ собралъ свою команду: съ

нимъ было четыре казака, двое квартальныхъ и двое полицейскихъ.

«Позвольте мнѣ идти домой», спросилъ у полицмейстера человекъ съ бородой, сидѣвшій передъ воротами.

— «Ступай», скасалъ Миллеръ.

— Это что за человекъ? спросилъ я, садясь на дрожки.

— «Добросовѣстный; вы знаете, что безъ добросовѣстнаго полиція не можетъ входить въ домъ».

— За тѣмъ-то вы и оставили его за воротами?

— «Пустая форма! даромъ помѣшали человекъ спать», замѣтилъ Миллеръ.

Мы поѣхали въ сопровожденіи двухъ казаковъ верхомъ.

Въ частномъ домѣ не было для меня особой комнаты. Полицейстеръ велѣлъ до утра посадить меня въ канцелярію. Онъ самъ привелъ меня туда; бросился на кресла и, устало зѣвая, бормоталъ: «Проклятая служба, на скачкѣ былъ съ трехъ часовъ, да вотъ съ вами провозился до утра, — небось ужъ четвертый часъ, а завтра въ девять съ рапортомъ ѣхать».

— «Прощайте», прибавилъ онъ черезъ минуту и вышелъ. Унтеръ заперъ меня на ключъ, замѣтивъ, что если что нужно, то могу постучать въ дверь.

Я отворилъ окно; день ужъ начался, утренній вѣтеръ подымался; я попросилъ у унтера воды и выпилъ цѣлую кружку. О снѣ не было и въ помышленіи. Впрочемъ, и лечь было некуда; кромѣ грязныхъ кожаныхъ стульевъ и одного кресла въ канцеляріи находился только большой столъ, заваленный бумагами, и въ углу маленькой столъ, еще болѣе заваленный бумагами. Скудный ночникъ не могъ освѣщать комнату, а дѣлалъ колеблющееся пятно свѣта на потолкѣ, блѣднѣвшее больше и больше отъ разсвѣта.

Я сѣлъ на мѣсто частнаго пристава и взялъ первую бумагу, лежавшую на столѣ,—билетъ на похороны двороваго человека князя Гагарина и медицинское свидѣтельство, что онъ умеръ по всѣмъ правиламъ науки. Я взялъ другую,—полицейскій уставъ. Я пробѣжалъ его и нашелъ въ немъ статью, въ которой сказано: «Всякій арестованный имѣетъ право черезъ три дня послѣ ареста узнать причину онаго или быть выпущенъ». Эту статью я себѣ замѣтилъ.

Черезъ часъ времени, я видѣлъ въ окно, какъ пріѣхалъ нашъ дворецкій и привезъ мнѣ подушку, одѣяло и шинель. Онъ просилъ о чемъ-то унтера, вѣроятно, о позволеніи взойти ко мнѣ; это былъ сѣдой старикъ, у котораго я ребенкомъ перекрестилъ двухъ или трехъ дѣтей. Унтеръ грубо и отрывисто отказывалъ ему; одинъ изъ нашихъ кучеровъ стоялъ возлѣ. Я имъ закричалъ въ

окно. Унтеръ засуетился и велѣлъ имъ убираться. Старикъ кланялся мнѣ въ поясъ и плакалъ; кучеръ, стегнувши лошадь, снялъ шляпу и утеръ глаза,—дрожки застучали и слезы полились у меня градомъ. Душа переполнилась. Это были первая и послѣдняя слезы во все время заключенія.

Къ утру канцелярія начала наполняться; явился писарь, который продолжалъ быть пьянымъ съ вчерашняго дня; фигура чачоточная, рыжая, въ прыщахъ, съ животно развратнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Онъ былъ во фракѣ кирпичнаго цвѣта, прескверно сшитомъ, нечпстомъ, лоснящемся. Вслѣдъ за нимъ пришелъ другой, въ унтеръ-офицерской шинели, чрезвычайно развязный. Онъ тотчасъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ:

— «Въ театрѣ, что ли-съ, попались?»

— Меня арестовали дома.

— «И самъ Ѳедоръ Ивановичъ?»

— Кто это Ѳедоръ Ивановичъ?

— «Полковникъ Миллеръ-съ».

— Да, онъ.

— «Понимаемъ-съ»,—онъ моргнулъ рыжему, который не показалъ никакого участія. Кантонистъ не продолжалъ разговора; онъ увидѣлъ, что я взятъ ни за буянство, ни за пьянство, и потерялъ ко мнѣ весь интересъ, а, можетъ, и боялся вступить въ разговоръ съ *опаснымъ* арестантомъ.

Спустя немного явились разные квартальные, заспанные и непроспавшіеся, наконецъ просители и тяжущіеся.

Содержательница публичнаго дома жаловалась на полпивщика, что онъ въ своей лавкѣ обругалъ ее всенародно и притомъ такими словами, которыя она, будучи женщиной, не можетъ произнести при начальствѣ. Полпивщикъ клялся, что онъ такихъ словъ никогда не произносилъ. Содержательница клялась, что онъ ихъ неоднократно произносилъ и очень громко, причемъ она прибавляла, что онъ замахнулся на нее, и если-бъ она не наклонилась, то онъ раскрылъ бы ей все лицо. Сидѣлецъ говорилъ, что она, во-первыхъ, ему не платитъ долгъ, во-вторыхъ, разобидѣла его въ собственной его лавкѣ, и, мало того, обѣщала исколотить его не на животь, а на смерть руками своихъ приверженцевъ.

Содержательница, высокая, неопрятная женщина, съ отеками глазами, кричала пронзительно громкимъ, визжащимъ голосомъ и была чрезвычайно многорѣчива. Сидѣлецъ больше бралъ мимикой и движеніями, чѣмъ словами.

Соломонъ-квартальный, вмѣсто суда, бранилъ ихъ обоихъ на чемъ свѣтъ стоитъ. «Съ жиру собаки бѣсятся, говорилъ онъ, сидѣли-бъ бестія покойно у себя, благо, мы молчимъ да мирволимъ. Видишь, важность какая! поругались—да и тотчасъ начальство

безпокоить. И что вы за фря такая? словно вамъ въ первый разъ; да васъ назвать нельзя, не выругавши, такимъ ремесломъ занимаетесь». Полпивщикъ тряхнулъ головой и передернулъ плечами въ знакъ глубокаго удовольствія. Квартальный тотчасъ напалъ на него. — «А ты что изъ-за прилавка лаешься, собака? хочешь въ сибирку? Сквернословъ эдакой, да лапу еще подымать, а березовыхъ, горячихъ... хочешь?»

Для меня эта сцена имѣла всю прелесть новости, она у меня осталась въ памяти навсегда; это былъ первый, патриархальный русскій процессъ, который я видѣлъ.

Содержательница и квартальный кричали до тѣхъ поръ, пока взошелъ частный приставъ. Онъ, не спрашивая, зачѣмъ эти люди тутъ и чего хотятъ, закричалъ еще больше дикимъ голосомъ: «Вонъ отсюда, вонъ, что здѣсь торговая баня или кабакъ?» — Прогнавши «сволочь», онъ обратился къ квартальному: «Какъ вамъ это не стыдно допускать такой безпорядокъ? Сколько разъ вамъ говорилъ! Уваженіе къ мѣсту теряется—шваль всякая станетъ послѣ этого Содомъ дѣлать. Вы потакаете слишкомъ этимъ мошенникамъ. Это что за человекъ?»—спросилъ онъ обо мнѣ.

— Арестантъ, отвѣчалъ квартальный, котораго привезли Федоръ Ивановичъ; тутъ есть бумажка-съ.

Частный пробѣжалъ бумажку, посмотрѣлъ на меня, съ неудовольствіемъ встрѣтилъ прямой и неподвижный взглядъ, который я на немъ остановилъ, приготавлиаясь на первое его слово дать сдачи, и сказалъ: «Извините».

Дѣло содержательницы и полпивщика снова явилось; она требовала присяги; пришелъ попъ; кажется, они оба присягнули, я конца не видалъ. Меня увезли къ оберъ-полицмейстеру, не знаю зачѣмъ; никто не говорилъ со мною ни слова, потомъ опять привезли въ частный домъ, гдѣ мнѣ была приготовлена комната подъ самой каланчей. Унтеръ-офицеръ замѣтилъ, что если я хочу поѣсть, то надобно послать купить что-нибудь, что казенный паекъ еще не назначенъ и что онъ еще дня два не будетъ назначенъ; сверхъ того, какъ онъ состоитъ изъ 3 или 4 копеекъ серебромъ, то *хорошіе* арестанты предоставляютъ его въ экономію.

Запачканный диванъ стоялъ у стѣны, время было за полдень, я чувствовалъ страшную усталъ, бросился на диванъ и уснулъ мертвымъ сномъ. Когда я проснулся, на душѣ все улеглось и успокоилось. Я былъ измученъ въ послѣднее время неизвѣстностью объ Огаревѣ; теперь чередъ дошелъ и до меня, опасность не видѣлась издали, а обложила въ округъ, туча была надъ головой. Это первое гоненіе должно было намъ служить рукоположеніемъ.

ГЛАВА X.

Подъ каланчей.—Лиссабонскій кварталный.—Зажигатели.

Къ тюрьмѣ человекъ приучается скоро, если онъ имѣеть сколько-нибудь внутренняго содержанія. Къ тишинѣ и совершенной волѣ въ клѣткѣ привыкаешь быстро,—никакой заботы, никакого разсѣянія.

Сначала не давали книгъ, частный приставъ увѣрялъ, что изъ дому книгъ не дозволяется брать. Я его просилъ купить. «Развѣ что-нибудь учебное, грамматику какую, что ли? пожалуй, можно, а не то, надобно спросить генерала». Предложеніе читать отъ скуки грамматику было неизмѣримо смѣшно, тѣмъ не менѣе я ухватился за него обѣими руками и попросилъ частнаго пристава купить итальянскую грамматику и лексиконъ. Со мной были двѣ красненькія ассигнаціи, я отдалъ одну ему; онъ тутъ же послалъ поручика за книгами и отдалъ ему мое письмо къ оберъ-полицмейстеру, въ которомъ я, основываясь на вычитанной мною статьѣ, просилъ объявить мнѣ причину ареста или выпустить меня.

Частный приставъ, въ присутствіи котораго я писалъ письмо, уговаривалъ не посылать его. «Напрасно-съ, ей Богу напрасно-съ утруждаете генерала, скажутъ: безпокойные люди, — вамъ же вредъ, а пользы никакой не будетъ».

Вечеромъ явился кварталный и сказалъ, что оберъ-полицмейстеръ велѣлъ мнѣ на словахъ объявить, что въ свое время я узнаю причину ареста. Далѣе онъ вытащилъ изъ кармана засаленную итальянскую грамматику и, улыбаясь, прибавилъ: «такъ хорошо случилось, что тутъ и словарь есть, лексикончика не нужно». Объ сдачѣ и разговора не было. Я хотѣлъ было снова писать къ оберъ-полицмейстеру, но роль миниатюрнаго Гемпдена въ пречистенской части показалась мнѣ слишкомъ смѣшной.

Недѣли черезъ полторы послѣ моего взятія, часу въ десятомъ вечера, пришелъ маленькаго роста черненькой и рябенькой кварталный съ приказомъ одѣться и отправляться въ слѣдственную комиссію.

Пока я одѣвался, случилось слѣдующее смѣшно-досадное происшествіе. Обѣдъ мнѣ присылали изъ дома, слуга отдавалъ внизу дежурному унтеръ-офицеру, тотъ присылалъ съ солдатомъ ко мнѣ. Виноградное вино позволялось пропускать отъ полубутылки до цѣлой въ день. Н. Сазоновъ, пользуясь этимъ дозволеніемъ, прислалъ мнѣ бутылку превосходнаго Юганисберга. Солдатъ и я, мы ухитрились двумя гвоздями откупорить бутылку; букетъ поразилъ издали. Этимъ виномъ я хотѣлъ наслаждаться дни три-четыре.

Надобно быть въ тюрьмѣ, чтобъ знать, сколько ребячества остается въ человѣкѣ и какъ могутъ тѣшить мелочи отъ бутылки вина до шалости надъ сторожемъ.

Рябенкой квартальной отыскалъ мою бутылку и, обращаясь ко мнѣ, просилъ позволенія немного выпить. Досадно мнѣ было; однако я сказалъ, что очень радъ. Рюмки у меня не было. Извергъ этотъ взялъ стаканъ, налилъ его до невозможной полноты и вылилъ его себѣ внутрь, не переводя дыханія; этотъ образъ вливанія спиртовъ и винъ только существуетъ у русскихъ и у поляковъ; я во всей Европѣ не видалъ людей, которые бы пили *затомъ* стаканъ или умѣли *хватить* рюмку. Чтобъ потерю этого стакана сдѣлать еще чувствительнѣе, рябенкой квартальной, обтирая синимъ табачнымъ платкомъ губы, благодарилъ меня, приговаривая: «мадера хоть куда». Я съ ненавистью посмотрѣлъ на него и злобно радовался, что люди не привили квартальному коровьей оспы, а природа не обошла его человѣческой.

Этотъ знатокъ винъ привезъ меня въ оберъ-полицмейстерскій домъ на Тверскомъ бульварѣ, ввелъ въ боковую залу и оставилъ одного. Полчаса спустя, изъ внутреннихъ комнатъ вышелъ толстый человѣкъ съ лѣнивымъ и добродушнымъ видомъ; онъ бросилъ портфель съ бумагами на стулъ и послалъ куда-то жандарма, стоявшаго въ дверяхъ.

— Вы вѣрно, сказалъ онъ мнѣ, по дѣлу Огарева и другихъ молодыхъ людей, недавно взятыхъ?—Я подтвердилъ.

— Слышалъ я, продолжалъ онъ, мелькомъ. Странное дѣло, ничего не понимаю.

— «Я сижу двѣ недѣли въ тюрьмѣ по этому дѣлу, да не только ничего не понимаю, но просто не знаю ничего».

— Это-то и прекрасно, сказалъ онъ, пристально посмотрѣвши на меня,—и не знайте ничего. Вы меня простите, а я вамъ дамъ совѣтъ: вы молоды, у васъ еще кровь горяча, хочется поговорить, это бѣда; не забудьте же, что вы ничего не знаете, это единственный путь спасенія.

Я смотрѣлъ на него съ удивленіемъ: лицо его не выражало ничего дурного; онъ догадался и, улыбувшись, сказалъ:

— Я самъ былъ студентъ московскаго университета лѣтъ двѣнадцать тому назадъ.

Вошелъ какой-то чиновникъ; толстякъ обратился къ нему, какъ начальникъ, и, кончивъ свои приказанія, вышелъ вонъ, ласково кивнувъ головой и приложивъ палецъ къ губамъ. Я никогда послѣ не встрѣчалъ этого господина и не знаю, кто онъ; но искренность его совѣта я испыталъ.

Потомъ взошелъ полицмейстеръ, другой, не Федоръ Ивановичъ, и позвалъ меня въ комиссію. Въ большой, довольно красивой залѣ сидѣли за столомъ человѣкъ пять, всѣ въ военныхъ мундирахъ, за исключеніемъ одного чахлаго старика. Они курили сигары, весело разговаривали между собой, растегнувши мундиры и развалясь на креслахъ. Оберъ-полицмейстеръ предсѣдательствовалъ.

Когда я взошелъ, онъ обратился къ какой-то фигурѣ, смиренно сидѣвшей въ углу, и сказалъ:—«Батюшка, не угодно ли?» Тутъ только я разглядѣлъ, что въ углу сидѣлъ старый священникъ съ сѣдой бородой и красно-синимъ лицомъ. Священникъ дремалъ, хотѣлъ домой; думалъ о чемъ-то другомъ и зѣвалъ, прикрывая рукою ротъ. Протяжнымъ голосомъ и нѣсколько нараспѣвъ началъ онъ меня *увѣщавать*; толковалъ о грѣхѣ утаивать истину предъ лицами, назначенными царемъ, и о бесполезности такой неоткровенности, взявъ во вниманіе всеслышащее ухо Божіе; онъ не забылъ даже сослаться на вѣчные тексты, что нѣтъ власти еще не отъ Бога и кесарю кесарево. Въ заключеніе онъ сказалъ, чтобъ я приложился къ святому Евангелію и *честному* кресту въ удостовѣреніе обѣта, котораго я, впрочемъ, не давалъ, да онъ и не требовалъ, искренно и откровенно раскрыть всю истину.

Окончивши, онъ посиѣшно началъ заворачивать Евангеліе и крестъ. Цинскій, едва приподнявшись, сказалъ ему, что онъ можетъ идти. Послѣ этого онъ обратился ко мнѣ и перевелъ духовную рѣчь на гражданскій языкъ. «Я прибавлю къ словамъ священника одно—запираться вамъ нельзя, если-бъ вы и хотѣли». Онъ указалъ на кипы бумагъ, писемъ, портретовъ, съ намѣреніемъ разбросанныхъ по столу. «Одно откровенное сознаніе можетъ смягчить вашу участь; быть на волѣ, или въ Бобруйскѣ, на Кавказѣ, это зависитъ отъ васъ».

Вопросы предлагались письменно; наивность нѣкоторыхъ была поразительна. «Не знаете ли вы о существованіи какого-либо тайнаго общества? Не принадлежите ли вы къ какому-нибудь обществу, литературному или *иному*? Кто его члены? гдѣ они собираются?»

На все это было чрезвычайно легко отвѣчать однимъ *нѣтъ*.

— «Вы, я вижу, ничего не знаете, сказалъ, перечитывая отвѣты, Цинскій. Я васъ предупредилъ, вы усложните ваше положеніе».

Тѣмъ и кончился первый допросъ.

... Восемь лѣтъ спустя, въ другой половинѣ дома, гдѣ была слѣдственная комиссія, жила женщина, нѣкогда прекрасная собой, съ дочерью красавицей, сестра новаго оберъ-полицмейстера.

Я бывалъ у нихъ и всякій разъ проходилъ той залой, гдѣ Цинскій съ компаніей судилъ и рядилъ насъ; въ ней висѣлъ,

тогда и потомъ, портретъ Павла. Я останавливался всякій разъ предъ этимъ портретомъ, тогда арестантомъ, теперь гостемъ. Небольшая гостиная возлѣ, гдѣ все дышало женщиной и красотой, была какъ-то неумѣстна въ домѣ строгости и слѣдствій; мнѣ было не по себѣ тамъ и какъ-то жаль, что прекрасно развернувшийся цвѣтокъ попалъ на кирпичную, печальную стѣну сѣзжей. Наши рѣчи и рѣчи небольшого круга друзей, собиравшихся у нихъ, такъ иронически звучали, такъ удивляли ухо въ этихъ стѣнахъ, привыкнущихъ слушать допросы, доносы и рапорты о повальныхъ обыскахъ, въ этихъ стѣпахъ, отдѣлявшихъ насъ отъ шопота квартальныхъ, отъ вздоховъ арестантовъ, отъ брячанья жандармскихъ шиоръ и сабли уральскаго казака...

Черезъ недѣлю или двѣ снова пришелъ рябенкой квартальный и снова привезъ меня къ Цинскому. Въ сѣняхъ сидѣли и лежали нѣсколько человекъ скованныхъ, окруженные солдатами съ ружьями; въ передней было тоже нѣсколько человекъ разныхъ сословій, безъ цѣпей, но строго охраняемыхъ. Квартальный сказалъ мнѣ, что это все зажигатели. Цинскій былъ на пожарѣ, слѣдовало ждать его возвращенія; мы пріѣхали часу въ десятомъ вечера; въ часъ ночи меня еще никто не спрашивалъ и я все еще преспокойно сидѣлъ въ передней съ зажигателями. Изъ нихъ требовали то одного, то другого; полицейскіе бѣгали взадъ и впередъ, цѣпи гремѣли, солдаты отъ скуки брякали ружьями и выкидывали артикуль. Около часу пріѣхалъ Цинскій, въ сажѣ и копоти, и пробѣжалъ въ кабинетъ, не останавливаясь. Прошло съ полчаса, позвали моего квартальнаго; онъ воротился блѣдный, растерянный и съ судорожнымъ подергиваніемъ въ лицѣ. Вслѣдъ за нимъ Цинскій высунулъ голову въ дверь и сказалъ: «А васъ monsieur Г., вся комиссія ждала цѣлый вечеръ, этотъ *болванъ* привезъ васъ сюда въ то время, какъ васъ требовали къ князю Голицыну. Мнѣ очень жаль, что вы здѣсь прождали такъ долго, но это не моя вина. Что прикажете дѣлать съ такими исполнителями? Я думаю, пятьдесятъ лѣтъ служить, и все чурбанъ. Ну, пошелъ теперь домой!» прибавилъ онъ, измѣнивъ голосъ на гораздо грубѣйшій и обращаясь къ квартальному.

Квартальный повторялъ цѣлую дорогу: «Господи, какая бѣда! Человекъ не думаетъ, не гадаетъ, что надъ нимъ сдѣлается; ну, ужъ онъ меня дождетъ теперь. Онъ бы еще ничего, если-бъ васъ тамъ не ждали, а то, вѣдь, ему срамъ. Господи, какое несчастіе!»

Я простилъ ему рейнвейнгъ, особенно когда онъ мнѣ сообщилъ, что онъ менѣе былъ испуганъ, когда разъ тонулъ возлѣ Лиссабона, чѣмъ теперь. Последнее обстоятельство было такъ неожиданно для меня, что мною овладѣлъ безумный смѣхъ.—«Какъ же вы это попали въ Лиссабонъ? помяните, на что же это похоже?»

спросилъ я его. Старикъ былъ лѣтъ за двадцать пять морскимъ офицеромъ. Нельзя не согласиться съ министромъ, который увѣрялъ капитана Копейкина, что въ Россіи, нѣкоторымъ образомъ, никакая служба не остается безъ вознагражденія. Его судьба спасла въ Лиссабонѣ, для того чтобъ быть обруганнымъ Цинскимъ, какъ мальчишкѣ, послѣ сорокалѣтней службы.

Онъ же почти не былъ виноватъ.

Слѣдственная коммиссія, составленная генераль-губернаторомъ, не понравилась государю; онъ назначилъ новую подъ предѣтельствомъ князя Сергѣя Михайловича Голицына. Въ этой коммиссіи членами были: московскій комендантъ Стааль, другой князь Голицынъ, жандармскій полковникъ Шубенскій и прежній аудиторъ Оранскій.

Въ оберъ-полицмейстерскомъ приказѣ не было сказано, что коммиссія переведена; весьма естественно, что лиссабонскій квартальный свезъ меня къ Цинскому.

Въ частномъ домѣ была тоже большая тревога: три пожара случились въ одинъ вечеръ, и потомъ изъ коммиссіи присылали два раза узнать, что со мной сдѣлалось, не бѣжалъ ли я. Чего Цинскій не добранилъ, то добавилъ частный приставъ лиссабонцу, что я слѣдовало ожидать, потому что частный приставъ былъ тоже долею виноватъ, не справившись, куда именно требуютъ. Въ канцеляріи, въ углу кто-то лежалъ на стульяхъ и стоналъ; я посмотрѣлъ,—молодой человекъ красивой наружности и чисто одѣтый; онъ харкалъ кровью и охалъ, частный лекаръ совѣтовалъ пораньше утромъ отправить его въ больницу.

Когда унтеръ-офицеръ привезъ меня въ мою комнату, я выпыталъ отъ него исторію раненаго. Это былъ отставной гвардейскій офицеръ, онъ имѣлъ интригу съ какой-то горничной и былъ у нея, когда загорѣлся флигель. Это было время наибольшаго страха отъ зажигательства: дѣйствительно, не проходило дня, чтобъ я не слышалъ трехъ-четырехъ разъ сигнальнаго колокольчика; изъ окна я видѣлъ всякую почъ два-три зарева. Полиція и жители съ ожесточеніемъ искали зажигателей. Офицеръ, чтобъ не компрометировать дѣвушку, какъ только началась тревога, перелѣзъ заборъ и спрятался въ сараѣ сосѣдняго дома, выждавъ минуты, чтобъ выйти. Маленькая дѣвчонка, бывшая на дворѣ, увидѣла его и сказала первымъ прискакавшимъ полицейскимъ, что зажигатель спрятался въ сараѣ; они ринулись туда съ толпой народа и съ торжествомъ вытащили офицера. Они его такъ основательно избили, что онъ на другой день къ утру умеръ.

Начался разборъ захваченныхъ людей: половину отпустили, другихъ нашли подозрительными. Полицмейстеръ Брянчановъ ѣздилъ всякое утро и допрашивалъ часа три или четыре.

Иногда допрашиваемыхъ сѣкли или били; тогда ихъ вопль, крикъ, просьбы, визгъ, женскій стонъ, вмѣстѣ съ рѣзкимъ голосомъ полицмейстера и однообразнымъ чтеніемъ писемоводителя доходили до меня. Это было ужасно, невыносимо. Мнѣ по ночамъ грезились эти звуки, и я просыпался въ изступленіи, думая, что страдальцы эти въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня лежать на соломѣ, въ цѣпяхъ, съ изодранной, съ избитой спиной, и навѣрное безъ всякой вины.

Чтобъ знать, что такое русская тюрьма, русскій судъ и полиція, для этого надобно быть мужикомъ, дворовымъ, мастеровымъ или мѣщаниномъ. Политическихъ арестантовъ, которые большею частію принадлежатъ къ дворянству, содержатъ строго, наказываютъ свирѣпо, но ихъ судьба не идетъ ни въ какое сравненіе съ судьбою бѣдныхъ бородачей. Съ этими полиція не церемонится. Къ кому мужикъ или мастеровой пойдетъ потомъ жаловаться, гдѣ найдетъ судъ?

Таковъ безпорядокъ, звѣрство, своеволие и развратъ русскаго суда и русской полиціи, что простой человѣкъ, попавшійся подъ судъ, боится не наказанія по суду, а судопроизводства. Онъ ждетъ съ нетерпѣніемъ, когда его пошлютъ въ Сибирь, его мученичество оканчивается съ началомъ наказанія. Теперь вспомнимъ, что три четверти людей, хватаемыхъ полиціею по подозрѣнію, судомъ освобождаются и что они прошли черезъ тѣ же истязанія, какъ и виновные.

Петръ III уничтожилъ застѣнокъ и тайную канцелярію.

Екатерина II уничтожила пытку.

Александръ I *еще разъ* ее уничтожилъ.

Отвѣты, сдѣланные «подъ страхомъ», не считаются по закону. Чиновникъ, пытающій подсудимаго, подвергается самъ суду и строгому наказанію.

И во всей Россіи—отъ Берингова пролива до Таурогена—людей пытаются; тамъ, гдѣ опасно пытать розгами, пытаются нестерпимымъ жаромъ, жаждой, соленой пищей; въ Москвѣ полиція ставила какого-то подсудимаго босого, градусовъ въ десять мороза, на чугунный полъ; онъ занемогъ и умеръ въ больницѣ, бывшей подъ начальствомъ князя Мещерскаго, рассказывавшаго съ негодованіемъ объ этомъ. Начальство знаетъ все это, и всѣ согласны съ Селифаномъ, «что отчего же мужика и не посѣчь, мужика иногда надобно посѣчь!»

Комиссія, назначенная для розыска зажигательствъ, судила, т. е. сѣкла, мѣсяцевъ шесть къ ряду, и ничего не высѣкла. Государь разсердился и велѣлъ дѣло окончить въ три дня. Дѣло и кончилось въ три дня; виновные были найдены и приговорены къ наказанію кнутомъ, клейменію и ссылкой въ каторжную ра-

боту. Изъ всѣхъ домовъ собрали дворниковъ смотрѣть страшное наказаніе «зажигателей». Это было уже зимой, и я содержался тогда въ крутицкихъ казармахъ. Жандармскій ротмистръ, бывшій при наказаніи, добрый старикъ, сообщилъ мнѣ подробности, которыя я передаю. Первый, осужденный на кнутъ, громкимъ голосомъ сказалъ народу, что онъ клянется въ своей невинности, что онъ самъ не знаетъ, что отвѣчалъ подъ вліяніемъ боли, при этомъ онъ снялъ съ себя рубашку и, повернувшись спиной къ народу, прибавилъ: «посмотрите, православные!»

Стонъ ужаса пробѣжалъ по толпѣ: его спина была синяя полосатая рана, и по этой-то ранѣ его слѣдовало бить кнутомъ. Ропотъ и мрачный видъ собраннаго народа заставили полицію торопиться, палачи отпустили законное число ударовъ, другіе заклеямили, третьи сковали ноги и дѣло казалось оконченнымъ. Однако сцена эта поразила жителей; во всѣхъ кругахъ Москвы говорили объ ней. Генераль-губернаторъ донесъ объ этомъ государю. Государь велѣлъ назначить *новый* судъ и особенно разобрать дѣло зажигателя, протестовавшаго передъ наказаніемъ.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, прочелъ я въ газетахъ, что государь, желая вознаградить двухъ невинно наказанныхъ кнутомъ, приказалъ имъ выдать по 200 руб. за ударъ и снабдить особымъ паспортомъ, свидѣтельствующимъ ихъ невинность, несмотря на клеймо. Это былъ зажигатель, говорившій къ народу, и одинъ изъ его товарищей.

Исторія о зажигательствахъ въ Москвѣ въ 1834 г., отозвавшаяся лѣтъ черезъ десять въ разныхъ провинціяхъ, остается загадкой. Что поджоги были, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; вообще огонь, «красный пѣтухъ» — очень національное средство мести у насъ. Безпрестанно слышишь о поджогахъ барской усадьбы, овина, амбара. Но что за причина была пожаровъ именно въ 1834 г. въ Москвѣ, этого никто не знаетъ, всего меньше члены комиссіи.

Передъ 22 августа, днемъ коронаціи, какіе-то шалуны подкинули въ разныхъ мѣстахъ письма, въ которыхъ сообщали жителямъ, чтобъ они не заботились объ иллюминаціи, что освѣщеніе будетъ.

Переполюшилось трусливое московское начальство. Съ утра частный домъ былъ наполненъ солдатами, эскадронъ улановъ стоялъ на дворѣ. Вечеромъ патрули верхомъ и пѣшіе безпрестанно объѣзжали улицы. Въ экзерциръ-гаузѣ была приготовлена артиллерія. Полицейстеры скакали взадъ и впередъ съ казаками и жандармами, самъ князь Голицынъ съ адъютантами проѣхалъ верхомъ по городу. Этотъ военный видъ скромной Москвы былъ страненъ и дѣйствовалъ на нервы. Я до поздней ночи лежалъ на окнѣ подъ своей каланчей и смотрѣлъ на дворъ... Спѣ-

шившіеся уланы сидѣли кучками около лошадей, другіе садились на коней; офицеры расхаживали, съ пренебреженіемъ глядя на полицейскихъ; плацъ-адъютанты пріѣзжали съ озабоченнымъ видомъ, съ желтымъ воротникомъ и, ничего не сдѣлавши, уѣзжали.

Пожаровъ не было.

Вслѣдъ за тѣмъ явился самъ государь въ Москву. Онъ былъ недоволенъ слѣдствіемъ надъ нами, которое только началось, былъ недоволенъ, что насъ оставили въ рукахъ явной полиціи, былъ недоволенъ, что не нашли зажигателей, словомъ былъ недоволенъ всѣмъ и всѣми.

ГЛАВА XI.

Крутицкія казармы.—Жандармскія повѣствованія.—Офицеры.

Дня черезъ три послѣ пріѣзда государя, поздно вечеромъ— всѣ эти вещи дѣлаются въ темнотѣ, чтобъ не беспокоить публику—пришелъ ко мнѣ полицейскій офицеръ съ приказомъ собрать вещи и отправляться съ нимъ.

— Куда? спросилъ я.

— «Вы увидите», отвѣчалъ умно и учтиво полицейскій. Послѣ этого, разумѣется, я не продолжалъ разговора, собралъ вещи и пошелъ.

Ѣхали мы, ѣхали часа полтора, наконецъ, проѣхали Симоновъ монастырь и остановились у тяжелыхъ каменныхъ воротъ, передъ которыми ходили два жандарма съ карабинами. Это былъ Крутицкій монастырь, превращенный въ жандармскія казармы.

Меня привели въ небольшую канцелярію. Писаря, адъютанты, офицеры, все было голубое. Дежурный офицеръ, въ каскѣ и полной формѣ, просилъ меня подождать и даже предложилъ закурить трубку, которую я держалъ въ рукахъ. Послѣ этого онъ принялся писать росписку въ полученіи арестанта; отдавъ ее квартальному, онъ ушелъ и воротился съ другимъ офицеромъ. «Комната ваша готова, сказалъ мнѣ послѣдній, пойдемте». Жандармъ свѣтилъ намъ, мы сошли съ лѣстницы, прошли нѣсколько шаговъ дворомъ, взошли небольшою дверью въ длинный коридоръ, освѣщенный однимъ фонаремъ; по обѣимъ сторонамъ были небольшія двери, одну изъ нихъ отворилъ дежурный офицеръ, дверь вела въ крошечную кордегардію, за которой была небольшая комнатка, сырая, холодная и съ запахомъ подвала. Офицеръ съ аксельбантомъ, который привелъ меня, обратился ко мнѣ, на французскомъ языкѣ, говоря, что онъ *désolé d'être dans la nécessité* шарить въ моихъ карманахъ, но что военная служба, обязанность, повинно-

веніе... Послѣ этого краснорѣчиваго вступленія, онъ очень просто обернулся къ жандарму и указалъ на меня глазомъ. Жандармъ въ ту же минуту запустилъ невѣроятно большую и шершавую руку въ мой карманъ. Я замѣтилъ учтивому офицеру, что это вовсе ненужно, что я самъ, пожалуй, выворочу всѣ карманы, безъ такихъ насильственныхъ мѣръ. Къ тому же, что могло быть у меня послѣ полутора-мѣсячнаго заключенія?

— «Знаемъ мы, сказалъ, неподражаемо самодовольно улыбаясь, офицеръ съ аксельбантомъ, знаемъ мы порядки частныхъ домовъ». Дежурный офицеръ тоже колко улыбнулся, однако жандарму сказали, чтобъ онъ только смотрѣлъ; я вынулъ все, что было.

— «Высыпьте на столъ вашъ табакъ», сказалъ офицеръ *désolé*.

У меня въ кisetѣ былъ перочинный ножикъ и карандашъ, завернутые въ бумажкѣ; я съ самаго начала думалъ объ нихъ и, говоря съ офицеромъ, игралъ съ кisetомъ до тѣхъ поръ, пока ножикъ мнѣ попалъ въ руку, я держалъ его сквозь матерію и смѣло высыпалъ табакъ на столъ; жандармъ снова его высыпалъ. Ножикъ и карандашъ были спасены: вотъ жандарму съ аксельбантомъ урокъ за его гордое пренебреженіе къ явной полиціи.

Это происшествіе расположило меня чрезвычайно хорошо, я весело сталъ разсматривать мои новыя владѣнія.

Въ монашескихъ кельяхъ, построенныхъ за триста лѣтъ и ушедшихъ въ землю, устроили нѣсколько свѣтскихъ келій для политическихъ арестантовъ.

Въ моей комнатѣ стояла кровать безъ тюфяка, маленькой столікъ, на немъ кружка съ водой, возлѣ стулъ, въ большомъ мѣдномъ шандалѣ горѣла тонкая сальная свѣча. Сырость и холодъ проникали до костей; офицеръ велѣлъ затопить печь, потомъ всѣ ушли. Солдатъ обѣщаль принести сѣна; пока, подложивъ шинель подъ голову, я легъ на голую кровать и закурилъ трубку.

Черезъ минуту я замѣтилъ, что потолокъ былъ покрытъ прусскими тараканами. Они давно не видали свѣчи и бѣжали со всѣхъ сторонъ къ освѣщенному мѣсту, толкались, суетились, падали на столъ и бѣгали потомъ опрометью взадъ и впередъ по краю стола.

Я не любилъ таракановъ, какъ вообще всякихъ незваныхъ гостей; сосѣди мои показались мнѣ страшно гадки, но дѣлать было нечего, не начать же было жаловаться на таракановъ, и нервы покорились. Впрочемъ, дня черезъ три всѣ пруссаки перебрались за загородку къ солдату, у котораго было теплѣе; иногда только забѣжитъ бывало одинъ, другой тараканъ, поводитъ усами и тотчасъ назадъ грѣтся.

(Колько я ни просилъ жандарма, онъ печку все-таки закрылъ. Мнѣ становилось не по себѣ, въ головѣ кружилось, я хотѣлъ

встать и постучать солдату; дѣйствительно всталъ, но этимъ и оканчивается все, что я помню...

... Когда я пришелъ въ себя, я лежалъ на полу, голову лопило страшно. Высокій, сѣдой жандармъ стоялъ, сложа руки, и смотрѣлъ на меня бессмысленно-внимательно, въ томъ родѣ, какъ въ извѣстныхъ бронзовыхъ статуэткахъ собака смотреть на чепуху.

— «Славно угорѣли, ваше благородіе, сказалъ онъ, видя, что я очнулся. Я вамъ хрѣнку принесъ съ солью и съ квасомъ, я ужъ вамъ давалъ нюхать, теперь выпейте». Я выпилъ, онъ поднялъ меня и положилъ на постель; мнѣ было очень дурно, окно было съ двойной рамой и безъ форточки; солдатъ ходилъ въ канцелярію просить разрѣшенія выйти на дворъ; дежурный офицеръ велѣлъ сказать, что ни полковника, ни адъютанта нѣтъ налицо, а что онъ на свою отвѣтственность взять не можетъ. Пришлось оставаться въ угарной комнатѣ.

Обжился я и въ крутицкихъ казармахъ, спрягая итальянскіе глаголы и почитывая кой-какія книжонки. Сначала содержаніе было довольно строго; въ девять часовъ вечера при послѣднемъ звукѣ вѣстовой трубы солдатъ входилъ въ комнату, тушилъ свѣчу и запиралъ дверь на замокъ. Съ девяти вечера до восьми слѣдующаго дня приходилось сидѣть въ потемкахъ. Я никогда не спалъ много, въ тюрьмѣ безъ всякаго движенія мнѣ за глаза было достаточно четырехъ часовъ сна, каково же наказаніе не имѣть свѣчи? Къ тому же часовые съ двухъ сторонъ коридора кричали каждые четверть часа протяжно и громко: «Слу—у—у-шай!»

Черезъ нѣсколько недѣль, полковникъ Семеновъ (братъ знаменитой актрисы, впоследствии княгини Гагариной) позволилъ оставлять свѣчу, запретивъ, чтобъ чѣмъ-нибудь завѣшивали окно, которое было ниже двора, такъ что часовой могъ видѣть все, что дѣлается у арестанта, и не велѣлъ въ коридорѣ кричать «слушай».

Потомъ комендантъ разрѣшилъ намъ имѣть чернильницу и гулять по двору. Бумага давалась счетомъ на томъ условіи, чтобъ всѣ листы были цѣлы. Гулять было дозволено разъ въ сутки на дворѣ, окруженномъ оградой и цѣпью часовыхъ, въ сопровожденіи солдата и дежурнаго офицера.

Жизнь шла однообразно, тихо; военная аккуратность придавала ей какую-то механическую правильность въ родѣ цезуры въ стихахъ. Утромъ я варилъ съ помощью жандарма въ печкѣ кофей; часовъ въ десять являлся дежурный офицеръ, внося съ собой нѣсколько кубическихъ футовъ мороза, гремя саблей, въ перчаткахъ съ огромными обшлагами, въ каскѣ и шинели; въ часъ жандармъ приносилъ грязную салфетку и чашку супа, ко-

тору ю онъ держалъ всегда за края, такъ что два большіе пальца были примѣтно чище остальныхъ. Кормили насъ сносно, но при этомъ не слѣдуетъ забывать, что за кормъ брали по два руб. асс. въ день, что въ продолженіе девяти-мѣсячнаго заключенія составило довольно значительную сумму для неимущихъ. Отецъ одного арестанта просто сказалъ, что у него денегъ нѣтъ; ему хладнокровно отвѣтили, что у него изъ жалованья вычтутъ. Если-бъ онъ не получалъ жалованья, весьма вѣроятно, что его посадили бы въ тюрьму.

Въ дополненіе должно замѣтить, что въ казармы присылалось для нашего прокормленія полковнику Семенову 1 руб. 50 коп. изъ ордонансъ-гауза. Изъ этого было вышелъ шумъ; но пользовавшіеся этимъ плацъ-адъютанты задарили жандармскій дивизионъ ложами на первыя представленія и бенефисы, тѣмъ дѣло и кончилось.

Послѣ вечерней зари наступала совершенная тишина, вовсе не прерываемая шагами солдата, хрустѣвшими по снѣгу передъ самымъ окномъ, ни дальними окликаками часовыхъ. Обыкновенно я читалъ до часу и потомъ тушилъ свѣчу. Сонъ переносилъ на волю, иной разъ въ просоньяхъ казалось: фу, какія тяжелыя грѣзы приснились—тюрьма, жандармы, и радуешься, что все это сонъ, а тутъ вдругъ прогремитъ сабля по коридору, или дежурный офицеръ отворить дверь, сопровождаемый солдатомъ съ фонаремъ, или часовой прокричитъ нечеловѣчески «кто идетъ», или труба подъ самымъ окномъ рѣзкой «зарей» раздеретъ утренній воздухъ...

Въ скучныя минуты, когда не хотѣлось читать, я толковалъ съ жандармами, караулившими меня, особенно съ старикомъ, ласкавшимъ меня отъ угара. Полковникъ въ знакъ милости отряжаетъ старыхъ солдатъ, избавляя ихъ отъ строя, на спокойную должность беречь запертаго человѣка; надъ ними назначается ефрейторъ—шпіонъ и плутъ. Пять-шесть жандармовъ дѣлали всю службу.

Старикъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ существо простое, доброе и преданное за всякую ласку, которыхъ, вѣроятно, ему немного доставалось въ жизни. Онъ дѣлалъ кампанію 1812 года, грудь его была покрыта медалями, срокъ свой онъ выслужилъ и остался по доброй волѣ, не зная, куда дѣться. «Я два раза, говорилъ онъ, писалъ на родину въ Могилевскую губернію, да отвѣта не было, видно изъ моихъ никого больше нѣтъ; такъ оно какъ-то и жутко на родину придти, побудешь, побудешь, да, какъ оканный какой, и пойдешь, куда глаза глядятъ, Христа ради просить». Какое варварское и безжалостное устройство военной службы въ Россіи, съ ея чудовищнымъ срокомъ! Личность человѣка у насъ вездѣ принесена на жертву безъ малѣйшей пощады, безъ всякаго вознагражденія.

Старикъ Филимоновъ имѣлъ притязанія на знаніе нѣмецкаго языка, которому обучался на зимнихъ квартирахъ послѣ взятія Парижа. Онъ очень удачно перекладывалъ на русскіе нравы нѣмецкія слова: лошадь онъ называлъ *фертъ*, яйца—*еры*, рыбу—*пишъ*, овесъ—*оберъ*, блины—*панкухи*.

Въ его рассказахъ былъ характеръ наивности, наводившій на меня грусть и раздумье. Въ Молдавіи, во время турецкой кампаніи 1805 г., онъ былъ въ ротѣ капитана, добрѣйшаго въ мірѣ, который о каждомъ солдатѣ, какъ о сынѣ, пекся и въ дѣлѣ былъ всегда впереди. «Его приворожила къ себѣ одна молдаванка: мы видимъ, нашъ ротный командиръ въ заботѣ, а онъ, знаете того, подмѣтилъ, что молдаванка къ другому офицеру похаживаетъ. Вотъ разъ позвалъ онъ меня и одного товарища—славнаго солдата, ему потомъ подѣ Малымъ-Ярославцемъ обѣ ноги оторвало—и сталъ намъ говорить, какъ его молдаванка обидѣла, и что хотимъ ли мы помочь ему и дать ей науку. Отчего же, говоримъ мы ему, мы вашему высокоблагородію всегда рады стараться. Онъ поблагодарилъ, да и указалъ домъ, въ которомъ жилъ офицеръ, и говоритъ: вы ночью станьте на мосту, она безпремѣнно пойдетъ къ нему, вы ее безъ шума возьмите, да и въ рѣку. Можно, молъ, ваше высокоблагородіе, говоримъ мы ему, да и принасли съ товарищемъ мѣшочекъ; сидимъ-съ, только эдакъ къ полночи бѣжитъ молдаванка; мы, знаете, говоримъ ей: что молъ, сударыня, торопитесь, да и дали ей разъ по головѣ, она, голу-бушка, не пикнула, мы ее въ мѣшокъ да и въ рѣку. А капитанъ на другой день къ офицеру пришелъ и говоритъ: вы не гнѣвайтесь на молдаванку, мы ее немножко позадержали, она, т. е., теперь въ рѣкѣ, а съ вами дискать прогуляться можно, на саблѣ или на пистоляхъ, какъ угодно. Ну и рубились. Тотъ нашему капитану грудь сильно прохватилъ, почяхъ сердечный, иначе мѣсяца черезъ три Богу душу и отдалъ».

— А молдаванка, спросилъ я, такъ и утонула?

— «Утонула-съ», отвѣчалъ солдатъ.

Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на дѣтскую безпечность, съ которой старый жандармъ мнѣ рассказывалъ эту исторію. И онъ, какъ будто догадавшись или подумавъ въ первый разъ о ней, добавилъ, успокоивая меня и примиряясь съ совѣстью:

— «Язычица-съ, все равно что некрещеная, такой народъ».

Жандармамъ даютъ всякій царскій день чарку водки. Вахмистръ позволялъ Филимонову отказываться разъ пять-шесть отъ своей порціи и получать разомъ всѣ пять-шесть; Филимоновъ мѣтилъ на деревянную бирку, сколько стаканчиковъ пропущено, и въ самые большіе праздники отпиривался за ними. Водку эту онъ выливалъ въ миску, крошилъ въ нее хлѣбъ и

ѣлъ ложкой. Послѣ такой закуски, онъ закуривалъ большую трубку на крошечномъ чубукѣ; табакъ у него былъ крѣпости невѣроятной, онъ его самъ крошилъ и вслѣдствіе этого остроумно называлъ «санкраше». Куря, онъ укладывался на небольшомъ окнѣ, стула въ солдатской комнатѣ не было, согнувшись въ три погибели, и пѣлъ пѣсню:

Вышли дѣвки на лужокъ,
Гдѣ муравка и цвѣтокъ.

По мѣрѣ того, какъ онъ пьянѣлъ, онъ иначе произносилъ слово цвѣтокъ—твѣтокъ, квѣтокъ, хвѣтокъ; дойдя до хвѣтокъ, онъ засыпалъ. Каково здоровье человѣка, слишкомъ шестидесяти лѣтъ, два раза раненаго и который выносилъ такіе завтраки?

Прежде нежели я оставлю эти казарменно-фламандскія картины à la Вуверманъ-Кало и эти тюремныя сплетни, похожія на воспоминанія всѣхъ въ неволѣ заключенныхъ, скажу еще нѣсколько словъ объ офицерахъ.

Большая часть между ними были довольно добрые люди, вовсе не шпіоны, а люди случайно занесенные въ жандармскій дивизионъ. Молодые дворяне, мало или ни чему не учившіеся, безъ состоянія, не зная, куда преклонить главы, они были жандармами, потому что не нашли другого дѣла. Должность свою они исполняли со всею военной точностью, но я не замѣчалъ тѣни усердія, исключая, впрочемъ, адъютанта, но зато онъ и былъ адъютантомъ.

Когда офицеры ознакомились со мной, они дѣлали всѣ маленькія льготы и облегченія, которыя отъ нихъ зависѣли; жаловаться на нихъ было бы грѣшно.

Одинъ молодой офицеръ рассказывалъ мнѣ, что въ 1831 году онъ былъ командированъ отыскать и захватить одного польскаго помѣщика, скрывавшагося въ сосѣдствѣ своего имѣнія. Его обвиняли въ сношеніяхъ съ эmissарами. Офицеръ отправился, по собраннымъ свѣдѣніямъ онъ узналъ мѣсто, гдѣ укрывался помѣщикъ, явился туда съ командой, оцѣпилъ домъ и взошелъ въ него съ двумя жандармами. Домъ былъ пустой; походили они по комнатамъ, пошныряли, нигдѣ никого, а между прочимъ нѣкоторыя бездѣлицы явно показывали, что въ домѣ недавно были жильцы. Оставя жандармовъ внизу, молодой человѣкъ второй разъ пошелъ на чердакъ; осматривая внимательно, онъ увидѣлъ небольшую дверь, которая вела къ чулану или къ какой-нибудь коморкѣ; дверь была заперта изнутри, онъ толкнулъ ее ногой, она отворилась и высокая женщина, красивая собой, стояла передъ ней; она молча указывала ему на мужчину, державшаго въ своихъ рукахъ дѣвочку лѣтъ двѣнадцати, почти безъ памяти. Это былъ

онъ и его семья. Офицеръ смутился. Высокая женщина замѣтила это и спросила его: «И вы будете имѣть жестокость погубить ихъ»? Офицеръ извинялся, говоря обычныя пошлости о безпрекословномъ повиновеніи, о долгѣ, и наконецъ въ отчаяніи, видя, что его слова нисколько не дѣйствуютъ, кончилъ свою рѣчь вопросомъ: «Что же мнѣ дѣлать?» Женщина гордо посмотрѣла на него и сказала, указывая рукой на дверь: «Идти внизъ и сказать, что здѣсь никого нѣтъ». — «Ей Богу, не знаю, говорилъ офицеръ, какъ это случилось и что со мной было, но я сошелъ съ чердака и велѣлъ унтеру собрать команду. Черезъ два часа мы его усердно искали въ другомъ помѣстьи, пока онъ пробирался за границу. Ну, женщина! признаюсь!»

...Ничего въ мірѣ не можетъ быть ограниченнѣе и безчеловѣчнѣе, какъ оптовыя сужденія цѣлыхъ сословій по надписи, по нравственному каталогу, по главному характеру цеха. Названія—страшная вещь. Ж. П. Рихтеръ говоритъ съ чрезвычайной вѣрностью: если дитя солжетъ, испугайте его дурнымъ дѣйствіемъ, скажите, что онъ солгалъ, но не говорите, что онъ *лгунъ*. Вы разрушаете его нравственное довѣріе къ себѣ, опредѣляя его, какъ лгуна. «Это убійца», говорятъ намъ, и намъ тотчасъ кажется спрятанный кинжалъ, звѣрское выраженіе, черные замыслы, точно будто убивать постоянное занятіе, ремесло человѣка, которому случилось разъ въ жизни кого-нибудь убить. Нельзя быть шпиономъ, торгашемъ чужого разврата—и честнымъ человѣкомъ, но можно быть жандармскимъ офицеромъ, не утративъ всего человѣческаго достоинства, такъ, какъ сплошь да рядомъ можно найти женственность, нѣжное сердце и даже благородство въ несчастныхъ жертвахъ «общественной невоздержанности».

Я имѣю отвращеніе къ людямъ, которые не умѣютъ, не хотятъ или не даютъ себѣ труда идти далѣе названія, перешагнуть черезъ преступленіе, черезъ запутанное, ложное положеніе, цѣломудренно отворачиваясь или грубо отталкивая. Это дѣлаютъ обыкновенно отвлеченныя, сухія, себялюбивыя, противныя въ своей чистотѣ натуры, или натуры пошлыя, низшія, которымъ еще не удалось или не было нужды заявить себя офиціально; онѣ по сочувствію дома на грязномъ днѣ, на которое другіе упали.

ГЛАВА XII.

Слѣдствіе.—Г. сен.—Г. jun.—Генераль Стааль.—Сентенція.—Соколовскій.

...Но при всемъ этомъ что же *дѣло*, что же слѣдствіе и процессъ?

Въ новой комиссіи дѣло такъ же не шло на ладъ, какъ въ старой. Полиція слѣдила за нами давно, но, нетерпѣливая, не могла въ своемъ усердіи дожидаться дѣльнаго повода и сдѣлала вздоръ. Она подослала отставнаго офицера (Скарятку, чтобъ насъ завлечь, обличить; онъ познакомился почти со всѣмъ нашимъ кругомъ, но мы очень скоро угадали, чтѣ онъ такое, и удалили его отъ себя. Другіе молодые люди, большею частью студенты, не были такъ осторожны, но эти *другіе* не имѣли съ нами никакой серьезной связи.

Одинъ студентъ, окончившій курсъ, давалъ своимъ пріятелямъ праздникъ 24 іюня 1834 года. Изъ насъ не только не было ни одного на пиру, но никто не *былъ приглашенъ*. Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и, между прочимъ, спѣли хоромъ извѣстную пѣсню (Соколовскаго.

Вечеромъ Скарятка *вдругъ* вспомнилъ, что это день его именинъ, разсказалъ исторію, какъ онъ выгодно продалъ лошадь, и пригласилъ студентовъ къ себѣ, обѣщая дюжину шампанскаго. Всѣ поѣхали. Шампанское явилось, и хозяинъ, покачиваясь, предложилъ еще разъ спѣть пѣсню (Соколовскаго. Середь пѣнія отворилась дверь и вошелъ Цинскій съ полиціей. Все это было грубо, глупо, неловко и притомъ неудачно.

Полиція хотѣла захватить *насъ*, она искала внѣшній поводъ зашутать въ дѣло человѣкъ пять-шесть, до которыхъ добиралась, и захватила двадцать человѣкъ невинныхъ.

Но полицію трудно сконфузить. Черезъ двѣ недѣли арестовали насъ, какъ *соприкосновенныхъ* къ дѣлу праздника. У Соколовскаго нашли письма С., у С. письма Огарева, у Огарева мой,—тѣмъ не менѣе ничего не раскрывалось. Первое слѣдствіе не удалось. Для большаго успѣха второй комиссіи, государь послалъ изъ Петербурга отборнѣйшаго изъ инквизиторовъ, А. Ѳ. Г.

Порода эта у насъ рѣдка. Къ ней принадлежалъ извѣстный начальникъ третьяго отдѣленія М., виленскій ректоръ П. да нѣсколько служилыхъ остзейцевъ и падшихъ поляковъ ¹⁾.

¹⁾ Къ вновь отличившимся талантамъ принадлежитъ извѣстный Л., подавшій проектъ объ учрежденіи академіи шпионства (1858).

Но на бѣду инквизиціи, первымъ членомъ былъ назначенъ московскій комендантъ Стааль. (Стааль—прямодушный воинъ, старый, храбрый генераль, разобралъ дѣло и нашель, что оно состоитъ изъ двухъ обстоятельствъ, не имѣющихъ ничего общаго между собой: изъ дѣла о праздникѣ, за который слѣдуетъ полицейски наказать, и изъ ареста людей, захваченныхъ Богъ знаетъ почему, которыхъ вся видимая вина въ какихъ-то полу-высказанныхъ мнѣніяхъ, за которыя судить и трудно и смѣшно.

Мнѣніе Стаалья не понравилось Г. младшему. Споръ ихъ принялъ колкій характеръ; старый воинъ вскрикнулъ отъ гнѣва, ударилъ своей саблей по полу и сказалъ: «Вмѣсто того, чтобъ губить людей, вы бы лучше сдѣлали представленіе о закрытіи всѣхъ школъ и университетовъ, это предупредить другихъ несчастныхъ, а впрочемъ вы можете дѣлать, что хотите, но дѣлать безъ меня: нога моя не будетъ въ комиссіи». Съ этими словами старикъ поспѣшно оставилъ залу.

Въ тотъ-же день это было донесено государю.

Утромъ, когда комендантъ явился съ рапортомъ, государь спросилъ его, зачѣмъ онъ не хочетъ ѣздить въ комиссію? Стааль разсказалъ зачѣмъ.

— Что за вздоръ? возразилъ императоръ,—ссориться съ Г., какъ не стыдно! Я надѣюсь, что ты по прежнему будешь въ комиссіи.

— «Государь, отвѣтилъ Стааль, пощадите мои сѣдые волосы, я дожилъ до нихъ безъ малѣйшаго пятна. Мое усердіе извѣстно в. в., кровь моя, остатки дней принадлежать вамъ. Но тутъ дѣло идетъ о моей чести,—моя совѣсть возстаеъ противъ того, что дѣлается въ комиссіи».

Государь сморщился, Стааль откланялся и въ комиссіи не былъ ни разу съ тѣхъ поръ.

Послѣ него въ комиссіи остались одни враги подсудимыхъ подъ предсѣдательствомъ простенькаго старичка, князя С. М. Г., который черезъ девять мѣсяцевъ такъ же мало зналъ дѣло, какъ девять мѣсяцевъ прежде его начала. Онъ хранилъ важно молчаніе, рѣдко вступалъ въ разговоръ и при окончаніи допроса всякій разъ спрашивалъ: «Его можно отпустить?» — Можно, отвѣчалъ Г. junior, и senior важно говорилъ арестанту: «Ступайте!»

Первый допросъ мой продолжался четыре часа.

Вопросы были двухъ родовъ. Одни имѣли цѣлью раскрыть образъ мыслей, «несвойственныхъ духу правительства, мнѣнія революціонныя и проникнутыя пагубнымъ ученіемъ Сень-Симона»—такъ выражался Г. junior и аудиторъ Оранскій.

Эти вопросы были легки, но не были вопросы. Въ захваченныхъ бумагахъ и письмахъ мнѣнія были высказаны довольно

просто; вопросы собственно могли относиться къ вещественному факту: писалъ ли человекъ, или нѣтъ такія строки. Комиссія сочла нужнымъ прибавлять къ каждой выписанной фразѣ: «какъ вы объясняете слѣдующее мѣсто вашего письма?»

Разумѣется, объяснять было нечего, я писалъ уклончивыя и пустыя фразы въ отвѣтъ. Въ одномъ письмѣ аудиторъ открылъ фразу: «всѣ конституціонныя хартіи ни къ чему не ведутъ, это контракты между господиномъ и рабами: задача не въ томъ, чтобъ рабамъ было лучше, но чтобъ не было рабовъ». Когда мнѣ пришлось объяснять эту фразу, я замѣтилъ, что я не вижу никакой обязанности защищать конституціонное правительство и что, если-бъ я его защищалъ, меня въ этомъ обвинили бы.

— «На конституціонную форму можно нападать съ двухъ сторонъ, замѣтилъ своимъ нервнымъ шипящимъ голосомъ Г. junior, вы не съ монархической точки нападаете, а то вы не говорили бы о *рабахъ*».

— Въ этомъ отношеніи я дѣлю ошибку съ императрицей Екатериной II, которая не велѣла своимъ подданнымъ зваться *рабами*.

Г. junior, задыхаясь отъ злобы за этотъ ироническій отвѣтъ, сказалъ мнѣ:

— «Вы, вѣрно, думаете, что мы здѣсь собираемся для того, чтобъ вести схоластическіе споры, что вы въ университетѣ защищаете диссертацию?».

— Зачѣмъ-же вы требуете объясненій?

— «Вы дѣласте видъ, будто не понимаете, чего отъ васъ хотятъ?»

— Не понимаю.

— «Какая у нихъ, у *всѣхъ* упорность», прибавилъ предсѣдатель Г. senior пожалъ плечами и взглянулъ на жандармскаго полковника Шубенскаго. Я улыбнулся. «Точно Огаревъ», довершилъ добрѣйшій предсѣдатель.

Сдѣлалась пауза. Комиссія собиралась въ библіотекѣ князя С. М., я обернулся къ шкафамъ и сталъ смотрѣть книги. Между прочимъ, тутъ стояло многотомное изданіе записокъ герцога Сень-Симона.

— Вотъ, сказалъ я, обращаясь къ предсѣдателю, какая несправедливость? Я подъ слѣдствіемъ за сень-симонизмъ, а у васъ, князь, томовъ двадцать его сочиненій.

Такъ какъ добрякъ отродясь ничего не читалъ, то онъ и не нашелся, что отвѣчать. Но Г. junior взглянулъ на меня глазами эхидны и спросилъ: «Что вы не видите, что ли, что это записки герцога С. Симона, который былъ при Людовикѣ XIV?».

Предсѣдатель улыбнулся, сдѣлалъ мнѣ знакъ головой, выразившій: что, братъ, обмисхурился? и сказалъ: «Ступайте».

Когда я былъ въ дверяхъ, предсѣдатель спросилъ: «Вѣдь это онъ писалъ о Петрѣ I, вотъ что вы мнѣ показывали?»

— Онъ, отвѣчалъ Шубенскій.

•Я приостановился.

— «Il a des moyens», замѣтилъ предсѣдатель.

— Тѣмъ хуже. Ядъ въ ловкихъ рукахъ опаснѣе, прибавилъ инквизиторъ; превредный и совершенно неисправимый молодой человѣкъ...

Приговоръ мой лежалъ въ этихъ словахъ.

А ргггос къ Сенъ-Симону. Когда полицмейстеръ бралъ бумаги и книги у Огарева, онъ отложилъ томъ исторіи французской революціи Тьера, потомъ нашель другой... третій... восьмой. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ и сказалъ: «Господи! какое количество революціонныхъ книгъ... И вотъ еще», прибавилъ онъ, отдавая квартальному рѣчь Кювье *Sur les révolutions du globe terrestre*.

Другой порядокъ вопросовъ былъ запутаннѣе. Въ нихъ употреблялись разныя полицейскія уловки и слѣдственныя шалости, чтобы сбить, запутать, натянуть противурѣчіе. Тутъ дѣлались намеки на показаніе другихъ и разныя нравственныя пытки. Рассказывать ихъ не стоитъ, довольно сказать, что между нами четырьмя при всѣхъ своихъ уловкахъ они не могли натянуть ни одной очной ставки.

Получивъ послѣдній вопросъ, я сидѣлъ одинъ въ небольшой комнатѣ, гдѣ мы писали. Вдругъ отворилась дверь и взмошелъ Г. jun. съ печальнымъ и озабоченнымъ видомъ.

— «Я, сказалъ онъ, пришелъ поговорить съ вами передъ окончаніемъ вашихъ показаній. Давнишняя связь моего покойнаго отца съ вашимъ заставляетъ меня принимать въ васъ особенное участіе. Вы молоды и можете еще сдѣлать карьеру; для этого вамъ надобно выпутаться изъ дѣла..., а это зависитъ, по счастью, отъ васъ. Вашъ отецъ очень принялъ къ сердцу вашъ арестъ и живетъ теперь надеждой, что васъ выпустятъ; мы съ княземъ С. М. сейчасъ говорили объ этомъ и искренно готовы многое сдѣлать; дайте намъ средства помочь».

Я видѣлъ, куда шла его рѣчь; кровь у меня бросилась въ голову, я съ досадой грызъ перо.

Онъ продолжалъ: «Вы идете прямо подъ бѣлый ремень или въ казематы; по дорогѣ вы убьете отца, онъ дня не переживетъ, увидѣвъ васъ въ сѣрой шинели».

Я хотѣлъ что-то сказать, но онъ перервалъ мои слова. «Я знаю, что вы хотите сказать. Потерпите немного. Что у васъ были замыслы противъ правительства, это очевидно. Для того, чтобъ обратить на васъ монаршую милость, намъ надобны доказательства вашего раскаянія. Вы запираетесь во всемъ, уклоняе-

тесъ отъ отвѣтовъ и изъ ложнаго чувства чести бережете людей, о которыхъ мы знаемъ больше, чѣмъ вы, и которые не были такъ скромны, какъ вы ¹⁾; вы имъ не поможете, а они васъ стащатъ съ собой въ пропасть. Напишите письмо въ комиссію, просто, откровенно, скажите, что вы чувствуете свою вину, что вы были увлечены по молодости лѣтъ, *назовите* несчастныхъ заблудшихъ людей, которые вовлекли васъ... Хотите ли вы этой легкой цѣной искупить вашу будущность? и жизнь вашего отца?»

— Я ничего не знаю и не прибавлю къ моимъ показаніямъ ни слова, отвѣтилъ я.

Г. всталъ и сказалъ сухимъ голосомъ: «А, такъ вы не хотите, не наша вина!» Этимъ заключились допросы.

Въ январѣ или февралѣ 1835 года я былъ въ послѣдній разъ въ комиссіи. Меня призвали перечитать мои отвѣты, добавить, если хочу, и подписать. Одинъ Шубенскій былъ налицо. Окончивъ чтеніе, я сказалъ ему:

— Хотѣлось бы мнѣ знать, въ чемъ можно обвинить человека по этимъ вопросамъ и по этимъ отвѣтамъ? Подъ какую статью Свода вы подведете меня?

— «Сводъ законовъ назначенъ для преступленій другого рода», замѣтилъ голубой полковникъ.

— Это дѣло иное. Перечитывая всѣ эти литературныя упражненія, я не могу повѣрить, что въ этомъ-то все *дѣло*, по которому я сяду въ тюрьмѣ седьмой мѣсяцъ.

— «Да вы въ самомъ дѣлѣ воображаете, возразилъ Шубенскій, что мы такъ и повѣрили вамъ, что у васъ не *составлялось* тайнаго общества?»

— Гдѣ же это общество? спросилъ я.

— «Ваше счастье, что слѣдовъ не нашли, что вы не успѣли ничего надѣлать. Мы во-время васъ остановили, то есть, просто сказать, мы спасли васъ».

Опять исторія слесарши Пошлепкиной и ея мужа въ «Ревизорѣ».

Когда я подписалъ, Шубенскій позвонилъ и велѣлъ позвать священника. (Священникъ взошелъ и подписалъ подъ моей подписью, что всѣ показанія мною сдѣланы были добровольно и безъ всякаго насилія. Само собою разумѣется, что онъ не былъ при допросахъ, и что даже не спросилъ меня изъ приличія, какъ и что было (а, это опять мой добросовѣстный за воротами!).

По окончаніи слѣдствія тюремное заключеніе нѣсколько ослабили. Близкіе родные могли доставать въ ордонансъ-гаузѣ дозволеніе видѣться. Такъ прошли еще два мѣсяца.

¹⁾ Нужно ли говорить, что это была наглая ложь, пошлая полицейская уловка.

Въ половинѣ марта приговоръ нашъ былъ утвержденъ; никто не зналъ его содержанія; одни говорили, что насъ посылаютъ на Кавказъ, другіе—что насъ свезутъ въ Бобруйскъ, третьи надѣялись, что всѣхъ выпустятъ (таково было мнѣніе Стаала, посланное имъ особо государю; онъ предлагалъ вмѣнить намъ тюремное заключеніе въ наказаніе).

Наконецъ, насъ собрали всѣхъ двадцатаго марта къ князю Г. для слушанія приговора. Это былъ праздникамъ праздникъ. Тутъ мы увидѣлись въ первый разъ послѣ ареста.

Шумно, весело, обнимаясь и пожимая другъ другу руки, стояли мы, окруженные цѣпью жандармскихъ и гарнизонныхъ офицеровъ. Свиданіе одушевило всѣхъ; распросамъ, анекдотамъ не было конца.

Соколовскій былъ налицо, нѣсколько похудѣвшій и блѣдный, но во всемъ блескѣ своего юмора.

Соколовскій, авторъ «Мірозданія», «Хевери» и другихъ довольно хорошихъ стихотвореній, имѣлъ отъ природы большой поэтический талантъ, но не довольно дико самобытный, чтобъ обойтись безъ развитія, и не довольно образованный, чтобъ развиться. Милой гуляка, поэтъ въ жизни, онъ вовсе не былъ политическимъ человѣкомъ. Онъ былъ очень забавенъ, любезенъ, веселый товарищъ въ веселыя минуты, *bon vivant*, любившій покутить, какъ мы всѣ... можетъ, немного больше ¹⁾.

Попавшись невзначай съ оргій въ тюрьму, Соколовскій превосходно себя велъ, онъ выросъ въ острогѣ.

Соколовскаго схватили въ Петербургѣ и, не сказавши, куда его повезутъ, отправили въ Москву. Подобныя шутки полиція у насъ дѣлаетъ часто и совершенно бесполезно. Это ея поэзія. Нѣтъ на свѣтѣ такого прозаическаго, такого отвратительнаго занятія, которое бы не имѣло своей артистической потребности, ненужной роскоши, украшеній. Соколовскаго привезли прямо въ острогъ и посадили въ какой-то темный чуланъ. Почему его посадили въ острогъ, когда насъ содержали по казармамъ?

У него было съ собой двѣ, три рубашки и больше ничего. Въ Англіи всякаго колодника, приводимаго въ тюрьму, тотчасъ по приходѣ сажаютъ въ ванну, у насъ берутъ предварительныя мѣры противъ чистоты.

Если-бъ докторъ Гаазъ не прислалъ Соколовскому связку своего бѣлья, онъ заросъ бы въ грязи.

¹⁾ Въ „Тюрьмѣ и Ссылкѣ“ дальше идетъ: „Ему было за тридцать лѣтъ. Сочиненія его тогда были въ модѣ, ему платили хорошія деньги, но онъ всегда былъ безъ гроша. Въ первыя сутки онъ проживалъ все полученное“.

Примѣч. издат.

Докторъ Гаазъ былъ преоригинальный чудакъ. Память объ этомъ *продивомъ* и *поврежденномъ* не должна заглухнуть въ лебедѣ officialныхъ некрологовъ, описывающихъ добродѣтели первыхъ двухъ классовъ, обнаруживающіяся не прежде гніенія тѣла.

Старый, худошавый, восковой старичекъ, въ черномъ фракѣ, коротенькихъ панталонахъ, въ черныхъ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ пряжками, казался только-что вышедшимъ изъ какой-нибудь драмы XVIII столѣтія. Въ этомъ grand gala похоронъ и свадьбъ, и въ пріятномъ климатѣ 59° сѣв. шир., Гаазъ ѣздилъ каждую недѣлю въ этапъ на Воробьевы горы, когда отправляли ссыльныхъ. Въ качествѣ доктора тюремныхъ заведеній, онъ имѣлъ доступъ къ нимъ, онъ ѣздилъ ихъ осматривать и всегда привозилъ съ собой корзину всякой всячины, съѣстныхъ припасовъ и разныхъ лакомствъ—грецкихъ орѣховъ, пряниковъ, апельсиновъ и яблокъ для женщинъ. Это возбуждало гнѣвъ и негодованіе *благодетельныхъ* дамъ, боящихся благотвореніемъ сдѣлать удовольствіе, боящихся больше благотворить, чѣмъ нужно, чтобъ спасти отъ голодной смерти и трескучихъ морозовъ.

Но Гаазъ былъ несговорчивъ и, кротоко выслушивая упрёки за «глупое баловство преступницъ», потиралъ себѣ руки и говорилъ: «Извольте видѣть, милостивой государинь, кусокъ хлѣба, крошъ имъ всякой даетъ, а конфекту или апфельзину долго онѣ не увидятъ, этого имъ никто не даетъ, это я могу консеквировать изъ вашихъ словъ; потому я и дѣлаю имъ это удовольствіе, что оно долго не повторится».

Гаазъ жилъ въ больницѣ. Приходить къ нему передъ обѣдомъ какой-то больной посовѣтоваться. Гаазъ осмотрѣлъ его и пошелъ въ кабинетъ что-то прописать. Возвратившись, онъ не нашелъ ни больного, ни серебряныхъ приборовъ, лежавшихъ на столѣ. Гаазъ позвалъ сторожа и спросилъ, не входилъ ли кто, кромѣ больного? Сторожъ смекнулъ дѣло, бросился вонъ и черезъ минуту возвратился съ ложками и пациентомъ, котораго онъ остановилъ съ помощью другого больничнаго солдата. Мошенникъ бросился въ ноги доктору и просилъ помилованія. Гаазъ сконфузился.

— Сходи за квартальнымъ, сказалъ онъ одному изъ сторожей.

— А ты позови сейчасъ писаря.

Сторожа, довольные открытіемъ, побѣдой и вообще участіемъ въ дѣлѣ, бросились вонъ, а Гаазъ, пользуясь ихъ отсутствіемъ, сказалъ вору: «Ты фальшивый человекъ, ты обманулъ меня и хотѣлъ обокрасть, Богъ тебя разсудить..., а теперь бѣги скорѣе въ заднія ворота, пока солдаты не воротились... Да постой, мо-

жетъ, у тебя нѣтъ ни гроша, вотъ полтинникъ; но старайся исправить свою душу: отъ Бога не уйдешь, какъ отъ будочника!»

Тутъ возстали на Гааза и домочадцы. Но неисправимый докторъ толковалъ свое: «воровство—большой порокъ; но я знаю полицію, я знаю, какъ они истязаютъ,—будутъ допрашивать, будутъ сбѣчь; подвергнуть ближняго розгамъ гораздо большій порокъ; да и почему знать, можетъ, мой поступокъ тронетъ его душу!»

Домочадцы качали головой и говорили: *er hat einen raptus*; благотворительныя дамы говорили: «*c'est un brave homme, mais ce n'est pas tout à fait en règle, là*», и онѣ указывали на лобъ. А Гаазъ потиралъ руки и дѣлалъ свое.

... Едва Соколовскій кончилъ свои анекдоты, какъ нѣсколько другихъ разомъ начали свои; точно всѣ мы возвратились послѣ долгаго путешествія,—распросамъ, шуткамъ, остромамъ не было конца.

Физически С... пострадалъ больше другихъ, онъ былъ худъ и лишился части волосъ. Узнавъ въ Тамбовской губерніи, въ деревнѣ у своей матери, что насъ схватили, онъ самъ поѣхалъ въ Москву, чтобъ пріѣздъ жандармовъ не испугалъ мать, простудился на дорогѣ и пріѣхалъ домой въ горячкѣ. Полиція его застала въ постели, вести въ часть было невозможно. Его арестовали дома, поставили у дверей спальни съ внутренней стороны полицейскаго солдата, и *братомъ милосердія* посадили у постели больного квартальнаго надзирателя; такъ что, приходя въ себя послѣ бреда, онъ встрѣчалъ *слушающій* взглядъ одного, или испитую рожу другого.

Въ началѣ зимы его перевезли въ Лефортовскій госпиталь; оказалось, что въ больницѣ не было ни одной пустой *секретной* арестантской комнаты; за такой бездѣлицей останавливаться не стоило: нашелся какой-то отгороженный уголъ *безъ печи*,—положили больного въ эту южную веранду и поставили къ нему часового. Какова была температура зимой въ каменномъ чуланѣ, можно понять изъ того, что часовой ночью до того изнемогъ отъ стужи, что пошелъ въ коридоръ погрѣться къ печи, прося С... не говорить объ этомъ дежурному.

Тропическое помѣщеніе показалось самимъ властямъ госпиталя, въ такой близости въ полюсу, невозможнымъ; С... перевели въ комнату, возлѣ которой оттирали замерзлыхъ.

Не успѣли мы пересказать и переслушать половину походовъ, какъ вдругъ адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры вытянулись, квартальные оправились; дверь отворилась торжественно—и маленькій князь С. М. Г. взошелъ *en grande tenue*, лента черезъ плечо; Цинскій въ свитскомъ мундирѣ, да-

же аудиторъ Оранскій надѣлъ какой-то свѣтло-зеленый статско военный мундиръ для такой радости. Комендантъ, разумѣется, не прѣхалъ.

Двери растворились. Офицеры раздѣлили насъ на три отдѣла въ первомъ были: Соколовскій, живописецъ Уткинъ и офицеръ Ибаевъ; во второмъ были мы; въ третьемъ tutti frutti.

Приговоръ прочли особо первой категоріи; обвиненные въ оскорбленіи величества, они ссылались въ Шлиссельбургъ на *безсрочное время*.

Цинскій, чтобъ показать, что и онъ можетъ быть развязнымъ и любезнымъ человѣкомъ, сказалъ Соколовскому послѣ сентенціи: «А вы прежде въ Шлиссельбургъ бывали?»—«Въ прошломъ году, отвѣчалъ ему тотчасъ Соколовскій, точно сердце чувствовало, я тамъ выпилъ бутылку мадеры».

Черезъ два года Уткинъ умеръ въ казематѣ. Соколовскаго выпустили полумертваго на Кавказъ, онъ умеръ въ Пятигорскѣ. Ибаевъ умеръ по своему, онъ сдѣлался мистикомъ.

Уткинъ, «вольный художникъ, содержащійся въ острогѣ», какъ онъ подписывался подъ допросами, былъ человѣкъ лѣтъ сорока; онъ никогда не участвовалъ ни въ какомъ политическомъ дѣлѣ, но, благородный и порывистый, онъ давалъ волю языку въ комиссіи, былъ рѣзокъ и грубъ съ членами. Его за это *ушорили* въ сыромъ казематѣ, въ которомъ вода текла со стѣнъ.

Ибаевъ былъ виноватѣе другихъ только эполетами. Не будь онъ офицеръ, его никогда бы такъ не наказали. Человѣкъ этотъ попалъ на *какую-то* пирушку, вѣроятно пилъ и пѣлъ, какъ всѣ прочіе, но навѣрное не болѣе и не громче другихъ.

Пришелъ нашъ чередъ. Оранскій протеръ очки, откашлянулъ и принялся возвѣщать высочайшую волю. Въ ней было *изображено*, что государь, разсмотрѣвъ докладъ комиссіи и взявъ въ особенное вниманіе молодыхъ лѣтъ преступниковъ, *повелѣлъ подъ судъ насъ не отдавать*. вмѣсто чего государь, въ безпредѣльномъ милосердіи своемъ, большую часть виновныхъ прощаетъ, оставляя ихъ на мѣстѣ жительства подъ надзоромъ полиціи. Болѣе же виноватыхъ повелѣваетъ подвергнуть исправительнымъ мѣрамъ, состоящимъ въ отправленіи ихъ на безсрочное время въ дальнія губерніи на гражданскую службу и подъ надзоръ мѣстнаго начальства.

Этихъ болѣе виновныхъ нашлось шестеро: Огаревъ, С..., Лахтинъ, Оболенскій, Сорокинъ и я. Я назначался въ Пермь. Въ числѣ осужденныхъ былъ Лахтинъ, который вовсе не былъ арестованъ. Когда его позвали въ комиссію слушать сентенцію, онъ думалъ, что это для страха, для того, чтобъ онъ казнился,

глядя, какъ другихъ наказываютъ. Рассказывали, что кто-то изъ близкихъ князя Г., сердясь на его жену, удружилъ ему этимъ сюрпризомъ. Слабый здоровьемъ, онъ года черезъ три умеръ въ ссылкѣ.

Когда Оранскій окончилъ чтеніе, выступилъ полковникъ Шубенскій. Онъ отборными словами и ломоносовскимъ слогомъ объявилъ намъ, что мы обязаны предстательству того благороднаго вельможи, который предсѣдательствовалъ въ комиссіи, что государь былъ такъ милосердъ.

Шубенскій ждалъ, что при этомъ словѣ всѣ примутся благодарить князя; но вышло не такъ.

Нѣсколько изъ прощенныхъ кивнули головой, да и то украдкой глядя на насъ.

Тогда Шубенскій, обращаясь къ Огареву, сказалъ: «Вы ѣдете въ Пензу, неужели вы думаете, что это случайно? Въ Пензѣ лежитъ въ параличѣ вашъ отецъ; князь просилъ государя вамъ назначить этотъ городъ для того, чтобъ ваше присутствіе сколько-нибудь ему облегчило ударъ вашей ссылки. Неужели и вы не находите причины благодарить князя?»

Огаревъ поклонился. Вотъ изъ чего они бились.

Добренькому старику это понравилось, и онъ, не знаю почему, вслѣдъ затѣмъ позвалъ меня. Я вышелъ впередъ съ святѣйшимъ намѣреніемъ, что бы онъ и Шубенскій ни говорили, не благодарить; къ тому же меня посылали дальше всѣхъ и въ самый скверный городъ.

— «А вы ѣдете въ Пермь», сказалъ князь.

Я молчалъ. Князь срѣзался и, чтобъ что-нибудь сказать, прибавилъ:—«У меня тамъ есть имѣніе».

— Вамъ угодно что-нибудь поручить черезъ меня вашему старостѣ? спросилъ я, улыбаясь.

— «Я такимъ людямъ, какъ вы, ничего не поручаю—*карбонарія*», добавилъ находчивый князь.

— Что же вы желаете отъ меня?

— «Ничего».

— Мнѣ показалось, что вы мени позвали.

— «Вы можете идти», прервалъ Шубенскій.

— Позвольте, возразилъ я, благо я здѣсь, вамъ напомнить, что вы, полковникъ, мнѣ говорили, когда я былъ въ послѣдній разъ въ комиссіи, что меня никто не обвиняетъ въ дѣлѣ праздника, а въ приговорѣ сказано, что я одинъ изъ виновныхъ по этому дѣлу. Тутъ какая-нибудь ошибка.

— «Вы хотите возражать на высочайшее рѣшеніе? замѣтилъ Шубенскій,—смотрите, какъ бы Пермь не перемѣнилась на что-нибудь худшее. Я ваши слова велю записать».

— Я объ этомъ хотѣлъ просить. Въ приговорѣ сказано: по докладу комисіи; я возражаю на вашъ докладъ, а не на высочайшую волю. Я шлюсь на князя, что мнѣ не было даже вопроса ни о праздникѣ, ни о какихъ пѣсняхъ.

— «Какъ будто вы не знаете, сказалъ Шубенскій, начинавшій блѣднѣть отъ злобы, что ваша вина въ десятеро больше тѣхъ, которые были на праздникѣ. Вотъ, онъ указалъ пальцемъ на одного изъ прощенныхъ, вотъ онъ подъ пьяную руку спѣлъ мерзость, да послѣ на колѣнкахъ со слезами просилъ прощенія. Ну, вы еще отъ всякаго раскаянія далеки».

— Позвольте, не о томъ рѣчь, продолжалъ я, велика-ли моя вина, или нѣтъ; но если я убійца, я не хочу, чтобъ меня считали воромъ. Я не хочу, чтобъ обо мнѣ, даже оправдывая меня, сказали, что я то-то надѣлалъ «подъ пьяную руку», какъ вы сейчасъ выразились.

— «Если-бъ у меня былъ сынъ, родной сынъ, съ такой законнѣлостью, я бы самъ попросилъ государя сослать его въ Сибирь».

Тутъ оберъ-полицмейстеръ вмѣшалъ въ разговоръ какой-то безсвязный вздоръ. Жаль, что не было меньшого Г., вотъ былъ бы случай поораторствовать.

Все это, разумѣется, окончилось ничѣмъ.

... Мы остановились еще разъ на четверть часа въ залѣ, вопреки ревностнымъ увѣщаніямъ жандармскихъ и полицейскихъ офицеровъ, крѣпко обнялись мы другъ съ другомъ и простились надолго. Кромѣ Оболенскаго, я никого не видѣлъ до возвращенія изъ Вятки.

Отъѣздъ былъ передъ нами.

Тюрьма продолжала еще прошлую жизнь; но съ отъездомъ въ глушь она обрывалась.

Юношеское существованіе въ нашемъ дружескомъ кружкѣ оканчивалось.

Ссылка продолжится навѣрное нѣсколько лѣтъ. Гдѣ и какъ встрѣтимся мы, и встрѣтимся ли?...

Жаль было прежней жизни, и такъ круто приходилось ее оставить... не простясь. Видѣть Огарева я не имѣлъ надежды. Двое изъ друзей добрались ко мнѣ въ послѣдніе дни, но этого мнѣ было мало.

Еще бы разъ увидѣть мою юную утѣшительницу, пожать ей руку, какъ я пожалъ ей на кладбищѣ... Въ ея лицѣ хотѣлъ я проститься съ былымъ и встрѣтиться съ будущимъ...

Мы увидѣлись на нѣсколько минутъ 9 апрѣля 1835 г., накануне моего отправленія въ ссылку.

Долго святиль я этотъ день въ моей памяти, это одно изъ счастливейшихъ мгновеній въ моей жизни.

... Зачѣмъ же воспоминаніе объ этомъ днѣ и обо всѣхъ свѣтлыхъ дняхъ моего былого напоминаетъ такъ много страшнаго?... Могилу, вѣнокъ изъ темнокрасныхъ розъ, двухъ дѣтей, которыхъ я держалъ за руки, факелы, толпы изгнанниковъ, мѣсяцъ, теплое море подъ горой, рѣчь, которую я не понималъ и которая рѣзала мое сердце...

Все прошло!

ГЛАВА XIII.

Ссылка.—Городничій.—Волга.—Пермь.

Утромъ 10 апрѣля жандармскій офицеръ привезъ меня въ домъ генераль-губернатора. Тамъ въ секретномъ отдѣленіи канцеляріи позволено было родственникамъ проститься со мною.

Разумѣется, все это было неловко и щемило душу; шныряющіе шпионы, писаря; чтеніе инструкціи жандарму, который долженъ былъ меня везти, невозможность сказать что-нибудь безъ свидѣтелей, словомъ, оскорбительнѣе и печальнѣе обстановки нельзя было придумать.

Я вздохнулъ, когда коляска покатилась, наконецъ, по Владиміркѣ.

Per me si va nella citta dolente,
Per me si va nel eterno dolore —

На станціи гдѣ-то я написалъ эти два стиха, которые равно хорошо идутъ къ преддверію ада и къ сибирскому тракту.

Въ семи верстахъ отъ Москвы есть трактиръ, называемый «Перовымъ». Тамъ меня обѣщали ждать одинъ изъ близкихъ друзей. Я предложилъ жандарму выпить водки, онъ согласился: отъ городу было далеко. Мы взопли, но пріятеля тамъ не было. Я мѣшкалъ въ трактирѣ всѣми способами, жандармъ не хотѣлъ больше ждать, ямщикъ трогалъ коней; вдругъ несется тройка и прямо къ трактиру, я бросился къ двери,—двое незнакомыхъ гуляющихъ купеческихъ сынковъ шумно слѣзали съ телѣги. Я посмотрѣлъ въ даль,—ни одной движущейся точки, ни одного человѣка не было видно на дорогѣ къ Москвѣ... Горько было садиться и ѣхать. Я далъ двугривенный ямщику, и мы понеслись, какъ изъ лука стрѣла.

Мы ѣхали, не останавливаясь; жандарму велѣно было дѣлать не менѣе двухъ-сотъ верстъ въ сутки. Это было бы сносно, но только не въ началѣ апрѣля. Дорога мѣстами была покрыта льдомъ, мѣстами водой и грязью; притомъ, подвигаясь къ Сибири, она становилась хуже и хуже съ каждой станціей.

Первый путевой анекдотъ былъ въ Покровѣ.

Мы потеряли нѣсколько часовъ за льдомъ, который шелъ по рѣкѣ, прерывая всѣ сношенія съ другимъ берегомъ. Жандармъ торопился; вдругъ станціонный смотритель въ Покровѣ объявляетъ, что лошадей нѣтъ. Жандармъ показываетъ, что въ подорожной сказано: давать изъ курьерскихъ, если нѣтъ почтовыхъ. Смотритель отзывается, что лошади взяты подъ товарища министра внутреннихъ дѣлъ. Какъ разумѣется, жандармъ сталъ спорить, шумѣть; смотритель побѣждалъ доставать обывательскихъ лошадей. Жандармъ отправился съ нимъ.

Надоѣло мнѣ дожидаться ихъ въ нечистой комнатѣ станціоннаго смотрителя. Я вышелъ за ворота и сталъ ходить передъ домомъ. Это была первая прогулка безъ солдата послѣ девяти-мѣсячнаго заключенія.

Я ходилъ съ полчаса, какъ вдругъ повстрѣчался мнѣ чело-вѣкъ въ мундирномъ сюртукѣ безъ эполетъ и съ голубымъ *rouge le merite* на шеѣ. Онъ съ чрезвычайной настойчивостью посмотрѣлъ на меня, прошелъ, тотчасъ возвратился и съ дерзкимъ видомъ спросилъ меня:

— «Васъ везетъ жандармъ въ Пермь?»

— Меня, отвѣчалъ я, не останавливаясь.

— «Позвольте, позвольте, да какъ же онъ смѣетъ...»

— Съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

— «Я здѣшній городничій, отвѣтилъ незнакомецъ голосомъ, въ которомъ звучало глубокое сознаніе высоты такого общественнаго положенія.—Прошу покорно, я съ часу на часъ жду товарища министра,—а тутъ политическіе арестанты по улицамъ прогуливаются. Да что же это за осель жандармъ!»

— Не угодно ли вамъ адресоваться къ самому жандарму?

— «Не адресоваться, а я его арестую, я ему велю влѣзть сто палокъ, а васъ отправлю съ полицейскимъ».

Я кивнулъ ему головой, не дожидаясь окончанія рѣчи, и быстрыми шагами пошелъ въ станціонный домъ. Въ окно мнѣ было слышно, какъ онъ горячился съ жандармомъ, какъ грозилъ ему. Жандармъ извинялся, но, кажется, мало былъ испуганъ. Минуты черезъ три они вошли оба; я сидѣлъ, обернувшись къ окну, и не смотрѣлъ на нихъ.

Изъ вопросовъ городничаго жандарму я тотчасъ увидѣлъ, что онъ снѣдаемъ желаніемъ узнать, за какое дѣло, почему и какъ я

сосланъ. Я упорно молчалъ. Городничій началъ безличную рѣчь между мною и жандармомъ:

— «Въ наше положеніе никто не хочетъ взойти. Что мнѣ весело, что ли, браниться съ солдатомъ или дѣлать непріятности человѣку, котораго я отродясь не видалъ? Отвѣтственность! Городничій—хозяинъ города. Что бы ни было, отвѣчай; казначейство обокрадутъ—виновать; церковь сгорѣла—виновать; пьяныхъ много на улицѣ — виновать; вина мало пьютъ — тоже виновать (послѣднее замѣчаніе ему очень понравилось, и онъ продолжалъ болѣе веселымъ тономъ); хорошо, вы меня встрѣтили, ну встрѣтили бы министра, да тоже бы эдакъ мимо, а тотъ спросилъ бы: «Какъ, политическій арестантъ гуляетъ?» — городничаго подь судъ...»

Мнѣ, наконецъ, надоѣло его краснорѣчіе, и я, обращаясь къ нему, сказалъ:

— «Дѣлайте все, что вамъ приказываетъ служба, но я васъ прошу избавить меня отъ поученій. Изъ вашихъ словъ я вижу, что вы ждали, чтобъ я вамъ поклонился. Я не имѣю привычки кланяться незнакомымъ.

Городничій сконфузился.

У насъ все такъ, говаривалъ А. А.; кто первый дастъ острастку, начнетъ кричать, тотъ и одержитъ верхъ. Если, говоря съ начальникомъ, вы ему позволите поднять голосъ, вы пропали: услышавъ себя кричащимъ, онъ сдѣлается дикій звѣрь. Если же при первомъ грубомъ словѣ вы закричали, онъ непременно испугается и уступитъ, думая, что вы съ характеромъ и что такихъ людей ненадобно слишкомъ дразнить.

Городничій услалъ жандарма спросить, что лошади, и, обращаясь ко мнѣ, замѣтилъ въ родѣ извиненія:

— «Я это больше для солдата и сдѣлалъ; вы не знаете, что такое нашъ солдатъ—ни малѣйшаго поущенія не слѣдуетъ допускать; но повѣрьте, я умѣю различать людей,—позвольте васъ спросить, какой несчастный случай...»

— По окончаніи дѣла намъ запретили рассказывать.

— «Въ такомъ случаѣ.... конечно.... я не смѣю....» и взглядъ городничаго выразилъ муку любопытства. Онъ помолчалъ.

— «У меня былъ родственникъ дальній, онъ сидѣлъ съ годъ въ Петропавловской крѣпости; знаете тоже, сношенія..., позвольте у меня это на душѣ, вы, кажется, все еще сердитесь? Я человѣкъ военный, строгій, привыкъ; по семнадцатому году поступилъ въ полкъ, у меня нравъ горячій, но черезъ минуту все прошло. Я вашего жандарма оставляю въ покоѣ, чортъ съ нимъ совѣмъ...»

Жандармъ взошелъ съ докладомъ, что ранѣе часа лошадей нельзя пригнать съ выгона.

Городничій объявилъ ему, что онъ прощаетъ его по моему ходатайству; потомъ, обращаясь ко мнѣ, прибавилъ:

— «И вы ужь не откажите въ моей просьбѣ и, въ доказательство, что не сердитесь,—я живу черезъ два дома отсюда,—позвольте васъ просить позавтракать, чѣмъ Богъ послалъ».

Это было такъ смѣшно послѣ нашей встрѣчи, что я пошелъ къ городничему и ѣлъ его балыкъ и его икру, и пилъ его водку и мадеру.

Онъ до того разлюбезничался, что рассказалъ мнѣ все свои семейныя дѣла, даже семилѣтнюю болѣзнь жены. Послѣ завтрака онъ съ гордымъ удовольствіемъ взялъ съ вазы, стоявшей на столѣ, письмо и далъ мнѣ прочесть «стихотвореніе» его сына, удостоенное публичнаго чтенія на экзаменѣ въ кадетскомъ корпусѣ. Одолживъ меня такими знаками несомнѣннаго довѣрія, онъ ловко перешелъ къ вопросу, косвенно поставленному, о моемъ дѣлѣ. На этотъ разъ я долею удовлетворилъ городничаго.

Городничій этотъ напомнилъ мнѣ того секретаря уѣзднаго суда, о которомъ рассказывалъ нашъ Щ. «Девять исправниковъ перемѣнились, а секретарь остался безсмѣнно и управляетъ попрежнему уѣздомъ. Какъ это вы ладите со всѣми? спросилъ Щ. Ничего-съ, съ Божіей помощью обходимся кой-какъ. Иной, точно, сначала такой сердитый, бьетъ передними и задними ногами, кричить, ругается и въ отставку, говорить, выгоню, и въ губернію, говорить, отпишу,—ну, знаете, наше дѣло подчиненное, смолчишь и думаешь: дай срокъ, надорвется еще! такъ это—еще первая упряжка. И дѣйствительно, глядишь,—куда потомъ *въ ѣздъ хорошъ*».

... Когда мы подъѣхали къ Казани, Волга была во всемъ блескѣ весенняго разлива; цѣлую станцію отъ Услона до Казани надобно было плыть на досчаникѣ, рѣка разливалась верстъ на пятнадцать или больше. День былъ ненастный. Перевозъ остановился, множество телѣгъ и всякихъ повозокъ ждали на берегу.

Жандармъ пошелъ къ смотрителю и требовалъ досчаника. Смотритель давалъ его нехотя, говорилъ, что, впрочемъ, лучше обождать, что неровенъ часъ. Жандармъ торопился, потому что былъ пьянъ, потому что хотѣлъ показать свою власть.

Уставили мою коляску на небольшомъ досчаникѣ и мы поплыли. Погода, казалось, утихла; татаринъ черезъ полчаса поднялъ парусъ, какъ вдругъ утихавшая буря снова усилилась. Насъ понесло съ такой силой, что, нагнавъ какое-то бревно, мы такъ въ него стукнулись, что дрянной паромъ проломился и вода разлилась по палубѣ. Положеніе было непріятное; впрочемъ, татаринъ сумѣлъ направить досчаникъ на мель.

Купеческая барка прошла въ виду, мы ей кричали, просили прислать лодку; бурлаки слышали и проплыли, не сдѣлавъ ничего.

Крестьявинъ подѣхалъ на небольшой комягѣ съ женой, спросилъ насъ, въ чемъ дѣло, и, замѣтивъ: «Ну, что же? Ну, заткнуть дыру, да благословясь и въ путь. Что тутъ киснуть? ты, вотъ, для того, что татаринъ, такъ ничего и не умѣешь сдѣлать», взошелъ на досчаникъ.

Татаринъ въ самомъ дѣлѣ былъ очень вѣтревоженъ. Во-первыхъ, когда вода залила спящаго жандарма, тотъ вскочилъ и тотчасъ началъ бить татарина. Во-вторыхъ, досчаникъ былъ казенный, и татаринъ повторялъ: «Ну, вотъ потонетъ, что мнѣ будетъ! что мнѣ будетъ!» — Я его утѣшалъ, говоря, что и онъ тогда съ досчаникомъ потонетъ.

— «Хорошо, бачька, коли потону, а какъ нѣтъ?» отвѣчалъ онъ.

Мужикъ и работники заткнули дыру всякой всячиной; мужикъ постучалъ топоромъ, прибилъ какую-то досчечку; потомъ, по поясъ въ водѣ, помогъ другимъ стащить досчаникъ съ мели, и мы скоро вплыли въ русло Волги. Рѣка несла свирѣпо. Вѣтеръ и дождь со снѣгомъ сѣкли лицо, холодъ проникалъ до костей, но вскорѣ сталъ вырѣзываться изъ-за тумана и потоковъ воды памятникъ Юанна Грознаго. Казалось, опасность прошла, какъ вдругъ татаринъ жалобнымъ голосомъ закричалъ: «Тече, тече!» — и дѣйствительно вода съ силой вливалась въ заткнутую дыру. Мы были на самомъ стержнѣ рѣки, досчаникъ двигался тише и тише, можно было предвидѣть, когда онъ совсѣмъ погрузнетъ. Татаринъ снялъ шапку и молился. Мой камердинеръ, растерянный, плакалъ и говорилъ: «Прощай, моя матушка, не увижусь я съ тобой больше». Жандармъ бранился и общался на берегу всѣхъ исколотить.

Сначала и мнѣ было жутко, къ тому же вѣтеръ съ дождемъ прибавлялъ какой-то безпорядокъ, смятеніе. Но мысль, что это нелѣпо, чтобъ я могъ погнубнуть, *ничего не сдѣлавъ*, это юношеское *quid timeas? cesarem vehis!* взяло верхъ, и я спокойно ждалъ конца, увѣренный, что не погибну между Услономъ и Казанью. Жизнь впоследствии отучаетъ отъ гордой вѣры, наказываетъ за нее; оттого-то юность и отважна и полна героизма, а въ лѣтахъ человѣкъ остороженъ и рѣдко увлекается.

...Черезъ четверть часа мы были на берегу подлѣ стѣнъ казанскаго Кремля, передрогнувшіе и вымоченные. Я взошелъ въ первый кабакъ, выпилъ стаканъ пѣннаго вина, закусилъ печенымъ яйцомъ и отправился въ почтамтъ.

Въ деревняхъ и маленькихъ городкахъ у станціонныхъ смотрителей есть комната для проѣзжихъ. Въ большихъ городахъ всѣ останавливаются въ гостиницахъ, и у смотрителей нѣтъ ничего

для проѣзжающихъ. Меня привели въ почтовую канцелярію. Станціонный смотритель показалъ мнѣ свою комнату; въ ней были дѣти и женщины, больной старикъ не сходилъ съ постели, мнѣ рѣшительно не было угла переодѣться. Я написалъ письмо къ жандармскому генералу и просилъ его отвести комнату гдѣ-нибудь, для того, чтобъ обогрѣться и высушить платье.

Черезъ часъ времени жандармъ воротился и сказалъ, что графъ Апраксинъ велѣлъ отвести комнату. Подождалъ я часа два, никто не приходилъ, и я опять отправилъ жандарма. Онъ пришелъ съ отвѣтомъ, что полковникъ Поль, которому генералъ приказалъ отвести мнѣ квартиру, въ дворянскомъ клубѣ играетъ въ карты и что квартиры до завтра отвести нельзя.

Это было варварство; и я написалъ второе письмо къ графу Апраксину, прося меня немедленно отправить, говоря, что я на слѣдующей станціи могу найти пріютъ. Графъ изволилъ почивать, и письмо осталось до утра. Нечего было дѣлать; я снялъ мокрое платье и легъ на столъ почтовой конторы, завернувшись въ шинель «старшаго», вмѣсто подушки я взялъ толстую книгу и положилъ на нее немного бѣлья. Утромъ я послалъ принести себѣ завтракъ. Чиновники уже собирались. Экзекуторъ ставилъ мнѣ на видъ, что въ сущности завтракать въ присутственномъ мѣстѣ нехорошо, что ему лично это все равно, но что почтмейстеру это можетъ не понравиться.

Я шутя говорилъ ему, что выгнать можно только того, кто имѣетъ право выйти, а кто не имѣетъ его, тому поневолѣ приходится ѣсть и пить тамъ, гдѣ онъ задержанъ...

На другой день графъ Апраксинъ разрѣшилъ мнѣ остаться до трехъ дней въ Казани и остановиться въ гостиницѣ.

Три дня эти я бродилъ съ жандармомъ по городу. Татарки съ покрытыми лицами, скуластые мужья ихъ, православныя мечети рядомъ съ православными церквями, все это напоминаетъ Азію и Востокъ. Въ Владимірѣ, Нижнемъ—подозрѣвается близость къ Москвѣ; здѣсь даль отъ нея.

..... Въ Перми меня привезли прямо къ губернатору. У него былъ большой сѣздъ, въ этотъ день вѣнчали его дочь съ какимъ-то офицеромъ. Онъ требовалъ, чтобъ я взошелъ, и я долженъ былъ представиться всему пермскому обществу въ замаранномъ дорожномъ архалукѣ, въ грязи и пыли. Губернаторъ, потолковавъ всякій вздоръ, запретилъ мнѣ знакомиться съ посланными поляками и велѣлъ на-дняхъ придти къ нему, говоря, что онъ тогда сыщеть мнѣ занятіе въ канцеляріи.

Губернаторъ этотъ былъ изъ малороссіянъ, сосланныхъ не тѣснилъ и вообще былъ человѣкъ смирный. Онъ какъ-то втихомолку улучшалъ свое состояніе, какъ кротъ, гдѣ-то подъ зем-

лею, незамѣтно, онъ прибавлялъ зерно къ зерну и отложилъ-таки малую толику на черные дни.

Для какого-то непонятнаго контроля и порядка, онъ приказывалъ всѣмъ сосланнымъ на житье въ Пермь являться къ себѣ въ десять часовъ утра по субботамъ. Онъ выходилъ съ трубкой и съ листомъ, повѣрялъ, всѣ ли налицо, а если кого не было, посылалъ квартальнаго узнавать о причинѣ,—ничего почти ни съ кѣмъ не говорилъ и отпускалъ. Такимъ образомъ я въ его залѣ перезнакомился со всѣми поляками, съ которыми онъ предупреждалъ, чтобъ я не былъ знакомъ.

На другой день послѣ моего приѣзда уѣхалъ жандармъ, и я впервые послѣ ареста очутился на волѣ.

На волѣ... въ маленькомъ городѣ на сибирской границѣ, безъ малѣйшей опытности, не имѣя понятія о средѣ, въ которой мнѣ надобно было жить.

Изъ дѣтской я перешелъ въ аудиторію, изъ аудиторіи въ дружескій кружокъ,—теоріи, мечты, свои люди, никакихъ дѣловыхъ отношеній. Потомъ тюрьма, чтобъ дать всему осѣсться. Практическое соприкосновеніе съ жизнью начиналось тутъ—возлѣ Уральскаго хребта.

Она тотчасъ заявѣла себя; на другой день послѣ приѣзда я пошелъ съ сторожемъ губернаторской канцеляріи искать квартиру; онъ меня привелъ въ большой одноэтажный домъ. Сколько я ему ни толковалъ, что я ищу домъ очень маленькій и, еще лучше, часть дома, онъ упорно требовалъ, чтобъ я взошелъ.

Хозяйка усадила меня на диванъ; узнавъ, что я изъ Москвы, спросила,—видѣлъ ли я въ Москвѣ г. Кабрита? Я ей сказала, что никогда и фамиліи подобной не слыжалъ.

— Что ты это, замѣтила старушка, Кабрить-то, и она назвала его по имени и по отчеству. Помилуй, батюшка, онъ у насъ вистъ-то губернаторомъ.

— «Да я девять мѣсяцевъ въ тюрьмѣ сидѣлъ, можетъ потому не слыжалъ», сказалъ я, улыбаясь.

— *Пожалуй*, что и такъ. Такъ ты, батюшка, домикъ нанимаешь?

— «Великъ, больно великъ, я служивому-то говорилъ».

— Лишнее добро за плечами не висить.

— «Оно такъ, но за лишнее добро вы попросите и денегъ побольше».

— Ахъ, отецъ родной, да кто же это тебѣ о моихъ цѣнахъ говорилъ, я не молвила еще.

— «Да я понимаю, что нельзя дешево взять за такой домъ».

— Даешь-то ты сколько?

Чтобь отдѣлаться отъ нея, я сказалъ, что больше трехъ сотъ пятидесяти руб. (асс.) не дамъ.

— Ну, и на томъ спасибо; велп-ка, голубчикъ мой, чемоданчики-то перенести, да выпей tenerифу рюмочку.

Цѣна ея мнѣ показалась баснословно дешевой, я взялъ домъ, и, когда совсѣмъ собрался идти, она меня остановила.

— Забыла тебя спросить, а, что, коровку свою станешь держать?

— «Нѣтъ, помилуйте», отвѣчалъ я, до оскорбленія пораженный ея вопросомъ.

— Ну, такъ я буду тебѣ сливочекъ приносить.

Я пошелъ домой, думая съ ужасомъ, гдѣ я и что я, что меня заподозрили въ возможности держать свою коровку.

Но я еще не успѣлъ оглядѣться, какъ губернаторъ мнѣ объявилъ, что я переведенъ въ Вятку, потому что другой сосланный, назначенный въ Вятку, просилъ его перевести въ Пермь, гдѣ у него были родственники. Губернаторъ хотѣлъ, чтобъ я ѣхалъ на другой же день. Это было невозможно: думая остаться нѣсколько времени въ Перми, я накупилъ всякой всячины, надобно было продать хоть за полцѣны. Послѣ разныхъ уклончивыхъ отвѣтовъ, губернаторъ разрѣшилъ мнѣ остаться двое сутокъ, взявъ слово, что я не буду искать случая увидѣться съ другимъ сосланнымъ.

Я собирался на другой день продать лошадь и всякую дрянъ, какъ вдругъ явился полицмейстеръ съ приказомъ выѣхать въ продолженіе 24 часовъ. Я объяснилъ ему, что губернаторъ далъ мнѣ отсрочку. Полицмейстеръ показалъ бумагу, въ которой дѣйствительно было ему предписано выпроводить меня въ 24 часа. Бумага была подписана въ самый тотъ день, слѣдовательно, послѣ разговора со мною.

— А, сказалъ полицмейстеръ, понимаю, понимаю,—это нашъ герой-то хочетъ оставить дѣло на моей отвѣтственности.

— «Поѣдьте его уличать».

— Поѣдьте!

Губернаторъ сказалъ, что онъ забылъ разрѣшеніе, данное мнѣ. Полицмейстеръ лукаво спросилъ, не прикажетъ ли онъ переписать бумагу. «Стоитъ ли труда!» прибавилъ простодушно губернаторъ.

— Поймали, сказалъ мнѣ полицмейстеръ, потирая отъ удовольствія руки... чернильная душа!

Пермскій полицмейстеръ принадлежалъ къ особому типу военно-гражданскихъ чиновниковъ. Это люди, которымъ посчастливилось въ военной службѣ какъ-нибудь наткнуться на штыкъ или подвернуться подъ пулю, за это имъ даются преимущественно мѣста городничихъ, экзекуторовъ.

Въ полку они привыкли къ нѣкоторымъ замашкамъ откровенности, затвердили разныя сентенціи о неприкосновенности чести, о благородствѣ, язвительныя насмѣшки надъ писарями. Младшіе изъ нихъ читали Марлинскаго и Загоскина, знаютъ на память начало «Кавказскаго плѣнника», «Войнаровскаго» и часто повторяютъ затверженные стихи. Напримѣръ, иные говорятъ всякій разъ, заставая человѣка курящимъ:

Янтарь въ устахъ его дымился.

Всѣ они безъ исключенія глубоко и громко сознаютъ, что ихъ положеніе гораздо ниже ихъ достоинства, что одна нужда можетъ ихъ держать въ этомъ «чернильномъ мірѣ», что если-бъ не бѣдность и не раны, то они управляли бы корпусами арміи или были бы генераль-адъютантами. Каждый прибавляетъ поразительный примѣръ кого-нибудь изъ прежнихъ товарищей, и говоритъ: «Вѣдь вотъ—Крейцъ или Ридигеръ,—въ одномъ приказѣ въ корнеты произведены были. Жили на одной квартирѣ,—Петруша, Алѣша—ну, я, видите, не нѣмецъ, да и поддержки не было никакой,—вотъ и сиди будочникомъ. Вы думаете, легко благородному человѣку съ нашими понятіями занимать полицейскую должность».

Жены ихъ еще болѣе горюютъ и съ стѣсненнымъ сердцемъ возятъ въ ломбардъ всякій годъ денежки класть, отправляясь въ Москву подъ предлогомъ, что мать или тетка больна и хочетъ въ послѣдній разъ видѣть.

И такъ они живутъ себѣ лѣтъ пятнадцать. Мужъ, жалуясь на судьбу, сѣчетъ полицейскихъ, бьетъ мѣщанъ, подличаетъ передъ губернаторомъ, покрываетъ воровъ, крадетъ документы и повторяетъ стихи изъ «Бахчисарайскаго фонтана». Жена, жалуясь на судьбу и на провинціальную жизнь, беретъ все на свѣтъ, грабитъ просителей, лавки и любитъ мѣсячныя ночи, которыя называетъ «лунными».

Я потому остановился на этой характеристикѣ, что сначала я былъ обманутъ этими господами, и въ самомъ дѣлѣ считалъ ихъ нѣсколько лучше другихъ,—что вовсе не такъ...

Я увезъ изъ Перми одно личное воспоминаніе, которое дорого мнѣ.

На одномъ изъ губернаторскихъ смотровъ ссыльнымъ меня пригласилъ къ себѣ одинъ ксендзь. Я засталъ у него нѣсколько поляковъ Одинъ изъ нихъ сидѣлъ молча, задумчиво куря маленькую трубку; тоска, тоска безвыходная видна была въ каждой чертѣ. Онъ былъ сутуловатъ, даже кривобокъ, лицо его принадлежало къ тому неправильному польско-литовскому типу, ко-

торый удивляетъ сначала и привязываетъ потомъ; такія черты были у величайшаго изъ поляковъ, у Фаддея Костюшки. Одежда Цихановича свидѣтельствовала о страшной бѣдности.

Спустя нѣсколько дней, я гулялъ по пустынному бульвару, которымъ оканчивается въ одну сторону Пермь; это было во вторую половину мая, молодой листъ развѣтывался, березы цвѣли (помнится, вся аллея была березовая),—и никѣмъ никого. Провинціалы наши не любятъ *платоническихъ* гуляній. Долго бродя, я увидѣлъ, наконецъ, по другую сторону бульвара, т. е. на полѣ, какого-то человѣка, гербаризировавшаго или просто рвавшаго однообразные и скудные цвѣты того края. Когда онъ поднялъ голову, я узналъ Цихановича и подошелъ къ нему.

Цихановичъ сначала былъ сосланъ въ Верхотурье, одинъ изъ дальнѣйшихъ городовъ Пермской губерніи, потерянный въ Уральскихъ горахъ, занесенный снѣгомъ, и такъ стоящій внѣ всякихъ дорогъ, что зимой почти нѣтъ никакого сообщенія. Разумѣется, что жить въ Верхотурьѣ хуже, чѣмъ въ Омскѣ или Красноярскѣ. Совершенно одинокій, Цихановичъ занимался тамъ естественными науками, собиралъ скудную флору Уральскихъ горъ, наконецъ, получилъ дозволеніе перебраться въ Пермь; и это уже для него было улучшеніе; снова услышалъ онъ звуки своего языка, встрѣтился съ товарищами по несчастью. Жена его, оставшаяся въ Литвѣ, писала къ нему, что она отправится къ нему *путикомъ* изъ *Виленской губерніи*... Онъ ждалъ ее.

Когда меня перевели такъ неожиданно въ Вятку, я пошелъ проститься съ Цихановичемъ. Небольшая комната, въ которой онъ жилъ, была почти совсѣмъ пуста; небольшой старый чемоданчикъ стоялъ возлѣ скудной постели, деревянный столъ и одинъ стулъ составляли всю мебель, — на меня пахло моей крутилкой кельей.

Вѣсть о моемъ отъѣздѣ огорчила его, но онъ такъ привыкъ къ лишениямъ, что черезъ минуту, почти свѣтло улыбувшись, сказалъ мнѣ: «Вотъ за то-то я и люблю природу, ее никакъ не отнимешь, гдѣ бы человѣкъ ни былъ».

Мнѣ хотѣлось оставить ему что-нибудь на память, я снялъ небольшую запонку съ рубашки и просилъ его принять ее.

— «Къ моей рубашкѣ она не идетъ, сказалъ онъ мнѣ, но запонку вашу я сохраню до конца жизни, и наряжусь въ нее на своихъ похоронахъ».

Потомъ онъ задумался, и вдругъ быстро началъ рыться въ чемоданѣ. Досталъ небольшой мѣшечекъ, вынулъ изъ него желѣзную цѣпочку, сдѣланную особымъ образомъ, оторвавъ отъ нея нѣсколько звеньевъ, подаль мнѣ со словами:

— «Цѣпочка эта мнѣ очень дорога, съ ней связаны святѣй-

шія воспоминанія иного времени, все я вамъ не дамъ, а возьмите эти кольца. Не думалъ, что я, изгнанникъ изъ Литвы, подарю ихъ русскому изгнаннику».

Я обнялъ его и простился.

— «Когда вы ѣдете?» спросилъ онъ.

— Завтра утромъ, но я васъ не зову, у меня уже на квартирѣ ждетъ безсмѣнно жандармъ.

— «Итакъ, добрый путь вамъ, будьте счастливѣе меня».

На другой день съ девяти часовъ утра полицмейстеръ былъ уже налицо въ моей квартирѣ и торопилъ меня. Пермскій жандармъ, гораздо болѣе ручной, чѣмъ крутицкій, не скрывая радости, которую ему доставляла надежда, что онъ будетъ 350 верстъ пьянъ, работалъ около коляски. Все было готово; я нечаянно взглянулъ на улицу, идетъ мимо Цихановичъ, я бросился къ окну.

— «Ну, слава Богу, сказалъ онъ, я вотъ четвертый разъ прохожу, чтобъ проститься съ вами, хоть издали, но вы все не видели».

Глазами полными слезъ поблагодарилъ я его. Это нѣжное, женское вниманіе глубоко тронуло меня; безъ этой встрѣчи мнѣ нечего было бы и пожалѣть въ Перми!

...На другой день послѣ отъѣзда изъ Перми, съ разсвѣта полилъ дождь сильный, непрерывный, какъ бываетъ въ лѣсистыхъ мѣстахъ, и продолжался весь день; часа въ два мы пріѣхали въ бѣднѣйшую вятскую деревню. Станціоннаго дома не было; вотяки (безграмотные) справляли должность смотрителей, развертывали подорожную, справлялись двѣ ли печати или одна, кричали «айда, айда!» и запрягали лошадей, разумѣется, вдвое скорѣе, чѣмъ бы это сдѣлалось при смотрителѣ. Мнѣ хотѣлось обсушиться, обогрѣться, съѣсть что-нибудь. Пермскій жандармъ согласился на мое предложеніе часа два отдохнуть. Все это было сдѣлано, подѣзжая къ деревнѣ. Когда же я взошелъ въ избу душную, черную и узналъ, что рѣшительно ничего достать нельзя, что даже и кабака нѣту верстъ пять, я было раскаялся и хотѣлъ спросить лошадей.

Пока я думалъ, ѣхать или не ѣхать, взошелъ солдатъ и отрапортовалъ мнѣ, что этапный офицеръ прислалъ меня звать на чашку чая.

— Съ большимъ удовольствіемъ, гдѣ твой офицеръ?

— «Возлѣ, въ избѣ, ваше благородіе!» и солдатъ выдѣлалъ извѣстное *на налѣво кру—омъ*.

Я пошелъ вслѣдъ за нимъ.

Г Л А В А XIV.

Вятка. — Канцелярія и столовая его превосходительства. — К. Я. Тюфяевъ.

Вятскій губернаторъ не принялъ меня, а велѣлъ сказать, чтобъ я явился къ нему на другой день въ десять часовъ.

Въ залѣ утромъ я засталъ исправника, полицмейстера и двухъ чиновниковъ; всѣ стояли, говорили шопотомъ и съ безпокойствомъ посматривали на дверь. Дверь растворилась и взошелъ небольшого роста плечистый старикъ съ головой, посаженной на плечи какъ у бульдога, большія челюсти продолжали сходство съ собакой, къ тому же онѣ какъ-то плотоядно улыбались; старое и съ тѣмъ вмѣстѣ пріапическое выраженіе лица, небольшіе, быстрые, сѣренккіе глазки и рѣдкіе прямые волосы дѣлали невѣроятно гадкое впечатлѣніе.

Онъ сначала сильно намылилъ голову исправнику за дорогу, по которой вчера ѣхалъ. Исправникъ стоялъ съ нѣсколько опущенной, въ знакъ уваженія и покорности, головою, и ко всему прибавлялъ, какъ это встарь дѣлывали слуги: «Слушаю, ваше превосходительство».

Послѣ исправника онъ обратился ко мнѣ. Дерзко посмотрѣлъ на меня и спросилъ:

— «Вы, вѣдь, кончили курсъ въ московскомъ университетѣ?»

— Я кандидатъ.

— «Потомъ служили?»

— Въ Кремлевской экспедиціи.

— «Ха, ха ха — хорошая служба! вамъ, разумѣется, при такой службѣ былъ досугъ пировать и пѣсни пѣть. Аленицынъ!» закричалъ онъ.

Взошелъ молодой, золотушный человекъ.

— «Послушай, братецъ, вотъ кандидатъ московскаго университета, онъ, вѣроятно, все знаетъ, кромѣ службы; его величеству угодно, чтобъ онъ ей у насъ поучился. Займи его у себя въ канцеляріи и докладывай мнѣ особо. Завтра вы явитесь въ канцелярію въ девять утромъ, а теперь можете идти. Да, позвольте, я забылъ спросить, какъ вы пишете?»

Я сразу не понялъ. — «Ну, то есть почеркъ».

— У меня ничего нѣтъ съ собой.

— «Дай бумаги и перо», — и Аленицынъ подалъ мнѣ перо.

— Что же я буду писать?»

— Что вамъ угодно, замѣтилъ секретарь, напишите: *А по справкѣ оказалось.*

— «Ну, къ государю переписывать вы не будете», замѣтилъ, иронически улыбаясь, губернаторъ.

Я еще въ Перми многое слышалъ о Тюфяевѣ, но онъ далеко превзошелъ всѣ мои ожиданія.

Что и чего не производитъ русская жизнь!

Тюфяевъ родился въ Тобольскѣ. Отецъ его чуть ли не былъ сосланъ и принадлежалъ къ бѣднѣйшимъ мѣщанамъ. Лѣтъ тринадцати молодой Тюфяевъ присталъ къ ватагѣ бродящихъ комедіантовъ, которые слоняются съ ярмарки на ярмарку, пляшутъ на канатѣ, кувыркаются колесомъ и пр. Онъ съ ними дошелъ отъ Тобольска до польскихъ губерній, потѣшая православный народъ. Тамъ его, не знаю почему, арестовали и, такъ какъ онъ былъ безъ вида, его, какъ бродягу, отправили пѣшкомъ при партіи арестантовъ въ Тобольскъ. Его мать овдовѣла и жила въ большой крайности; сынъ клалъ самъ печку, когда она развалилась; надобно было пріискать какое-нибудь ремесло; мальчику далась грамота и онъ сталъ наниматься писцомъ въ магистратъ. Развязный отъ природы и изощрившій свои способности многостороннимъ воспитаніемъ въ таборѣ акробатовъ и въ пересыльныхъ арестантскихъ партіяхъ, съ которыми прошелъ съ одного конца Россіи до другого, онъ сдѣлался лихимъ дѣльцомъ.

Въ началѣ царствованія Александра, въ Тобольскѣ пріѣзжалъ какой-то ревизоръ. Ему нужны были дѣловые писаря, кто-то рекомендовалъ ему Тюфяева. Ревизоръ до того былъ доволенъ имъ, что предложилъ ему ѣхать съ нимъ въ Петербургъ. Тогда Тюфяевъ, у котораго, по собственнымъ словамъ, самолюбіе не шло дальше мѣста секретаря въ уѣздномъ судѣ, иначе оцѣнилъ себя и съ желѣзной волей рѣшился сдѣлать карьеру.

И сдѣлалъ ее. Черезъ десять лѣтъ мы его уже видимъ неутомимымъ секретаремъ Канкринна, который тогда былъ генералъ-интендантомъ. Еще годъ спустя, онъ уже завѣдуетъ одной экспедиціей въ канцеляріи Аракчеева, завѣдывавшей всею Россіей; онъ съ графомъ былъ въ Парижѣ во время занятія его союзными войсками.

Тюфяевъ все время просидѣлъ безвыходно въ походной канцеляріи и à la lettre не видалъ ни одной улицы въ Парижѣ. День и ночь сидѣлъ онъ, составляя и переписывая бумаги, съ достойнымъ товарищемъ своимъ К.

Канцелярія Аракчеева была въ родѣ тѣхъ мѣдныхъ рудниковъ, куда работниковъ посылаютъ только на нѣсколько мѣсяцевъ, потому что если оставить долѣе, то они мрутъ. Усталъ, наконецъ, и Тюфяевъ на этой фабрикѣ приказовъ и указовъ, распоряженій и учрежденій и сталъ проситься на болѣе спокойное мѣсто. Аракчеевъ не могъ не полюбить такого человѣка, какъ

Тюфяевъ, безъ высшихъ притязаній, безъ развлеченій, безъ мнѣній, человѣка формально честнаго, снѣдаемаго честолюбіемъ и ставящаго повиненіе въ первую добродѣтель людскую. Аракчеевъ наградила Тюфяева мѣстомъ вице-губернатора. Спустя нѣсколько лѣтъ, онъ ему далъ пермское воеводство. Губернія, по которой Тюфяевъ разъ прошелъ по веревкѣ и разъ на веревкѣ, лежала у его ногъ.

Власть губернатора вообще растетъ въ прямомъ отношеніи разстоянія отъ Петербурга, но она растетъ въ геометрической прогрессіи въ губерніяхъ, гдѣ нѣтъ дворянства, какъ въ Пермь, Вяткѣ и Сибири. Такой-то край и былъ нуженъ Тюфяеву.

Тюфяевъ былъ восточный сатрапъ, но только дѣятельный, безпокойный, во все мѣшавшійся, вѣчно занятый. Тюфяевъ былъ бы свирѣпымъ комиссаромъ конвента въ 94 году, какимъ-нибудь Карье.

Развратный по жизни, грубый по натурѣ, нетерпящій никакого возраженія, его вліяніе было чрезвычайно вредно. Онъ не бралъ взятокъ; хотя состояніе себѣ таки составилъ, какъ оказалось послѣ смерти. Онъ былъ строгъ къ подчиненнымъ; безъ пощады преслѣдовалъ тѣхъ, которые попадались, а чиновники крали больше, чѣмъ когда-нибудь. Онъ злоупотребленіе вліяній довелъ до-нельзя; напр., отправляя чиновника на слѣдствіе, разумѣется, если онъ былъ интересованъ въ дѣлѣ, говорилъ ему, что, вѣроятно, откроется то-то и то-то, и горе было бы чиновнику, если-бъ открылось что-нибудь другое.

Въ Пермь все еще было полно славой Тюфяева, у него тамъ была партія приверженцевъ, враждебная новому губернатору, который, какъ разумѣется, окружилъ себя своими клеветами.

Но зато были люди, ненавидѣвшіе его. Одинъ изъ нихъ, довольно оригинальное произведеніе русскаго *надлома*, особенно предупреждалъ меня, что такое Тюфяевъ. Я говорю объ докторѣ на одномъ изъ заводовъ. Человѣкъ этотъ, умный и очень нервный, вскорѣ послѣ курса какъ-то несчастно женился, потомъ былъ занесенъ въ Екатеринбургъ и безъ всякой опытности затеръ въ болото провинціальной жизни. Поставленный довольно независимо въ этой средѣ, онъ все-таки сломился; вся дѣятельность его обратилась на преслѣдованіе чиновниковъ сарказмами. Онъ хохоталъ надъ ними въ глаза, онъ съ гримасами и кривляніемъ говорилъ имъ въ лицо самыя оскорбительныя вещи. Такъ какъ никому не было пощады, то никто особенно не сердился на злой языкъ доктора. Онъ сдѣлалъ себѣ общественное положеніе своими нападками и заставилъ безхарактерное общество терпѣть розги, которыми онъ хлесталъ его безъ отдыха.

Меня предупредили, что онъ хороший докторъ, но поврежденный, и что онъ чрезвычайно дерзокъ.

Его болтовня и шутки не были ни грубы, ни плоски; совсѣмъ напротивъ, онѣ были полны юмора и сосредоточенной желчи, это была его поэзія, его месть, его крикъ досады, а, можетъ, долею и отчаянія. Онъ изучилъ чиновничій кругъ, какъ артистъ и какъ медикъ, онъ зналъ всѣ мелкія и затаенныя страсти ихъ и, ободренный не-находчивостью, трусостью своихъ знакомыхъ, позволялъ себѣ все.

Ко всякому слову прибавлялъ онъ: «ни копейки не стоитъ». Я разъ шутя замѣтилъ ему это повтореніе. «Чему же вы удивляетесь, возразилъ докторъ, цѣль всякой рѣчи убѣдить, я и तोплюсь прибавить сильнѣйшее доказательство, какое существуетъ на свѣтѣ. Увѣрьте человѣка, что убить родного отца ни копейки не будетъ стоить,—онъ убьетъ его».

Чеботаревъ никогда не отказывалъ давать въ займы небольшія суммы, въ сто, двѣсти рублей асс. Когда кто у него просилъ, онъ вынималъ свою записную книжку и подробно спрашивалъ, когда тотъ ему отдастъ.

— «Теперь, говорилъ онъ, позвольте держать пари на цѣлковый, что вы не отдадите въ срокъ».

— Да помилуйте, возражалъ тотъ, за кого же вы меня принимаете?

— «Вамъ это ни копейки не стоитъ, отвѣчалъ докторъ, за кого я васъ принимаю, а дѣло въ томъ, что я шестой годъ веду книжку, и ни одинъ человѣкъ еще не заплатилъ въ срокъ, да никто почти и послѣ срока не платитъ».

Срокъ проходилъ, и докторъ пресерьезно требовалъ выигранный цѣлковый.

Пермскій откупщикъ продавалъ дорожную коляску; докторъ явился къ нему и, не прерываясь, произнесъ слѣдующую рѣчь: «Вы продаете коляску, мнѣ нужно ее; вы богатый человѣкъ, вы миллионеръ, за это васъ всѣ уважаютъ, и я потому пришелъ свидѣтельствовать вамъ мое почтеніе; какъ богатый человѣкъ, вамъ ни копейки не стоитъ, продадите ли вы коляску или нѣтъ, мнѣ же ее очень нужно, а денегъ у меня мало. Вы захотите меня притѣснить, воспользоваться моею необходимостью и спросите за коляску 1.500, я предложу вамъ рублей семьсотъ, буду ходить всякій день торговаться, черезъ недѣлю вы уступите за 750 или 800, не лучше ли съ этого начать? Я готовъ ихъ дать». — «Гораздо лучше», отвѣчалъ удивленный откупщикъ и отдалъ коляску.

Анекдотамъ и шалостямъ Чеботарева не было конца; прибавлю еще два ¹⁾.

¹⁾ Эти два анекдота не были въ первомъ изданіи, я ихъ вспомнилъ, перечитывая листы для поправки (1858).

— Вѣрите ли вы въ магнитизмъ? спросила его при мнѣ одна дама, довольно умная и образованная. — «Да что вы разумѣете подъ магнитизмомъ?» — Дама ему сказала какой-то общій вздоръ. — «Вамъ ни копейки не стоитъ знать, отвѣчалъ онъ, вѣрю я магнитизму или нѣтъ, а хотите, я вамъ расскажу, что я видѣлъ по этой части». — Пожалуйста. — «Только слушайте внимательно». — Послѣ этого онъ передалъ очень живо, умно и интересно опыты какого-то харьковскаго доктора, его знакомаго.

Середь разговора человекъ принесъ на подносѣ закуску. Дама сказала ему, когда онъ выходилъ: — Ты забылъ подать горчицы. Чеботаревъ остановился. — Продолжайте, продолжайте, сказала дама, нѣсколько уже испуганная, я слушаю. — «Соль-то принесъ ли онъ?» — Это вы уже и разсердились, прибавила дама, краснѣя. — «Нѣсколько, будьте увѣрены; я знаю, что вы внимательно слушали, да и то знаю, что женщина, какъ бы ни была умна и о чемъ бы ни шла рѣчь, не можетъ никогда стать выше кухни, — за что же я лично на васъ смѣлъ бы сердиться».

На заводахъ графини Полье, гдѣ онъ тоже лечилъ, понравился ему дворовый мальчикъ, онъ его пригласилъ къ себѣ въ услуженіе. Мальчикъ былъ согласенъ, но управляющій сказалъ, что, безъ разрѣшенія графини, онъ его не можетъ уволить. Чеботаревъ написалъ къ графинѣ. Она велѣла управляющему выдать паспортъ, но на томъ условіи, чтобы Чеботаревъ заплатилъ за *пять лѣтъ* впередъ оброкъ. Получивъ этотъ отвѣтъ, онъ немедленно написалъ къ графинѣ, что согласенъ, но что проситъ ее предварительно разрѣшить ему слѣдующее сомнѣніе: съ кого ему получить заплаченные деньги въ томъ случаѣ, если Энкьева комета, пересѣкая орбиту земнаго шара, собьетъ его съ пути, — что можетъ случиться за полтора года до окончанія срока.

Въ день моего отъѣзда въ Вятку, утромъ рано явился докторъ и началъ съ слѣдующей глупости: «Вы, какъ Горацій, разъ *п.и.и* и до сихъ поръ васъ все *переводятъ*». Потомъ онъ вынулъ бумажникъ и спросилъ, не нужно ли мнѣ денегъ на дорогу. Я поблагодарилъ его и отказался. — «Отчего же вы не берете? вамъ это ни копейки не стоитъ». — У меня есть деньги. — «Плохо, сказалъ онъ, міръ кончается», раскрылъ свою записную книжку и вписалъ: «Послѣ пятнадцатилѣтней практики въ первый разъ встрѣтилъ человека, который не взялъ денегъ, да еще будучи на отъѣздѣ».

Отдурочившись, онъ сѣлъ ко мнѣ на постель и серьезно сказалъ: «Вы ѣдете къ страшному человеку. Остерегайтесь его и удаляйтесь, какъ можно болѣе. Если онъ васъ полюбитъ, плохая вамъ рекомендація; если же возненавидитъ, такъ ужъ онъ

вась доѣдетъ клеветой, ябедой, не знаю чѣмъ, но доѣдетъ, ему это ни копейки не стоитъ».

При этомъ онъ мнѣ разсказалъ происшествіе, истинность котораго я имѣлъ случай послѣ повѣрить по документамъ въ канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ.

Тюфяевъ былъ въ открытой связи съ сестрой одного бѣднаго чиновника. Надъ братомъ смѣялись, братъ хотѣлъ разорвать эту связь, грозился доносомъ, хотѣлъ писать въ Петербургъ, словомъ шумѣлъ и безпокоился до того, что его однажды полиція схватила и представила, какъ сумасшедшаго, для освидѣтельствованія въ губернское правленіе.

Губернское правленіе, предсѣдатели палатъ и инспекторъ врачебной управы, старикъ нѣмецъ, пользовавшійся большой любовью народа, и котораго я лично зналъ, всѣ нашли, что Петровскій—сумасшедшій.

Нашъ докторъ зналъ Петровскаго и былъ его врачомъ. Спросили и его для формы. Онъ объявилъ инспектору, что Петровскій вовсе не сумасшедшій, и что онъ предлагаетъ переосвидѣтельствовать, иначе долженъ будетъ дѣло это вести дальше. Губернское правленіе было вовсе не прочь, но, по несчастью, Петровскій умеръ въ сумасшедшемъ домѣ, не дождавшись дня, назначеннаго для вторичнаго свидѣтельства, и несмотря на то, что онъ былъ молодой, здоровый малый.

Дѣло дошло до Петербурга. Петровскую арестовали (почему не Тюфяева?), началось секретное слѣдствіе. Отвѣты диктовалъ Тюфяевъ, онъ превзошелъ себя въ этомъ дѣлѣ. Чтобъ разомъ остановить его и отклонить отъ себя опасность вторичнаго, произвольнаго путешествія въ Сибирь, Тюфяевъ научилъ Петровскую сказать, что братъ ея съ тѣхъ поръ съ нею въ ссорѣ, какъ она, увлеченная молодостью и неопытностью, лишилась невинности.

«La regina en aveva molto!» говорить импровизаторъ въ *Емметскихъ* *ночахъ* Пушкина...

И вотъ этотъ-то почтенный ученикъ Аракчеева и достойный товарищъ К., акробатъ, бродяга, писарь, секретарь, губернаторъ, нѣжное сердце, безкорыстный человѣкъ, запирающій здоровыхъ въ сумасшедшій домъ и уничтожающій ихъ тамъ, брался теперъ приучать меня къ службѣ.

Зависимость моя отъ него была велика. Стоило ему написать какой-нибудь вздоръ министру, меня отослали бы куда-нибудь въ Иркутскъ. Да и зачѣмъ писать? Онъ имѣлъ право перевести въ какой-нибудь дикій городъ Кай или Царево-Санчурскъ, безъ всякихъ сообщеній, безъ всякихъ ресурсовъ. Тюфяевъ отправилъ въ Глазовъ одного молодого поляка за то, что дамы предпочитали танцовать съ нимъ мазурку, а не съ его превосходительствомъ.

Такъ, князь Долгоруковъ былъ отправленъ изъ Перми въ Верхотурье. Верхотурье, потерянное въ горахъ и снѣгахъ, принадлежить еще къ Пермской губерніи, но это мѣсто стоитъ Березова по климату, онъ хуже Березова—по пустотѣ.

Князь Долгоруковъ принадлежалъ къ аристократическимъ повѣсамъ въ дурномъ родѣ, которые ужъ рѣдко встрѣчаются въ наше время. Онъ дѣлалъ всякія проказы въ Петербургѣ, проказы въ Москвѣ, проказы въ Парижѣ.

На это тратилась его жизнь. Это былъ Измайловъ въ маленькомъ размѣрѣ, князь Е. Грузинскій безъ притона бѣглыхъ въ Лысковѣ, т. е. избалованный, дерзкій, отвратительный забавникъ, баринъ и шутъ вмѣстѣ. Когда его продѣлки перешли всѣ границы, ему велѣли отправиться на житье въ Пермь.

Онъ пріѣхалъ въ двухъ каретахъ: въ одной онъ самъ съ собакой, въ другой—его поваръ французъ съ попугаями. Въ Перми обрадовались богатому гостю, и вскорѣ весь городъ толочся въ его столовой. Долгоруковъ завелъ шашни съ пермской барыней; барыня, заподозривъ какія-то невѣрности, явилась невзначай утромъ къ князю и застала его съ горничной. Изъ этого вышла сцена, кончившаяся тѣмъ, что невѣрный любовникъ снялъ со стѣны арапникъ; совѣтница, видя его намѣреніе, пустилась бѣжать; онъ за ней, небрежно одѣтый въ одинъ халатъ; нагнавъ ее на небольшой площади, гдѣ учили обыкновенно батальонъ, онъ вытянулъ раза три ревнивую совѣтницу арапникомъ и спокойно отправился домой, какъ будто сдѣлалъ дѣло.

Подобныя милыя шутки навлекли на него гоненіе пермскихъ друзей, и начальство рѣшилось сорокалѣтняго шалуна отослать въ Верхотурье. Онъ далъ наканунѣ отъѣзда богатый обѣдъ, и чиновники, несмотря на разладъ, все-таки поѣхали; Долгорукій обѣщаль ихъ накормить какимъ-то неслыханнымъ пирогомъ.

Пирогъ былъ дѣйствительно превосходенъ и исчезалъ съ невѣроятной быстротой. Когда остались однѣ корки, Долгорукій патетически обратился къ гостямъ и сказалъ: «Не будетъ же сказано, что я, разставаясь съ вами, что-нибудь пожалѣлъ. Я велѣлъ вчера убить моего Гарди для пирога».

Чиновники съ ужасомъ взглянули другъ на друга и искали глазами знакомую всѣмъ датскую собаку; ея не было. Князь догадался и велѣлъ слугѣ принести бранные остатки Гарди, его шкуру; внутренность была въ пермскихъ желудкахъ. Полгорода занемогло отъ ужаса.

Между тѣмъ Долгорукій, довольный тѣмъ, что ловко подшутилъ надъ пріятелями, ѣхалъ торжественно въ Верхотурье. Третья повозка везла цѣлый курятникъ, курятникъ, ѣдущій на почтовыхъ! По дорогѣ онъ увезъ съ нѣсколькихъ станцій приходныя

книги, переи́шалъ ихъ, поправилъ въ нихъ цифры и чуть не свелъ съ ума почтовое вѣдомство, которое и съ книгами не всегда ловко сводило концы съ концами.

Удушливая пустота и нѣмота русской жизни, страннымъ образомъ соединенная съ живостью и даже бурностью характера, особенно развиваетъ въ насъ всякія юродства.

Въ пѣтушьемъ крикѣ Суворова, какъ въ собачьемъ паштетѣ князя Долгорукова, въ дикихъ выходкахъ Измайлова, въ полудобровольномъ безуміи Мамонова и буйныхъ преступленіяхъ Толстого-Американца я слышу родственную ноту, знакомую намъ всѣмъ, но которая у насъ ослаблена образованіемъ или направлена на что-нибудь другое.

Я лично зналъ Толстого и именно въ ту эпоху, когда онъ лишился своей дочери Сарры, необыкновенной дѣвушки, съ высокимъ поэтическимъ даромъ. Одинъ взглядъ на наружность старика, на его лобъ, покрытый сѣдыми кудрями, на его сверкающіе глаза и атлетическое тѣло показывалъ, сколько энергіи и силы было ему дано отъ природы. Онъ развилъ однѣ буйныя страсти, однѣ дурныя наклонности, и это не удивительно: всему порочному позволяютъ у насъ развиваться долгое время безпрепятственно, а за страсти человѣческія посылаютъ въ гарнизонъ или въ Сибирь при первомъ шагѣ... Онъ буйствовалъ, обыгрывалъ, дрался, уродовалъ людей, разорялъ семейства лѣтъ двадцать сряду, пока, наконецъ, былъ сосланъ въ Сибирь, откуда «вернулся алеутомъ», какъ говоритъ Грибоѣдовъ, т. е. пробрался черезъ Камчатку въ Америку и оттуда выпросилъ дозволеніе возвратиться въ Россію. Александръ его простилъ, и онъ на другой день послѣ пріѣзда продолжалъ прежнюю жизнь. Женатый на цыганкѣ, извѣстной своимъ голосомъ и принадлежавшей къ московскому табору, онъ превратилъ свой домъ въ игорный, проводилъ все время въ оргіяхъ, всѣ ночи за картами, и дикія сцены алчности и пьянства совершались возлѣ колыбели маленькой Сарры. Говорятъ, что онъ разъ, въ доказательство мѣткости своего глаза, велѣлъ женѣ стать на столъ и прострѣлилъ ей каблукъ башмака.

Послѣдняя его продѣлка чуть было снова не свела его въ Сибирь. Онъ былъ давно сердитъ на какого-то мѣщанина, поймалъ его какъ-то у себя въ домѣ, связалъ по рукамъ и ногамъ и вырвалъ у него зубъ. Вѣроятно ли, что этотъ случай былъ лѣтъ десять или двѣнадцать тому назадъ? Мѣщанинъ подалъ просьбу. Толстой подарилъ полицейскихъ, подарилъ судъ, и мѣщанина посадили въ острогъ за ложный извѣтъ. Въ это время одинъ извѣстный русскій литераторъ, Н. Ф. Павловъ, служилъ въ тюремномъ комитетѣ. Мѣщанинъ разсказалъ ему дѣло, не-

опытный чиновникъ поднялъ его. Толстой струхнулъ не на шутку, дѣло клонилось явнымъ образомъ къ его осужденію, но русскій Богъ великъ! Графъ Орловъ написалъ князю Щербатову секретное отношеніе, въ которомъ совѣтовалъ ему дѣло затушить, чтобъ не дать такого *прямого торжества низшему сословію надъ высшимъ*. Н. Ф. Павлова графъ Орловъ совѣтовалъ удалить отъ такого мѣста... Это почти невѣроятнѣе вырваннаго зуба. Я былъ тогда въ Москвѣ и очень хорошо зналъ неосторожнаго чиновника. Но возвратимся въ Вятку.

Канцелярія была безъ всякаго сравненія хуже тюрьмы. Не матеріальная работа была велика, а удушающій, какъ въ собачьемъ гротѣ, воздухъ этой затхлой среды и страшная глупая потеря времени, вотъ что дѣлало канцелярію невыносимой. Аленицынъ меня не тѣснилъ, онъ былъ даже вѣжливѣе, чѣмъ я ожидалъ, онъ учился въ казанской гимназіи и въ силу этого имѣлъ уваженіе къ кандидату московскаго университета.

Въ канцелярії было человекъ двадцать писцовъ. Большею частью люди безъ малѣйшаго образованія и безъ всякаго нравственнаго понятія, дѣти писцовъ и секретарей, съ колыбели привыкнущіе считать службу средствомъ приобрѣтенія, а крестьянъ почвой, приносящей доходъ, они продавали справки, брали двугривенные и четвертаки, обманывали за стаканъ вина, унижались, дѣлали всякія подлости. Мой камердинеръ пересталъ ходить въ «бильярдную», говоря, что чиновники плутуютъ хуже всякаго, а проучить ихъ нельзя, потому что они *офицеры*.

Вотъ съ этими-то людьми, которыхъ мой слуга не билъ только за ихъ чинъ, мнѣ приходилось сидѣть ежедневно отъ 9 до 2 утра и отъ 5 до 8 часовъ вечера.

Сверхъ Аленицына, общаго начальника канцелярії, у меня былъ начальникъ стола, къ которому меня посадили, существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное. За однимъ столомъ со мною сидѣли четыре писца. Съ ними надобно было говорить и быть знакомымъ, да и со всѣми другими тоже. Не говоря уже о томъ, что эти люди «за гордость» рано или поздно подставили бы мнѣ ловушку, просто нѣтъ возможности проводить нѣсколько часовъ дня съ одними и тѣми же людьми, не перезнакомившись съ ними. Сверхъ того, не должно забывать, какъ провинціалы льнутъ къ постороннему, особенно пріѣхавшему изъ столицы, и притомъ еще съ какой-то интересной исторіей за спиной.

Просидѣвши день цѣлый въ этой галерѣ, я приходилъ иной разъ домой въ какомъ-то оступѣніи всѣхъ способностей и бросался на диванъ, изнуренный, униженный и неспособный ни на какую работу, ни на какое занятіе. Я душевно жалѣлъ о моей крутицкой кельѣ съ ея чадомъ и тараканами, съ жандармомъ у

дверей и съ замкомъ на дверяхъ. Тамъ я былъ воленъ, дѣлалъ, что хотѣлъ, никто мнѣ не мѣшалъ; вмѣсто этихъ пошлыхъ рѣчей, грязныхъ людей, низкихъ понятій, грубыхъ чувствъ, тамъ была мертвая тишина и невозмущаемый досугъ. И когда мнѣ приходило въ голову, что послѣ обѣда опять слѣдуетъ идти и завтра опять, мною тотчасъ овладѣвало бѣшенство и отчаяніе, и я пилъ вино и водку для утѣшенія.

А тутъ еще придетъ по «дорогѣ» кто-нибудь изъ сослуживцевъ посидѣть отъ скуки, поговорить, пока до узаконеннаго часа идти на службу...

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, впрочемъ, канцелярія сдѣлалась нѣсколько полегче.

Долгое, равномерное преслѣдованіе не въ русскомъ характерѣ, если не примѣшивается личностей или денежныхъ видовъ; и это отъ русской безпечности, отъ нашего *laissez aller*. Русскія власти всѣ вообще неотесаны, наглы, дерзки, на грубость съ ними накупиться очень легко, но постоянное доколачиваніе людей не въ ихъ нравахъ, у нихъ на это не достаетъ терпѣнія, можетъ оттого, что оно не приноситъ никакого барыша.

Сначала, сгоряча, чтобъ показать въ одну сторону усердіе, въ другую власть, дѣлаются всякія глупости и ненужности, потому мало-по-малу человекъ оставляютъ въ покоѣ.

Такъ случилось и съ канцеляріей. Министерство внутреннихъ дѣлъ было тогда въ припадкѣ статистики; оно велѣло вездѣ завести комитеты и разослало такія программы, которыя врядъ возможно ли было бы исполнить гдѣ-нибудь въ Бельгіи или Швейцаріи; при этомъ всякія вычурныя таблицы съ *maximum* и *minimum*, съ средними числами и разными выводами изъ десятилѣтнихъ сложностей (составленными по свѣдѣніямъ, которыя *за годъ передъ тѣмъ* не собирались!), съ нравственными отмѣтками и метеорологическими замѣчаніями. На комитетъ и на собраніе свѣдѣній денегъ не назначалось ни копейки; все это слѣдовало дѣлать изъ любви къ статистикѣ, черезъ земскую полицію, и приводить въ порядокъ въ губернаторской канцеляріи. Канцелярія, заваленная дѣлами, земская полиція, ненавидящая всѣ *мирныя* и теоретическія занятія, смотрѣли на статистическій комитетъ, какъ на ненужную роскошь, какъ на министерскую шалость; однако, отчеты надобно было представить съ таблицами и выводами.

Это дѣло казалось безмѣрно труднымъ всей канцеляріи; оно было просто невозможно; но на это никто не обратилъ вниманія, хлопотали о томъ, чтобъ не было выговора. Я общалъ Аленцину приготовить введеніе и начало, очерки таблицъ, съ краснорѣчивыми отмѣтками, съ иностранными словами, съ цитатами и поразительными выводами, если онъ разрѣшитъ мнѣ этимъ тяже-

лымъ трудомъ заниматься дома, а не въ канцеляріи. Аленицынъ переговорилъ съ Тюфяевымъ и согласился.

Начало отчета о занятіяхъ комитета, въ которомъ я говорилъ о надеждахъ и проектахъ, потому что въ настоящемъ ничего не было, тронули Аленицына до глубины душевной. Самъ Тюфяевъ нашель, что оно мастерски написано. Тѣмъ и окончились труды по части статистики, но комитетъ дали въ мое завѣдываніе. На барщину переписки бумагъ меня больше не гоняли и мой пьяненькій столоначальникъ сдѣлался почти подчиненное мнѣ лицо. Аленицынъ требовалъ только, изъ какихъ-то соображеній высшаго приличія, чтобъ я на короткое время заходилъ всякій день въ канцелярію.

Для того, чтобъ показать всю мѣру невозможности серьезныхъ таблицъ, я упомяну свѣдѣнія, присланныя изъ заштатнаго города Кая. Тамъ между разными нелѣпостями было: «Утопшихъ—2, причины утопленія неизвѣстны—2», и въ графѣ суммъ выставлено «четыре». Подъ рубрикой чрезвычайныхъ происшествій значился слѣдующій трагическій анекдотъ: «Мѣщанинъ такой-то, разстроивъ горячительными напитками свой умъ, повѣсился». Подъ рубрикой о нравственности городскихъ жителей было написано: «Жидовъ въ городѣ Каѣ не находилось». На вопросъ, не было ли ассигновано суммъ на постройку церкви, биржи, богадѣльни? Отвѣты шли такъ: «На постройку биржи ассигновано было—не было...»

Статистика, спасая меня отъ канцелярской работы, имѣла несчастнымъ послѣдствіемъ личныя сношенія съ Тюфяевымъ.

Было время, когда я этого человѣка ненавидѣлъ; это время давно прошло, да и человѣкъ этотъ прошелъ,—онъ умеръ въ своихъ казанскихъ помѣстьяхъ, около 1845 года. Теперь я вспоминаю о немъ безъ злобы, какъ объ особенномъ звѣрѣ, попавшемся въ лѣсу и дичи, котораго надобно было изучать, но на котораго нельзя было сердиться за то, что онъ звѣрь; тогда я не могъ не вступить съ нимъ въ борьбу, это была необходимость для всякаго порядочнаго человѣка. Случай мнѣ помогъ, иначе онъ сильно повредилъ бы мнѣ; имѣть зубъ за зло, которое онъ мнѣ не сдѣлалъ, было бы смѣшно и жалко.

Тюфяевъ жилъ одинъ. Жена его была съ нимъ въ разводѣ. На задней половинѣ губернаторскаго дома, какъ-то намѣренно неловко, пряталась его фаворитка, жена повара, удаленнаго именно за вину своего брака въ деревню. Она не являлась официально, но чиновники, особенно преданные губернатору, т. е. особенно боявшіеся слѣдствій, составляли придворный штатъ супруги повара «въ случаѣ». Ихъ жены и дочери, не хвастаясь этимъ, потихоньку, вечеромъ дѣлали ей визиты. Госпожа эта отличалась

тѣмъ тактомъ, который имѣлъ одинъ изъ блестящихъ ея предшественниковъ—Потемкинъ: зная нравъ старика и боясь быть смѣненной, она сама прискивала ему неопасныхъ соперницъ. Благодарный старикъ платилъ привязанностью за такую снисходительную любовь, и они жили ладно.

Тюфяевъ все утро работалъ и былъ въ губернскомъ правленіи. Поэзія жизни начиналась съ трехъ часовъ. Обѣдъ для него была вещь не шуточная. Онъ любилъ поѣсть, и поѣсть на людяхъ. У него на кухнѣ готовилось всегда на двѣнадцать человѣкъ; если гостей было меньше половины, онъ огорчался; если не больше двухъ человѣкъ, онъ былъ несчастенъ; если же никого не было, онъ уходилъ обѣдать, близкій къ отчаянію, въ комнаты Дульцинеи. Достать людей для того, чтобъ ихъ накормить до тошноты, не трудная задача, но его официальное положеніе и страхъ чиновниковъ передъ нимъ не позволяли ни имъ свободно пользоваться его гостепріимствомъ, ни ему сдѣлать трактиръ изъ своего дома. Надобно было ограничиться совѣтниками, предсѣдателями (но съ половиной онъ былъ въ ссорѣ, т. е. не благоволилъ къ нимъ), рѣдкими проѣзжими, богатыми купцами, откупщиками и *странностями*, нѣчто въ родѣ *capacités*, которыя хотѣли ввести при Людовикѣ Филиппѣ въ выборы. Разумѣется, я былъ странность первой величины въ Вяткѣ.

Людей, сосланныхъ на житье «за мнѣнія» въ дальніе города, нѣсколько боятся, но никакъ не смѣшиваютъ съ обыкновенными смертными. «Опасные люди» имѣютъ тотъ интересъ для провинціи, который имѣютъ извѣстные ловласы для женщинъ и куртизаны для мужчинъ. Опасныхъ людей гораздо больше избѣгаютъ петербургскіе чиновники и московскіе тузы, чѣмъ провинціальныя жители, особенно сибиряки.

Сосланные по четырнадцатому декабря пользовались огромнымъ уваженіемъ. Къ вдовѣ Юшневскаго дѣлали чиновники первый визитъ въ новый годъ. Сенаторъ Толстой, ревизовавши Сибирь, руководствовался свѣдѣніями, получаемыми отъ сосланныхъ декабристовъ, для повѣрки тѣхъ, которыя доставляли чиновники.

Минихъ завѣдывалъ изъ своей башни въ Пелымѣ дѣлами Тобольской губерніи. Губернаторы ходили къ нему совѣщаться о важныхъ дѣлахъ.

Простой народъ еще менѣе враждебенъ къ сосланнымъ; онъ вообще со стороны наказанныхъ. Около сибирской границы слово «ссылный» исчезаетъ и замѣняется словомъ «несчастный». Въ глазахъ русскаго народа судебный приговоръ не пятнаетъ чело­вѣка. Въ Пермской губерніи по дорогѣ въ Тобольскъ крестьяне выставляютъ часто квасъ, молоко и хлѣбъ въ маленькомъ окошкѣ

на случай, если «несчастный» будетъ тайкомъ пробираться изъ Сибири.

Кстати, говоря о сосланныхъ, за Нижнимъ начинаютъ встрѣчаться сосланные поляки, съ Казани число ихъ быстро возрастаетъ. Въ Перми было человѣкъ сорокъ, въ Вяткѣ не меньше; сверхъ того, въ каждомъ уѣздномъ городѣ было нѣсколько человѣкъ.

Они жили совершенно отдѣльно отъ русскихъ и удалялись отъ всякаго сообщенія съ жителями; между собою у нихъ было большее единодушiе, и богатые дѣлились братски съ бѣдными.

Со стороны жителей я не видалъ ни ненависти, ни особеннаго расположенія къ нимъ. Они смотрѣли на нихъ, какъ на постороннихъ, къ тому же почти ни одинъ полякъ не зналъ по-русски.

Одинъ закоснѣлый сарматъ, старикъ, уланскій офицеръ при Понятовскомъ, дѣлавшій часть наполеоновскихъ походовъ, получилъ въ 1837 году дозволенiе возвратиться въ свои литовскiя помѣстья. Наканунѣ отъѣзда старикъ позвалъ меня и нѣсколько поляковъ отобѣдать. Послѣ обѣда мой кавалеристъ подошелъ ко мнѣ съ бокаломъ, обнялъ меня и съ военнымъ простодушиемъ сказалъ мнѣ на ухо: *«Да зачѣмъ же вы русскiй!»* Я не отвѣчалъ ни слова, но замѣчанiе это сильно запало мнѣ въ грудь. Я понялъ, что *тому* поколѣнiю нельзя было освободить Польшу.

Съ Конарскаго начиная, поляки совсѣмъ иначе смотрятъ на русскихъ.

Вообще поляковъ, сосланныхъ на житье, не тѣснятъ, но матеріальное положенiе ужасно для тѣхъ, которые не имѣютъ состоянiя. Правительство дастъ неимущимъ *по 15 рублей ассигнаціями въ мѣсяцъ*; изъ этихъ денегъ слѣдуетъ платить за квартиру, одѣваться, ѣсть и отапливаться. Въ довольно большихъ городахъ, въ Казани, Тобольскѣ, можно было что-нибудь выработать уроками, концертами, играя на балахъ, рисуя портреты, заводя танцъ-классы. Въ Перми и Вяткѣ не было и этихъ средствъ. И несмотря на то, у русскихъ они не просили ничего.

... Приглашенiе Тюфяева на его жирные сибирскiе обѣды было для меня истиннымъ наказанiемъ. Столовая его была та же канцелярiя, но въ другой формѣ, менѣе грязной, но болѣе пошлой, потому что она имѣла видъ доброй воли, а не насилія.

Тюфяевъ зналъ своихъ гостей насквозь, презиралъ ихъ, показывалъ имъ иногда когти и вообще обращался съ ними въ томъ родѣ, какъ хозяинъ обращается съ своими собаками, то съ излишней фамильярностью, то съ грубостью, выходящей изъ всѣхъ предѣловъ,—и все-таки онъ звалъ ихъ на свои обѣды, и они съ

трепетомъ и радостью являлись къ нему, унижаясь, сплетничая, подслуживаясь, угождая, улыбаясь, кланаясь.

Я за нихъ краснѣлъ и стыдился.

Дружба наша недолго продолжалась. Тюфяевъ скоро догадался, что я не гожусь въ «высшее» вятское общество.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ былъ мною недоволенъ, черезъ нѣсколько другихъ онъ меня ненавидѣлъ, и я не только не ходилъ на его обѣды, но вовсе пересталъ къ нему ходить. Провѣздъ наслѣдника спасъ меня отъ его преслѣдованій, какъ мы увидимъ послѣ.

Притомъ необходимо замѣтить, что я рѣшительно ничего не сдѣлалъ, чтобы заслужить сначала его вниманіе и приглашеніе, потомъ гнѣвъ и немилость. Онъ не могъ вынести во мнѣ человека, державшаго себя независимо, но вовсе не дерзко; я былъ съ нимъ всегда en règle, онъ требовалъ подобострастія.

Онъ ревниво любилъ свою власть, она ему досталась трудовой копейкой, и онъ искалъ не только повиновенія, но *вида* безпрекословной подчиненности. Но несчастію, въ этомъ онъ былъ націоналенъ.

Помѣщикъ говоритъ слугѣ: молчать, я не потерплю, чтобъ ты мнѣ отвѣчалъ.

Начальникъ департамента замѣчаетъ, блѣднѣя, чиновнику, дѣлающему возраженіе: вы забываетесь, знаете ли вы, съ *кѣмъ* вы говорите?

У Тюфяева была живучая, затаенная ненависть ко всему аристократическому, ее онъ сохранилъ отъ горькихъ испытаній. Для Тюфяева каторжная канцелярія Аракчеева была первой гаванью, первымъ освобожденіемъ. Прежде начальники не предлагали ему стула, употребляя его на мелкія комиссіи. Когда онъ служилъ по интендантской части, офицеры по-армейски преслѣдовали его, и одинъ полковникъ вытянулъ его на улицѣ въ Вильнѣ хлыстомъ... Все это взошло и назрѣло въ душѣ писаря; теперь, губернаторомъ, его чередъ тѣснить, не давать стула, говорить *ты*, поднимать голосъ больше, чѣмъ нужно, а иной разъ отдавать подъ судъ столбовыхъ дворянъ.

Изъ Перми Тюфяевъ былъ переведенъ въ Тверь. Дворянство, при всей уступчивости и при всемъ раболѣпніи, не могло вынести Тюфяева. Они упросили министра Блудова удалить его. Блудовъ назначилъ его въ Вятку.

Тутъ онъ снова очутился въ своей средѣ. Чиновники и откупщики, заводчики и чиновники—раздолье да и только. Все трепетало его, все вставало передъ нимъ, все поило его, все давало ему обѣды, все глядѣло въ глаза: на свадьбахъ и именинахъ первый тостъ предлагали «за здравіе его превосходительства!»

ГЛАВА XV.

Чиновники.— Сибирскіе генераль-губернаторы.— Хищный полицейстеръ.— Ручной судья.— Жареный исправникъ.— Татаринъ.— Мальчикъ женскаго пола.— Картофельный терроръ и проч.

Одинъ изъ самыхъ печальныхъ результатовъ петровскаго переворота,—это развитіе чиновническаго сословія. Классъ искусственный, необразованный, голодный, не умѣющій ничего дѣлать кромѣ «служенія», ничего не знающій кромѣ канцелярскихъ формъ, онъ составляетъ какое-то гражданское духовенство, священнодѣйствующее въ судахъ и полиціяхъ и сосущее кровь народа тысячами ртовъ, жадныхъ и нечистыхъ..

Гоголь приподнялъ одну сторону завѣси и показалъ намъ русское чиновничество во всемъ безобразіи его; но Гоголь невольно примиряетъ смѣхомъ, его огромный комическій талантъ беретъ верхъ надъ негодованіемъ. Сверхъ того, въ колодкахъ русской цензуры онъ едва могъ касаться печальной стороны этого грязнаго подземелья, въ которомъ куются судьбы бѣднаго русскаго народа.

Тамъ, гдѣ-то въ закоптѣлыхъ канцеляріяхъ, черезъ которыя мы сибѣшимъ пройти, оптерханые люди пишутъ, пишутъ на сѣрой бумагѣ, переписываютъ на гербовую, и лица, семьи, цѣлыя деревни обижены, испуганы, разорены. Отецъ идетъ на поселенье, мать въ тюрьму, сынъ въ солдаты, и все это разразилось какъ громъ, нежданно, большей частью неповинно. А изъ-за чего? Изъ-за денегъ. Складчину... или начнется слѣдствіе о мертвомъ тѣлѣ какого-нибудь пьяницы, сгорѣвшаго отъ вина и замерзнувшаго отъ мороза. И голова собираетъ, староста собираетъ, мужики несутъ послѣднюю копейку. Становому надобно жить; исправнику надобно жить, да и жену содержать; совѣтнику надобно жить, да и дѣтей воспитать, совѣтникъ примѣрный отецъ...

Чиновничество царитъ въ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ Руси и въ Сибири; тутъ оно раскинулось безпрепятственно, безъ оглядки... даль страшная, всѣ участвуютъ въ выгодахъ, кража становится *res publica*. Самая власть царская не можетъ пробить эти поденѣжныя, болотистыя траншеи изъ топкой грязи. Всѣ мѣры правительства — ослаблены, всѣ желанія — искажены; оно обмануто, одурачено, предано, продано, и все съ видомъ вѣрноподданническаго раболѣпія и съ соблюденіемъ всѣхъ канцелярскихъ формъ.

Сперанскій пробовалъ облегчить участь сибирскаго народа. Онъ ввелъ всюду коллегіальное начало; какъ будто дѣло зависѣло отъ того, какъ кто крадетъ—по одиночкѣ или шайками. Онъ

сотнями отрѣшалъ старыхъ плутовъ и сотнями принялъ новыхъ. Сначала онъ нагналъ такой ужасъ на земскую полицію, что мужики брали деньги съ чиновниковъ, чтобъ не ходить съ челобитьемъ. Года черезъ три чиновники наживались по новыхъ формамъ не хуже, какъ по старымъ.

Нашелся другой чудакъ, генераль Вельяминовъ. Года два онъ побился въ Тобольскѣ, желая уничтожить злоупотребленія, но, видя безуспѣшность, бросилъ все и совсѣмъ пересталъ заниматься дѣлами.

Другіе, благоразумнѣе его, не дѣлали опыта, а наживались и давали наживаться.

— Я искореню взятки, сказалъ московскій губернаторъ Сенявинъ сѣдому крестьянину, подавшему жалобу на какую-то явную несправедливость. Старикъ улыбнулся.

— Что же ты смѣешься? спросилъ Сенявинъ.

— «Да, батюшка, отвѣчалъ мужикъ, ты прости; на умъ пришелъ мнѣ одинъ молодецъ нашъ, похвалялся царь-пушку поднять, и точно пробовалъ,—да только пушку-то не поднималъ!»

Сенявинъ, который самъ рассказывалъ этотъ анекдотъ, принадлежалъ къ тому числу непрактическихъ людей въ русской службѣ, которые думаютъ, что риторическими выходками о честности и деспотическимъ преслѣдованіемъ двухъ-трехъ плутовъ, которые подвернутся, можно помочь такой всеобщей болѣзни, какъ русское взяточничество, свободно растущее подъ тѣнью цензурнаго дерева.

Противъ него два средства: гласность и совершенно другая организація всей машины, введеніе снова народныхъ началъ третейскаго суда, изустнаго процесса, цѣловальниковъ, и всего того, что такъ ненавидитъ петербургское правительство.

Генераль-губернаторъ западной Сибири Пестель былъ настоящій римскій проконсулъ, да еще изъ самыхъ яростныхъ. Онъ завелъ открытый, систематическій грабежъ во всемъ краѣ, отрѣзанномъ его лазутчиками отъ Россіи. Ни одно письмо не переходило границы не распечатанное, и горе человѣку, который осмѣлился бы написать что-нибудь о его управленіи. Онъ купцовъ первой гильдіи держалъ по году въ тюрьмѣ, въ цѣпяхъ, онъ ихъ пыталъ. Чиновниковъ посылалъ на границу восточной Сибири и оставлялъ тамъ года на два, на три.

Долго терпѣлъ народъ; наконецъ, какой-то тобольскій мѣщанинъ рѣшился довести до свѣдѣнія государя о положеніи дѣлъ. Боясь обыкновеннаго пути, онъ отправился въ Кяхту и оттуда пробрался съ караваномъ чаевъ черезъ сибирскую границу. Онъ нашелъ случай въ Царскомъ-Селѣ подать Александру свою просьбу, умоляя его прочесть ее. Александръ былъ удивленъ, пора-

жень страшными вещами, прочтенными имъ. Онъ позвалъ мѣщанина и, долго говоря съ нимъ, убѣдился въ печальной истинѣ его доноса. Огорченный и нѣсколько смущенный, онъ сказалъ ему:

— Ступай, братецъ, теперь домой, дѣло это будетъ разобрано.

— «Ваше величество, отвѣчалъ мѣщанинъ, я къ себѣ теперь не пойду. Прикажете лучше меня запереть въ острогъ. Разговоръ мой съ вашимъ величествомъ не останется въ тайнѣ, — меня убьютъ».

Александръ содрогнулся и сказалъ, обращаясь къ Милорадовичу, который тогда былъ генераль-губернаторомъ въ Петербургѣ:

— Ты мнѣ отвѣчаешь за него.

— «Въ такомъ случаѣ, замѣтилъ Милорадовичъ, позвольте мнѣ его взять къ себѣ въ домъ». Тамъ мѣщанинъ дѣйствительно и оставался до окончанія дѣла.

Пестель почти всегда жилъ въ Петербургѣ. Вспомните, что и проконсулы жилали обыкновенно въ Римѣ. Онъ своимъ присутствіемъ и связями, а всего болѣе дѣлежомъ добычи, предупреждалъ всякіе непріятные слухи и дразги ¹⁾. Государственный совѣтъ, пользуясь отсутствіемъ Александра, бывшаго въ Веронѣ или Ахенѣ, умно и справедливо рѣшилъ, что такъ какъ рѣчь въ доносѣ идетъ о Сибири, то дѣло и передать на разборъ Пестелю, благо онъ налицо. Милорадовичъ, Мордвиновъ и еще человекъ два возстали противъ этого предложенія, и дѣло пошло въ сенатъ.

Сенатъ, съ тою несправедливостью, съ которой постоянно судить дѣла высшихъ чиновниковъ, выгородилъ Пестеля, а Трескина, тобольскаго гражданскаго губернатора, лишивъ чиновъ и дворянства, сослалъ куда-то на житье. Пестель былъ только отрѣшенъ отъ службы.

Послѣ Пестеля явился въ Tobольскъ Капцевичъ, изъ школы Аракчеева. Худой, желчевой, тиранъ по натурѣ, безпокойный исполнитель,—онъ приводилъ все во фрунтъ и строй, объявлялъ maximum на цѣны, а обыкновенныя дѣла оставлялъ въ рукахъ разбойниковъ. Въ 1824 году государь хотѣлъ посѣтить Tobольскъ. По Пермской губерніи идетъ превосходная широкая дорога, давно наѣзженная и которой вѣроятно способствовала почва. Капцевичъ сдѣлалъ такую же до Tobольска въ нѣсколько мѣсяцевъ. Весной, въ распутицу и стужу, онъ заставилъ тысячи работниковъ дѣ-

¹⁾ Это дало поводъ графу Раstopчину отпустить колкое слово насчетъ Пестеля. Они оба обѣдали у государя. Государь спросилъ, стоя у окна: «Что это тамъ на церкви... на крестѣ, черное?»—Я не могу разглядѣть, замѣтилъ Раstopчинъ; это надобно спросить у Бориса Ивановича, у него чудные глаза, онъ видитъ отсюда, что дѣлается въ Сибири.

латъ дорогу; ихъ сгоняли по раскладкѣ изъ ближнихъ и дальнихъ поселеній; открылись болѣзни, половина рабочихъ перемерла, но «усердіе все преодолагаетъ»—дорога была сдѣлана.

Восточная Сибирь управляется еще больше спустя рукава. Это ужъ такъ далеко, что и вѣсти едва доходятъ до Петербурга. Въ Иркутскѣ генераль-губернаторъ Броневскій любилъ палить въ городѣ изъ пушекъ, когда «гулялъ». А другой служилъ пьяный у себя въ домѣ обѣдню въ полномъ облаченіи и въ присутствіи архіерея. По крайней мѣрѣ шумъ одного и набожность другого не были такъ вредны, какъ осадное положеніе Пестеля и неусыпная дѣятельность Капцевича.

Жаль, что Сибирь такъ скверно управляется. Выборъ генераль-губернаторовъ особенно несчастенъ. Не знаю, каковъ Муравьевъ; онъ извѣстенъ умомъ и способностями; остальные были никуда не годны. Сибирь имѣетъ большую будущность; на нее смотрять только какъ на подвалъ, въ которомъ много золота, много мѣху и другого добра, но который холоденъ, занесенъ снѣгомъ, бѣденъ средствами жизни, не изрѣзанъ дорогами, не населенъ. Это невѣрно.

Русское правительство не умѣетъ сообщить тотъ жизненный толчекъ, который увлекъ бы Сибирь съ американской быстротой впередъ. Увидимъ, что будетъ, когда устья Амура откроются для судоходства и Америка встрѣтится съ Сибирью воалѣ Китая.

Я давно говорилъ, что *Тихій океанъ—Средиземное море будущаго*¹⁾. Въ этомъ будущемъ роль Сибири, страны между океаномъ, южной Азіей и Россіей, чрезвычайно важна. Разумѣется, Сибирь должна спуститься къ китайской границѣ. Не въ самомъ же дѣлѣ мерзнуть и дрожать въ Березовѣ и Якутскѣ, когда есть Красноярскъ, Минусинскъ и пр.

Самое русское народонаселеніе въ Сибири имѣетъ въ характерѣ своемъ начала, намекающія на иное развитіе. Вообще сибирское племя здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дѣти поселщиковъ, сибиряки, вовсе не знаютъ помѣщичьей власти. Дворянства въ Сибири нѣтъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ нѣтъ и аристократіи въ городахъ; чиновникъ и офицеръ, представители власти, скорѣе похожи на непріятельскій гарнизонъ, поставленный побѣдителемъ, чѣмъ на аристократію. Огромныя разстоянія спасаютъ крестьянъ отъ частаго сношенія съ ними; деньги спасаютъ купцовъ, которые въ Сибири презираютъ чиновниковъ и, наружно уступая имъ, принимаютъ ихъ за то, что они есть,—за своихъ приказчиковъ по гражданскимъ дѣламъ.

¹⁾ Съ большой радостью видѣть я, что Нью-Йоркскіе журналы нѣсколько разъ повторили это.

Привычка къ оружію, необходимая для сибиряка, повсемѣстна; привычка къ опасностямъ, къ расторопности, сдѣлали сибирскаго крестьянина болѣе воинственнымъ, находчивымъ, готовымъ на отпоръ, чѣмъ великорусскаго. Даль церквей оставила его умъ свободнѣе, чѣмъ въ Россіи, онъ холоденъ къ религіи, большей частью раскольникъ. Есть дальнія деревеньки, куда пощѣ ѣздитъ раза три въ годъ и гуртомъ нарешиваетъ, хоронитъ, женитъ и, псовѣдуетъ за всё время.

По сю сторону Уральскаго хребта дѣла дѣлаются скромнѣе, и несмотря на то, я томы могъ бы наполнить анекдотами о злоупотребленіяхъ и плутовствѣ чиновниковъ, слышанными мною въ продолженіе моей службы въ канцеляріи и столовой губернатора.

— Вотъ былъ профессоръ-съ—мой предшественникъ, говорилъ мнѣ въ минуту задушевнаго разговора вятскій полицмейстеръ, ну, конечно, эдакъ жить можно, только на это надобно родиться-съ; это въ своемъ родѣ, могу сказать, Сеславинъ, Фигнеръ,—и глаза хромого маіора, за рану произведеннаго въ полицмейстеры, блистали при воспоминаніи славнаго предшественника.

— Показалась шайка воровъ, недалеко отъ города; разъ, другой, доходитъ до начальства: то у купцовъ товаръ ограбленъ, то у управляющаго по откупамъ деньги взяты. Губернаторъ въ хлопотахъ, пишетъ одно предписаніе за другимъ. Ну, знаете, земская полиція трусь; такъ какого-нибудь воришку связать да представить она умѣетъ, а тамъ шайка, да и пожалуй съ ружьями. Земскіе ничего не сдѣлали. Губернаторъ призываетъ полицмейстера и говоритъ:

— «Я, молъ, знаю, что это вовсе не ваша должность, но ваша распорядительность заставляетъ меня обратиться къ вамъ».

Полицмейстеръ прежде ужъ о дѣлѣ былъ наслышанъ.

— Генераль, отвѣчаетъ онъ, я ѣду черезъ часъ. Воры должны быть тамъ-то и тамъ-то, я беру съ собой команду, найду ихъ тамъ-то и тамъ-то и черезъ два-три дня приведу ихъ въ цѣпяхъ въ губернскій острогъ. Вѣдь, это Суворовъ-съ у австрійскаго императора! Дѣйствительно: сказано, сдѣлано,—онъ ихъ такъ и накрылъ съ командой, денегъ не успѣли спрятать, полицмейстеръ все взялъ и представилъ воровъ въ городъ.

Начинается слѣдствіе, полицмейстеръ спрашиваетъ: — Гдѣ деньги?

— «Да мы ихъ тебѣ, батюшка, сами въ руки отдали», отвѣчаютъ двое воровъ.

— Мнѣ? говорятъ полицмейстеръ, пораженный удивленіемъ.

-- «Тебѣ, кричатъ вору, тебѣ».

-- Вотъ дерзость-то, говоритъ полицмейстеръ частному приставу, блѣднѣя отъ негодованія; да вы, мошенники, пожалуй,

увѣрите, что я вмѣстѣ съ вами грабилъ. Такъ вотъ я вамъ покажу, каково марать мой мундиръ; я уланскій корнетъ и честь свою не дамъ въ обиду!

Онъ ихъ сѣчь,—признавайся да и только, куда деньги дѣли? Тѣ сначала свое. Только какъ онъ велѣлъ имъ закатить *на двѣ трубки*, такъ главный-то изъ воровъ закричалъ: «Виноваты, деньги прогуляли».

— Давно бы такъ, говоритъ полицмейстеръ, а то несешь вздоръ такой; меня, братъ, нескоро надуешь.

— «Ну, ужъ точно, намъ у вашего благородія надобно учиться, а не вамъ у насъ. Гдѣ намъ!» пробормоталъ старый плутъ, съ удивленіемъ поглядывая на полицмейстера.—А, вѣдь, онъ за это дѣло получилъ Владиміра въ петлицу.

— Позвольте, спросилъ я, перебывая похвальное слово великому полицмейстеру,—что же это значить: *на двѣ трубки*?

— Это такъ у насъ, *домашнее* выраженіе. Скучно, знаете, при наказаніи, ну такъ велишь сѣчь да и куришь трубку, обыкновенно къ концу трубки и наказанію конецъ; ну, а въ экстренныхъ случаяхъ велишь иной разъ и на двѣ трубки угостить пріятеля. Полицейскіе привычны, знаютъ примѣрно сколько.

Объ этомъ Фигнеръ и Сеславинъ ходили цѣлыя легенды въ Вяткѣ. Онъ чудеса дѣлалъ. Разъ, не помню по какому поводу, пріѣзжалъ ли генераль-адъютантъ какой или министръ, полицмейстеру хотѣлось показать, что онъ не даромъ носилъ уланскій мундиръ и что кольнетъ шпорой не хуже другого свою лошадь. Для этого онъ адресовался съ просьбой къ одному изъ Машковцевыхъ, богатыхъ купцовъ того края, чтобъ онъ ему далъ свою сѣрую, дорогую верховую лошадь. Машковцевъ не далъ.

— Хорошо, говоритъ Фигнеръ, вы эдакой бездѣлицы не хотите сдѣлать по доброй волѣ, я и безъ вашего позволенія возьму лошадь.

— «Ну это еще посмотримъ!» сказало *злато*.

— Ну и увидите, сказаль *булатъ*.

Машковцевъ заперъ лошадь, приставилъ двухъ караульных. На этотъ разъ полицмейстеръ ошибется.

Но въ эту ночь, какъ нарочно, загорѣлись пустые сараи, принадлежавшіе откупщикамъ и находившіеся за самымъ машковцевымъ домою. Полицмейстеръ и полицейскіе дѣйствовали отлично; чтобъ спасти домъ Машковцева, они даже разобрали стѣну конюшни и вывели, не опаливши ни гривы, ни хвоста, спорную лошадь. Черезъ два часа полицмейстеръ, парадирюя на бѣломъ жеребцѣ, ѣхалъ получать благодарность особы за примѣрное потушеніе пожара. Послѣ этого никто не сомнѣвался въ томъ, что полицмейстеръ все можетъ сдѣлать.

Губернаторъ Рыхлевскій ѣхалъ изъ собранія; въ то время какъ его карета двинулась, какой-то кучеръ съ небольшими санками, заѣзжавшись, попалъ между постромокъ двухъ коренныхъ и двухъ переднихъ лошадей. Изъ этого вышла минутная конфузія, не помѣшавшая Рыхлевскому преспокойно пріѣхать домой. На другой день губернаторъ спросилъ полицмейстера, знаетъ ли онъ, чей кучеръ въѣхалъ ему въ постромки, и что его слѣдуетъ пострашать.

— Этотъ кучеръ, ваше превосходительство, не будетъ больше въ постромки заѣзжать, я ему влѣпилъ порядочный урокъ, отвѣчалъ, улыбаясь, полицмейстеръ.

— «Да чей онъ?»

— Совѣтника Кулакова-съ, ваше превосходительство.

Въ это время старикъ совѣтникъ, котораго я засталъ и оставилъ тѣмъ же совѣтникомъ губернскаго правленія, взошелъ къ губернатору.

— «Вы насъ простите, сказалъ губернаторъ ему, что мы вашего кучера поучили».

Удивленный совѣтникъ, не понимая ничего, смотрѣлъ вопросительно.

— «Вчера онъ заѣхалъ мнѣ въ постромки. Вы понимаете, если онъ мнѣ заѣхалъ, то...»

— Да, ваше превосходительство, я вчера да и хозяйка моя сидѣли дома, и кучеръ былъ дома.

— «Что это значитъ?» спросилъ губернаторъ.

— Я, ваше превосходительство вчера былъ такъ занятъ, голова кругомъ шла, виноватъ, совсѣмъ забылъ о кучерѣ и, признаюсь, не посмѣлъ доложить это вашему превосходительству. Я хотѣлъ сейчасъ распорядиться.

— «Ну, вы настоящій полицмейстеръ, нечего сказать!» замѣтилъ Рыхлевскій.

Рядомъ съ этимъ хищнымъ чиновникомъ, я покажу вамъ и другую, противоположную породу—чиновника мягкаго, сострадательнаго, ручнаго.

Между моими знакомыми былъ одинъ почтенный старецъ, исправникъ, отрѣшенный по сенаторской ревизіи отъ дѣлъ. Онъ занимался составленіемъ просьбъ и хожденіемъ по дѣламъ, что именно было ему запрещено. Чѣловѣкъ этотъ, начавшій службу съ незапамятныхъ временъ, воровалъ, подкаблывалъ, наводилъ ложныя справки въ трехъ губерніяхъ, два раза былъ подъ судомъ и пр. Этотъ ветеранъ земской полиціи любилъ рассказывать удивительныя анекдоты о самомъ себѣ и своихъ сослуживцахъ, не скрывая своего презрѣнія къ выродившимся чиновникамъ новаго поколѣнія.

— Это такъ, вертопрахи, говорилъ онъ; конечно, они берутъ, безъ этого жить нельзя, но, то-есть, эдакъ ловкости или знанія закона и не спрашивайте. Я расскажу вамъ, для примѣра, объ одномъ пріятелѣ. Судьей былъ лѣтъ двадцать, въ прошедшемъ году помре, вотъ былъ голова! И мужики его лихомъ не поминаютъ, и своимъ хлѣба кусокъ оставилъ. Совсѣмъ особенную манеру имѣлъ. Придетъ, бывало, мужикъ съ просьбицей, судья сейчасъ пускаетъ къ себѣ, такой ласковый, веселый.

— Какъ, дискать, дядюшка, твое имя и батюшку твоего какъ звали?

Крестьянинъ кланяется.—«Ермолаемъ, молъ, батюшка, а отца Григорьемъ прозывали».

— Ну, здравствуйте, Ермолай Григорьевичъ, изъ какихъ мѣстъ Господь несетъ?

— «А мы Дубиловскіе».

— Знаю, знаю. Мельницы-то, кажись, ваши вправо отъ дороги— отъ трахта.

— «Точно, батюшка, мельницы общинныя наши».

— Село зажиточное, земляца хорошая, черноземъ.

— «На Бога не жалобимся, нешто, кормилецъ».

— Да, вѣдь, оно и нужно. Не бось у тебя, Ермолай Григорьевичъ, семейка не малая?

— «Три сыночка, да дѣвки двѣ, да во дворъ къ старшей принялъ молодца, пятый годокъ пошелъ».

— Чай ужъ и внучата завелись?

— «Есть точно небольшое дѣло, ваша милость».

— И слава Богу! плодитесь и умножайтесь. Ну-тка, Ермолай Григорьевичъ, дорога дальняя, выпьемъ-ка рюмочку березовой.

Мужикъ ломается. Судья наливаєтъ ему, приговаривая:

— Полно, полно, братъ, сегодня отъ святыхъ отцевъ нѣтъ запрета на вино и елей.

— «Оно точно, что запрету нѣтъ; но вино-то и доводитъ челоуѣка до всѣхъ бѣдъ». Тутъ онъ крестится, кланяется и пьетъ березовку.

— При такой семейкѣ, Григорьичъ, небось накладно жить? Каждого накормить, одѣтъ—одной кляченкой или коровенкой не оборотишь дѣла, молока не достанетъ.

— «Помилуй, батюшка, куда толкнешься съ одной лошадежкой; есть таки троичка, была четвертая саврасая, да пала съ глазу о Петровки; плотникъ у насъ, Дороеей, не приведи Богъ, ненавидитъ чужое добро и глазъ у него больно дуренъ».

— Бываетъ-съ, бываетъ-съ. А у васъ, вѣдь, выгоны большіе, небось барашковъ держите!

— «Нешто, есть и барашки».

— Охъ, затолковался я съ тобой. Служба, Ермолай Григорьичъ, царская, пора въ судъ. Что у тебя дѣльцо, что-ли?

— «Точно, ваша милость, есть».

— Ну, что такое? повздорили что-нибудь? поскорѣе, дядя, разсказывай, пора ѣхать.

— «Да что, отецъ родной, бѣда подъ старость лѣтъ пришла... Вотъ въ самое-то Успенье были мы въ питейномъ, ну, и крупно поговорили съ сусѣдскимъ крестьяниномъ,—такой безобразный человекъ, нашъ лѣсъ крадетъ. Только поговоримши, онъ размахнулся да меня кулакомъ въ грудь. «Ты, молъ, въ чужой деревни не дерись», говорю я ему, да хотѣлъ, такъ, то-есть, примѣръ сдѣлать, тычка ему дать, да съ пьяну что ли, или нечистая сила, прямо ему въ глазъ; ну, и попортилъ, то-есть, глазъ, а онъ со старостой церковнымъ сейчасъ къ становому,—хочу, дискать, судъ по формѣ».

Во время разсказа, судья—что ваши петербургскіе актеры!—все становится серьезнѣе, глаза эдакіе сдѣлаеть страшные и ни слова.

Мужикъ видитъ и блѣднѣетъ, ставитъ шляпу у ногъ и вынимаетъ полотенце, чтобъ обтереть потъ. Судья все молчитъ и въ книжкѣ листочки перевертываетъ.

— «Такъ вотъ я, батюшка, къ тебѣ и пришелъ», говоритъ мужикъ не своимъ голосомъ.

— Чего-жъ я могу сдѣлать тутъ? Экая причина! И зачѣмъ же это прямо въ глазъ?

— «Точно, батюшка, зачѣмъ... врагъ попуталъ».

— Жаль, очень жаль! Изъ чего домъ долженъ погибнуть! Ну, что семья безъ тебя останется? все молодежь; а внучата мелкота, да и старушку-то твою жаль.

У мужика начинаютъ ноги дрожать.—«Да что же, отецъ родной, къ чему же это я себя угодилъ?»

— Вотъ, Ермолай Григорьичъ, читай самъ... или того, грамота-то не далась? Ну, вотъ видишь «о членовредителяхъ» статья... Наказавши плетми, сослать въ Сибирь на поселенье.

— «Не дай разориться человекъ! не погуби христіанина! Развѣ нельзя какъ...?»

— Экой ты какой! Развѣ супротивъ закона можно идти? Конечно, все дѣло рукъ человѣческихъ. Ну, вмѣсто тридцати ударовъ, мы назначимъ эдакъ пяточекъ.

— «Да то-есть въ Сибирь-то?...»

— Не въ нашей, братецъ ты мой, волѣ.

Тащитъ мужикъ изъ-за пазухи кошелекъ, вынимаетъ изъ кошелька бумажку, изъ бумажки два, три золотыхъ и съ низкимъ поклономъ кладетъ ихъ на столъ.

— Это что, Ермолай Григорьевичъ?

— «Спаси, батюшка».

— И полно, полно! что ты это? Я, грѣшный человѣкъ, иной разъ беру благодарность. Жалованье у меня малое, по неволѣ возьмишь; но принять, такъ было бы за что. Какъ я тебѣ помогу? Добро бы ребро или зубъ, а то прямо въ глазъ! Возьмите денежки ваши назадъ.

Мужичекъ уничтоженъ.

— Развѣ вотъ что: поговорить мнѣ съ товарищами, да и въ губернію описать? Неравно дѣло пойдетъ въ палату, тамъ у меня есть пріятели, все сдѣлаютъ; ну, только это люди другого сорта, тутъ тремя лобанчиками не отдѣлаешься.

Мужикъ начинаетъ приходиться въ себя.

— Мнѣ, пожалуй, ничего не давай, мнѣ семью жаль; ну, а тѣмъ меньше двухъ сѣренкихъ и предлагать нечего.

— «То есть, какъ предъ Богомъ, ума не приложу, гдѣ это достать такую палестину денегъ—четыреста рублевъ—время же какое?»

— Я таки и самъ думаю, что оно трудновато. Наказанье мы уменьшимъ, за раскаянье, молъ, и принявъ въ соображенье нетрезвый видъ... Вѣдь, и въ Сибири люди живутъ. Тебѣ же не Богъ вѣсть какъ далеко идти... Конечно, если продать парочку лошадокъ, да одну изъ коровъ, да барашковъ, оно можетъ и хватить. Да скоро ли потомъ въ крестьянскомъ дѣлѣ сколотишь столько денегъ! А, съ другой стороны, подумаешь, лошадки-то останутся, а ты-то пойдешь себѣ, куда Макаръ телятъ не гонялъ. Подумай, Григорьичъ, время терпить, пообождемъ до завтра, а мнѣ пора, прибавляетъ судья и кладетъ въ карманъ лобанчики, отъ которыхъ отказался, говоря: это вовсе лишнее, я беру только, чтобъ васъ не обидѣть.

На другое утро, глядь, старый жидъ тащить разными крестовиками да старинными рублями рублевъ триста пятьдесятъ ассигнаціями къ судѣ.

Судья общается печься объ дѣлѣ; мужика судятъ, судятъ, стращаютъ, а потомъ и выпускаютъ съ какимъ-нибудь легкимъ наказаніемъ или съ совѣтомъ впредь въ подобныхъ случаяхъ быть осторожнымъ, или съ отмѣткой: «оставить въ подозрѣніи», и мужикъ всю жизнь молить Бога за судью.

Вотъ какъ дѣлали встарь, приговаривалъ отрѣшенный отъ дѣла исправникъ, на чистоту.

... Вятскіе мужики вообще не очень выносливы. Зато ихъ и считаютъ чиновники ябедниками и безпокойными. Настоящій кладъ для земской полиціи, это—вотяки, мордва, чуваша; народъ жалкій, робкій, бездарный. Исправники даютъ двойной окупъ губернаторамъ за назначеніе ихъ въ уѣзды, населенные финнами.

Полиція и чиновники дѣлаютъ невѣроятныя вещи съ этими бѣдняками.

Землемѣръ ли ѣдетъ съ порученіемъ черезъ вотскую деревню, онъ непременно въ ней останавливается, беретъ съ телѣги астролябію, вбиваетъ шесть, протягиваетъ цѣпь. Черезъ часъ вся деревня въ смятеніи. «Межемѣрія, межемѣрія!» говорятъ мужики съ тѣмъ видомъ, съ которымъ въ 12-мъ году говорили «французъ, французъ!» Является староста поклониться съ міромъ. А тотъ все мѣряетъ и записываетъ. Онъ его проситъ не обмѣрить, не обидѣть. Землемѣръ требуетъ двадцать, тридцать рублей. Вотъ таки радехоньки, собираютъ деньги—и землемѣръ ѣдетъ до слѣдующей вотской деревни.

Попадется ли мертвое тѣло исправнику съ становымъ, они его возятъ двѣ недѣли, пользуясь морозомъ, по вятскимъ деревнямъ, и въ каждой говорятъ, что сейчасъ подняли и что слѣдствіе и судъ назначены въ ихъ деревнѣ. Вотъ таки откупаются.

За нѣсколько лѣтъ до моего пріѣзда, исправникъ, разохотившійся братъ выкупы, привезъ мертвое тѣло въ большую русскую деревню и требовалъ, помнится, двѣсти рублей. Староста собралъ міръ; міръ больше ста не давалъ. Исправникъ не уступалъ. Мужики разсердились, заперли его съ двумя писарями въ волостномъ правленіи и, въ свою очередь, грозили ихъ сжечь. Исправникъ не повѣрилъ угрозѣ. Мужики обложили избу соломой и какъ ультиматумъ подали исправнику на шесть въ окно сторублевую ассигнацію. Героическій исправникъ требовалъ еще сто. Тогда мужики зажгли съ четырехъ сторонъ солому, и всѣ три Муціи Сцеволы земской полиціи сгорѣли. Дѣло это было потомъ въ сенатѣ.

Вотскія деревни вообще гораздо бѣднѣе русскихъ.

— Плохо, братъ, ты живешь, говорилъ я хозяину вотяку, дожидаясь лошадей въ душевой, черной и покосившейся избушкѣ, поставленной окнами назадъ, т. е. на дворъ.

— «Что, бачка, дѣлать? мы бѣдна, деньга бережемъ на черная дня».

— Ну, чернѣе мудрено быть дню, старинушка, сказалъ я ему, наливая рюмку рому, выпей-ка съ горя.

— «Мы не пьемъ», отвѣчалъ вотякъ, страстно глядя на рюмку и подозрительно на меня.

— Полно, нутка бери.

— «Выпей сама прежде».

Я выпилъ и вотякъ выпилъ. «А ты что? спросилъ онъ, съ губернія, по дѣлу?»

— Нѣтъ, отвѣчалъ я, проѣздомъ, ѣду въ Вятку. Это его значительно успокоило, и онъ, осмотрѣвшись на всѣ стороны, прибавилъ въ видѣ поясненія: «Черной дня, когда исправникъ да *ночь* пріѣдутъ».

Вотъ о послѣднемъ-то я и хочу рассказать вамъ кое-что.

Финское населеніе долею приняло крещеніе въ допетровскія времена, долею было окрещено въ царствованіе Елизаветы и долею осталось въ язычествѣ. Большая часть крещеныхъ при Елизаветѣ тайно придерживается своей печальной, дикой религіи ¹⁾.

Года черезъ два, три, исправникъ или становой отправляются съ попомъ по деревнямъ ревизовать, кто изъ вотяковъ говѣлъ, кто нѣтъ, и почему нѣтъ. Ихъ тѣснять, сажаютъ въ тюрьму, съкутъ, заставляютъ платить требы; а главное, попъ и исправникъ ищутъ какое-нибудь доказательство, что вотяки не оставили своихъ прежнихъ обрядовъ. Тутъ сыщикъ и миссіонеръ поднимаютъ бурю, берутъ огромный окупъ, дѣлаютъ «черная дня», потомъ уѣзжаютъ, оставляя все по старому, чтобъ имѣть случай черезъ годъ, другой снова поѣхать.

Въ 1835 году святѣйшій синодъ счелъ нужнымъ обратить черемисовъ-язычниковъ въ православіе.

Митрополитъ Филаретъ отрядилъ миссіонеромъ бойкаго священника. Его звали Курбановскимъ. Снѣдаемый русской болѣзною, честолюбіемъ, Курбановскій горячо принялся за дѣло. Сначала онъ пробовалъ проповѣдывать, но это ему скоро надоѣло. И въ самомъ дѣлѣ, много ли возьмешь этимъ старымъ средствомъ?

Черемисы, смекнувши въ чемъ дѣло, прислали своихъ священниковъ, дикихъ, фанатическихъ и ловкихъ. Они, послѣ долгихъ разговоровъ, сказали Курбановскому: «Въ лѣсу есть бѣлыя березы, высокія сосны и ели, есть то же и малая можюха. Богъ всѣхъ ихъ терпитъ и не велитъ можюхѣ быть сосной. Такъ вотъ и мы межъ собой, какъ лѣсъ. Будьте вы бѣлыми березами, мы останемся можюхой, мы вамъ не мѣшаемъ, за царя молимся, подать платимъ и рекрутовъ ставимъ, а святынѣ своей измѣнить не хотимъ» ²⁾.

Курбановскій увидѣлъ, что съ ними не столкнешь и что доля Кирилла и Меодія ему не удастся; онъ обратился къ исправ-

¹⁾ Всѣ молитвы ихъ сводятся на матеріальную просьбу о продолженіи ихъ рода, объ урожаѣ, о сохраненіи стада и больше ничего. «Дай, Юмала, чтобъ отъ одного барана родилось два, отъ одного зерна родилось пять, чтобъ у моихъ дѣтей были дѣти». Въ этой неувѣренности въ земной жизни и хлѣбѣ насущномъ есть что-то отжившее, подавленное, несчастное и печальное. Діаволь (шайтанъ) почитается наравнѣ съ богомъ. Я видѣлъ сильный пожаръ въ одномъ селѣ, въ которомъ жители были перемѣшаны — русскіе и вотяки. Русскіе таскали вещи, кричали, хлопотали, особенно между ними отличался цѣловальникъ. Пожаръ остановить было невозможно; но спасти кое-что было сначала легко. Вотяки собрались на небольшой холмикъ и плакали навзрыдъ, ничего не дѣлая.

²⁾ Подобный отвѣтъ (если Курбановскій его не выдумалъ) былъ нѣкогда сказанъ крестьянами въ Германіи, которыхъ хотѣли обращать въ католицизмъ.

нику. Исправникъ обрадовался до нельзя; ему давно хотѣлось показать свое усердіе къ церкви,—онъ былъ некрещеный татаринъ, т. е. правовѣрный магометанинъ, по названію Девлетъ Килдѣевъ.

Исправникъ взялъ съ собой команду и поѣхалъ осаждать черемисовъ. Нѣсколько деревень были окрещены. Курбановскій отслужилъ молебствіе и отправился смиренно получать камилавку. Татарину правительство прислало Владимірскій крестъ.

По несчастію, татаринъ-миссіонеръ былъ не въ ладахъ съ муллою въ Малмыжѣ. Муллѣ совсѣмъ не нравилось, что правовѣрный сынъ корана такъ успѣшно проповѣдуетъ Евангеліе. Въ рамазанъ исправникъ, отчаянно привязавши крестъ въ петлицу, явился въ мечети и, разумѣется, сталъ впереди всѣхъ. Мулла только было началъ читать въ носъ Коранъ, какъ вдругъ остановился и сказалъ, что онъ не смѣетъ продолжать въ присутствіи *правовѣрнаго*, пришедшаго въ мечеть съ христіанскимъ знаменіемъ.

Татары зароптали, исправникъ смѣшался и куда-то спрятался или снялъ крестъ.

Я потомъ читалъ въ журналѣ министерства внутреннихъ дѣлъ объ этомъ блестящемъ обращеніи черемисовъ. Въ статьѣ было упомянуто ревностное содѣйствіе Девлетъ-Килдѣева. По несчастію, забыли прибавить, что усердіе къ церкви было тѣмъ болѣе безкорыстно у него, чѣмъ тверже онъ вѣрилъ въ исламизмъ.

Передъ окончаніемъ моей вятской жизни департаментъ государственныхъ имуществъ воровалъ до такой наглости, что надъ нимъ назначили слѣдственную комиссію, которая разослала ревизоровъ по губерніямъ. Съ этого началось введеніе новаго управленія государственными крестьянами.

Губернаторъ Корниловъ долженъ былъ назначить отъ себя двухъ чиновниковъ при ревизіи. Я былъ одинъ изъ назначенныхъ. Чего не пришлось мнѣ тутъ прочесть! и печальнаго, и смѣшнаго, и гадкаго. Самые заголовки дѣлъ поражали меня удивленіемъ.

«Дѣло о потери *неизвѣстно* куда дома волостного правленія и о изгрызеніи плана онаго мышами».

«Дѣло о потери *двадцати двухъ* казенныхъ оброчныхъ статей», т. е. верстъ пятнадцати земли.

«Дѣло о перечисленіи крестьянскаго мальчика Василья въ женскій полъ».

Послѣднее было такъ хорошо, что я тотчасъ прочелъ его отъ доски до доски.

Отецъ этого предполагаемаго Василья ишетъ въ своей просьбѣ губернатору, что лѣтъ пятнадцать тому назадъ у него родилась

дочь, которую онъ хотѣлъ назвать Василисой, но что священникъ, бывъ «подъ хмелькомъ», окрестилъ дѣвочку Васильемъ и такъ внесъ въ метрику. Обстоятельство это, повидимому, мало беспокоило мужика, но когда онъ понялъ, что скоро падеть на его домъ рекрутская очередь и подушная, тогда онъ объявилъ о томъ головѣ и становому. Случай этотъ показался полиціи очень мудренъ. Она предварительно отказала мужику, говоря, что онъ пропустилъ десятилѣтнюю давность. Мужикъ пошелъ къ губернатору. Губернаторъ назначилъ торжественное освидѣтельствованіе этого мальчика женскаго пола медикомъ и повивальной бабкой... Тутъ ужъ какъ-то завелась переписка съ консисторіей, и попъ, наслѣдникъ того, который подъ хмелькомъ цѣломудренно не разбиралъ плотскихъ различій, выступилъ на сцену, и дѣло длилось годы, и чуть ли дѣвочку не оставили въ подозрѣніи мужескаго пола.

Не думайте, что это нелѣпное предположеніе сдѣлано мною для шутки.

При Павлѣ, какой-то гвардейскій полковникъ въ мѣсячномъ рапортѣ показалъ умершимъ офицера, который отходилъ въ больницѣ. Павелъ его исключилъ за смертью изъ списковъ. Но несчастью, офицеръ не умеръ, а выздоровѣлъ. Полковникъ упротилъ его на годъ или на два уѣхать въ свои деревни, надѣясь сыскать случай поправить дѣло. Офицеръ согласился, но, на бѣду полковника, наслѣдники, прочитавшіе въ приказахъ о смерти родственника, ни за что не хотѣли его признавать живымъ и, безутѣшные отъ потери, настойчиво требовали ввода во владѣніе. Когда живой мертвецъ увидѣлъ, что ему приходится въ другой разъ умирать, и не съ приказу, а съ голоду, тогда онъ поѣхалъ въ Петербургъ и подалъ Павлу просьбу.

Это еще лучше моей Василисы-Василья.

Какъ ни грязно и ни топко въ этомъ болотѣ приказныхъ дѣлъ, но прибавлю еще нѣсколько словъ. Эта гласность—послѣднее, слабое вознагражденіе страдавшимъ, погибнувшимъ безъ вѣсти, безъ утѣшенія.

Правительство даетъ охотно въ награду высшимъ чиновникамъ пустопорожнія земли. Вреда въ этомъ большого нѣтъ, хотя умнѣе было бы сохранить эти запасы для умножающагося населенія. Правила, по которымъ велѣно отмежевывать земли, довольно подробны; нельзя давать береговъ судоходной рѣки, строевого лѣса, обоихъ береговъ рѣки, наконецъ, ни въ какомъ случаѣ не велѣно выдѣлять земель, обработанныхъ крестьянами, хотя бы крестьяне не имѣли никакихъ правъ на эти земли, кромѣ давности... ¹⁾.

¹⁾ Въ Вятской губерніи крестьяне особенно любятъ переселяться. Очень часто въ лѣсу открываются вдругъ три-четыре починка. Огромныя земли

Все это, разумѣется, на бумагѣ. На дѣлѣ отмежеваніе земель въ частное владѣніе страшный источникъ грабежа казны и при- тѣсненія крестьянъ.

Благородные вельможи, получающіе аренды, обыкновенно или продаютъ свои права купцамъ, или стараются черезъ губерн- ское начальство завладѣть вопреки правиламъ чѣмъ-нибудь осо- беннымъ. Самъ графъ Орловъ *случайно* получилъ въ надѣлѣ до- рогу и пастбища, на которыхъ останавливаются гурты въ Сара- товской губерніи.

Дивиться, стало быть, нечему, что однимъ добрымъ утромъ у крестьянъ Даровской волости, Котельническаго уѣзда, отрѣзали землю вплоть до гуменниковъ и домовъ и отдали въ частное вла- дѣніе купцамъ, купившимъ аренду у какого-то родственника графа Канкринна. Купцы положили наемную плату за землю. Изъ этого началось дѣло. Казенная палата, закупленная купцами и боясь родственника Канкринна, запутала дѣло. Но крестьяне рѣшились его вести настойчиво; они выбрали двухъ толковыхъ мужиковъ и отправили ихъ въ Петербургъ. Дѣло пошло въ сенатъ. Меже- вой департаментъ догадался, что мужики правы, но не зналъ, что дѣлать, и спросилъ Канкринна. Канкринъ просто призналъ, что земля неправильно отрѣзана, но считалъ затруднительнымъ возратить ее, потому что она съ тѣхъ поръ *могла* быть перепро- даваема и что владѣльцы оной *могли сдѣлать* разныя улучшенія. А потому его сіятельство положило, пользуясь большимъ коли- чествомъ казенныхъ земель, надѣлить крестьянъ полнымъ коли- чествомъ съ другой стороны. Это понравилось всѣмъ, кромѣ крестьянъ. Во-первыхъ, шуточное ли дѣло вновь разрабатывать поля? Во-вторыхъ, земля съ другой стороны оказалась неудобною, болотистою. Такъ какъ крестьяне Даровской волости больше за- нимались хлѣбопашествомъ, чѣмъ охотой за дупелями и бекасами, то они снова подали просьбу.

Тогда казенная палата и министерство финансовъ отдѣлили новое дѣло отъ прежняго и, найдя законъ, въ которомъ сказано, что если попадется неудобная земля, идущая въ надѣлѣ, то не вырѣзывать ее, а прибавлять еще половинное количество, велѣли дать даровскимъ крестьянамъ къ болоту еще полболота.

Крестьяне снова подали въ сенатъ, но пока ихъ дѣло дошло до разбора, межевой департаментъ прислалъ имъ планы на новую землю, какъ водится, переплетенные, раскрашенные, съ изображе- ніемъ звѣзды вѣтровъ, съ приличными объясненіями ромба R R Z

и лѣса (до половины уже сведенные) увлекаютъ крестьянъ брать эту *res nullius*, бесполезно остающуюся. Министерство финансовъ нѣсколько разъ принуждено было утверждать землю за захватившими.

и ромба Z Z R, а главное съ требованіемъ такой-то подесятинной платы. Крестьяне, увидѣвъ, что имъ не только не отдаютъ земли, но хотятъ съ нихъ слупить деньги за болото, начисто отказались платить.

Исправникъ донесъ Тюфяеву. Тюфяевъ послалъ военную экзекуцію подъ начальствомъ вятскаго полицмейстера. Тотъ приѣхалъ, схватилъ нѣсколько человекъ, пересѣкъ ихъ, усмирилъ волость, взялъ деньги, предалъ *виновныхъ* уголовному суду и недѣлю говорилъ хриплымъ языкомъ отъ крику. Нѣсколько человекъ были наказаны плетью и сосланы на поселенье.

Черезъ два года наслѣдникъ проѣзжалъ Даровской волостью, крестьяне подали ему просьбу, онъ велѣлъ разобрать дѣло. По этому случаю, я составлялъ изъ него докладную записку. Что вышло путнаго изъ этого пересмотра, я не знаю. Слышалъ я, что сосланныхъ воротили, но воротили ли землю,—не слыхалъ.

Въ заключеніе упомяну о знаменитой исторіи картофельнаго бунта.

Русскіе крестьяне неохотно сажали картофель, какъ нѣкогда крестьяне всей Европы, какъ будто инстинктъ говорилъ народу, что это дрянная пища, не дающая ни силъ, ни здоровья. Впрочемъ, у порядочныхъ помѣщиковъ и во многихъ казенныхъ деревняхъ «земляныя яблоки» саживались гораздо прежде картофельнаго террора.

Крестьяне Казанской и долею Вятской губерніи засѣяли картофелемъ поля. Когда картофель былъ собранъ, министерству пришло въ голову завести по волостямъ центральныя ямы. Ямы утверждены, ямы предписаны, ямы копаются, и въ началѣ зимы мужики, скрѣпя сердце, повезли картофель въ центральныя ямы. Но когда слѣдующей весной ихъ хотѣли заставить сажать *мерзлый* картофель, они отказались. Дѣйствительно, не могло быть оскорбленія болѣе дерзкаго труда, какъ приказъ дѣлать явнымъ образомъ нелѣпость. Это возраженіе было представлено, какъ бунтъ. Министръ Киселевъ прислалъ изъ Петербурга чиновника; онъ, человекъ умный и практическій, взялъ въ первой волости по рублю съ души и позволилъ не сѣять картофельные выморозки.

Чиновникъ повторилъ это во второй и въ третьей. Но въ четвертой голова сказалъ ему наотрѣзъ, что онъ картофель сажать не будетъ, ни денегъ ему не дастъ. «Ты, говорилъ онъ ему, освободилъ такихъ-то и такихъ-то; ясное дѣло, что и насъ долженъ освободить». Чиновникъ хотѣлъ дѣло кончить угрозами и розгами, но мужики схватились за колья, полицейскую команду прогнали; военный губернаторъ послалъ казаковъ. Сосѣднія волости вступились за своихъ.

Довольно сказать, что дѣло дошло до пушечной картечи и ружейныхъ выстрѣловъ. Мужики оставили дома, разсыпались по лѣсамъ; казаки ихъ выгоняли изъ чащи, какъ дикихъ звѣрей; тутъ ихъ хватали, ковали въ цѣпи и отправляли въ военно-судную комиссію въ Космодемьянскъ.

По странной случайности, старый маіоръ внутренней стражи былъ честный, простой человѣкъ; онъ добродушно сказалъ, что всему виною чиновникъ, присланный изъ Петербурга. На него всѣ опрокинулись, его голосъ подавили, заглушили; его запугали и даже застыдили тѣмъ, что онъ хочетъ «погубить невиннаго человѣка».

Ну, и слѣдствіе пошло обычнымъ русскимъ чередомъ: мужиковъ сѣкли при допросахъ, сѣкли въ наказаніе, сѣкли для примѣра, сѣкли изъ-за денегъ и цѣлую толпу сослали въ Сибирь.

Замѣчательно, что Киселевъ проѣзжалъ по Космодемьянску во время суда. Можно было бы, кажется, завернуть въ военную комиссію или позвать къ себѣ маіора.

Онъ этого не сдѣлалъ!

...Знаменитый Тюрго, видя ненависть французовъ къ картофелю, разослалъ всѣмъ откупщикамъ, поставщикамъ и другимъ подвластнымъ лицамъ картофель на посѣвъ, строго запретивъ давать крестьянамъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ онъ сообщилъ имъ тайно, чтобъ они не препятствовали крестьянамъ красть на посѣвъ картофель. Въ нѣсколько лѣтъ часть Франціи обсыялась картофелемъ.

Tout bien pris, вѣдь это лучше картечи, Павелъ Дмитріевичъ?

Къ Вяткѣ прикочевалъ въ 1836 г. таборъ цыганъ и расположился на полѣ. Цыгане эти таскались до Тобольска и Ирбита, продолжая съ незапамятныхъ временъ свою вольную бродячую жизнь, съ вѣчнымъ ученымъ медвѣдемъ и ничему не учеными дѣтьми, съ коновалами, гаданьемъ и мелкимъ воровствомъ. Они спокойно пѣли пѣсни и крали куръ, но вдругъ губернаторъ получилъ повелѣніе, буде найдутся цыгане *безпаспортные* (ни у одного цыгана никогда не бывало паспорта), то дать имъ такой-то срокъ, чтобъ они приписались тамъ, гдѣ ихъ застанетъ указъ, къ сельскимъ обществамъ.

По прошествіи же даннаго срока, предписывалось *всѣхъ* годовныхъ къ военной службѣ отдать въ солдаты, *остальныхъ* отправить на поселеніе, *отобравъ дѣтей* мужского пола.

Этотъ указъ сконфузилъ самого Тюфяева. Онъ объявилъ цыганамъ указъ, написалъ въ Петербургъ о невозможности исполненія. Для того, чтобъ приписываться, надобны деньги, надобно согласіе обществъ, которыя тоже даромъ не захотятъ принять цыганъ, и притомъ слѣдуетъ еще предположить, что сами цы-

гане хотять ли именно тутъ поселиться. Взявъ все во вниманіе, Тюфяевъ, и тутъ нельзя ему не отдать справедливости, представилъ министерству о томъ, чтобъ имъ дать льготы и отсрочки.

Министръ отвѣчалъ предписаніемъ по истеченіи срока привести въ исполненіе распоряженіе. Скрѣпя сердце, послалъ Тюфяевъ команду, которой велѣлъ окружить таборъ; когда это было сдѣлано, явилась полиція съ гарнизоннымъ батальономъ, и, что тутъ, говорятъ, было, это трудно себѣ представить. Женщины съ растрепанными волосами, съ крикомъ и слезами, въ какомъ-то безуміи бѣгали, валялись въ ногахъ у полиціи, сѣдя старухи цѣплялись за сыновей. Но порядокъ восторжествовалъ, и Колчевскій полицмейстеръ забралъ дѣтей, забралъ рекрутъ, остальныхъ отправили по этапамъ куда-то на поселеніе.

Но когда отобрали дѣтей, возникъ вопросъ, куда ихъ дѣть? и на какія деньги содержать?

Прежде при приказахъ общественнаго призрѣнія были воспитательные дома, ничего не стоявшіе казнѣ. Но ихъ уничтожили, какъ вредныя для нравственности. Тюфяевъ далъ впередъ своихъ денегъ и спросилъ министра. Министры велѣли отдать малютокъ, впредь до распоряженія, на попеченіе стариковъ и старухъ, призираемыхъ въ богадѣльнѣ.

Маленькихъ дѣтей помѣстить съ умирающими стариками и старухами и заставить ихъ дышать воздухомъ смерти, и поручить ищущимъ покоя старикамъ ухаживать за дѣтьми даромъ...

Поэты!

Чтобы не прерываться, расскажу я здѣсь исторію, случившуюся года полтора спустя съ владимірскимъ старостою моего отца. Мужикъ онъ былъ умный, бывалый, ходилъ въ извозѣ, самъ держалъ нѣсколько троекъ и лѣтъ двадцать сидѣлъ старостой небольшой оброчной деревеньки.

Въ тотъ годъ, въ который я жилъ въ Владимірѣ, сосѣдніе крестьяне просили его сдать за нихъ рекрута; онъ явился въ городъ съ будущимъ защитникомъ отечества на веревкѣ и съ большою самоувѣренностью, какъ мастеръ своего дѣла.

— «Это, батюшка, говоритъ онъ, расчесывая пальцами свою окладистую бѣлокурую бороду съ просѣдью,—все дѣло рукъ человѣческихъ. Въ запрошломъ году нашего малаго ставили, былъ такой плохинькой, ледащій, мужички больно опасались, что не сойдетъ. Ну, я и говорю, а что примѣрно, православные, прикладу положите,—не мазано колесо не вертится. Мы такъ потолковали промежь себя, міръ-то и опредѣлили двадцать пять золотыхъ. Приѣзжаю я въ губернію и, поговоривши въ казенной палатѣ, иду прямо къ предсѣдателю,—человѣкъ, батюшка, былъ онъ умный и меня давненько зналъ. Велѣлъ онъ позвать меня въ ка-

бинеть, а у самого ножка болить, такъ изволить лежать на софѣ. Я ему все представилъ; а онъ мнѣ въ отвѣтъ со смѣхомъ: «Ладно, ладно, ты толкуй,—сколько *оныхъ*-то привезъ; ты, вѣдь, жидоморь, знаю я тебя». Я положилъ на столъ десять лобанчиковъ и поклонился въ поясъ; они ихъ такъ въ ручку взяли и поигрываютъ,—«а что, говорить, не мнѣ, вѣдь, одному платить-то надо, что же ты еще привезъ?» Я докладываю, съ десятокъ, моль, еще наберется. Ну, говорить, куда же ты ихъ дѣнешь, самъ считаи—лекарю два, военному приѣмщику два, письмоводителю, ну, тамъ на всякое угощеніе все же больше трехъ не выйдетъ,—такъ ты ужъ остальные мнѣ отдай, а я постараюсь уладить дѣльцо».

— Ну, что же, ты даль?

— «Вѣстимо, что даль; ну, и забрали лобъ очень хорошо».

Обученный такому округленію счетовъ, привыкнувшій къ такого рода смѣтамъ, а вѣроятно и къ пяти золотымъ, о судьбѣ которыхъ онъ умолчалъ, староста былъ увѣренъ въ успѣхѣ. Но много несчастій можетъ пройти между взяткой и рукой того, который ее беретъ. Къ рекрутскому набору въ Владиміръ былъ присланъ флигель-адъютантъ графъ Эссенъ. Староста сунулся къ нему съ своими лобанчиками и арапчиками. Но несчастью, нашъ графъ, какъ героиня въ Нулинѣ, былъ воспитанъ «не въ отеческомъ законѣ», а въ школѣ балтійской аристократіи, учащей нѣмецкой преданности русскому государю. Эссенъ разсердился, раскричался и, что хуже всего, позвонилъ; вѣжалъ письмоводитель, явились жандармы. Староста, никогда не мечтавшій о существованіи людей въ мундирѣ, которые бы не брали взятокъ, до того растерялся, что не заперся, не началъ клясться и божиться, что никогда денегъ не давалъ, что если только хотѣлъ этого, такъ чтобъ лопнули его глаза и росинка не попала бы въ ротъ. Онъ, какъ баранъ, позволилъ себя уличить, свести въ полицію, и раскаяваясь вѣроятно въ томъ, что мало генералу предложилъ и тѣмъ его обидѣлъ.

Но Эссенъ, недовольный ни собственной чистой совѣстью, ни страхомъ несчастнаго крестьянина, и желая, вѣроятно, искоренить in Russland взятки, наказать порокъ и поставить цѣлебный примѣръ, написалъ въ полицію, написалъ губернатору, написалъ въ рекрутское присутствіе о злодѣйскомъ покушеніи старосты. Мужика посадили въ острогъ и отдали подъ судъ. Благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честнымъ человѣкомъ, даетъ деньги чиновнику, и самого чиновника, который беретъ взятку, дѣло было скверно и старосту надобно было спасти, во что-бъ ни стало.

Я бросился къ губернатору; онъ отказался вступать въ это дѣло; предсѣдатель и совѣтники уголовной палаты, испуганные

вмѣшательствомъ флигель-адъютанта, качали головой. Самъ флигель-адъютантъ первый, смѣнивъ гнѣвъ на милость, говорилъ, «что онъ никакого зла сдѣлать старостѣ не хочетъ, что онъ хотѣлъ его проучить, что *«пусть его посудятъ да и отпустятъ»*. Когда я это рассказывалъ полицмейстеру, тотъ мнѣ замѣтилъ: «То-то и есть, что всѣ эти господа не знаютъ дѣла, прислалъ бы его просто ко мнѣ, я бы ему дураку вздулъ бы спину, не суйся, молю, въ воду, не спросясь броду, да и отпустилъ бы его во свояси,—всѣ бы и были довольны; а теперъ, поди, расчихивайся съ палатой».

Два сужденія эти такъ ловко и ярко выражаютъ русское имперское понятіе о правѣ, что я не могъ ихъ позабыть.

Между этими геркулесовыми столбами отечественной юриспруденціи, староста попалъ въ средній, въ самый глубокой омутъ, т. е. въ уголовную палату. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ заготовили рѣшеніе, въ силу котораго старосту, наказавши плетью, отправляли въ Сибирь на поселеніе. Явился ко мнѣ его сынъ, вся семья, умоляя спасти отца и главу семейства. Жаль мнѣ было смертельно самому крестьянина, совершенно невинно погибшаго. Поѣхалъ я снова къ предсѣдателю и совѣтникамъ, снова сталъ имъ доказывать, что они себѣ причиняютъ вредъ, наказывая такъ строго старосту; что они сами очень хорошо знаютъ, что ни одного дѣла безъ взятокъ не кончишь, что, наконецъ, имъ самимъ нечего будетъ ѣсть, если они, какъ истинные христіане, не будутъ находить, что всякъ даръ совершенъ и всякое даяніе благо. Прося, кланаясь и посылая сына старосты еще ниже кланяться, я достигъ въ половину моей цѣли. Старосту присудили къ наказанію нѣсколькими ударами плетью въ стѣнахъ острога, съ оставленіемъ на мѣстѣ жительства и съ воспрещеніемъ ходатайствовать по дѣламъ за другихъ крестьянъ.

Я веселѣе вздохнулъ, увидя, что губернаторъ и прокуроръ согласились, и отправился въ полицію просить объ облегченіи силы наказанія; полицейскіе, отчасти польщенные тѣмъ, что я самъ пришелъ ихъ просить, отчасти жалѣя мученика, пострадавшаго за такое близкое каждому дѣло, сверхъ того, зная, что онъ мужикъ зажиточный, обѣщали мнѣ сдѣлать одну проформу.

Черезъ нѣсколько дней явился какъ-то утромъ староста, похудѣвшій и еще болѣе сѣдой, нежели былъ. Я замѣтилъ, что, при всей радости, онъ былъ что-то грустенъ и подъ вліяніемъ какой-то тяжелой мысли.

— О чемъ ты кручинишься? спросилъ я его.

— «Да что ужъ разомъ бы все порѣшили».

— Ничего не понимаю.

— «Да, то есть, когда же наказывать-то будутъ?»

— А тебя не наказывали?

— «Нѣтъ».

— Какъ же тебя выпустили? Ты, вѣдь, идешь домой?

— «Домой-то домой, да вотъ о наказаніи-то думается, секлетарь именно читалъ».

Я ничего въ самомъ дѣлѣ не понималъ и, наконецъ, спросилъ его, дали ли ему какой-нибудь видъ? Онъ подалъ мнѣ его. Въ немъ было написано все рѣшеніе и въ концѣ сказано, что, учинивъ по указу уголовной палаты наказаніе плетями въ стѣнахъ тюремнаго замка, «выдать ему оное свидѣтельство и изъ замка освободить».

Я расхохотался.—Да, вѣдь, уже ты наказанъ!

— «Нѣтъ, батюшка, нѣтъ».

— Ну, если недоволенъ, ступай назадъ, проси, чтобъ наказали, можетъ, полиція взойдетъ въ твое положеніе.

Видя, что я смѣюсь, улыбнулся и старикъ, сомнительно качая головой и приговаривая: «Поди ты вонъ, эки чудеса».

Экой безпорядокъ, скажутъ многіе; но пусть же они вспомнятъ, что только этотъ безпорядокъ и дѣлаетъ возможною жизнь въ Россіи.

ГЛАВА XVI.

Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ.

Середь этихъ уродливыхъ и сальныхъ, мелкихъ и отвратительныхъ лицъ и сценъ, дѣлъ и заголовокъ, въ этой канцелярской рамѣ и приказной обстановкѣ, вспоминаются мнѣ печальныя, благородныя черты художника.

Два года съ половиной я прожилъ съ великимъ художникомъ и видѣлъ, какъ подъ бременемъ гоненій и несчастій, разлагался этотъ сильный человекъ.

Нельзя сказать, чтобъ онъ легко сдался, онъ отчаянно боролся цѣлыхъ десять лѣтъ, онъ пріѣхалъ въ ссылку еще въ надеждѣ одолѣть враговъ, оправдаться, онъ пріѣхалъ, словомъ, еще готовый на борьбу, съ планами и предположеніями. Но тутъ онъ разглядѣлъ, что все кончено.

Можетъ быть, онъ сладилъ бы и съ этимъ открытіемъ, но возлѣ стояла жена, дѣти, а впереди представлялись годы ссылки, нужды, лишеній, и Витбергъ сѣдѣлъ, сѣдѣлъ, старѣлъ, старѣлъ, не по днямъ, а по часамъ. Когда я его оставилъ въ Вяткѣ черезъ два года, онъ былъ десятью годами старше.

Вотъ повѣсть этого длиннаго мученичества.

Императоръ Александръ не вѣрилъ своей побѣдѣ надъ Наполеономъ, ему было тяжело отъ славы и онъ откровенно относилъ ее къ Богу. Всегда наклонный къ мистицизму и сумрачному расположенію духа, онъ особенно предался ему послѣ ряда побѣдъ надъ Наполеономъ.

Когда «послѣдній непріятельскій солдатъ переступилъ границу», Александръ издалъ манифестъ, въ которомъ давалъ обѣтъ воздвигнуть въ Москвѣ огромный храмъ во имя Спасителя.

Требовались отовсюду проекты, назначался большой конкурсъ.

Витбергъ былъ тогда молодымъ художникомъ, окончившимъ курсъ и получившимъ золотую медаль за живопись. Шведъ по происхожденію, онъ родился въ Россіи и сначала воспитывался въ горномъ кадетскомъ корпусѣ. Восторженный, эксцентрическій и преданный мистицизму артистъ; артистъ читаетъ манифестъ, читаетъ вызовы—и бросаетъ всѣ свои занятія. Дни и ночи бродитъ онъ по улицамъ Петербурга, мучимый неотступной мыслью, она сильнѣе его, онъ запирается въ своей комнатѣ, беретъ карандашъ и работаетъ.

Ни одному человѣку не довѣрилъ артистъ своего замысла. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ труда, онъ ѣдетъ въ Москву изучать городъ, окрестности, и снова работаетъ, мѣсяцы цѣлые скрываясь отъ глазъ и скрывая свой проектъ.

Пришло время конкурса. Проектовъ было много, были проекты изъ Италіи и изъ Германіи, наши академики представили свои. И неизвѣстный молодой человѣкъ представилъ свой чертежъ въ числѣ прочихъ. Недѣли прошли, прежде чѣмъ императоръ занялся планами. Это были сорокъ дней въ пустынѣ, дни искуса, сомнѣній и мучительнаго ожиданія.

Колоссальный, исполненный религіозной поэзіи проектъ Витберга поразилъ Александра. Онъ остановился передъ нимъ и объ немъ первомъ спросилъ, кѣмъ онъ представленъ. Распечатали пакетъ и нашли неизвѣстное имя ученика академіи.

Александръ захотѣлъ видѣть Витберга. Долго говорилъ онъ съ художникомъ. Смѣлый и одушевленный языкъ его, дѣйствительное вдохновеніе, которымъ онъ былъ проникнутъ, и мистическій колоритъ его убѣжденій поразили императора. «Вы камнями говорите», замѣтилъ онъ, снова разсматривая проектъ.

Въ тотъ же день проектъ былъ утвержденъ, и Витбергъ назначенъ строителемъ храма и директоромъ комиссіи о постройкѣ. Александръ не зналъ, что вмѣстѣ съ лавровымъ вѣнкомъ онъ надѣваетъ и терновый на голову артиста.

Нѣтъ ни одного искусства, которое было бы роднѣ мистицизму, какъ зодчество; отвлеченное, геометрическое, нѣмо-музыкальное, безстрастное, оно живетъ символиккой, образомъ, наме-

комъ. Простыя линіи, ихъ гармоническое сочетаніе, ритмъ, числовыя отношенія представляютъ нѣчто таинственное и съ тѣмъ вмѣстѣ неполное. Зданіе, храмъ не заключаютъ сами въ себѣ своей цѣли, какъ статуя или картина, поэма или симфонія; зданіе ищетъ обитателя, это очерченное, расчищенное мѣсто, это обстановка, броня черепахи, раковина моллюска,—именно въ томъ-то и дѣло, чтобъ содержащее такъ соотвѣтствовало духу, цѣли, жильцу, какъ панцирь черепахѣ. Въ стѣнахъ храма, въ его сводахъ и колоннахъ, въ его порталѣ и фасадѣ, въ его фундаментѣ и куполѣ должно быть отпечатлѣно божество, обитающее въ немъ, такъ, какъ извивы мозга отпечатлѣваются на костяномъ черепѣ.

Египетскіе храмы были ихъ священныя книги. Обелиски—проповѣди на большой дорогѣ.

Соломоновъ храмъ — построенная библия. Такъ, какъ храмъ святого Петра — построенный выходъ изъ католицизма, начало свѣтскаго міра, начало растриженія рода человѣческаго.

Самое построеніе храмовъ было всегда такъ полно мистическихъ обрядовъ, иносказаній, таинственныхъ посвященій, что средневѣковые строители считали себя чѣмъ-то особеннымъ, какимъ-то духовенствомъ, преемниками строителей Соломонова храма, и составляли между собой тайныя артели каменщиковъ, перешедшія впослѣдствіи въ масонство.

Собственно мистическій характеръ зодчество теряетъ съ вѣками Возстановленія. Христіанская вѣра борется съ философскимъ сомнѣніемъ, готическая стрѣлка съ греческимъ фронтономъ, духовная святыня съ свѣтской красотой. Поэтому-то храмъ св. Петра и имѣетъ такое высокое значеніе, въ его колоссальныхъ размѣрахъ христіанство рвется въ жизнь, церковь становится языческая и Буонаротти рисуетъ на стѣнѣ Сикстинской капеллы Иисуса Христа широкоплечимъ атлетомъ, Геркулесомъ въ цвѣтѣ лѣтъ и силы.

Послѣ храма св. Петра зодчество церковей совсѣмъ пало и свелось, наконецъ, на простое повтореніе въ разныхъ размѣрахъ то древнихъ греческихъ *периптеровъ*, то церкви св. Петра.

Одинъ Паренонъ назвали церковью св. Магдалины въ Парижѣ. Другой—биржей въ Нью-Йоркѣ.

Безъ вѣры и безъ особыхъ обстоятельствъ трудно было создать что-нибудь живое; всѣ новыя церкви дышали натяжкой, лицемѣріемъ, анахронизмомъ, какъ угловатыя, готическія, оскорбляющія аристократическій глазъ церкви, которыми англичане украшаютъ свои города.

Но именно обстоятельства, при которыхъ Витбергъ сочинилъ свой проектъ, его личность и настроеніе императора выходили изъ ряда вонъ.

Война 1812 года сильно потрясла умы въ Россіи; долго послѣ освобожденія Москвы не могли устояться волнующія мысли и нервное раздраженіе. Событія внѣ Россіи, взятіе Парижа, исторія ста дней, ожиданія, слухи, Ватерло, Наполеонъ, плывущій за океанъ, трауръ по убитымъ родственникамъ, страхъ за живыхъ, возвращающіяся войска, ратники, идущіе домой,—все это сильно дѣйствовало на самыя грубыя натуры. Представьте же себѣ артиста-юношу, мистика, художника, одареннаго творческой силой и при томъ фанатика, подъ вліяніемъ совершающагося, подъ вліяніемъ царскаго вызова и своего собственнаго генія.

Близъ Москвы, между Можайской и Калужской дорогой небольшая возвышенность царитъ надъ всѣмъ городомъ. Это тѣ Воробьевы горы, о которыхъ я упоминалъ въ первыхъ воспоминаніяхъ юности. Весь городъ стелется у ихъ подошвы, съ ихъ высотъ одинъ изъ самыхъ изящныхъ видовъ на Москву. Здѣсь стоялъ плачущій Іоаннъ Грозный, тогда еще молодой развратникъ, и смотрѣлъ, какъ горѣла его столица; здѣсь явился передъ нимъ іерей Сильвестръ и строгимъ словомъ пересоздалъ на двадцать лѣтъ геніальнаго изверга.

Эту гору обогнулъ Наполеонъ съ своей арміей, тутъ переломилась его сила, отъ подошвы Воробьевыхъ горъ началось отступленіе.

Можно ли было найти лучше мѣсто для храма въ память 1812 г., какъ дальнѣйшую точку, до которой достигнулъ непріятель?

Но это еще мало, надобно было самую гору превратить въ нижнюю часть храма, поле до рѣки обнять колоннадой, и на этой базѣ, построенной съ трехъ сторонъ самой природой, поставить второй и третій храмъ, представлявшіе удивительное единство.

Храмъ Витберга, какъ главный догматъ христіанства, тройствененъ и нераздѣленъ.

Нижній храмъ, изсѣченный въ горѣ, имѣлъ форму параллелограмма, гроба, тѣла; его наружность представляла тяжелый порталъ, поддерживаемый почти египетскими колоннами; онъ пропадалъ въ горѣ, въ дикой необработанной природѣ. Храмъ этотъ былъ освѣщенъ лампами въ этрурійскихъ высокихъ канделябрахъ, дневной свѣтъ скудно падалъ въ него изъ второго храма, проходя сквозь прозрачный образъ Рождества. Въ этой криптѣ должны были покоиться всѣ герои, падшіе въ 1812 году, вѣчная панихида должна была служить о убиенныхъ на полѣ битвы, по стѣнамъ должны были быть изсѣчены имена всѣхъ ихъ, отъ полководцевъ до рядовыхъ.

На этомъ гробѣ, на этомъ кладбищѣ разбрасывался во всѣ стороны равноконечный греческій крестъ второго храма,—храма распростертыхъ рукъ, жизни, страданій, труда. Колоннада, ведущая къ нему, была украшена статуями ветхозавѣтныхъ лицъ.

При входѣ стояли пророки. Они стояли внѣ храма, указывая путь, по которому имъ идти не пришлось. Внутри этого храма были вся евангельская исторія и исторія апостольскихъ дѣяній.

Надъ нимъ, вѣнчая его, оканчивая и заключая, былъ третій храмъ въ видѣ ротонды. Этотъ храмъ, ярко освѣщенный, былъ храмъ духа, невозмущаемаго покоя, вѣчности, выражавшейся кольцеобразнымъ его планомъ. Тутъ не было ни образовъ, ни изваяній, только снаружи онъ былъ окруженъ вѣнкомъ архангеловъ и накрытъ колоссальнымъ куполомъ.

Я теперь передаю на память главную мысль Витберга, она у него была разработана до мелкихъ подробностей и вездѣ совершенно послѣдовательно христіанской теодицеѣ и архитектурному изяществу.

Удивительный человѣкъ, онъ всю жизнь работалъ надъ своимъ проектомъ. Десять лѣтъ подсудимости онъ занимался только имъ; гонимый бѣдностью и нуждой въ ссылкѣ, онъ всякій день посвящалъ нѣсколько часовъ своему храму. Онъ жилъ въ немъ, онъ не вѣрилъ, что его не будутъ строить: воспоминанія, утѣшенія, слава, все было въ этомъ портфельѣ артиста.

Быть можетъ, когда-нибудь другой художникъ, послѣ смерти страдальца, стряхнетъ пыль съ этихъ листовъ и съ благочестіемъ издастъ этотъ архитектурный мартирологъ, за которымъ прошла и изныла сильная жизнь, мгновенно освѣщенная яркимъ свѣтомъ.

Проектъ былъ геніаленъ, страшенъ, безуменъ; оттого-то Александръ его выбралъ, оттого-то его и слѣдовало исполнить. Говорятъ, что гора не могла вынести этого храма. Я не вѣрю этому. Особенно, если мы вспомнимъ всѣ новыя средства инженеровъ въ Америкѣ и Англїи, эти тунели въ восемь минутъ ѣзды, цѣпные мосты и пр.

Милорадовичъ совѣтовалъ Витбергу толстыя колонны нижняго храма сдѣлать монолитныя изъ гранита. На это кто-то замѣтилъ графу, что провозъ изъ Финляндіи будетъ очень дорого стоить. «Именно поэтому-то и надобно ихъ выписать, отвѣчалъ онъ; если-бъ гранитная каменоломня была въ Москвѣ-рѣкѣ, что за чудо бы ихъ поставить».

Милорадовичъ былъ воинъ-поэтъ и потому понималъ вообще поэзію. Грандіозныя вещи дѣлаются грандіозными средствами.

Одна природа дѣлаетъ великое даромъ.

Главное обвиненіе, падающее на Витберга со стороны даже тѣхъ, которые никогда не сомнѣвались въ его чистотѣ,—зачѣмъ онъ принялъ мѣсто директора, онъ, неопытный артистъ, молодой человѣкъ, ничего не смыслившій въ канцелярскихъ дѣлахъ? Ему слѣдовало ограничиться ролей архитектора. Это правда.

Но такія обвиненія легко поддерживать, сидя у себя въ комнатѣ. Онъ именно потому и принялъ, что былъ молодъ, не опытенъ, артистъ; онъ принялъ — потому, что послѣ принятія его проекта ему казалось все легко; онъ принялъ—потому, что самъ царь предлагалъ ему, ободрялъ его, поддерживалъ. У кого не закружилась бы голова?... Гдѣ эти трезвые люди, умѣренные, воздержные? Да если и есть, то они не дѣлаютъ колоссальныхъ проектовъ и не заставляютъ «говорить каменя!»

Само собою разумѣется, что Витберга окружила толпа плутовъ, людей, принимающихъ Россію—за аферу, службу—за выгодную сдѣлку, мѣсто—за счастливый случай нажитья. Нетрудно было понять, что они подъ ногами Витберга выкопаютъ яму. Но для того, чтобъ онъ, упавши въ нее, не могъ изъ нея выйти, для этого нужно было еще, чтобъ къ воровству прибавилась зависть однихъ, оскорбленное честолюбіе другихъ.

Товарищами Витберга въ комиссіи были: митрополитъ Филаретъ, московскій генераль-губернаторъ, сенаторъ Кушниковъ: всѣ они впередъ были разобижены товариществомъ съ молоко-сосомъ, да еще притомъ смѣло говорящимъ свое мнѣніе и возражающимъ, если не согласенъ.

Они помогли запутать его, помогли оклеветать и хладнокровно погубили потомъ.

Этому способствовало сначала паденіе мистическаго министерства князя А. Н. Голицына, потомъ смерть Александра.

Вмѣстѣ съ министерствомъ, Голицына пали массонство, библейскія общества, лютеранскій піхтизмъ, которые въ лицѣ Магницкаго въ Казани и Рунича въ Петербургѣ дошли до безграничной уродливости, до дикихъ преслѣдованій, до судорожныхъ плясокъ, до состоянія кликушъ и Богъ знаетъ какихъ чудесъ.

Паденіе князя А. Н. Голицына увлекло Витберга; все опрокидывается на него: комиссія жалуется, митрополитъ огорченъ, генераль-губернаторъ недоволенъ. Его отвѣты «дерзки» (въ его дѣлѣ *дерзость* поставлена въ одно изъ главныхъ обвиненій), его подчиненные *воруютъ*,—какъ будто кто-нибудь находящійся на службѣ въ Россіи не воруетъ. Впрочемъ, вѣроятно, что у Витберга воровали больше, чѣмъ у другихъ: онъ не имѣлъ никакой привычки завѣдывать смиренными домами и классными ворами.

Александръ велѣлъ Аракчееву разобрать дѣло. Ему было жаль Витберга, онъ передалъ ему черезъ одного изъ своихъ приближенныхъ, что онъ увѣренъ въ его правотѣ.

Но Александръ умеръ и Аракчеевъ палъ. Дѣло Витберга при Николаѣ приняло тотчасъ худшій видъ. Оно тянулось *десять лѣтъ* съ невѣроятными нелѣпостями. Обвинительные пункты, признанные уголовной палатой, отвергаются сенатомъ. Пункты,

въ которыхъ оправдываетъ палата, ставятся въ вину сенатомъ. Комитетъ министровъ принимаетъ всѣ обвиненія. Государь представляетъ къ приговору—ссылку на Вятку.

Итакъ, Витбергъ отправился въ ссылку, отрѣшенный отъ службы «за злоупотребленіе довѣренностью императора Александра и за ущербы, нанесенные казнѣ»; на него насчитываютъ миллионъ, кажется, рублей, берутъ все имѣніе, продаютъ все съ публичнаго торга и распускаютъ слухъ, что онъ перевелъ видимо-не-видимо денегъ въ Америку.

Я жилъ съ Витбергомъ въ одномъ домѣ два года и послѣ остался до самаго отъѣзда постоянно въ сношеніяхъ съ нимъ. Онъ не спасъ насущнаго куска хлѣба; семья его жила въ самой страшной бѣдности.

Для характеристики этого дѣла и всѣхъ подобныхъ въ Россіи я приведу двѣ небольшія подробности, которыя у меня особенно остались въ памяти.

Витбергъ купилъ для работъ роцу у купца Лобанова; прежде чѣмъ началась рубка, Витбергъ увидѣлъ другую роцу, тоже Лобанова, ближе къ рѣкѣ и предложилъ ему промѣнять проданную для храма на эту. Купецъ согласился. Роца была вырублена, лѣсъ сплавленъ. Впослѣдствіи зандобилась другая роца, и Витбергъ снова купилъ первую. Вотъ знаменитое обвиненіе въ двойной покупкѣ одной и той же роци. Бѣдный Лобановъ былъ посаженъ въ острогъ за это дѣло и умеръ тамъ.

Второе дѣло было передъ моими глазами. Витбергъ скупалъ имѣнья для храма. Его мысль состояла въ томъ, чтобъ помѣщичьи крестьяне, купленные съ землею для храма, обязывались выставить извѣстное число работниковъ; этимъ способомъ они приобрѣтали полную волю себѣ и деревнѣ. Забавно, что наши сенаторы-помѣщики находили въ этой мѣрѣ какое-то невольничество!

Между прочимъ, Витбергъ хотѣлъ купить имѣнье моего отца въ Рузскомъ уѣздѣ, на берегу Москвы-рѣки. Въ деревнѣ былъ найденъ мраморъ, и Витбергъ просилъ дозволеніе сдѣлать геологическое изслѣдованіе, чтобъ опредѣлить количество его. Отецъ мой позволилъ. Витбергъ уѣхалъ въ Петербургъ.

Мѣсяца черезъ три, отецъ мой узнаетъ, что ломка камня производится въ огромномъ размѣрѣ, что озимыя поля крестьянъ завалены мраморомъ; онъ протестуетъ, его не слушаютъ. Начинается упорный процессъ. Сначала хотѣли все свалить на Витберга, но по несчастью оказалось, что онъ не давалъ никакого приказа и что все это было сдѣлано комиссіей во время его отсутствія.

Дѣло пошло въ сенатъ. Сенатъ рѣшилъ къ *общему удивленію* довольно близко къ *здравому смыслу*. Наломанный камень оста-

вить помѣщику, считая ему его въ вознагражденіе за помятыя поля. Деньги, истраченныя казной на ломку и работу до ста тысячъ ассигнаціями, взыскать съ подписавшихъ контрактъ о работахъ. Подписавшіеся были: князь Голицынъ, Филаретъ и Кушниковъ. Разумѣется, крикъ, шумъ. Дѣло довели до государя.

Онъ велѣлъ освободить виновныхъ отъ платежа, потому, написалъ онъ собственноручно, какъ и напечатано въ сенатской запискѣ, «что члены комиссіи не знали, что подписывали». Положимъ, что митрополитъ по ремеслу долженъ оказывать смиреніе, а каковы другіе-то вельможи, которые приняли подарокъ, такъ мотивированный!

Но откуда же было взять сто тысячъ? Казенное добро, говорятъ, ни на огнѣ не горитъ, ни въ водѣ не тонетъ,—оно только крадется, могли бы мы прибавить. Чего тутъ задумываться, сейчасъ генераль-адъютанта на почтовыхъ въ Москву разбирать дѣло.

Стрекаловъ все разобралъ, привелъ въ порядокъ, уладилъ и кончилъ въ нѣсколько дней: камень у помѣщика взять за сумму, заплаченную за ломку, впрочемъ, если помѣщикъ хочетъ оставить, взыскать съ него сто тысячъ. Особого вознагражденія помѣщику потому не слѣдуетъ, что цѣнность его имѣнія возвысилась открытіемъ новой отрасли богатства (вѣдь, это *chef d'oeuvre!*), а впрочемъ, за помятыя крестьянскія поля *выдать* по закону о затопленныхъ лугахъ и потравленныхъ сѣнокосахъ, утвержденному Петромъ I, столько-то копеекъ съ десятины.

Собственно наказанный въ этомъ дѣлѣ былъ мой отецъ. Не нужно добавлять, что ломка этого камня въ процессѣ все-таки поставлена на счетъ Витберга.

...Года черезъ два послѣ ссылки Витберга, вятское купечество вознамѣрилось построить новую церковь.

Проектъ вятскаго купечества удивилъ Николая, онъ утвердилъ его и велѣлъ предписать губернскому начальству, чтобъ при исполненіи не исказили мысли архитектора.

— Кто дѣлалъ этотъ проектъ? спросилъ онъ статсъ-секретаря.

— «Витбергъ, в. в.».

— Какъ, тотъ Витбергъ?

— «Тотъ самый, в. в.».

И вотъ Витбергу, какъ снѣгъ на голову, разрѣшеніе возвратиться въ Москву или Петербургъ. Человѣкъ просилъ позволеніе оправдаться,—ему отказали; онъ сдѣлалъ удачный проектъ,—государь велѣлъ его воротить, какъ будто кто-нибудь сомнѣвался въ его художественной способности...

Въ Петербургѣ, погибая отъ бѣдности, онъ сдѣлалъ послѣдній опытъ защитить свою честь. Онъ вовсе не удался. Витбергъ

просилъ объ этомъ князя А. Н. Голицына, но князь не считалъ возможнымъ поднимать снова дѣло и совѣтовалъ Витбергу написать пожалобнѣе письмо къ наслѣднику, съ просьбой о денежномъ вспомошествованіи. Онъ обѣщался съ Жуковскимъ хлопотать и сулилъ рублей тысячу серебромъ.

Витбергъ отказался.

Въ 1846, въ началѣ зимы, я былъ въ послѣдній разъ въ Петербургѣ и видѣлъ Витберга. Онъ совершенно гибнулъ; даже его прежній гнѣвъ противъ его враговъ, который я такъ любилъ, сталъ потухать; надеждъ у него не было больше, онъ ничего не дѣлалъ, чтобъ выйти изъ своего положенія, ровное отчаяніе докончило его, существованіе сломилось на всѣхъ составахъ. Онъ ждалъ смерти.

Живъ ли страдалецъ? Не знаю, но сомнѣваюсь.

— Если-бъ не семья, не дѣти, говорилъ онъ мнѣ, прощаясь, я вырвался бы изъ Россіи и пошелъ бы по міру; съ моимъ владимірскимъ крестомъ на шеѣ, спокойно протягивалъ бы я прохожимъ руку, которую жалъ императоръ Александръ, рассказывая имъ мой проектъ и судьбу художника въ Россіи!

Судьбу твою, мученикъ, думалъ я, узнають въ Европѣ: я *тебѣ* за это *отвѣчаю*.

Близость съ Витбергомъ была мнѣ большимъ облегченіемъ въ Вяткѣ. Серьезная ясность и нѣкоторая торжественность въ манерахъ придавали ему что-то духовное. Онъ былъ очень чистыхъ нравовъ и вообще скорѣе склонялся къ аскетизму, чѣмъ къ наслажденіямъ; но его строгость ничего не отнимала отъ роскоши и богатства его артистической природы. Онъ умѣлъ своему мистицизму придавать такую пластичность и такой изящный колоритъ, что возраженіе замирало на губахъ, жалъ было анализировать, разлагать мерцающіе образы и туманныя картины его фантазіи.

Мистицизмъ Витберга лежалъ долею въ его скандинавской крови; это—та самая холодно обдуманная мечтательность, которую мы видимъ въ Сведенборгѣ, похожая въ свою очередь на огненное отраженіе солнечныхъ лучей, падающихъ на ледяныя горы и снѣга Норвегіи.

Вліяніе Витберга поколебало меня. Но реальная натура моя взяла все-таки верхъ. Мнѣ не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно земнымъ человѣкомъ. Отъ моихъ рукъ не вернутся столы и отъ моего взгляда не качаются кольца. Дневной свѣтъ мысли мнѣ роднѣе луннаго освѣщенія фантазіи.

Но именно въ ту эпоху, когда я жилъ съ Витбергомъ, я болѣе, чѣмъ когда-нибудь, былъ расположенъ къ мистицизму.

Разлука, ссылка, религиозная экзальтація писемъ, получае-мыхъ мною, любовь, сильнѣе и сильнѣе обнимавшая всю душу, и вмѣстѣ гнетущее чувство раскаянія, все это помогало Витбергу.

И еще года два послѣ я былъ подѣ влияніемъ идей мистиче-ски-соціальныхъ, взятыхъ изъ Евангелія и Жанъ-Жака, на ма-неръ французскихъ мыслителей, въ родѣ Пьера-Леру.

Огаревъ еще прежде меня окунулся въ мистическія волны. Въ 1833 онъ начиналъ писать текстъ для Гебелевой ¹⁾ ораторіи «Потерянный рай». «Въ идеѣ «Потеряннаго рая», писалъ мнѣ Огаревъ, заключается вся исторія человѣчества!» Стало быть, въ то время и онъ *отыскиваемый рай* идеала принималъ за утра-ченный.

Я въ 1838 году написалъ въ социально-религиозномъ духѣ историческія сцены, которыя тогда принималъ за драмы. Въ однѣхъ я представлялъ борьбу древняго міра съ христіанствомъ; тутъ Павелъ, входя въ Римъ, воскрешалъ мертваго юношу къ новой жизни. Въ другихъ—борьбу официальной церкви съ кваке-рами, и отъѣздъ Уильяма-Пена въ Америку, въ Новый свѣтъ ²⁾.

Мистицизмъ науки вскорѣ замѣнилъ во мнѣ евангельскій ми-стицизмъ; по счастью, отдѣлался я и отъ второго.

Но возвратимся въ нашъ скромный Хлыновъ городокъ, пере-именованный, не знаю зачѣмъ, развѣ изъ финскаго патріотизма, Екатериной II въ Вятку.

Въ этомъ захоlustвѣ вятской ссылки, въ этой грязной средѣ чиновниковъ, въ этой печальной дали, разлученной со всѣмъ до-рогимъ, безъ защиты отданный во власть губернатора, я провелъ много чудныхъ, святыхъ минутъ, встрѣтилъ много горячихъ сер-децъ и дружескихъ рукъ.

Гдѣ вы? Что съ вами, подслѣжные друзья мои? Двадцать лѣтъ мы не видались. Чай, состарѣлись вы, какъ я; дочерей выдаете

¹⁾ Гебель, извѣстный композиторъ того времени.

²⁾ Я эти сцены, не понимая почему, вздумалъ написать стихами. Въ-роютно, я думалъ, что всякій можетъ писать пятистопнымъ ямбомъ безъ рима, если самъ Погодинъ писалъ имъ. Въ 1839 или 40 году я далъ обѣ тетрадки Бѣлинскому и спокойно ждалъ похвалъ. Но Бѣлинскій на другой день прислалъ мнѣ ихъ съ запиской, въ которой писалъ: «вели, пожалуй-ста, переписать сплошь, не отмѣчая стиховъ, я тогда съ охотой прочту, а теперь мнѣ все мѣшаетъ мысль, что это стихи».

Убилъ Бѣлинскій обѣ попытки драматическихъ сценъ. Долгъ красенъ платежами. Въ 1841 Бѣлинскій помѣстилъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» длинный разговоръ о литературѣ: «Какъ тебѣ нравится моя послѣдняя статья?» спросилъ онъ меня, обѣдая en petit comité у Дюсо. «Очень, отвѣ-чалъ я, все, что ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, какъ же ты могъ биться два часа говорить съ этимъ человѣкомъ, не догадавшись съ перваго слова, что онъ дуракъ?»—«И въ самомъ дѣлѣ такъ—сказать, поми-рая со смѣху, Бѣлинскій—ну, братъ, зарѣзать! Вѣдь, совершенный дуракъ!»

замужъ, не пьете больше бутылками шампанское и стаканчикомъ на ножкѣ наливку. Кто изъ васъ разбогатѣлъ, кто разорился, кто въ чинахъ, кто въ параличѣ? А главное, жива ли у васъ память объ нашихъ смѣлыхъ бесѣдахъ, живы ли тѣ струны, которыя такъ сильно сотрясались любовью и *негодованиемъ*.

Я остался тотъ же, вы это знаете; чай, долетаютъ до васъ вѣсти съ береговъ Темзы. Иногда вспоминаю васъ, всегда съ любовью; у меня есть нѣсколько писемъ того времени, нѣкоторыя изъ нихъ мнѣ ужасно дороги и я люблю ихъ перечитывать.

«Я не стыжусь тебѣ признаться, писалъ мнѣ 26 января 1838 одинъ юноша, что мнѣ очень горько теперь. Помоги мнѣ ради той жизни, къ которой призвалъ меня, помоги мнѣ своимъ советомъ. *Я хочу учиться*, назначь мнѣ книги, назначь, что хочешь, я употреблю всѣ силы, дай мнѣ ходъ,—на тебѣ будетъ грѣхъ, если ты оттолкнешь меня».

«Я тебя благословляю, пишетъ мнѣ другой, вслѣдъ за моимъ отъѣздомъ, какъ земледѣлецъ благословляетъ дождь, оживотворившій его неудобренную почву».

Не изъ суетнаго чувства выписалъ я эти строки, а потому, что онѣ мнѣ очень дороги. За эти юношескіе призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную въ нихъ *тоску*, можно было примириться съ девятимѣсячной тюрьмой и трехлѣтней жизнью въ Вяткѣ.

А тутъ два раза въ недѣлю приходила въ Вятку московская почта; съ какимъ волненіемъ дожидался я возлѣ почтовой конторы, пока разберутъ письма, съ какимъ трепетомъ ломалъ я печать и искалъ въ письмѣ изъ дома, нѣтъ ли маленькой записочки, на тонкой бумагѣ, писанной удивительно мелкимъ и изящнымъ шрифтомъ.

И я не читалъ ее въ почтовой конторѣ, а тихо шелъ домой, отдаляя минуту чтенія, наслаждаясь одной мыслью, что письмо *есть*.

Эти письма всѣ сохранились. Я ихъ оставилъ въ Москвѣ. Ужасно хотѣлось бы перечитать ихъ и страшно коснуться...

Письма больше, чѣмъ воспоминанья, на нихъ запеклась кровь событій, это само прошедшее, какъ оно было, задержанное и нетлѣнное.

...Нужно ли еще разъ знать, видѣть, касаться сморщившихся отъ старости руками до своего вѣнчальнаго убора?..

ГЛАВА XVII.

Наслѣдникъ въ Вяткѣ. — Паденіе Тюфяева. — Переводъ во Владиміръ. —
Исправникъ на слѣдствіи.

Наслѣдникъ будетъ въ Вяткѣ! Наслѣдникъ ѣдетъ по Россіи, чтобъ себя ей показать и ее посмотреть! Новость эта занимала всѣхъ, но всѣхъ болѣе, разумѣется, губернатора. Онъ затормошился и надѣлалъ рядъ невѣроятныхъ глупостей, велѣлъ мужикамъ по дорогѣ быть одѣтыми въ праздничные кафтаны, велѣлъ въ городахъ перекрасить заборы и перечинить тротуары. Въ Орловѣ бѣдная вдова, владѣлица небольшого дома, объявила городничему, что у нея нѣтъ денегъ на поправку тротуара; городничій донесъ губернатору. Губернаторъ велѣлъ у нея разобрать полы (тротуары тамъ деревянные), а, буде не достанетъ, сдѣлать поправку на казенный счетъ, и взыскать потомъ съ нея деньги, хотя бы для этого слѣдовало продать домъ съ публичнаго торга. До продажи не дошло, а полы у вдовы сломали.

Верстахъ въ пятидесяти отъ Вятки находится мѣсто, на которомъ явилась новгородцамъ чудотворная икона Николая Хлыновскаго. Когда новгородцы поселились въ Хлыновѣ (Вяткѣ), они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой рѣкѣ въ 50 верстахъ отъ Вятки. Новгородцы опять перенесли ее, но съ тѣмъ вмѣстѣ дали обѣтъ, если икона останется, ежегодно носить ее торжественнымъ ходомъ на Великую рѣку, кажется 23 мая. Это главный лѣтній праздникъ въ Вятской губерніи. За сутки отправляется икона на богатомъ досчаникѣ по рѣкѣ, съ нею архіерей и все духовенство въ полномъ облаченіи. Сотни всякаго рода лодокъ, досчаниковъ, комягъ, наполненныхъ крестьянами и крестьянками, вотяками, мѣщанами, пестро двигаются за плывущимъ образомъ. И впереди всѣхъ губернаторская расшива, покрытая краснымъ сукномъ. Зрѣлище это очень недурно. Десятки тысячъ народа изъ близкихъ и дальнихъ уѣздовъ ждуть образа на Великой рѣкѣ. Все это кочуетъ шумными толпами около небольшой деревни, и, что всего страннѣе, толпы некрещеныхъ вотяковъ и черемисъ, даже татаръ приходятъ молиться иконѣ. Зато и праздникъ имѣетъ чисто-языческій видъ. За монастырской стѣной вотяки, русскіе приносятъ на жертву барановъ и телятъ, ихъ тутъ же бьютъ, іеромонахъ читаетъ молитвы, благословляетъ и святитъ мясо, которое подаютъ въ особое окно съ внутренней стороны ограды. Мясо это раздають по кускамъ народу. Встарь давали его даромъ, теперь монахи берутъ нѣсколько копеекъ за каждый кусокъ. Такъ что мужикъ, подарившій цѣлаго теленка, долженъ истратить грошъ-другой,

чтобъ получить кусокъ себѣ на снѣдъ. На монастырскомъ дворѣ сидятъ цѣлыя толпы нищихъ, калѣкъ, слѣпыхъ, всякихъ уродовъ, которые хоромъ поютъ «Лазаря». Молодые поповичи и мѣщанскіе мальчики сидятъ на надгробныхъ памятникахъ около церкви съ чернильницей и кричатъ: «Кому памятки писать, кому памятки!» Бабы и дѣвки окружаютъ ихъ, сказывая имена; мальчишки, ухорски скрипя перомъ, повторяютъ: «Марью, Марью, Акулину, Степаниду, Отца Іоанна, Матрену, — нутка, тетушка, твоихъ, твоихъ-то, вишь отколола грошъ, меньше пятака взять нельзя, родни-то, родни—Іоанна, Василису, Іону, Марью, Евпраксію, младенца Катерину»...

Въ церкви толкотня и странныя предпочтенія, одна баба пере-даетъ сосѣду свѣчку съ точнымъ порученіемъ поставить «гостю»; другая «хозяину». Вятскіе монахи и дьяконы постоянно пьяны во все время этой процессіи. Они по дорогѣ останавливаются въ большихъ деревняхъ, и мужики ихъ подчуютъ на убой.

Вотъ этотъ-то народный праздникъ, къ которому крестьяне привыкли вѣками, переставилъ, было, губернаторъ, желая имъ потѣшить наслѣдника, который долженъ былъ пріѣхать 19 мая; что за бѣда, кажется, если Николай *гость* тремя днями раньше придетъ къ *хозяину*. На это надобно было согласіе архіерея; по счастью, архіерей былъ человекъ сговорчивый и не нашелъ ничего возразить противъ губернаторскаго намѣренія отпраздновать 23 мая 19-го.

Между разными распоряженіями изъ Петербурга велѣно было въ каждомъ губернскомъ городѣ приготовить выставку всякаго рода произведеній и издѣлій края и расположить ее по тремъ царствамъ природы. Это раздѣленіе по царствамъ очень затруднило канцелярію и даже отчасти Тюфяева. Чтобъ не ошибиться, онъ рѣшился, несмотря на свое неблагорасположеніе, позвать меня на совѣтъ. «Ну, на примѣръ, медъ, говорилъ онъ, — куда принадлежитъ медъ? Или золоченая рама, какъ опредѣлить, куда она относится?» Увидя изъ моихъ отвѣтовъ, что я имѣю удивительно точныя свѣдѣнія о трехъ царствахъ природы, онъ предложилъ мнѣ заняться расположеніемъ выставки.

Пока я занимался размѣщеніемъ деревянной посуды и вотскихъ нарядовъ, меда и чугунныхъ рѣшетокъ, громовая вѣсть объ арестѣ орловскаго городничаго разнеслась по городу. Тюфяевъ пожелтѣлъ и какъ-то невѣрно началъ ступать ногами.

Дней за пять до пріѣзда наслѣдника въ Орловъ, городничій писалъ Тюфяеву, что вдова, у которой полъ сломали, шумитъ, и что купецъ такой-то, богатый и знаемый въ городѣ человекъ, похваляется, что все наслѣднику скажетъ. Тюфяевъ насчетъ его распорядился очень умно: онъ велѣлъ городничему заподозрить

его сумасшедшимъ (примѣръ Петровскаго ему понравился) и представить для свидѣтельства въ Вятку; пока бы дѣло длилось, наслѣдникъ уѣхалъ бы изъ Вятской губерніи, тѣмъ дѣло и кончилось бы. Городничій все исполнилъ; купецъ былъ въ вятской больницѣ.

Наконецъ, наслѣдникъ пріѣхалъ. Сухо поклонился Тюфяеву, не пригласилъ его и тотчасъ послалъ доктора Енохина свидѣтельствовать арестованнаго купца. Все ему было извѣстно. Орловская вдова свою просьбу подала, другіе купцы и мѣщане рассказали все, что дѣлалось. Тюфяевъ еще на два градуса перекосялся. Дѣло было не хорошо. Городничій прямо сказалъ, что онъ на все имѣлъ письменныя приказанія отъ губернатора.

Докторъ Енохинъ увѣрялъ, что купецъ совершенно здоровъ. Тюфяевъ былъ потерянъ.

Въ восьмомъ часу вечера, наслѣдникъ съ свитой явился на выставку; Тюфяевъ повелъ его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о какомъ-то *царѣ* Тохтамышѣ. Жуковский и Арсеньевъ, видя, что дѣло не идетъ на ладъ, обратились ко мнѣ съ просьбой показать имъ выставку. Я повелъ ихъ.

Видъ наслѣдника не выражалъ той строгости, какъ видъ его отца; черты его скорѣе показывали добродушіе и вялость. Ему было около двадцати лѣтъ, но онъ уже начиналъ толстѣть.

Нѣсколько словъ, которыя онъ сказалъ мнѣ, были ласковы, безъ хриплага, отрывистаго тона Константина Павловича.

Когда онъ уѣхалъ, Жуковский и Арсеньевъ стали меня спрашивать, какъ я попалъ въ Вятку; ихъ удивилъ языкъ порядочнаго человѣка въ вятскомъ губернскомъ чиновникѣ. Они тотчасъ предложили мнѣ сказать наслѣднику о моемъ положеніи, и дѣйствительно они сдѣлали все, что могли. Наслѣдникъ представилъ государю о разрѣшеніи мнѣ ѣхать въ Петербургъ. Государь отвѣчалъ, что это было бы несправедливо относительно другихъ сосланныхъ, но, взявъ во вниманіе представленіе наслѣдника, велѣлъ меня перевести во Владиміръ; это было географическое улучшеніе: 700 верстъ меньше. Но объ этомъ послѣ.

Вечеромъ былъ балъ въ благородномъ собраніи. Музыканты, нарочно выписанные съ одного изъ заводовъ, пріѣхали мертвецки-пьяные; губернаторъ распорядился, чтобъ ихъ заперли за сутки до бала и прямо изъ полиціи конвоировали на хоры, откуда не выпускали никого до окончанія бала.

Балъ былъ глупъ, неловокъ, слишкомъ бѣденъ и слишкомъ пестръ, какъ всегда бываетъ въ маленькихъ городкахъ при чрезвычайныхъ случаяхъ. Полицейскіе суетились, чиновники въ мундирахъ жались къ стѣнѣ, дамы толпились около наслѣдника въ томъ родѣ, какъ дикіе окружаютъ путешественниковъ... Кстати объ дамахъ. Въ одномъ городкѣ былъ приготовленъ послѣ вы-

ставки «гуте». Наслѣдникъ ничего не бралъ, кромѣ одного персика, котораго кость онъ бросилъ на окно. Вдругъ изъ толпы чиновниковъ отдѣляется высокая фигура, налитая спиртомъ, земскаго засѣдателя, извѣстнаго забуддыги, который мѣрными шагами отправляется къ окну, беретъ кость и кладетъ ее въ карманъ.

Послѣ бала или *гуте*, засѣдатель подходитъ къ одной изъ значительныхъ дамъ и предлагаетъ косточку, дама въ восхищеніи. Потомъ онъ отправляется къ другой, потомъ къ третьей, — всѣ въ восторгѣ.

Засѣдатель купилъ пять персиковъ, вырѣзалъ косточки и осчастливилъ шесть дамъ. У кого настоящая? Всѣ подозрѣваютъ истинность своей косточки...

Тюфяевъ, послѣ отъѣзда наслѣдника, приготовлялся съ стѣсненнымъ сердцемъ промѣнять пашалыкъ на сенаторскія кресла, но вышло хуже.

Недѣли черезъ три почта привезла изъ Петербурга бумаги на имя «управляющаго губерніей». Въ канцеляріи все перешлопилось. Регистраторъ губернскаго правленія прибѣжалъ сказать, что у нихъ полученъ указъ. Правитель дѣлъ бросился къ Тюфяеву; Тюфяевъ сказался больнымъ и не поѣхалъ въ присутствіе.

Черезъ часъ мы узнали, онъ былъ отставленъ—*sans phrase*.

Весь городъ былъ радъ паденію губернатора; управленіе его имѣло въ себѣ что-то удушливое, нечистое, затхло-приказное, и, несмотря на то, все-таки гадко было смотрѣть на ликованіе чиновниковъ.

Да, не одинъ оселъ ударилъ копытомъ этого раненаго вепря. Людская подлость и тутъ показала не меньше, какъ при паденіи Наполеона, несмотря на разницу діаметровъ. Все послѣднее время я былъ съ нимъ въ открытой ссорѣ, и онъ непремѣнно услалъ бы меня въ какой-нибудь заштатный городъ Кай, если-бъ его не прогнали самого. Я удалялся отъ него и мнѣ нечего было мѣнять въ моемъ поведеніи относительно его. Но другіе, вчера снимавшіе шляпу, завидя его карету, глядѣвшіе ему въ глаза, улыбавшіеся его шпицу, подчивавшіе табакомъ его камердинера, — теперь едва кланялись съ нимъ и кричали во весь голосъ противъ безпорядковъ, которые онъ дѣлалъ *амѣсть съ ними*. Все это старо и до того постоянно повторяется изъ вѣка въ вѣкъ и вездѣ, что намъ слѣдуетъ эту низость принять за обще-человѣческую черту и, по крайней мѣрѣ, не удивляться ей.

Явился новый губернаторъ. Это былъ человѣкъ совершенно въ другомъ родѣ. Высокій, толстый и рыхло-лимфатическій мужчина, лѣтъ около пятидесяти, съ пріятно улыбающимся лицомъ и съ образованными манерами. Онъ выражался съ необычайной

граматической правильностью, пространно, подробно, съ ясностью, которая въ состояніи была своей излишностью затемнить простѣйшій предметъ. Онъ былъ ученикъ лица, товарищъ Пушкина, служилъ въ гвардіи, покупалъ новыя французскія книги, любилъ бесѣдовать о предметахъ важныхъ и далъ мнѣ книгу Токвиля о демократіи въ Америкѣ, на другой день послѣ пріѣзда.

Перемѣна была очень рѣзка. Тѣ же комнаты, та же мебель, а на мѣстѣ татарскаго баскака, съ тунгусской наружностью и сибирскими привычками,—доктринеръ, нѣсколько педантъ, но все же порядочный человѣкъ. Новый губернаторъ былъ уменъ, но умъ его какъ-то свѣтилъ, а не грѣлъ, въ родѣ яснаго зимняго дня—пріятнаго, но отъ котораго плодовъ не дождешься. Къ тому же онъ былъ страшный формалистъ,—формалистъ не приказный, а какъ бы это выразить?.. Его формализмъ былъ второй степени; но столько же скучный, какъ и всѣ прочіе.

Такъ какъ новый губернаторъ былъ въ самомъ дѣлѣ женатъ, губернаторскій домъ утратилъ свой ультра-холостой и полигамическій характеръ. Разумѣется, это обратило всѣхъ совѣтниковъ къ совѣтницамъ; плѣшивые старики не хвастались побѣдами «на счетъ клубники», а, напротивъ, нѣжно отзывались о завялыхъ, жестко и угловато костлявыхъ или заплывшихъ жиромъ до невозможности пускать кровь, супругахъ своихъ.

Корниловъ былъ назначенъ за нѣсколько лѣтъ передъ пріѣздомъ въ Вятку, прямо изъ семеновскихъ или измайловскихъ полковниковъ, куда-то гражданскимъ губернаторомъ. Онъ пріѣхалъ на воеводство, вовсе не зная дѣлъ. Сначала, какъ всѣ новички, онъ принялся все читать; вдругъ ему попалась бумага изъ другой губерніи, которую онъ, прочитавши два раза, три раза, не понималъ.

Онъ позвалъ секретаря и далъ ему прочесть. Секретарь тоже не могъ ясно изложить дѣла.

— Что же вы сдѣлаете съ этой бумагой, спросилъ его Корниловъ, если я ее передамъ въ канцелярію?

— «Отправлю въ третій столъ, это по третьему столу».

— Стало быть, столоначальникъ третьяго стола знаетъ, что дѣлать?

— «Какъ же, в. п., ему не знать? онъ седьмой годъ правитъ столомъ».

— Позовите его ко мнѣ.

Пришелъ столоначальникъ. Корниловъ, отдавая ему бумагу, спросилъ, что надобно сдѣлать. Столоначальникъ пробѣжалъ наскоро дѣло и доложилъ, что-де въ казенную палату слѣдуетъ сдѣлать запросъ и исправнику предписать.

— Да что предписать?

Столоначальникъ затруднился и, наконецъ, признался, что это трудно такъ рассказать, а что написать легко.

— Вотъ стулъ, прошу васъ написать отвѣтъ.

Столоначальникъ принялся за перо и, не останавливаясь, бойко настрочилъ двѣ бумаги.

Губернаторъ взялъ ихъ, прочелъ, прочелъ разъ и два, ничего понять нельзя. «Я увидѣлъ, рассказывалъ онъ, улыбаясь, что это дѣйствительно былъ отвѣтъ на ту бумагу и, благословясь, подписалъ. Никогда болѣе не было помину объ этомъ дѣлѣ, — бумага была вполне удовлетворительна».

Вѣсть о моемъ переводѣ во Владиміръ пришла передъ Рождествомъ; я скоро собрался и пустился въ путь.

Съ вятскимъ обществомъ я расстался тепло. Въ этомъ дальнемъ городѣ я нашелъ двухъ-трехъ искреннихъ пріятелей между молодыми купцами.

Всѣ хотѣли на перерывъ показать изгнаннику участіе и дружбу. Нѣсколько саней провожали меня до первой станціи, и, сколько я ни защищался, въ мою повозку наставили цѣлый грузъ всякихъ припасовъ и винъ. На другой день я пріѣхалъ въ Яранскъ.

Отъ Яранска дорога идетъ безконечными сосновыми лѣсами. Ночи были лунныя и очень морозныя; небольшія пошевни неслись по узенькой дорогѣ. Такихъ лѣсовъ я послѣ никогда не видалъ, они идутъ такимъ образомъ, не прерываясь, до Архангельска, изрѣдка по нимъ забѣгаютъ олени въ Вятскую губернію. Лѣсъ большей частью строевой. Сосны чрезвычайной примизны шли мимо саней, какъ солдаты, высокія и покрытыя снѣгомъ, изъ-подъ котораго торчали ихъ черныя хвои, какъ щетина. И заснешь, и опять проснешься, а полки сосенъ все идутъ быстрыми шагами, стряхивая иной разъ снѣгъ. Лошадей мѣняютъ въ маленькихъ расчищенныхъ мѣстахъ, домишко потерянный за деревьями, лошади привязаны къ столбу, бубенчики позваниваютъ, два-три черемисскихъ мальчика въ шитыхъ рубашкахъ выбѣгутъ заспанные, ямщикъ-вотьякъ какимъ-то сильнымъ альтомъ поругается съ товарищемъ, покричитъ «айда», запоетъ пѣсню въ двѣ ноты... и опять сосны, снѣгъ—снѣгъ, сосны...

При самомъ выѣздѣ изъ Вятской губерніи мнѣ еще пришлось проститься съ чиновническимъ міромъ, и онъ pour la cloture явился во всемъ блескѣ.

Мы остановились у станціи, ямщикъ сталъ откладывать, высокій мужикъ показался въ сѣняхъ и спросилъ: «кто проѣзжаетъ?»

— А тебѣ что за дѣло?

— «А то дѣло, что исправникъ велѣлъ узнать, а я разсылный при земскомъ судѣ».

— Ну, такъ ступай же въ станціонную избу, тамъ моя подорожная.

Мужикъ ушелъ и черезъ минуту воротился, говоря ямщику: не давать ему лошадей.

Это было черезъ край. Я соскочилъ съ саней и пошелъ въ избу. Полушьяный исправникъ сидѣлъ на лавкѣ и диктовалъ полушьяному писарю. На другой лавкѣ въ углу сидѣлъ или лучше лежалъ человекъ съ скованными ногами и руками. Нѣсколько бутылокъ, стаканы, табачная зола и кипы бумагъ были разбросаны.

— Гдѣ исправникъ? сказалъ я громко, входя.

— «Исправникъ здѣсь», отвѣчалъ мнѣ полушьяный Лазаревъ, котораго я видѣлъ въ Вяткѣ. При этомъ онъ дерзко и грубо установилъ на меня глаза, ... и вдругъ бросился ко мнѣ съ распростертыми объятіями.

Надобно при этомъ вспомнить, что послѣ смѣны Тюфяева чиновники, видя мои довольно хорошія отношенія съ новымъ губернаторомъ, начинали меня побаиваться.

Я остановилъ его рукою и спросилъ очень серьезно: — Какъ вы могли велѣть, чтобъ мнѣ не давали лошадей? Что это за вздоръ на большой дорогѣ останавливать проѣзжихъ?

— «Да я пошутилъ, помилуйте, какъ вамъ не стыдно сердиться! Лошадей, вели лошадей, что ты тутъ стоишь, разбойникъ!» закричалъ онъ разсылному.

— «Сдѣлайте одолженіе, выкушайте чашку чаю съ ромомъ».

— Покорно благодарю.

— «Да нѣтъ ли у насъ шампанскаго...» Онъ бросился къ бутылкамъ, всѣ были пусты.

— Что вы тутъ дѣлаете?

— «Слѣдствіе-съ; вотъ молодчикъ-то топоромъ убилъ отца и сестру родную, изъ-за ссоры, да по ревности».

— Такъ это вы вмѣстѣ и пируете?

Исправникъ замаялся. Я взглянулъ на черемиса: онъ былъ лѣтъ двадцати, ничего свирѣпаго не было въ его лицѣ, совершенно восточномъ, съ узенькими, сверкающими глазами, съ черными волосами.

Все это вмѣстѣ такъ было гадко, что я вышелъ опять на дворъ. Исправникъ выбѣжалъ вслѣдъ за мной, онъ держалъ въ одной рукѣ рюмку, въ другой бутылку рома и приставалъ ко мнѣ, чтобъ я выпилъ.

Чтобы отвязаться отъ него, я выпилъ. Онъ схватилъ меня за руку и сказалъ:

— «Виновать, ну, виновать, что дѣлать! но я надѣюсь, вы не скажете объ этомъ его превосходительству, не погубите благороднаго человѣка». При этомъ исправникъ *схватилъ мою руку и поцѣловалъ* ее, повторяя десять разъ: «ей Богу, не погубите благороднаго человѣка». Я съ отвращеніемъ отдернулъ руку и сказалъ ему:

— Да ступайте вы къ себѣ, нужно мнѣ очень рассказывать.

— «Да чѣмъ же бы мнѣ услужить вамъ?»

— Посмотрите, чтобъ поскорѣ закладывали лошадей.

— «Живѣй, закричалъ онъ, айда, айда!» и самъ сталъ подергивать какія-то веревки и ремешки у упряжи.

Случай этотъ сильно врѣзался въ мою память. Въ 1846 г., когда я былъ въ послѣдній разъ въ Петербургѣ, нужно мнѣ было сходить въ канцелярію министра внутреннихъ дѣлъ, гдѣ я хлопоталъ о пассѣ. Пока я толковалъ съ столоначальникомъ, прошелъ какой-то господинъ..., дружески пожимая руку магнатамъ канцеляріи, снисходительно кланяясь столоначальникамъ. Фу, чортъ возьми, подумалъ я, да неужели это онъ!—Кто это?

— «Лазаревъ, чиновникъ особыхъ порученій при министрѣ и въ большой силѣ».

— Былъ онъ въ Вятской губерніи исправникомъ?

— «Былъ».

— Поздравляю васъ, господа: девять лѣтъ тому назадъ онъ цѣловалъ мнѣ руку.

Перовскій мастеръ выбирать людей!

ГЛАВА XVIII.

Начало Владимірской жизни.

...Когда я вышелъ садиться въ повозку въ Космодемьянскѣ, сани были заложены по-русски, тройка въ рядъ, одна въ корню, двѣ на пристяжкѣ, коренная въ дугѣ весело звонила колокольчикомъ.

Въ Пермь и Вяткѣ закладываютъ лошадей гуськомъ, одну передъ другой или двѣ въ рядъ, а третью впереди.

Такъ сердце и стукнуло отъ радости, когда я увидѣлъ нашу упряжь.

— Нутка, нутка, покажи намъ свою прыть, сказалъ я молодому парню, лихо сидѣвшему на облучкѣ въ нагольномъ тулупѣ и нестигаемыхъ рукавицахъ, которыя едва ему позволяли настолько сблизить пальцы, чтобъ взять пяти-алтынный изъ мо-
нихъ рукъ.

— «Уважимъ-сь, уважимъ-сь. Эй вы, голубчики!—ну, баринъ, сказалъ онъ, обращаясь вдругъ ко мнѣ, ты только держись, туда гора, такъ я коней-то пущу». Это былъ крутой съѣздъ къ Волгѣ, по которой шелъ зимній трактъ.

Дѣйствительно, коней онъ пустилъ. Сани не ѣхали, а какъ-то цѣликомъ прыгали справа налѣво и слѣва направо, лошади мчали подъ гору, ямщикъ былъ смертельно доволенъ, да, грѣшный человѣкъ, и я самъ,—русская натура.

Такъ въѣзжалъ я на почтовыхъ въ 1838 годъ—въ лучшій, въ самый свѣтлый годъ моей жизни. Расскажу вамъ нашу первую встрѣчу съ нимъ.

Верстахъ въ 80 отъ Нижняго, взошли мы, т. е. я и мой камердинеръ Матвѣй, обогрѣться къ станціонному смотрителю. На дворѣ было очень морозно и къ тому же вѣтрено. Смотритель, худой, болѣзненный и жалкой наружности человѣкъ, записывалъ подорожную, самъ себѣ диктуя каждую букву и все-таки ошибаясь. Я снялъ шубу и ходилъ по комнатѣ въ огромныхъ мѣховыхъ сапогахъ, Матвѣй грѣлся у каленой печи, смотритель бормоталъ, деревянные часы постукивали разбитымъ и слабымъ звукомъ...

— «Посмотрите, сказалъ мнѣ Матвѣй, скоро двѣнадцать часовъ, вѣдь, новый годъ-сь. Я принесу, прибавилъ онъ, полувопросительно глядя на меня, что-нибудь изъ запаса, который намъ въ Вяткѣ поставили», и, не дожидаясь отвѣта, бросился доставать бутылки и какой-то кулечекъ.

Матвѣй, о которомъ я еще буду говорить впослѣдствіи, былъ больше нежели слуга; онъ былъ моимъ пріятелемъ, меньшимъ братомъ. Московскій мѣщанинъ, отданный Зоненбергу, съ которымъ мы тоже познакомимся, на изученіе переплетнаго искусства, въ которомъ, впрочемъ, Зоненбергъ не былъ особенно свѣдущъ, онъ перешелъ ко мнѣ.

Я зналъ, что мой отказъ огорчилъ бы Матвѣя, да и самъ въ сущности ничего не имѣлъ противъ почтоваго праздника... Новый годъ своего рода станція.

Матвѣй принесъ ветчину и шампанское.

Шампанское оказалось замерзнувшимъ вгустую; ветчину можно было рубить топоромъ, она вся блистала отъ льдинокъ; но *à la guerre comme à la guerre*.

«Съ новымъ годомъ! Съ новымъ счастьемъ!»—въ самомъ дѣлѣ, съ новымъ счастьемъ. Развѣ я не былъ на возвратномъ пути? Всякій часъ приближалъ меня къ Москвѣ,—сердце было полно надеждъ.

Мороженое шампанское не то, чтобъ слишкомъ нравилось

смотрителю, я прибавилъ ему въ вино полстакана рома. Это новое half and half имѣло большой успѣхъ.

Ямщикъ, котораго я тоже пригласилъ, былъ еще радикальнѣе; онъ насыпалъ перцу въ стаканъ пѣннаго вина, размѣшалъ ложкой, выпилъ разомъ, болѣзненно вздохнулъ и нѣсколько со стономъ прибавилъ: «славно огорчило!»

Смотритель самъ усадилъ меня въ сани и такъ усердно хлопоталъ, что уронилъ въ сѣно зажженную свѣчу и не могъ ее потомъ найти. Онъ былъ очень въ духѣ и повторялъ: «Вотъ и меня вы сдѣлали съ новымъ годомъ—вотъ и съ новымъ годомъ!»

Огорченный ямщикъ тронулъ лошадей...

На другой день, часовъ въ восемь вечера, приѣхалъ я во Владиміръ и остановился въ гостиницѣ, чрезвычайно вѣрно описанной въ «Тарантасѣ», съ своей курицей «съ рысью», хлѣбнымъ патисе и съ уксусомъ вмѣсто бордо.

— Васъ спрашивалъ какой-то человѣкъ сегодня утромъ, онъ никакъ дожидается въ полпивной, сказалъ мнѣ, прочитавъ въ дорожной мое имя, половой съ тѣмъ ухарскимъ проборомъ и отчаяннымъ вискомъ, которымъ отличались прежде одни русскіе половые, а теперь половые и Людовикъ Наполеонъ.

Я не могъ понять, кто бы это могъ быть.

— Да вотъ и они-съ, прибавилъ половой, сторонась. Но явился сначала не человѣкъ, а страшной величины подносъ, на которомъ было много всякаго добра: куличъ и баранки, апельсины и яблоки, яйца, миндаль, изюмъ... а за подносомъ виднѣлась сѣдая борода и голубые глаза старосты изъ владимірской деревни моего отца.

— Гаврило Семенычъ!—воскликнулъ я и бросился его обнимать. Это былъ *первый* человѣкъ изъ *нашихъ*, изъ прежней жизни, котораго я встрѣтилъ послѣ *тюрьмы и ссылки*. Я не могъ насмотрѣться на умнаго старика и наговориться съ нимъ. Онъ былъ для меня представителемъ близости къ Москвѣ, къ дому, къ друзьямъ, онъ три дня тому назадъ всѣхъ видѣлъ, отъ всѣхъ привезъ поклоны... Стало, не такъ-то далеко ¹⁾).

¹⁾ Послѣ этого въ «Тюрьмѣ и Ссылкѣ» идетъ:

... «Новый отдѣлъ жизни начался для меня съ Владиміра... отдѣлъ чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнической и проникнутой любовью.

«Но онъ принадлежитъ къ другой части, къ той, за которую я боюсь приняться, которую описывать у меня врядъ достанетъ ли силъ.

«Страшныя событія, жгучее горе — все же легче кладутся на бумагу, нежели воспоминанія совершенно свѣтлыя, безоблачныя. Будто можно разсказывать счастье?»

«Не ждите отъ меня длинныхъ повѣствованій о внутренней жизни того времени. Есть предметы, о которыхъ я никому не говорилъ, никогда не говорить не потому, что они тайны, а по какой-то застѣнчивости сердца,

Губернаторъ Курута ¹⁾, умный грекъ, хорошо зналъ людей п давно успѣлъ охладѣть къ добру и злу. Мое положеніе онъ понималъ тотчасъ и не дѣлалъ ни малѣйшаго опыта меня притѣснять. О канцеляріи не было и помину, онъ поручилъ мнѣ съ однимъ учителемъ гимназіи завѣдывать *Губернскими Вѣдомостями*, въ этомъ состояла вся служба.

Дѣло это было мнѣ знакомое, я уже въ Вяткѣ поставилъ на ноги неофициальную часть вѣдомостей и помѣстилъ въ нее разъ статейку, за которую чуть не попалъ въ бѣду мой преемникъ. Описывая празднество на «Великой рѣкѣ», я сказалъ, что баранину, приносимую на жертву Николаю Хлыновскому, въ старыя годы раздавали бѣднымъ, а нынче продаютъ. Архіерей разгнѣвался, и губернаторъ насилу уговорилъ его оставить дѣло.

Губернскія вѣдомости были введены въ 1837 году. Оригинальная мысль приучать къ гласности въ странѣ молчанія и нѣмоты пришла въ голову министру внутреннихъ дѣлъ Блудову. Блудовъ, извѣстный какъ продолжатель исторіи Карамзина, не написавшій ни строки далѣе, и какъ сочинитель доклада слѣдственной комиссіи послѣ 14 декабря, котораго было бы лучше совсѣмъ не писать, принадлежалъ къ числу государственныхъ доктринеровъ, явившихся въ концѣ александровскаго царствованія. Это были люди умные, образованные, честные, состарившіеся и выслужившіеся «арзамаскіе гуси»; они умѣли писать по-русски, были па-

по ихъ слишкомъ глубокой и тѣсной связи со всѣмъ бытіемъ, по ихъ нѣжному волосенному развѣтвленію по всему существу.

«Дополните сами, чего не достааетъ, — догадайтесь, а я буду говорить о наружной сторонѣ, объ обстановкѣ, рѣдко, рѣдко касаясь намекомъ или словомъ заповѣдныхъ тайнъ своихъ».

¹⁾ Отрывокъ изъ этой главы, начиная отсюда и до конца (за исключеніемъ послѣднихъ четырехъ строчекъ), былъ напечатанъ въ «П о л я р н о й З в ѣ з д ѣ», какъ отдѣльная IV глава съ заголовкомъ: «Владимірѣ» и со слѣдующимъ началомъ:

«Ну, прощай,—писалъ я къ Natalie, — прощай городъ, въ которомъ прошли почти три года моей жизни, прощай Вятка, благословеніе изгнанника на тебѣ за твой привѣтъ, за дружбу, которой я былъ окруженъ. Во Владимірѣ вся жизнь моя будетъ посвящена тебѣ, тамъ буду я очищать душу и издали молиться тебѣ. Такъ пилигримъ останавливается, не доходя до Иерусалима, гдѣ-нибудь въ Емаусѣ, проситъ прощенія за прошедшее и готовится. Это будутъ мои сорокъ дней въ пустынѣ».

Я сдержалъ слово: съ самаго приѣзда моего во Владимірѣ, жизнь сложилась иначе, нежели въ Вяткѣ. Моя небольшая квартира близъ Золотыхъ Воротъ скорѣе походила на келью монаха, нежели на берлогу провинціального льва. Да я и не былъ львомъ во Владимірѣ. Никакое пошлое разсѣяніе не шло въ голову, рука, поддерживавшая меня, служившая мнѣ нравственной опорой, была ближе. Письма приходили на другой день, казалось, бумага еще была тепла, пульсъ руки чувствовался на ней, слѣдъ взгляда, обращеннаго на строчки, казалось, не успѣлъ пройти...

триоты и такъ усердно занимались отечественной исторіей, что не имѣли досуга заняться современностью. Всѣ они чтили незабвенную память Н. М. Карамзина, любили Жуковскаго, знали на память Крылова и ѣздили въ Москву бесѣдовать къ И. И. Дмитріеву, въ его домъ на Садовой, куда и я ѣзживалъ къ нему студентомъ, вооруженный романтическими предразсудками, личнымъ знакомствомъ съ Н. Полевымъ и затаеннымъ чувствомъ неудовольствія, что Дмитріевъ, будучи поэтомъ, былъ министромъ юстиціи. Отъ нихъ много надѣялись, они ничего не сдѣлали, какъ вообще доктринеры всѣхъ странъ. Можетъ быть, имъ и удалось бы оставить слѣдъ болѣе прочный при Александрѣ; но Александръ умеръ, и они остались при своемъ *желаніи* дѣлать что-нибудь путное.

Въ Монако на надгробномъ памятникѣ одного изъ владѣтельныхъ князей написано: «Здѣсь покоится Флорестанъ такой-то — онъ *хотѣлъ* дѣлать добро своимъ подданнымъ!»¹⁾ Наши доктринеры тоже желали дѣлать добро, но счетъ былъ составленъ безъ хозяина. Не знаю, кто помѣшалъ Флорестану, но имъ помѣшалъ нашъ Флорестанъ. Имъ пришлось быть соприкосновенными во всѣхъ ухудшеніяхъ Россія и ограничиваться ненужными нововведеніями, перемѣнами формъ, названій. Всякій начальникъ у насъ считаетъ высшей обязанностью нѣтъ-нѣтъ да и представить какой-нибудь проектъ, измѣненіе, обыкновенно къ худшему, но иногда просто безразличное. Секретаря въ канцеляріи губернатора, напр., сочли нужнымъ назвать правителемъ дѣлъ, а секретаря губернскаго правленія оставили безъ перевода на русскій языкъ. Я помню, что министръ юстиціи подавалъ проектъ о необходимыхъ измѣненіяхъ мундировъ гражданскихъ чиновниковъ. Проектъ этотъ начинался какъ-то величаво и торжественно: «Обративъ въ особенности вниманіе на недостатокъ единства въ шитьѣ и покроѣ нѣкоторыхъ мундировъ гражданского вѣдомства и взявъ въ основаніе» и т. д.

Одержимый тою же болѣзнію проектовъ, министръ внутреннихъ дѣлъ *замѣнилъ* земскихъ засѣдателей становыми приставами. Засѣдатели жили по городамъ и наѣзжали въ деревни. Становые иногда съѣзжаются въ городъ, но постоянно живутъ въ деревнѣ. Всѣ крестьяне такимъ образомъ были отданы подъ надзоръ полиціи. Блудовъ ввелъ полицейскаго въ тайны крестьянскаго промысла и богатства, въ семейную жизнь, въ мірскія дѣла и черезъ это коснулся послѣдняго убѣжища народной жизни. По счастью, деревень у насъ очень много, а становыхъ бываетъ два на уѣздъ.

¹⁾ Il a voulu le bien de ses sujets.

Почти въ то же время, тотъ же Блудовъ выдумалъ *Губернскія Вѣдомости*. У насъ правительство, презирая всякую грамотность, имѣетъ большія притязанія на литературу, и въ то время, какъ въ Англіи, напр., совсѣмъ нѣтъ казенныхъ журналовъ, у насъ каждое министерство издаетъ свой, академія и университеты свой. У насъ есть журналы горные и соляные, французскіе и нѣмецкіе, морскіе и сухопутные. Все это издается на казенный счетъ, подряды статей дѣлаются въ министерствахъ такъ, какъ подряды на дрова и свѣчи, только безъ переторжки; недостатка въ общихъ отчетахъ, выдуманныхъ цифрахъ и фантастическихъ выводахъ не бываетъ. Взявши всѣ монополии, правительство взяло и монополию болтовни, оно велѣло всѣмъ молчать и стало говорить безъ умолку. Продолжая эту систему, Блудовъ велѣлъ, чтобъ каждое губернское правленіе издавало свои вѣдомости и чтобъ каждая вѣдомость имѣла свою неофициальную часть для статей историческихъ, литературныхъ и пр.

Сказано—сдѣлано, и вотъ пятьдесятъ губернскихъ правленій рвутъ себѣ волосы надъ неофициальной частью. Священники изъ семинаристовъ, доктора медицины, учителя гимназій, всѣ люди, состоящіе въ подозрѣніи образованія и умѣстнаго употребленія буквы «ѣ», берутся въ реквизицію. Они думаютъ, перечитываютъ «Библиотеку для чтенія» и «Отечественныя Записки», боятся, посягаютъ и, наконецъ, пишутъ статейки.

Видѣть себя въ печати—одна изъ самыхъ сильныхъ искусственныхъ страстей человѣка, испорченнаго книжнымъ вѣкомъ. Но, тѣмъ не меньше, рѣшаться на публичную выставку своихъ произведеній нелегко, безъ особаго случая. Люди, которые не смѣли бы думать о печатаніи своихъ статей въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, въ петербургскихъ журналахъ, стали печататься у себя дома. А между тѣмъ *пагубная* привычка имѣть органъ, привычка къ гласности, укоренилась. Да и совсѣмъ готовое орудіе имѣть не дурно. Типографскій станокъ *тоже* безъ коостей.

Товарищъ мой по редакціи былъ кандидатъ нашего университета и одного со мною отдѣленія. Я не имѣю духу говорить о немъ съ улыбкой, такъ горестно онъ кончилъ свою жизнь, а все-таки до самой смерти онъ былъ очень смѣшонъ. Далекое не глупый, онъ былъ необыкновенно неуклюжъ и неловокъ. Не только полнѣйшаго безобразія трудно было встрѣтить, но и такого большого, т. е. такого растянутого. Лицо его было вполтора больше обыкновеннаго, и какъ-то шероховато, огромный рыбій ротъ раскрывался до ушей, свѣтло-сѣрые глаза были не отбѣнены, а скорѣе освѣщены бѣлокуроыми рѣсницами, жесткіе волосы скудно покрывали его черепъ и притомъ онъ былъ головою выше меня, сутуловать и очень неопрятенъ.

Онъ даже назывался такъ, что часовой во Владимірѣ посадилъ его въ караульню за его фамилію. Поздно вечеромъ шелъ онъ, завернутый въ шинель, мимо губернаторскаго дома, въ рукѣ у него былъ ручной телескопъ, онъ остановился и прицѣлился въ какую-то планету; это озадачило солдата, вѣроятно считавшаго звѣзды казенной собственностью. «Кто идетъ?» закричалъ онъ неподвижно стоявшему наблюдателю.—«Небаба», отвѣчалъ мой пріятель густымъ голосомъ, не двигаясь съ мѣста.

«Вы не дурачьтесь, отвѣтилъ оскорбленный часовой, я въ должности».

— «Да говорю же, что я Небаба!»

Солдатъ не вытерпѣлъ и дернулъ звонокъ, явился унтеръ-офицеръ, часовой отдалъ ему астронома, чтобъ свести на гаушвахту: тамъ, молъ, тебя разберуть, баба ты или нѣтъ. Онъ непремѣнно просидѣлъ бы до утра, если-бъ дежурный офицеръ не узналъ его.

Разъ Небаба зашелъ ко мнѣ по утру, чтобъ сказать, что ѣдетъ на нѣсколько дней въ Москву, при этомъ онъ какъ-то умильно лукаво улыбнулся. «Я, сказалъ онъ, заминаясь, я возвращусь не одинъ!» — Какъ, вы—то-есть? — «Да-съ, вступаю въ законный бракъ», отвѣтилъ онъ застѣнчиво. Я удивился героической отвагѣ женщины, рѣшающейся идти за этого добраго, но ужъ черзчуръ некрасиваго человѣка. Но когда, черезъ двѣ-три недѣли, я увидѣлъ у него въ домѣ дѣвочку лѣтъ восемнадцать, не то чтобъ красивую, но смазливенькую и съ живыми глазами, тогда я сталъ смотрѣть на него, какъ на героя.

Мѣсяца черезъ полтора я замѣтилъ, что жизнь моего Квазимодо шла плохо: онъ былъ подавленъ горемъ, дурно правилъ корректуру, не оканчивалъ своей статьи «о перелетныхъ птицахъ» и былъ мрачно разсѣянъ; иногда мнѣ казались его глаза заплаканными. Это продолжалось недолго. Разъ, возвращаясь домой черезъ Золотыя Ворота, я увидѣлъ мальчиковъ и лавочниковъ, бѣгущихъ на погостъ церкви: полицейскіе суетились. Пошелъ и я.

Трупъ Небабы лежалъ у церковной стѣны, а возлѣ ружье. Онъ застрѣлился супротивъ оконъ своего дома; на ногѣ оставалась веревочка, которой онъ спустилъ курокъ. Инспекторъ врачебной управы плавно повѣствовалъ окружающимъ, что покойникъ нисколько не мучился; полицейскіе приготовлялись нести его въ часть.

... Куда природа свирѣпа къ лицамъ. Чтò и чтò прочувствовалось въ этой груди страдальца, прежде чѣмъ онъ рѣшился своей веревочкой остановить маятникъ, мѣрившій ему одни оскорбленія, одни несчастія. И за что? За то, что отецъ былъ золоту-

шенъ или мать лимфатична? Все это такъ. Но по какому праву мы требуемъ справедливости, отчета, причинъ—у кого? У крутящагося урагана жизни?..

Въ то же время для меня начался новый отдѣлъ жизни... отдѣлъ чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнической и проникнутый любовью...

Онъ принадлежитъ къ другой части.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ВЛАДИМИРЪ НА КЛЯЗЬМЪ.

(1838—1839).

Не ждите отъ меня длинныхъ повѣствованій о внутренней жизни того времени... Страшныя событія, всякое горе, все же легче кладутся на бумагу, чѣмъ воспоминанія совершенно свѣтлыя и безоблачныя... Будто можно рассказывать счастье?

Дополните сами, чего не достааетъ, догадайтесь сердцемъ,—а я буду говорить о наружной сторонѣ, объ обстановкѣ, рѣдко, рѣдко касаясь намекомъ или словомъ запевдныхъ тайнъ своихъ («Былое и Думы»).

ГЛАВА XIX ¹⁾.

Княгиня и княжна.

Когда мнѣ было лѣтъ пять, шесть и я очень шалилъ, Вѣра Артамоновна говаривала: «Хорошо, хорошо, дайте срокъ, погодите, я все расскажу княгинѣ, какъ только она пріѣдетъ». Я тотчасъ усмирился послѣ этой угрозы и умолялъ ее не жаловаться.

¹⁾ Семь главъ III части были напечатаны въ «Полярной Звѣздѣ» при слѣдующемъ примѣчаніи:

«Отрывокъ, печатаемый теперь, слѣдуетъ прямо за той частью, которая была особо издана подъ заглавіемъ «Тюрьма и ссылка»; она была написана тогда же (1853), но я многое прибавилъ и дополнилъ.

Странная судьба моихъ «Записокъ»: я хотѣлъ напечатать одну часть ихъ, вмѣсто того напечаталъ три и теперь еще печатаю *четвертую*.

Одинъ парижскій рецензентъ, разбирая, впрочемъ, очень благосклонно (La Presse, 13 oct. 1856) третій томикъ нѣмецкаго перевода моихъ «Записокъ», изданныхъ Гофманомъ и Кампе въ Гамбургѣ, въ которомъ я рассказываю о моемъ дѣтствѣ, прибавляетъ шутя, что я повѣствую свою жизнь

Княгиня Марья Алексѣевна Хованская, родная сестра моего отца, была строгая, угрюмая старуха, толстая, важная, съ пятномъ на щекѣ, съ поддѣльными пуклями подъ чепцомъ; она говорила, прищуривая глаза, и до конца жизни, т. е. до восьмидесяти лѣтъ, употребляла немного румянъ и немного бѣлилъ. Всякой разъ, когда я ей попадался на глаза, она притѣсняла меня; ея проповѣдямъ, ворчанью не было конца, она меня журила за все: за измятый воротничекъ, за пятно на курточкѣ, за то, что я не такъ подошелъ къ рукѣ, заставляла подойти другой разъ. Окончивши проповѣдь, она иногда говаривала моему отцу, бравши кончиками пальцевъ табакъ изъ крошечной золотой табакерки: «Ты бы мнѣ, голубчикъ, отдалъ баловня-то твоего на выправку: онъ у меня въ мѣсяцъ сдѣлался бы шелковый». Я зналъ, что меня не отдадутъ, а все-таки у меня дѣлался знобъ отъ этихъ словъ.

Съ лѣтами страхъ прошелъ, но дома княгини я не любилъ,— я въ немъ не могъ дышать вольно, мнѣ было у нея не по себѣ и я, какъ пойманный заяцъ, безпокойно смотрѣлъ то въ ту, то въ другую сторону, чтобъ дать стрѣчка.

Княгининъ домъ вовсе не походилъ на домъ моего отца или Сенатора. Это былъ старинный, православный русскій домъ. Домъ, въ которомъ соблюдались посты, ходили къ заутрени, ставили на канунѣ крещенья крестъ на дверяхъ, дѣлали удивительные блины на масляницѣ, ѣли буженину съ хрѣномъ, обѣдали ровно въ два и ужинали въ девятомъ часу. Западная зараза, коснувшаяся брать-

какъ эпическую поэму: началъ *in medias res* и потомъ возвратился къ дѣйствию.

Это эпическое кокетство совершенная случайность, и если кто-нибудь виновать въ немъ, то совсѣмъ не я, а скорѣе мои рецензенты, и въ томъ числѣ самъ критикъ «Прессы». Если-бъ они отрывки изъ моихъ записокъ приняли строже, холоднѣе и, что еще хуже, пропустили бы ихъ безъ всякаго вниманія, я долго не рѣшился бы печатать еще и долго обдумывалъ бы, въ какомъ порядкѣ печатать.

Приемъ, сдѣланный имъ, увлекъ меня, и мнѣ стало труднѣе не печатать, нежели печатать.

Я знаю, что большая часть успѣха ихъ принадлежитъ не мнѣ, а предмету. Западные люди были рады еще разъ заглянуть за кулисы русской жизни. Но, можетъ, въ сочувствіи къ моему разсказу доля принадлежитъ *простой правдѣ* его. Эта награда была бы мнѣ очень дорога, ее только я и желать.

Часть, печатаемая теперь, интимнѣе прежнихъ; именно потому она имѣетъ меньше интереса, меньше фактовъ; но мнѣ было гораздо труднѣе писать ее.. Къ ней я приступилъ съ особеннымъ страхомъ былого и печатаю ее съ внутреннимъ трепетомъ, не давая себѣ отчета, зачѣмъ...

... Можетъ быть, кому-нибудь изъ тѣхъ, которымъ была занимательна внѣшняя сторона моей жизни, будетъ занимательна и внутренняя. Вѣдь, мы уже теперь старые знакомые!

Лондонъ, 21 ноября, 1856 г.

И—ръ.

евъ и сбившая ихъ нѣсколько съ родной колеи, не коснулась житья княгини, она, напротивъ, съ неудовольствіемъ посматривала, какъ «Ванюша» и «Левушка» испортились въ *той* Франціи.

Княгиня жила во флигелѣ дома, занимаемаго ея теткой, княжной Мещерской, дѣвицей лѣтъ восьмидесяти.

Княжна была живою и чуть ли не единственною связью множества родственниковъ во всѣхъ семи восходящихъ и нисходящихъ колѣнахъ. Около нея собирались въ большіе праздники всѣ ближніе; она мирила ссорившихся, сближала отдалявшихся, ее всѣ уважали и она заслуживала это. Съ ея смертью родственныя связи распались, потеряли свое средоточіе, забыли другъ друга.

Она окончила воспитаніе моего отца и его братьевъ; послѣ смерти ихъ родителей, она завѣдывала ихъ имѣньемъ до совершеннолѣтія; она отправила ихъ въ гвардію на службу, она выдала замужъ ихъ сестеръ. Не знаю, насколько она была довольна плодомъ своего воспитанія, образовавши, съ помощью французскаго инженера, Вольтерова родственника, помѣщиковъ *ésprits forts*, по уваженію къ себѣ вселить она умѣла, и племянники, не очень расположенные къ чувствамъ покорности и уваженія, почитали старушку и часто слушались ее до конца ея жизни.

Домъ княжны Анны Борисовны, уцѣлѣвшій какимъ-то чудомъ во время пожара 1812, не былъ поправленъ лѣтъ пятьдесятъ; штофныя обои, вылинялыя и почернѣвшіе, покрывали стѣны; хрустальныя люстры, какъ-то загорѣлыя и сдѣлавшіяся дымчатыми топазами отъ времени, дрожали и позванивали, мерцая и тускло блестя, когда кто-нибудь шелъ по комнатѣ; тяжелая, изъ цѣльнаго краснаго дерева, мебель, съ вычурными украшеніями, потерявшими позолоту, печально стояла около стѣнъ; комоды съ китайскими инкрустаціями, столы съ мѣдными рѣшеточками, фарфоровыя куклы рококо—все напоминало о другомъ вѣкѣ, объ иныхъ нравахъ.

Въ передней сидѣли сѣдые лакеи, важно и тихо занимаясь разными мелкими работами, а иногда читая въ полелуха молитвенникъ или псалтырь, котораго листы были темнѣе переплета. У дверей стояли мальчики, но и они были скорѣе похожи на старыхъ карликовъ, нежели на дѣтей, никогда не смѣялись и не подымали голоса.

Во внутреннихъ комнатахъ царилъ мертвая тишина; только по временамъ раздавался печальный крикъ какаду, несчастный опытъ его, картавя, повторить человѣческое слово, костяной звукъ его клюва объ жердочку, покрытую жестью, да противное хныканье небольшой обезьяны, старой, осунувшейся, чахоточной, жившей въ залѣ на небольшомъ выступѣ изразцовой печи. Обезьяна эта, одѣтая дебардеромъ, въ широкихъ красныхъ шароварахъ,

сообщала всей комнатѣ особый запахъ, чрезвычайно непріятный. Въ другой залѣ висѣло множество фамилныхъ портретовъ всѣхъ величинъ, формъ, временъ, возрастовъ и костюмовъ. Портреты эти имѣли для меня особый интересъ, именно по противоположности оригиналовъ съ изображеніями. Молодой человекъ, лѣтъ двадцати, въ свѣтлозеленомъ питомѣ кафтанѣ, съ пудреной головой, вѣжливо улыбавшійся съ холста,—это былъ мой отецъ. Дѣвочка съ растрепанными кудрями, съ букетомъ розъ, украшенная мушкой, неумолимо затаенная въ какой-то граненый бокалъ, воткнутый въ непомѣрныя фижмы, была грозная княгиня...

Чинность и тишина росли по мѣрѣ приближенія къ кабинету. Старыя горничныя, въ бѣлыхъ чепцахъ съ широкой оборкой, ходили взадъ и впередъ съ какими-то чайничками, такъ тихо, что ихъ шаговъ не было слышно; иногда появлялся въ дверяхъ какой-нибудь сѣдой слуга въ длинномъ сюртукѣ изъ толстаго синяго сукна, но и его шаговъ также не было слышно, даже свой докладъ старшей горничной онъ дѣлалъ, шевеля губами безъ всякаго звука.

Небольшая ростомъ, высохнувшая, сморщившаяся, но вовсе не безобразная старушка обыкновенно сидѣла или, лучше, лежала на большомъ неуклюжемъ диванѣ, обкладенная подушками. Ее едва можно было разглядѣть; все было бѣлое: капотъ, чепецъ, подушки, чехлы на диванѣ. Блѣдно-восковое и кружевно-нѣжное лицо ея вмѣстѣ съ слабымъ голосомъ и бѣлой одеждой придавали ей что-то отошедшее, еле-еле дышащее.

Большіе англійскіе столовые часы, своимъ мѣрнымъ, громкимъ спондеемъ—тикъ-такъ—тикъ-такъ—тикъ-такъ..., казалось, отмѣривали ей послѣдніе четверть часа жизни.

Часу въ первомъ являлась княгиня и важно усаживалась въ глубокія кресла; ей было скучно въ пустомъ флигелѣ своемъ. Она была вдова, и я еще помню ея мужа; онъ былъ небольшого роста, сѣденькой старичекъ, пившій тайкомъ отъ княгини настойки и наливки, ничѣмъ не занимавшійся путнымъ въ домѣ и привыкшій къ безусловной покорности женѣ, противъ которой иногда возмущался на словахъ, особенно послѣ наливокъ, но никогда не дѣлалъ. Княгиня удивлялась потомъ, какъ сильно дѣйствуетъ на князя Федора Сергѣевича крошечная рюмка водки, которую онъ пилъ официально передъ обѣдомъ, и оставляла его покойно играть цѣлое утро съ дроздами, соловьями и канарейками, кричавшими наперерывъ во все птичье горло; онъ обучалъ однихъ органчикомъ, другихъ собственнымъ свистомъ; онъ самъ ѣздилъ ране хонько въ Охотный рядъ мѣнять птицъ, продавать, прикупать; онъ былъ артистически доволенъ, когда случалось (да и то по его мнѣнію), что онъ надулъ купца... И такъ продолжалъ свою полез-

ную жизнь до тѣхъ поръ, пока разъ по утру, посвиставши своимъ канарейкамъ, онъ упалъ навзничъ и черезъ два часа умеръ.

Княгиня осталась одна. У нея были двѣ дочери; она обѣихъ выдала замужъ, обѣ вышли не по любви, а только чтобъ освободиться отъ родительскаго гнета матери. Обѣ умерли послѣ первыхъ родовъ. Княгиня была дѣйствительно несчастная женщина, но несчастія скорѣе исказили ея нравъ, нежели смягчили его. Она отъ ударовъ судьбы стала не кротче, не добрѣе, а жеще и угрюмѣе.

Теперь у нея оставались только братья и, главное, княжна. Княжна, съ которой она почти не разставалась во всю жизнь, еще больше приблизила ее къ себѣ послѣ смерти мужа. Она не распоряжалась ничѣмъ въ домѣ. Княгиня самодержавно управляла всѣмъ и притѣсняла старушку, подъ предлогомъ заботъ и вниманія.

Около стѣнъ, по разнымъ угламъ, постоянно сиживали всякія старухи, приживавшія у княжны, или временно кочевавшія въ ея домѣ. Полусвятыя и полубродяги, нѣсколько поврежденные и очень набожныя, больныя и чрезвычайно нечистыя, эти старухи таскались изъ одного стариннаго дома въ другой; въ одномъ домѣ покормятъ, въ другомъ подарятъ старую шаль, отсюда пришлютъ крупокъ и дровецъ, отсюда холста и капуста,—концы-то кой-какъ и сойдутся. Ими вездѣ тяготились, вездѣ ихъ обходили, вездѣ сажали на послѣднее мѣсто и вездѣ принимали отъ скуки пустоты, а пуще всего отъ любви къ сплетнямъ. При постороннихъ печальныя фигуры эти обыкновенно молчали, съ завистливою ненавистью поглядывали другъ на друга,... вздыхая, качали головой, крестились и бормотали себѣ подъ носъ счетъ петель, молитвы, а, можетъ, и брань. Зато оставшись наединѣ съ *благодѣтельницей* и *покровительницей*, онѣ вознаграждали себя за молчаніе самой предательской болтовней обо всѣхъ другихъ благодѣтельницахъ, къ которымъ ихъ пускали, гдѣ ихъ кормили и дарили.

Онѣ безпрестанно просили что-нибудь у княжны, и за ея подарки, дѣлаемые часто тайкомъ отъ княгини, которая не любила ихъ баловать, приносили ей окаменѣлыя просвиры и собственнаго издѣлія шерстяныя и вязаныя ненужности, которыя княжна потомъ продавала въ ихъ же пользу, причемъ воля покупщика вовсе не бралась въ соображеніе.

Сверхъ дня рожденія, именинъ и другихъ праздниковъ, самый торжественный сборъ родственниковъ и близкихъ въ домѣ княжны былъ наканунѣ новаго года. Княжна въ этотъ день *поднимала* Иверскую Божію мать. Съ пѣніемъ носпли монахи и священники образъ по всѣмъ комнатамъ. Княжна первая, крестясь, проходила подъ него, за ней всѣ гости, слуги, служанки,

старикъ, дѣти. Послѣ этого всѣ поздравляли ее съ наступающимъ новымъ годомъ и дарили ей всякія бездѣлицы, какъ дарятъ дѣтямъ. Она ими играла нѣсколько дней, потомъ сама раздаривала.

Отецъ мой возилъ меня всякой годъ на эту церемонію; все повторялось въ томъ же порядкѣ, только иныхъ стариковъ и иныхъ старушекъ не доставало, объ нихъ намѣренно умалчивали, одна княжна говорила: «А нашего-то Ильи Васильевича и вѣтъ, дай ему Богъ царство небесное!.. Кого-то въ будущій годъ Господь еще позоветъ?»—И сомнительно качала головой.

А спондей англійскихъ часовъ продолжалъ отмѣривать дни, часы, минуты... и, наконецъ, домѣрилъ до роковой секунды; старушка разъ, вставши, какъ-то дурно себя чувствовала; прошлась по комнатамъ,—все не хорошо; кровь пошла у нея носомъ и очень обильно; она была слаба, устала, прилегла совсѣмъ одѣтая на своемъ диванѣ, спокойно заснула... и не просыпалась. Ей было тогда за девяносто лѣтъ.

Домъ и большую часть имѣнья оставила она княгинѣ, но внутренній смыслъ своей жизни не передала ей. Княгиня не умѣла продолжать изящную въ своемъ родѣ роль прародительницы, патриархальной связи многихъ нитей. Съ кончиной княжны все приняло разомъ, какъ въ гористыхъ мѣстахъ при захожденіи солнца, мрачный видъ, длинныя черныя тѣни легли на все. Она заперла наглухо домъ тетки и осталась жить во флигелѣ; домъ поросъ травой; стѣны и рамы все больше и больше чернѣли; сѣни, на которыхъ вѣчно спали какія-то желтоватыя, неуклюжія собаки, покривились.

Знакомые и родные рѣдѣли, домъ ея пустѣлъ, она огорчалась этимъ, но поправить не умѣла.

Уцѣлѣвъ одна изъ всей семьи, она стала бояться за свою ненужную жизнь и безжалостно отталкивала все, что могло физически или морально разстроить равновѣсіе, обезпокоить, огорчить. Боясь прошедшаго и воспоминаній, она *удаляла* всѣ вещи, принадлежавшія дочерямъ, даже ихъ портреты. То же было послѣ княжны,—какаду и обезьяна были сосланы въ людскую, потомъ высланы изъ дома. Обезьяна доживала свой вѣкъ въ кучерской у Сенатора, задыхаясь отъ нѣжинскихъ корешковъ и потѣшая фрейторовъ.

Эгоизмъ самохраненія страшно черствитъ старое сердце. Когда болѣзнь послѣдней дочери ея приняла совершенно отчаянный характеръ, мать уговорили ѣхать домой, *и она поѣхала*. Дома она тотчасъ велѣла приготовить разные спирты и капустные листы (она ихъ привязывала къ головѣ) для того, чтобъ имѣть подъ рукой все, что надобно, когда придетъ *страшная вѣсть*. Она не простилась ни съ тѣломъ мужа, ни съ тѣломъ дочери, она ихъ

не видала послѣ смерти и не была на похоронахъ. Когда впоследствии умеръ Сенаторъ, ея любимый братъ, она догадалась по нѣсколькимъ словамъ племянника о томъ, что случилось, и просила его не объявлять ей печальной новости, ни подробности кончины. Какъ же не жить съ этими мѣрами противъ собственного сердца—и такого сговорчиваго сердца—до восьмого, девятого десятка въ полномъ здоровіи и съ несокрушимымъ пищевареніемъ.

Впрочемъ, напомню въ защиту княгини, что это уродливое отдаленіе всего печальнаго было гораздо больше въ ходу у аристократическихъ баловней прошлаго вѣка, чѣмъ теперь. Знаменитый Кауницъ строго запретилъ подъ старость, чтобъ при немъ говорили о чьей-нибудь смерти и объ оспѣ, которой онъ очень боялся. Когда умеръ Іосифъ II, секретарь, не зная, какъ доложить Кауницу, рѣшился сказать: «Нынѣ царствующій императоръ Леопольдъ». Кауницъ понялъ и, блѣдный, опустился на кресла, не спросивъ ничего. Садовникъ его въ разговорахъ миновалъ слово «прививка», чтобъ не напомнить оспы. Наконецъ, о смерти собственного сына онъ узналъ случайно отъ испанскаго посланника. А надъ страусами, которые прячутъ голову подъ крыло отъ опасности, люди смѣются!

Для храненія полного покоя своего княгиня учредила особую полицію, и начальство надъ нею ввѣрила искуснымъ рукамъ.

Сверхъ кочующихъ старухъ, унаслѣдованныхъ отъ княжны, у княгини жила постоянная «компаньонка». Эту почетную должность занимала здоровая, краснощекая вдова какого-то звенигородскаго чиновника, надменная своимъ «благородствомъ» и ассесорскимъ чиномъ покойника, сварливая и неутомная женщина, которая никогда не могла простить Наполеону преждевременную смерть ея звенигородской коровы, погибшей въ отечественную войну 1812 года. Я помню, какъ она серьезно заботилась послѣ смерти Александра I, какой ширины плерезы ей слѣдуетъ носить по рангу.

Женщина эта играла очень неважную роль, пока княжна была жива, но потомъ такъ ловко умѣла приладиться къ капризамъ княгини и къ ея тревожному безпокойству о себѣ, что вскорѣ заняла при ней точно то мѣсто, которое сама княгиня имѣла при теткѣ.

Обищенная своими чиновными плерезами, Марья Степановна каталась какъ шаръ по дому съ утра до ночи, кричала, шумѣла, не давала покоя людямъ, жаловалась на нихъ, дѣлала слѣдствія надъ горничными, давала тузы и драла за уши мальчишекъ, сводила счеты, бѣгала на кухню, бѣгала на конюшню, обмахивала мухъ, терла ноги, заставляла принимать лекарство. Домашніе не

имѣли больше доступа къ барынѣ, — это былъ Аракчеевъ, Биронъ, словомъ, первый министръ. Княгиня — чопорная и, хотя по старинному, но все же воспитанная, часто, особенно сначала, тяготилась звенигородской вдовой, ея крикливымъ голосомъ, ея рыночными манерами, но ввѣрялась ей больше и больше и съ восхищеніемъ видѣла, что Марья Степановна значительно уменьшила и безъ того не очень важные расходы по дому. Кому княгиня берегла деньги, трудно сказать: у нея не было никого близкаго, кромѣ братьевъ, которые были вдвое богаче ея.

Со всѣмъ тѣмъ княгиня въ сущности послѣ смерти мужа и дочерей скучала и бывала рада, когда старая французженка, бывшая гувернанткой при ея дочеряхъ, пріѣзжала къ ней погостить недѣли на двѣ, или когда ея племянница изъ Корчевы навѣщала ее. Но все это было мимоходомъ, изрѣдка, а скучное съ глазу на глазъ съ компаньонкой не наполняло промежутковъ.

Занятіе, игрушка и разсѣяніе нашлись очень естественно незадолго передъ смертью княжны.

ГЛАВА XX.

Сирота.

Въ половинѣ 1825 года, «Химикъ», принявшій дѣла отца въ большомъ безпорядкѣ, отправилъ изъ Петербурга въ Шацкое имѣніе своихъ братьевъ и сестеръ; онъ давалъ имъ господскій домъ и содержаніе, предоставляя впослѣдствіи заняться ихъ воспитаніемъ и устроить ихъ судьбу. Княгиня поѣхала на нихъ взглянуть. Ребенокъ восьми лѣтъ поразилъ ее своимъ грустно-задумчивымъ видомъ; княгиня посадила его въ карету, привезла домой и оставила у себя.

Мать была рада и отправилась съ другими дѣтьми въ Тамбовъ.

Химикъ согласился, — ему было все равно.

«Помни всю жизнь — говорила маленькой дѣвочкѣ, когда онѣ пріѣхали домой, компаньонка — помни, что княгиня *твоя благодѣтельница*, и молись о продолженіи ея дней. Что была бы ты безъ нея?»

И вотъ, въ этомъ отжившемъ домѣ, надъ которымъ угрюмо тяготѣли двѣ неугомонныя старухи, — одна, полная причудъ и капризовъ, другая, ея безпокойная лазутчица, лишенная всякой деликатности, всякаго такта, — явилось дитя, оторванное отъ всего близкаго ему, чужое всему окружающему и взятое отъ скуки, какъ берутъ собаченокъ, или какъ князь Федоръ Сергѣевичъ держалъ канареекъ.

Въ длинномъ, траурномъ шерстяномъ платьѣ, блѣдная до синеватаго отлива, дѣвочка сидѣла у окна, когда меня привезъ черезъ нѣсколько дней отецъ мой къ княгинѣ. Она сидѣла молча, удивленная, испуганная, и глядѣла въ окно, боясь смотрѣть на что-нибудь другое.

Княгиня подозвала ее и представила моему отцу. Всегда холодный и непривѣтливый, онъ равнодушно потрепалъ ее по плечу, замѣтилъ, что покойный братъ самъ не зналъ, что дѣлалъ, побранилъ Химику и сталъ говорить о другомъ.

У дѣвочки были слезы на глазахъ; она опять сѣла къ окну и опять стала смотрѣть въ него.

Тяжелая жизнь начиналась для нея. Ни одного теплаго слова, ни одного нѣжнаго взгляда, ни одной ласки; возлѣ, около—посторонніе, морщины, пожелтѣлыя щеки, существа потухающія, хилыя. Княгиня была постоянно строга, взыскательна, нетерпѣлива и держала себя слишкомъ далеко отъ сироты, чтобъ ей въ голову пришло пріютиться къ ней, отогрѣться, утѣшиться въ ея близости или поплакать. Гости не обращали на нее никакого вниманія. Компаньонка сносила ее какъ капризъ княгини, какъ вещь лишнюю, но которая ей вредить не можетъ; она, особенно при постороннихъ, даже показывала, что покровительствуетъ ребенку и ходатайствуетъ передъ княгиней о ней.

Ребенокъ не привыкалъ, и черезъ годъ былъ столько же чуждъ, какъ въ первый день, и еще печальнѣе. Сама княгиня удивлялась его «серіозности», и иной разъ, видя, какъ она часы цѣлые уныло сидитъ за маленькими пальцами, говорила ей: «Что ты не порѣзвишься, не пробѣжишь?»—Дѣвочка улыбалась, краснѣла, благодарила, но оставалась на своемъ мѣстѣ.

И княгиня оставляла ее въ покоѣ, нисколько не заботясь въ сущности о грусти ребенка и не дѣлая ничего для его развлечения. Приходили праздники, другимъ дѣтямъ дарили игрушки, другія дѣти рассказывали о гуляньяхъ, объ обновкахъ. Сиротѣ ничѣго не дарили. Княгиня думала, что довольно дѣлаетъ для нея, давая ей кровъ; благо есть башмаки, на что еще куклы! Ихъ въ самомъ дѣлѣ было ненужно,—она не умѣла играть, да и не съ кѣмъ было.

Одно существо поняло положеніе сироты; за ней была представлена старушка няня, она одна просто и наивно любила ребенка. Часто вечеромъ, раздѣвая ее, она спрашивала: «Да что же это вы, моя барышня, такія печальныя?» Дѣвочка бросалась къ ней на шею и горько плакала, и старушка, заливаясь слезами и качая головой, уходила съ подсвѣчникомъ въ рукѣ.

Такъ шли годы. Она не жаловалась, она не роптала, она только лѣтъ двѣнадцати хотѣла умереть. «Мнѣ все казалось, писала она,

что я понала ошибкой въ эту жизнь и что скоро ворочусь домой,—но гдѣ же былъ мой домъ?.. Уѣзжая изъ Петербурга, я видѣла большой сугробъ снѣга на могилѣ моего отца; моя мать, оставляя меня въ Москвѣ, скрылась на широкой, безконечной дорогѣ... Я горячо плакала и молила Бога взять меня скорѣй домой».

... «Мое ребячество было самое печальное, горькое; сколько слезъ пролито, невидимыхъ никѣмъ, сколько разъ, бывало, ночью, не понимая еще, что такое молитва, я вставала украдкой (не смѣя и молиться не въ назначенное время) и просила Бога, чтобъ меня кто-нибудь любилъ, ласкалъ. У меня не было той забавы или игрушки, которая бы заняла меня и утѣшила, потому что, ежели и давали что-нибудь, то съ упрекомъ и съ непремѣннымъ прибавленіемъ: «ты этого не стоишь». Каждый лоскутъ, получаемый отъ нихъ, былъ мною оплаканъ; потомъ я становилась выше этого; стремленіе къ наукѣ душило меня, я ничему больше не завидовала въ другихъ дѣтяхъ, какъ ученью. Многіе меня хвалили, находили во мнѣ способности и съ состраданіемъ говорили: «Если-бъ приложить руки къ этому ребенку!»—Онъ дивилъ бы свѣтъ, договаривала я мысленно, и щеки мои горѣли, я спѣшила идти куда-то, мнѣ виднѣлись мои картины, мои ученики, а мнѣ не давали клочка бумаги, карандаша... Стремленье выйти въ другой міръ становилось все сильнѣе и сильнѣе, и съ тѣмъ вмѣстѣ росло презрѣніе къ моей темницѣ и къ ея жестокимъ часовымъ. Я повторяла непрерывно стихи чернеца:

Вотъ тайна: дней моихъ весною
Ужъ я все горе жизни зналъ.

«Помнишь ли ты, мы какъ-то были у васъ, давно, еще въ томъ домѣ, ты меня спросилъ, читала ли я Козлова, и сказалъ изъ него именно то же самое мѣсто. Трепетъ пробѣжалъ по мнѣ, я улыбнулась, насилу удерживая слезы».

Глубоко грустная нота постоянно звучала въ ея груди; вполне она никогда не исключалась, а только иногда умолкала,—поглощенная свѣтлой минутой жизни.

Мѣсяца за два до своей кончины, возвращаясь еще разъ къ своему дѣтству, она писала ¹⁾:

«Кругомъ было старое, дурное, холодное, мертвое, ложное, мое воспитаніе началось съ упрековъ и оскорбленій, вслѣдствіе этого—отчужденіе отъ всѣхъ людей, недовѣрчивость къ ихъ ласкамъ, отвращеніе отъ ихъ участія, углубленіе въ самое себя...»

Но для такого углубленія въ самага себя надобно было имѣть не только страшную глубь души, въ которой привольно нырять,

¹⁾ Къ своей Консуло (Пол. Зв. т. III, ст. 95).

но страшную силу независимости и самобытности. Жить своею жизнью въ средѣ непріязненной и пошлой, гнетущей и безвыходной, могутъ очень немногіе. Иной разъ духъ не вынесетъ, иной разъ тѣло сломится.

Сиротство и грубыя прикосновенія въ самый нѣжный возрастъ оставили черную полосу на душѣ, рану, которая никогда не сrostалась вполне.

«Я не помню, пишетъ она въ 1837, когда бы я свободно и отъ души произнесла слово «маменька», къ кому бы, безопасно забывая все, склонилась на грудь. Съ восьми лѣтъ *чужая* всѣмъ, я люблю мою мать..., но мы не знаемъ другъ друга».

Глядя на блѣдный цвѣтъ лица, на большіе глаза, окаймленные темной полоской, двѣнадцатилѣтней дѣвочки, на ея томную усталъ и вѣчную грусть, многимъ казалось, что это одна изъ предназначенныхъ, раннихъ жертвъ чахотки, жертвъ, съ дѣтства отмѣченныхъ перстомъ смерти, особымъ знаменіемъ красоты и преждевременной думы. «Можетъ, говоритъ она, я и не вынесла бы этой борьбы, если-бъ я не была спасена нашей встрѣчей».

И я такъ поздно ее понялъ и разгадал!

До 1834 я все еще не умѣлъ оцѣнить это богатое существованіе, развертывавшееся возлѣ меня, несмотря на то, что девять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ княгиня представляла се моему отцу, въ длинномъ шерстяномъ платьѣ. Объяснить это нетрудно. Она была дика, я разсѣянъ; мнѣ было жаль дитя, которое все такъ печально и одиноко сидѣло у окна, но мы видались очень не часто. Рѣдко, и всякій разъ по неволѣ, ѣздила и къ княгинѣ; еще рѣже привозила ее княгиня къ намъ. Визиты княгини производили къ тому же почти всегда непріятныя впечатлѣнія, она обыкновенно ссорилась изъ-за пустяковъ съ моимъ отцомъ, и, не выдавшись мѣсяца два, они говорили другъ другу колкости, прикрывая ихъ нѣжными оборотами, въ томъ родѣ, какъ леденцомъ покрываютъ противныя лекарства. «Голубчикъ мой», говорила княгиня.—«Голубушка моя», отвѣчалъ мой отецъ, и ссора шла своимъ порядкомъ. Мы всегда радовались, когда княгиня уѣзжала. Сверхъ того, ненадобно забывать, что я тогда былъ совершенно увлеченъ политическими мечтами, науками, жилъ университетомъ и товариществомъ.

Но *чѣмъ жила она*, сверхъ своей грусти, въ продолженіе этихъ темныхъ, длинныхъ *деяти годовъ*, окруженная глупыми ханжами, надменными родственниками, скучными іеромонахами, толстыми попадьями, лицемѣрно покровительствуемая компаньонкой и не выпускаемая изъ дома далѣе печальнаго двора, поросшаго травой, и маленькаго палисадника за домомъ?

Изъ приведенныхъ строкъ уже видно, что княгиня не осо-

бенно изубытчивалась на воспитаніе ребенка, взятаго ею. Нравственностью занималась она сама; это преподаваніе состояло изъ наружной выправки и изъ привитія цѣлой системы лицемѣрія. Ребенокъ долженъ былъ быть съ утра зашнурованъ, причесанъ, на вытяжкѣ; это можно бы было допустить въ ту мѣру, въ которую оно не вредно здоровью; но княгиня шнуровала вмѣстѣ съ таліей и душу, подавляя всякое откровенное, чистосердечное чувство, она требовала улыбку и веселый видъ, когда ребенку было грустно, ласковое слово, когда ему хотѣлось плакать, видъ участія къ предметамъ безразличнымъ, словомъ—постоянной лжи.

Сначала бѣдную дѣвочку ничему не учили, подъ предлогомъ, что раннее ученіе бесполезно; потомъ, т. е. года черезъ *три* или *четыре*, наскучивъ замѣчаніями Сенатора и даже постороннихъ, княгиня рѣшилась устроить ученіе, имѣя въ виду наименьшую трату денегъ.

Для этого она воспользовалась старушкой гувернанткой, которая считала себя обязанной княгинѣ и иногда нуждалась въ ней; такимъ образомъ французскій языкъ доведенъ былъ до послѣдней дешевизны, зато и преподавался à bâtons rompus.

Но и русскій языкъ былъ доведенъ до того же; для него и для *всего прочаго* былъ приглашенъ сынъ какой-то вдовы попадьи, облагодѣтельствованной княгиней, разумѣется, безъ особыхъ тратъ: черезъ ея ходатайство у митрополита, двое сыновей попадьи были сдѣланы соборными священниками. Учитель былъ ихъ старшій братъ, діаконъ бѣднаго прихода обремененный большой семьей; онъ гибнулъ отъ нищеты, былъ доволенъ всякой платой и не смѣлъ дѣлать условій съ благодѣтельницей братьевъ.

Что можетъ быть жалче, недостаточнѣе такого воспитанія, а между тѣмъ, все пошло на дѣло, все принесло удивительные плоды: такъ мало нужно для развитія, если только есть чему развиваться.

Бѣдный, худой, высокій и плѣшивый діаконъ былъ одинъ изъ тѣхъ восторженныхъ мечтателей, которыхъ не лечатъ ни лѣта, ни бѣдствія, напротивъ, бѣдствія ихъ поддерживаютъ въ мистическомъ созерцаніи. Его вѣра, доходившая до фанатизма, была искренна и не лишена поэтическаго оттѣнка. Между имъ, отцомъ голодной семьи, и сиротой, кормимой чужимъ хлѣбомъ, тотчасъ образовалось взаимное пониманье.

Въ домѣ княгини дьякона принимали такъ, какъ слѣдуетъ принимать беззащитнаго и къ тому же кроткаго бѣдняка, едва кивая ему головой, едва удостоивая его словомъ. Даже компаньонка считала необходимымъ обращаться съ нимъ свысока; а онъ едва замѣчалъ и ихъ самихъ и ихъ пріемъ, съ любовью давалъ свои уроки, былъ тронутъ понятливостью ученицы и умѣлъ трогать

ее самое до слезъ. Этого княгиня не могла понять, журила ребенка за плаксивость и была очень недовольна, что діаконъ разстроиваетъ нервы: «Ужъ это слишкомъ какъ-то эдакъ, совсѣмъ не по дѣтски!»

А между тѣмъ, слова старика открывали передъ молодымъ существомъ иной міръ, иначе симпатичный, нежели тотъ, въ которомъ сама религія дѣлалась чѣмъ-то кухоннымъ, сводилась на соблюденіе постовъ да на хожденіе ночью въ церковь, гдѣ все было ограничено, поддѣльно, условно и жало душу своей узкостью. Діаконъ далъ ученицѣ въ руки Евангеліе,—и она долго не выпускала его изъ рукъ. Евангеліе была *первая книга*, которую она читала и перечитывала съ своей единственной подругой Сашей, племянницей няни, молодой горничной княгини.

Я Сашу потомъ зналъ очень хорошо. Гдѣ и какъ умѣла она развиться, родившись между кучерской и кухней, не выходя изъ дѣвичей, я никогда не могъ понять, но развита была она необыкновенно. Это была одна изъ тѣхъ неповинныхъ жертвъ, которыя гибнутъ незамѣтно и чаще, чѣмъ мы думаемъ, въ людскихъ, раздавленныхъ крѣпостнымъ состояніемъ. Онѣ гибнутъ не только безъ всякаго вознагражденія, состраданія, безъ свѣтлаго дня, безъ радостнаго воспоминавія, но не зная, не подозрѣвая сами, что въ нихъ гибнетъ и сколько въ нихъ умираетъ.

Барыня съ досадой скажетъ: «Только начала было дѣвчонка приучаться къ службѣ, какъ вдругъ слегла и умерла...» Ключница семидесяти лѣтъ проворчитъ: «Какія нынче слуги, хуже всякой барышни», и отправится на кутью и поминки. Мать поплачетъ, поплачетъ, и начнетъ попивать, тѣмъ дѣло и кончено.

И мы идемъ возлѣ, торопясь и не видя этихъ страшныхъ повѣстей, совершающихся подъ нашими ногами, отдѣляясь важнымъ недосугомъ, нѣсколькими рублями и ласковымъ словомъ. А тутъ вдругъ, изумленные, слышимъ страшный стонъ, которымъ даетъ о себѣ вѣсть на вѣки вѣковъ сломившаяся душа, и какъ спросонья спрашиваемъ, откуда взялась эта душа, эта сила?

Княгиня убила свою горничную, разумѣется, нехотя и бессознательно,—она ее замучила по мелочи, сломила ее, гнувши цѣлую жизнь, она истомила ее униженіями, шероховатымъ, грубымъ прикосновеніемъ. Она нѣсколько лѣтъ не позволяла ей идти замужъ и разрѣшила только тогда, когда разглядѣла чашотку на ея страдальческомъ лицѣ.

Бѣдная Саша, бѣдная жертва гнусной, проклятой русской жизни, запятнанной крѣпостнымъ состояніемъ: смертью ты вышла на волю! И ты еще была несравненно счастливѣе другихъ: въ суровомъ плѣну княгининаго дома, ты встрѣтила друга, и дружба той, которую ты такъ безмѣрно любила, проводила тебя заочно

до могилы. Много слезъ стояла ты ей; не задолго до своей кончины, она еще поминала тебя и благословляла память твою, какъ единственный свѣтлый образъ, явившійся въ ея дѣтствѣ!

...Двѣ молодыя дѣвушки (Саша была постарше) вставали рано по утрамъ, когда все въ домѣ еще спало, читали Евангеліе и молились, выходя на дворъ, подъ чистымъ небомъ. Онѣ молились о княгинѣ, о компаньонкѣ, просили Бога раскрыть ихъ души; выдумывали себѣ испытанія, не ѣли цѣлыя недѣли мяса, мечтали о монастырѣ и о жизни за гробомъ.

Такой мистицизмъ идетъ къ отроческимъ чертамъ, къ тому возрасту, гдѣ все еще тайна, все религіозная мистерія, пробуждающаяся мысль еще не ясно свѣтитъ изъ-за утренняго тумана, а туманъ еще не разсѣянъ ни опытомъ, ни страстью.

Въ тихія и кроткія минуты, я любилъ слушать потомъ рассказы объ этой дѣтской молитвѣ, которою начиналась одна широкая жизнь и оканчивалось одно несчастное существованіе. Образъ *сироты*, оскорбленной грубымъ благодѣяніемъ, и *рабы*, оскорбленной безвыходностью своего положенія, молящихся, на одичаломъ дворѣ, о своихъ притѣснителяхъ, наполняли сердце какимъ-то умиленіемъ и рѣдкій покой сходилъ на душу.

Это чистое и граціозное явленіе, никѣмъ не оцѣненное изъ близкихъ въ безмысленномъ домѣ княгини, нашло, сверхъ діакона и Саши, отзывъ и горячее поклоненіе всей дворни. Простые люди эти видѣли въ ней больше, чѣмъ добрую, ласковую барышню, они въ ней угадали что-то высшее, передъ чѣмъ они склонялись, они вѣровали въ нее. Невѣсты изъ княгининаго дома просили ее приколотъ своими руками какую-нибудь ленту, когда шли къ вѣнцу. Одна молодая горничная — помнится, ее звали Еленой—вдругъ занемогла колотьемъ; открылась сильная плѣрези, надежды спасти ее не было, послали за попомъ. Дѣвушка испуганная, спрашивала мать, все ли кончено; мать, рыдая, сказала ей, что Богъ ее скоро позоветъ. Тогда больная, припавъ къ матери, съ горькими слезами просила сходить за барышней, чтобъ она пришла сама благословить ее образомъ на тотъ свѣтъ. Когда она пришла къ ней, больная взяла ея руку, приложила къ своему лбу и повторяла: «Молитесь обо мнѣ, молитесь!» Молодая дѣвушка, сама вся въ слезахъ, начала въ полслуха молитву,—больная отошла въ продолженіе этого времени. Всѣ въ комнатѣ стояли кругомъ на колѣняхъ и крестились; она закрыла ей глаза, поцѣловала холодѣющій лобъ и вышла ¹⁾).

¹⁾ Въ бумагахъ моихъ сохранились нѣсколько писемъ Саши, писанныхъ между 35 и 36 годами. Саша оставалась въ Москвѣ, а подруга ея была въ деревнѣ съ княгиней; я не могу читать этого простого и восторженнаго лепета сердца безъ глубокаго чувства. «Неужели это правда, пишетъ она.

Однѣ сухія и недаровитыя натуры не знаютъ этого романтическаго періода; ихъ столько же жаль, какъ тѣ слабыя и хилыя существа, у которыхъ мистицизмъ переживаетъ молодость и остается навсегда. Въ *нашъ вѣкъ* съ реальными натурами этого и не бываетъ; но откуда могло проникнуть въ домъ княгини *свѣтское* вліяніе девятнадцатаго столѣтія, онъ былъ такъ хорошо законопаченъ?

Щель нашлась таки.

Корчевская кузина иногда гостила у княгини, она любила «маленькую кузину», какъ любятъ дѣтей, особенно несчастныхъ, но не знала ея. Съ изумленіемъ, почти съ испугомъ, разглядѣла она впослѣдствіи эту необыкновенную натуру и, порывистая во всемъ, тотчасъ рѣшилась поправить свое невниманіе. Она просила у меня Гюго, Бальзака или вообще что-нибудь новое. «Маленькая кузина, говорила она мнѣ, гениальное существо, намъ слѣдуетъ ее вести впередъ!»

«Большая кузина», и при этомъ названіи я не могу безъ улыбки вспомнить, что она была прекрошечная ростомъ, сообщила разомъ своей ставленницѣ все бродившее въ ея собственной душѣ, шиллеровскія идеи и идеи Руссо, революціонныя мысли, взятыя у меня, и мечты влюбленной дѣвушки, взятыя у самой себя. Потомъ она ей тайкомъ надавала французскихъ романовъ, стиховъ, поэмъ. Это были большей частію книги, вышедшія послѣ 1830 г. Онѣ, при всѣхъ недостаткахъ, сильно будили мысль и крестили огнемъ и духомъ юныя сердца. Въ романахъ и повѣстяхъ, въ поэмахъ и пѣсняхъ того времени, съ вѣдома писателя или нѣтъ, вездѣ сильно билась социальная артерія, вездѣ отличались общественныя раны, вездѣ слышался стонъ сгнетенныхъ голодомъ, невинныхъ каторжниковъ работы; тогда еще этого ропота и этого стона не боялись, какъ преступленія.

Само собою разумѣется, что «кузина» надавала книгъ безъ всякаго разбора, безъ всякихъ объясненій, и я думаю, что въ этомъ не было вреда; есть организаціи, которымъ никогда не нужна чужая помощь, опора, указка, которыя всего лучше идутъ тамъ, гдѣ нѣтъ рѣшетки.

... что вы пріѣдете? Ахъ, если-бъ вы въ самомъ дѣлѣ пріѣхали, я не знаю, что со мною бы было. Вѣдь, вы не повѣрите, чтобъ я такъ часто объ васъ думала, почти всѣ мои желанія, всѣ мои мысли, все, все, все въ васъ... Ахъ, Наталья Александровна, вѣдь, какъ вы прекрасны, какъ милы, какъ высоки, какъ—но не могу ужъ выразить. Право, это не выученныя слова, прямо изъ сердца...»

Въ другомъ письмѣ она благодаритъ за то, что «барышня» часто пишетъ ей. «Это ужъ слишкомъ, говоритъ она, впрочемъ, вѣдь это вы, вы», и заключаетъ письмо словами: «все мѣшаютъ, обнимаю васъ, мой ангелъ, со всею истинной, безмѣрной любовью. Благословите меня!»

Вскорѣ прибавилось другое лицо, продолжавшее свѣтское вліяніе корчевской кузины. Княгиня, наконецъ, рѣшилась взять гувернантку и, чтобъ не дорого платить, пригласила молодую *русскую* дѣвушку, только что выпущенную изъ института.

Русскія гувернантки у насъ ни по чѣмъ, по крайней мѣрѣ, такъ еще было въ тридцатыхъ годахъ, а между тѣмъ, при всѣхъ недостаткахъ, онѣ все же лучше большинства французенокъ изъ Швейцаріи, безсрочно отпускныхъ лоретокъ и отставныхъ актрисъ, которыя съ отчаянья бросаются на воспитаніе, какъ на послѣднее средство доставать насущный хлѣбъ, средство, для котораго не нужно ни таланта, ни молодости, ничего, — кромѣ проizioшенія «грра» и манеръ *d'une dame de comptoir*, которыя часто у насъ по провинціямъ принимаются за «хорошія» манеры. Русскія гувернантки выпускаются изъ институтовъ или изъ воспитательныхъ домовъ, стало быть, все же имѣютъ какое-нибудь правильное воспитаніе и не имѣютъ того мѣщанскаго *pli*, которое вывозятъ иностранки.

Нынѣшнихъ французскихъ воспитательницъ ненадобно смѣшивать съ тѣми, которыя пріѣзжали въ Россію до 1812 г. Тогда и Франція была меньше мѣщанской, и пріѣзжавшія женщины принадлежали совсѣмъ другому слою. Долею это были дочери эмигрантовъ, разорившихся дворянъ, вдовы офицеровъ, часто ихъ покинутыя жены. Наполеонъ женилъ своихъ воиновъ въ томъ родѣ, какъ наши помѣщики женятъ дворовыхъ людей, не очень заботясь о любви и наклонностяхъ. Онъ хотѣлъ браками сблизить дворянство порока съ старымъ дворянствомъ; онъ хотѣлъ оболванить своихъ Скалозубовъ женами. Привычные къ слѣпому повиновенію, они вѣнчались безпрекословно, но вскорѣ бросали своихъ женъ, находя ихъ слишкомъ чопорными для казарменныхъ и бивачныхъ вечеринокъ. Бѣдныя женщины плелись въ Англію, въ Австрію, въ Россію. Къ числу прежнихъ гувернантокъ принадлежала французенка, гащивавшая у княгини. Она говорила съ улыбкой, отборнымъ слогомъ и никогда не употребляла ни одного сильнаго выраженія. Она вся состояла изъ хорошихъ манеръ и никогда ни на минуту не забывалась. Я увѣренъ, что она ночью въ постелѣ больше преподавала, какъ слѣдуетъ спать, нежели спала.

Молодая институтка была дѣвушка умная, бойкая, энергичская, съ прибавкой пансіонской восторженности и врожденнаго чувства благородства. Дѣятельная и пылка, она внесла въ существованіе ученицы-подруги больше жизни и движенія.

Унылая, грустная дружба къ увядающей Сашѣ имѣла печальный, траурный отблескъ. Она вмѣстѣ съ словами діакона и съ отсутствіемъ всякаго развлечения удаляла молодую дѣвушку отъ

міра, отъ людей. Третье лицо, живое, веселое, молодое и съ тѣмъ вмѣстѣ сочувствовавшее всему мечтательному и романтическому, было очень на мѣстѣ: оно стягивало на землю, на дѣйствительную, истинную почву.

Сначала ученица приняла нѣсколько наружныхъ формъ Эмили; улыбка чаще стала показываться, разговоръ становился живѣе, но черезъ годъ времени натуры двухъ дѣвушекъ заняли мѣста по удѣльному вѣсу. Разсѣянная, милая Эмилиа склонилась передъ сильнымъ существомъ и совершенно подчинилась ученицѣ, видѣла ея глазами, думала ея мыслями, жила ея улыбкой, ея дружбой.

Передъ окончаніемъ курса я сталъ чаще ходить въ домъ княгини. Молодая дѣвушка, казалось, радовалась, когда я приходилъ, иногда вспыхивалъ огонь на щекахъ, рѣчь оживлялась, но тотчасъ потомъ она входила въ свой обыкновенный, задумчивый покой, напоминая холодную красоту изваянья, или «дѣву чужбины» Шиллера, останавливавшую всякую близость.

Это не было ни отчужденіе, ни холодность, а внутренняя работа: чужая другимъ, она еще себѣ была *чужою*, и больше предчувствовала, нежели знала, что въ ней. Въ ея прекрасныхъ чертахъ было что-то недоконченное, невысказавшееся, имъ не доставало одной искры, одного удара рѣзцомъ, который долженъ былъ рѣшить, назначено ли ей истомиться, завянуть на песчаной почвѣ, не зная ни себя, ни жизни, или отразить зарево страсти, обняться ею и жить, можетъ, страдать, даже навѣрное страдать, *но много жить*.

Печать жизни, выступившей на полудѣтскомъ лицѣ ея, я первый увидѣлъ, наканунѣ долгой разлуки.

Памятенъ мнѣ этотъ взглядъ, иначе освѣщенный, и всѣ черты, вдругъ измѣнившія значенье, будто проникнутыя иною мыслию, инымъ огнемъ..., будто тайна разгадана и внутренній туманъ разсѣянъ. Это было въ тюрьмѣ. Десять разъ прощались мы и все еще не хотѣлось разстаться; наконецъ, моя мать, пріѣзжавшая съ Natalie ³⁾ въ Крутицы, рѣшительно встала, чтобъ ѣхать. Мо-

¹⁾ Я очень хорошо знаю, сколько аффектациі въ французскомъ переводѣ имени, но какъ быть,—имя дѣло традиціонное, какъ же его мѣнять? Къ тому же всѣ не славянскія имена у насъ какъ-то усѣчены и менѣе звучны,—мы, воспитанные отчасти «не въ отеческомъ законѣ», въ нашу молодость «романизировали» имена, предержавшія власти «славянизируютъ» ихъ. Съ производствомъ въ чины и съ приобрѣтеніемъ силы при дворѣ, мѣняются буквы въ имени; такъ, напримѣръ, графъ Строгоновъ остался до конца дней *Сергій Григорьевичемъ*, но князь Голицынъ всегда назывался *Сергій Михайловичъ*. Послѣдній примѣръ производства по этой части мы замѣтили въ извѣстномъ по 14-му декабря генералѣ Ростовцовѣ; во все царствованіе Николая Павловича, онъ былъ Яковъ, такъ, какъ Яковъ Долгорукій, но, съ воцаренія Александра II, онъ сдѣлался Іаковъ, такъ, какъ братъ Божій.

лодая дѣвушка вздрогнула, поблѣднѣла, крѣпко, не по своимъ силамъ, сжала мнѣ руку и повторила, отворачиваясь, чтобы скрыть слезы: «Александръ, не забывай же сестры».

Жандармъ проводилъ ихъ и принялся ходить взадъ и впередъ. Я бросился на постель и долго смотрѣлъ на дверь, за которой исчезло это свѣтлое явленіе. «Нѣтъ, братъ твой не забудетъ тебя»—думалъ я.

На другой день меня везли въ Пермь, но прежде нежели я буду говорить о разлукѣ, расскажу, что еще мнѣ мѣшало передъ торьмой лучше понять Natalie, больше сблизиться съ нею. Я былъ влюбленъ!

Да, я былъ влюбленъ, и память объ этой юношеской чистой любви мнѣ мила, какъ память весенней прогулки на берегу моря, середь цвѣтовъ и пѣсенъ. Это было сновидѣніе, навѣявшее много прекраснаго и исчезнувшее, какъ обыкновенно сновидѣнья исчезаютъ!

Я говорилъ уже прежде, что мало женщинъ было во всемъ нашемъ кругу, особенно такихъ, съ которыми бы я былъ близокъ; моя дружба, сначала пламенная, къ корчевской кузинѣ приняла мало-по-малу ровный характеръ, послѣ ея замужества мы видались рѣже, потомъ она уѣхала. Потребность чувства больше теплаго, больше нѣжнаго, чѣмъ наша мужская дружба, неопредѣленно бродила въ сердцѣ. Все было готово, неоставало только «ея». Въ одномъ изъ знакомыхъ намъ домовъ была молодая дѣвушка, съ которой я скоро подружился: странный случай сблизилъ насъ. Она была помолвлена, вдругъ вышла какая-то ссора, женихъ оставилъ ее и уѣхалъ куда-то на другой край Россіи. Она была въ отчаяніи, огорчена, оскорблена; съ искреннимъ и глубокимъ участіемъ смотрѣлъ я, какъ горе разъѣдало ее; не смѣя заикнуться о причинѣ, я старался разсѣять ее, утѣшить, носилъ романы, самъ ихъ читалъ вслухъ, рассказывалъ цѣлыя повѣсти и иногда не приготовлялся вовсе къ университетскимъ лекціямъ, чтобъ подольше посидѣть съ огорченной дѣвушкой.

Мало-по-малу слезы ея становились рѣже, улыбка свѣтилась по временамъ изъ-за нихъ; отчаянье ея превращалось въ томную грусть; скоро ей сдѣлалось страшно за прошедшее, она боролась съ собой и отстаивала его противъ настоящаго изъ сердечнаго point d'honneur'a, какъ воинъ отстаиваетъ знамя, понимая, что сраженіе потеряно. Я видѣлъ эти послѣднія облака, едва задержанныя у небосклона, и, самъ увлеченный и съ бьющимся сердцемъ, тихо, тихо вынималъ изъ ея рукъ знамя, а когда она перестала его удерживать,—я былъ влюбленъ. Мы вѣрили въ нашу любовь. Она мнѣ писала стихи, я писалъ ей въ прозѣ цѣлыя диссертациі, а потомъ мы вмѣстѣ мечтали о будущемъ, о ссылкѣ,

о казематахъ, она была на все готова. Внѣшняя сторона жизни никогда не рисовалась свѣтлой въ нашихъ фантазіяхъ; обреченные на бой съ чудовищною силою, успѣхъ намъ казался почти невозможнымъ. «Будь моею Гаetanoй», говорилъ я ей, читая «Изувѣченнаго» Сантина, и воображалъ, какъ она проводитъ меня въ сибирскіе рудники.

«Изувѣченный», это тотъ поэтъ, который написалъ пасквиль на Сикста V и выдалъ себя, когда папа далъ слово не казнить виновнаго смертью. Сикстъ V велѣлъ ему отрубить руки и языкъ. Образъ несчастнаго страдальца, задыхающагося отъ собственной полноты мыслей, которыя тѣснятся въ его головѣ, не находя выхода, не могъ не нравиться намъ тогда. Грустный и истомленный взглядъ страдальца успокаивался только и останавливался съ благодарностью и остаткомъ веселья на дѣвушкѣ, которая любила его прежде и не измѣнила ему въ несчастіи: ее-то звали Гаetanoй.

Этотъ первый опытъ любви прошелъ скоро, но онъ былъ совершенно искрененъ. Можетъ даже, эта любовь должна была пройти, иначе она лишилась бы своего лучшаго, самаго благоуханнаго достоинства, своего девятнадцатилѣтняго возраста, своей непорочной свѣжести. Когда же ландыши зимуютъ?

И неужели ты, моя Гаetана, не съ той же ясной улыбкой вспоминаешь о нашей встрѣчѣ, неужели что-нибудь горькое примѣшивается къ памяти обо мнѣ черезъ двадцать два года? Мнѣ было бы это очень больно. И гдѣ ты? И какъ прожила жизнь?

Я свою дожилъ и плетусь теперь подъ гору, сломленный и нравственно «изувѣченный», не ищу никакой Гаetаны, перебираю старое и память о тебѣ встрѣтилъ радостно... Помнишь угольное окно противъ небольшого переулка, въ который мнѣ надобно было заворачивать; ты всегда подходила къ нему, провожая меня, и какъ бы я огорчился, если-бъ ты не подошла или ушла бы прежде, нежели мнѣ приходилось повернуть.

А встрѣтить тебя въ самомъ дѣлѣ я не хотѣлъ бы. Ты въ моемъ воображеніи осталась съ твоимъ юнымъ лицомъ, съ твоими кудрями *blond-cendré*; останься такою: вѣдь, и ты, если вспоминаешь обо мнѣ, то помнишь стройнаго юношу, съ искрящимся взглядомъ, съ огненной рѣчью; такъ и помни и не знай, что взглядъ потухъ, что я отяжелѣлъ, что морщины прошли по лбу, что давно нѣтъ прежняго свѣтлаго и оживленнаго выраженія въ лицѣ, которое Огаревъ называлъ «выраженіемъ надежды», да нѣтъ и надеждъ.

Другъ для друга мы должны быть такими, какими были тогда... ни Ахиллъ, ни Діана не старѣются... Не хочу встрѣтиться съ тобою, какъ Ларинъ съ княжной Алиной:

Кузина, помнишь Грандисона?—
Какъ Грандисонъ? А, Грандисонъ!
Въ Москвѣ живетъ у Симеона,
Меня въ сочельникъ навѣстить,
Недавно сына онъ женилъ.

... Последнее пламя потухающей любви освѣтило на минуту тюремный сводъ, согрѣло грудь прежними мечтами, и каждый пошелъ своимъ путемъ. Она уѣхала въ Украину, я собирался въ ссылку. Съ тѣхъ поръ не было вѣсти объ ней.

ГЛАВА XXI.

Разлука.

„Ахъ, люди, люди злые,
Вы ихъ разрознили...“

Такъ оканчивалось мое первое письмо къ Natalie, и замѣчательно, что испуганный словомъ «сердца», я его не написалъ, а написалъ въ концѣ письма «Твой братъ».

Какъ дорога мнѣ была уже тогда моя *сестра* и какъ безпрерывно въ моемъ умѣ, видно изъ того, что я писалъ къ ней изъ Нижняго, изъ Казани и на другой день послѣ приѣзда въ Пермь. Слово *сестра* выражало все сознание въ нашей симпатіи; оно мнѣ бесконечно нравилось и теперь нравится, употребляемое не какъ *предѣлъ*, а напротивъ, какъ смѣшеніе ихъ; въ немъ соединены дружба, любовь, кровная связь, общее преданіе, родная обстановка, привычная неразрывность. Я никого не называлъ прежде этимъ именемъ, и оно было мнѣ такъ дорого, что я впоследствии часто называлъ Natalie такъ.

Прежде нежели я вполне понималъ наше отношеніе, и можетъ именно оттого, что не понималъ его вполне, меня ожидалъ иной искусъ, который мнѣ не прошелъ такой свѣтлой полоской, какъ встрѣча съ Гаetanoй,—искусъ, смирившій меня и стоившій мнѣ много печали и внутренней тревоги.

Очень мало опытный въ жизни и брошенный въ міръ, совершенно мнѣ чуждый, послѣ девятимѣсячной тюрьмы, я жилъ сначала разсѣянно, безъ оглядки: новый край, новая обстановка рябили передъ глазами. Мое общественное положеніе измѣнилось. Въ Пермь, въ Вяткѣ на меня смотрѣли совсѣмъ иначе, чѣмъ въ Москвѣ; тамъ я былъ молодымъ человѣкомъ, жившимъ въ родительскомъ домѣ; здѣсь, въ этомъ болотѣ, я сталъ на свои ноги, былъ принимаемъ за чиновника, хотя и не былъ вовсе имъ. Не

трудно было мнѣ догадаться, что безъ большого труда я могъ играть роль свѣтскаго человѣка въ заволжскихъ и закамскихъ гостинныхъ и быть львомъ въ вятскомъ обществѣ.

Въ Перми я не успѣлъ оглядѣться; тамъ только хозяйка дома, къ которой я пришелъ нанимать квартиру, спрашивала меня, нуженъ ли мнѣ огородъ и держу ли я корову! Вопросъ, по которому я съ ужасомъ вымѣрилъ мое паденіе съ академическихъ высотъ студентской жизни. Но въ Вяткѣ я перезнакомился со всѣмъ свѣтомъ, особенно съ молодымъ купечествомъ, которое тамъ гораздо образованнѣе купечества внутреннихъ губерній, хотя кутить любить не меньше. Сбитый канцеляріей съ моихъ занятій, я вель безпокойно праздную жизнь; при особенной удобовпечатлимости, или, лучше сказать, удободвижимости характера и отсутствіи опытности, можно было ждать рядъ всякаго рода столкновеній.

Въ силу кокетливой страсти de l'approbativité, я старался нравиться направо и налѣво, безъ разбора кому, натягивалъ симпатіи, дружилъ по десяти словамъ, сближался больше, чѣмъ нужно, сознавалъ свою ошибку черезъ мѣсяць или два, молчалъ изъ деликатности и таскалъ скучную цѣпь неистинныхъ отношеній до тѣхъ поръ, пока она не обрывалась нелѣпой ссорой, въ которой меня же обвиняли въ капризной нетерпимости, въ неблагодарности, въ непостоянствѣ.

Я сначала жилъ въ Вяткѣ не одинъ. Странное и комическое лицо, которое время отъ времени является на всѣхъ перепутьяхъ моей жизни, при всѣхъ важныхъ событіяхъ ея, лицо, которое тонетъ для того, чтобы меня познакомить съ Огаревымъ, и машетъ фуляромъ съ русской земли, когда я переѣзжаю таурогенскую границу, словомъ, К. И. Зоненбергъ жилъ со мною въ Вяткѣ; я забывъ объ этомъ, рассказывая мою ссылку.

Случилось это такъ. Въ то время, какъ меня отправляли въ Пермь, Зоненбергъ собирался на ирбитскую ярмарку. Отецъ мой, любившій всегда усложнять простыя дѣла, предложилъ Зоненбергу заѣхать въ Пермь и тамъ *монтировать мой домъ*, за это онъ бралъ на себя путевыя издержки.

Въ Перми Зоненбергъ ревностно принялся за дѣло, т. е. за покупку ненужныхъ вещей, всякой посуды, кастрюль, чашекъ, хрусталу, запасовъ; онъ самъ ѣздилъ на Обву, чтобы приобрести ex ipsa fonte вятскую лошадь. Когда все было готово, меня перевели въ Вятку. Мы распродали за полцѣны купленное добро и оставили Пермь. Зоненбергъ, добросовѣстно исполняя волю моего отца, счелъ необходимымъ ѣхать также и въ Вятку «монтировать» мой домъ. Отецъ мой такъ былъ доволенъ его преданностью и самоотверженіемъ, что положилъ ему сто рублей жало-

ванья въ мѣсяцъ, пока онъ будетъ у меня. Это было выгодноѣе и вѣрнѣе Ирбита,—и онъ не торопился меня оставить.

Въ Вяткѣ онъ уже купилъ не одну, а трехъ лошадей, изъ которыхъ одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли насъ чрезвычайно въ глазахъ вятскаго общества. Карлъ Ивановичъ, мы уже говорили это, несмотря на свой пятидесятилѣтній возрастъ и на значительные недостатки въ лицѣ, былъ большой волокита и былъ пріятно увѣренъ, что всякая женщина и дѣвушка, подходящая къ нему, подвергается опасности мотылька, летающаго возлѣ зажженной свѣчи. Дѣйствіе, произведенное лошадьми, Карлъ Ивановичъ утратить не хотѣлъ и старался вывести изъ него пользу по эротической части. Къ тому же всѣ обстоятельства ему способствовали: у насъ былъ балконъ, выходящій на дворъ, за которымъ начинался садъ. Съ десяти часовъ утра Зоненбергъ въ казанскихъ *ичигахъ*, въ шитой золотомъ *тибитейкѣ* и въ кавказскомъ бешметѣ, съ огромнымъ янтарнымъ мундштукомъ во рту, сидѣлъ на вахтѣ, дѣлая видъ, будто читаетъ. Тибитейка и янтарь, все это было направлено на трехъ барышень, жившихъ въ сосѣднемъ домѣ. Барышни, съ своей стороны, занимались пріѣзжими и съ любопытствомъ разсматривали восточную куклу, кутившую на балконѣ. Карлъ Ивановичъ зналъ, когда и какъ тайкомъ онѣ подымали штору, находилъ, что дѣла его идутъ успѣшно, и нѣжно выпускалъ дымъ легкой струйкой по завѣтному направленію.

Вскорѣ садъ представилъ намъ возможность познакомиться съ сосѣдками. У нашего хозяина было три дома, садъ былъ общій. Два дома были заняты, въ одномъ жили мы и самъ хозяинъ съ своей мачихой, толсто-мягкой вдовой, которая такъ мастерски и съ такой ревностью за нимъ присматривала, что онъ только украдкой отъ нея разговаривалъ съ садовыми дамами. Въ другомъ жили барышни съ своими родителями, третій стоялъ пустой. Карлъ Ивановичъ черезъ недѣлю былъ свой человекъ въ дамскомъ обществѣ нашего сада, онъ постоянно по нѣскольکو часовъ въ день качалъ барышень на качеляхъ, бѣгалъ за мантильями и зонтиками, словомъ, былъ аих *petits soins*. Барышни съ нимъ дурачились больше, чѣмъ съ другими, именно потому, что его еще меньше можно было подозрѣвать, чѣмъ жену Цезаря; при взглядѣ на него, останавливалось всякое, самое отважное зорѣчіе.

По вечерамъ ходилъ и я въ садъ по тому табунному чувству, по которому люди безъ всякаго желанія дѣлають то же, что другіе. Туда, сверхъ жильцовъ, приходили ихъ знакомые, главный предметъ занятій и разговоровъ было волокитство и подсматри-

ваніе другъ за другомъ. Карлъ Ивановичъ съ неусыпностью Ви-дока предался сентиментальному шпіонству, зналъ, кто съ кѣмъ чаще гуляетъ, кто на кого не просто смотритъ. Я былъ страшнымъ камнемъ преткновенія для всей тайной полиціи нашего сада, дамы и мужчины удивлялись моей скрытности и при всѣхъ стараніяхъ не могли открыть, за кѣмъ я ухаживаю, кто мнѣ особенно нравится, что дѣйствительно было не легко: я рѣшитель-по ни за кѣмъ не ухаживалъ и всѣ барышни мнѣ не особенно нравились. Это, наконецъ, имъ надоѣло и оскорбило ихъ, меня стали считать гордымъ, насмѣшникомъ, и дружба барышень замѣтно стыла, хотя, въ одиночку, каждая пробовала на мнѣ самыя опасныя взгляды свои.

Среди всѣхъ этихъ обстоятельствъ, однимъ утромъ Карлъ Ивановичъ сообщил мнѣ, что хозяйская кухарка съ утра открыла ставни третьяго дома и моетъ окна. Домъ былъ занятъ какимъ-то пріѣзжимъ семействомъ.

Садъ занялся исключительно подробностями о новопріѣзжихъ. Незнакомая дама, усталая съ дороги, или еще не успѣвшая разобратъся, какъ на зло, не являлась къ намъ въ воксалъ. Ее старались увидѣть въ окно или въ сѣняхъ, инымъ удавалось, другіе тщетно караулили цѣлые дни; видѣвшіе находили ее блѣдной, томной, словомъ — интересной и недурной. Барышни говорили, что она печальна и болѣзненна; молодой губернаторскій чиновникъ, шалунъ и очень неглупый малый, одинъ зналъ пріѣзжихъ. Онъ служилъ прежде въ одной губерніи съ ними, всѣ пристали къ нему съ распросами.

Разбитой чиновникъ, довольный, что знаетъ, чего другіе не знаютъ, толковалъ безъ конца о достоинствахъ новопріѣзжей; онъ ее превозносилъ, называлъ ее столичной дамой. «Она умна, повторялъ онъ, мила, образованна, на нашего брата и не посмотреть. Ахъ, Боже мой, прибавилъ онъ, вдругъ обращаясь ко мнѣ, вотъ чудесная мысль: поддержите честь вятскаго общества, поволочитесь за ней... Ну, знаете, вы изъ Москвы, въ ссылкѣ, вѣрно пишете стихи,—это вамъ съ неба подарокъ».

— Какой вы вздоръ порите, сказалъ я ему смѣясь, однако вспыхнулъ въ лицѣ: мнѣ захотѣлось ее видѣть.

Черезъ нѣсколько дней я встрѣтился съ ней въ саду, она въ самомъ дѣлѣ была очень интересная блондинка; тотъ же господинъ, который говорилъ объ ней, представилъ меня ей, я былъ взволнованъ и такъ же мало умѣлъ это скрыть, какъ мой патронъ улыбку.

Самолюбивая застѣнчивость прошла, я познакомился съ ней; она была очень несчастна и, обманывая себя мнимымъ спокойствіемъ, томилась и исходила въ какой-то праздности сердца.

Р. была одна изъ тѣхъ скрытно-страстныхъ женскихъ натуръ, которыя встрѣчаются только между блондинами, у нихъ пламенное сердце маскировано кроткими и тихими чертами; онѣ блѣднѣютъ отъ волненія и глаза ихъ не искрятся, а скорѣе тухнутъ, когда чувства выступаютъ изъ береговъ. Утомленный взоръ ея выбивался изъ силъ, стремясь къ чему-то, несытая грудь неровно подымалась. Во всемъ существѣ ея было что-то неспокойное, электрическое. Часто гуляя по саду, она вдругъ блѣднѣла и, смущенная или встревоженная изнутри, отвѣчала разсѣянно и торопилась домой; я именно въ эти минуты любилъ смотрѣть на нее.

Внутреннюю жизнь ея я вскорѣ разглядѣлъ. Она не любила мужа и не могла его любить: ей было лѣтъ двадцать пять, ему за пятьдесятъ,—съ этимъ, можетъ, она бы сладила, но различіе образованія, интересовъ, характеровъ было слишкомъ рѣзко.

Мужъ почти не выходилъ изъ комнаты; это былъ сухой, черствый старикъ, чиновникъ съ притязаніемъ на помѣщичество, раздражительный, какъ всѣ больные и какъ почти всѣ люди, потерявшіе состояніе. Ей было шестнадцать лѣтъ, когда ее отдали замужъ, онъ имѣлъ достатокъ, но впоследствии все проигралъ въ карты и принужденъ былъ жить службой. Года за два до перевода въ Вятку, онъ началъ хирѣть, какая-то рана на ногѣ развилась въ костоѣду, старикъ сдѣлался угрюмъ и тяжелъ, боялся своей болѣзни и смотрѣлъ взглядомъ тревожной и безпомощной подозрительности на свою жену. Она грустно и самоотверженно ходила за нимъ, но это было исполненіе долга. Дѣти не могли удовлетворить всему,—чего-то просило незанятое сердце.

Разъ вечеромъ, говоря о томъ, о семь, я сказала, что мнѣ бы очень хотѣлось послать моей кузинѣ портретъ, но что я не могу найти въ Вяткѣ человѣка, который бы умѣлъ взять карандашъ въ руки.

— «Дайте я попробую, сказала сосѣдка, я когда-то довольно удачно дѣлала портреты чернымъ карандашомъ».

— Очень радъ. Когда же?

— «Завтра передъ обѣдомъ, если хотите».

— Разумѣется. Я приду въ часъ.

Все это было при мужѣ; онъ не сказалъ ни слова.

На другой день утромъ я получилъ отъ сосѣдки записку, это была первая записка отъ нея. Она очень вѣжливо и осторожно увѣдомляла меня, что мужъ ея недоволенъ тѣмъ, что она мнѣ предложила сдѣлать портретъ, просила снисхожденія къ капризамъ больного, говорила, что его надобно щадить, и, въ заключеніе, предлагала сдѣлать портретъ въ другой день, не говоря объ этомъ мужу, чтобъ его не беспокоить.

Я горячо, можетъ черезъ край горячо, благодарилъ ее, тайное дѣланіе портрета не принялъ, но, тѣмъ не меньше, эти двѣ записки сблизили насъ много. Отношенія ея къ мужу, до которыхъ я никогда бы не коснулся, были высказаны. Между мною и ею невольно составлялось тайное соглашеніе, лига противъ него.

Вечеромъ я пришелъ къ нимъ,—ни слова о портретѣ. Если-бъ мужъ былъ умнѣе, онъ долженъ бы былъ догадаться о томъ, что было; но онъ не былъ умнѣе. Я взглядомъ поблагодарилъ ее, она улыбкой отвѣчала мнѣ.

Вскорѣ они переѣхали въ другую часть города. Первый разъ, когда я пришелъ къ нимъ, я засталъ сосѣдку одну: въ едва меблированной залѣ, она сидѣла за фортепіано; глаза у нея были сильно заплаканы. Я просилъ ее продолжать; но музыка не шла, она ошибалась, руки дрожали, цвѣтъ лица мѣнялся. «Какъ здѣсь душно!» сказала она, быстро вставая изъ-за фортепіано.

Я молча взялъ ея руку, слабую, горячую руку; голова ея, какъ отяжелѣвшій вѣнчикъ, страдательно повинуюсь какой-то силѣ, склонилась на мою грудь, она прижала свой лобъ и мгновенно исчезла.

На другой день я получилъ отъ нея записку, нѣсколько испуганную, старавшуюся бросить какую-то дымку на вчерашнее; она писала о страшномъ нервномъ состояннн, въ которомъ она была, когда я взшелъ, о томъ, что она едва помнитъ, что было, извинялась, но легкій вуаль этихъ словъ не могъ ужъ скрыть страсть, ярко просвѣчивавшуюся между строкъ.

Я отправился къ нимъ. Въ этотъ день мужу было легче, хотя на новой квартирѣ онъ уже не вставалъ съ постели; я былъ монтированъ, дурачился, сыпалъ остротами, рассказывалъ всякій вздоръ, морилъ больного со смѣху и, разумѣется, все это для того, чтобъ заглушить ея и мое смущеніе. Сверхъ того, я чувствовалъ, что смѣхъ этотъ увлекаетъ и пьянитъ ее.

Съ мѣсяцъ продолжался этотъ запой любви; потомъ будто сердце устало, истощилось, — на меня стали находить минуты тоски, я ихъ тщательно скрывалъ, старался имъ не вѣрить, удивлялся тому, что происходило во мнѣ, а любовь стыла себѣ, да стыла.

Меня стало тѣснить присутствіе старика, мнѣ было съ нимъ неловко, противно. Не то, чтобъ я чувствовалъ себя неправымъ передъ граждански-церковнымъ собственникомъ женщины, которая его не могла любить и которую онъ любить былъ не въ силахъ, но моя двойная роль казалась мнѣ унижительной, лицемѣ-

ріе и двоедушіе—два преступленія, наиболѣе чуждыя мнѣ. Пока распахнувшаяся страсть брала верхъ, я не думалъ ни о чемъ; но когда она стала нѣсколько холоднѣе, явилось раздумье.

Однимъ утромъ Матвѣй взошелъ ко мнѣ въ спальню съ вѣстью, что старикъ Р. «приказалъ долго жить». Мной овладѣло какое-то странное чувство при этой вѣсти; я повернулся на другой бокъ и не торопился одѣваться: мнѣ не хотѣлось видѣть мертвеца. Возошелъ Витбергъ, совсѣмъ готовый. «Какъ, говорилъ онъ, вы еще въ постелѣ! Развѣ вы не слыхали, что случилось? Чай, бѣдная Р. одна, пойдемте провѣдать, одѣвайтесь скорѣе». Я одѣлся, мы пошли.

Мы застали Р. въ обморокѣ или въ какомъ-то нервномъ летаргическомъ снѣ. Это не было притворствомъ; смерть мужа напомнила ей ея безпомощное положеніе; она оставалась одна съ дѣтьми въ чужомъ городѣ, безъ денегъ, безъ близкихъ людей. Сверхъ того, у ней бывали и прежде при сильныхъ потрясеніяхъ эти нервныя опеломленія, продолжавшіяся по нѣсколько часовъ. Блѣдная, какъ смерть, съ холоднымъ лицомъ и съ закрытыми глазами, лежала она въ этихъ случаяхъ, изрѣдка захлебываясь воздухомъ и безъ дыханья въ промежуткахъ.

Ни одна женщина не приѣхала помочь ей, показать участіе, посмотрѣть за дѣтьми, за домомъ. Витбергъ остался съ нею; пророкъ-чиновникъ и я взяли за хлопоты.

Старикъ, исхудалый и почернѣлый, лежалъ въ мундирѣ на столѣ, насунивъ брови, будто сердился на меня; мы положили его въ гробъ, а черезъ два дня опустили въ могилу. Съ похоронъ мы воротились въ домъ покойника; дѣти въ черныхъ платьяхъ, обшитыхъ плерезами, жались въ углу, больше удивленные и испуганные, чѣмъ огорченные; они шептались между собой и ходили на цыпочкахъ. Не говоря ни одного слова, сидѣла Р., положивъ голову на руку, какъ будто что-то обдумывая.

Въ этой гостиной, на этомъ диванѣ, я ждалъ ее, прислушиваясь къ стону больного и къ брани пьянаго слуги. Теперь все было такъ черно... Мрачно и смутно вспоминались мнѣ, въ похоронной обстановкѣ, въ запахѣ ладана, слова, минуты, на которыхъ я все же не могъ не останавливаться безъ нѣжности.

Печаль ея улеглась мало-по-малу, она тверже смотрѣла на свое положеніе; потомъ мало-по-малу и другія мысли прояснили ея озабоченное и унылое лицо. Ея взоръ останавливался съ какой-то взволнованной пытливостью на мнѣ, будто она ждала чего-то — вопроса... отвѣта...

Я молчалъ—и она, испуганная, встревоженная, стала сомнѣваться.

Тутъ я понялъ, что мужъ въ сущности былъ для меня извиненіемъ въ своихъ глазахъ,—любовь откипѣла во мнѣ. Я не былъ равнодушенъ къ ней, далеко нѣтъ, но это было не то, чего ей надобно было. Меня занималъ теперь иной порядокъ мыслей, и этотъ страстный порывъ словно для того обнялъ меня, чтобъ уяснить мнѣ самому иное чувство. Одно могу сказать я въ свое оправданіе,—я былъ искрененъ въ моемъ увлеченіи.

Въ то время, какъ я терялъ голову и не зналъ, что дѣлать, пока я ждалъ съ малодушной слабостью случайной перемѣны отъ времени, отъ обстоятельствъ,—время и обстоятельства еще больше усложнили положеніе.

Тюфяевъ, видя безпомощное состояніе вдовы, молодой, красивой собой и брошенной безъ всякой опоры въ дальнемъ, ей чуждомъ городѣ, какъ настоящій «отецъ губерніи», обратилъ на нее самую нѣжную заботливость. Сначала мы всѣ думали, что дѣйствительно онъ принимаетъ въ ней участіе. Но вскорѣ Р. съ ужасомъ замѣтила, что его вниманіе совсѣмъ не просто. Два, три развратныхъ губернатора воспитали вятскихъ дамъ, и Тюфяевъ, привыкнущій къ нимъ, не откладывая въ долгій ящикъ, прямо сталъ говорить ей о своей любви. Р., разумѣется, отвѣчала ему холоднымъ презрѣніемъ и насмѣшкой на его старческія любезности. Тюфяевъ не считалъ себя побитымъ и продолжалъ наглое ухаживанье. Видя впрочемъ, что дѣло мало подвигается, онъ далъ ей почувствовать, что судьба ея дѣтей въ его рукахъ и что безъ него она ихъ не помѣститъ на казенный счетъ, а что онъ, съ своей стороны, хлопотать не будетъ, если она не перемѣнитъ съ нимъ своего холоднаго обращенія. Оскорбленная женщина вскочила уязвленнымъ звѣремъ. «Извольте вонъ идти, и чтобъ нога ваша не смѣла переступить моего порога», сказала она ему, указывая дверь. «Фу, какія вы сердитыя!» сказалъ Тюфяевъ, обращая дѣло въ шутку. «Петръ, Петръ», закричала она въ переднюю, и испуганный Тюфяевъ, боясь огласки, задыхаясь отъ бѣшенства, пристыженный и униженный, бросился въ свою карету.

Вечеромъ Р. рассказала все случившееся Витбергу и мнѣ. Витбергъ тотчасъ понялъ, что обратившійся въ бѣгство и оскорбленный волокита не оставитъ въ покоѣ бѣдную женщину,—характеръ Тюфяева былъ довольно извѣстенъ всѣмъ намъ. Витбергъ рѣшился во что бы ни стало спасти ее.

Гоненія начались скоро. Представленіе о дѣтяхъ было написано такъ, что отказъ былъ неминуемъ. Хозяинъ дома, лавочники требовали съ особенной настойчивостью уплаты. Богъ знаетъ, что можно было еще ожидать; шутить съ человѣкомъ, уморившимъ Петровскаго въ сумасшедшемъ домѣ, не слѣдовало.

Витбергъ, обремененный огромной семьей, задавленный бѣд-

ностью, не задумался ни на минуту и предложил Р. переѣхать съ дѣтьми къ нему, на другой или третій день послѣ приѣзда въ Вятку его жены. У него Р. была спасена; такова была нравственная сила этого сосланнаго. Его непреклонной воли, его благороднаго вида, его смѣлой рѣчи, его презрительной улыбки боялся самъ вятскій Шемяка.

Я жилъ въ особомъ отдѣленіи того же дома и имѣлъ общій столъ съ Витбергомъ; и вотъ, мы очутились подъ одной крышей, именно тогда, когда должны были бы быть раздѣлены морями.

Въ этой близости она поняла, что былого не воротить.

Зачѣмъ она встрѣтилась именно со мной, неустоявшимся тогда? Она могла быть счастливой, она была достойна счастья. Печальное прошедшее ушло, новая жизнь любви, гармоніи была такъ возможна для нея! Бѣдная, бѣдная Р! Виновать ли я, что это облако любви, такъ непреодолимо набѣжавшее на меня, дохнуло такъ горячо, опьянило, увлекло и разнеслось потомъ?

...Сбитый съ толку, предчувствуя несчастія, недовольный собою, я жилъ въ какомъ-то тревожномъ состояніи; снова кутить, искалъ разсѣянія въ шумѣ, досадовалъ за то, что находилъ его, досадовалъ за то, что не находилъ, и ждалъ, какъ чистую струю воздуха середь пыльнаго жара, нѣсколько строкъ изъ Москвы отъ Natalie. Надо всѣмъ этимъ броженіемъ страстей всходилъ свѣтлѣе и свѣтлѣе кроткій образъ ребенка-женщины. Порывъ любви къ Р. уяснилъ мнѣ мое собственное сердце, раскрылъ его тайну.

Увлекаясь больше и больше моей симпатіей къ отсутствующей кузинѣ, я не давалъ себѣ именно отчета въ чувствѣ, связывавшемъ меня съ ней. Я къ нему привыкъ и не слѣдилъ за тѣмъ, измѣнилось оно или нѣтъ.

Мои письма становились все тревожнѣе; съ одной стороны, я глубоко чувствовалъ не только свою вину передъ Р., но новую вину лжи, которую бралъ на себя молчаніемъ. Мнѣ казалось, что я палъ, недостойнъ иной любви..., а любовь росла и росла.

Имя сестры начинало тѣснить меня, теперь мнѣ недостаточно было дружбы, это тихое чувство казалось холоднымъ. Любовь ея видна изъ каждой строки ея писемъ, но мнѣ ужъ и этого мало, мнѣ нужно не только любовь, но и самое слово, и вотъ я пишу: «Я сдѣлаю тебѣ странный вопросъ, вѣришь ли ты, что чувство, которое ты имѣешь ко мнѣ,—одна дружба? Вѣришь ли ты, что чувство, которое я имѣю къ тебѣ,—одна дружба?—*Я не вѣрю*».

— «Ты что-то смущенъ, отвѣчаетъ она, я знала, что твое письмо испугало тебя больше, чѣмъ меня. Успокойся, другъ мой, оно не переѣшло во мнѣ рѣшительно ничего, оно уже не могло заставить меня любить тебя ни больше, ни меньше».

Но слово было произнесено, «туманъ исчезъ, пишеть она, опять свѣтло и ясно».

Она радостно, безоблачно отдавалась названному чувству, письма ея—одна отроческая пѣснь любви, поднимающаяся отъ дѣтскаго лепета до могучаго лиризма.

— «Можеть, ты сидишь теперь, пишеть она, въ кабинетѣ, не пишешь, не читаешь, а задумчиво куришь сигару, и взоръ углубленъ въ неопредѣленную даль, и нѣтъ отвѣта на привѣтствіе взошедшаго. Гдѣ же твои думы? Куда стремится взоръ? Не дай отвѣта,—пусть придутъ ко мнѣ.

... «Будемъ дѣтьми, назначимъ часъ, въ который намъ обоимъ непремѣнно быть на воздухѣ, часъ, въ который мы будемъ увѣрены, что насъ ничто не дѣлится, кромѣ одной дали. Въ восемь часовъ вечера и тебѣ вѣрно свободно? А то я давеча вышла было на крыльцо,—да тотчасъ возвратилась, думая, что ты былъ въ комнатѣ.

... «Глядя на твои письма, на портретъ, думая о моихъ письмахъ, о браслетѣ, мнѣ захотѣлось перешагнуть лѣтъ за сто и посмотрѣть, какая будетъ ихъ участь. Вещи, которыя были для насъ святыней, которыя лечили наше тѣло и душу, съ которыми мы бесѣдовали, которыя намъ замѣняли нѣсколько другъ друга въ разлукѣ; всѣ эти орудія, которыми мы оборонялись отъ людей, отъ ударовъ рока, отъ самихъ себя,—что будутъ они послѣ насъ? Останется ли въ нихъ сила ихъ, ихъ душа? разбудятъ ли, согрѣютъ ли они чье сердце, расскажутъ ли нашу повѣсть, наши страданія, нашу любовь, будетъ ли имъ въ награду хоть одна слеза? Какъ грустно становится, когда воображу, что портретъ твой, наконецъ, будетъ висѣть безвѣстнымъ въ чьемъ-нибудь кабинетѣ, или, можеть, какой-нибудь ребенокъ, играя имъ, разобьетъ стекло и сотретъ черты».

Не таковы мои письма ¹⁾: середь полной, восторженной любви пробиваются горькіе звуки досады на себя, раскаянія, нѣмой

¹⁾ Разница между слогомъ писемъ Natalie и моимъ очень велика, особенно въ началѣ переписки; потомъ онъ уравнивается и впоследствіи дѣлается сходенъ. Въ моихъ письмахъ рядомъ съ истиннымъ чувствомъ—ломанная выраженія, изысканныя, эффектные слова, явное вліяніе школы Гюго и новыхъ французскихъ романистовъ. Ничего подобнаго въ ея письмахъ, языкъ ея простъ, поэтиченъ, истиненъ, на немъ замѣтно одно вліяніе, вліяніе Евангелія. Тогда я все еще старался писать свысока и писалъ дурно, потому что это не былъ мой языкъ. Жизнь въ непрактическихъ сферахъ и излишнее чтеніе долго не позволяютъ юношѣ естественно и просто говорить и писать; умственное совершенствѣніе начинается для человѣка только тогда, когда его слогъ устанавливается и принимаетъ свой послѣдній складъ.

укоръ Р. гложетъ сердце, мутитъ свѣтлое чувство; я казался себѣ лгуномъ, а, вѣдь, я не лгалъ ¹⁾).

Какъ же мнѣ было признаться, какъ сказать Р. въ январѣ, что я ошибся въ августѣ, говоря ей о своей любви. Какъ она могла повѣрить въ истину моего разсказа,—новая любовь была бы понятнѣе, измѣна проще. Какъ могъ дальній образъ отсутствующей вступить въ борьбу съ настоящимъ, какъ могла струя другой любви пройти черезъ этотъ горнъ и выйти больше сознанной и сильной,—все это я самъ не понималъ, а чувствовалъ, что все это правда.

Наконецъ, сама Р., съ неувимой ловкостью ящерицы, ускользала отъ серьезныхъ объясненій: она чужала опасность, искала отгадки и въ то-жъ время отдаляла правду. Точно она предвидѣла, что мои слова раскроютъ страшныя истины, послѣ которыхъ все будетъ кончено, и она обрывала рѣчь тамъ, гдѣ она становилась опасною.

Сначала она осмотрѣлась кругомъ, нѣсколько дней она находила себѣ соперницу въ молодой, милой, живой нѣмкѣ, которую я любилъ, какъ дитя, съ которой мнѣ было легко именно потому, что ни ей не приходило въ голову кокетничать со мной, ни мнѣ съ ней. Черезъ недѣлю она увидѣла, что Паулина вовсе не опасна. Но я не могу идти дальше, не сказавъ нѣсколько словъ о ней.

Въ вятской аптекѣ приказа общественнаго призрѣнія былъ аптекаръ нѣмецъ, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, но удивительно было то, что его *гезель* былъ русскій, а назывался Болманъ. Вотъ съ нимъ-то я и познакомился; онъ былъ женатъ на дочери какого-то вятскаго чиновника, у которой была самая длинная, густая и красивая коса изъ всѣхъ видѣнныхъ мною. Самого аптекаря Фердинанда Рулковіуса не было налицо, и мы съ Болманомъ пили разныя «шипучки» и художественныя «желудочныя» настойки фармацевта. Аптекаръ былъ въ Ревелѣ; тамъ онъ познакомился съ какой-то молодой дѣвушкой и предложилъ ей руку; дѣвушка, едва знавшая его, шла за него, очертя голову, какъ слѣдуетъ дѣвушкѣ вообще и нѣмкѣ въ особенности: она даже не имѣла понятія, въ какую дичь онъ ее везетъ. Но когда послѣ свадьбы пришлось собираться, страхъ и отчаяніе овладѣли ею. Чтобъ утѣшить новобрачную, аптекаръ пригласилъ ѣхать съ ними въ Вятку молодую дѣвушку лѣтъ семнадцати, дальнюю родственницу его жены; она еще болѣе очертя голову и уже совсѣмъ не зная, что такое «Вятка», согласилась. Объ нѣмки не говорили ни слова по-русски, въ Вяткѣ не было четырехъ че-

¹⁾ Прибавлено въ «Полярн. Звѣздѣ» (т. III, стр. 115): «Я такъ же откровенно увлекся Р., какъ откровенно отдался теперь непопшой мною любви».

ловѣкъ, говорившихъ по-нѣмецки. Даже учитель нѣмецкаго языка въ гимназiи не зналъ его; это меня до того удивило, что я рѣшился его спросить, какъ же онъ преподаеть. «По грамматикѣ, отвѣчалъ онъ, и по діалогамъ». Онъ объяснялъ при этомъ, что онъ собственно учитель математики, но покажѣсть, за недостаткомъ вакансiи, преподаеть нѣмецкiй языкъ и что, впрочемъ, онъ получаетъ половинный окладъ ¹⁾). Нѣмки пропадали со скуки и, увидѣвши человѣка, который если не хорошо, то понятно могъ объясняться по-нѣмецки, пришли въ совершенный восторгъ, запойли меня кофеемъ и еще какой-то «калте-шале», рассказали мнѣ всѣ свои тайны, желанiя и надежды, и черезъ два дня называли меня другомъ и еще больше подчивали сладкими мучнистыми яствами съ корицей. Обѣ были довольно образованы, т. е. знали на память Шиллера, поигрывали на фортепiано и пѣли нѣмецкiе романсы. Этимъ сходство, впрочемъ, между ними и оканчивается. Аптекарьша была бѣлокурая, лимфатическая, высокая, очень недурная собой, но вялая и сонная женщина, она была чрезвычайно добра, да и трудно было при такой комплекцiи быть злою. Убѣдившись однажды, что ея мужъ — мужъ ея, она тихонько и ровненько любила его, занималась кухней и бѣльемъ, читала въ свободныя минуты романы и въ свое время благополучно родила аптекарю дочь, бѣлобрысую и золотушную.

Подруга ея, небольшого роста, смуглая брюнетка, крѣпкая здоровьемъ, съ большими черными глазами и съ самобытнымъ видомъ, была коренастая, народная красота; въ ея движенiяхъ и словахъ видна была большая энергiя, и когда, бывало, аптекарь, существо скучное и скупое, дѣлалъ не очень вѣжливыя замѣчанiя своей женѣ, и та ихъ слушала съ улыбкой на губахъ и слезой на рѣсницѣ, Паулина краснѣла въ лицѣ и такъ взглядывала на расходившагося фармацевта, что тотъ мгновенно усмирался, дѣлалъ видъ, что очень занятъ, и уходилъ въ лабораторiю мѣшать и толочь всякую дрянъ для восстановленiя здоровья вятскихъ чиновниковъ.

Мнѣ нравилась наивная дѣвушка, которая за себя постоять умѣла, и, не знаю, какъ это случилось, но ей первой рассказала я о моей любви, ей переводилъ письма. Тотъ только знаетъ цѣну этой сердечной болтовни, кто живалъ долго, годы цѣлые съ людьми совершенно посторонними. Я рѣдко говорю о чувствахъ, но бываютъ минуты, въ которыя потребность высказаться становится невыносимою, даже *теперь*. А тогда мнѣ было двадцать четыре

¹⁾ За то «просвѣщенное» начальство опредѣлило въ той же вятской гимназiи извѣстнаго ориенталиста, товарища Ковалевскаго и Мицкевича, Верниковскаго, сосланнаго по дѣлу филаретовъ, учителемъ французскаго языка.

года, и я только что понял мою любовь. Я могъ переносить разлуку, перенесъ бы и молчаніе, но, встрѣтившись съ другимъ ребенкомъ женщиной, въ которомъ все было такъ непритворно просто, я не могъ удержаться, чтобъ не разболтать ей мою тайну. Да и какъ же она была мнѣ благодарна за то, и сколько добра сдѣлала она мнѣ!

Всегда серьезная бесѣда Витберга иной разъ утомляла меня: мучимый моимъ тяжелымъ отношеніемъ къ Р., я не могъ быть при ней свободенъ. Часто вечеромъ уходилъ я къ Паулинѣ, читалъ ей пустыя повѣсти, слушалъ ея звонкій смѣхъ, слушалъ, какъ она нарочно для меня пѣла *das Medchän aus Fremde*, подъ которой я и она понимали другую *дѣву чужбины*, и облака разсѣвались, на душѣ мнѣ становилось искренно-весело, безмятежно-спокойно, и я съ миромъ уходилъ домой, когда аптекарь, окончивъ послѣднюю микстуру и намазавъ послѣдній пластырь, приходилъ надобѣдать мнѣ вздорными политическими распросами,— не прежде, впрочемъ, какъ выпивши его «лекарственной» и закусивши герингъ-салатомъ, приготовленнымъ бѣленькими ручками *der Frau Apotekerin*.

... Р. страдала; я, съ жалкой слабостью, ждалъ отъ времени случайныхъ разрѣшеній и длилъ полуложь. Тысячу разъ хотѣлъ я идти къ Р., броситься къ ея ногамъ, рассказать все, вынести ея гнѣвъ, ея презрѣніе..., но я боялся не негодованія—я бы ему былъ радъ—боялся слезъ. Много дурного надобно испытать, чтобъ умѣть вынести женскія слезы, чтобъ умѣть сомнѣваться, пока онѣ, еще теплыя, текутъ по воспаленной щекѣ. Къ тому ея слезы были бы искреннія.

Такъ прошло много времени. Начали носиться слухи о близкомъ окончаніи ссылки, не такъ уже казался далекимъ день, въ который я брошусь въ повозку и полечу въ Москву, знакомыя лица мерещились и между ними, передъ ними, завѣтныя черты; но едва я отдавался этимъ мечтамъ, какъ мнѣ представлялась, съ другой стороны повозки, блѣдная, печальная фигура Р., съ заплаканными глазами, съ взглядомъ, выражающимъ боль и упрекъ, и радость моя мутилась, мнѣ становилось жаль, смертельно жаль ее.

Долѣе оставаться въ ложномъ положеніи я не могъ и рѣшился, собравъ всѣ силы, вынырнуть изъ него. Я написалъ ей полную исповѣдь. Горячо, откровенно рассказалъ ей всю правду. На другой день она не выходила и сказала больно. Все, что можетъ вынести преступникъ, боящійся, что его уличатъ, все вынесъ я въ этотъ день; ея нервное оцѣпенѣніе возвратилось,—я не смѣлъ ее навѣстить.

Мнѣ надобно было большее покаянье; я заперся съ Витбергомъ въ кабинетъ и разсказалъ ему весь романъ мой. Сначала онъ удивился, потомъ выслушалъ меня, не какъ судья, а какъ другъ, не мучилъ распросами, не читалъ заднимъ числомъ морали, а принялся со мной искать средствъ смягчить ударъ; онъ одинъ и могъ это сдѣлать. Онъ горячо любилъ тѣхъ, кого любилъ. Я боялся его ригоризма, но дружба ко мнѣ и къ Р. рѣшительно взяла верхъ. Да, на его руки я могъ оставить несчастную женщину, которой безотрадное существованіе я доломалъ; въ немъ она находила сильную нравственную опору и авторитетъ. Р. уважала его, какъ отца.

Утромъ Матвѣй подалъ мнѣ записку. Я почти не спалъ всю ночь, съ волненіемъ распечаталъ я ее дрожащей рукой. Она писала кротко, благородно и глубоко печально; цвѣты моего краснорѣчія не скрыли аспика, въ ея примирительныхъ словахъ слышался затаенный стонъ слабой груди, крикъ боли, подавленный чрезвычайнымъ усиленіемъ. Она благословляла меня на новую жизнь, желала намъ счастья, называла Natalie сестрой и протягивала намъ руку на забвеніе прошедшаго и на будущую дружбу,— какъ будто она была виновата!

Рыдая, перечитывалъ я ея письмо. Qual cuor tradisti!

Я встрѣтился впоследствии съ нею; дружески подала она мнѣ руку, но намъ было неловко; каждый чего-то не договаривалъ, каждый старался кой-чего не касаться.

Годъ тому назадъ я услышалъ о ея кончинѣ.

Уѣхавъ изъ Вятки, меня долго мучило воспоминаніе объ Р. Мирясь съ собой, я принялся писать повѣсть, героиней которой была Р. Я представилъ барича екатерининскихъ временъ, покинувшего женщину, любившую его, и женившася на другой. Она чахнетъ и умираетъ. Вѣсть о ея смерти тяжело падаетъ на него, онъ сдѣлался мраченъ, задумчивъ и, наконецъ, сошелъ съ ума. Его жена, идеалъ кротости и самоотверженія, испытавъ все, везетъ его, въ одну изъ тихихъ минутъ, въ *Двѣичій монастырь* и бросается съ нимъ на колѣни передъ могилой несчастной женщины, прося прощенія и заступничества. Изъ оконъ монастыря достигаютъ слова молитвы, тихіе женскіе голоса поютъ объ отпущеніи,—баричъ выздоравливаетъ. Повѣсть вышла плоха. Когда я писалъ ее, Р. не собиралась въ Москву, и одинъ человекъ, догадывавшійся о томъ, что что-то было между мной и Р., былъ «вѣчный нѣмецъ», К. И. Зоненбергъ. Послѣ кончины моей матери въ 1851, отъ него не было ни одной вѣсти. Въ 1860, одинъ туристъ, разсказывая мнѣ о своемъ знакомствѣ съ восьмидесятилѣтнимъ Карломъ Ивановичемъ, показалъ его письмо. Въ P.S.

онъ извѣщалъ его о кончинѣ Р. и о томъ, что *мой братъ* ее похоронилъ въ *Ново-дѣвичьемъ монастырѣ!*

Само собой разумѣется, что повѣсть имъ обоимъ была неизвѣстна.

ГЛАВА XXII.

Въ Москвѣ безъ меня.

Мирная жизнь моя во Владимірѣ скоро была возмущена вѣстями изъ Москвы, которыя теперь приходили со всѣхъ сторонъ. Онѣ сильно огорчали меня. Для того, чтобъ сдѣлать ихъ понятными, надобно воротиться къ 1834 году.

На другой день послѣ моего взятія въ 1834 году, были имепины княгини; потому-то Natalie, разставаясь со мной на кладбищѣ, сказала мнѣ: «до завтра». Она ждала меня; съхлалось нѣсколько человѣкъ родныхъ, вдругъ является мой двоюродный братъ и рассказываетъ со всѣми подробностями исторію моего ареста. Новость эта, совершенно неожиданная, поразила ее, она встала, чтобъ выйти въ другую комнату, и, сдѣлавъ два шага, упала безъ чувствъ на полъ. Княгиня все видѣла и все поняла; она рѣшилась противудѣйствовать всѣми средствами возникающей любви.

Для чего?

Не знаю. Въ послѣднее время, т. е. послѣ окончанія моего курса, она была очень хорошо расположена ко мнѣ; но мой арестъ, слухи о нашемъ *вольномъ* образѣ мыслей, объ измѣнѣ православной церкви при вступленіи въ сень-симонскую «секту», разгнѣвали ее; она съ тѣхъ поръ меня иначе не называла какъ «государственнымъ преступникомъ», или «несчастливымъ сыномъ брата Ивана». Весь авторитетъ Сенатора былъ нуженъ, чтобъ она рѣшилась отпустить Natalie въ Крутицы проститься со мной.

По счастью, меня ссылали, времени передъ княгиней было много. «Да и гдѣ это Пермь, Вятка, — вѣрно, онъ тамъ себѣ свернетъ шею, или ему свернуть ее, а главное тамъ онъ ее забудетъ».

Но какъ на зло княгинѣ у меня память была хороша. Переписка со мной, долго скрываемая отъ княгини, была, наконецъ, открыта, и она строжайше запретила людямъ и горничнымъ доставлять письма молодой дѣвушкѣ или отправлять ея письма на почту. Года черезъ два стали поговаривать о моемъ возвращеніи. «Эдакъ, пожалуй, какимъ-нибудь добрымъ утромъ несчастный сынъ брата отворить дверь и взойдетъ; чего тутъ долго думать,

да откладывать,—мы ее выдадимъ замужъ и спасемъ отъ государственнаго преступника, человѣка безъ религіи и правилъ».

Прежде княгиня, вздыхая, говорила о бѣдной сиротѣ, о томъ, что у нея почти ничего нѣтъ, что ей нельзя долго разбирать, что ей бы хотѣлось какъ-нибудь пристроить ее при себѣ. Она, дѣйствительно, съ своими приживалками устроила кой-какъ судьбу одной дальней родственницы безъ состоянія, отдавъ ее замужъ за какого-то подъячаго. Добрая, милая дѣвушка, очень развитая, пошла замужъ, желая успокоить свою мать; года черезъ два она умерла, но подъячій остался живъ и изъ благодарности продолжалъ заниматься хожденіемъ по дѣламъ ея сіятельства. Теперь, совсѣмъ напротивъ, сирота вовсе не бѣдная невѣста, княгиня собирается ее выдать, какъ родную дочь, даетъ однѣми деньгами сто тысячъ рублей и оставляетъ, сверхъ того, какое-то наслѣдство. На такихъ условіяхъ можно всегда найти жениховъ не только въ Москвѣ, но гдѣ угодно, особенно имѣя компаньонку, княжескій титулъ и кочующихъ старухъ.

Шопотъ, переговоры, слухи,—и горничныя довели до несчастной жертвы такой попечительности намѣренія княгини. Она сказала компаньонкѣ, что рѣшительно не приметъ ничего предложенія. Тогда началось непрерывное, оскорбительное, лишенное пощады и всякой деликатности гоненіе; гоненіе ежеминутное, мелкое, цѣпляющееся за каждый шагъ, за каждое слово.

... «Представь себѣ дурную погоду, страшную стужу, вѣтеръ, дождь, пасмурное, какое-то безъ выраженія небо, прегадкую маленькую комнату, изъ которой, кажется, сейчасъ вынесли покойника, а тутъ эти *дѣтки* безъ цѣли, даже безъ удовольствія, шумятъ, кричатъ, ломаютъ и мараютъ все близкое; да хорошо бы еще, если-бъ только можно было глядѣть на этихъ дѣтей, а когда заставляютъ быть въ ихъ средѣ»,—пишетъ она въ одномъ письмѣ изъ деревни, куда княгиня уѣзжала лѣтомъ, и продолжаетъ: «У насъ сидятъ три старухи и всѣ три рассказываютъ, какъ ихъ покойники были въ параличѣ, какъ онѣ за ними ходили, — а и безъ того холодно».

Теперь къ этой средѣ прибавилось систематическое преслѣдованіе, и уже не отъ одной княгини, но и отъ жалкихъ старухъ, мучившихъ непрерывно Natalie, уговаривая ее идти замужъ и браня меня; большей частью она умалчивала въ письмахъ о рядѣ неприятностей, выносимыхъ сю, но иной разъ горечь, униженіе и скука брали верхъ. «Не знаю, пишетъ она, можно ли выдумать еще что-нибудь къ моему угнетенію, неужели у нихъ станетъ настолько ума? Знаешь ли ты, что даже выходъ въ другую комнату мнѣ запрещенъ, даже переимѣна мѣста въ той же комнатѣ. Я давно не играла на фортепіано, подали огонь, иду въ залу,

авось либо смилосердятся; нѣтъ, воротили, заставили вязать; пожалуй, только сяду у другого стола, — подлѣ нихъ мнѣ невыносимо—можно ли хоть это? Нѣтъ, непремѣнно сядь тутъ, рядомъ съ попадѣй, слушай, смотри, говори, а онѣ только и говорятъ о Филаретѣ, да пересушиваютъ тебя. На минуту мнѣ стало досадно, я покраснѣла и вдругъ тяжелое чувство грусти сдавило грудь, но не оттого, что я должна быть ихъ рабою, нѣтъ..., мнѣ смертельно стало жаль ихъ».

Начинается формальное сватовство.

«У насъ была одна дама, которая любить меня и которую я за это не люблю...; хлопочеть, что есть мочи, пристроить меня и до того разсердила меня, что я пропѣла ей въ слѣдъ:

Гробовой скорѣе покроюсь пеленой,
Чѣмъ безъ милаго узорчатой фатой.

Черезъ нѣсколько дней, 26 октября 1837 г., она пишетъ: «Что я вытерпѣла сегодня, другъ мой, ты не можешь себѣ представить. Меня нарядили и повезли къ С., которая съ дѣтства была ко мнѣ милостива черезъ мѣру; къ нимъ каждый вторникъ ѣздитъ полковникъ З. играть въ карты. Вообрази мое положеніе, съ одной стороны, старухи за карточнымъ столомъ, съ другой, разныя безобразныя фигуры и онъ. Разговоръ, лица, все это такъ чуждо, странно, противно, такъ безжизненно, пошло, я сама была больше похожа на изваяніе, чѣмъ на живое существо; все происходящее казалось мнѣ тяжкимъ удушливымъ сномъ; я какъ ребенокъ непрерывно просила ѣхать домой, меня не слушали. Вниманіе хозяина и гостя задавили меня, онъ даже написалъ мѣломъ до половины мой вензель; Боже мой, моихъ силъ не достаесть, ни на кого не могу опереться изъ тѣхъ, которые могли быть опорой; одна, на краю пропасти, и цѣлая толпа употребляетъ всѣ усилія, чтобъ столкнуть меня; иногда я устаю, силы слабѣютъ, и нѣтъ тебя вблизи и вдали тебя не видно; но одно воспоминаніе—и душа встрепенулась, готова снова на бой въ dospѣхахъ любви».

Между тѣмъ полковникъ понравился всѣмъ; Сенаторъ его ласкалъ, отецъ мой находилъ, что «лучше жениха нельзя ждать и желать не должно». «Даже, пишетъ Natalie, его превосходительство Д. П. (Голохвастовъ) доволенъ имъ». Княгиня не говорила прямо Natalie, но прибавляла притѣсненія и торопила дѣло. Natalie пробовала прикидываться при немъ совершенной «дурочкой», думая, что отстращаетъ его. Нисколько, онъ продолжаетъ ѣздить чаще и чаще.

«Вчера, пишетъ она, была у меня Эмилія, вотъ что она сказала: Если-бъ я услышала, что ты умерла, я бы съ радостью перекрестилась и поблагодарила бы Бога. Она права во многомъ,

но не совѣмъ; душа ея, живущая однимъ горемъ, поняла вполнѣ страданія моей души, но блаженство, которымъ наполняетъ ее любовь, сдвали ей доступно».

Но и княгиня не унывала. «Желая очистить свою совѣсть, княгиня призвала какого-то священника, знакомаго съ З., и спрашивала его, не грѣхъ ли будетъ отдать меня насильно? Священникъ сказалъ, что это будетъ даже богоугодно пристроить сироту. Я пошлю за своимъ духовникомъ—прибавляетъ Natalie—и открою ему все».

30 октября. «Вотъ платье, вотъ нарядъ къ завтраму, а тамъ образъ, кольца, хлопоты, приготовленія и ни слова мнѣ. Приглашены Насакины и другіе. Они готовятъ мнѣ сюрпризъ,—и я готовлю имъ сюрпризъ».

Вечеръ. «Теперь происходитъ совѣщаніе. Левъ Алексѣевичъ (Сенаторъ) здѣсь. Ты уговариваешь меня,—ненужно, другъ мой, я умѣю отворачиваться отъ этихъ ужасныхъ, гнусныхъ сценъ, куда меня тянуть на цѣпи. Твой образъ сіяетъ надо мной, за меня нечего бояться, и самая грусть и самое горе такъ святы и такъ сильно и крѣпко обняли душу, что, отрывая ихъ, сдѣлаешь еще больнѣе, раны откроются».

Однако, какъ ни скрывали и ни маскировали дѣла, полковникъ не могъ не увидѣть рѣшительнаго отвращенія невѣсты; онъ сталъ рѣже ѣздить, казался больнымъ, заикнулся даже о прибавкѣ приданаго; это очень разсердило, но княгиня прошла и черезъ это униженіе, она давала еще свою подмосковную. Этой уступки, кажется, и онъ не ждалъ, потому что послѣ нея онъ совѣмъ скрылся.

Мѣсяца два прошли тихо. Вдругъ разнеслась вѣсть о моемъ переводѣ во Владимірѣ. Тогда княгиня сдѣлала послѣдній отчаянный опытъ сватовства. У одной изъ ея знакомыхъ былъ сынъ офицеръ, только-что возвратившійся съ Кавказа; онъ былъ молодой, образованъ и весьма порядочный человѣкъ. Княгиня, откинувъ спѣсь, сама предложила его сестрѣ «позондировать» брата, не хочетъ ли онъ посвататься. Онъ поддался на внушенія сестры. Молодой дѣвушкѣ не хотѣлось еще разъ играть ту же отвратительную и скучную роль; она, видя, что дѣло принимаетъ серьезный оборотъ, написала ему письмо, прямо, открыто и просто говорила ему, что любить другого, довѣрялась его чести и просила не прибавлять ей новыхъ страданій.

Офицеръ очень деликатно устранился. Княгиня была поражена, оскорблена и рѣшилась узнать, въ чемъ дѣло. Сестра офицера, съ которой говорила сама Natalie и которая дала слово брату ничего не передавать княгинѣ, рассказала все компаньонкѣ. Разумѣется, та тотчасъ же донесла.

Княгиня чуть не задохнулась от негодованія. Не зная, что дѣлать, она приказала молодой дѣвушкѣ идти къ себѣ наверхъ и не казаться ей на глаза; недовольная этимъ, она велѣла запереть ея дверь и посадила двухъ горничныхъ для караула. Потомъ она написала къ своимъ братьямъ и одному изъ племянниковъ записки и просила ихъ собраться для совѣта, говоря, что она такъ разстроена и огорчена, что не можетъ ума приложить къ несчастному дѣлу, ее постигшему. Отецъ мой отказался, говоря, что у него своихъ заботъ много, что вовсе ненужно придавать случившемуся такой важности, и что онъ плохой судья въ дѣлахъ сердечныхъ. Сенаторъ и Д. П. Голохвостовъ явились на другой день вечеромъ, по зову.

Долго толковали они, ни въ чемъ не согласившись и, наконецъ, потребовали арестанта. Молодая дѣвушка взопла; но это была не та молчаливая, застѣнчивая сирота, которую они знали. Непоколебимая твердость и безвозвратное рѣшеніе были видны въ спокойномъ и гордомъ выраженіи лица: это было не дитя, а женщина, которая шла защищать свою любовь—мою любовь.

Видъ «подсудимой» смѣшалъ ареопагъ. Имъ было неловко; наконецъ Дмитрій Павловичъ, l'ogateur de la famille, изложилъ странно причину ихъ сѣзды, горестъ княгини, ея сердечное желаніе устроить судьбу своей воспитанницы и странное противудѣйствіе со стороны той, въ пользу которой все дѣлается. Сенаторъ подтверждалъ головой и указательнымъ пальцемъ слова племянника. Княгиня молчала, сидѣла отвернувшись и нюхала соль.

«Подсудимая» все выслушала и простодушно спросила, чего отъ нея требуютъ?

— Мы весьма далеки отъ того, чтобъ что-нибудь требовать, замѣтилъ племянникъ, мы здѣсь по волѣ тетюшки для того, чтобъ дать вамъ искренній совѣтъ. Вамъ представляется партія, превосходная во всѣхъ отношеніяхъ.

— «Я не могу ее принять».

— Какая же причина на это?

— «Вы ее знаете».

Ораторъ семейства немного покраснѣлъ, понюхалъ табаку и, щуря глаза, продолжалъ:

— Тутъ есть очень многое, противъ чего можно бы возражать, я обращаю ваше вниманіе на шаткость вашихъ надеждъ. Вы такъ давно не видались съ нашимъ несчастнымъ Alexandr'омъ, онъ такъ молодъ, горячъ,—увѣрены ли вы?

— «Увѣрена. Да и какія бы намѣренія его ни были, я не могу перемѣнить своихъ».

Племянникъ исчерпалъ свою латынь; онъ всталъ, говоря:

— Дай Богъ, дай Богъ, чтобъ вы не раскаялись! Я очень боюсь за ваше будущее.

Сенаторъ морщился; къ нему-то и обратилась теперь несчастная дѣвушка.

— «Вы, сказала она ему, показывали мнѣ всегда участіе, васъ я умоляю, спасите меня, сдѣлайте, что хотите, но избавьте меня отъ этой жизни. Я ничего никому не сдѣлала, ничего не прошу, ничего не предпринимаю, я только отказываюсь обмануть человѣка и погубить себя, выходя за него замужъ. Что я за это терплю, нельзя себѣ представить; мнѣ больно, что я должна это высказать въ присутствіи княгини, но выносить оскорбленія, обидныя слова, намеки ея пріятельницы выше моихъ силъ. Я не могу, я не должна позволить, чтобъ во мнѣ былъ оскорбленъ...» Нервы взяли свое и слезы градомъ полились изъ ея глазъ; Сенаторъ вскочилъ и взволнованный ходилъ по комнатѣ.

Въ это время компаньонка, кипѣвшая отъ злобы, не выдержала и сказала, обращаясь къ княгинѣ:

«Какова наша скромница, вотъ вамъ и благодарность».

— О комъ она говоритъ? закричалъ Сенаторъ.—А? Какъ это вы, сестрица, позволяете, чтобъ эта, чортъ знаетъ кто такая, при васъ такъ говорила о дочери вашего брата? Да и вообще зачѣмъ эта шваль здѣсь? Вы ее тоже позвали на совѣтъ? Что она вамъ родственница, что ли?

— Голубчикъ мой, отвѣчала испуганная княгиня, ты знаешь, что она мнѣ и какъ она за мной ходить.

— Да, да, это прекрасно, ну, и пусть подаетъ лекарство и что нужно; не о томъ рѣчь,—я васъ, ма соеиг, спрашиваю, зачѣмъ она здѣсь, когда говорятъ о семейномъ дѣлѣ, да еще голосъ подымаетъ? Можно думать послѣ этого, что она дѣлаетъ одна, а потомъ жалуется... Эй, карету.

Компаньонка, расплаканная и раскраснѣвшаяся, выбѣжала вонъ.

— Зачѣмъ вы такъ балуете ее? продолжалъ расходившійся Сенаторъ. Она все воображаетъ, что въ шинкѣ въ Звенигородѣ сидитъ; какъ вамъ это не гадко?

— Перестань, мой другъ, пожалуйста, у меня нервы такъ разстроены—охъ!—Ты можешь идти наверхъ и тамъ остаться, прибавила она, обращаясь къ племянницѣ.

— Пора и бастильи всѣ эти уничтожить. Все это вздоръ и ни къ чему не ведетъ, замѣтилъ Сенаторъ и схватилъ шляпу.

Убѣжая, онъ взомель наверхъ; взволнованная всѣмъ происшедшимъ, Natalie сидѣла на креслахъ, закрывши лицо, и горько плакала. Старикъ потрепалъ ее по плечу и сказалъ:

— Успокойся, успокойся, все перемелется. Ты постарайся, чтобъ сестра перестала сердиться на тебя: она женщина больная, надобно ей уступить, она, вѣдь, все-жъ добра тебѣ желаетъ; ну, а насильно тебя замужъ не отдадутъ, за это я тебѣ отвѣчаю.

— «Лучше въ монастырь, въ пансіонъ, въ Тамбовъ, къ брату въ Петербургъ, чѣмъ дольше выносить эту жизнь», отвѣчала она.

— Ну, полно, полно! старайся успокоить сестру, а дуру эту я отучу отъ грубостей.

Сенаторъ, проходя по залѣ, встрѣтилъ компаньонку.

— Прошу не забываться!—закричалъ онъ на нее, грозя пальцемъ. Она, рыдая, пошла въ спальню, гдѣ княгиня уже лежала въ постели и четыре горничныя терли ей руки и ноги, мочили виски уксусомъ и капали гофманскія капли на сахаръ.

Тѣмъ семейный совѣтъ и кончился.

Ясное дѣло, что положеніе молодой дѣвушки не могло переѣвиться къ лучшему. Компаньонка стала осторожнѣе, но, питая теперь личную ненависть и желая на ней вымѣстить обиду и униженіе, она отравляла ей жизнь мелкими, косвенными средствами; само собою разумѣется, что княгиня участвовала въ этомъ неблагородномъ преслѣдованіи беззащитной дѣвушки.

Надобно было положить этому конецъ. Я рѣшился выступить прямо на сцену и написалъ моему отцу длинное, спокойное, искреннее письмо. Я говорилъ ему о моей любви и, предвидя его отвѣтъ, прибавлялъ, что я вовсе его не тороплю, что я даю ему время взглядѣться, — мимолетное это чувство или нѣтъ, и прошу его объ одномъ, чтобъ онъ и Сенаторъ взошли въ положеніе несчастной дѣвушки, чтобъ они вспомнили, что они имѣютъ на нее столько же права, сколько и сама княгиня.

Отецъ мой на это отвѣчалъ, что онъ въ *чужія дѣла* терпѣть не можетъ мѣшаться, что до него не касается, что княгиня дѣлаетъ у себя въ домѣ; онъ мнѣ совѣтовалъ оставить пустыя мысли, «порожденные праздною и скукой ссылки», и лучше приготовляться къ путешествію въ чужіе края. Мы часто говорили съ нимъ въ былые годы о поѣздкѣ за границу, онъ зналъ, какъ страстно я желалъ, но находилъ бездну препятствій и всегда оканчивалъ однимъ: «Ты прежде закрой мнѣ глаза, потомъ дорога открыта на всѣ четыре стороны». Въ ссылкѣ я потерялъ всякую надежду на скорое путешествіе, зналъ, какъ трудно будетъ получить дозволеніе, и, сверхъ того, мнѣ казалось неделикатно, послѣ насильственной разлуки, настаивать на добровольную. Я помнилъ слезу, дрожавшую на старыхъ вѣкахъ, когда я отправлялся въ Пермь... И вдругъ мой отецъ беретъ инициативу и предлагаетъ мнѣ ѣхать!

Я былъ откровененъ, писалъ, щадя старика, просилъ такъ мало,—онъ мнѣ отвѣчалъ ироніей и уловкой. «Онъ ничего не хочетъ сдѣлать для меня, говорилъ я самъ себѣ, онъ, какъ Гизо, проповѣдуетъ la non-intervention; хорошо, такъ я сдѣлаю самъ, и теперь аминь уступкамъ». Я ни разу прежде не думалъ объ устройствѣ будущаго; я вѣрилъ, зналъ, что оно мое, что оно наше, и предоставлялъ подробности случаю; намъ было довольно сознанія любви, желанія не шли дальше минутнаго свиданія. Письмо моего отца заставило меня схватить будущее въ мои руки. Ждать было нечего—*cosa fatta capo ha!* Отецъ мой не очень сентименталенъ, а княгиня—

Пускай себѣ поплачетъ,
Ей ничего не значить!

Въ это время гостили во Владимірѣ мой братъ и К. Мы съ К. проводили цѣлыя ночи напролетъ, говоря, вспоминая, смѣясь сквозь слезы и до слезъ. Онъ былъ первый изъ нашихъ, котораго я увидѣлъ послѣ отъѣзда изъ Москвы. Отъ него я узналъ хронику нашего круга, въ чемъ перемѣны и какіе вопросы занимаютъ, какія лица прибыли, гдѣ тѣ, которыя оставили Москву, и пр. Переговоривши все, я рассказалъ о моихъ намѣреніяхъ. Разсуждая, что и какъ слѣдуетъ сдѣлать, К. заключилъ предложеніемъ, нелѣпость котораго я оцѣнилъ потомъ. Желая исчерпать всѣ мирные пути, онъ хотѣлъ съѣздить къ моему отцу, котораго едва зналъ, и *серьезно* съ нимъ поговорить. Я согласился.

К., конечно, былъ способенъ на все хорошее и на все худое, чѣмъ на дипломатическіе переговоры, особенно съ моимъ отцомъ. Онъ имѣлъ въ высшей степени все то, что должно было окончательно испортить дѣло. Онъ однимъ появленіемъ своимъ наводилъ уныніе и тревогу на всякаго консерватора. Высокій ростомъ, съ волосами странно разбросанными, безъ всякаго единства прически, съ рѣзкимъ лицомъ, напоминающимъ рядъ членовъ конвента 93 года, а всего болѣе Мара, съ тѣмъ же большимъ ртомъ, съ тою же рѣзкой чертой пренебреженія на губахъ и съ тѣмъ же грустно и озлобленно печальнымъ выраженіемъ; къ этому слѣдуетъ прибавить очки, шляпу съ широкими полями, чрезвычайную раздражительность, громкій голосъ, непривычку себя сдерживать и способность, по мѣрѣ негодованія, поднимать брови все выше и выше. К. былъ похожъ на Ларавинье въ превосходномъ романѣ Ж. Зандъ «Орасъ», съ примѣсью чего-то патфайндерскаго, робинзоновскаго и еще чего-то чисто московскаго. Открытая, благородная натура съ дѣтства поставила его въ прямую ссору съ окружающимъ міромъ; онъ не скрывалъ это враждебное отношеніе и привыкъ къ нему. Нѣсколькими годами стар-

ше насъ, онъ непрерывно бранился съ нами и былъ всёми недоволенъ, дѣлалъ выговоры, ссорился, и покрывалъ все это добродушіемъ ребенка. Слова его были грубы, но чувства нѣжны, и мы бездну прощали ему.

Представьте же именно его, этого послѣдняго Могикана, съ лицомъ Мара, «друга народа», отправляющагося увѣщевать моего отца. Много разъ потомъ я заставлялъ К. пересказывать ихъ свиданіе: моего воображенія не доставало, чтобъ представить все оригинальное этого дипломатическаго вмѣшательства. Оно пришлось такъ невзначай, что старикъ не нашелся сначала, сталъ объяснять всѣ глубокія соображенія, почему онъ противъ моего брака, и потомъ уже, спохватившись, перемѣнилъ тонъ и спросилъ К., съ какой онъ стати пришелъ къ нему говорить о дѣлѣ, до него вовсе не касающемся. Разговоръ принялъ характеръ желчевой. Дипломатъ, видя, что дѣло становится хуже, попробовалъ пугнуть старика моимъ здоровьемъ; но это уже было поздно, и свиданіе окончилось, какъ слѣдовало ожидать, рядомъ язвительныхъ колкостей со стороны моего отца и грубыхъ выраженій со стороны К.

К. писалъ мнѣ: «Отъ старика ничего не жди». Этого-то и надо было. Но что было дѣлать, какъ начать? Пока я обдумывалъ по десяти разныхъ проектовъ въ день и не рѣшался, который предпochетъ, братъ мой собрался ѣхать въ Москву.

Это было 1 марта 1838 года.

ГЛАВА XXIII ¹⁾.

Третье марта и девятое мая 1838 года.

Утромъ я писалъ письма; когда я кончилъ, мы сѣли обѣдать. Я не ѣлъ, мы молчали, мнѣ было невыносимо тяжело,—это было

¹⁾ Отрывокъ изъ этой главы былъ напечатанъ въ «Полярной Звѣздѣ», т. I, стр. 79, при слѣдующемъ примѣчаніи:

— Кто имѣетъ право писать свои воспоминанія?

— Всякій.

Потому, что никто ихъ не обязанъ читать.

Для того, чтобъ писать свои воспоминанія, вовсе не надобно быть ни великимъ мужемъ, ни знаменитымъ злодѣемъ, ни извѣстнымъ артистомъ, ни государственнымъ человѣкомъ,—для этого достаточно быть просто человѣкомъ, имѣть что-нибудь для разсказа и не только хотѣть, но и сколько-нибудь умѣть разсказать.

Всякая жизнь интересна; не личность — такъ среда, страна занимаютъ, жизнь занимаетъ. Человѣкъ любитъ заступать въ другое существованіе, любитъ касаться тончайшихъ волоконъ чужого сердца и прислушиваться къ

часу въ пятомъ, въ семь должны были придти лошади. Завтра послѣ обѣда онъ будетъ въ Москвѣ, а я... и съ каждой минутой пульсъ у меня бился сильнѣе.

— Послушайте, сказалъ я, наконецъ, брату, глядя въ тарелку, доведите меня до Москвы? — Братъ мой опустилъ вилку и смотрѣлъ на меня неувѣренный, слышалось ему или нѣтъ.

— Провезите меня черезъ заставу, какъ вашего слугу, больше мнѣ ничего ненужно, согласны?

— «Да я пожалуй, только знаешь, чтобъ тебѣ потомъ...»

Это ужъ было поздно, его «пожалуй» было у меня въ крови, въ мозгу. Мысль, едва мелькнувшая за минуту, была теперь неисторгаема.

— Что тутъ толковать, мало ли что можетъ случиться, — и такъ, вы берете меня?

его биенію..., онъ сравниваетъ, онъ свѣряетъ, онъ ищетъ себѣ подтвержденій, сочувствія, оправданія...

— Но могутъ же записки быть скучны, описанная жизнь безцвѣтна, пошла?

— Такъ не будемъ ихъ читать, хуже наказанія для книги нѣтъ.

Сверхъ того, этому горю не пособитъ никакое право на писаніе мемуаровъ. Записки Бенвенуто Челлини совсѣмъ не потому занимательны, что онъ былъ отличный золотыхъ дѣлъ мастеръ, а потому, что онъ сами по себѣ занимательнѣе любой повѣсти.

Дѣло въ томъ, что слово «имѣть право» на такую или другую рѣчь принадлежить не нашему времени, а времени умственного несовершеннolѣтія, поэтовъ, лауретовъ, докторскихъ шапокъ, цеховыхъ ученыхъ, патентованныхъ философовъ, метафизиковъ по диплому и другихъ фарисеевъ христіанскаго міра. Тогда актъ писанія считался какимъ-то священнодѣйствіемъ; писавшій для публики говорилъ свысока, неестественно, отборными словами, онъ «проповѣдывалъ» или «пѣлъ».

А мы просто говоримъ. Для насъ писать такое же свѣтское занятіе, такая же работа или разсѣяніе, какъ и всѣ остальные. Въ этомъ отношеніи трудно оспаривать «право на работу». Найдеть ли трудъ признаніе, одобреніе, — это совсѣмъ иное дѣло.

Годъ тому назадъ, я напечаталъ по-русски одну часть моихъ записокъ подъ заглавіемъ «Тюрьма и Ссылка», напечаталъ я ее въ Лондонѣ во время начавшейся войны, я не считалъ ни на читателей, ни на вниманіе внѣ Россіи. Успѣхъ этой книги превзошелъ всѣ ожиданія; *Revue des Deux-Mondes*, этотъ цѣломудреннѣйшій и чопорнѣйшій журналъ, помѣстилъ поль-книги въ французскомъ переводѣ. Умный ученый the Athenaeum далъ отрывки по-англійски; на нѣмецкомъ вышла вся книга, на англійскомъ она издается.

Вотъ почему я рѣшился печатать отрывки изъ другихъ частей.

Въ другомъ мѣстѣ скажу я, какое огромное значеніе для меня лично имѣютъ мои записки и съ какою цѣлью я ихъ началъ писать. Я ограничусь теперь однимъ общимъ замѣчаніемъ, что у насъ особенно полезно печатаніе современныхъ записокъ. Благодаря цензурѣ, мы не привыкли къ публичности, всякая гласность насъ пугаетъ, останавливаетъ, удивляетъ. Въ Англии каждый человѣкъ, появляющійся на какой-нибудь общественной сценѣ, разносчикомъ писемъ или хранителемъ печати, подлежитъ тому же разбору,

— «Отчего же, я право готовъ, только...»

Я вскочилъ изъ-за стола.

— Вы ѣдете? спросилъ Матвѣй, желая что-то сказать.

— Ёду, отвѣчалъ я такъ, что онъ ничего не прибавилъ. Я послѣ завтра возвращусь; коли кто придетъ, скажи, что у меня болить голова и что я сплю, вечеромъ зажги свѣчи, и за симъ дай мнѣ бѣлья и сакъ.

Бубенчики позванивали на дворѣ.—Вы готовы?—Готовъ. И такъ, въ добрый часъ.

На другой день, въ обѣденную пору, бубенчики перестали позванивать, мы были у подѣзда К. Я велѣлъ его вызвать. Недѣлю тому назадъ, когда онъ меня оставилъ во Владимірѣ, о моемъ прїездѣ не было даже предположенія, а потому онъ такъ удивился,

тѣмъ же свисткамъ и рукоплесканіямъ, какъ актеръ послѣдняго театра гдѣ-нибудь въ Ислингтонѣ или Падинктонѣ. Ни королева, ни ея мужъ не исключены. Это великая узда!

Пусть же и наши актеры тайной и явной полиціи, такъ хорошо защищенные отъ гласности цензурой и отеческими наказаніями, знаютъ, что рано или поздно дѣла ихъ выйдутъ на бѣлый свѣтъ.

Помѣщаемъ тутъ же примѣчаніе, сопровождавшее отрывокъ изъ первой части, напечатанное въ «Полярной Звѣздѣ», т. II, стр. 45.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года Герстъ и Блякетъ издали англійскій переводъ моихъ записокъ. Успѣхъ былъ полнѣйшій: не только всѣ свободно мыслящіе журналы и реву помѣстили большіе отрывки съ самыми лестными отзывами (съ особенной благодарностью вспоминаю я о статьяхъ The Athenaeum, The Critic и Weekly Times), но даже тайно-брачный органъ пальмерстоновскаго и бонапартовскаго союза, Morning Post, разбранилъ меня и совѣтовалъ закрыть русскую типографію, если я хочу пользоваться уваженіемъ (кого?—ихъ,—нисколько не хочу).

Этотъ успѣхъ, вмѣстѣ съ разборомъ нѣмецкаго перевода въ нью-іоркскихъ и нѣмецкихъ журналахъ, рѣшилъ мое сомнѣніе, печатать или нѣтъ часть, предшествующую «Тюрьмѣ и Ссылкѣ». Въ этой части мнѣ приходилось больше говорить о себѣ, нежели въ напечатанныхъ, и не только о себѣ, но и о семейныхъ дѣлахъ. Это вещь трудная, не сама по себѣ, а потому что по дорогѣ неволью наталкиваешься на предразсудки, окружающіе заборомъ семейный очагъ. Я не коснулся грубо ни одного воспоминанія, не оскорбилъ ни одного истиннаго чувства, но я не хотѣлъ пожертвовать интересомъ, который имѣетъ жизнь искренно рассказанная, цѣломудренной лжи и коварному умалчиванію.

Не знаю, стоитъ ли говорить о гнусныхъ нападкахъ, которымъ меня подвергла неосторожная продѣлка издателей, но чтобъ не подумали, что я умолялъ о нихъ, скажу нѣсколько словъ. Издатели переводовъ, не имѣвшие никакого сношенія со мной, смѣло поставили слово «Сибирь» въ заглавіи. Я протестовалъ. Это не помѣшало одному журналу напасть на меня. Я отвѣчалъ, рассказавъ дѣло. Онъ продолжалъ клевету,—я не могъ нагнуться до отвѣта. По счастью я знаю, что въ Россіи не только между нашими друзьями, но между нашими врагами не найдется ни одинъ человѣкъ, который бы заподозрилъ меня въ намѣренномъ обманѣ à la Vagnin или подумалъ бы, что ссылка на чернильную работу была для меня добровольной службой.

увидя меня, что сначала не сказалъ ни слова, а потомъ покотился со смѣху, но вскорѣ принялъ озабоченный видъ и повелъ меня къ себѣ. Когда мы были въ его комнатѣ, онъ, тщательно запирая дверь на ключъ, спросилъ меня:—«Что случилось?»

— Ничего.

— «Да ты зачѣмъ?»

— Я не могъ остаться во Владимірѣ, я хочу видѣть Natalie: вотъ и все, а ты долженъ это устроить, и сію же минуту, потому что завтра я долженъ быть дома.

К. смотрѣлъ мнѣ въ глаза и сильно поднялъ брови.

— «Какая глупость, это чортъ знаетъ что такое, безъ нужды, ничего не приготовивши, ѣхать. Что ты писалъ, назначилъ время?»

— Ничего не писалъ.

— «Помилуй, братецъ, да что же мы съ тобой едѣлаемъ? Это изъ рукъ вонъ, это бѣлая горячка!»

— Въ томъ-то все дѣло, что, не теряя ни минуты, надобно придумать, какъ и что.

— «Ты глупъ, сказалъ положительно К., забирая еще выше бровями, я былъ бы очень радъ, чрезвычайно радъ, если-бъ ничего не удалось, былъ бы урокъ тебѣ».

— И довольно продолжительный, если попадусь. Слушай, когда будетъ темно, мы поѣдемъ къ дому княгини, ты вызовешь кого-нибудь на улицу изъ людей, я тебѣ скажу кого,—ну, потомъ увидимъ, что дѣлать. Ладно, что ли?

— «Ну, дѣлать нечего, пойдѣмъ, а ужъ какъ бы мнѣ хотѣлось, чтобъ не удалось! Что же вчера не написалъ?»—и К., важно нахлобучивъ на себя свою шляпу съ длинными полями, набросилъ черный плащъ на красной подкладкѣ.

— Ахъ ты, проклятый ворчунъ! сказалъ я ему выходя, и К., отъ души смѣясь, повторялъ:

— «Да развѣ это не курамъ насмѣхъ, не написалъ и пріѣхалъ,—это изъ рукъ вонъ».

У К. нельзя было оставаться, онъ жилъ ужасно далеко и въ этотъ день у его матери были гости. Онъ отправился со мной къ одному гусарскому офицеру. К. его зналъ за благороднаго человѣка, онъ не былъ замѣшанъ въ политическія дѣла и, слѣдственно, внѣ полицейскаго надзора. Офицеръ съ длинными усами сидѣлъ за обѣдомъ, когда мы пришли; К. рассказалъ ему, въ чемъ дѣло, офицеръ въ отвѣтъ налилъ мнѣ стаканъ краснаго вина и поблагодарилъ за довѣріе, потомъ отправился со мной въ свою спальню, украшенную сѣдлами и чепраками, такъ что можно было думать, что онъ спитъ верхомъ.

— Вотъ вамъ комната, сказалъ онъ, васъ никто здѣсь не обезпокоитъ. Потомъ онъ позвалъ деньщика, гусара же, и велѣлъ

ему ни подь какимъ предлогомъ никого не пускать въ эту комнату. Я снова очутился подь охраной солдата, съ той разницей, что въ Крутицахъ жандармъ меня караулилъ отъ всего міра, а тутъ гусарь караулилъ весь міръ отъ меня.

Когда совсѣмъ смерклось, мы отправились съ К. Сильно билось сердце, когда я снова увидѣлъ знакомыя родныя улицы, мѣста, дома, которыхъ я не видалъ около четырехъ лѣтъ... Кузнецкій мостъ, Тверской бульваръ..., вотъ и домъ Огарева, ему нахлобучили какой-то огромный гербъ, онъ чужой ужъ; въ нижнемъ этажѣ, гдѣ мы такъ юно жили, жилъ портной..., вотъ Поварская,—духъ занимается, въ мезонинѣ, въ угловомъ окнѣ, горитъ свѣча, это ея комната, она пишетъ ко мнѣ, она думаетъ обо мнѣ, свѣча такъ весело горитъ, такъ *мнѣ* горитъ.

Пока мы придумывали, какъ лучше вызвать кого-нибудь, намъ навстрѣчу бѣжить одинъ изъ молодыхъ офиціантовъ княгини.

— «Аркадій», сказалъ я, поровнявшись. Онъ меня не узналъ. «Что съ тобой, сказалъ я, своихъ не узнаешь?»

— Да это вы-съ? вскрикнулъ онъ. Я приложилъ палецъ къ губамъ и сказалъ:

— «Хочешь ли ты мнѣ сослужить дружескую службу, доставь немедленно, черезъ Сашу или Костиньку, какъ можно скорѣй, вотъ эту записочку, понимаешь? Мы будемъ ждать отвѣтъ въ переулкѣ за угломъ, и ни полслова никому о томъ, что ты меня видѣлъ въ Москвѣ».

— Будьте покойны, все обдѣлаемъ въ мигъ, отвѣчалъ Аркадій и пустился рысью домой.

Около получаса ходили мы взадъ и впередъ по переулку, прежде чѣмъ вышла, торопясь и оглядываясь, небольшая, худенькая старушка, та самая бойкая горничная, которая въ 1812 году у французскихъ солдатъ просила для меня «манже»; съ дѣтства мы звали ее Костинькой. Старушка взяла меня обѣими руками за лицо и расцѣловала.

— Такъ-то ты и прилетѣлъ, говорила она, ахъ ты, буйная голова, и когда ты это уймешься, безпутный ты мой, и барышню такъ испугалъ, что чуть въ обморокъ не упала.

— «Что же, записочка есть у васъ?»

— Есть, есть, ишь какой нетерпѣливый, и она мнѣ подала лоскутокъ бумаги.

Дрожащей рукой, карандашомъ, были написаны нѣсколько словъ: «Боже мой, неужели это правда,—ты здѣсь... Завтра, въ шестомъ часу утра, я буду тебя ждать, не вѣрю, не вѣрю! Неужели это не сонъ?»

Гусарь снова отдалъ меня на сохраненіе деньщику. Въ пять часовъ съ половиной я стоялъ, прислонившись къ фонарному

столбу, и ждалъ К., взшедшаго въ калитку княгининаго дома. Я и не пробую передать того, что происходило во мнѣ, пока и ждалъ у столба; такія мгновенія остаются потому личной тайной, что они нѣмы.

К. махалъ мнѣ рукой. Я взшелъ въ калитку; мальчикъ, который успѣлъ вырости, провожалъ меня, знакомо улыбаясь. И вотъ я въ передней, въ которую нѣкогда входилъ зѣвая, а теперь готовъ былъ пасть на колѣна и цѣловать каждую доску пола. Аркадій привелъ меня въ гостиную и вышелъ. Я утомленный бросился на диванъ, сердце билось такъ сильно, что мнѣ было больно, и, сверхъ того, мнѣ было страшно. Я растягиваю рассказъ, чтобъ дольше остаться съ этими воспоминаніями, хотя и вижу, что слово ихъ плохо беретъ.

Она взошла, вся въ бѣломъ, ослѣпительно прекрасна; три года разлуки и вынесенная борьба окончили черты и выраженіе. «Эти ты», сказала она своимъ тихимъ, кроткимъ голосомъ.

Мы сѣли на диванъ и молчали.

Выраженіе счастья въ ея глазахъ доходило до страданія. Должно быть, чувство радости, доведенное до высшей степени, смѣшивается съ выраженіемъ боли, потому что и она мнѣ сказала: «Какой у тебя измученный видъ!»

Я держалъ ея руку, на другую она облокотилась, и намъ нечего было другъ другу сказать..., короткія фразы, два-три воспоминанія, слова изъ писемъ, пустыя замѣчанія объ Аркадіи, о гусарѣ, о Костинькѣ.

Потомъ взошла нянюшка, говоря, что пора, и я всталъ, не возражая, и она меня не останавливала..., такая полнота была въ душѣ. Больше, меньше, короче, дольше, еще,—все это исчезло передъ полнотою настоящаго...

Когда мы были за заставой, К. спросилъ:

— «Что же у васъ, рѣшено что-нибудь?»

— Ничего.

— «Да ты говорилъ съ ней?»

— Объ этомъ ни слова.

— «Она согласна?»

— Я не спрашивалъ,—разумѣется, согласна.

— «Ты, ей Богу, поступаешь какъ дитя или какъ сумасшедшій», замѣтилъ К., повышая брови и пожимая съ негодованіемъ плечами.

— Я ей напишу, потомъ тебѣ, а теперь прощай! Нутка по всѣмъ по тремъ.

На дворѣ была оттепель, рыхлой снѣгъ мѣстами чернѣлъ, безконечная бѣлая поляна лежала съ обѣихъ сторонъ, деревеньки мелькали съ своимъ дымомъ, потомъ взшелъ мѣсяцъ и иначе освѣтилъ все; я былъ одинъ съ ямщикомъ и все смотрѣлъ и все

былъ тамъ съ нею, и дорога, и мѣсяць, и поляны какъ-то смѣшивались съ княгининой гостиней. И странно, я помнилъ каждое слово нянюшки, Аркадыя, даже горничной, проводившей меня до воротъ, но что я говорилъ съ нею, что она мнѣ говорила, не помнилъ!

Два мѣсяца прошли въ непрерывныхъ хлопотахъ, надобно было занять денегъ, достать метрическое свидѣтельство; оказалось, что княгиня его взяла. Одинъ изъ друзей досталъ всѣми неправдами другое изъ консисторіи, платя, кланяясь, потчуетъ кварталныхъ и писарей.

Когда все было готово, мы поѣхали, т. е. я и Матвѣй.

На разсвѣтъ 8 мая, мы были на послѣдней ямской станціи передъ Москвою. Ямщики пошли за лошадьми. Погода была душная, дождь капалъ, казалось, будетъ гроза, я не вышелъ изъ кибитки и торопиль ямщика. Кто-то страннымъ голосомъ, тонкимъ, плаксивымъ, протяжнымъ, говорилъ возлѣ. Я обернулся и увидѣлъ дѣвочку лѣтъ шестнадцати, блѣдную, худую, въ лохмотьяхъ и съ распущенными волосами, она просила милостыню. Я далъ ей мелкую серебряную монету; она захохотала, увидя ее, но вмѣсто того, чтобъ идти прочь, влѣзла на облучекъ кибитки, повернулась ко мнѣ и стала бормотать полусвязныя рѣчи, глядя мнѣ прямо въ лицо; ея взглядъ былъ мутенъ, жалокъ, пряди волосъ падали на лицо. Болѣзненное лицо ея, непонятная болтовня вмѣстѣ съ утреннимъ освѣщеніемъ наводили на меня какую-то нервную робость.

— Это у насъ такъ, юродивая, т. е. дурочка, замѣтилъ ямщикъ. И куда ты лѣзешь, возъ стягну, такъ узнаешь! Ей Богу, стягну, озарница эдакая!

— «Что ты бронишься, что я тѣ сдѣлла, — вотъ баринъ-то серебряной пятакъ далъ, а что я тебѣ сдѣлла?»

— Ну, далъ, такъ и убирайся къ своимъ чертямъ въ лѣсъ.

— «Возьми меня съ собой, прибавила дѣвочка, жалобно глядя на меня, ну, право, возьми...»

— Въ Москвѣ показывать за деньги, чудо, молъ, юдо, ракъ морской, замѣтилъ ямщикъ, — ну, слѣзай, что ли, трогаемъ.

Дѣвочка не думала идти, а все жалобно смотрѣла, я просилъ ямщика не обижать ее, онъ взялъ ее тихо въ охапку и поставилъ на землю. Она расплакалась, и я готовъ былъ плакать съ нею.

Зачѣмъ это существо попало мнѣ именно въ этотъ день, именно при вѣздѣ въ Москву? Я вспомнилъ «Безумную» Козлова, и ее онъ встрѣтилъ подъ Москвою.

Мы поѣхали, воздухъ былъ полонъ электричества, неприятно тяжело и тепло. Сияя туча, опускавшаяся сѣрыми ключьями до земли, медленно тащилась ими по полямъ, — и вдругъ зиг-

загъ молніи прорѣзалъ ее своими уступами вкось, ударилъ громъ и дождь полился ливнемъ. Мы были верстахъ въ десяти отъ Рогожской заставы, да еще Москвой приходилось съ часъ ѣхать до Дѣвичьяго поля. Мы пріѣхали къ А., гдѣ меня долженъ былъ ожидать К., рѣшительно безъ сухой нитки на тѣлѣ.

К. не было налицо. Онъ былъ у изголовья умирающей женщины, Е. Д. Левашевой. Женщина эта принадлежала къ тѣмъ удивительнымъ явленіямъ русской жизни, которыя мирять съ нею, которыхъ все существованіе подвигъ, никому не вѣдомый, кромѣ небольшого круга друзей. Сколько слезъ утерла она, сколько внесла утѣшеній не въ одну разбитую душу, сколько юныхъ существованій поддержала она и сколько сама страдала! «Она изшла любовью», сказалъ мнѣ Чаадаевъ, одинъ изъ ближайшихъ друзей ея, посвятившій ей свое знаменитое письмо о Россіи.

К. не могъ ее оставить и писалъ, что около девяти часовъ пріѣдетъ. Меня встревожила эта вѣсть. Человѣкъ, объятый сильной страстью, страшный эгоистъ; я въ отсутствіи К. видѣлъ одну задержку...; когда же пробило девять часовъ, раздался благовѣстъ къ поздней обѣднѣ и прошло еще четверть часа, мною овладѣло лихорадочное безпокойство и малодушное отчаяніе... Половина десятаго—нѣтъ, онъ не будетъ, больной вѣрно хуже, что мнѣ дѣлать? Остаться въ Москвѣ не могу, одно неосторожное слово горничной, нянюшки въ домъ княгини, откроетъ все. Ѣхать назадъ было возможно; но я чувствовалъ, что у меня не было силы ѣхать назадъ.

Въ три четверти десятаго явился К. въ соломенной шляпѣ, съ измятымъ лицомъ человѣка, не спавшаго цѣлую ночь. Я бросился къ нему и, обнимая его, осыпалъ упреками. К., нахмурившись, посмотрѣлъ на меня и спросилъ: «Развѣ получаса не достаточно, чтобъ дойти отъ А. до Поварской? Мы бы тутъ болтали съ тобой цѣлый часъ, ну, оно какъ ни пріятно, а я изъ-за этого не рѣшился прежде, чѣмъ было нужно, оставить умирающую женщину. Левашева, прибавилъ онъ, посылаетъ вамъ свое привѣтствіе, она благословила меня на успѣхъ своей умирающей рукой и дала мнѣ на случай нужды теплую шаль». Привѣтъ умирающей былъ для меня необыкновенно дорогъ. Теплая шаль была очень нужна ночью, и я не успѣлъ ее поблагодарить, ни пожать ей руки..., она вскорѣ скончалась.

К. и А. отправились. К. долженъ былъ ѣхать за заставу съ Natalie, А. воротиться, чтобы сказать мнѣ, все ли успѣшно, и что дѣлать. Я остался ждать съ его милой, прекрасной женой; она сама недавно вышла замужъ; страстная, огненная натура, она принимала самое горячее участіе въ нашемъ дѣлѣ; она старалась съ притворной веселостью увѣрить меня, что все пойдетъ пре-

восходно, а сама была до того снѣдаема безпокойствомъ, что безпрестанно мѣнялась въ лицѣ. Мы съ ней сѣли у окна, разговоръ не шель; мы были похожи на дѣтей, посаженныхъ за вину въ пустую комнату. Такъ прошли часа два.

Въ мѣръ нѣтъ ничего разрушительнѣе, невыносимѣе, какъ бездѣйствіе и ожиданіе въ такія минуты. Друзья дѣлаютъ большую ошибку, снимая съ плечъ главнаго *паціента* всю ношу. Выдумать надобно занятія для него, если ихъ нѣтъ, задавить физической работой, разсѣять недосугомъ, хлопотами.

Наконецъ, взошелъ А., мы бросились къ нему. «Все идетъ чудесно, они при мнѣ ускакали, кричалъ онъ намъ со двора. Ступай сейчасъ за Рогожскую заставу, тамъ у мостика увидишь лошадей недалеко Перова трактира. Съ Богомъ. Да перемѣни на пол-дорогѣ извозчика, чтобъ послѣдній не зналъ, откуда ты».

Я пустился какъ изъ лука стрѣла... Вотъ и мостикъ недалеко отъ Перова; никого нѣтъ, да и по другую сторону мостикъ, и тоже никого нѣтъ. Я доѣхалъ до измайловскаго звѣринца, никого; я отпустилъ извозчика и пошелъ пѣшкомъ. Ходя взадъ и впередъ, я, наконецъ, увидѣлъ на другой дорогѣ какой-то экипажъ; молодой, красивый кучеръ стоялъ возлѣ.

— «Не проѣзжалъ ли здѣсь, спросилъ я его, баринъ высокій въ соломенной шляпѣ и не одинъ—съ барышней?»

— Я никого не видалъ, отвѣчалъ нехотя кучеръ.

— «Да ты съ кѣмъ здѣсь?»

— Съ господами.

— «Какъ ихъ зовутъ?»

— А вамъ на что?

— «Экой ты, братецъ, какой, не было бы дѣла; такъ и не спрашивалъ бы».

Кучеръ посмотрѣлъ на меня испытующимъ взглядомъ и улыбнулся, видъ мой, казалось, его лучше расположилъ въ мою пользу.

— Коли дѣло есть, такъ имя сами должны знать, кого вамъ надо?

— «Экой ты кремень какой, ну, надобно мнѣ барина, котораго К. зовутъ».

Кучеръ еще улыбнулся и, указывая пальцемъ на кладбище, сказалъ:

— Вотъ вдали-то, видите, чернѣетъ, это самый онъ и есть, и барышня съ нимъ, шляпки-то не взяли, такъ уже г. К. свою дали, благо соломенная.— И въ этотъ разъ мы встрѣчались на *кладбищѣ!*

... Она съ легкимъ крикомъ бросилась мнѣ на шею. «И навсегда!» сказала она; «навсегда», повторилъ я. К. былъ тронуть, слезы дрожали на его глазахъ, онъ взялъ наши руки и дрожа-

щимъ голосомъ сказалъ: «Друзья, будьте счастливы!» Мы обняли его. Это было наше *дѣйствительное* бракосочетаніе!

Мы были больше часу въ особой комнатѣ Перова трактира, а коляска съ Матвѣемъ еще не пріѣзжала! К. хмурился. Намъ и въ голову не шла возможность несчастья, намъ такъ хорошо было тутъ втроемъ и такъ дома, какъ будто мы и все вмѣстѣ были. Передъ окнами была роща, снизу слышалась музыка и раздавался цыганскій хоръ; день послѣ грозы былъ прекрасный.

Полицейской погони со стороны княгини я не боялся, какъ К.; я зналъ, что она изъ спѣси не замѣшаетъ квартальнаго въ семейное дѣло. Сверхъ того, она ничего не предпринимала безъ Сенатора, ни Сенаторъ безъ моего отца, отецъ мой никогда не согласился бы на то, чтобъ полиція остановила меня въ Москвѣ или подъ Москвой, т. е. чтобъ меня отправили въ Бобруйскъ или въ Сибирь за нарушеніе высочайшей воли. Опасность могла только быть со стороны тайной полиціи, но все было сдѣлано такъ быстро, что ей трудно было знать; да если она что-нибудь и провѣдала, то кому же придется въ голову, чтобъ человѣкъ, тайно возвратившійся изъ ссылки, который увозитъ свою невесту, спокойно сидѣлъ въ Перовомъ трактирѣ, гдѣ народъ толчется съ утра до ночи.

Явился, наконецъ, и Матвѣй съ коляской. «Еще бокалъ!» командовалъ К., и въ путь. И вотъ мы одни, т. е. вдвоемъ несемъ по владимірской дорогѣ.

Въ Буньковѣ, пока мѣняли лошадей, мы взопли на постоянный дворъ. Старушка хозяйка пришла спросить, не надо ли чего подать, и, добродушно глядя на насъ, сказала: «Какая хозяйка-то у тебя молоденькая, да пригожая, и оба-то вы, Господь съ вами, парочка». Мы покраснѣли до ушей, не смѣли взглянуть другъ на друга и спросили чаю, чтобъ скрыть смущеніе. На другой день часу въ шестомъ мы пріѣхали во Владиміръ. Время терять было нечего; я бросился, оставивъ у одного стараго семейнаго чиновника невесту, узнать, все ли готово. Но кому же было готовить во Владимірѣ?

Вездѣ не безъ добрыхъ людей. Во Владимірѣ стоялъ тогда Сибирскій уланскій полкъ; я мало былъ знакомъ съ офицерами, но, встрѣчаясь довольно часто съ однимъ изъ нихъ въ публичной библіотекѣ, я сталъ съ нимъ кланяться; онъ былъ очень учтивъ и милъ. Съ мѣсяцъ спустя онъ признался мнѣ, что зналъ меня и мою исторію 1834 года, рассказалъ, что онъ самъ изъ студентовъ московскаго университета. Уѣзжая изъ Владиміра и отыскивая, кому поручить разные хлопоты, я подумалъ объ офицерѣ, поѣхалъ къ нему и прямо рассказалъ, въ чемъ дѣло. Онъ,

искренно тронутый моей довѣренностью, пожалъ мнѣ руку, все обѣщалъ и все исполнилъ.

Офицеръ ожидалъ меня во всей формѣ, съ бѣлыми отворотами, съ киверомъ безъ чехла, съ ледункой черезъ плечо, со всякими шнурками. Онъ сообщилъ мнѣ, что архіерей разрѣшилъ священнику вѣнчать, но велѣлъ предварительно показать метрическое свидѣтельство. Я отдалъ офицеру свидѣтельство, а самъ отправился къ другому молодому человѣку, тоже изъ московскаго университета. Онъ служилъ свои *два губернскихъ* года, по новому положенію, въ канцеляріи губернатора и процадалъ отъ скуки.— «Хотите быть шаферомъ?»—У кого?—«У меня».—Какъ у васъ?—«Да, да, у меня».—Очень радъ! Когда?—«Сейчасъ».—Онъ думалъ, что я шучу, но когда я ему наскоро сказалъ, въ чемъ дѣло, онъ вспрыгнулъ отъ радости. Быть шаферомъ на тайной свадьбѣ, хлопотать, можетъ, попасть подъ слѣдствіе, и все это въ маленькомъ городѣ безъ всякихъ разсвѣній... Онъ тотчасъ обѣщалъ достать для меня карету, четверку лошадей и бросился къ комоду смотреть, есть ли чистый бѣлый жилетъ.

Ѣхавши отъ него, я встрѣтилъ моего улана, онъ везъ на колѣнахъ священника. Представьте себѣ пестраго, разнаряженнаго офицера на маленькихъ дрожкахъ съ дороднымъ попомъ, украшеннымъ большой, расчесанной бородой, въ шелковой рясѣ, которая цѣплялась за всѣ ненужности уланской сбруи. Одна эта сцена могла бы обратить на себя вниманіе не только улицы, идущей отъ владимірскихъ Золотыхъ Воротъ, но и парижскихъ бульваровъ или самой Режентъ-стритъ. А уланъ и не подумалъ объ этомъ, да и я подумалъ уже послѣ. Священникъ ходилъ по домамъ съ молебномъ, это былъ Николинъ день, и мой кавалеристъ на силу гдѣ-то его поймалъ и взялъ въ реквизицію. Мы поѣхали къ архіерею.

Для того, чтобъ понять, въ чемъ дѣло, надобно разсказать, какъ вообще архіерей могъ быть замѣшанъ въ него. За день до моего отъѣзда священникъ, согласившійся вѣнчать, вдругъ объявилъ, что безъ разрѣшенія архіерея онъ вѣнчать не станетъ, что онъ что-то слышалъ, что онъ боится. Сколько мы ни ораторствовали съ уланомъ, священникъ уперся и стоялъ на своемъ. Уланъ предложилъ попробовать ихъ полкового попа. Священникъ этотъ, бритый, стриженный, въ длинномъ, долгополомъ сюртукѣ, въ сапогахъ сверхъ штановъ, смиренно курившій изъ солдатской трубочки, хотя и былъ тронутъ нѣкоторыми подробностями нашего предложенія, но вѣнчать отказался, говоря, и притомъ на какомъ-то польско-бѣлорусскомъ нарѣчій, что имъ строго на строго заказано вѣнчать «цивильныхъ».—А намъ еще строже запрещено быть свидѣтелями и шаферами безъ позволенія, замѣтилъ ему офицеръ, а, вѣдь, вотъ я иду же.

— «Инное дѣло, предъ Іезусомъ инное дѣло».

— Смѣлымъ владѣеть Богъ, сказалъ я улану, я ѣду сейчасъ къ архіерею. Да кстати, зачѣмъ же вы не спросите позволенія?

— Ненужно. Полковникъ скажетъ женѣ, а та разболтаетъ. Да еще, пожалуй, онъ не позволитъ.

Владимірскій архіерей Парѣеній былъ умный, суровый и грубый старикъ; распорядительный и своеобразный, онъ равно могъ быть губернаторомъ или генераломъ, да еще я думаю генераломъ онъ былъ бы больше на мѣстѣ, чѣмъ монахомъ; но случилось иначе, и онъ управлялъ своей епархіей, какъ управлялъ бы дивизіей на Кавказѣ. Я въ немъ вообще замѣчалъ гораздо больше свойствъ администратора, чѣмъ живого мертвеца. Онъ, впрочемъ, былъ больше человѣкъ крутой, чѣмъ злой; какъ всѣ дѣловые люди, онъ понималъ вопросы быстро, рѣзко, и бѣсился, когда ему толковали вздоръ или не понимали его. Съ такими людьми вообще гораздо легче объясняться, чѣмъ съ людьми мягкими, но слабыми и нерѣшительными. По обыкновенію всѣхъ губернскихъ городовъ, я послѣ пріѣзда во Владиміръ зашелъ разъ послѣ обѣдни къ архіерею. Онъ радушно меня принялъ, благословилъ и потчивалъ семгой; потомъ пригласилъ когда-нибудь пріѣхать посидѣть вечеромъ, потолковать, говоря, что у него слабѣютъ глаза и онъ читать по вечерамъ не можетъ. Я былъ раза два-три; онъ говорилъ о литературѣ, зналъ всѣ новыя русскія книги, читалъ журналы; итакъ, мы съ нимъ были какъ нельзя лучше. Тѣмъ не менѣе не безъ страха постучался я въ его архипастырскую дверь.

День былъ жаркій. Преосвященный Парѣеній принялъ меня въ саду. Онъ сидѣлъ подъ большой тѣнистой липой, снявъ клубокъ и распустивъ свои сѣдые волосы. Передъ нимъ стоялъ безъ шляпы, на самомъ солнцѣ, статный, плѣшивый протопопъ и читалъ вслухъ какую-то бумагу; лицо его было багрово и крупныя капли пота выступали на лбу, онъ щурился отъ ослѣпительной бѣлизны бумаги, освѣщенной солнцемъ,—и ни онъ не смѣлъ подвинуться, ни архіерей ему не говорилъ, чтобъ онъ отошелъ.

— Садитесь, сказалъ онъ мнѣ, благословляя, мы сейчасъ кончимъ, это наши консисторскія дѣлишки. Читай, прибавилъ онъ протопопу, и тотъ, обтершись синимъ платкомъ и откашлянувъ въ сторону, снова принялся за чтеніе.

— Что скажете новаго? спросилъ меня Парѣеній, отдавая церо протопопу, который воспользовался сей вѣрной оказіей, чтобъ поцѣловать руку.

Я рассказалъ ему объ отказѣ священника.

— У васъ есть свидѣтельства?

Я показалъ губернаторское разрѣшеніе.

— Только-то?

— «Только». Пароеній улыбнулся.

— А со стороны невѣсты?

— «Есть метрическое свидѣтельство, его привезутъ въ день свадьбы».

— Когда свадьба?

— «Черезъ два дня».

— Что же вы нашли домъ?

— «Нѣтъ еще».

— Ну, вотъ видите, сказалъ мнѣ Пароеній, кладя палецъ за губу и растягивая себѣ ротъ, зацѣпивши имъ за щеку, одна изъ его любимыхъ игрушекъ. Вы человекъ умный и начитанный, ну, а стараго воробья на мякинѣ вамъ не провести. У васъ тутъ что-то неладно; такъ вы, коли уже пожаловали ко мнѣ, лучше расскажите мнѣ ваше дѣло по совѣсти, какъ на духу. Ну, я тогда прямо вамъ и скажу, что можно и чего нельзя, во всякомъ случаѣ совѣтъ дамъ не къ худу.

Мнѣ казалось мое дѣло такъ чисто и право, что я рассказалъ ему все, разумѣется, не вступая въ ненужныя подробности. Старикъ слушалъ внимательно и часто смотрѣлъ мнѣ въ глаза. Оказалось, что онъ давнишній знакомый съ княгиней и долею могъ, стало быть, самъ провѣрить истину моего рассказа.

— Понимаю, понимаю, сказалъ онъ, когда я кончилъ. Ну, дайте-ка, я напишу отъ себя письмо къ княгинѣ.

— «Будьте увѣрены, что всѣ мирныя средства ни къ чему не поведутъ: капризы, ожесточеніе, все это зашло слишкомъ далеко. Я вашему преосвященству все рассказалъ такъ, какъ вы желали; теперь я прибавлю: если вы мнѣ откажете въ помощи, я буду принужденъ тайкомъ, воровски, за деньги сдѣлать то, что дѣлаю теперь безъ шума, но прямо и открыто. Могу увѣрить васъ въ одномъ: ни тюрьма, ни новая ссылка меня не остановятъ».

— Видишь, сказалъ Пароеній, вставая и потягиваясь, приткой какой, тебѣ все еще мало Перми-то, не укатали крутыя горы. Что, я развѣ говорю, что запрещаю? Вѣнчайся себѣ, пожалуй, противузаконнаго ничего нѣтъ; но лучше бы было семейно, да кротко. Пришлите-ка ко мнѣ вашего попа, уломаю его какъ-нибудь; ну, только одно помните, безъ документовъ со стороны невѣсты и не пробуйте. Такъ «ни тюрьма, ни ссылка»—ишь какіе нынче, подумаешь, люди стали! Ну, Господь съ вами, въ добрый часъ, а съ княгиней-то вы меня поссорите.

Итакъ, въ нашъ заговоръ, сверхъ улана, вступилъ высокопреосвященный Пароеній, архіепископъ владимірскій и суздальскій.

Когда я предварительно просилъ у губернатора дозволеніе, я вовсе не представлялъ моего брака тайнымъ, это было вѣрнѣй-

шее средство, чтобъ никто не говорилъ, и чего же было естественное прїѣзда моей невѣсты во Владимірѣ, когда я былъ лишень права изъ него выѣхать. Тоже естественно было и то, что въ такомъ случаѣ мы желали вѣнчаться, какъ можно скромнѣе.

Когда мы съ священникомъ прїѣхали 9 мая къ архіерею, намъ послушникъ его объявилъ, что онъ съ утра уѣхалъ въ свой загородный домъ и до ночи не будетъ. Былъ уже восьмой часъ вечера, послѣ десяти вѣнчать нельзя, слѣдующій день была суббота. Что дѣлать? Священникъ трусилъ. Мы вошли къ іеромонаху, духовнику архіерея; монахъ пилъ чай съ ромомъ и былъ въ самомъ благодушномъ настроеніи. Я рассказалъ ему дѣло, онъ мнѣ налилъ чашку чая и настоятельно требовалъ, чтобъ я прибавилъ рому; потомъ онъ вынулъ огромныя серебряныя очки, прочиталъ свидѣтельство, повернулъ его, посмотрѣлъ съ той стороны, гдѣ ничего не было написано, сложилъ и, отдавая священнику, сказалъ: «Въ наилучшемъ порядкѣ». Священникъ все еще мялся. Я говорилъ отцу іеромонаху, что если я сегодня не обвѣнчаюсь, мнѣ будетъ страшное разстройство. «Что откладывать, сказалъ іеромонахъ, я доложу преосвященнѣйшему; повѣнчайте, отецъ Іоаннъ, повѣнчайте—во имя Отца и Сына и Святого Духа—аминь!» Попу нечего было говорить, онъ поѣхалъ писать обыскъ, я поскакалъ за Natalie.

... Когда мы выѣзжали изъ Золотыхъ Воротъ вдвоемъ, безъ чужихъ, солнце, до тѣхъ поръ закрытое облаками, ослѣпительно освѣтило насъ послѣдними, ярко-красными лучами, да такъ торжественно и радостно, что мы сказали въ одно слово: вотъ наши провожатые! Я помню ея улыбку при этихъ словахъ и пожатіе руки.

Маленькая ямская церковь, верстахъ въ трехъ отъ города, была пуста, не было ни пѣвчихъ, ни зажженныхъ паникадилъ. Человѣкъ пять простыхъ улановъ вошли мимоходомъ и вышли. Старый дьячекъ пѣлъ тихимъ и слабымъ голосомъ, Матвѣй со слезами радости смотрѣлъ на насъ, молодые шафера стояли за нами съ тяжелыми вѣнцами, которыми перевѣнчали всѣхъ владимірскихъ ямщиковъ. Дьячокъ подавалъ дрожащей рукой серебряный ковшъ единенія..., въ церкви становилось темно, только нѣсколько мѣстныхъ свѣчъ горѣло. Все это было или казалось намъ необыкновенно изящно, именно своей простотой. Архіерей проѣхалъ мимо и, увидя отворенныя двери въ церкви, остановился и послалъ спросить, что дѣлается; священникъ, нѣсколько поблѣднѣвшій, самъ вышелъ къ нему и черезъ минуту возвратился съ веселымъ видомъ и сказалъ намъ: «Высокопреосвященнѣйшій посылаетъ вамъ свое архипастырское благословеніе и велѣлъ сказать, что онъ молится о васъ».

Когда мы ѣхали домой, вѣсть о таинственномъ бракѣ разнеслась по городу, дамы ждали на балконахъ, окна были открыты; я опустилъ стекла въ каретѣ и нѣсколько досадовалъ, что сумерки мѣшали мнѣ показать «молодую».

Дома мы выпили съ шаферами и Матвѣемъ двѣ бутылки вина, шаферы посидѣли минутъ двадцать и мы остались одни, и намъ опять, какъ въ Перовѣ, это казалось такъ естественно, такъ просто, само собою понятно, что мы совсѣмъ не удивлялись, а потомъ мѣсяцы цѣлые не могли надивиться тому же.

У насъ было три комнаты, мы сѣли въ гостиной за небольшимъ столомъ и, забывая усталъ послѣднихъ дней, проговорили часть ночи...

Толпа чужихъ на брачномъ пирѣ мнѣ всегда казалась чѣмъ-то грубымъ, неприличнымъ, почти циническимъ; къ чему это преждевременное снятіе покрывала съ любви, это посвященіе людей постороннихъ, хладнокровныхъ въ семейную тайну. Какъ должны оскорблять бѣдную дѣвушку, выставленную всенародно въ качествѣ *невесты*, всѣ эти битыя привѣтствія, тертыя пошлости, тухлые намеки...; ни одно деликатное чувство не пощажено, роскошь брачнаго ложа, прелесть ночной одежды выставлены не только на удивленіе гостямъ, но всѣмъ празднующимся. А потомъ, первые дни начинающейся новой жизни, въ которыхъ дорога каждая минута, въ которые слѣдовало бы бѣжать куда-нибудь въ даль, въ уединеніе, проводятся за безконечными объѣдами, за утомительными балами, въ толпѣ, точно на смѣхъ.

На другой день утромъ мы нашли въ залѣ два куста розъ и огромный букетъ. Милая, добрая Юлія Ѳедоровна (жена губернатора), принимавшая горячее участіе въ нашемъ романѣ, прислала ихъ. Я обнялъ и расцѣловалъ губернаторскаго лакея и потомъ мы поѣхали къ ней самой. Такъ какъ приданое «молодой» состояло изъ двухъ платьевъ, одного дорожнаго и другого вѣнчальнаго, то она и отправилась въ вѣнчальномъ.

Отъ Юліи Ѳедоровны мы заѣхали къ архіерею; старикъ самъ повелъ насъ въ садъ, самъ нарѣзалъ букетъ цвѣтовъ, рассказалъ Natalie, какъ я его страдалъ своей собственной гибелью, и въ заключеніе совѣтовалъ заниматься хозяйствомъ. «Умѣете ли вы солить огурцы?» спросилъ онъ Natalie. «Умѣю», отвѣчала она, смѣясь.—«Охъ, плохо вѣрится. А, вѣдь, это необходимо».

Вечеромъ я написалъ письмо къ моему отцу. Я просилъ его не сердиться на конченное дѣло и, «такъ какъ Богъ соединилъ насъ», простить меня и присовокупить свое благословеніе. Отецъ мой обыкновенно писалъ мнѣ нѣсколько строкъ разъ въ недѣлю, онъ не ускорилъ ни однимъ днемъ отвѣта и не отдалилъ его, даже начало письма было какъ всегда: «Письмо твое, отъ 10 мая,

я третьяго дня въ пять часовъ съ половиною получилъ и изъ него не безъ огорченія узналъ, что Богъ тебя соединилъ съ Наташей. Я волѣ Божіей ни въ чемъ не перечу и слѣпо покоряюсь искушеніямъ, которыя онъ ниспосылаетъ на меня. Но такъ какъ деньги мои, а ты не счелъ нужнымъ сообразоваться съ моею волей, то и объявляю тебѣ, что я къ твоему прежнему окладу, тысячѣ рублей серебромъ въ годъ, не прибавлю ни копейки».

Какъ мы смѣялись отъ чистаго сердца этому раздѣлу духовной и свѣтской власти!

А куда какъ надобно было прибавить! Деньги, которыя я занялъ, выходили. У насъ не было ничего, да, вѣдь, рѣшительно ничего, ни одежды, ни бѣлья, ни посуды. Мы сидѣли подъ арестомъ въ маленькой квартирѣ, потому что не въ чемъ было выйти. Матвѣй, изъ экономическихъ видовъ, сдѣлалъ отчаянный опытъ превратиться въ повара, но кромѣ бифштекса и котлетъ онъ не умѣлъ ничего дѣлать и потому держался больше вещей по натурѣ готовыхъ: ветчины, соленой рыбы, молока, яицъ, сыру и какихъ-то пряниковъ съ мятой, необычайно твердыхъ и не первой молодости. Обѣдъ былъ для насъ безконечнымъ источникомъ смѣха: иногда молоко подавалось сначала, это значило супъ; иногда послѣ всего, вмѣсто десерта. За этими спартанскими трапезами мы вспоминали, улыбаясь, длинную процессію священнодѣйствія обѣденнаго стола у княгини и у моего отца, гдѣ полдюжина официантовъ бѣгали изъ угла въ уголъ съ чашками и блюдами, прикрывая торжественной *mise en scène* въ сущности очень незатѣйливый обѣдъ.

Такъ бѣдствовали мы и пробивались съ годъ времени. Химикъ прислалъ десять тысячъ асс., изъ нихъ больше шести надобно было отдать долгу, остальные сдѣлали большую помощь. Наконецъ, и отцу моему надоѣло брать насъ, какъ крѣпость, голодомъ, онъ, не прибавляя къ окладу, сталъ присылать денежные подарки, несмотря на то, что я ни разу не заикнулся о деньгахъ послѣ его знаменитаго *distinguo!*

Я принялся искать другую квартиру. За Лыбедью отдавался въ наймы запущенный, большой барскій домъ съ садомъ. Онъ принадлежалъ вдовѣ какого-то князя, проигравшагося въ карты, и отдавался особенно дешево оттого, что былъ далекъ, неудобенъ, а главное оттого, что княгиня выговаривала небольшую часть его, ничѣмъ неотдѣленную, для своего сына, баловня лѣтъ тридцати, и для его прислуги. Никто не соглашался на это черезполосное владѣніе; я тотчасъ согласился, меня прельстила вышина комнатъ, размѣръ оконъ и большой тѣнистый садъ. Но именно эта вышина и эти размѣры пресмѣшно противорѣчили совершенному отсутствію всякой движимой собственности, всѣхъ

вещей первой необходимости. Ключница княгини, добрая старушка, очень равнодушная къ Матвѣю, снабжала насъ на свой страхъ то скатертью, то чашками, то простынями, то вилками и ножами.

Какіе свѣтлые и безмятежные дни проводили мы въ маленькой квартирѣ въ три комнаты у Золотыхъ Воротъ и въ огромномъ домѣ княгини!.. Въ немъ была большая зала, едва меблированная; иногда насъ брало такое ребячество, что мы бѣгали по ней, прыгали по стульямъ, зажигали свѣчи во всѣхъ канделябрахъ, прибитыхъ къ стѣнѣ и, освѣтивъ залу а *giugno*, читали стихи. Матвѣй и горничная, молодая гречанка, участвовали во всемъ и дурачились не меньше насъ. Порядокъ «не торжествовалъ» въ нашемъ домѣ.

И со всѣмъ этимъ ребячествомъ, жизнь наша была полна глубокой серьезности. Заброшенные въ маленькомъ городкѣ, тихомъ и мирномъ, мы вполне были отданы другъ другу. Изрѣдка приходила вѣсть о комъ-нибудь изъ друзей, нѣсколько словъ горячей симпатіи, и потомъ опять одни, совершенно одни. Но въ этомъ одиночествѣ грудь наша не была замкнута счастьемъ, а, напротивъ, была больше чѣмъ когда-либо раскрыта всѣмъ интересамъ; мы много жили тогда и во всѣ стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы свѣряли наши думы и мечты и съ удивленіемъ видѣли, какъ бесконечно шло наше сочувствіе, какъ во всѣхъ тончайшихъ, пропажающихъ изгибахъ и развѣтвленіяхъ чувствъ и мыслей, вкусовъ и антипатій, все было родное, созвучное. Только въ томъ и была разница, что Natalie вносила въ нашъ союзъ элементъ тихій, кроткій, граціозный, элементъ молодой дѣвушки со всей поэзіей любящей женщины, а я — живую дѣятельность, мое *sempre in motu*, безпредѣльную любовь, да сверхъ того путаницу серьезныхъ идей, смѣха, *опасныхъ* мыслей и кучу несбыточныхъ проектовъ.

... «Мои желанія остановились. Мнѣ было довольно, я жилъ въ настоящемъ, ничего не ждалъ отъ завтрашняго дня, беззаботно вѣрилъ, что онъ и не возьметъ ничего. Личная жизнь не могла больше дать, это былъ предѣлъ; всякое измѣненіе должно было съ какой-нибудь стороны уменьшить его ¹⁾».

«Весною пріѣхалъ Огаревъ изъ своей ссылки на нѣсколько дней. Онъ былъ тогда во всей силѣ своего развитія; вскорѣ приходилось и ему пройти скорбнымъ испытаніемъ; минутами онъ

¹⁾ Здѣсь пропущены слѣдующія строки, напечатанныя въ «Пол. Зв.», Т. I, стр. 79: Но судьба не знаетъ ни въ чемъ мѣры: «Несчастія, говоритъ Гамлетъ, не ходятъ одни, а толпою», и счастье точно такъ же.

будто чувствовалъ, что бѣда возлѣ, но еще могъ отворачиваться и принимать за мечту занесенную руку судьбы. Я и самъ думалъ тогда, что эти тучи разнесутся; беззаботность свойственна всему молодому и не лишенному силъ, въ ней выражается довѣріе къ жизни, къ себѣ. Чувство полного обладанія своей судьбой усыпляетъ насъ..., а темныя силы, а черныя люди влекутъ, не говоря ни слова, на край пропасти.

«И хорошо, что человѣкъ или не подозрѣваетъ, или умѣетъ не видеть, забыть. Полного счастья нѣтъ съ тревогой; полное счастье покойно, какъ море во время лѣтней тишины. Тревога даетъ свое болѣзненное, лихорадочное упоеніе, которое нравится, какъ ожиданіе карты, но это далеко отъ чувства гармоническаго безконечнаго мира. А потому, сонъ или нѣтъ, но я ужасно высоко цѣню это довѣріе къ жизни, пока жизнь не возразила на него, не разбудила... Мрутъ же китайцы изъ-за грубаго упоенія опіумомъ...» ¹⁾.

Такъ оканчивалъ я эту главу въ 1853 году, такъ окончу ее и теперь.

ГЛАВА XXIV.

13 іюня 1839 года.

Разъ длиннымъ, зимнимъ вечеромъ въ концѣ 1838 сидѣли мы, какъ всегда, одни, читали и не читали, говорили и молчали и молча продолжали говорить. На дворѣ сильно морозило и въ комнатѣ было совсѣмъ не тепло. Наташа чувствовала себя нездоровой и лежала на диванѣ, покрывшись мантилей, я сидѣлъ возлѣ на полу; чтеніе не налаживалось, она была разсѣянна, думала о другомъ, ее что-то занимало, она мѣнялась въ лицѣ. «Александръ, сказала она, у меня есть тайна, поди сюда поближе, я тебѣ скажу на ухо, или нѣтъ, отгадай». Я отгадалъ, но потребовалъ, чтобъ она сказала ее, мнѣ хотѣлось слышать отъ нея эту

¹⁾ Здѣсь пропущены слѣдующія строки, напечатанныя въ «Пол. Звѣздѣ»: Трио наше представляло удивительное созвучіе. Тутъ нигдѣ не было границъ, предѣловъ, тѣхъ незамѣтныхъ противорѣчій, которыя въ сущности указываютъ на рубежъ и говорятъ «не далѣе». Мы были вполнѣ соединены и вполнѣ свободны

Тутъ оканчивается лирической отдѣль нашей жизни. Далѣе трудъ, успѣхи, встрѣчи, дѣятельность, широкій кругъ, далекій путь, инныя мѣста, перевороты, исторія... Далѣе дѣти, заботы, борьба... еще далѣе все гибнетъ... Съ одной стороны, могила, съ другой, одиночество и чужбина!

новость; она *сказали мнѣ*, и мы взглянули другъ на друга въ какомъ-то волненіи и со слезами на глазахъ.

... Какъ человѣческая грудь богата на ощущеніе счастья, на радость, лишь бы люди умѣли имъ отдаваться, не развлекаясь пустяками. Настоящему мѣшаетъ обыкновенно внѣшняя тревога, пустыя заботы, раздражительная строптивость, весь этотъ соръ, который къ полудню жизни наноситъ суета суетствъ и глупое устройство нашего обихода. Мы тратимъ, пропускаемъ сквозь пальцы лучшія минуты, какъ будто ихъ и не вѣсть сколько въ запасѣ. Мы обыкновенно думаемъ о завтрашнемъ днѣ, о будущемъ годѣ, въ то время, какъ надобно обѣими руками уцѣпиться за чашу, налитую черезъ край, которую протягиваетъ сама жизнь, не прошенная, съ обычной щедростью своей, и пить, и пить, пока чаша не перешла въ другія руки. Природа долго потчевать и предлагать не любитъ.

Что, кажется, можно было бы прибавить къ нашему счастью, а между тѣмъ вѣсть о будущемъ младенцѣ раскрыла новыя, со-всѣмъ невѣданныя нами области сердца, упоеній, тревогъ и надеждъ.

Нѣсколько испуганная и встревоженная любовь становится нѣжнѣе, заботливѣе ухаживаетъ, изъ эгоизма двухъ, она дѣлается не только эгоизмомъ трехъ, но самоотверженіемъ двухъ для третьяго; семья начинается съ дѣтей. Новый элементъ вступаетъ въ жизнь, какое-то таинственное лицо стучится въ нее, гость, который есть и котораго нѣтъ, но который уже необходимъ, котораго страстно ждутъ. Кто онъ? Никто не знаетъ, но кто бы онъ ни былъ, онъ счастливый незнакомецъ, съ какой любовью его встрѣчаютъ у порога жизни!

А тутъ мучительное безпокойство: родится ли онъ живымъ, или нѣтъ? Столько несчастныхъ случаевъ. Докторъ улыбается на вопросы: «онъ ничего не смыслить или не хочетъ говорить»; отъ постороннихъ все еще скрыто; не у кого спросить, да и со-вѣстно.

Но вотъ младенецъ подаетъ знаки жизни, я не знаю выше и религіознѣе чувства, какъ то, которое наполняетъ душу при ося-заніи первыхъ движеній будущей жизни, рвущейся наружу, рас-правляющей свои не готовые мышцы; это первое рукоположеніе, которымъ отецъ благословляетъ на бытіе грядущаго пришельца и уступаетъ ему долю своей жизни.

«Моя жена, сказалъ мнѣ разъ одинъ французскій буржуа, моя жена—онъ осмотрѣлся, и видя, что ни дамъ, ни дѣтей нѣтъ, прибавилъ въ полслуха—беременна».

Дѣйствительно, путаница всѣхъ нравственныхъ понятій та-кова, что беременность считается чѣмъ-то неприличнымъ; требуя

отъ человѣка безусловнаго уваженія къ матери, какова бы она ни была, завѣшивають тайну рожденія не изъ чувства уваженія, внутренней скромности, а изъ приличія. Все это идеальное распутство, монашескій развратъ, проклятое закланіе плоти; все это несчастный дуализмъ, въ которомъ насъ тянутъ, какъ магдебургскія полушарія, въ двѣ разныя стороны. Жанъ Деруанъ, несмотря на свой социализмъ, намекаетъ въ *Almanach des femmes*, что со временемъ дѣти будутъ родиться иначе. Какъ иначе?—Такъ, какъ ангелы родятся.—Ну, оно и ясно.

Честь и слава нашему учителю, старому реалисту Гёте, онъ осмѣлился рядомъ съ непорочными дѣвами романтизма поставить беременную женщину и не побоялся своими могучими стихами изваять измѣнившуюся форму *будущей* матери, сравнивая ее съ гибкими членами будущей женщины.

Дѣйствительно, женщина, несущая вмѣстѣ съ памятью былого упоенія весь крестъ любви, все бремя ея, жертвующая красотой, временемъ, страданіемъ, питающая своею грудью, — одинъ изъ самыхъ изящныхъ и трогательныхъ образовъ.

Въ римскихъ элегіяхъ, въ Ткачихѣ, въ Гретхенъ и ея отчаянной молитвѣ, Гёте выразилъ все торжественное, чѣмъ природа окружаетъ созрѣвающій плодъ, и всѣ тернія, которыми вѣнчается общество этотъ сосудъ будущаго.

Бѣдныя матери, скрывающія, какъ позоръ, слѣды любви, какъ грубо и безжалостно гонить ихъ міръ, и гонить въ то время, когда женщинѣ такъ нуженъ покой и привѣтъ, дико отравляя ей тѣ незамѣнимыя минуты полноты, въ которыя жизнь, слабѣя, склоняется подъ избыткомъ счастья...

...Съ ужасомъ открывается мало-по-малу тайна, несчастная мать сперва старается убѣдиться, что ей только показалось, но вскорѣ сомнѣніе невозможно; отчаяніемъ и слезами сопровождаетъ она всякое движеніе младенца, она хотѣла бы остановить тайную работу жизни, вести ее назадъ, она ждетъ несчастья, какъ милосердія, какъ прощенія,—а неотвратимая природа идетъ своимъ путемъ; она здорова, молода!

Заставить, чтобъ мать *желала* смерти своего ребенка, а иногда и больше, сдѣлать изъ нея его палача, а потомъ ее казнить нашимъ палачемъ, или покрыть ее позоромъ, если сердце женщины возьметъ верхъ,—какое умное и нравственное устройство!

И кто взвѣсилъ, кто подумалъ о томъ, что и что было въ этомъ сердцѣ, пока мать переходила страшную тропу отъ любви до страха, отъ страха до отчаянія, отъ отчаянія до преступленія, до безумія, потому что дѣтоубійство есть физиологическая нелѣпость. Вѣдь, были же и у нея минуты забвенія, въ которыя она страстно любила своего будущаго малютку, и тѣмъ больше, что

его существованіе была тайна между ними двумя; было же время, въ которое она мечтала объ его маленькой ножкѣ, объ его молочной улыбкѣ, цѣловала его во снѣ, находила въ немъ сходство съ кѣмъ-то, который былъ ей такъ дорогъ...

«Да чувствуюте ли онѣ это? Конечно, есть несчастныя жертвы... но... но другія, но вообще?»

Мудрено, кажется, пасть далѣе этихъ летучихъ мышей, шныряющихъ въ ночное время, середѣ тумана и слякоти, по лондонскимъ улицамъ, этихъ жертвъ неразвитія, бѣдности и голода, которыми общество обороняетъ честныхъ женщинъ отъ излишней страстности ихъ поклонниковъ... Конечно, въ нихъ всего труднѣе предположить слѣдъ материнскихъ чувствъ. Не правда ли?

Позвольте же мнѣ рассказать вамъ небольшое происшествіе, случившееся со мною. Года три тому назадъ я встрѣтился съ одной красивой и молодой дѣвушкой. Она принадлежала къ почетному гражданству разврата, т. е. не «дѣлала» демократически «тротуаръ», а буржуазно жила на содержаніи у какого-то купца. Это было на публичномъ балѣ; пріятель, бывший со мною, зналъ ее и пригласилъ выпить съ нами на хорахъ бутылку вина, она, разумѣется, приняла приглашеніе. Это было существо веселое, беззаботное и навѣрное, какъ Лаура въ «Каменномъ гостѣ» Пушкина, никогда не заботившаяся о томъ, что тамъ, гдѣ-то далеко, въ Парижѣ, холодно, слушая, какъ сторожъ въ Мадридѣ кричитъ «ясно»... Довивши послѣдній бокаль, она снова бросилась въ тяжелый вихрь англійскихъ танцевъ, и я потерялъ ее изъ виду.

Нынѣшней зимой, въ ненастный вечеръ, я пробирался черезъ улицу подъ аркаду въ Пель-Мель, спасаясь отъ усилившагося дождя; подъ фонаремъ за аркой стояла, вѣроятно ожидая добычи и дрожа отъ холода, бѣдно одѣтая женщина. Черты ея показались мнѣ знакомыми, она взглянула на меня, отвернулась и хотѣла спрятаться, но я успѣлъ узнать ее.—«Что съ вами сдѣлалось?» спросилъ я ее съ участіемъ. Яркій пурпуръ покрывалъ ея исхудалыя щеки, стыдъ ли это былъ, или чахотка, не знаю, только казалось не румяны; она въ два года съ половиной состарѣлась на десять.

— Я была долго больна и очень несчастна; она съ видомъ сильной горести указала мнѣ взглядомъ на свое изношенное платьѣ.

— «Да гдѣ же вашъ другъ?»

— Убить въ Крыму.

— «Да, вѣдь, онъ былъ какой-то купецъ?»

Она смѣшалась и вмѣсто отвѣта сказала: — Я и теперь еще очень больна, да къ тому же работы совсѣмъ нѣтъ. А что? я очень перемѣнилась? спросила она, вдругъ съ смущеніемъ глядя на меня.

— «Очень; тогда вы были похожи на дѣвочку, а теперь я готовъ держать пари, что у васъ есть свои дѣти».

Она побагровѣла, и съ какимъ-то ужасомъ спросила:—Отчего же вы это узнали?

— «Да, видите, узналъ. Теперь расскажите-ка мнѣ, что съ вами въ самомъ дѣлѣ было?»

— Ничего, ну, только вы правы, у меня есть маленькой... Если-бъ вы знали—и при этихъ словахъ лицо ея оживилось—какой славный, какъ онъ хорошъ, даже сосѣди, всѣ удивляются ему. А тотъ-то женился на богатой и уѣхалъ на материкъ. Малютка родился послѣ. Онъ-то и причина моему положенію. Сначала были деньги, я всего накупила ему въ самыхъ большихъ магазиновъ, а тутъ пошло хуже да хуже, я все снесла «на крючекъ»; мнѣ совѣтовали отдать малютку въ деревню, оно точно было бы лучше,—да не могу; я посмотрю на него, посмотрю,—нѣтъ, лучше вмѣстѣ умирать; хотѣла мѣста искать, съ ребенкомъ не берутъ. Я воротилась къ матери, она ничего, добрая, простила меня, любить маленькаго, ласкаетъ его, да вотъ пятый мѣсяць, какъ отнялись ноги; что доктору переплатили и въ аптеку, а тутъ, сами знаете, нынѣшній годъ уголь, хлѣбъ, все дорого; приходится умирать съ голоду. Вотъ я—она приостановилась,—вѣдь, конечно, лучше-бъ броситься въ Темзу, чѣмъ... да малютку-то жаль, на кого же я его оставляю, вѣдь, ужъ онъ очень, очень милъ!

Я далъ ей что-то и, сверхъ того, вынулъ шиллингъ и сказалъ:

— «А на это купите что-нибудь вашему малюткѣ». Она съ радостью взяла монету, подержала ее въ рукѣ и вдругъ, отдавая мнѣ ее назадъ, прибавила съ печальной улыбкой:

— Ужъ если вы такъ добры, купите ему тутъ гдѣ-нибудь въ лавкѣ сами что-нибудь, игрушку какую-нибудь; вѣдь, этому бѣдному малюткѣ, съ тѣхъ поръ какъ онъ родился, никто еще не подарилъ ничего.

Я съ умиленіемъ взглянулъ на эту *потерянную* женщину и дружески пожалъ ей руку.

Охотники до реабилитаціи всѣхъ этихъ дамъ съ камеліями и съ жемчугами лучше бы сдѣлали, если-бъ оставили въ покоѣ бархатныя мебели и будуары рококо и взглянули бы поближе на несчастный, забнуцій, голодный развратъ, развратъ роковой, который насильно влечетъ свою жертву по пути гибели и не даетъ ни опомниться, ни раскаяться. Ветошники чаще въ уличныхъ канавахъ находятъ драгоценныя камни, чѣмъ подбирая блески мишурнаго платья.

Это мнѣ напомнило бѣднаго, умнаго переводчика Фауста, Жераръ-де-Нерваля, который застрѣлился въ прошломъ году. Онъ въ послѣднее время, дней по пяти, по шести не бывалъ дома.

Открыли, наконецъ, что онъ проводитъ время въ самыхъ черныхъ харчевняхъ возлѣ заставъ, въ родѣ Поль Нике, что онъ тамъ перезнакомился съ ворами и со всякой сволочью, поить ихъ, играетъ съ ними въ карты и иногда спитъ подъ ихъ защитой. Его прежніе пріатели стали его уговаривать, стыдить. Нерваль добродушно защищаясь, разъ сказалъ имъ: «Послушайте, друзья мои, у васъ страшные предрасудки; увѣряю васъ, что общество этихъ людей вовсе не хуже всѣхъ остальныхъ, въ которыхъ я бывалъ». Его подозрѣвали въ сумасшествіи; послѣ этого, я думаю, подозрѣніе перешло въ достовѣрность!

...Роковой день приближался, все становилось страшнѣе и страшнѣе. Я смотрѣлъ на доктора и на таинственное лицо бабушки съ подобострастіемъ. Ни Наташа, ни я, ни наша молодая горничная не смыслили ничего; по счастью, къ намъ изъ Москвы пріѣхала, по просьбѣ моего отца, на это время одна пожилая дама, умная, практическая и распорядительная. Прасковья Андреевна, видя нашу беспомощность, взяла самодержавно бразды правленія; я повиновался, какъ негръ.

Разъ ночью слышу, чья-то рука коснулась меня, открываю глаза, Прасковья Андреевна стоитъ передо мной, въ ночномъ чепцѣ и кофтѣ, со свѣчей въ рукахъ, она велитъ послать за докторомъ и за бабушкой. Я обмеръ, точно будто эта новость была для меня совсѣмъ неожиданна. Такъ бы, кажется, выпилъ опиума, повернулся бы на другой бокъ и проспалъ бы опасность..., но дѣлать было нечего, я одѣлся дрожащими руками и бросился будить Матвѣя.

Десять разъ выбѣгалъ я въ сѣни изъ спальни, чтобъ при-слушаться, не ѣдетъ ли издали экипажъ: все было тихо, едва-едва утренній вѣтеръ шелестилъ въ саду, въ тепломъ іюньскомъ воздухѣ; птицы начинали пѣть, алая заря слегка подкрашивала листь, и я снова торопился въ спальню, теребилъ добрую Прасковью Андреевну глупыми вопросами, судорожно жалъ руки Наташѣ, не зналъ, что дѣлать, дрожалъ и былъ въ жару., но вотъ дрожки простучали по мосту черезъ Лыбедь, — слава Богу во время!

Въ одиннадцать часовъ утра я вздрогнулъ какъ отъ сильнаго электрическаго удара, громкій крикъ новорожденнаго коснулся моего уха. «Мальчикъ!» кричала мнѣ Прасковья Андреевна, идучи къ корыту; я хотѣлъ было взять младенца съ подушки, но не могъ, такъ дрожали у меня руки. Мысль объ опасности (которая часто тутъ только начинается), сжимавшая грудь, разомъ исчезла, буйная радость овладѣла сердцемъ, будто въ немъ звонъ во всѣ колокола, праздниковъ праздникъ! Наташа улыбалась мнѣ, улыбалась малюткѣ, плакала, смѣялась, и только перерывающееся,

спазматическое дыханье, слабые глаза и смертная блѣдность напоминали о недавнемъ мученіи, о вынесенной борьбѣ.

Потомъ я оставилъ комнату, я не могъ больше вынести, взошелъ къ себѣ и бросился на диванъ, совершенно обезсиленный, и съ полчаса пролежалъ безъ опредѣленной мысли, безъ опредѣленнаго чувства, въ какой-то боли счастья.

Это измученно-восторженное лицо, эту радость, летающую вмѣстѣ съ началомъ смерти около юнаго чела родильницы, я узналъ потомъ въ Ванъ-Дейковой мадоннѣ въ Римской галлерей Корсини. Младенецъ только-что родился, его подносятъ къ матери: изнеможенная, безъ кровинки въ лицѣ, слабая и томная, она улыбулась и остановила на малюткѣ взглядъ усталый и исполненный безконечной любви.

Когда я писалъ эту часть *Былого и Думъ*, у меня не было нашей прежней переписки. Я ее получилъ въ 1856 году. Мнѣ пришлось, перечитывая ее, поправить два, три мѣста—не больше. Память тутъ мнѣ не измѣнила. Хотѣлось бы мнѣ приложить нѣсколько писемъ Natalie, и съ тѣмъ вмѣстѣ какой-то страхъ останавливаетъ меня и я не рѣшилъ вопросъ, слѣдуетъ ли еще дальше разоблачать жизнь и не встрѣтять ли строки, дорогія мнѣ, холодную улыбку?

Въ бумагахъ Natalie я нашелъ свои записки, писанныя долею до тюрьмы, долею изъ Крутиць. Нѣсколько изъ нихъ я прилагаю къ этой части. Можетъ, онѣ не покажутся лишними для людей, любящихъ слѣдить за всходами личныхъ судебъ, можетъ, они прочтутъ ихъ съ тѣмъ нервнымъ любопытствомъ, съ которымъ мы смотримъ въ микроскопъ на живое развитіе организма.

1 ¹).

15 августа, 1832.

Любезная Наталья Александровна!

Сегодня день вашего рожденія, съ величайшимъ желаніемъ хотѣлось бы мнѣ поздравить васъ лично, но ей-Богу, нѣтъ никакой возможности. Я виноватъ, что давно не былъ, но обстоятельства совершенно не позволили мнѣ по желанію расположить временемъ. Надѣюсь, что вы простите мнѣ и желаю вамъ полного развитія всѣхъ вашихъ талантовъ и всего запаса счастья, которымъ надѣляется судьба души чистой.

Преданный вамъ А. Г.

¹) Записочки эти сохранились у Natalie, на многихъ написано ею нѣсколько словъ карандашемъ. Ни одного письма изъ писанныхъ ею въ тюрьму не могло у меня уцѣлѣть. Я ихъ долженъ былъ тотчасъ уничтожать.

2.

5 или 6 июля, 1833.

Напрасно, Наталья Александровна, напрасно вы думаете, что я ограничусь однимъ письмомъ, — вотъ вамъ и другое. Чрезвычайно пріятно писать къ особамъ, съ которыми есть сочувствіе, ихъ такъ мало, такъ мало, что и дести бумаги не изведешь въ годъ.

Я кандидатъ, это правда, но золотую медаль дали не мнѣ. Мнѣ серебряная медаль—*одна изъ трехъ!*

А. Г.

Р. С. Сегодня актъ, но я не былъ, ибо не хочу быть вторымъ при полученіи награды.

3.

(Въ началѣ 1834).

Natalie! Мы ждемъ васъ съ нетерпѣніемъ къ намъ. М. надеется, что, несмотря на вчерашнія угрозы Е. И., и Эмилія Михайловна навѣрное будетъ къ намъ. Итакъ, до свиданья.

Весь вашъ А. Г.

4.

10 декабря, 1834. Крутицкія казармы.

Сейчасъ написалъ я къ полковнику письмо, въ которомъ просилъ о пропускѣ *тебѣ*, отвѣта еще нѣтъ. У васъ это труднѣе будетъ обдѣлать, я полагаюсь на маменьку. Тебѣ счастье насчетъ меня, ты была послѣдній изъ моихъ друзей, котораго я видѣлъ передъ взятіемъ (мы разстались съ твердой надеждой увидѣться скоро, въ десятомъ часу, а въ два я уже сидѣлъ въ части) и ты первая опять меня увидишь. Зная тебя, я знаю, что это доставитъ тебѣ удовольствіе, будь увѣрена, что и мнѣ также. Ты для меня родная сестра.

О себѣ много мнѣ нечего говорить, я обжился, привыкъ быть колодникомъ; самое грозное для меня это разлука съ Огаревымъ, онъ мнѣ необходимъ. Я его ни разу не видалъ — то есть порядно; но однажды я сидѣлъ одинъ въ горницѣ (въ комиссіи), допросъ кончился, изъ моего окна видны были освѣщенныя сѣни; подали дрожки, я бросился инстинктивно къ окну, отворилъ форточку и видѣлъ, какъ сѣли плацъ-адъютантъ и съ нимъ Огаревъ, дрожки укатились и ему нельзя было меня замѣтить. Неужели намъ суждена гибель, нѣмая, глухая, о которой никто не узнаетъ? Зачѣмъ же природа дала намъ души, стремящіяся къ дѣятельности, къ славѣ? Неужели это насмѣшка? Но нѣтъ, здѣсь,

въ душѣ горить вѣра—сильная, живая. Есть Провидѣніе! Я читаю съ восторгомъ Четь-Миней,—вотъ примѣры самоотверженія, вотъ были люди!

Отвѣтъ получилъ, онъ не весель: позволеніе пропустить не даютъ.

Прощай, помни и люби твоего брата.

5.

31 декабря, 1834.

Никогда не возьму я на себя той отвѣтственности, которую ты мнѣ даешь, никогда! У тебя есть много *своего*, зачѣмъ же ты такъ отдаешься въ волю мою? Я хочу, чтобъ ты сдѣлала *изъ себя то, что можешь изъ себя сдѣлать*, съ своей стороны, я берусь способствовать этому развитію, отнимать преграды.

Что касается до твоего положенія, оно не такъ дурно для твоего развитія, какъ ты воображаешь. Ты имѣешь большой шагъ надъ многими; ты, когда начала понимать себя, очутилась одна, одна во всемъ свѣтѣ. Другіе знали любовь отца и нѣжность матери,—у тебя ихъ не было. Никто не хотѣлъ тобою заняться, ты была оставлена себѣ. Что же можетъ быть лучше для развитія? Благодаря судьбу, что тобою никто не занимался, они тебѣ навѣяли бы чужаго, они согнули бы ребяческую душу,—теперь это поздно.

6.

8 февраля, 1835, Крутицкія казармы.

У тебя, говорятъ, мысль идти въ монастырь; не жди отъ меня улыбки при этой мысли, я понимаю ее, но ее надобно взвѣсить очень и очень. Неужели мысль любви не волновала твою грудь! Монастырь—отчаяніе, теперь нѣтъ монастырей для молитвы. Развѣ ты сомнѣваешься, что встрѣтишь человѣка, который тебя будетъ любить, котораго ты будешь любить? Я съ радостью сожму его руку и твою. Онъ будетъ счастливъ. Ежели же этотъ онъ не явится,—иди въ монастырь, это въ миллионъ разъ лучше пошлаго замужества.

Я понимаю *le ton d'exaltation* твоихъ записокъ, — *ты влюблена!* Если ты мнѣ напишешь, что любишь серьезно, я умолкну,—тутъ оканчивается власть брата. Но слова эти мнѣ надобно, чтобъ ты сказала. Знаешь ли ты, что такое обыкновенные люди? Они, правда, могутъ составить счастье,—но твое ли счастье, Наташа? Ты слишкомъ мало цѣнишь себя! Лучше въ монастырь, чѣмъ въ толпу. Помни одно, что я говорю это, потому что я твой братъ, *потому что я гордъ за тебя и тобою!*

Отъ Огарева получилъ еще письмо, вотъ выписка:

«L'autre jour donc je repassais dans ma mémoire toute ma vie. Un bonheur, qui ne m'a jamais trahi, c'est ton amitié. De toutes mes passions une seule, qui est restée intacte, c'est mon amitié pour toi, car mon amitié est une passion».

... Въ заключеніе еще слово. Если онъ тебя любитъ, что же тутъ мудренаго? Что же бы онъ былъ, если-бъ не любилъ, видя тѣнь вниманія? Но я умоляю тебя, не говори ему о своей любви— долго, долго.

Прощай, твой братъ,
Александръ.

7.

Какихъ чудесъ на свѣтѣ не видится, Natalie! Я прежде, чѣмъ получилъ послѣднюю твою записку, отвѣчалъ тебѣ на всѣ вопросы. Я слышалъ, ты больна, грустна. Береги себя, пей съ твердостью не столько горькую, сколько отвратительную чашу, которую наполняютъ тебѣ *благодѣтельные* люди.

И вслѣдъ затѣмъ на другомъ листочкѣ:

Наташа, другъ мой, сестра, ради Бога не унывай, презирай этихъ гнусныхъ эгоистовъ, ты слишкомъ снисходительна къ нимъ, презирай ихъ всѣхъ,—они мерзавцы! Ужасная была для меня минута, когда я читалъ твою записку къ Emilie. Боже, въ какомъ я положеніи,—ну, что я могу сдѣлать для тебя? Клянусь, что ни одинъ братъ не любитъ болѣе сестру, какъ я тебя, — но что я могу сдѣлать?

Я получилъ твою записку и доволенъ тобою. Забудь его, коли такъ, это былъ опытъ, а ежели-бъ любовь въ самомъ дѣлѣ, то она не такъ бы выразилась.

8.

2 апрѣля, Крутицкія казармы.

По клочкамъ изодрано мое сердце, во все время тюрьмы я не былъ до того задавленъ, стѣсненъ, какъ теперь. Не ссылка этому причиною. Что мнѣ Пермь или Москва, и Москва—Пермь! Слушай все до конца.

31 марта потребовали насъ слушать сентенцію. Торжественный день. Тамъ соединили 20 человѣкъ, которые должны прямо оттуда быть разбросаны одни по каземагамъ крѣпостей, другіе по дальнимъ городамъ, — всѣ они провели девять мѣсяцевъ въ неволѣ. Шумно, весело сидѣли эти люди въ большой залѣ. Когда я пришелъ, Соколовскій, съ усами и бородою, бросился мнѣ на

шею, а тутъ С.; уже долго послѣ меня привезли Огарева, все высыпало встрѣтить его. Со слезами и улыбкой обнялись мы. Все воскресло въ моей душѣ, я жилъ, я *былъ юноша*, я жалъ всѣмъ руку,—словомъ, это одна изъ счастливейшихъ минутъ жизни, ни одной мрачной мысли. Наконецъ, намъ прочли приговоръ ¹⁾).

... Все было хорошо, но вчерашній день,—да будетъ онъ проклятъ!—сломилъ меня до послѣдней жилы. Со мною содержится Оболенскій. Когда намъ прочли сентенцію, я спросилъ дозволенія у Цинскаго намъ видѣться,—мнѣ позволили. Возвратившись, я отправился къ нему, между тѣмъ объ этомъ дозволеніи забыли сказать полковнику. На другой день мерзавецъ офицеръ С. донесъ полковнику, и я такимъ образомъ замѣшалъ трехъ лучшихъ офицеровъ, которые мнѣ дѣлали Богъ знаетъ сколько одолженій; всѣ они имѣли выговоръ и всѣ наказаны, и теперь должны, не смѣняясь, дежурить три недѣли (а тутъ святая). Я грызъ себѣ пальцы, плакалъ, бѣсился, и первая мысль, пришедшая мнѣ въ голову, было мщеніе. Я рассказалъ про офицера вещи, которыя могутъ погубить его (онъ заѣзжалъ куда-то съ арестантомъ), и вспомнилъ, что онъ бѣдный человѣкъ и отецъ семи дѣтей; но должно-ль падать фискала, развѣ онъ щадилъ другихъ?

9.

10 апрѣля, 1835, 9 часовъ.

За нѣсколько часовъ до отъѣзда я еще пишу и пишу къ тебѣ,—къ тебѣ будетъ послѣдній звукъ отъѣзжающаго. Тяжело чувство разлуки и разлуки невольной, но такова судьба, которой я отдался, она влечетъ меня и я покоряюсь. Когда жъ мы увидимся? Гдѣ? Все это темно, но ярко воспоминаніе твоей дружбы, изгнанникъ никогда не забудетъ свою прелестную сестру.

Можетъ быть... но окончить нельзя, за мной пришли. Итакъ, прощай надолго, но, ей-Богу, не навсегда, я не могу думать сего.

Все это писано при жандармакъ.

На этой запискѣ видны слѣды слезъ и слово «можетъ быть» подчеркнуто два раза ею. Natalie эту записку носила съ собой нѣсколько мѣсяцевъ.

¹⁾ Пропускаю его.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

МОСКВА, ПЕТЕРБУРГЪ И НОВГОРОДЪ.

(1840—1847).

ГЛАВА XXV.

Диссонансъ.—Новый кругъ.—Отчаянный гегелизмъ.—В. Бѣлинскій, М. Бакунинъ и пр.—Ссора съ Бѣлинскимъ и миръ.—Новгородскіе споры съ дамой.—Кругъ Станкевича.

Въ началѣ 1840 ¹⁾ года разстались мы съ Владиміромъ, съ бѣдной узенькой Клязьмой. Я покидалъ нашъ вѣнчальный городокъ съ щемящемъ сердцемъ и страхомъ; я предвидѣлъ, что той простой, глубокой, внутренней жизни не будетъ больше и что придется подвязать много парусовъ.

Не повторятся больше наши долгія, одинокія прогулки за городомъ, гдѣ, потерянные между луговъ, мы такъ ясно чувствовали и весну природы, и нашу весну...

Не повторятся зимніе вечера, въ которые, сидя близко другъ къ другу, мы закрывали книгу и слушали скрипъ пошевной и звонъ бубенчиковъ, напоминавшій намъ то 3 марта 1838, то нашу поѣздку 9 мая...

Не повторятся!

...Насколько ладовъ и какъ давно люди знаютъ и твердятъ, что «жизни май цвѣтетъ одинъ разъ и не больше», а все же іюнь совершеннолѣтія, съ своей страдной работой, съ своимъ щербнемъ на дорогѣ, беретъ человѣка врасплохъ. Юность невнимательно несетъ къ какой-то алгебрѣ идей, чувствъ и стремлений, частное мало занимаетъ, мало бьетъ, а тутъ любовь, найдено неизвѣстное, все свелось на одно лицо, прошло черезъ него, имъ ста-

¹⁾ Въ «Пол. Зв.». Т. I, стр. 82, напечатано 1839 г.

новится всеобщее дорого, имъ изящное красиво, постороннее и тутъ не бьетъ, они даны другъ другу, кругомъ хоть трава не расти!

А она растеть себѣ съ крапивою и репейникомъ, и рано или поздно начинаетъ жечь и цѣпляться.

Мы знали, что Владимира съ собой не увеземъ, а все же думали, что май еще не прошелъ. Мнѣ казалось даже, что, возвращаясь въ Москву, я снова возвращаюсь въ университетскій періодъ. Вся обстановка поддерживала меня въ этомъ. Тотъ же домъ, та же мебель,—вотъ комната, гдѣ, запершись съ Огаревымъ, мы конспирисовали въ двухъ шагахъ отъ Сенатора и моего отца, да зотъ и онъ самъ, мой отецъ, состарѣвшійся и сгорбившійся, но такъ же готовый меня журить за то, что поздно воротился домой. «Кто-то завтра читаетъ лекціи? когда репетиція? Изъ университета зайду къ Огареву»... Это 1833 годъ!

Огаревъ въ самомъ дѣлѣ былъ налицо.

Ему былъ разрѣшенъ вѣздъ въ Москву за нѣсколько мѣсяцевъ прежде меня. Домъ его снова сдѣлался средоточіемъ, въ которомъ встрѣчались старые и новые друзья. И, несмотря на то, что прежняго единства не было, все симпатично окружало его.

Огаревъ, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, былъ одаренъ особой магнитностью, женственной способностью притяженія. Безъ всякой видимой причины, къ такимъ людямъ льнуть, пристають другіе; они согрѣваютъ, связуютъ, успокоиваютъ ихъ, они *открытый столъ*, за который садится каждый, возобновляетъ силы, отдыхаетъ, становится бодрѣе, покойнѣе, и идетъ прочь — другомъ.

Знакомые поглощали у него много времени, онъ страдалъ отъ этого иногда, но дверей своихъ не запиралъ, а встрѣчалъ cadaго кроткой улыбкой. Многіе находили въ этомъ большую слабость; да, время уходило, терялось, но приобрѣталась любовь не только близкихъ людей, но постороннихъ, слабыхъ; вѣдь, и это стоитъ чтенія и другихъ занятій!

Я никогда толкомъ не могъ понять, какъ это обвиняють людей, въ родѣ Огарева, въ праздности. Точка зрѣнія фабрикъ и рабочихъ домовъ врядъ ли идетъ сюда. Помню я, что еще во времена студентскія, мы разъ сидѣли съ Вадимомъ за рейнвейномъ, онъ становился мрачнѣе и мрачнѣе, и вдругъ, со слезами на глазахъ, повторилъ слова Донъ-Карлоса, повторившаго въ свою очередь слова Юлія Цезаря: «Двадцать три года, и ничего не сдѣлано для безсмертія!» Его это такъ огорчило, что онъ изо всей силы ударилъ ладонью по зеленой рюмкѣ и глубоко разрѣзалъ себѣ руку. Все это такъ, но ни Цезарь, ни Донъ-Карлосъ съ Позой, ни мы съ Вадимомъ не объяснили, для чего же нужно что-нибудь дѣлать для *безсмертія*? Есть дѣло, надобно его и сдѣлать,

а какъ же это дѣлать для дѣла или въ знакъ памяти роду человѣческому?

Все это что-то смутно; да и что такое дѣло?

Дѣло, business... Чиновники знаютъ только гражданскія и уголовныя дѣла, купецъ считаетъ дѣломъ одну торговлю, военные называютъ дѣломъ шагать по журавлиному и вооружаться съ ногъ до головы въ мирное время. По моему, служить связью, центромъ цѣлаго круга людей—огромное дѣло, особенно въ обществѣ разобщенномъ и скованномъ. Меня никто не упрекалъ въ праздности, кое-что изъ сдѣланнаго мною правилось многимъ; а знаютъ ли, сколько во всемъ, сдѣланномъ мною, отразились наши бесѣды, наши споры, ночи, которыя мы праздно бродили по улицамъ и полямъ, или еще болѣе *праздно* проводили за бокаломъ вина.

... Но вскорѣ потянулъ и въ этой средѣ воздухъ, напомнившій, что весна прошла. Когда улеглась радость свиданій и миновались пиры, когда главное было пересказано и приходилось продолжать путь, мы увидѣли, что той беззаботной, свѣтлой жизни, которую мы искали по воспоминаніямъ, нѣтъ больше въ нашемъ кругѣ и особенно въ домѣ Огарева. Шумѣли друзья, кипѣли споры, лилось иногда вино,—но не весело, не такъ весело, какъ прежде. У всѣхъ была задняя мысль, недомолвка; чувствовалась какая-то натяжка; печально смотрѣлъ Огаревъ, и К. зловъще поднималъ брови. Посторонняя нота звучала въ нашемъ аккордѣ вопіющимъ диссонансомъ; всей теплоты, всей дружбы Огарева не доставало, чтобъ заглушить ее.

То, чего я опасался за годъ передъ тѣмъ, то случилось, и хуже, чѣмъ я думалъ.

Отецъ Огарева умеръ въ 1838; незадолго до его смерти онъ женился. Вѣсть о его женитьбѣ испугала меня; все это случилось какъ-то скоро и неожиданно. Слухи объ его женѣ, доходившіе до меня, не совсѣмъ были въ ея пользу; онъ писалъ съ восторгомъ и былъ счастливъ,—ему я больше вѣрилъ, но все же боялся.

Въ началѣ 1839 года, они пріѣхали на нѣсколько дней во Владиміръ. Мы тутъ увидѣлись въ первый разъ послѣ того, какъ аудиторъ Оранскій намъ читалъ приговоръ. Тутъ было не до разбора, помню только, что въ первыя минуты ея голосъ провель нехорошо по моему сердцу; но и это минутное впечатлѣніе исчезло въ яркомъ свѣтѣ радости. Да, это были тѣ дни полноты и личнаго счастья, въ которые человѣкъ, не подозрѣвая, касается высшаго предѣла, послѣдняго края личнаго счастья. Ни тѣни чернаго воспоминанія, ни малѣйшаго темнаго предчувствія, молодость, дружба, любовь, избытокъ силъ, энергіи, здоровья и без-

конечная дорога впереди. Самое мистическое настроеніе, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, какъ колокольный звонъ, пѣвчіе и зажженные паникадила.

У меня въ комнатѣ, на одномъ столѣ, стояло небольшое чугунное распятіе. «На колѣни! сказалъ Огаревъ, и поблагодаримъ за то, что мы всѣ четверо вмѣстѣ». Мы стали на колѣни возлѣ него и, обтирая слезы, обнялись.

Но одному изъ четырехъ врядъ нужно ли было ихъ обтирать. Жена Огарева съ нѣкоторымъ удивленіемъ смотрѣла на происходившее; я думалъ тогда, что это retenue, но она сама сказала мнѣ впоследствии, что сцена эта показалась ей натянутой, дѣтской. Оно, пожалуй, и могло показаться такъ со стороны; но зачѣмъ же она смотрѣла со стороны, зачѣмъ она была такъ трезва въ этомъ упоеніи, такъ совершеннolѣтна въ этой молодости?

Огаревъ возвратился въ свое имѣнье, она поѣхала въ Петербургъ хлопотать о его возвращеніи въ Москву.

Черезъ мѣсяцъ она опять проѣзжала Владиміромъ—одна. Петербургъ и двѣ, три аристократическія гостинныя вскружили ей голову. Ей хотѣлось внѣшняго блеска, ее тѣшило богатство. Какъ-то сладить она съ этимъ? думалъ я. Много бѣдъ могло развиться изъ такой противоположности вкусовъ. Но ей было ново и богатство, и Петербургъ, и салоны,—можетъ, это было минутное увлеченье; она была умна, она любила Огарева, и я надѣялся.

Въ Москвѣ опасались, что это не такъ легко переработается въ ней. Артистическій и литературный кругъ довольно льстилъ ея самолюбію, но главное было направлено не туда. Она согласилась бы имѣть при аристократическомъ салонѣ придѣлъ для художниковъ и ученыхъ и насильно увлекала Огарева въ пустой міръ, въ которомъ онъ задыхался отъ скуки. Ближайшіе друзья стали замѣчать это и К., давно уже хмурившійся, грозно заявилъ свое veto. Вспылчивая, самолюбивая и непривыкнувшая себя обуздывать, она оскорбляла самолюбія, столько же раздражительныя, какъ ея. Угловатыя, нѣсколько сухія манеры ея и насмѣшки, высказываемыя тѣмъ голосомъ, который при первой встрѣчѣ такъ странно провелъ мнѣ по сердцу, вызвали рѣзкій отпоръ. Побранившись мѣсяца два съ К., который, будучи правъ въ фондѣ, былъ постоянно не правъ въ формѣ, и возстановивъ противъ себя нѣсколько человекъ, можетъ слишкомъ обидчивыхъ по матеріальному положенію, она, наконецъ, очутилась лицомъ къ лицу со мной.

Меня она боялась. Во мнѣ она хотѣла помѣриться и окончательно узнать, что возьметъ верхъ, *дружба или любовь*, какъ будто имъ нужно было брать этотъ верхъ. Тутъ больше замѣшалось,

чѣмъ желаніе поставить на своемъ въ капризномъ спорѣ, тутъ было сознаніе, что я всего сильнѣе противудѣйствую ея видамъ, тутъ была завистливая ревность и женское властолюбіе. Съ К. она спорила до слезъ и перебранивалась, какъ злая дѣти бранятся, всякій день, но безъ ожесточенія; на меня она смотрѣла, блѣднѣя и дрожа отъ ненависти. Она упрекала меня въ разрушеніи ея счастья изъ самолюбиваго притязанія на исключительную дружбу Огарева, въ отталкивающей гордости. Я чувствовалъ, что это несправедливо и, въ свою очередь, сдѣлался жестокъ и безошаденъ. Она сама признавалась мнѣ, пять лѣтъ спустя, что ей приходила въ голову мысль меня отравить,—вотъ до чего доходила ея ненависть. Она съ Natalie раззнакомилась за ея любовь ко мнѣ, за дружбу къ ней всѣхъ нашихъ.

Огаревъ страдалъ. Его никто не пощадилъ, ни она, ни я, ни другіе. Мы выбрали грудь его (какъ онъ самъ выразился въ одномъ письмѣ) «полемъ сраженія» и не думали, что тотъ ли, другой ли одолѣваетъ, ему равно было больно. Онъ заклиналъ насъ мириться, онъ старался смягчить угловатости,—и мы мирились; но дико кричало оскорбленное самолюбіе и наболѣвшая обидчивость вспыхивала войной отъ одного слова. Съ ужасомъ видѣлъ Огаревъ, что все дорогое ему рушится, что женщинѣ, которую онъ любилъ, не свята его святыня, что она чужая,—но не могъ ее разлюбить. Мы были свои, но онъ съ печалью видѣлъ, что и мы ни одной капли горечи не убавили въ чашѣ, которую судьба поднесла ему. Онъ не могъ грубо порвать узы *Naturgewalt*'а, связывавшаго его съ нею, ни крѣпкія узы симпатіи, связывавшія съ нами; онъ во всякомъ случаѣ долженъ былъ изойти кровью, и чувствуя это, онъ старался сохранить ее и насъ,—судорожно не выпускалъ ни ея, ни нашихъ рукъ, а мы свирѣпо расходились, четвертуя его, какъ палачи!

Жестокъ человекъ и одни долгія испытанія укрощаютъ его; жестокъ, въ своемъ невѣдѣніи, ребенокъ, жестокъ юноша, гордый своей чистотой, жестокъ попъ, гордый своей святостью, и доктринеръ, гордый своей наукой,—всѣ мы безошадны и всего безошаднѣе, когда мы правы. Сердце обыкновенно растворяется и становится мягкимъ вслѣдъ за глубокими рубцами, за обожженными крыльями, за сознанными паденіями, вслѣдъ за испугомъ, который обдаетъ человекъ холодомъ, когда онъ одинъ, безъ свидѣтелей, начинаетъ догадываться,—какой онъ слабый и дряпной человекъ. Сердце становится кротче; обтирая потъ ужаса, стыда, боясь свидѣтеля, оно ищетъ *себѣ* оправданій—и находитъ ихъ *другому*. Роль судьбы, палача, съ той минуты поселяетъ въ немъ отвращеніе.

Тогда я былъ далекъ отъ этого!

Переменяясь продолжалась вражда. Озлобленная женщина, преслѣдуемая нашей нетерпимостью, заступала дальше и дальше въ какія-то пути, не могла въ нихъ идти, рвалась, падала—и не мѣнялась. Чувствуя свое безсиліе побѣдить, она сторала отъ досады и *dépit*, отъ ревности безъ любви. Ея растрепанныя мысли, безсвязно взятая изъ романовъ Ж. Зандъ, изъ нашихъ разговоровъ, никогда ни въ чемъ не дошедшія до ясности, вели ее отъ одной нелѣпости къ другой, къ эксцентричностямъ, которыя она принимала за оригинальную самобытность, къ тому женскому освобожденію, въ силу котораго онѣ отрицають изъ существующаго и принятаго, *на выборъ*, что имъ не нравится, сохраняя упорно все остальное.

Разрывъ становился неминуемъ, но Огаревъ еще долго жалѣлъ ее, еще долго хотѣлъ спасти ее, надѣялся. И когда на минуту въ ней пробуждалось нѣжное чувство или поэтическая струйка, онъ былъ готовъ забыть на вѣки вѣковъ прошедшее и начать новую жизнь гармоніи, покоя, любви; но она не могла удержаться, теряла равновѣсіе и всякій разъ падала глубже. Нить за нитью болѣзненно рвался ихъ союзъ до тѣхъ поръ, пока беззвучно перетерлась послѣдняя нитка,—и они разстались навсегда.

Во всемъ этомъ является одинъ вопросъ не совсѣмъ понятный. Какимъ образомъ то сильное симпатическое вліяніе, которое Огаревъ имѣлъ на все окружающее, которое увлекало постороннихъ въ высшія сферы, въ общіе интересы, скользнуло по сердцу этой женщины, не оставивъ на немъ никакого благотворнаго слѣда? А между тѣмъ, онъ любилъ ее страстно и положилъ больше силы и души, чтобъ ее спасти, чѣмъ на все остальное; и она сама сначала любила его, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія.

Много я думалъ объ этомъ. Сперва, разумѣется, винилъ одну сторону, потомъ сталъ понимать, что и этотъ странный, уродливый фактъ имѣетъ объясненіе и что въ немъ собственно нѣтъ противурѣчія. Имѣть вліяніе на симпатическій кругъ гораздо легче, чѣмъ имѣть вліяніе на *одну* женщину. Проповѣдывать съ амвона, увлекать съ трибуны, учить съ кафедры гораздо легче, чѣмъ воспитывать *одного* ребенка. Въ аудиторіи, въ церкви, въ клубѣ, одинаковость стремленій, интересовъ идетъ впередъ, во имя ихъ люди встрѣчаются тамъ, стоитъ продолжать развитіе. Огарева кружокъ состоялъ изъ прежнихъ университетскихъ товарищей, молодыхъ ученыхъ, художниковъ и литераторовъ; ихъ связывала общая религія, общій языкъ и еще больше общая ненависть. Тѣ, для которыхъ эта религія не составляла въ самомъ дѣлѣ жизненнаго вопроса, мало по малу отдалялись, на ихъ мѣсто являлись *другіе*, а мысль и кругъ крѣпли при этой свободной игрѣ избирательнаго средства и общаго, связующаго убѣжденія.

Сближеніе съ женщиной—дѣло чисто личное, основанное на иномъ, тайно физиологическомъ сродствѣ, безотчетномъ, страстномъ. Мы прежде близки, потомъ знакомимся. У людей, у которыхъ жизнь не подтасована, не приведена къ одной мысли, уровень устанавливается легко, у нихъ все случайно, вполнину уступаетъ онъ, вполнину она; да если и не уступаютъ—бѣды нѣтъ. Съ ужасомъ открываетъ, напротивъ, человѣкъ, преданный своей идеѣ, что она чужда существу, такъ близко поставленному. Онъ принимается наскоро будить женщину, но большей частью только пугаетъ или путаетъ ее. Оторванная отъ преданій, отъ которыхъ она не освободилась, и переброшенная черезъ какой-то оврагъ, ничѣмъ не наполненный, она вѣрится въ свое освобожденіе—заносчиво, самолюбиво, черезъ пень-колоду отвергаетъ старое, безъ разбора принимаетъ новое. Въ головѣ, въ сердцѣ беспорядокъ, хаосъ... вожди брошены, эгоизмъ разнузданъ... А мы думаемъ, что сдѣлали дѣло, и проповѣдуемъ ей, какъ въ аудиторіи!

Талантъ воспитанія, талантъ терпѣливой любви, полной преданности, преданности хронической, рѣже встрѣчается, чѣмъ всѣ другіе. Его не можетъ замѣнить ни одна страстная любовь матери, ни одна сильная доводами діалектика.

Ужъ не оттого ли люди истязаютъ дѣтей, а иногда и большихъ, что ихъ такъ трудно воспитывать, — а сѣчь такъ легко? Не мстимъ ли мы наказаніемъ за нашу неспособность?

Огаревъ это понялъ еще тогда; потому-то его всѣ (и я въ томъ числѣ) упрекали въ излишней кротости.

...Кругъ молодыхъ людей, составившійся около Огарева, не былъ нашъ прежній кругъ. Только двое изъ старыхъ друзей, кромѣ насъ, были налицо. Тонъ, интересы, занятія, все измѣнилось. Друзья Станкевича были на первомъ планѣ; Бакунинъ и Бѣлинскій стояли въ ихъ главѣ, каждый съ томомъ гегелевской философіи въ рукахъ и съ юношеской нетерпимостью, безъ которой нѣтъ кровныхъ, страстныхъ убѣжденій.

Германская философія была привита московскому университету М. Г. Павловымъ. Каѳедра философіи была закрыта съ 1826 года. Павловъ преподавалъ введеніе къ философіи вмѣсто физики и сельскаго хозяйства. Физики было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго отдѣленія и останавливалъ студента вопросомъ: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?»

Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая въ университетъ, совершенно лишена философскаго приготовленія, одни семинаристы имѣютъ понятіе объ философіи, за то совершенно превратное.

Отвѣтомъ на эти вопросы Павловъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окена съ такой пластической ясностью, которую никогда не имѣлъ ни одинъ натуръ-философъ. Если онъ не во всемъ достигнулъ прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова ученія. Скорѣе Павлова можно обвинить за то, что онъ остановился на этой Магабаратъ философіи и не прошелъ суровымъ искусомъ Гегелевой логики. Но онъ даже и въ своей наукѣ дальше введенія и общаго понятія не шелъ или, по крайней мѣрѣ, не велъ другихъ. Эта остановка при началѣ, это незавершеніе своего дѣла, эти дома безъ крыши, фундаменты безъ домовъ и пышныя сѣни, ведущія въ скромное жильё, совершенно въ русскомъ народномъ духѣ. Не оттого ли мы довольствуемся сѣнями, что исторія наша еще стучится въ ворота?

Чего не сдѣлалъ Павловъ, сдѣлалъ одинъ изъ его учениковъ—Станкевичъ.

Станкевичъ, тоже одинъ изъ *праздныхъ* людей, *ничего* не совершившихъ, былъ первый послѣдователь Гегеля въ кругу московской молодежи. Онъ изучилъ нѣмецкую философію глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, онъ увлекъ большой кругъ друзей въ свое любимое занятіе. Кругъ этотъ чрезвычайно замѣчателенъ, изъ него вышла цѣлая фаланга ученыхъ, литераторовъ и профессоровъ, въ числѣ которыхъ были Бѣлинскій, Бакунинъ, Грановскій.

До ссылки между нашимъ кругомъ и кругомъ Станкевича не было большой симпатіи. Имъ не нравилось наше почти исключительно политическое направленіе, намъ не нравилось ихъ почти исключительно умозрительное. Они насъ считали фрондѣрами и французами, мы ихъ сентименталистами и нѣмцами. Первый человекъ, признанный нами и ими, который дружески подаль обоимъ руки и снялъ своей теплой любовью къ обоимъ, своей примиряющей натурой, послѣдніе слѣды взаимнаго непониманья, былъ Грановскій; но когда я пріѣхалъ въ Москву, онъ еще былъ въ Берлинѣ, а бѣдный Станкевичъ потухалъ на берегахъ Lago di Como лѣтъ двадцати семи.

Болѣзненный, тихій по характеру, поэтъ и мечтатель, Станкевичъ естественно долженъ былъ больше любить созерцаніе и отвлеченное мышленіе, чѣмъ вопросы жизненные и чисто практическіе; его артистическій идеализмъ ему шелъ, это былъ «бѣдный вѣнокъ», выступавшій на его блѣдномъ, предсмертномъ челѣ юноши. Другіе были слишкомъ здоровы и слишкомъ мало поэты, чтобъ надолго остаться въ спекулятивномъ мышленіи безъ перехода въ жизнь. Исключительно умозрительное направленіе совершенно противоположно русскому характеру и мы скоро увидимъ, какъ *русскій духъ* переработалъ Гегелево ученіе и какъ

наша живая натура, несмотря на всѣ постриженія въ философскіе монахи, беретъ свое. Но въ началѣ 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать противъ текста за духъ, противъ отвлеченій за жизнь.

Новые знакомые приняли меня такъ, какъ принимаютъ эмигрантовъ и старыхъ бойцевъ, людей, выходящихъ изъ тюремъ, возвращающихся изъ плѣна или ссылки, съ почетнымъ снисхожденіемъ, съ готовностью принять въ свой союзъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ не уступая ничего, а намекая на то, что они—*сегодня, а мы—уже вчера*, и требуя безусловнаго принятія феноменологии и логики Гегеля и притомъ по ихъ толкованію.

Толковали же они объ нихъ безпрестанно, нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности и о ея *по-себѣ бытіи*». Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходявшія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней. Такъ, какъ Франкѣръ въ Парижѣ плакалъ отъ умиленія, услышавъ, что въ Россіи его принимаютъ за великаго математика и что все юное поколѣніе разрѣшаетъ у насъ уравненія разныхъ степеней, употребляя тѣ же буквы, какъ онъ,—такъ заплакали бы всѣ эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шаллеры, Розенкранцы и самъ Арнольдъ Руте, котораго Гейне такъ удивительно хорошо назвалъ «привратникомъ гегелевой философіи», если-бъ они знали, какія побоища и ратованія возбудили они въ Москвѣ между Моросейкой и Моховой, какъ ихъ читали и какъ ихъ *покупали*.

Главное достоинство Павлова состояло въ необычайной ясности изложенія, ясности, нисколько не терявшей всей глубины нѣмецкаго мышленія; молодые философы приняли, напротивъ, какой-то условный языкъ, они не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова *in situ*, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей.

Я имѣю право это сказать, потому что, увлеченный тогдашнимъ потокомъ, я самъ писалъ точно также, да еще удивлялся, что извѣстный астрономъ Перевощиковъ называлъ это «птичьимъ языкомъ». Никто въ тѣ времена не отрекся бы отъ подобной фразы: «Конкресцированіе абстрактныхъ идей въ сферѣ пластики представляетъ ту фазу самоищущаго духа, въ которой онъ, опре-

дѣляясь для себя, потенцируется изъ естественной имманентности въ гармоническую сферу образнаго сознанія въ красотѣ». Замѣчательно, что тутъ русскія слова, какъ на извѣстномъ обѣдѣ генераловъ, о которомъ говорилъ Ермоловъ, звучатъ иностраннѣе латинскихъ.

Нѣмецкая наука, и это ея главный недостатокъ, приучилась къ искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему, именно потому, что она жила въ академіяхъ, т. е. въ монастыряхъ идеализма. Это языкъ поповъ науки, языкъ для *вѣрныкъ* и никто изъ оглашенныхъ его не понималъ; къ нему надобно было имѣть ключъ, какъ къ шифрованнымъ письмамъ. Ключъ этотъ теперь не тайна; понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дѣльными вещи и очень простыя на своемъ мудреномъ нарѣчїи. Фейербахъ сталъ первый говорить человѣчественнѣе.

Механическая слѣпка нѣмецкаго церковно-ученаго діалекта была тѣмъ непростительнѣе, что главный характеръ нашего языка состоитъ въ чрезвычайной легости, съ которой все выражается на немъ — отвлеченныя мысли, внутреннія лирическія чувствованія, «жизни мышья бѣготня», крикъ негодованія, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.

Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка болѣе глубокая. Молодые философы наши испортили себѣ не однѣ фразы, но и пониманье; отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности, сдѣлалось школьное, книжное, это было то ученое пониманье простыхъ вещей, надъ которыми такъ гениально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля съ студентомъ. Все въ *самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категорїи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленїи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ»...

То же въ искусствѣ. Знаніе Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли что она хуже первой, или оттого, что труднѣе ея), было столько же обязательно, какъ имѣть платье. Философія музыки была на первомъ планѣ. Разумѣется, объ Россїии и не

говорили, къ Модарту были снисходительны, хотя и находили его дѣтскимъ и бѣднымъ, зато производили философскія слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напѣвы, сколько за то, что онъ бралъ философскія темы для нихъ, какъ «Всемогущество Божіе», «Атласъ». Наравнѣ съ итальянской музыкой дѣлила опалу французская литература и вообще все французское, а по дорогѣ и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на которомъ мы должны были непремѣнно встрѣтиться и сразиться. Пока пренія шли о томъ, что Гёте объективенъ, но что его объективность субъективна, тогда какъ Шиллеръ поэтъ субъективный, но его объективность объективна и *vice versa*, все шло мирно. Вопросы болѣе страстные не замедлили явиться.

Гегель во время своего профессората въ Берлинѣ, долею отъ старости, а вдвое отъ довольства мѣстомъ и почетомъ, намѣренно взвинтилъ свою философію надъ земнымъ уровнемъ и держался въ средѣ, гдѣ всѣ современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, какъ зданія и села съ воздушнаго шара; онъ не любилъ зацѣпляться за эти проклятые практическіе вопросы, съ которыми трудно ладить, и на которые надобно было отвѣчать положительно. Насколько этотъ насильственный и неоткровенный дуализмъ былъ вопіющъ въ наукѣ, которая отправляется отъ снятія дуализма, легко понятно. Настоящій Гегель былъ тотъ скромный профессоръ въ Іенѣ, другъ Гелдерлина, который спасъ подъ полой свою феноменологію, когда Наполеонъ входилъ въ городъ; тогда его философія не вела ни къ индѣйскому квіетизму, ни къ оправданію существующихъ гражданскихъ формъ, ни къ прусскому христіанству; тогда онъ не читалъ своихъ лекцій о философіи религіи, а писалъ геніальныя вещи въ родѣ статьи о «палачѣ и о смертной казни», напечатанной въ Розенкранцевой біографіи.

Гегель держался въ кругу отвлеченій, для того, чтобъ не быть въ необходимости касаться эмпирическихъ выводовъ и практическихъ приложеній, для нихъ онъ избралъ очень ловко тихое и безбурное море эстетики; рѣдко выходилъ онъ на воздухъ, и то на минуту, закутавшись какъ больной, но и тогда оставлялъ въ діалектической запутанности именно тѣ вопросы, которые всего болѣе занимали современнаго человѣка. Чрезвычайно слабые умы (одинъ Гансъ дѣлаетъ исключеніе), окружавшіе его, принимали букву за самое дѣло, имъ правилась пустая игра діалектики. Вѣроятно, старику иной разъ бывало тяжело и совѣстно смотрѣть на недалковидность, черезъ край удовлетворенныхъ, учениковъ своихъ. Діалектическая метода, если она не есть развитіе самой

сущности, воспитаніе ея такъ сказать въ мысль, становится чисто внѣшнимъ средствомъ гонять сквозь строй категорій всякую всячину, упражненіемъ въ логической гимнастикѣ, тѣмъ, чѣмъ она была у греческихъ софистовъ и у средневѣковыхъ схоластиковъ послѣ Абеяра.

Философская фраза, надѣлавшая всего больше вреда, и на которой нѣмецкіе консерваторы стремились помирить философію съ политическимъ бытомъ Германіи: «все дѣйствительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактовъ. Дурно понятая фраза Гегеля сдѣлалась въ философіи тѣмъ, что нѣкогда были слова Павла: «Нѣтъ власти какъ отъ Бога». Но если существующій общественный порядокъ оправдывается разумомъ, то и борьба противъ него, если только существуетъ, оправдана. Формально принятыя эти двѣ сентенціи—чистая тавтологія; но тавтологія или нѣтъ, она прямо вела къ признанію преобладающихъ властей, къ тому, чтобъ человѣкъ сложилъ руки,—этого-то и хотѣли берлинскіе буддисты. Какъ такое воззрѣніе ни было противоположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московскіе гегельянцы.

Бѣлинскій, самая дѣятельная, порывистая, діалектически-страстная натура бойца, проповѣдывалъ тогда индѣйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы. Онъ вѣровалъ въ это воззрѣніе и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытные; въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и искрененъ; его совѣсть была чиста.

— Знаете ли, что съ вашей точки зрѣнія, сказалъ я ему, думая поразить его моимъ революціоннымъ ультиматумомъ, вы можете доказать, что самодержавіе, подъ которымъ мы живемъ, разумно.

— Безъ всякаго сомнѣнія, отвѣчалъ Бѣлинскій, и прочелъ мнѣ *Бородинскую годовщину* Пушкина.

Этого я не могъ вынести и отчаянный бой закипѣлъ между нами. Размолвка наша дѣйствовала на другихъ, кругъ распался на два стана. Бакунинъ хотѣлъ примирить, объяснить, *заговорить*, но настоящаго мира не было. Бѣлинскій, раздраженный и недовольный, уѣхалъ въ Петербургъ, и оттуда далъ по насъ послѣдній яростный залпъ въ статьѣ, которую назвалъ «Бородинской годовщиной».

Я прервалъ съ нимъ тогда всѣ сношенія. Бакунинъ, хотя и спорилъ горячо, но сталъ призадумываться, его революціонный тактъ толкалъ его въ другую сторону. Бѣлинскій упрекалъ его

въ слабости, въ уступкахъ и доходилъ до такихъ преувеличенныхъ крайностей, что пугалъ своихъ собственныхъ пріятелей и почитателей. Хоръ былъ за Бѣлинскаго и смотрѣлъ на насъ свысока, гордо пожимая плечами и находя насъ людьми отста-лыми.

Середь этой междоусобицы я увидѣлъ необходимость *ex ipsa fonte bibere* и серьезно занялся Гегелемъ. Я думаю даже, что человѣкъ, не *пережившій* феноменологии Гегеля и противурѣчій общественной экономіи Прудона, не перешедшій черезъ этотъ горнь и этотъ закалъ,—не полонъ, не современенъ.

Когда я привыкъ къ языку Гегеля и овладѣлъ его методой, я сталъ разглядывать, что Гегель гораздо ближе къ нашему воззрѣнію, чѣмъ къ воззрѣнію своихъ послѣдователей; таковъ онъ въ первыхъ сочиненіяхъ, таковъ вездѣ, гдѣ его геній закусы-валъ удила и несся впередъ, забывая «бранденбургскія ворота». Философія Гегеля—алгебра революціи, она необыкновенно освобождаетъ человѣка и не оставляетъ камня на камнѣ отъ міра христіанскаго, отъ міра преданій, пережившихъ себя. Но она, можетъ, съ намѣреніемъ, дурно формулирована.

Такъ, какъ въ математикѣ—только тамъ съ большимъ правомъ—не возвращаются къ опредѣленію пространства, движенія, силъ, а продолжаютъ діалектическое развитіе ихъ свойствъ и законовъ; такъ и въ формальномъ пониманіи философіи,—привыкнувъ однажды къ началамъ, продолжаютъ одни выводы. Новый человѣкъ, не забившій себя методой, обращающейся въ привычку, именно за эти-то преданія, за эти догматы, принимаемые за мысли, и цѣпляется. Людямъ, давно занимающимся и, слѣдственно, не безпристрастнымъ, кажется удивительнымъ, какъ другіе не понимаютъ вещей «совершенно ясныхъ».

Какъ не понять *такую* простую мысль, какъ напр., «что душа безсмертна, а что умираетъ одна личность», мысль такъ успѣшно развитая берлинскимъ Михелетомъ въ его книгѣ. Или еще болѣе простую истину, что безусловный духъ есть личность, сознающая себя черезъ міръ, а между тѣмъ имѣющая и свое собственное самопознаніе.

Всѣ эти вещи казались до того легки нашимъ друзьямъ, они такъ улыбались «французскимъ» возраженіямъ, что я былъ на нѣкоторое время подавленъ ими и работалъ, и работалъ, чтобъ дойти до отчетливаго пониманія ихъ философскаго *jaargon*.

По счастью, схоластика такъ же мало свойственна мнѣ, какъ мистицизмъ; я до того натянулъ ея лукъ, что тетива порвалась и повязка упала. Странное дѣло, споръ съ дамой привелъ меня къ этому.

Въ Новгородѣ, годъ спустя, познакомился я съ однимъ генераломъ. Познакомился я съ нимъ, потому что онъ всего меньше былъ похожъ на генерала.

Въ его домѣ было тяжело, въ воздухѣ были слезы, тутъ очевидно прошла смерть. Сѣдые волосы рано покрыли его голову и добродушно-грустная улыбка больше выражала страданій, нежели морщины. Ему было лѣтъ пятьдесятъ. Слѣдъ судьбы, обрубившей живыя вѣтви, еще яснѣе видѣлся на блѣдномъ, худомъ лицѣ его жены. У нихъ было слишкомъ тихо. Генералъ занимался механикой, его жена по утрамъ давала французскіе уроки какимъ-то бѣднымъ дѣвочкамъ; когда онъ уходили, она принималась читать, и одни цвѣты, которыхъ было много, напоминали иную, благоуханную, свѣтлую жизнь; да еще игрушки въ шкафѣ,—только ими никто не игралъ.

У нихъ было трое дѣтей; два года передъ тѣмъ умеръ девятилѣтній мальчикъ, необыкновенно даровитый; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ умеръ другой ребенокъ отъ скарлатины; мать бросилась въ деревню спасать послѣднее дитя перемѣной воздуха, и черезъ нѣсколько дней воротилась: съ ней въ каретѣ былъ гробикъ.

Жизнь ихъ потеряла смыслъ, кончилась и продолжалась безъ нужды, безъ цѣли. Ихъ существованіе удержалось сожалѣніемъ другъ о другѣ; одно утѣшеніе, доступное имъ, состояло въ глубокомъ убѣжденіи необходимости одного для другого, для того, чтобъ какъ-нибудь нести крестъ. Я мало видѣлъ больше гармоническихъ браковъ, но уже это и не былъ бракъ, ихъ связывала не любовь, а какое-то глубокое братство въ несчастіи, ихъ судьба тѣсно затягивалась и держалась вмѣстѣ тремя маленькими, холодными рученками и безнадежной пустою около и впереди.

Осиротѣвшая мать совершенно предалась мистицизму; она нашла спасеніе отъ тоски въ мірѣ таинственныхъ примиреній. Для нея мистицизмъ былъ не шутка, не мечтательность, а опять-таки дѣти, и она защищала ихъ, защищая свою религію. Но какъ умъ чрезвычайно дѣятельный, она вызывала на споръ и знала свою силу. Я послѣ и прежде встрѣчалъ въ жизни много мистиковъ въ разныхъ родахъ, отъ Витберга и послѣдователей Товянскаго, принимавшихъ Наполеона за военное воплощеніе Бога и снимавшихъ шапку, проходя мимо Вандомской колонны, до забытаго теперь «Ма-Па», который самъ мнѣ рассказывалъ свое свиданіе съ Богомъ, случившееся на шоссе между Монморанси и Парижемъ. Всѣ они, большею частью люди нервные, дѣйствовали на нервы, поражали фантазію или сердце, мѣшали философскія понятія съ произвольной символикой и не любили выходить на чистое поле логики.

На немъ-то и стояла твердо и безбоязненно Л. Д. Гдѣ и какъ она успѣла пріобрѣсти такую артистическую ловкость діалектики, я не знаю. Вообще, женское развитіе—тайна; все ничего, наряды да танцы, шаловливое злословіе и чтеніе романовъ, глазки и слезы,—и вдругъ является гигантская воля, зрѣлая мысль, колоссальный умъ. Дѣвочка, увлеченная страстями, исчезла и передъ вами Тироанъ де-Мерикуръ, красавица-трибунъ, потрясающая народныя массы, княгиня Дашкова восемнадцати лѣтъ, верхомъ, съ саблей въ рукахъ, среди крамольной толпы солдатъ.

У Л. Д. все было кончено, тутъ не было сомнѣній, шаткости, теоретической слабости; врядъ были ли іезуиты или кальвинисты такъ стройно послѣдовательны своему ученью, какъ она.

Вмѣсто того, чтобъ ненавидѣть смерть, она, лишившись своихъ малютокъ, возненавидѣла жизнь. Итакъ—гоненіе на все жизненное, реалистическое, на наслажденіе, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существованія. И Л. Д. дошла до того, что не любила ни Гёте, ни Пушкина.

Нападки ея на мою философію были оригинальны. Она ironically увѣряла, что всѣ діалектическія подмостки и тонкости—барабанный бой, шумъ, которымъ трусы заглушаютъ страхъ своей совѣсти.

— Вы никогда не дойдете, говорила она, ни до личнаго Бога, ни до безсмертія души, никакой философіей, а храбрости быть атеистомъ и отвергнуть жизнь за гробомъ у васъ у всѣхъ нѣтъ. Вы слишкомъ люди, чтобъ не ужаснуться этихъ послѣдствій, внутреннее отвращеніе отталкиваетъ ихъ; вотъ вы и выдумываете ваши логическія чудеса, чтобъ отвести глаза, чтобъ дойти до того, что просто и дѣтски дано религіей.

Я возражалъ, я спорилъ, но внутри чувствовалъ, что полныхъ доказательствъ у меня нѣтъ, и что она тверже стоитъ на своей почвѣ, чѣмъ я на своей.

Надобно было, чтобъ для довершенія бѣды подвернулся тутъ инспекторъ врачебной управы, добрый человѣкъ, но одинъ изъ самыхъ смѣшныхъ нѣмцевъ, которыхъ я когда-либо встрѣчалъ; отчаянный поклонникъ Окена, Каруса, онъ разсуждалъ цитатами, имѣлъ на все готовый отвѣтъ, никогда ни въ чемъ не сомнѣвался, и воображалъ, что совершенно согласенъ со мной.

Докторъ выходилъ изъ себя, бѣсился, тѣмъ больше, что другими средствами не могъ взять, находилъ воззрѣнія Л. Д. женскими капризами, ссылаясь на Шеллинговы чтенія объ академическомъ ученіи и читалъ отрывки изъ Бурдаховой физиологіи для доказательства, что въ человѣкѣ есть начало вѣчное и духовное, а внутри природы спрятанъ какой-то личный Geist.

Л. Д., давно прошедшая этими «задами» пантеизма, сбивала его и, улыбаясь, показывала мнѣ на него глазами. Она, разумѣется, была правѣе его и я добросовѣстно ломалъ себѣ голову и досадовалъ, когда мой докторъ торжественно смѣялся. Споры эти занимали меня до того, что я съ новымъ ожесточеніемъ принялся за Гегеля. Мученіе моей неувѣренности недолго продолжалось, истина мелькнула передъ глазами и стала становиться яснѣе и яснѣе; я склонился на сторону моей противницы, но не такъ, какъ она хотѣла.

— Вы совершенно правы, сказалъ я ей, и мнѣ совѣстно, что я съ вами спорилъ; разумѣется, что нѣтъ ни личнаго духа, ни безсмертія души, оттого-то и было такъ трудно доказать, что она есть. Посмотрите, какъ все становится просто, естественно—безъ этихъ впередъ идущихъ предположеній.

Ее смутили мои слова, но она скоро оправилась и сказала:

— Жаль мнѣ васъ, а, можетъ, оно и къ лучшему, вы въ этомъ направленіи долго не останетесь, въ немъ слишкомъ пусто и тяжело. А вотъ, прибавила она, улыбаясь, нашъ докторъ, тотъ неизлечимъ, ему не страшно, онъ въ такомъ туманѣ, что не видитъ ни на шагъ впередъ.

Однако, лицо ея было блѣднѣе обыкновеннаго.

Мѣсяца два-три спустя, проѣзжалъ по Новгороду Огаревъ; онъ привезъ мнѣ «Wesen des Christenthums» Фейербаха. Прочитавъ первыя страницы, я вспрыгнулъ отъ радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказанія, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, ненужно намъ облекать истину въ мнѣи!

Въ разгарѣ моей философской страсти я началъ тогда рядъ моихъ статей о «дилетантизмѣ въ наукѣ», въ которыхъ между прочимъ отомстилъ и доктору.

Теперь возвратимся къ Бѣлинскому.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его отъѣзда въ Петербургъ въ 1840 году, приѣхали и мы туда. Я не шелъ къ нему. Огареву моя ссора съ Бѣлинскимъ была очень прискорбна, онъ понималъ, что нелѣпое воззрѣніе у Бѣлинскаго была переходная болѣзнь, да и я понималъ; но Огаревъ былъ добрѣе. Наконецъ, онъ натянулъ своими письмами свиданіе. Наша встрѣча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Бѣлинскій, ни я, мы не были большіе дипломаты, въ продолженіи ничтожнаго разговора я помянулъ статью о бородинской годовщинѣ. Бѣлинскій вскочилъ съ своего мѣста и, вспыхнувъ въ лицѣ, пренаивно сказалъ мнѣ: «Ну, слава Богу, договорились же, а то я съ моимъ глупымъ нравомъ не зналъ какъ начать... Ваша взяла: три-четыре мѣсяца въ Петербургѣ меня лучше убѣдили, чѣмъ всѣ до-

воды. Забудете этотъ вздоръ. Довольно вамъ сказать, что на дняхъ я обѣдалъ у одного знакомаго, тамъ былъ инженерный офицеръ; хозяинъ спросилъ его, хочетъ ли онъ со мной познакомиться?—Это авторъ статьи о бородинской годовщинѣ? спросилъ его на ухо офицеръ.—Да.—Нѣтъ, покорно благодарю, сухо отвѣтилъ онъ.—Я слышалъ все и не могъ вытерпѣть, я горячо пожалъ руку офицеру, и сказалъ ему: вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю... Чего же вамъ больше?»

Съ этой минуты и до кончины Бѣлинскаго, мы шли съ нимъ рука въ руку.

Бѣлинскій, какъ слѣдовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей рѣчи, со всей неистощимой энергіей на свое прежнее воззрѣніе. Положеніе многихъ изъ его пріятелей было не очень завидное, *plus royalistes que le roi*—они съ мужествомъ несчастія старались отстаивать свои теоріи, не отказываясь, впрочемъ, отъ почетнаго перемирія.

Всѣ люди дѣльные и живые перешли на сторону Бѣлинскаго, только упорные формалисты и педанты отделились; одни изъ нихъ дошли до того нѣмецкаго самоубійства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякій жизненный интересъ и сами потерялись безъ вѣсти. Другіе сдѣлались православными славянофилами. Какъ сочетаніе Гегеля съ Стефаномъ Яворскимъ ни кажется странно, но оно возможно, чѣмъ думаютъ; византійское богословіе точно такъ же внѣшняя казуистика, игра логическими формулами, какъ формально принимаемая діалектика Гегеля. «Москвитянинъ» въ нѣкоторыхъ статьяхъ далъ торжественное доказательство, до чего можетъ дойти при талантѣ содомизмъ философіи.

Бѣлинскій вовсе не оставилъ вмѣстѣ съ одностороннимъ пониманіемъ Гегеля его философію. Совсѣмъ напротивъ, отсюда то и начинается его живое, мѣткое, оригинальное сочетаніе идей философскихъ съ революціонными. Я считаю Бѣлинскаго однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ лицъ николаевскаго періода. Послѣ либерализма, кой-какъ пережившаго 1825 г. въ Полевомъ, послѣ мрачной статьи Чаадаева, является выстрадавшее, желчное отрицаніе и страстное вмѣшательство во всѣ вопросы Бѣлинскаго. Въ рядѣ критическихъ статей онъ кстати и не кстати касается всего, вездѣ вѣрный своей ненависти къ авторитетамъ, часто подымаясь до поэтическаго одушевленія. Разбираемая книга служила ему по большей части матеріальной точкой отправленія, на полдорогѣ онъ бросалъ ее и впивался въ какой-нибудь вопросъ. Ему достаточенъ стихъ: «Родные люди вотъ какіе» въ Онѣгинѣ, чтобъ вызвать къ суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношенія родства. Кто не помнитъ его статьи о «Та-

рантасѣ», о «Парашѣ» Тургенева, о Державинѣ, о Мочаловѣ и Гамлетѣ? Какая вѣрность своимъ началамъ, какая неустрашима-я послѣдовательность, ловкость въ плаваніи между цензурными отмелями и какая смѣлость въ нападкахъ на литературную аристократію, на писателей первыхъ трехъ классовъ, на статсъ-секретарей литературы, готовыхъ всегда взять противника не мытьемъ, такъ катаньемъ, не анти-критикой, такъ доносомъ. Бѣлинскій стегалъ ихъ безощадно, терзая мелкое самолюбіе чопорныхъ, ограниченныхъ творцовъ эклога, любителей образованія, благотворительности и нѣжности; онъ отдавалъ на посмѣянія ихъ дорогія *задушевныя* мысли, ихъ поэтическія мечтанія, двѣтуція подъ сѣдинами, ихъ наивность, прикрытую аннинской лентой.

Какъ же они за то его и ненавидѣли!

Славянофилы, съ своей стороны, начали официально существовать съ войны противъ Бѣлинскаго; онъ ихъ додразнилъ до мурмолокъ и зипуновъ. Стоитъ вспомнить, что Бѣлинскій прежде писалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, а Кирѣевскій началъ издавать свой превосходный журналъ подъ заглавіемъ «*Европеецъ*»; эти названія всего лучше доказываютъ, что въ началѣ были только оттѣнки, а не мнѣнія, не партіи.

Статьи Бѣлинскаго судорожно ожидались молодежью въ Москвѣ и Петербургѣ, съ 25 числа каждаго мѣсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейныя спрашивать, получены ли *Отечественныя Записки*; тяжелый номеръ рвали изъ рукъ въ руки: «Есть Бѣлинскаго статья?»—«Есть», и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ вѣрованій, *уваженій* какъ не бывало.

Не даромъ Скобелевъ, комендантъ Петропавловской крѣпости, говорилъ шутя Бѣлинскому, встрѣчаясь на Невскомъ проспектѣ: «Когда же къ намъ, у меня совсѣмъ готовъ тепленькій казематъ, такъ для васъ его и берегу».

Я въ другой книгѣ говорилъ о развитіи Бѣлинскаго и объ его литературной дѣятельности, здѣсь скажу нѣсколько словъ о немъ самомъ.

Бѣлинскій былъ очень застѣнчивъ и вообще терялся въ незнакомомъ обществѣ или въ очень многочисленномъ; онъ зналъ это и, желая скрыть, дѣлалъ пресмѣшныя вещи. К. уговорилъ его ѣхать къ одной дамѣ; по мѣрѣ приближенія къ ея дому, Бѣлинскій все становился мрачнѣе, спрашивалъ, нельзя ли ѣхать въ другой день, говорилъ о головной боли. К., зная его, не принималъ никакихъ отговорокъ. Когда они пріѣхали, Бѣлинскій, сходя съ саней, пустился было бѣжать, но К. поймалъ его за шинель и повелъ представлять дамѣ.

Онъ являлся иногда на литературно-дипломатическіе вечера князя Одоевскаго. Тамъ толпились люди, ничего не имѣвшіе общаго, кромѣ нѣкотораго страха и отвращенія другъ отъ друга; тамъ бывали посольскіе чиновники и археологъ Сахаровъ, живописцы и А. Мейендорфъ, статскіе совѣтники изъ образованныхъ, Іоакимъ Вичуринъ изъ Пекина, полужандармы и полулитераторы, совсѣмъ жандармы и вовсе не литераторы. А. К. домолчался тамъ до того, что генералы принимали его за авторитетъ. Хозяйка дома съ внутренней горестью смотрѣла на подлые вкусы своего мужа и уступала имъ, такъ, какъ Людовикъ Филиппъ въ началѣ своего царствованія, снисходя къ своимъ избирателямъ, приглашалъ на балы въ Тюльери цѣлые *rez des chaussées* подтяжечныхъ мастеровъ, москательныхъ лавочниковъ, башмачниковъ и другихъ почтенныхъ гражданъ.

Бѣлинскій былъ совершенно потерявъ на этихъ вечерахъ, между какимъ-нибудь саксонскимъ посланникомъ, не понимавшимъ ни слова по русски и какимъ-нибудь чиновникомъ III отдѣленія, понимавшимъ даже тѣ слова, которыя умалчивались. Онъ обыкновенно занемогалъ потомъ на два, на три дня и проклиналъ того, кто уговорилъ его ѣхать.

Разъ въ субботу, наканунѣ новаго года, хозяинъ вздумалъ варить жженку *en petit comité*, когда главные гости разѣхались. Бѣлинскій непременно бы ушелъ, но баррикада мебели мѣшала ему, онъ какъ-то забился въ уголъ и передъ нимъ поставили небольшой столикъ съ виномъ и стаканами. Жуковскій въ бѣлыхъ форменныхъ штанахъ съ золотымъ «позументомъ» сѣлъ наискось противъ него. Долго терпѣлъ Бѣлинскій, но не видя улучшенія своей судьбы, онъ сталъ нѣсколько подвигать столъ; столъ сначала уступалъ, потомъ покачнулся и грохнулъ наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковскаго. Онъ вскочилъ, красное вино струилось по его панталонамъ; сдѣлался гвалтъ, слуга бросился съ салфеткой домарать виномъ остальные части панталонъ, другой подбиралъ разбитыя рюмки... Во время этой суматохи, Бѣлинскій исчезъ и, близкій къ кончинѣ, пѣшкомъ прибѣжалъ домой.

Милый Бѣлинскій! какъ его долго сердили и разстроивали подобныя происшествія, какъ онъ объ нихъ вспоминалъ съ ужасомъ, не улыбаясь, а похаживая по комнатѣ и покачивая головой.

Но въ этомъ застѣнчивомъ человѣкѣ, въ этомъ хиломъ тѣлѣ обитала мощная, гладиаторская натура! Да, это былъ сильный боецъ: онъ не умѣлъ проповѣдывать, поучать, ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздраженія, онъ не хорошо говорилъ, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались до его дорогихъ убѣжденій, когда у него начинали дрожать

мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ надобно было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ и по дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развивалъ свою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась изъ горла. Блѣдный, задыхающійся, съ глазами, остановленными на томъ, съ кѣмъ говорилъ, онъ дрожащей рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ жалѣлъ я его въ эти минуты!

Притѣняемый денежно литературными подрядчиками, притѣняемый нравственно цензурой, окруженный въ Петербургѣ людьми мало симпатичными, снѣдаемый болѣзнію, для которой балтійскій климатъ былъ убійствененъ, Бѣлинскій становился раздражительнѣе и раздражительнѣе. Онъ чуждался постороннихъ, былъ до дикости застѣнчивъ и иногда недѣли цѣлыя проводилъ въ мрачномъ бездѣйствіи. Тутъ редація посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литераторъ со скрежетомъ зубовъ брался за перо и писалъ тѣ ядовитыя статьи, трепещація отъ негодованія, тѣ обвинительные акты, которые такъ поражали читателей.

Часто, выбившись изъ силъ, приходилъ онъ отдыхать къ намъ; лежа на полу съ двухлѣтнимъ ребенкомъ, онъ игралъ съ нимъ цѣлые часы. Пока мы были втроемъ, дѣло шло какъ нельзя лучше, но при звукѣ колокольчика, судорожная гримаса пробѣгала по лицу его и онъ безпокойно оглядывался и искалъ шляпу; потомъ оставался, по славянской слабости. Тутъ одно слово, замѣчаніе, сказанное не по немъ, приводило къ самымъ оригинальнымъ сценамъ и спорамъ...

Разъ приходитъ онъ обѣдать къ одному литератору на страстной недѣлѣ, подають постныя блюда. Давно ли, спрашиваетъ онъ, вы сдѣлались такъ богомольны?—Мы ѣдимъ, отвѣчаетъ литераторъ, постное просто на просто для людей.—*Для людей?*—спросилъ Бѣлинскій и поблѣднѣлъ—для людей? повторилъ онъ и бросилъ свое мѣсто. Гдѣ ваши люди? я имъ скажу, что они обмануты, всякій открытый порокъ лучше и человѣчественнѣе этого презрѣнія къ слабому и необразованному, этого лицемерія, поддерживающаго невѣжество. И вы думаете, что вы свободные люди? Прощайте, я не ѣмъ постнаго для поученія, у меня нѣтъ *людей!*

Въ числѣ закончилѣйшихъ нѣмцевъ изъ русскихъ, былъ одинъ магистръ нашего университета, недавно пріѣхавшій изъ Берлина; добрый челоѣкъ въ синихъ очкахъ, чопорный и приличный, онъ остановился навсегда, разстроивъ, ослабивъ свои

способности философией и филологией. Доктринеръ и нѣсколько педантъ, онъ любилъ поучительно наставлять. Разъ на литературной вечеринкѣ у романиста, наблюдавшаго для своихъ людей посты, магистръ проповѣдывалъ какую-то чушь *honnete et modeste*. Бѣлинскій лежалъ въ углу на кушеткѣ и когда я проходилъ мимо, онъ меня взялъ за полу и сказалъ:

«Слышалъ ли ты, что этотъ извергъ вретъ? у меня давно языкъ чешется, да что-то грудь болитъ и народу много, будь отцомъ роднымъ, одурачь какъ-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь насмѣшкой, ты это лучше умѣешь—ну, утѣшь».

Я расхохотался и отвѣтилъ Бѣлинскому, что онъ меня на-травливаетъ какъ бульдога на крысъ. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышалъ, что онъ говорить.

Къ концу вечера магистръ въ синихъ очкахъ, побранивши Кольцова за то, что онъ оставилъ народный костюмъ, вдругъ сталъ говорить о знаменитомъ письмѣ Чаадаева и заключилъ пошлую рѣчь, сказанную тѣмъ докторальнымъ тономъ, который самъ по себѣ вызываетъ на насмѣшку, слѣдующими словами: «Какъ бы то ни было, я считаю его поступокъ презрительнымъ, гнуснымъ, я не уважаю такого человѣка».

Въ комнатѣ былъ одинъ человѣкъ близкій съ Чаадаевымъ, это я. О Чаадаевѣ я буду еще много говорить, я его всегда любилъ и уважалъ, и былъ любимъ имъ; мнѣ казалось неприличнымъ пропустить дикое замѣчаніе. Я сухо спросилъ его, полагаетъ ли онъ, что Чаадаевъ писалъ свою статью изъ видовъ или неоткровенно?

— Совсѣмъ нѣтъ,—отвѣчалъ магистръ.

На этомъ завязался непріятный разговоръ, я ему доказывалъ, что эпитеты гнусный, презрительный — *гнусны и презрительны*, относясь къ человѣку, смѣло высказавшему свое мнѣніе и пострадавшему за него. Онъ мнѣ толковалъ о цѣлости народа, о единствѣ отечества, о преступленіи разрушать это единство, о святыняхъ, до которыхъ нельзя касаться.

Вдругъ мою рѣчь подкошилъ Бѣлинскій. Онъ вскочилъ съ своего дивана, подошелъ ко мнѣ уже блѣдный какъ полотно и, ударивъ меня по плечу, сказалъ:—«Вотъ они высказались—инквизиторы, цензоры—на веревочкѣ мысль водить»... и пошелъ, и пошелъ. Съ грознымъ вдохновеніемъ говорилъ онъ, приправляя серьезные слова убійственными колкостями. «Что за обидчивость такая, палками бьютъ, не обижаемся, въ Сибирь посылаютъ, не обижаемся, а тутъ Чаадаевъ, видите, зацѣпилъ народную честь, не смѣй говорить; рѣчь—дерзость, лакей никогда не долженъ говорить! Отчего же въ странахъ больше образованныхъ, гдѣ ка-

жется чувствительность тоже должна быть развитѣе, чѣмъ въ Костромѣ да Калугѣ, не обижаются словами?»

— Въ образованныхъ странахъ, сказалъ съ неподражаемымъ самодовольствомъ магистръ, есть тюрьмы, въ которыя запираютъ безумныхъ, оскорбляющихъ то, что цѣлый народъ чтить... и прекрасно дѣлаютъ.

Бѣлинскій выросъ, онъ былъ страшенъ, великъ въ эту минуту, скрестивъ на больной груди руки и, глядя прямо на магистра, онъ отвѣтилъ глухимъ голосомъ:

— «А въ еще болѣе образованныхъ странахъ бываетъ гильотина, которой казнятъ тѣхъ, которые находятъ это прекраснымъ».

Сказавши это, онъ бросился на кресло, изнеможенный, и замолчалъ. При словѣ гильотина хозяинъ поблѣднѣлъ, гости обезпокоились, сдѣлалась пауза. Магистръ былъ уничтоженъ, но именно въ эти минуты самолюбіе людское и закусываетъ удила. И. Тургеневъ совѣтуетъ человѣку, когда онъ такъ затѣшется въ спорѣ, что самому сдѣлается страшно, провести разъ десять языкомъ внутри рта, прежде чѣмъ вымолвить слово.

Магистръ, не зная этого домашняго средства, продолжалъ пороть вялые пустяки, обращаясь больше къ другимъ, чѣмъ къ Бѣлинскому.

— Несмотря на вашу нетерпимость, сказалъ онъ наконецъ, я увѣренъ, что вы согласитесь съ однимъ... — «Нѣтъ, отвѣчалъ Бѣлинскій, что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни съ чѣмъ!»

Всѣ размѣялись и пошли ужинать. Магистръ схватилъ шляпу и уѣхалъ.

...Лишенія и страданія скоро совсѣмъ подточили болѣзненный организмъ Бѣлинскаго. Лицо его, особенно мышцы около губъ, печально остановившійся взоръ равно говорили о сильной работѣ духа и о быстромъ разложеніи тѣла.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ его въ Парижѣ осенью 1847 г., онъ былъ очень плохъ, боялся громко говорить, и лишь минутами воскресала прежняя энергія и ярко свѣтилась своимъ догорающимъ огнемъ. Въ такую минуту написалъ онъ свое письмо къ Гоголю.

Вѣсть о февральской революціи еще застала его въ живыхъ, онъ умеръ, принимая зарево ея за занимающееся утро!

Такъ оканчивалась эта глава въ 1854 г.; съ тѣхъ поръ многое перемѣнилось. Я сталъ гораздо ближе къ тому времени, ближе увеличивающейся далью отъ здѣшнихъ людей, прїѣздомъ Огарева и двумя книгами: Анненковской біографіей Станкевича и первыми частями сочиненій Бѣлинскаго. Изъ вдругъ раскрывшагося окна

въ больничной палатѣ дунуло свѣжимъ воздухомъ полей, молодымъ воздухомъ весны.

Переписка Станкевича прошла незамѣтно. Она появилась не кстати. Въ концѣ 1857 Россія ждала и надѣялась; это худшее настроеніе для воспоминаній... Но книга эта не пропадетъ. Она останется, на убогомъ кладбищѣ, однимъ изъ рѣдкихъ памятниковъ своего времени, по которымъ грамотный можетъ прочесть, что тогда хоронилось безгласно. Полоса, идущая отъ 1825 до 1855 года, скоро совсѣмъ задвинется; человѣческіе слѣды пропадутъ и будущія поколѣнія не разъ остановятся съ недоумѣніемъ передъ гладко убитымъ пустыремъ, отыскивая пропавшіе пути мысли, которая *въ сущности* не перерывалась. Повидимому, потокъ былъ остановленъ, но кровь переливалась проселочными тропинками. Вотъ эти-то волосяные сосуды и оставили свой слѣдъ въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго, въ перепискѣ Станкевича.

Тридцать лѣтъ тому назадъ, Россія *будущаго* существовала исключительно между нѣсколькими мальчиками, только что вышедшими изъ дѣтства, а въ нихъ было наслѣдіе общечеловѣческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, какъ трава, пытающаяся расти на губахъ непростывшаго кратера.

Въ самой пасти чудовища выдѣляются дѣти, не похожія на другихъ дѣтей; они растутъ, развиваются и начинаютъ жить совсѣмъ другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничѣмъ не поддержанные, напротивъ, всѣмъ гонимые, они легко могутъ погибнуть безъ малѣйшаго слѣда, *но остаются*, и если умираютъ на полдорогѣ, то не все умираетъ съ ними. Это начальныя ячейки, зародыши исторіи, едва замѣтные, едва существующіе, какъ всѣ зародыши вообще.

Мало по малу изъ нихъ составляются группы. Болѣе родное собирается около своихъ средоточій; группы потомъ отталкиваютъ другъ друга. Это расчлененіе даетъ имъ ширь и многосторонность для развитія; развиваясь до конца, т. е. до крайности, вѣтви опять соединяются, какъ бы онѣ ни назывались—кругомъ Станкевича, славянофилами или нашимъ кружкомъ.

Главная черта всѣхъ ихъ—глубокое чувство отчужденія отъ официальной Россіи, отъ среды ихъ окружавшей, и съ тѣмъ вмѣстѣ, стремленіе выйти изъ нея,—а у нѣкоторыхъ порывистое желаніе вывести и ее самое.

Возраженіе, что эти кружки, незамѣтные ни сверху, ни снизу, представляютъ явленіе исключительное, постороннее, безсвязное, что воспитаніе большей части этой молодежи было экзотическое, чужое, и что они скорѣе выражаютъ переводъ на русское французскихъ и нѣмецкихъ идей, чѣмъ что-нибудь свое,—намъ кажется очень неосновательнымъ.

Можетъ, въ концѣ прошлаго и началѣ нашего вѣка, была въ аристократіи закраинка русскихъ иностранцевъ, оборвавшихъ всѣ связи съ народной жизнью; но у нихъ не было ни живыхъ интересовъ, ни круговъ, основанныхъ на убѣжденіяхъ, ни своей литературы. Они вымерли бесплодно. Жертвы петровскаго разрыва съ народомъ, они остались чудаками и капризниками; это были люди не только не нужные, но и не жалкіе. Война 1812 года положила имъ предѣлъ,—старые доживали свой вѣкъ, новыхъ не развивалось въ томъ направленіи. Ставить въ ихъ число людей въ родѣ П. Я. Чаадаева было бы страшнѣйшей ошибкой.

Протестація, отрицаніе, ненависть къ родинѣ, если хотите, имѣютъ совсѣмъ иной смыслъ, чѣмъ равнодушная чуждость. Байронъ, бичуя англійскую жизнь, бѣгая отъ Англіи, какъ отъ чумы, оставался типическимъ англичаниномъ. Гейне, старавшійся изъ озлобленія, за гнусное политическое состояніе Германіи, офранцузиться, оставался истымъ нѣмцемъ. Высшій протестъ противъ юдаизма, христіанство исполнено юдаическаго характера. Разрывъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ съ Англіей могъ развить войну и ненависть, но не могъ сдѣлать изъ сѣверо-американцевъ не-англичанъ.

Люди вообще отрѣшаются отъ своихъ фізіологическихъ воспоминаній и отъ своего наслѣдственнаго склада очень трудно; для этого надобно или особенную безстрастную стертость, или отвлеченныя занятія. Безличность математики, внѣ-человѣческая объективность природы не вызываютъ этихъ сторонъ духа, не будятъ ихъ; но какъ только мы касаемся вопросовъ жизненныхъ, художественныхъ, нравственныхъ, гдѣ человѣкъ не только наблюдатель и слѣдователь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и участникъ, тамъ мы находимъ фізіологическій предѣлъ, который очень трудно перейти съ прежней кровью и прежнимъ мозгомъ, не исключивъ изъ нихъ слѣды колыбельныхъ пѣсенъ, родныхъ полей и горъ, обычаевъ и всего окружавшаго строя.

Поэтъ и художникъ въ истинныхъ своихъ произведеніяхъ всегда народенъ. Чтобъ онъ ни дѣлалъ, какую бы онъ не имѣлъ цѣль и мысль въ своемъ творествѣ, онъ выражаетъ волею или неволею какія-нибудь стихіи народнаго характера и выражаетъ ихъ глубже и яснѣе, чѣмъ сама исторія народа. Даже отрѣшаясь отъ всего народнаго, художникъ не утрачиваетъ главныхъ чертъ, по которымъ можно узнать *чьихъ онъ*. Гёте нѣмецъ и въ греческой Ифигеніи и въ восточномъ Диванѣ. Поэты въ самомъ дѣлѣ, по римскому выраженію, «пророки»; только они высказываютъ не то, чего нѣтъ и что будетъ случайно, а то, что *неизвѣстно*, что *есть* въ тускломъ сознаніи массъ, что еще дремлетъ въ немъ.

Все, что искони существовало въ душѣ народовъ англо-саксонскихъ, перехвачено какъ кольцомъ одной личностью,—и каждое волокно, каждый намекъ, каждое посягательство, бродившее изъ поколѣнья въ поколѣнье, не отдавая себѣ *отчета*, получило форму и языкъ.

Вѣроятно никто не думаетъ, чтобы Англія временъ Елизаветы, особенно большинство народа, понимало отчетливо Шекспира; оно и теперь не понимаетъ отчетливо—да, вѣдь, они и себя не понимаютъ отчетливо. Но что англичанинъ, ходящій въ театръ, инстинктивно, по сочувствію понимаетъ Шекспира, въ этомъ я не сомнѣваюсь. Ему на ту минуту, когда онъ слушаетъ, становится что-то знакомѣе, яснѣе. Казалось бы народъ, такой способный на быстрое соображеніе, какъ французы, могъ бы тоже понять Шекспира. Характеръ Гамлета, напр., до такой степени обще-человѣческой, особенно въ эпоху сомнѣній и раздумья, въ эпоху сознанія какихъ-то черныхъ дѣлъ, совершившихся возлѣ нихъ, какихъ-то измѣнъ великому въ пользу ничтожнаго и пошлаго, что трудно себѣ представить, чтобъ его не поняли. Но не смотря на всѣ усилія и опыты, Гамлетъ чужой для француза.

Если аристократы прошлаго вѣка, систематически пренебрегавшіе всѣмъ русскимъ, оставались въ самомъ дѣлѣ невѣроятно больше русскими, чѣмъ дворовые оставались мужиками, то тѣмъ больше русскаго характера не могло утратиться у молодыхъ людей отъ того, что они занимались науками по французскимъ и нѣмецкимъ книгамъ. Часть московскихъ славянъ съ Гегелемъ въ рукахъ вошли въ ультра-славянизмъ.

Самое появленіе кружковъ, о которыхъ идетъ рѣчь, было естественнымъ отвѣтомъ на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.

Объ застоѣ послѣ перелома въ 1825 году мы говорили много разъ. Нравственный уровень общества палъ, развитіе было перервано, все передовое, энергическое, вычеркнуто изъ жизни. Остальные—испуганные, слабые, потерянные—были мелки, пусты; дрянь александровскаго поколѣнья заняла первое мѣсто; они, мало по малу, превратились въ подбострастныхъ дѣльцевъ, утратили дикую поэзію кутежей и барства и всякую тѣнь самобытнаго достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время ихъ прошло.

Подъ этимъ большимъ *свѣтомъ* безучастно молчалъ большой *міръ* народа; для него ничего не перемѣнилось,—ему было скверно, но не сквернѣе прежняго, новые удары сыпались не на его избытую спину. Его время *не пришло*. Между этой крышей и этой основой, дѣти первые приподняли голову, можетъ оттого, что они

не подозрѣвали, какъ это опасно; но какъ бы то ни было, этими дѣтми ошеломленная Россія начала приходить въ себя.

Ихъ остановило совершеннѣйшее противурѣчіе *словъ* ученія съ *быльями* жизни вокругъ. Учители, книги, университетъ говорили одно, и это одно было понятно уму и сердцу. Отецъ съ матерью, родные и вся среда говорили другое, съ чѣмъ ни умъ, ни сердце не согласны, но съ чѣмъ согласны предрержація власти и денежныя выгоды. Противурѣчіе это между воспитаніемъ и нравами нигдѣ не доходило до такихъ размѣровъ, какъ въ дворянской Руси. Шершавый нѣмецкій студентъ, въ круглой фуражкѣ на седьмой части головы, съ міросокрушительными выходками, гораздо ближе, чѣмъ думаютъ, къ нѣмецкому шписбюргеру; а исхудалый отъ соревнованія и честолюбія *collégien* французскій уже *en herbe l'homme raisonnable, qui exploite sa position*.

Число воспитывающихся у насъ всегда было чрезвычайно мало; но тѣ, которые воспитывались, получали не то чтобъ обемистое воспитаніе, но довольно общее и гуманное; оно *очеловѣчивало* учениковъ всякій разъ, когда принималось. Но человетка то именно и ненужно было ни для іерархической пирамиды, ни для преуспѣянія помѣщичьяго быта. Приходилось или снова расчеловѣчаться—такъ толпа и дѣлала—или пріостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли дѣйствительно быть помѣщикомъ?» За симъ, для однихъ, болѣе слабыхъ и нетерпѣливыхъ, начиналось праздное существованіе корнета въ отставкѣ, деревенской лѣни, халата, странностей, картъ, вина; для другихъ—время искусства и внутренней работы. Жить въ полномъ нравственномъ разладѣ они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательнымъ устраненіемъ себя; возбужденная мысль требовала выхода. Разное разрѣшеніе вопросовъ, одинаково мучившихъ молодое поколѣніе, обусловило распаденіе на разные круги.

Такъ сложился, на примѣръ, нашъ кружокъ и встрѣтилъ въ университетѣ, уже готовымъ, кружокъ Сунгуровскій. Направленіе его было, какъ и наше, больше политическое, чѣмъ научное. Кругъ Станкевича, образовавшійся въ то же время, былъ равно близокъ и равно далекъ съ обоими. Онъ шелъ другимъ путемъ, его интересы были чисто теоретическіе.

Въ тридцатыхъ годахъ убѣжденія наши были слишкомъ юны, слишкомъ страстны и горячи, чтобъ не быть исключительными. Мы могли холодно уважать кругъ Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философскія системы, занимались анализомъ себя и успокаивались въ роскошномъ пантеизмѣ, изъ котораго не исключалось христіанство. Мы мечтали о томъ, какъ начать въ Россіи новый союзъ по образцу декабристовъ и самую науку

считали средствомъ. Правительство постаралось закрѣпить насъ въ тенденціяхъ нашихъ.

Въ 1834 году былъ сосланъ весь кружокъ Сунгурова — и исчезъ.

Въ 1835 году сослали насъ; черезъ пять лѣтъ, мы возвратились, закаленные испытаннымъ. Юношескія мечты сдѣлались невозвратнымъ рѣшеніемъ совершеннолѣтнихъ. Это было самое блестящее время Станкевичева круга. Его самого я ужъ не засталъ, онъ былъ въ Германіи; но именно тогда статьи Бѣлинскаго начинали обращать на себя вниманіе всѣхъ.

Возвратившись, мы помѣрились. Бой былъ неровень съ обѣихъ сторонъ; почва, оружіе и языкъ — все было розное. Послѣ бесплодныхъ преній, мы увидѣли, что пришелъ нашъ чередъ серьезно заняться наукой и сами принялись за Гегеля и нѣмецкую философію. Когда мы довольно усвоили ее себѣ, оказалось, что между нами и кругомъ Станкевича спору нѣтъ.

Кругъ Станкевича долженъ былъ неминуемо распуститься. Онъ свое сдѣлалъ, и сдѣлалъ самымъ блестящимъ образомъ; влияніе его на всю литературу и на академическое преподаваніе было огромно, — стоитъ назвать Бѣлинскаго и Грановскаго; въ немъ сложился Кольцовъ, къ нему принадлежали Боткинъ, Катковъ и пр. Но замкнутымъ кругомъ онъ оставаться не могъ, не перейдя въ нѣмецкій доктринаризмъ, — живые люди изъ русскихъ къ нему не способны.

Возлѣ Станкевичева круга, сверхъ насъ, былъ еще другой кругъ, сложившійся во время нашей ссылки, и былъ съ ними въ такой же черезполосицѣ, какъ и мы; его-то впослѣдствіи называли славянофилами. *Славяне* приближались съ противоположной стороны къ тѣмъ же жизненнымъ вопросамъ, которые занимали насъ, были гораздо больше ихъ ринуты въ живое дѣло и въ настоящую борьбу.

Между ними и нами естественно должно было раздѣлиться общество Станкевича. Аксаковы, Самаринъ примкнули къ славянамъ, т. е. къ Хомякову и Кирѣевскимъ. Бѣлинскій, Бакунинъ — къ намъ. Ближайшій другъ Станкевича, наиболѣе родной ему всѣмъ существомъ своимъ, Грановскій, былъ нашимъ съ самаго пріѣзда изъ Германіи.

Если-бъ Станкевичъ остался живъ, кружокъ его все же бы не устоялъ. Онъ самъ перешелъ бы къ Хомякову или къ намъ.

Въ 1842 сортировка по сродству давно была сдѣлана, и нашъ станъ сталъ въ боевой порядокъ лицомъ къ лицу съ славянами. Объ этой борьбѣ мы будемъ говорить въ другомъ мѣстѣ.

Въ заключеніе прибавлю нѣсколько словъ объ элементахъ, изъ которыхъ составилъ кругъ Станкевича; это бросаетъ своего

рода лучъ на страннныя подземныя потоки, въ тиши подмывающіе плотную кору русско-нѣмецкаго устройства.

Станкевичъ былъ сынъ богатаго воронежскаго помѣщика, сначала воспитывался на всей барской волѣ, въ деревнѣ, потомъ его посылали въ острогожское училище (и это чрезвычайно оригинально). Для хорошихъ натуръ богатое и даже аристократическое воспитаніе очень хорошо. Довольство даетъ развязную волю и ширь всякому развитію и всякому росту, не стягиваетъ молодой умъ преждевременной заботой, боязнью передъ будущимъ, наконецъ, оставляетъ полную волю заниматься тѣми предметами, къ которымъ влечетъ.

Станкевичъ развивался стройно и широко; его художественная, музыкальная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сильно рефлектирующая и созерцающая натура заявила себя съ самаго начала университетскаго курса. Способность Станкевича не только глубоко и сердечно понимать, но и примирять, или, какъ нѣмцы говорятъ, *снимать* противорѣчія, была основана на его художественной натурѣ. Потребность гармоніи, стройности, наслажденія дѣлаетъ ихъ снисходительными къ средствамъ; чтобъ не видать колодца, они покрываютъ его холстомъ. Холстъ не выдержитъ напора, но зіяющая пропасть не мѣшаетъ глазу. Этимъ путемъ нѣмцы доходили до пантеистическаго квіетизма и опочили на немъ; но такой даровитый русскій, какъ Станкевичъ, не остался бы надолго «мирнымъ».

Это видно изъ перваго вопроса, который невольно тревожитъ Станкевича тотчасъ послѣ курса.

Срочныя занятія окончены, онъ предоставленъ себѣ, его не ведутъ, но онъ не знаетъ, что ему дѣлать. Продолжать нечего было, кругомъ никто и ничто не звало живого человѣка. Юноша, пришедшій въ себя и успѣвшій оглядѣться послѣ школы, находился въ тогдашней Россіи въ положеніи путника, просыпающагося въ степи: ступай, куда хочешь,—есть слѣды, есть кости погубнувшихъ, есть дикіе звѣри и пустота во всѣ стороны, грозящая тупой опасностью, въ которой погнубнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и съ любовью—это *ученье*.

И вотъ Станкевичъ натягиваетъ ученныя занятія, онъ думаетъ, что его призваніе быть историкомъ, и онъ начинаетъ заниматься Геродотомъ; изъ этого занятія, можно было предвидѣть, ничего не выйдетъ.

Хотѣлось бы ему и въ Петербургъ, гдѣ такъ кипитъ *какая-то* дѣятельность и куда его манитъ театръ и близость къ Европѣ, хотѣлось бы ему побывать почетнымъ зрителемъ училища въ Острогожскѣ; онъ рѣшается быть полезнымъ «на этомъ

скромномъ поприщѣ»,—это еще меньше Геродота удастся. Его въ сущности тянетъ въ Москву, въ Германію, въ родной университетскій кругъ, къ роднымъ интересамъ. Безъ близкихъ людей онъ жить не могъ (новое доказательство, что около не было близкихъ интересовъ). Потребность сочувствія такъ сильна у Станкевича, что онъ иногда выдумывалъ сочувствіе и таланты, видѣлъ въ людяхъ такія качества, которыхъ не было въ нихъ во все, и удивлялся имъ ¹⁾.

Но—и въ этомъ его личная мощь—ему вообще не часто нужно было прибѣгать къ такимъ фикціямъ, онъ на каждомъ шагу встрѣчалъ удивительныхъ людей, *умѣлъ ихъ* встрѣчать, и каждый, подѣлившійся его душою, оставался на всю жизнь страстнымъ другомъ его и каждому своимъ вліяніемъ онъ сдѣлалъ или огромную пользу, или облегчилъ ношу.

Въ Воронежѣ Станкевичъ захаживалъ иногда въ единственную тамошнюю бібліотеку за книгами. Тамъ онъ встрѣчалъ бѣднаго молодого человѣка простого званія, скромнаго, печальнаго. Оказалось, что это сынъ прасола, имѣвшаго дѣла съ отцомъ Станкевича по поставкамъ. Онъ приголубилъ молодого человѣка; сынъ прасола былъ большой начетчикъ и любилъ поговорить о книгахъ. Станкевичъ сблизился съ нимъ. Застѣнчиво и боязливо признался юноша, что онъ и самъ пробовалъ писать стихи и, краснѣя, рѣшился ихъ показать. Станкевичъ обомлѣлъ передъ громаднымъ талантомъ, не сознающимъ себя, не увѣреннымъ въ себѣ. Съ этой минуты онъ его не выпускалъ изъ рукъ до тѣхъ поръ, пока вся Россія съ восторгомъ перечитывала пѣсни Кольцова. Весьма можетъ быть, что бѣдный прасоль, тѣснямый родными, неогрѣтый никакимъ участіемъ, ничьимъ признаніемъ, изшелъ бы своими пѣснями въ пустыхъ степяхъ заволжскихъ, черезъ которыя онъ гонялъ свои гурты, и Россія не услышала бы этихъ чудныхъ кровно-родныхъ пѣсенъ, если-бъ на его пути не стоялъ Станкевичъ.

Бакунинъ, кончивъ курсъ въ артиллерійскомъ корпусѣ, былъ выпущенъ въ гвардію офицеромъ. Его отецъ, говорятъ, сердясь на него, самъ просилъ, чтобы его перевели въ армію; брошенный въ какой-то потерянной бѣлорусской деревнѣ, съ своимъ паркомъ, Бакунинъ одичалъ, сдѣлался нелюдимомъ, не исполнялъ службы и дни цѣлые лежалъ въ тулупѣ на своей постели. Начальникъ парка жалѣлъ его, но дѣлать было нечего, онъ ему напомнилъ, что надобно или слѣдовать, или идти въ отставку. Ба-

¹⁾ Ключниковъ пластически выразилъ это слѣдующимъ замѣчаніемъ: „Станкевичъ — серебряный рубль, завидующій величинѣ мѣднаго пятака“ (Аннен. біограф. Станкевича, стр. 133).

кунинъ не подзѣвалъ, что онъ имѣеть на это право, и тотчасъ попросилъ его уволить. Получивъ отставку, Бакунинъ пріѣхалъ въ Москву; съ этого времени (около 1836) началась для Бакунина серьезная жизнь. Онъ прежде ничѣмъ не занимался, ничего не читалъ и едва зналъ по-нѣмецки. Съ большими діалектическими способностями, съ упорнымъ, настойчивымъ даромъ мышленія, онъ блуждалъ, безъ плана и компаса, въ фантастическихъ построеніяхъ и ауто-дидактическихъ попыткахъ. Станкевичъ понялъ его таланты и засадилъ его за философію. Бакунинъ, по Канту и Фихте, выучился по-нѣмецки и потомъ принялся за Гегеля, котораго методу и логику онъ усвоилъ въ совершенствѣ, и кому не проповѣдывалъ ее потомъ? Намъ и Бѣлинскому, дамамъ и Прудону.

Но Бѣлинскій черпалъ столько же изъ самаго источника; взглядъ Станкевича на искусство, на поэзію и ея отношеніе къ жизни, выросъ въ статьяхъ Бѣлинскаго въ ту новую мощную критику, въ то новое воззрѣніе на міръ, на жизнь, которое поразило все мыслящее въ Россіи и заставило съ ужасомъ отпрянуть отъ Бѣлинскаго всѣхъ педантовъ и доктринеровъ. Бѣлинскаго Станкевичу приходилось заарканивать; увлекающійся за всѣ предѣлы талантъ его, страстный, безпощадный, злой отъ нетерпимости, оскорблялъ эстетически уравновѣшенную натуру Станкевича.

И въ то же время ему приходилось служить опорой, быть старшимъ братомъ, ободрять Грановскаго, тихаго, любящаго, задумчиваго и расхандрыившагося тогда. Письма Станкевича къ Грановскому изящны, прелестны,—и какъ же его любилъ Грановскій!

«Я еще не опомнился отъ перваго удара, писалъ Грановскій, вскорѣ послѣ кончины Станкевича, настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не вѣрю въ возможность потери, только иногда сжимается сердце. Онъ унесъ съ собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свѣтѣ не былъ я такъ много обязанъ. Его вліяніе на насъ было безконечно и благотворно».

... И сколько челоуѣкъ могли сказать это! Можетъ, сказали!...

Въ Станкевичевскомъ кругу только онъ и Боткинъ были достаточные и совершенно обезпеченные люди. Другіе представляли самый разнообразный пролетаріатъ. Бакунину родные не давали ничего; Бѣлинскій — сынъ мелкаго чиновника въ Чембарахъ, исключенный изъ московскаго университета «за слабыя способности», жилъ скудной платой за статьи. Красовъ, окончивъ курсъ, какъ-то поѣхалъ въ какую-то губернію къ помѣщику на *кондицію*; но жизнь съ патріархальнымъ плантаторомъ такъ его испугала,

что онъ пришелъ пѣшкомъ назадъ въ Москву, съ котомкой за спиной, зимою, въ обозѣ чьихъ-то крестьянъ. Вѣроятно, каждому изъ нихъ отецъ съ матерью, благословляя на жизнь, говорили (и кто осмѣлится упрекнуть ихъ за это?): «Ну, смотри же, учись хорошенько; а выучишься, прокладывай себѣ дорогу, тебѣ неоткуда ждать наслѣдства, намъ тебѣ тоже нечего дать, устройвай самъ свою судьбу, да и объ насъ подумай». Съ другой стороны, вѣроятно Станкевичу говорили о томъ, что онъ призванъ, по богатству и рожденію, играть роль, такъ, какъ Боткину все въ домѣ, начиная отъ старика отца до приказчиковъ, толковало словомъ и примѣромъ о томъ, что надобно ковать деньги, наживаться и наживаться.

Что же коснулось этихъ людей, чье дыханіе пересоздало ихъ? Ни мысли, ни заботы о своемъ общественномъ положеніи, о своей личной выгодѣ, объ обеспеченіи; вся жизнь, всѣ усилія устремлены къ общему безъ всякихъ личныхъ выгодъ; одни забываютъ свое богатство, другіе свою бѣдность—и идутъ, не останавливаясь, къ разрѣшенію теоретическихъ вопросовъ. Интересъ истины, интересъ науки, интересъ искусства, *humanitas*—поглощаетъ все.

И замѣтите, что это отрѣшеніе отъ міра сего вовсе не ограничивалось университетскимъ курсомъ и двумя, тремя годами юности. Лучшіе люди круга Станкевича умерли; другіе остались, какими были, до нынѣшняго дня. Бойцомъ и нищимъ палъ, изнуренный трудомъ и страданіями, Бѣлинскій. Проповѣдуя науку и гуманность, умеръ, идучи на свою кафедру, Грановскій. Боткинъ не сдѣлался въ самомъ дѣлѣ купцомъ... Никто изъ нихъ не отличился по службѣ.

То же самое въ двухъ смежныхъ кругахъ, въ славянскомъ и въ нашемъ. Гдѣ, въ какомъ углу современнаго Запада, найдете вы такіе группы отшельниковъ мысли, схимниковъ науки, фанатиковъ убѣжденій, у которыхъ сдѣбуютъ волосы, а стремленья вѣчно юны?

Гдѣ? Укажите,—я бросаю смѣло перчатку, исключаю только на время одну страну, Италію, и отмѣрю шаги поля битвы, т. е. не выпущу противника изъ статистики въ исторію.

Что такое былъ теоретическій интересъ и страсть истины и религіи во времена такихъ мучениковъ разума и науки, какъ Бруно, Галилей и пр., мы знаемъ. Знаемъ и то, что была Франція энциклопедистовъ во второй половинѣ XVIII вѣка, а далѣе? А далѣе—*sta viator!*

Въ современной Европѣ нѣтъ юности и нѣтъ юношей. Мнѣ на это уже возражалъ самый блестящій представитель Франціи послѣднихъ годовъ реставраціи и іюльской династіи, Викторъ

✓ Гюго. Онъ собственно говорилъ о молодой Франціи двадцатыхъ годовъ, и я готовъ согласиться, что я слишкомъ обще выразился ¹⁾; но далѣе я и ему ни шагу не уступлю. Есть собственные признанія. Возьмите «Les mémoires d'un enfant du siècle» и стихотворенія Альфреда де Мюссе, возстановите ту Францію, которая просвѣчиваетъ въ запискахъ Ж. Занда, въ современной драмѣ и повѣсти, въ процессахъ.

Но что же доказываетъ все это? Многое; но на первый случай то, что нѣмецкой работы китайскіе башмаки, въ которыхъ Россію водятъ полтора ста лѣтъ, натерли много мозолей, но видно костей не повредили, если всякой разъ, когда удастся расправить члены, являются такія свѣжія и молодыя силы. Это нисколько не обезпечиваетъ будущаго, но дѣлаетъ его крайне *возможнымъ*.

ГЛАВА XXV.

Предостереженія.—Герольдія.—Канцелярія министра.—III Отдѣленіе.—Исторія будочника.—Генераль Дуббельтъ.—Графъ Бенкендорфъ.—Ольга Александровна Жеребцова.—Вторая ссылка.

Какъ ни привольно было намъ въ Москвѣ, но приходилось перебираться въ Петербургъ. Отецъ мой требовалъ этого; графъ Строгановъ—министръ внутреннихъ дѣлъ—велѣлъ меня зачислить по канцеляріи министерства, и мы отправились туда въ концѣ лѣта 1840 года.

Впрочемъ, я былъ въ Петербургѣ двѣ-три недѣли въ декабрѣ 1839.

Случилось это такъ. Когда съ меня сняли надзоръ и я получилъ право выѣзжать «въ резиденцію и въ столицу», какъ выражался К. Аксаковъ, отецъ мой рѣшительно предпочелъ древней столицѣ невскую резиденцію. Графъ Строгановъ, попечитель, писалъ брату, и мнѣ слѣдовало явиться къ нему. Но это не все. Я былъ представленъ владимірскимъ губернаторомъ къ чину коллежскаго ассесора: отцу моему хотѣлось, чтобъ я этотъ чинъ получилъ какъ можно скорѣе. Въ герольдіи есть чередъ для губерній; чередъ этотъ идетъ черепашинымъ шагомъ, если нѣтъ особенныхъ ходатайствъ. Они почти всегда есть. Цѣна имъ дорогая, потому что все представленіе можно пустить внѣ очередного порядка, но одного чиновника нельзя вырвать изъ списка.

¹⁾ В. Гюго, прочитавъ «Былое и Думы» въ переводѣ Де-Лаво, писалъ мнѣ письмо въ защиту французскихъ юношей временъ реставраціи.

Поэтому надо платить за всѣхъ, «а то—за что же остальные даромъ обойдутъ чередъ?» Обыкновенно чиновники дѣлають складку и посылають депутата отъ себя. На этотъ разъ издержки бралъ на себя мой отецъ и такимъ образомъ нѣсколько владимірскихъ титулярныхъ совѣтниковъ обязаны ему, что они мѣсяцевъ восемь прежде стали ассесорами.

Отправляя меня въ Петербургъ хлопотать по этому дѣлу, мой отецъ, простившись со мною, еще разъ повторилъ: «Бога ради, будь остороженъ, бойся всѣхъ, отъ кондуктора въ дилижансѣ до моихъ знакомыхъ, къ которымъ я даю тебѣ письма, не довѣрайся никому. Петербургъ теперь не то, что былъ въ наше время, тамъ во всякомъ обществѣ навѣрное есть муха или двѣ. Tiens toi pour averti».

Съ этимъ эпиграфомъ къ петербургской жизни сѣлъ я въ дилижансѣ первоначальнаго заведенія, т. е., имѣющаго всѣ недостатки, послѣдовательно устраненные другими, и поѣхалъ.

Приѣхавъ часовъ въ девять вечеромъ въ Петербургъ, я взялъ извозчика и отправился на Исакиевскую площадь,—съ нея хотѣлъ я начать знакомство съ Петербургомъ. Все было покрыто глубокимъ снѣгомъ, только Петръ I на конѣ мрачно и грозно вырѣзывался середь ночной темноты на сѣромъ фонѣ:

Чернѣя сквозь ночной туманъ,
Съ поднятой гордо головою,
Надменно выпрямивъ свой станъ,
Куда-то кажетъ вдаль рукою
Съ коня могучій великанъ;
А конь, притянутый уздою,
Поднялся вверхъ съ переднихъ ногъ,
Чтобъ всадникъ дальше видѣть могъ.

(Юморъ).

Возвратившись въ гостиницу, я нашелъ у себя одного родственника; поговоривши съ нимъ о томъ, о семъ, я, не думая, коснулся до Исакиевской площади и до 14 декабря.

— Что дядюшка? — спросилъ меня родственникъ,—какъ вы оставили его?

— Слава Богу, какъ всегда, онъ вамъ кланяется...

Родственникъ, не мѣняя нисколько лица, одними зрачками телеграфировалъ мнѣ упрекъ, совѣтъ, предостереженіе; зрачки его, косясь, заставили меня обернуться,—истопникъ клалъ дрова въ печь; когда онъ затопилъ ее, причемъ самъ отправлялъ должность раздувальнаго мѣховъ и сдѣлалъ на полу лужу снѣгомъ, оттаявшимъ съ его сапогъ, онъ взялъ кочергу длиною съ кавацкую пику и вышелъ.

Родственникъ мой принялся тогда меня упрекать, что я при истопникѣ коснулся такого скабрезнаго предмета, да еще по-русски. Уходя, онъ сказалъ мнѣ въ полголоса:

— Кстати, чтобъ не забыть, тутъ ходитъ цирюльникъ въ отель, онъ продаетъ всякую дрянъ, гребенки, порченную помаду; пожалуйста, будьте съ нимъ осторожны, я увѣренъ, что онъ въ связяхъ съ полиціей,—болтаетъ всякій вздоръ. Когда я здѣсь стоялъ, я покупалъ у него пустяки, чтобъ скорѣе отдѣлаться.

— Для поощренія. Ну, а прачка тоже числится по корпусу жандармовъ?

— Смѣйтесь, смѣйтесь, вы скорѣе другого попадетесь; только что воротились изъ ссылки, за вами десять нянь приставятъ.

— Въ то время, какъ и семерыхъ довольно, чтобъ быть безъ глазу.

На другой день поѣхалъ я къ чиновнику, занимавшемуся прежде дѣлами моего отца; онъ былъ изъ малороссіянъ, говорилъ съ вопіющимъ акцентомъ по-русски, вовсе не слушая о чемъ рѣчь, всему удивлялся, закрывая глаза и какъ-то по мышиному приподнимая пухленькія лапки... Не вытерпѣлъ и онъ и, видя, что я взялъ шляпу, отвелъ меня къ окошку, осмотрѣлся и сказалъ мнѣ: «Ужь это ви не погнѣвайтесь, такъ по стародавнему знакомству съ семействомъ вашего батюшки и ихъ покойныхъ братцевъ, ви, т. е., насчетъ гисторіи, бывшей съ вами, не очень поговаривайте. Ну, помилуйте, сами обсудите, къ чему это нужно, теперь все прошло какъ димъ; ви что-то жолвили при моей кухаркѣ,—чухна, кто ее знаетъ, я даже такъ немножко—очень испугався».

Пріятный городъ, подумалъ я, оставляя испуганнаго чиновника... Рыхлой снѣгъ валилъ хлопьями, мокро-холодный вѣтеръ пронималъ до костей, рвалъ шляпу и шинель. Кучеръ, едва видя на шагъ передъ собой, шурясь отъ снѣгу и наклоняя голову, кричалъ «гись, гись». Я вспомнилъ совѣтъ моего отца, вспомнилъ родственника, чиновника и того воробья путешественника въ сказкѣ Ж. Зандъ, который спрашивалъ полузамерзнувшаго волка въ Литвѣ, зачѣмъ онъ живетъ въ такомъ скверномъ климатѣ? «Свобода, отвѣчалъ волкъ, заставляетъ забыть климатъ».

Кучеръ правъ — «берегись, берегись!» И какъ мнѣ хотѣлось поскорѣй уѣхать.

Я и то недолго остался въ мой первый пріѣздъ. Въ три недѣли я все покончилъ и къ новому году прискакалъ назадъ во Владиміръ.

Опытность, пріобрѣтенная мною въ Вяткѣ, послужила мнѣ чрезвычайно въ герольдіи. Я зналъ уже, что герольдія нѣчто въ родѣ прежняго Сень-Джайля въ Лондонѣ. Сень-Джайль для очистки взяли пристуномъ, скупая дома и приравнивая ихъ землѣ; тоже

слѣдуетъ сдѣлать съ герольдіей. Къ тому же она совершенно не нужна, какое-то паразитное мѣсто,—служба служебнаго повышенія, министерство табели о рангахъ, археологическое общество изысканія дворянскихъ грамотъ, канцелярія въ канцеляріи. Само собою разумѣется, что и злоупотребленія тамъ должны были быть *второго порядка*.

Повѣренный моего отца привелъ ко мнѣ длиннаго старика въ мундирномъ фракѣ, котораго каждая пуговица висѣла на ниткахъ, нечистаго и уже закусившаго, несмотря на ранній часъ. Это былъ корректоръ изъ сенатской типографіи; поправляя грамматическія ошибки, онъ за кулисами помогалъ инымъ ошибкамъ разныхъ оберъ-секретарей. Я въ полчаса стоворился съ нимъ, поторговавшись точно такъ, какъ бы рѣчь шла о покупкѣ лошади или мебели. Впрочемъ, онъ самъ положительно отвѣчать не могъ, бѣгалъ въ сенатъ за инструкціями и, наконецъ, получивши ихъ, просилъ «задаточку».

— Да сдержатъ ли они обѣщаніе?

— Нѣтъ, ужъ это позвольте, это не такіе люди, этого никогда не бываетъ, чтобъ, получивши благодарность, не исполнить долгъ чести, отвѣтилъ корректоръ до того обиженнымъ тономъ, что я счелъ нужнымъ его смягчить легкой прибавочкой благодарности.

— Въ герольдіи-съ, замѣтилъ онъ, обезоруженный мной,—былъ прежде секретарь, удивительный человекъ, вы, можетъ, слышали о немъ, бралъ на пропалую и все съ рукъ сходило. Разъ какой-то провинціальныи чиновникъ пришелъ въ канцелярію потолковать о своемъ дѣлѣ, да, прощаясь, потихоньку изъ-подъ шляпы ему и подаетъ сѣренькую бумажку. «Да что у васъ за секреты, говоритъ ему секретарь, помилуйте, точно любовную записку подаете,—ну, сѣренькая, тѣмъ лучше, пусть другіе просители видятъ, это ихъ поощритъ, когда они узнаютъ, что двѣсти рублей я взялъ, да зато дѣло обдѣлалъ». И растянувъ ассигнацію, онъ ее сложилъ и сунулъ въ жилетный карманъ.

Корректоръ былъ правъ. Секретарь исполнилъ долгъ чести.

Я оставилъ Петербургъ съ чувствомъ очень близкимъ къ ненависти. А между тѣмъ дѣлать было нечего, надобно было перебраться въ непріязненный городъ ¹⁾.

Я недолго служилъ, всячески лынялъ отъ дѣла, и потому многого о службѣ мнѣ рассказывать нечего. Канцелярія министра внутреннихъ дѣлъ относилась къ канцеляріи вятскаго губернатора, какъ сапоги вычищенные относятся къ невычищеннымъ; та

¹⁾ Послѣ этого въ «Полярной Звѣздѣ» (кн. I. стр. 108.) напечатано: въ началѣ 1840 г. пришла бумага во Владимірѣ о моемъ переводѣ на службу къ графу А. Строгонову.

же кожа, тѣ же подошвы, но одни въ грязи, а другіе подѣ лакомъ. Я не видалъ здѣсь пьяныхъ чиновниковъ, не видалъ, какъ берутъ двугривенники за справку, а что-то мнѣ казалось, что подѣ этими плотно пригнанными фраками и тщательно вычесанными волосами живетъ такая дрянная, черная, мелкая, завистливая и трусливая душенка, что мой столоначальникъ въ Вяткѣ казался мнѣ больше человѣкомъ, чѣмъ они. Я вспоминалъ, глядя на новыхъ товарищей, какъ онъ разъ, на пирушкѣ у губернскаго землемѣра, выпивши, игралъ на гитарѣ плясовую и, наконецъ, не вытерпѣвъ, вскочилъ съ гитарой и пустился въ присядку; ну, эти ничѣмъ не увлекутся, въ нихъ не кипитъ кровь, вино не вскружитъ имъ голову. Въ танцъ-классѣ гдѣ-нибудь съ нѣмочками они умѣютъ пройти французскую кадрили, представить изъ себя разочарованныхъ, сказать стихъ Тимофеева или Кукольника... дипломаты, аристократы и Манфреды. Жаль только, что министръ Дашковъ не могъ этихъ Чайльдъ-Гарольдовъ отучить въ театрѣ, въ церкви, вездѣ дѣлать фронтъ и кланяться.

Петербуржцы смѣются надъ костюмами въ Москвѣ, ихъ оскорбляютъ венгерки и картузы, длинные волосы, гражданскіе усы. Москва дѣйствительно городъ штатскій, нѣсколько распущенный, непривыкшій къ дисциплинѣ, но достоинство это или недостатокъ,—это нерѣшенное дѣло. Стройность одинаковости, отсутствие разнообразія, личнаго, капризнаго, своеобразнаго, обязательная форма, внѣшній порядокъ, все это въ высшей степени развито въ казармахъ. Моды нигдѣ не соблюдаются съ такимъ уваженіемъ, какъ въ Петербургѣ, это доказываетъ незрѣлость нашего образованія; наши платья чужія. Въ Европѣ люди одѣваются, а мы рядимся и поэтому боимся, если рукавъ широкъ или воротникъ узокъ. Въ Парижѣ только боятся быть одѣтымъ безъ вкуса, въ Лондонѣ боятся только простуды, въ Италіи всякій одѣвается, какъ хочетъ. Если-бъ показать эти батальоны одинаковыхъ сюртуковъ, плотно застегнутыхъ, щеголей на Невскомъ проспектѣ, англичанинъ принялъ бы ихъ за отрядъ полисменовъ.

Всякій разъ дѣлалъ я надъ собою усиліе, входя въ министерство. Начальникъ канцеляріи К. К. фонъ-Поль, гернгутеръ, добродѣтельный и лимфатическій уроженецъ съ острова Даго, навелъ какую-то благочестивую скуку на все его окружавшее. Начальники отдѣленій озабоченно бѣгали съ портфелями, были недовольны столоначальниками, столоначальники писали, писали, дѣйствительно были завалены работою и имѣли перспективу умереть за тѣми же столами, по крайней мѣрѣ просидѣть, безъ особенно счастливыхъ обстоятельствъ, лѣтъ двадцать. Въ регистратурѣ былъ чиновникъ, тридцать третій годъ записывавшій исходящія бумаги и печатавшій пакеты.

Мое «упражненіе въ стилѣ» и здѣсь доставило мнѣ нѣкоторую льготу; испытавъ мою неспособность ко всему другому, начальникъ отдѣленія поручилъ мнѣ составленіе общаго отчета по министерству изъ частныхъ губернскихъ. Предусмотрительность начальства нашла нужнымъ впередъ объяснить нѣкоторые будущіе выводы, не оставляя ихъ на произволъ цифръ и фактовъ. Такъ, напр., въ слегка набросанномъ планѣ отчета было сказано: «Изъ разсматриванія числа и характера преступленій (ни число, ни характеръ еще не были извѣстны) в. в. изволите усмотрѣть успѣхи народной нравственности и усиленное дѣйствіе начальства съ цѣлью оную уллучшить».

Судьба и графъ Бенкендорфъ спасли меня отъ участія въ подложномъ отчетѣ. Это случилось такъ.

Въ первыхъ числахъ декабря, часовъ въ девять утромъ, Матвѣй сказалъ мнѣ, что квартальный надзиратель желаетъ меня видѣть. Я не могъ догадаться, что его привело ко мнѣ, и велѣлъ просить. Квартальный показалъ мнѣ клочекъ бумаги, на которомъ было написано, чтобъ онъ «пригласилъ» меня въ 10 часовъ утра въ III отдѣленіе собств. с. в. канцеляріи».

— Очень хорошо, отвѣчалъ я, это у Цѣпнаго моста?

— Не беспокойтесь, у меня внизу сани, я съ вами поѣду.

Дѣло скверное, подумалъ я, и сердце сильно сжалось. Я взошелъ въ спальню. Жена моя сидѣла съ малюткою, который только-что сталъ оправляться послѣ долгой болѣзни. «Что онъ хочетъ?» спросила она.— Не знаю, какой-нибудь вздоръ, мнѣ надобно съѣздить съ нимъ... Ты не беспокойся. Жена моя посмотрѣла на меня, ничего не отвѣчала, только поблѣднѣла, какъ будто туча набѣжала на ея лицо, и подала мнѣ малютку проститься.

Я испыталъ въ эту минуту, насколько тягостнѣе всякій ударъ семейному человѣку, ударъ бьетъ не его одного, и онъ страдаетъ за всѣхъ и невольно винить себя за ихъ страданія.

Переломить, подавить, скрыть это чувство можно; но надобно знать, чего это стоить; я вышелъ изъ дома съ черной тоской. Не таковъ былъ я, отправляясь шесть лѣтъ передъ тѣмъ съ полицмейстеромъ Миллеромъ въ Пречистенскую часть.

Проѣхали мы Цѣпной мостъ, Лѣтній садъ и завернули въ бывшій домъ Кочубея. Шли мы всякими дворами и двориками, и дошли, наконецъ, до канцеляріи. Несмотря на присутствіе комиссара, жандармъ насъ не пустилъ, а вызвалъ чиновника, который, прочитавъ бумагу, оставилъ квартальнаго въ коридорѣ, а меня просилъ идти за нимъ. Онъ меня привелъ въ директорскую комнату. За большимъ столомъ, возлѣ котораго стояло нѣсколько креселъ, сидѣлъ одинъ одиноконекъ старикъ худой, сѣдой, съ зловѣщимъ лицомъ. Онъ для важности дочиталъ какую-то бумагу,

потомъ всталъ и подошелъ ко мнѣ. На груди его была звѣзда, изъ этого я заключилъ, что это какой-нибудь корпусный командиръ.

— Видѣли вы генерала Дуббелта?

— Нѣтъ.

Онъ помолчалъ, потомъ, несмотря мнѣ въ глаза, морщась и сводя бровями, спросилъ какимъ-то стертымъ голосомъ (голосъ этотъ мнѣ ужасно напомнилъ нервно шипящіе звуки Г. junior-а московской слѣдственной комиссіи).

— Вы, кажется, не очень давно получили разрѣшеніе пріѣзжать въ столицу?

— Въ прошедшемъ году.

Старикъ покачалъ головой.

— Плохо вы воспользовались милостью государя. Вамъ, кажется, придется опять ѣхать въ Вятку.

Я смотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Да-съ, продолжалъ онъ,—хорошо показываете вы признательность правительству, возвратившему васъ.

— Я совершенно ничего не понимаю, сказалъ я, теряясь въ догадкахъ.

— Не понимаете? ... Это-то и плохо! Что за связи, что за занятія? вмѣсто того, чтобъ первое время показать усердіе, смыть пятна, оставшіяся отъ юношескихъ заблужденій, обратить свои способности на пользу,—нѣтъ! куда! Все политика, да пересуды, и все во вредъ правительству. Вотъ и договорились. Какъ васъ опытъ не научилъ? Почему вы знаете, что въ числѣ тѣхъ, которые съ вами толкуютъ, нѣтъ всякій разъ какого-нибудь *мерзавца* ¹⁾, который лучше не просить, какъ черезъ минуту придти сюда съ доносомъ.

— Ежели вы можете мнѣ объяснить, что все это значитъ, вы меня очень обяжете. Я ломаю себѣ голову и никакъ не понимаю, куда ведутъ ваши слова или на что намекаютъ.

— Куда ведутъ?... Хм... Ну, а скажите, слышали вы, что у Синяго моста будочникъ убилъ и ограбилъ ночью человѣка?

— Слышалъ, отвѣчалъ я пренаивно.

— И, можетъ, повторяли?

— Кажется, что повторялъ.

— Съ разсужденіями, я чай?

— Вѣроятно.

— Съ какими же разсужденіями?—Вотъ оно наклонность къ порицанію правительства. Скажу вамъ откровенно, одно дѣлаетъ

¹⁾ Я честнымъ словомъ увѣряю, что слово «мерзавецъ» было употреблено почтеннымъ старцемъ.

вамъ честь, это ваше искреннее сознание, и оно будетъ навѣрно принято графомъ въ соображеніе.

— Помилуйте, сказалъ я, какое тутъ сознание, объ этой исторіи говорилъ весь городъ, говорили въ канцеляріи министра в. д., въ лавкахъ. Что же тутъ удивительнаго, что и я говорилъ объ этомъ происшествіи?

— Разглашеніе ложныхъ и вредныхъ слуховъ есть преступленіе, нетерпимое законами.

— Вы меня обвиняете, мнѣ кажется, въ томъ, что я выдумалъ это дѣло?

— Въ докладной запискѣ государю сказано только, что вы способствовали къ распространенію такого вреднаго слуха. На что послѣдовала высочайшая резолюція объ возвращеніи васъ въ Вятку.

— Вы меня просто стращаете, отвѣчалъ я.—Какъ же это возможно за такое ничтожное дѣло сослать семейнаго человѣка за тысячу верстъ, да и притомъ приговорить, осудить его, даже не спросивъ,—правда, или нѣтъ?

— Вы сами признались.

— Да какъ же, записка была представлена и дѣло кончено прежде, чѣмъ вы со мной говорили.

— Прочтите сами.

Старикъ подошелъ къ столу, порылся въ небольшой пачкѣ бумагъ, хладнокровно вытащилъ одну и подалъ. Я читалъ и не вѣрилъ своимъ глазамъ.

Я молчалъ. Мнѣ показалось, что самъ старикъ почувствовалъ, что дѣло очень нелѣпо и чрезвычайно глупо, такъ что онъ не нашелъ болѣе нужнымъ защищать его и, тоже помолчавъ, спросилъ:

— Вы, кажется, сказали, что вы женаты?

— Женатъ,—отвѣчалъ я.

— Жаль, что это прежде мы не знали, впрочемъ, если что можно сдѣлать, графъ сдѣлаетъ, я ему передамъ нашъ разговоръ. Изъ Петербурга *во всякомъ случаѣ* васъ выплютъ.

Онъ посмотрѣлъ на меня. Я молчалъ, но чувствовалъ, что лицо горѣло, все, что я не могъ высказать, все, задержанное внутри, можно было видѣть въ лицѣ.

Старикъ опустилъ глаза, подумалъ и вдругъ апатическимъ голосомъ, съ притязаніемъ на тонкую учтивость, сказалъ мнѣ:

— Я не смѣю долѣе задерживать васъ; желаю душевно,—впрочемъ, дальнѣйшее вы узнаете.

Я бросился домой. Разъядающая злоба кипѣла въ моемъ сердцѣ: это чувство безправія, безсилія, это положеніе пойманнаго звѣря, надъ которымъ презрительный уличный мальчишка издѣвается,

понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтобъ сломить рѣшетку.

Жену я засталъ въ лихорадкѣ, она съ этого дня занемогла и, испуганная еще вечеромъ, черезъ нѣсколько дней имѣла преждевременные роды. Ребенокъ умеръ черезъ день. Едва черезъ три или черезъ четыре года оправилась она.

И что это у нихъ за страсть — поднять сумбуръ, скакать во весь опоръ, хлопотать, все дѣлать опрометью, точно пожаръ, и все это безъ всякой нужды!

... Грустно сидѣли мы вечеромъ того дня, въ который я былъ въ III отдѣленіи, за небольшимъ столомъ; малютка игралъ на немъ своими игрушками, мы говорили мало; вдругъ кто-то такъ рвануль звонокъ, что мы поневолѣ вздрогнули. Матвѣй бросился открывать дверь и черезъ секунду влетѣлъ въ комнату жандармскій офицеръ, гремя саблей, гремя шпорами, и началъ отборными словами извиняться передъ моею женой: «онъ не могъ думать, не подозрѣвалъ, не предполагалъ, что дама, что дѣти, чрезвычайно неприятно...»

Жандармы — цвѣтъ учтивости. Я это знаю съ Крутицкихъ казармъ.

— Васъ просить къ себѣ генераль Дуббельтъ.

— Когда?

— Помилуйте, теперь, сейчасъ, сію минуту.

— Матвѣй, дай шинель.

Я пожалъ руку женѣ, — на лицѣ у нея были пятна, рука горѣла. Что за спѣхъ, въ десять часовъ вечера, заговоръ открытъ, побѣгъ.

Дуббельтъ прислалъ за мной, чтобъ *мнѣ сказать*, что графъ Бенкендорфъ требуетъ меня завтра въ восемь часовъ утра къ себѣ для объявленія мнѣ высочайшей воли!

Дуббельтъ, — лицо оригинальное, онъ навѣрно умѣе всего третьяго и всѣхъ трехъ отдѣленій собственной канцеляріи. Исхудалое лицо его, отгнѣненное длинными свѣтлыми усами, усталый взглядъ, особенно рытвины на щекахъ и на лбу — ясно свидѣтельствовали, что много страстей боролось въ этой груди, прежде чѣмъ голубой мундиръ побѣдилъ или лучше накрылъ все, что тамъ было. Черты его имѣли что-то волчье и даже лисье, т. е., выражали тонкую смышленность хищныхъ звѣрей; вмѣстѣ уклончивость и заносчивость. Онъ былъ всегда учтивъ.

Когда я взошелъ въ его кабинетъ, онъ сидѣлъ въ мундирномъ сюртукѣ безъ эполетъ и, куря трубку, писалъ. Онъ въ ту же минуту всталъ и, прося меня сѣсть противъ него, началъ слѣдующей удивительной фразой:

— Графъ Александръ Христофоровичъ доставилъ мнѣ случай

познакомиться съ вами. Вы, кажется, видѣли Сахтынскаго сегодня утромъ?

— Видѣлъ.

— Мнѣ очень жаль, что поводъ, который заставилъ меня васъ просить ко мнѣ, несовсѣмъ пріятный для васъ. Неосторожность ваша навлекла снова гнѣвъ его величества на васъ.

— Я вамъ, генераль, скажу то, что сказалъ г. Сахтынскому: я не могу себѣ представить, чтобы меня выслали только за то, что я повторилъ уличный слухъ, который, конечно, вы слышали прежде меня, а, можетъ, точно такъ же рассказывали, какъ я.

— Да, я слышалъ и говорилъ объ этомъ и тутъ мы равны; но вотъ гдѣ начинается разнища: я, повторяя эту нелѣпость, клялся, что этого никогда не было, а вы изъ этого слуха сдѣлали поводъ обвиненія всей полиціи. Это все несчастная страсть *de dénigrer le gouvernement*, страсть развитая въ васъ во всѣхъ, господа, пагубнымъ примѣромъ Запада. У насъ не то, что во Франціи, гдѣ правительство на ножахъ съ партіями, гдѣ его таскають въ грязи; у насъ управленіе отеческое, все дѣлается какъ можно келейнѣе... Мы выбиваемся изъ силъ, чтобъ все шло какъ можно тише и глаже, а тутъ люди, остающіеся въ какой-то бесплодной оппозиціи, несмотря на тяжелыя испытанія, страшатъ общественное мнѣніе, рассказывая и сообщая письменно, что полицейскіе солдаты рѣжутъ людей на улицахъ. Не правда ли? вѣдь, вы писали объ этомъ?

— Я такъ мало придаю важности дѣлу, что совсѣмъ не считаю нужнымъ скрывать, что я писалъ объ этомъ, и прибавлю къ кому, къ моему отцу.

— Разумѣется, дѣло неважное; но вотъ оно до чего васъ довело. Государь тотчасъ вспомнилъ вашу фамилію и что вы были въ Вяткѣ и велѣлъ васъ отправить назадъ. А потому графъ и поручилъ мнѣ увѣдомить васъ, чтобъ вы завтра въ восемь часовъ утра пріѣхали къ нему, онъ вамъ объявитъ высочайшую волю.

— Итакъ, на томъ и останется, что я долженъ ѣхать въ Вятку, съ больной женой, съ больнымъ ребенкомъ, по дѣлу, о которомъ вы говорите, что оно неважно?...

— Да вы служите? — спросилъ меня Дуббельтъ, пристально вглядываясь въ пуговицы моего виць-мундирнаго фрака.

— Въ канцеляріи министра в. д.

— Давно ли?

— Мѣсяцевъ шесть.

— И все время въ Петербургѣ.

— Все время.

— Я понятія не имѣлъ.

— Видите, сказалъ я улыбаясь, какъ я себя скромно вель.

Сахтынский не зналъ, что я женатъ, Дуббельтъ не зналъ, что я на службѣ, а оба знали, что я говорилъ въ своей комнатѣ, какъ думалъ и что писалъ отцу... Дѣло было въ томъ, что я тогда только-что началъ сближаться съ петербургскими литераторами, печатать статьи, а главное, я былъ переведенъ изъ Владиміра въ Петербургъ графомъ Строгоновымъ безъ всякаго участія тайной полиціи, и, пріѣхавши въ Петербургъ, не пошелъ *являться* ни къ Дуббельту, ни въ III отдѣленіе, на что мнѣ намекали добрые люди.

— Помилуйте, перебилъ меня Дуббельтъ,—всѣ свѣдѣнія, собранныя о васъ, совершенно въ вашу пользу, я еще вчера говорилъ съ Жуковскимъ, дай Богъ, чтобъ объ моихъ сыновьяхъ такъ отзывались, какъ онъ отзывался.

— А все-таки въ Вятку...

— Вотъ видите, ваше *несчастіе*, что докладная записка *была подана*, и что многихъ обстоятельствъ не было на виду. Ъхать вамъ надобно, этого поправить нельзя, но я полагаю, что Вятку можно замѣнить другимъ городомъ. Я переговорю съ графомъ, онъ еще сегодня ѣдетъ во дворець. Все, что возможно сдѣлать для облегченія, мы постараемся сдѣлать; графъ человекъ ангельской доброты.

Я всталъ. Дуббельтъ проводилъ меня до дверей кабинета. Тутъ я не вытерпѣлъ и, пріостановившись, сказалъ ему:

— Я имѣю къ вамъ, генералъ, небольшую просьбу. Если вамъ меня нужно, не посылайте, пожалуйста, ни квартальныхъ, ни жандармовъ, они пугаютъ, шумятъ, особенно вечеромъ. За что же большая жена моя будетъ больше всѣхъ наказана въ дѣлѣ будничка?

— Ахъ, Боже мой, какъ это неприятно, возразилъ Дуббельтъ. Какіе они всѣ неловкіе. Будьте увѣрены, что я не пошлю больше полицейскаго. Итакъ, до завтра; не забудьте,—въ восемь часовъ у графа; мы тамъ увидимся.

Точно будто мы сговаривались вмѣстѣ ѣхать къ Смурову ѣсть устрицы.

На другой день, въ восемь часовъ, я былъ въ пріемной залѣ Бенкендорфа. Я засталъ тамъ человекъ пять-шесть просителей; мрачно и озабоченно стояли они у стѣны, вздрагивали при каждомъ шумѣ, жались еще больше и кланялись всѣмъ проходящимъ адъютантамъ. Въ числѣ ихъ была женщина вся въ траурѣ, съ заплаканными глазами, она сидѣла съ бумагой свернутой въ трубочку въ рукахъ, бумага дрожала какъ осиновый листъ. Шага три отъ нея стоялъ высокій, нѣсколько согнувшійся старикъ, лѣтъ семидесяти, плѣшивой и пожелтѣвшій, въ темнозеленой во-

енной шинели, съ рядомъ медалей и крестовъ на груди. Онъ время отъ времени вздыхалъ, качалъ головой и шепталъ что-то себѣ подъ носъ.

У окна сидѣлъ, развѣлся, какой-то «другъ дома», лакей или дежурный чиновникъ. Онъ всталъ, когда я взшелъ; вглядываясь въ его лицо, я узналъ его: мнѣ эту противную фигуру показывали въ театрѣ, это былъ одинъ изъ главныхъ уличныхъ шпионовъ, помнится, по фамиліи Фабръ. Онъ спросилъ меня:

— Вы съ просьбой къ графу?

— По его требованію.

— Ваша фамилія?—Я назвалъ себя.—Ахъ, сказалъ онъ, мѣняя тонъ, какъ будто встрѣтилъ стараго знакомаго. Сдѣлайте одолженіе, не угодно ли сѣсть? Графъ черезъ четверть часа выйдеть.

Какъ-то было страшно тихо и unheimlich въ залѣ, день плохо пробивался сквозь туманъ и замерзнувшія стекла, никто ничего не говорилъ. Адъютанты быстро пробѣгали взадъ и впередъ, да жандармъ, стоявшій за дверями, гремѣлъ иногда своей сбруей, переступая съ ноги на ногу. Подошло еще человѣка два просителей. Чиновникъ бѣгалъ каждаго спрашивать за чѣмъ. Одинъ изъ адъютантовъ подошелъ къ нему и началъ что-то разказывать полшопотомъ, при чемъ онъ придавалъ себѣ видъ отчаяннаго повѣсы; вѣроятно, онъ разказывалъ какія-нибудь мерзости, потому что они часто перерывали разговоръ лакейскимъ смѣхомъ безъ звука, при чемъ почтенный чиновникъ, показывая видъ, что ему мочи нѣтъ, что онъ готовъ надорваться, повторялъ: «перестаньте, ради Бога, перестаньте, не могу больше».

Минуть черезъ пять явился Дуббельтъ, разстегнутый, по-домашнему, бросилъ взглядъ на просителей, при чемъ они поклонились, и издали увидя меня, сказалъ: «Bonjour, M. H., Votre affaire va parfaitement bien, на хорошей дорогѣ...»

Оставляютъ меня, что ли! Я хотѣлъ было спросить, но прежде, чѣмъ успѣлъ вымолвить слово, Дуббельтъ уже скрылся. Вслѣдъ за нимъ взшелъ какой-то генералъ, вычищенный, убранный, зятянутый, вытянутый, въ бѣлыхъ штанахъ, въ шарфѣ, я не видывалъ лучшаго генерала. Если когда-нибудь въ Лондонѣ будетъ выставка генераловъ, такъ, какъ въ Цинцинати теперь Baby-Exhibition, то я совѣтую послать именно его изъ Петербурга. Генералъ подошелъ къ той двери, изъ которой долженъ былъ выйти Бенкендорфъ, и замеръ въ неподвижной вытяжкѣ; я съ большимъ любопытствомъ разсматривалъ этотъ идеаль унтеръ-офицера... Ну, должно быть солдатъ посѣкъ онъ на своемъ вѣку за шагистіку; откуда берутся эти люди? Онъ родился для выкидыванія артикула и для строя! Съ нимъ пришелъ, вѣроятно, его

адъютантъ, тончайшій корнетъ въ мѣрѣ, съ неслыханно длинными ногами, бѣлокурый, съ крошечнымъ бѣличьимъ лицомъ и съ тѣмъ добродушнымъ выраженіемъ, которое часто остается у матушкиныхъ сынковъ, никогда ничему неучившихся, или, по крайней мѣрѣ, неучившихся. Эта жимолость въ мундирѣ стояла въ почтительномъ отдаленіи отъ образцоваго генерала.

Снова влетѣлъ Дуббельтъ, этотъ разъ пріосанившись и застегнувшись. Онъ тотчасъ обратился къ генералу и спросилъ, что ему нужно? Генеральъ правильно, какъ ординарцы говорятъ, когда являются къ начальникамъ, отрапортовалъ: «Вчерашній день отъ князя Александра Ивановича получилъ высочайшее повелѣніе отправиться въ дѣйствующую армію на Кавказъ, счелъ обязанностью явиться передъ отбытіемъ къ его сіятельству».

Дуббельтъ выслушалъ съ вниманіемъ эту рѣчь и, наклоняясь нѣсколько въ знакъ уваженія, вышелъ и черезъ минуту возвратился.

— Графъ, сказалъ онъ генералу, искренно жалѣеть, что не имѣеть времени принять в. пр. Онъ васъ благодарить и поручилъ мнѣ пожелать вамъ счастливаго пути. При этомъ Дуббельтъ распростеръ руки, обнялъ и два раза коснулся щеки генерала своими усами.

Генеральъ отступилъ торжественнымъ маршемъ, юноша съ бѣличьимъ лицомъ и съ ногами журавля отправился за нимъ. Сцена эта искупила мнѣ много горечи того дня. Генеральскій фрунтъ, прощаніе по довѣренности и, наконецъ, лукавая морда Рейнеке-Фукса, цѣлующаго голову его превосходительства, все это было до того смѣшно, что я чуть-чуть удержался. Мнѣ кажется, что Дуббельтъ замѣтилъ это и съ тѣхъ поръ началъ уважать меня.

Наконецъ, двери отворились à deux battans и взошелъ Бенкендорфъ. Наружность шефа жандармовъ не имѣла въ себѣ ничего дурного; видъ его былъ довольно общій остзейскимъ дворянамъ и вообще нѣмецкой аристократіи. Лицо его было измято, устало, онъ имѣлъ обманчиво добрый взглядъ, который часто принадлежитъ людямъ уклончивымъ и апатическимъ.

Можеть, Бенкендорфъ и не сдѣлалъ всего зла, которое могъ сдѣлать, будучи начальникомъ полиціи, имѣвшей право мѣшаться во все,—я готовъ этому вѣрить, особенно вспоминая прѣсное выраженіе его лица, но и добра онъ не сдѣлалъ, на это у него не доставало энергіи, воли, сердца. Робость сказать слово въ защиту гонимыхъ стоитъ всякаго преступленія.

Сколько невинныхъ жертвъ прошли его руками, сколько погибли отъ невниманія, отъ разсѣянія, отъ того, что онъ занятъ былъ волокитствомъ,—и сколько, можеть, мрачныхъ образовъ и тяжелыхъ воспоминаній бродили въ его головѣ и мучили его на

томъ пароходѣ, гдѣ, преждевременно опустившійся и одряхлѣвшій, онъ искалъ заступничество католической церкви, съ ея всепрощающими индульгенціями...

— До свѣдѣнія государя императора, сказалъ онъ мнѣ, дошло, что вы участвуете въ распространеніи вредныхъ слуховъ для правительства. Его величество, видя, какъ вы мало исправились, изволилъ приказать васъ отправить обратно въ Вятку; но я, по просьбѣ генерала Дуббелта и основываясь на свѣдѣніяхъ, собранныхъ объ васъ; докладывалъ е. в. о болѣзни вашей супруги и государю угодно было измѣнить свое рѣшеніе. Е. в. воспрещаетъ вамъ вѣздъ въ столицы, вы снова отправитесь подъ надзоръ полиціи, но мѣсто вашего жительства предоставлено назначить министру внутреннихъ дѣлъ.

— Позвольте мнѣ откровенно сказать, что даже *въ сію* минуту я не могу вѣрить, чтобъ не было другой причины моей ссылки. Въ 1835 г. я былъ сосланъ по дѣлу праздника, на которомъ во все не былъ! Теперь я наказываюсь за слухъ, о которомъ говорилъ весь городъ. Странная судьба!

Бенкендорфъ поднялъ плечи и, разводя руками, какъ человекъ, исчерпавшій всѣ свои доводы, перебилъ мою рѣчь:

— Я вамъ объявляю монаршую волю, а вы мнѣ отвѣчаете разсужденіями. Что за польза будетъ изъ всего, что вы мнѣ скажете и что я вамъ скажу,—это потерянные слова. Перемѣнить теперь ничего нельзя, что будетъ потомъ, долею зависѣтъ отъ васъ. А такъ какъ вы напомнили объ вашей первой исторіи, то я особенно рекомендую вамъ, чтобъ не было третьей,—*такъ легко* въ третій разъ вы навѣрно не отдѣляетесь.

Бенкендорфъ благосклонно улыбнулся и отправился къ просителямъ. Онъ очень мало говорилъ съ ними, бралъ просьбу, бросалъ въ нее взглядъ, потомъ отдавалъ Дуббелту, перерывая замѣчанія просителей той же граціозно-снисходительной улыбкой. Мѣсяцы цѣлые эти люди обдумывали и приготовлялись къ этому свиданію, отъ котораго зависить—честь, состояніе, семья; сколько труда, усилій было употреблено ими прежде, чѣмъ ихъ приняли, сколько разъ стучались они въ запертую дверь, отгоняемые жандармомъ или швейцаромъ. И какъ должно быть щемяща, велики нужды, которыя привели ихъ къ начальнику тайной полиціи; вѣроятно, предварительно были исчерпаны всѣ законные пути, а человекъ этотъ отдѣляется общими мѣстами и, по всей вѣроятности, какой-нибудь столоначальникъ положитъ *какое-нибудь* рѣшеніе, чтобъ сдать дѣло въ *какую-нибудь* другую канцелярію. И чѣмъ онъ такъ озабоченъ, куда торопится?

Когда Бенкендорфъ подошелъ къ старику съ медалями, тотъ сталъ на колѣни и вымолвилъ:

— Ваше сіятельство, взойдите въ мое положеніе.

— Что за мерзость, закричалъ графъ, вы позорите ваши медали, и полный благороднаго негодованія, онъ прошелъ мимо, не взявъ его просьбы. Старикъ тихо поднялся, его стеклянный взглядъ выражалъ ужасъ и помѣшательство, нижняя губа дрожала, онъ что-то лепеталъ.

Какъ эти люди безчеловѣчны, когда на нихъ приходитъ капризь быть человѣчными!

Дуббельтъ подошелъ къ старику, взялъ просьбу и сказалъ:

— Зачѣмъ это вы въ самомъ дѣлѣ?—ну давайте вашу просьбу, я пересмотрю.

Бенкендорфъ уѣхалъ къ государю.

— Что же мнѣ дѣлать? спросилъ я Дуббельта.

— Выберите себѣ, какой хотите, городъ съ министромъ в. д., мы мѣшать не будемъ. Мы завтра все дѣло перешлемъ туда; я поздравляю васъ, что такъ уладилось.

— Покорнѣйше васъ благодарю!

Отъ Бенкендорфа я поѣхалъ въ министерство. Директоръ нашъ, какъ я сказалъ, принадлежалъ къ тому типу нѣмцевъ, которые имѣютъ въ себѣ что-то лемуновское, долговязое, нерасторопное, тянущееся. У нихъ мозгъ дѣйствуетъ медленно, не съ разу схватываетъ и долго работаетъ, чтобъ дойти до какого-нибудь заключенія. Разсказъ мой, по несчастію, предупредилъ сообщеніе изъ III отдѣленія, онъ вовсе не ждалъ его, и потому совершенно растерялся, говорилъ какія-то безсвязныя вещи, самъ замѣтилъ это и, чтобъ поправиться, сказалъ мнѣ: «Erlauben sie mir deutsch zu sprechen». Можетъ, грамматически рѣчь его и вышла правильнѣе на нѣмецкомъ языкѣ, но яснѣе и опредѣленнѣе она не стала. Я замѣтилъ очень хорошо, что въ немъ боролись два чувства: онъ понялъ всю несправедливость дѣла, но считалъ обязанностью директора оправдать дѣйствіе правительства; при этомъ онъ не хотѣлъ передо мной показать себя варваромъ, да и не забывалъ вражду, которая постоянно царствовала между министерствомъ и тайной полиціей. Стало быть, задача сама-по-себѣ выразить весь этотъ сумбуръ была не легка. Онъ кончилъ признаніемъ, что ничего не можетъ сказать безъ министра, къ которому и отправился.

Графъ Строгоновъ позвалъ меня, распросилъ дѣло, выслушалъ все внимательно и сказалъ мнѣ въ заключеніе:

— «Это чисто полицейская уловка,—ну да, хорошо, и я съ своей стороны имъ отвѣчу». Я право думалъ, что онъ сейчасъ отправится къ государю и объяснить ему дѣло; но такъ далеко министры не ходятъ. «Я получилъ, продолжалъ онъ, высочайшее

повелѣніе объ васъ, вотъ оно; вы видите, что мнѣ предоставлено избрать мѣсто и употребить васъ на службу. Куда вы хотите?»

— Въ Тверь или въ Новгородъ, отвѣчалъ я.

— «Разумѣется... ну, а такъ какъ мѣсто зависитъ отъ меня и вамъ, вѣроятно, все равно, въ который изъ этихъ городовъ я васъ назначу, то я вамъ дамъ первую вакансію совѣтника губернскаго правленія, т. е., высшее мѣсто, которое вы по чину можете имѣть. Шейте себѣ мундиръ съ шитымъ воротникомъ», добавилъ онъ шутя.

Вотъ и отыгрался, только не въ мою масть.

Черезъ недѣлю Строгоновъ представилъ въ сенатъ о назначеніи меня совѣтникомъ въ Новгородъ.

А, вѣдь, пресмѣшно, сколько секретарей, ассесоровъ, уѣздныхъ и губернскихъ чиновниковъ домогались, долго, страстно, упорно домогались, чтобъ получить это мѣсто; взятки были даны, святѣйшія обѣщанія получены, — и вдругъ министръ, исполняя высочайшую волю и въ то же время дѣлая отместку тайной полиціи, *наказывалъ* меня этимъ повышеніемъ, бросалъ человѣку подъ ноги, для позолоты пилюли, это мѣсто, предметъ пламенныхъ желаній и самолюбивыхъ грезъ — человѣку, который его бралъ съ твердымъ намѣреніемъ бросить при первой возможности.

Отъ Строгонова я поѣхалъ къ одной дамѣ; объ этомъ знакомствѣ слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ.

Между рекомендательными письмами, которыя мнѣ далъ мой отецъ, когда я ѣхалъ въ Петербургъ, было одно, которое я десять разъ бралъ въ руки, перевертывалъ и пряталъ опять въ столъ, откладывая визитъ свой до другого дня. Письмо это было къ семидесятилѣтней, знатной, богатой дамѣ; дружба ея съ моимъ отцомъ шла съ незапамятныхъ временъ; онъ познакомился съ ней, когда она была при дворѣ Екатерины II, потомъ они встрѣтились въ Парижѣ, вмѣстѣ ѣздили туда и сюда, наконецъ, оба пріѣхали домой на отдыхъ, лѣтъ тридцать тому назадъ.

Я вообще не любилъ важныхъ людей, особенно женщинъ, да еще къ тому же семидесяти-лѣтнихъ; но отецъ мой спрашивалъ второй разъ, былъ ли я у Ольги Александровны Жеребцовой? И я, наконецъ, рѣшился проглотить эту пилюлю. Офиціантъ привелъ меня въ довольно сумрачную гостиную, плохо убранную, какъ-то почернѣвшую, полинявшую; мебель, обивка, все сдало цвѣтъ, все стояло, видно, давно на этихъ мѣстахъ. На меня пахло домомъ княжны Мещерской; старость не меньше юности протаптываетъ свои слѣды на всемъ окружающемъ. Самоотверженно ждалъ я появленія хозяйки, приготовляясь къ скучнымъ вопросамъ, къ глухотѣ, къ кашлю, къ обвиненіямъ новаго поколѣнія, а, можетъ, и къ моральнымъ поученіямъ.

Минуть черезъ пять взошла твердымъ шагомъ высокая старуха, съ строгимъ лицомъ, носившимъ слѣды большой красоты; въ ея осанкѣ, поступи и жестахъ выражались упрямая воля, рѣзкій характеръ и рѣзкій умъ. Она проницательно осматрѣла меня съ головы до ногъ, подошла къ дивану, отодвинула однимъ движеніемъ руки столъ и сказала мнѣ:

— Садитесь сюда на кресла, поближе ко мнѣ, я, вѣдь, короткая пріятельница съ вашимъ отцомъ и люблю его... Она развернула письмо и подала мнѣ, говоря:—Пожалуйста прочтите мнѣ, у меня болятъ глаза. Письмо было писано по-французски, съ разными комплиментами, съ воспоминаціями и намеками. Она слушала, улыбаясь, и, когда я кончилъ, сказала:

— Умъ-то у него не старѣеть, все тотъ же, онъ очень былъ любезенъ и очень костикъ. А, что, теперь все сидитъ въ комнатѣ, въ халатѣ, представляетъ больного? Я два года тому назадъ проѣзжала Москвою, была тогда у вашего батюшки; насилу, говорить, могу принять, разрушаюсь, а потомъ разговорился и забылъ свои болѣзни. Все баловство; онъ немного старше меня, года два-три, да и то есть ли, а вотъ я и женщина, а все еще на ногахъ. Да, да, много воды утекло съ тѣхъ временъ, о которыхъ вашъ отецъ поминаетъ. Ну, подумайте, мы съ нимъ были изъ первыхъ танцоровъ. Англезы тогда были въ модѣ; вотъ я съ Иваномъ Алексѣичемъ бывало и танцуемъ у покойной императрицы; можете вы себѣ представить вашего батюшку въ свѣтлоголубомъ французскомъ кафтанѣ, въ пудрѣ и меня съ фижмами и *décoltée*. Съ нимъ было очень пріятно танцовать, *il était bel homme*, онъ былъ лучше васъ, дайте-ка хорошенько на васъ посмотреть, — да, точно онъ былъ лучше... Вы не сердитесь, въ мой лѣта можно говорить правду. Да, вѣдь, вамъ и не до того, я думаю, вѣдь, вы литераторъ, ученый. Ахъ, Боже мой, кстати, скажите мнѣ, пожалуйста, что это съ вами за гисторія была? Батюшка вашъ писалъ ко мнѣ, когда васъ послали въ Вятку; я пробовала говорить съ Блудовымъ, ничего не сдѣлалъ. За что это васъ услали, они, вѣдь, не говорятъ, все у нихъ *sécret d'état*.

Въ ея манерѣ было столько простоты и искренности, что, вопреки ожиданію, мнѣ было легко и свободно. Я отвѣчалъ полусмѣливо и полусерьезно и рассказалъ ей наше дѣло.

— Воюютъ съ студентами, замѣтила она, все въ головѣ одно—конспирація; ну, а тѣ и рады подслуживаться; все пустяками занимаются. Людишки такіе дрянные около него,—откуда это онъ ихъ набралъ? Безъ роду и племени. Такъ видите, *mon cher conspirateur*, что же вамъ было тогда, лѣтъ шестнадцать?

— Ровно двадцать одинъ годъ, отвѣчалъ я, смѣясь отъ души съ полнѣйшему презрѣнію къ нашей политической дѣятельности.

— Четыре-пять студентовъ испугали, видите, tout le gouvernement,—срамъ какой.

Потолковавши въ этомъ родѣ съ полчаса, я всталъ, чтобъ ѣхать.

— Пойдите-ка, пойдите-ка, сказала мнѣ Ольга Александровна еще болѣе дружескимъ тономъ,—я не кончила мою исповѣдь; а какъ это вы увезли свою невѣсту?

— Почему вы знаете?

— Э, батюшка, слухомъ свѣтъ полнится, — молодость, des passions, я говорила тогда съ вашимъ отцомъ, онъ еще сердился на васъ; ну, да вѣдь умный человѣкъ, понялъ... благо вы счастливо живете—чего еще? Какъ же, говорить, пріѣзжалъ въ Москву противъ приказа, попался бы, ну, послали бы въ крѣпость. Я ему на это и молвила — ну, да вѣдь не попался, какъ это надобно радоваться вамъ, а что пустяки городить, да придумывать, что могло бы быть.—Ну, вы всегда, говорить онъ мнѣ, были отважны и жили очертя голову.— А что же, батюшка, оканчиваю не хуже другихъ вѣкъ, отвѣтила я ему. А это что ужъ такое, безъ денегъ оставилъ молодыхъ, на что это' похоже! — Ну, говорить, пошлю, пошлю, не сердитесь.—Познакомьте меня съ вашей супругой-то—а?

Я поблагодарилъ ее и сказалъ, что я пріѣхалъ покамѣсть одинъ.

— Гдѣ-же вы остановились?

— У Демута.

— И тамъ обѣдаете?

— Иногда тамъ, иногда у Дюме.

— На что же это по трактирамъ-то, дорого стоитъ, да и такъ нехорошо женатому человѣку. Если нескучно вамъ со старухой обѣдать, приходите-ка; а я, право, очень рада, что познакомилась съ вами, спасибо вашему отцу, что прислалъ васъ ко мнѣ, вы очень интересный молодой человѣкъ, хорошо понимаете вещи, даромъ что молоды, — вотъ мы съ вами и потолкуемъ о томъ, о семь; а то знаете, съ этими куртизанами скучно,—все одно, объ дворѣ, да кому орденъ дали, все пустое.

Въ одномъ томѣ исторіи Консулата ¹⁾ два раза упомянута одна женщина, сестра послѣдняго фаворита Екатерины, графа Зубова. Красавица собой, молодая вдова генерала, кажется, убитого во время войны, страстная и дѣятельная натура, избалованная положеніемъ, одаренная необыкновеннымъ умомъ и мужескимъ характеромъ, она сдѣлалась средоточіемъ недовольныхъ во время царствованія Павла. Полиція заподозрила ее наконецъ, и она, во время извѣщенная, успѣла уѣхать за границу.

¹⁾ Тьера.

Она поѣхала въ Англію. Блестящая, избалованная придворной жизнью и снѣдаемая жаждой большого поприща, она является львицей первой величины въ Лондонѣ и играетъ значительную роль въ замкнутомъ и недоступномъ обществѣ англійской аристократіи. Принцъ Валлійскій, т. е. будущій король Георгъ IV, у ея ногъ, вскорѣ болѣе... Пышно и шумно шли годы ея заграничнаго житья, но шли и срывали цвѣтокъ за цвѣткомъ.

Вмѣстѣ съ старостью началась для нея пустыня, удары судьбы, одиночество и грустная жизнь воспоминаній. Ея сынъ былъ убитъ подъ Бородинымъ, ея дочь умерла и оставила ей внуку, графиню Орлову. Старушка всякій годъ ѣздила въ августѣ мѣсяцѣ изъ Петербурга въ Можайскъ посѣтить могилу сына. Одиночество и несчастье не сломили ея сильнаго характера, а сдѣлали его только угрюмѣе и угловатѣе. Точно дерево середь зимы, она сохранила линейный очеркъ своихъ вѣтвей, листья облетѣли, костливо зябли голыя сучья, но тѣмъ яснѣе виднѣлся величавый ростъ, смѣлые размѣры и стержень, посѣдѣлый отъ инея, гордо и сумрачно выдерживалъ себя и не гнулъся отъ всякаго вѣтра и отъ всякой непогоды.

Ея длинная, полная движенія жизнь, страшное богатство встрѣчъ, столкновеній, образовали въ ней ея высокомерный, но далеко не лишенный печальной вѣрности взглядъ. У нея была своя философія, основанная на глубокомъ презрѣніи къ людямъ, которыхъ она оставить все же не могла, по дѣятельному характеру.

— Вы ихъ еще не знаете, говорила она мнѣ, провозжая киваньемъ головы разныхъ толстыхъ и худыхъ сенаторовъ и генераловъ,—а ужъ я довольно на нихъ насмотрѣлась, меня не такъ легко провести, какъ они думаютъ; мнѣ двадцати лѣтъ не было, когда братъ былъ въ пущемъ фаворѣ, императрица меня очень ласкала и очень любила. Такъ, повѣрите ли, старики, покрытые кавалеріями, едва таскавшіе ноги, наперерывъ бросались въ переднюю подать мнѣ салопа или теплые башмаки. Государыня скончалась, и на другой день домъ мой опустѣлъ, меня бѣгали какъ заразы, и тѣ же самые персоны. Я шла своей дорогой, не нуждалась ни въ комъ и уѣхала за море. Послѣ моего возвращенія Богъ посѣтилъ меня большими несчастьями, только я ни отъ кого участія не видала, были два-три старыхъ пріятели, тѣ точно и остались. Ну, пришло новое царствованіе, Орловъ, видите, въ силѣ, т. е., я не знаю, насколько это правда... такъ думаютъ, по крайней мѣрѣ; знаютъ, что онъ мой наслѣдникъ и внучка-то меня любитъ, ну, вотъ и пошла такая дружба, опять готовы подавать шубу и галоши! Охъ! знаю я ихъ, да скучно

иной разъ одной сидѣть, глаза болятъ, читать трудно, да и не всегда хочется, я ихъ и пускаю, болтаютъ всякій вздоръ, развлечение, часъ, другой и пройдетъ...

Странная, оригинальная развалина другого вѣка, окруженная выродившимся поколѣниемъ на почвѣ петербургской придворной жизни. Она чувствовала себя выше его и была права.

Ея ошибка состояла не въ презрѣннн ничтожныхъ людей, а въ томъ, что она принимала за все наше поколѣние. При Екатеринѣ дворъ и гвардія въ самомъ дѣлѣ обнимали все образованное въ Россіи; больше или меньше это продолжалось до 1812 г. Съ тѣхъ поръ русское общество сдѣлало страшные успѣхи.

Александръ продолжалъ образованныя традиціи Екатерины; при Николаѣ свѣтски-аристократическій тонъ замѣняется сухимъ, формальнымъ, съ одной стороны, и безпрекословно покорнымъ— съ другой, смѣсь наполеоновской отрывистой и грубой манеры съ чиновничьимъ бездушіемъ. Новое общество, средоточіе котораго въ Москвѣ, быстро развилось.

Есть удивительная книга, которая поневолѣ приходитъ въ голову, когда говоришь объ Ольгѣ Александровнѣ. Это записки княгини Дашковой, напечатанныя лѣтъ двадцать тому назадъ въ Лондонѣ. Къ этой книгѣ приложены записки двухъ сестеръ Вильмогъ, жившихъ у Дашковой между 1805 и 1810 годами. Обѣ ирландки, очень образованныя и одаренныя большимъ талантомъ наблюденія. Мнѣ чрезвычайно хотѣлось бы, чтобъ ихъ письма и записки были извѣстны у насъ.

Сравнивая московское общество передъ 1812 г. съ тѣмъ, которое я оставилъ въ 1847 году, сердце бьется отъ радости. Мы сдѣлали страшный шагъ впередъ. Тогда было общество недовольныхъ, т. е. отставныхъ, удаленныхъ, отправленныхъ на покой; теперь есть общество *независимыхъ*. Тогдашніе львы были капризные олигархи, графъ А. Г. Орловъ, Остерманъ, «общество тѣней», какъ говорить miss Willmot, общество государственныхъ людей, умершихъ въ Петербургѣ лѣтъ пятнадцать тому назадъ и продолжавшихъ пудриться, покрывать себя лентами и являться на обѣды и пиры въ Москвѣ, будируя, важничая и не имѣя ни силы, ни смысла. Московскіе львы съ 1825 года были: Пушкинъ, М. Орловъ, Чаадаевъ, Ермоловъ. Тогда общество съ подбострастіемъ толпилось въ домѣ графа Орлова, дамы «въ чужихъ брильянтахъ» ¹⁾, кавалеры, *не смѣя садиться* безъ разрѣшенія; передъ ними графская дворянка танцевала въ маскарадныхъ платьяхъ. Сорокъ лѣтъ спустя, я видѣлъ то же общество, толпившееся около кафедры одной изъ аудиторій московскаго университета;

¹⁾ Миссъ Вильмогъ.

дочери дамъ въ чужихъ каменьяхъ, сыновья людей, не смѣвшихъ сѣсть, съ страстнымъ сочувствіемъ слѣдили за энергической, глубокою рѣчью Грановскаго, отвѣчая взрывами рукоплесканій на каждое слово, глубоко потрясавшее сердца смѣлостью и благородствомъ.

Вотъ этого-то общества, которое съѣзжалось со всѣхъ сторонъ Москвы и тѣснилось около трибуны, на которой молодой воинъ науки велъ серьезную рѣчь и пророчилъ былымъ, этого общества не подозрѣвала Жеребцова. Ольга Александровна была особенно добра и внимательна ко мнѣ, потому что я былъ первый образчикъ міра, неизвѣстнаго ей; ее *удивилъ* мой языкъ и мои понятія. Она во мнѣ оцѣнила возникающіе всходы другой Россіи. Спасибо ей и за то!

Я могъ бы написать цѣлый томъ анекдотовъ, слышанныхъ мною отъ Ольги Александровны; съ кѣмъ и кѣмъ она не была въ сношеніяхъ. Отъ графа д'Артуа и Сегюра до лорда Гренвиля и Канинга, и притомъ она смотрѣла на всѣхъ независимо, по своему и очень оригинально. Ограничусь однимъ небольшимъ случаемъ, который постараюсь передать ея собственными словами.

Она жила на Морской. Разъ какъ-то шелъ полкъ съ музыкой по улицѣ, Ольга Александровна подошла къ окну и, глядя на солдатъ, сказала мнѣ:

— «У меня дача есть недалеко отъ Гатчины, лѣтомъ иногда я ѣзжу туда отдохнуть. Передъ домомъ я велѣла сдѣлать большой скверъ, знаете, эдакъ на англійскій манеръ, покрытый дерномъ. Въ запрошлый годъ приѣзжаю я туда; представьте себѣ: часовъ въ шесть утромъ, слышу я страшный трескъ барабановъ, лежу ни живая, ни мертвая въ постели; все ближе да ближе; звоню, прибѣжала моя калмычка:—Что, мать моя, это случилось, спрашиваю я, шумъ какой? — Да это, говоритъ, Михаилъ Павловичъ изволить солдатъ учить. — Гдѣ это? — На нашемъ дворѣ. Понравился скверъ, гладко и зелено. Представьте себѣ, дама живетъ, старуха, больная, а онъ въ шесть часовъ въ барабанъ. Ну, думаю, это пустяки, позови дворецкаго. Пришелъ дворецкій, я ему говорю: ты сейчасъ вели заложить телѣжку, да поѣзжай въ Петербургъ и найми, сколько найдешь, бѣлорусовъ, да чтобъ завтра и начали копать прудъ; ну, думаю, авось *навальнаго* ученія не дадутъ подъ моими окнами».

... Естественно, что я прямо отъ графа Строгонова поѣхалъ къ Ольгѣ Александровнѣ и рассказалъ ей все случившееся.

— Господи, отъ часу не легче, замѣтила она, выслушавши меня. Какъ это можно съ фамиліей тащиться въ ссылку изъ такихъ пустяковъ. Дайте, я переговорю съ Орловымъ, я рѣдко его о чемъ-нибудь прошу, они всѣ не любятъ этого; ну, да иной разъ

можетъ же сдѣлать что-нибудь. Побывайте-ка у меня денька черезъ два, я вамъ отвѣтъ сообщу.

Черезъ день утромъ она прислала за мной. Я засталъ у нея нѣсколько человѣкъ гостей. Она была повязана бѣлымъ батистовымъ платкомъ вмѣсто чепчика, это обыкновенно было признакомъ, что она не въ духѣ, щурила глаза и не обращала почти никакого вниманія на тайныхъ совѣтниковъ и явныхъ генераловъ, приходившихъ свидѣтельствовать свое почтеніе.

Одинъ изъ гостей съ предовольнымъ видомъ вынулъ изъ кармана какую-то бумажку и, подавая ее Ольгѣ Александровнѣ, сказалъ:

— Я вамъ привезъ вчерашній рескриптъ князю Петру Михайловичу, можетъ, вы не изволили еще читать?

Слышала ли она, или нѣтъ, я не знаю, но только она взяла бумагу, развернула ее, надѣла очки и, морщась, съ страшными усилиями, прочла: «Кня—зь, Пе—тръ Ми—хайло—вичъ!» Что вы это мнѣ даете?... А?... это не ко мнѣ?

— Я вамъ докладываль-сь, это рескриптъ...

— Боже мой, у меня глаза болятъ, я не всегда могу читать письма, адресованныя ко мнѣ, а вы заставляете чужія письма читать.

— Позвольте, я прочту... я, право, не подумаль.

— И, полноте, что трудиться по напрасну, какое мнѣ дѣло до ихъ переписки; доживаю кое-какъ послѣдніе дни, совсѣмъ не тѣмъ голова занята.

Господинъ улыбнулся, какъ улыбаются люди, попавшіе впроцагъ, и положилъ рескриптъ въ карманъ.

Видя, что Ольга Александровна въ дурномъ расположеніи духа и въ очень воинственномъ, гости одинъ за другимъ откланялись. Когда мы остались одни, она сказала мнѣ:

— Я просила васъ сюда зайти, чтобъ сказать вамъ, что я на старости лѣтъ дурой сдѣлалась, наобѣщала вамъ, да ничего и не сдѣлала; не спросясь броду-то и ненадобно соваться въ воду, знаете, по мужицкой пословицѣ. Говорила вчера съ Орловымъ объ вашемъ дѣлѣ, и не ждите ничего...

Въ это время официантъ доложилъ, что графиня Орлова приѣхала.

— Ну, это ничего, свои люди, сейчасъ доскажу.

Графиня, красивая женщина и еще въ цвѣтѣ лѣтъ, подошла къ рукѣ и освѣдомилась о здоровьѣ, на что Ольга Александровна отвѣчала, что чувствуетъ себя очень дурно; потомъ, назвавши меня, прибавила ей:—Ну, сядь, сядь, другъ мой. Что дѣтки, здоровы?

— Здоровы.

— Ну, слава Богу, извини меня, я, вотъ, рассказываю о вчерашнемъ. Такъ вотъ, видите, я говорю ей мужу-то: чтобы тебѣ сказать государю, ну, какъ это пустяки такіе дѣлаютъ? Куда ты! руками и ногами уперся; это, говорить, по части Бенкендорфа; съ нимъ, пожалуй, я переговорю, а докладывать государю не могу, онъ не любитъ, да у насъ это и не заведено.—Что же это за чудо, говорю я ему, поговорить съ Бенкендорфомъ? Я это и сама умѣю. Да и онъ-то что ужъ изъ ума выжилъ, самъ не знаетъ, что дѣлаетъ, все актриски на умѣ, кажется, ужъ и не подъ лѣта волочиться; а тутъ какой-нибудь секретаришка у него дѣлаетъ доносы всякіе, а онъ и подаетъ. Что же онъ сдѣлаетъ? Нѣтъ, ужъ ты лучше, говорю, не срами себя, что же тебѣ просить Бенкендорфа, онъ же все и напакостилъ. — У насъ, говорить, ужъ такъ заведено, и пошелъ мнѣ тутъ рассказывать... Ну, вижу, что онъ просто боится идти къ государю... Посмотрите, прибавила она, указывая мнѣ на портретъ Орлова, экой бравой представленъ какой, а боится слово сказать!

Вмѣсто портрета, я не могъ удержаться, чтобы не посмотрѣть на графиню Орлову; положеніе ея было не изъ самыхъ пріятныхъ. Она сидѣла улыбаясь и иногда взглядывала на меня, какъ бы говоря: лѣта имѣютъ свои права, старушка раздражена; но встрѣчая мой взглядъ, не подтверждавшій того, она дѣлала видъ, будто не замѣчаетъ меня. Въ рѣчь она не вступала, и это было очень умно. Ольгу Александровну унять было бы трудно, у старухи разгорѣлись щеки, она дала бы тяжелую сдачу. Надобно было прилечь и ждать, чтобы вихрь пронесся черезъ голову.

— Вѣдь это, чай, у васъ тамъ, гдѣ вы это были, въ этой въ Вологдѣ, писаря думаютъ—графъ Орловъ случайный человѣкъ, въ силѣ... Все это вздоръ, это подчиненные его, небось, распускаютъ слухъ. Всѣ они не имѣютъ никакого вліянія, они не такъ себя держатъ и не на такой ногѣ, чтобы имѣть вліяніе... Вы уже меня простите, взялась не за свое дѣло; знаете, что я вамъ посоветую? Что вамъ въ Новгородъ ѣздить! Поѣзжайте лучше въ Одессу, подальше отъ нихъ, и городъ почти иностранный, да и Воронцовъ, если не испортился, человѣкъ другого «режиму».

Довѣріе къ Воронцову, который тогда былъ въ Петербургѣ и всякій день ѣздилъ къ Ольгѣ Александровнѣ, не вполне оправдалось; онъ хотѣлъ меня взять съ собой въ Одессу, *если* Бенкендорфъ изъявитъ согласіе.

... Между тѣмъ прошли мѣсяцы, прошла и зима, никто мнѣ не напоминалъ объ отъѣздѣ, меня забыли и я ужъ пересталъ быть *sur le qui vive*, особенно послѣ слѣдующей встрѣчи. Вологодскій военный губернаторъ Болговскій былъ тогда въ Петербургѣ; очень короткій знакомый моего отца, онъ довольно любилъ

меня и я бывалъ у него иногда. Онъ былъ замѣшанъ въ непонятное и необъясненное дѣло Сперанскаго въ 1812 году. Онъ былъ тогда полковникомъ въ дѣйствующей арміи, его вдругъ арестовали, свезли въ Петербургъ, потомъ сослали въ Сибирь. Онъ не успѣлъ доѣхать до мѣста, какъ Александръ простилъ его, и онъ возвратился въ свой полкъ. Разъ весною прихожу я къ нему; спиною къ дверямъ въ большихъ креслахъ сидѣлъ какой-то генералъ, мнѣ не было видно его лица, а только одинъ серебряный эполетъ.

— Позвольте мнѣ представить, сказалъ Болговскій и тутъ я разглядѣлъ Дуббелта.

— Я давно имѣю удовольствіе пользоваться вниманіемъ Леонтя Васильевича, сказалъ я улыбаясь.

— Вы скоро ѣдете въ Новгородъ? спросилъ онъ меня.

— Я полагаю, что мнѣ надобно у васъ спросить объ этомъ.

— Ахъ, помилуйте, я совсѣмъ не думалъ напоминать вамъ, я васъ просто такъ спросилъ. Мы васъ передали съ рукъ на руки графу Строганову, и не очень торопимъ, какъ видите, сверхъ того, такая законная причина, какъ болѣзнь вашей супруги... (Учтивѣйшій въ мірѣ человѣкъ!).

Наконецъ, въ началѣ іюня, я получилъ сенатскій указъ объ утвержденіи меня совѣтникомъ новгородскаго губернскаго правленія. Графъ Строгановъ думалъ, что пора отправляться, и я явился около 1 іюля въ Богомъ и св. Софіей хранимый градъ Новгородъ и поселился на берегу Волхова, противъ самого того кургана, откуда волтеріанцы XII столѣтія бросили въ рѣку статую Перуна.

ГЛАВА XXVII.

Губернское правленіе.—Я у себя подъ надзоромъ.—Отечская власть помѣщиковъ и помѣщицъ.—Канибальское слѣдствіе.—Отставка.

Передъ моимъ отъѣздомъ графъ Строгановъ сказалъ мнѣ, что новгородскій военный губернаторъ, *Элтидифоръ Антіоховичъ* Зуровъ въ Петербургѣ, что онъ говорилъ ему о моемъ назначеніи и совѣтовалъ съѣздить къ нему. Я нашелъ въ немъ довольно простого и добродушнаго генерала очень армейской наружности, небольшого роста и среднихъ лѣтъ. Мы поговорили съ нимъ съ полчаса, онъ привѣтливо проводилъ меня до дверей и тамъ мы разстались.

Пріѣхавши въ Новгородъ, я отправился къ нему,—перемѣна декорацій была удивительна. Въ Петербургѣ губернаторъ былъ

въ гостяхъ, здѣсь—дома; онъ даже ростомъ, казалось мнѣ, былъ побольше въ Новгородѣ. Не вызванный ничѣмъ съ моей стороны, онъ счелъ нужнымъ сказать, что онъ не терпитъ, чтобъ совѣтники подавали голосъ и оставались бы письменно при своемъ мнѣніи, что это задерживаетъ дѣла, что если что не такъ, то можно переговорить, а какъ на *мнѣнія* пойдетъ, то тотъ или другой долженъ выйти въ отставку. Я, улыбаясь, замѣтилъ ему, что меня трудно испугать отставкой, что отставка единственная цѣль моей службы, и прибавилъ, что пока горькая необходимость заставляетъ меня служить въ Новгородѣ, я, вѣроятно, не буду имѣть случая подавать своихъ мнѣній.

Разговора этого было совершенно достаточно для обоихъ. Выходя отъ него, я рѣшился не сближаться съ нимъ. Сколько я могъ замѣтить, впечатлѣніе, произведенное мною на губернатора, было въ томъ же родѣ, какъ то, которое онъ произвелъ на меня, т. е. мы настолько терпѣть не могли другъ друга, насколько это возможно было при такомъ недавнемъ и поверхностномъ знакомствѣ.

Когда я присмотрѣлся къ дѣламъ губернскаго правленія, я увидѣлъ, что мое положеніе не только очень непріятно, но чрезвычайно опасно. Каждый совѣтникъ отвѣчалъ за свое отдѣленіе и дѣлилъ отвѣтственность за всѣ остальные. Читать бумаги по всѣмъ отдѣленіямъ было рѣшительно невозможно, надобно было подписывать на вѣру. Губернаторъ, послѣдовательный своему мнѣнію, что совѣтникъ никогда не долженъ совѣтовать, подписывалъ, противно смыслу и закону, первый послѣ совѣтника того отдѣленія, по которому было дѣло. Лично для меня это было превосходно, въ его подписи я находилъ нѣкоторую гарантію, потому что онъ дѣлилъ отвѣтственность и потому еще, что онъ часто, съ особеннымъ выраженіемъ, говорилъ о своей высокой честности и робеспьеровской неподкупности. Что касается до подписей другихъ совѣтниковъ, онѣ мало успокоивали. Люди эти были закаленные, старые писцы, дослужившіеся десятками лѣтъ до совѣтничества, жили они одной службой, т. е., однѣми взятками. Пенять на это нечего; совѣтникъ, помнится, получалъ 1,200 руб. асс. въ годъ; семейному человѣку продовольствоваться этимъ невозможно. Когда они поняли, что я не буду участвовать ни въ дѣлежѣ общихъ добычъ, ни самъ грабить, они стали на меня смотрѣть, какъ на непрощеннаго гостя и опаснаго свидѣтеля. Они не очень сближались со мной, особенно когда разглядѣли, что между мной и губернаторомъ дружба была очень умѣренная. Другъ друга они берегли и предостерегали, до меня имъ дѣла не было.

Къ тому же мои почтенные сослуживцы не боялись большихъ

денежныхъ взысканій и начетовъ, потому что у нихъ ничего не было. Они могли рисковать, и тѣмъ больше, чѣмъ важнѣе было дѣло; будетъ ли начеть въ 500 рублей или въ 500.000, для нихъ было все равно. Доля жалованья шла въ случаѣ начета на уплату казнѣ и могла длиться двѣсти, триста лѣтъ, если-бъ чиновникъ длился такъ долго. Обыкновенно или чиновникъ умираетъ или государь, и тогда наслѣдникъ прощаетъ долги. Такіе манифесты являются часто и при жизни того же государя, по поводу рожденія, совершеннолѣтія; они на нихъ считали. У меня же, напротивъ, захватили бы ту часть имѣнья и тотъ капиталъ, который отецъ мой отдѣлилъ мнѣ.

Если-бъ я могъ положиться на своихъ столоначальниковъ, дѣло было бы легче. Я сдѣлалъ многое для того, чтобъ привязать ихъ, обращался учтиво, помогалъ имъ денежно и довелъ только до того, что они перестали меня слушаться; они только боялись совѣтниковъ, которые обращались съ ними, какъ съ мальчишками, и стали въ полпьяно приходите на службу. Это были бѣднѣйшіе люди, безъ всякаго образованія, безъ всякихъ надеждъ; вся поэтическая сторона ихъ существованія ограничивалась маленькими трактирами и настойкой. По своему отдѣленію, стало быть, приходилось тоже быть на сторожѣ.

Сначала губернаторъ мнѣ далъ IV отдѣленіе, тутъ откупныя дѣла и всякія денежныя. Я просилъ его перемѣнить, онъ не хотѣлъ, говорилъ, что не имѣетъ права перемѣнить безъ воли другого совѣтника. Я въ присутствіи губернатора спросилъ совѣтника II отдѣленія, онъ согласился и мы помѣнялись. Новое отдѣленіе было меньше заманчиво; тамъ были паспорта, всякіе циркуляры, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей власти, о раскольникахъ, фальшивыхъ монетчикахъ и людяхъ, находящихся подъ полицейскимъ надзоромъ.

Нелѣпнѣе, глупнѣе ничего нельзя себѣ представить; я увѣренъ, что три четверти людей, которые прочтутъ это, не повѣрятъ ¹⁾, а между тѣмъ это суцая правда, что я, какъ совѣтникъ губернскаго правленія, управляющій вторымъ отдѣленіемъ, свидѣтельствовалъ каждые три мѣсяца рапортъ полицмейстера *о самомъ себѣ*, какъ о человѣкѣ, находившемся подъ полицейскимъ надзоромъ. Полицмейстеръ, изъ учтивости, въ графѣ поведенія ничего не писалъ, а въ графѣ занятій ставилъ: «Занимается государственной службой». Вотъ до какихъ геркулесовскихъ столбовъ безумія можно доправиться, имѣя двѣ-три полиціи враждебныя

¹⁾ Это до такой степени справедливо, что какой-то нѣмецъ, разъ десять ругавшій меня въ «Morning Advertiser», приводитъ въ доказательство того, что я не былъ въ ссылкѣ то, что я занималъ должность совѣтника губернскаго правленія.

другъ другу, канцелярскія формы вмѣсто законовъ и фельдфебельскія понятія вмѣсто правительственнаго ума.

Нелѣпость эта напоминаетъ мнѣ случай, бывшій въ Tobольскѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Гражданскій губернаторъ былъ въ ссорѣ съ вице-губернаторомъ, ссора шла на бумагѣ, они другъ другу писали всякія приказныя колкости и остроты. Вице-губернаторъ былъ тяжелый педантъ, формалистъ, добрякъ изъ семинаристовъ, онъ самъ составлялъ съ большимъ трудомъ свои *язвительные* отвѣты и, разумѣется, цѣлью своей жизни дѣлалъ эту ссору. Случилось, что губернаторъ уѣхалъ на время въ Пестербургъ. Вице-губернаторъ занялъ его должность и въ качествѣ губернатора получилъ отъ себя дерзкую бумагу, посланную накануне; онъ, не задумавшись, велѣлъ секретарю отвѣчать на нее, подписалъ отвѣтъ и, получивъ его какъ вице-губернаторъ, снова принялся съ усиліями и напряженіями строчить самому себѣ оскорбительное письмо. Онъ считалъ это высокою честностью.

Съ полгода вытянулъ я ляжку въ губернскомъ правленіи, тяжело было и крайне скучно. Всякій день въ 11 часовъ утра надѣвалъ я мундиръ, прицѣплялъ статскую шпаженку и являлся въ присутствіе. Въ 12 приходилъ военный губернаторъ; не обращая никакого вниманія на совѣтниковъ, онъ шелъ прямо въ уголь и тамъ ставилъ свою саблю, потомъ, посмотрѣвши въ окно и поправивъ волосы, онъ подходилъ къ своимъ кресламъ и кланялся присутствующимъ. Едва вахмистръ съ страшными сѣдыми усами, стоявшими перпендикулярно къ губамъ, торжественно отворялъ дверь и брячанье сабли становилось слышно въ канцеляріи, совѣтники вставали и оставались стоя въ согбенномъ положеніи до тѣхъ поръ, пока губернаторъ кланялся. Одно изъ первыхъ дѣйствій оппозиціи съ моей стороны состояло въ томъ, что я не принималъ участія въ этомъ соборномъ возстаніи и благочестивомъ ожиданіи, а спокойно сидѣлъ и кланялся ему тогда, когда онъ кланялся намъ.

Большихъ преній, горячихъ разсужденій не было; рѣдко случалось, чтобъ совѣтникъ спрашивалъ предварительно мнѣнія губернатора, еще рѣже обращался губернаторъ къ совѣтникамъ съ дѣловымъ вопросомъ. Передъ каждымъ лежалъ ворохъ бумаги и каждый писалъ свое имя,—это была фабрика подписей.

Помня знаменитое изрѣченіе Талейрана, я не старался особенно блеснуть усердіемъ и занимался дѣлами насколько было нужно, чтобъ не получить замѣчанія или не попасть въ бѣду. Но въ моемъ отдѣленіи было два рода дѣлъ, на которыя я не считалъ себя въ правѣ смотрѣть такъ поверхностно, это были дѣла о раскольникахъ и о злоупотребленіи помѣщичьей власти.

У насъ раскольниковъ не постоянно гонять, такъ вдругъ

найдетъ что-то на синодъ или на министерство вн. д., они и сдѣлаютъ набѣгъ на какой-нибудь скитъ, на какую-нибудь общину и опять затихнутъ. Раскольники обыкновенно имѣютъ смышленныхъ агентовъ въ Петербургѣ, они предупреждаютъ оттуда объ опасности, остальные тотчасъ собираютъ деньги, прячутъ книги и образа, поятъ православнаго попа, поятъ православнаго исправника, даютъ выкупъ; тѣмъ дѣло и кончается лѣтъ на десять.

Дѣла о раскольникахъ были такого рода, что всего лучше было ихъ совсѣмъ не подымать вновь, я ихъ просмотрѣлъ и оставилъ въ покоѣ. Напротивъ, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей власти слѣдовало сильно перетряхнуть; я сдѣлалъ все, что могъ, и одержалъ нѣсколько побѣдъ на этомъ вязкомъ поприщѣ, освободилъ отъ преслѣдованія одну молодую дѣвушку и отдалъ подъ опеку одного морского офицера. Это, кажется, единственная заслуга моя по служебной части.

Какая-то барыня держала у себя горничную, не имѣя на нее никакихъ документовъ. Горничная просила разобрать ея права на вольность. Мой предшественникъ благоразумно придумалъ до рѣшенія дѣла оставить ее у помѣщицы въ полномъ повиновеніи. Мнѣ слѣдовало подписать; я обратился къ губернатору и замѣтилъ ему, что незавидна будетъ судьба дѣвушки у ея барыни послѣ того, какъ она подавала на нее просьбу.

— Что-же съ ней дѣлать?

— Содержать въ части.

— На чей счетъ?

— На счетъ помѣщицы, если дѣло кончится противъ нея.

— А если нѣтъ?

По счастью, въ это время возшелъ губернской прокуроръ. Прокуроръ по общественному положенію, по служебнымъ отношеніямъ, по пуговицамъ на мундирѣ, долженъ быть врагомъ губернатора, по крайней мѣрѣ, во всемъ перечить ему. Я нарочно при немъ продолжалъ разговоръ; губернаторъ началъ сердиться, говорилъ, что все дѣло не стоитъ трехъ словъ. Прокурору было совершенно все равно, что будетъ и какъ будетъ съ просительницей, но онъ тотчасъ взялъ мою сторону и привелъ десять разныхъ пунктовъ изъ свода законовъ. Губернаторъ, которому въ сущности еще больше было все равно, сказалъ мнѣ, насмѣшливо улыбаясь:

— Тутъ выходъ одинъ или къ барынѣ, или въ острогъ.

— Разумѣется, лучше въ острогъ, замѣтилъ я.

— Будетъ сравнѣе съ смысломъ, изображеннымъ въ сводѣ законовъ, замѣтилъ прокуроръ.

— Пусть будетъ по вашему, сказалъ еще болѣе смѣясь гу-

бернаторъ:—услужили вы вашей *протееже*; какъ посидить въ тюрьмѣ нѣсколько мѣсяцевъ, поблагодарить васъ.

Я не продолжалъ пренія, цѣль моя была спасти дѣвшушку отъ домашнихъ преслѣдованій; помнится, мѣсяца черезъ два ее выпустили совсѣмъ на волю.

Между нерѣшенными дѣлами моего отдѣленія была сложная и длившаяся нѣсколько лѣтъ переписка о буйствѣ и всякихъ злодѣйствахъ въ своемъ имѣннiи отставнаго морского офицера Струговщикова. Дѣло началось по просьбѣ его матери, потомъ крестьяне жаловались. Съ матерью онъ какъ-то поладилъ, а крестьянъ самъ обвинилъ въ намѣреніи его убить, не приводя, впрочемъ, никакихъ серьезныхъ доказательствъ. Между тѣмъ изъ показаній его матери и дворовыхъ людей видно было, что чело-вѣкъ этотъ дѣлалъ всевозможныя неистовства. Больше года дѣло это спало сномъ праведныхъ; справками и ненужными переписками можно всегда затянуть дѣло и потомъ, *почисливъ* рѣшеннымъ, сдать въ архивъ. Надобно было сдѣлать представленіе въ сенатъ, чтобъ его отдали подъ опеку, но для этого необходимъ отзывъ дворянскаго предводителя. Предводители обыкновенно отвѣчаютъ уклончиво, не желая потерять избирательный голосъ. Пустить дѣло въ ходъ совершенно зависѣло отъ моей воли, но надобенъ былъ *sur de grace* предводителя.

Новгородскій предводитель, милиціонный дворянинъ, съ владимірской медалью, встрѣчаясь со мной, чтобъ заявить начитанность, говорилъ книжнымъ языкомъ до карамзинскаго періода; указывая разъ на памятникъ, который новгородское дворянство воздвигнуло *самому себѣ*, въ награду за патриотизмъ въ 1812 г., онъ какъ-то съ чувствомъ отзывался о такъ сказать трудной, священной и тѣмъ не менѣ лестной обязанности предводителя.

Все это было въ мою пользу.

Предводитель пріѣхалъ въ губернское правленіе для свидѣтельства въ сумасшествіи какого-то церковника; послѣ того, какъ всѣ предсѣдатели всѣхъ палатъ истощили весь запасъ глупыхъ вопросовъ, по которымъ сумасшедшій могъ заключить объ нихъ, что и они не совсѣмъ въ своемъ умѣ, и церковника возвели окончательно въ должность безумнаго, я отвелъ предводителя въ сторону и рассказалъ ему дѣло. Предводитель жалъ плечами, показывалъ видъ негодованія, ужаса и кончилъ тѣмъ, что отозвался объ морскомъ офицерѣ, какъ объ отъявленномъ негодяѣ, «кладущемъ тѣнь на благородное общество новгородскаго дворянства».

— Вѣроятно, сказалъ я,—вы такъ и отвѣтите письменно, если мы васъ спросимъ?

Предводитель, взятый врасплохъ, обѣщалъ отвѣчать по со-

вѣсти, прибавивъ, «что честь и правдивость безпремѣнные атрибуты российского дворянства».

Сомнѣваясь немного въ безпремѣнности этихъ атрибутовъ, я таки пустилъ дѣло въ ходъ, предводитель сдержалъ слово. Дѣло пошло въ сенатъ и я помню очень хорошо ту сладкую минуту, когда въ мое отдѣленіе былъ переданъ сенатскій указъ, назначившій опеку надъ имѣніемъ моряка и отдававшій его подъ надзоръ полиціи. Морякъ былъ увѣренъ, что дѣло кончено, и какъ громомъ пораженный явился послѣ указа въ Новгородъ. Ему тотчасъ сказали, какъ что было; яростный офицеръ собирался напасть на меня изъ-за угла, подкупить бурлаковъ и сдѣлать засаду, но, непревычній къ сухопутнымъ компаніямъ, мирно скрылся въ какой-то уѣздный городъ.

По несчастію, «атрибутъ» звѣрства, разврата и неистовства съ дворовыми и крестьянами является «безпремѣннѣе» правдивости и чести у нашего дворянства. Конечно, небольшая кучка образованныхъ помѣщиковъ не дерутся съ утра до ночи съ своими людьми, не сѣкутъ всякій день, да и то между ними бывають «Пѣночкины», остальные не далеко ушли еще отъ Салтычихи и американскихъ плантаторовъ.

Роясь въ дѣлахъ, я нашелъ переписку псковскаго губернскаго правленія о какой-то помѣщицѣ Ярыжкиной. Она засѣкла двухъ горничныхъ до смерти, попалась подъ судъ за третью и была почти совсѣмъ оправдана уголовной палатой, основавшей, между прочимъ, свое рѣшеніе на томъ, что третья горничная не умерла. Женщина эта выдумывала удивительнѣйшія наказанія: била утюгомъ, сучковатыми палками, валькомъ.

Не знаю, что сдѣлала горничная, о которой идетъ рѣчь, но барыня превзошла себя. Она поставила ее на колѣни на дрань или на тесницы; въ *которыхъ были набиты гвозди*. Въ этомъ положеніи она била ее по спинѣ и по головѣ валькомъ и, когда выбилась изъ силъ, позвала кучера на смѣну; по счастью, его не было въ людской, барыня вышла, а дѣвушка, полубезумная отъ боли, окровавленная, въ одной рубашкѣ, бросилась на улицу и въ частной домъ. Приставъ принялъ показанія, и дѣло пошло своимъ порядкомъ; полиція возилась, уголовная палата возилась съ годъ времени, наконецъ, судъ, явнымъ образомъ закупленный, рѣшилъ премудро позвать мужа Ярыжкиной и внушить ему, чтобъ онъ удерживалъ жену отъ такихъ наказаній, а ее самое, оставя въ подозрѣніи, что она способствовала смерти двухъ горничныхъ, обязать подпиской,—ихъ впредь не наказывать. На этомъ основаніи барынѣ отдавали несчастную дѣвушку, которая въ продолженіи дѣла содержалась гдѣ-то.

Дѣвушка, перепуганная будущностью, стала писать просьбу

за просьбой; дѣло дошло до государя, онъ велѣлъ переслѣдовать его и прислалъ изъ Петербурга чиновника. Вѣроятно, средства Ярыжкиной не шли до подкупа столичныхъ, министерскихъ и жандармскихъ, слѣдопроизводителей, и дѣло приняло иной оборотъ. Помѣщица отправилась въ Сибирь на поселеніе, ея мужъ былъ взятъ подъ опеку. Всѣ члены уголовной палаты отданы подъ судъ; чѣмъ ихъ дѣло кончилось, не знаю.

Я въ другомъ мѣстѣ ¹⁾ рассказалъ о человѣкѣ, засѣченномъ княземъ Трубецкимъ, и о камергерѣ Базилевскомъ, высѣченномъ своими людьми. Прибавлю еще одну дамскую исторію.

Горничная жены пензенскаго жандармскаго полковника несла чайникъ полный кипяткомъ; дитя ея барыни, бѣжавши, наткнулся на горничную и та пролила кипятокъ; ребенокъ былъ обваренъ. Барыня, чтобъ отомстить той же монетой, велѣла привести ребенка горничной и обварила ему руку изъ самовара... Губернаторъ Панчулидзевъ, узнавъ объ этомъ чудовищномъ происшествіи, душевно жалѣлъ, что находится въ деликатномъ отношеніи съ жандармскимъ полковникомъ и что, вслѣдствіе этого, считаетъ неприличнымъ начать дѣло, которое могутъ счесть за личность!

Въ началѣ 1842 года я былъ до невозможности утомленъ губернскимъ правленіемъ и придумывалъ предлогъ, какъ бы отдѣлаться отъ него. Пока я выбиралъ то одно, то другое средство, случай совершенно внѣшній рѣшилъ за меня.

Разъ въ холодное зимнее утро пріѣзжаю я въ правленіе, въ передней стоитъ женщина лѣтъ тридцати, крестьянка; увидавши меня въ мундирѣ, она бросилась передо мной на колѣни и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Баринъ ея, Мусинъ-Пушкинъ, ссылалъ ее съ мужемъ на поселеніе, ихъ сынъ лѣтъ 10 оставался, она умоляла дозволить ей взять съ собой дитя. Пока она мнѣ рассказывала дѣло, взшелъ военный губернаторъ, я указалъ ей на него и передалъ ея просьбу. Губернаторъ объяснилъ ей, что дѣти старше десяти лѣтъ оставляются у помѣщика. Мать, не понимая глупаго закона, продолжала просить; ему было скучно, женщина, рыдая, цѣплялась за его ноги, и онъ сказалъ, грубо отталкивая ее отъ себя: «да что ты за дура такая, вѣдь, по-русски тебѣ говорю, что я ничего не могу сдѣлать, что-же ты пристаешь». Послѣ этого онъ пошелъ твердымъ и рѣшительнымъ шагомъ въ уголъ, гдѣ ставилъ саблю.

И я пошелъ.... Съ меня было довольно.... Развѣ эта женщина не приняла меня за одного изъ нихъ? пора кончить комедію.

— Вы нездоровы?—спросилъ меня совѣтникъ Хлопинъ, переведенный изъ Сибири за какіе-то грѣхи.

¹⁾ «Крещеная Собственность».

— Боленъ, отвѣчалъ я, всталъ, раскланялся и уѣхалъ. Въ тотъ-же день написалъ я рапортъ о моей болѣзни и съ тѣхъ поръ нога моя не была въ губернскомъ правленіи. Потомъ я подалъ въ отставку «за болѣзнію». Отставку мнѣ сенатъ далъ, присовокупивъ къ ней чинъ *надворнаго совѣтника*; но Бенкендорфъ съ тѣмъ вмѣстѣ сообщилъ губернатору, что мнѣ запрещенъ вѣздъ въ столицы и велѣно жить въ Новгородѣ.

Огаревъ, возвратившійся изъ первой поѣздки за границу, принялся хлопотать въ Петербургѣ, чтобъ намъ было разрѣшено переѣхать въ Москву. Я мало вѣрилъ успѣху такого протектора и страшно скучалъ въ дрянномъ городишѣ съ огромнымъ историческимъ именемъ. Между тѣмъ Огаревъ все обдѣлалъ. 1 іюля 1842 года императрица, пользуясь семейнымъ праздникомъ, просила государя разрѣшить мнѣ жительство въ Москвѣ, взявъ во вниманіе болѣзнь моей жены и ея желаніе переѣхать туда. Государь согласился и черезъ три дня моя жена получила отъ Бенкендорфа письмо, въ которомъ онъ сообщалъ, что мнѣ разрѣшено сопровождать ее въ Москву, вслѣдствіе предстательства государыни. Онъ заключилъ письмо пріятнымъ извѣщеніемъ, что полицейскій надзоръ будетъ продолжаться и тамъ.

Новгородъ я оставлялъ безъ всякаго сожалѣнія и торопился какъ можно скорѣе уѣхать. Впрочемъ, при разлукѣ съ нимъ, случилось чуть-ли не единственно пріятное происшествіе въ моей новгородской жизни.

У меня не было денегъ, ждаты изъ Москвы я не хотѣлъ, а потому и поручилъ Матвѣю сыскать мнѣ тысячи полторы р. асс. Матвѣй черезъ часъ явился съ содержателемъ гостиницы Гибиннымъ, котораго я зналъ и у котораго въ гостиницѣ жилъ съ недѣлю. Гибинъ толстый купецъ съ добродушнымъ видомъ, кланяясь, подалъ пачку ассигнацій.

— Сколько желаете процентовъ?—спросилъ я его.

— Да я, видите, отвѣчалъ Гибинъ, этимъ дѣломъ не занимаюсь и въ припентъ денегъ не даю, а такъ какъ слышалъ отъ Матвѣя Савельевича, что вамъ нужны деньги на мѣсяцъ, на другой, а мы вами очень довольны, а деньги, слава Богу, свободныя есть,—я и принесъ.

Я поблагодарилъ его и спросилъ, что онъ желаетъ, простую расписку или вексель? но Гибинъ и на это отвѣчалъ:

— Дѣло излишнее, я вашему слову вѣрю больше, чѣмъ гербовой бумагѣ.

— Помилуйте, да, вѣдь, могу-же я умереть.

— Ну, такъ къ горести объ вашей кончинѣ, прибавилъ Гибинъ смѣясь, немного прибудеть отъ потери денегъ.

Я былъ тронуть и вмѣсто расписки горячо пожалъ ему руку. Гибинъ, по русскому обычаю, обнялъ меня и сказалъ:

— Мы, вѣдь, все смекаемъ, знаемъ, что служили-то вы по-неволѣ и что вели себя не то что другіе, прости Господи, чиновники, и за нашего брата и за черный народъ заступались, вотъ я и радъ, что потрафился случай сослужить службу.

Когда мы поздно вечеромъ выѣзжали изъ города, ямщикъ осадилъ лошадей противъ гостиницы и тотъ-же Гибинъ подаль мнѣ на дорогу тортъ величиною съ колесо...

Вотъ моя «пряжка за службу!»

ГЛАВА XXVIII.

Grübelel. — Москва послѣ ссылки. — Покровское. — Смерть Матвѣя. — Іерей Іоаннъ.

Жизнь наша въ Новгородѣ шла, нехорошо. Я пріѣхалъ туда не съ самоотверженіемъ и твердостью, а съ досадой и озлобленіемъ. Вторая ссылка съ своимъ пошлымъ характеромъ раздражала больше, чѣмъ огорчала; она не была до того несчастна, чтобы поднять духъ, а только дразнила, въ ней не было ни интереса новости, ни раздраженія опасности. Одного губернскаго правленія, съ своимъ Эльпидифоромъ Антиоховичемъ Зуровымъ, совѣтникомъ Хлопинымъ и вице-губернаторомъ Пименомъ Араповымъ, было за глаза довольно, чтобы отравить жизнь.

Я сердился; грустное расположеніе брало верхъ у Natalie. Нѣжная натура ея, привыкнущая въ дѣтствѣ къ печали и слезамъ, снова отдавалась себя-буравящей тоскѣ. Она долго останавливалась на мучительныхъ мысляхъ, легко пропуская все свѣтлое и радостное. Жизнь становилась сложнѣе, струнъ было больше, а съ ними и больше тревоги. Вслѣдъ за болѣзнью Саши, — испугъ III отдѣленія, несчастные роды, смерть младенца. Смерть младенца едва чувствуется отцомъ, забота о родильницѣ заставляетъ почти забывать промелькнувшее существо, едва успѣвшее проплакать и взять грудь. Но для матери, новорожденный — старый знакомый, она давно чувствовала его, между ними была физическая, химическая, нервная связь; сверхъ того, младенецъ для матери выкупъ за тяжесть беременности, за страданія родовъ, безъ него мученія, лишеныя цѣли, оскорбляютъ, безъ него ненужное молоко бросается въ мозгъ.

Послѣ кончины Natalie я нашелъ между ея бумагами записочку, о которой я совѣмъ забылъ. Это были нѣсколько строкъ, написанныхъ мною за часъ или за два до рожденія Саши. Это

была молитва, благословеніе, посвященіе неродившагося существа на «службу человечества», обреченіе его на «трудный путь».

Съ другой стороны было написано рукой Natalie: «1 января, 1841 г. Вчера Александръ далъ мнѣ этотъ листокъ; лучшаго подарка онъ не могъ сдѣлать, этотъ листокъ разомъ вызвалъ всю картину трехлѣтняго счастья, непрерывнаго, безпредѣльнаго, основаннаго на одной любви.

«Такъ перешли мы въ новый годъ; что бы ни ждало насъ въ немъ, я склоняю голову и говорю за насъ обоихъ: да будетъ Твоя воля!

«Мы встрѣчали новый годъ дома, уединенно; только А. Л. Витбергъ былъ у насъ. Недоставало маленькаго Александра въ кружкѣ нашемъ, малютка покоился безмятежнымъ сномъ, для него еще не существуетъ ни прошедшаго, ни будущаго. Спи, мой ангелъ, беззаботно, я молюсь о тебѣ — и о *тебѣ*, дитя мое, еще неродившееся, но котораго я уже люблю всей любовью матери, твое движеніе, твой трепеть такъ много говорятъ моему сердцу. Да будетъ твое пришествіе въ міръ радостно и благословенно!»

Но благословеніе матери не сбылось.

Смерть малютки не прошла ей даромъ.

Съ грустью и взошедшей внутрь злобой переѣхали мы въ Новгородъ.

Правда того времени, такъ какъ она тогда понималась, безъ искусственной перспективы, которую даетъ даль, безъ охлажденія временемъ, безъ исправленнаго освѣщенія лучами, проходящими черезъ ряды другихъ событій, сохранилась въ записной книгѣ того времени. Я собирался писать журналъ, начиналъ много разъ и никогда не продолжалъ. Въ день моего рожденія въ Новгородѣ Natalie подарила мнѣ бѣлую книгу, въ которой я иногда писалъ, что было на сердцѣ или въ головѣ.

Книга эта уцѣлѣла ¹⁾). На первомъ листѣ Natalie написала: «Да будутъ всѣ страницы той книги и всей твоей жизни свѣтлы и радостны!»

А черезъ три года она прибавила на ея послѣднемъ листѣ:

«Въ 1842 г. я желала, чтобъ всѣ страницы твоего дневника были свѣтлы и безмятежны; прошло три года съ тѣхъ поръ и оглянувшись назадъ, я не жалѣю, что желаніе мое не исполнилось,—и наслажденіе и страданіе необходимо для полной жизни, а успокоеніе ты найдешь въ моей любви къ тебѣ, въ любви, которой исполнено все существо мое, вся жизнь моя».

¹⁾ Этотъ журналъ напечатанъ въ VI т. наст. собранія сочиненій, подъ заглавіемъ: «Дневникъ».

Примѣчаніе издат.

«Миръ прошедшему и благословеніе грядущему! 25 марта, 1845, Москва».

Вотъ что тамъ записано 4 апрѣля, 1842 года:

«Господи, какая невыносимая тоска! слабость ли это или мое законное право? Неужели мнѣ считать жизнь оконченною, неужели всю готовность труда, всю необходимость обнаруженія держать подъ спудомъ, пока потребности заглохнутъ и тогда начать пустую жизнь. Можно было бы жить съ единой цѣлью внутренняго образованія, но середь кабинетныхъ занятій является та же ужасная тоска. Я долженъ обнаруживаться... ну, пожалуй, по той же необходимости, по которой пищитъ сверчокъ... и еще годы надобно таскать эту тяжесть!»

И будто самъ испугавшись, я выписалъ вслѣдъ за тѣмъ стихи Гёте:

Gut verloren—e t w a s verloren,
Ehre verloren—viel verloren,
Musst Ruhm gewinnen,
Da werden die Leute sich anders besinnen.
Muth verloren—alles verloren,
Da wäre es besser nicht geboren.

и потомъ:

...«Мои плечи ломаются, но еще несутъ!»

...«Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія? А между тѣмъ наши страданія—почки, изъ которыхъ разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, отчего мы лѣнтяи, ищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино, и пр.? Отчего руки не поднимаются на большой трудъ, отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски? Пусть же они остановятся съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ: мы заслужили ихъ грусть!»

...«Я не могу долго пребыть въ моемъ положеніи, я задохнусь,— и какъ бы ни вынырнуть, лишь бы вынырнуть. Писалъ къ Дуббельту (просилъ его, чтобъ онъ выхлопоталъ мнѣ право переѣхать въ Москву). Написавши такое письмо, я дѣлаюсь боленъ, on se sent flétri. Вѣроятно, это чувство, которое испытываетъ публичныя женщины, продаваясь первые раза за деньги...»¹⁾

И вотъ эту-то досаду этотъ строптивый крикъ нетерпѣнія, эту тоску по *свободной дѣятельности*, чувство цѣпей на ногахъ — Natalie приняла иначе.

Часто заставлялъ я ее у кровати Саши съ заплаканными глазами; она увѣряла меня, что все это отъ разстроенныхъ нервовъ, что лучше этого не замѣчать, не спрашивать... Я вѣрилъ ей.

¹⁾ См. т. VI «Дневникъ», стр. 6; здѣсь текстъ нѣсколько измѣненъ А. Н. Герценымъ. *Примѣчаніе издат.*

Разъ возвратился я домой поздно вечеромъ; она была уже въ постелѣ, я взшелъ въ спальную. На сердцѣ у меня было скверно. Ф. пригласилъ меня къ себѣ, чтобъ сообщить мнѣ свое подозрѣніе на одного изъ нашихъ общихъ знакомыхъ, что онъ въ сношеніяхъ съ полиціей. Такого рода вещи обыкновенно щемятъ душу не столько возможной опасностью, сколько чувствомъ нравственнаго отвращенія.

Я ходилъ молча по комнатѣ, перебирая слышанное мною, вдругъ мнѣ показалось, что Natalie плачетъ; я взялъ ея платокъ, — онъ былъ совершенно взмоченъ слезами.

— Что съ тобой? спросилъ я, испуганный и потрясенный.

Она взяла мою руку и голосомъ, полнымъ слезъ, сказала мнѣ:

— Другъ мой, я скажу тебѣ правду; можетъ, это самолюбие, эгоизмъ, сумасшествіе, но я чувствую, вижу, что не могу развлечь тебя; тебѣ скучно, — я понимаю это, я оправдываю тебя, но мнѣ больно, больно и я плачу. Я знаю, что ты меня любишь, что тебѣ меня жаль, но ты не знаешь, откуда у тебя тоска, откуда это чувство пустоты, ты чувствуешь бѣдность твоей жизни, — и въ самомъ дѣлѣ, что я могу сдѣлать для тебя?

Я былъ похожъ на человѣка, котораго вдругъ разбудили среди ночи и сообщили ему, прежде чѣмъ онъ совсѣмъ проснулся, что-то страшное: онъ уже испуганъ, дрожитъ, но еще не понимаетъ, въ чемъ дѣло. Я былъ такъ вполне покоенъ, такъ увѣренъ въ нашей полной, глубокой любви, что и не говорилъ объ этомъ, это было великое *подразумываемое* всей жизни нашей; покойное сознание, беспредѣльная увѣренность, исключаяющая сомнѣніе, даже неуверенность въ себѣ, — составляли основную стихію моего личного счастья. Покой, отдохновеніе, художественная сторона жизни, все это было — какъ передъ нашей встрѣчей на кладбищѣ 9 мая 1838, какъ въ началѣ владимірской жизни — въ ней, въ ней и въ ней!

Мое глубокое огорченіе, мое удивленіе сначала разсѣяли эти тучи, но черезъ мѣсяць, черезъ два, онѣ стали возвращаться. Я успокаивалъ ее, утѣшалъ, она сама улыбалась надъ черными призраками и снова солнце освѣщало нашъ уголокъ; но только что я забывалъ ихъ, они опять подымали голову, совершенно ничѣмъ не вызванные, и, когда они проходили, я впередъ боялся ихъ возвращенія.

Таково было расположеніе духа, въ которомъ мы, въ іюлѣ 1842 года, переѣхали въ Москву.

Московская жизнь, сначала слишкомъ разсѣянная, не могла благотворно дѣйствовать, ни успокоить. Я не только не помогъ ей въ это время, а, напротивъ, далъ поводъ развиться сильнѣе и глубже всѣмъ Grübeleien...

Грустно сосредоточивалась Natalie больше и больше,—вѣра ея въ меня поколебалась, идолъ былъ разрушенъ.

Это былъ кризисъ, болѣзненный переходъ изъ юности въ совершеннолѣтїе. Она не могла сладить съ мыслями, точившими ее, она была больна, худѣла... Испуганный, упрекая себя, стоялъ я возлѣ и видѣлъ, что той самодержавной власти, съ которой я могъ прежде заклинать мрачныхъ духовъ, у меня нѣтъ больше, мнѣ было больно это и безконечно жаль ее.

Говорятъ, что дѣти растутъ въ болѣзняхъ; въ эту психическую болѣзнь, которая поставила ее на край чахотки, она выросла колоссально. Вмѣсто утренняго, яркаго, но косога освѣщенїя, она входила этимъ скорбнымъ путемъ въ свѣтлый полдень. Организмъ вынесъ,—это только и было нужно. Не утрачивая ни одной іоты женственности, она мыслью развилась съ необычайной смѣлостью и глубиной. Тихо и съ самоотверженной улыбкой склонялась она передъ неотвратимымъ, безъ романтическаго ропота, безъ личной строптивости и безъ кичливаго удовольствїя, съ другой стороны.

Не въ книгѣ и книгой освободилась она, а ясновидѣніемъ и жизнью. Неважныя испытанїя, горькія столкновенїя, которыя для многихъ прошли бы безслѣдно, провели сильныя бразды въ ея душѣ и были достаточнымъ поводомъ внутренней глубокой работы. Довольно было легкаго намека, чтобъ отъ послѣдствїя къ послѣдствїю она доходила до того безбоязненнаго пониманья истины, которое тяжело ложится и на мужскую грудь. Она грустно разставалась съ своимъ иконостасомъ, въ которомъ стояло такъ много завѣтныхъ святынь, облитыхъ слезами печали и радости; она покидала ихъ не краснѣя, какъ краснѣютъ большія дѣвочки своей вчерашней куклы. Она не отвернулась отъ нихъ, она ихъ уступила съ болью, зная, что она станетъ отъ этого бѣднѣе, беззащитнѣе, что кроткій свѣтъ мерцающихъ лампадъ замѣнится сѣрымъ разсвѣтомъ, что она дружится съ суровыми, равнодушными силами, глухими къ лепету молитвы, глухими къ загробнымъ упованїямъ. Она тихо отняла ихъ отъ груди, какъ умершее дитя, и тихо опустила ихъ въ гробъ, уважая въ нихъ прошлую жизнь, поэзію, данную ими, ихъ утѣшенїя въ инныя минуты. Она и послѣ не любила холодно касаться до нихъ, такъ, какъ мы минуемъ безъ нужды ступать на земляную насыпь могилы.

При этой сильной внутренней работѣ, при этой ломкѣ и перестройкѣ всѣхъ убѣжденїй, явилась естественная потребность отдыха и одиночества.

Мы уѣхали въ подмосковную моего отца.

И какъ только мы очутились одни, окруженные деревьями и полями,—мы широко вздохнули и опять свѣтло взглянули на жизнь. Мы жили въ деревнѣ до поздней осени. Изрѣдка приѣз-

жали гости изъ Москвы, К. гостилъ съ мѣсяць, всѣ друзья явились къ 26 августа; потомъ опять тишина, тишина и лѣсъ и поля—и никого, кромѣ насъ.

Уединенное Покровское, потерянное въ огромныхъ лѣсныхъ дачахъ, имѣло совершенно другой характеръ, гораздо больше серьезный, чѣмъ весело брошенное на берегу Москвы-рѣки Васильевское съ своими деревнями. Разница эта даже была замѣтна между крестьянами. Покровскіе мужички, задвинутые лѣсами, меньше васильевскихъ ходили на подмосковныхъ, несмотря на то, что жили двадцатью верстами ближе къ Москвѣ. Они были тише, проще и чрезвычайно тѣсно сжились между собой. Мой отецъ переселилъ въ Покровское одну богатую крестьянскую семью изъ Васильевского, но они никогда не считали эту семью за принадлежащую къ ихъ селу, и называли ихъ «посельщиками».

Съ Покровскимъ я тоже былъ тѣсно соединенъ всѣмъ дѣтствомъ, тамъ я бывалъ даже такимъ ребенкомъ, что и не помню, а потомъ съ 1821 года, почти всякое лѣто, отправляясь въ Васильевское или изъ Васильевского, мы заѣзжали туда на нѣсколько дней. Тамъ жилъ старикъ Кашенцовъ, разбитый параличемъ, въ опалѣ съ 1813 года и мечталъ увидѣть своего барина съ кавалеріями и регаліями; тамъ жилъ и умеръ потомъ, въ холеру 1831, почтенный, сѣдой староста съ брюшкомъ Василій Яковлевъ, котораго я помнилъ во всѣ свои возрасты и во всѣ цвѣта его бороды, сперва темно-русой, потомъ совершенно сѣдой; тамъ былъ молочный братъ мой Никифоръ, гордившійся тѣмъ, что для меня отняли молоко его, матери умершей впоследствии въ домѣ умалишенныхъ...

Небольшое село изъ какихъ-нибудь двадцати или двадцати пяти дворовъ стояло въ нѣкоторомъ разстояніи отъ довольно большого господскаго дома. Съ одной стороны, былъ расчищенный и обнесенный рѣшеткой полукруглый лугъ, съ другой, видъ на запруженую рѣчку, для предполагаемой лѣтъ за пятнадцать тому назадъ мельницы, и на покосившуюся, ветхую деревянную церковь, которую ежегодно собирались поправить, тоже лѣтъ пятнадцать, Сенаторъ и мой отецъ, владѣвшіе этимъ имѣньемъ собца.

Домъ, построенный Сенаторомъ, былъ очень хорошъ: высокія комнаты, большія окна, и съ обѣихъ сторонъ сѣни въ родѣ террасъ. Онъ былъ построенъ изъ отборныхъ толстыхъ бревенъ, ничѣмъ не покрытыхъ ни снаружи, ни внутри, и только проконопаченыхъ паклей и мохомъ. Стѣны эти пахли смолой, выступавшей тамъ-сямъ янтарнымъ потомъ. Передъ домомъ, за небольшимъ полемъ, начинался темный, строевой лѣсъ, черезъ него шелъ просѣкъ въ Звенигородъ; по другую сторону тянулась селомъ и пропадала во ржи пыльная, тонкая тесемка проселочной дороги, вы-

ходившей через майковскую фабрику—на Можайку. Дубравный покой и дубравный шумъ, непрерывное жужжаніе мухъ, пчелъ, шмелей... и запахъ... этотъ травянолѣсной запахъ, насыщенный растительными испареніями, листомъ, а не цвѣтами... котораго я такъ жадно искалъ и въ Италиі, и въ Англии; и весной и жаркимъ лѣтомъ, и почти никогда не находилъ. Иногда будто пахнетъ имъ, послѣ скошеннаго сѣна, при сирокко, передъ грозой... и вспомнится небольшое мѣстечко передъ домомъ, на которомъ, къ великому оскорбленію старосты и дворовыхъ людей, я не велѣлъ косить траву подъ гребенку; на травѣ трехлѣтній мальчикъ, валяющійся въ клеверѣ и одуванчикахъ, между кузнечиками, всякими жуками и божьими коровками, и мы сами, и молодость, и друзья!

Солнце сѣло, еще очень тепло, домой идти не хочется, мы сидимъ на травѣ. К. разбираетъ грибы и бранится со мной безъ причины. Что это, будто колокольчикъ? Къ намъ, что ли? Сегодня суббота, можетъ быть. — «Исправникъ ѣдетъ куда-нибудь», говоритъ К., подозрѣвая, что это не онъ. Тройка катитъ селомъ, стучитъ по мосту, ушла за пригорокъ, тутъ одна дорога и есть — къ намъ. Пока мы бѣжимъ навстрѣчу, тройка у подъѣзда; Михаилъ Семеновичъ, какъ лавина, уже скатился съ нея, смѣется, цѣлуется и моритъ со смѣха, въ то время, какъ Бѣлинскій, проклиная даль Покровскаго, устройство русскихъ телѣгъ, русскихъ дорогъ, еще слѣзаетъ, расправляя поясницу. А К. уже бранитъ ихъ:

— Да что васъ эта нелегкая принесла въ восемь часовъ вечера, не могли раньше ѣхать, все привередникъ Бѣлинскій, не можетъ рано встать. Вы что смотрѣли!

— Да онъ еще больше одичалъ у тебя, говоритъ Бѣлинскій, — да и волосы какіе отрастилъ! Ты К. могъ бы въ Макбетѣ представлять подвижной лѣсъ. Погоди, не истощай всего запаса ругательствъ, есть злодѣи, которые позже нашего приѣзжаютъ.

Другая тройка уже загибаетъ на дворѣ, Грановскій, Е. К.

— На долго ли вы?

— На два дни.

— Превосходно!—И самъ К. радъ до того, что встрѣчаетъ ихъ почти такъ, какъ Тарасъ Бульба своихъ сыновей.

Да, это была одна изъ свѣтлыхъ эпохъ нашей жизни, отъ прошлыхъ бурь едва оставались исчезающія облака; дома, въ кругу друзей, была полная гармонія!

А чуть было нелѣпая случайность не перепортила все.

Какъ-то вечеромъ, Матвѣй, при насъ показывая Сашѣ что-то на плотинѣ, поскользнулся и упалъ въ воду съ мелкой стороны. Саша перепугался, бросился къ нему, когда онъ вышелъ, вцѣпился въ него рученками и повторялъ сквозь слезы: «Не ходи, не ходи,

ты утонешь!» Никто не думалъ, что эта дѣтская ласка будетъ для Матвѣя послѣдняя и что въ словахъ Саши заключалось для него страшное пророчество.

Измокшій и замаравшійся Матвѣй пошелъ спать, — и мы больше не видали его.

На другое утро, я стоялъ на балконѣ, часовъ въ семь, слышались какіе-то голоса, больше и больше, нестройные крики и вслѣдъ за тѣмъ показались мужики, бѣжавшіе стремглавъ... «Что у васъ тамъ?» — «Да бѣда, отвѣчали они, человѣкъ-отъ вашъ никакъ тонетъ... одного во время вытащили, а другого не могутъ сыскать». Я бросился къ рѣкѣ. Староста былъ налицо и распоряжался безъ сапогъ и съ засученными портками; двое мужиковъ съ кояги забрасывали неводъ. Минуть черезъ пять они закричали: «Нашли, нашли!» и вытащили на берегъ мертвое тѣло Матвѣя. Цвѣтушій юноша этотъ, красивый, краснощекій, лежалъ съ открытыми глазами, безъ выраженія жизни и ужъ нижняя часть лица начала вздуться. Староста положилъ тѣло на берегу, строго наказалъ мужикамъ не дотрагиваться, набросилъ на него армякъ, поставилъ караульнаго и послалъ за земской полиціей...

Когда я возвратился домой, я встрѣтился съ Natalie; она уже знала, что случилось, и рыдая бросилась ко мнѣ.

Жаль, очень жаль намъ было Матвѣя. Матвѣй въ нашей небольшой семьѣ игралъ такую близкую роль, былъ такъ тѣсно связанъ со всѣми главными событіями ея послѣднихъ пяти лѣтъ и такъ искренно любилъ насъ, что потеря его не могла легко пройти.

«Можетъ, писалъ я тогда, — для него смерть благо, жизнь ему сулила страшные удары, у него не было выхода. Но страшно быть свидѣтелемъ такого спасенія отъ будущаго. Онъ развился подъ моимъ вліяніемъ, но слишкомъ поспѣшно, его развитіе мучило его своей неравномѣрностью».

Печальная сторона въ судьбѣ Матвѣя состояла именно въ разрывѣ, который неосторожное развитіе внесло въ его жизнь, и въ немогутѣ наполнить его, въ отсутствіи твердой воли одолѣть имъ. Благородныя чувства и нѣжное сердце въ немъ были сильнѣе ума и характера. Онъ быстро, *по-женски*, почувялъ многое, особенно изъ нашего возрѣнія; но смиренно возвратиться къ началамъ, къ азбукѣ и выполнить ученіемъ пустоты и пробѣлы, онъ не былъ въ состояніи. Званія своего онъ не любилъ, да и не могъ любить. Общественное неравенство нигдѣ не является съ такимъ унижающимъ, оскорбительнымъ характеромъ, какъ въ отношеніи между барининомъ и слугой. Ротшильдъ на улицѣ гораздо ровнѣе съ нищимъ, который стоитъ съ метлой и размета-

еть передь нимъ грязь, чѣмъ съ своимъ камердинеромъ въ шелковыхъ чулкахъ и бѣлыхъ перчаткахъ.

Жалобы на слугъ, которыя мы слышимъ ежедневно, такъ же справедливы, какъ жалобы слугъ на господъ, и это не потому, чтобъ тѣ и другіе сдѣлались хуже, а потому, что ихъ отношеніе больше и больше приходитъ въ сознаніе. Оно удручительно для слуги и развращаетъ барина.

Мы такъ привыкли къ нашему аристократическому отношенію къ прислугѣ, что вовсе его не замѣчаемъ. Сколько есть на свѣтѣ барышень добрыхъ и чувствительныхъ, готовыхъ плакать о зябнущемъ щенкѣ, отдать нищему послѣднія деньги, готовыхъ ѣхать въ трескучій морозъ на томболу въ пользу разоренныхъ въ Сиріи, на концертъ, дающійся для погорѣлыхъ въ Абиссиніи, и которыя, прося маменьку еще остаться на кадрили, ни разу не подумали о томъ, какъ малютка фореиторъ мерзнетъ на ночномъ морозѣ, сидя верхомъ съ застывающей кровью въ жилахъ.

Гнусно отношеніе господъ съ слугами. Работникъ, по крайней мѣрѣ, знаетъ свою работу, онъ что-нибудь дѣлаетъ, онъ что-нибудь можетъ сдѣлать поскорѣе, и тогда онъ правъ, наконецъ, онъ можетъ мечтать, что самъ будетъ хозяиномъ. Слуга не можетъ кончить своей работы, онъ въ бѣличьемъ колесѣ; жизнь сорить, сорить безпрестанно, слуга безпрестанно подчищаетъ за ней. Онъ *долженъ* взять на себя всѣ мелкія неудобства жизни, всѣ грязныя, всѣ скучныя ея стороны. На него надѣваются ливрею, чтобъ показать, что онъ *не самъ, а чей-то*. Онъ ухаживаетъ за человѣкомъ вдвое больше здоровымъ, чѣмъ онъ самъ, онъ долженъ ступать въ грязь, чтобъ тотъ сухо прошелъ, онъ долженъ мерзнуть, чтобъ тому было тепло.

Ротшильдъ не дѣлаетъ нищаго ирландца свидѣтелемъ своего лукулловскаго обѣда, онъ его не посылаетъ наливать двадцати человѣкамъ Clos de Vougeot, съ подразумѣваемымъ замѣчаніемъ, что если онъ нальетъ себѣ, то его прогонять какъ вора. Наконецъ, ирландецъ тѣмъ уже счастливѣе комнатнаго раба, что онъ не знаетъ, какія есть мягкія кровати и пахучія вины.

Матвѣю было лѣтъ 15, когда онъ перешелъ ко мнѣ отъ Зо-ненберга. Съ нимъ я жилъ въ ссылкѣ, съ нимъ во Владимірѣ; онъ намъ служилъ въ то время, когда мы были безъ денегъ. Онъ какъ нянька ходилъ за Сашей, наконецъ, онъ имѣлъ ко мнѣ безграничное довѣріе и слѣпую преданность, которыя шли изъ пониманья, что я *не въ самомъ дѣлѣ баринъ*. Его отношеніе ко мнѣ больше походило на то, которое встарь бывало между учениками итальянскихъ художниковъ и ихъ maestri. Я часто былъ имъ недоволенъ, но вовсе не какъ слугой... Я печально

смотрѣлъ на его будущность; чувствуя тягость своего положенія, страдая объ этомъ, онъ ничего не дѣлалъ, чтобъ выйти изъ него. Въ его лѣта, если-бъ онъ хотѣлъ заниматься, онъ могъ бы начать новую жизнь; но для этого-то и надобенъ былъ постоянный, настойчивый трудъ, часто скучный, часто дѣтскій. Его чтеніе ограничивалось романами и стихами; онъ ихъ понималъ, цѣнилъ, иногда очень вѣрно, но серьезныя книги его утомляли. Онъ медленно и плохо считалъ, дурно и нечетко писалъ. Сколько я ни настаивалъ, чтобъ онъ занялся арифметикой и чистописаніемъ, не могъ дойти до этого: вмѣсто русской грамматики, онъ брался то за французскую азбуку, то за нѣмецкіе діалоги, разумѣется, это было потерянное время и только обезкураживало его. Я его сильно бранилъ за это, онъ огорчался, иногда плакалъ, говорилъ, что онъ несчастный человѣкъ, что ему учиться поздно, и доходилъ иногда до такого отчаянія, что желалъ умереть, бросалъ всѣ занятія, и недѣли, мѣсяцы проводилъ въ скукѣ и праздности.

Съ посредственными способностями безъ большого размаха можно было бы еще сладить. Но, по несчастію, у этихъ психически тонко развитыхъ, но мягкихъ натуръ, большею частію сила тратится на то, чтобъ ринуться впередъ, а на то, чтобъ продолжать путь, ея и нѣтъ. Издали—образованіе, развитіе представляются имъ съ своей поэтической стороны, ее-то они и хотѣли бы захватить, забывая, что имъ не достаетъ всей технической части дѣла—*doigté*, безъ котораго инструментъ все-таки не покоряется.

Часто спрашивалъ я себя, не ядовитый-ли даръ для него его полуразвитіе? Что-то ждетъ его въ будущемъ?

Судьба разрубила гордіевъ узелъ!

Бѣдный Матвѣй! Къ тому же и самыя похороны его были окружены, при всемъ подавляющемъ, угрюмомъ характерѣ, скверной обстановкой и притомъ совершенно отечественной.

Къ полудню пріѣхалъ становой и писарь, съ ними явился и нашъ сельскій священникъ, горькій пьяница и старый старикъ. Они освидѣтельствовали *тѣло*, взяли вопросы и сѣли въ залѣ писать. Попъ, ничего не писавшій и ничего не читавшій, надѣлъ на носъ большіе серебряные очки, и сидѣлъ молча, вздыхая, зѣвая и крестя ротъ, потомъ вдругъ обратился къ старостѣ и, сдѣлавши движеніе, какъ будто нестерпимо болитъ поясница спросилъ его:

— А что, Савелій Гавриловичъ, закусочка будетъ?

Староста, важный мужикъ, произведенный Сенаторомъ и моимъ отцемъ въ старосты за то, что онъ былъ *хорошій плотникъ*, не изъ той деревни (слѣдственно, ничего въ ней не зналъ) и

былъ очень красивъ собой, несмотря на шестой десятокъ,—погладилъ свою бороду расчесанную вѣеромъ и, такъ какъ ему до этого никакого дѣла не было, отвѣчалъ густымъ басомъ, по-смаывая на меня изъ подлбья:

— А ужъ это не можемъ доложить-съ!

— Будетъ, отвѣчалъ я, и позвалъ человѣка.

— Благодареніе Господу Богу; да и пора, рано встаю, Ле-ксандръ Ивановичъ, такъ и отощаль.

Становой положилъ перо и, потирая руки, сказалъ, прихораши-ваясь:

— У насъ, кажись, отецъ-то Іоаннъ взалкалъ; дѣло доброе-съ, коли хозяинъ не прогнѣвается, можно-съ.

Человѣкъ принесъ холодную закуску, сладкой водки, настойки и хересу.

— Благословите-ка, батюшка, яко пастыръ, и покажите при-мѣръ, а мы грѣшныя за вами,—замѣтилъ становой.

Попъ, съ поспѣшностію и съ какой-то чрезвычайно сжатой молитвой, хватилъ винную рюмку сладкой водки, взялъ крошеч-ной вершокъ хлѣба въ ротъ, погрызъ его и въ ту же минуту выпилъ другую, и потомъ уже тихо и продолжительно занялся ветчиной.

Становой—и это мнѣ особенно врѣзалось въ память,—повторяя тоже сладкую водку, былъ ею доволенъ и, обращаясь ко мнѣ, съ видомъ знатока замѣтилъ:

— Полагаю - съ, что допелькюмель у васъ отъ вдовы Руже-съ?—Я не имѣлъ понятія, гдѣ покупали водку, и велѣлъ подать полштофъ; дѣйствительно водка была отъ вдовы Руже. Какую практику надобно было имѣть, чтобъ различить *по букету водки*—имя заводчика!

Когда они кончили, староста положилъ становому въ те-лѣгу куль овса и мѣшокъ картофеля; писарь, напившійся въ кухнѣ, сѣлъ на облучекъ, и они уѣхали.

Священникъ пошелъ нетвердыми стопами домой,ковыряя въ зубахъ какой-то щепкой. Я приказывалъ людямъ о похоронахъ, какъ вдругъ отецъ Іоаннъ остановился и замахалъ руками; ста-роста побѣжалъ къ нему, потомъ отъ него ко мнѣ.

— Что случилось?

— Да батюшка велѣлъ вашу милость спросить, отвѣчалъ староста, не скрывая улыбки, кто, молъ, поминки будетъ спра-влять по покойникѣ?

— Что же ты ему сказалъ?

— Сказалъ, чтобъ не сумлѣвался, блины, молъ, будутъ.

Матвѣя схоронили, блиновъ и водки попу дали, а все-то это

оставило за собой длинную темную тѣнь, мнѣ же предстояло еще ужасное дѣло,—извѣстить его мать.

Разстаться съ честнымъ іереемъ храма Покрова Божіей Матери въ селѣ Покровскомъ я никакъ не могу, не рассказавъ объ немъ слѣдующее событіе.

Отецъ Іоаннъ былъ не модный семинарской священникъ, не зналъ греческихъ спряженій и латинскаго синтаксиса. Ему было за семьдесятъ лѣтъ, полжизни онъ провелъ діакономъ въ большомъ селѣ «Елисаветъ Алексіевны Голохвастовой», которая упростила митрополита рукоположить его священникомъ и опредѣлить на открывшуюся вакансію въ селѣ моего отца. Какъ онъ ни старался всею жизнію привыкнуть къ употребленію большого количества сивухи, онъ не могъ побѣдить ея дѣйствія, и поэтому онъ послѣ полудня былъ постоянно пьянъ. Пилъ онъ до того, что часто со свадьбы или съ крестинъ, въ сосѣднихъ деревняхъ, принадлежавшихъ къ его приходу, крестьяне выносили его за-мертво, клали какъ снопъ въ телѣгу, привязывали вожжи къ передку и отпавляли его подъ единственнымъ надзоромъ его лошади. Кляченка, хорошо знавшая дорогу, привозила его преаккуратно домой. Матушка попадья также пила до пьяна всякой разъ, когда Богъ пошлетъ. Но замѣчательнѣе этого то, что его дочь, лѣтъ четырнадцать, могла не морщась выпивать чайную чашку пѣнника.

Мужики презирали его и всю его семью, они даже разъ жаловались на него міромъ Сенатору и моему отцу, которые просили митрополита взойти въ разборъ. Крестьяне обвиняли его въ очень большихъ запросахъ денегъ за требы, въ томъ, что онъ не хоронилъ болѣе трехъ дней, безъ платы впередъ, а вѣнчать вовсе отказывался. Митрополитъ или консисторія нашли просьбу крестьянъ справедливой, и послали отца Іоанна на два или на три мѣсяца толочь воду. Попъ возвратился послѣ архипастырскаго исправленія, не только вдвое пьяницей, но и воромъ.

Наши люди рассказывали, что разъ въ храмовой праздникъ подъ хмелькомъ, бражничая вмѣстѣ съ попомъ, старикъ крестьянинъ ему сказалъ: «Ну вотъ, молъ, ты озорникъ какой, довелъ дѣло до высокопреосвященнѣйшаго! Честью не хотѣлъ, такъ вотъ тебѣ и подрѣзали крылья». Обиженный попъ отвѣчалъ будто бы на это: «Зато, вѣдь, я васъ, мошенниковъ, такъ и вѣнчаю, такъ и хороню, что ни есть самыя дрянныя молитвы, ихъ то-я вамъ и читаю».

Черезъ годъ, т. е., въ 1844, мы опять жили лѣто въ Покровскомъ. Сѣдой, исхудалый попъ все также пилъ, и также не могъ одолѣть сильнаго дѣйствія алкоголя. По воскресеньямъ, онъ по-вадился послѣ обѣдни приходитъ ко мнѣ, напиваться водкой и

сидѣть часа два. Мнѣ это надоѣло, я не велѣлъ его принимать и даже прятался отъ него въ лѣсъ, но онъ и тутъ нашелся: «Барина дома нѣтъ, говорилъ онъ,—ну, а водка-то дома вѣрно? Небось, не взялъ съ собой?» Человѣкъ мой выносилъ ему въ переднюю большую рюмку сладкой водки, и священникъ, выпивъ ее и закусивъ паюсной икрой, смиренно уходилъ во-свояси.

Наконецъ, наше знакомство рушилось окончательно.

Однимъ утромъ, является ко мнѣ дьячекъ, молодой долговязый малый, по женски зачесанный, съ своей молодой женой, покрытой веснушками; оба они были въ сильномъ волненіи, оба говорили вмѣстѣ, оба прослезились, и отерли слезы въ одно время. Дьячекъ какимъ-то сплюснутымъ дискантомъ, супруга его, страшно картавя, рассказывали въ обгонки, что на дняхъ у нихъ украли часы и шкатулку, въ которой было рублей пятьдесятъ денегъ, что жена дьячка нашла «воя» и что этотъ «вой» никто иное, какъ честнѣйшій богомолецъ нашъ отецъ-Іоаннъ.

Доказательства были непреложны: жена дьячка нашла въ хламѣ, выброшенномъ изъ священникова дома, кусокъ отъ крышки украденнаго ящика.

Они приступили ко мнѣ, чтобъ я защитилъ ихъ. Сколько я имъ ни объяснялъ раздѣленія властей на духовную и свѣтскую, но дьячекъ не сдавался, жена его плакала; я не зналъ, что дѣлать. Жаль мнѣ его было, потерю свою онъ цѣнилъ въ 90 р. Подумавъ, я велѣлъ заложить телѣгу и послалъ старосту съ письмомъ къ исправнику; у него-то я спрашивалъ того совѣта, который дьячекъ надѣялся получить отъ меня. Къ вечеру староста воротился, исправникъ мнѣ на словахъ велѣлъ сказать: «Бросьте это дѣло, а то консисторія вступится и надѣлаетъ хлопотъ. Пусть, молю, баринъ не трогаетъ кутьи, коли не хочетъ, чтобъ отъ рукъ воняло». Отвѣтъ этотъ, и въ особенности послѣднее замѣчаніе, Савелій Гавриловъ передавалъ съ большимъ удовольствіемъ. «А что шкатулку укралъ батюшка, прибавилъ онъ, то это такъ вѣрно, какъ я передъ вами стою».

Я съ горестью передалъ дьячку отвѣтъ свѣтской власти. Староста, напротивъ, успокоительно говорилъ ему: «Ну, что безвременно носъ повѣсилъ? погоди, подведемъ еще; что ты,—баба или дьячекъ?»

И подвелъ староста съ компаніей.

Былъ ли Савелій Гавриловъ раскольникъ, или нѣтъ, я навѣрное не знаю; но семья крестьянъ, переведенная изъ Васильевскаго, когда отецъ мой его продалъ, вся состояла изъ старообрядцевъ. Люди трезвые, смышленные и работающіе, они всѣ ненавидѣли попа. Одинъ изъ нихъ, котораго мужики называли лабазникомъ, имѣлъ на Неглинной въ Москвѣ свою лавку. Исторія

украденныхъ часовъ тотчасъ дошла до него; наводя справки, лабазникъ узналъ, что дьяконъ безъ мѣста, зять покровскаго попа, предлагалъ кому-то купить или отдать подъ закладъ часы, что часы эти у мѣнялы; лабазникъ зналъ часы дьячка, онъ къ мѣнялѣ, какъ разъ часы тѣ самыя. На радостяхъ онъ не пожалѣлъ лошади и пріѣхалъ самъ съ вѣстію въ Покровское.

Тогда, съ полными доказательствами въ рукахъ, дьячекъ отправился къ благочинному. Дни черезъ три я узналъ, что попъ заплатилъ дьячку сто руб. и они помирились.

— Какъ же это было?—спросилъ я дьячка.

— Благочинный соизволилъ, какъ изволили слышать, нашего Ирода выписывать къ себѣ-съ. Долго держали ихъ-съ и уже что было,—не знаю-съ. Только потомъ изволили меня потребовать и строго сказали мнѣ: «Что у васъ тамъ за дразги? Стыдно, молодой человѣкъ, мало ли что подъ хмелькомъ случится, старикъ, видишь, старый, въ отцы тебѣ годится. Онъ тебѣ сто рублей на мировую даетъ. Доволенъ ли?—Доволенъ, говорю я, молъ, ваше высокоблагословеніе.—«Ну, а доволенъ, такъ хайло-то держи, нечего въ колокола звонить, все же ему за семьдесятъ лѣтъ; а не то, смотри, самого въ бараній рогъ сверну».

И этотъ пьяный воръ, уличенный лабазникомъ, снова явился священнодѣйствовать, при томъ же старостѣ, который такъ утвердительно говорилъ мнѣ, что онъ укралъ «шкатунку», съ тѣмъ же дьячкомъ на крылосѣ, у котораго теперь паки и паки въ карманѣ измѣряли скудельное время знаменитые часы, и — при тѣхъ же крестьянахъ.

Случилось это въ 1844 г., въ пятидесяти верстахъ отъ Москвы и я былъ всего этого свидѣтелемъ!

ГЛАВА XXIX.

Н а ш и.

I.

Московскій кругъ.—Застольная бесѣда.—Западники. (Боткинъ, Рѣдкинъ, Крюковъ, Е. К....)

Поѣздкой въ Покровское и тихимъ лѣтомъ, проведеннымъ тамъ, начинается та изящная, возмужалая и дѣятельная полоса пашей московской жизни, которая длилась до кончины моего отца и, пожалуй, до нашего отъѣзда.

Судорожно натянутые нервы въ Петербургѣ и Новгородѣ отдали, внутреннія непогоды улеглись. Мучительные разборы насъ самихъ и другъ друга, эти ненужныя разбереживанія словами недавнихъ ранъ, эти непрерывныя возвращенія къ однимъ и тѣмъ же наболѣвшимъ предметамъ, миновали; а потрясенная вѣра въ нашу непогрѣшительность придавала больше серьезный и истинный характеръ нашей жизни. Моя статья: «По поводу одной драмы» была заключительнымъ словомъ прожитой болѣзни ¹⁾.

Съ внѣшней стороны тѣснилъ только полицейскій надзоръ ²⁾; не могу сказать, чтобъ онъ былъ очень докучливъ, но непріятное чувство дамокловой трости, занесенной рукой квартальнаго, очень противно.

Новые друзья приняли насъ горячо, гораздо лучше, чѣмъ два года тому назадъ. Въ ихъ главѣ стоялъ Грановскій, ему принадлежитъ главное мѣсто этого пятилѣтія. Огаревъ былъ почти все время въ чужихъ краяхъ. Грановскій замѣнялъ его намъ и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви лежала въ этой личности. Со многими я былъ *согласенъ* въ мнѣніяхъ, но съ нимъ я былъ ближе—тамъ гдѣ-то, въ глубинѣ души.

Грановскій и всѣ мы были сильно заняты, всѣ работали и трудились, кто занимая каѳедры въ университетѣ, кто участвуя въ обзорніяхъ и журналахъ, кто изучая русскую исторію; къ этому времени относятся начала всего сдѣланнаго потомъ.

Мы были уже очень не дѣти; въ 1842 году мнѣ стукнуло тридцать лѣтъ; мы слишкомъ хорошо знали, куда насъ вела наша дѣятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы нашъ путь съ тѣмъ успокоеннымъ, ровнымъ шагомъ, къ которому приучилъ насъ опытъ и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарѣлись, нѣтъ, мы были въ то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую каѳедру, другіе, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставкѣ, ссылкѣ.

¹⁾ Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV) прибавлено: „Разумѣется, мы не могли возвратиться къ весеннему, юному владимірскому отшельничеству. Шиллеръ правъ: «май жизни цвѣтетъ одинъ разъ», но есть еще другіе цвѣты, не майскіе, которые распускаются въ іюнѣ, іюль, августъ, — они на своемъ мѣстѣ такъ же красивы и благоуханны, какъ весеннія violetки и ландыши на своемъ. Самая старость имѣетъ зимніе вѣнки, которые ей очень идутъ, лишь бы она не красила сѣдыхъ кудрей своихъ. Жизнь наша, устроившаяся въ Москвѣ къ концу 1847 года, была очень изящна и носила особый характеръ возмужалости и силы.

²⁾ Въ «Полярной Звѣздѣ» прибавлено: продолжавшійся до 1847 г.

Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ, многостороннихъ и чистыхъ, я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ, ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго. А я много ѣздилъ, вездѣ жилъ и со всѣми жилъ; революціей меня прибило къ тѣмъ крайямъ развитія, далѣе которыхъ ничего нѣтъ, и я по совѣсти долженъ повторить то же самое.

Оконченная, замкнутая личность западнаго человѣка, удивляющая насъ сначала своей спеціальностью, вслѣдъ за тѣмъ удивляетъ односторонностью. Онъ всегда доволенъ собой, его suffisance насъ оскорбляетъ. Онъ никогда не забываетъ личныхъ видовъ, положеніе его вообще стѣсненное и нравы приложены къ жалкой средѣ.

Я не думаю, чтобъ люди всегда были здѣсь таковы, западный человѣкъ не въ нормальномъ состояніи: онъ *лняетъ*. Неудачныя революціи взопли внутрь, ни одна не перемѣнила его, каждая оставила слѣдъ и сбила понятія, а историческій валъ естественнымъ чередомъ выплеснулъ на главную сцену тинистый слой мѣщанъ, покрывшій собою ископаемый классъ аристократій и затопившій народные всходы. Мѣщанство несомвѣстно съ нашимъ характеромъ—и слава Богу!

Распущенность ли наша, недостатокъ ли нравственной осѣдлости, опредѣленной дѣятельности, юность ли въ дѣлѣ образованія, аристократизмъ ли воспитанія, но мы въ жизни, съ одной стороны, больше художники, съ другой, гораздо проще западныхъ людей: не имѣемъ ихъ спеціальности, но за то многостороннѣ ихъ. Развитыя личности у насъ рѣдко встрѣчаются, но они пышно, разметисто развиты, безъ шпалеръ и заборовъ. Совсѣмъ не такъ на Западѣ.

Съ людьми самыми симпатичными какъ разъ здѣсь договориться до такихъ противурѣчій, гдѣ ужъ ничего нѣтъ общаго и гдѣ убѣдить невозможно. Въ этой упрямой упорности и произвольномъ непониманіи такъ и стучишь головой о предѣлъ міра завершеннаго.

Наши теоретическія несогласія, совсѣмъ напротивъ, вносили болѣе жизненный интересъ, потребность дѣятельнаго обмѣна, держали умъ бодрѣ, двигали впередъ; мы росли въ этомъ треніи другъ объ друга, и въ самомъ дѣлѣ были сильнѣе тою composite артели, которую такъ превосходно опредѣлил Прудонъ въ механическомъ трудѣ.

Съ любовью останавливаюсь я на этомъ времени дружнаго труда, полнаго, поднятаго пульса, согласнаго строя и мужественной борьбы; на этихъ годахъ, въ которые мы были юны въ послѣдній разъ!...

Нашъ небольшой кружокъ собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядомъ съ болтовней, шуткой, ужинкомъ и виномъ, шель самый дѣятельный, самый быстрый обмѣнъ мыслей, новостей и знаній; каждый передавалъ прочтенное и узнанное, споры обобщали взглядъ и выработанное каждымъ дѣлалось достояніемъ всѣхъ. Ни въ одной области вѣдѣнія, ни въ одной литературѣ, ни въ одномъ искусствѣ не было значительнаго явленія, которое не попало бы кому-нибудь изъ насъ, и не было бы тотчасъ сообщено всѣмъ.

Вотъ этотъ характеръ нашихъ сходокъ не понимали тупые неданты и тяжелые школяры. Они видѣли мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пиръ идетъ къ полнотѣ жизни, люди воздержные бываютъ обыкновенно сухіе, эгоистическіе люди. Мы не были монахи, мы жили во всѣ стороны и, сидя за столомъ, побольше развѣлились и сдѣлали не меньше, чѣмъ эти постные труженики, копающіеся на заднемъ дворѣ науки ¹⁾.

Ни васъ, друзья мои, ни того яснаго, славнаго времени я не дамъ въ обиду; я объ немъ вспоминаю болѣе, чѣмъ съ любовью, чуть ли не съ завистью. Мы не были похожи на изнуренныхъ монаховъ Зурбарана, мы не плакали о грѣхахъ міра сего, мы только сочувствовали его страданіямъ и съ улыбкой были готовы *кой на что*, не наводя тоски предвкушеніемъ своей будущей жертвы. Вѣчно угрюмые постники мнѣ всегда подозрительны; если они не притворяются, у нихъ или умъ, или желудокъ разстроены.

Ты правъ, мой другъ, ты правъ...

да, ты правъ, Боткинъ—и гораздо больше Платона—ты, поучавшій нѣкогда насъ не въ садахъ и портикахъ (у насъ слишкомъ холодно безъ крыши), а за дружеской трапезой, что человекъ равно можетъ найти «пантеистическое» наслажденіе, созерцая пляску волнъ морскихъ и дѣвъ испанскихъ, слушая пѣсни Шуберта и запахъ индѣйки съ трюфлями. Внимая твоимъ мудрымъ словамъ, я въ первый разъ оцѣнилъ демократическую глубину нашего языка, приравнивающего запахъ къ звуку.

Не даромъ покидалъ ты твою Моросейку, ты въ Парижѣ научился уважать кулинарное искусство и съ береговъ Гвадалквивира привезъ религію не только ножекъ, но самодержавныхъ, высочайшихъ икръ, *soberana pantorilla!*

¹⁾ Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV, стр. 137), прибавлено: Такъ и вижу теперь всю застольную бесѣду, гдѣ-нибудь на Моросейкѣ или на Трубѣ, Б., шурящаго свои и безъ того китайскіе глазки и философски толкующаго о пантеистическомъ наслажденіи ѣсть индѣйку съ трюфлями и слушать Бетховена.

Вѣдь, вотъ и Рѣдкинъ былъ въ Испаніи,—но какая польза отъ этого? Онъ ѣздилъ въ этой странѣ историческаго безправія для юридическихъ комментарій къ Пухтѣ и Савиньи, вмѣсто фанданго и боллеро, смотрѣлъ на возстаніе въ Барселонѣ (окончившееся совершенно тѣмъ же, чѣмъ всякая качуча, т. е. ничѣмъ) и такъ много рассказывалъ объ немъ, что кураторъ Строгоновъ, качая головой, сталъ посматривать на его большую ногу и бормоталъ что-то о баррикадахъ, какъ будто сомнѣваясь, что «радикальный юристъ» зашибъ себѣ ногу, свалившись въ вѣрноподанническомъ Дрезденѣ съ дилижанса на мостовую.

— Что за неуваженіе къ наукѣ! ты, братецъ, знаешь, что я такихъ шутокъ не люблю, говоритъ строго Рѣдкинъ и вовсе не сердится.

— Это ввв-сѣ мо-о-жетъ быть, замѣчаетъ, заикаясь, Е. К.,—но отчего же ты себя до того идентифицировалъ съ наукой, что нельзя шутить надъ тобой, не обижая ее?

— Ну, пошло, теперь не кончится, прибавляетъ Рѣдкинъ и принимается съ настойчивостью человѣка, прочитавшаго всего Ротека, за супъ, осыпaeмый слегка остротами Крюкова— съ изящной античной отдѣлкой по классическимъ образцамъ.

Но вниманіе всѣхъ уже оставило ихъ, оно обращено на осетрину; *ее объясняетъ* самъ Щепкинъ, изучившій мясо современныхъ рыбъ больше, чѣмъ Агасси съ кости допотопныхъ. Боткинъ взглянулъ на осетра, прищурилъ глаза и тихо покачалъ головой, не изъ боку въ бокъ, а склоняясь; одинъ Кетчеръ, равнодушный по принципу къ величіямъ міра сего, закурилъ трубку и говорить о другомъ.

Не сердитесь за эти строки вздору, я не буду продолжать ихъ, онѣ почти невольно сорвались съ пера, когда мнѣ представились наши московскіе обѣды; на минуту я забылъ и невозможность записывать шутки и то, что очерки эти живы только для меня да для немногихъ, очень немногихъ, оставшихся. Мнѣ бываетъ страшно, когда я считаю, давно ли передъ всѣми было такъ много, такъ много дороги!...

... И вотъ передъ моими глазами встаютъ наши Лазари, но не съ облакомъ смерти, а моложе, полные силъ. Одинъ изъ нихъ угасъ, какъ Станкевичъ, вдали отъ родины—И. П. Галаховъ.

Много смѣялись мы его рассказамъ, но не веселымъ смѣхомъ, а тѣмъ, который возбуждалъ иногда Гоголь. У Крюкова, у Е. К. остроты и шутки искрились, какъ шипучее вино, отъ избытка силъ. Юморъ Галахова не имѣлъ ничего свѣтлаго, это былъ юморъ человѣка, живущаго въ разладѣ съ собой, со средой, сильно жаждущаго выйти на покой, на гармонію, но безъ большой надежды.

Воспитанный аристократически, Галаховъ очень рано попалъ въ измайловскій полкъ и также рано оставилъ его, и тогда уже принялся себя воспитывать въ самомъ дѣлѣ. Умъ сильный, но больше порывистый и страстный, чѣмъ діалектической, онъ съ строптивой нетерпѣливостью хотѣлъ вынудить *истину*, и притомъ практическую, сейчасъ прилагаемую къ жизни. Онъ не обращалъ вниманія, такъ, какъ это дѣлаетъ большая часть французовъ, на то, что *истина* только дается методъ, да и то остается неотъемлемой отъ нея; истина же какъ результатъ—битая фраза, общее мѣсто. Галаховъ искалъ не съ скромнымъ самоотверженіемъ, чтобы ни нашлось, а искалъ именно истины успокоительной, оттого и не удивительно, что она ускользала отъ его капризнаго преслѣдованія. Онъ досадовалъ и сердился. Людямъ этого слоя не живется въ отрицаніи, въ разборѣ, имъ анатомія противна, они ищутъ готоваго, цѣлаго, созидающаго. Что же Галахову могъ дать нашъ вѣкъ?

Онъ всюду бросался; постучался даже въ католическую церковь, но живая душа его отпрянула отъ мрачнаго полусвѣта, отъ сыраго, могильнаго, тюремнаго запаха ея безотрадныхъ склеповъ. Оставивъ старый католицизмъ іезуитовъ и новый—Бюше, онъ принялся было за философію; ея холодныя, непривѣтныя сѣни отстращали его, и онъ на нѣсколько лѣтъ остановился на фурьеризмѣ.

Готовая организація, обязательный строй и долею казарменный порядокъ фаланстера, если не находятъ сочувствія въ людяхъ критики, то, безъ сомнѣнія, сильно привлекаютъ тѣхъ усталыхъ людей, которые просятъ почти со слезами, чтобы истина, какъ кормилица, взяла ихъ на руки и убаюкала. Фурьеризмъ имѣлъ опредѣленную цѣль, трудъ и трудъ обща. Люди вообще готовы очень часто отказаться отъ собственной воли, чтобы прервать колебаніе и нерѣшительность. Это повторяется въ самыхъ обыкновенныхъ, ежедневныхъ случаяхъ. «Хотите вы сегодня въ театръ, или за городъ?»—«Какъ вы хотите», отвѣчаетъ другой и оба не знаютъ, что дѣлать, ожидая съ нетерпѣніемъ, чтобы какое-нибудь обстоятельство рѣшило за нихъ, куда идти и куда нѣтъ. На этомъ основаніи развилась въ Америкѣ кабетовская обитель, коммунистическій скитъ, ставропигіальная, икарійская лавра. Неугомонные французскіе работники, воспитанные двумя революціями и двумя реакціями, выбились, наконецъ, изъ силъ, сомнѣнія начали одолевать ими; испугавшись ихъ, они обрадовались новому дѣлу, отреклись отъ безцѣльной свободы и покорились въ Икаріи такому строгому порядку и подчиненію, которое, конечно, не меньше монастырскаго чина какихъ-нибудь бенедиктинцевъ.

Галаховъ былъ слишкомъ развитъ и независимъ, чтобы со-

всѣмъ исчезнуть въ фурьеризмѣ, но на нѣсколько лѣтъ онъ его увлекъ. Когда я съ нимъ встрѣтился въ 1847 въ Парижѣ, онъ къ фалангѣ питалъ скорѣе ту нѣжность, которую мы имѣемъ къ школѣ, въ которой долго жили, къ дому, въ которомъ провели нѣсколько спокойныхъ лѣтъ, чѣмъ ту, которую вѣрующіе имѣютъ къ церкви.

Въ Парижѣ Галаховъ былъ еще оригинальнѣе и милѣе, чѣмъ въ Москвѣ. Его аристократическая натура, его благородныя, рыцарскія понятія были оскорбляемы на каждомъ шагу; онъ смотрѣлъ съ тѣмъ отвращеніемъ, съ которымъ гадливые люди смотрятъ на что-нибудь сальное, на мѣщанство, окружавшее его тамъ. Ни французы, ни нѣмцы его не надули и онъ смотрѣлъ нѣсколько свысока на многихъ изъ тогдашнихъ героевъ,—чрезвычайно просто указывая ихъ мелочную ничтожность, денежные виды и наглое самолюбіе. Въ его пренебреженіи къ этимъ людямъ проявлялось даже національное высокомеріе, совершенно чуждое ему. Говоря, напр., объ одномъ человѣкѣ, который ему очень не нравился, онъ жгаль въ одномъ словѣ «нѣмецъ!» выраженіемъ, улыбкой и прищуриваніемъ глазъ—цѣлую біографію, цѣлую фізіологію, цѣлый рядъ мелкихъ, грубыхъ, неуклюжихъ недостатковъ, специально принадлежащихъ германскому племени.

Какъ всѣ нервныя люди, Галаховъ былъ очень неровенъ, иногда молчаливъ, задумчивъ, но par saccade говорилъ много, съ жаромъ, увлекалъ вещами серьезными и глубоко прочувствованными, а иногда морилъ со смѣху неожиданной капризностью формы и рѣзкой вѣрностью картинъ, которыя дѣлалъ въ два-три штриха.

Повторять эти вещи почти невозможно. Я передамъ, какъ сумѣю, одинъ изъ его рассказовъ, и то въ небольшомъ отрывкѣ. Рѣчь какъ-то шла въ Парижѣ о томъ непріятномъ чувствѣ, съ которымъ мы переѣзжаемъ нашу границу. Галаховъ сталъ намъ рассказывать, какъ онъ ѣздилъ въ послѣдній разъ въ свое имѣнье, это было chef d'œuvre.

...«Подѣзжаю къ границѣ, дождь, слякоть, черезъ дорогу бревно, выкрашенное черной и бѣлой краской; ждемъ, не пропускаютъ. Смотрю, съ той стороны наѣзжаетъ на насъ казакъ съ пикой, верхомъ.—«Пожалуйте паспортъ». Я ему отдалъ и говорю: я, братецъ, съ тобой пойду въ караульню, здѣсь очень дождь мочить. «Никакъ нельзя-съ».—Отчего?—«Извольте обождать». Я повернулъ въ австрійскую кордегардію, не тутъ-то было, очутился, какъ изъ подъ земли, другой казакъ съ китайской рожей.—«Никакъ нельзя-съ!» Что случилось?—«Извольте обождать!»—а дождь все сѣчетъ, сѣчетъ... Вдругъ изъ караульни кричитъ унтеръ-офицеръ: «Подвысь!» цѣпи загремѣли и полосатая гильотина стала подыматься; мы подѣхали подъ нее, цѣпи опять загре-

мѣли и бревно опустилось. Ну, думаю, попался! Въ караульнѣ какой-то кантонистъ прописываетъ паспортъ.—«Это вы сами и есть?»—спрашиваетъ, я ему тотчасъ цванцигеръ. Тутъ взошелъ унтеръ-офицеръ, тотъ ничего не говоритъ, ну, а я поскорѣй и ему цванцигеръ. «Все въ исправности, извольте отправляться въ таможду». Я сѣлъ, ѣду... только все кажется за нами погоня, оглядываюсь — казакъ съ пикой—тряхъ, тряхъ... «Что ты, братецъ?»—«Въ таможду ваше благородіе конвоирую».—На таможднѣ чиновникъ въ очкахъ книжки осматриваетъ. Я ему талеръ и говорю: «Не безпокойтесь, это все такія книги, ученые, медицинскія!»—«Помилуйте, что это-сь! Эй сторожъ, запирай чемоданъ!» Я опять цванцигеръ.

«Выпустили, наконецъ; я нанялъ тройку, ѣдемъ безконечными полями, вдругъ зардѣлось что-то, больше да больше... зарево... «Смотри-ка, говорю я ямщику,—а? несчастіе».—«Ничего-сь, отвѣчаетъ онъ,—должно быть избенка какая или овино какой горитъ; ну, ну, пошевсливай, знай!» Часа черезъ два съ другой стороны красное небо, я ужъ и не спрашиваю, успокоенный тѣмъ, что это избенка или овинишко горитъ.

...«Въ Москву я изъ деревни пріѣхалъ въ великій постъ, снѣгъ почти сошелъ, полозья рѣжутъ по камнямъ, фонари тускло освѣчиваются въ темныхъ лужахъ и пристаяная бросаетъ прямо въ лицо мороженую грязь огромными кусками. А, вѣдь, престранное дѣло, въ Москвѣ только-что весна установится, дней пять пройдутъ сухихъ и вмѣсто грязи какія-то облака пыли летятъ въ глаза, першить, и полицеймейстеръ, стоя озабоченно на дрожкахъ, показываетъ съ неудовольствіемъ на пыль, а полицейскіе суетятся и посыпаютъ какимъ-то толченыхъ кирпичемъ отъ пыли!»

Иванъ Павловичъ былъ чрезвычайно разсѣянъ и его разсѣянность была такимъ же милымъ недостаткомъ въ немъ, какъ зайканіе у Е. К.; иногда онъ немного сердился, но большей частью самъ смѣялся надъ оригинальными ошибками, въ которыя онъ безпрестанно попадалъ. Х. звала его разъ на вечеръ; Галаховъ поѣхалъ съ нами слушать Линду ди Шамуни; послѣ оперы онъ заѣхалъ къ Шевалье и, просидѣвъ тамъ часа полтора, поѣхалъ домой, переодѣлся и отправился къ Х. Въ передней горѣла свѣча, валялись какія-то пожитки. Онъ въ залу, никого нѣтъ; онъ въ гостиную, тамъ засталъ онъ мужа Х. въ дорожномъ платьи, только-что пріѣхавшаго изъ Пензы. Тотъ смотритъ на него съ удивленіемъ. Галаховъ освѣдомляется о пути и спокойно садится въ креслы. Х. говоритъ, что дороги скверны и что онъ очень усталъ.—«А гдѣ же Марья Дмитріевна?»—спрашиваетъ Галаховъ.—«Давно спигъ.—«Какъ спить? Да развѣ такъ поздно?»—

спрашиваетъ онъ, начиная догадываться.—Четыре часа!—отвѣчаетъ Х.—«Четыре часа?» повторяетъ Глаховъ. «Извините, я только хотѣлъ васъ поздравить съ прїѣздомъ».

Другой разъ, у нихъ же, онъ прїѣхалъ на званнй вечеръ; всѣ были во фракахъ и дамы одѣты. Галахова не звали, или онъ забылъ, но онъ явился въ пальто; посидѣлъ, взялъ свѣчу, закурилъ сигару, говорилъ, никакъ не замѣчая ни гостей, ни костюмовъ. Часа черезъ два онъ меня спросилъ: «Ты куда-нибудь ѣдешь?»—Нѣтъ.—«Да ты во фракъ?» Я расхохотался. «Фу, вздоръ какой!» пробормоталъ Галаховъ, схватилъ шляпу и уѣхалъ.

Когда моему сыну было лѣтъ пять ¹⁾, Галаховъ привезъ ему на елку восковую куклу, не меньше его самаго ростомъ. Куклу эту Галаховъ самъ усадилъ за столomъ и ждалъ дѣйствія сюрприза. Когда елка была готова и двери отворились, Саша, удрученный радостью, медленно двигался, бросая влюбленные взгляды на фольгу и свѣчи, но вдругъ онъ остановился, — постоялъ, постоялъ, покраснѣлъ, и съ ревомъ бросился назадъ. «Что съ тобой, что съ тобой?» спрашивали мы всѣ; заливаясь горькими слезами, онъ только повторялъ:—«Тамъ чужой мальчикъ, его не надо, его не надо!». Въ куклѣ Галахова онъ увидѣлъ какого-то соперника, alter ego, и сильно огорчился этимъ; но сильнѣе его огорчился самъ Галаховъ, онъ схватилъ несчастную куклу, уѣхалъ домой и долго не любилъ говорить объ этомъ.

Въ послѣднй разъ я встрѣтился съ нимъ осенью 1847 года въ Ниццѣ. Итальянское движеніе закивало тогда, онъ былъ увлеченъ имъ. вмѣстѣ съ взглядомъ, исполненнымъ ироніи, онъ хранилъ романтическія надежды и все еще рвался къ какимъ-то вѣрованіямъ. Наши долгіе разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать ихъ. Однимъ изъ нашихъ разговоровъ начинается «Съ того берега». Я читалъ его начало Галахову, онъ былъ тогда очень боленъ, видимо таялъ и приближался къ гробу. Незадолго до своей смерти онъ прислалъ мнѣ въ Парижъ длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нѣтъ, я напечаталъ бы изъ него отрывки.

Съ его могилы—перехожу на другую, больше дорогую и больше свѣжую.

¹⁾ Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV, стр. 135) прибавлено въ началѣ: «Обидчивость его была совершенно дѣтская».

II.

На могилѣ друга.

Онъ духомъ чистъ и благороденъ былъ,
Имѣлъ онъ сердце нѣжное, какъ ласка,
И дружба съ нимъ мнѣ памятна, какъ сказка.

...Въ 1840 году, бывши проездомъ въ Москвѣ, я въ первый разъ встрѣтился съ Грановскимъ. Онъ тогда только-что возвратился изъ чужихъ краевъ и приготавлился занять свою каеедру исторіи. Онъ мнѣ понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами съ насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; онъ носилъ тогда длинные волосы и какого-то особеннаго покроя синій берлинскій пальто съ бархатными отворотами и суконными застѣжками. Черты, костюмъ, темные волосы,—все это придавало столько изящества и граціи его личности, стоявшей на предѣлѣ ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и неувлекающемуся человѣку нельзя было остаться равнодушнымъ къ нему. Я же всегда уважалъ красоту и считалъ ее талантомъ, силой.

Мелькомъ видѣлъ я его тогда и только увезъ съ собой во Владиміръ благородный образъ и основанную на немъ вѣру въ него, какъ въ будущаго близкаго человѣка. Предчувствіе мое не обмануло меня. Черезъ два года, когда я побывалъ въ Петербургѣ и второй разъ сосланный возвратился на житье въ Москву, мы сблизились тѣсно и глубоко.

Грановскій былъ одаренъ удивительнымъ *тактомъ* сердца. У него все было такъ далеко отъ неувѣренной въ себѣ раздражительности, отъ притязаній, такъ чисто, такъ открыто, что съ нимъ было необыкновенно легко. Онъ не тѣснилъ дружбой, а любилъ сильно, безъ ревнивой требовательности и безъ равнодушнаго «все равно». Я не помню, чтобъ Грановскій когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тѣхъ «волосяныхъ», нѣжныхъ, бѣгущихъ свѣта и шума сторонъ, которыя есть у всякаго человѣка, жившаго въ самомъ дѣлѣ. Отъ этого съ нимъ было не страшно говорить о тѣхъ вещахъ, о которыхъ трудно говорить съ самыми близкими людьми, къ которымъ имѣешь полное довѣріе, но у которыхъ *строй* нѣкоторыхъ, едва слышныхъ, струнъ не по одному камертону.

Въ его любящей, покойной и снисходительной душѣ исчезали угловатая распри и смягчался крикъ себялюбивой обидчивости. Онъ былъ между нами звеномъ соединенія многаго и многихъ

и часто примирялъ въ симпатіи къ себѣ цѣлые круги, враждо-
вавшіе между собой, и друзей, готовыхъ разойтись. Грановскій
и Бѣлинскій, вовсе не похожіе другъ на друга, принадлежали
къ самымъ свѣтлымъ и замѣчательнымъ личностямъ нашего
круга.

Къ концу тяжелой эпохи, изъ которой Россія выходитъ теперь-
когда все было прибито къ землѣ, литература была приостанов-
лена, цензура вымарывала басни Крылова, въ то время, встрѣчая
Грановскаго на каедрѣ, становилось легче на душѣ. «Не все еще
погибло, если онъ продолжаетъ свою рѣчь», думалъ каждый и
свободнѣе дышалъ.

А, вѣдь, Грановскій не былъ ни боецъ, какъ Бѣлинскій, ни
діалектикъ, какъ Бакунинъ. Его сила была не въ рѣзкой поле-
микѣ, не въ смѣломъ отрицаніи, а именно въ положительно нрав-
ственномъ вліяніи, въ безусловномъ довѣріи, которое онъ вселялъ,
въ художественности его натуры, покойной ровности его духа, въ
чистотѣ его характера и въ постоянномъ, глубокомъ протестѣ про-
тивъ существующаго порядка въ Россіи. Не только слова его
дѣйствовали, но и его молчаніе: мысль его, не имѣя права вы-
сказаться, проступала такъ ярко въ чертахъ его лица, что ее
трудно было не прочесть. Грановскій сумѣлъ въ мрачную го-
дину гоненій сохранить не только каедрю, но и свой независимый
образъ мыслей, и это потому, что въ немъ съ рыцарской отвагой,
съ полной преданностью страстнаго убѣжденія, стройно сочета-
валась женская нѣжность, мягкость формъ и та примиряющая
стихія, о которой мы говорили.

Грановскій напоминаетъ мнѣ рядъ задумчиво покойныхъ про-
повѣдниковъ-революціонеровъ временъ реформаціи; не тѣхъ бур-
ныхъ, грозныхъ, которые въ «гнѣвѣ своемъ чувствуютъ вполне
свою жизнь», какъ Лютеръ, а тѣхъ ясныхъ, кроткихъ, которые
такъ же просто надѣвали вѣнокъ славы на свою голову, какъ и
терновый вѣнокъ. Они невозмущаемо тихи, идутъ твердымъ ша-
гомъ, но не топаютъ; людей этихъ боятся судьи, имъ съ ними
пеловко; ихъ примирительная улыбка оставляетъ по себѣ угры-
зеніе совѣсти у палачей.

Таковъ былъ самъ Колинъи, лучшіе изъ жирондистовъ и дѣй-
ствительно Грановскій, по всему строенію своей души, по ея ро-
мантическому складу, по нелюбви къ крайностямъ, скорѣе былъ
бы гугенотъ и жирондистъ, чѣмъ анабаптистъ или монтаньяръ.

Вліяніе Грановскаго на университетъ и на все молодое поко-
лѣніе было огромно и пережило его; длинную, свѣтлую полосу
оставилъ онъ по себѣ. Я съ особеннымъ умиленіемъ смотрю на
книги, посвященныя его памяти бывшими его студентами, на го-
рчичя, восторженныя строки объ немъ въ ихъ предисловіяхъ, въ

журнальныхъ статьяxъ, на это юношески-прекрасное желаніе новый трудъ свой примкнуть къ дружеской тѣни, коснуться, начиная рѣчь, до его гроба, считать отъ него свою умственную генеалогію.

Развитіе Грановскаго не было похоже на наше. Воспитанный въ Орлѣ, онъ попалъ въ петербургскій университетъ. Получая мало денегъ отъ отца, онъ съ весьма молодыхъ лѣтъ долженъ былъ писать «по подряду» журнальныя статьи. Онъ и другъ его Е. К., съ которымъ онъ встрѣтился тогда и остался съ тѣхъ поръ и до кончины въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ, работали на Сенковскаго, которому были нужны свѣжія силы и неопытныя юноши для того, чтобы претворять добросовѣстный трудъ ихъ въ шипучее цимлянское «Библіотеки для чтенія».

Собственно бурнаго періода страстей и разгула въ его жизни не было. Послѣ курса, педагогическій институтъ послалъ его въ Германію. Въ Берлинѣ Грановскій встрѣтился съ Станкевичемъ, это важнѣйшее событіе всей его юности ¹⁾.

Кто зналъ ихъ обоихъ, тотъ пойметъ, какъ быстро Грановскій и Станкевичъ должны были ринуться другъ къ другу. Въ нихъ было такъ много сходнаго въ нравѣ, въ направленіи, въ лѣтахъ... и оба носили въ груди своей роковой зародышъ преждевременной смерти. Но для кровной связи, для неразрывнаго родства людей сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняетъ другъ друга, для дѣятельной любви различіе нужно столько же, сколько сходство; безъ него чувство вяло, страдательно и обращается въ привычку.

Въ стремленіяхъ и силѣ двухъ юношей было огромное различіе. Станкевичъ, съ раннихъ лѣтъ закаленный гегелевской діалектикой, имѣлъ рѣзкія спекулятивныя способности и, если онъ вносилъ эстетическій элементъ въ свое мышленіе, то, безъ сомнѣнія, онъ столько же философіи вносилъ въ свою эстетику. Грановскій, сильно сочувствуя тогдашнему научному направленію, не имѣлъ ни любви, ни таланта къ отвлеченному мышленію. Онъ очень вѣрно понялъ свое призваніе, избравъ главнымъ занятіемъ исторію. Изъ него никогда бы не вышелъ ни отвлеченный мыслитель, ни замѣчательный натуралистъ. Онъ не выдержалъ бы ни безстрастную нелицепріятность логики, ни безстрастную объективность природы; отрѣшиться отъ всего для мысли, или отрѣшиться отъ себя для наблюденій, онъ не могъ;

¹⁾ Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV, стр. 122) прибавлено: О Станкевичѣ мы говорили прежде, когда шла рѣчь о Бѣлинскомъ. Безслѣдно нельзя было подходить къ этой сильной умомъ и сильной поэзіей натурѣ. Онъ имѣлъ огромное вліяніе на своихъ друзей и товарищей и на всѣхъ оставилъ въ чемъ-нибудь свой отпечатокъ.

человѣческія дѣла, напротивъ, страстно занимали его. И развѣ исторія не та же мысль и не та же природа, выраженныя инымъ проявленіемъ? Грановскій думалъ исторіей, учился исторіей и исторіей впослѣдствіи дѣлалъ пропаганду. А Станкевичъ привилъ ему поэтически и даромъ не только воззрѣніе современной науки, но и ея пріемъ.

Педанты, которые каплями пота и одышкой измѣряютъ трудъ мысли, усомнятся въ этомъ... Ну, а какъ же, спросимъ мы ихъ, Прудонъ и Бѣлинскій, неужели они не лучше поняли—хоть бы методу Гегеля, чѣмъ всѣ схоласты, изучавшіе ее до потери волосъ и до морщинъ? А, вѣдь, ни тотъ, ни другой не знали по-нѣмецки, ни тотъ, ни другой не читали ни одного гегелевскаго произведенія, ни одной диссертациі его *львыхъ* и *правыхъ* послѣдователей, а только иногда говорили объ его методѣ съ его учениками.

Жизнь Грановскаго въ Берлинѣ съ Станкевичемъ была, по рассказамъ одного и письмамъ другого, одной изъ ярко-свѣтлыхъ полосъ его существованія, гдѣ избытокъ молодости, силъ, первыхъ страстныхъ порывовъ, беззлобной ироніи и шалости шли вмѣстѣ съ серьезными учеными занятіями, и все это согрѣтое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какою дружба только бываетъ въ юности.

Года черезъ два они разстались. Грановскій поѣхалъ въ Москву занимать свою каедру; Станкевичъ въ Италію лечится отъ чахотки и умереть. Смерть Станкевича сразила Грановскаго. Онъ при мнѣ получилъ гораздо спустя медальонъ покойника; я рѣдко видѣлъ болѣе подавляющую, тихую, молчащую грусть.

Это было вскорѣ послѣ его женитьбы. Гармонія, окружавшая плавно и покойно его новый бытъ, подернулась траурнымъ крестомъ. Слѣды этого удара долго не проходили, не знаю, прошли ли вообще когда-нибудь.

Жена его была очень молода и еще не совсѣмъ сложилась; въ ней сохранился тотъ особенный элементъ отроческой нестройности, даже апатіи, которая нерѣдко встрѣчается у молодыхъ дѣвушекъ съ бѣлокурыми волосами и особенно германскаго происхожденія. Эти натуры, часто даровитыя и сильныя, поздно просыпаются и долго не могутъ придти въ себя. Толчекъ, заставившій молодую дѣвушку проснуться, былъ такъ нѣженъ и такъ лишенъ боли и борьбы, пришелъ такъ рано, что она едва замѣтила его. Кровь ея продолжала медленно и покойно переливаться по ея сердцу.

Любовь Грановскаго къ ней была тихая, кроткая дружба, больше глубокая и нѣжная, чѣмъ страстная. Что-то спокойное, трогательно-тихое царило въ ихъ молодомъ домѣ. Душѣ было хо-

рошо видѣть иной разъ возлѣ Грановскаго, поглощеннаго своими занятіями, его высокую, гнущуюся, какъ вѣтка, молчаливую, влюбленную и счастливую подругу. Я и тутъ, глядя на нихъ, думалъ о тѣхъ ясныхъ и цѣломудренныхъ семьяхъ первыхъ протестантовъ, которыя безбоязненно пѣли гонимые псалмы, готовые рука въ руку спокойно и твердо идти передъ инквизитора.

Они мнѣ казались братомъ и сестрой, тѣмъ больше, что у нихъ не было дѣтей.

Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; ночи сидѣли мы до разсвѣта, болтая обо всякой всячинѣ... Въ эти-то потерянные часы и ими люди срастаются такъ неразрывно и безвозвратно.

Страшно мнѣ и больно думать, что впослѣдствіи мы надолго расходились съ Грановскимъ въ теоретическихъ убѣжденіяхъ. А они для насъ не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь впередъ заявить, что если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать другъ друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сдѣлаться чужими, что на это и самая смерть была бессильна.

Правда, гораздо позже между Грановскимъ и Огаревымъ, которые пламенно, глубоко любили другъ друга, протѣснилась, сверхъ теоретической размолвки, какая-то недобрая полоска, но мы увидимъ, что и она, хотя поздно, но совершенно была снята.

Что касается до споровъ нашихъ, ихъ самъ Грановскій окончилъ, онъ заключилъ слѣдующими словами письмо ко мнѣ изъ Москвы въ Женеву 25 августа, 1849 года. Съ благочестіемъ и гордостью повторяю я ихъ:

«На дружбу мою къ вамъ двумъ (т. е. къ Огареву и ко мнѣ) ушли лучшія силы моей души. Въ ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать въ 1846 и обвинять себя въ безсиліи разорвать связь, которая, повидимому, не могла продолжаться. Почти съ отчаяніемъ замѣтилъ я, что вы прикрѣплены къ моей душѣ такими нитками, которыхъ нельзя перерѣзать, не захвативъ живого мяса. Время это прошло не безъ пользы для меня. Я вышелъ побѣдителемъ изъ худшей стороны самаго себя. Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось слѣда. За то все, что было романтическое въ самой натурѣ моей, вошло въ мои личныя привязанности. Помнишь ли ты письмо мое по поводу твоего Крупова? Оно написано въ памятную мнѣ ночь. Съ души сошла черная пелена, твой образъ воскресъ передо мной во всеї ясности своей, и я протянулъ тебѣ руку въ Парижѣ такъ же легко и любовно, какъ протягивалъ въ лучшія, святыя минуты нашей московской жизни. Не талантъ

твой только подѣйствовалъ на меня такъ сильно. Отъ этой пьесы мнѣ повѣяло всѣмъ тобой. Когда-то ты оскорблялъ меня, говоря: «не полагай ничего на личное, вѣрь въ одно общее», а я всегда клалъ много на личное. Но личное и общее слилось для меня въ тебѣ. Отъ этого я такъ полно и горячо люблю тебя.

Пусть же эти строки вспомнятся при чтеніи моего разсказа о нашихъ размолвкахъ...

Въ концѣ 1843 года я печаталъ мои статьи о «Дилетантизмѣ въ наукѣ»; успѣхъ ихъ былъ для Грановскаго источникомъ дѣтской радости. Онъ ѣздилъ съ *Отечественными Записками* изъ дому въ домъ, самъ читалъ вслухъ, комментировалъ и серьезно сердился, если онѣ кому не нравились. Вслѣдъ за тѣмъ пришлось и мнѣ видѣть успѣхъ Грановскаго, да и не такой. Я говорю о его первомъ публичномъ курсѣ средневѣковой исторіи Франціи и Англіи.

«Лекціи Грановскаго,—сказалъ мнѣ Чаадаевъ, выходя съ третьяго или четвертаго чтенія изъ аудиторіи, биткомъ набитой дамами и всѣмъ московскимъ свѣтскимъ обществомъ,—имѣютъ историческое значеніе». Я совершенно съ нимъ согласенъ. Грановскій сдѣлалъ изъ аудиторіи гостиную, мѣсто свиданья, встрѣчи—beau mond'a. Для этого онъ не нарядилъ исторіи въ кружева и блонды, совсѣмъ напротивъ, его рѣчь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смѣлости и поэзіи, которыя мощно потрясали слушателей, будили ихъ. Смѣлость его сходилла ему съ рукъ не отъ уступокъ, а отъ кротости выраженій, которая ему была такъ естественна, отъ отсутствія сентенцій à la française, ставящихъ огромныя точки на крошечныя і, въ родѣ нравоученій послѣ басни. Излагая событія, художественно группируя ихъ, онъ говорилъ *ими*, такъ что мысль, не сказанная имъ, но совершенно ясная, представлялась тѣмъ знакомѣ слушателю, что она казалась его собственной мыслью.

Заключеніе перваго курса было для него настоящей оваціей, вещью неслыханной въ московскомъ университетѣ. Когда онъ, оканчивая, глубоко тронутый, благодарилъ публику,—все вскочило въ какомъ-то опьяненіи, дамы махали платками, другіе бросились къ кафедрѣ, жали ему руки, требовали его портрета. Я самъ видѣлъ молодыхъ людей съ раскраснѣвшими щеками, кричавшихъ сквозь слезы «браво! браво!». Выйти не было возможности; Грановскій блѣдный какъ полотно, сложа руки, стоялъ, слегка склоняя голову; ему хотѣлось еще сказать нѣсколько словъ, но онъ не могъ. Трескъ, вопль, неистовствѣ одобренія удвоились, студенты построились на лѣстницѣ, въ аудиторіи они предоставили шумѣть гостямъ. Грановскій пробрался измученный въ совѣтъ; черезъ нѣсколько минутъ его увидѣли выходящаго

изъ совѣта, и снова безконечное рукоплесканіе; онъ воротился, прося рукой пощады и изнемогая отъ волненія взошелъ въ правленіе. Тамъ бросился я ему на шею и мы молча заплакали ¹⁾).

... Такія слезы текли по моимъ щекамъ, когда герой Чичероваккіо въ Колизеѣ, освѣщенномъ послѣдними лучами заходящаго солнца, отдавалъ возставшему и вооружившемуся народу римскому отрока-сына, за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ, какъ они оба пали разстрѣлянные безъ суда военными палачами.

Да, это были дорогія слезы, одними я вѣрилъ въ Россію, другими въ революцію!

Гдѣ революція? Гдѣ Грановскій? Тамъ, гдѣ и отрокъ съ черными кудрями и широкоплечій Роролано, и другіе близкіе, близкіе намъ. Осталась еще вѣра въ Россію. Неужели и отъ нея придется отвыкать?

И зачѣмъ тупая случайность унесла Грановскаго, этого благороднаго дѣятеля, этого глубоко страдавшагося человѣка въ самомъ началѣ какого-то другого времени для Россіи, еще неяснаго, но все-таки другого; зачѣмъ не дала она ему подышать новымъ воздухомъ, которымъ повѣяло у насъ!

Грубо поразила меня вѣсть о его смерти. Я шелъ въ Ричмондѣ на желѣзную дорогу, когда мнѣ подали письмо. Я прочиталъ его, идучи, и истинно сразу не понялъ. Я сѣлъ въ вагонъ, письма не хотѣлось перечитывать, я боялся его. Посторонніе люди, съ глупыми, уродливыми лицами, входили, выходили, машина свистала, я смотрѣлъ на все и думалъ: «Да это вздоръ! Какъ? этотъ человѣкъ въ цвѣтѣ лѣтъ, онъ, котораго улыбка, взгляды у меня передъ глазами,—и его будто нѣтъ?»... Меня клонилъ тяжелый сонъ и мнѣ было страшно холодно. Въ Лондонѣ со мной встрѣтился А. Тальяндье; здороваясь съ нимъ, я сказалъ, что получилъ дурное письмо, и, какъ будто самъ только что услышалъ вѣсть, не могъ удержать слезъ.

Мало было у насъ сношеній въ послѣднее время, но мнѣ нужно было знать, что тамъ, вдали, на нашей родинѣ *живетъ* этотъ человѣкъ!

Безъ него стало пусто въ Москвѣ, еще связь порвалась!... Удастся ли мнѣ когда-нибудь, одному, вдали отъ всѣхъ посѣтить его могилу, она скрыла такъ много силъ, будущаго, думъ, любви, жизни, — какъ другая, не совсѣмъ чуждая ему могила, на которой я былъ!

Тамъ перечту я строки грустнаго примиренія, которыя такъ близки мнѣ, что я ихъ выпросилъ въ даръ *нашимъ* воспоминаніямъ.

¹⁾ Въ «Полярной Звѣздѣ» (т. IV) прибавлено: Это одні изъ лучшихъ, святѣйшихъ слезъ моихъ—радостныхъ до умиленія, до грусти.

МЕРТВОМУ ДРУГУ.

То было осенью унылой..
Средь урнъ надгробныхъ и камней
Свѣжа была твоя могила
Недавней насыпью своей.
Дары любви, дары печали —
Рукой твоихъ учениковъ
На ней разсыпаны лежали
Вѣнки изъ листьевъ и цвѣтовъ.
Надъ ней суровымъ днѣмъ послушна,
Кладбища сторожъ вѣковой,
Сосна качала равнодушно
Зелено-грустною главою,
И рѣчка, берегъ омывая,
Волной безслѣдною вблизи
Лилась, лилась, не отдыхая
Вдоль нескончаемой стези.

* * *

Твоею дружбой не согрѣта
Вдали шла долго жизнь моя
И словъ послѣдняго привѣта
Изъ устъ твоихъ не слышала я.
Размолвкой нашей недовольный
Ты, можетъ, глубоко скорбѣлъ;
Обиды горькой, но невольной
Тебѣ простить я не успѣлъ.
Никто изъ насъ не могъ быть злобенъ,
Никто, тая строптивый нравъ,
Былъ повиниться не способенъ,
Но каждый думалъ, что онъ правъ.
И ѣхалъ я на примиренье,
Я жаждалъ искренно сказать
Тебѣ сердечное прощенье
И отъ тебя его принять...
Но было поздно...

Въ день унылый,
Въ глухую осень, одинокъ
Стоялъ я у твоей могилы
И все опомниться не могъ.
Я, стало, не увижу друга?
Твой взоръ потухъ и навсегда?
Твой голосъ смолкъ среди недуга?
Меня отнынѣ никогда
Ты въ часъ свиданья не обнимешь,
Не молвишь въ проводъ ничего?
Ты сердцемъ любящимъ не примешь
Признаній сердца моего?
Все кончено, все невозвратно,—
Какъ правды ужась не таи!
Шептали что-то непонятно
Уста холодныя мои

И дрожь по тѣлу пробѣгала,
Мнѣ кто-то говорилъ укорь,
Къ груди рыданье подступало,
Мѣшался умъ, мутился взоръ,
И кровь по жиламъ стыла, стыла...
Скорѣй на воздухъ! дайте свѣтъ!
О! это страшно, страшно было,
Какъ сонъ гнетущій или бредъ...

— * * *

Я пережилъ,—и вновь блуждаетъ
Жизнь между дѣла и утѣхъ,
Но въ сердцѣ скорбь не заживаетъ
И слезы чуются сквозь смѣхъ.
Въ наслѣдье мнѣ дала утрата
Портретъ съ умершаго чела,
Гляжу—и будто образъ брата
У сердца смѣрть не отняла:
И вдругъ мечта на умъ приходитъ,
Что это только мирный сонъ;
Онъ это спитъ, улыбка бродитъ,
И завтра вновь проснется онъ;
Раздастся голосъ благородный
И юношамъ въ завѣтный даръ
Онъ принесетъ и духъ свободный,
И мысли свѣтъ, и сердца жаръ...
Но снова въ памяти унылой
Рядъ урнъ надгробныхъ и камней
И насыпь свѣжая могилы
Въ цвѣтахъ и листьяхъ, и надъ ней,
Дыханью осени послушна,
Кладбища сторожъ вѣковой,
Сосна качаетъ равнодушно
Зелено-грустною главой,
И волны, берегъ омывая,
Бѣгутъ, спѣшать, не отдыхая.

† Грановскій не былъ гонимъ. Онъ умеръ, окруженный любовью новаго поколѣнія, сочувствіемъ всей образованной Россіи, признаніемъ своихъ враговъ. Но тѣмъ не меньше я удерживаю мое выраженіе, да, онъ много страдалъ. Не однѣ желѣзные цѣпи перетираютъ жизнь; Чаадаевъ въ единственномъ письмѣ, которое онъ мнѣ писалъ за границу (20 іюля 1851) говоритъ о томъ, что онъ гибнетъ, слабѣетъ и быстрыми шагами приближается къ концу, — «не отъ того угнетенія, противъ котораго возстаютъ люди, а того, которое они сносятъ съ какимъ-то трогательнымъ умиленіемъ и которое по этому самому пагубнѣе перваго».

Передо мною лежатъ три-четыре письма, которыя я получилъ отъ Грановскаго въ послѣдніе годы; какая развѣдающая, мертвящая грусть въ каждой строкѣ!

«Положеніе наше, пишетъ онъ въ 1850 году, становится нестерпимѣе день отъ дня. Всякое движеніе на Западѣ отзывается у насъ стѣснительной мѣрой. Доносы идутъ тысячами. Обо мнѣ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ два раза собирали справки. Но что значитъ личная опасность въ сравненіи съ общимъ страданіемъ и гнетомъ. Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились слѣдующими уже приведенными въ исполненіе мѣрамп: возвысили плату со студентовъ и уменьшили ихъ число закономъ, въ силу котораго не можетъ быть въ университетѣ больше 300 студентовъ. Въ московскомъ 1.400 человекъ студентовъ, стало быть, надобно выпустить 1.200, чтобъ имѣть право принять сотню новыхъ. Дворянскій институтъ закрыть, многимъ заведеніямъ грозить та же участь, напр. лицее. Для кадетскихъ корпусовъ составлены новыя программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы.

... «Есть съ чего сойти съ ума. Благо Бѣлинскому, умершему во время. Много порядочныхъ людей впали въ отчаяніе и съ тупымъ спокойствіемъ смотрятъ на происходящее.

«Я рѣшился не идти въ отставку и ждать на мѣстѣ совершенія судебъ. Кое-что можно дѣлать, пусть выгоняютъ сами.

... «Вчера пришло извѣстіе о смерти Галахова, а на дняхъ занесся слухъ и о твоей смерти. Когда мнѣ сказали это, я готовъ былъ хохотать отъ всей души. А впрочемъ, почему же и не умереть тебѣ? Вѣдь, это не было бы глупѣе остального».

Осенью 1853 года онъ пишетъ: «Сердце ноетъ при мысли, чѣмъ мы были прежде (т. е. при мнѣ) и чѣмъ стали теперь. Вино пьемъ по старой памяти, но веселья въ сердцѣ нѣтъ; только при воспоминаніи о тебѣ молодѣетъ душа. Лучшая, отраднѣйшая мечта моя въ настоящее время еще разъ увидѣть тебя,—да и она, кажется, не сбудется».

Одно изъ послѣднихъ писемъ онъ заключаетъ такъ: «Слышенъ глухой, общій ропотъ, но гдѣ силы? Гдѣ противудѣйствіе? Тяжело, братъ,—а выхода нѣтъ *живому*».

Грановскій былъ не одинъ, а въ числѣ нѣсколькихъ молодыхъ профессоровъ, возвратившихся изъ Германіи во время нашей ссылки. Они сильно двинули впередъ московскій университетъ, исторія ихъ не забудетъ. Люди добросовѣстной учености, ученики Гегеля, Ганса, Риттера и др., они слушали ихъ именно въ то время, когда остовъ діалектики сталъ обростать мясомъ, когда наука перестала считать себя противоположною жизни, когда Гансъ приходилъ на лекцію не съ древнимъ фоліантомъ въ рукѣ, а съ послѣднимъ номеромъ парижскаго или лондонскаго журнала. Диалектическимъ настроеніемъ пробовали тогда

рѣшить историческіе вопросы въ современности, это было невозможно, но привело факты къ болѣе свѣтлому сознанию.

Наши профессора привезли съ собою эти завѣтные мечты, горячую вѣру въ науку и людей; они сохранили весь пылъ юности и кафедръ для нихъ были святыми наложьями, съ которыхъ они были призваны благовѣстить истину; они являлись въ аудиторію не цеховыми учеными, а миссіонерами челоѳческой религіи.

И гдѣ вся эта плеяда молодыхъ доцентовъ, начиная съ лучшаго изъ нихъ, съ Грановскаго? Милый, блестящій, умный, ученый Крюковъ умеръ лѣтъ 35 отъ роду. Эллинистъ Печеринъ побился, побился въ страшной русской жизни, не вытерпѣлъ и ушелъ безъ цѣли, безъ средствъ, надломленный и больной въ чужіе края, скитался безпріютнымъ сиротой, сдѣлался іезуитскимъ священникомъ и жжетъ протестантскія библіи въ Ирландіи. Рѣдкинъ постригся въ гражданскіе монахи, служитъ себѣ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и пишетъ боговдохновенныя статьи съ текстами. Крыловъ—но довольно.—*La toile! La toile!*

ГЛАВА XXX.

Не наши.

Славянофилы и панславизмъ.—Хомяковъ, Кирѣевскіе, К. Аксаковъ.—
П. Я. Чаадаевъ.

Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была *одна* любовь, но не одинакая — и мы, какъ Янусъ или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны въ то время, какъ *сердце было одно*.

Колоколъ, листъ 90 (На смерть К. С. Аксакова).

Рядомъ съ нашимъ кругомъ были наши противники, *pos amis les ennemis*, или вѣрнѣе, *nos ennemis les amis* — московскіе славянофилы.

Борьба между нами давно кончилась и мы протянули другъ другу руки; но, въ началѣ сороковыхъ годовъ, мы должны были встрѣтиться враждебно, — этого требовала послѣдовательность нашимъ началамъ. Мы могли бы не ссориться изъ-за ихъ дѣтскаго поклоненія дѣтскому періоду нашей исторіи; но принимая за серьезное ихъ православіе, но видя ихъ церковную нетерпимость въ обѣ стороны, въ сторону науки и сторону раскола, мы должны были враждебно стать противъ нихъ. Мы видѣли

въ ихъ ученіи новый елей, повую цѣпь, налагаемую на мысль, новое подчиненіе совѣсти византійской церкви.

На славянофилахъ лежитъ грѣхъ, что мы долго не понимали ни народа русскаго, ни его исторіи; ихъ иконописные идеалы и дымъ ладана мѣшали намъ разглядѣть народный бытъ и основы сельской жизни.

Православіе свянофиловъ, ихъ историческій патриотизмъ и преувеличенное, раздражительное чувство народности были вызваны крайностями въ другую сторону. Важность ихъ возрѣнія, его истина и существенная часть вовсе не въ православіи и не въ исключительной народности, а въ тѣхъ *стихіяхъ* русской жизни, которыя они открыли подъ удобреніемъ искусственной цѣвилизації.

Идея народности, сама по себѣ, идея консервативная—выгораживаніе своихъ, противоположеніе себя другому; въ ней есть и юдаическое понятіе о превосходствѣ племени, и аристократическія притязанія на чистоту крови и на маіоратъ. Народность, какъ знамя, какъ боевой крикъ, только тогда окружается ореоломъ, когда народъ борется за независимость, когда свергаетъ иноземное иго. Оттого-то національныя чувства, со всѣми ихъ преувеличеніями, исполнены поэзіи въ Италіи, и въ то же время пошлы въ Германіи.

Намъ доказывать нашу народность было бы еще смѣшнѣе, чѣмъ нѣмцамъ; въ ней не сомнѣваются даже тѣ, которые насъ бранятъ, они насъ ненавидятъ отъ страха, но не отрицаютъ, какъ Меттернихъ отрицалъ Италію. Намъ надо было противопоставить нашу народность противъ своихъ ренегатовъ. Эту домашнюю борьбу нельзя было поднять до эпоса. Появленіе славянофиловъ, какъ школы и какъ особаго ученья, было совершенно на мѣстѣ; но если-бъ у нихъ не нашлось другого знамени, какъ православная хоругвь, другого идеала, какъ «Домострой» и очень русская, но чрезвычайно тяжелая жизнь допетровская, они прошли бы курьезной партіей оборотней и чудаковъ, принадлежащихъ другому времени. Сила и будущность славянофиловъ лежала не тамъ. Кладъ ихъ можетъ и былъ спрятанъ въ церковной утвари старинной работы, но цѣнность-то его была не въ сосудѣ и не въ формѣ. Они не дѣлили ихъ сначала.

Къ собственнымъ историческимъ воспоминаніямъ прибавились воспоминанія всѣхъ единоплеменныхъ народовъ. Сочувствіе къ западному панславизму приняли наши славянофилы за тождество дѣла и направленія, забывая, что тамъ исключительный націонализмъ былъ съ тѣмъ вмѣстѣ воплемъ притѣсненнаго чужестраннымъ игомъ народа. Западный панславизмъ, при появленіи своемъ, былъ принятъ самимъ австрійскимъ правительствомъ

за шагъ консервативный. Онъ развился въ печальную эпоху вѣнскаго конгресса. Это было вообще время всяческихъ воскресеній и возстановленій, время всевозможныхъ Назарей, свѣжихъ и смердящихъ. Рядомъ съ Тейчтумомъ, шедшимъ на воскресеніе *счастливыхъ* временъ Барбароссы и Гогенштауфеновъ, явился чешскій панславизмъ. Правительства были рады этому направленію и сначала поощряли развитіе международныхъ ненавистей; массы снова лѣпились около племеннаго родства, узелъ котораго затягивался туше, и снова отдалялись отъ общихъ требованій улучшенія своего быта; границы становились непроходимѣе, связь и сочувствіе между народами обрывались. Само собой разумѣется, что однимъ апатическимъ или слабымъ народностямъ позволяли просыпаться и именно до тѣхъ поръ, пока дѣятельность ихъ ограничивалась учено-археографическими занятіями и этимологическими спорами. Въ Миланѣ, гдѣ національность никакъ не ограничилась бы грамматикой, ее держали въ ежовыхъ рукахъ.

Чешскій панславизмъ подзадорилъ славянскія сочувствія въ Россіи.

✓ Славянизмъ или руссизмъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и вѣрный инстинктъ, какъ противудѣйствіе исключительно иностранному вліянію, существовалъ со времени обрѣтія первой бороды Петромъ I.

Противудѣйствіе петербургскому терроризму образованія никогда не перемежалось: казненное, четвертованное, повѣшенное на зубцахъ Кремля и тамъ пристрѣленное Меншиковымъ и другими царскими *потѣшниками*, въ видѣ буйныхъ стрѣльцевъ, оно является какъ партія Долгорукихъ при Петрѣ II, какъ ненависть къ нѣмцамъ при Биронѣ, какъ Пугачевъ при Екатеринѣ II, какъ сама Екатерина II при Петрѣ III, какъ Елизавета, опиравшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобъ сѣсть на престолъ (народъ въ Москвѣ ждалъ, что при ея коронаціи изобьютъ всѣхъ нѣмцевъ).

Всѣ раскольники славянофилы.

Все бѣлое и черное духовенство славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за его нѣмецкую фамилію, были предшественники Хомякова и его друзей.

Война 1812 г. сильно развила чувство народнаго сознанія и любви къ родинѣ, но патріотизмъ 1812 г. не имѣлъ старобрядчески-славянскаго характера. Мы его видимъ въ Карамзинѣ и Пушкинѣ, въ самомъ императорѣ Александрѣ. Практически онъ былъ выраженіемъ того инстинкта силы, который чувствуютъ всѣ могучіе народы, когда чужіе ихъ задѣваютъ; потому это было торжественное чувство побѣды, гордое сознаніе даннаго отпора.

Но теорія его была слаба; для того, чтобъ любить русскую исторію, патриоты ее перекладывали на европейскіе нравы; они вообще переводили съ французскаго на русскій языкъ римско-греческій патриотизмъ и не шли далѣе стиха

Pour un coeur bien né, que la patrie est chère!

Правда, Шишковъ бредилъ уже и тогда о возстановленіи стараго слога, но вліяніе его было ограничено. Что же касается до настоящаго народнаго слога, его зналъ одинъ офранцузенный графъ Ростопчинъ въ своихъ прокламаціяхъ и воззваніяхъ.

По мѣрѣ того, какъ война забывалась, патриотизмъ этотъ утихалъ и выродился, наконецъ, съ одной стороны, въ подлюю, циническую лесть *Съверной Пчелы*, съ другой, въ пошлый загоскинский патриотизмъ, называющій Шую—Манчестеромъ, Шебуева—Рафаэлемъ, хвастающій штыками и пространствомъ отъ льдовъ Торнео до горъ Тавриды...

При Николаѣ патриотизмъ превратился въ что-то полицейское, особенно въ Петербургѣ, гдѣ это направленіе окончилось сообразно космополитическому характеру города, и Прокопіемъ Ляпуновымъ—по Шиллеру.

Встрѣча московскихъ славянофиловъ съ петербургскимъ славянофильствомъ была для нихъ большимъ несчастіемъ. Общаго между ними ничего не было, кромѣ словъ. Ихъ крайности и нелѣпости все же были безкорыстно нелѣпы и безъ всякаго отношенія къ Ш отдѣленію или къ Управѣ благочинія. Что разумѣется нисколько не мѣшало ихъ нелѣпостямъ быть чрезвычайно нелѣпыми.

Такъ, напримѣръ, въ концѣ тридцатыхъ годовъ былъ въ Москвѣ, проѣздомъ, панславистъ Гай, игравшій потомъ какую-то неясную роль, какъ кроатскій агитаторъ и въ то же время близкій человѣкъ Бана Іеллачича. Москвитяне вѣрятъ вообще всѣмъ иностранцамъ; Гай былъ больше, чѣмъ иностранецъ, больше чѣмъ свой,—онъ былъ то и другое. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить нашихъ славянъ судьбою страждущей и православной братіи въ Далмаціи и Кроаціи; огромная подписка была сдѣлана въ нѣсколько дней и, сверхъ того, Гаю были даны обѣды во имя всѣхъ сербскихъ и русняцкихъ симпатій. За обѣдомъ одинъ изъ нѣжнѣйшихъ по голосу и по занятіямъ славянофиловъ, человѣкъ *краснаго* православія, разгоряченный, вѣроятно, тостами за черногорскаго владыку, за разныхъ великихъ босняковъ, чеховъ и словаковъ, импровизировалъ стихи, въ которыхъ было слѣдующее, не вовсе христіанское выраженіе:

Уньюся я кровью мадяровъ и нѣмцевъ,

всѣ неповрежденные съ отвращеніемъ услышали эту фразу. По счастью, остроумный статистикъ Андросовъ выручилъ кровожаднаго пѣвца; онъ вскочилъ съ своего стула, схватилъ десертный ножикъ и сказалъ: «Господа, извините меня, я васъ оставлю на минуту; мнѣ пришло въ голову, что хозяинъ моего дома, старикъ настройщикъ Дицъ — нѣмецъ; я сбѣгаю его прирѣзать и сейчасъ возвращусь».

Громъ смѣха заглушилъ негодованіе.

Въ такую-то кровожадную въ *тостахъ* партію сложились московскіе славяне во время нашей ссылки и моей жизни въ Петербургъ и Новгородъ.

Страстный и вообще полемическій характеръ славянской партіи особенно развился вслѣдствіе критическихъ статей Бѣлинскаго; и еще прежде нихъ, они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появленіи письма Чаадаева и шумъ, который оно вызвало.

Письмо Чаадаева было своего рода послѣднее слово, рубежъ. Это былъ выстрѣлъ, раздавшійся въ темную ночь; тонуло ли что и возвѣщало свою гибель, былъ ли это сигналъ, зовъ на помощь, вѣсть объ утрѣ или о томъ, что его не будетъ,—все равно, надобно было проснуться.

Что, кажется, значатъ два, три листа, помѣщенныхъ въ ежемѣсячномъ обзорѣніи? А между тѣмъ, такова сила рѣчи сказанной, такова мощь слова въ странѣ, молчащей и не привыкнущей къ независимому говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россію. Оно имѣло полное право на это. Послѣ *Горетъ ума* не было ни одного литературнаго произведенія, которое сдѣлало бы такое сильное впечатлѣніе. Петровскій періодъ переломился съ двухъ концовъ. Мысль томилась, работала, но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдругъ тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала рѣчи для того, чтобъ спокойно сказать свое *lasciate ogni speranza*.

Лѣтомъ 1836 года, я спокойно сидѣлъ за своимъ письменнымъ столомъ въ Вяткѣ, когда почтальонъ принесъ мнѣ послѣднюю книжку «Телескопа». Надобно жить въ ссылкѣ и глуши, чтобъ оцѣнить, что значить новая книга. Я, разумѣется, бросилъ все и принялся разрѣзывать «Телескопъ» — «Философскія письма», писанныя къ дамѣ, безъ подписи. Въ подстрочномъ замѣчаніи было сказано, что письма эти писаны русскимъ по-французски, т. е. что это переводъ. Все это скорѣе предупредило меня противъ статьи, чѣмъ въ ея пользу, и я принялся читать критику и смѣсь.

Наконецъ, дошелъ чередъ и до письма. Съ второй, третьей страницы, меня остановилъ печально-серьезный тонъ: отъ každого

слова вѣяло долгимъ страданіемъ, уже охлажденнымъ, но еще озлобленнымъ. Эдакъ пишутъ только люди долго думавшіе, много думавшіе и много испытывавшіе жизнью, а не теоріей... Читаю далѣе,—письмо растетъ, оно становится мрачнымъ обвинительнымъ актомъ противъ Россіи, протестомъ личности, которая за все вынесенное хочетъ высказать часть накопившагося на сердцѣ.

Я раза два останавливался, чтобъ отдохнуть и дать улечься мыслямъ и чувствамъ и потомъ снова читалъ и читалъ. И это напечатано по-русски неизвѣстнымъ авторомъ... Я боялся, не сошелъ ли я съ ума. Потомъ я перечитывалъ «письмо» Витбергу, потомъ С., молодому учителю вятской гимназіи, потомъ опять себѣ.

Весьма вѣроятно, что то же самое происходило въ разныхъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ, въ столицахъ и господскихъ домахъ. Имя автора я узналъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ.

Долго оторванная отъ народа часть Россіи протрадала молча, подъ самымъ прозаическимъ, бездарнымъ, ничего не дающимъ въ замѣну игомъ. Каждый чувствовалъ гнетъ, у каждого было *что-то* на сердцѣ и все-таки всѣ молчали; наконецъ, пришелъ человекъ, который по-своему сказалъ *что*. Онъ сказалъ только про боль, свѣтлаго ничего нѣтъ въ его словахъ, да нѣтъ ничего и во взглядѣ. Письмо Чаадаева—безжалостный крикъ боли и упрека петровской Россіи, она имѣла право на него; развѣ эта среда жалѣла, щадила автора или кого-нибудь?

Разумѣется, такой голосъ долженъ былъ вызвать противъ себя оппозицію или онъ былъ бы совершенно правъ, говоря, что прошедшее Россіи пусто, настоящее невыносимо, а будущаго для нея вовсе нѣтъ, что это «пробѣлъ разумѣнія, грозный урокъ, данный народамъ, — до чего отчужденіе и рабство могутъ довести». Это было покаяніе и обвиненіе; знать впередъ *чѣмъ* примириться — не дѣло раскаянія, не дѣло протеста, или признаніе въ винѣ — шутка, и искупленіе—неискренно.

Но оно и не прошло такъ; на минуту всѣ, даже сонные и забытые, отпрянули, испугавшись зловѣщаго голоса. Всѣ были изумлены, большинство оскорблено, человекъ десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки въ гостинныхъ предупредили мѣры правительства, накликали ихъ. Нѣмецкаго происхожденія русскій патриотъ Вигель (извѣстный не съ лицевой стороны по эпиграммѣ Пушкина) пустил дѣло въ ходъ.

Обозрѣніе было тотчасъ запрещено; Болдыревъ, старикъ, ректоръ московскаго университета и цензоръ, былъ отставленъ; Надеждинъ, издатель, сосланъ въ Усть-Сысольскъ; Чаадаева Николай приказалъ объявить *сумасшедшимъ* и обязать подпиской *ничего не писать*.

Я видѣлъ Чаадаева прежде моей ссылки одинъ разъ. Это было въ самый день взятія Огарева. Я упомянулъ, что въ тотъ день у М. Ѳ. Орлова былъ обѣдъ. Всѣ гости были въ сборѣ, когда взошеть, холодно кланяясь, челоуѣкъ, котораго оригинальная наружность, красивая и самобытно рѣзкая, должна была **каждаго** остановить на себѣ. Орловъ взялъ меня за руку и представилъ, это былъ Чаадаевъ. Я мало помню объ этой первой встрѣчѣ, мнѣ было не до него; онъ былъ какъ всегда холоденъ, серьезенъ, уменъ и золъ. Послѣ обѣда, Раевская, мать Орловой, сказала мнѣ: «Что вы такъ печальны? ахъ, молодые люди, молодые люди, какіе вы нынче стали!» — «А вы думаете, сказала Чаадаевъ, что нынче еще есть молодые люди?» вотъ все, что осталось у меня въ памяти.

Возвратившись въ Москву, я сблизился съ нимъ и съ тѣхъ поръ до отъѣзда мы были съ нимъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ.

✓ Печальная и самобытная фигура Чаадаева рѣзко отдѣляется какимъ-то грустнымъ упрекомъ на линючемъ и тяжеломъ фонѣ московской high life. Я любилъ смотрѣть на него середь этой мишурной знати, вѣтренныхъ сенаторовъ, сѣдыхъ повѣсь и почетнаго ничтожества. Какъ бы ни была густа толпа, глазъ находилъ его тотчасъ; лѣта не исказили стройнаго стана его, онъ одѣвался очень тщательно, блѣдное, вѣжное лицо его было совершенно неподвижно, когда онъ молчалъ, какъ будто изъ воску или изъ мрамора, «чело какъ черепъ голый», сѣро-голубые глаза были печальны и съ тѣмъ вмѣстѣ имѣли что-то доброе, тонкія губы, напротивъ, улыбались иронически. Десять лѣтъ стоялъ онъ сложа руки гдѣ-нибудь у колонны, у дерева на бульварѣ, въ залахъ и театрахъ, въ клубѣ и—воплощеннымъ veto, живой протестаціей смотрѣлъ на вихрь лицъ, бессмысленно вертѣвшихся около него, капризничалъ, дѣлался страннымъ, отчуждался отъ общества, не могъ его покинуть, потомъ сказалъ свое слово, спокойно спрятавъ, какъ пряталъ въ своихъ чертахъ страсть подъ ледяной корой. Потомъ опять умолкъ, опять являлся капризнымъ, недовольнымъ, раздраженнымъ, опять тяготѣлъ надъ московскимъ обществомъ и опять не покидалъ его. Старикамъ и молодымъ было неловко съ нимъ, не по-себѣ; они, Богъ знаетъ отчего, стыдились его неподвижнаго лица, его прямо смотрящаго взгляда, его печальной насмѣшки, его язвительнаго снисхожденія. Что же заставляло ихъ принимать его, звать... и еще больше ѣздить къ нему? Вопросъ очень серьезный.

Чаадаевъ не былъ богатъ, особенно въ послѣдніе годы; онъ не былъ и знатенъ, ротмистръ въ отставкѣ съ желѣзнымъ кульмскимъ крестомъ на груди. Онъ, по словамъ Пушкина,

... вышней волею небесъ
Рожденъ въ оковахъ службы царской:
Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Афинахъ—Периклесь,
А здѣсь онъ—офицеръ гусарской.

Знакомство съ нимъ могло только компрометировать человѣка въ глазахъ полиціи. Откуда же шло вліяніе, зачѣмъ въ его небольшомъ, скромномъ кабинетѣ, въ Старой Басманной, толпились по понедѣльникамъ «тузы» англійскаго клуба, патриціи тверскаго бульвара? Зачѣмъ модныя дамы заглядывали въ келью угрюмаго мыслителя, зачѣмъ генералы, не понимающіе ничего штатскаго, считали себя обязанными явиться къ старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потомъ, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на ихъ же счетъ? Зачѣмъ я встрѣчалъ у него дикаго *Американца* Толстого и дикаго генераль-адъютанта Шипова, уничтожавшаго просвѣщеніе въ Польшѣ?

Чаадаевъ не только не дѣлалъ имъ уступокъ, но тѣснилъ ихъ и очень хорошо давалъ имъ чувствовать разстояніе между имъ и ними ¹⁾. Разумѣется, что люди эти ѣздили къ нему и звали на свои рауты изъ тщеславія, но до этого дѣла нѣтъ; тутъ важно невольное сознаніе, что мысль стала мощью, имѣла свое почетное мѣсто.

Чаадаевъ имѣлъ свои странности, свои слабости, онъ былъ озлобленъ и избалованъ. Я не знаю общества менѣе снисходительнаго, какъ московское, болѣе исключительнаго, именно по этому оно смахиваетъ на провинціальное и напоминаетъ недавность своего образованія. Отчего же человѣку въ пятьдесятъ лѣтъ,

¹⁾ Чаадаевъ часто бывалъ въ англійскомъ клубѣ. Разъ какъ-то морской министръ, Меншиковъ, подошелъ къ нему со словами:

— Что это, Петръ Яковлевичъ, старыхъ знакомыхъ не узнаете?

— Ахъ, это вы! — отвѣчалъ Чаадаевъ, — дѣйствительно не узналъ. Да и что это у васъ черный воротникъ, прежде, кажется, былъ красный?

— Да, развѣ вы не знаете, что я морской министръ?

— Вы? Да, я думаю вы никогда шляпкой не управляли.

— Не черти горшки обжигаютъ, отвѣчалъ нѣсколько недовольный Меншиковъ.

— Да, развѣ на этомъ основаніи, заключилъ Чаадаевъ.

Какой-то сенаторъ сильно жаловался на то, что очень занятъ.

— Чѣмъ-же? спросилъ Чаадаевъ.

— Помилуйте, одно чтеніе записокъ, дѣль — и сенаторъ показаль аршинъ отъ полу.

— Да, вѣдь, вы ихъ не читаете.

— Нѣтъ, иной разъ и очень, да потомъ все же иногда надобно подать спос мнѣніе.

— Вотъ въ этомъ я ужъ никакой надобности не вижу, замѣтилъ Чаадаевъ.

одинокому, лишившемуся почти всѣхъ друзей, потерявшему состояніе, много жившему мыслию, часто огорченному, не имѣть своего обычая, свои причуды?

Чаадаевъ былъ адъютантомъ Васильчикова во время извѣстнаго семеновскаго дѣла. Государь находился тогда, помнится, въ Веронѣ или въ Ахенѣ на конгрессѣ. Васильчиковъ послалъ Чаадаева съ рапортомъ къ нему, и онъ какъ-то опоздалъ часомъ или двумя и пріѣхалъ позже курьера, посланнаго австрійскимъ посланникомъ Лебцельтерномъ. Государь, раздраженный дѣломъ, увлекаемый тогда окончательно въ реакцію Меттернихомъ, который съ радостью услышалъ о семеновской исторіи, очень дурно принялъ Чаадаева, бранился, сердился и потомъ, опомнившись, велѣлъ ему предложить званіе флигель-адъютанта; Чаадаевъ отклонилъ эту честь и просилъ одной милости — отставки. Разумѣется, это очень не понравилось, но отставка была дана.

Чаадаевъ не торопился въ Россію; разставшись съ золоченымъ мундиромъ, онъ принялся за науку. Умеръ Александръ, случилось 14 декабря (отсутствіе Чаадаева спасло его отъ вѣроятнаго преслѣдованія ¹⁾), около 1830 года онъ возвратился.

Въ Германіи Чаадаевъ сблизился съ Шеллингомъ; это знакомство, вѣроятно, много способствовало, чтобъ навести его на мистическую философію. Она у него развилась въ революціонный католицизмъ, которому онъ остался вѣренъ на всю жизнь. Въ своемъ письмѣ онъ половину бѣдствій Россіи относитъ на счетъ греческой церкви, на счетъ ея отторженія отъ всеобъемлющаго западнаго единства.

Какъ ни странно для насъ такое мнѣніе, но ненадобно забывать, что католицизмъ имѣетъ въ себѣ большую тягучесть. Лакордеръ проповѣдывалъ католическій социализмъ, оставаясь доминиканскимъ монахомъ, ему помогалъ Шеве, оставаясь сотрудникомъ *Voix du peuple*. Въ сущности нео-католицизмъ не хуже риторическаго деизма, этой не-религии и не-вѣдѣнія, этой умѣренной теологіи образованныхъ мѣщанъ, «атеизма, окруженнаго религіозными учрежденіями».

Если Ронге и послѣдователи Бюше еще возможны послѣ 1848 г., послѣ Фейербаха и Прудона, послѣ Пія IX и Ламене, если одна изъ самыхъ энергическихъ партій движенія ставитъ мистическую формулу на своемъ знамени, если до сихъ поръ есть люди какъ Мицкевицъ, какъ Красинскій, продолжающіе быть мессіанистами, то дивиться нечему, что подобное ученіе привезъ съ собою Чаадаевъ изъ Европы двадцатыхъ годовъ. Мы

¹⁾ Теперь мы знаемъ достовѣрно, что Чаадаевъ былъ членомъ общества, изъ записокъ Якушкина.

ее нѣсколько забыли; стоитъ вспомнить исторію Волабелы, писемъ леди Морганъ, записки Адриани, Байрона, Леопарди, чтобы убедиться, что это была одна изъ самыхъ тяжелыхъ эпохъ исторіи. Революція оказалась несостоятельной, грубый монархизмъ, съ одной стороны, цинически хвастался своею властію, лукавый монархизмъ, съ другой, цѣломудренно прикрывался листомъ хартіи; едва только, и то изрѣдка, слышались пѣсни освобождающихся эллиновъ, какая-нибудь энергическая рѣчь Каннинга или Ройе Коллара.

Въ протестантской Германіи образовалась тогда католическая партія, Шлегель и Лео мѣняли вѣру, старый Янъ и другіе бредили о какомъ-то народномъ и демократическомъ католицизмѣ. Люди спасались отъ настоящаго въ средніе вѣка, въ мистицизмъ,—читали Экартсгаузена, занимались магнетизмомъ и чудесами князя Гогенло; Гюго, врагъ католицизма, столько же помогаль его возстановленію, какъ тогдашній Ламене, ужасавшійся бездушному индеферентизму своего вѣка.

На русскаго такой католицизмъ долженъ былъ еще сильнѣе подѣйствовать. Въ немъ было формально все то, чего не доставало въ русской жизни, оставленной на себя и ищущей путь собственнымъ чутьемъ. Строгій чинъ и гордая независимость западной церкви, ея оконченная ограниченность, ея практическія приложенія, ея безвозвратная увѣренность и мнимое снятіе всѣхъ противурѣчій своимъ высшимъ единствомъ, своей вѣчной фата-морганой, своимъ *urbi et orbi*, своимъ презрѣніемъ свѣтской власти, должно было легко овладѣть умомъ пылкимъ и начавшимъ свое серьезное образованіе въ совершенныхъ лѣтахъ.

Когда Чаадаевъ возвратился, онъ засталъ въ Россіи другое общество и другой тонъ. Какъ молодъ я ни былъ, но я помню, какъ наглядно высшее общество пало и стало грязнѣе, работлѣпнѣе. Аристократическая независимость, гвардейская удалъ alexандровскихъ временъ,—все это исчезло съ 1826 годомъ.

Были иные всходы, подсѣды, еще не совсѣмъ извѣстные самимъ себѣ, еще ходившіе съ раскрытой шеей *à l'enfant* или учившіеся по пансіонамъ и лицамъ; были молодые литераторы, начинавшіе пробовать свои силы и свое перо, но все это еще было скрыто, и не въ томъ мірѣ, въ которомъ жилъ Чаадаевъ.

Друзья его были на каторжной работѣ. Онъ сначала оставался совсѣмъ одинъ въ Москвѣ, потомъ вдвоемъ съ Пушкинымъ, наконецъ, втроемъ съ Пушкинымъ и Орловымъ. Чаадаевъ показывалъ часто, послѣ смерти обоихъ, два небольшія пятна на стѣнѣ надъ спинкой дивана, тутъ они прислоняли голову!

Безмѣрно печально сличеніе двухъ посланій Пушкина къ Чаадаеву; между ними прошла не только ихъ жизнь, но цѣлая

эпоха, жизнь цѣлаго поколѣнія, съ надеждою ринувшагося впередъ и грубо отброшеннаго назадъ. Пушкинъ юноша говоритъ своему другу:

Товарищъ, вѣрь, взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья,
Россія вспрянетъ ото сна
И на обломкахъ самовластья
Напишутъ наши имена.

Но заря не взошла, и Пушкинъ пишетъ:

Чаадаевъ, помнишь-ли былое?
Давно-ль съ восторгомъ молодымъ
Я мыслилъ имя роковое
Предать развалинамъ инымъ?
... Но въ сердцѣ, бурями смиренномъ,
Теперь и лѣнь и тишина
И въ умиленьи вдохновенномъ,
На камнѣ дружбой освященномъ,
Пишу я наши имена!

Въ мѣръ не было ничего противоположнаго славянамъ, какъ безнадежный взглядъ Чаадаева, которымъ онъ мстил русской жизни, какъ его обдуманное, выстраданное проклятіе ей, которымъ онъ замыкалъ свое печальное существованіе и существованіе цѣлаго періода русской исторіи. Онъ долженъ былъ возбудить въ нихъ сильную оппозицію, онъ горько и уныло-зло оскорблялъ все дорогое имъ, начиная съ Москвы.

«Въ Москвѣ, говаривалъ Чаадаевъ, cadaго иностранца водятъ смотрѣть большую пушку и большой колоколъ. Пушку, изъ которой стрѣлять нельзя, и колоколъ, который свалился прежде, чѣмъ звонилъ. Удивительный городъ, въ которомъ достопримѣчательности отличаются нелѣпостью; или, можетъ, этотъ большой колоколъ безъ языка — гіероглифъ, выражающій эту огромную нѣмую страну, которую заселяетъ племя, назвавшее себя *славянами*, какъ будто удивляясь, что имѣетъ слово человѣческое» ¹⁾.

Чаадаевъ и славяне равно стояли передъ неразгаданнымъ сфинксомъ русской жизни, сфинксомъ, спящимъ подъ солдатской шинелью; они равно спрашивали: «Что же изъ этого будетъ? Такъ жить невозможно: тягость и нелѣпость настоящаго очевидны, невыносимы,—гдѣ же выходъ?»

«Его нѣтъ», отвѣчалъ челоѣкъ петровскаго періода исключительно западной цивилизаціи, вѣрившій при Александрѣ въ

¹⁾ «Въ дополненіе къ тому, говорилъ онъ мнѣ въ присутствіи Хомякова, они хвастаются даромъ слова, а во всемъ племени говорить одинъ Хомяковъ».

европейскую будущность Россіи. Онъ печально указывалъ, къ чему привели усилія цѣлаго вѣка. Переворотъ Петра сдѣлалъ изъ насъ худшее, что можно сдѣлать изъ людей,—*просвѣщенныя* рабовъ. Довольно мучились мы въ этомъ тяжеломъ, смутномъ нравственномъ состояніи, непонятыя народомъ, побитые правительствомъ; пора отдохнуть, пора свести миръ въ свою душу, прислониться къ чему-нибудь... это почти значило «пора умереть» и Чаадаевъ думалъ найти обѣщанный всѣмъ страждущимъ и обремененнымъ покой въ католической церкви.

Съ точки зрѣнія западной цивилизаціи, такъ, какъ она выразилась во время реставраціи, съ точки зрѣнія петровской Руси взглядъ этотъ совершенно оправданъ.

Славяне рѣшили вопросъ иначе.

Въ ихъ рѣшеніи лежало вѣрное сознаніе *живой души* въ народѣ, чутье ихъ было пронизательнѣе ихъ разумѣнія. Они поняли, что современное состояніе Россіи, какъ бы тягостно ни было, *не смертельная болѣзнь*. И въ то время, какъ у Чаадаева слабо мерцаетъ возможность спасенія лицъ, а не народа,—у славянъ явно проглядываетъ мысль о гибели лицъ, захваченныхъ современной эпохой, и вѣра въ спасеніе народа.

«Выходъ за нами, говорили славяне, выходъ въ отреченіи отъ петербургскаго періода, въ возвращеніи къ народу, съ которымъ насъ разобщило иностранное образованіе, иностранное правительство, *воротимся къ прежнимъ нравамъ!*»

Но исторія не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бываютъ нужны старыя платья. Всѣ возстановленія, всѣ реставраціи были всегда маскарадами. Мы видѣли двѣ; ни легитимисты не возвратились къ временамъ Людовика XIV, ни республиканцы къ 8 термидору. Случившееся стоитъ писаннаго, его не вырубишь топоромъ.

Намъ, сверхъ того, не къ чему возвращаться. Государственная жизнь до-петровской Россіи была уродлива, бѣдна, дика,—а къ ней-то и хотѣли славяне возвратиться, хотя они и не признаются въ этомъ; какъ же иначе объяснить всѣ археологическія воскресенія, поклоненіе нравамъ и обычаямъ прежняго времени и самыя попытки возвратиться не къ современной (и превосходной) одеждѣ крестьянъ, а къ стариннымъ неуклюжимъ костюмамъ?

Во всей Россіи, кромѣ славянофиловъ, никто не носитъ мурмолокъ. А К. Аксаковъ одѣлся такъ національно, что народъ на улицахъ принималъ его за персіанина, какъ рассказывалъ шутя Чаадаевъ.

Возвращеніе къ народу они тоже поняли грубо, въ томъ родѣ, какъ большая часть западныхъ демократовъ — принимая *его со-всѣмъ готовыми*. Они полагали, что дѣлать предразсудки народа—

значитъ быть съ нимъ въ единствѣ, что жертвовать своимъ разумомъ, вмѣсто того, чтобъ развивать разумъ въ народѣ—великій актъ смиренія. Отсюда натянутая набожность, исполненіе обрядовъ, которые, при наивной вѣрѣ, трогательны и оскорбительны, когда въ нихъ видна преднамѣренность. Лучшее доказательство, что возвращеніе славянъ къ народу не было дѣйствительнымъ, состоитъ въ томъ, что они не возбудили въ немъ никакого сочувствія. Ни византійская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадутъ для будущаго развитія славянскаго міра. Возвратиться къ селу, къ артели работниковъ, къ мирской сходкѣ, къ казачеству, другое дѣло; но возвратиться не для того, чтобъ ихъ закрѣпить въ неподвижныхъ азіатскихъ кристаллизаціяхъ, а для того, чтобъ развить, освободить начала, на которыхъ они основаны, очистить отъ всего наноснаго, искажающаго, отъ дикаго мяса, которымъ они обросли, — въ этомъ, конечно, наше призваніе. Но ненадобно ошибаться, все это далеко за *предѣломъ* государства; московскій періодъ такъ же мало поможетъ тутъ, какъ петербургскій; онъ же никогда и не былъ лучше его. Новгородскій вѣчевой колоколь былъ только перелить въ пушку Петромъ, а снять съ колокольни Іоаномъ Васильевичемъ; крѣпостное состояніе только закрѣплено ревизіей при Петрѣ, а введено Годуновымъ; въ Уложеніи уже нѣтъ и помину цаловальниковъ, и кнутъ, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутеневъ и фухтелей.

Ошибка славянъ состояла въ томъ, что имъ кажется, что Россія имѣла когда-то свойственное ей развитіе, затемненное разными событіями и, наконецъ, петербургскимъ періодомъ. Россія никогда не имѣла этого развитія и *не могла имѣть*. То, что приходитъ теперь къ сознанію у насъ, то, что начинаетъ мерцать въ мысли, въ предчувствіи, то, что существовало безсознательно въ крестьянской избѣ и на полѣ,—то теперь *только* всходитъ на пажитяхъ исторіи, утучненныхъ кровью, слезами и потомъ двадцати поколѣній.

Это—основы нашего быта, не воспоминанія, это—живыя стихіи, существующія не въ лѣтописяхъ, а въ настоящемъ; но онѣ только *уцѣлѣли* подъ труднымъ историческимъ выработываніемъ государственнаго единства и подъ государственнымъ гнетомъ только сохранились, но не развились. Я даже сомнѣваюсь, нашлись ли бы внутреннія силы для ихъ развитія безъ петровскаго періода, безъ періода европейскаго образованія.

Непосредственныхъ основъ быта недостаточно. Въ Индіи до сихъ поръ и споконъ вѣка существуетъ сельская община, оченъ сходная съ нашей и основанная на раздѣлѣ полей; однако индѣйцы съ ней недалеко ушли.

Одна мощная мысль Запада, къ которой примыкаетъ вся длинная исторія его, въ состояніи оплодотворить зародыши, дремлющіе въ патріархальномъ быту славянскомъ. Артель и сельская община, раздѣлъ прибытка и раздѣлъ полей, мірская сходка и соединеніе селъ въ волости, управляющіяся сами-собою, все это краугольные камни, на которыхъ соизидется храмина нашего будущаго свободно-общиннаго быта. Но эти краугольные камни— все же камни... и безъ западной мысли нашъ будущій соборъ остался бы при одномъ фундаментѣ.

Такова судьба всего истинно *соціального*, оно невольно влечетъ къ круговой порука народовъ... Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при дикомъ общинномъ бытѣ, другіе при отвлеченной мысли коммунизма, которая, какъ христіанская душа, носится надъ разлагающимся тѣломъ.

Воспріимчивый характеръ славянъ, ихъ *женственность*, недостатокъ самодѣятельности и большая способность усвоенія и пластицизма дѣлаетъ ихъ по преимуществу народомъ нуждающимся въ другихъ народахъ, они не вполне довлѣютъ себѣ. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими пѣснями», какъ замѣтилъ одинъ византійскій лѣтописецъ, «и дремлютъ». Возбужденные другими, они идутъ до крайнихъ слѣдствій; нѣтъ народа, который глубже и полнѣе усвоивалъ бы себѣ мысль другихъ народовъ, оставаясь самимъ собою. Того упорнаго непониманья другъ друга, которое существуетъ теперь, какъ за тысячу лѣтъ, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нѣтъ. Въ этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натурѣ лежитъ необходимость отдаваться и быть увлекаемымъ.

Чтобы сложиться въ княжество, Россіи были нужны варяги.

Чтобы сдѣлаться государствомъ—монголы.

Европеизмъ развилъ изъ царства московскаго колоссальную имперію петербургскую.

Но при всей своей воспріимчивости не оказали ли славяне вездѣ полнѣйшую неспособность къ развитію *современнаго*, европейскаго, государственнаго чина, постоянно впадая или въ отчаяннѣйшій деспотизмъ или въ безвыходное неустройство?

Эта неспособность и эта неполнота—великіе *таланты* въ нашихъ глазахъ.

Вся Европа пришла теперь къ необходимости деспотизма, чтобъ какъ-нибудь удержать современный государственный бытъ противъ напора соціальныхъ идей, стремящихся водворить новый чинъ, къ которому Западъ, боясь и упираясь, все-таки несется съ невѣдомой силой.

Было время, когда полусвободный Западъ гордо смотрѣлъ на

Россію, и образованная Россія вздыхая смотрѣла на счастье старшихъ братій. Это время прошло.

Мы присутствуемъ теперь при удивительномъ зрѣлищѣ; страны, гдѣ остались еще свободныя учрежденія, и тѣ напрашиваются на деспотизмъ. Человѣчество не видало ничего подобнаго со временъ Константина, когда свободные римляне, чтобъ спастись отъ общественной тяги, просились въ рабы.

↳ Деспотизмъ или социализмъ—выбора нѣтъ.

А между тѣмъ Европа показала удивительную *неспособность* къ социальному перевороту.

Мы думаемъ, что Россія не такъ неспособна къ нему и на этомъ сходимся съ славянами. На этомъ основана наша вѣра въ ея будущность. Вѣра, которую я проповѣдывалъ съ конца 1848 года.

Европа выбрала деспотизмъ, предпочла имперію. Деспотизмъ—военный станъ, имперія—война, императоръ—военачальникъ. Все вооружено, война и будетъ, но гдѣ настоящій врагъ? Дома—внизу, на днѣ, и тамъ за Нѣманомъ.

Начавшаяся теперь война ¹⁾ можетъ имѣть перемирія, но не кончится прежде начала всеобщаго переворота, который смѣшаетъ всѣ карты и начнетъ новую игру. Нельзя же двумъ великимъ историческимъ личностямъ, двумъ посѣдѣлымъ дѣятелямъ всей западной исторіи, представителямъ двухъ міровъ, двухъ традицій, двухъ началъ—государства и личной свободы, нельзя же имъ не остановить, не сокрушить *третью* личность, нѣмую, безъ знамени, безъ имени, являющуюся такъ не во время и грубо толкающуюся въ двери Европы и въ двери исторіи съ притязаніемъ на Византію, съ одной ногой на Германіи, съ другой на Тихомъ океанѣ.

II.

Возвратившись изъ Новгорода въ Москву, я засталъ оба стана на барьерѣ. Славяне были въ полномъ боевомъ порядкѣ, съ своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина, съ своими застрѣльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послѣ кіевскаго періода, и умѣренными жирондистами, отвергавшими только петербургскій періодъ; у нихъ были свои каеэдры въ университетѣ, свое ежемѣсячное обозрѣніе, выходившее всегда два мѣсяца позже, но все же выходившее. При главномъ корпусѣ состояли православные гегельянцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ, и пр., и пр.

¹⁾ Писано во время крымской войны.

Война наша сильно занимала литературные салоны въ Москвѣ. Вообще Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизни. Появленіе замѣчательной книги ¹⁾ составляло событіе, критики и антикритики читались и комментировались съ тѣмъ вниманіемъ, съ которымъ бывало въ Англіи или во Франціи слѣдили за парламентскими преніями. Подавленность всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности бросала образованную часть общества въ книжный міръ и въ немъ одномъ дѣйствительно совершался, глухо и полусловами, протестъ противъ гнета.

Въ лицѣ Грановскаго, московское общество привѣтствовало рвущуюся къ свободѣ мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. Въ лицѣ славянофиловъ оно протестовало противъ оскорбленнаго чувства народности.

Здѣсь я долженъ оговориться. Я въ Москвѣ зналъ два круга, два полюса ея общественной жизни и могу только объ нихъ говорить. Сначала я былъ потерянъ въ обществѣ стариковъ, гвардейскихъ офицеровъ временъ Екатерины, товарищей моего отца, и другихъ стариковъ, нашедшихъ тихое убѣжище въ страннопріимномъ сенатѣ, товарищей его брата. Потомъ я зналъ одну *молодую* Москву литературно-свѣтскую, и говорю только объ ней. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своихъ похоронъ по рангу, и ихъ сыновьями или внуками, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не зналъ и не хотѣлъ знать. Промежуточная среда эта была безцвѣтна и пошла, безъ екатерининской оригинальности, безъ отваги и удали людей 1812 г., безъ нашихъ стремленій и интересовъ. Это было поколѣніе жалкое, подавленное, въ которомъ бились, задыхались и погибли нѣсколько мучениковъ. Говоря о московскихъ гостиныхъ и столовыхъ, я говорю о тѣхъ, въ которыхъ нѣкогда царилъ А. С. Пушкинъ, гдѣ до насъ декабристы давали тонъ, гдѣ смѣялся Грибоѣдовъ, гдѣ М. Ѡ. Орловъ и А. П. Ермоловъ встрѣчали дружескій привѣтъ, потому что они были въ опалѣ; гдѣ, наконецъ, А. С. Хомяковъ спорилъ до четырехъ часовъ утра, начавши въ девять; гдѣ К. Аксаковъ съ мурмошкой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, и никогда не бралъ въ руки бокала шампанскаго, чтобъ не сотворить тайно моленіе и тостъ, который всѣ знали; гдѣ Р... выводилъ логически личнаго бога, *ad majorem gloriam Hegelij*, гдѣ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой рѣчью, гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станке-

¹⁾ Въ «Полярной Звѣздѣ» прибавлено: напр., «Мертвыхъ душъ».

веча, гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаниями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными; гдѣ молодой старикъ А. И. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы, отъ Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ; гдѣ Боткинъ и Крюковъ *пантеистически* наслаждались рассказами М. С. Щепкина, и куда, наконецъ, иногда падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало.

Вообще въ Москвѣ жизнь больше деревенская, чѣмъ городская, только господскіе дома близко другъ отъ друга. Въ ней не приходитъ все къ одному знаменателю,—а живутъ себѣ образцы разныхъ временъ, образованій, слоевъ, широтъ и долготъ русскихъ. Въ ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчиваютъ свой вѣкъ; но не только они, а и Владиміръ Ленскій и нашъ чудакъ Чацкій; Онѣгиныхъ было даже слишкомъ много. Мало занятые, всѣ они жили не торопясь, безъ особыхъ заботъ, спустя рукава. Помѣщичья распушенность, признаться сказать, намъ по душѣ; въ ней есть своя ширь, которую мы не находимъ въ мѣщанской жизни Запада. Подобострастный кліентизмъ, о которомъ говорить дѣвица Вильмотъ въ запискахъ Дашковой и который я самъ еще засталъ, — въ тѣхъ кругахъ, о которыхъ идетъ рѣчь, не существовалъ. Хоръ этого общества былъ составленъ изъ неслужащихъ помѣщиковъ или служащихъ не для себя, а для успокоенія родственниковъ, людей достаточныхъ, изъ молодыхъ литераторовъ и профессоровъ. Въ этомъ обществѣ была та свобода неустоявшихся отношеній и неприведенныхъ въ косный порядокъ обычаевъ, которой нѣтъ въ старой европейской жизни, и въ то же время въ немъ сохранилась привитая намъ воспитаніемъ традиція западной вѣжливости, которая на Западѣ исчезаетъ; она, съ примѣсью славянскаго *laisser aller*, а подъ часъ и разгула, составляла особый русскій характеръ *московскаго* общества, къ его великому горю, потому что оно смертельно хотѣло быть *парижскимъ* и это хотѣніе, навѣрное, осталось.

Мы Европу все еще знаемъ заднимъ числомъ; намъ все мерещатся тѣ времена, когда Вольтеръ царилъ надъ парижскими салонами, и на споры Дидро звали какъ на стерлядь; когда пріѣздъ Давида Юма въ Парижъ сдѣлалъ эпоху и всѣ контессы, виконтессы ухаживали за нимъ, кокетничали съ нимъ до того, что другой баловень, Гриммъ, надулся и нашелъ это вовсе неумѣстнымъ. У насъ все въ головѣ времена вечеровъ барона Гольбаха и перваго представленія Фигаро, когда вся аристократія Парижа стояла дни цѣлые, дѣлая хвостъ, и модныя дамы безъ

обѣда ѣли сухія бриошки, чтобъ добиться мѣста и увидать революціонную пьесу, которую черезъ мѣсяцъ будутъ давать въ Версаль (графъ Прованскій, т. е., будущій Людовикъ XVIII въ роли Фигаро, Марія Антуанета—въ роли Сусаны!).

Tempi passati... не только гостинныя XVIII столѣтія не существуютъ, эти удивительныя гостинныя, гдѣ подъ пудрой и кружевами — аристократическими ручками взлелѣяли и откормили аристократическимъ молокомъ львенка, изъ котораго выросла исполинская революція; но и такихъ гостинныхъ больше нѣтъ, какъ бывали, напр., у Стааль, у Рекамье, — гдѣ сѣзжались всѣ знаменитости аристократіи, литераторы, политики. Литературы боятся, да ея и нѣтъ совсѣмъ, партіи разошлись до того, что люди разныхъ оттѣнковъ не могутъ учтиво встрѣтиться подъ одной крышей.

Одинъ изъ послѣднихъ опытовъ «гостиной» въ прежнемъ смыслѣ слова не удался и потухъ вмѣстѣ съ хозяйкой. Дельфина Ге истощала всѣ свои таланты — блестящій умъ—на то, чтобъ какъ-нибудь сохранить приличный миръ между гостями, подозрѣвавшими, ненавидѣвшими другъ друга. Можетъ ли быть какое-нибудь удовольствіе въ этомъ натянутомъ, тревожномъ состояніи перемирія, въ которомъ хозяинъ, оставшись одинъ, усталый, бросается на софу и благодаритъ небо за то, что вечеръ сошелъ съ рукъ безъ непріятностей.

Дѣйствительно, Западу и въ особенности Франціи теперь не до литературной болтовни, не до хорошаго тона, не до изящныхъ манеръ. Закрывъ страшную пропасть императорской мантией съ пчелами, мѣщане-генералы, мѣщане-министры, мѣщане-банкиры кутяты, наживаютъ милліоны, теряютъ милліоны, ожидая Каменнаго Гостя ликвидаціи... Нелегкая «козри» нужна имъ, а тяжелыя оргіи, безцвѣтное богатство, въ которомъ золото, какъ въ первой имперіи, вытѣсняетъ искусство, лоретка—даму, биржевой игрокъ—литератора.

Это распаденіе общества не въ одномъ Парижѣ. Ж. Зандъ была живымъ средоточіемъ всего своего сосѣдства въ Ноанъ. Къ ней сѣзжались простые и непростые знакомые, безъ большихъ церемоній, всегда, когда хотѣли, и проводили вечеръ чрезвычайно изящно. Тутъ была музыка, чтеніе, драматическія импровизаціи и, что всего важнѣе, тутъ была сама Ж. Зандъ. Съ 1852 года тонъ началъ мѣняться, добродушные беришоны уже не пріѣзжали затѣмъ, чтобъ отдохнуть и посмѣяться, но со злобой въ глазахъ, исполненные желчи, терзали другъ друга заочно и въ лицо, выказывали новую ливрею, другіе боялись доносовъ; непринужденность, которая дѣлала легкой и милой шутку и веселость, исчезла. Постоянная забота ладить, разводить, смягчать,

до того надоѣла, намучила Ж. Зандъ, что она рѣшилась прекратить свои Ноанскіе вечера и свела свой кругъ на два, на три старыхъ пріятели...

... Говорятъ, Москва—молодая Москва—состарѣлась, не пережила Николая, что и университетъ ея измельчалъ и помѣщичья натура слишкомъ рельефно выступила передъ вопросомъ освобожденія; что ея англійской клубъ сдѣлался всего менѣ англійской, что въ немъ Собакевичи кричатъ противъ освобожденія и Ноздревы шумятъ за *естественныя и неотъемлемыя* права дворянъ. Можетъ быть!... Но не такова была Москва сороковыхъ годовъ, и вотъ эта-то Москва и принимала дѣятельное участіе за мурмолки и противъ нихъ; барыни и барышни читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или за Грановскаго, жалѣя *только*, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ.

Споры возобновлялись на всѣхъ литературныхъ и не литературныхъ вечерахъ, на которыхъ мы встрѣчались, — а это было раза два или три въ недѣлю. Въ понедѣльникъ собирались у Чаадаева, въ пятницу у Свербѣева, въ воскресенье у А. П. Елагинной.

Сверхъ участниковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имѣвшихъ мнѣнія, на эти вечера пріѣзжали охотники, даже охотницы, и сидѣли до двухъ часовъ ночи, чтобъ посмотрѣть, кто изъ матадоровъ кого отдѣлаетъ и какъ отдѣлаютъ его самаго; пріѣзжали, въ томъ родѣ, какъ встарь ѣздили на кулачные бои и въ амфитеатръ, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцемъ, разившимъ всѣхъ, со стороны православія и славянизма, былъ Алексѣй Степановичъ Хомяковъ, «Горгіасъ, совопросникъ міра сего», по выраженію полуповрежденнаго Морошкина. Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на нихъ, богатый памятью и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неумоимо проспорилъ всю свою жизнь. Боецъ безъ усталости и отдыха, онъ билъ и кололъ, нападалъ и преслѣдовалъ, осыпалъ островами и цитатами, пугалъ и заводилъ въ лѣсъ, откуда безъ молитвы выйти нельзя,—словомъ, кого за убѣжденіе—убѣжденіе прочь, кого за логику—логика прочь.

Хомяковъ былъ дѣйствительно опасный противникъ; закалившійся старый бретѣръ діалектики, онъ пользовался малѣйшимъ разсѣяніемъ, малѣйшей уступкой. Необыкновенно даровитый человѣкъ, обладавшій страшною эрудиціей, онъ, какъ средневѣковые рыцари, караулившіе богородицу, спалъ вооруженный. Во всякое время дня и ночи онъ былъ готовъ на запутаннѣйшій споръ и употреблялъ для торжества своего славянскаго воззрѣнія все на свѣтъ—отъ казуистики византійскихъ богослововъ до

тонкостей изворотливаго легиста. Возраженія его, часто мнимыя всегда ослѣпляли и сбивали съ толку.

Хомяковъ зналъ очень хорошо свою силу и игралъ ею; забрасывалъ словами, запугивалъ ученостью, надо всѣмъ издѣвался, заставлялъ человѣка смѣяться надъ собственными вѣрованіями и убѣжденіями, оставляя его въ сомнѣніи, есть-ли у него у самаго что-нибудь завѣтное. Онъ мастерски ловилъ и мучилъ на диалектической жаровнѣ остановившихся на полдорогѣ, пугалъ робкихъ, приводилъ въ отчаяніе дилетантовъ и при всемъ этомъ смѣялся, *какъ казалось*, отъ души. Я говорю «какъ казалось», потому что въ нѣсколько восточныхъ чертахъ его выражалось что-то затаенное и какое-то азіатское простодушное лукавство: вмѣстѣ съ русскимъ себѣ на умѣ. Онъ вообще больше сбивалъ, чѣмъ убѣждалъ.

Философскіе споры его состояли въ томъ, что онъ отвергалъ возможность разумомъ дойти до истины; онъ разуму давалъ одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, иначе получаемыя, относительно готовыя (т. е., даваемыя откровеніемъ, получаемыя вѣрой). Если же разумъ оставить на самаго себя, то бродя въ пустотѣ и строя категорію за категоріей, онъ можетъ обличить свои законы, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духѣ, ни до понятія о безсмертіи и пр. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, остановившихся между религіей и наукой. Какъ они ни бились въ формахъ гегелевской методы, какія ни дѣлали построенія, Хомяковъ шелъ съ ними шагъ въ шагъ и подъ конецъ дулъ на карточный домъ логическихъ формулъ или подставлялъ ногу и заставлялъ ихъ падать въ «матеріализмъ», отъ котораго они стыдливо отрекались, или въ «атеизмъ», котораго они просто боялись. Хомяковъ торжествовалъ!

Присутствуя нѣсколько разъ при его спорахъ, я замѣтилъ эту уловку, и въ первый разъ, когда мнѣ самому пришлось помѣриться съ нимъ, я его самъ завлекъ къ этимъ выводамъ. Хомяковъ щурилъ свой косою глазъ, потряхивалъ черными, какъ смоль, кудрями и впередъ улыбался.

— Знаете-ли что, сказалъ онъ вдругъ, какъ бы удивляясь самъ новой мысли, не только однимъ разумомъ нельзя дойти до разумаго духа, развивающагося въ природѣ, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, какъ простое, непрерывное броженіе, не имѣющее цѣли, и которое можетъ и продолжаться, и остановиться. А если это такъ, то вы не докажете и того, что исторія не оборвется завтра, не погибнетъ съ родомъ человѣческимъ, съ планетой?

— Я вамъ и не говорилъ, отвѣтилъ я ему, что я берусь это доказывать, я очень хорошо зналъ, что это невозможно.

— Какъ? сказалъ Хомяковъ, нѣсколько удивленный,—вы можете принимать эти страшные результаты *свирѣпѣйшей имманенціи* и въ вашей душѣ ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу я ихъ или нѣтъ.

— Ну, вы, по крайней мѣрѣ, послѣдовательны; однако, какъ человѣку надобно свихнуть себѣ душу, чтобъ примириться съ этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть къ нимъ.

— Докажите мнѣ, что *не-наука* ваша истиннѣе, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, къ чему бы она меня ни привела.

— Для этого надобно вѣру.

— Но, Алексѣй Степановичъ, вы знаете: «на нѣтъ, и суда нѣтъ»¹⁾.

Многіе—и нѣкогда я самъ—думали, что Хомяковъ спорилъ изъ артистической потребности спорить, что глубокихъ убѣжденій у него не было, и въ этомъ была виновата его манера, его вѣчный смѣхъ и поверхностность тѣхъ, которые его судили. Я не думаю, чтобъ кто-нибудь изъ славянъ сдѣлалъ больше для распространенія ихъ воззрѣнія, чѣмъ Хомяковъ. Вся его жизнь, человѣка очень богатаго и не служившаго, была отдана пропагандѣ. Смѣялся ли онъ, или плакалъ,—это зависѣло отъ нервъ, отъ склада ума, отъ того, какъ его сложила среда и какъ онъ отражалъ ее; до глубины убѣжденія это не касается.

Хомяковъ, можетъ быть, непрерывной суетой споровъ и хлопотливо-праздной полемикой заглушалъ то же чувство пустоты, которое, съ своей стороны, заглушало все свѣтлое въ его товарищахъ и ближайшихъ друзьяхъ, въ Кирѣевскихъ.

Сломанность этихъ людей была очевидна. Въ жару полемики можно было иногда забывать это,—теперь это было бы слабо и жалко.

Оба брата Кирѣевскихъ стоятъ печальными тѣнями на рубежѣ народнаго воскресенія; не признанные живыми, не дѣлившіе ихъ интересовъ, они не скидали савана.

Преждевременно состарѣвшееся лицо Ивана Васильевича носило рѣзкіе слѣды страданій и борьбы, послѣ которыхъ уже выступилъ печальный покой морской зыби надъ потонувшимъ кораблемъ. Жизнь его не удалась. Съ жаромъ принялся онъ, по-

¹⁾ Въ «Полярной Звѣздѣ» прибавлено: Хомяковъ по обыкновенію заключилъ смѣхомъ, и мы стали говорить о другомъ.

мнится въ 1833 г., за ежемѣсячное обозрѣніе, *Европеецъ*. Двѣ вышедшія книжки были превосходны, при выходѣ второй *Европеецъ* былъ запрещенъ. Онъ помѣстилъ въ *Денницу* статью о Новиковѣ, — *Денница* была схвачена и цензоръ Глинка посаженъ подъ арестъ. Кирѣевскій, разстроившій свое состояніе *Европеецъ*, уныло почилъ въ пустынь московской жизни; ничего не представлялось вокругъ, — онъ не вытерпѣлъ и уѣхалъ въ деревню, затаивъ въ груди глубокую скорбь и тоску по дѣятельности. И этого человѣка, твердаго и чистаго, какъ сталь, разъяла ржа страшнаго времени. Черезъ десять лѣтъ онъ возвратился въ Москву изъ своего отшельничества — мистикомъ и православнымъ.

Положеніе его въ Москвѣ было тяжелое. Совершенной близости, сочувствія у него не было ни съ его друзьями, ни съ нами. Между имъ и нами была церковная стѣна. Поклонникъ свободы и великаго времени французской революціи, онъ не могъ раздѣлять пренебреженія ко всему европейскому новыхъ старообрядцевъ. Онъ однажды съ глубокой печалью сказалъ Грановскому: «Сердцемъ я больше связанъ съ вами, но не дѣлю многого изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе вѣрой, но столько же расхожусь въ другомъ». И онъ въ самомъ дѣлѣ потухалъ какъ-то одиноко въ своей семьѣ. Возлѣ него стоялъ его братъ, его другъ — Петръ Васильевичъ. Грустно, какъ будто слеза еще не обсохла, будто вчера постигло несчастіе, появлялись оба брата на бесѣды и сходки. Я смотрѣлъ на Ивана Васильевича, какъ на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утѣшеніе:

Погоди немного
Отдохнешь и ты!

Жаль было разрушать его мистицизмъ; эту жалость я прежде испытывалъ съ Витбергомъ. Мистицизмъ обоихъ былъ художественный; за нимъ будто не исчезала истина, а пряталась въ фантастическихъ очертаніяхъ и монашескихъ рясахъ. Безпощадная потребность разбудить человѣка является только тогда, когда онъ облакаетъ свое безуміе въ полемическую форму, или когда близость съ нимъ такъ велика, что всякой диссонансъ раздраетъ сердце и не даетъ покоя.

И что же было возражать человѣку, который говорилъ такія вещи: «Я разъ стоялъ въ часовнѣ, смотрѣлъ на чудотворную икону богоматери и думалъ о дѣтской вѣрѣ народа, молящагося ей; нѣсколько женщинъ, больные, старики стояли на колѣнахъ и, крестясь, клали земные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядѣлъ я потомъ на святыхъ черты и мало-по-малу тайна чудесной

силы стала мнѣ уясняться. Да, это не просто доска съ изображеніемъ... Вѣка цѣлые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ; она должна была наполниться силой, струящейся изъ нея, отражающей отъ нея на вѣрующихъ. Она сдѣлалась живымъ органомъ, мѣстомъ встрѣчи между творцомъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрѣлъ на старцевъ, на женщинъ съ дѣтьми, поверженныхъ въ прахъ, и на святую икону,—тогда я самъ увидѣлъ черты богородицы одушевленными, она съ милосердіемъ и любовью смотрѣла на этихъ простыхъ людей... И я палъ на колѣни и смиренно молился ей».

Петръ Васильевичъ былъ еще неисправимѣе и шелъ дальше въ православномъ славянизмѣ,—натура, можетъ быть, меньше даровитая, но цѣльная и строго послѣдовательная. Онъ не старался, какъ Иванъ Васильевичъ или какъ славянскіе гегелисты, мирить религію съ наукой, западную цивилизацію съ московской народностью; совсѣмъ напротивъ, онъ отвергалъ всѣ перемирія. Самобытно и твердо держался онъ на своей почвѣ, не накупаясь на споры, но и не минуя ихъ. Бояться ему было нечего: онъ такъ безвозвратно отдался своему мнѣнію и такъ спаялся съ нимъ горестнымъ состраданіемъ къ современной Руси, что ему было легко. Соглашаться съ нимъ нельзя было, какъ и съ братомъ его; но понимать его можно было лучше, какъ всякую безпощадную крайность. Въ его взглядѣ (и это я оцѣнилъ гораздо послѣ) была доля тѣхъ горькихъ, подавляющихъ истинъ объ общественномъ состояніи Запада, до которыхъ мы дошли послѣ бурь 1848 года. Онъ понялъ ихъ печальнымъ ясновидѣніемъ, догадался ненавистью, мстью за зло, принесенное Петромъ во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, какъ у его брата, рядомъ съ православіемъ и славянизмомъ, стремленія къ какой-то гуманно-религіозной философіи, въ которую разрѣшалось его невѣріе къ настоящему. Нѣтъ, въ его угрюмомъ націонализмѣ было полное, оконченное отчужденіе всего западнаго.

Ихъ общее несчастіе состояло въ томъ, что они родились или слишкомъ рано, или слишкомъ поздно; 14 декабря застало насъ дѣтьми, ихъ юношами. Это очень важно. Мы въ это время учились, вовсе не зная, что въ самомъ дѣлѣ творится въ практическомъ мірѣ. Мы были полны теоретическихъ мечтаній, мы были Гракхи и Ріензи въ дѣтской; потомъ, замкнутые въ небольшой кругъ, мы дружно прошли академическіе годы; выходя изъ университетскихъ воротъ, насъ встрѣтили ворота тюрьмы. Тюремъ и ссылка въ молодыхъ лѣтахъ, во времена душнаго и сѣраго гоненія, чрезвычайно благотворны; это закалъ,—однѣ слабыя организаціи смиряются тюрьмой, тѣ, у которыхъ борьба была мимо-

летнымъ юношескимъ порывомъ, а не талантомъ, не внутренней необходимостью. Сознаніе открытаго преслѣдованія поддерживаетъ желаніе противудѣйствовать, удвоенная опасность приучаетъ къ выдержкѣ, образуетъ поведеніе. Все это занимаетъ, разсѣиваетъ, раздражаетъ, сердитъ, и на колодника или сосланнаго чаще находятъ минуты бѣшенства, чѣмъ утомительные часы равномернаго, обезсиляющаго отчаянія людей, потерянныхъ на волѣ въ пошлой и тяжелой средѣ.

Когда мы возвратились изъ ссылки, уже другая дѣятельность закипала въ литературѣ, въ университетѣ, въ самомъ обществѣ. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Бѣлинскаго, чтеній Грановскаго и молодыхъ профессоровъ.

Не то было съ нашими предшественниками. Ихъ встрѣтили тѣ десять лѣтъ, которыя оканчиваются мрачнымъ письмомъ Чаадаева. Разумѣется, въ десять лѣтъ они не могли состарѣться, но они сломились, затянулись, окруженные обществомъ безъ живыхъ интересовъ, жалкимъ, струсившимъ, подобоострастнымъ. И это были десять первыхъ лѣтъ юности! По неволѣ приходилось, какъ Онѣгину, завидовать параличу тульскаго засѣдателя, уѣхать въ Персію, какъ Печоринъ Лермонтова, идти въ католики, какъ настоящій Печоринъ, или броситься въ отчаянное православіе, въ неистовый славянизмъ, если нѣтъ желанія пить запоемъ, сѣчь мужиковъ или играть въ карты.

Въ первую минуту, когда Хомяковъ почувствовалъ эту пустоту, онъ поѣхалъ гулять по Европѣ во время соннаго и скучнаго царствованія Карла X; *докончивъ* въ Парижѣ свою забытую трагедію *Ермакъ* и потолковавши со всякими чехами и далматами на обратномъ пути, онъ воротился. Все скучно! По счастью, открылась турецкая война, онъ пошелъ въ полкъ, безъ нужды, безъ цѣли и отправился въ Турцію. Война кончилась и кончилась другая забытая трагедія *Дмитрій Самозванецъ*. Опять скука!

Въ этой скукѣ, въ этой тоскѣ, при этой страшной обстановкѣ и страшной пустотѣ мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмѣяна; тѣмъ яростнѣе бросился на отстаиваніе ея Хомяковъ, тѣмъ глубже взошла она въ плоть и кровь Кирѣевскихъ.

Сѣмя было брошено; на посѣвъ и защиту всходовъ пошла ихъ сила. Надобно было людей новаго поколѣнія, не свихнутыхъ, не надломленныхъ, которыми мысль ихъ была бы принята не страданіемъ, не болѣзнью, какъ до нее дошли учителя, а передачей, наслѣдіемъ. Молодые люди откликнулись на ихъ призывъ, люди Станкевича круга примыкали къ нимъ и въ ихъ числѣ такія сильныя личности, какъ К. Аксаковъ и Юрій Самаринъ.

Константинъ Аксаковъ не смѣялся, какъ Хомяковъ, и не сосредоточивался въ безвыходномъ сѣтованіи, какъ Кирѣевскіе. Мужающій юноша, онъ рвался къ дѣлу. Въ его убѣжденіяхъ не неувѣренное пытанье почвы, не печальное сознаніе проповѣдника въ пустынь, не темное предыханіе, не дальнія надежды, а фанатическая вѣра, нетерпимая, втѣсняющая, односторонняя, та, которая предваряетъ торжество. Аксаковъ былъ одностороненъ, какъ всякій воинъ; съ покойно взвѣшивающимъ эклектизмомъ нельзя сражаться. Онъ былъ окруженъ враждебной средой, средой сильной и имѣвшей надъ нимъ большія выгоды, ему надобно было пробиваться рядомъ всевозможныхъ непріятелей и водрузить свое знамя. Какая тутъ терпимость!

Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя непризнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектикѣ Хомякова, онъ не былъ поэтъ-мыслитель, какъ И. Кирѣевскій, но онъ за свою вѣру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, онѣ становятся страшно убѣдительно. Онъ въ началѣ сороковыхъ годовъ проповѣдывалъ сельскую общину, міръ и артель. Онъ научилъ Гакстаузена понимать ихъ и, послѣдовательный до дѣтства, первый опустилъ панталоны въ сапоги и надѣлъ рубашку съ кривымъ воротомъ. «Москва столица русскаго народа, говорилъ онъ, а Петербургъ только резиденція императора».—И замѣтите, отвѣчалъ я ему, какъ далеко идетъ это различіе: въ Москвѣ васъ непременно посадятъ на *сълѣжку*, а въ Петербургѣ сведутъ на *гауптвахту*.

Аксаковъ остался до конца жизни вѣчнымъ восторженнымъ и непредѣльно благороднымъ юношей; онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотѣли больше встрѣчаться, я какъ-то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. «Мнѣ было слишкомъ больно, сказалъ онъ, проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вамъ руку и проститься». Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился; я стоялъ на томъ же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко поцѣловалъ. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту ссоры! ¹⁾.

¹⁾ «Колоколь», листъ 90.

Ссора, о которой идетъ рѣчь, была слѣдствіемъ той полемики, о которой я говорилъ.

Грановскій и мы еще кой-какъ съ ними ладили; не уступая началъ, мы не дѣлали изъ нашего разномыслія личнаго вопроса. Бѣлинскій, страстный въ своей нетерпимости, шелъ дальше и горько упрекалъ насъ. «Я жидъ по натурѣ, писалъ онъ мнѣ изъ Петербурга, и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу... Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ *Москвитянинъ*? Нѣтъ, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія».

За то честили его и славяне. *Москвитянинъ*, раздраженный Бѣлинскимъ, раздраженный успѣхомъ *Отечественныхъ Записокъ* и успѣхомъ лекцій Грановскаго, защищался чѣмъ попало и всего менѣе жалѣлъ Бѣлинскаго; онъ прямо говорилъ о немъ, какъ о человѣкѣ опасномъ, жаждущемъ разрушенія, радующемся при зрѣлищѣ пожара.

Впрочемъ, *Москвитянинъ* выражалъ преимущественно университетскую доктринерскую партію славянофиловъ. Партію эту можно назвать не только университетской, но и отчасти *правительственной*. Это большая новость въ русской литературѣ. У насъ рабство или молчить, беретъ взятки и плохо знаетъ грамоту или, пренебрегая прозой, беретъ аккорды на лирѣ.

Булгаринъ съ Гречемъ не идутъ въ примѣръ: они никого не надули, ихъ ливрейную кокарду никто не принялъ за отличительный знакъ мнѣнія. Погодинъ и Шевыревъ, издатели *Москвитянина*, совсѣмъ напротивъ, были добросовѣстно раболѣпны: Шевыревъ,—не знаю отчего, можетъ, увлеченный своимъ предкомъ, который середь пытокъ и мученій, во времена Грознаго, пѣлъ псалмы и чуть не молился о продолженіи дней свирѣпаго старика; Погодинъ—изъ ненависти къ аристократіи.

Бываютъ времена, въ которыя люди мысли соединяются съ властью, но это только тогда, когда власть ведетъ впередъ, какъ при Петрѣ I, защищаетъ свою страну, какъ въ 1812 г., врачуетъ ея раны и даетъ ей вздохнуть, какъ при Генрихѣ IV и, *можетъ быть*, при Александрѣ II ¹⁾.

Погодинъ былъ полезный профессоръ, явившись съ новыми силами и съ не-новымъ Гереномъ на пепелищѣ русской исторіи, вытравленной и превращенной въ дымъ и прахъ Каченовскимъ. Но какъ писатель, онъ имѣлъ мало значенія, несмотря на то, что онъ писалъ все, даже Гецъ-Фонъ-Берлихенгена по-русски. Его шероховатый, неметеный слогъ, грубая манера бросать кор-

¹⁾ Писано въ 1855 году.

ноухія, обгрызенныя отмѣтки и нежеваныя мысли вдохновили меня какъ-то въ старые годы, и я написалъ въ подражаніе ему небольшой отрывокъ изъ—«Путевыхъ записокъ Ведрина». Строгоновъ (попечитель), читая ихъ, сказалъ: «А, вѣдь, Погодинъ вѣрно думаетъ, что онъ это въ самомъ дѣлѣ написалъ».

Шевыревъ врядъ даже сдѣлалъ ли что-нибудь какъ профессоръ. Что касается до его литературныхъ статей, я не помню во всемъ писанномъ имъ ни одной оригинальной мысли, ни одного самобытнаго мнѣнія. Слогъ его за то совершенно противоположенъ погодинскому, дутой, губчатой, въ родѣ неокрѣпнущаго бланъ-манже и въ которое забыли положить горькаго миндаля, хотя подъ его патокой и заморено бездна желчной, самолюбивой раздражительности. Читая Погодина, все думаешь, что онъ бранится и осматриваешься, нѣтъ ли дамъ въ комнатѣ. Читая Шевырева, все видишь что-нибудь другое во снѣ.

Говоря о слогѣ этихъ сіамскихъ братьевъ московскаго журнализма, нельзя не вспомнить Георга Форстера, знаменитаго товарища Кука—по Сандвическимъ островамъ, и Робеспьера—по конвенту, единой и нераздѣльной республикѣ. Будучи въ Вильнѣ профессоромъ ботаники и прислушиваясь къ польскому языку, такъ богатому согласными, онъ вспомнилъ своихъ знакомыхъ въ Отанти, говорящихъ почти одними гласными, и замѣтилъ: «Если-бъ эти два языка смѣшались, какое бы вышло звучное и плавное нарѣчіе!»

Тѣмъ не меньше, хотя и дурнымъ слогомъ, но близнецы *Москвитянина* стали зацѣплять ужъ не только Бѣлинскаго, но и Грановскаго за его лекціи. И все съ тѣмъ же несчастнымъ отсутствіемъ такта, который возстановлялъ противъ нихъ всѣхъ порядочныхъ людей. Они обвиняли Грановскаго въ пристрастіи къ западному развитію, къ извѣстному *порядку идей*.

Грановскій поднялъ ихъ перчатку и смѣлымъ, благороднымъ возраженіемъ заставилъ ихъ покраснѣть. Онъ публично съ кафедръ спросилъ своихъ обвинителей, почему онъ долженъ ненавидѣть Западъ—и зачѣмъ, ненавидя его развитіе, сталъ бы онъ читать его исторію?

«Меня обвиняютъ, сказалъ Грановскій, въ томъ, что исторія служить мнѣ только для высказыванія моего воззрѣнія. Это отчасти справедливо, я имѣю убѣжденія и провожу ихъ въ моихъ чтеніяхъ; если-бъ я не имѣлъ ихъ, я не вышелъ бы публично передъ вами для того, чтобъ рассказывать, больше или меньше занимательно, рядъ событий».

Отвѣты Грановскаго были такъ просты и мужественны, его лекціи такъ увлекательны, что славянскіе доктринеры притихли, а молодежь ихъ рукоплескала не меньше насъ. Послѣ курса былъ

даже сдѣланъ опытъ примиренія. Мы давали Грановскому обѣдъ послѣ его заключительной лекціи. Славяне хотѣли участвовать съ нами, и Ю. Самаринъ былъ выбранъ ими (такъ, какъ я нашими) въ распорядители. Пиръ былъ удаченъ, въ концѣ его послѣ многихъ тостовъ не только единодушныхъ, но выпитыхъ, мы обнялись и облобызались по-русски съ славянами. И. В. Кирѣевскій просилъ меня одного, чтобъ я вставилъ въ моей фамиліи *ы* вмѣсто *е* и черезъ это сдѣлалъ бы ее больше русской для уха. Но Шевыревъ и этого не требовалъ, напротивъ, обнимая меня, повторялъ своимъ соргано: «Онъ и съ *е* хорошъ, онъ и съ *е* русскій». Съ обѣихъ сторонъ примиреніе было откровенно и безъ заднихъ мыслей, что, разумѣется, не помѣшало намъ черезъ недѣлю разойтись еще далѣе.

Примиренія вообще только тогда возможны, когда они не нужны, т. е., когда личное озлобленіе прошло или мнѣнія сблизились и люди сами видятъ, что не изъ чего ссориться. Иначе всякое примиреніе будетъ взаимное ослабленіе, обѣ стороны полиняютъ, т. е., сдадутъ свою рѣзкую краску. Попытка нашего Кучукъ-Кайнарджи очень скоро оказалась невозможной и бой закипѣлъ съ новымъ ожесточеніемъ.

Съ нашей стороны было невозможно заарканить Бѣлинскаго, онъ слалъ намъ грозныя грамоты изъ Петербурга, отлучалъ насъ, предавалъ анаемѣ и писалъ еще злѣе въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Наконецъ, онъ торжественно указалъ пальцемъ противъ «проказы» славянофильства, и съ упрекомъ повторилъ: «Вотъ вамъ они!» Мы всѣ понурили голову. Бѣлинскій былъ правъ!

Умирающей рукой, нѣкогда любимый поэтъ, сдѣлавшійся святошей отъ болѣзни и славянофиломъ по родству, хотѣлъ стягнуть насъ; по несчастію, онъ для этого избралъ опять-таки полицейскую нагайку. Въ пьесѣ подъ заглавіемъ «*Не наши*» онъ называлъ Чаадаева — отступникомъ отъ православія, Грановскаго — лже-учителемъ, растлѣвающимъ юношей, меня слугой, носящимъ блестящую ливрею западной науки, и всѣхъ трехъ — измѣнниками отечеству. Конечно, онъ не называлъ насъ по имени, ихъ добавляли чтецы, носившіе съ восхищеніемъ изъ залы въ залу доносъ въ стихахъ. К. Аксаковъ съ негодованіемъ отвѣчалъ ему тоже стихами, рѣзко клеймя злыя нападки и называя „*Не наши*“ разныхъ славянъ, во Христѣ-Бозѣ нашемъ жандармствующихъ.

Обстоятельство это прибавило много горечи въ наши отношенія. Имя поэта, имя чтеца, кругъ, въ которомъ онъ жилъ, кругъ который этимъ восхищался, — все это сильно раздражало умы.

Споры наши чуть-чуть было не привели къ огромному несчастію, къ гибели двухъ чистѣйшихъ и лучшихъ представите-

лей обѣихъ партій. Едва усиліями друзей удалось затушить ссору Грановскаго съ П. В. Кирѣевскимъ, которая быстро шла къ дуэли. Среди этихъ обстоятельствъ, Шевыревъ, который никакъ не могъ примириться съ колоссальнымъ успѣхомъ лекцій Грановскаго, вздумалъ побить его на его собственномъ поприщѣ и объявилъ свой публичный курсъ. Читалъ онъ о Дантѣ, о народности въ искусствѣ, о православіи въ наукѣ и пр.; публики было много, но она осталась холодна. Онъ бывалъ иногда смѣлъ и это было очень оцѣнено, но общій эффектъ ничего не произвелъ. Одна лекція осталась у меня въ памяти, это та, въ которой онъ говорилъ о книгѣ Мишле *Le Peuple* и о романѣ Ж. Зандъ *La Mage au diable*, потому что онъ въ ней живо коснулся живаго и современного интереса.

Шевыревъ портилъ свои чтенія тѣмъ самымъ, чѣмъ портилъ свои статьи—выходками противъ такихъ идей, книгъ и лицъ, за которыя у насъ трудно было заступаться, не попавши въ острогъ.

Между тѣмъ «какихъ ни вымышляли пружинъ, чтобъ умудриться» хорошо издавать *Москвитянина*, онъ рѣшительно не шелъ. Для живого полемическаго журнала надобно непременно имѣть чутье современности, надобно имѣть ту нѣжную щекотливость нервъ, которая тотчасъ раздражается всѣмъ, что раздражаетъ общество. Издатели *Москвитянина* вовсе были лишены этого ясновидѣнія и какъ ни вертели они бѣднаго Нестора и бѣднаго Данта, они убѣдились, наконецъ, сами, что ни рубленой сѣчкой погодинскихъ фразъ, ни поющей плавностью шевыревскаго краснорѣчія ничего не возьмешь въ нашемъ испорченномъ вѣкѣ. Они подумали, подумали и рѣшились предложить главную редакцію И. В. Кирѣевскому. Выборъ Кирѣевскаго былъ необыкновенно удаченъ не только со стороны ума и талантовъ, но и съ финансовой стороны. Я самъ ни съ кѣмъ въ мірѣ не желалъ бы такъ вести торговыхъ дѣлъ, какъ съ Кирѣевскимъ.

Чтобъ дать понятіе о хозяйственной философіи его, я расскажу слѣдующій анекдотъ. У него былъ конскій заводъ, лошадей приводили въ Москву, дѣлали имъ оцѣнку и продавали. Однажды является къ нему молодой офицеръ покупать лошадь; конь сильно ему приглянулся; кучеръ, видя это, набавилъ цѣну: они поторговались, офицеръ согласился и взшелъ къ Кирѣевскому. Кирѣевскій, получая деньги, справился въ списокъ и замѣтилъ офицеру, что лошадь оцѣнена въ 800 рублей, а не въ 1,000, что кучеръ, вѣроятно, ошибся. Это такъ озадачило кавалериста, что онъ попросилъ позволенія снова осмотрѣть лошадь и, осмотрѣвши, отказался, говоря: «хороша должна быть лошадь, за которую хозяину было совѣстно деньги взять»... Гдѣ же лучше можно было взять редактора?

Онъ горячо принялся за дѣло, потратилъ много времени, переѣхалъ для этого въ Москву, но, при всемъ своемъ талантѣ, не могъ ничего сдѣлать. *Москвитянинъ* не отвѣчалъ ни на одну живую, распространенную въ обществѣ потребность и стало быть не могъ имѣть другого хода, какъ въ своемъ кружкѣ. Неуспѣхъ долженъ былъ сильно огорчить Кирѣевского.

Послѣ второго крушенія *Москвитянина*, онъ не оправлялся и сами славяне догадались, что на этой ладѣ далеко не уплывешь. У нихъ стала носиться мысль другого журнала.

На этотъ разъ побѣдителями вышли не они. Общественное мнѣніе громко рѣшило въ нашу пользу. Въ глухую ночь, когда *Москвитянинъ* тонулъ и *Маякъ* не свѣтилъ ему больше изъ Петербурга, Бѣлинскій, вскормивши своею кровью *Отечественныя Записки*, поставилъ на ноги ихъ побочнаго сына и далъ имъ обоимъ такой толчекъ, что они могли нѣсколько лѣтъ продолжать свой путь съ одними корректорами и батырщиками, литературными мытарями и книжными грѣшниками. Бѣлинскаго имя было достаточно, чтобъ обогатить два прилавка и сосредоточить все лучшее въ русской литературѣ въ тѣхъ редакціяхъ, въ которыхъ онъ принималъ участіе,—въ то время какъ талантъ Кирѣевского и участіе Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей *Москвитянину*.

Такъ я оставилъ поле битвы и уѣхалъ изъ Россіи. Обѣ стороны высказались еще разъ ¹⁾, и всѣ вопросы переставились громадными событіями 1848 года.

Умеръ Николай; новая жизнь увлекла славянъ и насъ за предѣлы нашей усобицы, мы протянули имъ руки, но гдѣ они?—Ушли! и К. Аксаковъ ушелъ и нѣтъ этихъ «противниковъ, которые были ближе намъ многихъ своихъ».

Не легка была жизнь, сожигавшая людей какъ свѣчу, оставленную на осеннемъ вѣтру.

Всѣ они были живы, когда я въ первый разъ писалъ эту главу. Пусть она на этотъ разъ окончится слѣдующими строками изъ надгробныхъ словъ Аксакову.

«Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ—сдѣлали свое дѣло; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаниемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петромъ, и въ которой сидитъ Биронъ и колотить ямщика, чтобъ тотъ скакалъ по нивамъ и давилъ людей,—то они остановили увлеченное общественное мнѣніе и заставили приздуматься всѣхъ серьезныхъ людей.

¹⁾ Статя К. Кавелина и отвѣтъ Ю. Самарина. Объ нихъ въ «Developpe-ment des idées révolutionnaires en Russie».

✓ Съ нихъ начинается *переломъ русской мысли*. И когда мы это говоримъ, кажется, насъ нельзя заподозрить въ пристрастіи.

Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была одна любовь, но не одинакая.

У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, фیزیологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за пророчество, — чувство безграничной, обхватывающей все существованіе, любви къ русскому народу, русскому быту, къ русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ, или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны, въ то время, какъ *сердце билось одно*.

Они всю любовь, всю нѣжность перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загванная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ чертахъ, да потому, что ея пѣсни были намъ роднѣе водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была слишкомъ тѣсна. Въ ея комнатѣ было намъ душно; все почернѣлыя лица изъ-за серебряныхъ окладовъ, все попы съ причетомъ, пугавшіе несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ея вѣчный плачь объ утраченномъ счастьи раздиралъ наше сердце; мы знали, что у ней нѣтъ свѣтлыхъ воспоминаній, мы знали и другое, что ея счастье впереди, что подъ ея сердцемъ бьется зародышъ, — это нашъ меньшій братъ, которому мы безъ чечевицы уступимъ старшинство. А пока—

Mutter, Mutter lass mich gehen
Schweifen auf die wilden Höhen!

Такова была наша семейная разладаца, лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Много воды утекло съ тѣхъ поръ, и мы встрѣтили *горный духъ*, остановившій нашъ бѣгъ, и они вмѣсто міра мощей натолкнулись на живые русскіе вопросы. Считаться намъ странно, патентовъ на пониманье нѣтъ; время, исторія, опытъ сблизили насъ, не потому, чтобъ они насъ перетянули къ себѣ, или мы ихъ, а потому что и они, и мы ближе къ истинному воззрѣнію теперь, чѣмъ были тогда, когда безпощадно терзали другъ друга въ журнальныхъ статьяхъ, хотя я не помню, чтобы мы сомнѣвались въ ихъ горячей любви къ Россіи или они въ нашей.

На этой вѣрѣ другъ въ друга, на этой общей любви имѣемъ право и мы поклониться ихъ гробамъ, и бросить нашу горсть земли на ихъ покойниковъ, съ святымъ желаніемъ, чтобъ на могилахъ ихъ, на могилахъ нашихъ разцвѣла сильно и широко молодая Русь¹⁾.

¹⁾ «Колоколь», 15 января, 1861 года.

ГЛАВА XXXI.

Кончина моего отца.—Наслѣдство.—Дѣлежъ.—Два племянника.

Съ конца 1845 года силы моего отца постоянно уменьшались; онъ явнымъ образомъ гаснулъ, особенно со смерти Сенатора, умершаго совершенно послѣдовательно всей своей жизни, невзначай и чуть-чуть не въ каретѣ. Въ 1839 году однимъ вечеромъ онъ по обыкновенію сидѣлъ у моего отца; пріѣхалъ онъ изъ какой-то агрономической школы, привезъ модель какой-то агрономической машины, употребленіе которой, я полагаю, очень мало его интересовало, и въ одиннадцать часовъ вечера уѣхалъ домой.

Онъ имѣлъ обыкновеніе дома очень немного закусывать и выпивать рюмку краснаго вина; на этотъ разъ онъ отказался и, сказавъ моему старому другу Кало, что онъ что-то усталъ и хочетъ лечь, отпустилъ его. Кало помогъ ему раздѣться, поставилъ у кровати свѣчу и вышелъ; едва дошелъ онъ до своей комнаты и успѣлъ снять съ себя фракъ, какъ Сенаторъ дернулъ звонокъ; Коло бросился,—старикъ лежалъ возлѣ постели мертвый.

Случай этотъ сильно потрясъ моего отца и испугалъ; одиночество его усугублялось, страшный чередъ былъ возлѣ, три старшихъ брата были схоронены. Онъ сталъ мрачнѣе и хотя по обыкновенію своему скрывалъ свои чувства и продолжалъ ту же холодную роль, но мышцы измѣняли, я съ намѣреніемъ говорю мышцы, потому что мозгъ и нервы у него остались тѣ же до самой кончины.

Въ апрѣлѣ 1845 лицо старика стало принимать предсмертный видъ, глаза потухали; онъ уже былъ такъ худъ, что часто, показывая мнѣ свою руку, говорилъ: «Скелетъ совсѣмъ готовъ, стоитъ только снять кожицу». Голосъ его сталъ тише, онъ говорилъ медленнѣе; но умъ, память и характеръ были какъ всегда,—та же иронія, то же постоянное недовольство всѣми и та же раздражительная капризность.

«Помните, спросилъ дней за десять до кончины кто-то изъ его старыхъ знакомыхъ,—кто былъ нашъ повѣренный въ дѣлахъ въ Туринѣ послѣ войны; вы его звали за границей».

«Северинъ», отвѣчалъ старикъ, едва подумавши нѣсколько секундъ.

Третьяго мая я его засталъ въ постели, щеки горѣли лихорадочно, что у него почти никогда не бывало, онъ былъ безпокоенъ и говорилъ, что не можетъ встать; потомъ велѣлъ себѣ поставить пиявки и, лежа въ постелѣ во время этой операціи, продолжалъ свои колкія замѣчанія.

— А! ты здѣсь, сказалъ онъ, будто я только-что взошелъ: ты бы, любезный другъ, съѣздилъ куда-нибудь разсѣяться, это очень меланхолическое зрѣлище смотрѣть, какъ разлагается человѣкъ, *cela donne des pensées noires!* Да вотъ прежде дай-ка мальчику гривенникъ на водку.

Я пошарилъ въ карманѣ, ничего не нашелъ меньше четвертака и хотѣлъ дать, но больной увидѣлъ и сказалъ:

— Какой ты скучный, я тебѣ сказалъ гривенникъ.

— У меня нѣту съ собой.

— Подай мой кошелекъ изъ бюро, и онъ, долго искавши, нашелъ гривенникъ.

Взошелъ Голохвастовъ, племянникъ моего отца; старикъ молчалъ. Чтобъ что-нибудь сказать, Голохвастовъ замѣтилъ, что онъ сейчасъ отъ генераль-губернатора; больной при этомъ словъ дотронулся, по военному, пальцемъ до черной бархатной шапочки; я такъ хорошо изучилъ всѣ его движенія, что тотчасъ понялъ, въ чемъ дѣло: Голохвастову слѣдовало сказать—у Щербатова.

— Представьте, какая странность, продолжалъ тотъ, у него открылась каменная болѣзнь.

— Отчего же странно, что у генераль-губернатора открылась каменная болѣзнь? спросилъ медленно больной.

— Какъ же, *mon oncle*, ему слишкомъ семьдесятъ лѣтъ и въ первый разъ открылся камень.

— Да, вотъ и я, хоть и не генераль-губернаторъ, а тоже очень странно, мнѣ семьдесятъ шесть лѣтъ и я въ первый разъ умираю.

Онъ дѣйствительно чувствовалъ свое положеніе; это-то и придавало его ироніи какой-то макабрскій характеръ, заставлявшій разомъ улыбаться и цѣпенѣть отъ ужаса. Камердинеръ его, который всегда по вечерамъ дѣлалъ мелкіе, домашніе доклады, сказалъ, что хомуть у водовозной лошади очень худъ и что слѣдуетъ купить новый. «Какой ты чудакъ, отвѣчалъ ему мой отецъ, человѣкъ отходить, а ты ему толкуешь о хомутѣ. Погоди денекъ-другой, какъ отнесешь меня въ залу на столъ, тогда доложи ему (онъ указалъ на меня), онъ тебѣ велитъ купить не только хомуть, но сѣдло и вожжи, которыхъ совсѣмъ ненужно».

Пятаго мая лихорадка усилилась, черты еще больше опустились и почернѣли, старикъ видимо тлѣлъ отъ внутренняго огня. Говорилъ онъ мало, но съ совершеннымъ присутствіемъ духа; утромъ онъ спросилъ кофею, бульону... и часто пилъ какую-то тизану. Въ сумерки онъ подозвалъ меня и сказалъ: «Кончено», при этомъ онъ провелъ рукой какъ саблей или косою по одѣялу. Я прижалъ къ губамъ его руку, она была горяча. Онъ хотѣлъ что-то сказать, начиналъ... и, ничего не сказавши, заключилъ: «Ну, да ты знаешь». И обратился къ Г. И., стоявшему по дру-

гую сторону кровати.—«Тяжело», сказалъ онъ ему и остановилъ на немъ томный взглядъ.

Г. И.—завѣдывавшій тогда дѣлами моего отца, человѣкъ чрезвычайно честный и пользовавшійся его довѣріемъ, больше другихъ, наклонился къ больному и сказалъ:

— Всѣ до сихъ поръ употребленные вами средства остались безуспѣшными, позвольте мнѣ вамъ посоветовать прибѣгнуть къ другому лекарству.

— Къ какому лекарству? спросилъ больной.

— Не пригласить ли священника?

— Охъ, сказалъ старикъ, обращаясь ко мнѣ,—я думалъ, что Г. И. въ самомъ дѣлѣ хочетъ посоветовать какое-нибудь лекарство.

Вскорѣ потомъ онъ уснулъ. Сонъ этотъ продолжался до слѣдующаго утра, должно быть это было забытье. Болѣзнь за ночь сдѣлала страшный успѣхъ; конецъ былъ близокъ, я въ девять часовъ послалъ верховаго за Голохвастовымъ.

Въ половину одиннадцатаго больной потребовалъ одѣться. Онъ не могъ ни стать на ноги, ни вѣрно взять что-нибудь рукой, но тотчасъ замѣтилъ, что серебряной пряжки, которой застегивались панталоны, не доставало и велѣлъ ее принести. Одѣвшись, онъ перешелъ, поддерживаемый нами, въ свой кабинетъ. Тамъ стояли большія вольтеровскія кресла и узенькая, жесткая кушетка; онъ велѣлъ себя положить на нее, тутъ онъ сказалъ нѣсколько словъ непонятно и безсвязно, но минутъ черезъ пять раскрылъ глаза и, встрѣтивъ взоромъ Голохвастова, спросилъ его:

— Что такъ раненько пожаловалъ?

— Я, дядюшка, былъ тутъ поблизости, отвѣчалъ Голохвастовъ, такъ захалъ узнать о вашемъ здоровьи.—Старикъ улыбнулся, какъ бы говоря: «Не проведешь, любезный другъ». Потомъ спросилъ свою табакерку, я подалъ ее ему и раскрылъ, но, дѣлая долгія усилія, онъ не могъ настолько свести пальцы, чтобы взять табакъ; его, казалось, поразило это, мрачно посмотрѣлъ онъ вокругъ себя и снова туча набѣжала на мозгъ, онъ сказалъ нѣсколько невнятныхъ словъ, потомъ спросилъ:

— Какъ бишь называются вотъ эти трубки, что черезъ воду курять?

— Кальянъ, замѣтилъ Голохвастовъ.

— Да, да... мой кальянъ—и ничего.

Между тѣмъ Голохвастовъ приготовилъ за дверями священника съ дарами, онъ громко спросилъ больного, желаетъ ли онъ его принять; старикъ раскрылъ глаза и кивнулъ головой. К.... растворилъ дверь и взошелъ священникъ... Отецъ мой былъ снова въ забытѣ, но нѣсколько словъ, сказанныя протяжно, и еще

больше запахъ ладона, разбудили его, онъ перекрестился; священникъ подошелъ, мы отступили.

Послѣ церемоніи больной увидѣлъ доктора Левентала, усердно писавшаго рецептъ.

— Что вы пишете? спросилъ онъ.

— Рецептъ для васъ.

— Какой рецептъ, или мошусъ, что ли? Какъ вамъ не стыдно, вы бы опиума прописали, чтобъ покойнѣе отойти... Подымите меня, я хочу сѣсть на кресла, прибавилъ онъ, обращаясь къ намъ. Это были послѣднія слова, сказанныя имъ въ связи.

Мы подняли умирающаго и посадили.

— Подвиньте меня къ столу.

Мы подвинули. Онъ слабо посмотрѣлъ на всѣхъ.

— Кто это? спросилъ онъ, указывая на М. К.,—я назвалъ.

Ему хотѣлось опереть голову на руку, но рука опустилась и упала на столъ, какъ неживая, я подставилъ свою. Онъ раза два взглянулъ томно, болѣзненно, какъ будто просилъ помощи, лицо принимало больше и больше выраженіе покоя и тишины... вздохъ—еще вздохъ и голова, отяжелѣвшая на моей рукѣ, стала стынуть... Все въ комнатѣ хранило нѣсколько минутъ мертвое молчаніе.

Это было шестаго мая, 1846 года, около трехъ часовъ пополудни.

Торжественно и пышно былъ онъ схороненъ въ Дѣвичьемъ монастырѣ; два семейства крестьянъ, отпущенныхъ имъ на волю; пришли изъ Пикровскаго, чтобъ нести гробъ на рукахъ, мы шли за ними, факелы, дѣвчіе, попы, архимандриты, архіерей... потрясающее душу «со святыми упокой», а потомъ могила и тяжелое паденіе земли на крышу гроба,—тѣмъ и кончилась длинная жизнь старика, такъ упрямо и сильно державшаго въ рукѣ своей власть надъ домомъ, такъ тяготѣвшаго надо всѣмъ окружающимъ, и вдругъ его вліяніе исчезло, его воля исключена, его нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ!

Могилу засыпали, поповъ и монаховъ повели обѣдать, я не пошелъ, а отправился домой. Экипажи разѣзжались, нищіе толкались около монастырскихъ воротъ, крестьяне стояли въ кучкѣ, обтирая потъ съ лица, я всѣхъ ихъ зналъ коротко, простился съ ними, поблагодарилъ ихъ и уѣхалъ.

Передъ кончиной моего отца мы почти совсѣмъ переѣхали изъ маленькаго дома въ большой, въ которомъ онъ жилъ; а потому и неудивительно, что въ суетѣ первыхъ трехъ дней я не успѣлъ оглядѣться, но теперь, возвращаясь съ похоронъ, какъ-то странно сжалось сердце; на дворѣ, въ сѣняхъ, меня встрѣтили слуги, мужчины и женщины, прося покровительства и защиты (почему, я сейчасъ объясню); въ залѣ пахло ладаномъ, я взшелъ въ ком-

пату, въ которой стояла постель моего отца, она была вынесена; дверь, къ которой столько лѣтъ не только люди, но и я самъ подходили осторожно ступая, была настежь и горничная въ углу накрывала небольшой столъ. Все адресовалось ко мнѣ за приказаніями. Мое новое положеніе было мнѣ противно, оскорбительно,—все это, этотъ домъ, принадлежитъ мнѣ, оттого, что кто-то умеръ и этотъ кто-то мой отецъ. Мнѣ казалось въ этомъ грубомъ завладѣніи было что-то нечистое, словно я обкрадывалъ покойника.

Наслѣдство имѣетъ въ себѣ сторону глубоко безнравственную, оно искажаетъ законную печаль о потерѣ близкаго лица введеніемъ во владѣніе его вещами.

По счастью, насъ избѣжало другое отвратительное послѣдствіе его,—дикія распри, безобразные ссоры дѣлящихъ добычу воалѣ гроба. Раздѣлъ всего имѣнья сдѣлался въ какіе-нибудь два часа времени, при которыхъ никто не сказалъ ни одного холоднаго слова, никто не возвысилъ голоса, и послѣ котораго всѣ разошлись съ большимъ уваженіемъ другъ къ другу. Фактъ этотъ, главная честь котораго принадлежитъ Голохвастову, заслуживаетъ, чтобъ объ немъ сказать нѣсколько словъ.

При жизни Сенатора, онъ и мой отецъ сдѣлали взаимное завѣщаніе родового имѣнья другъ другу, съ тѣмъ, чтобъ послѣдній передалъ его Голохвастову. Часть своего имѣнья отецъ мой продалъ и капиталъ этотъ назначилъ намъ. Потомъ онъ далъ мнѣ небольшое имѣнье въ Костромской губерніи, и это по настоятельному требованію Ольги Александровны Жеребцовой. Имѣнье это и теперь находится подъ секвестромъ, который правительство, вопреки закона, наложило, прежде чѣмъ мнѣ былъ сдѣланъ запросъ,—хочу ли я возвратиться. Послѣ смерти Сенатора, мой отецъ продалъ его тверское имѣнье. Пока собственное родовое имѣнье моего отца покрывало проданное имъ изъ принадлежавшаго его брату, Голохвастовъ молчалъ. Но когда у старика явилась мысль отдать мнѣ подмосковную съ тѣмъ, чтобъ я деньгами заплатилъ по назначенію его, долю моему брату и долю другимъ лицамъ, тогда Голохвастовъ замѣтилъ, что это несообразно съ волей покойника, хотѣвшаго, чтобъ имѣнье перешло къ нему. Старикъ, невыносившій ни въ чемъ ни малѣйшей оппозиціи, особенно такимъ планамъ, которые онъ долго обдумывалъ и потому считалъ непогрѣшительными, осыпалъ племянника колкостями. Голохвастовъ отказался отъ всякаго участія въ его дѣлахъ и пуще всего отъ званія душеприказчика. Размолвка сначала пошла такъ круто, что они было прервали всѣ сношенія.

Ударъ этотъ былъ не легкою старику. Мало было людей на свѣтѣ, которыхъ бы онъ въ самомъ дѣлѣ любилъ, Голохвастовъ

былъ въ томъ числѣ. Онъ выросъ на его глазахъ, имъ гордилась вся семья, къ нему отецъ мой имѣлъ большое довѣріе, его онъ ставилъ мнѣ всегда въ образецъ, и вдругъ «Митя, сынъ сестры Лизаветы», въ ссорѣ, отказывается отъ распоряженій, заявляетъ свое veto, и уже изъ за него видны ироническіе глаза Химики, съ улыбкой потирающаго свой носъ пальцами, обожженными селитренной кислотой.

По обыкновенію, отецъ мой не показывалъ ни малѣйшаго вида, что это огорчаетъ его, и избѣгалъ разговора о Голохвастовѣ, но замѣтно сталъ угрюмѣе, безпокойнѣе и чаще говорилъ объ «ужасномъ вѣкѣ, въ которомъ ослабли всѣ узы родства и старшіе не находятъ больше того уваженія, какимъ были окружены въ счастливыя времена».

Въ началѣ этой ссоры я былъ въ Соколовѣ и едва мелькомъ слышалъ о ней, но на другой день послѣ моего возвращенія въ Москву, рано утромъ, пріѣхалъ ко мнѣ Голохвастовъ. Большой педантъ и формалистъ, онъ пространно, хорошимъ и правильнымъ слогомъ, рассказалъ мнѣ все дѣло, прибавивъ, что именно потому поторопился пріѣхать, чтобъ предупредить меня, въ чемъ дѣло, прежде чѣмъ я услышу что-нибудь о размолвкѣ.

— Не даромъ, сказалъ я ему шутя, — меня зовутъ Александромъ, этотъ гордіевъ узелъ я вамъ сейчасъ разрублю. Вы должны во чтобъ то ни стало помириться, и для того, чтобъ уничтожить спорный предметъ, я скажу вамъ прямо и рѣшительно, что я отказываюсь отъ Покровскаго; а тамъ однѣхъ лѣсныхъ дачъ будетъ довольно, чтобъ покрыть потерю тверского имѣнья.

Голохвастовъ нѣсколько смѣшался и поэтому еще больше доказывалъ мнѣ все то, что я такъ хорошо понялъ по первымъ двумъ словамъ. Мы съ нимъ разстались въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ.

Черезъ нѣсколько дней мой отецъ какъ-то вечеромъ самъ заговорилъ о Голохвастовѣ. По своему обыкновенію, когда онъ былъ недоволенъ кѣмъ-нибудь, онъ не оставилъ въ немъ ни одного здороваго мѣста. Идеаль, на который онъ мнѣ указывалъ съ десятилѣтняго возраста, этотъ образцовый сынъ, этотъ примѣрный братъ, этотъ лучший племянникъ въ мірѣ, этотъ благовоспитанный человѣкъ по превосходству, этотъ человѣкъ, наконецъ, одѣвающийся до того хорошо, что никогда узелъ галстуха не былъ ни великъ, ни малъ, этотъ человѣкъ являлся теперь въ какомъ-то отрицательномъ фотографическомъ снимкѣ, такъ что впадины были выпуклы, а бѣлыя мѣста черны.

Переходъ къ простой брани былъ бы слишкомъ крутъ и замѣтенъ безъ разныхъ переливовъ, оттѣнковъ и мостовъ. Такой непослѣдовательности отецъ мой при своемъ умѣ не могъ сдѣлать.

— Да, скажи, пожалуйста, все забываю тебя спросить, видѣлся ты съ Дмитріемъ Павловичемъ (онъ его всегда звалъ Митя) послѣ твоего возвращенія?

— Одинъ разъ.

— Ну, что, какъ его превосходительство?

— Ничего, здоровъ.

— Очень хорошо, что ты съ нимъ выдаешься, такихъ людей надобно держаться. Я его люблю и привыкъ любить, да онъ всего этого и заслуживаетъ. Конечно, есть и у него свои, и пресмѣшныя, недостатки... но одинъ Богъ безъ грѣха. Скорая карьера вскружила ему голову... ну—молодъ въ аннинской лентѣ; къ тому же родъ его службы такой, ѣздитъ кураторомъ учениковъ бранить, да все съ школярами привыкъ говорить свысока... поучаетъ ихъ, тѣ слушаютъ его на вытяжкѣ... онъ и думаетъ, что со всѣми можно говорить тѣмъ-же тономъ. Не знаю, замѣтилъ ли ты, даже голосъ у него перемѣнился? Я помню при покойной императрицѣ князь Прозоровскій такимъ же рѣзкимъ голосомъ приказывалъ своимъ ординарцамъ. Ридикулярно сказать, пріѣхалъ вдругъ ко мнѣ выговоръ читать. Я слушаю его и думаю, что если бы покойница сестра Лизавета могла видѣть это! Я ее съ рукъ на руки Павлу Ивановичу передалъ въ день ихъ вѣнчанія, а тутъ ея сынъ:—Да, дядюшка, кричить, если такъ, вы ужъ лучше обратитесь къ Алексѣю Александровичу, а меня прошу изъавить. Я, ты знаешь, одна нога въ гробу, бездна заботъ, болѣзни, ну, Говъ многострадальный. А онъ кричить, распалахнулся въ лицѣ... *Quel siecle!* Я знаю, ну, онъ привыкъ въ декастеріяхъ... вѣдь онъ никуда не ѣздитъ, а любить распорядиться дома со старостами, да съ конюхами, а тутъ эти писаришки—все вашпревосходительство! вашпревосходительство!—ну, затменіе...

Словомъ, какъ въ портретѣ Людовика Филиппа, измѣняя слегка черты, послѣдовательно приходишь отъ спѣлаго старика до гнилой груши,—такъ и «образцовый Митя»—оттѣнокъ за оттѣнкомъ, подъ конецъ ужъ какъ-то сталъ сбиваться на Картуша или на Шемяку.

Когда послѣдніе удары кистью были кончены, я рассказалъ весь мой разговоръ съ Голохвастовымъ. (Тарикъ выслушалъ внимательно, насупилъ брови, потомъ продолжительно, отчетливо, систематически нюхая табакъ, сказалъ мнѣ:

— Ты, пожалуйста, любезный другъ, не думай, что ты меня очень затруднилъ тѣмъ, что отказываешься отъ Покровскаго... Я никого не упрашиваю и никому не кланяюсь, возьмите молъ мое имѣніе, и тебѣ кланяться не стану. Охотники найдутся. Всѣ контркаррируютъ мои прожекты; мнѣ это надоѣло, — отдамъ все въ больницу, больные будутъ добромъ поминать. Не только Митя,

ужь ты, наконецъ, учишь меня распоряжаться моимъ добромъ, а давно ли Вѣра тебя въ корытѣ мыла? Нѣтъ, усталъ, пора въ отставку: я и самъ пойду въ больницу.

Такъ разговоръ и окончился.

На другой день, часовъ въ одиннадцать утромъ, отецъ прислалъ за мной своего камердинера. Это случалось очень рѣдко, обыкновенно я заходилъ къ нему передъ обѣдомъ или, если не обѣдалъ у него, то приходилъ къ чаю.

Я засталъ старика передъ его письменнымъ столомъ, въ очкахъ и за какими-то бумагами.

— Поди-ка сюда, да если можешь подарить мнѣ часикъ времени... помоги-ка тутъ мнѣ въ порядокъ привести разныя записки. Я знаю, ты занятъ, все статейки пишешь, литераторъ... видѣлъ я какъ-то въ *Отечественной Почтѣ* твою статью, ничего не понялъ, все такіе термины мудреные. Да ужь и литература-то такая... Прежде писывали Державинъ, Дмитріевъ, а нынче ты... да мой племянникъ Огаревъ. Хотя, по правдѣ сказать, лучше дома сидѣть и писать всякіе пустяки, чѣмъ все въ санкахъ, да къ Яру, да шампанское.

Я слушалъ и никакъ не понималъ, куда идетъ это *captatio benevolentiae*.

— Садись-ка, вотъ здѣсь, прочти эту бумагу и скажи твое мнѣніе.

Это было духовное завѣщаніе и нѣсколько прибавленій къ нему. Съ его точки зрѣнія это было высшее довѣріе, которое онъ могъ оказать.

Странный психологическій фактъ. Въ продолженіе чтенія и разговора, я замѣтилъ двѣ вещи: во-первыхъ, что ему хотѣлось помириться съ Голохвастовымъ, а во-вторыхъ, что онъ очень оцѣнилъ мой отказъ отъ имѣнья, и въ самомъ дѣлѣ съ этого времени, т. е., съ октября мѣсяца 1845 и до своей кончины, онъ во всѣхъ случаяхъ показывалъ не только довѣріе, но иногда совѣтовался со мной и даже раза два поступилъ по моему совѣту.

А что бы подумалъ человѣкъ, который бы вчера подслушалъ нашъ разговоръ? Въ отвѣтъ моего отца насчетъ Покровскаго я не измѣнилъ ни іоты, я очень помню его.

Завѣщаніе въ главной части было просто и ясно; онъ оставлялъ все недвижимое имѣніе Голохвастову, все движимое, капиталъ и дома моей матери, брату и мнѣ, съ условіемъ равнаго раздѣла. Зато прибавочныя статьи, написанныя на разныхъ лоскуткахъ безъ чиселъ, далеко не были просты. Отвѣтственность, которую онъ клалъ на насъ и въ особенности на Голохвастова, была до чрезвычайности непріятна. Онѣ противурѣчили другъ

другу и носили тотъ характеръ неопредѣленности, изъ за котораго обыкновенно выходять безобразныя ссоры и обвиненія.

Напримѣръ, тамъ были такія вещи: Всѣхъ дворовыхъ людей, *хорошо и усердно* мнѣ служившихъ, отпускаю я на волю и поручаю вамъ выдать имъ денежныя награжденія по *заслугамъ*.

Въ одной запискѣ было сказано, что старый каменный домъ оставляется Г. И. Въ другой, домъ имѣлъ иное назначеніе, а Г. И. оставлялись деньги, но вовсе не было сказано, чтобъ эти деньги шли взаимнѣ дома. По одному прибавленію, отецъ мой оставлялъ 10.000 серебромъ одному родственнику, а по другому онъ оставлялъ его сестрѣ небольшое имѣнье, съ тѣмъ, чтобъ она отдала своему брату эти 10.000 серебромъ.

Надобно замѣтить, что о половинѣ этихъ распоряженій я прежде слыхалъ отъ него, и не я одинъ. Старикъ много разъ при мнѣ говорилъ, напр., о домѣ Г. И. и совѣтовалъ ему даже переѣхать въ него.

Я предложилъ моему отцу пригласить Голохвастова и поручить ему съ Г. И. составить общую записку.

— Конечно, говорилъ онъ, Митя могъ бы помочь, да, вѣдь, онъ очень занятъ. Знаешь, эти государственные люди... Что ему до умирающаго дяди, онъ все семинаріи ревизуетъ.

— Онъ навѣрно пріѣдетъ, замѣтилъ я,—это дѣло слишкомъ важно для него.

— Я всегда радъ его видѣть. Только не всегда у меня голова достаточно здорова говорить о дѣлахъ. Митя *il est très verbeux*, онъ заговорить меня, а у меня сейчасъ мысли кругомъ пойдуть. Ты лучше свежи къ нему всѣ эти бумаги, да пусть онъ прежде на маржахъ поставитъ свои замѣчанія.

Дни черезъ два Голохвастовъ пріѣхалъ самъ; онъ, какъ большой формалистъ, перепугался больше меня безпорядка, а какъ классикъ выразился объ этомъ такъ: «*mais, mon cher, c'est le testament d'Alexandre le grand*». Мой отецъ, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ бывало, представилъ себя вдвое больше больнымъ, говорилъ Голохвастову косвенныя колкости, потомъ обнялъ его, тронулъ щекой его щеку и семейное Кампо-Форміо было заключено.

Насколько мы могли, мы уговорили старика переимѣнить редакцію его прибавленій и сдѣлать одну записку. Онъ самъ хотѣлъ ее написать и не кончилъ въ продолженіе шести мѣсяцевъ.

Вслѣдъ за раздѣломъ явился естественно вопросъ, кто же поступаетъ на волю и кто нѣтъ? Что касается до денежнаго награжденія, я уговорилъ моего отца опредѣлить сумму; послѣ долгихъ преній онъ назначилъ 3.000 р. сереб. Голохвастовъ объявилъ

людямъ, что, не зная, кто именно служилъ въ домѣ и какъ, онъ предоставляетъ мнѣ разборъ ихъ правъ. Я началъ съ того, что помѣстилъ въ списокъ всѣхъ до одного изъ служившихъ въ домѣ. Но когда разнесся слухъ о моемъ листѣ, на меня хлынули со всѣхъ сторонъ какіе-то дворовые прошлыхъ поколѣній, съ дурно-бритыми сѣдыми подбородками, плѣшивые, обтерханые, съ тѣмъ невѣрнымъ качаніемъ головы и трясеніемъ рукъ, которыя приобрѣтаются двумя-тремя десятками лѣтъ пьянства, старухи, сморщившіяся и въ чепцахъ съ огромными оборками, заочные крестники и крестницы, о христіанскомъ существованіи которыхъ я не имѣлъ понятія. Однихъ изъ этихъ людей я совсѣмъ не видывалъ, другихъ помнилъ какъ во снѣ; наконецъ, явились и такіе, о которыхъ я навѣрно зналъ, что они никогда не служили у насъ въ домѣ, а вѣчно ходили по паспорту, другіе когда-то жили и то не у насъ, а у Сенатора, или пребывали споконъ вѣка въ деревнѣ. Если-бъ эти разбитые на ноги старики и уменьшившіяся въ ростѣ и закоптѣвшія отъ лѣтъ старухи хотѣли вольную для себя, бѣда была бы не велика; совсѣмъ напротивъ, они-то и были готовы окончить вѣкъ свой за Дмитріемъ Павловичемъ, но у каждого почти нашлись сыновья, дочери, внучата. Приздумался я, думалъ, думалъ, да и далъ всѣмъ имъ свидѣтельства. Голохвастовъ очень хорошо понялъ, что половина этихъ незнакомцевъ никогда не была на службѣ, но, видя мои свидѣтельства, велѣлъ всѣмъ писать отпускныя; когда мы ихъ подписывали, онъ, почесывая пальцемъ волосы, сказалъ мнѣ, улыбаясь: — Я думаю, мы тутъ и чужихъ нѣсколько человекъ отпустили.

Голохвастовъ былъ въ своемъ родѣ тоже оригинальное лицо, какъ вся семья моего отца.

Меньшая сестра моего отца была за-мужемъ за старымъ, стариннымъ, столбовымъ и очень богатымъ русскимъ бариномъ Павломъ Ивановичемъ Голохвастовымъ. Голохвастовы мелькаютъ тамъ-сямъ въ русской исторіи со временъ Грознаго; при Самозванцѣ, во время междоусобствія, встрѣчаются ихъ имена. Келарь Авраамій Палицынъ навлекъ на себя сначала гнѣвъ Дмитрія Павловича, а потомъ предлинную статью, неосторожно отозвавшись объ одномъ изъ предковъ его въ своемъ сказаніи объ осадѣ Троице-Сергіевской Лавры.

Павелъ Ивановичъ былъ угрюмый, скупой, но чрезвычайно честный и дѣловой человекъ. Мы видѣли, какъ онъ помѣшалъ моему отцу уѣхать изъ Москвы въ 1812 году и какъ умеръ потомъ въ деревнѣ отъ удара.

У него остались два сына и дочь. Они жили съ матерью въ томъ самомъ большомъ домѣ на Тверской, котораго пожаръ такъ

поразили старика. ¹⁾ Нѣсколько строгій, скупой и тяжелый тонъ, введенный старикомъ, пережилъ его. Въ домѣ ихъ царствовала обдуманная, важная скука и официально учтивый, благосклонный тонъ съ чувствомъ собственного достоинства, который à la longue чрезвычайно надоѣдалъ. Большія и хорошо убранныя комнаты были слишкомъ пусты и беззвучны. Молча сидѣла, бывало, за своей работой дочь; мать, сохранившая слѣды большой красоты и тогда еще не старая, лѣтъ сорока пяти съ чѣмъ-нибудь, начинала хворать и обыкновенно лежала на софѣ; обѣ говорили протяжно и нѣсколько на распѣвъ, какъ тогда вообще говорили московскія дамы и дѣвицы. Дмитрій Павловичъ лѣтъ восемнадцати походилъ на сорокалѣтняго мужчину. Меньшой братъ былъ живѣе его, но зато его почти никогда не было налицо...

..... И все-то это примерло... А я еще помню, когда мать дала Дмитрію Павловичу торжественную инвеституру на полное распоряженіе лошадыю и дрожками. Ихъ бывший гувернеръ Маршалъ, превосходный человекъ, послужившій мнѣ когда-то типомъ Жозефа въ «Кто виновать?», давалъ мнѣ уроки послѣ Бушо.

Какъ ни обходи, ни маскируй, какъ умно ни разрѣшай эти тревожные вопросы о жизни, смерти, судьбѣ, они все-таки являются съ своими могильными крестами и съ той будто неумѣстной улыбкой, которая остается на ослабившихся челюстяхъ мертвой головы!

А если раздумаешься, то самъ увидишь, что и нельзя не улыбаться. Вотъ хоть бы и судьба этихъ двухъ братьевъ,—чего и чего не придетъ въ голову, думая о нихъ!

Разница, бывшая между моимъ отцомъ и Сенаторомъ, блѣднѣетъ передъ рѣзкой противоположностью ихъ, несмотря на то, что они выросли въ одной комнатѣ, имѣли одного гувернера, однихъ учителей, одинакую обстановку.

Старшій братъ былъ блондинъ съ британски-рыжеватымъ оттѣнкомъ, съ свѣтло-сѣрыми глазами, которые онъ любилъ щурить и которые говорили о невозмущаемомъ штилѣ души. Съ лѣтами фигура его все больше и больше выражала чувство полного уваженія къ себѣ и какой-то психической сытости собою. Онъ тогда сталъ щурить не только глазами, но и ноздрями, особеннаго, довольно удачнаго покроя. Говоря, онъ почесывалъ третьимъ пальцемъ лѣвой руки волосы на вискахъ, всегда подвитые и правильно причесанные, притомъ онъ постоянно держалъ губы на благосклонной улыбкѣ; послѣднее онъ унаслѣдовалъ у матери и у Лампіева портрета Екатерины II. Правильныя черты

¹⁾ «Былое и Думы», часть I, глава I.

его вмѣстѣ съ стройнымъ и довольно высокимъ ростомъ, съ тщательно округленными движеніями, съ шейнымъ платкомъ, котораго узелъ «никогда не былъ ни великъ, ни малъ», придавали ему какую-то торжественную красоту посаженнаго отца, почетнаго свидѣтеля, человѣка которому предоставлено раздавать награды отличившимся ученикамъ, или, по крайней мѣрѣ, человѣка, пріѣхавшаго поздравить съ Рождествомъ Христовымъ, или съ наступающимъ новымъ годомъ. Но для будней, для ежедневнаго обихода, онъ былъ слишкомъ наряженъ.

Вся его жизнь была рядомъ наградъ за успѣхи и нравственность. Онъ ихъ заслуживалъ вполне. Маршалъ, посѣдѣвшій отъ меньшаго брата его, не могъ нахвалиться Дмитріемъ Павловичемъ и безусловно вѣрилъ въ непогрѣшительность его французскаго синтаксиса. Дѣйствительно, онъ говорилъ по-французски съ той непорочной правильностью, съ которой французы никогда не говорятъ (вѣроятно потому, что въ нихъ не развито чувство сознанія всей важности знать французскую грамматику). Четырнадцать лѣтъ, онъ не только участвовалъ въ управленіи имѣньемъ, но перевелъ на французскій языкъ въ прозѣ всю Россіаду Хераксова для упражненія въ стилѣ. Вѣроятно, старикъ радовался на томъ свѣтѣ больше, чѣмъ «Лебедь на водахъ Меандра», узнавши это. Но Голохвастовъ не только правильно говорилъ по-французски и по-нѣмецки, не только хорошо зналъ по-латыни, но зналъ и говорилъ правильно и хорошо по-русски.

Такъ, какъ Маршалъ считалъ его лучшимъ ученикомъ, такъ его мать считала его лучшимъ сыномъ, дядя его—лучшимъ племянникомъ, а князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ, когда онъ опредѣлился къ нему на службу, считалъ его лучшимъ чиновникомъ. Но что еще важнѣе, что все это дѣйствительно такъ и было. А странное дѣло... чувствовалось отсутствіе чего-то. Онъ былъ уменъ, дѣловой человѣкъ, много читалъ и помнилъ,—чего же больше, кажется, требовать?

И впослѣдствіи не разъ встрѣчалъ эти натуры, эти «гладенькіе» умы, эти свѣтлопонимающія—на извѣстномъ пространствѣ и въ извѣстную глубину—головы. Они умно разсуждаютъ, не отступая отъ данныхъ; они еще умнѣе поступаютъ, не сходя съ торной дороги; они настоящіе современники своего времени, своего общества. Все, что они говорятъ,—истинно, но они могли бы говорить что-нибудь другое; все, что они дѣлаютъ,—хорошо, но они могли бы дѣлать что-нибудь иное. Они обыкновенно нравственны, но вамъ нечистая сила шепчетъ на ухо: «Да могутъ ли они быть безнравственны?» Нѣмцы назвали бы такихъ людей «разсудочными»; это среда вигизма въ Англии, среда, которой геній и высшій представитель теперь—Маколей, въ старые годы

былъ Вальтеръ-Скоттъ, среда практической философіи пустытника de la chaussée d'Antin и философскихъ поученій Вейса. Все у этихъ господъ исправно, чинно, на мѣстѣ; они правильно любятъ добродѣтель и бѣгутъ порока; все у нихъ не лишено извѣстной прелести сѣренькаго лѣтняго дня—безъ дождя и солнца, а чего-то нѣтъ,—ну, такъ бездѣлицы, *ничего*, какъ у великихъ княженъ царя Никиты... но

И того не доставало,

а безъ того и все остальное не въ честь.

Меньшой братъ Голохвастова родился хромою; ужъ одно это обстоятельство лишило его возможности приобрѣсть античную позу и версальскую поступь старшаго брата. Къ тому же у него были черные волосы и огромные черные глаза, которыми онъ никогда не шурился. Эта энергическая и красивая наружность была все; внутри бродили довольно неустроенныя страсти и смутныя понятія. Мой отецъ, не ставившій его ни въ грошъ, говорилъ, когда особенно былъ имъ недоволенъ: «*Quel jeu interessant de la nature видѣть на плечахъ Николаши—и при этомъ старикъ поднималъ свои собственныя—голову персидскаго шаха!*»

Такъ, какъ его старшій братъ не могъ ни на минуту обдосужиться весь свой вѣкъ и постоянно что-нибудь дѣлалъ, такъ Николай Павловичъ всю жизнь рѣшительно ничего не дѣлалъ. Въ юности онъ не учился; лѣтъ 23 онъ уже былъ женатъ и это презабавнымъ образомъ. Онъ увезъ самъ себя. Влюбившись въ бѣдную и незнатную дѣвушку, чрезвычайно милую грёзовскую головку или севрскую изящнѣйшую куколку, онъ просилъ позволенія жениться на ней, и этому я всего меньше дивлюсь. Мать, исполненная аристократическихъ предрасудковъ и воображавшая, что за своихъ сыновей меньше взять нельзя какъ Румянцеву или Орлову, и то съ цѣлымъ народонаселеніемъ какой-нибудь Воронежской или Рязанской губерніи, разумѣется, не согласилась. Но какъ братъ его ни уговаривалъ, какъ дяди и тетки ни усовѣщивали, свѣтленькіе глазки молодой дѣвушки взяли свое; нашъ Вертеръ, видя, что ничѣмъ не сломить волю своихъ родныхъ, спустилъ ночью въ окно шкатулку, нѣсколько бѣлья, камердинера Александра, потомъ спустился самъ, оставивъ свою дверь запертою изнутри. Когда къ обѣду слѣдующаго дня открыли дверь, онъ былъ уже обвѣнчанъ. Его мать такъ огорчилась тайнымъ бракомъ, что слегла въ постель и умерла, принеся свою жизнь въ жертву на алтарь этикета и приличій.

У нихъ въ домѣ жила вдова коменданта Орской крѣпости во времена чумы и Пугачева, старушка офицерша, глухая, съ небольшими усами и ворчунья. Часто рассказывала она мнѣ потомъ

о потрясающемъ событіи побѣга и всякій разъ прибавляла: «Я, батюшка, съ малыхъ лѣтъ видѣла, что въ Николаѣ-то Павловичѣ проку никакого не будетъ и никакого утѣшенія Елизаветѣ Алексѣевнѣ. Ему, извольте видѣть, было лѣтъ двѣнадцать, вѣкъ не забуду, приобѣжалъ ко мнѣ, хочочетъ до слезъ, говорить: Надежда Ивановна, Надежда Ивановна, поскорѣе къ окну: посмотрите, что съ нашей коровой сдѣлалось! Я къ окну, да такъ и ахнула. Ну, представь, батюшка, ей собаки, что ли, хвостъ оторвали, только она, моя голубушка, такъ-таки безъ хвоста и есть... Корова была тирольская... Не вытерпѣла я, такъ это, я говорю, ты смѣешься надъ маменькиной коровой, да надъ своимъ добромъ, ну, какой же въ тебѣ будетъ путь! Такъ я ужъ и махнула рукой съ той самой поры».

Пророчество, такъ странно вышедшее изъ коровьяго хвоста, котораго не было на своемъ мѣстѣ, начало сбываться быстро. Братья раздѣлились и меньшей пошелъ кутить.

Кто не помнитъ рядъ Гогартовыхъ рисунковъ, въ которыхъ онъ представляетъ параллельно жизнь трудолюбиваго и лѣнтяя. Трудолюбивый скучаетъ въ церкви, лѣнливый играетъ въ кости; трудолюбивый читаетъ въ семействѣ назидательную книгу, лѣнтяй пьетъ водку и т. д. Эту параллель съ измѣненіемъ общественнаго положенія представляли наши братья. У Гогарта одинъ изъ героевъ начинаетъ воровать и оканчиваетъ висѣлицей, а другой всю жизнь совсѣмъ не веселится и приговариваетъ своего пріятеля къ смерти. Воровство *hors d'oeuvre*—не его вина, что ему мать не оставила двухъ тысячъ душъ въ Калужской губерніи, какъ Елизавета Алексѣевна, и полмилліона денегъ. Сталъ ли бы онъ тогда хлопотать и трудиться; воровать вовсе не отдохновеніе, а работа очень непріятная и чрезвычайно опасная.

Оба брата, раздѣлившись, горячо принялись за дѣло. Одинъ улучшать свое имѣнье, другой разорять его; не знаю, прибавилъ ли Дмитрій Павловичъ сто рублей своими неусыпными заботами къ имуществу, Николай Павловичъ черезъ десять лѣтъ имѣлъ больше милліона долга.

Вскорѣ послѣ смерти матери, устроивъ свою сестру, т. е., выдавъ ее замужъ, Дмитрій Павловичъ уѣхалъ въ Парижъ и Лондонъ, глядѣть Европу; а Николай Павловичъ принялся себя показывать въ Москвѣ: балы, обѣды, спектакли слѣдовали другъ за другомъ; его домъ съ утра былъ набитъ охотниками до хорошаго завтрака, знатоками винъ, танцующей молодежью, интересными французами, гвардейскими офицерами; вино лилось, музыка гремяла, онъ даже иногда поднималъ мѣстные образа первой величины, князя Д. В. Голицына, князя Юсупова.

Холостой Дмитрій Павловичъ, между тѣмъ, правильно осмот-

рѣвши Европу и выучившись по-англійски, возвращался вооруженный планами девонширскихъ фермъ и корнвельскаго конскаго завода, въ сопровожденіи англійскаго берейтора и двухъ огромныхъ, породистыхъ ньюфаундлендскихъ собакъ съ длинной шерстью, съ перепонками на лапахъ и одаренныхъ невѣроятной глупостью. Моремъ плыли сѣяльныя и вѣяльныя машины, необыкновенные плуги и модели всякихъ агрономическихъ затѣй.

Пока Дмитрій Павловичъ старательно заводилъ четырехпольное хозяйство, не идущее къ нашей землѣ, и обсѣваль клеветомъ наши православные луга, пока онъ давалъ англійское воспитаніе жеребятамъ, отъ русскихъ родителей рожденнымъ, и изучалъ Теэра,—Николай Павловичъ, и это я думаю худшій и глупѣйшій поступокъ въ его жизни, успѣлъ разлюбить свою жену и, какъ бы не находя довольно быстрымъ средствомъ разоренія балы и обѣды, взялъ на содержаніе актрису-танцовщицу, которая, безъ сомнѣнія, была недостойна завязывать шнурковъ корсета его жены. Съ этой минуты все пошло какъ на парахъ, имѣнье было описано, жена погорѣвала-погорѣвала о судьбѣ дѣтей и о своей собственной, простудилась и въ нѣсколько дней умерла,—домъ распадался.

Видя это, Дмитрій Павловичъ принялъ энергическую мѣру, чтобъ и его имѣнье не пошло къ кредиторамъ его брата, — онъ рѣшился жениться. Онъ тщательно выбралъ умную и дѣльную жену; бракъ его не былъ дѣломъ безумной страсти; онъ изъ династическаго интереса желалъ прямыхъ наслѣдниковъ, чтобъ оградить родовое имѣнье протцевъ.

Свадьба брата сильно огорчила Николая Павловича. Такого сюрприза отъ него онъ не ждалъ; видно, имъ было на роду написано удивлять другъ друга своими бракосочетаніями. Чтобъ утѣшиться, онъ сталъ вдвое кутить. Какъ медленно ни дѣлаются у насъ эти дѣла, но, наконецъ, настало время продажи имѣнья съ аукціоннаго торга. Не думаю, чтобъ это очень заботило Дмитрія Павловича, но тутъ опять замѣшались династическіе интересы, и потому Дмитрій Павловичъ съ помощью дядей принялся за спасеніе брата. Начали скупать разные двойные векселя, давая копеекъ 40 съ рубля, т. е., бросали въ печь большую сумму денегъ и увидѣли потомъ, что это совершенно бесполезно, такъ много было векселей. Одинъ изъ эпизодовъ этой исторіи остался у меня въ памяти. При раздѣлѣ, брильянты матери достались Николаю Павловичу; Николай Павловичъ, наконецъ, заложилъ и ихъ. Видѣть брильянты, украшавшіе нѣкогда величавый станъ Елизаветы Алексѣевны, проданными какой-нибудь купчихѣ, Дмитрій Павловичъ не могъ. Онъ представилъ брату весь ужасъ его поступка; тотъ плакалъ, клялся, что раскаивается; Дмитрій Пав-

ловичъ далъ ему вексель на себя и послалъ къ ростовщику выкупить брильянты; Николай Павловичъ просилъ его позволеніе привезти брильянты къ нему, чтобъ онъ ихъ спряталъ, какъ единственное наслѣдство его дочерей. Брильянты онъ выкупилъ и повезъ къ брату, но вѣроятно *chemin faisant*, онъ раздумалъ, потому что вмѣсто брата онъ заѣхалъ къ другому ростовщику и снова ихъ заложилъ. Надо себѣ представить удивленіе Сенатора, досаду Дмитрія Павловича и пространныя разсужденія моего отца, чтобъ понять, какъ я отъ души хохоталъ надъ этимъ высоко комическимъ происшествіемъ.

Когда всѣ средства окончательно истощились, имѣнье было продано, домъ назначенъ въ продажу, люди распущены, брильянты не выкуплены во второй разъ; когда, наконецъ, Николай Павловичъ велѣлъ рубить свой московскій садъ, для того чтобъ *топить печи*, та же благодатная судьба, которая баловала его всю жизнь, снова помогла ему. Онъ поѣхалъ на дачу къ своему двоюродному брату и вышелъ пройтись, пріостановился середь разговора, взялъ себя за голову рукой, упалъ и умеръ.

Въ эти послѣдніе годы *the diligent* Дмитрій Павловичъ, какъ Цинцинатъ, оставивъ плугъ, перешелъ къ управленію ученой республики въ Москвѣ. Случилось это такъ. Императоръ Николай, полагая, что генералъ-маіоръ Писаревъ довольно остригъ студентовъ и основательно научилъ застегивать вице-мундирные сюртуки, захотѣлъ перемѣнить военное управленіе университета на статское. На дорогѣ между Москвой и Петербургомъ, онъ назначилъ попечителемъ князя Сергій Михайловича Голицына, — по какому соображенію, это трудно сказать, вѣроятно, онъ и самъ себѣ въ этомъ отчета не могъ дать. Развѣ онъ назначилъ его для того, чтобы доказать, что мѣсто попечителя вовсе ненужно. Голицынъ, котораго онъ взялъ съ собой, безъ того уже полуживой отъ курьерской ѣзды сломя голову, къ которой онъ не привыкъ, до того испугался новаго мѣста, что сталъ отказываться. Но въ этихъ случаяхъ толковать было невозможно.

Вронченко, когда его сдѣлали министромъ финансовъ, бросился ему въ ноги, увѣряя его въ своей неспособности. Николай отвѣчалъ ему: «Все это вздоръ, я прежде не управлялъ государствомъ, а вотъ научился же,—научишься и ты». И Вронченко остался поневолѣ министромъ къ великой радости всѣхъ, «*unprotected females*» Мѣщанской улицы, которыя освѣтили свои окна, говоря: — «Нашъ Василиій Ѳедоровичъ сталъ министромъ!»

Голицынъ, проскакавши еще верстъ сто и еще больше измятый, рѣшилъ идти на переговоры и доложилъ, что онъ только тогда возьметъ мѣсто, когда у него будетъ надежный товарищъ, который бы помогалъ ему пасти университетскую паству. Госу-

дарь черезъ пятьдесятъ верстъ велѣлъ ему самому сыскать себѣ товарища. Такъ они благополучно пріѣхали въ Петербургъ.

Отдохнувъ съ мѣсяць отъ дороги, Голицынъ тихонько поѣхалъ въ Москву и принялся искать товарища. У него было по университету помощникъ, высочайшій изъ смертныхъ послѣ своего брата и преображенскаго тамбуръ-мажора, графъ А. Панингъ; но онъ дѣйствительно былъ слишкомъ высокъ, чтобъ маленькой старичокъ могъ его избрать. Осмотрѣвшись въ Москвѣ, взгляды Голицына остановились на Дмитріѣ Павловичѣ. Съ его точки зрѣнія, онъ не могъ сдѣлать лучшаго выбора. Дмитрій Павловичъ имѣлъ всѣ тѣ достоинства, которыя высшее начальство ищетъ въ человѣкѣ нашего вѣка, — безъ тѣхъ недостатковъ, за которые оно гонитъ его. Образованье, хорошая фамилія, богатство, агрономія, и не только отсутствіе «завиральныхъ идей», но и вообще всякихъ происшествій въ жизни. Голохвастовъ не имѣлъ ни одной любовной интриги, ни одного дуэля, не игралъ отроду въ карты, ни разу не напивался до пьяна, но часто по воскресеньямъ ѣздилъ къ обѣднѣ, и не просто къ обѣднѣ, а къ обѣднѣ въ домовую церковь князя Голицына. Къ этому надобно прибавить мастерской французскій языкъ, округленныя манеры и одна страсть, страсть совершенно невинная, къ лошадямъ.

Только что Голицынъ придумалъ, какъ ужъ Николай опять неся стремглавъ въ Москву. Тутъ Голицынъ поймалъ его, пока онъ не ударился въ Тулу, и представилъ ему Дмитрія Павловича. Онъ вышелъ отъ государя товарищемъ попечителя.

Съ этого времени Дмитрій Павловичъ началъ примѣтно толстѣть, наружность его выражала еще больше важности, онъ сталъ какъ-то больше говорить въ носъ, чѣмъ прежде, и фракъ сталъ носить какъ-то пошире, безъ звѣзды, но видимо предчувствуя ее.

До его назначенія въ университетъ, мы были съ нимъ настолько близко, насколько различіе лѣтъ позволяло (онъ былъ лѣтъ 16 старше меня). Тутъ я съ нимъ чуть не разсорился, по крайней мѣрѣ, лѣтъ десять къ ряду мы смотрѣли другъ на друга съ непріязненнымъ холодомъ.

Частной причины на это не было никакой. Его поведеніе относительно меня было всегда исполнено деликатности, безъ ненужной короткости, безъ оскорбительнаго отдаленія. Это потому заслуживаетъ вниманіе, что отецъ мой съ своей стороны, стараясь насъ сблизить, дѣлалъ все, что слѣдуетъ, чтобъ поселить между нами ненависть.

Онъ постоянно толковалъ мнѣ, что Сенаторъ и Дмитрій Павловичъ мои естественные *покровители*, что я долженъ быть къ нимъ *пріблѣженъ*, что я долженъ цѣнить ихъ родственную ласку. Къ этому онъ прибавлялъ, что само собою разумѣется,

что всё ихъ знаки вниманія оказываются собственно для него, а не для меня. Относительно старика Сенатора, къ которому я привыкъ почти столько же, сколько къ моему отцу, съ той разницей, что его я не боялся, мнѣ эти слова ничего не значили, но отъ Голохвастова они меня отдаляли и, если не отдалили, то это благодаря такту, съ какимъ себя Голохвастовъ постоянно велъ.

Вещи эти отецъ мой говорилъ не въ минуту досады, а въ самомъ лучшемъ расположеніи духа, и это оттого, что въ екатерининскомъ вѣкѣ кліентизмъ былъ обыкновененъ, подчиненные не смѣли сердиться за «ты» отъ начальника, и всё на свѣтѣ открыто искали милостивцевъ и покровителей.

Когда Дмитрій Павловичъ былъ назначенъ въ университетъ, я думалъ точно такъ, какъ князь Сергій Михайловичъ, что это будетъ очень полезно для университета; вышло совсѣмъ напротивъ. Если-бы Голохвастовъ тогда попалъ въ губернаторы или въ оберъ-прокуроры, весьма можно предположить, что онъ былъ бы лучше многихъ губернаторовъ и многихъ оберъ-прокуроровъ. Мѣсто въ университетѣ было совсѣмъ не по немъ; свой холодный формализмъ, свое педанство, онъ употребилъ на мелочное, пансіонское управленіе студентами; такого вмѣшательства начальства въ жизнь аудиторіи, такого педельства на большомъ размѣрѣ не было при самомъ Писаревѣ. И тѣмъ хуже, что Голохвастовъ сдѣлался въ нравственномъ отношеніи то, что были Панинъ и Писаревъ для волосъ и пуговицъ.

Прежде въ немъ было, при всемъ можайско-верейскомъ торизмѣ его, что-то образованно-либеральное, любовь къ законности, негодованіе противъ произвола, противъ чиновничьяго грабежа. Съ вступленія въ университетъ онъ становился *ex officio* со стороны всѣхъ стѣснительныхъ мѣръ, онъ считалъ это необходимою своею саною. Время моего курса было временемъ наибольшей политической экзальтаціи; могъ ли же я остаться въ хорошихъ отношеніяхъ съ такимъ усерднымъ слугою?

Формализмъ его и это вѣчное священнодѣйствіе, *mise en scene* себя, иногда вводили его въ самыя забавныя исторіи, изъ которыхъ вѣчно занятый сохраненіемъ достоинства и постоянно довольный собой, онъ не умѣлъ никогда ловко вывернуться.

Какъ предсѣдатель московскаго цензурнаго комитета, онъ, разумѣется, тяжелой гирей висѣлъ на немъ и сдѣлалъ то, что впоследствии книги и статьи посылали цензуровать въ Петербургъ. Въ Москвѣ былъ старикъ Мясновъ, большой охотникъ до лошадей; онъ составилъ какую-то генеалогическую таблицу лошадиныхъ родовъ и, желая выиграть время, просилъ позволенія посылать въ цензуру корректурные листы вмѣсто рукописи, въ

которой, вѣроятно, хотѣлъ сдѣлать поправки. Голохвастовъ затруднился, произнесъ длинную рѣчь, гдѣ плодovито изложилъ рго и contra, и заключилъ ее тѣмъ, что, впрочемъ, разрѣшить присылку корректурныхъ листовъ въ цензуру можно, буде авторъ удостоитъ вѣрить, что въ его книгѣ нѣтъ ничего противъ правительства, религіи и нравственности.

Холерическій и раздражительный Мясновъ всталъ и съ серьезнымъ видомъ сказалъ:

— Такъ какъ это дѣло остается на моей отвѣтственности, то я считаю необходимымъ оговориться: въ книгѣ моей, конечно, нѣтъ ни одного слова противъ правительства, ни противъ нравственности, но насчетъ религіи я не такъ увѣренъ.

— Помилуйте! сказалъ удивленный Голохвастовъ.

— А вотъ, извольте видѣть, въ Кормчей книгѣ есть статья, такъ гласящая: «Надъ корчагами клянущіе, волосы плетущіе, и на конскія ристалища ходящіе, да будутъ преданы анаемѣ». А я въ моей книгѣ очень много говорю о конскихъ ристалищахъ, такъ право и не знаю...

— Это не можетъ быть препятствіемъ, замѣтилъ Голохвастовъ.

— Покорнѣйше васъ благодарю за разрѣшеніе сомнѣнія, отвѣтилъ колкій старикъ, откланиваясь.

Когда я возвратился изъ второй ссылки, положеніе Голохвастова въ университетѣ было не прежнее. На мѣсто князя *Сергій Михайловича*, поступилъ графъ *Сергій Григорьевичъ Строгановъ*. Понятія Строганова, сбивчивыя и неясныя, были все же несравненно образованнѣе. Онъ хотѣлъ поднять университетъ въ глазахъ государя, отстаивалъ его права, защищалъ студентовъ отъ полицейскихъ набѣговъ и былъ либераленъ, насколько можно быть либеральнымъ, нося на плечахъ генераль-адъютантскій «нашъ» и будучи смиреннымъ обладателемъ строгановскаго маюрата. Въ этихъ случаяхъ ненадо забывать la difficulté vaincue.

— Какая страшная повѣсть Гоголева «Шинель», сказалъ разъ Строгановъ Е. К.; вѣдь, это привидѣніе на мосту тащить просто съ каждаго изъ насъ шинель съ плечъ. Поставьте себя въ мое положеніе и взгляните на эту повѣсть.

— Мнѣ о-очень т-трудно, отвѣчала Е., я не привыкъ разсматривать предметы съ точки зрѣнія человѣка, имѣющаго тридцать тысячъ душъ.

Графъ Строгановъ иногда заступалъ постромку, дѣлался често-на-чисто генераль-адъютантомъ, т. е. взбалмошно-грубымъ, особенно когда у него разыгрывался его желчный почечуй, но генеральской выдержки у него не доставало, и въ этомъ снова выражалась добрая сторона его природы. Для объясненія того, что я хочу сказать, приведу одинъ примѣръ.

Разъ кончившій курсъ казенный студентъ, очень хорошо занимавшійся и опредѣленный потомъ въ какую-то губернскую гимназію старшимъ учителемъ, услышавъ, что въ одной изъ московскихъ гимназій открылась по его части вакансія младшаго учителя, пришелъ просить у графа перемѣщенія. Цѣль молодого человѣка состояла въ томъ, чтобы продолжать заниматься своимъ дѣломъ, на что онъ не имѣлъ средствъ въ губернскомъ городѣ. По несчастію, Строгановъ вышелъ изъ кабинета желтый, какъ церковная свѣчка.

— Какое вы имѣете право на это мѣсто?—спросилъ онъ, глядя по сторонамъ и подергивая усы.

— Я потому прошу, графъ, этого мѣста, что именно теперь открылась вакансія.

— Да и еще одна открывается, перебилъ графъ, вакансія нашего посла въ Константинополь. Не хотите ли ее?

— Я не зналъ, что она зависитъ отъ вашего сіятельства, отвѣтилъ молодой человѣкъ, я приму мѣсто посла съ искренней благодарностью.

Графъ сталъ еще желтѣе, однако учтиво просилъ его въ кабинетъ.

У меня лично съ нимъ бывали прекуръезныя сношенія; самое первое свиданіе наше не лишено того родного колорита, по которому сразу узнается русская школа.

Вечеромъ какъ-то, во Владимірѣ, сижу я дома за своею Лыбедью; вдругъ является ко мнѣ учитель гимназій, нѣмецъ, докторъ Іенскаго университета, по прозванію Деличъ, въ мундирѣ. Докторъ Деличъ объявилъ мнѣ, что утромъ пріѣхалъ изъ Москвы попечитель университета, графъ Строгановъ, и прислалъ его пригласить меня завтра въ 10 часовъ утра къ себѣ.

— Не можетъ быть; я его совсѣмъ не знаю и вы, вѣрно, перемѣшали.

— Это не фозможно. Der Herr Graf geruhten auf's freundlichste sich bei mir zu beurkunden über ihre Lage hier. Увы ѣдете?

Русскій человѣкъ, я поборолся еще съ Деличемъ, убѣдился еще больше, что ѣздить совсѣмъ ненужно, и поѣхалъ на другой день.

Альфieri, какъ человѣкъ не русскій, поступилъ иначе, когда французскій маршалъ, занявшій Флоренцію, пригласилъ его незнакомаго къ себѣ на вечеръ. Онъ ему написалъ, что если это просто частное приглашеніе, то онъ за него весьма благодарить, но просить его извинить, потому что онъ никогда не ѣздитъ къ незнакомымъ. Если же это приказъ, то, зная военное положеніе города, онъ непремѣнно въ восемь часовъ вечера отдастся въ плѣнъ (se constituera prisonnier).

Строгановъ звалъ меня какъ рѣдкость, принадлежавшую прежде къ университету, какъ блуднаго кандидата. Ему просто хотѣлось меня видѣть и, сверхъ того, хотѣлось, такова слабость души человѣческой даже подъ толстымъ аксельбантомъ, похватать передо мной своими улучшениями по университету.

Онъ меня принялъ очень хорошо. Наговорилъ мнѣ кучу комплиментовъ и скорымъ шагомъ дошелъ, до чего хотѣлъ.

— Жаль, что вамъ нельзя побывать въ Москвѣ, вы не узнаете теперь университетъ; отъ зданія и аудиторіи профессоровъ и объема преподаванія, все измѣнилось,—и пошелъ, и пошелъ.

Я очень скромно замѣтилъ, чтобъ показать, что я внимательно слушаю и не пошлый дуракъ, что, вѣроятно, преподаваніе оттого такъ измѣнилось, что много новыхъ профессоровъ возвратилось изъ чужихъ краевъ.

— Безъ всякаго сомнѣнія, отвѣчалъ графъ, но, сверхъ того, духъ управленія, единство, знаете, моральное единство...

Впрочемъ, отдадимъ ему справедливость, онъ своимъ «моральнымъ единствомъ» больше сдѣлалъ пользы университету, чѣмъ Земляника своей больницѣ «честностью и порядкомъ». Университетъ очень много обязанъ ему, но все же нельзя не улыбнуться при мысли, что онъ хвастался этимъ передъ человѣкомъ, сосланнымъ подъ надзоръ за политическіе проступки. Вѣдь, это стоитъ того, что человѣкъ, сосланный за политическіе проступки, безъ всякой необходимости поѣхалъ по зову генералъ-адъютанта. О, Русь!.. Что же тутъ удивительнаго, что иностранцы ничего не понимаютъ, глядя на насъ!

Второй разъ я видѣлъ его въ Петербургѣ, именно въ то время, когда меня сослали въ Новгородъ. Сергѣй Григорьевичъ жилъ у брата своего, министра внутреннихъ дѣлъ. Я входилъ въ залу въ то самое время, какъ Строгановъ выходилъ. Онъ былъ въ бѣлыхъ штанахъ и во всѣхъ своихъ регаліяхъ, лента черезъ плечо; онъ ѣхалъ во дворецъ. Увидя меня, онъ остановился и, отведя меня въ сторону, сталъ спрашивать о моемъ дѣлѣ. Онъ и его братъ были возмущены безобразіемъ моей ссылки.

Это было во время болѣзни моей жены, нѣсколько дней послѣ рожденія малютки, который умеръ. Должно быть въ моихъ глазахъ, словахъ было видно большое негодование или раздраженіе, потому что Строгановъ вдругъ сталъ меня уговаривать, чтобы я переносилъ испытанія съ христіанской кротостью. «Повѣрьте, говорилъ онъ, каждому на свой пай достается нести крестъ».

Даже и очень много иногда, подумалъ я, глядя на всевозможные кресты и крестики, застлавшіе его грудь, и не могъ удержаться, чтобъ не улыбнуться.

Онъ догадался и покраснѣлъ. «Вы вѣрно думаете, сказалъ онъ, хорошо, молъ, ему проповѣдывать. Повѣрьте, что tout est compensé» — по крайней мѣрѣ такъ думаетъ Азаисъ.

Сверхъ проповѣди, онъ и Жуковский дѣйствительно хлопотали обо мнѣ.

Поселившись въ 1842 году въ Москвѣ, я сталъ иногда бывать у Строганова. Онъ ко мнѣ благоволилъ, но иногда будировалъ. Мнѣ очень нравились эти приливы и отливы. Когда онъ бывалъ въ либеральномъ направленіи, онъ говорилъ о книгахъ и журналахъ, восхвалялъ университетъ и все сравнивалъ его съ тѣмъ жалкимъ положеніемъ, въ которомъ онъ былъ въ мое время. Но когда онъ былъ въ консервативномъ направленіи, тогда упрекалъ, что я не служу, и что у меня нѣтъ религіи, бранилъ мои статьи, говоря, что я развращаю студентовъ, бранилъ молодыхъ профессоровъ, толковалъ, что они его больше и больше ставятъ въ необходимость измѣнить присягѣ или закрыть ихъ каѳедры.

— Я знаю, какой крикъ поднимется отъ этого, вы первый будете меня называть вандаломъ.

Я склонилъ голову въ знакъ подтвержденія и прибавилъ:

— Вы этого никогда не сдѣлаете, и потому я васъ могу искренно поблагодарить за хорошее мнѣніе обо мнѣ.

— Непремѣнно сдѣлаю, ворчалъ Строгановъ, потягивая усъ и желтъя, — вы увидите.

Мы всѣ знали, что онъ ничего подобнаго не предприметь, за это можно было позволить ему періодически пострадать, особенно взявъ въ расчетъ его маюратъ, его чинъ и почечуй.

Разъ какъ-то онъ до того зарапоровался, говоривши со мной, что, браня все революціонное, рассказалъ мнѣ, какъ 14 декабря Т. ушелъ съ площади, разстроенный прибѣжалъ въ домъ къ его отцу и, не зная, что дѣлать, подошелъ къ окну и сталъ барабанить по стеклу; такъ прошло нѣкоторое время. Француженка, бывшая гувернанткой въ ихъ домѣ, не выдержала и громко сказала ему: «Постыдитесь, тутъ-ли ваше мѣсто, когда кровь вашихъ друзей льется на площади, такъ-то вы понимаете вашъ долгъ?» Онъ схватилъ шляпу и пошелъ — куда вы думаете? — спрятаться къ австрійскому послу.

— Конечно, ему слѣдовало-бы идти въ полицію, сказалъ я.

— Какъ? — спросилъ удивленный Строгановъ и почти попятился отъ меня.

— Или вы считаете, какъ француженка, сказалъ я, не удерживая больше смѣха, что его обязанность была идти на площадь?

— Видите, замѣтилъ Строгановъ, поднимая плечи и нехотя посматривая на дверь, какой у васъ несчастный ріі ума; я только говорю, что вотъ эти люди... когда нѣтъ истинныхъ, мо-

ральныхъ, основанныхъ на вѣрѣ принциповъ, когда они сходятъ съ прямого пути... все путается. Вы съ лѣтами все это увидите.

До этихъ лѣтъ я еще не дожилъ, но эту сторону ненаходчивости у Строганова, надъ которой часто зло подсмѣивался Чаадаевъ, я, совсѣмъ напротивъ, ставлю ему въ большое достоинство.

Говорятъ, что послѣ февральской революціи, увлекся и Строгановъ. Онъ будто-бы настоялъ въ новомъ цензурномъ совѣтѣ на воспрещеніи пропускать чтобы то ни было изъ писаннаго мною. Я это принимаю за дѣйствительный знакъ его хорошаго расположенія ко мнѣ; услышавъ это, я принялся за русскую типографію. Вскорѣ реакція обошла и перешла нашего графа, онъ не хотѣлъ быть палачемъ университета и вышелъ изъ попечителей. Но это еще не все. Черезъ два-три мѣсяца послѣ Строганова, вышелъ въ отставку и Голохвастовъ, утраченный рядомъ мѣръ, которыя ему предписывались изъ Петербурга.

Такъ окончилась публичная карьера Дмитрія Павловича, и онъ, какъ настоящій москвичъ, сложивъ съ себя бремя государственныхъ дѣлъ, расположился важно отдохнуть, занимаясь сельскимъ хозяйствомъ и окруженный семьей, рысаками и хорошо переплетенными книгами.

Въ внутренней жизни его, въ продолженіи его кураторства, все шло благополучно, т. е., въ свое время являлись на свѣтъ дѣти, въ свое время у нихъ рѣзались зубы. Имѣнье было ограждено законными наслѣдниками. Сверхъ того, еще одно лицо обрадовало и согрѣло послѣдніе десять лѣтъ его жизни. Я говорю о приобрѣтеніи *Бычка*, перваго рысака по бѣгу, красотѣ, мышцамъ и копытамъ, не только Москвы, но и всей Россіи. *Бычокъ* представлялъ поэтическую сторону серьезнаго существованія Дмитрія Павловича. У него въ кабинетѣ висѣли нѣсколько портретовъ *Бычка*, писанныхъ масляными красками и акварелью. Какъ представляютъ Наполеона, то худымъ консуломъ, съ длинными и мокрыми волосами, то жарнымъ императоромъ съ клочкомъ волосъ на лбу, сидящимъ верхомъ на стулѣ, съ коротенькими ножками, то императоромъ, отрѣшеннымъ отъ дѣлъ, стоящимъ, заложивъ руки за спину, на скалѣ середь плещущаго океана,—такъ и *Бычокъ* былъ представленъ въ разныхъ моментахъ своей блестящей жизни: въ стойлѣ, гдѣ онъ провелъ свою юность, въ полѣ—свободный, съ небольшой уздечкой, наконецъ заложанный едва-видимой, невѣсомой упряжью въ крошечную коробочку на полозьяхъ и возлѣ него кучеръ въ баркатной шапкѣ, въ синемъ кафтанѣ, съ бородой такъ правильно расчесанной, какъ у ассирійскихъ царей-быковъ,—тотъ самый кучеръ, который выигралъ на немъ, не знаю сколько кубковъ Сазиковой работы, стоявшихъ подъ стекломъ въ залѣ.

Казалось-бы, отдѣлавшись отъ скучныхъ заботъ по университету, съ огромнымъ имѣньемъ и огромнымъ доходомъ, съ двумя звѣздами и четырьмя дѣтьми, тутъ-то бы и жить да поживать. Судьба рѣшила иначе; вскорѣ послѣ своей отставки Дмитрій Павловичъ, здоровый, сильный мужчина, лѣтъ пятидесяти съ чѣмъ-то, занемогъ, хуже да хуже, сдѣлалась горловая чахотка и онъ умеръ послѣ тяжелой и мучительной болѣзни въ 1849 году. И вотъ, я поневолѣ останавливаюсь въ раздумьи передъ этими двумя могилами и рядъ странныхъ вопросовъ, о которыхъ я упомянулъ, снова представляется уму.

Смерть приравняла двухъ непохожихъ братьевъ. Кто-же изъ нихъ лучше воспользовался своимъ промежуткомъ между двумя нѣмыми и безотвѣтными пропастями? Одинъ истратилъ и себя и свое достояніе, но имѣлъ свой медовый мѣсяцъ изъ лучшихъ липовыхъ сотъ. Положимъ, что онъ и былъ человѣкъ бесполезный, но вреда *наипрекнаго* никому не дѣлалъ. Онъ оставилъ дѣтей въ бѣдности — плохо; но они все-таки получили воспитаніе и должны были получить кой-что отъ дяди. А сколько тружениковъ, работавшихъ всю жизнь, съ горькой слезой закрываютъ глаза, глядя на дѣтей, которымъ они не могли дать ни воспитанія, ни куска хлѣба? Т. Карлейль, утѣшая людей, слишкомъ умилявшихся надъ судьбой несчастнаго сына Людовика XVI, сказалъ имъ: «Это правда, онъ былъ воспитанъ сапожникомъ, т. е., получилъ то дурное воспитаніе, которое получали и теперь получаютъ миллионы дѣтей бѣдныхъ поселянъ и работниковъ».

Другой братъ совсѣмъ не жилъ, онъ *служилъ* жизнь, такъ, какъ священники *служатъ* обѣдню, т. е., съ чрезвычайной важностію совершалъ какой-то привычный ритуаль, болѣе торжественный, чѣмъ полезный. Обдумать, зачѣмъ онъ его исполнялъ, ему было также некогда, какъ его брату. Если изъ жизни Дмитрія Павловича исключить два-три случая—*Бычка*, скачки и кубки—да два-три входа и выхода, напр., когда онъ взошелъ въ университетъ съ сознаниемъ, что онъ начальникъ его, когда онъ вышелъ въ первый разъ изъ своей комнаты въ звѣздѣ, когда онъ представлялся е. и. величеству, когда водилъ по аудиторіямъ е. и. высочество,—останется одна проза, одно дѣловое, натянутое, официальное утро. Спору нѣтъ, мысль о важности его участія въ дѣлахъ административныхъ доставляла ему удовольствіе; этикетъ—своего рода поэзія, своего рода артистическая гимнастика, какъ парады и танцы; но, вѣдь, какая бѣдная поэзія въ сравненіи съ пышными пирами, въ которыхъ провелъ свою жизнь его братъ, тайкомъ обвѣнчавшійся на хорошенькой барышнѣ съ упоительными глазками!

И въ дополненіе, Дмитрій Павловичъ своей правильной жизнью,

своимъ образцовымъ поведеніемъ въ нравственномъ, служебномъ и гигиеническомъ отношеніяхъ, даже не дожилъ ни до здоровья, ни до долголѣтія и умеръ такъ же неожиданно, какъ его братъ, но только съ гораздо большими мученіями ¹⁾).

Ну, и all right!

ГЛАВА XXXII.

Послѣдняя поѣздка въ Соколово.—Теоретическій разрывъ.—Натянутое положеніе.—Dahin! Dahin!

Послѣ примиренія съ Бѣлинскимъ въ 1840 году, наша небольшая кучка друзей шла впередъ безъ значительнаго разномыслія: были отѣнки, личные взгляды, но главное и общее шло изъ тѣхъ же началъ. Могло ли оно такъ продолжаться навсегда, — я не думаю. Мы должны были дойти до тѣхъ предѣловъ, до тѣхъ оградъ, за которыя одни пройдутъ, а другіе зацѣпятся.

Года черезъ три, четыре, я съ глубокой горестью сталъ замѣчать, что, идучи изъ однихъ и тѣхъ-же началъ, мы приходили къ разнымъ выводамъ — и это не потому, чтобъ мы ихъ разное понимали, а потому, что они не всѣмъ нравились.

Сначала эти споры шли полушутя. Мы смѣялись, напр., надъ малороссійскимъ упрямствомъ Р., старавшагося вывести логическое построеніе личнаго духа. При этомъ я вспоминаю одну изъ послѣднихъ шутокъ милаго, добраго Крюкова. Онъ уже былъ очень боленъ, мы сидѣли съ Р. у его кровати. День былъ ненастный, вдругъ блеснула молнія и вслѣдъ за ней разсыпался сильный ударъ грома. Р. подошелъ къ окну и опустилъ штору.

— Что же, отъ этого будетъ лучше? спросилъ я его.

— Какъ же, отвѣтилъ за него Крюковъ, Р. вѣрить in die Persönlichkeit des absoluten Geistes и потому завѣшиваетъ окно, чтобъ ему не было видно, куда цѣлится, если вздумаетъ въ него пустить стрѣлу.

Но можно было догадаться, что на шуткахъ такое существенное различіе въ воззрѣніяхъ долго не остановится.

На одномъ листѣ записной книжки того времени, съ видимой аггіере pansée, помѣчена слѣдующая сентенція: «Личныя отно-

¹⁾ Мнѣ кажется, что, говоря о Дмитріи Павловичѣ, я не долженъ умолчать о его послѣднемъ поступкѣ со мною. Послѣ кончины моего отца, онъ мнѣ остался долженъ 40,000 сер. Я уѣхалъ за границу, оставивъ этотъ долгъ за нимъ. Умирая, онъ завѣщалъ, чтобы мнѣ первому было уплачено, потому что официально я не могъ ничего требовать. Вслѣдъ за вѣстью о его кончинѣ, я по слѣдующей почтѣ получилъ всѣ деньги.

шенія много вредятъ прямотѣ мнѣній. Уважая прекрасныя качества лицъ, мы жертвуемъ для нихъ рѣвностью мнѣній. Много надобно силъ, чтобы плакать и все-таки умѣть подписать приговоръ Камиля Демулена».

Въ этой зависти къ силѣ Робеспьера уже дремали зачатки злыхъ споровъ 1846 года.

Вопросы, до которыхъ мы коснулись, не были случайны; ихъ, какъ суженаго, нельзя было на конѣ объѣхать. Это тѣ гранитные камни преткновенія на дорогѣ знанія, которые во всѣ времена были одни и тѣ же, пугали людей и манили къ себѣ. И такъ, какъ либерализмъ, послѣдовательно проведенный, непременно поставитъ человѣка лицомъ къ лицу съ социальнымъ вопросомъ, такъ наука—если только человѣкъ вѣрится ей безъ якоря — непременно прибьетъ его своими волнами къ сѣдымъ утесамъ, о которые бились, отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта и Гегеля, всѣ державшіе думать. вмѣсто простыхъ объясненій, почти всѣ пытались ихъ обогнуть и только покрывали ихъ новыми слоями символовъ и аллегорій, оттого-то и теперь они стоятъ также грозно, а пловцы боятся ѣхать прямо и убѣдиться, что это вовсе не скалы, а одинъ туманъ, фантастически освѣщенный.

Шагъ этотъ не легокъ, но я вѣрилъ и въ силы и въ волю нашихъ друзей, имъ же не вновь приходилось искать фарватера, какъ Бѣлинскому и мнѣ. Долго бились мы съ нимъ въ бѣлицемъ колесѣ діалектическихъ повтореній и выпрыгнули, наконецъ, изъ него на свой страхъ. У нихъ былъ нашъ примѣръ передъ глазами и Фейербахъ въ рукахъ. Долго не вѣрилъ я, но, наконецъ, убѣдился, что если друзья наши не дѣлать образа доказательствъ Р., то въ сущности все-же они съ нимъ согласяѣ, чѣмъ со мной, и что, при всей независимости ихъ мысли, еще есть истины, которыя ихъ пугаютъ. Кромѣ Бѣлинскаго, я расходился со всѣми, съ Грановскимъ и Е. К.

Открытіе это исполнило меня глубокой печалью; порогъ, за который они загнулись, однажды приведенный къ слову, не могъ больше подразумѣваться. Споры вышли изъ внутренней необходимости снова придти къ одному уровню; для этого надобно было, такъ сказать, окликнуться, чтобъ узнать кто гдѣ.

Прежде чѣмъ мы сами привели въ ясность нашъ теоретическій раздоръ, его замѣтило новое поколѣніе, которое стояло несравненно ближе къ моему воззрѣнію. Молодежь не только въ университетѣ и лицѣ сильно читала мои статьи о *Дилетантизмъ въ наукѣ* и *Письма объ изученіи природы*, но и въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ. О послѣднемъ я узналъ отъ графа С. Строганова, которому жаловался на это Филаретъ, грозившій

принять душеоборонительныя мѣры противъ такой вредоносной ясты.

Около того же времени я иначе узналъ объ ихъ успѣхѣ между семинаристами. Случай этотъ мнѣ такъ дорогъ, что я не могу не рассказать его.

Сынъ одного знакомаго подмосковнаго священника, молодой человѣкъ лѣтъ 17, приходилъ нѣсколько разъ ко мнѣ за *Отечественными Записками*. Застѣнчивый, онъ почти ничего не говорилъ, краснѣлъ, мѣшался и торопился скорѣй уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило въ его пользу, я переложилъ, наконецъ, его отроческую неувѣренность въ себя и сталъ съ нимъ говорить объ *Отечественныхъ Запискахъ*. Онъ очень внимательно и дѣльно читалъ въ нихъ именно философскія статьи. Онъ сообщилъ мнѣ, какъ жадно въ высшемъ курсѣ семинаріи учащіеся читали мое историческое изложеніе системъ и какъ оно ихъ удивило послѣ философіи по Бурмейстеру и Волфію.

Молодой человѣкъ сталъ иногда приходиться ко мнѣ, я имѣлъ полное время убѣдиться въ силѣ его способностей и въ способности труда.

— Что вы намѣрены дѣлать послѣ курса? — спросилъ я его разъ.

— Постричься въ священники, отвѣчалъ онъ, краснѣя.

— Думали ли вы серьезно объ участи, которая васъ ожидаетъ, если вы пойдете въ духовное званіе?

— Мнѣ нѣтъ выбора, мой отецъ рѣшительно не хочетъ, чтобъ я шелъ въ свѣтское званіе. Для занятій у меня досуга будетъ довольно.

— Вы не сердитесь на меня, возразилъ я, но мнѣ невозможно не сказать вамъ откровенно моего мнѣнія. Вашъ разговоръ, вашъ образъ мыслей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствіе, которое вы имѣете къ моимъ трудамъ, — все это и, сверхъ того, искреннее участіе въ вашей судьбѣ дадутъ мнѣ, вмѣстѣ съ моими лѣтами, нѣкоторыя права. Подумайте сто разъ прежде, чѣмъ вы надѣнете рясу. Снять ее будетъ гораздо труднѣе, а, можетъ, вамъ въ ней будетъ тяжело дышать. Я вамъ сдѣлаю одинъ очень простой вопросъ: скажите мнѣ, есть ли у васъ въ душѣ вѣра хоть въ одинъ догматъ богословія, которому васъ учать?

Молодой человѣкъ, потупя глаза и помолчавъ, сказалъ:

— Передъ вами лгать не стану — нѣтъ!

— Я это зналъ. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбѣ. Вы должны будете всякій день, во всю вашу жизнь, всенародно, громко лгать, измѣнять истинѣ; вѣдь, это-то и есть грѣхъ противъ св. Духа, грѣхъ сознательный, обдуманннй. Станетъ ли васъ на то, чтобъ сладить съ такимъ раздвоеніемъ? Все ваше обществен-

ное положеніе будетъ неправдой. Какими глазами вы встрѣтите взглядъ усердно молящагося, какъ будете утѣшать умирающаго раемъ и безсмертіемъ, какъ отпускать грѣхи? А еще тутъ васъ заставить убѣждать раскольниковъ, судить ихъ!

— Это ужасно! ужасно! сказалъ молодой человѣкъ и ушелъ ввволнованный и разстроенный.

На другой день вечеромъ онъ возвратился.

— Я къ вамъ пришелъ за тѣмъ, сказалъ онъ, чтобъ сказать, что я очень много думалъ о вашихъ словахъ. Вы совершенно правы; духовное званіе мнѣ невозможно, и будьте увѣрены, я скорѣе пойду въ солдаты, чѣмъ позволю себя постричь въ священники.

Я горячо пожалъ ему руку и обѣщаль, съ своей стороны, когда время придетъ, уговорить, насколько могу, его отца.

Вотъ и я на свой пай спасъ душу живу, по крайней мѣрѣ, способствовалъ къ ея спасенію.

Философское направленіе студентовъ я могъ видѣть ближе. Весь курсъ 1845 года ходилъ я на лекціи сравнительной анатоміи. Въ аудиторіи и въ анатомическомъ театрѣ я познакомился съ новымъ поколѣніемъ юношей.

Направленіе занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е., положительно научное. Замѣчательно, что таково было направленіе почти всѣхъ царскосельскихъ лицейстовъ. Лицей, выведенный изъ прекрасныхъ садовъ своихъ, оставался еще тѣмъ же великимъ разсадникомъ талантовъ; завѣщаніе Пушкина, благословеніе поэта, пережило удары власти.

Съ радостью привѣтствовалъ я въ лицейстахъ, бывшихъ въ московскомъ университетѣ, новое, сильное поколѣніе.

Вотъ эта-то университетская молодежь, со всѣмъ нетерпѣніемъ и пыломъ юности преданная вновь открывшемуся передъ ними свѣту реализма, съ его здоровымъ румянцемъ, разглядѣла, какъ я сказалъ, въ чемъ мы расходились съ Грановскимъ. Страстно любя его, они начинали возставать противъ его «романтизма». Они хотѣли непремѣнно, чтобъ я склонилъ его на нашу сторону, считая Бѣлинскаго и меня представителями ихъ философскихъ мнѣній.

Такъ насталь 1846 г. Грановскій началъ новый публичный курсъ. Вся Москва опять собралась около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая рѣчь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлеченья, которое было въ первомъ курсѣ, не доставало, будто онъ усталъ, или какая-то мысль, съ которой онъ еще не сладилъ, занимала его, мѣшала ему. Это такъ и было, какъ мы увидимъ гораздо позже.

На одной изъ этихъ-то лекцій, въ мартѣ мѣсяцѣ, кто-то изъ

нашихъ общихъ знакомыхъ прибѣжалъ сломя голову сказать о прїѣздѣ изъ чужихъ краевъ Огарева и С.

Мы не видались нѣсколько лѣтъ и очень рѣдко переписывались... Что-то они... какъ?... Съ сильно бьющимся сердцемъ бросились мы съ Грановскимъ къ Яру, гдѣ они остановились. Ну, вотъ они наконецъ,—и какъ перемѣнились и какая борода—и не видались нѣсколько лѣтъ... Мы принялись смотрѣть вздоръ, говорить вздоръ, хоть и чувствовалось, что хотѣлось говорить другое.

Наконецъ, нашъ маленькій кругъ былъ почти весь въ сборѣ,—теперь-то заживемъ.

Лѣто 1845 года мы жили на дачѣ въ Соколовѣ. Соколово, это—красивый уголокъ Московскаго уѣзда, верстъ двадцать отъ города по тверской дорогѣ. Мы нанимали тамъ небольшой господскій домъ, стоявшій почти совсѣмъ въ паркѣ, который спускался подъ гору къ небольшой рѣчкѣ. Съ одной стороны его стлалось наше великороссійское море нивъ; съ другой—открывался прекрасный видъ въ даль, почему хозяинъ и не преминулъ назвать бесѣдку, поставленную тамъ, «Бельвю».

Соколово нѣкогда принадлежало графамъ Румянцовымъ. Богатые помѣщики, аристократы XVIII столѣтія, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своимъ наслѣдникамъ. Старинныя барскія села и усадьбы по Москвѣ-рѣкѣ необыкновенно хороши, особенно тѣ, въ которыхъ два послѣднихъ поколѣнія ничего не поправляли и не переименовывали.

Прекрасно провели мы тамъ время. Никакое серьезное облако не застилало лѣтняго неба; много работая и много гуляя, жили мы въ нашемъ паркѣ. К. меньше ворчалъ, хотя иной разъ и случалось ему забирать брови очеръ высоко и говорить крупныя рѣчи съ сильной мимикой. Грановскій и Е. прїѣзжали почти всякую недѣлю въ субботу и оставались ночевать, а иногда уѣзжали ужъ въ понедѣльникъ. М. С. навималъ неподалеку другую дачу. Часто приходилъ и онъ пѣшкомъ, въ шляпѣ съ широкими полями и въ бѣломъ сюртукѣ, какъ Наполеонъ въ Лонгвудѣ, съ кузовкомъ набранныхъ грибовъ, шутилъ, пѣлъ малороссійскія пѣсни и морилъ со смѣху своими рассказами, отъ которыхъ, я думаю, самъ Іоаннъ Кручинникъ, точившій всю жизнь слезы о грѣхахъ міра сего, сталъ бы ихъ точить отъ хохота...

Сидя дружной кучкой въ углу парка подъ большой липой, мы бывало жалѣли только объ одномъ, объ отсутствіи Огарева. Ну, вотъ и онъ, и въ 1846 году мы ѣдемъ снова въ Соколово и онъ съ нами; Грановскій нанялъ на все лѣто небольшой флигель; Огаревъ помѣстился въ антресоляхъ надъ управляющимъ, флотскимъ майоромъ безъ уха.

И со все́мъ этимъ, черезъ двѣ-три недѣли неопредѣленное чувство мнѣ подсказало, что ваша villeggiatura не удалась и что этого не поправишь. Кому не случилось готовить дирьъ за-ранѣе, радуясь будущему веселью друзей, и вотъ они являються; все идетъ хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идетъ, когда не чувствуешь, какъ кровь по жиламъ течетъ, и не думаешь, какъ легкія поднимаются. Если каждый толчекъ отдается, того и смотри, явится боль, диссонансъ, съ которымъ не всегда сладишь.

Первое время послѣ приѣзда друзей прошло въ чаду и одушевленіи праздниковъ; не успѣли они миновать, какъ занемогъ мой отецъ. Его кончина, хлопоты, дѣла,—все это отвлекало отъ теоретическихъ вопросовъ. Въ тиши соколовской жизни, наши разногласія должны были придти къ слову.

Огаревъ, не видѣвшій меня года четыре, былъ совершенно въ томъ направленіи, какъ я. Мы равными путями прошли тѣ же пространства и очутились вмѣстѣ. Къ намъ присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взглядъ подавляющіе выводы наши не пугали ее, она имъ придавала особый поэтический оттѣнокъ.

Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладовъ. Разъ мы обѣдали въ саду. Грановскій читалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* одно изъ моихъ писемъ объ изученіи природы (помнится, объ *Энциклопедистахъ*) и былъ имъ чрезвычайно доволенъ.

— Да что же тебѣ нравится, спросилъ я его,—неужели одна наружная отдѣлка? (съ внутреннимъ смысломъ его ты не можешь быть согласенъ).

— Твои мнѣнія, отвѣтилъ Грановскій,—точно такъ же историческій моментъ въ наукѣ мышленія, какъ и самыя писанія энциклопедистовъ. Мнѣ въ твоихъ статьяхъ нравится то, что мнѣ нравится въ Вольтерѣ или Дидро; они живо, рѣзко затрогиваютъ такіе вопросы, которые будятъ человѣка и толкаютъ впередъ; ну, а во все́й односторонности твоего воззрѣнія я не хочу вдаваться. Развѣ кто-нибудь говоритъ теперь о теоріяхъ Вольтера?

— Неужели же нѣтъ никакого мѣрила истины, и мы будимъ людей только для того, чтобы имъ сказать пустяки?

Такъ продолжался довольно долго разговоръ. Наконецъ, я замѣтилъ, что развитіе науки, что современное состояніе ея *объявляетъ насъ въ принятію кой-какихъ истинъ, независимо отъ того, хотимъ мы или нѣтъ*; что однажды увнанныя, онѣ перестаютъ быть историческими загадками, а дѣлаются просто неопровержимыми фактами сознанія, какъ Евклидовы теоремы, какъ Кен-

леровы законы, какъ нераздѣльность причины и дѣйствія, духа и матеріи.

— Все это такъ мало обязательно, возразилъ Грановскій, слегка измѣнившись въ лицѣ, что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тѣла и духа, съ ней исчезаетъ безсмертіе души. Можеть, вамъ его ненадобно, но я слишкомъ много схоронилъ, чтобъ поступиться этой вѣрой. Личное безсмертіе мнѣ необходимо.

— Славно было бы жить на свѣтѣ, сказалъ я, если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчасъ и было бы тутъ какъ тутъ, на манеръ сказокъ.

— Подумай, Грановскій, прибавилъ Огаревъ,—вѣдь, это своего рода бѣгство отъ несчастья.

— Послушайте, возразилъ Грановскій, блѣдный и придавая себѣ видъ посторонняго, вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить объ этихъ предметахъ, мало ли есть вещей занимательныхъ, и о которыхъ толковать гораздо полезнѣе и пріятнѣе.

— Изволь, съ величайшимъ удовольствіемъ!—сказалъ я, чувствуя холодъ на лицѣ. Огаревъ промолчалъ. Мы всѣ взглянули другъ на друга и этого взгляда было совершенно достаточно; мы всѣ слишкомъ любили другъ друга, чтобъ по выраженію лицъ не вымѣрять вполне, что произошло. Ни слова больше, споръ не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дѣти, всегда выручающіе въ этихъ случаяхъ, послужили предметомъ разговора, и обѣдъ кончился такъ мирно, что посторонній, который бы пришелъ послѣ разговора, не замѣтилъ бы ничего...

Послѣ обѣда Огаревъ бросился на своего Кортика, я сѣлъ на выслужившую свои лѣта жандармскую клячу, и мы выѣхали въ поле. Точно кто-нибудь близкій умеръ, такъ было тяжело; до сихъ поръ, Огаревъ и я, мы думали, что славимъ, что дружба наша едетъ разногласіе какъ пыль; но тонъ и смыслъ послѣднихъ словъ открывалъ между нами даль, которой мы не предполагали. Такъ вотъ она межа—предѣль, и съ тѣмъ вмѣстѣ цензура! Всею дорогою ни Огаревъ, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой, и оба въ одинъ голосъ сказали: «И такъ, видно мы опять одни?»

Огаревъ взялъ тройку и поѣхалъ въ Москву, на дорогѣ сочинилъ онъ небольшое стихотвореніе, изъ котораго я взялъ эпиграфъ.

... Ни скорбь, ни скука

Не утомятъ меня. Всему свой срокъ,

Я правды рѣчь велъ строго въ дружномъ кругѣ,

Ушли друзья въ младенческомъ испугѣ.

И онъ ушелъ — котораго, какъ брата
Иль какъ сестру, такъ нѣжно я любилъ!

.....
.....
Опять одни мы въ грустный путь пойдемъ,
Объ истинѣ глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идутъ мимо...

Съ Грановскимъ я встрѣтился на другой день какъ ни въ чемъ не бывало, дурной признакъ съ обѣихъ сторонъ. Боль еще была такъ жива, что не имѣла словъ; а нѣмая боль, не имѣющая исхода, какъ мышь середь тишины, перегрызаетъ нить за нитью...

Дни черезъ два я былъ въ Москвѣ. Мы поѣхали съ Огаревымъ къ Е. К. Онъ былъ какъ-то предупредительно любезенъ, грустно милъ съ нами, будто ему насъ жаль. Да что же это такое, точно мы сдѣлали какое-нибудь преступленіе? Я прямо спросилъ Е. К., слышалъ ли онъ о нашемъ спорѣ? Онъ слышалъ; говорилъ, что мы всѣ слишкомъ погорячились изъ-за отвлеченныхъ предметовъ; доказывалъ, что того идеальнаго тождества между людьми и мнѣніями, о которыхъ мы мечтаемъ, вовсе нѣтъ, что симпатіи людей, какъ химическое сродство, имѣютъ свой предѣлъ насыщенія, черезъ который переходить нельзя, не наткнувшись на тѣ стороны, въ которыхъ люди становятся вновь посторонними. Онъ шутилъ надъ нашей молодостью, пережившей тридцать лѣтъ, и все это онъ говорилъ съ дружбой, съ деликатностью,—видно было, что и ему не легко.

Мы разстались мирно. Я, не много краснѣя, думалъ о моей «наивности», а потомъ, когда остался одинъ и легъ въ постель, мнѣ показалось, что еще кусокъ сердца отхватили—ловко, безъ боли, но его нѣтъ!

Далѣе не было ничего... а только все подернулось чѣмъ-то темнымъ и матовымъ; непринужденность, полный abandon исчезли въ нашемъ кругѣ. Мы сдѣлались внимательнѣе, обходили нѣкоторые вопросы, т. е., дѣйствительно отступили на «границу химическаго сродства», и все это приносило тѣмъ больше горечи и боли, что мы искренно и много любили другъ друга.

Можетъ, я былъ слишкомъ нетерпимъ, заносчиво спорилъ, колко отвѣчалъ... можетъ быть... но въ сущности, я и теперь убѣжденъ, что въ дѣйствительно близкихъ отношеніяхъ тождество *religii* необходимо, тождество въ главныхъ теоретическихъ убѣжденіяхъ. Разумѣется, одного теоретическаго согласія недостаточно для близкой связи между людьми; я былъ ближе по симпатіи, напр., съ И. В. Кирѣевскимъ, чѣмъ съ многими изъ нашихъ. Еще больше, можно быть хорошимъ и вѣрнымъ союзникомъ, схо-

дьясь въ какомъ-нибудь опредѣленномъ дѣлѣ и расходясь въ мнѣніяхъ; въ такомъ отношеніи я былъ съ людьми, которыхъ безконечно уважалъ, не соглашаясь въ многомъ съ ними, напр., съ Мадцини, съ Ворцелемъ. Я не искалъ ихъ убѣдить, ни они меня, у насъ довольно было общаго, чтобы идти, не ссорясь, по одной дорогѣ. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнью, нельзя было такъ глубоко расходиться.

Еще бы у насъ было неминуемое дѣло, которое бы насъ совершенно поглотило, а то вѣдь, собственно, вся наша дѣятельность была въ сферѣ мышленія и пропаганды нашихъ убѣжденій... Какіе же могли быть уступки на этомъ полѣ?..

Трещина, которую дала одна изъ стѣнъ нашей дружеской хранины, увеличилась, какъ всегда бываетъ, мелочами, недоразумѣніями, ненужной откровенностью тамъ, гдѣ лучше было бы молчать,—и вреднымъ молчаніемъ тамъ, гдѣ необходимо было говорить; эти вещи рѣшаетъ одинъ тактъ сердца, тутъ нѣтъ правилъ.

Вскорѣ и въ дамскомъ обществѣ все разладилось...

На ту минуту нечего было дѣлать.

Ѣхать — ѣхать вдаль, надолго, непременно ѣхать! Но ѣхать было не легко. На ногахъ была веревка полицейскаго надзора и безъ разрѣшенія—заграничнаго паспорта мнѣ выдать было невозможно.

Г Л А В А XXXIII.

Частный приставъ въ должности камердинера.—Оберъ-полицмейстеръ Кокошкинъ.—«Безпорядокъ въ порядкѣ». — Еще разъ Дуббельтъ.—Паспортъ.

... За нѣсколько мѣсяцевъ до кончины моего отца, графъ Орловъ былъ назначенъ на мѣсто Бенкендорфа. Я написалъ тогда къ Ольгѣ Александровнѣ, не можетъ ли она мнѣ выхлопотать заграничнаго пасса или какой-нибудь видъ для пріѣзда въ Петербургъ, чтобъ самому достать его. О. А. отвѣчала, что второе легче, и я получилъ черезъ нѣсколько дней отъ Орлова «высочайшее» разрѣшеніе пріѣхать въ Петербургъ на короткое время для устройства дѣлъ. Болѣзнь моего отца, его кончина, дѣйствительное устройство дѣлъ и нѣсколько мѣсяцевъ на дачѣ задержали меня до зимы. Въ концѣ ноября я отправился въ Петербургъ, предварительно подавъ просьбу генераль-губернатору о пассѣ. Я зналъ, что онъ не могъ разрѣшить, потому что я все еще былъ подѣ строгимъ надзоромъ полиціи, мнѣ хотѣлось одного, чтобъ онъ послалъ запросъ въ Петербургъ.

Въ день отъѣзда, я утромъ послалъ ввать билетъ изъ полиціи, но вмѣсто билета явился квартальный сказать, что есть какія-то затрудненія и что самъ частный приставъ будетъ ко мнѣ. Приѣхалъ и онъ, и, попросивши, чтобъ я остался съ нимъ, наединѣ, онъ таинственно объявилъ мнѣ новость, что мнѣ пять лѣтъ тому назадъ въѣздъ въ Петербургъ запрещенъ, и что безъ высочайшаго повелѣнія онъ билета не подпишетъ.

— За этимъ у насъ дѣло не станетъ, сказалъ я смѣясь, и вынулъ изъ кармана письмо.

Частный приставъ, сильно удивленный, прочитавъ, попросилъ дозволеніе показать оберъ-полицмейстеру и часа черезъ два прислалъ мнѣ билетъ и мою бумагу.

Надобно сказать, что половину разговора мой приставъ велъ на необыкновенно очищенномъ французскомъ языкѣ. Насколько вредно частному приставу и вообще русскому полицейскому знать по-французски; онъ испыталъ очень горько.

За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, приѣхалъ въ Москву съ Кавказа какой-то путешественникъ, легитимистъ певалье Про. Онъ былъ въ Персіи, въ Грузіи, много видѣлъ и имѣлъ неосторожность сильно критиковать тогдашнія военныя дѣйствія на Кавказѣ и особенно администрацію. Воясь, что Про будетъ тоже говорить въ Петербургѣ, генераль-губернаторъ кавказскій благоразумно написалъ военному министру, что Про преопасный военный агентъ со стороны французскаго правительства. Про жилъ преспокойно въ Москвѣ и былъ хорошо принятъ княземъ Д. В. Голицынымъ; какъ вдругъ князь получилъ приказъ отправить его съ полицейскимъ чиновникомъ изъ Москвы за границу. Сдѣлать такую глупость и такую грубость надъ знакомымъ всегда труднѣе, и потому Голицынъ, помявшись дни два, пригласилъ къ себѣ Про и послѣ краснорѣчиваго вступленія, наконецъ, сказалъ ему, что каніе-то доносы, вѣроятно съ Кавказа, дошли до государя и что онъ приказалъ ему оставить Россію, что, впрочемъ, даже ему дадутъ провожатаго...

Про, разсерженный, замѣтилъ князю, что такъ какъ правительство имѣетъ право высылать, то онъ вѣхать готовъ; но провожатаго не возьметъ, не считая себя преступникомъ, котораго слѣдуетъ конвоировать.

На другой день, когда полицмейстеръ приѣхалъ къ Про, тотъ его встрѣтилъ съ пистолетомъ въ рукѣ, объявляя настроѣнъ, что онъ ни въ комнату, ни въ свою коляску не пуститъ полицейскаго, не пославши ему пули въ лобъ, если тотъ захочетъ употребить силу.

Голицынъ былъ вообще очень порядочный человекъ и потому затрудненъ; онъ послалъ за Вейеромъ, французскимъ кон-

суломъ, чтобъ посовѣтоваться, какъ быть. Вейеръ нашель ехре-
дient, онъ потребоваль полицейскаго, хорошо говорящаго по-фран-
цузски, и общалъ его представить Про, какъ путешественника,
просящаго уступить ему мѣсто въ коляскѣ Про за половину про-
гоновъ.

Съ первыхъ словъ Вейера Про догадался, въ чемъ дѣло.

— Я не торгую мѣстами въ моей коляскѣ, сказалъ онъ консулу.

— Человѣкъ этотъ будетъ въ отчаяніи.

— Хорошо, сказалъ Про, — я его беру даромъ, за это пусть онъ
возьметъ на себя маленькія услуги, — да не капризникъ-ли это
какой? Я его тогда брошу на дорогѣ.

— Самый услужливый въ мірѣ человѣкъ, вы просто распо-
ряжайтесь имъ. Я васъ благодарю за него. И Вейеръ носкакаль
къ князю Голицыну объявить о своемъ торжествѣ.

Вечеромъ Про и bona fide traveller отправились. Про мол-
чалъ всю дорогу; на первой станціи онъ взошелъ въ комнату и
легъ на диванъ.

— Ей! закричалъ онъ товарищу, подите сюда, снимите сапоги.

— Что вы, помилуйте, съ какой стати?

— Вамъ говорятъ, снимите сапоги, или я васъ брошу на до-
рогѣ, вѣдь я не держу васъ.

Снялъ мой полицейскій офицеръ сапоги...

— Вытрясите ихъ и вычистите.

— Это изъ рукъ вонъ!

— Ну, оставайтесь!..

Вычистилъ офицеръ сапоги.

На слѣдующей станціи та-же исторія съ платьемъ, и такъ
Про тормозилъ его до самой границы.

На третій день послѣ моего пріѣзда въ Петербургъ, дворникъ
пришелъ спросить отъ квартальнаго, «по какому виду я пріѣхаль
въ Петербургъ?» Единственный видъ, бывшій у меня, указъ объ
отставкѣ, былъ мною представленъ генераль-губернатору при
просьбѣ о пассѣ. Я далъ дворнику билетъ, но дворникъ возвра-
тился съ замѣчаніемъ, что билетъ годенъ для выѣзда изъ Москвы,
а не для вѣзда въ Петербургъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ пришелъ по-
лицейскій съ приглашеніемъ въ канцелярію оберъ-полицмейстера.
Отправился я въ канцелярію Кокошкина (днемъ освѣщенную
лампами!), черезъ часъ времени онъ пріѣхаль. Кокошкинъ лучше
другихъ лицъ того же разбора выражалъ чернорабочаго времен-
щика, безъ совѣсти, безъ размышленія, — онъ служилъ и нажи-
вался такъ же естественно, какъ птицы поютъ.

Перовскій сказалъ Николаю, что Кокошкинъ сильно беретъ
взятки. «Да, отвѣчалъ Николай, но я сплю спокойно, зная, что
онъ полицмейстеромъ въ Петербургѣ».

Я посмотрѣлъ на него, пока онъ толковалъ съ другими... какое измятое, старое и дряхло-растлѣнное лицо; на немъ былъ завитой парикъ, который вопіюще противурѣчилъ опустившимся чертамъ и морщинамъ.

Поговоривши съ какими-то нѣмками по-нѣмецки и притомъ съ какой-то фамилиарностью, показывавшей, что это старыя знакомыя, что видно было и изъ того, что нѣмки хохотали и шушукались, Кокошкинъ подошелъ ко мнѣ и, смотря внизъ, довольно грубымъ голосомъ спросилъ:

— Вѣдь, вамъ высочайше запрещенъ вѣздъ въ Петербургъ?

— Да, но я имѣю разрѣшеніе.

— Гдѣ оно?

— У меня.

— Покажите—какъ же, вы это второй разъ пользуетесь, тѣмъ же разрѣшеніемъ?

— Какъ во второй разъ?

— Я помню, что вы пріѣзжали.

— Я не пріѣзжалъ.

— И какія это у васъ дѣла здѣсь?

— У меня есть дѣло къ графу Орлову.

— Что-же, вы были у графа?

— Нѣтъ, но былъ въ третьемъ отдѣленіи.

— Видѣли Дуббельта?

— Видѣлъ.

— А я вчера видѣлъ самого Орлова, онъ говоритъ, что никакого разрѣшенія вамъ не посылалъ.

— Оно у васъ въ рукахъ.

— Богъ знаетъ когда это писано, и время прошло.

— Впрочемъ, странно было бы съ моей стороны пріѣхать безъ позволенія и начать съ визита генералу Дуббельту.

— Коли не хотите хлопотъ, такъ извольте отправляться назадъ и то недалше какъ черезъ двадцать четыре часа.

— Я вовсе не располагался пробыть здѣсь долго, но мнѣ нужно же подождать отвѣтъ графа Орлова.

— Я вамъ не могу позволить, да и графъ Орловъ очень недоволенъ, что вы пріѣхали безъ позволенія.

— Позвольте мнѣ мою бумагу, я сейчасъ поѣду къ графу.

— Она должна остаться у меня.

— Да, вѣдь, это письмо ко мнѣ, на мое имя, единственный документъ, по которому я здѣсь.

— Бумага останется у меня какъ доказательство, что вы были въ Петербургѣ. Я вамъ серьезно совѣтую завтра ѣхать, чтобъ не было хуже.

Онъ кивнулъ головой и вышелъ. Вотъ тутъ и толкуй съ ними.

У старика генерала Тучкова былъ процессъ съ казной. Староста его взялъ какой-то подрядъ, наплутовалъ и попался подъ начеть. Судъ велѣлъ взыскать деньги съ помѣщика, давшаго довѣренность старостѣ. Но довѣренности на этотъ предметъ вовсе не было дано. Тучковъ такъ и отвѣчалъ. Дѣло пошло въ сенатъ. Сенатъ снова рѣшилъ: «Такъ какъ отставной генераль-лейтенантъ Тучковъ далъ довѣренность... то...» На что Тучковъ опять отвѣчалъ: «А такъ какъ генераль-лейтенантъ Тучковъ довѣренности на этотъ предметъ не давалъ, то...» Прошелъ годъ, снова полиція объявляетъ съ строжайшимъ подтвержденіемъ: «Такъ какъ генераль-лейтенантъ... то...», и опять старикъ пишетъ свой отвѣтъ. Не знаю, чѣмъ это интересное дѣло кончилось. Я оставилъ Россію, не дождавшись рѣшенія.

Все это вовсе не исключеніе, а совершенно нормально. Кокшкинъ держитъ въ рукахъ бумагу, въ достовѣрности которой не сомнѣвается, на которой стоитъ № и число для легкой справки, въ которой написано, что мнѣ разрѣшается пріѣздъ въ Петербургъ, и говорить: «А такъ какъ вы пріѣхали безъ позволенія, то отправляйтесь назадъ», и бумагу кладетъ въ карманъ.

Чаадаевъ дѣйствительно правъ, говоря объ этихъ господахъ: «Какіе они всѣ шалуны!»

Я поѣхалъ въ III отдѣленіе и рассказалъ Дуббельту, что было. Дуббельтъ расхохотался.

— Какъ это они вѣчно все перенутаютъ! Кокшкинъ доложилъ графу, что вы пріѣхали безъ позволенія, графъ и сказалъ, чтобъ васъ выслали, но я потомъ объяснилъ дѣло; вы можете жить, сколько хотите, я сейчасъ велю написать въ полицію. Но теперь объ вашемъ дѣлѣ графъ не думаетъ, чтобъ полезно было просить вамъ позволеніе ѣхать за границу. Государь вамъ два раза отказалъ, послѣдній разъ по просьбѣ графа Строгонова; если онъ откажетъ въ третій разъ, то въ это царствованіе вы ужъ, конечно, не поѣдете къ *водамъ*.

— Что же мнѣ дѣлать? спросилъ я съ ужасомъ, такъ мысль путешествія и воли обжилась въ моей груди.

— Отправляйтесь въ Москву: графъ напишетъ генераль-губернатору частное письмо о томъ, что вы желаете для здоровья вашей супруги ѣхать за границу, и спроситъ его, замѣтивъ, что знаетъ васъ съ самой лучшей стороны, думаетъ-ли онъ, что можно съ васъ снять надзоръ? На такой вопросъ нечего отвѣчать, кромѣ «да». Мы представимъ государю о снятіи надзора, тогда берите себѣ паспортъ какъ всѣ другіе и съ Богомъ къ какимъ хотите *водамъ*.

Мнѣ казалось все это чрезвычайно сложнымъ и даже просто уловкой, чтобъ отдѣлаться отъ меня. Отказать мнѣ они не могли,

это навлекло бы на нихъ гоненіе Ольги Александровны, у которой я бывалъ всякой день. Однажды уѣхавши изъ Петербурга, я не могъ еще разъ пріѣхать; переписываться съ этими господами дѣло трудное. Долю моихъ сомнѣній я сообщилъ Дуббельту: онъ началъ хмуриться, т. е., еще больше улыбаться ртомъ и щурить глазами.

— Генераль, сказалъ я въ заключеніе, не знаю, а мнѣ даже не вѣрится, что до государя дошло представленіе Строгонова?

Дуббельтъ позвонилъ и велѣлъ подать «дѣло» обо мнѣ и, ожидая его, добродушно сказалъ мнѣ:

— Графъ и я, мы предлагаемъ вамъ тотъ путь для полученія паспорта, который мы считаемъ вѣрнѣйшимъ; ежели у васъ есть средства болѣе вѣрныя, употребите ихъ, вы можете быть увѣрены, что мы вамъ не помѣшаемъ.

— Леонтій Васильевичъ совершенно правъ, замѣтилъ какой-то тробовой голосъ; я обернулся, возлѣ меня стоялъ еще болѣе сѣдой и состарившійся Сахтынскій, который принималъ меня пять лѣтъ тому назадъ въ томъ же III отдѣленіи.

— Я вамъ *советую* руководствоваться его мнѣніемъ, если хотите ѣхать.

Я поблагодарилъ его.

— А вотъ и дѣло, сказалъ Дуббельтъ, принимая толстую тетрадь изъ рукъ чиновника (что бы я далъ—прочеть ее всю! Въ 1850 г. я видѣлъ въ кабинетѣ Карлье мой «досье» въ Парижѣ; интересно было бы сличить); порывшись въ ней, онъ мнѣ ее подалъ раскрытую; это была докладная записка Бенкендорфа вслѣдствіе письма Строгонова, просившаго мнѣ разрѣшеніе ѣхать на шесть мѣсяцевъ къ водамъ въ Германію. На полѣ было крупно написано карандашемъ «рано», по карандашу было проведено лакомъ, внизу написано было перомъ: «рукою е. и. в. написано рано. Графъ А. Бенкендорфъ».

— Вѣрите теперь? спросилъ Дуббельтъ.

— Вѣрю, отвѣчалъ я,—и такъ вѣрю вашимъ словамъ, что завтра же ѣду въ Москву.

— Да вы, пожалуй, погуляйте у насъ, полиція теперь васъ беспокоить не будетъ, а передъ отъѣздомъ заѣзжайте, я велю вамъ показать письмо къ Щербатову. Прощайте, bon voyage, если не увидимся.

— Счастливаго пути, прибавилъ Сахтынскій.

Мы разстались, какъ видите, пріятельски.

Пріѣхавъ домой, я нашелъ приглашеніе отъ частнаго пристава, кажется, II адмиралтейской части. Онъ меня спрашивалъ, когда я выѣзжаю.

— Завтра вечеромъ.

— Помилуйте, да кажется, я думалъ... генераль говорилъ сегодняшняго числа. Его превосходительство, конечно, отсрочить, но позвольте быть удостовѣрену?

— Можете, можете; кстати дайте мнѣ билетъ.

— Я его напишу въ части и пришлю часа черезъ два. Въ какомъ заведеніи изволите ѣхать?

— Въ Серапинскомъ, если найду мѣсто.

— И прекрасно, а въ случаѣ, если мѣста не найдете, благоволите сообщить.

— Съ удовольствіемъ.

Вечеромъ опять явился квартальный: частный приставъ велѣлъ мнѣ сказать, что *не можетъ* выдать мнѣ билета, а чтобъ я пришелъ завтра въ *восемь часовъ* утра къ оберъ-полицмейстеру.

Что за пропасть такая и что за скука! Въ 8 часовъ я не пошелъ, а въ продолженіи утра явился въ канцелярію. Частный приставъ былъ тамъ и сказалъ мнѣ:

— Вамъ нельзя ѣхать есть бумага изъ III отдѣленія.

— Что случилось?

— Не знаю, генераль не велѣлъ выдавать билета.

— Правитель дѣлъ знаетъ?

— Какъ не знать, и онъ мнѣ указалъ полковника въ мундирѣ и саблѣ, сидѣвшаго за большимъ столомъ въ другой комнатѣ, я спросилъ его, въ чемъ дѣло.

— Точно-съ, сказалъ онъ, была бумага, да вотъ она,—онъ прочиталъ ее и подаль мнѣ. Дуббельтъ писалъ, что я имѣлъ полное право пріѣхать въ Петербургъ и могу остаться, *сколько хочу*.

— Поэтому-то вы меня не пускаете? Извините, я не могу удержаться отъ смѣха: вчера оберъ-полицмейстеръ гналъ меня отсюда противъ моей воли, сегодня противъ моей воли оставляетъ, и все это на томъ основаніи, что въ бумагѣ сказано, что я могу остаться, *сколько хочу*.

Дѣло было такъ очевидно, что самъ полковникъ-секретарь расхохотался.

— На что-же я брошу деньги за два мѣста въ дилижансѣ, велите, пожалуйста, написать билетъ.

— Я не могу, а пойду доложить генералу.—Кокоскинъ велѣлъ написать билетъ и, проходя по канцеляріи, съ упрекомъ сказалъ мнѣ:

— На что это похоже, то хотите остаться, то ѣдете; вѣдь, сказано, что можете остаться.

Я ему ничего не отвѣчалъ.

Когда вечеромъ мы выѣхали изъ-за заставы и я снова увидѣлъ безконечную поляну, тянущуюся къ Четыремъ Рукамъ, я посмотрѣлъ на небо и искренно присягнувъ себѣ не возвращаться

въ этотъ городъ канцелярскаго безпорядка, лакейской дерзости, жандармской поэзіи, въ которомъ учтивъ одинъ Дуббельтъ да и тотъ начальникъ III отдѣленія.

Щербатовъ неохотно отвѣчалъ Орлову. У него тогда былъ секретаремъ не полковникъ, а піэтистъ, ненавидѣвшій меня за мои статьи, какъ «аея и гегельянца». Я самъ ѣздилъ толковать съ нимъ. Схи-секретарь елейнымъ голосомъ и съ христіанскимъ помазаніемъ говорилъ, что генераль-губернатору ничего неизвѣстно обо мнѣ, что онъ въ моихъ высокихъ нравственныхъ качествахъ не сомнѣвается, но что слѣдуетъ забрать справки у оберъ-полицейстера. Онъ хотѣлъ затянуть дѣло; къ тому же этотъ господинъ не бралъ взятокъ. Въ русской службѣ всего страшнѣе безкорыстные люди; взятокъ у насъ наивно не берутъ только нѣмцы, а если русскій не беретъ деньгами, то беретъ чѣмъ-нибудь другимъ и ужъ такой злодѣй, что не приведи Богъ. По счастью, оберъ-полицейстеръ Лужинъ одобрилъ меня.

Дней черезъ десять, возвращаясь домой, я въ дверяхъ столкнулся съ жандармомъ. Появленіе полицейскаго въ Россіи равняется черепицѣ, упавшей на голову, и потому не безъ особенно непріятнаго чувства ждалъ я, что онъ мнѣ скажетъ: онъ подалъ мнѣ пакетъ. Графъ Орловъ извѣщалъ о высочайшемъ повелѣніи снять надзоръ. Съ тѣмъ вмѣстѣ я получалъ *право на заграничный пассъ*.

Ну, радуйтесь! Я отпущенъ!
Я отпущенъ въ страны чужія!
Да это, полно-ли, не сонъ?
Нѣтъ, завтра-жъ кони почтовые,
И я скачу vom Ort zu Ort,
Отдавши деньги за паспортъ.
Поѣду. Что-то будетъ тамъ?...
Не знаю! вѣрю! но темно
Грядущее передъ очами,
Богъ вѣсть, что мнѣ сулитъ оно!
Стою со страхомъ предъ дверями
Европы. Сердце такъ полно
Надеждой, смутными мечтами,
Но я въ сомнѣніи, другъ мой,
Качая грустной головой. (Юморъ, ч. II).

...«Шесть, семь троекъ провожали насъ до Черной Грязи... мы тамъ въ послѣдній разъ сдвинули стаканы и рыдая разстались.

«Былъ ужъ вечеръ, возокъ заскрипѣлъ по снѣгу... Вы смотрѣли печально вслѣдъ, но не догадывались, что то были похороны и вѣчная разлука. Всѣ были налицо, одного только не доставало, ближайшаго изъ близкихъ, онъ одинъ былъ боленъ и какъ будто своимъ отсутствіемъ омылъ руки въ моемъ отъѣздѣ.

«Это было 21 января, 1847 года».....

...Унтеръ-офицеръ отдалъ мнѣ пазы; небольшой, старый солдатъ въ неуклюжемъ киверѣ, покрытомъ клеенкой, и съ ружьемъ неимоверной величины и тяжести, поднялъ шлагбаумъ; уральскій казакъ съ узенькими глазками и широкими скулами, державшій поводья своей небольшой лошаденьки, шершавой, растрепанной и сплошь украшенной ледяными сосульками, подошелъ ко мнѣ «пожелать счастливаго пути»; грязной, худой и блѣдный жиденокъ ямщикъ, у котораго шея была обвернута раза четыре какими-то тряпками, взбирался на козлы.

— Прощайте! Прощайте! говорилъ во-первыхъ нашъ старый знакомецъ Карлъ Ивановичъ, проводившій насъ до Таурогена, и кормилица Таты, красивая крестьянка, заливавшаяся слезами.

Жиденокъ тронулъ коней, возокъ двинулся, я смотрѣлъ назадъ, шлагбаумъ опустился, вѣтеръ мель снѣгъ изъ Россіи на дорогу, поднимая какъ-то вкось хвостъ и гриву казацкой лошади.

Кормилица въ сарафанѣ и душегрѣйкѣ все еще смотрѣла намъ вслѣдъ и плакала; Зоненбергъ, этотъ образчикъ родительскаго дома, эта забавная фигура изъ дѣтскихъ лѣтъ, махалъ фуляромъ; кругомъ—безконечная степь снѣгу.

— Прощай, Татьяна! Прощайте, Карлъ Ивановичъ!

Вотъ столбъ и на немъ обсыпанный снѣгомъ *одноглавый* и худой орелъ съ растопыренными крыльями.

Прощайте!

ПРИБАВЛЕНІЕ

КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

„Былого и Думъ“.

Н. Х. К.

(1842—1847).

Мнѣ приходится говорить о К. опять; и на этотъ разъ гораздо подробнѣе. Возвратившись изъ ссылки, я засталъ его по прежнему въ Москвѣ. Онъ, впрочемъ, до того сросся и сжился съ Москвой, что я не могу себѣ представить Москву безъ него, или его въ какомъ-нибудь другомъ городѣ. Какъ-то онъ попробовалъ перебраться въ Петербургъ, но не выдержалъ шести мѣсяцевъ, бросилъ свое мѣсто и снова явился на берега Неглинной, въ кофейной Бажанова, проповѣдывать вольный образъ мыслей офицерамъ, играющимъ на бильярдѣ, поучать актеровъ драматическому искусству, переводить Шекспира и любить до притѣсненія прежнихъ друзей своихъ. Правда, теперь у него былъ и новый кругъ, т. е., кругъ Бѣлинскаго, Бакунина; но, хотя онъ ихъ и поучалъ денно и ночью, однако душою и сердцемъ все же держался насъ.

Ему было тогда лѣтъ подъ сорокъ, но онъ рѣшительно остался старымъ студентомъ. Какъ это случилось? Это-то и надобно прослѣдить.

К. по всему принадлежитъ къ тѣмъ страннымъ личностямъ, которыя развились на окраинѣ Петровской Россіи, особенно послѣ 1812 г., и какъ ея послѣдствіе, какъ ея жертвы и косвенно какъ ея выходъ. Люди эти сорвались съ общаго пути, тяжелаго и безобразнаго, и никогда не попадали на свой собственный, искали его и на этомъ исканіи останавливались. Въ этой пожертвованной шеренгѣ черты очень разны: не всѣ похожи на Онѣгина или Печорина, не всѣ лишніе и праздные люди; а есть люди, трудившіеся и ни въ чемъ не успѣвшіе,—люди неу-

давшіея. Мнѣ тысячу разъ хотѣлось передать рядъ своеобразныхъ фигуръ, рѣзкихъ портретовъ, снятыхъ съ натуры, и я невольно останавливался, подавленный матеріаломъ. Въ нихъ нѣтъ стаднаго, рядскаго; чекагъ розный, но одна общая связь связуетъ ихъ, или, лучше, одно *общее несчастье*; вглядываясь въ темно-сѣрый фонъ, видны солдаты, крѣпостные, колодники, бритые лбы, клейменные лица, словомъ, петербургская Россія. Ею они несчастны, и нѣтъ силъ ни переварить ее, ни вырваться, ни помочь дѣлу. Они хотятъ бѣжать съ полотна и не могутъ: земли нѣтъ подъ ногами; хотятъ кричать,—языка нѣтъ, да нѣтъ и уха, которое бы слышало.

Дивиться нечему, что при этомъ потерянномъ равновѣсіи больше развивалось оригиналовъ и чудаковъ, чѣмъ практически-полезныхъ людей, чѣмъ неутомимыхъ работниковъ, что въ ихъ жизни было столько же неустроеннаго и безумнаго, какъ хорошаго и чисто человѣческаго.

Отецъ К. былъ инструментальный мастеръ. Онъ славился своими хирургическими инструментами и высокой честностью. Онъ умеръ рано, оставивъ большую семью на рукахъ вдовы и очень разстроеннаго дѣла. Происхожденіемъ онъ былъ, кажется, шведъ. Стало, объ истинной связи, о той непосредственной связи съ народомъ, которая всасывается съ молокомъ, съ первыми играми, даже въ господскомъ домѣ, не можетъ быть и рѣчи. Общество иностранныхъ производителей, индустриаловъ, ремесленниковъ и ихъ хозяевъ составляетъ замкнутый кругъ жизни, — привычками, интересами, всѣмъ на свѣтѣ отдѣленный и отъ верхняго, и отъ низшаго русскаго слоя. Часто эта среда внутри своей семейной жизни гораздо нравственнѣе и чище, чѣмъ дикая тиранія и затворническій развратъ нашего купечества, чѣмъ печальное и тяжелое пьянство мѣщанъ, чѣмъ узкая, грязная и основанная на воровствѣ жизнь чиновниковъ, но тѣмъ не меньше она совершенно чуждая окружающему міру, иностранная, дающая съ самаго начала другой плі и другія основы.

Мать К. была русская, вѣроятно отъ того К. и не сдѣлался иностранцемъ. Въ воспитаніе дѣтей, я не думаю, чтобъ она входила; но чрезвычайно важно было то, что дѣти были крещены въ православной вѣрѣ, т. е., не имѣли никакой. Будь они лютеране или католики, они совѣмъ бы отошли на нѣмецкую сторону, они ходили бы въ ту или другую кирку и вступили бы незамѣтно въ выдѣляющуюся, обособляющуюся Gemeinde, съ ея партіями и приходскими интересами. Въ русскую церковь, конечно, К. никто не посылалъ; сверхъ того, если онъ иногда и хаживалъ туда ребенкомъ, то она не имѣетъ того паутиннаго свойства, какъ ея сестры, особенно на чужбинѣ.

Когда пришло время, К. поступилъ въ Медико-хирургическую академію. Это было тоже чисто иностранное заведеніе, и тоже не особенно православное. Тамъ проповѣдывалъ Just Christian Loder, другъ Гёте, учитель Гумбольдта, одинъ изъ той плеяды сильныхъ и свободныхъ мыслителей, которые подняли Германію на ту высоту, о которой она не мечтала. Для этихъ людей наука еще была религіей, пропагандой военной; имъ самимъ свобода отъ теологическихъ цѣпей была нова, они еще помнили борьбу, они вѣрили въ побѣду и гордились. Возлѣ него стояли Фишеръ Вальдгеймскій и операторъ Гильдебрандтъ, о которыхъ я говорилъ въ другомъ мѣстѣ. Ни слова русскаго, ни русскаго лица, а разные другіе нѣмецкіе адъюнкты, лаборанты, прозекторы и фармацевты: все русское было отодвинуто на второй планъ. Одно исключеніе мы только и помнимъ, это Дядьковскій. К. чтилъ его память, и онъ, вѣроятно, имѣлъ хорошее вліяніе на студентовъ; впрочемъ, медицинскіе факультеты и въ позднѣйшее время жили не общей жизнью университетовъ, составленные изъ двухъ націй: нѣмцевъ и семинаристовъ, а занимались своимъ *дѣломъ*.

Этого дѣла показалось мало К., и это лучшее доказательство тому, что онъ не былъ нѣмецъ и не искалъ прежде всего профессіи.

Особенной симпатіи къ своему домашнему кругу онъ не могъ имѣть; съ молодыхъ лѣтъ любилъ онъ жить особнякомъ. Остальная окружающая среда могла только оскорблять и отталкивать его. Онъ принялся читать и читать Шиллера.

К. впоследствии перевелъ всего Шекспира, но Шиллера съ себя стереть не могъ.

Шиллеръ былъ необыкновенно по плечу нашему студенту. Пова и Максъ, Карлъ Моръ и Фердинандъ, студенты, разбойники-студенты,—все это протестъ перваго разсвѣта, перваго негодованія. Больше дѣятельный сердцемъ, чѣмъ умомъ, К. понялъ, овладѣлъ поэтической рефлексіей Шиллера, его революціонной философіей въ діалогахъ и на нихъ остановился. Онъ былъ удовлетворенъ, критика и скептицизмъ были для него совершенно чужды.

Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ Шиллера, онъ попалъ на другое чтеніе и нравственная жизнь его была окончательно рѣшена. Все остальное проходило безслѣдно, мало занимало его. Девяностые годы, эта громадная, колоссальная трагедія въ Шиллеровскомъ родѣ, съ рефлексіями и кровью, съ мрачными добродѣтелями и свѣтлыми идеалами, съ тѣмъ же характеромъ разсвѣта и протеста, поглотили его. Отчета К. и тутъ себѣ не давалъ. Онъ бралъ французскую революцію, какъ библейскую ле-

генду; онъ вѣрилъ въ нее, онъ любилъ ея лица, имѣлъ личныя къ ней пристрастія и ненависти: за кулисы его ничто не звало.

Такимъ я его встрѣтилъ въ 1831 году у Пассека и такимъ оставилъ въ 1847 году на Черной Грязи.

Мечтатель; не романтическій, а, такъ сказать, этико-политическій, врядъ ли могъ найти въ тогдашней Медико-хирургической академіи ту среду, которую искалъ. Червь точилъ его сердце и врачебная наука не могла заморить его. Отходя отъ окружающихъ людей, онъ больше и больше вживался въ одно изъ тѣхъ лицъ, которыми было полно его воображеніе. Наталкиваясь вездѣ на совѣтъ другіе интересы, на мелкихъ людшекъ, онъ сталъ дичать, привыкъ хмурить брови, говорить безъ нужды горькія истины и истины всѣмъ извѣстныя, старался жить какимъ-то лафонтеновскимъ «Зондерлингомъ», какимъ-то «Робинсономъ въ Сокольникахъ». Въ небольшомъ саду ихъ дома была бесѣдка, туда перебрался «лекаръ К. и принялся переводить лекаря Шиллера», какъ въ тѣ времена острилъ Н. А. Полевой. Въ бесѣдкѣ дверь не имѣла замка... въ ней было трудно повернуться: это-то и было надобно. Утромъ копался онъ въ саду, сажалъ и пересаживалъ цвѣты и кусты, даромъ лечилъ бѣдныхъ людей въ окологдкѣ, правилъ корректуру «Разбойниковъ» и «Фіески», и, вмѣсто молитвы на сонъ грядущій, читалъ рѣчи Марата и Робеспьера. Словомъ, если-бъ онъ меньше занимался книгами и больше заступомъ, онъ былъ бы тѣмъ, чѣмъ желалъ Руссо, чтобы былъ каждый.

Съ нами К. сблизился черезъ Вадима въ 1831 году. Въ нашемъ кружкѣ, состоявшемъ тогда, сверхъ насъ двоихъ, изъ Сазонова, старшихъ Пассековъ и еще двухъ-трехъ студентовъ, онъ увидѣлъ какой-то зачатокъ исполненія своихъ завѣтныхъ мечтаній, новые всходы на плотно скошенной нивѣ въ 1826 году, и потому горячо къ намъ придвинулся. Постарше насъ, онъ вскорѣ овладѣлъ «цензурой нравовъ» и не давалъ намъ дѣлать шагу безъ замѣчаній, а иногда и выговора. Мы вѣрили, что онъ практической человѣкъ и опытный больше насъ, сверхъ того, мы любили его, и очень. Занемогъ ли кто, К. являлся сестрой милосердія и не оставлялъ больного, пока тотъ оправлялся. Когда взяли Кольрейфа, Антоновича и др., К. первый пробрался къ нимъ въ казармы, развлекалъ ихъ, дѣлалъ имъ поученія и дошелъ до того, что жандармскій генералъ Лисовскій призывалъ его и внушалъ ему быть осторожнѣе и вспомнить свое званіе (штабъ-лекаръ!). Когда Надеждинъ, теоретически влюбленный, хотѣлъ тайно обвѣнчаться съ одной барышней, которой родители запретили думать о немъ, К. взялся ему помогать, устроилъ романтическій побѣгъ, и самъ, завернутый въ знаменитомъ плащѣ

чернаго цвѣта съ красной подкладкой, остался ждать завѣтнаго знака, сидя съ Надеждинымъ на лавочкѣ Рождественскаго бульвара. Знака долго не подавали. Надеждинъ унылъ и палъ духомъ. К. стойчески утѣшалъ его; отчаяніе и утѣшеніе подѣйствовали на Надеждина оригинально, онъ задремалъ. К. насупилъ брови и мрачно ходилъ по бульвару. «Она не придетъ, говорилъ Надеждинъ съ просонья, пойдѣмте спать». К. вдвое насупилъ брови, мрачно покачалъ головой и повелъ соннаго Надеждина домой. Вслѣдъ за ними вышла и дѣвушка въ сѣни своего дома, и условленный знакъ былъ повторенъ не одинъ, а десять разъ, и ждала она часть-другой; все тихо, она сама еще тише возвратилась въ свою комнату, вѣроятно поплакала, но зато радикально вылечилась отъ любви къ Надеждину. К. долго не могъ простить Надеждину эту сонливость и, покачивая головой, съ дрожащей нижней губой говорилъ: «онъ ее не любилъ!»

Участіе К. во время нашего тюремнаго заключенія, во время моей женитьбы, рассказано въ другихъ мѣстахъ. Пять лѣтъ, которые онъ оставался почти одинъ, съ 1834 до 1840, изъ нашего круга въ Москвѣ, онъ съ гордостью и доблестью представлялъ его, храня нашу традицію и не измѣняя ни въ чемъ ни юты. Такимъ мы его и застали, кто въ 1840, кто въ 1842; въ насъ ссылка, столкновение съ чужимъ міромъ, чтеніе и работа измѣнили многое; К., неподвижный представитель нашъ, остался тотъ же, только вмѣсто Шиллера переводилъ Шекспира.

Одна изъ первыхъ вещей, которой занялся К., чрезвычайно довольный, что старые друзья съѣзжались снова въ Москву, состояла въ возобновеніи своей цензуры *погиб*,—и тутъ оказались первыя шероховатости, которыхъ онъ долго не замѣчалъ. Его брань иногда сердила, чего прежде не бывало, иногда надоѣдала. Прежняя жизнь кипѣла такъ быстро и шла такъ обще, что никто не обращалъ вниманія на маленькіе камешки по дорогѣ. Время, какъ я сказалъ, измѣнило многое; личности развились рѣзче, развились розно; роль добраго, но ворчащаго дяди, часто была хуже, чѣмъ смѣшна; всѣ старались повернуть въ смѣшное, покрыть его дружбой, его чистыми намѣреніями ненужную искренность и обличительную любовь, и дѣлали очень дурно. Да, дурно было и то, что была необходимость покрывать, объяснять, натягивать. Если-бъ его остановили съ самаго начала, не выросли бы тѣ несчастныя столкновения, которыми заключилась наша московская жизнь въ началѣ 1847 года.

Впрочемъ, новые друзья не совсѣмъ были такъ снисходительны, какъ мы, и самъ Бѣлинскій, очень любившій его, выбившись иной разъ изъ силъ и столько же истерпѣвшій несправедливости, какъ самъ К., давалъ ему рѣзкіе уроки, на цѣлые мѣ-

сады переставая съ нимъ спорить. Холоднымъ или равнодушнымъ К. никогда не бывалъ. Онъ былъ постоянно въ пароксизмѣ преслѣдованія или въ припадкѣ любви, быстро переходя изъ самаго горячаго друга—въ уголовного судью; изъ этого ясно, что онъ всего менѣе выносилъ холодъ и молчаніе.

Тотчасъ послѣ ссоры или ряда крупныхъ обвиненій, К. развлекался, гнѣвъ проходилъ безслѣдно, вѣроятно внутренно бывалъ онъ недоволенъ собой, но никогда не сознавалъ; напротивъ, онъ старался всему придать видъ шутки и опять переходилъ за тѣ предѣлы, за которыми шутка не веселитъ. Это было вѣчное повтореніе знаменитаго «гусака» въ примиреніи Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Кто не видалъ дѣтей, которыя, закусивъ удила, нервно не могутъ остановиться въ какой-нибудь шалости; увѣренность въ томъ, что будетъ наказаніе, какъ будто усиливаетъ искушеніе. Чувствуя, что успѣлъ снова додразнить кого-нибудь до холодныхъ и колкихъ отвѣтовъ, онъ окончательно возвращался въ мрачное расположеніе духа, поднималъ брови, ходилъ большими шагами по комнатѣ, становился трагическимъ лицомъ изъ Шиллеровскихъ драмъ, присяжнымъ изъ суда Фукье-Тенвиля, произносилъ свирѣпымъ голосомъ рядъ обвиненій на всѣхъ насъ, обвиненій, не имѣвшихъ ни малѣйшаго основанія, самъ подъ конецъ убѣждался въ нихъ и, подавленный горемъ, что его друзья такіе мерзавцы, уходилъ угрюмо домой,—оставляя насъ ошеломленными, взбѣшенными до тѣхъ поръ, пока гнѣвъ ложился на милость и мы хохотали, какъ сумасшедшіе.

На другой день К., съ ранняго утра, тихій и печальный, ходилъ изъ угла въ уголъ, свирѣпо дымя трубкой и ожидая, чтобъ кто-нибудь изъ насъ пріѣхалъ побранить его и помириться; мирился онъ, разумѣется, сохраняя всегда все свое достоинство взыскательнаго, но стараго дяди. Если же никто не являлся, то К., затаивъ въ груди смертельный страхъ, шелъ печально въ кофейную на Неглинной или въ свѣтлую, покойную гавань, въ которой всегда встрѣчалъ его добродушный смѣхъ и дружескій пріемъ, т. е., отправлялся къ М. С. Щепкину, ожидая у него, пока буря, поднятая имъ, уляжется; онъ, разумѣется, жаловался М. С. на насъ; добрый старикъ мылилъ ему голову, говорилъ, что онъ поретъ дичь, что мы совсѣмъ не такіе злодѣи, какъ онъ говоритъ, и что онъ его сейчасъ повезетъ къ намъ. Мы знали, какъ К. мучился послѣ своихъ выходовъ, понимали, или лучше прощали то чувство, почему онъ не говорилъ прямо и просто, что виноватъ, и стирали по первому слову до чиста слѣды размолвки. Въ нашихъ уступкахъ на первомъ планѣ участвовали дамы, становившіяся почти всегда его заступницами. Имъ нравилась его открытая простота (онъ и ихъ не щадилъ), доходившая до гру-

бости, какъ странность; видя ихъ потворство, К. убѣдился, что такъ и слѣдуетъ поступать, что это мило, и что, сверхъ того, это его обязанность.

Наши споры и ссоры въ Покровскомъ иногда бывали полны комизма, а все-таки оставляли на цѣлые дни длинную, сѣрую тѣнь.

— Отчего кофе такъ дуренъ? спросилъ я у Матвѣя.

— Его не такъ варять, отвѣчалъ К. и предложилъ свою методику. Кофе вышелъ такой же.

— Давайте сюда спиртъ и кофейникъ,—я самъ сварю, замѣтилъ К. и принялся за дѣло. Кофе не поправился,—я замѣтилъ это К. К. попробовалъ и, уже нѣсколько взволнованнымъ голосомъ и устремивъ на меня свой взглядъ изъ подъ очковъ, спросилъ:

— Такъ по твоему этотъ кофе не лучше?

— Нѣтъ.

— Однако же это удивительно, что ты въ эдакой мелочи не хочешь отказаться отъ своего мнѣнія.

— Не я, а кофе.

— Это, наконецъ, изъ рукъ вонъ, что за несчастное самолюбіе.

— Помилуй, да, вѣдь, не я варилъ кофе и не я дѣлалъ кофейникъ...

— Знаю я тебя... лишь бы поставить на своемъ. Какое ничтожество изъ-за поганого кофе,—адское самолюбіе!—Больше онъ не могъ, удрученный моимъ деспотизмомъ и самолюбіемъ во вкусѣ,—онъ нахлобучилъ свой картузь, схватилъ лукошко и ушелъ въ лѣсъ. Онъ воротился къ вечеру, исходивши версты двадцать; счастливая охота по бѣлымъ грибамъ, березовикамъ и масленкамъ разогнала его мрачное расположеніе, я, разумѣется, не поминалъ о кофе и дѣлалъ разныя вѣжливости грибамъ.

На слѣдующее утро онъ попытался было снова поставить кофейный вопросъ, но я уклонился.

Одинъ изъ главныхъ источниковъ нашихъ препинаній было воспитаніе моего сына. Воспитаніе дѣлитъ судьбу медицины и философіи: всѣ на свѣтѣ имѣютъ объ нихъ опредѣленные и рѣзкія мнѣнія, кромѣ тѣхъ, которые серьезно и долго ими занимались. Спросите о постройкѣ моста, объ осушеніи болота, человѣкъ откровенно скажетъ, что онъ не инженеръ, не агрономъ. Заговорите о водяной или чахоткѣ, онъ предложитъ лекарство, по памяти, по наслышкѣ, по опыту своего дяди, но въ воспитаніи онъ идетъ далѣе. «У меня, говоритъ, такое правило, и я отъ него никогда не отступаю; что касается до воспитанія, я шутить не люблю, это предметъ слишкомъ близкій къ сердцу».

Какія понятія о воспитаніи долженъ былъ имѣть К., можно вывести до послѣдней крайности изъ того очерка его характера,

который мы сдѣлали. Тутъ онъ былъ послѣдователенъ себѣ, обыкновенно толкующіе о воспитаніи и этого не имѣютъ. К. имѣлъ Эмилевскія понятія и твердо вѣроваль, что ниспроверженіе всего, что теперь дѣлается съ дѣтьми, было бы само по себѣ отличное воспитаніе. Ему хотѣлось исторгнуть ребенка изъ *искусственной* жизни и сознательно возвратить его въ дикое состояніе, въ ту первобытную независимость, въ которой равенство простирается такъ далеко, что различіе между людьми и обезьянами снова стерлось бы.

Мы сами были не очень далеки отъ этого взгляда, но у него онъ дѣлался, какъ все однажды усвоенное имъ, фанатизмомъ, не терпящимъ ни сомнѣній, ни возраженій. Въ противодѣйствіи старинному, богословскому, схоластическому, аристократическому воспитанію, съ его догматизмомъ, доктринаризмомъ, натянутымъ педантскимъ классицизмомъ и наружной выправкой, поставленной выше нравственной, выразилась дѣйствительная и справедливая потребность. По несчастію, въ дѣлѣ воспитанія, какъ во всемъ, крупный и революціонный путь, зря ломая старое, ничего не давалъ въ замѣну. *Дикій предрасудокъ нормальнаго человѣка, къ которому стремились послѣдователи Жанъ-Жака, отрѣзалъ ребенка отъ исторической среды, дѣлалъ его въ ней иностранцемъ, какъ будто воспитаніе не есть привитіе родовой жизни лицу.*

Споры о воспитаніи рѣдко велись на теоретическомъ полѣ, прикладное было слишкомъ близко. Мой сынъ, тогда ему было лѣтъ семь-восемь, былъ слабого здоровья, очень подверженъ лихорадкамъ и кровавымъ поносамъ. Это продолжалось до нашей поѣздки въ Неаполь, или до встрѣчи въ Сорренто съ однимъ неизвѣстнымъ докторомъ, который измѣнилъ всю систему леченія и гигиены. К. хотѣлъ его закалить сразу, какъ желѣзо, я не позволялъ и онъ выходилъ изъ себя: «Ты консерваторъ», кричалъ онъ съ неистовствомъ, «ты погубишь несчастнаго ребенка, ты сдѣлаешь изъ него изнѣженнаго барича и вмѣстѣ съ тѣмъ раба».

Ребенокъ шалилъ и кричалъ во время болѣзни матери, я останавливалъ его; сверхъ простой необходимости, мнѣ казалось совершенно справедливымъ заставлять его стѣснять себя для другого, для матери, которая его такъ безконечно любила; но К. мрачно говорилъ мнѣ, затыгиваясь до глубины сердечной Жуковымъ: «Гдѣ твое право останавливать его крикъ, онъ долженъ кричать, это его жизнь. Проклятая власть родителей!»

Размолвки эти, какъ я ни бралъ ихъ легко, дѣлали тяжелыми наши отношенія и грозили серьезнымъ отдаленіемъ между К. и его друзьями. Если-бъ это было, онъ больше всѣхъ былъ бы наказанъ и потому, что онъ все же былъ очень привязанъ ко всѣмъ,

и потому, что мало умѣлъ жить одинъ. Его нравъ былъ по преимуществу экспансивный и вовсе не сосредоточенный. Кто-нибудь ему былъ необходимъ. Самый трудъ его былъ постоянной бесѣдой съ *другимъ*, этотъ другой былъ Шекспиръ. Проработавши цѣлое утро, ему становилось скучно. Лѣтомъ онъ еще могъ бродить по полямъ, работать въ саду; но зимой оставалось надѣть знаменитый плащъ или верблюжьяго цвѣта шереховатое пальто, и идти изъ-подъ Сокольниковъ къ намъ на Арбатъ или на Никитскую.

Доля его строптивой нетерпимости происходила отъ этого отсуствія внутренней работы, повѣрки, разбора, приведенія въ ясность вопросовъ; для него вопросовъ не было: дѣло рѣшенное; и онъ шелъ впередъ, не оглядываясь. Можетъ, если-бъ онъ былъ призванъ на практическое дѣло, это и было бы хорошо, но его не было. Живое вмѣшательство въ общественныя дѣла было невозможно, у насъ въ нихъ мѣшаютъ только первые три класса, и онъ свою жажду дѣла перенесъ на частную жизнь друзей. Мы избавлялись отъ пустоты, которая сосала его сердце, теоретической работой. К. рѣшалъ всѣ вопросы *sommairement*, съ плеча, такъ или иначе—все равно; а рѣшивши, продолжалъ, не запинаясь ни за что и оставаясь упрямо вѣрнымъ своему рѣшенію.

При всемъ томъ, серьезнаго отдаленія до 1846 между нами не было. Natalie очень любила К., съ нимъ неразрывна была память 9 мая 1838 года, она знала, что подъ его ежевыми колючками хранилась нѣжная дружба, и не хотѣла знать, что колючки росли и пускали дальше и дальше свои корни.

Ссора съ К. представлялась ей чѣмъ-то зловѣщимъ; ей казалось, если время можетъ подпилить, и притомъ такой маленькой пилкой, одно изъ колець, такъ крѣпко державшихся во всю юность, то оно примется за другое, и вся цѣпь разсыпется. Среди суровыхъ словъ и жесткихъ отвѣтовъ, я видѣлъ, какъ она блѣднѣла и просила взглядомъ остановиться, стряхивала минутную досаду и протягивала руку. Иногда это трогало К., но онъ употреблялъ гигантскія усилія, чтобъ показать, что ему въ сущности все равно, что онъ готовъ примириться, но, пожалуй, будетъ продолжать ссору.

На этомъ можно было бы годы продлить страшное, колебавшееся отношеніе карающей дружбы и дружбы уступающей. Но новыя обстоятельства, усложнившія жизнь К., повели дѣла круче.

У него былъ свой романъ, странный какъ все въ его жизни и заставившій его быстро осѣсть въ довольно топкой семейной сферѣ. Жизнь К., сведенная на величайшую простоту, на элементарныя потребности студентскаго бездомовья и кочевья по

товарищамъ, вдругъ измѣнилась. У него въ *домъ* явилась женщина, или вѣрнѣе, у него *явился домъ* по тому, что въ немъ была женщина. До тѣхъ поръ никто не предполагалъ К. семейнымъ человѣкомъ, въ своемъ *chez soi*; его, любившаго до того все дѣлать безпорядочно, ходя закусывать, курить между супомъ и говядиной, спать не на своей кровати, что Константинъ Аксаковъ замѣчалъ шутя, «что К. отличается отъ людей тѣмъ, что люди обѣдаютъ, а К. ѣсть»,—у него вдругъ ложе, свой очагъ, своя крыша!

Случилось это вотъ какъ.

За нѣсколько лѣтъ до того, К., ходя всякій день по пустыннымъ улицамъ между Сокольниками и Басманной, сталъ встрѣчать бѣдную, почти нищую дѣвочку; утомленная, печальная возвращалась она этой дорогой изъ какой-то мастерской. Она была некрасива, запугана, застѣнчива и жалка; ея существованіе никѣмъ не было замѣчено... ее никто *не жалѣлъ*. Круглая сирота, она была принята ради имени Христова въ какой-то раскольнической скитъ, тамъ выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, безъ защиты, безъ опоры, одна на свѣтѣ. К. сталъ съ ней разговаривать, приучилъ ее не бояться себя, распрашивая ее о ея печальномъ ребячествѣ, о ея горемычномъ существованіи. Въ немъ первомъ она нашла участіе и теплоту, и привязалась къ нему душой и тѣломъ. Его жизнь была одинока и сурова: за всѣми шумами пріятельскихъ пировъ, московскихъ первыхъ спектаклей и Бажановской кофейни, была пустота въ его сердцѣ, въ которой онъ, конечно, не признался бы даже себѣ самому, но которая сказывалась. Бѣдный, невзрачный цвѣтокъ самъ собою падалъ на его грудь,—и онъ принялъ его, не очень думая о послѣдствіяхъ и, вѣроятно, не приписывая этому случаю особенной важности.

Въ лучшихъ и развитыхъ людяхъ для женщинъ все еще существуетъ что-то въ родѣ электоральнаго ценза, и есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. Съ ними не женировались мы всѣ, и потому бросить камень врядъ ли посмѣетъ кто-нибудь.

Сирота безумно отдалась К. Не даромъ воспиталась она въ раскольническомъ скиту; она изъ него вынесла способность изувѣрства, идолопоклонства, способность упорнаго, сосредоточеннаго фанатизма и безграничной преданности. Все, что она любила и чтילה, чего боялась, чему повиновалась, Христось и Богоматерь, святые угодники и чудотворныя иконы,—все это теперь было въ К., человѣкѣ, который первый пожалѣлъ, первый приласкалъ ее. И все это было въ половину скрыто, погребено, не смѣло обнаружиться.

... У ней родился ребенокъ; она была очень больна, ребенокъ умеръ... Связь, которая должна была скрѣпить ихъ отношенія, лопнула. К. сталъ холоднѣе къ С., видался рѣже и, наконецъ, совсѣмъ оставилъ ее. Что это дикое дитя «не разлюбитъ его даромъ»,—можно было смѣло предсказать. Что же у ней оставалось на всемъ бѣломъ свѣтѣ, кромѣ этой любви? Развѣ броситься въ Москву-рѣку. Бѣдная дѣвушка, оканчивая дневную работу, едва прикрытая скуднымъ платьемъ, выходила, несмотря ни на ненастье, ни на холодъ, на дорогу, ведущую къ Басманной, и ждала часы цѣлые, чтобъ встрѣтить его, проводить глазами, и потомъ плакать, плакать цѣлую ночь; большею частью она шряталась, но иногда кланялась ему и заговаривала. Если онъ ласково отвѣчалъ, С. была счастлива и весело бѣжала домой. О своемъ же „несчастіи“, о своей любви, она говорить стыдилась и не смѣла. Такъ прошли года два или больше. Молча и безропотно выносила она судьбу свою. Въ 1845 К. переселился въ Петербургъ. Это было свыше силъ. Не видать его даже на улицѣ, не встрѣчать издали и не проводить глазами, знать, что онъ за семьсотъ верстъ, между чужими людьми, и не знать, здоровъ ли онъ и не случилось ли съ нимъ какой бѣды... Этого вынести она не могла. Безъ всякихъ пособій и помощи, С. начала копить копейками деньги, сосредоточила всѣ усилія къ одной цѣли, работала мѣсяцы, исчезла и добралась таки до Петербурга. Тамъ, усталая, голодная, исхудалая, она явилась къ К., умоляя его, чтобъ онъ не оттолкнулъ ее, чтобъ онъ ее принялъ, что дальше ей ничего не нужно, она найдетъ себѣ уголь, найдетъ черную работу, будетъ жить на хлѣбѣ и водѣ,—лишь бы остаться въ томъ городѣ, гдѣ онъ, и иногда видѣть его. Тогда только К. вполнѣ понялъ, что за сердце билось въ ея груди. Онъ былъ подавленъ, потрясенъ. Жалость, раскаяніе, сознаніе, что онъ такъ любимъ, измѣнили роли: теперь она останется здѣсь у него, это будетъ ея домъ, онъ будетъ ея мужемъ, другомъ, покровителемъ. Ея мечтанія сбылись, забыты холодныя осеннія ночи, забытъ страшный путь, и слезы ревности, и горькія рыданія: она съ нимъ, и уже навѣрное не разстанется больше—живая. До пріѣзда К. въ Москву никто не зналъ всей этой исторіи, развѣ одинъ Михаилъ Семеновичъ; теперь скрыть ее было невозможно и не нужно: мы двое и весь нашъ кругъ приняли съ распростертыми объятіями этого дичка, сдѣлавшаго геройскій подвигъ. И эта-то дѣвушка, полная любви, со своей безусловной преданностью, покорностью, надѣлала К. бездну вреда. На ней было все благословеніе и все проклятіе, лежащее на пролетаріатѣ, да еще особенно на нашемъ.

Въ свою очередь и мы нанесли ей чуть ли не столько же зла, сколько она К.

И то и другое въ совершенномъ невѣдѣніи и съ безусловной чистотой намѣреній! Она окончательно испортила жизнь К., какъ ребенокъ портитъ кистью хорошую гравюру, воображая, что онъ ее раскрашиваетъ. Между К. и С., между С. и нашимъ кругомъ, лежалъ огромный, страшный обрывъ, во всей рѣзкости своей крутизны, безъ мостовъ, безъ брода. Мы и она принадлежали къ разнымъ возрастамъ человѣчества, къ разнымъ формаціямъ его, къ разнымъ томамъ всемірной исторіи. Мы—дѣти новой Россіи, вышедшіе изъ университета и академіи, мы, увлеченные тогда политическимъ блескомъ Запада, мы, религіозно хранившіе свое невѣріе, открыто отрицавшіе церковь; и она, воспитавшаяся въ раскольническомъ скитѣ, въ до-петровской Россіи, во всемъ фанатизмѣ сектаторства, со всѣми предрасудками прячущейся религіи, со всѣми причудами стариннаго русскаго быта. Связывая вновь, необыкновенной силой воли, порванные концы, она крѣпко держалась за узелъ. Ускользнуть К. уже не могъ. Но онъ и не хотѣлъ этого. Упрекая себя въ прошедшемъ, К. искренно стремился загладить его; подвигъ С. увлекъ его. Склоняясь передъ нимъ, онъ зналъ, что въ свою очередь и онъ дѣластъ жертву; но, натура въ высшей степени чистая и благородная, онъ былъ радъ ей какъ искупленію. Только зналъ онъ одну матеріальную сторону ея: фактическое стѣсненіе жизни; противорѣчіе сожитія стараго студента, съ шиллеровскими мечтами, съ женщиной, для которой не только міръ Шиллера не существовалъ, но и міръ грамотности, міръ всего свѣтскаго образованія,—ему и въ голову не приходило.

Что ни говори и не толкуй, но пословица *inter pares amicicia* совершенно вѣрна, и всякій *mésaillance*—впередъ посѣянное несчастіе. Много глупаго, надменнаго, буржуазнаго разумѣлось подъ этимъ словомъ, но сущность его истинна. Въ худшемъ изъ всѣхъ неравенствъ—въ неравенствѣ развитія, одно спасеніе и есть: *воспитаніе одного лица другимъ*; но для этого надобно два рѣдкіе дара: надобно, чтобъ *одинъ умѣлъ воспитывать*, а *другой умѣлъ воспитываться*, чтобъ одинъ вель, другой шель. Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, безъ другихъ захватывающихъ душу интересовъ, одолеваетъ; челоуѣка возьметъ одурь, усталъ; онъ незамѣтно мельчаетъ, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокоивается, запутанный нитками и тесемками. Бываетъ и то, что ни та, ни другая личность не сдаются, и тогда сожитіе превращается въ консолидированную войну, въ вѣчное единоборство, въ которомъ лица крѣпнутъ и остаются на вѣки вѣковъ въ бесплодныхъ уеиліяхъ, съ *одной стороны, поднять и, съ другой, стянуть*, т. е., *отстоять свое мѣсто*. При равныхъ силахъ этотъ бой поглощаетъ

жизнь, и самыя крѣпкія натуры истощаются и падаютъ обезсиленными середь дороги. Падаетъ всего прежде натура развитая; ся эстетическое чувство глубоко оскорблено двойнымъ строемъ, лучшія минуты, въ которыя все звонко и ярко, ей отравлены: экспансивные люди страстно требуютъ, чтобъ все близкое имъ, было близко ихъ мысли, ихъ религія; это принимаютъ за нетерпимость. Для нихъ прозелитизмъ дома—продолженіе апостольства, пропаганды; ихъ счастье оканчивается тамъ, гдѣ ихъ не понимаютъ... а чаще всего ихъ не хотятъ понять.

Позднее воспитаніе сложившейся женщины дѣло очень трудное; особенно трудное въ тѣхъ сожитіяхъ, которыми оканчиваются, а не начинаются близкія отношенія. Связи легко, вѣтрено начатыя, рѣдко поднимаются выше спальной и кухни. Общая крыша слишкомъ поздно покрываетъ ихъ, чтобъ подъ ней можно было учиться, развѣ какое-нибудь странное несчастіе разбудить душу спящую, но способную проснуться. По большей части *la petite femme* никогда не дѣлается большой, никогда не дѣлается женой и сестрой вмѣстѣ. Она остается или любовницей и лореткой, или дѣлается кухаркой и любовницей.

Сожитіе подъ одной крышей само по себѣ вещь страшная, на которой рушилась половина браковъ. Живя тѣсно вмѣстѣ, люди слишкомъ близко подходятъ другъ къ другу, видятъ другъ друга слишкомъ подробно, слишкомъ нараспашку, и незамѣтно срываютъ по лепестку всѣ цвѣты вѣнка, окружающаго поэзіей и граціей личность. Но одинаковость развитія сглаживаетъ многое. А когда ея нѣтъ, а есть праздный досугъ, нельзя вѣчно пороть вздоръ, говорить о хозяйствѣ или любезничать; а что же дѣлать съ женщиной, когда она что-то промежуточное между одалиской и служанкой, существо тѣлесно близкое и умственно далекое. Ее ненужно днемъ, а она безпрестанно тутъ; мужчина не можетъ дѣлать съ ней своихъ интересовъ, она не можетъ не дѣлать съ нимъ своихъ сплетень.

Каждая неразвитая женщина, живущая съ развитымъ мужемъ, напоминаетъ мнѣ Далилу и Самсона: она отрѣзываетъ его силу, и отъ нея никакъ не остережешься. Между обѣдомъ, даже и очень позднимъ, и постелью даже тогда, когда ложимся въ десять часовъ, есть еще бездна времени, въ которое не хочется больше заниматься и еще не хочется спать, въ которое бѣлье сочтено и расходъ провѣренъ. Вотъ въ эти-то часы жена стягиваетъ мужа въ тѣсоту своихъ дрязгъ, въ міръ раздражительной обидчивости, пересудовъ и злыхъ намековъ. Безслѣднымъ это не остается. Бываютъ прочныя отношенія сожитія мужчины съ женщиной безъ особеннаго равенства развитія, основанныя на удобствѣ, на хозяйствѣ, я почти скажу, на гигиенѣ. Иногда это—рабочія ассоціа-

ція, взаимная помощь, соединенная съ взаимнымъ удовольствіемъ большей частью жена беретъ, какъ сидѣлка, какъ добрая хозяйка, *roug avoir un bon pot au feu*, какъ говорилъ мнѣ Прудонъ. Формула старой юриспруденціи очень умна: *a mensa et tunc*,—уничтожь общій столъ и общую кровать, они и разойдутся съ покойной совѣстью.

Эти дѣловые браки чуть ли не лучшіе. Мужъ постоянно въ своихъ занятіяхъ, ученыхъ, торговыхъ, въ своей канцеляріи, конторѣ, лавкѣ. Жена постоянно въ бѣльѣ и припасахъ. Мужъ возвращается усталый: все готово у него, и все идетъ шагомъ и маленькой рысцой къ тѣмъ же воротамъ кладбища, къ которымъ доѣхали родители. Это явленіе чисто городское; въ Англіи оно является чаще, чѣмъ гдѣ-либо; это та среда мѣщанскаго счастья, о которомъ проповѣдывали моралисты французской сцены, о которой мечтаютъ нѣмцы ¹⁾; въ ней легче уживаются разныя степени развитія черезъ годъ послѣ окончанія курса въ университетѣ; тутъ есть раздѣленіе труда и чиновочитаніе. Мужъ, особенно при капиталѣ, дѣлается тѣмъ, чѣмъ его называлъ смыслъ народный—*хозяинъ*, «*mon bourgeois*» своей жены. Этимъ путемъ, и благодаря законамъ о наслѣдствѣ, онъ не зарастетъ травой, всякая женщина постоянно остается женщиной на содержаніи, если не у посторонняго, то у своего мужа. Она это знаетъ.

Dessen Brod man ist
Dessen Lied man singt.

Но въ этихъ бракахъ есть свое нравственное единство, есть свое одинакое возрѣніе, свои одинакія цѣли. К. самъ цѣли не имѣлъ и не могъ быть ни *хозяиномъ*, ни воспитателемъ. Онъ не могъ даже бороться съ С., она всегда уступала. Своимъ крикомъ, своимъ строптивымъ характеромъ онъ запугалъ ее. При ея развитомъ сердцѣ, у нея было тяжелое, упирающееся пониманіе, та неповоротливость мозга, которую мы часто встрѣчаемъ въ людяхъ, совершенно непривычныхъ къ отвлеченной работѣ, и которая составляетъ одну изъ отличительныхъ чертъ до-петровскихъ временъ. Соединенная съ своимъ кровнымъ, болѣзненнымъ, она ничего не желала и ничего не боялась. Да и чего же было бояться? Бѣдности? Да развѣ она всю жизнь не была бѣдна, развѣ она не вынесла нищету, эту бѣдность съ униженіемъ. Работы? развѣ она не работала съ утра до ночи въ мастерской за нѣсколько грошей. Ссоры, разлуки? Да, послѣднее было страшно,

¹⁾ Ни у пролетарія, ни у крестьянъ нѣтъ между мужемъ и женой двухъ разныхъ образованій, а есть тяжелое равенство передъ работой и тяжелое неравенство власти мужа и жены.

и очень; но она до такой степени отказалась от всякой воли, что трудно было съ ней въ самомъ дѣлѣ поссориться, а капризъ она вынесла бы, пожалуй, вынесла бы и побои, лишь бы быть увѣренной, что онъ ее хоть немного любить и не хочетъ съ ней разстаться. И онъ этого не хотѣлъ, и на это, сверхъ всего, росла новая причина. Ее очень хорошо поняла чутъемъ любви С. Темно сознавая, что она не можетъ вполне удовлетворить К., она стала замѣнять чего въ ней не было постоянными уходомъ и заботливостью.

К. было за сорокъ лѣтъ. Въ отношеніи къ домашнему комфорту онъ не былъ избалованъ. Онъ почти всю жизнь прожилъ дома такъ, какъ киргизъ въ кибиткѣ, безъ собственности и безъ желанія ее имѣть, безъ всякихъ удобствъ и безъ потребности на нихъ. Исполдволь все мѣняется; онъ окруженъ сѣтью вниманья и услугъ, онъ видитъ дѣтскую радость, когда онъ чѣмъ-нибудь доволенъ; ужасъ и слезы, когда онъ поднимаетъ брови; и это всякій день, съ утра до ночи. К. сталъ чаще оставаться дома: жаль же было и ее оставлять постоянно одну. Къ тому же трудно было, чтобъ К. не бросалось въ глаза различіе между ея совершенной покорностью и возраставшимъ отпоромъ нашимъ. С. переносила самые несправедливые взрывы его съ кротостью дочери, которая улыбается отцу, скрывая слезы, и ожидаетъ, безъ гансине, чтобъ туча прошла. Покорная, безотвѣтная до рабства, С., трепещущая, готовая плакать и цѣловать руку, имѣла огромное вліяніе на К. Нетерпимость воспитывается уступками.

Тереза, бѣдная, глупая Тереза Руссо, развѣ не сдѣлала изъ пророка равенства щепетильнаго разночинца, постоянно занятаго сохраненіемъ своего достоинства.

Вліяніе С. на К. приняло ту самую складку, о которой говоритъ Дидро, жалуясь на Терезу. Руссо былъ подозрителенъ; Тереза развила подозрительность его въ мелкую обидчивость и, нехотя, безъ умысла, рассорила его съ лучшими друзьями. Помните, что Тереза никогда не умѣла порядкомъ читать и никогда не могла выучиться узнавать, который часъ,—что ей не помѣшало довести ипохондрию Руссо до мрачнаго помѣшательства.

Утромъ Руссо заходитъ къ Гольбаху; человѣкъ приноситъ завтракъ и три куверта: Гольбаху, его женѣ и Грэйму; въ разговорѣ никто не замѣчаетъ этого, кромѣ Жанъ-Жака. Онъ беретъ шляпу. «Да останьтесь же завтракать», говоритъ г-жа Гольбахъ и велитъ подать приборъ; но уже поправитъ поздно: Руссо, желтый отъ досады, бѣжитъ, мрачно проклиная родъ человѣческій, къ Терезѣ и рассказываетъ, что ему не поставили тарелки, намекалъ, чтобъ онъ ушелъ. Ей такіе рассказы по душѣ; въ нихъ

она могла принять *горячее* участіе: они ставили ее на одну доску съ нимъ, и даже немного повыше его, и она сама начинала сплетничать то на m-те Удето, то на Давида Юма, то на Дидро. Руссо грубо перерываетъ связи, пишетъ безумныя и оскорбительныя письма, вызываетъ иногда страшные отвѣты (напр., отъ Юма) и удаляется, оставленный всѣми, въ Монморанси, проклиная, за недостаткомъ людей, воробьевъ и ласточекъ, которымъ бросалъ зерна.

Еще разъ: безъ равенства нѣтъ брака въ самомъ дѣлѣ. Жена, исключенная изъ всѣхъ интересовъ, занимающихъ ее мужа, чуждая имъ, не дѣлящая ихъ,—наложница, экономка, нянька, но не жена въ полномъ, въ благородномъ значеніи слова. Гейне говорилъ о своей «Терезѣ», что она «не знаетъ, и никогда не узнаетъ о томъ, что онъ писалъ». Это находили милымъ, смѣшнымъ и никому не приходило въ голову спросить: «Зачѣмъ же она была его жена?» Мольеръ, читавшій своей кухаркѣ свои комедіи, былъ во сто разъ человѣчественнѣе. За то m-те Айнъ и заплатила вовсе нехотя своему мужу. Въ послѣдніе годы его страдальческой жизни, она окружила его своими пріятельницами и пріятелями, увядшими камеліями прошлаго сезона, сдѣлавшимися нравственными дамами отъ морщинъ, и полинялыми, посдѣвшими, падшими на ноги друзьями ихъ.

Я нисколько не хочу сказать, чтобъ жена непременно должна и дѣлать и любить то, что дѣлаетъ и любить мужъ. Жена можетъ предпочитать музыку, а мужъ живопись,—это не разрушитъ равенства. Для меня всегда были ужасны, смѣшны и бессмысленны официальныя тасканія мужа и жены, и чѣмъ выше, тѣмъ смѣшнѣе; зачѣмъ какой-нибудь императрицѣ Евгеніи являться на кавалерійское ученіе и зачѣмъ Викторіи возить своего мужчину, le Prince Consort, на открытіе парламента, до котораго ему дѣла нѣтъ. Гейне прекрасно дѣлалъ, что не возилъ свою дородную половину на веймарскіе куртаги. Проза ихъ брака была не въ этомъ, а въ отсутствіи всякаго общаго поля, всякаго общаго интереса, который бы связывалъ ихъ помимо полового влеченія...

Перехожу ко вреду, который мы сдѣлали бѣдной С. Ошибка, сдѣланная нами, опять-таки родовая ошибка всѣхъ утопій и идеализмовъ. Вѣрно схватывая одну сторону вопроса, обыкновенно не обращается никакого вниманья, къ чему эта сторона прироста и можно ли ее отдѣлить,—никакого вниманья на глубокое сплетеніе жилъ, связывающихъ дикое мясо со всѣмъ организмомъ. Мы все еще по-христіански думаемъ, что стоитъ сказать хрому: «возьми одръ твой и ступай», онъ и пойдетъ.

Мы разомъ перебросили затворницу С.,—С. полудикую, не-

видавшую людей, изъ ея одиночества въ нашъ кругъ. Ея оригинальность нравилась, мы хотѣли ее сберечь и обломили послѣднюю возможность развитія, отняли у нея охоту къ нему, увѣривъ ее, *что и такъ хорошо*. Но оставаться *просто* попржнему ей самой не хотѣлось. Что же вышло? Мы, революціонеры, социалисты, защитники женскаго освобожденія, сдѣлали изъ наивнаго, преданнаго, простодушнаго существа *московскую мѣщанку*.

Не такъ ли конвентъ, якобинцы и сама коммуна сдѣлали изъ Франціи—мѣщанина, изъ Парижа—*épiciér*?

Первый домъ, открывшійся С. съ любовью, съ теплотой сердца, былъ нашъ домъ. Natalie поѣхала къ ней и силой привезла къ намъ. Съ годъ времени С. держалась тихо и дичилась чужихъ; пугливая и застѣнчивая, какъ прежде, она была полна тогда своего рода народной поэзіей. Ни малѣйшаго желанія обращать на себя вниманіе своей странностью; напротивъ, желаніе, чтобъ ее не замѣтили. Какъ дитя, какъ слабый звѣрекъ, она прибѣгала подъ крыло Natalie; ея преданности тогда не было границъ. Часы цѣлые любила она играть съ Сашей и рассказывала ему и намъ подробности своего ребячества, своей жизни у раскольниковъ, своихъ горестей въ ученьи, т. е., въ мастерской.

Она сдѣлалась игрушкой нашего круга; это, наконецъ, ей понравилось; она поняла, что ея положеніе, что она сама—*оригинальны*, и съ этой минуты она пошла ко дну;—никто не удерживалъ ее. Одна Natalie серьезно думала о томъ, чтобъ развить ее. С. не принадлежала къ гуртовымъ натурамъ; ее миновали множество дрянныхъ недостатковъ; она не любила рядиться, была равнодушна къ роскоши, къ дорогимъ вещамъ, къ деньгамъ,—лишь бы К. не чувствовалъ нужды, былъ бы доволенъ, до остальнаго ей не было дѣла. Сначала С. любила долго-долго говорить съ Natalie и вѣрила ей, кротко слушала ея совѣты и старалась имъ слѣдовать..., но оглядѣвшись, обжившись въ нашемъ кругу и, можетъ, подстрекаемая другими, тѣшившимися ея странностями, она начала показывать страдательную оппозицію и на всякое замѣчаніе далеко не наивно отвѣчала: «Ужъ я такая несчастная, гдѣ мнѣ мѣняться, да передѣлываться; видно, ужъ такая глупая и безталанная и въ могилу сойду». Въ этихъ словахъ, свѣдома или безъ вѣдома, звучало задѣтое самолюбіе. Она перестала себя чувствовать свободной у насъ, рѣже и рѣже ходила она къ намъ. «Богъ съ ней, съ Н. А., говорила она, разлюбила она меня бѣдную». Панибратство, пансіонская фамиліарность были чужды Natalie; въ ней во всемъ преобладалъ элементъ покойной глубины и великаго эстетическаго чувства. С. не поняла смысла разницы въ обхожденіи съ нею На-

talie и другихъ, и забыла, кто первый протянулъ ей руку и прижалъ къ сердцу; вмѣстѣ съ ней отдалился и К., все больше и больше угрюмый и раздражительный.

Подозрительность К. удвоилась. Въ каждомъ неосторожномъ словѣ онъ видѣлъ преднамѣренность, злой умыселъ, желаніе обидѣть, и не его одного, а и С. Она, со своей стороны, плакала, жаловалась на судьбу, обижалась за К. и, по закону нравственной реверберациі, собственныя подозрѣнія его возвращались къ нему удесятеренными. Его обличительная дружба стала превращаться въ желаніе найти въ насъ вины, въ надзоръ, въ постоянное полицейское слѣдствіе, и мелкіе недостатки его друзей покрывали для него гуще и гуще всѣ остальные стороны ихъ.

Въ нашъ чистый, свѣтлый, совершеннолѣтній кругъ стали врываться пересуды дѣвичьей и пикировка провинціальныхъ чиновниковъ.

Раздражительность К. становилась заразительной; постоянныя обвиненія, объясненія, примиренія отравляли наши сходы.

Вся эта ѣдкая пыль насѣдала во всѣ щели, и мало-по-малу разлагала цементъ, соединявшій такъ прочно наши отношенія къ друзьямъ. Мы всѣ подверглись влиянію сплетень. Самъ Грановскій сталъ угрюмъ и раздражителенъ, несправедливо защищалъ К. и сердился. Къ Грановскому приходилъ К. съ своими обвиненіями противъ меня и Огарева. Грановскій не вѣрилъ имъ; но, жалѣя «больнаго, огорченнаго и все-таки любящаго К.», запальчиво бралъ его сторону и сердился на меня за недостатокъ терпимости. «Вѣдь, ты знаешь, что у него нравъ такой; это болѣзнь, влияніе доброй С., но неразвитой и тяжелой, дальше и дальше толкаетъ его на этотъ несчастный путь, а ты споришь съ нимъ, какъ будто онъ былъ въ нормальномъ положеніи».

Чтобъ кончить этотъ грустный разговоръ, приведу два примѣра. Въ нихъ ярко выразилось, какъ далеко мы ушли отъ теоріи варенія кофей въ Покровскомъ.

Какъ-то вечеромъ, весной 1846 года, у насъ было человѣкъ пять близкихъ знакомыхъ, и въ томъ числѣ Михайлъ Семеновичъ.

- Нанялъ ты нынѣшній годъ домъ въ Соколовѣ?
- Нѣтъ еще: денегъ нѣтъ, а тамъ надобно платить впередъ.
- Неужели же все лѣто останешься въ Москвѣ?
- Подожду немного, потомъ увидимъ.

Вотъ и все. Никто не обратилъ на этотъ разговоръ никакого вниманія и, черезъ секунду, шла покойно другая рѣчь. Мы собирались на другой день послѣ обѣда сѣздить въ Кунцово, которое любили съ дѣтства. К., Коршъ и Грановскій хотѣли ѣхать съ нами. Поѣздка состоялась, и все шло своимъ поряд-

комъ, кромѣ К., мрачно подымавшего брови; но, наконецъ, всѣ были обстрѣлены.

Вечеръ былъ весенній, безъ палящаго жара, но теплый; листь только-что развернулся; мы сидѣли въ саду, шутя и разговаривая. Вдругъ К., молчавшій съ полчаса, всталъ и остановился передо мной; съ лицомъ прокурора ѳемическаго суда и съ дрожащей отъ негодованія губой, онъ сказалъ мнѣ:

— А надобно тебѣ честь отдать: ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнилъ, что онъ еще не заплатилъ тебѣ девятьсотъ рублей, которые бралъ у тебя.

Я истинно ничего не понялъ; тѣмъ больше, что навѣрное годъ не думалъ о долгѣ Щепкина.

— Деликатно, нечего сказать: старикъ теперь безъ денегъ, со своей огромной семьей, собирается въ Крымъ, а тутъ ему въ присутствіи пяти человѣкъ: «нѣтъ денегъ на наемъ дачи!» Фу, какая гадость.

Огаревъ вступился за меня. К. накинулся на него, нелѣпыми обвиненіямъ не было конца; Грановскій попробовалъ его унять, не смогъ и уѣхалъ съ Коршемъ прежде насъ. Я былъ разсерженъ, униженъ и отвѣчалъ очень жестко. К. посмотрѣлъ изъ подлобья и, не говоря ни слова, пошелъ пѣшкомъ въ Москву. Мы остались одни и въ какомъ-то жалкомъ раздраженіи поѣхали домой. Я хотѣлъ на этотъ разъ дать сильный урокъ и, если не вовсе прервать, то приостановить сношенія съ К. Онъ раскаивался, плакалъ; Грановскій требовалъ мира, говорилъ съ Natalie, былъ глубоко огорченъ. Я помирился, но не весело и говоря Грановскому: «вѣдь, это на три дня».—Вотъ прогулка, а а вотъ и другая.

Мѣсяца черезъ два мы были въ Соколовѣ. К. и С. отправились вечеромъ въ Москву. Огаревъ поѣхалъ ихъ провожать верхомъ на своей черкесской лошади; не было ни тѣни ссоры, размолвки.

... Огаревъ возвратился черезъ два-три часа; мы поемѣялись, что день прошелъ такъ мирно,—и разошлись.

На другой день Грановскій, который наканунѣ былъ въ Москвѣ, встрѣтилъ меня у насъ въ паркѣ; онъ былъ задумчивъ, грустнѣе обыкновеннаго, и, наконецъ, сказалъ мнѣ, что у него есть что-то на душѣ и что онъ хочетъ поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сѣли на лавочкѣ, видъ съ которой знаютъ всѣ, бывшіе въ Соколовѣ.

— Герценъ, сказалъ мнѣ Грановскій, если-бъ ты зналъ, какъ мнѣ тяжело, какъ больно... какъ я, несмотря ни на что, всѣхъ люблю, ты знаешь... и съ ужасомъ вижу, что все разваливается. И тутъ, какъ на смѣхъ, мелкія ошибки, проклятое невниманіе, не-деликатность...

— Да что случилось, скажи, пожалуйста? спросилъ я, дѣйствительно испуганный.

— То, что К. взбѣшенъ противъ Огарева, да и по правдѣ сказать, трудно не быть взбѣшеннымъ; я стараюсь, дѣлаю, что могу, но силъ моихъ нѣтъ, особливо, когда люди не хотятъ ничего сами сдѣлать.

— Да дѣло-то въ чемъ?

— А вотъ въ чемъ: вчера Огаревъ поѣхалъ К. и С. провожать верхомъ.

— При мнѣ было, да я и Огарева видѣлъ вечеромъ, онъ ни слова не говорилъ.

— На мосту «Кортикъ» зашалилъ, сталъ на дыбы; Огаревъ, умиряя его, съ досады выругался при С., и она слышала... да и К. слышала. Положимъ, что онъ не подумалъ, но К. спрашиваетъ: «отчего на него не находятъ разсѣянности въ присутствіи твоей жены или моей». Что на это сказать?.. и притомъ, при всей простотѣ своей, С. очень сентиментальна, что при ея положеніи очень понятно.

Я молчалъ. Это перешло всѣ границы.

— Что же тутъ дѣлать?

— Очень просто: съ негодяями, которые въ состояніи намѣренно забываться при женщинѣ, надобно разнакомиться. Съ такими людьми быть близкимъ другомъ—презрительно...

— Да онъ не говорить, что Огаревъ это сдѣлалъ намѣренно.

— Такъ о чемъ же рѣчь? И ты, Грановскій, другъ Огарева, ты, который такъ знаешь его безграничную деликатность, повторяешь бредъ безумнаго, котораго пора посадить въ желтый домъ. Стыдно тебѣ.

Грановскій смутился.

— Боже мой, — сказалъ онъ, — неужели наша кучка людей, единственное мѣсто, гдѣ я отдыхалъ, надѣялся, любилъ, куда спасался отъ гнетущей среды, — неужели и она разойдется въ ненависти и злобѣ?

Онъ покрылъ глаза рукой.

Я взялъ другую; мнѣ было очень тяжело.

— Грановскій, сказалъ я ему,—К. правъ: мы всѣ слишкомъ близко подошли другъ къ другу, слишкомъ стиснулись и заступили другъ другу въ построжки... Gemach! другъ мой, Gemach! намъ надобно провѣтриться, освѣжиться. Огаревъ осенью ѣдетъ въ деревню, я скоро уѣду въ чужіе края,—мы разойдемся безъ ненависти и злобы; что было истиннаго въ нашей дружбѣ, то поправится, очистится разлукой.

Грановскій плакалъ. Съ К. по этому дѣлу никакихъ объясненій не было.

Огаревъ дѣйствительно осенью уѣхалъ, а вслѣдъ за нимъ и мы.

Laurelhouse, Putney, 1857.

Пересмотрѣно въ Буассьерѣ и на дорогѣ, въ сентябрѣ 1865.

... Рѣже и рѣже доходили до насъ вѣсти о московскихъ друзьяхъ. Запуганные терроромъ послѣ 1848 г., они ждали вѣрной оказіи. Оказіи эти были рѣдки, паспортовъ почти не выдавали. Отъ К. годы цѣлые ни слова, впрочемъ онъ никогда не любилъ писать.

Первую живую вѣсть, послѣ моего переселенія въ Лондонъ, привезъ въ 1855 году докторъ П.—К. былъ въ своей стихіи, шумѣлъ на банкетахъ въ честь севастопольцевъ, обнимался съ Погодинымъ и Кокоревымъ, обнимался съ черноморскими моряками, шумѣлъ, бранился, поучалъ. Огаревъ, пріѣхавшій прямо со свѣжей могилы Грановскаго, рассказывалъ мало; его рассказы были печальны.

Прошло еще года полтора. Въ это время была окончена мною эта глава, и кому первому изъ постороннихъ прочтена?

Да,—*habeunt sua fata libelli.*

Осенью 1857 года пріѣхалъ въ Лондонъ *Чичеринъ*. Мы его ждали съ нетерпѣніемъ; нѣкогда одинъ изъ любимыхъ учениковъ Грановскаго, другъ Корша и К., онъ для насъ представлялъ близкаго человѣка. Слышали мы о его жесткости, о консерваторскихъ веллеитетахъ, о безмѣрномъ самолюбіи и доктринаризмѣ, но онъ еще былъ молодъ... Много угловатаго обтачивается теченьемъ времени.

— Я долго думалъ, ѣхать мнѣ къ вамъ, или нѣтъ? Къ вамъ теперь такъ много ѣздитъ русскихъ, что, право, надобно имѣть больше храбрости не быть у васъ, чѣмъ быть; я же,—какъ вы знаете,—вполнѣ уважая васъ, далеко не во всемъ согласенъ съ вами.

Вотъ съ чего началъ Чичеринъ.

Онъ подходилъ не просто, не юно, у него были камни за пазухой; свѣтъ его глазъ былъ холоденъ, въ тембрѣ голоса былъ вызовъ и страшная, отталкивающая самоувѣренность. Съ первыхъ словъ я понялъ, что это не противникъ, а врагъ; но подавилъ физиологическій сторожевой окрикъ, и мы разговорились.

Разговоръ тотчасъ перешелъ къ воспоминаніямъ и къ вопросамъ съ моей стороны. Онъ рассказывалъ о послѣднихъ мѣсяцахъ жизни Грановскаго, и, когда онъ ушелъ, я былъ довольнѣе имъ, чѣмъ сначала.

На другой день, послѣ обѣда, рѣчь зашла о К. Чичеринѣ говорилъ о немъ, какъ о человѣкѣ, котораго онъ любитъ, беззлобно смѣясь надъ его выходками; изъ подробностей, сообщенныхъ имъ, я узналъ, что обличительная любовь къ друзьямъ продолжается, что вліяніе С. дошло до того, что многие изъ друзей ополчились противъ нея, исключили изъ своего общества и проч. Увлеченный рассказами и воспоминаніями, я предложилъ Чичерину прочесть ненапечатанную тетрадь о К. и прочелъ ее всю. Я много разъ раскаивался въ этомъ, не потому, чтобъ онъ во зло употребилъ читанное мною, а потому, что мнѣ было больно и досадно, что я въ сорокъ пять лѣтъ могъ разоблачать наше прошедшее передъ черствымъ человѣкомъ, насмѣявшимся потомъ съ такой безопадной дерзостью надъ тѣмъ, что онъ называлъ моимъ «темпераментомъ».

Расстоянія, дѣлившія наши воззрѣнія и наши темпераменты, обозначались скоро. Съ первыхъ дней начался споръ, по которому ясно было, что мы расходимся во всемъ. Онъ былъ почитатель французскаго демократическаго строя и имѣлъ нелюбовь къ англійской, неприведенной въ порядокъ, свободѣ. Онъ въ императорствѣ видѣлъ воспитаніе народа и проповѣдывалъ сильное государство и ничтожность лица передъ нимъ. Можно понять, что были эти мысли въ приложеніи къ русскому вопросу. Онъ былъ гувернементалистъ, считалъ правительство гораздо выше общества и его стремленій, и принималъ императрицу Екатерину II почти за идеаль того, что надобно Россіи. Все это ученіе шло у него изъ цѣлаго догматическаго построенія, изъ котораго онъ могъ всегда и тотчасъ выводить свою философію бюрократіи.

— Зачѣмъ вы хотите быть профессоромъ?—спрашивалъ я его, и ищите каедрю? Вы должны быть министромъ и искать портфель.

Споря съ нимъ, проводили мы его на желѣзную дорогу и разстались несогласные ни въ чемъ, кромѣ взаимнаго уваженія.

Изъ Франціи онъ написалъ мнѣ недѣли черезъ двѣ письмо, съ восхищеніемъ говорилъ о рабочихъ, объ учрежденіяхъ. «Вы нашли то, что искали, отвѣчалъ я ему, и очень скоро. Вотъ что значитъ ѣхать съ готовой доктриной». Потомъ я предложилъ ему начать печатную переписку и написалъ начало длиннаго письма.

Онъ не хотѣлъ, говорилъ, что ему некогда, что такая полемика будетъ вредна...

Замѣчаніе, сдѣланное въ *Колоколѣ* о доктринахъ вообще, онъ принялъ на свой счетъ; самолюбіе было задѣто и онъ мнѣ прислалъ свой «обвинительный актъ», надѣлавшій въ то время большой шумъ.

Чичеринъ кампанію потерялъ, въ этомъ для меня нѣтъ сомнѣнія. Взрывъ негодованія, вызванный его письмомъ, напечатаннымъ въ *Колоколъ*, былъ общимъ въ молодомъ обществѣ, въ литературныхъ кругахъ. Я получилъ десятки статей и писемъ, одно было напечатано. Мы еще шли тогда въ восходящемъ пути, и Катковскія бревна трудно было класть подъ ноги. Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкій тонъ возмутилъ, можетъ, больше содержанія, и меня и публику одинакимъ образомъ: онъ былъ еще новъ тогда. Зато со стороны Чичерина стали: Елена Павловна, Тимашевъ, начальникъ III отдѣленія и Н. X. К.

К. остался вѣренъ реакціи, не потому, чтобъ «Грандисона Ловласу предпочла», а потому—что, носимый безъ собственнаго компаса à la remorque кружка, онъ остался вѣренъ ему, не замѣчая, что тотъ плыветъ въ противную, ложную сторону. Человѣкъ котеріи, для него вопросы шли подъ знаменемъ лицъ, а не наоборотъ.

Никогда не доработавшись ни до одного яснаго понятія, ни до одного твердаго убѣжденія, онъ шелъ съ благородными стремленіями и завязанными глазами, и постоянно билъ враговъ, не замѣчая, что позиціи мѣнялись, и въ этихъ-то жмуркахъ билъ насъ, билъ другихъ, бьетъ кого-нибудь и теперь, воображая, что дѣлаетъ дѣло.

Прилагаю письмо, писанное мною къ Чичерину для начала пріятельской полемики, которой помѣшалъ его прокурорскій обвинительный актъ.

My learned friend,

Спорить съ вами мнѣ невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все въ вашей головѣ свѣжо и ново, а главное, вы увѣрены въ *томъ*, что знаете, и потому покойны; вы съ твердостью ждете рациональнаго развитія событій въ подтвержденіе программы, раскрытой наукой. Съ настоящимъ вы не можете быть въ разладѣ, вы знаете, что если прошедшее было *такъ и такъ*, настоящее должно быть *такъ и такъ* и привести къ *такому-то* будущему; вы примиряетесь съ нимъ вашимъ пониманіемъ, вашимъ объясненіемъ. Вамъ досталась завидная доля священниковъ: утѣшеніе скорбящихъ вѣчными истинами вашей науки и вѣрой въ нихъ. Всѣ эти выгоды вамъ даетъ доктрина потому, что доктрина исключаетъ сомнѣніе. Сомнѣніе—открытый вопросъ, доктрина—вопросъ закрытый, рѣшенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнѣніе никогда не достигаетъ такой рѣзкой законченности; оно потому и сомнѣніе, что готово согласиться съ говорящимъ, или добросовѣстно искать смыслъ въ его словахъ, теряя драгоценное время, необходимое на при-

скиваніе возраженій. Доктрина видитъ истину подъ опредѣленнымъ угломъ и принимаетъ его за едино-спасающій уголъ, а сомнѣніе ищетъ отдѣлаться отъ всѣхъ угловъ, осматривается, возвращается назадъ, и часто парализуетъ всякую дѣятельность своимъ смиреніемъ передъ истиной. Вы, ученый другъ, опредѣленно знаете, куда идти, какъ вести,—я не знаю. И оттого я думаю, что намъ надобно наблюдать и учиться; а вамъ,—учить другихъ. Правда, мы можемъ сказать *какъ не надобно*, можемъ возбудить дѣятельность, привести въ безпокойство мысль, освободить ее отъ цѣпей, улетучить призраки, академіи и угловыя палаты, вотъ и все; но вы можете сказать *какъ надобно*.

Отношеніе доктрины къ предмету есть религиозное отношеніе, то есть, отношеніе *съ точки зрѣнія вѣчности*; временное, проходящее, лица, событія, поколѣнія едва входятъ въ Campo Santo науки, или входятъ, уже очищенные отъ *живой жизни*, въ родѣ гербарія логическихъ тѣней. Доктрина въ своей всеобщности живетъ дѣйствительно во всѣ времена, она и въ своемъ времени живетъ какъ въ исторіи, не портя страстнымъ участіемъ теоретическое отношеніе. Зная необходимость страданія, доктрина держитъ себя, какъ Симеонъ-Столпникъ, на пьедесталѣ, жертвуя всѣмъ временнымъ—вѣчному, общимъ идеямъ—живыми частностями. Словомъ, доктринеры больше всего историки; а мы, вмѣстѣ съ толпой, вашъ субстратъ; вы исторія für sich, мы исторія an sich. Вы намъ объясняете, чѣмъ мы больны, но больны ли мы? Вы насъ хороните, послѣ смерти награждаете или наказываете, вы доктора и попы наши; но больные ли мы и умирающіе?

Этотъ антагонизмъ не новость, и онъ очень полезенъ для движенія, для развитія. Если-бъ родъ людской могъ весь повѣрить вамъ, онъ, можетъ, сдѣлался бы благоразумнымъ, но умеръ бы отъ всемірной скуки. Покойный Филимоновъ поставилъ эпиграфомъ къ своему «дурацкому колпаку»: *Si la raison dominait le monde, il ne s'y passerait rien.*

Геометрическая сухость доктрины, алгебраическая безличность ея даютъ ей обширную возможность обобщеній; она должна бояться впечатлѣній и, какъ Августъ, приказывать, чтобъ Клеопарта опустила покрывало. Но для дѣятельнаго вмѣшательства надобно больше страсти, нежели доктрины, а алгебраически страстенъ человѣкъ не бываетъ. Всеобщее онъ понимаетъ, а частное любитъ или ненавидитъ. Спиноза со всею мощью своего откровеннаго генія проповѣдывалъ необходимость считать существеннымъ одно неточимое молью, вѣчное, неизмѣнное, субстанцію, и не полагать своихъ надеждъ на случайное, частное, личное. Кто этого не пойметъ въ теоріи? Но только привязывается человѣкъ къ одному частному, личному, совершенному; въ уравновѣшиваніи этихъ

крайностей, въ ихъ согласномъ сочетаніи, высшая мудрость жизни.

Если мы отъ этого общаго опредѣленія нашихъ противоположныхъ точекъ зрѣнія перейдемъ къ частнымъ, мы, при одинаковости стремленій, найдемъ не меньше антагонизма, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда мы согласны въ началѣ. Примѣромъ это легче объяснить. Мы совершенно согласны въ отношеніи къ религіи; но согласіе это идетъ только на отрицаніе надзвѣздной религіи, и какъ только мы являемся лицомъ къ лицу съ *подлунной* религіей, разстояніе между нами неизмѣримо. Изъ мрачныхъ стѣнъ собора, пропитанныхъ ладаномъ, вы переѣхали въ свѣтлое присутственное мѣсто, изъ Гвельфовъ вы сдѣлались Гибеллиномъ, чины небесные замѣнились для васъ—государственнымъ чиномъ, поглощеніе лица въ Богъ—поглощеніемъ его въ государствѣ, Богъ замѣненъ централизаціей и попъ кварталнымъ надзира-телемъ.

Вы въ этой перемѣнѣ видите переходъ, успѣхъ; мы—новыя цѣпи. Мы не хотимъ быть ни Гвельфами, ни Гибеллинами. Ваша свѣтская, гражданская и уголовная религія тѣмъ страшнѣе, что она лишена всего поэтическаго, фантастическаго, всего дѣтскаго характера, который замѣнится у васъ канцелярскимъ порядкомъ, идоломъ государства. Вы хотите, чтобъ человѣчество, освободившееся отъ церкви, ждало столѣтія два въ передней присутственнаго мѣста, пока каста жрецовъ-чиновниковъ и монаховъ-доктринеровъ рѣшитъ, какъ ему быть вольнымъ и насколько, въ родѣ нашихъ комитетовъ объ освобожденіи крестьянъ. А намъ все это противно; мы можемъ многое допустить, сдѣлать уступку, принести жертву обстоятельствамъ; но для васъ это не жертвы. Разумѣется, и тутъ вы счастливѣе насъ. Утративъ религіозную вѣру, вы не остались ни причемъ и, найдя, что гражданскія вѣрованія человѣку замѣняютъ христіанство, вы ихъ приняли, и хорошо сдѣлали для нравственной гигиены, для покоя. Но лекарство это намъ першитъ въ горлѣ, и мы ваше присутственное мѣсто, вашу централизацію ненавидимъ совсѣмъ не меньше инквизиціи, консисторіи, кормчей книги.

Понимаете ли вы разницу. Вы, какъ учитель, хотите учить, управлять, пасти стадо.

Мы, какъ стадо, приходящее къ сознанию, не хотимъ, чтобъ насъ пасли, а хотимъ имѣть свои земскія избы, своихъ повѣренныхъ, своихъ подъячихъ, которымъ поручать хожденіе по дѣламъ. Оттого насъ *правительство* оскорбляетъ на всякомъ шагу своей властью, а вы ему рукоплещете, такъ, какъ ваши предшественники, попы, рукоплескали свѣтской власти. Вы можете и расходиться съ нимъ, такъ, какъ духовенство расходилось, или какъ

люди, ссорящиеся на кораблѣ: какъ бы они ни удалились другъ отъ друга, за бортъ вы не уйдете, и для насъ, мірянъ, вы все-таки будете со стороны его.

Гражданская религія, апотеоза государства — идея чисто романская, а въ новомъ мірѣ, преимущественно французская. Съ нею можно быть сильнымъ государствомъ, но нельзя быть свободнымъ народомъ; можно имѣть славныхъ солдатъ... но нельзя имѣть независимыхъ гражданъ. Сѣверо-Американскіе Штаты, совсѣмъ напротивъ, отняли религіозный характеръ полиціи и администраціи, до той степени, до которой это возможно.

Эпилогъ.

Перечитывая главу о К., невольно призадумываешься о томъ, что за чудаки, что за оригинальныя личности живутъ и жили на Руси! Какими капризными развитіями сочилась и просочилась исторія нашего образованія. Гдѣ, въ какихъ краяхъ, подъ какимъ градусомъ широты, долготы, возможна угловатая, шероховатая, взбалмошная, безалаберная, добрая, недобрая, шумная, не укладистая фигура К., кромѣ Москвы?

А сколько я ихъ наглядѣлся, этихъ оригинальныхъ фигуръ «во всѣхъ родахъ различныхъ», начиная съ моего отца и оканчивая «дѣтьми» Тургенева.

«Такъ русская печь печеть!» говорилъ мнѣ Погодинъ. И въ самомъ дѣлѣ, какихъ чудесъ она не печеть, особенно когда хлѣбъ сажаютъ на нѣмецкій ладъ... отъ саякъ и калачей до православныхъ булокъ съ Гегелемъ и французскихъ хлѣбовъ à la quatorze-vingt-treize! Досадно, если всѣ эти своеобразныя печенья пропадутъ безслѣдно. Мы останавливаемся обыкновенно только на сильныхъ дѣятеляхъ.

...Но въ нихъ меньше видна русская печь, въ нихъ ея особенности поправлены, выкуплены; въ нихъ больше русскаго склада ума, чѣмъ печи. Возлѣ нихъ пробиваются, за ними плетутся разные партикулярныя люди, сбившіеся съ дороги: вотъ въ ихъ-то числѣ не оберешься чудаковъ. Волостные проводники историческихъ теченій, капли дрожжей, потерявшихся въ опарѣ, но поднявшихъ *ее не для себя*.—Люди, рано проснувшіеся темной ночью и ощупью отправившіеся на работу, толкаясь обо все, что ни попало на дорогѣ, они разбудили другихъ на совсѣмъ другой трудъ.

...Попробую когда-нибудь спасти еще два-три профиля отъ полного забвенія. Ихъ ужъ теперь едва видно изъ-за сѣраго тумана, изъ-за котораго только и вырѣзываются вершины горъ и утесовъ.

Базиль и Армансъ.

(Эпизодъ изъ 1844 года).

Къ нашей второй *виллежіатуръ* относится очень характерическій эпизодъ; его не помѣтитъ просто жаль, несмотря на то, что я и Natalie участвовали въ немъ очень мало. Эпизодъ этотъ можно бы назвать: *Армансъ и Базиль—философъ изъ учтивости, христіанинъ изъ въжливости и Жакъ Ж.-Занда, дѣлающійся Жакомъ фаталистомъ*. Начался онъ на французской томболѣ.

Зимой 1843 г. я поѣхалъ на томболу. Публики было бездна, помнится тысячъ пять человекъ; знакомыхъ почти никого. Базиль шмыгнулъ съ какой-то маской, ему было не до меня. Онъ слегка покачалъ головой и прищурилъ рѣсницы такъ, какъ дѣлаютъ знатоки, находя вино превосходнымъ и бекаса удивительнымъ.

Баль былъ въ залѣ благороднаго собранія. Я походилъ, посидѣлъ, глядя, какъ русскіе аристократы, переодѣтые въ разныхъ пѣро, ото всей души усердствовали представить изъ себя парижскихъ сидѣльцевъ и отчаянныхъ канканеровъ, — и пошелъ ужинать наверхъ. Тамъ-то меня отыскалъ Базиль. Онъ былъ совершенно не въ нормальномъ положеніи, а въ первомъ разгарѣ остраго періода любви; онъ у него былъ тѣмъ острѣе, что Базилю тогда было около сорока лѣтъ, и волосъ началъ падать съ его возвышеннаго чела. Безсвязно толковалъ онъ мнѣ о какой-то французской «Миньонѣ, со всей простотой «Клерхенъ» и со всей игривой прелестью парижской гризетки».

Сначала я думалъ, что это одинъ изъ тѣхъ романовъ въ одну главу, въ которыхъ побѣда на первой страницѣ, а на послѣдней — вмѣсто оглавленія — счетъ. Но убѣдился, что это не такъ. Базиль видѣлъ свою парижанку во второй или третій разъ и велъ пиркумволюціонныя линіи, не бросаясь на приступъ. Онъ меня познакомилъ съ ней. Армансъ была дѣйствительно живое, милое

дита Парижа, совершенно уродившееся въ отца. Отъ ея языка до манеръ и извѣстной самостоятельности, отваги, — все въ ней принадлежало благородному плебейству великаго города. Она еще была работница, а не мѣщанка. У насъ этотъ типъ никогда не существовалъ. Беззаботная веселость, развязность, свобода, шалость и, середь всего, чутье самосохраненія, чутье опасности и чести. Дѣти, брошенные иногда съ десяти лѣтъ на борьбу съ бѣдностью и искушеніями, беззащитныя, окруженныя заразой Парижа и всевозможными сѣтями, они сами становятся своимъ провидѣніемъ и охраной. Такія дѣвушки могутъ легко отдаться, но взять ихъ невзначай, врасплохъ, трудно. Тѣ изъ нихъ, которыхъ можно бы было купить,—до этого круга работницъ не доходятъ: онѣ уже куплены прежде, зазертѣлись, унеслись и исчезли въ омутѣ другой жизни, иногда навсегда, иногда для того, чтобъ черезъ пять-шесть лѣтъ явиться въ своей коляскѣ по Longchamp, или въ первомъ ярусѣ оперы въ своей ложѣ—mit Perlen und Diamanten.—Базиль былъ влюбленъ по уши. Резонеръ въ музыкѣ и философъ въ живописи, онъ былъ одинъ изъ самыхъ полныхъ представителей ультрагегельянцевъ. Онъ всю жизнь носился въ эстетическомъ небѣ, въ философскихъ и критическихъ подробностяхъ. На жизнь онъ смотрѣлъ такъ, какъ Ретшеръ на Шекспира, возводя все въ жизни къ философскому значенію, дѣлая скучнымъ все живое, пережеваннымъ все свѣжее; словомъ, не оставляя въ своей непосредственности ни одного движенія души. Взглядъ этотъ, впрочемъ, въ разныхъ степеняхъ принадлежалъ тогда почти всему кружку; иные срывались талантомъ, другіе живостью; но у всѣхъ еще долго оставался—у кого жаргонъ, у кого и самое дѣло. «Пойдемъ,—говорилъ Бакунинъ Т... въ Берлинѣ, въ началѣ сороковыхъ годовъ,—окунуться въ пучину дѣйствительной жизни, бросимся въ ея волны»;—и они шли просить Фарнгагена фонъ Энзе, чтобы онъ ихъ ввелъ ловкимъ купальщикомъ въ практическія пучины и представилъ бы ихъ одной хорошенькой актрисѣ. Понятно, что съ этими приготовленіями не только ни до какого купанья въ страстяхъ, «разъѣдающихъ тайники духа нашего», но вообще ни до какого *поступка* дойти нельзя. Не доходятъ до нихъ и нѣмцы; но зато нѣмцы и не ищутъ поступковъ, а какъ бы поспокойнѣе. Наша натура, напротивъ, не выносить этого нашего отношенія—des theoretischen Schwelgen—запутывается, спотыкается и падаетъ больше смѣшно, чѣмъ опасно. Итакъ, влюбленный и сороколѣтній философъ, щуря глазки, сталъ сводить всѣ спекулятивныя вопросы на «демоническую силу любви», равно влекущую Геркулеса и слабого отрока къ ногамъ Омфалы, началъ уяснять себѣ и другимъ нравственную идею семьи, почву брака (Гегелевой философіи права, глава

Sittlichkeit). Препятствій не было со стороны Гегеля. Но прозрачный міръ случайности и кажущагося, — міръ духа, неосвободившагося отъ преданій, не былъ такъ сговорчивъ. У Базиля былъ отецъ Петръ Конычъ, богачъ, который самъ былъ женатъ послѣдовательно на трехъ, и отъ каждой имѣлъ человѣка по три дѣтей. Узнавъ, что его сынъ, и притомъ старшій, хотѣлъ жениться на католичкѣ, на нищей, на французенкѣ, да еще съ Кузнецкаго моста, онъ рѣшительно отказалъ въ своемъ благословеніи. Безъ родительскаго благословенія, можетъ, Базиль, принявшій шикъ и манеры скептицизма, какъ-нибудь и обошелся бы; но старикъ связывалъ съ благословеніемъ не только послѣдствіе jenseits (на томъ свѣтѣ), но и desesseite (на этомъ свѣтѣ), а именно *наслѣдство*.

Препятствіе старика, какъ всегда, двинуло дѣло впередъ, и Базиль сталъ подумывать о скорѣйшей развязкѣ. Оставалось жениться, не говоря худого слова, и впоследствии заставить старика принять un fait accompli или скрыть отъ него бракъ, въ ожиданіи, что онъ скоро не будетъ ни благословлять, ни клясть, ни распоряжаться наслѣдствомъ.

Но непросвѣтленный міръ преданій и тутъ подставлялъ свою ногу. Обвѣнчаться подъ сурдинку въ Москвѣ было нелегко, чрезвычайно дорого и тотчасъ бы дошло до отца черезъ діаконъ, архидіаконъ, дьячковъ, просвирень, свахъ, приказчиковъ, сидѣльцевъ и разныхъ потаскушекъ. Положено было позондировать нашего отца Іоанна, въ с. Покровскомъ, извѣстнаго читателямъ по мнѣ, своей исторіей о похищеніи въ нетрезвомъ видѣ серебряныхъ «часовъ и шкатулки» у дьячка.

Отецъ Іоаннъ, узнавъ, что непокорному сыну около сорока лѣтъ, что невѣста не русская и что родителей ея здѣсь нѣтъ, что, сверхъ меня, подпишется свидѣтелемъ университетскій профессоръ, — сталъ меня благодарить за такую милость, полагая вѣроятно, что я старался женить Базиля для доставленія ему двухсотенной бумажки. Онъ былъ до того тронутъ, что закричалъ въ другую комнату: — «Попадья, попадья, выпусти два-три яичка», и досталъ изъ шкапа полуштофъ, заткнутый бумажкой, для того, чтобъ меня попотчевать.

Все шло прекрасно.

Дня свадьбы и прочее не назначали. Армансъ должна была пріѣхать къ намъ, въ Покровское, погостить; Базиль (хотѣвшій се сопровождать) возвратиться въ Москву и, окончательно устроившись, идти отъ отцовскаго проклятія — подъ благословеніе пьяненкаго отца Іоанна.

... Ожидая i promessi sposi, мы велѣли приготовить ужинъ и сѣбя ждать. Ждемъ — ждемъ; бьетъ двѣнадцать ночи. Никого

нѣтъ... Часъ,—никого нѣтъ. Дамы пошли уснуть; я съ Г. и К. принялся за ужинъ. Le ore suonan al quadruplo, e una, e due e tre...

Ма... ихъ нѣтъ, какъ нѣтъ.

... Наконецъ, колокольчикъ ближе и ближе; повозка постучала по мосту. Мы бросились въ сѣни. Тарантасъ, заложенный тройкою, быстро вѣзжалъ на дворъ — и остановился. Вышелъ Базиль. Я подошелъ дать руку Армансъ; она вдругъ меня схватила за руку, да съ такой силой, что я чуть не вскрикнулъ, и потомъ разомъ бросилась мнѣ на шею, съ хохотомъ повторяя: Monsieur Herstin... Это былъ никто иной, какъ Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій in propria persona.

Въ тарантасѣ не было больше никого, кромѣ Бѣлинскаго, который хохоталъ до кашля, и Базиля, который до насморка чуть не плакалъ. Мы смотрѣли другъ на друга съ удивленіемъ. Для дополненія эффекта надобно замѣтить, что два дня тому назадъ въ Москвѣ о Бѣлинскомъ и слуху не было.

«Давайте мнѣ ѣсть—сказалъ, наконецъ, Бѣлинскій,—я вамъ расскажу тамъ, какія у насъ были чудеса; надобно же выручить несчастнаго Базиля, который васъ боится больше Армансъ».

Вотъ что случилось. Видя, что дѣло быстро приближается къ развязкѣ, Базиль испугался; началъ *рефлектировать* и совершенно сконфузился, обдумывая неумолимый фатализмъ брака, неразрушимость его по кормчей книгѣ и по книгѣ Гегеля. Онъ заперся, отданный на жертву духу мучительнаго изслѣдованія и беспощаднаго анализа. Страхъ возрасталъ съ часу на часъ, и тѣмъ больше, что дорога къ отступленію была тоже не легка и, чтобы рѣшиться на нее, почти надобно было имѣть столько же характера, какъ и на самый бракъ. Страхъ этотъ росъ до тѣхъ поръ, пока въ дверь постучался Бѣлинскій, пріѣхавшій изъ Петербурга прямо къ нему въ домъ. Базиль рассказалъ ему весь ужасъ, съ которымъ онъ идетъ на срѣтеніе своего счастья, и все отвращеніе, съ которымъ онъ вступаетъ въ бракосочетаніе по любви,—и требовалъ его совѣта и помощи.

Бѣлинскій отвѣчалъ ему, что надобно быть сумасшедшимъ, чтобъ послѣ этого—сознательно и зная впередъ что будетъ,—положить на себя такую цѣпь. «Вотъ Герценъ, говорилъ онъ, и женился, и жену свою увезъ, и за ней пріѣзжалъ изъ ссылки; а спроси его: онъ ни разу не задумывался, слѣдуетъ ему такъ дѣлать, или нѣтъ, и какія будутъ послѣдствія. Я увѣренъ, что ему казалось, что онъ *не можетъ* иначе поступить. Ну, ему и вытанцовалось. А ты тоже хочешь сдѣлать, любомудрствуя и рефлектируя».

Только этого и надобно было Базилю. Онъ въ ту же ночь написалъ Армансъ диссертацію о бракѣ, о своей несчастной рефлексіи, о невозможности простого счастья для пытливаго духа; излагалъ всѣ невыгоды и опасности ихъ соединенія и спрашивалъ у Армансъ совѣта, что имъ теперь дѣлать?

Отвѣтъ Армансъ онъ привезъ съ собой.

Въ разказѣ Бѣлинскаго и въ письмѣ Армансъ обѣ природы, — ея и Базиля, — вполне вышли какъ на ладони. Дѣйствительно, брачный союзъ такихъ противоположныхъ людей былъ бы страннымъ. Армансъ писала ему грустно; она была удивлена, оскорблена, рефлексій его не понимала, а видѣла въ нихъ предлогъ, охлажденіе; говорила, что, въ такомъ случаѣ, не должно быть и рѣчи о свадьбѣ, развязывала его отъ даннаго слова и заключила тѣмъ, что, послѣ случившагося, имъ не слѣдуетъ видѣться. «Я васъ буду помнить, писала она, съ благодарностью, и нисколько не виню васъ: я знаю, вы чрезвычайно добры, но еще больше слабы! Прощайте же и будьте счастливы!»

Такое письмо, должно быть, не совсѣмъ пріятно получить. Въ каждомъ словѣ сила, энергія и немного свысока. Дитя славнаго плебейскаго кряжа, Армансъ поддержала свое происхожденіе. Будь это англичанка, какъ бы крѣпко она ухватила за письмо Базиля, какъ, ртомъ бы своего добродѣтельнаго солиситора, рассказала съ негодованіемъ, со стыдомъ, о первомъ пожатіи руки, о первомъ поцѣлуѣ, и какъ бы ея адвокатъ, со слезами на глазахъ и мѣломъ въ парикѣ, потребовалъ у присяжныхъ вознаградить обиженную невинность тысячею или двумя фунтовъ.

Французенкѣ, бѣдной швеѣ, это и въ голову не пришло.

Два или три дня, которые они провели въ Покровскомъ, были печальны для эксъ-жениха. Точно ученикъ, сильно напакостившій въ классѣ—и который боится и учителя, и товарищей.

Вскорѣ мы услышали, что Б. ѣдетъ въ чужіе края. Онъ писалъ ко мнѣ письмо смутное, недовольное собой, звалъ проститься. Въ первыхъ числахъ августа я поѣхалъ изъ Покровскаго въ Москву; новая диссертація поѣхала въ то же время изъ Москвы въ Покровское къ Natalie. Я отправился къ Б. и прямо попалъ на прощальный пиръ. Пили шампанское, и въ тостахъ, въ желаніяхъ были какіе-то странные намеки. «Вѣдь, ты не знаешь», — сказалъ мнѣ Базиль на ухо: «вѣдь, я... того... и онъ прибавилъ шопотомъ: вѣдь, Армансъ ѣдетъ со мной. Вотъ дѣвушка, я теперь только ее узналъ», и онъ качалъ головой.

Это стоило появленія Бѣлинскаго.

Въ эпистолѣ къ Natalie онъ пространно объяснялъ ей, что мысль и рефлексія о женитбѣ повергли его въ раздумье и отчая-

ніе: онъ усомнился и въ своей любви къ Армансъ, и въ своей способности къ семейной жизни; что, такимъ образомъ, онъ дошелъ до мучительнаго сознанія, что онъ долженъ все разорвать и бѣжать въ Парижъ, что въ этомъ расположеніи онъ явился смѣшнымъ и жалкимъ въ Покровское. Рѣшившись такимъ образомъ, онъ, перечитывая письмо Армансъ, сдѣлалъ новое открытіе; именно, что онъ Армансъ любитъ очень много, и потому потребовалъ у нея свиданія и снова предложилъ ей руку. Онъ думалъ опять о Покровскомъ попѣ, но близость Мамоновской фабрики пугала его. Вѣнчаться онъ собирался въ Петербургѣ и тотчасъ ѣхалъ во Францію. «Армансъ рада, какъ ребенокъ».

Въ Петербургѣ Базиль придумалъ вѣнчаться въ Казанскомъ соборѣ. Чтобъ при этомъ философія и наука не были забыты, онъ пригласилъ для совершенія обряда протоіерея Сидонскаго, ученаго автора «Введенія въ науку философіи». Сидонскій давно зналъ Б. по его статьямъ, какъ свободнаго свѣтскаго мыслителя и нѣмецкаго любомудра. Послѣ всѣхъ чудесъ, бывшихъ съ Армансъ, ей досталась честь, рѣдко достающаяся, послужить поводомъ одной изъ самыхъ комическихъ встрѣчъ двухъ заклятыхъ враговъ: религіи и науки.

Сидонскій, чтобъ блеснуть своимъ мірскимъ образованіемъ, передъ вѣнчаніемъ сталъ говорить о новыхъ философскихъ брошюрахъ и, когда все было готово и дьячекъ подаль ему эпитахиль, къ которой онъ приложился и сталъ надѣвать, онъ, потупя взоры, сказалъ Б.: «Вы извините: обряды-съ; я весьма хорошо знаю, что христіанскій ритуаль сдѣлалъ свое время, что...»

— О нѣтъ, нѣтъ, — прервалъ его Базиль голосомъ полнымъ участія и состраданія:—Христіанство вѣчно; его сущность, его субстанція не можетъ пройти.

Сидонскій поблагодарилъ цѣломудреннымъ взглядомъ «рыцарственнаго» антагониста, обратился къ клиру и запѣлъ. Грянулъ клиръ, и дѣло пошло своимъ порядкомъ, и Б. въ вѣнцѣ, и Армансъ въ вѣнцѣ повелъ Сидонскій вокругъ анаоя,... заставляя ликовать Исаію.

Изъ собора Базиль отправился съ Армансъ домой и, оставивъ ее тамъ, явился на литературный вечеръ Краевскаго. Черезъ два дня Бѣлинскій посадилъ молодыхъ на пароходъ. Теперь-то, подумаютъ, исторія навѣрное окончена.

Нисколько.

До Каттегата дѣло шло очень хорошо; но тутъ попался проклятый Жакъ Ж.-Занда.

— Какъ ты думаешь о Жакѣ?—спросилъ Б. Армансъ, когда она кончила романъ.

Армансъ сказала свое мнѣніе.

Базиль объявилъ ей, что оно совершенно ложно, что она оскорбляетъ своимъ сужденіемъ глубочайшія стороны его духа и что его *міросозерцаніе* не имѣетъ ничего общаго съ ея.

Сангвиническая Армансъ не хотѣла мѣнять міросозерцанія; такъ прошли оба Бельта.

Вышедши въ Нѣмецкое море, Б. почувствовалъ себя больше дома и сдѣлалъ еще разъ опытъ переимѣнить міросозерцаніе и убѣдить Армансъ иначе взглянуть на Жака.

Умирающая отъ морской болѣзни, Армансъ собрала послѣднія силы и объявила, что мнѣнія своего о Жакѣ она не переимѣнитъ.

— Что же насъ связываетъ послѣ этого?—замѣтилъ сильно расхолодившійся Б.

— Ничто,—отвѣчала Армансъ, *et si vous me cherchez quelle*, такъ лучше просто разстаться, какъ только коснемся земли.

— Вы рѣшились, — говорилъ Б., плѣтушась. — Вы предпочитаете?..

— Все на свѣтѣ, чѣмъ жить съ вами; вы несносный человекъ, слабый и тиранъ.

— Madame!

— Monsieur!

Она пошла въ каюту; онъ остался на палубѣ. Армансъ сдержала слово. Изъ Гавра она уѣхала къ отцу и, черезъ годъ, возвратилась въ Россію одна, и притомъ въ Сибирь.

На этотъ разъ, кажется, исторія этого перемежающагося брака кончилась.

А, впрочемъ, Барреръ говорилъ же: «только мертвые не возвращаются».

(Писано 1857, Putney, Laurelhouse)

Примѣчанія.

Стр. 6. Грютли—лугъ на берегу Ури-скаго озера, гдѣ по преданію состоялся тайный союзъ въ 1307 г. 3-хъ вожаковъ швейцарскаго народа (Штауфахера, Фюрста и Мельхталя); съ цѣлью освобожденія отъ габсбургско-австрійскаго дома.

Стр. 25. Марья Савишна Перекусихина (1739—1824) была любимой и вліятельной камеръ юнгферой Екатерины II, завѣдывая такъ назыв. «комнатными обстоятельствами» императрицы.

Стр. 86. Маргарита Жоржъ (1786—1867), знаменитая французская актриса, славилась исполненіемъ героинь трагедій Корнеля и Расина.

Стр. 38. «Le soldat de Villainton» заключаетъ въ себѣ игру словъ: солдатъ дурного тона и въ то же время—солдатъ Веллингтона (по французскому произношенію этого англійскаго имени), разбитаго вмѣстѣ съ Блюхеромъ Наполеона I при Ватерлоо.

Стр. 40. Протоіерей Петръ Матв. Терновскій (1798—1874), профессоръ богословія и церковной исторіи въ московскомъ университетѣ.

Стр. 41. Упоминаемый здѣсь знакомый отца Герцена жандармскій генераль графъ Евграфъ Ѳеодор. Комаровскій (1769—1843) оставилъ послѣ себя любопытныя записки о своемъ времени, напечатанныя въ сборникъ «XVIII вѣкъ» (1868) и въ «Русск. Архивъ» (1867).

Александръ Ѳеодор. Лабзинъ (1766—1825), писатель-мистикъ, издававшій журналъ «Сіонскій Вѣстникъ» (1816—1817—18) и написавшій также много мистическихъ сочиненій («Угрозы Свѣтовостановъ» и др.); былъ сосланъ въ 1821 г. въ Симбирскъ.

Стр. 42. Викторъ Этьенъ, прозванный де-Жуи (1764—1846), остроумный французскій писатель. Его лучшій романъ «L'hermite de la Chaussée d'Antin»

(5 т., 1812—14), представляющій яркую и живую картину французскихъ нравовъ времени первой имперіи, былъ переведенъ и на русскій языкъ.

Люсиль Демуленъ—жена революціонера Камилла Демулена, казненнаго въ апрѣль 1794 г. Арестованная послѣ его казни по совершенно недоказанному обвиненію въ попыткѣ устроить бѣгство мужа изъ тюрьмы, она была казнена черезъ двѣ недѣли послѣ него.

Алибо, французскій революціонеръ-заговорщикъ, гильотинированный при Луи-Филиппѣ.

Стр. 48. Графъ Александръ Христофор. Бенкендорфъ (1783—1844), съ 1826 г. былъ шефомъ жандармовъ, начальникомъ III отдѣленія.

Княгиня Екатерина Ив. Трубецкая (урожд. графиня Лаваль)—жена декабриста кн. С. П. Трубецкаго, первая изъ женъ декабристовъ прибывшая въ 1829 г. въ Сибирь, гдѣ и оставалась до своей смерти (въ 1853 г.).

Князь Евгений Петр. Оболенскій, декабристъ (1796—1865). Сосланный въ каторжную работу, 13 лѣтъ пробывъ въ перчинскихъ рудникахъ, а въ 1856 г. былъ возвращенъ. Его «Записки» изданы въ 1862 г. во франц. переводѣ за границей; письма-же его помѣщены въ «Русск. Архивъ» 1873 г. и «Истор. Вѣстн.» 1890 г.

Стр. 44. Полковникъ Пав. Ив. Пестель (1792—1826), одинъ изъ главныхъ вожаковъ декабристовъ, учредитель «Союза Благоденствія»; дѣятель петербургскаго и южнаго тайныхъ обществъ и авторъ «Русской Правды», содержащей проектъ конституціи и критику тогдашняго положенія Россіи. Повѣшенъ 13 іюня 1826 г.

Ив. Евдоким. Протопоповъ, русскій учитель Герцена, въ то время бывший студентомъ московской медико-хирурги-

ческой академіи, а впоследствии ставший военнымъ врачомъ въ карабинерномъ полку. Были слухи, что онъ былъ убитъ во время бунта военныхъ поселенъ въ Старой Руссѣ, Новгородской губ., въ 1831 г. Въ «Запискахъ одного молодого человека» (т. I, 55—62) онъ названъ Пачиферскимъ.

Стр. 45 — 49. «Внучка старшаго брата отца» Герцена—проживавшая въ г. Корчевъ, Тверской губ., Татьяна Петровна Пассекъ (урожд. Кучина), которую далье Герценъ называетъ «корчевской кузиной».

Стр. 48. Анахарсисъ — мѣстеческій князь, будто бы путешествовавшій въ VI в. до Р. Х. по Греціи и, пораженный ея образованностью и культурой, желавшій ввести ихъ въ Скцію.

Франц. археологъ Жанъ-Жакъ Бартелима написалъ прославившееся въ свое время сочиненіе «Voyage du jeune Anacharsis en Grèce» (1788), переведенное затѣмъ и на русскій языкъ. Объ этомъ сочиненіи и говорится въ текстѣ.

Стр. 53. Стихи на этой страницѣ принадлежать Н. П. Огареву.

Стр. 59. Александръ Лаврент. Витбергъ (1787—1855), даровитый архитекторъ. Онъ составилъ замѣчательный проектъ грандіознаго храма Христа Спасителя на Воробьевыхъ горахъ близъ Москвы и началъ строить его, но, несправедливо обвиненный въ злоупотребленіяхъ, былъ сосланъ въ Вятку, гдѣ и жилъ до смерти. Во время своей вятской ссылки (1834—37 гг.) Герценъ близко подружился съ Витбергомъ, который продиктовалъ ему и свои «Записки» (напечат. въ «Русск. Стар.» 1872 и 1876 гг.).

Стр. 60. Агатонъ—типъ идеальнаго друга, выведенный Карамзиннымъ.

Стр. 63. Князь Николай Борис. Юсуповъ (ум. въ 1831 г.), одинъ изъ большихъ вельможъ екатерининскаго времени, былъ одно время главнымъ начальникомъ кремлевской дворцовой экзекуціи, гдѣ фиктивно служилъ Герценъ.

Джамбатиста Касты (1721—1803), талантливый итальянскій поэтъ, писавшій сонеты, анакреонтическіе стихи, комическія оперы, поэмы и новеллы въ стихахъ.

Стр. 67. Князь Мих. Федор. Орловъ (1788—1842), генералъ-майоръ и флягель-адъютантъ, заключилъ капитуляцію Парижа въ 1814 г.; принадлежалъ къ членамъ «Союза Благоденствія» и былъ

близокъ съ декабристами, почему въ 1826 г. былъ вынужденъ выйти въ отставку.

Графиня Анна Алексѣевна Орлова-Чесменская (1785—1848), дочь известнаго А. Г. Орлова, отличалась крайней религіозностью, подпавъ подъ влияние архимандрита Фотія. Послѣ смерти завѣщала все свои деньги (болѣе 2-хъ милліоновъ) монастырямъ.

Стр. 78. Князь Петръ Ив. Шаликовъ (1767—1852), писатель сентиментальной школы, издававшій 25 лѣтъ «Моск. Вѣд.» и журналы: «Моск. Зритель», «Аглая» и «Дамскій журналъ».

Владимір Ив. Панаевъ (1792—1859), поэтъ, получившій въ 1820 г. за свои «Идилліи» золотую медаль отъ русской академіи, гдѣ онъ состоялъ членомъ.

Пименъ Никол. Араповъ (1796—1861), историкъ русскаго театра, издававшій цѣнный трудъ «Лѣтопись русскаго театра». Кроме того, написалъ много пьесъ, рецензій и проч.

Пьеръ Мариво (1688—1763), французскій драматургъ, отличавшійся чрезвычайной искусственностью своихъ комедій.

Герцогъ Франсуа Ларошфуко (1613—1680), франц. писатель, известнй своими философскими и моральными афоризмами («Maximes»).

Стр. 76. Луи-Антуанъ Бурьенъ (1769—1834), былъ другомъ Наполеона I и его секретаремъ, а при Людовикѣ XVIII—государственнымъ министромъ. Онъ написалъ 10 томовъ «Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration» (1829).

Стр. 79. Князь Дмитр. Владим. Голицынъ (1771—1844) былъ боевымъ генераломъ во время войны при Александрѣ I, а съ 1820 г. состоялъ московскимъ генералъ-губернаторомъ до 40-хъ годовъ.

Стр. 81. «Химикъ»—сынъ дяди Герцена Александра Алексѣев. Яковлева,—Алексій Александровичъ.

Стр. 82. Дмитрій Никол. Свербѣевъ—умѣренный славянофилъ, одинъ изъ хорошихъ знакомыхъ Герцена, начиная съ 40-хъ годовъ. Свербѣевъ возобновилъ это знакомство въ Парижѣ, въ концѣ декабря 1869 г., и описалъ въ своихъ «Запискахъ» (т. I, стр. 501—507) послѣдніе дни жизни Герцена, его болѣзнь, смерть и погребеніе.

Стр. 83. Жозефъ-Жеромъ Лаландъ (1732—1807), французскій астрономъ, оставившій рядъ капитальныхъ работъ

Стр. 88. Лоренцъ Окенъ (1779—1851), нѣмецкій естествоиспытатель и философъ, основатель такъ называемой натурфилософiи.

Стр. 89. Ив. Алексѣевъ Двигубскій (1771—1839), профессоръ и ректоръ московскаго университета, былъ извѣстенъ, какъ натуралистъ и физикъ.

Федоръ Андреевичъ Гильдебрантъ (1773—1845) былъ проф. химiи въ московскомъ университетѣ.

Христіанъ Ив. Лодеръ (1753—1832), проф. тамъ-же, анатомъ, лейбъ-медикъ Александра I.

Григ. Ив. Фишеръ фонъ-Вальдгеймъ (1771—1853), проф. тамъ-же, впоследствии былъ президентомъ медико-хирургической академіи, извѣстенъ изслѣдованіями по физиологiи животныхъ и по палеонтологiи.

Алексѣй Федор. Мераляковъ (1778—1830), проф. русскій словесности тамъ же; боролся противъ псевдо-классицизма; перевелъ Горациа, Виргиліа и Теоокрита, сочинилъ имѣвшія въ свое время большой успѣхъ пѣсни въ народномъ духѣ («Среди долины ровныя» и др.).

Вас. Мих. Котельницкій (1770—1844), проф. тамъ же, читалъ исторію медицины и химiи, издавалъ и редактировалъ (съ 1821 г.) «Медико-физич. журналъ».

Филиппъ-Геврихъ Дильтей (ум. въ 1781 г.) былъ первымъ (и единственнымъ) профессоромъ по юридическимъ наукамъ въ московскомъ университетѣ.

Стр. 91. Луи Пуансо (1777—1859), французскій математикъ-академикъ, издавшій много замѣчательныхъ математическихъ трудовъ.

Гавр. Ив. Мягковъ съ 1820-хъ годовъ преподавалъ въ московскомъ университетѣ военныя науки и математикъ.

Стр. 92. Дюрамъ (Durham), Джонъ, графъ, англ. государств. дѣятель (1792—1840); въ 1835—37 гг. былъ англ. посланникомъ въ Россію.

Стр. 98. Александръ Александр. Писаревъ (1780—1840) былъ попечителемъ москов. университета, варшавскимъ военнымъ губернаторомъ, сенаторомъ, председателемъ общ. любит. росс. словесности и членомъ росс. академіи.

Серг. Никол. Глинка (1776—1847), плодовитый писатель и журналистъ, отличавшійся крайнимъ патриотизмомъ, участвовалъ въ войнѣ 1812 г. Издавалъ «Русскій Вѣстникъ», «Новое Дѣтское Чтеніе» и мн. др.

Стр. 94. Графъ Серг. Сем. Уваровъ (1786—1855), въ 1833—49 гг. министръ народнаго просвѣщенія; авторъ извѣстной формулы «Просвѣщеніе въ цѣляхъ самодержавія, православія и народности».

Джованни Пикъ - де - ла - Мирандола (1463—1494) поражалъ всѣхъ своихъ современниковъ поразительной многосторонней ученостію и энциклопедизмомъ своихъ знаній. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ старался примирить философію съ религіей.

Графъ Александръ Федор. Ланжеронъ (1763—1831) и графъ Леонтій Леонт. Веннигсенъ (1745—1826), боевые генералы, въ особенности отличившіеся въ войнѣ 1812 г. Стихи, въ которыхъ они упоминаются, приведенные Герценомъ, принадлежать партизану-поэту Д. В. Давыдову.

Стр. 96. Ренэ-Жюль Гайюи (1743—1822), франц. минералогъ, создавшій научную кристаллографію.

Авраамъ-Готтлибъ Вернеръ (1760—1817), нѣм. минералогъ и одинъ изъ создателей геологiи, авторъ теорiи неплутизма.

Эйлордъ Матчерлихъ (1794—1863), нѣм. химикъ, оставившій много цѣнныхъ изслѣдованій и внесшій въ науку новыя данныя.

Александръ-Огюстъ Ледрю-Ролленъ (1807—1874), франц. политическій дѣятель. Съ 1841 г. былъ единственнымъ радикаломъ въ палатѣ депутатовъ и издавалъ въ 40-хъ г. радикальную газету «Réforme». Въ 1848 г. былъ членомъ республиканскаго временнаго правительства и министромъ внутреннихъ дѣлъ. После неудачной попытки къ возстанію въ іюнѣ 1849 г. бѣжалъ въ Англію, гдѣ во время 2-ой имперiи составлялъ противъ нея заговоры, состоя членомъ международнаго революціоннаго комитета. Вернулся во Францію (1870 г.), былъ депутатомъ въ палатѣ въ 1871 и 1874 гг.

Стр. 97. Князь Александръ Никол. Голицынъ (1773—1844), оберъ-прокуроръ синода и министръ народ. просв. На этомъ посту Голицынъ, прежній либералъ и «вольтеріанецъ», сталъ ревностнымъ реакціонеромъ, покровителемъ Магницкаго, Рунича и др. обскурантовъ. Впавши въ мистицизмъ, онъ основалъ «Библейское общество», но еще болѣе крайніе реакціонеры, въ лицѣ Аракчеева и архим. Фотія, низвергли его въ 1824 г.

Стр. 98. Жань-Батистъ Лакордеръ (1802—1861), красноречивый и либеральный проповѣдникъ. Издавалъ выстъ съ Ламенне католическо-демократическую газету «Будущность», въ 1842 г. принялъ монашество, а въ 1848 г. былъ членомъ законодательнаго собранія.

Свѣтлѣйшій князь Петръ Михайл. Волконскій (1776—1852), министръ имп. двора.

Стр. 100. Дюпонъ де-Лёръ, Жакъ-Шарль (1767—1855), французскій политическій дѣятель, бывшій въ 1848 г. президентомъ временнаго правительства.

Бенжаменъ Констанъ (1767—1830), французскій политическій дѣятель и либеральный писатель, боровшійся противъ абсолютизма Наполеона I и противъ реакціи при Бурбонахъ. Онъ написалъ имѣвшій въ свое время большой успѣхъ романъ «Адольфъ», переведенный и на русскій языкъ кн. П. А. Вяземскимъ (Спб., 1831).

Каррель, Арманъ (1800—1836), талантливый республиканскій публицистъ и историкъ, убитый на дуэли Эмилемъ Жирарденомъ. Его «Исторія контрреволюціи въ Англіи» переведена на русскій языкъ въ 1866 г.

Вадимъ Вас. Пассекъ (1808—1842), историкъ-этнографъ, одинъ изъ первыхъ представителей украинофильства. Главный его трудъ «Очерки Россіи» (5 т., 1842); кромѣ того онъ написалъ «Путевыя замѣтки Вадима» (1834) и рядъ др. трудовъ. Онъ былъ женатъ на двоюродной сестрѣ Герцена, Татьянѣ Петровнѣ (1810—1889), оставившей въ своихъ воспоминаніяхъ «Нѣзъ дальнихъ лѣтъ» (3 т.) много драгоценныхъ свѣдѣній о Герценѣ. Братъ В. В., Діомидъ Вас. Пассекъ, упоминаемый дальше Герценомъ, служилъ въ военной службѣ и въ чинѣ генерала убитъ на Кавказѣ въ 1845 г.

Стр. 101. Буквою К. здѣсь обозначенъ одинъ изъ друзей Герцена Николай Христофоров. Кетчеръ (1809—1886) переводчикъ Шекспира и Гофмана.

Стр. 102. Петръ Богдан. Пассекъ (1736—1804), былъ не генералъ-губернаторомъ въ польскихъ провинціяхъ, какъ сказано у Герцена, а намѣстникомъ моголевскимъ и полоцкимъ до 1796 г., когда былъ уволенъ Павломъ I.

Стр. 106. Карлъ Вильгельмовичъ Рабусъ (1800—1857), пейзажистъ и каррикатуристъ.

Стр. 107. Мих. Вас. Петрашевскій (1819—1867) составилъ съ нѣсколькими

знакомыми — «петрашевцами» — секретное общество, занимавшееся чтеніемъ и изученіемъ социалистическихъ теорій. Къ этому обществу принадлежали и за участіе въ немъ пострадали: Ф. М. Достоевскій, поэты А. Н. Плещеевъ и С. Ф. Дуrowsъ, драматургъ А. И. Пальвъ и др.

Стр. 107. Подъ буквою С. означенъ поэтъ Ник. Мих. Сатинъ, а подъ буквою К. на этой и на слѣдующей страницѣ—Ник. Христофор. Кетчеръ.

Стр. 108. Студентъ московск. университета Як. Ив. Костенецкій (1811—1885), сосланный въ 1831 г. на Кавказъ за участіе въ Сунгуровскомъ тайномъ обществѣ, за отличіе произведенный въ офицеры, вышелъ въ отставку и поселился въ Черниговской губ., занимался литературой, служилъ въ земствѣ, былъ поч. мир. судьей и проч. О Сунгуровскомъ дѣлѣ, о своемъ въ немъ участіи онъ подробно разсказалъ въ «Воспоминаніяхъ изъ студенческой жизни» («Рус. Архивъ» 1887 г. №№ 1—3).

Стр. 110. Дм. Матв. Перевощниковъ (1798—1880), известный астрономъ и математикъ, академикъ.

Стр. 113. Буквою С. обозначенъ Н. М. Сатинъ, а буквою К.—Н. Х. Кетчеръ.

Владим. Ив. Соколовскій (1808—1839), поэтъ. Арестованный въ одно время съ Герценомъ и Огаревымъ, содержался въ шлиссельбургской крѣпости до 1837 г., затѣмъ жилъ въ Вологдѣ и Петербургѣ. Лучшее его произведеніе поэма «Міровданіе», имѣвшая 3 изданія. Кромѣ того, написалъ «Рассказы сибиряка» и драматическую поэму «Хевьеръ», о которой говоритъ здѣсь Герценъ.

Михаилъ Александр. Максимовичъ (1804—1873), ученый, много сдѣлавшій для малорусской этнографіи.

Стр. 115. Буквою К. обозначенъ Н. Х. Кетчеръ.

Стр. 120. Бартеlemi-Просперъ Анфантеи (1796—1864), одинъ изъ вождей севъ-симоняма, устроившій въ своемъ помѣстьѣ Менильмонтанъ общину (Менильмонтанское семейство) севъ-симонистовъ на принципахъ социализма. Эта община была закрыта правительствомъ послѣ судебного процесса.

Стр. 128. Могень—французскій либеральный депутатъ 30-хъ годовъ.

Джонъ Гемпденъ (1594—1643), англ. политическій дѣятель, глава парламентской оппозиціи при Карлѣ I, первый поднявшій противъ него вооруженное возстаніе.

Жань-Сильвенъ Бальи (1736—1793),

астрономъ и политическій дѣятель, президентъ національнаго собранія и мэръ Париза во время 1-й революціи.

Жозефъ Фіески (1790—1836), прозвѣдшій въ 1835 г. посредствомъ адской машины покушеніе на жизнь француз. короля Луи-Филиппа.

Стр. 129. Подъ «княземъ», о которомъ говорится на этой стр., подразумевается тогдашній московскій генералъ-губернаторъ князь Д. В. Голицынъ.

Стр. 130. ...его братья, т. е., братъ Михаила Федоровича Орлова, — Алексѣй Федор. Орловъ (1788—1861), незаконный сынъ Федора Григ. Орлова. Въ 1825 г. содѣйствовалъ, командуя конногвард. полкомъ, усмирению возстанія 14 декабря, за что пожалованъ въ графы. Съ 1844 г. былъ шефомъ жандармовъ, а съ 1856 г. былъ председателемъ госуд. совѣта и комитета министровъ, съ 1857 г. предсѣдательствовалъ въ комитетѣ о крестьянахъ, къ освобожденію которыхъ относился враждебно. Въ этомъ же году ему былъ дарованъ княжескій титулъ.

Стр. 133. Молодая дѣвушка, о свиданіи съ которой на кладбищѣ говорить Герценъ, была Нат. Александр. Захарьина, его двоюродная сестра и будущая жена.

Стр. 150. Филиппъ Вуверманъ (1619—1668), голландскій живописецъ, жанристъ, пейзажистъ и баталистъ.

Жакъ Калло (1592—1635), франц. художникъ, прославившійся гравюрами, полными юмора и фантазіи.

Стр. 151. Жанъ-Поль Рихтеръ (1763—1825), знаменитый нѣмецкій юмористъ и беллетристъ, богатый фантазіей и проповѣдывавшій гуманность и любовь къ бѣднякамъ.

Стр. 152. Буквою С. обозначенъ Н. М. Сатинъ.

Стр. 153—154. Графъ Клодъ-Генри де-Сенъ-Симонъ (1760—1825) изложилъ свое социалистическое ученіе—сенъ-симонизмъ—въ своемъ сочиненіи «Lettres d'un habitant de Genève» (1803).—Его предокъ герцогъ Луи де-Сенъ-Симонъ (1675—1755) былъ придворнымъ при Людовикѣ XIV и регентъ герцогъ Филиппъ Орлеанскомъ. Его многотомные мемуары вполне были изданы лишь въ 1829—30 гг. (въ раннихъ изданіяхъ многое секвестровалось), за нихъ его даже называли «французскимъ Тацитомъ», за желчное изображеніе двора.

Стр. 157. Гаазъ, Федоръ Петровичъ (1780—1853), изв. филантропъ и врачъ.

Стр. 159—160. Буквою С. означенъ Н. М. Сатинъ.

Стр. 162. Въ концѣ этой стр. говорится о прощальномъ свиданіи, которое имѣлъ Герценъ, отправляясь въ ссылку, съ Н. А. Захарьиной, своей будущей женой.

Стр. 166. Подъ «нашимъ Щ.» здѣсь разумется одинъ изъ московскихъ друзей Герцена, извѣстный артистъ М. С. Щепкинъ.

Стр. 171. Генералы: К. А. Крейцъ (1777—1850) и Ридигеръ участвовали въ войнахъ времени Александра I и Николая I.

«Войнаровский», поэма К. Ф. Рылѣева, въ тѣ времена (во все время царствованія Николая I) была запрещена.

Стр. 175. Графъ Егоръ Францовичъ Канкринъ (1774—1845) былъ министромъ финансовъ съ 1823 г. до своей смерти. Онъ переложилъ ассигнаціонный рубль на серебряный (3½ р. ассигн. = 1 сер. р.) и написалъ нѣсколько ученыхъ сочиненій.

Стр. 180. Генералъ Исайловъ былъ богатый помѣщикъ въ Рязанской губерніи въ началѣ XIX в. Онъ такъ жестоко притѣснялъ и тиранилъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ, что объ его звѣрствахъ сохранились цѣлыя невѣроятныя по ужасу легенды и преданія. См. статью С. Т. Славутинскаго: «Генералъ Исайловъ и его дворня» въ «Древней и Новой Россіи» 1876 г.

Стр. 181. Мамоновъ, о которомъ здѣсь упоминаетъ Герценъ, — Ал-дръ Матв. Дмитріевъ-Мамоновъ (1758—1803), бывший однимъ изъ фаворитовъ Екатерины II, но оскорбившій ее своей женитьбой на княжнѣ Щербатовой въ 1789 г., за что и былъ удаленъ отъ двора и жилъ въ Москвѣ. Павелъ I далъ ему графское достоинство, но онъ остался всею забыть по своему ничтожеству.

Стр. 186. Иосифъ-Антоній Понятовскій (1763—1813), братъ послѣдняго польскаго короля Станислава-Августа, участвовалъ, въ качествѣ дивизионнаго генерала подъ команду Костюшко, въ войнѣ съ русскими въ 1793—94 гг., въ 1807 г. былъ военнымъ министромъ герцогства варшавскаго, въ 1809 г. командовалъ у Наполеона польскими войсками въ войнѣ съ Австріей, а въ 1812—13 гг., съ Россіей и Пруссіей. Въ битвѣ подъ Лейпцигомъ утонулъ въ р. Эльстерѣ.

Стр. 186. Симонъ Конарскій (1808—1839), польскій революціонеръ. Послѣ участія въ восстаніи 1830—31 гг., эмигрировалъ, но въ 1838 г., возвратясь въ западный край для подготовки восстанія, былъ схваченъ въ 1838 г. и разстрѣлянъ въ февралѣ 1839 г.

Стр. 187. Графъ Дм. Никол. Блудовъ (1785—1864). Въ молодости былъ близокъ съ Жуковскимъ, Карамзиннымъ и др. писателями и членомъ литерат. общества «Араамесъ». Но въ 1826 г., будучи дѣлопроизводителемъ слѣдственной комиссіи о декабристахъ, составилъ обвинительный актъ, гдѣ ему пришлось обвинить и нѣкоторыхъ изъ бывшихъ своихъ друзей (Н. И. Тургенева и др.). Въ 1832—37 гг. былъ министромъ вн. дѣлъ.

Стр. 189—190. Ив. Борис. Пестель (1765—1843), отецъ декабриста, при Павлѣ I былъ почтъ-директоромъ, а при Александрѣ I сенаторомъ и генералъ-губернаторомъ Сибири, управляя ею изъ Петербурга, чѣмъ и воспользовался иркутскій губернаторъ Трескинъ, ограбившій полъ-Сибири. У Герцена (въ выноскѣ на 190 стр.) онъ ошибочно названъ Борисомъ Ивановичемъ.

Стр. 190. Графъ Мих. Андреев. Милорадовичъ (1771—1825), генералъ, прославившійся въ своровскихъ войнахъ, а за подвиги въ войну 1812 г. получившій графскій титулъ. Затѣмъ онъ состоялъ петербургскимъ генералъ-губернаторомъ и убитъ во время восстанія 14 декабря 1825 г.

Генералъ отъ артиллеріи Петръ Мих. Капцевичъ (1772—1840) участвовалъ въ войнахъ съ французами при Павлѣ I и Александрѣ I, а съ 1823 г. былъ генералъ-губернаторомъ западной Сибири.

Стр. 191. Семенъ Богдан. Броневскій (1786—1858) почти всю жизнь (съ 1808) прослужилъ въ Сибири; генералъ-губернаторомъ вост. Сибири состоялъ до 1857 г., когда былъ назначенъ сенаторомъ.

Графъ Никол. Никол. Муравьевъ-Амурскій (1809—1881), генералъ-губернаторъ вост. Сибири, прославившійся экспедиціей на Амуръ и пріобрѣтеніемъ, по договорамъ съ Китаемъ, Амурскаго и Уссурийскаго краевъ.

Стр. 192. Александръ Самойл. Фигнеръ (1787—1813) и Александръ Никит. Сеславинъ (1780—1858)—два партизана, особенно прославившіеся въ 1812 г. своими успешными дѣйствіями

противъ французовъ во время ихъ пребыванія въ Москвѣ и затѣмъ отступленія изъ нея.

Стр. 208. Графъ Пав. Дм. Киселевъ (1788—1872). Въ 1837—1856 гг., будучи министромъ госуд. имуществъ, улучшилъ положеніе казенныхъ крестьянъ; противникъ крѣпостного права, поддерживалъ въ этомъ направленіи Александра II.

Графъ Левъ Алексѣев. Перовскій (1792—1856). Въ молодые годы участвовалъ въ «Союзѣ благоденствія», но въ событіи 14 декабря не былъ замѣшанъ. Въ 1841—1852 гг. былъ министромъ вн. дѣлъ (причемъ возбудилъ и раздулъ дѣло Петрашевскаго), а въ 1852—56 гг.—министромъ удѣловъ.

Стр. 218. Мих. Леонт. Магницкій (1778—1855), занимая съ 1819 г. мѣсто попечителя Казанскаго учебнаго округа, заявилъ себя какъ ультра-реакціонеръ и притѣснитель. Въ 1826 г. былъ по суду уволенъ, но продолжалъ писать допросы на равныхъ лицъ.

Дм. Павл. Руничъ (1780—1860) при Александрѣ I былъ членомъ главнаго управленія училищъ, а затѣмъ попечителемъ Спб. и Кіевскаго университетовъ. За растрату казенныхъ денегъ былъ отставленъ. Какъ обскурантъ, Руничъ давилъ и пресѣдовалъ все живое.

Стр. 217. Пьеръ Леру (1798—1871), французскій социалистъ и философъ. Въ 1841 г. вмѣстѣ съ Жоржъ-Завндъ основалъ журналъ «Revue indépendante», затѣмъ издавалъ журналы: «Eclaircissement» и «Revue Sociale». Во время второй имперіи жилъ въ изгнаніи.

Сценарій двухъ драматическихъ опытовъ Герцена «Лициній и Вилльямъ Пеннъ», о которыхъ здѣсь говорится, напечатаны въ I томѣ настоящаго изданія (стр. 98—104).

Стр. 221. Ив. Вас. Енохинъ (1791—1863) съ 1832 г. лейбъ-медикъ

Конст. Ив. Арсеньевъ (1789—1856), географъ, статистикъ и историкъ. Преподавалъ исторію и статистику наслѣднику (впослѣдствіи импер. Александру II), котораго, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, сопровождалъ въ 1837 г. въ путешествіи по Россіи.

Стр. 228. Алексисъ Токвиль (1805—1859), выдающийся французскій писатель, бывший министромъ иностранныхъ дѣлъ послѣ революціи 1848 г. и написавшій пріобрѣвшія большую важность книги: «Демократія въ Америкѣ» (о которой здѣсь говорить Герценъ) и

«Старый порядок и революція», переведенныя и на русскій языкъ.

Стр. 228. «Гарантасъ» — романъ гр. В. А. Сологуба, гдѣ описана дорога отъ Москвы до Казани и, между прочимъ, городъ Владимиръ.

Стр. 241—242. Подъ именемъ «хика» здѣсь обрисованъ двоюродный братъ Герцена и родной братъ его будущей жены—Алексѣй Александр. Захарьинъ.

Стр. 246—248. Объ этой любимой горничной Натальи Александровны часто говорится и въ перепискѣ Герцена съ его невѣстой въ VII томѣ настоящаго изданія. Саша впоследствии вышла замужъ и умерла отъ чахотки.

Стр. 249. Эмилія Михайловна Аксбергъ, сперва бывшая гувернанткой и учительницей невѣсты Герцена Н. А. Захарьиной, а затѣмъ ставшей однимъ изъ ея ближайшихъ друзей. О ней многократно говорится въ перепискѣ Герцена съ невѣстой (въ VII томѣ).

Стр. 250. Ген. - адъют. Як. Пв. Ростовцевъ (1803—1860), въ 1825 г. раскрылъ заговоръ декабристовъ, хотя и не назвалъ именъ. При Николаѣ I былъ главнымъ начальникомъ военно - учебныхъ заведеній. Въ 1859 г. былъ назначенъ председателемъ комитета по освобожденію крестьянъ и содѣйствовалъ этой реформѣ.

Стр. 252. Ксавье Сентинъ (Saintine, 1798 — 1865), — у Герцена: Сантинъ, — нынѣ забытый плодовитый французскій драматургъ (написалъ около 200 пьесъ) и романистъ. Наибольшей славой въ свое время пользовался его романъ «Пиччиола» (1836), выдержавшій 40 изданій и переведенный на всѣ европейскіе языки (русскій переводъ 1837 г.).

Стр. 253. Грандисонъ, — добродѣтельный герой романа англійскаго писателя XVIII вѣка С. Ричардсона «Сэръ Чарльзъ Грандисонъ», — ставъ нарицательнымъ именемъ сентиментальныхъ и добродѣтельныхъ героевъ.

Стр. 256. Эжень - Франсуа Видокъ (1775—1857), знаменитый французскій сыщикъ временъ первой имперіи и реставраціи. Изданные имъ въ 1828 г. «Мемуары» были переведены и на русскій языкъ. Имя его стало нарицательнымъ для обозначенія ловкаго сыщика.

Стр. 257. Буквою Р. здѣсь и на слѣдующихъ страницахъ обозначена Прасковья Петровна Медвѣдова, съ которою Герценъ имѣлъ въ Вяткѣ непродолжительный романъ.

Стр. 264. Филаретами (любителями добродѣтели) называлось общество студентовъ виленскаго университета, возникшее въ началѣ 1820 - хъ годовъ съ цѣлью воспитывать людей въ идеяхъ свободы. Въ 1823 г. общество филаретовъ было закрыто правительствомъ, и его члены административно разосланы по Россіи за политическую неблагонадежность. Изъ видныхъ людей къ филаретамъ принадлежали Ад. Мицковичъ, Тома Занъ, ориенталистъ Веряниковскій и др.

Стр. 265. «Die Mädchen aus Fremde» («Дѣва изъ чужбины») — одно изъ лучшихъ стихотвореній Шиллера.

Стр. 272—273. «Компаньонка» — М. С. Макашина.

Стр. 274—275. Буквою К. обозначенъ здѣсь одинъ изъ друзей Герцена — Николай Христофоровичъ Кетчеръ. См. о немъ выше прим. къ 101 стр. этого тома. Патфайндеръ (искатель слѣдовъ) — герой нѣсколькихъ романовъ Купера, прямой, независимый и простодушный человекъ, чуждый общепринятыхъ условностей свѣтскаго общества.

Стр. 276. Бенвенуто Челлини (1500 — 1572), знаменитый итальянскій ювелиръ, золотыхъ дѣлъ мастеръ и скульпторъ. Его автобіографія переведена и на русскій языкъ въ 1848 г.

Стр. 277—280. Буквою К. означенъ Ник. Христоф. Кетчеръ.

Стр. 278—279. Подъ «княгиней» подразумевается тетка Герцена, кн. Марья Алексѣевна Хованская, въ домѣ которой жила невѣста Герцена.

Стр. 294. Жанъ Деруанъ — французскій журналистъ 50-хъ годовъ.

Стр. 296. Жераръ де - Нерваль, собственно Лабрюни (1808—1855), французскій поэтъ - романтикъ, котораго вмѣстѣ съ Боделеромъ считаютъ во Франціи основателями символизма.

Стр. 297. Поль Нике (по имени холяпина) называлась въ 40 - хъ и 50 - хъ годахъ одна изъ самыхъ характерныхъ трущобъ Паража, въ родѣ, такъ называемой, «Виземской лавры» въ Петербургѣ.

Прасковья Андреевна — П. А. Эрнъ, мать Маріи Каспаровны Эрнъ (о послѣдней см. примѣчаніе къ стр. 432).

Стр. 299. Буквою М. обозначена «маменька», т. е. мать Герцена, а буквами Е. И. — его старшій братъ Егоръ Ивановичъ. Эмилія Михайловна — это Аксбергъ, гувернантка и близкій другъ Натальи Александровны.

Стр. 302. Буквою С. (въ самомъ началѣ страницы) обозначенъ Н. М. Сатинъ. Офицеръ С.—жандармскій офицеръ Соколовъ.

Стр. 304. «Вадимъ» — Вадимъ Васильевичъ Пассекъ. См. прим. къ 100 стр. этого тома.

Стр. 305. Буквою К. обозначенъ Н. Х. Кетчеръ.

Стр. 311. Карлъ Вердеръ (1806—1893), нѣмецкій философъ, ученикъ и послѣдователь Гегеля, былъ профессоромъ берлинскаго университета.

Филиппъ-Конрадъ Маргейнеке (1780—1846) былъ профессоромъ въ Эрлангенъ, Гейдельбергъ и Берлинъ; написалъ рядъ книгъ по теологiи и морали.

Людвигъ Михелетъ (1801—1893), профессоръ берлинскаго университета, самый преданный послѣдователь Гегеля. Отто, Вадке и Шаллеръ — философы-гегелисты.

Арнольдъ Руге (1802—1880), нѣмецкій писатель и революціонеръ. Въ 1837 г. основалъ философско-критическій журналъ «Halle'sche Jahrbücher», который въ 1841 г. былъ запрещенъ. Въ 1848—49 гг. принималъ дѣятельное участіе въ нѣмецкомъ революціонномъ движеніи, а затѣмъ эмигрировалъ и жилъ сперва въ Парижъ, потомъ въ Англіи. Написалъ цѣлый рядъ историческихъ сочиненій, романовъ, свою автобіографію и проч.

Стр. 312. Людвигъ Фейербахъ (1804—1872), нѣмецкій философъ, ученикъ Гегеля. Его сочиненія главнымъ образомъ имѣютъ задачей критику религіи и христіанства («Das Wesen der Religion», «Das Wesen des Christenthums»). По своимъ философскимъ воззрѣніямъ примыкалъ къ матеріалистическому сенсуализму.

Стр. 313. Иоганнъ - Христіанъ - Фридрихъ Гельдерлинъ (1770—1843) — нѣмецкій поэтъ.

Эдуардъ Гансъ (1798—1839) былъ даровитымъ представителемъ философской школы въ нѣмецкой юриспруденціи.

Стр. 317. Теруанъ де - Мерикуръ (1762—1817), прозванная «амазонкой революціи», была эксцентричной дѣятельницей въ революціонный періодъ въ Парижѣ. Выстѣченная въ 1793 г. на улицѣ толпою женщинъ, она тутъ-же помѣшалась и остальную жизнь провела въ сумасшедшемъ домѣ.

Карлъ - Густавъ Карусъ (1789—1869), нѣмецкій врачъ, натуралистъ, философъ и пейзажистъ.

Карлъ - Фридрихъ Бурдахъ (1776—1847), известный въ свое время нѣмецкій физиологъ, профессоръ въ Дерптѣ и Кенигсбергѣ, оставившій важныя работы по анатоміи и нервной физиологiи.

Стр. 320. Ив. Никит. Скобелевъ, генералъ и военный писатель 30-хъ и 40-хъ годовъ.

Буквою К. здѣсь означенъ, повидимому, другъ Бѣлинскаго Н. Х. Кетчеръ.

Стр. 321. Археологъ Ив. Петр. Сахаровъ (1807—1863) издалъ рядъ цѣнныхъ трудовъ («Сказанія русскаго народа» и др.), положившихъ начало русской этнографіи.

Буквами А. К. обозначенъ здѣсь известный издатель «Отеч. Записокъ» и впоследствии «Голоса» Андрей Александр. Краевскій (1810—1839).

Стр. 322. Подъ «денежно притѣснявшими Бѣлинскаго литературными подрядами» здѣсь подразумѣвается издатель «Отеч. Записокъ» А. А. Краевскій, немилосердно эксплуатировавшій своего лучшаго и талантливѣйшаго сотрудника Бѣлинскаго, создававшего успѣхъ журнала.

Стр. 324. П. В. Анненковъ издалъ въ 1858 г. книгу: «Н. В. Станкевичъ, переписка и его біографія».

Стр. 329. Вас. Петр. Боткинъ (1810—1869), литературный критикъ, авторъ известныхъ «Писемъ объ Испаніи», одинъ изъ ближайшихъ друзей Герцена, Бѣлинскаго и Грановскаго.

Стр. 331. Ив. Петр. Ключниковъ (1811—1885), поэтъ, обратившій на себя вниманіе талантливыми стихотвореніями рефлексивно-философскаго характера, печатавшимся имъ (подъ псевдонимомъ—Ө.)—въ концѣ 30-хъ и въ началѣ 40-хъ годовъ въ «Москов. Наблюдателѣ» и въ «Отеч. Запискахъ». Онъ принадлежалъ къ кружку Станкевича.

Стр. 335. Стихи, приведенные здѣсь, принадлежатъ П. П. Огареву.

Стр. 338. Алексій Васил. Тимофеевъ (1812—1883), забытый теперь поэтъ. Дмитрій Васил. Дашковъ (1784—1839) съ 1829 до 1839 г. былъ министромъ юстиціи. Онъ былъ известенъ своими литературными связями съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, П. И. Дмитриевымъ и участіемъ въ литературныхъ кружкахъ.

Стр. 346. Подъ «княземъ Александромъ Ивановичемъ» подразумѣвается тогдашній военный министръ и предсѣдатель государственнаго совѣта кн. А. П. Чернышевъ (1785—1857).

Стр. 353. Федоръ Андреевичъ Ос-терманъ (1723—1804), сынъ разжалованнаго и умершаго въ ссылкѣ (въ Березовѣ) канцлера; при Екатеринѣ II былъ дѣйств. тайн. совѣтникомъ, сенаторомъ и генералъ-губернаторомъ Москвы.

Миссъ Вильмотъ, двѣ сестры ирландки, жившія у Е. Р. Дашковой и оставившія о ней и о Россіи того времени свои записки, изданныя за границей, вмѣстѣ съ записками самой Дашковой.

Стр. 355. Подъ «княземъ Петромъ Михайловичемъ» здѣсь подразумѣвается тогдашній министръ палат. двора свѣтлѣйшій князь, генер.-фельдмаршалъ П. М. Волконскій (1776—1852).

Стр. 356. Свѣтлѣйшій князь Мих. Семен. Воронцовъ (1782—1856) былъ въ то время новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ (впослѣдствіи кавказскимъ намѣстникомъ).

Стр. 363. Салтычиха — свирѣпая помѣщица, нещадно мучившая и убивавшая своихъ крѣпостныхъ во время Екатерины II.

Пеночкинъ — утонченный и цивилизованный помѣщикъ, притѣсняющій своихъ крестьянъ въ рассказѣ Тургенева «Ермолай и Мельничиха» («Записки охотника»).

Стр. 371. Буквою К. обозначенъ здѣсь Н. Х. Кетчеръ.

Стр. 372. Буквою К. обозначенъ Н. Х. Кетчеръ, буквами Е. К. — Евгенийъ Федор. Коршъ, Михаилъ Семеновичъ — актеръ М. С. Щепкинъ.

Стр. 380. Статья «По поводу одной драмы», на которую здѣсь ссылается Герценъ, помѣщена въ IV томѣ настоящаго изданія (стр. 29—51).

Стр. 382. Франциско Зурбаранъ (1598—1662), великій испанскій художникъ, писавшій религиозныя картины.

Буквою Б. (въ выноскѣ) означенъ Вас. Петр. Боткинъ, всю жизнь бывший известнымъ гастрономомъ.

Стр. 383. Георгъ - Фридрихъ Пухта (1798—1846) и Карлъ-Фридрихъ Савинья (1779—1861) — знаменитые нѣмецкіе ученые юристы, представители исторической школы въ юриспруденціи.

Буквами Е. К. обозначенъ Евг. Фед. Коршъ.

Дм. Льв. Крюковъ (1809—1845), талантливый профессоръ римской словесности и римскихъ древностей въ московскомъ университетѣ.

Карлъ - Вячеславъ фонъ - Роттекъ (1775—1840), нѣмецкій историкъ и экономистъ, издавалъ газету «Der Frei-

sinnige», запрещенную баденскимъ правительствомъ.

Петръ Григ. Рѣдкинъ (1808—1891), известный русскій юристъ, профессоръ сперва московскаго, затѣмъ петербургскаго университетовъ. Главный его трудъ: «Лекція по философіи права».

Луи Агассизъ (1807—1873), знаменитый швейцарскій натуралистъ, создавшій ледниковую теорію и оставившій рядъ капитальныхъ работъ по систематикѣ допотопныхъ животныхъ.

Стр. 384. Филиппъ-Бенжаменъ-Жозефъ Бише (1796—1865), французскій философъ, экономистъ и историкъ.

Стр. 386. Здѣсь, какъ и далѣе на стран. 390, буквы Е. К. обозначаютъ Е. Ѡ. Корша.

«Линда ди-Шамуни» — названіе оперы Доницетти.

Стр. 395—396. Стихотвореніе «Мертвому другу» (Т. Н. Грановскому) принадлежитъ Н. П. Огареву.

Стр. 397. Генрихъ Риттеръ (1791—1869), нѣмецкій философъ.

Стр. 398. В. С. Печеринъ былъ даровитымъ эллинистомъ и адъюнктомъ въ московскомъ университетѣ въ началѣ 40-хъ годовъ. О немъ см. статью Герцена въ III томѣ этого изданія, стр. 349—358.

Накита Ив. Крыловъ (1807—1879), ученикъ Савиньи, былъ съ 1836 г. профессоромъ римскаго права въ московскомъ университетѣ и пользовался популярностью.

Стр. 401. Вас. Кузьм. Шебуевъ (1777—1855), художникъ.

Людевитъ Гай (1809—1872), хорватскій писатель и дѣятель иллирійскаго движенія. Въ 1840 г. вѣздилъ въ Россію и получилъ отъ акад. наукъ 5.000 р., а въ Москвѣ собралъ 20.000 р. на цѣли иллиризма и панславизма.

Графъ Юсіфъ Іеллачичъ (1801—1859), хорватскій банъ, въ 1848 г. дѣйствовавшій противъ венгерцевъ и революціи.

Стр. 402. Вас. Петр. Андросовъ (1803—1841), статистикъ, редакторъ «Московск. Наблюдателя» (съ 1835 г.), переданнаго имъ потомъ (съ 1838 г.) въ руки Бѣлинскаго.

Стр. 403. Филиппъ Филипп. Вигель (1786—1856), служилъ въ разныхъ вѣдомствахъ и писалъ доносы на неприятныхъ ему писателей и общественныхъ дѣятелей. Больше всего завѣстенъ своими «Воспоминаніями» (3 т. 1866).

✓ Никол. Ив. Надеждинъ (1804—1856), ученый и журналистъ, издавалъ въ 1831—36 гг. журналъ «Телескопъ», который за «Философское письмо» Чаадаева былъ запрещенъ, а Надеждинъ сосланъ.

✓ Алексѣй Вас. Болдыревъ (1780—1842) былъ извѣстнымъ въ свое время ориенталистомъ, профессоромъ, а съ 1832 и ректоромъ москов. университета, но въ 1836 г. лишился мѣста за пропускъ статьи Чаадаева.

Стр. 405. Адмиралъ князь Александръ Серг. Меньшиковъ (1787—1869) былъ морскимъ министромъ. затѣмъ въ 1853 г. посломъ въ Константинополь, а въ 1854 г. главнокомандующимъ крымской арміей.

Стр. 406. Князь Илар. Вас. Васильчиковъ (1777—1847), предсѣдатель государств. совѣта и комитета министровъ.

Иоганъ Ронге (1813—1887) въ 1844 г. былъ лишенъ сана священника и отлученъ отъ церкви, но основалъ особую нѣмецко-католическую церковь.

Ив. Дм. Якушкинъ (1797—1857), извѣстный декабристъ.

Гюль - Фелиситэ - Роберт де-Ламенне (1782—1854), сперва былъ священникомъ, но послѣ июльской революціи вышелъ изъ духовнаго званія и защищалъ демократическія революціонныя идеи въ своемъ журналѣ «Avenir» и др. сочиненіяхъ.

Графъ Сигизмундъ Красинскій (1812—1859), знаменитый польскій поэтъ, главныя произведенія котораго представляютъ попытки рѣшенія въ поэтич. формѣ социальныхъ и философскихъ вопросовъ, но на мистической почвѣ.

Стр. 407. Графъ Джакомо Леонарди (1797—1837), извѣстный итальянскій поэтъ, произведенія котораго проникнуты духомъ скорби и пессимизма.

Пьеръ-Поль Ройе-Колларъ (1763—1845), французскій публицистъ, философъ и политическій дѣятель. Какъ президентъ палаты депутатовъ, онъ въ 1830 г. подалъ Карлу X адресъ 221 депутатовъ, осуждавшихъ политику министерства Полиньяка.

Генрихъ Лео (1799—1878), нѣмецкій историкъ, сочиненія котораго написаны въ крайне реакціонномъ и клерикально-обскурантномъ духѣ.

Фридрихъ-Людвигъ Янъ (1778—1852), прозванный «отцомъ гимнастики», основывалъ, начиная съ 1811 г. въ Германіи гимнастическіе союзы съ патриоти-

ческими цѣлями. Въ 1819 г. былъ арестованъ какъ демагогъ, а въ 1821 г. былъ приговоренъ къ 2 годамъ тюрьмы.

Фридрихъ Шлегель (1772—1829), нѣмецкій критикъ и философъ. Всецѣло поглощенный романтизмомъ, дошелъ до крайностей въ своихъ отрицаніяхъ по отношенію къ литературѣ — теорій и школъ, а по отношенію къ жизни — общественныхъ учрежденій и законовъ. Подъ конецъ жизни онъ впалъ въ мистицизмъ и отказался отъ своихъ прежнихъ убѣжденій и взглядовъ. На русскій языкъ переведена его «Исторія древней и новой литературы».

Эккартсгаузенъ (1752—1803), нѣмецкій мистикъ.

Принцъ Александръ - Леопольдъ - Францъ-Эммерихъ Гогенлозъ (1794—1849), сталъ священникомъ и выдавалъ себя за чудотворца и исцѣлителя больныхъ. Его обвиняли въ обскурантизмѣ и иезуитствѣ.

Стр. 413. Буквою Р. здѣсь обозначенъ извѣстный юристъ Петръ Григ. Рѣдкинъ.

Стр. 414. Александръ Ив. Тургеневъ (1784—1845), братъ эмигранта Н. И. Тургенева, историкъ и археологъ, объѣздившій съ научной цѣлью Европу и бывшій въ близкихъ отношеніяхъ съ Гёте, В. Скоттомъ, Шатобрианомъ, Пушкинымъ, Жуковскимъ и др.

Юлія Рекамье (1777—1849), отличаясь умомъ, образованіемъ и красотой, устроила у себя салонъ, гдѣ собирался цвѣтъ парижской интеллигенціи при первой имперіи.

Рахель (1711—1833), жена писателя Варнагена фонъ-Энае, была дружна съ Гёте и соединяла въ своей гостинной всѣхъ выдающихся современниковъ.

Баронъ Фридрихъ - Мельхиоръ Гриммъ (1723—1807), жилъ до революціи въ Парижѣ, гдѣ былъ знакомъ со всеми французскими энциклопедистами, учеными и литераторами и въ своихъ письмахъ къ Екатеринѣ II сообщалъ ей о всѣхъ литературныхъ новостяхъ.

Стр. 416. Авдотья Петр. Елагина, урожденная Юшкова (1789—1877), была племянницей Жуковского и матерью (отъ перваго ея брака) извѣстныхъ славянофиловъ, братьевъ И. В. и П. В. Кирѣвскихъ. Въ ея московскомъ салонѣ, въ 20, 30 и 40-хъ годахъ собирались всѣ извѣстные представители науки и литературы.

Едодоръ Лукичъ Моршкянъ (1804—1857), профессоръ гражданскаго права

и исторіи права въ московскомъ университетѣ.

Стр. 422. Баронъ Августъ Гакстгаузенъ (1792—1866), нѣмецкій путешественникъ и экономистъ. Провелъ нѣсколько лѣтъ въ Россіи, открылъ сельскую общину и много до него неизвѣстныхъ раскольниковыхъ сектъ.

Стр. 423. Арнольдъ Геренъ (1760—1842), профессоръ философіи и исторіи въ Геттингенѣ. Главное его сочиненіе, доставившее ему извѣстность въ Германіи, было переведено и отчасти передѣлано на русскій языкъ М. П. Погодинымъ. Это—Лекціи по Герену о политикѣ, связи и торговлѣ главныхъ народовъ древняго міра» (2 т., М. 1835—36).

Стр. 424. «Путевыя записки Вѣдрина», на которыя ссылается здѣсь Герценъ, помѣщены въ IV томѣ настоящаго изданія (стр. 157—159).

Георгъ - Іоганнъ Форстеръ (1729—1798), нѣмецкій натуралистъ и путешественникъ, сопровождавшій знаменитаго англійскаго мореплавателя Джемса Кука въ его второмъ путешествіи въ Полинезію въ 1772—79 гг. и описавшій эту экспедицію по-англійски и по-нѣмецки.

Стр. 425. Кучукъ-Кайнарджи—болгарская деревня близъ Силистріи. Въ ней былъ заключенъ въ 1774 г. миръ между Россією и Турціей, причѣмъ послѣдняя отказалась отъ своихъ правъ на Крымъ и Кубань.

Подъ «умирающимъ, нѣкогда любимымъ повтомъ, сдѣланнымъ святошей» подразумевается Н. М. Языковъ (1803—1843).

Стр. 427. Подъ «побочнымъ сыномъ Отец. Записокъ, котораго поставилъ на ноги Бѣлинскій» подразумевается журналъ *Современникъ*, преобразованный съ 1847 г. при дѣятельномъ участіи Бѣлинскаго, Некрасовымъ и Панаевымъ.

Стр. 429. Дм. Петр. Северинъ (1792—1865), дипломатъ и поэтъ, былъ друженъ съ Жуковскимъ, кн. П. Вяземскимъ, Блудовымъ и др. Онъ славился своими стихотвореніями, эпиграммами и экспромтами.

Стр. 432. Буквами М. К. обозначена Марья Каспаровна Эрнъ (впослѣдствіи вышедшая замужъ за Рейхеля), бывшая многолѣтнимъ другомъ Герцена и его жены и вмѣстѣ съ ними выѣхавшая потомъ за границу.

Стр. 435. Князь Александръ Александровскій (1732—1809), уча-

ствовалъ въ 7-лѣтней войнѣ, а при Екатеринѣ II въ покореніи Крыма и др. войнахъ. Былъ фельдмаршаломъ.

Стр. 437. Въ Кампо-Форміо въ 1797 г. былъ заключенъ миръ между Австріей и Франціей, представителемъ которой былъ генералъ Наполеонъ Бонапартъ, одержавшій передъ этимъ рядъ блистательныхъ побѣдъ.

Стр. 441. «Пустынникъ Шоссе-д'Антенской улицы.» («L'hermite de la Chaussée d'Antin» (5 т., 1812—14) романъ французскаго писателя Жюи, см. о немъ выше прим. къ 42 стр.

Францискъ Вейсъ (1751—1798), швейцарскій генералъ, книга котораго «Principes philosophiques, politiques et moraux»—кодексъ свѣтской и буржуазной морали—имѣла большой успѣхъ (болѣе 20 изданій) и дважды была переведена по русски (въ 1807 и 1837 г.).

Стр. 442. Вильямъ Гогартъ (1697—1764), знаменитый англійскій каррикатуристъ и граверъ, прославившійся своими жанровыми сатирическими картинами и каррикатурами, полными реализма и юмора.

Стр. 444. Ѳеодоръ Павловичъ (у Герцена ошибочно названъ Василиемъ Ѳеодоровичемъ) Врончанко (1780—1852), былъ министромъ финансовъ съ 1844 до 1852 г.

Стр. 447. Буквами Е. К. и К. обозначенъ Евгений Ѳеодор. Коршъ.

Стр. 450. Буквою Т. здѣсь обозначенъ декабристъ князь Серг. Петр. Трубецкой (1790—1860), избранный диктаторомъ въ предполагавшемся переворотѣ. Онъ былъ арестованъ въ домѣ своего зятя, австрійскаго посла графа Лебцельтерна. Его «Записки» изданы за границей («Международная Библіотека», 1875 г., т. III).

Стр. 453. Буквою Р. здѣсь, по всей вѣроятности, означенъ П. Г. Рѣдкинъ.

Стр. 454. Буквами Е. К. обозначенъ Е. Ѳ. Коршъ.

Стр. 455. Бурмейстеръ—схоластическій нѣмецкій философъ XVIII в.

Стр. 457. Буквою С. обозначенъ Ник. Мих. Сатинъ, буквою К.—Н. Х. Кетчеръ, буквою К.—Е. Ѳ. Коршъ и буквами М. С.—артистъ М. С. Щелкинъ.

Стр. 460. Буквы Е. К. обозначаютъ Е. Ѳ. Корша.

Стр. 468. Стихи, приведенные на этой страницѣ, принадлежать Н. П. Огареву.

Стр. 469. «Тата» — старшая дочь Герцена.

Стр. 470—4. Здѣсь буквою К. (въ заголовкѣ прибавленія: Н. Х. К.) вездѣ обозначенъ Никол. Христ. Кетчеръ.

Стр. 475. Антуанъ Фукье-Тенвилль (1747—1795), известный своей кровожадностью дѣятель великой французской революціи, бывший официальным обвинителемъ революціоннаго трибунала.

Стр. 480. «Михаилъ Семеновичъ» — артистъ М. С. Щепкинъ.

Стр. 484. Тереза Левассеръ (1721—1801), влюбленная Ж.-Ж. Руссо, совершенно необразованная женщина, бывшая прежде прачкой.

Стр. 485. Г-жа Удето—близкая знакомая Руссо и др. энциклопедистовъ, одна изъ образованнѣйшихъ женщинъ второй половины XVIII вѣка.

Жена Гейне, Матильда, была совершенно необразованная, неграмотная парижанка.

Стр. 487—88. Михаилъ Семеновичъ — артистъ М. С. Щепкинъ.

Стр. 490. Докторъ П.—Павелъ Лукичъ Пикулинъ (род. въ 1822 г.), адъюнктъ терапевтической клиники въ московскомъ университетѣ, въ 1855 г. онъ задалъ за границу и двѣ недѣли прогостилъ у Герцена. (См. «Всемирный Вѣстникъ» 1905 г., № 1, статьи В. П. Батуринаго о Герценѣ).

Вас. Александр. Кокоревъ (1817—1889), известный монополистъ-откупщикъ, вышедшій изъ простыхъ сдѣльцевъ, нажившій миллионы на откупахъ кабаковъ во время крымской войны.

Стр. 490—91. Чичеринъ прѣхалъ въ Лондонъ не осенью 1857, а осенью 1858 г. (см. «Всемирн. Вѣстн.» 1905 г., № 2, стр. 43). Напечатанный въ «Колоколѣ» «Обвинительный актъ», какъ называетъ Герценъ (въ концѣ 491 стр. настоящаго тома) присланное ему впоследствии письмо Чичерина, помещенъ въ VI томѣ настоящаго изданія. Этотъ «обвинительный актъ» вызвалъ протестъ проживавшихъ тогда за границей русскихъ писателей: К. Д. Каволина, проф. И. К. Бабста, П. С. Тургенева, П. В. Анненкова, А. И. Скребицкаго, И. Н. Тютчева и И. Маслова, пославшихъ свое коллективное заявленіе Чичерину (см. «Всемирн. Вѣстн.» 1905 г., № 3,

стр. 21—41, гдѣ разсмотрѣна полемика Герцена съ Чичеринимъ).

Стр. 492. Александръ Егор. Тимашевъ (1818—1893), съ 1856 г. былъ начальникомъ штаба корпуса жандармовъ и управляющимъ III отдѣленіемъ. Повдѣе (1868—1877) онъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Стр. 493. Владим. Серг. Филимоновъ (1787—1858), плодовитый, но теперь уже давно забытый писатель, авторъ юмористической поэмы-романа «Дурацкій колпакъ» (5 ч., Спб., 1838 г.). Онъ былъ друженъ съ Пушкинымъ, обезсмертившимъ его своимъ посланиемъ по поводу «Дурацкаго колпака».

Стр. 496. «Базилемъ» и буквою Б. здѣсь и на послѣдующихъ страницахъ названъ другъ Герцена, Бѣлинскаго и Грановскаго—Вас. Петр. Боткинъ.

«Жакъ» — романъ Жоржъ-Занда, а «Жакъ-фаталистъ» — романъ Дидро.

Стр. 497. Генрихъ-Теодоръ Ретшеръ (1803—1871), нѣмецкій гегелистъ-эстетикъ и критикъ, пытавшійся установить научныя основы драматическаго искусства.

Буквою Т. обозначенъ И. С. Тургеневъ.

Карлъ-Августъ Варнгагенъ фонъ-Энзе (1785—1858), нѣмецкій писатель, оставившій рядъ замѣчательныхъ биографическихъ характеристикъ, писемъ и любопытный дневникъ.

Стр. 499. Буквами Г. и К., повидимому, обозначены Грановскій и Кетчеръ.

Стр. 501. Профессоръ богословія и философіи петербургской духовной академіи и Спб. университета, протоіерей Ѳеодоръ Сидонскій (1801—1873) считался въ свое время однимъ изъ ученѣйшихъ нашихъ теологовъ. Его книга «Введеніе въ науку философіи» (1833 г.) была признана «неблагонамѣренною», онъ за нее лишился каведры въ дух. академіи и лишь въ концѣ 60 годовъ сталъ профессоромъ въ Сиб. университетѣ.

Стр. 502. Бертранъ Барреръ (1755—1841), франц. террористъ, членъ національнаго конвента и комитета общественнаго спасенія, въ которомъ принималъ такое энергичное участіе, что его прозвали «Анакрасономъ гильотины».

UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 06832 6969

BOUND

NOV 12 1945

UNIV. OF MICH.
LIBRARY

